

мастера современной прозы

ФРАНЦ КАФКА





**МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ**



**МОСКВА
"РАДУГА"
1989**

Редакционная коллегия:

**Анджапаридзе Г. А., Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н.,
Затонский Д. В., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В.,
Челышев Е. П.**

04, 4.

КЗС

ФРАНЦ КАФКА

ПРОЦЕСС

РОМАН

ЗАМОК

РОМАН

НОВЕЛЛЫ И ПРИТЧИ

ИЗ ДНЕВНИКОВ

Перевод с немецкого

ББК 84.4А

К12

Составитель *Е. Кацева*
Автор предисловия *Д. Затонский*

046958/405

Кафка Ф.

К12 Избранное: Сборник: Пер. с нем. /Составл. Е. Кацевой; Предисл. Д. Затонского. — М.: Радуга, 1989. — 576 с. — (Мастера современной прозы).

Франц Кафка — один из крупнейших немецкоязычных писателей, классик литературы XX века, оказавший огромное влияние на писателей разных стран.

В новое издание (впервые сборник Ф. Кафки был издан в СССР в 1965 году издательством "Прогресс") наряду с публиковавшимися романом "Процесс", новеллами и притчами разных лет вошли роман "Замок", отрывки из дневников (1910–1923), "Письмо отцу" и т.д.

К 4703000000-364 50-89
030(01)-89

ББК 84.4А

Библиотека-филиал № 19
им. Н. В. Гоголя
Свердловской ЦБС

ISBN 5-05-002394-7

© Составление и предисловие
издательство "Радуга", 1989

ПРЕДИСЛОВИЕ

Франц Кафка, возможно, самая странная фигура в европейской литературе XX столетия. Еврей по происхождению, пражанин по месту рождения и жительства, немецкий писатель по языку и австрийский писатель по культурной традиции, Кафка (уже в силу одних этих обстоятельств) оказался средоточием вопиющих противоречий: общественных, семейных, творческих. Оказался как человек и как художник. Они — обстоятельства эти, а также причины, от него не зависящие, — превратили Кафку и в предмет ожесточеннейших споров: эстетических, философских, идеологических. Но превратили лишь посмертно.

Правда, контраст между равнодушием к живому Кафке и его посмертной канонизацией нередко преувеличивали. В Центральной Европе 20—30-х годов он пользовался известностью, пусть и негромкой, но прочной. Его издавали в Германии, его переводили в Чехословакии и Венгрии. Его заметили и оценили столь известные собратья, как Гессе, Т. Манн, Верфель, Дёблин, Музиль, Тухольский, Брехт. Но, разумеется, степень тогдашней кафковской известности не шла ни в какое сравнение со славой, выпавшей на долю автора "Приговора", "Превращения", "Процесса", "Замка" после второй мировой войны.

Кое-что здесь может быть объяснено причинами субъективного свойства. Кафка неохотно (как правило, под нажимом друзей и со смешанным чувством желания и сожаления) извлекал свои рукописи из ящика письменного стола. Оттого при его жизни увидела свет лишь малая толика им сочиненного.

Три незавершенных романа Кафки стали доступны читающей публике уже после его смерти: "Процесс" в 1925 году, "Замок" — в 1926-м, "Америка" — в 1927-м. Ныне наследие писателя (кажется, полностью собранное) слагается из десяти объемистых томов.

То, что сам Кафка счел возможным обнародовать, составляет едва ли шестую часть созданных им художественных произведений.

Долгое время вновь открываемый миру Кафка как бы оставался "собственностью" Макса Брода — в прошлом тоже пражского жителя, тоже писателя и друга покойного. Брод был чем-то вроде официального

душеприказчика, хоть и не выполнившего волю завещателя: тот просил сжечь все его неопубликованные рукописи. Бродовское послушание подарило миру полного Кафку. Но Брод и злоупотребил своими привилегиями: художник Кафка привлекал его куда меньше, чем Кафка-“идеолог”. Брод видел в нем вариант иудейского законоучителя, воспитанного на мистике Каббалы. Соответственно и книги Кафки интерпретировались в качестве религиозных аллегорий.

Однако волны “кафковского ренессанса” вскоре разрушили бродовский приоритет. Теперь каждый тянул Кафку в свою сторону и возвеличивал его по-своему. Начался “ренессанс” этот в США, оттуда перекинулся на Британские острова и в Европу. Кафковский культ все ширится в послевоенном западном мире.

Известный критик и литературовед Ганс Майер объяснял это следующим образом: “Разочарование в реальностях войны и послевоенного времени; отказ от прежних утопий... Администрирование, автоматизация, картина мира, всесторонне управляемого бюрократией, — все это, казалось, удается найти в пророческих предсказаниях Кафки”^{*}.

Не будучи пророком, Кафка сумел предвидеть некоторые тенденции развития современного мира: он наблюдал их в своей стране, на этой “опытной станции конца света”, как именовал Австро-Венгерскую монархию поэт и публицист Карл Краус.

Кафка ненавидел тот обездушенный, дегуманизированный мир, в котором был обречен существовать, ненавидел глубоко и страстно. Он выразил неизбывный ужас этой “исправительной колонии” цивилизации; он страдал за человека и чувствовал себя за него ответственным. Но Кафка был и пленником ненавистного мира, хворавшим его недугами. Противоречия кафковского мироощущения подчас непримиримы: писатель не верил в окружавшее его бытие, сомневался в возможностях человека. Кроме того, сама атмосфера его романов, новелл, притч, трагичная и туманная, многозначная и символичная, сама манера его письма, кошмарно-сновидческая и лиричная одновременно, открывали широкий простор субъективизму оценок. У Кафки можно отыскать высказывания как бы на все случаи жизни; но он и выскальзывает из границ четкого мироощущения. Потому границы эти за него нередко додумывали. Возникло великое множество “легенд о Кафке”: религиозных и экзистенциальных, авангардистских и консервативных, психоаналитических и структуралистских.

Но 70–80-е годы для кафковедения — время уже довольно спокойное. Эра “сенсационных открытий”, кажется, завершилась: никто не делает из Кафки “знамя”, его просто продолжают изучать. Правда, работ синтетического характера стало явно меньше. В поле зрения чаще попадают отдельные аспекты творчества. Статьи во всех отношениях преобладают над книгами.

* * *

Франц Кафка родился 3 июля 1883 года. Мать его происходила из рода ученых раввинов, отец — сын полунизшего деревенского резника — прожил трудную юность, но к старости достиг благосостояния: стал галантерейщи-

^{*}Maуer H. Ansichten zur Literatur der Zeit. Hamburg, 1962, S. 57.

ком средней руки, даже мелким фабрикантом. Преуспевание внушило этому здоровому, практичному, малообразованному и внутренне примитивному человеку самоуверенность и нетерпимость. Он подчинил своей тирании жену, трех дочерей (одна из них, впрочем, со временем взбунтовалась), а внешне и сына Франца — полную свою противоположность, — из которого тем не менее пытался вырастить достойного себя наследника.

Весь этот конфликт болезненно подробно — и, конечно же, с позиций сына — изложен в "Письме отцу" (1919), так, впрочем, ему и не пересланном, не переданном. Отец подавлял волю сына, лишал его всякой веры в себя. И сын — впечатлительный, неврастеничный — не был способен открыто восстать, как его сестра. Он решался лишь на пассивное, безысходное в своем отчаянном упорстве сопротивление. Оно выражалось в нежелании заниматься коммерцией, в стремлении самоутвердиться с помощью непонятного отцу и им презируемого литературного творчества, даже в духовном бегстве из семьи. Но то была странная война: не только без надежды на победу, но и без уверенности, что победа нужна. Ведь Франц одновременно преклонялся перед "противником" и испытывал по отношению к нему чувство вины. И порой начинало казаться, будто борьба с отцом — это и есть вся жизнь, весь ее смысл. "Итак, мир состоял только из меня и тебя..." — сказано в кафковском письме. Отчуждение в семье выпячивало, подчеркивало, обостряло отчуждение в смысле более широком и общем.

Спору нет, был у Кафки свой (хотя и весьма узкий) круг друзей: Оскар Поллак, Макс Брод, Оскар Баум, Феликс Велч. Но никто из друзей "не был с ним на короткой ноге, — вспоминает его гимназический приятель Эмиль Утиц, — его всегда как бы окружала некая стеклянная стена"*. Были в его жизни и женщины: Фелица Бауэр, Юлия Вохрьшек, Милена Есенская, Дора Димант, может быть, и Грета Блох. Но женщины его более пугали, чем влекли ("Коитус как кара за счастье быть вместе", — записал он в дневнике 14 августа 1913 года), и встречам с ними он предпочитал письма, сообщавшие реальному чувству что-то от вымышленных чувств менестрелей. И ни с одной из женщин он так и не решился соединить свою жизнь, хотя однажды был помолвлен с Юлией Вохрьшек и дважды — с Фелицей Бауэр, хотя писал отцу: "Жениться, создать семью... — это, по моему мнению, высшее, чего может достичь человек". Он боялся, что брак помешает его литературным занятиям. И еще боялся расстаться со своим одиночеством. Но и одиночества он боялся. "Страх перед полным одиночеством, — писал Кафка Броду 11 декабря 1922 года. — В сущности, одиночество является моею единственной целью, моим великим искушением... И несмотря ни на что, страх перед тем, чего я так сильно жажду... Эти два вида страха перемальвают меня, как жернова"***.

Ситуация Кафки есть, так сказать, предельная ситуация существования человека в условиях тотального кризиса, в обстановке распада всех ценностей общества, обреченного сразу и на бездушные конформизма, и на неутолимую тоску атомизации. Его индивидуальная судьба — нечто вроде заостренной, как бы очищенной до степени дидактического примера формы социального бытия дегуманизированной личности.

Биография Кафки удивительно небогата событиями, по крайней

*Utiitz E. Erinnerungen an Fr. Kafka. — In: Wagenbach K. Fr. Kafka, S. 269.

**Kafka F. Briefe. Frankfurt a. M., 1958, S. 415.

мере событиями внешними (ибо внутренняя его жизнь складывается из эскапад духа, из кошмарных "приключений"). Он окончил немецкую гимназию, затем в 1901—1905 годах здесь же в Праге изучал юриспруденцию и слушал лекции по истории искусств и германистике. В 1906—1907 годах прошел стажировку в адвокатской конторе и пражском городском суде. С октября 1907 года служил в частном страховом обществе. В 1908 году совершенствовался по этой специальности при Пражской коммерческой академии. И в том же году перешел на работу в полугосударственную организацию, занимавшуюся страхованием от производственных травм. Невзирая на докторскую степень и старательность в исполнении служебных обязанностей, он до конца занимал там лишь скромные и низкооплачиваемые должности. В 1917 году заболел туберкулезом и с тех пор работал с перерывами, а в 1922 году был вынужден уйти на пенсию. После чего — в 1923 году — и осуществил давно задуманное "бегство" в Берлин, где намерен был жить в качестве свободного литератора. Но резко ухудшившееся состояние здоровья заставило его возвратиться в Прагу. 3 июня 1924 года он умер в санатории Кирлинг под Веной.

Если не считать берлинского периода (тоже весьма краткого), Кафка никогда надолго не покидал Прагу, хотя путешествовать любил и каникулы или отпуск нередко проводил в Германии, Франции, Швейцарии или Италии. Он вел путевые заметки, и они, кстати сказать, относятся к наиболее спокойным и светлым страницам кафковского творчества.

Разумеется, такую "скромную" биографию Кафка не сам себе выдумал. Однако, будь она другой, он не был бы уже Кафкой: они до странности друг другу подходят.

Всякий писательский дневник — рассказ о себе. Однако и о других. Это рассказ художника о встречах с реальным миром и истолкование таких встреч. Дневники Кафки — по преимуществу рассказ о встречах с самим собой. Там содержится много незавершенных, неосуществленных набросков или вариантов вещей, позднее написанных; обстоятельно пересказываются сны или даже видения наяву; целые страницы посвящены жалобам на состояние здоровья, на терзающее автора неясное беспокойство, на невозможность или неспособность писать. Тщетным было бы, однако, искать здесь столь же обстоятельных отчетов о его служебной деятельности. И еще меньше записей, отражающих его общественную позицию. Если бы друзья и современники Кафки не оставили своих свидетельств, мы, возможно, почти ничего не знали бы о его социалистических симпатиях, об интересе к Ленину и Горькому, о знакомстве с Ярославом Гашеком, Станиславом Косткой Нейманом, об участии в собраниях чешских левых анархистов и многом другом. Однажды этот тихий, деликатный, физически слабый человек, глядя в свинцовые глаза обступивших его пангерманцев, наотрез отказался встать, когда оркестр заиграл "Стражу на Рейне"; а в другой раз он явился в полицию требовать освобождения участников антигабсбургской демонстрации...

Этот "иной" Кафка существовал где-то на периферии кафковского художественного сознания. В переписке или устных беседах он чаще касался вопросов экономики, истории, политики. Например, в беседах с Густавом Яноухом, молодым пражанином весьма левых убеждений, форменным образом влюбившимся в Кафку, ходившим за ним тенью и все за ним записывавшим. Много позже все это сложилось в книгу "Разговоры с Кафкой". Она вышла в свет в 1951 году. Там приводятся критические высказывания писателя о системе капиталистической эксплуа-

тиции, в частности о тейлоризме, отмечается его интерес к учению Сен-Симона, сочинениям Герцена, Кропоткина.

Когда Кафку о чем-то спрашивали, он был готов отвечать, но не больше. Вполне самим собой он был в дневниках и в художественных произведениях — этих, так сказать, разыгранных в лицах вариантах дневников. И там он говорил о себе самом. Потому что так, собственно, и жил: лишь внутри себя, воспринимая мир только в себе и через себя. Это не эгоизм, скорее, какой-то вынужденный эгоцентризм. ✓

Он был свидетелем великих перемен, честным, искренним, жаждавшим одной лишь правды. Он видел, что старый мир рушится, и не желал ему ничего, кроме гибели. Но был он не только свидетелем, не только отрицателем, а и жертвой — частицей этого больного, уходящего мира. И знал, что он — жертва. Отсюда так часто повторяемый его фантазией образ ножа, который вонзается в тело, поворачивается в нем. Понимал он даже, что не является просто жертвой несчастливых личных обстоятельств — физических недугов, тирании отца, постылой службы. Он догадывался, что таким, каков он есть, его сделали и более общие, более сложные законы человеческого общежития. ~

Видел, знал, понимал, догадывался... И все же ничего с собою сделать не мог. Ибо был беззащитен по отношению к чувству неотвратимости собственного, да и вообще человеческого мучения. Ему не было дано непосредственно, минуя это свое чувство, взглянуть на творящуюся у него на глазах историю. "Желание изобразить мою фантастическую внутреннюю жизнь, — записал он в дневнике 6 августа 1914 года, то есть уже после начала первой мировой войны, — сделало несущественным все остальное, которое чахло и продолжает чахнуть самым плачевным образом". Внешняя действительность для Кафки как бы совпадает с внутренней и оттого способна уместиться в человеческой голове. "Нет нужды выходить из дому, — писал он. — Оставайся за своим столом и прислушивайся. Даже не прислушивайся, жди. Даже не жди, будь неподвижен и одинок. И мир откроется тебе, он не может иначе..."

И мир открывался ему. Его посещали озарения. Советское литературоведение, как правило склонное видеть в Кафке писателя, враждебного действительности, болезненно ее искажавшего, если с этим и соглашалось, то лишь в том смысле, что озарения посещали его, так сказать, вопреки ему самому. Но это неверно. Озарения (именно *кафковские* озарения!) посещали его не "вопреки", а "благодаря" — благодаря замкнутости на самом себе, благодаря болезненной сверхчувствительности, благодаря, наконец, той спонтанности восприятия, что отвлеченнейшую абстракцию превращала в осязаемый и тем самым до беспредельности странный образ.

Элиас Канетти (он в странности своей немногим уступает Кафке, оттого и получил Нобелевскую премию за роман "Ослепление" лишь в 1981 году, ровно через полвека после его создания) так отзывался о кафковском "Превращении": "Там я обнаружил поражающую своим совершенством противоположность той литературной необязательности, которую так ненавидел, — это была воплощенная строгость".

А обычный читатель скорее всего обратит внимание на какую-то несообразную фантастичность этой новеллы. Она вызывает беспокойство, даже отталкивает. В самом деле, скромный коммивояжер неожиданно превратился в насекомое, во что-то вроде гигантской сороконожки, особенно омерзительной таким своим многократным увеличением. Но, внешне став сороконожкой, внутренне он остался самим собой, тем же

покорным сыном и любящим братом, тем же старательным служащим. И, не понимая, что все его связи с семьей и внешним миром вообще безнадежно оборваны, спешит, боится опоздать на работу...

Читатель повдумчивее, конечно, понимает, что все это — иносказание, что нам представляют человеческое одиночество, человеческую отчужденность. Однако, может быть, думает при этом, что такого полного одиночества, беспредельного такого отчуждения не бывает, как не бывает людей, превращающихся в огромных сороконожек.

Стоит, впрочем, допустить возможность подобного превращения ("допустить", разумеется, лишь в качестве художественной условности), и многое станет на свои места. Если бы человек вроде Грегора Замзы мог превратиться в громадную сороконожку, то вел бы себя в хитиновой своей "шкуре" точно так, как изобразил Кафка. И точно так же вело бы себя его окружение: позорно сбежал бы прокуррист фирмы, явившийся узнать, почему герой презрел свой служебный долг, в гневе угрожал бы тростью отец, падала бы в обморок мать... Эту-то безошибочную верность внутренней логики события внешне абсурдного Элиас Канетти и окрестил "строгостью". Тут напрашивается сравнение с геометрией Лобачевского, которая во всем аналогична Евклидовой, за исключением того, что криволинейна. И если математический мир Лобачевского расширяет представления о природе пространства, то художественный мир Кафки делает это с человеческими отношениями, что сложились в наше удивительное двадцатое столетие.

В другом месте тот же Канетти сказал, что "среди всех поэтов Кафка — величайший эксперт по вопросам власти"*. И в самом деле, о чем же другим написаны "Процесс", "Замок" и многие новеллы Кафки, как не о власти? Она безлика, анонимна, по временам почти неосязима и все же неборима, вездесуща, способна отнять у индивида не только свободу, но и жизнь. В "Процессе" это суд, в "Замке" — графская бюрократия, а в новелле "В исправительной колонии" — хитроумная, изуверская машина для пыток.

Последний образ склонны были толковать в качестве прямого намека на новейшие тоталитарные режимы, которые в 20—30-е годы расползлись по Европе: и на фашизм, и на национал-социализм, и на сталинизм. Но Кафка, умерший (как мы уже знаем) в 1924 году, реальным их современником не был. Его вело предчувствие. Любопытно, однако, понять, почему именно его, предпочитавшего не выходить из дому и ждать, пока мир сам ему откроется? Дело, вероятно, в том, что Кафка очень глубоко заглянул в природу столкновений между личностью и властью и постиг их новейшую особость.

Он заглянул туда через узенькое оконце собственной судьбы. Отчего и стал величайшим экспертом не столько даже по вопросам власти, сколько по вопросам отчуждения. Ведь отчуждение и было его судьбой. Он — пария, пасынок жизни, ею отторгнутый, лишенный здорового с нею взаимодействия. Несомненно, это ему претило, мучило его. Но проиграв в широте, в полноте обзора действительности компенсировался интенсивностью восприятия некоторых ее сторон. И прежде всего тех, что связаны с тоталитарными деспотиями и ими усугубленным отчуждением. Ведь сказал же он однажды в беседе с Густавом Яноухом, что "в конце всякого подлинно революционного процесса появляется какой-нибудь Наполеон

*Elias Canetti. Der andere Prozess. München, 1973, S. 86.

Бонапарт", и добавил: "Чем шире разливается половодье, тем более мелкой и мутной становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии". Фаталистический пессимизм Кафки можно и не разделять, но в прозорливости ему, право, не откажешь...

* * *

Намечать в творчестве Кафки сколько-нибудь определенно некие "периоды" — задача неблагодарная, если вообще доступная. Хотя бы потому, что далеко не все его произведения могут быть точно датированы. Четкая периодизация неоправдана и потому, что творчество Кафки не было самому себе равным и в каждый данный момент. Оно — не прямая линия восхождения или упадка, а ломаная, логически непостижимая кривая лихорадочных метаний: среди вещей мрачных, отчаянных вдруг проглядывает луч надежды, и напротив — на проблески оптимизма внезапно падает черная тень.

Ясности содержания в ранних произведениях Кафки ничуть не больше, чем в поздних. Ранним сверх того присуща общая экспрессионистская раздерганность, отсутствующая в поздних. Чего в последних действительно больше, так это ощущения безысходности, необоримости зла, загнанности в каменный тупик. Конечно, еще героем "Описания одной борьбы" капризная, непредсказуемая жизнь играет, как мышью, но и он с каким-то веселым отчаянием навязывает ей свои капризы: "Беззаботно шагал я дальше. Но поскольку в качестве пешехода я опасался трудностей горной дороги, я принудил ее становиться все более ровной, а вдали — опускаться в долину. Камни исчезли по моей воле, и ветер прекратился". Здесь все возможно, в том числе и то, что мир не таков, каким кажется. "Всегда, милостивый государь, — говорит некий молодой человек, — мне очень хотелось увидеть вещи такими, какими они могут быть до того, как мне являются. Они тогда, наверное, красивы и спокойны. Это должно быть так, ибо я часто слышу, как люди так о них отзываются". В 1903 году юный Кафка писал О. Поллаку, что "можно уважать крота и его манеру, но не следует делать из него для себя святого", а Кафка больной, умирающий изобразил в "Норé" человека в образе животного (скорее всего, того же крота), которое вырыло систему подземных укрытий и все равно в страхе ожидает прихода врага — более сильного зверя. В "Описании одной борьбы" присутствовало настроение полета, в "Норе" господствует каменный тупик. Некая игра с сущим сменяется у Кафки более сложным к нему отношением, даже более глубоким пониманием его противоречий, его антагонизмов. Однако за эти сложности и глубину писатель уплатил высокую цену: он утратил остатки веры.

Подобная, только как бы спрессованная во времени эволюция прослеживается и в романах. "Америка", "Процесс", "Замок" — это малая спираль, аналогичная той большой, с помощью которой можно бы графически выразить все кафковское творчество. Романы сочинялись в определенной хронологической последовательности: "Америка" — в 1911–1916 годах, "Процесс" — в 1915–1918-м, "Замок" — в 1921–1922-м, хотя еще в 1914 году в дневнике появился отрывок, озаглавленный "Искушение в деревне" и представляющий собою первоначальный вариант "Замка".

"Америка" — это рассказ о шестнадцатилетнем мальчишке, которого с жалким чемоданишком в руках родители отправили из Праги в далекий Нью-Йорк, отправили в наказание за то, что его совратила служанка.

Мальчик — зовут его Карл Россман — на редкость скромен, наивен, добр, отзывчив, исполнен готовности всем помогать. По вине разного рода себбялюбцев и демонических проходимцев, использующих его доверчивость, Карл то и дело попадает впросак, оказывается замешанным в таинственные и неприятные авантюры. Здесь, как и во всех вообще произведениях Кафки, человек противопоставлен чужому и враждебному миру. Правда, мир этот еще относительно конкретен. Кафка говорил, что находился тогда под влиянием Диккенса. И в самом деле в романе проглядывает нечто от обстановки "Оливера Твиста" или "Дэвида Копперфилда". Присутствуют там и реалии современной Кафке Америки: праздные миллионеры, бастующие металлисты, замученная безработицей женщина, которая бросается со строительных лесов...

Но вот что примечательно: это не есть конкретность собственного жизненного опыта, не есть реалии, лично Кафкой увиденные. Он не бывал за океаном, но как бы и не делал для себя из этого проблемы. "Видела ли ты когда-нибудь демонстрации, происходящие в американских городах накануне выборов окружного судьи? — читаем в его письме к Фелице Бауэр. — Конечно, не видела, так же как и я, но в моем романе эти демонстрации как раз в разгаре"* . О том, чего сам не видел, Кафка писал не из-за отсутствия житейского опыта. Этот опыт не был велик, но его хватило бы на роман, воссоздающий действительность Средней Европы, в том числе и действительность социальную. В частности, благодаря своей службе он был хорошо знаком с бесправным положением чешского пролетариата и симпатизировал обиравым предпринимателями рабочим. "Как скромны эти люди, — сказал он однажды Броду, — они приходят к нам с просьбами. Вместо того чтобы штурмовать нашу контору и все разнести вдребезги, они приходят с просьбами"*** . И все-таки Кафка строил свой первый роман из материала не чешского, а американского.

Думается, на это имелось несколько причин, и притом самого разного свойства. Я уже говорил, что среда понимается Кафкой как нечто глубоко чуждое человеку. Осязаемо, зримо это легче выразить, если взять среду чужую, ту, на которую и герой, и сам автор смотрят глазами этакого вольтерского гуруна. Протагонист повести "Простодушный" был, правда, наивным и благородным индейцем, лицемерившим пороки предреволюционной Франции. В кафковской "Америке" все как раз наоборот. Но важен принцип: остраняющий, очуждающий взгляд; он преобразует действительность, извлекая абсурды из привычного, примелькавшегося.

Это с одной стороны, а с другой — то, что Кафка хорошо знает, становится его непосредственным переживанием, частью его души, его субъективным миром и, следовательно, претворяется в согласии с законами его индивидуальной образности, его мифотворческой символики. А он еще хотел создать по-своему традиционный роман, в некотором роде роман диккенсовский. Такому роману нужны люди и предметы, не искаженные болезненным сращением со своим наблюдателем, сохраняющие по отношению к нему дистанцию. У Кафки они могли быть только людьми и предметами *вторичного* мира, то есть взятого из книг, заимствованного из чужих-то рассказов, даже логически домысленного. Ведь и будучи вторичным, это типично кафковский мир — с коридорами-лабиринтами, с бесконечными грязными лестницами, с теряющейся в заоблачной выси "чудо-

*K a f k a F. Briefe an Felice. Hamburg, 1967, S. 213.

**B r o d M. Franz Kafka. Eine Biographie, S. 102.

вишной иерархией" провинциальной гостиницы "Оксиденталь". Противопоставленный ему человек куда для Кафки необычнее: в несчастьях и поражениях повинны силы, действующие вне воли и сознания героя. Если бы изменились условия, если бы такое было возможно, Карл победил бы, привел бы сущее в соответствие со своим идеалом. Он лучше всех антагонистов, но, увы, слабее их. Потому он должен погибнуть. Однако не как преступник — как кроткая жертва благосклонной к нему и бессильной что-либо исправить судьбы...

"Америка" — это нечто вроде кафковской утопии. И как и во всякой утопии, ее действию следует разыгрываться в стране если не вымышленной, то по крайней мере малоизвестной. Чтобы мыслимо было поверить в возможность счастливого финала.

В "Процессе" действие разворачивается в Праге, хотя город и не назван. Там по делу Йозефа К., прокуриса крупного банка, ведет следствие некий неофициальный, но всесильный суд: его присутствия размещены на чердаках всех домов. Герою, который не знает за собой никаких грехов, кажется, что стоит лишь сделать вид, будто ничего не произошло, и все само собою образуется, неясная угроза разветсется. Ведь говорит же ему священник: "Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь". Однако со временем тихий омут процесса все более затягивает Йозефа К. И именно потому, что разбирательство ведется в глубочайшей тайне, что все неясно, смутно, зыбко, как бы и вовсе нереально, основано на слухах, на допущениях. Герой не прячется от судьбы; он бросает ей вызов и, сражаясь с нею, все дальше запутывается в паутине процесса. В его сопротивлении есть немало трагического достоинства: некоему коммерсанту Блоку, который пресмыкается перед адвокатами и судейскими, удается растянуть рассмотрение своего дела на целых пять лет, а у Йозефа К. страшный конец наступает скоро, ибо он отказывается принять несправедливый закон.

На Западе иногда склонны сводить проблематику этого романа к суду человека над самим собой. Но кафковский текст не дает для этого полных оснований. "Нет сомнения, — выступает Йозеф К. в ходе дознания, — что за всем судопроизводством, то есть в моем случае за этим арестом и за сегодняшним разбирательством, стоит огромная организация. Организация эта имеет в своем распоряжении не только продажных стражей, бестолковых инспекторов и следователей, проявляющих в лучшем случае похвальную скромность, но в нее входят также и судьи высокого и наивысшего ранга с бесчисленным, неизбежным в таких случаях штатом служителей, писцов, жандармов и других помощников, а может быть, даже и палачей — я этого слова не боюсь. А в чем смысл этой огромной организации, господа? В том, чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмысленный и по большей части — как, например, в моем случае — безрезультатный процесс. Как же тут, при абсолютной бессмысленности всей системы в целом, избежать самой страшной коррупции чиновников?"

Суд, так охарактеризованный, — нечто вполне объективное; это именно та социальная система в целом, посреди которой существовал Кафка, социальная система, какой он ее видел и ненавидел. Но это и мир, который автор хорошо знает, с которым он болезненно сросся и который преобразается, мифизируется за счет такого сращения. Сказывается это и на герое. Если Карл в "Америке" был резко противопоставлен окружению, внутренне не имел с ним ничего общего, то Йозеф К. плоть от плоти системы, породившей этот кошмарный суд. С одной стороны, он "просто"

человек, преследуемый, гонимый, а с другой — крупный бюрократ, защищенный заслоном секретарей от всех неожиданностей и случайностей (арест произошел утром, в пансионе и застал едва проснувшегося героя врасплох). Иными словами, Йозеф К. — часть враждебной ему самому действительности, и это делает его "нечистым" в собственных глазах, вызывает все усиливающееся чувство вины. Оттого он не может уйти от суда, хотя суд его не держит.

Надо полагать, суд у Кафки — это и внешний мир, где угадываются черты новейшего тоталитаризма, и высшая справедливость, индивидуальный закон, который каждый создает для себя. Благодаря кафковскому феномену сращения второе значение постепенно как бы берет верх. Йозеф К. начинает не столько осматриваться, сколько всматриваться в себя. Оттого все, что его обступает, так туманно, расплывчато, капризно, метафорически-фантастично, беспросветно. Ведь и в себе он видит лишь то, что делает его сопричастным "всеобщему преступлению", чудовишной и бессмысленной организации бытия. И даже как личности ему не остается ничего, кроме стоицизма отчаяния. "Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, — думает он, — но далеко не всегда с похвальной целью. И это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямым? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, — начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили!" И Йозеф К. безропотно разрешает двум похожим на отставных актеров субъектам заколоть себя в ночной каменоломне. Сравнивая героев "Америки" и "Процесса", Кафка записал в дневник 30 сентября 1915 года: "Россман и К., невинный и виновный, в конечном счете оба равно наказанные смертью, невинный — более легкой рукой, он скорее устранен, нежели убит".

Но есть у этого романа еще один интересный аспект. Уже упоминавшийся мною Э. Канетти написал книгу под названием "Другой процесс" (1969), в которой поставил себе целью доказать, что роман насквозь автобиографичен: его основной конфликт — не что иное, как воссозданная в метафорической форме история первой из помолвок Кафки с Фелицией Бауэр и вскоре последовавшего за нею разрыва. Доводы Канетти довольно убедительны, тем более что, приводя их, он ни в малейшей мере не исключает и социальное истолкование романа. Ему лишь важно показать, что общее у Кафки никогда не выступает (да и не может выступить) в отрыве от сугубо личного.

Схемой построения "Замок" напоминает "Америку", а по духу как бы развивает и углубляет "Процесс". Его герой К. прибывает, шагая напрямик по глубокому снегу, в Деревню, подчиненную юрисдикции графа Вествеста или, точнее, юрисдикции необозримо разросшихся канцелярий графской администрации. Ибо сам граф — фигура легендарная: его никто никогда не видел и ничего не знает о нем. Цель К. — проникнуть в Замок, резиденцию графа, и получить от него право осесть в Деревне, пустить здесь корни, обрести дом, семью, службу.

Как и Карл Россман, К. является издалека в чужой ему мир. Но в отличие от Карла он не вырван насильственно из какой-то прежней жизни, а принадлежит к породе "извечных аутсайдеров, архиземigrants"*, и

*Siebenschchein H. Franz Kafka und sein Werk. — Wissenschaftliche Annalen, 1957, N^o. 12, S. 797.

даже его профессия землемера — фальшивка, фиговый листок на дрожащем нагом теле. И потом, его желание вклиниться в быт во всем послушной Замку Деревни не происходит из идеализирующих этот быт доверчивости и незнания. К. знает, с кем имеет дело. Замок — его враг, жестокий, коварный, неумолимый. К. явился ради борьбы, но борьбы не против чего-то, как то было в "Процессе", а за что-то, за свое право на жизнь в этом мире. Такое стремление не свободно от привкуса капитуляции как со стороны героя, так и со стороны автора. "Когда я проверяю себя своей конечной целью, — гласит дневниковая запись Кафки от 28 сентября 1917 года, — то оказывается, что я, в сущности, стремлюсь не к тому, чтобы стать хорошим человеком и суметь держать ответ перед каким-то высшим судом, — совсем напротив, я стремлюсь обозреть все сообщество людей и животных, познать его главные пристрастия, желания, нравственные идеалы, свести их к простым нормам жизни и в соответствии с ними самому как можно скорее стать таким, чтобы быть непременно приятным..."

Однако ни Кафке, ни его "землемеру" К. не суждено было осуществить этого. Правда, Брод свидетельствует: "Заключительную главу Кафка не написал. Но однажды — в ответ на мой вопрос, как должен кончаться роман, — рассказал следующее. Мнимый землемер получает по крайней мере частичное удовлетворение. Он не прекращает своей борьбы, однако умирает от истощения сил. У его смертного одра собирается община, и приходит решение Замка, гласящее, что, хотя от К. и не поступило соответствующее ходатайство, ему, с учетом некоторых побочных обстоятельств, разрешается жить и работать в Деревне"*⁴. Но это, если угодно, пародия на "Америку". Кто-то играл судьбою Россмана, и даже если он был "легкой рукой... отодвинут в сторону", для него это означало избавление. Но К. ведь приближался к замку и сражался с ним не затем, чтобы умереть, а чтобы жить здесь.

Кто же в первую очередь ответствен за поражение, за неудачу? Сам К. — вот ответ, лежащий на поверхности, ответ, напрашивающийся на язык. Ценою многих усилий герою, например, удалось отстоять свое право на свидание с начальником канцелярии Кламмом. Увидев у дверей деревенской гостиницы сани Кламма, К. решает дожидаться того любой ценой. Он прогуливается по двору. И тут ему начинает казаться, что, "хотя он теперь свободнее, чем прежде, и может тут, в запретном для него месте, ждать, сколько ему угодно, да и завоевал он себе эту свободу, как никто не сумел бы завоевать, и теперь его не могли тронуть или прогнать, но в то же время он с такой же силой ощущал, что не могло быть ничего бессмысленнее, ничего отчаяннее, чем эта свобода, это отчаяние, эта неуязвимость". И К. уходит... А в другой раз все в той же гостинице среди ночи К. по случайности проник в комнату мелкого чиновника Бюргеля. И тот, лежа в постели, пространно и терпеливо объясняет, как необычайно редка и как небывало велика возможность здесь и сейчас решить это дело. Но под журчание Бюргелева голоса усталый, измученный К. засыпает...

Однако что было бы, если бы герой не ушел со двора, не заснул в комнате Бюргеля? Пока К. торчал у его саней, Кламм не вышел бы во двор: лошадей ведь отпрягли, и правитель канцелярии уехал лишь после того, как назойливый проситель ретировался. И вообще, существует ли уверен-

*Brod M. Nachwort. — In: F. Kafka. Das Schloß. Hamburg, 1958, S. 313.

ность, что то были сани Кламма? Даже те, кто разговаривал с ним в замке, никогда не знали, точно ли это Кламм. Он — каждый раз иной, неопределимый, неуловимый, неопиcуемый. Замковую бюрократию не заставишь врасплох и не поймаешь на слове; она необорима именно в своей податливости: там все всем занимаются и никто ни за что не отвечает, включая собственные слова и собственные циркуляры. Что же до истории с Бюргелем, то тоже нет уверенности, не розыгрыш ли это, не шутка ли. Ибо слова Бюргеля: "... тут все возможно. Правда, бывают возможности, в каком-то отношении слишком широкие, их даже использовать трудно, есть такие дела, которые рушатся сами по себе, а не от чего-то другого", — слова эти могут быть истолкованы и так и эдак. В том числе и в смысле нежелания К. отстаивать свое право на путях нечистых и несправедливых, совсем случайных.

И герой, и автор бредут по черте заколдованного круга: Кафку в равной мере пугали и свобода, и несвобода. "Был у Баума... — писал он в дневнике 21 декабря 1910 года. — Такое ощущение, будто меня связали, и одновременно другое ощущение, будто, если бы развязали меня, было бы еще хуже". Из этой дьявольской одновременности несводимых противоречий нет выхода — даже того иллюзорного, что порой проглядывал в "Америке".

Помимо романов Кафка создал несколько десятков новелл и множество фрагментов, эскизов. Вся эта малая проза так или иначе примыкает к романам.

* * *

Хотя, как мы видели, Кафка в чем-то менялся с годами, нельзя не согласиться с К. Вагенбахом, когда он пишет: "Уже в гимназические годы сложилась основная схема его отношения к миру"* . Только понимать "схему" эту следует не как сугубо мировоззренческую, а как некий угол зрения, манеру рассматривать себя и окружающее. Именно индивидуальную художественную манеру, влиявшую на подход к жизни, на ее оценку, когда Кафка еще ничего не создал, а может быть, и не собирался становиться писателем. Сетовал же Брод, что "с Кафкой почти невозможно было разговаривать об абстрактных вещах; он мыслил образами и высказывался образами"***.

Вот одно из мест его дневника 3 августа 1917 года: "...Мне заткнули рот клепом, надели кандалы на руки и на ноги, завязали платком глаза. Несколько раз меня протаскили взад-вперед, посадили и снова положили, тоже несколько раз, дергали за ноги так, что я дыбился от боли, дали немножко полежать спокойно, а потом стали глубоко всаживать в меня что-то острое..." А в другом случае Кафка "видит", как его вешают в прихожей и потом тянут "окровавленного, растерзанного сквозь все потолки, сквозь мебель, стены и чердак..."

Все это — опредмеченные символы душевных терзаний (ведь даже о вполне физической своей болезни, туберкулезе, Кафка говорил, что "рана в легких является только символом раны, имя которой Ф.", т.е. Фелица Бауэр); и все же они не просто иносказание, во всяком случае не созна-

*Wagenbach K. Franz Kafka, S. 49.

**Brod M. Franz Kafka als wegweisende Gestalt, S. 36.

тельно употребленное скрытое сравнение душевных мук с физическими. Кафка именно *видит* свое повешение, а не измышляет его; и путешествие "сквозь все потолки" в такой момент для него не менее реально, чем бессонница или одиночество.

Он любил записывать сны. Такой, например: он едет с отцом в трамвае по Берлину, повсюду шлагбаумы и пустота. Входят в подворотню и упираются в почти отвесную стену. Отец легко взбегаеет наверх, а он карабкается, то и дело соскальзывая, по измазанной нечистотами стене. Пока он взбирался, отец успел уже нанести визит какому-то профессору Лейдену и, выйдя из дома, восхищается достоинствами знаменитости. В огромном окне видна спина человека, и Кафка боится, что ему тоже придется идти туда, чтобы выразить свое почтение. Но спина — лишь секретарь профессора. Отец говорил только с ним, однако вынес полное впечатление о значительности патрона...

Чем сон этот принципиально отличается от кафковской истории о человеке, который отправился прогуляться в парк и заблудился в зарослях, так что даже здешний сторож не знает, как его оттуда вызволить? Или от другой истории — о человеке, который собирался с друзьями за город, но проспал, и когда они вошли в его комнату, то обнаружили, что между лопатками их приятеля торчит старый рыцарский меч, им не замеченный, и когда меч из раны вытащили, крови не было, а только осталось сухое отверстие? Последняя из историй даже фантастичнее сна; но сон Кафке привиделся, истории же сочинены им.

Тут и там все вершится по законам сновидения, или, иначе, по законам кафковской прозы (ибо сон — тоже как бы "новелла"). Нет ни истинного начала, ни истинного конца, нет мотивировки поступков. Потому что нет никакого прошлого и никакого будущего, а только "сейчас" и "здесь". И то, что происходит, происходит с какой-то неизбежной непеременимостью, не вызывая и тени сомнения даже не в естественности своей, а просто в своей действительности. У Кафки никто и ничему не удивляется: и когда в комнату вползает зеленый дракон, и когда коммивояжер Грегор Замза в одно прекрасное утро превращается в насекомое, и когда чиновники замка, которым К. солгал, что он помощник якобы приглашенного ими землемера, тут же с ним соглашаются.

"Входит девушка, которую я знаю (мне кажется, ее зовут Франкель), она перелезает как раз на моем месте через ряд; когда она перелезает, видна ее спина, совершенно обнаженная, кожа не очень чистая, на правом бедре расчесанное до крови место величиной с кнопку дверного звонка" — это тоже из сна, записанного в дневнике 19 ноября 1911 года. В целом он абсурден; но этот отрывок — четок, точен, реален, если не натуралистичен. Будто увеличенный, замедленный кадр из немого кинофильма. Почти каждое произведение Кафки может быть разбито на подобные "кадры". Немыслимое, невозможное заключено в швах, в сочленениях. Суд и чердак, взятые порознь, — явления ничуть не фантастичные. Но стоит разместить канцелярии суда на чердаках, рядом с сохнувшим бельем жильцов, — и они станут чем-то угрожающим, неистребимо кошмарным.

"Для него, — вспоминала о Кафке Есенская, — жизнь являлась чем-то совершенно иным, чем для всех других людей; прежде всего для него деньги, биржа, бюро по обмену валюты, пишущая машинка — вещи абсолютно мистические (и они действительно таковы, только мы, другие, не

Библиотека-конспект № 19

им. Н. В. 17

Свердловск

видим этого), они для него удивительные загадки”*

Кафка — художник прежде всего импульсивный, пленник каких-то “ночных” экстазов. “Творчество, — признался он однажды в письме к Броду, — сладкая, чудесная награда, но за что? Этой ночью мне стало ясно... что это награда за служение дьяволу. Это нисхождение к темным силам, это высвобождение связанных в своем естественном состоянии духов, эти сомнительные обаяния и все остальное, что оседает вниз и чего не видишь наверху, когда при солнечном свете пишешь свои истории. Может быть, существует и иное творчество — я знаю только это; ночью, когда страх не дает мне спать, я знаю только это. И дьявольское в нем я вижу очень ясно”**.

От Кафки, как мы помним, не было сокрыто, что действительность способна являть себя человеку и не такой, какой она ему грезилась. И он мечтал о другом искусстве — здоровом, нормальном, цельном. Тут, надо думать, коренятся истоки его чудовищного разлада с самим собой, истоки его раздвоенности, разорванности; отсюда же происходит и радикальная неудовлетворенность почти всем им написанным. “Временное удовлетворение я еще могу получить от таких работ, как “Сельский врач”, — писал Кафка в дневнике, — при условии, что мне еще удастся что-нибудь подобное (очень маловероятно). Но счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости”.

И он начинал и бросал: один роман, другой, третий; одну новеллу, другую, шестую, пятнадцатую. Он собирался писать автобиографию и предвкушал, что такое писание “было бы большой радостью, потому что оно давалось бы так же легко, как записывание снов...”. Но разве не все у него, по сути, автобиография? Его творчество — автобиографично в смысле самом прямом, куда более буквальном, чем у любого другого художника.

Он говорил Фелице Бауэр: “У меня нет литературных интересов, я состою из литературы”***. И нет, собственно, большой разницы, отливается ли эта “литература” в роман, в новеллу, в дневниковую запись или даже в письмо. Перед нами все тот же Кафка: действительный в вымышленном и вымышленный в действительном.

Его произведения часто оставались незаконченными не потому, что его талант (так сам он считал) “незначителен”, и не потому, что он не находил истины. Любое его сочинение — это он сам, и по-настоящему поставить в таком сочинении точку способна была лишь смерть сочинителя.

Спору нет, это своего рода дилетантизм, причем исповедуемый как принцип. “Писать буду, несмотря ни на что, во что бы то ни стало — это моя борьба за самосохранение”, — отметил он 31 июля 1914 года в дневнике. Творчество — не просто способ эмансипироваться от отца, бежать от его власти, его подавляющего волю влияния. Это и единственная возможность вообще утвердиться в жизни, почувствовать себя человеком полноправным, кому-то нужным. Служба мешала творчеству, тем не менее Кафка ее не бросал. “Вы можете спросить, — писал он отцу Фелицы, своему несостоявшемуся тестю, — почему я не отказываюсь от своей службы и не пытаюсь — состояния у меня нет — жить литературным заработком. На это

*Brod M. Franz Kafka. Eine Biographie, S. 68.

**Kafka F. Briefe, S. 384—385.

***Kafka F. Briefe an Felice, S. 444.

и могу дать лишь жалкий ответ, что у меня нет сил для этого и, насколько и могу судить о своем положении, скорее погибну из-за службы..." Погибнет из-за службы, которая ему постыла, которая его терзает, но ее не бросит! Бессмыслица какая-то?! Но в том-то и дело, что нет. Единственная истинная причина, по которой Кафка не бросал службу, не мог ее бросить, написана в его письме: это нежелание становиться профессиональным литератором. Профессионализация, скорее всего, пугала Кафку тем, что как бы лишала морального права собственности на им написанное, на то, что было его сокровенным "я", от первой до последней строки его "дневником", делом всей его личности и, следовательно, тем более его личным делом. Недаром он признавался Броду, что равнодушен к вещам, уже вышедшим из-под пера: "Я уважаю лишь те мгновения, в которые их создавал!"*.

Все это может показаться сомнительным. Ведь речь идет о большом художнике, да еще подвижнике. Но я говорю сейчас не о качестве страниц, им оставленных, не об их объективном значении, определяемом сращением и разладом больного Кафки с большим миром, а о роли, которую страницы эти играли в собственной его жизни.

Сугубо индивидуальна, как бы тоже "непрофессиональна" и поэтика Кафки. Поэтому у него нет и не может быть школы, по крайней мере в обычном значении слова. Те писатели, что считаются его учениками, лишь вырывают из вопиюще противоречивой целостности его творчества некий частный прием или сухую ветку идеи. Ибо, чтобы "повторить" Кафку, нужно самому пережить его беспримерную и отчаянную трагедию самоотрицания, а не позаимствовать ее из чужих рук. Будучи позаимствованной, она неизбежно становится позой, ложью.

Кафка и сам практически не принадлежал ни к какой школе. В. Днепров, правда, пытается найти точки соприкосновения между ним и классическим реализмом прошлого века. "Гоголь, — пишет Днепров, — создал реалистическую поэтику бюрократического мира. Достоевский и Салтыков-Щедрин, а также и Кафка шли в русле, проложенном Гоголем", — но тут же и оговаривает особенность места Кафки в этом ряду: "Однако в невыносимости своего гуманного страдания, при отсутствии ответа на вопрос, отчего все так в жизни происходит, Кафка переходит границу исторического и рисует бюрократическое мироздание... Так что метафорической интерпретации поддаются не истина, а заблуждение, не сила, а слабость, не рассудок, а предрассудок писателя"***.

Дневники содержат высказывания Кафки о других писателях; о литературе он порой говорил с Бродом, с Яноухом, с Велчем, с Есенской. Но как? "Я не критик", "я плохой читатель" — нота эта звучит постоянно. Как правило, он не оценивал предшественников и современников; по большей части он лишь сравнивал их с собой и, почти всегда отдавая им преимущество, соглашался или не соглашался с ними.

Гёте был его кумиром. Ни о ком он не упоминает так часто, ни перед кем не преклоняется так открыто. Но Гёте слишком здоров для него, слишком целен, классичен, спокоен. Гёте — тоже "отец", чью власть Кафка ежеминутно ощущает, власть могучую и подавляющую, власть, которая вызывает краску стыда. И когда он находил у Гёте признаки смятения или хотя бы беспокойства, он, коленопреклоненный, испытывал

*Kafka F. Briefe, S. 191.

**Днепров В. Идеи времени и формы времени, с. 437.

нечто вроде тихого злорадства. Сходно и его отношение к Бальзаку. «На трости Бальзака, — писал он, — было начертано: "Я ломаю все преграды". На моей: "Все преграды ломают меня". Общее у нас — это словечко "все"». Путь Клейста, напротив, кажется ему похожим на собственный. И он выбирает в жизнеописаниях Клейста "кафковские" ситуации. Для самоуспокоения? в целях самозащиты? или чтобы не чувствовать так остро свое одиночество? Одиночество человеческое и писательское. То же и с Достоевским. Кафку влекло к нему, но и отталкивало. Достоевский был "злее", был борцом против овеществления, обезчеловечивания человека, против социальных обстоятельств, тому способствовавших. И как борец он сродни Бальзаку. Кафка не то чтобы "добрее" — он снисходительнее и беспомощнее. Его позиция довольно точно определяется словами "резиныция" и "турик".

Среди братьев, особенно привлекавших Кафку, был и Флобер. Ему импонировали флюберовская сухость, флюберовский прозаизм, флюберовское отвращение к громкой фразе, красочному образу. Кафку восхищал конец "Воспитания чувств", то есть фарсовый финал того, что имело все основания стать романтической драмой. Игрою густых теней ему импонировал Стриндберг. Его, может быть, самой любимой вещью был "Бедный музыкант" австрийского классика XIX века Франца Грильпарцера.

Философов он прочитывал. Но своего рода путеводителем из них был для него, кажется, только Сёрен Кьеркегор, датский теолог прошлого века, считающийся одним из предтеч экзистенциализма. Потому что и сам Кафка, философствуя, тяготел не к логическим построениям, не к законченным формулировкам, а к некоей ветхозаветной инсказательности, притчевости, метафоричности, ко всему тому, что чуждается однозначных толкований.

* * *

Однажды Кафка читал друзьям из рукописи "Замка". То были самые безысходные страницы рукописи и самые близкие, лучше всего его знавшие друзья. Но в местах, где у читавшего голос срывался от волнения, слушатели дружно смеялись. Домой Кафка ушел совершенно расстроенным. Его можно понять, но можно понять и его друзей. То, что в "Замке" изображалось, не было для них действием метафорическим, неким символом человеческого бытия, каким воспринимает его сегодняшний читатель, или инсказанием бытия личного, каким, думается, представлял это сам Кафка. Жителями Праги первых десятилетий XX века пребывание К. в Деревне, его отношения с канцеляриями Замка безошибочно прочитывались в качестве сатиры на порядки и нравы Габсбургской монархии, недавно рассыпавшейся в прах.

Как и ко всему на свете, к Кафке нужен исторический подход. В. Днепров так и поступает, когда связывает его с Гоголем, с Салтыковым-Шедринным, с Достоевским, с Диккенсом. Русский и вообще интернациональный опыт здесь естествен. Австрийский контекст, однако, еще красноречивее. Вне его Кафка куда менее понятен. Как, впрочем, и австрийская литература без Кафки. Если у него и было какое-то подобие "школы", так — в порядке исключения — лишь в Австрии, где и сегодня сохранилось кое-что от той эпохи, что его породила.

В то же время было бы неразумным "замыкать" Кафку на старой Австрии и видеть в нем не более чем критика империи, почившей в бозе еще в 1918 году. Нет, Кафка совершенно современен, как, кстати сказать, совершенно современна та австрийская литература первой половины XX века, которая, казалось бы, только тем и занималась, что мифизировала Франца-Иосифа или сводила с ним счеты. "Эта гротескная Австрия, — говорил Роберт Музилл, — ...не что иное, как особенно явственный пример новейшего мира". В этом ключе воссоздавали ее и Г. Брех, и Й. Рот, и Г. фон Гофмансталь, и Х. фон Додерер.

Но Кафка среди них занимает особое место. Его выделяют не только великий талант и бросающиеся в глаза странности, а степень актуальности им переживаемого и через переживание это воссоздаваемого. Ведь, как никто другой, он прикоснулся к трагической правде века.

Она не обошла стороной и наше общество, деформируя его, искажая наши идеалы. Оттого Кафка — союзник в нашей сегодняшней борьбе с фантомами прошлого.

Д. Затонский

ПРОЦЕСС

РОМАН



Der Prozeß

Roman

1925



Перевод *Р. Райт-Ковалевой*

© Издательство "Прогресс", 1965

Глава первая

АРЕСТ. РАЗГОВОР С ФРАУ ГРУБАХ, ПОТОМ С ФРОЙЛЯЙН БЮРСТНЕР

Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Кухарка его квартирной хозяйки фрау Грубах, ежедневно приносившая ему завтрак около восьми, на этот раз не явилась. Такого случая еще не бывало. К. немного подождал, поглядел с кровати на старуху, жившую напротив, — она смотрела на него из окна с каким-то необычным для нее любопытством — и потом, чувствуя и голод, и некоторое недоумение, позвонил. Тотчас же раздался стук, и в комнату вошел какой-то человек. К. никогда раньше в этой квартире его не видел. Он был худощав и вместе с тем крепко сбит, в хорошо пригнанном черном костюме, похожем на дорожное платье — столько на нем было разных вытачек, карманов, пряжек, пуговиц и сзади хлястик, — от этого костюм казался особенно практичным, хотя трудно было сразу сказать, для чего все это нужно.

— Вы кто такой? — спросил К. и приподнялся на кровати.

Но тот ничего не ответил, как будто его появление было в порядке вещей, и только спросил:

— Вы звонили?

— Пусть Анна принесет мне завтрак, — сказал К. и стал молча разглядывать этого человека, пытаясь прикинуть и сообразить, кто же он, в сущности, такой? Но тот не дал себя особенно рассматривать и, подойдя к двери, немного приоткрыл ее и сказал кому-то, очевидно стоявшему тут же, за порогом:

— Он хочет, чтобы Анна подала ему завтрак.

Из соседней комнаты послышался короткий смешок; по звуку трудно было угадать, один там человек или их несколько. И хотя незнакомец явно не мог услышать ничего для себя нового, он заявил К. официальным тоном:

— Это не положено!

— Вот еще новости! — сказал К., соскочил с кровати и торопливо натянул брюки. — Сейчас взгляну, что там за люди в соседней комнате. Посмотрим, как фрау Грубах объяснит это вторжение.

Правда, он тут же подумал, что не стоило высказывать свои мысли

вслух, — выходило так, будто этими словами он в какой-то мере признает за незнакомцем право надзора; впрочем, сейчас это было неважно. Но видно, незнакомец так его и понял, потому что сразу сказал:

— Может быть, вам лучше остаться тут?

— И не останусь, и разговаривать с вами не желаю, пока вы не скажете, кто вы такой.

— Зря обижаетесь, — сказал незнакомец и сам открыл дверь.

В соседней комнате, куда К. прошел медленнее, чем ему того хотелось, на первый взгляд со вчерашнего вечера почти ничего не изменилось. Это была гостиная фрау Грубах, загроможденная мебелью, коврами, фарфором и фотографиями; пожалуй, в ней сейчас стало немного просторнее, хотя это не сразу было заметно, тем более что главная перемена заключалась в том, что там находился какой-то человек. Он сидел с книгой у открытого окна и сейчас, подняв глаза, сказал:

— Вам следовало остаться у себя в комнате! Разве Франц вам ничего не говорил?

— Да что вам, наконец, нужно? — спросил К., переводя взгляд с нового посетителя на того, кого называли Франц (он стоял в дверях), и снова на первого. В открытое окно видна была та старуха: в припадке старческого любопытства она уже перебежала к другому окну — посмотреть, что будет дальше.

— Вот сейчас я спрошу фрау Грубах, — сказал К. И хотя он стоял поодаль от тех двоих, но сделал движение, словно хотел вырваться у них из рук, и уже пошел было из комнаты.

— Нет, — сказал человек у окна, бросил книжку на стол и встал: — Вам нельзя уходить. Ведь вы арестованы.

— Похоже на то, — сказал К. и добавил: — А за что?

— Мы не уполномочены давать объяснения. Идите в свою комнату и ждите. Начало вашему делу положено, и в надлежащее время вы все узнаете. Я и так нарушаю свои полномочия, разговаривая с вами по-дружески. Но надеюсь, что, кроме Франца, никто нас не слышит, а он и сам вопреки всем предписаниям слишком любезен с вами. Если вам и дальше так повезет, как повезло с назначением стражи, то может быть спокойны.

К. хотел было сесть, но увидел, что в комнате, кроме кресла у окна, сидеть не на чем.

— Вы еще поймете, какие это верные слова, — сказал Франц, и вдруг оба сразу подступили к нему.

Второй был много выше ростом, чем К. Он все похлопывал его по плечу. Они стали ощупывать ночную рубашку К., приговаривая, что теперь ему придется надеть рубаху куда хуже, но эту рубашку и все остальное его белье они приберегут, и, если дело обернется в его пользу, ему все отдадут обратно.

— Лучше отдайте вещи нам, чем на склад, — говорили они. — На складе вещи подменяют, а кроме того, через некоторое время все вещи распродадут — все равно, окончилось дело или нет. А вы знаете, как долго тянутся такие процессы, особенно в нынешнее время! Конечно, склад вам в конце концов вернет стоимость вещей, но, во-первых, сама по себе сумма ничтожная, потому что при распродаже цену вещей назначают не по их стоимости, а за взятки, да и вырученные деньги тают, они ведь что ни год переходят из рук в руки.

Но К. даже не слушал, что ему говорят, ему не важно было, кто получает право распоряжаться его личными вещами, как будто еще принадле-

жизни ему; гораздо важнее было уяснить свое положение; но в присутствии этих людей он даже думать как следует не мог: второй страж — кто же они были, как не стражи? — все время толкал его, как будто дружески, толстым животом, но когда К. подымал глаза, он видел совершенно не соответствующее этому толстому туловищу худое, костлявое лицо с крупным, свернутым набок носом и перехватывал взгляд, которым этот человек обменивался через его голову со своим товарищем. Кто же эти люди? О чем они говорят? Из какого они ведомства? Ведь К. живет в правовом государстве, всюду царит мир, все законы незыблемы, кто же смеет нападать на него в его собственном жилище? Всегда он был склонен относиться ко всему чрезвычайно легко, признавался, что дело плохо, только когда действительно становилось очень плохо, и привык ничего не предпринимать заранее, даже если надвигалась угроза. Но сейчас ему показалось, что это неправильно, хотя все происходящее можно было почесть и за шутку, грубую шутку, которую неизвестно почему — может быть, потому, что сегодня ему исполнилось тридцать лет? — решили с ним сыграть коллеги по банку. Да, конечно, это вполне вероятно; по-видимому, следовало бы просто рассмеяться в лицо этим стражам, и они рассмеялись бы вместе с ним; а может, это просто рассильные, вполне похуже, но почему же тогда при первом взгляде на Франца он твердо решил ни в чем не уступать этим людям? Меньше всего К. боялся, что его потом **упрекнут в непонимании шуток**, зато он отлично помнил — хотя обычно с прошлым опытом и не считался — некоторые случаи, сами по себе незначительные, когда он в отличие от своих друзей сознательно пренебрегал возможными последствиями и вел себя крайне необдуманно и неосторожно, за что и расплачивался полностью. Больше этого с ним повториться не должно, хотя бы теперь, а если это комедия, то он им подыграет. Но пока что он еще свободен.

— Позвольте, — сказал он и быстро прошел мимо них в свою комнату.

— Видно, разумный малый, — услышал он за спиной.

В комнате он тотчас же стал выдвигать ящики стола; там был образцовый порядок, но удостоверение личности, которое он искал, он от волнения никак найти не мог. Наконец он нашел удостоверение на велосипед и уже хотел идти с ним к стражам, но потом эта бумажка показалась ему неубедительной, и он снова стал искать, пока не нашел свою метрику.

Когда он возвратился в соседнюю комнату, дверь напротив открылась и вышла фрау Грубах. Но, увидев К., она остановилась в дверях, явно смутившись, извинилась и очень осторожно прикрыла двери.

— Входите же! — только и успел сказать К.

Сам он так и остался стоять посреди комнаты с бумагами в руках, глядя на дверь, которая не открывалась, и только возглас стражей заставил его вздрогнуть, — они сидели за столиком у открытого окна, и К. увидел, что они поглощают его завтрак.

— Почему она не вошла? — спросил он.

— Не разрешено, — сказал высокий. — Ведь вы арестованы.

— То есть как арестован? Разве это так делается?

— Опять вы за свое, — сказал тот и обмакнул хлеб в баночку с медом. — Мы на такие вопросы не отвечаем.

— Придется ответить, — сказал К. — Вот мои документы, а вы предъявите свои, и первым делом — ордер на арест.

— Господи, твоя воля! — сказал высокий. — Почему вы никак не можете примириться со своим положением? Нет, вам непременно надо злить

нас, и совершенно зря, ведь мы вам сейчас самые близкие люди на свете!

— Вот именно, — сказал Франц, — можете мне верить. — И он посмотрел на К. долгим и, должно быть, многозначительным, но непонятым взглядом поверх чашки с кофе, которую держал в руке.

Сам того не желая, К. ответил Францу таким же выразительным взглядом, но тут же хлопнул по своим документам и сказал:

— Вот мои бумаги.

— Да какое нам до них дело! — крикнул высокий. — Право, вы ведете себя хуже ребенка. Чего вы хотите? Неужто вы думаете, что ваш огромный, страшный процесс закончится скорее, если вы станете спорить с нами, с вашей охраной, о всяких документах, об ордерах на арест? Мы — низшие чины, мы и в документах почти ничего не смыслим, наше дело — стеречь вас ежедневно по десять часов и получать за это жалованье. К этому мы и приставлены, хотя, конечно, мы вполне можем понять, что высшие власти, которым мы подчиняемся, прежде чем отдать распоряжение об аресте, точно устанавливают и причину ареста, и личность арестованного. Тут ошибок не бывает. Наше ведомство — насколько оно мне знакомо, хотя мне там знакомы только низшие чины, — никогда, по моим сведениям, само среди населения виновных не ищет: вина, как сказано в законе, сама притягивает к себе правосудие, и тогда властям приходится посылать нас, то есть стражу. Таков закон. Где же тут могут быть ошибки?

— Не знаю я такого закона, — сказал К.

— Тем хуже для вас, — сказал высокий.

— Да он и существует только у вас в голове, — сказал К. Ему очень хотелось как-нибудь проникнуть в мысли стражей, изменить их в свою пользу или самому проникнуться этими мыслями. Но высокий только отрывисто сказал:

— Вы его почувствуете на себе.

Тут вмешался Франц:

— Вот видишь, Виллем, он признался, что не знает закона, а сам при этом утверждает, что невиновен.

— Ты совершенно прав, но ему ничего не объяснишь, — сказал тот.

К. больше не стал с ними разговаривать; неужели, подумал он, я дам сбить себя с толку болтовней этих низших чинов — они сами так себя называют. И говорят они о вещах, в которых совсем ничего не смыслят. А самоуверенность у них просто от глупости. Стоит мне обменяться хотя бы двумя-тремя словами с человеком моего круга, и все станет несравненно понятнее, чем длиннейшие разговоры с этими двумя. Он прошелся несколько раз по комнате, увидел, что старуха напротив уже притащила к окну еще более древнего старика и стоит с ним в обнимку. Надо было прекратить это зрелище.

— Проведите меня к вашему начальству, — сказал он.

— Не раньше, чем начальству будет угодно, — сказал страж, которого звали Виллем. — А теперь, — добавил он, — я вам советую пройти к себе в комнату и спокойно дожидаться, что с вами решат сделать. И наш вам совет: не расходуйте силы на бесполезные рассуждения, лучше соберитесь с мыслями, потому что к вам предъявят большие требования. Вы отнеслись к нам не так, как мы заслужили своим обращением, вы забыли, что, кем бы мы ни были, мы, по крайней мере по сравнению с вами, люди свободные, а это немалое преимущество. Однако, если у вас есть деньги, мы готовы принести вам завтрак из кафе напротив.

К. немного постоял, но на это предложение ничего не ответил. Может

быть, если он откроет дверь в соседнюю комнату или даже в прихожую, эти двое не посмеют его остановить; может быть, самое простое решение — пойти напролом? Но ведь они могут его схватить, а если он потерпит такое унижение, тогда пропадет его превосходство над ними, которое он в некотором отношении еще сохранил. Нет, лучше дожидаться развязки — она должна прийти сама собой, в естественном ходе вещей; поэтому К. прошел к себе в комнату, не обменявшись больше со стражами ни единым словом.

Он бросился на кровать и взял с умывальника прекрасное яблоко — он припас его на завтрак еще с вечера. Другого завтрака у него сейчас не было, и, откусив большой кусок, он уверил себя, что это куда лучше, чем завтрак из грязного ночного кафе напротив, который он мог бы получить по милости своей стражи. Он чувствовал себя хорошо и уверенно; правда, он на полдня опаздывал в банк, где служил, но при той сравнительно высокой должности, какую он занимал, ему простят это опоздание. Не привести ли в оправдание истинную причину? Он так и решил сделать. Если же ему не поверят, чему он несколько не удивится, то он сможет сослаться на фрау Грубах или на тех стариков напротив — сейчас они, наверно, уже переходят к другому своему окошку. К. был удивлен, впервые, он удивлялся, становясь на точку зрения стражи: как это они прогнали его в другую комнату и оставили одного там, где он мог десятком способов покончить с собой? Однако он тут же подумал, уже со своей точки зрения: какая же причина могла бы его на это толкнуть? Неужели то, что рядом сидят двое и поедают его завтрак? Покончить с собой было бы настолько бессмысленно, что при всем желании он не мог бы совершить такой бессмысленный поступок. И если бы умственная ограниченность этих стражей не была столь очевидна, то можно было бы предположить, что и они пришли к такому же выводу и поэтому не видят никакой опасности в том, что оставили его одного. Пусть бы теперь посмотрели, если им угодно, как он подходит к стенному шкафчику, где спрятан отличный коньяк, опрокидывает первую рюмку взамен завтрака, а потом и вторую — для храбрости, на тот случай, если храбрость понадобится, что, впрочем, маловероятно.

Но тут он так испугался окрика из соседней комнаты, что зубы лязгнули о стекло.

— Вас вызывают к инспектору! — крикнули оттуда.

Его напугал именно крик, этот короткий, отрывистый солдатский окрик, какого он никак не ожидал от Франца. Сам же приказ его очень обрадовал.

— Наконец-то! — крикнул он, запер стенной шкафчик и побежал в гостиную. Но там его встретили оба стража и сразу, будто так было нужно, нагнали обратно в его комнату.

— Вы с ума сошли! — крикнули они. — В рубаше идти к инспектору! Он и вас прикажет высечь, и нас тоже!

— Пустите меня, черт побери! — крикнул К., которого уже оттеснили к самому гардеробу. — Напали на человека в кровати, да еще ждут, что он будет во фраке!

— Ничего не поделаешь! — сказали оба; всякий раз, когда К. подымал крик, они становились не только совсем спокойными, но даже какими-то грустными, что очень сбивало его с толку, но отчасти и успокаивало.

— Смешные церемонии! — буркнул он, но сам уже снял пиджак со

стула и подержал в руках, словно предоставляя стражам решать, подходить ли он.

Те покачали головой.

— Нужен черный сюртук, — сказали они.

К. бросил пиджак на пол и сказал, сам не зная, в каком смысле он это говорит:

— Но ведь дело сейчас не слушается?

Стражи ухмыльнулись, но упрямо повторили:

— Нужен черный сюртук.

— Что ж, если этим можно ускорить дело, я не возражаю, — сказал К., сам открыл шкаф, долго рылся в своей многочисленной одежде, выбрал лучшую черную пару — она сидела так ловко, что вызывала прямо-таки восхищение знакомых, — достал свежую рубашку и стал одеваться со всей тщательностью. Втайне он подумал, что больше задержек не будет — стража забыла даже заставить его принять ванну. Он следил за ними — а вдруг они все-таки вспомнят, но им, разумеется, и в голову это не пришло, хотя Виллем не забыл послать Франца к инспектору доложить, что К. уже одевается.

Когда он оделся окончательно, Виллем, идя за ним по пятам, провел его через пустую гостиную в следующую комнату, куда уже широко распахнули двери. К. знал точно, что в этой комнате недавно поселилась некая фройляйн Бюрстнер, машинистка; она очень рано уходила на работу, поздно возвращалась домой, и К. только обменивался с ней обычными приветствиями. Теперь ее ночной столик был выдвинут для допроса на середину комнаты, и за ним сидел инспектор. Он скрестил ноги и закинул одну руку на спинку стула.

В углу комнаты стояли трое молодых людей — они разглядывали фотографии фройляйн Бюрстнер, воткнутые в плетеную циновку на стене. На ручке открытого окна висела белая блузка. В окно напротив уже высунулись те же старики, но зрителей там прибавилось: за их спинами возвышался огромный мужчина в раскрытой на груди рубашке, который все время крутил и вертел свою рыжеватую бородку.

— Йозеф К.? — спросил инспектор, должно быть, только для того, чтобы обратить на себя рассеянный взгляд К.

К. наклонил голову.

— Должно быть, вас очень удивили события сегодняшнего утра? — спросил инспектор и обеими руками пододвинул к себе немногие вещи, лежавшие на столике, — свечу со спичками, книжку, подушечку для булавок, как будто эти предметы были ему необходимы при опросе.

— Конечно, — сказал К., и его охватило приятное чувство: наконец перед ним разумный человек, с которым можно поговорить о своих делах. — Конечно, я удивлен, но, впрочем, и не очень удивлен.

— Не очень? — переспросил инспектор и, передвинув свечу на середину столика, начал расставлять вокруг нее остальные вещи.

— Возможно, что вы не так меня поняли, — заторопился К. — Я только хотел сказать... — Тут он осекся и стал искать, куда бы ему сесть. — Мне можно сесть? — спросил он.

— Это не полагается, — ответил инспектор.

— Я только хотел сказать, — продолжал К. без задержки, — что я, конечно, очень удивлен, но когда проживешь тридцать лет на свете, да еще если пришлось самому пробиваться в жизни, как приходилось мне, то поневоле привыкаешь ко всяким неожиданностям и не принимаешь их

слишком близко к сердцу. Особенно такие, как сегодня.

— Почему особенно такие, как сегодня?

— Нет, я не говорю, что все считаю шуткой, по-моему, для шутки это слишком далеко зашло. Очевидно, в этом принимали участие все обитатели пансиона, да и все вы, а это уже переходит границы шутки. Так что не думаю, чтоб это была просто шутка.

— И правильно, — сказал инспектор и посмотрел, сколько спичек осталось в коробке.

— Но, с другой стороны, — продолжал К., обращаясь ко всем присутствующим — ему хотелось привлечь внимание и тех троих, рассматривавших фотографии, — с другой стороны, особого значения все это иметь не может. Вывожу я это из того, что меня в чем-то обвиняют, но ни малейшей вины я за собой не чувствую. Но и это не имеет значения, главный вопрос — кто меня обвиняет? Какое ведомство ведет дело? Вы чиновники? Но на вас нет формы, если только ваш костюм, — тут он обратился к Францу, — не считать формой, но ведь это, скорее, дорожное платье. Вот в этом вопросе я требую ясности, и я уверен, что после выяснения мы все расстанемся друзьями.

Тут инспектор со стуком положил спичечный коробок на стол.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал он. — И эти господа, и я сам — все мы никакого касательства к вашему делу не имеем. Больше того, мы о нем почти ничего не знаем. Мы могли бы носить самую настоящую форму, и ваше дело от этого ничуть не ухудшилось бы. Я даже не могу вам сказать, что вы в чем-то обвиняетесь, вернее, мне об этом ничего не известно. Да, вы арестованы, это верно, но больше я ничего не знаю. Может быть, вам стража чего-нибудь наболтала, но все это пустая болтовня. И хотя я не отвечаю на ваши вопросы, но могу вам посоветовать одно: поменьше думайте о нас и о том, что вас ждет, думайте лучше, как вам быть. И не кричите вы так о своей невинности, это нарушает то, в общем неплохое, впечатление, которое вы производите. Вообще вам надо быть сдержаннее в разговорах. Все, что вы тут наговорили, и без того было ясно из вашего поведения, даже если бы вы произнесли только два слова, а кроме того, все это вам на пользу не идет.

К. в недоумении смотрел на инспектора. Его отчитывают, как школьника, и кто же? Человек, который, вероятно, моложе его! За откровенность ему приходится выслушивать выговор! А о причине ареста, о том, кто велел его арестовать, — ни слова! Он даже разволновался, стал ходить взад и вперед по комнате, чему никто не препятствовал. Сдвинул под рукав манжеты, поправил манишку, пригладил волосы, сказал, проходя мимо трех молодых людей: "Какая бессмыслица!", на что те обернулись к нему и сочувственно, хотя и строго, посмотрели на него, и наконец остановился перед столиком инспектора.

— Прокурор Гастерер — мой давний друг, — сказал он. — Можно мне позвонить ему?

— Конечно, — ответил инспектор, — но я не знаю, какой в этом смысл, разве что вам надо переговорить с ним по личному делу.

— Какой смысл? — воскликнул К. скорее озадаченно, чем сердито. — Да кто вы такой? Ищете смысл, а творите такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят! Сначала эти господа на меня напали, а теперь расселись, стоят и глазеют всем скопом, как я пляшу под вашу дудку. И еще спрашиваете, какой смысл звонить прокурору, когда мне сказано, что я арестован! Хорошо, я не буду звонить!

— Отчего же? — сказал инспектор и повел рукой в сторону передней, где висел телефон. — Звоните, пожалуйста!

— Нет, теперь я сам не хочу, — сказал К. и подошел к окну.

Вся компания еще стояла у окна напротив, но то, что К. подошел к окну, нарушило их спокойное созерцание. Старики хотели было встать, но мужчина, стоявший сзади, успокоил их.

— А эти там тоже глазают! — громко крикнул К. инспектору и ткнул пальцем в окно. — Убирайтесь оттуда! — закричал он в окошко.

Те трое сразу отступили вглубь, старики даже спрятались за соседа, прикрывшего их своим большим телом, и по его губам было видно, как он им что-то говорил, но издали трудно было разобрать слова. Однако они не ушли совсем, а словно выжидали минуту, когда можно будет незаметно опять подойти к окну.

— Какая назойливость, какая бесцеремонность! — сказал К., отходя от окна.

Инспектор как будто с ним согласился, по крайней мере так показалось К., когда он искоса на него взглянул. Впрочем, возможно, что тот и не слушал, потому что он плотно прижал ладонь к столу и как будто сравнивал длину своих пальцев. Оба стража сидели на сундуке, прикрытом для красоты ковриком, и потирали колени. Трое молодых людей, уперев руки в бока, бесцельно смотрели по сторонам. Было тихо, словно в какой-нибудь опустевшей конторе.

— Ну-с, господа! — воскликнул К., и ему показалось, что он отвечает за них за всех. — По вашему виду можно заключить, что мое дело исчерпано. Я склонен считать, что лучше всего не разбираться, оправданны или неоправданны ваши поступки, и мирно разойтись, обменявшись дружеским рукопожатием. Если вы со мной согласны, то прошу вас... — И, подойдя к столу инспектора, он протянул ему руку.

Инспектор поднял глаза и, покусывая губы, посмотрел на протянутую руку. К. подумал, что он ее сейчас пожмет. Но тот встал, взял круглую жесткую шляпу, лежавшую на постели фройляйн Бюрстнер, и осторожно, обеими руками, как меряют обычно новые шляпы, надел ее на голову.

— Как просто вы все себе представляете! — сказал он К. — Значит, по-вашему, нам надо мирно разойтись? Нет, нет, так не выйдет. Но я вовсе не хочу сказать, что вы должны впасть в отчаяние. Нет, зачем же! Ведь вы только арестованы, больше ничего. Что я и должен был вам сообщить, сообщил и видел, как вы это приняли. На сегодня хватит, и мы можем попрощаться — правда, только на время. Вероятно, вы захотите сейчас отправиться в банк?

— В банк? — спросил К. — Но я думал, что меня арестовали!

К. сказал это с некоторым вызовом: несмотря на то что его рукопожатие отвергли, он чувствовал, особенно когда инспектор встал, что он все меньше зависит от этих людей. Он с ними играл. Он даже решил, если они уйдут, побежать за ними до ворот и предложить, чтобы они его арестовали. Поэтому он и повторил:

— Как же я могу пойти в банк, раз я арестован?

— Вот оно что! — сказал инспектор уже от дверей. — Значит, вы меня не поняли. Да, конечно, вы арестованы, но это не должно помешать выполнению ваших обязанностей. И вообще вам это не должно мешать вести обычную жизнь...

— Ну, тогда этот арест вовсе не так страшен, — сказал К. и подошел

плотную к инспектору.

А я иначе и не думал, — сказал тот.

Тогда и сообщать об аресте, пожалуй, не стоило, — сказал К. и пошел совсем вплотную.

Остальные тоже подошли к ним. Все столпились у самой двери.

Это была моя обязанность, — сказал инспектор.

— Глупейшая обязанность, — не сдаваясь, сказал К.

— Возможно, — сказал инспектор, — но не стоит терять время на такие разговоры. Я предположил, что вы хотите пойти в банк. Так как вы каждому слову придаете значение, добавлю: я вас не заставляю идти в банк, я только предположил, что вы этого хотите. И чтобы облегчить вам этот шаг и сделать ваш приход по возможности незаметным, я и предоставил в ваше распоряжение этих трех господ, ваших коллег.

— Что? — крикнул К. и уставился на трех молодых людей.

Эти ничем не приметные худосочные юнцы, которых он воспринимал до сих пор только как посторонних людей, глазающих на фотографии, действительно были чиновники из его банка; не коллеги — это было слишком сильно сказано и доказывало, что всеведущий инспектор знает далеко не все, — но действительно это были низшие служащие из его банка. И как это К. мог их не узнать? Насколько же он был занят разговором с инспектором и стражей, что не узнал этих троих! Суховатого Рабенштейнера, вечно размахивающего руками белокурого Куллиха с запавшими глазами и Каминера с его невыносимой улыбкой из-за хронически перекосенных мускулов лица.

— С добрым утром! — сказал К. минуту спустя, и все трое с корректным поклоном пожали протянутую руку. — Совсем вас не узнал. Значит, теперь отправимся вместе на работу?

Все трое с готовностью заулыбались и закивали, словно только этого и ждали, а когда К. не нашел своей шляпы — она осталась в его комнате, — они все гуськом побежали туда, что, разумеется, указывало на некоторую растерянность. К. стоял и смотрел им вслед через обе открытые двери; последним, конечно, бежал равнодушный Рабенштейнер, он просто трусил элегантной рысцой. Каминер подал шляпу, и К. должен был напомнить самому себе, как часто бывало и в банке, что Каминер улыбается не нарочно, больше того, что улыбнуться нарочно он не может.

Фрау Грубах, у которой вид был вовсе не виноватый, отперла двери в прихожей перед всей компанией, и К. по привычке взглянул на завязки фартука, которые слишком глубоко врезались в ее мощный стан. На улице К. поглядел на часы и решил взять такси, чтобы не затягивать еще больше получасовое опоздание. Каминер побежал на угол за такси, а оба других сослуживца явно пытались развлечь К. И вдруг Куллик показал на парадное в доме напротив, откуда только что вышел высокий человек со светлой бородкой и, несколько смущенный тем, что его видно во весь рост, отступил назад и прислонился к стенке. Очевидно, старики еще спускались по лестнице. К. рассердился на Куллика за то, что тот обратил его внимание на этого мужчину; он же сам видел его еще тогда, у окна, более того, он ждал, что тот выйдет.

— Не смотрите туда! — отрывисто бросил он, не замечая, насколько неуместен такой тон по отношению к взрослым людям.

Но объяснять ничего не пришлось, потому что подошел автомобиль, все уселись и поехали. Только тут К. спохватился, что он совершенно не заметил, как ушел инспектор со стражей: раньше из-за инспектора он

не видел троих чиновников, а теперь из-за чиновников прозевал инспектора. Об особом присутствии духа это не свидетельствовало, и К. твердо решил последить за собой в этом отношении.

Но он невольно обернулся и высунулся из такси, чтобы проверить еще раз, там ли инспектор со стражей или нет. Однако он тут же повернулся назад и удобно откинулся в угол, даже не посмотрев, там ли они. Хотя он и не показывал виду, но именно сейчас ему хотелось бы с кем-нибудь заговорить. Но его спутники явно устали: Рабенштейнер смотрел направо, Култих — налево, и только Каминер как будто был готов к разговору, со своей вечной ухмылкой, над которой, к сожалению, нельзя было подтрунить из простого человеколюбия.

Этой весной К. большей частью проводил вечера так: после работы, если еще оставалось время — чаще всего он сидел в конторе до девяти, — он прогуливался один или с кем-нибудь из сослуживцев, а потом заходил в пивную, где обычно просиживал с компанией пожилых господ за их постоянным столом часов до одиннадцати. Бывали и нарушения этого расписания, например когда директор банка, очень ценивший К. за его работоспособность и надежность, приглашал его покататься в автомобиле или поужинать на даче. Кроме того, К. раз в неделю посещал одну барышню, по имени Эльза, которая всю ночь до утра работала кельнершей в ресторане, а днем принимала гостей исключительно в постели.

Но в этот вечер — весь день пролетел незаметно в напряженной работе и во всяких лестных и дружественных поздравлениях с днем рождения — К. решил сразу пойти домой. Каждый раз в перерывах между работой он об этом думал; неизвестно почему, ему все время казалось, что из-за утренних событий во всей квартире фрау Грубах царит ужасный хаос и что именно он должен навести там порядок. А раз порядок будет восстановлен, то все следы утренних событий исчезнут и все пойдет по-прежнему. Опасаться тех трех чиновников, конечно, было нечего: они растворились в огромной массе банковских служащих, и по ним ничего заметно не было. К. несколько раз, и вместе и поодиночке, вызывал их к себе с единственной целью — понаблюдать за ними, и каждый раз он отпускал их вполне удовлетворенный.

Когда он в половине десятого подошел к своему дому, он встретил в подъезде молодого парня, который стоял, широко расставив ноги, с трубкой в зубах.

— Вы кто такой? — сразу спросил К. и надвинулся на парня; в полутемном подъезде трудно было что-либо разглядеть.

— Я сын швейцара, ваша честь, — сказал парень, вынул трубку из рта и отступил в сторону.

— Сын швейцара? — переспросил К. и нетерпеливо постучал палкой об пол.

— Может быть, вам что-нибудь угодно? Прикажете позвать отца?

— Нет, нет, — сказал К., и в голосе его послышалось что-то похожее на снисхождение, словно парень натворил бед, а он его простил. — Все в порядке, — добавил он и пошел дальше, но, прежде чем подняться на лестницу, еще раз оглянулся.

Он мог бы пройти прямо к себе в комнату, но, так как ему надо было поговорить с фрау Грубах, он сразу постучался к ней. Она сидела с чулком в руках у стола, на котором лежала еще груда старых чулок. К. рассеянно извинился, что зашел так поздно, но фрау Грубах была с ним очень

принистлива и никаких извинений слушать не захотела; для него она всегда дома, он отлично знает, что из всех ее квартирантов он самый лучший, самый любимый. К. оглядел комнату: все было на старом месте, посуда от завтрака, стоявшая утром на столике у окна, тоже была убрана. Женские руки все могут сделать незаметно, подумал он; сам он, наверно, скорее перебил бы всю посуду, но, уж конечно, не сумел бы унести ее отсюда. С благодарностью он посмотрел на фрау Грубах.

Почему вы так поздно работаете? — спросил он.

Теперь они оба сидели у стола, и К. время от времени ворошил рукой груду чулок.

— Работы много, — сказала она. — Весь день уходит на квартирантов; и приводить свои вещи в порядок я могу только по вечерам.

— Сегодня я, наверно, доставил вам много лишних хлопот?

— Чем же это? — спросила она, оживившись, и опустила чулок на колени.

— Я про тех людей, которые приходили утром.

— Ах, вот оно что, — сказала она прежним спокойным голосом. — Нет, никаких особых хлопот тут не было.

К. молча смотрел, как она снова взялась за чулок. Кажется, она удивлена, что я об этом заговорил, подумал он, кажется, она считает неправильным, что я об этом заговорил. Тем важнее все ей высказать. Только с таким старым человеком я не могу об этом поговорить.

— Ну как же, — сказал он вслух, — хлопот вам они, конечно, доставили немало. Но больше это не случится!

— Да, больше такое случиться не может, — подтвердила она и взглянула на К. с немного грустной улыбкой.

— Вы серьезно так думаете? — спросил К.

— Да, — сказала она тихо. — Но главное — вы не должны принимать все это близко к сердцу. Чего только на свете не бывает! И уж раз вы со мной так откровенно заговорили, господин К., то могу вам признаться: и кое-что подслушала под дверь, да и стража мне немножко рассказала. Ведь речь идет о вашей судьбе, и я за вас душой болею, хоть, может быть, мне это и не пристало, ведь я вам всего лишь квартирная хозяйка. Так вот, я кое-что слышала и не могу сказать, что все так плохо. Нет, нет. Правда, вы арестованы, но не так, как арестовывают воров. Когда арестовывают вора, дело плохо, а вот ваш арест... мне кажется, в нем есть что-то научное. Вы уж меня простите, если я говорю глупости, но, мне кажется, тут, безусловно, есть что-то научное. Я, правда, мало что понимаю, но, наверно, тут и понимать не следует.

— Вовсе это не глупости, фрау Грубах, по крайней мере я с вами отчасти согласен. Правда, я сужу об этом гораздо строже, чем вы, для меня тут не только ничего научного нет, но и вообще за всем этим нет ничего. На меня напали врасплох, вот и все. Если бы я встал с постели, как только проснулся, не растерялся бы оттого, что не пришла Анна, не обратил бы внимания, попался мне кто навстречу или нет, а сразу пошел бы к вам и на этот раз в виде исключения позавтракал бы на кухне, а вас попросил бы принести мое платье из комнаты, тогда ничего и не произошло бы, все, что потом случилось, было бы задушено в корне. Но в таких делах человек легко попадает впросак. Вот, например, в банке я ко всему подготовлен, там ничего подобного со мной случиться не могло бы, там у меня свой курьер, на столе стоит городской и внутренний телефон, все время заходят люди — и служащие и клиенты, да кроме того, я там все время

связан с работой, во всем отдаю себе отчет, там такая история мне просто доставила бы удовольствие. Ну, ничего, теперь все кончилось. Собственно говоря, мне даже не хотелось об этом говорить, надо было только услышать ваше мнение, мнение разумной женщины, и я чрезвычайно рад, что мы во всем с вами сошлись. А теперь давайте руку, такое единодушие надо скрепить рукопожатием.

Интересно, подаст она мне руку или нет? Инспектор мне руки не подал, подумал он и посмотрел на хозяйку долгим, испытующим взглядом. Она встала, потому что встал он, слегка смущенная тем, что не все слова К. ей были понятны. И от смущения она сказала вовсе не то, что хотела и что было совсем уж неуместно.

— Не принимайте все так близко к сердцу, господин К., — сказала она со слезами в голосе, но пожать ему руку забыла.

— Да я как будто и не принимаю, — сказал К., чувствуя внезапную усталость и поняв, насколько ему не нужно сочувствие этой женщины.

У двери он еще спросил:

— А фройляйн Бюрстнер дома?

— Нет, — сказала фрау Грубах и смягчила сухой ответ запоздалой, участливой и понимающей улыбкой. — Она в театре. А вам она нужна? Может быть, передать ей что-нибудь?

— Нет, мне просто хотелось сказать ей несколько слов.

— К сожалению, я не знаю, когда она вернется. Обычно она возвращается из театра довольно поздно.

— Это неважно, — сказал К. и, опустив голову, пошел к двери. — Я только хотел извиниться, что сегодня пришлось воспользоваться ее комнатой.

— Не стоит, господин К., вы слишком щепетильны, ведь барышня ничего об этом не знает, ее с самого утра дома не было, да там все уже убрано, посмотрите сами. — И она открыла дверь в комнату фройляйн Бюрстнер.

— Не надо, я вам и так верю, — сказал К., но все же подошел к открытой двери. Луна спокойно освещала темную комнату. Насколько можно было разобрать, все действительно стояло на месте, даже блузка уже не висела на оконной ручке. Постель казалась особенно высокой в косой полосе лунного света.

— Барышня часто приходит поздно, — сказал К. и посмотрел на фрау Грубах, как будто она за это отвечала.

— Молодежь, что поделаешь! — сказала фрау Грубах, словно извиняясь.

— Да, да, конечно, — сказал К. — Но это может зайти слишком далеко.

— О да, конечно! — сказала фрау Грубах. — Вы совершенно правы, господин К. Может быть, и в данном случае вы тоже правы. Не хочу сплетничать про фройляйн Бюрстнер, она хорошая, славная девушка, такая приветливая, аккуратная, исполнительная, трудолюбивая, я все это очень ценю, но одно верно: надо бы ей больше гордости, больше сдержанности. А в этом месяце я уже два раза видела ее в глухих переулках, и каждый раз с другим кавалером. Очень мне это неприятно, господин К. Клянусь богом, я рассказываю это только вам одному, но, как видно, придется и с самой барышней поговорить. Да и не одно это вызывает у меня подозрения.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал К. сердито, с трудом скры-

нии раздражение, — и вообще вы неверно истолковали мои слова про барышню, я совсем не то хотел сказать. Искренне советую вам ничего ей не говорить. Вы глубоко заблуждаетесь, я ее знаю очень хорошо, и все, что вы говорите, неправда! Впрочем, может быть, я слишком много беру на себя, зачем мне вмешиваться, говорите ей, что хотите. Спокойной ночи!

— Господин К.! — умоляюще сказала фрау Грубах и побежала за К. до самой его двери, которую он уже приоткрыл. — Да я вовсе и не собираюсь сейчас говорить с барышней, конечно, я сначала должна еще понаблюдать за ней, ведь я только вам доверила то, что я знаю. В конце концов каждый жилец заинтересован, чтобы в пансионе все было чисто, а я только к этому и стремлюсь!

— Ах, чисто! — крикнул К. уже в щелку двери. — Ну, если вы хотите соблюдать чистоту в вашем пансионе, так откажите от квартиры мне першому! — Он захлопнул двери и не ответил на робкий стук.

Но спать ему совсем не хотелось, и он решил не ложиться и на этот раз установить, когда вернется фройляйн Бюрстнер. И быть может, ему удастся сказать ей несколько слов, хотя время совсем неподходящее. Высунувшись в окно и шуря усталые глаза, он даже на минуту подумал, не приказать ли фрау Грубах, уговорив фройляйн Бюрстнер вместе с ним съехать с квартиры. Но он тут же понял, что слишком все преувеличивает, и даже заподозрил себя в том, что ему просто хочется переменить квартиру после утренних событий. Ничего бессмысленнее, а главное, ничего бесполезнее и бездарнее нельзя было и придумать.

Когда ему надосло смотреть на пустую улицу, он прилег на кушетку, но сначала приоткрыл дверь в прихожую, чтобы, не вставая, видеть всех, кто войдет в квартиру. Часов до одиннадцати он пролежал спокойно на кушетке, покуривая сигару. Но потом не выдержал и вышел в прихожую, как будто этим можно было ускорить приход фройляйн Бюрстнер. У него не было никакой охоты ее видеть, он даже не мог точно вспомнить, как она выглядит, но ему нужно было с ней поговорить, и его раздражало, что из-за ее опоздания даже конец дня вышел такой беспокойный и беспорядочный. Виновата она была и в том, что он не поужинал и пропустил визит к Эльзе, назначенный на сегодня. Конечно, можно было бы наверстать упущенное и пойти в ресторанчик, где работала Эльза. Он решил, что после разговора с фройляйн Бюрстнер он так и сделает.

Уже пробило половину двенадцатого, когда на лестнице раздались чьи-то шаги. К. так ушел в свои мысли, что с громким топотом расхаживал по прихожей, как по своей комнате, но тут он торопливо нырнул к себе. В прихожую вошла фройляйн Бюрстнер. Заперев дверь, она зябко закутала узкие плечи шелковой шалью. Еще миг, и она скроется в своей комнате, куда К. в этот полуночный час, разумеется, войти не мог. Значит, ему надо было заговорить с ней сразу; но, к несчастью, он забыл зажечь свет у себя в комнате, и, если бы он сейчас вышел оттуда, из темноты, это походило бы на нападение. Во всяком случае, он мог очень напугать ее. В растерянности, боясь потерять время, он прошептал сквозь дверную щелку:

— Фройляйн Бюрстнер! — Этот возглас прозвучал как мольба, а не как оклик.

— Кто тут? — спросила фройляйн Бюрстнер, испуганно оглядываясь.

— Это я! — сказал К. и вышел к ней.

— Ах, господин К.! — с улыбкой сказала фройляйн Бюрстнер. — Добрый вечер! — И она протянула ему руку.

— Я хотел бы сказать вам несколько слов сейчас, вы разрешите?
— Сейчас? — сказала фройляйн Бюрстнер. — Именно сейчас? Как-то странно, правда?

— Я вас жду с девяти часов.

— Ведь я была в театре, вы же меня не предупредили.

— Но повод к нашему разговору возник только сегодня.

— Ах так! Ну что ж, в сущности я не возражаю, вот только устала я до смерти. Зайдите на минутку ко мне. Тут нам разговаривать нельзя, мы весь дом перебудим, а мне не то что жаль этих людей, а неловко за нас самих. Погодите, сейчас я зажгу у себя свет, а вы тут потушите.

К. так и сделал и выждал, пока фройляйн Бюрстнер шепотом еще раз позвала его к себе.

— Садитесь, — сказала она и показала на диван, а сама осталась стоять у кровати, несмотря на то что она, по ее словам, очень устала; даже свою маленькую, в изобилии украшенную цветами шляпку она не сняла. — Так что же вы хотели сказать? Мне, право, любопытно.

Она слегка скрестила ноги.

— Возможно, вы опять скажете, — начал К., — что дело не такое уж срочное и сейчас слишком поздно для обсуждений, но...

— Эти вступления мне всегда кажутся лишними, — сказала фройляйн Бюрстнер.

— Это облегчает мою задачу, — сказал К. — Сегодня утром, отчасти по моей вине, в вашей комнате наделали беспорядок, притом чужие люди, против моей воли, но, как я уже упомянул, по моей вине; за это я и хотел перед вами извиниться.

— В моей комнате? — переспросила фройляйн Бюрстнер, испытующе глядя не на комнату, а на самого К.

— Вот именно, — сказал К., и тут они оба впервые взглянули друг другу в глаза. — Но о причине всего происшедшего и говорить не стоит.

— Да это же самое интересное! — сказала фройляйн Бюрстнер.

— Нет, — сказал К.

— Что ж, — сказала фройляйн Бюрстнер, — не буду вторгаться в ваши тайны, и, если вы утверждаете, что это неинтересно, я вам возражать не собираюсь. И я вас охотно прошу, раз вы об этом просите, особенно потому, что никаких следов беспорядка я не вижу.

Крепко прижав опущенные руки к бедрам, она обошла всю комнату. У щинówki с фотографиями она остановилась.

— Смотрите-ка! — воскликнула она. — Все мои фотографии разбросаны. Фу, как нехорошо! Значит, кто-то хозяйничал в моей комнате.

К. только наклонил голову, проклиная в душе чиновника Каминера за то, что он никогда не мог сдержать свою бестолковую, бессмысленную суетливость.

— Странно, — сказала фройляйн Бюрстнер, — странно, что мне приходится запрещать вам именно то, что вы сами должны были бы запретить себе: в мое отсутствие входить ко мне в комнату.

— Я уже объяснил вам, фройляйн, — сказал К. и подошел к фотографиям, — ваши фотографии разбросал не я; но так как вы мне не верите, то придется признаться, что следственная комиссия привела трех банковских чиновников и один из них — я его при ближайшей возможности выставлю из банка — очевидно, перебирал ваши фотографии. Да, здесь была следственная комиссия, — добавил К. в ответ на вопросительный взгляд фройляйн Бюрстнер.

— Из-за вас? — спросила она.
— Да, — ответил К.
— Быть не может! — воскликнула барышня и рассмеялась.
— Может, — сказал К. — Разве вы считаете, что на мне никакой вины нет?

— Ну, как сказать — никакой! — ответила барышня. — Не буду высказывать мнение, которое может иметь серьезные последствия, да я вас и не настолько знаю, но срочно присылать на дом следственную комиссию, наверно, стали бы лишь из-за тяжкого преступника. А так как вы на свободе и, судя по вашему спокойствию, из тюрьмы не удирали, значит, никакого тяжкого преступления вы совершить не могли.

— Да, — сказал К., — но ведь следственная комиссия могла установить, что я невиновен или, во всяком случае, не настолько виновен, как предполагалось.

— Конечно, и так может быть, — в раздумье сказала фройляйн Бюрстнер.

— Вот видите, — сказал К. — Очевидно, вы не очень-то разбираетесь в судебной процедуре.

— Нет, конечно, — сказала фройляйн Бюрстнер, — и часто об этом жалею, мне хотелось бы все знать, и как раз судебные дела меня особенно интересуют. Суд вообще страшно увлекательное дело, правда? Но я, конечно, пополню свои знания в этой области: с будущего месяца я поступаю в канцелярию адвоката.

— Очень хорошо! — сказал К. — Тогда вы мне хоть немного поможете в моем процессе.

— Вполне возможно, — очень сосредоточенно сказала фройляйн Бюрстнер. — Почему бы и нет? Я очень люблю применять свои знания на практике.

— Нет, я серьезно, — сказал К., — или, во всяком случае, полусерьезно, как и вы. Привлекать адвоката не стоит — дело слишком мелкое, но советчик мне очень может понадобиться.

— Да, но, если мне стать вашим советчиком, я должна знать, о чем идет речь, — сказала фройляйн Бюрстнер.

— В этом-то и загвоздка, — сказал К., — я сам ничего не знаю!

— Значит, вы надо мной подшутили, — сказала фройляйн Бюрстнер глубоко разочарованным тоном. — Но выбирать для шуток такое позднее время совсем неуместно. — И она отошла от стены с фотографиями, где стояла рядом с К.

— Что вы, что вы! — сказал К. — Я вовсе не шучу. Странно, что вы мне не верите! Все, что я знаю, я вам рассказал. Даже больше, чем знаю; в сущности, никакой следственной комиссии не было, это я так назвал ее, потому что не знаю, как еще можно ее назвать. И вообще никакого следствия не было, меня просто арестовали, но приходила целая комиссия.

Фройляйн Бюрстнер опустила на диван и опять засмеялась.

— Как же это все было? — спросила она.

— Ужасно! — ответил К., уже не думая о происшедшем, настолько его очаровал вид фройляйн Бюрстнер: погрузив локоть в подушки дивана, она подперла лицо рукой, а другой рукой медленно поглаживала колено.

— Это мне ничего не говорит, — сказала фройляйн Бюрстнер.

— Что именно? — спросил К. Но тут же понял и спросил: — Показать нам, как это было? — Ему хотелось что-то делать, только бы не уходить из комнаты.

— Я так устала, — сказала фройляйн Бюрстнер.

— Да, вы поздно пришли, — сказал К.

— Ну вот, теперь начинаются упреки. Впрочем, я их заслужила, не надо было вас сюда пускать. К тому же, как выяснилось, никакой необходимости в этом не было.

— Нет, была, — сказал К., — и сейчас вы все поймете. Можно отодвинуть ночной столик от кровати вот сюда?

— Что за выдумки? — сказала фройляйн Бюрстнер. — Конечно, нельзя!

— Тогда я вам ничего не смогу показать, — сказал К. с такой обидой, словно ему нанесли непоправимый вред.

— Ах, если вам это надо для наглядности, тогда двигайте сколько хотите, — сказала фройляйн Бюрстнер и добавила ослабевшим голосом: — Я так устала, что позволяю вам больше, чем следует.

К. поставил столик посреди комнаты и сел за него.

— Вы должны себе правильно представить, как расположились все эти люди, это очень интересно. Я — инспектор; вон там, на сундуке, сидит стража, их двое; около фотографий стоят три молодых человека. На оконной ручке — впрочем, я это говорю мимоходом — висит белая блузка. И вот начинается. Да, я забыл себя. Главное действующее лицо, то есть я, стоит вот тут, перед столиком. Инспектор уселся очень удобно, нога на ногу, рука закинута на спинку стула, видно, лентяй каких мало. И вот тут-то все и начинается. Инспектор зовет меня, будто хочет разбудить, он просто орет. К сожалению, для того, чтобы вам стало яснее, мне тоже придется крикнуть. Правда, он выкрикнул только мое имя.

Фройляйн Бюрстнер рассмеялась и приложила палец к губам, чтобы К. не крикнул, однако опоздала. К. так вошел в роль, что уже прокричал, медленно и протяжно: "Йозеф К.!" И хотя крикнул он не так громко, как обещал, все же этот внезапный возглас разнесся по всей комнате.

И вдруг в дверь соседней комнаты постучали — громко, коротко, размеренно. Фройляйн Бюрстнер побледнела и схватила за сердце. К. испугался еще больше, потому что все время думал об утреннем происшествии, пытаясь его воспроизвести перед фройляйн Бюрстнер. Но, тут же овладев собой, он бросился к ней и схватил ее руку.

— Не бойтесь ничего! — зашептал он. — Я все улажу. Но кто же это стучал? Рядом — гостиная, там никто не спит.

— Нет, спит, — прошептала фройляйн Бюрстнер ему на ухо, — со вчерашнего дня там ночует племянник фрау Грубах, он капитан. Для него свободной комнаты не оказалось. А я забыла. Ах, зачем вы крикнули! Я в отчаянии.

— Напрасно! — сказал К. и, когда она откинулась на подушки, поцеловал ее в лоб.

— Что вы, что вы! — сказала она и торопливо выпрямилась. — Уходите прочь, сейчас же уходите, как можно! Он же подслушивает под дверь, он все слышит. Вы меня замучили!

— Не уйду, пока вы не успокоитесь! Перейдем в тот угол, оттуда он ничего не услышит.

Она покорно дала отвести себя в угол.

— Вы не подумали об одном, — сказал он. — Правда, у вас могут быть неприятности, но никакая опасность вам не грозит. Вы знаете, что фрау Грубах — а в этом вопросе она играет решающую роль, поскольку капитан доводится ей племянником, — вы знаете, что она меня просто обожает и беспрекословно верит каждому моему слову. Кстати, она и зави-

сит от меня, я ей дал в долг порядочную сумму денег. Я готов принять любое предложенное вами объяснение нашей поздней встречи, если только оно будет хоть немного правдоподобно, и обязуюсь подействовать на фрау Грубах так, чтобы она не только приняла его официально, но и поверила безоговорочно и искренне. И пожалуйста, не щадите меня. Если вам угодно распространить слух, что я к вам приставал, то я именно так и сообщу фрау Грубах, и она все примет, не теряя ко мне уважения, настолько она меня ценит.

Фройляйн Бюрстнер молча, опустив плечи, смотрела в пол.

— Да почему бы фрау Грубах не поверить, что я к вам приставал? — добавил К.

Он посмотрел на ее волосы, разделенные пробором, на эти рыжеватые волосы, стяннутые низким тугим узлом. Он ждал, что она сейчас подымет на него глаза, но она сказала, не меняя позы:

— Простите, но я испугалась этого внезапного стука, и дело тут не в том, что я боюсь осложнений из-за этого капитана, но вы крикнули, тут стало тихо, и вдруг застучали, вот почему я испугалась, ведь я сидела у самой двери и стук раздался совсем рядом. За ваши предложения я очень благодарна, но принять их не могу. Я сама перед кем угодно несу ответственность за все, что происходит у меня в комнате. Странно, что вы не понимаете, как обидны для меня ваши предложения, хотя я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях. А теперь уходите, оставьте меня одну, сейчас мне это еще нужнее, чем прежде. Вы просили уделить вам несколько минут, а прошло полчаса, даже больше.

К. схватил ее за руку выше кисти.

— Но вы на меня не сердитесь? — спросил он.

Она отняла руку и сказала:

— Нет, нет, я ни на кого никогда не сержусь.

Он снова схватил ее за руку, она не сопротивлялась и повела его к двери. Он твердо решил уйти. Но на пороге он вдруг остановился, как будто не ожидал, что очутится у выхода, и, воспользовавшись этой минутой, фройляйн Бюрстнер высвободила руку, открыла дверь, выскользнула в прихожую и прошептала:

— Идите же скорее, прошу вас. Видите? — И она показала на дверь в комнату капитана, из-под которой пробивался свет. — Он зажег свет и подсматривает за нами.

— Иду, иду, — сказал К., подбежал к ней, схватил ее, поцеловал в губы и вдруг стал осыпать поцелуями все ее лицо, как изжаждавший теперь лакает из ручья, гоняя языком воду. Наконец он прильнул к ее шее у самого горла и долго не отнимал губ. Только шум из дверей капитана заставил его поднять голову.

— Теперь я ухожу, — сказал он и хотел назвать фройляйн Бюрстнер по имени, но не знал, как ее зовут.

Она устало кивнула, не глядя, подала руку для поцелуя, словно ее это не касалось, и, слегка сутулясь, ушла к себе. Вскоре К. уже лежал в постели. Заснул он очень быстро, но перед сном еще подумал о своем поведении и остался собой доволен, хотя с удивлением почувствовал, что доволен не вполне. Кроме того, он всерьез беспокоился, не будет ли у фройляйн Бюрстнер неприятностей из-за этого капитана.

СЛЕДСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ

К. сообщили по телефону, что на воскресенье назначено первое предварительное следствие по его делу. Ему сказали, что его будут вызывать на следствия регулярно; может быть, не каждую неделю, но все же довольно часто. С одной стороны, все заинтересованы как можно быстрее закончить процесс, но, с другой стороны, следствие должно вестись со всей возможной тщательностью; однако ввиду напряжения, которого оно требует, допросы не должны слишком затягиваться. Вот почему избрана процедура коротких, часто следующих друг за другом допросов. Воскресный день назначен для допросов ради того, чтобы не нарушать служебные обязанности К. Предполагается, что он согласен с намеченной процедурой, в противном случае ему, поелику возможно, постараются пойти навстречу. Например, допросы можно было бы проводить и ночью, но, вероятно, по ночам у К. не совсем свежая голова. Во всяком случае, если К. не возражает, решено пока что придерживаться воскресного дня. Само собой понятно, что явка для него обязательна, об этом и напоминать ему не стоит. Был назван номер дома, куда ему следовало явиться; дом находился на отдаленной улице в предместье, где К. еще никогда не бывал.

Выслушав это сообщение, К., не отвечая, повесил трубку; он сразу решил, что в воскресенье пойдет туда; процесс начинался, предстояла борьба, и этот первый допрос должен был стать последним.

Он в задумчивости стоял у телефона, когда сзади его окликнул заместитель директора — ему надо было позвонить, а К. стоял на дороге.

— Плохие новости? — небрежно бросил заместитель вовсе не из любопытства, а просто чтобы К. отошел от телефона.

— Нет, нет, — сказал К., посторонившись, но не уходя.

Заместитель директора взял трубку и, ожидая соединения, сказал поверх трубки:

— Один вопрос, господин К. Не окажете ли вы мне честь присоединиться в воскресенье к нашей компании на моей яхте? Собирается большое общество, наверно, будут и ваши знакомые, среди них, между прочим, и прокурор Гастерер. Вы придете? Приходите непременно!

К. старался вникнуть в каждое слово заместителя директора. Для него это было довольно важно, потому что приглашение заместителя директора, с которым он не слишком ладил, означало попытку примирения с его стороны и показывало, каким незаменимым человеком стал в банке К. и как ценил его дружбу или по крайней мере его нейтральное, беспристрастное отношение второй по значению чиновник банка. И хотя это приглашение было как бы вскользь брошено поверх телефонной трубки, оно звучало несколько заискивающе. Но К. надо было унижить заместителя директора еще больше, и он сказал:

— Благодарю вас! К несчастью, в воскресенье я занят, у меня уже назначена встреча.

— Жаль, — сказал заместитель директора и заговорил по телефону, его как раз соединили.

Разговор был длинный, но К. по рассеянности остался стоять у аппарата. И только когда заместитель дал отбой, он перепугался и, чтобы хоть

немного объяснить свое неуместное присутствие, сказал:

— Мне только что звонили, просили прийти в одно место, но забыли сообщить, в какое время.

А вы еще раз позвоните, — сказал заместитель директора.

Да это неважно, — сказал К., тем самым сводя на нет свое и без того нелепое объяснение.

Заместитель директора, уходя, бросил еще несколько фраз совсем о другом. К. заставил себя ответить, но думал он в это время главным образом о том, что лучше всего будет в воскресенье пойти по вызову к дежати утра, так как по будням все судебные учреждения начинают работать именно в это время.

Погода в воскресенье была плохая. К. чуть не проспал, он страшно утомился, потому что до поздней ночи сидел в кафе, где завсегдатаи устроили пирушку. Второпях, не давая себе времени обдумать и привести в порядок все планы, составленные за неделю, он оделся и, не позавтракав, помчался в указанное ему предместье. И хотя глазеть по сторонам времени не было, но, как ни странно, он увидал по дороге всех трех чиновников, причастных к его делу, — и Рабенштейнера, и Куллиха, и Каминера. Первые два проехали мимо него в трамвае, а Каминер сидел на терраске кафе и как раз в ту минуту, когда К. пробежал мимо, с любопытством перевесился через перила. Наверно, все трое с удивлением смотрели, как бежит бегом их начальник.

Из какого-то упрямства К. не пожелал ехать, ему была противна любая, даже самая ничтожная причастность посторонних к его делам, не хотелось пользоваться ничьими услугами и тем самым хотя бы в малейшей степени посвящать кого-то в эту историю; и наконец, у него не было ни малейшей охоты унижить себя перед следственной комиссией слишком большой пунктуальностью. И все же он бежал бегом, чтобы по возможности явиться точно в девять, хотя его даже не вызывали на определенный час.

Он думал, что уже издали узнает дом по какому-нибудь признаку, хотя не представлял себе, по какому именно, а может быть, и по необычному оживлению у входа. Но, задержавшись в начале Юлиусштрассе, на которой находился дом, куда его вызвали, К. увидел по обе стороны улицы почти одинаковые здания: высокие, серые, населенные беднотой доходные дома. В это воскресное утро почти из всех окон выглядывали люди. Мужчины без пиджаков курили, высунувшись наружу, или осторожно и заботливо держали на подоконниках маленьких детей. На других подоконниках громоздились постельные принадлежности, за которыми мелькали растрепанные женские головы. Все перекликались через улицу, и один такой окрик как раз над головой К. вызвал взрыв смеха. По всей длинной улице на одинаковых расстояниях в полуподвалах разместились бикалейные лавочки, куда можно было спуститься по ступенькам. Оттуда входили и выходили хозяйки, останавливались на ступеньках, болтали. Горговец фруктами расхваливал свой товар, задрав голову к окнам, и чуть не сбил К. с ног своей тележкой, когда они оба заехали. Где-то убийственно завопил граммофон, как видно уже отработавший свое в более богатых кварталах.

К. прошел дальше по улочке медленным шагом, будто у него времени сколько угодно; если следователь видит его из какого-нибудь окна, значит, он знает, что К. явился. Только что пробило девять. Дом оказался довольно далеко, он был необычайно длинный; особенно ворота были

очень высокие и широкие. Очевидно, они предназначались для фургонов, развозивших товар по разным складам. Сейчас все склады во дворе были заперты, но по вывескам К. узнал некоторые фирмы — его банк вел с ними дела. Вопреки своему обыкновению он пристально разглядывал окружающее, даже остановился у входа во двор. Неподалеку на ящике сидел босоногий человек и читал газету. Двое мальчишек качались на тачке. У колонки стояла болезненная девушка в ночной кофточке, и, пока вода набиралась в кувшин, она не сводила глаз с К. В углу двора между двумя окнами натягивали веревку, на ней уже висело выстиранное белье. Внизу стоял человек и, покрикивая, руководил работой.

К. пошел было к лестнице, чтобы подняться в кабинет следователя, но остановился: кроме этой лестницы, со двора в дом было еще три входа, а в глубине двора виднелся неширокий проход во второй двор. К. рассердился, оттого что ему не указали точнее, где этот кабинет; все-таки к нему отнеслись с удивительным невниманием и равнодушием, и он решил, что заявит об этом громко и отчетливо. Наконец он все же поднялся по лестнице, мысленно повторяя выражение Виллема, одного из стражей, что вина сама притягивает к себе правосудие, из чего, собственно говоря, вытекало, что кабинет следователя должен находиться именно на той лестнице, куда случайно поднялся К.

Поднимаясь по лестнице, он все время мешал детям, игравшим там, и они провожали его злыми взглядами. В другой раз, если придется сюда идти, надо будет взять либо конфет, чтобы подкупить их, либо палку, чтобы их отколотить, сказал он себе. У второго этажа ему даже пришлось переждать, пока мячик докатится донизу: двое мальчишек с хитроватыми лицами взрослых бандитов вцепились в его брюки; стряхнуть их можно было только силой, но К. боялся, что они завопят, если им сделать больно.

Все начиналось со второго этажа. Так как он нипочем не решался спросить, где следственная комиссия, он тут же придумал столяра Ланца — эта фамилия взбрела ему на ум, потому что так звали капитана, племянника фрау Грубах, — и решил во всех квартирах спрашивать, не тут ли проживает столяр Ланц, а под этим предлогом попутно заглядывать в комнаты. Но оказалось, что это можно сделать и без всякого предлога, потому что все двери были открыты, дети вбегали и выбегали из комнат. Комнаты по большей части были маленькие, с одним окном, там же шла стряпня. Многие женщины на одной руке держали грудных младенцев, а другой орудовали у плиты. Больше всех сустились девчонки-подростки; казалось, что, кроме фартучков, на них ничего нет. Во всех комнатах стояли разобранные кровати, везде лежали люди — кто был болен, кто еще спал, а кто просто валялся в одежде. В те квартиры, где двери были заперты, К. стучался и спрашивал, не здесь ли живет столяр Ланц.

Чаще всего двери открывала женщина и, выслушав вопрос, оборачивалась в комнату, к кому-то, лежащему на кровати:

— Вот господин спрашивает, где живет столяр Ланц?

— Столяр Ланц? — переспрашивал лежащий.

— Да, — отвечал К., хотя уже видел, что никакой следственной комиссии здесь нет и делать ему тут больше нечего.

Многие решали, что для К. очень важно отыскать столяра Ланца, долго думали, называли столяра с другой фамилией, не Ланц, или с фамилией, лишь отдаленно звучащей как "Ланц", расспрашивали и соседей,

проводили К. до какой-нибудь дальней двери, где, по их мнению, такой человек мог снимать угол или где кто-нибудь лучше знал жильцов, чем они сами. В конце концов К. уже ничего не приходилось спрашивать, его и так затаскали по всем этажам. Он уже сожалел о своей выдумке, показавшейся ему сначала такой удачной. Перед шестым этажом он решил прекратить поиски, попрощался с приветливым молодым рабочим, который хотел провести его еще дальше, и стал спускаться. Но тут же, раздраженный бессмысленностью всей этой процедуры, он снова поднялся и постучал в первую дверь на шестом этаже. Первое, что он увидел в маленькой комнате, были огромные настенные часы, показывавшие десять часов.

— Здесь живет столяр Ланц? — спросил он.

— Проходите! — ответила молодая женщина с блестящими черными глазами — она стирала в корыте детское белье и мокрой рукой показала на открытую дверь соседней комнаты.

К. сперва подумал, что попал на собрание. Толпа самых разных людей — никто из них не обратил на него внимания — наполняла средней величины комнату с двумя окнами, обнесенную почти у самого потолка галереями, тоже переполненной людьми; стоять там можно было, только согнувшись, касаясь головой и спиной потолка. К. стало душно, он вышел из комнаты и сказал молодой женщине, которая, очевидно, не так его поняла:

— Я спрашивал столяра, некоего Ланца.

— Да, — сказала молодая женщина, — пройдите, пожалуйста, туда!

Может быть, К. и не последовал бы за ней, но она подошла к нему, взяла за ручку двери и сказала:

— Мне придется запереть за вами, больше никого впускать нельзя.

— Вполне разумно, — отвечал К., — там и без того переполнено. — Но все-таки он опять пошел в ту комнату.

Двое мужчин разговаривали у самой двери: один шевелил обеими руками, словно считая деньги, другой пристально смотрел ему в глаза; между ними вдруг протянулась чья-то ручонка и схватила К. Это был маленький краснощекий мальчик.

— Пойдемте, пойдемте! — сказал он.

К. дал себя повести через густую толпу — оказалось, что в ней все-таки был узкий проход, который, по всей вероятности, разделял людей на две группы; за это говорило и то, что К. не видел в первых рядах ни одного лица: все стояли, повернувшись спиной к проходу и обращаясь только к своей группе. Почти все были в черном, в старых, свободно и длинно свисавших праздничных сюртуках. Только эта одежда сбивала с толку К., иначе он решил бы, что попал на районное собрание какой-то политической организации.

В другом конце зала, куда привели К., на очень низких, тоже переполненных подмостках стоял наискось небольшой столик, и за ним, у самого края подмостков, сидел маленький пыхтящий толстячок — он, громко хохоча, переговаривался с человеком, стоящим за ним, — тот облокотился на спинку его кресла и скрестил ноги. Иногда толстяк подымал руку вверх, словно кого-то передразнивая. Мальчику, который привел К., стоило большого труда доложить о нем. Дважды, подымаясь на цыпочки, он пытался что-то сообщить, но человек в кресле не обращал на него внимания. И только когда один из стоявших на подмостках людей указал ему на мальчика, он обернулся к нему и, нагнувшись, выслу-

шал его тихий доклад. Он сразу вынул часы и быстро взглянул на К.

— Вы должны были явиться ровно час и пять минут назад, — сказал он.

К. хотел что-то ответить, но не успел: едва тот кончил фразу, как в правой половине зала поднялся общий гул.

— Вы должны были явиться ровно час и пять минут тому назад, — повысив голос, повторил толстяк и торопливо посмотрел вниз. Толпа загудела еще громче, но, так как толстяк больше ничего не сказал, гул постепенно стих. В зале стало гораздо тише, чем когда К. вошел. Только на галерее люди еще обменивались замечаниями. Насколько можно было разглядеть в полутьме, в пыли и в чаду, они были хуже одеты, чем люди внизу. Многие принесли с собой подстилки и просунули их между головой и потолком комнаты, чтобы не натереть кожу до крови.

К. решил больше наблюдать, чем говорить, поэтому он не стал оправдываться, а только сказал:

— Пусть я и опоздал, но ведь я уже тут.

В правой половине толпа заплодировала. Как их легко расположить к себе, подумал К. Его только смущала тишина во второй половине, сразу за его спиной, — оттуда раздались единичные хлопки. Он подумал, как бы ему сказать что-нибудь такое, чтобы расположить к себе всех сразу, а если это невозможно, то хотя бы временно завоевать и вторую половину публики.

— Да, — сказал человек на подмостках, — но теперь я уже не обязан вас допрашивать... — И снова гул, на этот раз по недоразумению, потому что тот жестом остановил ропот внизу и продолжал: — ...и только в виде исключения я сегодня пойду на это. Но больше опозданий быть не должно. А теперь подождите.

Кто-то соскочил с подмостков, чтобы освободить место для К., и он поднялся туда. Он стоял, прижатый к столу вплотную, а за ним так густо толпились люди, что приходилось сопротивляться, иначе он столкнул бы с подмостков столик следователя, а то и его самого.

Однако следователь ничуть не беспокоился, наоборот, он удобно откинулся в кресле и, закончив разговор со стоящим сзади человеком, взял маленькую записную книжку — единственное, что лежало перед ним на столе. Книжка походила на школьную тетрадь и от частого перелистывания совершенно растрепалась.

— Значит, так, — проговорил следователь и скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал К.: — Вы маляр?

— Нет, — сказал К., — я старший прокурор крупного банка.

В ответ на его слова вся группа справа стала хохотать, да так заразительно, что К. и сам расхохотался. Люди хлопали себя по коленкам, их трясло, как в припадке неукротимого кашля. Смеялся даже кто-то на галерее. Следователя это ужасно рассердило, но, очевидно, он был бессилен против людей внизу и попытался отыгаться на галерке; вскочил, погрозил наверх кулаком, и его брови, незаметные на первый взгляд, вдруг сдвинулись на переносице, густые, черные и косматые.

Но левая половина зала все еще безмолвствовала. Люди стояли рядами, лицом к подмосткам, и с одинаковым спокойствием слушали и разговор наверху, и шум группы справа; они даже не реагировали, когда некоторые из их группы время от времени переходили в другую. Но левая группа, хотя и не такая многочисленная, как правая, в сущности тоже никакого веса не имела, однако в ней было что-то значительное благодаря

во полному спокойствию. И когда К. начал говорить, ему показалось, что они с ним соглашаются.

Ваш вопрос, господин следователь, не маляр ли я, вернее, не вопрос, а лишь безоговорочное утверждение характерно для всего разбирательства дела, начатого против меня. Вы можете возразить, что никакого разбирательства еще нет, и будете вполне правы, потому что разбирательство может считаться таковым, только если я его признаю. Хорошо, на данный момент я, так и быть, его признаю, разумеется исключительно из снисхождения к вам. Тут только и можно проявить снисхождение, если вообще обращать внимание на все, что происходит. Не стану говорить, что все разбирательство ведется до крайности неряшливо, но хотелось бы, чтобы мы сами осознали это.

К. умолк и оглянул зал. Говорил он резко, куда резче, чем намеревался, но сказал все правильно. И, несомненно, он заслужил одобрение тех или других, но все затихли, явно дожидаясь в напряжении, что будет дальше, и, может быть, эта тишина таила в себе взрыв, который положил бы конец всему. Но тут нестати отворилась дверь и в зал вошла молоденькая прачка, очевидно кончившая свою работу, и, хотя она старалась идти как можно осторожнее, многие обратили на нее взгляды. Но К. искренне обрадовался, взглянув на следователя; казалось, слова К. задели его за живое. Он слушал стоя, а встал он до этого, чтобы утихомирить галерею. Теперь, в наступившей паузе, он начал медленно опускаться в кресло, словно хотел сесть незаметно. И, наверно, чтобы не выдавать волнения, он снова взялся за свою тетрадку.

— Ничего вам не поможет, — продолжал К., — и тетрадка ваша, господин следователь, только подтверждает мои слова.

Довольный тем, что в зале слышен только его собственный спокойный голос, К. даже осмелился без околичностей взять у следователя его тетрадку и кончиками пальцев, словно брезгуя, поднять за один из средних листков, так что с обеих сторон свисали мелко исписанные, испачканные и пожелтевшие странички.

— И это называется следственной документацией! — сказал он и небрежно уронил тетрадку на стол. — Можете спокойно читать ее и дальше, господин следователь, такого списка грехов я никак не боюсь, хоть и лишен возможности с ним ознакомиться, потому что иначе, как двумя пальцами, я до него не дотронусь, в руки я его не возьму. — И то, что следователь торопливо подхватил тетрадку, когда она упала на стол, тут же попытался привести ее в порядок и снова углубился в чтение, могло быть только сознанием глубокого унижения, по крайней мере так это воспринималось.

Снизу на К. пристально смотрели люди из первого ряда, и он невольно стал всматриваться в их лица. Все это были немолодые мужчины, некоторые даже с седыми бородами. Может быть, они всё и решали и могли повлиять на остальных, — те настолько безучастно отнеслись к унижению следователя, что не вышли из оцепенения, в которое их привела речь К.

— То, что со мной произошло, — продолжал К. уже немного тише, пристально вглядываясь в лица стоявших в первом ряду, отчего его речь звучала несколько сбивчиво, — то, что со мной произошло, всего лишь частный случай, и сам по себе он значения не имеет, так как я не слишком принимаю все это к сердцу, но этот случай — пример того, как разбираются дела очень и очень многих. И я тут заступаюсь за них, а вовсе не за себя.

К. невольно повысил голос. Кто-то, высоко подняв руки, зааплодировал и крикнул. "Браво! Так и надо! Браво! — И еще раз: — Браво!"

Кое-кто из стоявших впереди в задумчивости теребил бороду, но ни один не обернулся на этот возглас. К. и сам не придал ему значения, хотя несколько ободрился; он даже не считал нужным, чтобы ему аплодировала вся аудитория, достаточно, если все присутствующие хотя бы задумаются над тем, что происходит, и если хоть некоторых удастся убедить и перетянуть на свою сторону.

— Я не стремлюсь к ораторским успехам, — сказал К. в ответ на свои мысли, — да это и не в моих возможностях. Господин следователь, наверно, говорит куда лучше меня, ведь этого требует его профессия. Я хочу только одного — открыто обсудить открытое нарушение законов. Посудите сами: дней десять тому назад я был арестован. Впрочем, самый этот факт мне только смешон, но не о том речь. Рано утром меня захватили врасплох, еще в кровати; возможно, что был отдан приказ — судя по словам следователя, это не исключено — арестовать некоего маляра, такого же невинного человека, как и я, но выбор пал на меня. Соседнюю со мной комнату заняла стража — два грубияна. Будь я даже опасным разбойником, и то нельзя было бы принять больше предосторожностей. Кроме того, эти люди оказались вконец развращенными мошенниками, они наболтали мне с три короба, вымогали взятку, собирались под каким-то предлогом выманить у меня белье и платье, требовали денег, обещая принести мне завтрак, а перед этим на моих глазах нагло уничтожили мой собственный завтрак. Но этого мало. Меня провели в третью комнату к их инспектору. В этой комнате живет дама, которую я глубоко уважаю, и я должен был смотреть, как из-за меня, хотя и не по моей вине, эту комнату в какой-то мере оскверняло присутствие стражи с инспектором. Нелегко было сохранить спокойствие. Но я сдержался и спросил этого инспектора совершенно спокойно — будь он здесь, он мог бы вам это подтвердить, — почему я арестован. И что же ответил этот инспектор? Как сейчас вижу его перед собой. сидит в кресле вышепомянутой дамы как воплощение тупейшего высокомерия. Господа, по существу он ничего мне не ответил; может быть, он действительно ничего не знал, просто он меня арестовал и на этом успокоился. Более того, он вызвал в комнату этой дамы трех низших служащих из моего банка, которые занимались тем, что рылись в фотографиях, принадлежавших даме, и привели их в полный беспорядок. Разумеется, присутствие этих служащих преследовало еще одну цель, а именно так же как моя квартирная хозяйка и ее прислуга, они должны были распространить известие о моем аресте, чтобы повредить моей репутации, а главное — подорвать мое положение в банке. Но из этого ничего, абсолютно ничего не вышло; даже моя квартирная хозяйка, совершенно простая женщина, — назову вам с уважением ее имя: фрау Грубах, — так вот, даже у фрау Грубах хватило благоразумия понять, что такой арест имеет не больше значения, чем драка уличных мальчишек на мостовой. Повторяю, для меня это было только неприятностью, которая вызвала мимолетное раздражение, но ведь последствия могли быть куда хуже, не так ли?

Тут К. остановился и посмотрел на молчаливого следователя — ему показалось, что тот глазами делает знак кому-то из стоящих внизу. К. улыбнулся и сказал:

— Только что господин следователь, сидящий рядом, подал кому-то из вас тайный знак. Значит, среди вас есть люди, которыми он дирижирует

отсюда, со своего места. Не знаю, должен ли его знак вызвать свистки или аплодисменты, и тем, что я заранее открываю их сговор, я совершенно сознательно выражаю пренебрежение к этим знакам. Мне в высшей степени безразлично, что они значат, и я могу дать господину следователю право в открытую командовать своими наемниками там, внизу, причем не тайными знаками, а вслух, словами; пусть он прямо говорит: "Свистите!", а в другой раз, если надо: "Хлопайте!"

От смущения или от нетерпения следователь заерзал на стуле. Человек, который стоял сзади и разговаривал с ним раньше, снова наклонился к нему, то ли чтобы просто его подбодрить, то ли подать ему ценный совет. Внизу люди переговаривались, негромко, но оживленно. Обе группы, которые поначалу как будто расходились во мнениях, теперь смешались; одни показывали пальцем на К., другие — на следователя.

Густой чад, наполнявший комнату, действовал удручающе, он мешал рассмотреть даже стоявших поодаль. Особенно трудно было посетителям на галерее, им приходилось, робко косясь на следователя, сверху потихоньку расспрашивать участников собрания, чтобы разобраться, в чем дело. Им отвечали так же тихо, прикрываясь ладонью.

— Сейчас я кончаю, — сказал К. и, так как звонка на столе не было, стукнул по столу кулаком; следователь и его советчик в испуге отшатнулись друг от друга. — Меня все это дело не касается, поэтому я сужу о нем спокойно, а вам всем будет весьма полезно меня выслушать — конечно, при условии, что вы как-то заинтересованы в этом предполагаемом судебном деле. Причем обсуждение того, что я вам излагаю, прошу отложить, так как времени у меня нет и я скоро уйду.

Тотчас наступила тишина, настолько К. сумел овладеть аудиторией. Уже никто не перекрикивал других, как вначале, никто одобрительно не хлопал. Казалось, все уже в чем-то убедились или готовы убедить-ся.

— Нет сомнения, — очень тихо заговорил К., его радовало напряженное внимание всей аудитории, и в тишине рождался гул, который его подбадривал больше самых восторженных аплодисментов, — нет сомнения, что за всем судопроизводством, то есть в моем случае за этим арестом и за сегодняшним разбирательством, стоит огромная организация. Организация эта имеет в своем распоряжении не только продажных стражей, бестолковых инспекторов и следователей, проявляющих в лучшем случае похвальную скромность, но в нее входят также и судьи высокого и наивысшего ранга с бесчисленным, неизбежным в таких случаях штатом служителей, писцов, жандармов и других помощников, а может быть, даже и палачей — я этого слова не боюсь. А в чем смысл этой огромной организации, господа? В том, чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмысленный и по большей части — как, например, в моем случае — безрезультатный процесс. Как же тут, при абсолютной бессмысленности всей системы в целом, избежать самой страшной коррупции чиновников? Это недостижимо, тут даже самый высокий судья не останется честным. Потому и стража пытается красть одежду арестованных, потому их инспектора и врываются в чужие квартиры, потому и невинные вместо допроса должны позориться перед целым собранием. Стража рассказывала мне о складах, где хранятся вещи арестованных; хотелось бы мне взглянуть на эти склады, где гниет заработанное честным трудом имущество арестованных, если только его не расхищают воры служители.

Но тут речь К. была прервана воплями из дальнего угла. Он затенил глаза рукой, чтобы лучше видеть, — от мутного света чад в комнате казался белесым и слепил глаза. Виной была прачка; уже при ее появлении К. понял, что она непременно помешает. Но виновата она сейчас или нет, сказать было трудно. К. видел только, что какой-то мужчина увлек ее в угол у дверей и там крепко прижал к себе. Однако вопила не она, а этот мужчина, он широко разинул рот и уставился в потолок. Вокруг них столпились те посетители галереи, что стояли поближе; они, как видно, пришли в восторг оттого, что это происшествие нарушило серьезность, которую К. внес в собрание. Под первым впечатлением он чуть не бросился туда, решив, что и все остальные захотят сразу навести порядок и хотя бы выставить эту пару из зала, но первые ряды перед ним плотно сомкнулись, никто не тронулся с места, никто не пропускал К. Напротив, ему помешали: старики выставили руки вперед, и чья-то рука — обернуться ему было некогда — вцепилась сзади в его воротник. К. уже не думал об этой паре; ему показалось, что у него отнимают свободу, что его и в самом деле арестовали, и он, вырвавшись, соскочил с подмостков. Теперь он очутился лицом к лицу с толпой. Неужели он неправильно оценил этих людей? Неужели он слишком понадеялся на воздействие своей речи? Неужто все они притворялись, а теперь, когда близилась развязка, им притворяться надоело? И какие лица окружали его! Маленькие черные глазки шныряли по сторонам, щеки свисали мешками, как у пьяниц, жидкие бороды жестко топорщились; казалось, запустишь в них руку — и покажется, будто только скрючиваешь пальцы впустую, под ними — ничего. А из-под бород — и для К. это было настоящим открытием — просвечивали на воротниках знаки различия разной величины и цвета. И куда ни кинь глазом — у всех были эти знаки. Значит, все эти люди были заодно, разделение на правых и левых было только кажущимся, а когда К. внезапно обернулся, он увидел те же знаки различия на воротнике следователя — тот, сложив руки на коленях, спокойно смотрел вниз.

— Вот оно что! — крикнул К. и взметнул руки кверху — внезапное прозрение требовало широкого жеста. — Значит, все вы чиновники! Теперь я вижу, все вы та самая продажная свора, против которой я выступал, вы пробрались сюда разнохивать, подслушивать, разделились для видимости на группы, аплодировали мне, чтобы меня испытать, хотели узнать, можно ли сбить с толку невинного человека! Что ж, надеюсь, вы тут пробыли не без пользы для себя: либо вы посмеялись над тем, что от таких, как вы, ждали защиты невинного, либо... Пусти меня, не то ударю! — крикнул К. какому-то дрожащему старикашке, который придвинулся к нему особенно близко, — ...либо вы все-таки чему-то научились. А засим пожелаю вам удачи на вашем служебном поприще.

Он схватил свою шляпу, лежащую на краю стола, и прошел к выходу при полном и недоуменном молчании присутствующих. Но, очевидно, следователь опередил К., он уже ждал его у дверей.

— Одну минуту! — сказал он. К. остановился и, уже взявшись за ручку, вперил глаза не в следователя, а в дверь. — Я только хотел обратить ваше внимание, — сказал следователь, — что сегодня вы, вероятно сами того не сознавая, лишили себя преимущества, которое в любом случае дает арестованному допрос.

К. расхохотался, все еще глядя на дверь.

— Вот мразь! — крикнул он. — Ну и сидите с вашими допросами! —

И, открыв дверь, он побежал вниз по лестнице.

За ним послышался шум — видимо, собрание опять оживилось и заговорило что-то вроде ученой дискуссии, обсуждая все, что произошло.

Глава третья

В ПУСТОМ ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ. СТУДЕНТ. КАНЦЕЛЯРИИ

Всю следующую неделю К. изо дня в день ожидал нового вызова, он не мог поверить, что его отказ от допроса будет принят буквально, и когда ожидаемый вызов до субботы так и не пришел, К. усмотрел в этом молчании приглашение в тот же дом на тот же час. Поэтому в воскресенье он снова отправился туда и прямо прошел по этажам и коридорам вверх; некоторые жильцы, запомнившие его, здоровались с ним у дверей, но ему не пришлось никого спрашивать, и он сам подошел к нужной двери. На стук открыли сразу, и, не оглядываясь на уже знакомую женщину, остановившуюся у дверей, он хотел пройти в следующую комнату.

— Сегодня заседания нет, — сказала женщина.

— Как это нет заседания? — спросил он, не поверив.

Чтобы убедить его, женщина отворила дверь в соседнее помещение. Там и вправду было пусто, и от этой пустоты комната казалась еще более жуткой, чем в прошлое воскресенье. На столе, так и стоявшем на подмостках, лежало несколько книг.

— Можно взглянуть на эти книжки? — спросил К. не столько из любопытства, сколько для того, чтобы его приход не был совершенно бесполезным.

— Нет, — сказала женщина и снова заперла дверь, — это не разрешается. Книги принадлежат следователю.

— Ах вот оно что, — сказал К. и кивнул головой. — Должно быть, это свод законов, а теперешнее правосудие, очевидно, состоит в том, чтобы осудить человека не только невинного, но и неосведомленного.

— Должно быть, так оно и есть, — сказала женщина, как видно не совсем понимая его.

— Что ж, тогда я уйду, — сказал К.

— Передать от вас что-нибудь следователю? — спросила женщина.

— А разве вы его знаете? — спросил К.

— Конечно, сказала женщина, — ведь мой муж — служитель в суде.

Только сейчас К. заметил, что комната, где в прошлый раз стояло только корыто, теперь была убрана как настоящая жилая комната. Женщина заметила его удивление и сказала:

— Да, нам предоставлена бесплатная квартира, но в дни заседаний мы должны освобождать эту комнату. На службе мужа много неудобств.

— Меня удивляет вовсе не ваша комната, — сказал К. и сердито посмотрел на женщину. — Гораздо больше я удивлен тем, что вы замужем.

— Вы, должно быть, намекаете на тот случай во время последнего заседания, когда я помешала вашей речи? — спросила женщина.

— Конечно, — сказал К. — Правда, дело прошлое, я бы о нем не вспом-

нил, но тогда я просто взбесился. А теперь вы сами говорите, что вы за мужем.

— Вам только пошло на пользу, что вашу речь прервали. О вас потом говорили очень недоброжелательно.

— Возможно, — уклончиво сказал К., — но для вас это не оправдание.

— А вот все мои знакомые меня оправдывают, — сказала женщина. — Тот, что меня обнимал, уже давно за мной бегаёт. Может быть, для других я ничуть не привлекательна, а для него — очень. Тут ничего не поделаешь, даже моему мужу пришлось примириться; если хочет сохранить место, пусть терпит, ведь тот человек — студент и, наверно, добьётся больших чинов. Вечно он за мной бегаёт. Он только что ушёл перед вашим приходом.

— Одно к одному, — сказал К., — меня это ничуть не удивляет.

— Видно, собираетесь навести здесь порядок? — спросила женщина медленно и осторожно, словно сказала что-то опасное и для нее, и для К. — Я так и догадалась по вашей речи. Мне лично она очень понравилась. Правда, я не все слышала — начало пропустила, а под конец лежала со студентом на полу. Ах, здесь так гадко! — помолчав, воскликнула она и схватила К. за руку: — А вы верите, что вам удастся завести новые порядки?

К. рассмеялся и слегка потянул свою руку из ее мягких пальцев.

— В сущности, — сказал он, — меня никто не уполномочил заводить здесь, как вы выражаетесь, новые порядки, и если вы, к примеру, скажете об этом следователю, то вас осмеют, а может быть, и накажут. Более того, по доброй воле я ни за какие блага не стал бы вмешиваться в эти дела; и теряя сон, придумывая какие-то улучшения судебной процедуры, я тоже не намерен. Но обстоятельства, вызвавшие мой арест, — дело в том, что я арестован, — побудили меня вмешаться ради собственных интересов. Однако, если я могу и вам быть чем-нибудь полезен, я охотно помогу вам. И не только из человеколюбия, но и потому, что и вы можете мне помочь.

— Чем же? — спросила женщина.

— Например, тем, что покажете мне вон те книги.

— Ну конечно же! — воскликнула она и торопливо потянула его к столу. Книги были старые, потрепанные, на одной переплет был переломлен и обе половинки держались на ниточке.

— Какая тут везде грязь, — сказал К., покачав головой, и женщине пришлось смахнуть пыль фартуком хотя бы сверху, прежде чем К. мог взяться за книгу.

Он открыл ту, что лежала сверху, и увидел неприличную картинку. Мужчина и женщина сидели в чем мать родила на диване, и хотя непристойный замысел художника легко угадывался, его неумение было настолько явным, что, собственно говоря, ничего, кроме фигур мужчины и женщины, видно не было. Они грубо мозолили глаза, сидели неестественно прямо и из-за неправильной перспективы даже не могли бы повернуться друг к другу. К. не стал перелистывать эту книгу и открыл титульный лист второй книжки; это был роман под заглавием "Какие мучения терпела Грета от своего мужа Ганса".

— Так вот какие юридические книги тут изучают! — сказал К. — И эти люди собираются меня судить!

— Я вам помогу! — сказала женщина. — Согласны?

— Но разве вы и вправду можете мне помочь, не подвергая себя опас-

ности? Ведь вы сами сказали, что ваш муж целиком зависит от своего начальства.

И все же я вам помогу, — сказала женщина. — Подите сюда, надо все обсудить. А о том, что мне грозит опасность, говорить не стоит. Я только тогда пугаюсь опасности, когда считаю нужным. Идите сюда. — Она показала на подмостки и попросила его сесть рядом с ней на ступеньки. — У вас чудесные темные глаза, — сказала она, когда они сели, и заглянули К. в лицо. — Говорят, у меня тоже глаза красивые, но ваши куда красивее. Ведь я вас сразу заметила, еще в первый раз, как только вы сюда зашли. Из-за вас я и пробралась потом в зал заседаний. Обычно я никогда этого не делаю, мне даже, собственно говоря, запрещено ходить сюда.

Вот к чему все свелось! — подумал К. Она просто мне себя предлагает, испорчена до мозга костей, как и все тут; ей надоели судебные чиновники, что вполне понятно, вот она и встречает любого посетителя комплиментами насчет его глаз. И К. молча встал, будто уже высказал эти мысли вслух, и объяснил женщине свое поведение.

— Не думаю, чтобы вы могли мне помочь, — сказал он. — Для настоящей помощи надо иметь связи с высшими чинами. А вы, наверно, знакомы с мелкой сошкой, их тут много ходит. Их-то вы наверняка хорошо знаете и можете многого у них добиться, в этом я не сомневаюсь, но, даже если бы они сделали все, что в их силах, никакого влияния на исход моего процесса это иметь не может. А от вас к тому же могут отступить некоторые друзья. Этого я не хочу. Так что вам не стоит портить отношения с этими людьми; мне кажется, они вам еще понадобятся. Говорю не без сожаления, так как в ответ на ваши комплименты могу сказать, что и вы мне нравитесь, особенно сейчас, когда смотрите на меня такими грустными глазами, хотя никаких оснований для грусти у вас нет. Вы вращаетесь среди людей, с которыми я должен бороться, и с ними чувствуете себя отлично, вы даже влюблены в студента, а если и нет, то, во всяком случае, предпочитаете его мужу. Из ваших слов это ясно видно.

— Нет! — крикнула она и, не вставая, схватила К. за руку, которую он не успел отнять. — Вам уходить нельзя! Вы обо мне совсем неверно думаете, так нельзя! Неужели вы можете взять и уйти? Неужели я так мило стою, что вы ради меня не можете остаться хоть ненадолго?

— Вы меня не поняли, — сказал К. и снова сел. — Если вам действительно хочется, чтобы я остался, я, конечно, останусь, времени у меня много, ведь я пришел сюда, думая, что сегодня тут будет судебное заседание. Я только высказал просьбу: ничего не предпринимайте в отношении моего процесса. И вы никак не должны обижаться; поймите, что мне совершенно безразлично, чем окончится этот процесс, и над их приговором я буду только смеяться. Все это, конечно, лишь в том случае, если процесс вообще состоится, в чем я сильно сомневаюсь. Скорее можно предположить, что все судопроизводство — по лени или по забывчивости, и может быть, просто по трусости чиновников — уже прекращено или прекратится в самое ближайшее время. Разумеется, вполне возможно, что они будут продолжать этот процесс для видимости, в надежде на порядочную взятку, но уверяю вас заранее, что все их надежды напрасны — я никому взятку не даю. Вот тут вы можете сделать мне одолжение: сообщите следователю или кому-нибудь, кто любит распространять всякие слухи, что никогда, никакими фокусами эти господа не способны выманить у

меня взятку. Ничего у них не выйдет, так им и передайте. Впрочем, может быть, они и сами это поняли, а может быть, и нет. В общем, мне безразлично, узнают ли они об этом сейчас или потом. Если им все будет известно заранее, мы только облегчим их работу. Правда, и мне было бы меньше неприятностей, но я готов на любые неприятности, лишь бы ударить и по ним. А об этом я уж позабочусь. Кстати, знакомы ли вы со следователем?

— Ну конечно! — воскликнула женщина. — Я о нем и подумала, когда предлагала вам помощь. Я же не знала, что он всего-навсего низший служащий, но, раз вы так говорите, значит, так оно и есть. И все же я думаю, что доклады, которые он посылает наверх, имеют какое-то влияние. А он их столько пишет! Вот вы сказали, что все чиновники — лентяи. Нет, не все — особенно этот следователь, он все пишет и пишет. Например, в прошлое воскресенье заседание затянулось до вечера. А когда все ушли, следователь остался, пришлось принести лампу; у меня была только маленькая кухонная лампочка, но он и ею было доволен, сразу сел и стал писать. А тут вернулся муж, у него в то воскресенье был свободный день, мы внесли мебель, прибрали нашу комнату, потом пришли соседи, мы посидели при свечке — словом, совсем забыли про следователя и легли спать. И вдруг ночью, наверно далеко за полночь, я просыпаюсь, а возле кровати стоит следователь и затеняет лампу рукой, чтобы свет не падал на моего мужа, хотя это ни к чему, муж так спит, что его никакой свет не разбудит. Я до того испугалась, что чуть не закричала, но этот следователь такой любезный, попросил меня не шуметь и сказал, что он до сих пор писал, а теперь возвращает мне лампу и никогда в жизни не забудет, как он увидел меня сонную. Я вам только хочу этим сказать, что следователь действительно пишет доклады, и главным образом про вас. Видно, в то воскресенье самым основным вопросом на заседании было ваше дело. А такие длинные доклады непременно должны иметь какое-то значение. Кроме того, по этому случаю ясно, что следователю я нравлюсь и что именно сейчас, в первое время — а он только недавно обратил на меня внимание, — я могу очень на него повлиять. У меня есть и другие доказательства, что он мной интересуется. Вчера через студента — он с ним работает и очень ему доверяет — он прислал мне в подарок пару шелковых чулок, будто бы за то, что я убираю зал заседаний, но, конечно, это лишь предлог, работаю я по обязанности, и мужу за это платят. А чулки прекрасные, вот взгляните... — она вытянула ноги, подняв юбку выше колен, и сама посмотрела на чулки, — да, чулки красивые, но слишком уж тонкие, мне они не подходят.

Вдруг она остановилась, положила руку на руку К., словно хотела его успокоить, и шепнула:

— Тише, Бертольд за нами следит.

К. медленно поднял глаза. В дверях зала заседания стоял молодой человек; он был невысок, с кривоватыми ногами и, очевидно для пущей важности, отпустил короткую жиденькую рыжую бородку, которую он непрестанно теребил пальцами. К. посмотрел на него с любопытством — это был первый студент неизвестных ему юридических наук, которого он встречал, так сказать, в частной жизни и который, вероятно, впоследствии достигнет высоких постов. Студент же, напротив, никакого внимания на К. не обратил, он только на минуту вытащил палец из бороды, поманил к себе женщину и отошел к окошку, а женщина наклонилась к К. и шепнула:

Не сердитесь на меня, умоляю, и не думайте обо мне плохо, но сейчас я должна идти к нему, к этому отвратительному типу, вы только изгибайте на его кривые ноги. Я сейчас вернусь и уж тогда пойду с вами, если вы меня возьмете с собой, пойду куда хотите, делайте со мной что хотите, я буду счастлива — лишь бы уйти отсюда надолго, а еще лучше навсегда.

Она погладила К. по руке, вскочила и побежала к окошку. К. машинально хотел схватить ее руку, но схватил пустоту. В этой женщине для него было что-то по-настоящему соблазнительное, и он не находил никаких оснований противиться этому соблазну. Мелькнула мысль, что она подослана судом, чтобы подловить его, но он тут же отбросил это сомнение. Каким образом она могла его подловить? Ведь он пока что совсем свободен. Он мог изничтожить все их судопроизводство, по крайней мере в том, что касалось его дела. Неужели он даже в такой малости не верит в себя? Но ее голос звучал искренне, когда она предлагала ему помощь. Как знать, вдруг она окажется ему полезной? А быть может, лучше и не пытаться отомстить следователю и всей его своре, чем отняв у них эту женщину и завоевав ее привязанность. Тогда, может статься, следователь после кропотливейшей работы над составлением ложных сведений про К. придет поздно ночью и увидит, что постель этой женщины пуста. И потому пуста, что женщина будет принадлежать К., что эта женщина у окна, это пышное, гибкое, теплое тело в темном платье из грубой ткани будет принадлежать ему одному.

Отбросив таким образом все сомнения насчет этой женщины, К. стал тихонько стучать по подмосткам сначала костяшками пальцев, потом всем кулаком — настолько ему надоело тихое перешептывание у окна. Студент мельком через плечо женщины взглянул на К., но никакого внимания на него не обратил, наоборот — он еще крепче прижался к женщине и обнял ее. Она низко наклонила голову, словно прислушиваясь к его словам, он звонко чмокнул ее в склоненную шею, продолжая говорить как ни в чем не бывало. К. увидел, что женщина права, жалуясь, что студент имеет над ней какую-то власть, и, встав со стула, зашагал по комнате. Косясь на студента, он раздумывал, как бы выжить его отсюда поскорее, и даже обрадовался, когда студент, которому, очевидно, мешали шаги К., уже переходившие в нетерпеливый топот, вдруг заметил:

— Если вам так не терпится, можете уходить. Давно могли уйти, никто и не заметил бы вашего отсутствия. Да, да, надо было вам уйти, как только я пришел, и уйти сразу, немедленно.

В этих словах слышалась не только сдержанная злоба, в них ясно чувствовалось высокомерие будущего чиновника по отношению к неприятному для него обвиняемому. К. подошел к нему вплотную и с улыбкой сказал:

— Да, вы правы, мне не терпится, но мое нетерпение проще всего прекратить тем, что вы нас оставите. Однако если вы пришли сюда заниматься — я слышал, что вы студент, — то я охотно уступлю вам место и уйду с этой женщиной. Впрочем, вам еще немало надо будет поучиться, прежде чем стать судьей. Правда, ваше судопроизводство мне совсем не знакомо, но предполагаю, что одними наглыми речами, которые вы ведете с таким бесстыдством, оно не ограничивается.

— Напрасно ему разрешили гулять на свободе, — сказал студент, словно хотел объяснить женщине обидные слова К. — Это несомненный промах. Я так и сказал следователю. Надо держать его под домашним арестом

хотя бы между допросами. Но иногда следователя толком не поймешь.

— Лишние разговоры, — сказал К. и протянул руку к женщине. — Пойдем!

— Ах вот оно что! — сказал студент. — Нет, нет, вам ее не заполучить!

С неожиданной силой он подхватил ее на руки и, согнувшись, побежал к двери, нежно поглядывая на нее. По всей видимости, он и побаивался К., и все же не мог удержаться, чтобы не поддразнить его, для чего нарочно гладил и пожимал свободной рукой плечо женщины. К. пробежал за ним несколько шагов, хотел его схватить, он готов был придушить его, но тут женщина сказала:

— Ничего не поделаешь, его за мной прислал следователь, мне с вами идти никак нельзя, этот маленький уродец, — тут она провела рукой по лицу студента, — этот маленький уродец меня не отпустит.

— Да вы и не хотите освободиться! — крикнул К., опустил руку на плечо студента, и тот сразу лягнул на него зубами.

— Нет! — крикнула женщина и обеими руками оттолкнула К. — Нет, нет, только не это, вы с ума сошли! Вы меня погубите! Оставьте его, умоляю вас, оставьте же его! Он только выполняет приказ следователя, он несет меня к нему.

— Ну и пусть убирается, а вас я тоже видеть не желаю! — сказал К. и, разочарованный, злой, изо всех сил толкнул студента в спину; тот споткнулся, но, обрадовавшись, что удержался на ногах, еще выше подскочил на месте со своей ношей.

К. медленно пошел за ними, он понял, что эти люди нанесли ему первое безусловное поражение. Конечно, причин для особого беспокойства тут не было, поражение он потерпел оттого, что сам искал столкновений с ними. Если бы он сидел дома и вел обычный образ жизни, он был бы в тысячу раз выше этих людей и мог бы любого из них убрать одним пинком. И он представил себе пресмешную сцену, которая разыгралась бы, если бы вдруг этот жалкий студентик, этот самодовольный мальчишка, этот кривоногий бородач, очутился на коленях перед кроватью Эльзы и, сложив руки, умолял ее сжалиться над ним. К. пришел в такой восторг от этой воображаемой сцены, что тут же решил при случае взять студента с собой в гости к Эльзе.

Из любопытства К. все-таки подбежал к двери — ему хотелось взглянуть, куда понесли женщину, не станет же студент тащить ее на руках по улице! Выяснилось, что им пришлось идти совсем не так далеко. Прямо напротив квартиры начиналась узкая деревянная лестница — очевидно, она вела на чердак, но конец ее исчезал за поворотом, так что не видно было, куда она ведет. По этой лестнице студент и понес женщину, уже совсем медленно и похрапывая — его явно утомила вся эта беготня. Женщина помахала К. рукой и, пожимая плечами, старалась дать ему понять, что ее похитили против воли. Впрочем, особого сожаления ее мимика не выражала. К. посмотрел на нее равнодушно, как на незнакомую, ему не хотелось выдать свое разочарование, но и не хотелось показать, что он все так легко принял.

Оба исчезли за поворотом, а К. все еще стоял в дверях. Он должен был признаться, что женщина не только обманула его, но и солгала, что ее несут к следователю. Не станет же следователь сидеть на чердаке и дожидаться ее. А на деревянную лесенку сколько ни смотри, все равно ничего не узнаешь. И вдруг К. заметил маленькую бумажку у входа, подошел к ней и прочел записку, нацарапанную неумелым детским почерком: "Вход

в судебную канцелярию". Значит, тут, на чердаке жилого дома, помещается канцелярия суда? Особого уважения такое устройство вызвать не могло, и всякому обвиняемому было утешительно видеть, какими жалкими средствами располагает этот суд, раз ему приходится устраивать свою канцелярию в таком месте, куда жильцы — всякая голь и нищета — выбрасывают ненужный хлам. Правда, не исключалось и то, что денег отпускали достаточно, но чиновники тут же их разворовывали, вместо того чтобы употребить по назначению. Судя по всему, что испытал К., это было вполне вероятно, и хотя такая развращенность судебных властей была крайне унизительна для обвиняемого, но вместе с тем это предположение успокаивало больше, чем мысль о нищете суда. Теперь К. стало понятно, почему обвиняемого при первом допросе постеснялись пригласить на чердак и предпочли напасть на него в его собственной квартире. Насколько же лучше было положение К., чем положение следователя: тот сидел на чердаке, в то время как сам К. занимал у себя в банке просторный кабинет с приемной и мог любоваться оживленной городской площадью через громадное окно. Правда, у К. не было никаких побочных доходов — взятки он не брал, денег не утаивал и, уж конечно, не мог распорядиться, чтобы служитель, схватив женщину в охапку, принес ее к нему в кабинет. Впрочем, К., по крайней мере в данных обстоятельствах, охотно был готов отказаться от таких развлечений.

Все еще стоя перед запиской, К. увидел, что по лестнице поднялся какой-то человек, заглянул в открытую дверь комнаты, осмотрел оттуда зал заседаний и наконец спросил К., не видел ли он тут сейчас женщину.

— Вы служитель суда, не так ли? — спросил К.

— Да, — ответил тот, — а вы, значит, обвиняемый К.? Теперь я вас тоже узнал, рад вас видеть. — И, к удивлению К., он протянул ему руку. — Но ведь сегодня заседаний нет, — сказал служитель, когда К. промолчал.

— Знаю, — сказал К. и посмотрел на штатский пиджак служителя: единственным признаком его служебного положения были две позолоченные, явно споротые с офицерской шинели пуговицы, которые виднелись среди обычных пуговиц.

— Только сейчас я разговаривал с вашей женой. Ее тут нет. Студент унес ее к следователю.

— Вот видите! — сказал служитель. — Вечно ее от меня уносят. Сегодня воскресенье, работать я не обязан, а мне вдруг дают совершенно ненужные поручения, лишь бы усласть отсюда. Правда, услали меня недалеко, ну, думаю, потороплюсь и, даст бог, вернусь вовремя. Бегу что есть мочи, приоткрываю дверь учреждения, куда меня послали, выкрикиваю то, что мне велели сказать, задыхаюсь так, что меня, наверно, с трудом понимают, бегу назад — но этот студент, видимо, еще больше спешил, чем я; правда, ему-то ближе, только сбежать с чердачной лесенки, и все. Не будь я человеком подневольным, я этого студента давно раздавил бы об стенку. Вот тут, рядом с запиской. Только об этом и мечтаю. Вот тут, чуть выше пола. Висит весь расплюснутый, руки врозь, пальцы растопырены, кривые ножки кренделем, а кругом все кровью забрызгано. Но пока что об этом можно только мечтать.

— А разве другого выхода нет? — с улыбкой спросил К.

— Другого не вижу, — сказал служитель. — И главное, с каждым днем все хуже: до сих пор он таскал ее только к себе, а сейчас потащил к самому следователю; впрочем, этого я давным-давно ждал.

— А разве ваша жена не сама виновата? — спросил К., с трудом сдер-

живаясь, до того сильно он все еще ревновал ее.

— А как же, — сказал служитель, — она больше всех и виновата. Сама вешалась ему на шею. Он-то за всеми бабами бегаёт. В одном только нашем доме его уже выставили из пяти квартир, куда он втерся. А моя жена самая красивая женщина во всем доме, но как раз мне и нельзя защищаться.

— Да, если дело так обстоит, значит, помочь ничем нельзя, — сказал К.

— Нет, почему же? — сказал служитель. — Надо бы этого студента, этого труса, отколотить как следует, чтобы навсегда отбить охоту лезть к моей жене. Но мне самому никак нельзя, а другие мне тут не подмога, слишком они боятся его власти. Только такой человек, как вы, мог бы это сделать.

— То есть почему же я? — удивился К.

— Ведь вы обвиняемый, — сказал служитель.

— Да, — сказал К., — но тем больше оснований у меня бояться, что он может повлиять если не на самый исход судебного процесса, то, во всяком случае, на предварительное следствие.

— Да, конечно, — сказал служитель, как будто мнение К. не противоречило его мнению. — Но ведь здесь у нас, как правило, безнадежных процессов не ведут.

— Правда, я думаю несколько иначе, — сказал К., — но это мне не помешает как-нибудь взять в оборот вашего студента.

— Я был бы вам очень признателен, — сказал служитель несколько официально; казалось, он не верит в исполнение своего сокровенного желания.

— Но возможно, — продолжал К., — что некоторые ваши чиновники, а может быть, и все заслуживают того же.

— Да, да, — согласился служитель, словно речь шла о чем-то само собой понятном. Тут он бросил на К. доверчивый взгляд, чего раньше, несмотря на всю свою приветливость, не делал, и добавил: — Все бунтуют, ничего не попишешь.

Но ему, как видно, стало немножко не по себе от этих разговоров, потому что он сразу переменял тему и сказал:

— Теперь мне надо явиться в канцелярию. Хотите со мной?

— Мне там делать нечего, — сказал К.

— Можете поглядеть на канцелярию. На вас никто не обратит внимания.

— А стоит посмотреть? — спросил К. нерешительно: ему очень хотелось пойти туда.

— Как сказать, — ответил служитель. — Я подумал, может, вам будет интересно.

— Хорошо, — сказал наконец К., — я пойду с вами. — И он быстро пошел по лесенке впереди служителя.

В дверях канцелярии он чуть не упал — за порогом была еще ступенька.

— С посетителями тут не очень-то считаются, — сказал он.

— Тут ни с кем не считаются, — сказал служитель. — Вы только взгляните на приемную.

Перед ними был длинный проход, откуда грубо сколоченные двери вели в разные помещения чердака. Хотя непосредственного доступа света ниоткуда не было, все же темнота казалась неполной, потому что некоторые помещения отделялись от прохода не сплошной перегородкой, а дере-

инной решеткой, правда доходившей до потолка; оттуда проникал слабый свет, и даже можно было видеть некоторых чиновников, которые писали за столами или стояли у самых решеток, наблюдая сквозь них за людьми в проходе. Вероятно, оттого, что было воскресенье, посетителей было немного. Держались они все очень скромно. С обеих сторон вдоль прохода стояли длинные деревянные скамьи, и на них, почти на одинаковом расстоянии друг от друга, сидели люди. Все они были плохо одеты, хотя большинство из них, судя по выражению лица, манере держаться, коленым бородкам и множеству других, едва уловимых признаков, явно принадлежали к высшему обществу. Никаких вешалок нигде не было, и у всех шляпы стояли под скамьями — очевидно, кто-то из них подал пример. Тот, кто сидел около дверей, увидел К. и служителя, привстал и поздоровался с ними, и, заметив это, следующие тоже решили, что надо здороваться, так что каждый, мимо кого они проходили, привстал перед ними. Никто не выпрямлялся во весь рост, спины сутулились, коленки сгибались, люди стояли, как нищие. К. подождал отставшего служителя и сказал:

— Как их всех тут унизили!

— Да, — сказал служитель, — это все обвиняемые.

— Неужели! — сказал К. — Но тогда все они — мои коллеги! — И он обратился к высокому, стройному, почти седому человеку. — Чего вы тут ждете? — вежливо спросил он.

От неожиданного обращения этот человек так растерялся, что на него тяжело было смотреть, тем более что это явно был человек светский и, наверно, в любых иных обстоятельствах отлично умел владеть собой, не теряя превосходства над людьми. А тут он не мог ответить на самый простой вопрос и смотрел на других соседей так, словно они обязаны ему помочь и без них ему не справиться. Но подошел служитель и, желая успокоить и подбодрить этого человека, сказал:

— Господин просто спрашивает, чего вы ждете. Отвечайте же ему! Очевидно, знакомый голос служителя подбодрил его.

— Я жду... — начал он и запнулся.

По-видимому, он начал с этих слов, чтобы точно сформулировать ответ на вопрос, но дальше не пошел. Некоторые из ожидающих подошли поближе и окружили стоявших, но тут служитель сказал:

— Разойдитесь, разойдитесь, освободите проход!

Они немного отошли, однако на прежние места не сели. Между тем тот, кому задали вопрос, собрался с мыслями и ответил, даже слегка улыбаясь:

— Месяц назад я собрал кое-какие свидетельства в свою пользу и теперь жду решения.

— А вы, как видно, не жалеете усилий, — сказал К.

— О да, — сказал тот, — ведь это мое дело.

— Не каждый думает, как вы, — сказал К. — Я, например, тоже обвиняемый, но, клянусь спасением души, никаких свидетельств я не собираю и вообще ничего такого не предпринимаю. Неужели вы считаете это необходимым?

— Точно я ничего не знаю, — ответил тот, уже окончательно растерявшись; он явно решил, что К. над ним подшучивает, и ему, должно быть, больше всего хотелось дословно повторить то, что он уже сказал, но, встретив нетерпеливый взгляд К., он только проговорил: — Что касается меня, то я подал справки.

— Кажется, вы не верите, что я тоже обвиняемый? — спросил К.

— Что вы, конечно, верю, — сказал тот и отступил в сторону, но в его ответе прозвучала не вера, а только страх.

— Значит, вы мне не верите? — повторил К. и, бессознательно задетый униженным видом этого человека, взял его за рукав, словно хотел заставить его поверить.

Он совершенно не собирался сделать ему больно, да и дотронулся до него еле-еле, но тот вдруг закричал, словно К. схватил его за рукав не двумя пальцами, а раскаленными щипцами. Этот нелепый крик окончательно вывел К. из себя; раз ему не верят, что он тоже обвиняемый, тем лучше, а вдруг его принимают за судью? И уже крепко, с силой схватив того за плечо, он толкнул его на скамейку и пошел дальше.

— Все эти обвиняемые такие чувствительные, — сказал служитель.

За их спиной почти все ожидающие собрались вокруг того человека: кричать он перестал, и теперь все его, очевидно, расспрашивали подробно, что произошло. Навстречу К. шел стражник, его можно было отличить главным образом по сабле, у которой ножны, судя по цвету, были сделаны из алюминия. К. удивился этому и даже потрогал ножны рукой. Стражник, как видно, был привлечен шумом и спросил, что тут произошло. Служитель попытался как-то успокоить его, но он заявил, что должен сам все проверить, отдал честь и пошел дальше какими-то торопливыми, семенящими шажками; по-видимому, он страдал подагрой.

К. не стал больше обращать внимания ни на него, ни на посетителей, сидевших в проходе, так как, пройдя половину коридора, он увидел, что можно свернуть вправо через дверной проем. Он справился у служителя, правильно ли он идет, тот кивнул, и К. прошел туда. Ему было неприятно все время идти на два-три шага впереди служителя: именно тут, в этом здании, могло показаться, что ведут арестованного. Он то и дело поджидал служителя, но тот сразу опять отставал. Наконец К., желая прекратить это неприятное состояние, сказал:

— Ну, вот я и посмотрел, как тут все устроено, теперь я ухожу.

— Нет, вы еще не все видели, — небрежно бросил служитель.

— А я и не хочу все видеть, — сказал К., уже по-настоящему чувствуя усталость. — Я хочу уйти, где тут выход?

— Неужели вы уже заблудились? — удивленно спросил служитель. — Надо дойти до угла, а потом направо по тому проходу до самой двери.

— Пойдемте со мной, — сказал К., — покажите мне дорогу, не то я запутаюсь, здесь столько входов и выходов.

— Нет, это единственный выход, — уже с упреком сказал служитель. — А вернуться с вами я не могу, мне еще надо передать поручение, я и так потерял с вами ймуу времени.

— Нет пойдемте! — уже резче сказал К., словно наконец уличил служителя во лжи.

— Не кричите! — прошептал служитель. — Здесь кругом канцелярии. Если не хотите идти без меня, пройдемте еще немножко вперед, а лучше подождите тут, я только передам поручение, а потом с удовольствием провожу вас.

— Нет, нет, — сказал К., — ждать я не буду, вы должны сейчас же пройти со мной.

К. еще не осмотрелся в помещении, где они находились, и только когда открылась одна из бесчисленных дощатых дверей, он оглянулся. Какая-то девушка, привлеченная, очевидно, громким голосом К., вышла и спросила:

Что вам угодно, сударь?

За ней, поодаль, в полутьме, показалась фигура приближающегося мужчины. К. посмотрел на служителя. Ведь он говорил, что никто не обратит внимания на К., а тут уже двое подходят; еще немного — и все чиновники обратят на него внимание, потребуют объяснить, зачем он здесь. Единственным понятным и приемлемым объяснением было бы то, что он обвиняемый и пришел узнать, на какое число назначен следующий допрос, но такого объяснения он давать не хотел, тем более что оно не соответствовало бы действительности, ведь пришел он из чистого любопытства, а также из желания установить, что внутренняя сторона этого судопроизводства так же отвратительна, как и внешняя, но дать такое объяснение было совсем невозможно. Все, что он думал, подтверждалось, и дальше вникать у него охоты не было, его и так удручало все, что он увидел, сейчас он был просто не в состоянии встретиться с каким-нибудь важным чиновником, который мог вынырнуть из-за любой двери; нет, он хотел уйти со служителем, а если придется, то и один.

Но его молчаливое упорство, очевидно, бросалось в глаза, потому что и девушка, и служитель так на него смотрели, будто в ближайший миг с ним произойдет какое-нибудь превращение и они боятся это пропустить. А в дверях уже стоял человек, которого К. заметил еще раньше, издали; он держался рукой за низкую притолоку и слегка раскачивался на носках, как нетерпеливый зритель. Девушка первая поняла, что странное поведение К. объясняется легким недомоганием, она тут же принесла кресло и спросила:

— Может быть, вы присядете?

К. сразу сел и тяжело облокотился на ручки кресла, словно ища опоры.

— Немного закружилась голова, правда? — спросила девушка. Ее лицо склонилось к нему совсем близко с тем строгим выражением, какую свойственно многим женщинам именно в расцвете молодости.

— Не волнуйтесь, — сказала она, — тут это дело обычное; почти с каждым, кто приходит сюда впервые, бывает такой припадок. Вы ведь здесь и первый раз? Да, тогда это вполне естественно. Солнце странно нагревает стропила крыши, а от перегретого дерева воздух становится тяжелым, душным. Вот почему, несмотря на все преимущества, это помещение не очень подходит для канцелярии. А что касается воздуха, то при большом скоплении клиентов — а это бывает почти каждый день — тут просто дышать нечем. Если еще вспомнить, что тут часто вешают сушить белье — польза же запретить жильцам пользоваться чердаком, — то вы и сами поймете, почему вам стало не по себе. Но в конце концов и к такому воздуху привыкаешь. Вот придете сюда еще раза два-три и даже не почувствуете духоты. Вам уже немного лучше?

К. ничего не ответил — слишком неприятно было из-за внезапной слабости ощущать свою зависимость от этих людей, а кроме того, когда он узнал, почему ему стало дурно, он почувствовал себя не только не лучше, а, пожалуй, еще хуже. Девушка сразу это заметила, взяла багор, стоявший у стены, и открыла небольшой люк над головой у К., чтобы дать доступ свежему воздуху. Но посыпалось столько сажки, что девушке пришлось тут же закрыть люк и смахнуть сажу с рук К. своим носовым платком, потому что сам он слишком ослабел. Он охотно посидел бы тут, чтобы собраться с силами и уйти, и чем меньше на него обращали бы внимания, тем скорее он пришел бы в себя. Но тут девушка сказала:

— Здесь сидеть нельзя, мы мешаем движению.

К. вопросительно взглянул на нее, не понимая, о каком движении идет речь.

— Если хотите, я проведу вас в медицинскую комнату. Помогите мне, пожалуйста! — обратилась она к мужчине, стоявшему в дверях, и он сразу подошел ближе.

Но К. вовсе не хотел идти в медицинскую комнату, он больше всего боялся, что его уведут: наверно, там чем дальше, тем хуже.

— Я уже могу идти, — сказал он, и, как ни удобно ему было сидеть в кресле, он, весь дрожа, встал на ноги. Но удержаться на ногах он был не в силах.

— Не могу, — сказал он, покачивая головой, и со вздохом снова опустился в кресло. Он вспомнил служителя суда, который, несмотря ни на что, мог бы помочь ему выйти отсюда, но тот, как видно, давно ушел. Он заглянул в просвет между мужчиной и девушкой, но служителя не увидел.

— Я считаю, — сказал мужчина, одетый весьма элегантно — особенно бросалась в глаза серая жилетка, заканчивавшаяся двумя острыми уголками, — я считаю, что нездоровье этого господина вызвано здешней атмосферой, поэтому будет разумнее всего, да и ему приятнее, если мы не станем отводить его в медицинскую комнату, а просто выведем из канцелярии.

— Вот именно! — воскликнул К. и от радости не дал тому договорить. — Конечно же, мне станет сразу лучше, да я и не настолько ослаб, меня надо только немного поддержать под мышки, я вас никак не затрудню, тут ведь близко, доведите меня до двери, я немножко посижу на ступеньках и совсем отдохну, у меня таких припадков никогда не бывало, удивляюсь, как это вышло. Ведь я и сам служащий, привык к канцелярскому воздуху, но здесь, как вы изволили заметить, слишком уж душно. Будьте любезны, проводите меня немного, у меня голова кружится, мне дурно, когда я стою без поддержки. — И он приподнял плечи, чтобы его могли подхватить под мышки.

Но мужчина не внял его просьбе и, не вынимая рук из карманов, громко рассмеялся.

— Вот видите, — сказал он девушке, — этому господину не вообще плохо, а плохо только здесь!

Девушка тоже улыбнулась, но слегка похлопала мужчину по плечу кончиками пальцев, словно он позволил себе слишком явную насмешку над К.

— Да что вы, — сказал тот, не переставая смеяться, — я же действительно хочу помочь ему выйти.

— Вот и прекрасно, — сказала девушка, кивнув хорошенькой головкой. — И пожалуйста, не придавайте слишком много значения нашему смеху, — обратилась она к К., видя, что тот опять помрачнел и усталился перед собой, не интересуясь никакими объяснениями. — Этот господин — вы разрешите вас представить? — (тот жестом выразил согласие), — этот господин заведует справочным бюро. Он дает ожидающим клиентам все необходимые справки, а так как народ не слишком знаком с нашей судебной процедурой, то справок требуется очень много. Он может ответить на любой вопрос. Вы как-нибудь испытайте его, если угодно. Но это не единственное его преимущество. Второе преимущество — его элегантный костюм. Мы, то есть все служащие, как-то решили, что заведующему справками, который обычно первым встречается с клиентами, необходимо

отлично одеваться, для того чтобы сразу произвести хорошее впечатление. Мы, остальные, как вы можете судить по мне, к сожалению, одеты очень плохо и старомодно, да и смысла нет тратить на одежду, ведь мы почти все время проводим в канцелярии, мы даже ночуем тут. Но, как я уже сказала, мы считаем необходимым, чтобы заведующий справочным бюро был хорошо одет. И так как от нашего начальства, настроенного в этом вопросе несколько странно, добиться ничего нельзя, то мы провели сбор — и нем и клиенты участвовали — и купили ему не только этот прекрасный костюм, но и несколько других. Казалось бы, все сделано для того, чтобы он производил хорошее впечатление, но своим смехом он все портит, отпугивает людей.

— Верно, — сказал насмешливо господин из справочной. — Я только не понимаю, фройляйн, почему вы посвящаете этого господина в наш внутренний распорядок, до которого ему дела нет. Разве вы не видите, что он сейчас целиком поглощен своими собственными делами?

К. не испытывал никакого желания противоречить девушке, намерения у нее были явно самые добрые, должно быть, ей хотелось отвлечь его или дать ему возможность собраться с силами, но ей это не удалось.

— Надо же мне было объяснить ему причину вашего смеха, — сказала девушка. — Он мог обидеться.

— Наверно, он и не такие обиды готов простить, лишь бы я вывел его отсюда.

К. опять ничего не сказал, даже не поднял глаз; он не возражал, чтобы эти двое говорили о нем как о неодушевленном предмете, ему это было даже приятнее. Но вдруг рука заведующего бюро легла на его правую, а рука девушки — на левую руку.

— Ну, вставайте же, слабый вы человек, — сказал заведующий.

— Я вам очень благодарен, — сказал К., обрадовавшись неожиданной помощи, медленно поднялся и передвинул эти чужие руки так, чтобы они его поддерживали как следует.

— Вам могло показаться, — зашептала девушка на ухо К., когда они подходили к коридору, — будто я стараюсь представить заведующего справочным бюро в чересчур выгодном свете, но поверьте, что я говорю правду. У него не злое сердце. Ведь он не обязан выводить больных клиентов, однако сами видите, как он помогает. Может быть, все мы тут не такие уж злые, может, мы охотно помогли бы каждому, но ведь мы в суде, и нас легко принять за злых людей, которые никому не желают помогать. И от этого просто страдаю.

— Не хотите ли тут присесть? — спросил заведующий справочным бюро.

Они уже вышли в коридор и очутились как раз напротив того обвиняемого, с которым К. разговаривал раньше. Теперь К. было немного стыдно; раньше он стоял перед этим человеком так уверенно, а теперь двое должны были его поддерживать, заведующий вертел в руках его шляпу, прическа у него растрепалась, волосы свисали на потный лоб. Но обвиняемый как будто ничего не заметил, смиренно стоя перед заведующим справочным бюро; тот не обращал внимания на его попытки объяснить свое присутствие.

— Знаю, — говорил обвиняемый, — сегодня еще не может быть решения по моему заявлению. И все же я пришел. Дай, думаю, подожду, ведь сегодня воскресенье, время у меня есть, а тут я никому не мешаю.

— Да вы не извиняйтесь, — сказал заведующий, — ваша щепетиль-

ность весьма похвальна. Правда, вы зря занимаете место, но, пока вы не мешаете мне, я не стану возражать, можете самолично следить за ходом своего дела. Когда насмотришься на людей, бесстыдно пренебрегающих своим долгом, то к таким, как вы, начинаешь относиться терпимее. Садитесь!

— Как он умеет разговаривать с клиентами! — шепнула девушка.

К. только кивнул головой и сразу вздрогнул, когда заведующий справочной снова спросил его:

— Не хотите ли посидеть?

— Нет, — сказал К., — в отдыхе я не нуждаюсь.

Он постарался сказать это как можно решительнее, но на самом деле ему очень полезно было бы присесть. Он ощущал что-то вроде морской болезни. Ему казалось, что он на корабле в сильнейшую качку. Казалось, волны бьют о деревянную обшивку, откуда-то из глубины коридора подымается рев кипящих валов, пол в коридоре качается поперек, от стенки к стенке, и посетители с обеих сторон то подымаются, то опускаются. Тем непонятнее было спокойствие девушки и мужчины, которые его вели. Он был всецело предоставлен им; выпустили они его, и он тут же упадет, как полено. Прищурив глаза, они обменивались быстрыми взглядами. К. чувствовал размеренность их шагов, он не попадал в такт, потому что они почти что несли его. Наконец он услышал, как они обращаются к нему, но ничего не понял. Он воспринимал только сплошной шум, наполнявший все вокруг, а сквозь него, казалось, пробивался однотонный, высокий звук, похожий на звук сирены.

— Громче, — прошептал он, опустив голову, ему было стыдно от сознания, что они говорят достаточно громко, а он их не понимает. И тут наконец перед ним словно расступилась стена, навстречу повеяло воздухом, и он услышал, как рядом сказали:

— То он хочет уйти, а то ему сто раз повторяешь, что тут выход, а он с места не двигается.

К. увидел, что он стоит перед дверью, которую девушка распахнула настежь. Он почувствовал, что силы внезапно вернулись к нему, и, чтобы полностью предвкусить ощущение свободы, он сразу вышел на лестницу и уже оттуда стал прощаться со своими провожатыми, которые наклонились к нему.

— Большое спасибо, — повторял он, без конца пожимая протянутые руки, и выпустил их, только заметив, что они оба, привыкшие к канцелярскому воздуху, плохо переносят сравнительно свежий воздух лестничного пролета. Они еле отвечали, и девушка, наверно, упала бы, если бы К. с невероятной поспешностью не захлопнул дверь. К. постоял минуту, потом с помощью карманного зеркала привел в порядок волосы, поднял шляпу, лежавшую на следующей ступеньке, — как видно, ее туда сбросил заведующий, — и сбежал по лестнице так бодро, такими большими прыжками, что ему даже стало не по себе от столь быстрой перемены. Никогда его крепкий и в общем здоровый организм не преподносил ему таких сюрпризов. Неужто его тело взбунтовалось и в нем происходит иной жизненный процесс, не тот, прежний, который протекал с такой легкостью? Не отказываясь от мысли обратиться как-нибудь к врачу, он одно решил твердо — и в этом вопросе он в чужих советах не нуждался — постараться в будущем использовать воскресные утра лучше, чем сегодня.

ПОДРУГА ФРОЙЛЯЙН БЮРСТНЕР

В течение ближайших дней К. никак не мог сказать фройляйн Бюрстнер хотя бы два-три слова. Он всячески пытался подойти к ней, но она всегда ухитрялась избегать его. После службы он сразу шел домой, усаживался в своей комнате на кушетку, не зажигая света, ничем другим не занимался — только следил, не появится ли кто-нибудь в прихожей. А если проходила горничная и притворяла дверь его, как ей казалось, пустой комнаты, он через некоторое время вставал и снова открывал дверь. По утрам он подымался на час раньше обычного, чтобы встретить фройляйн Бюрстнер, пока она не ушла в контору. Но все его попытки срывались. Тогда он написал ей письма и на адрес конторы, и на домашний адрес, пытаясь оправдать свое поведение, предлагал чем угодно загладить свой промах, обещал никогда не преступать границ, которые она ему поставит, и только просил дать ему возможность поговорить с ней, тем более что он не мог ни о чем договориться с фрау Грубах, не посоветовавшись предварительно с фройляйн Бюрстнер. А в конце письма сообщал, что в следующее воскресенье он будет весь день дожидаться в своей комнате — пусть даст хоть какой-то знак, что согласна исполнить его просьбу о свидании или по крайней мере объяснить ему, почему эта просьба невыполнима, причем он обещает всецело подчиниться ее требованиям. Письма не вернулись, но и ответа не последовало. Однако в следующее воскресенье ему был подан знак, не допускавший никаких сомнений. С самого утра К. увидел через замочную скважину необычную суету в прихожей, причина которой скоро выяснилась. Учительница французского языка — впрочем, она была немка по фамилии Монтаг, — чахлая, бледная, хроменькая девушка, занимавшая до сих пор отдельную комнату, перебиралась в комнату к фройляйн Бюрстнер. Уже несколько часов шмыгала она взад и вперед через прихожую. То она забывала взять что-то из белья, то коврик, то книжку, и за всем по отдельности ей приходилось бегать, все переносить в новое жилье.

Когда фрау Грубах принесла К. его завтрак — с тех пор как он так на нее разгневался, она даже мелочей не поручала прислуге, — К., не удержавшись, заговорил с ней в первый раз после пятидневного молчания.

— Почему сегодня такой шум в передней? — спросил он, наливая себе кофе. — Нельзя ли это прекратить? Неужто именно в воскресенье надо делать уборку?

И хотя К. не смотрел на фрау Грубах, он заметил, что она вздохнула словно с облегчением. Даже этот суровый вопрос она восприняла как примирение или хотя бы как шаг к примирению.

— Никакой уборки нет, господин К., — сказала она, — это фройляйн Монтаг перебирается к фройляйн Бюрстнер, переносит свои вещи.

Больше она ничего не сказала, выжидая, как примет К. ее слова и будет ли ей разрешено говорить дальше. Но К. решил ее испытать и, задумчиво помешивая ложечкой свой кофе, промолчал. Потом поднял глаза и спросил:

— А вы уже отказались от своих прежних подозрений относительно фройляйн Бюрстнер?

— Ах, господин К.! — воскликнула фрау Грубах, явно ждавшая этого

вопроса, и умоляюще сложила руки перед К. — Вы слишком близко приняли к сердцу совершенно случайное замечание. У меня и в мыслях не было обидеть вас или еще кого-нибудь. Ведь вы меня так давно знаете, господин К., вы мне должны верить. Вы не можете себе представить, как я страдала все эти дни! Неужели я способна оговорить своих квартирантов! И вы, вы, господин К., могли этому верить! Да еще предлагали, чтобы я отказала вам от квартиры! Вам — и отказала! — Слезы уже заглушили последние слова, она закрыла лицо передником и громко зарыдала.

— Не плачьте, фрау Грубах, — сказал К., глядя в окно. Он думал только о фройляйн Бюрстнер и о том, что она взяла к себе в комнату постороннюю девушку. — Да не плачьте же! — повторил он, обернувшись и увидев, что фрау Грубах все еще плачет. — Я в тот раз не хотел сказать ничего дурного. Мы просто друг друга не поняли. Это случается и со старыми друзьями.

Фрау Грубах выглянула из-за передника, чтобы убедиться, действительно ли К. на нее не сердится.

— Да, да, это правда, — сказал К. По всему поведению фрау Грубах он понял, что ее племянник, капитан, ничего не выдал, и потому решился добавить: — Неужели вы и вправду поверили, что из-за какой-то мало-знакомой барышни я с вами поссорюсь?

— То-то и оно, господин К., — сказала фрау Грубах. Но, к несчастью, как только она чувствовала себя хоть немного увереннее, она сразу становилась бестактной. — Я и то себя спрашивала, с чего бы это господин К. так заступался за фройляйн Бюрстнер? Почему он ссорился со мной из-за нее? Ведь он знает, что я ночами не сплю, когда он на меня сердится. А про барышню я только то и говорила, что видела своими глазами!

К. ничего ей не возразил, иначе ему пришлось бы тотчас выставить ее из комнаты, а этого он не хотел. Он только молча пил кофе, как бы подчеркивая, что фрау Грубах тут уже лишняя. За дверью послышалось шурканье: фройляйн Монтаг опять проходила через переднюю.

— Вы слышите? — спросил К. и повел рукой к двери.

— Да, — сказала со вздохом фрау Грубах, — я и сама хотела ей помочь, и горничную посылала на помощь, да она такая упрямая, все хочет сама перенести. Удивляюсь я на фройляйн Бюрстнер. Мне и то неприятно, что эта Монтаг у меня живет, а фройляйн Бюрстнер вдруг берет ее к себе в комнату.

— Вас это не должно касаться, — сказал К. и раздавил ложечкой остаток сахара в чашке. — Разве вам от этого убыток?

— Нет, — сказала фрау Грубах, — в сущности, мне это даже на руку, у меня комната освободится, можно будет туда поместить моего племянника, капитана. Мне давно уже боязно, что он вам мешает, оттого что пришлось на эти несколько дней поселить его в гостиной. Он не очень-то церемонится.

— Что за выдумки! — сказал К. и встал со стула. — Об этом и речи нет. Должно быть, вы считаете меня таким капризным, оттого что меня раздражает шмыганье этой Монтаг. Слышите, опять она идет.

Фрау Грубах беспомощно смотрела на К.

— Может быть, господин К., сказать ей, чтобы она отложила переноску? Если вам угодно, я скажу сейчас же!

— Но ведь она должна перебраться к фройляйн Бюрстнер! — сказал К.

— Да, — подтвердила фрау Грубах, не совсем понимая, к чему он клонит.

— Ну вот, — сказал К., — значит, ей необходимо перенести вещи.

Фрау Грубах только кивнула. Эта немая беспомощность, которая так походила на упрямство, еще больше раздражала К. Он стал расхаживать по комнате от окна до двери, из-за чего фрау Грубах никак не могла выйти, хотя ей только этого и хотелось.

К. подошел к двери как раз в ту минуту, когда к нему постучали. Пошла горничная и доложила, что фройляйн Монтаг хотела бы сказать господину К. несколько слов и просит его пройти в столовую, где она ждет. К. задумчиво выслушал горничную, потом почти что с насмешкой взглянул на испуганную фрау Грубах. Этот взгляд, казалось, говорил, что он, К., давно предвидел приглашение фройляйн Монтаг, что и это тоже одно из тех мучений, какие ему приходится терпеть от жильцов фрау Грубах в воскресенье утро. Он попросил горничную передать, что сейчас придет, подошел к шкафу, чтобы сменить пиджак, и в ответ на жалобные причитания фрау Грубах по адресу назойливой особы он только попросил ее убрать прибор с завтраком.

— Да вы же почти ни до чего не дотронулись! — сказала фрау Грубах.

— Ах, да уберите же скорее! — крикнул К. Ему казалось, что и еда как-то связана с фройляйн Монтаг и потому особенно противна.

Проходя через прихожую, он взглянул на закрытую дверь комнаты фройляйн Бюрстнер. Но его приглашали не в эту комнату, а в столовую, и он рывком открыл туда дверь, даже не постучавшись.

Это была очень длинная и узкая комната в одно окно. В ней только и хватило места для двух шкафов, поставленных углом около дверей, все остальное пространство занимал длинный обеденный стол; он начинался у дверей и тянулся почти до большого окна, к которому из-за этого трудно было пройти. Стол уже накрыли на много персон, так как по воскресеньям почти все жильцы обедали тут.

Когда К. вошел, фройляйн Монтаг двинулась ему навстречу от окна вдоль стола. Они молча поздоровались. Потом фройляйн Монтаг, как всегда неестественно закинув голову, сказала:

— Не знаю, известно ли вам, кто я такая.

К. посмотрел на нее прищурясь.

— Разумеется, известно, — сказал он. — Ведь вы давно живете тут, у фрау Грубах.

— Но, как мне кажется, вы мало интересуетесь этим пансионом?

— Мало, — сказал К.

— Может быть, вы присядете? — спросила фройляйн Монтаг.

Оба молча вытащили два стула и сели в конце стола друг против друга. Но фройляйн Монтаг тут же встала — она забыла сумочку на подоконнике и, шаркая ногами, пошла за ней через всю комнату. Она вернулась от окна, слегка покачивая сумочку на пальце, и сказала:

— Мне хотелось бы передать вам несколько слов по поручению моей подруги. Она собиралась прийти сама, но ей сегодня нездоровится. Она просила вас извинить ее и выслушать меня. Впрочем, она все равно не сказала бы вам больше того, что скажу я. Напротив, я думаю, что могу сказать вам даже больше, так как я в некотором отношении беспристрастна. Вы со мной согласны?

— А что тут можно сказать? — ответил К. Ему докучало, что фройляйн Монтаг уставилась на его губы. Она словно предвосхищала все, что

он хотел сказать. — Очевидно, фройляйн Бюрстнер не соблаговолила встретиться со мной для личного разговора, как я ее просил.

— Да, это так, — сказала фройляйн Монтаг. — Или, вернее, все это вовсе не так. Вы слишком резко ставите вопрос. Вообще на такие разговоры и согласия не дают, и отказа не бывает. Но случается, что разговор просто считают бесполезным, и в данном случае так оно и есть. Теперь, после вашего замечания, я могу говорить откровенно. Вы просили мою приятельницу объясниться с вами письменно или устно. Но моя приятельница, как я предполагаю, отлично знает, о чем будет разговор, и по неизвестным мне причинам уверена, что такое объяснение никому пользы не принесет. Вообще же она мне рассказала об этом только вчера, и то совсем мимоходом, причем пояснила, что и для вас этот разговор совершенно неважен, потому что вы только случайно напали на эту мысль и сами поймете, а может быть, уже и поняли без особых разъяснений, всю нелепость своей затеи. Я ей ответила, что, быть может, все это и верно, но для полной ясности я считаю небесполезным дать вам исчерпывающий ответ. Я вызвалась передать ее ответ, и после некоторых колебаний моя приятельница согласилась. Надеюсь, что я действовала и вам на пользу, ведь всякая неизвестность, даже в самом пустячном деле, всегда мучительна, и если ее можно, как в данном случае, легко устранить, то надо это сделать без промедления.

— Благодарю вас, — тут же сказал К., медленно встал, поглядел на фройляйн Монтаг, потом на стол, потом в окно — дом напротив был озарен солнцем — и пошел к двери. Фройляйн Монтаг пошла было следом за ним, словно не совсем ему доверяла. Но у выхода им обоим пришлось отступить: дверь распахнулась, и вошел капитан Ланц. К. впервые увидел его вблизи. Это был высокий мужчина лет сорока, с загорелым до черноты мясистым лицом. Он сделал легкий поклон, относившийся и к К., потом подошел к фройляйн Монтаг и почтительно поцеловал ей руку. Двигался он очень легко и ловко. Его вежливое обращение с фройляйн Монтаг резко отличалось от того, как с ней обращался сам К. Но фройляйн Монтаг, по-видимому, не обижалась на К., она, как заметил К., даже собиралась представить его капитану. Но К. вовсе не хотел, чтобы его кому-то представляли, он все равно не мог бы заставить себя быть любезным ни с фройляйн Монтаг, ни с капитаном, а то, что капитан поцеловал ей руку, сразу сделало их в глазах К. сообщниками, которые, притворяясь в высшей степени безобидными и незаинтересованными, мешают ему встретиться с фройляйн Бюрстнер. Но К. считал, что он не только это понял; он понял также, что фройляйн Монтаг выбрала неплохой, хотя и обуюдоострый способ. Она преувеличила значительность тех взаимоотношений, которые создались между К. и фройляйн Бюрстнер, а главное — она преувеличила значение того разговора, которого добивался К., и при этом старалась так повернуть дело, что выходило, будто сам К. придает всему слишком большое значение. Тут-то она и ошибалась: К. вовсе не желал ничего преувеличивать, он отлично знал, что фройляйн Бюрстнер просто жалкая машинисточка, которая не сможет долго сопротивляться ему. При этом он нарочно не принимал во внимание то, что он узнал про фройляйн Бюрстнер от хозяйки. Все это мелькнуло у него в голове, когда он вышел из столовой с небрежным поклоном. Он хотел сразу пройти к себе в комнату, но тут в столовой за его спиной раздался смешок фройляйн Монтаг, и у него мелькнула мысль, что, может быть, ему удастся удивить и капитана, и фройляйн Монтаг. Он огляделся вокруг, прислушался, не

помешает ли ему кто-нибудь из соседних комнат, но везде было тихо, слышался лишь разговор из столовой, да из коридора, ведущего на кухню, доносился голос фрау Грубах. Обстановка показалась К. благоприятной, и, подойдя к двери фройляйн Бюрстнер, он тихо постучал. Но ответа не было. Он постучал еще раз — и снова ему не ответили. Неужели она спит? А может быть, ей и вправду нездоровится? Или она нарочно не открывает, зная, что только К. может стучать так тихо? К. решил, что она нарочно прячется, и постучал сильнее, а когда на стук никто не отозвался, К., чувствуя, что поступает не только плохо, но и совершенно нелепо, осторожно приоткрыл дверь. В комнате никого не было. Да ничто и не напоминало знакомую комнату. У стены стояли рядом две кровати, все три кресла у дверей были завалены ворохом белья и платья, шкаф был открыт настежь. Очевидно, фройляйн Бюрстнер ушла, пока фройляйн Монтаг уговаривала К. Но его это не очень огорчило, он почти и не ждал, что так легко найдет фройляйн Бюрстнер, и сделал эту попытку почти исключительно назло фройляйн Монтаг. Но именно поэтому ему было особенно неприятно, когда он, закрывая дверь, вдруг увидел, что капитан и фройляйн Монтаг стоят и беседуют в дверях столовой. Возможно, что они там стояли уже в ту минуту, когда К. отворял дверь, но они сделали вид, что совсем не следят за ним, тихо переговаривались между собой и смотрели на К. рассеянным взглядом, как обычно смотрит человек, поглощенный разговором. Но К. все-таки стало неловко под их взглядами, и, прижимаясь к стенке, он поспешил проскользнуть к себе в комнату.

Глава пятая

ЭКЗЕКУТОР

В один из ближайших вечеров, когда К. проходил по коридору, отделявшему его кабинет от главной лестницы, — в тот раз он уходил со службы почти последним, только в экспедиции при тусклом свете лампы работали два курьера, — он услышал вздохи за дверью, где, как он думал, помещалась кладовка, хотя он сам никогда ее не видел. Он остановился удивленный, прислушался, чтобы убедиться, что он не ошибается. На минуту там стало тихо, потом снова послышались вздохи. К. хотел было позвать одного из курьеров — мог понадобиться свидетель, — но его охватило такое безудержное любопытство, что он буквально рывком распахнул дверь. Действительно, как он и предполагал, там была кладовка. За порогом громоздились старые, ненужные проспекты, опрокинутые глиняные бутылки из-под чернил. Но в самой комнатухе стояли трое мужчин, согнувшись под низким потолком. Свечка, прикрепленная к полочке, освещала их сверху.

— Что вы тут делаете? — спросил К., запинаясь от волнения, но стараясь сдержать голос.

На одном из мужчин — очевидно, начальнике над остальными — была какая-то странная кожаная безрукавка с глубоким вырезом, так что руки и грудь были обнажены. Он ничего не ответил. Но те двое закричали:

— Ах, сударь! Нас сейчас высекут, потому что ты пожаловался на нас следователю!

И только тут К. узнал обоих стражей — Франца и Виллема; третий

держал наготове розгу, словно собирався их высечь.

— Ну нет, — проговорил К., глядя на них в упор, — я на вас вовсе не жаловался, а просто рассказал, что произошло у меня на квартире. Кстати, ваше поведение было отнюдь не безукоризненным.

— Сударь, — сказал Виллем, тогда как Франц явно старался спрятаться за ним от третьего, — если бы вы только знали, как мало нам платят, вы бы не судили нас так строго. Мне надо кормить семью, а Франц хотел жениться, вот и стараешься урвать, что только можно; одной работой не проживешь, хоть из кожи лезешь вон. У вас бельецо тонкое, вот я на него и польстился, хотя нам, страже, это и запрещено. Конечно, нехорошо вышло, но уж так повелось, что белье достается стражам, издавна так повелось, верьте мне; оно и понятно: разве для того, кто имел несчастье быть арестованным, это играет какую-нибудь роль? Однако, если он пожалуется, нас наказывают.

— Ничего этого я не знал, а кроме того, я никоим образом не требовал для вас наказания, речь шла только о принципе.

— Франц, — обратился Виллем ко второму стражу, — а что я тебе говорил? Господин вовсе и не требовал для нас наказания. Сам слышал: он и не знал, что нас ждет наказание.

— И все они зря болтают, ты не расстраивайся, — сказал третий, обращаясь к К. — Наказание их ждет и справедливое, и неизбежное.

— Ты его не слушай... — сказал Виллем и осекся, торопливо поднося к губам руку, по которой его хлестнула розга. — Нас наказывают только из-за твоего доноса. Иначе нам ничего не сделали бы, даже если б узнали про наши дела. А разве это называется справедливостью? Оба мы, особенно я, служим давно, отлично себя зарекомендовали, да ты и сам должен признать, что, с точки зрения властей, мы тебя охраняли прекрасно. Мы уже надеялись продвинуться по службе и думали: сами станем экзекуторами, как вот он, ему повезло, на него никто не жаловался, такие жалобы у нас вообще редкость. А теперь, сударь, все пропало, карьера нашей конец, теперь нас пошлют на самую черную работу, это не то, что служить стражами, а к тому же еще крепко высекут.

— Неужели эта розга так больно сечет? — спросил К. и потрогал розгу, которой помахивал перед ним экзекутор.

— Да ведь нам придется раздеться догола, — сказал Виллем.

— Ах вот оно что, — сказал К. и пристально посмотрел на экзекутора; тот был загорелый, как матрос, и лицо у него было здоровое и наглое. — Разве нет возможности избавить их от порки? — спросил К.

— Ну нет! — с улыбкой сказал тот и тряхнул головой. — Раздевайтесь! — приказал он стражам. И тут же обратился к К.: — Не верь им, они от страха перед поркой малость свихнулись. Ну что он, — тут он кивнул на Виллема, — что он тут болтал о своей карьере? Ведь это просто смех. Взгляни, какой он жирный, этот жир сразу и розгой не пробьешь, а знаешь, почему он так разжирел? У него привычка съедать завтраки всех арестованных. Наверно, он и твой завтрак съел? Ну вот, что я говорил! Разве с таким брюхом можно стать экзекутором? Никогда в жизни.

— Неправда, такие экзекуторы тоже бывают, — вмешался Виллем, уже расстегивавший брючный пояс.

— Нет! — отрезал экзекутор и провел розгой по его шее так, что тот вздрогнул. — И вообще, не вмешивайся, а раздевайся поскорее.

— Я тебе хорошо заплачу, только отпусти их, — сказал К. и, не глядя

на экзекутора — такие дела лучше вершить, опустив глаза, — вынул свой бумажник.

— Ну нет, потом ты и на меня донесешь, подведешь и меня под розги. Нет, нет!

— Не глупи! — сказал К. — Если бы я хотел наказания этим двум, я бы сейчас не пытался их выкупить. Я мог бы просто захлопнуть дверь, ничего не видеть и не слышать и спокойно уйти домой. Но ведь я этого не делаю, наоборот, я всерьез стараюсь их освободить. Если бы я только подозревал, что их накажут, даже если б им только грозило наказание, я бы никогда не назвал их имена. Да я их и не считаю виновными, виновата вся организация, виноваты высшие чиновники.

— Верно! — крикнули стражи, и тут же розга хлестнула по их голым спинам.

— Если бы под твою розгу попал сам судья, — сказал К. и придержал розгу, уже готовую опуститься вновь, — я бы никак не стал мешать побоям, напротив, я дал бы тебе денег, чтобы ты подкрепился для доброго дела.

— Слова твои похожи на правду, — сказал экзекутор, — но все-таки подкупить себя я не позволю. Раз я приставлен для порки, значит, надо пороть.

Тут стражник Франц, который вел себя довольно сдержанно в ожидании благоприятного исхода от вмешательства К., в одних брюках подошел к двери и, упав на колени, вцепился в рукав К., шепча:

— Если ты не можешь добиться пощады для нас обоих, попробуй освободить хотя бы меня. Виллем старше, он во всех отношениях не такой чувствительный, да к тому же его уже поролли года два назад, правда не сильно, но меня еще ни разу не бесчестили, да и виноват во всем Виллем, это он меня подбил, он меня учит и хорошему и плохому. А внизу у входа в банк ждет моя невеста, мне так стыдно, так ужасно стыдно! — Он вытер залитое слезами лицо о пиджак К.

— Ну, я больше ждать не буду! — сказал экзекутор, схватил розгу обеими руками и стал хлестать Франца, а Виллем забился в угол и подсматривал исподтишка, не смея обернуться.

Вдруг Франц поднял крик, такой неумолчный и непрерывный, словно не человек кричал, а терзали какой-то музыкальный инструмент. Весь коридор наполнился этими звуками, их, наверно, было слышно во всем здании.

— Не кричи! — воскликнул К., не удержавшись и напряженно вглядываясь в коридор, откуда могли прибежать курьеры, толкнул Франца, не сильно, но все же так, что тот как подкошенный упал на пол, судорожно шаря руками по земле; но экзекутор не зевал, розга нашла Франца и на полу и стала равномерно нахлестывать извивающееся тело. А в конце коридора уже показался курьер, за ним, шагах в двух, второй. К. быстро захлопнул дверь, подошел к окну, выходившему во двор, и распахнул его настежь. Крики совершенно прекратились. Чтобы не дать курьерам подойти слишком близко, он крикнул:

— Это я!

— Добрый день, господин прокурис! — откликнулись те. — Что-нибудь неладное?

— Нет, нет! — крикнул К. — Просто собака во дворе завывала. — Но курьеры не двинулись с места, и он добавил: — Можете идти работать!

Чтобы не ввязываться в разговор с курьерами, он высунулся из окна.

Когда он через несколько минут обернулся, те уже ушли. Но К. так и остался стоять у окна; в кладовую он зайти не осмеливался, домой идти тоже не хотелось. Двор был небольшой, квадратный, и, глядя вниз, К. видел вокруг служебные помещения с темными окнами; только в самых верхних стеклах отражался лунный свет. К. напряженно вглядывался в дальний угол двора, где сгрудились какие-то тачки. Его мучило, что он не смог предотвратить порку, но он был не виноват в этой неудаче: если бы Франц не закричал — конечно, ему наверняка было очень больно, но в решающую минуту надо уметь владеть собой, — если бы он не закричал, то К., по всей видимости, нашел бы способ уговорить экзекутора. Раз все низшие служащие такая сволочь, почему же этот экзекутор, выполняющий самые бесчеловечные обязанности, должен быть исключением? И к тому же К. хорошо видел, как у него при виде ассигнации заблестели глаза; наверно, он и порол так старательно, чтобы нагнать цену. Разумеется, К. не скупился бы, ему действительно хотелось освободить стражей: если он уж начал борьбу с разложением в судебных органах, то естественно, что он вмешивается и тут. Но как только Франц поднял крик, все сорвалось. Не мог же К. допустить, чтобы курьеры, а может быть, и другие люди сбегались сюда и застали его в кладовой за переговорами с этим сбродом. Такой жертвы от К. никто, разумеется, требовать не мог. Если бы он на это решился, то уж проще было бы ему самому раздеться вместо этих стражей и подставить свою спину под удары экзекутора. Впрочем, тот наверняка не принял бы такую замену, потому что он, ничего не выиграв, тяжело нарушил бы свой долг, и нарушил бы его еще вдвойне, потому что К., находясь под следствием, наверно, считался неприкосновенным для всех служителей правосудия. Конечно, тут могли существовать и всякие другие определения. Словом, К. ничего другого сделать не мог, как только хлопнуть дверь, хотя этим он вовсе не устранил грозящую опасность. Жаль, конечно, что он напоследок толкнул Франца, но это можно объяснить его возбужденным состоянием.

Вдали слышались шаги курьеров; не желая, чтобы его заметили, К. закрыл окно и пошел к парадной лестнице. Проходя мимо кладовой, он остановился и прислушался. Было совсем тихо. Может быть, этот малый заporол стражей насмерть — ведь они были всецело в его власти. К. потянулся было к двери, но тут же отдернул руку. Помочь он все равно никому не поможет, а сейчас могут подойти курьеры. Но он тут же дал себе слово вывести это дело на чистую воду и, насколько у него хватит сил, добиться наказания для истинных виновников — высших чинов суда, которые так и не осмелились до сих пор показаться ему на глаза. Спускаясь по внешней лестнице банка, он пристально разглядывал всех прохожих, но даже поодаль не было девушки, которая ждала бы кого-нибудь. Значит, слова Франца о невесте, якобы ожидавшей его, оказались ложью — правда, простительной, но имеющей лишь одну цель: возбудить еще большую жалость.

На следующий день К. никак не мог забыть историю со стражами, работал рассеянно, и, чтобы справиться со всеми делами, ему пришлось просидеть в своем кабинете еще дольше, чем вчера. По дороге домой он прошел мимо кладовки и приоткрыл дверь, уже как бы по привычке. Но то, что он увидел вместо ожидаемой темноты, совершенно ошеломило его. Ничего не изменилось, он увидел то же самое, что и вчера. За порогом — груды проспектов, бутылки из-под чернил, дальше экзекутор с розгой, еще совершенно раздетые стражи, свеча на полке — и снова стражи застонали,

кричали: "Сударь!" Но К. тут же захлопнул дверь, да еще пристукнул ее кулаками, словно она от этого закроется крепче. Чуть не плача, бросился он к курьерам, спокойно работавшим у копировальных машин, и те остановили работу, с удивлением глядя на К.

— Да приберите же вы наконец в кладовой! — закричал он. — Мы тощем в грязи!

Курьеры обещали завтра же все убрать, К. кивнул в знак согласия: сейчас было уже очень поздно, и он не мог заставить их работать сейчас, как предположил сначала. Он присел, чтобы хоть немного побыть около людей, перелистал несколько копий, желая показать, будто он их проверяет, и, поняв, что курьеры не решатся уйти одновременно с ним, устало и бездумно побрел домой.

Глава шестая

ДЯДЯ. ЛЕНИ

Однажды к концу дня, когда К. был очень занят отправкой почты, к нему в кабинет, оттеснив двух курьеров, принесших бумаги, проник его дядюшка Альберт, небогатый землевладелец. Увидев дядю, К. испугался меньше, чем пугался раньше, при одной мысли о его приезде. Приезд дяди был неизбежен — об этом К. знал еще месяц назад. Уже тогда он мысленно видел, как, слегка сутулясь, с мятой шляпой-панамой под левой рукой, дядя спешит к нему и, уже издали протягивая правую руку, торопливо и бесцеремонно сует ее для рукопожатия через стол, опрокидывая все, что стоит на пути. Дядя вечно спешил: он был одержим навязчивой мыслью, будто за свое однодневное пребывание в столице ему нужно не только успеть сделать все, что он себе наметил, но, кроме того, не упустить ни одного интересного разговора, дела или развлечения, какие ему предоставит случай. И К., многим обязанный своему бывшему опекуну, должен был помогать ему, чем только можно, и в довершение ко всему пригласить к себе переночевать. "Призрак из провинции" — так называл его К. про себя.

Поздоровавшись на ходу — сест в кресло, как предложил К., ему было некогда, — дядя попросил К. остаться с ним наедине.

— Это необходимо, — сказал он, с трудом переводя дух. — Для моего спокойствия это необходимо.

К. тотчас выслал курьеров из комнаты с указанием никого к нему не впускать.

— Что я слышал, Йозеф? — воскликнул дядя, как только они остались вдвоем, и, сев на стол, не глядя, подмыв под себя какие-то бумаги, чтобы сидеть было помягче.

К. промолчал, он знал, что будет дальше, но, внезапно оторванный от срочной работы, он вдруг поддался ощущению приятной усталости и усталости в окно на противоположную сторону улицы: со своего места он видел только маленький треугольный просвет — кусок глухой стены между двумя витринами.

— И ты еще смотришь в окно! — крикнул дядя, воздевая руки. — Ради всего святого, Йозеф, ответь мне! Неужели это правда, неужели это действительно так?

— Милый дядя, — сказал К., с трудом выходя из оцепенения. — Понятия не имею, чего ты от меня хочешь!

— Йозеф, — сказал дядя с укоризной, — насколько я знаю, ты всегда говорил правду. Неужели твои последние слова — дурной знак?

— Теперь я догадываюсь, о чем ты, — покорно сказал К. — Видимо, ты слышал о моем процессе.

— Вот именно, — сказал дядя, медленно кивая головой, — я слышал о твоём процессе.

— От кого же? — спросил К.

— Мне об этом написала Эрна, — сказал дядя. — Тебя она давно не видела, ты, к сожалению, мало ею интересуешься, и, однако, она все узнала. Сегодня я получил от нее письмо и, разумеется, немедленно приехал. Это единственная причина, но причина весьма основательная. Могу прочитать то место, которое касается тебя. — Он вытащил письмо из бумажника. — Вот оно: "Йозефа я давно не видела, на прошлой неделе заходила в банк, но Йозеф был так занят, что меня к нему не пустили. Прождала почти час, но потом пришлось уйти домой — у меня был урок музыки. Мне очень хотелось с ним поговорить, может быть, в другой раз удастся. Ко дню рождения он прислал мне огромную коробку шоколадных конфет, вот какой он милый и внимательный. Тогда я забыла вам об этом написать и вспомнила только сейчас, когда вы спросили про него. К сожалению, в нашем пансионе шоколад исчезает немедленно; не успеешь обрадоваться, что тебе подарили столько шоколада, как его уже нет. Кстати, мне необходимо рассказать вам про Йозефа еще одну вещь. Как я уже писала, меня к нему в банк не пропустили потому, что он был занят с каким-то господином. Сначала я терпеливо ждала, а потом спросила курьера, надолго ли его задержат. Курьер ответил, что, должно быть, надолго, потому что разговор, очевидно, идет о процессе, который затеян против господина старшего прокуриста. Я спросила, что это еще за процесс, не ошибся ли он, а он сказал — нет, не ошибся, затеян процесс, и процесс очень серьезный, но больше он ничего не знает. Сам он с удовольствием помог бы господину прокуристу, потому что господин прокурист хороший, справедливый человек, но как за это взяться — он не знает, можно только пожелать, чтобы за него заступились люди влиятельные. Наверно, так оно и будет и все кончится хорошо, но пока, судя по настроению господина прокуриста, дела вовсе не так хороши. Конечно, я не придавала этому разговору никакого значения, постаралась успокоить этого глупого курьера, запретила ему рассказывать другим и вообще считаю его слова просто болтовней. И все-таки было бы хорошо, если бы ты, милый папа, в следующий приезд вник в это дело, тебе легко будет узнать подробности, а если понадобится, то ты сможешь вмешаться через твоих влиятельных знакомых. Если же это не понадобится — а так оно, видимо, и есть, — то по крайней мере твоей любящей дочери раньше представится возможность обнять тебя, чему она будет очень рада". Хорошая девочка! — сказал дядя, окончив чтение, и смахнул слезинку с глаз.

К. утвердительно кивнул: в последнее время из-за всех этих историй он совсем забыл про Эрну, даже про ее день рождения забыл: про шоколад она выдумала, только чтобы оправдать его перед дядей и тетей. Это было очень трогательно. Он про себя решил регулярно посылать ей билеты в театр, но, даже если этого было и мало, он все равно никак не был расположен посещать пансион и разговаривать с маленькой, восемнадцатилетней гимназисткой.

— Ну, что же ты мне скажешь? — спросил дядя. После чтения письма он перестал суетиться и волноваться и как будто собрался перечитать его еще раз.

— Да, дядя, — сказал К., — это правда.

— Правда? — воскликнул дядя. — То есть как это правда? Какой процесс? Уж не уголовный ли?

— Да, уголовный, — сказал К.

— И ты спокойно сидишь тут, когда тебе грозит уголовный процесс! — еще громче закричал дядя.

— Чем я спокойнее, тем исход будет лучше, — сказал К. устало. — Да ты не бойся!

— Нет, ты меня не успокаивай! — кричал дядя. — Йозеф, милый Йозеф, подумай же о себе, о твоих родных, о нашем добром имени! Ты всегда был нашей гордостью, ты не должен стать нашим позором! Нет, твое отношение мне не нравится, — и, наклонив голову набок, он искоса посмотрел на К. — Так себя не ведет ни в чем не повинный человек в здравом уме. Скорее скажи мне, в чем дело, тогда я сумею тебе помочь. Тут, конечно, замешаны банковские операции?

— Нет, — сказал К. и встал. — И вообще, милый дядя, ты слишком громко говоришь; курьер, наверно, подслушивает за дверью. Мне это неприятно. Лучше выйдем отсюда. Постараюсь, если смогу, ответить на все твои вопросы. Я отлично понимаю, что несу ответственность перед семьей.

— Правильно! — вскричал дядя. — Очень правильно. Ну, скорее, Йозеф, пойдем скорее!

— Но надо еще отдать кое-какие распоряжения, — сказал К. и тут же вызвал по телефону своего заместителя, который через несколько минут вошел в кабинет.

Дядя взволнованно показал ему жестом, что его вызывал К., а не он, хотя это и без того было ясно. Стоя у письменного стола, К. тихим голосом, указывая на различные бумаги, объяснил молодому человеку, что надо сегодня сделать в его отсутствие, и тот выслушал его холодно, но внимательно. Дядя все время мешал, тарашил глаза, кусал губы, и хотя он явно не слушал, но одно его присутствие было помехой. Потом он стал рассказывать по комнате, останавливался то перед окном, то перед картиной, причем у него то и дело вырывались разные восклицания: "Нет, мне это совершенно непонятно!" — или: "Скажите на милость, что же теперь будет?" Молодой человек делал вид, что ничего не замечает, спокойно выслушал до конца все поручения К., кое-что записал и вышел, поклонившись К. и дяде, но в эту минуту дядя стоял к нему спиной, смотрел в окошко и, раскинув руки, судорожно мямл гардины.

Не успела дверь закрыться, как дядя закричал:

— Наконец-то он ушел, этот паяц! Теперь и мы можем уйти. Наконец-то!

К сожалению, никакими силами нельзя было заставить дядю прекратить вопросы насчет процесса, пока они шли по вестибюлю, где стояли чиновники и курьеры и где как раз проходил заместитель директора банка.

— Так вот, Йозеф, — говорил дядя, отвечая легким поклоном на приветствия окружающих, — скажи мне откровенно, что это за процесс?

К. ответил несколькими ничего не значащими фразами, даже пустил

смешок и только на лестнице объяснил дяде, что не хотел говорить откровенно при этих людях.

— Правильно, — сказал дядя. — А теперь рассказывай!

Наклонив голову и торопливо попыхивая сигарой, он стал слушать.

— Прежде всего, дядя, — сказал К., — этот процесс не из тех, какие разбирают в обычном суде.

— Это плохо! — сказал дядя.

— Почему? — спросил К. и посмотрел на дядю.

— Я тебе говорю — это плохо! — повторил дядя. Они стояли у парадной лестницы, выходящей на улицу, и так как швейцар явно прислушивался, то К. потянул дядю вниз, и они смешались с оживленной толпой. Дядя взял К. под руку, прекратил настойчивые расспросы о процессе, и они молча пошли по тротуару.

— Но как же это случилось? — спросил наконец дядя и так внезапно остановился, что люди, шедшие за ним, испуганно шарахнулись. — Такие вещи сразу не делаются, они готовятся исподволь. Должны же были появиться какие-то признаки, намеки, почему ты мне ничего не писал? Ты же знаешь, что для тебя я готов на все, я до сих пор в каком-то смысле считаю себя твоим опекуном и до сих пор гордился этим. Конечно, я и сейчас тебе помогу, только теперь, когда процесс уже на ходу, это очень трудно. Во всяком случае, тебе лучше всего сейчас же взять небольшой отпуск и поехать к нам в деревню. Теперь я замечаю, как ты исхудал. В деревне ты окрепнешь, и это полезно, ведь тебе, безусловно, предстоит всякие трудности. А кроме того, ты некоторым образом уйдешь от суда. Здесь они располагают всякими мерами принуждения, которые они автоматически могут применить и к тебе; а в деревню они должны сначала послать уполномоченных или пытаться подействовать на тебя письмами, телеграммами, телефонными звонками. Это, конечно, ослабляет напряжение, и хотя ты не будешь вполне свободен, но все же сможешь передохнуть.

— Но мне могут запретить выезд, — сказал К., поддаваясь дядиному ходу мыслей.

— Не думаю, чтобы они на это пошли, — задумчиво сказал дядя. — Даже если ты уедешь, они все же не теряют власти над тобой.

— А я-то думал, — сказал К. и подхватил дядю под руку, чтобы он не останавливался, — я-то думал, что ты всему этому придаешь еще меньше значения, чем я, а смотри, как близко к сердцу ты все это принял.

— Йозеф! — закричал дядя, пытаясь вырвать у него руку и остановиться, но К. его не отпустил. — Ты стал совсем другим, в тебе всегда было столько здравого смысла, неужели именно сейчас он тебе изменил? Хочешь проиграть процесс? Да ты понимаешь, что это значит? Это значит, что тебя просто вычеркнут из жизни. И всех родных ты потянешь за собой или, во всяком случае, унизишь до предела. Возьми себя в руки, Йозеф! Твое равнодушие сводит меня с ума! Посмотришь на тебя и сразу согласишься с пословицей: "Кто процесс допускает, тот его проигрывает".

— Милый дядя, — сказал К., — волноваться бессмысленно и тебе, да и мне, если бы я волновался. Волнениями процесс не выиграешь, поверь хоть немного моему практическому опыту, прислушайся, как я всегда прислушивался к тебе и прислушиваюсь сейчас, хоть и с некоторым удивлением. Ты говоришь, что вся наша семья тоже будет втянута в процесс — правда, лично я этого никак не пойму, впрочем, это несущественно, — но, если это так, я охотно буду тебе повиноваться во всем. Однако отъезд в

деревню я считаю нецелесообразным даже с твоей точки зрения, потому что это будет похоже на бегство, на признание своей вины. Кроме того, хотя меня здесь и больше преследуют, однако отсюда я могу лучше руководить своим делом.

— Правильно, — сказал дядя таким тоном, словно они наконец поняли друг друга. — Я предложил это только потому, что мне показалось, будто ты своим равнодушием все испортишь, если останешься тут. И я считаю более правильным вместо тебя поработать в твою пользу. Но раз ты решил сам в полную силу взяться за дело, то, разумеется, это куда лучше.

— Значит, сговорились, — сказал К. — А есть ли у тебя предложения, какие шаги мне надо предпринять в дальнейшем?

— Раньше нужно хорошенько все обдумать, — сказал дядя. — Не забывай, что я уже лет двадцать почти безвыездно живу в деревне, ну и, конечно, чутье на такие дела со временем притупляется. К тому же теряешь нужные связи с людьми, которые, наверно, лучше в этом разбираются. В деревне ото всех отрываешься, понимаешь. Но в сущности самому это заметно только при таких обстоятельствах, как сейчас. И вообще все это для меня было несколько неожиданно, хотя, как ни странно, после письма Юри я уже что-то подозревал, а сегодня увидел тебя и сразу все понял. Но это не важно, главное сейчас — не терять времени.

С этими словами он привстал на цыпочки и замахал руками, подзывая такси; крикнув адрес шоферу, он потянул за собой К. в машину.

— Едем к адвокату Гульд, — сказал он, — он мой школьный товарищ. Губе, конечно, знакома эта фамилия? Нет? Очень странно. Ведь он славится как защитник и адвокат бедняков. А я питаю особое доверие к нему как к человеку.

— Я согласен со всем, что ты предпримешь, — сказал К., хотя суетливость и настойчивость дяди вызывали в нем некоторую неловкость. Было не очень приятно ехать в качестве обвиняемого к адвокату для бедняков. — Я и не знал, — сказал он, — что по таким делам тоже можно привлекать адвокатов.

— Ну как же, — сказал дядя, — это само собой понятно. Почему бы и нет? А теперь Расскажи мне все, что было до сих пор, мне надо знать все подробности твоего дела.

К. тут же стал рассказывать, ничего не умалчивая, и эта полная откровенность была единственным протестом, который он позволил себе против дядиногo утверждения, что его процесс — большой позор. Имя фройляйн Бюрстнер он упомянул только один раз, и то вскользь, но это не нарушило откровенности рассказа: ведь фройляйн Бюрстнер действительно никакого отношения к процессу не имела. Рассказывая, К. смотрел в окошко такси и заметил, что они как раз проезжают мимо предместья, где находятся канцелярии суда. Он обратил на это внимание дяди, но тот не нашел ничего особенного в таком стечении обстоятельств. Такси остановилось у мрачного дома. Дядя тотчас позвонил в первую же дверь нижнего этажа и, пока они ждали ответа, оскалил в улыбке свои крупные зубы и прошептал:

— Восемь часов вечера — довольно необычное время для посещения адвоката. Но Гульд на нас не рассердится.

В дверном окошечке показались два больших темных глаза, взглянули на посетителей и снова исчезли, но дверь так и не отворилась. Дядя и К. дали друг другу понять, что оба видели эти глаза.

— Видно, новая горничная, боится чужих, — сказал дядя и постучал еще раз.

Снова появились глаза, сейчас они могли показаться грустными, но, может быть, это был только обман зрения, вызванный газовым светом — над их головами горел газовый рожок, он шипел очень громко, но света давал мало.

— Откройте! — крикнул дядя и застучал кулаком в дверь. — Мы друзья господина адвоката!

— Господин адвокат болен! — пробормотал кто-то сзади.

В дверях, в глубине небольшого подъезда, стоял господин в шлафроке, он и произнес эти слова чрезвычайно тихим голосом.

Дядя, уже обозленный долгим ожиданием, резко обернулся к нему и воскликнул:

— Болен? Вы говорите, он болен? — И угрожающе надвинулся на господина, будто тот и был сама болезнь.

— Вам уже открыли, — сказал господин, указывая на дверь адвоката, и, подобрав полы шлафрока, исчез. Дверь действительно была открыта, и молоденькая девушка в длинном белом фартуке — К. узнал ее темные, чуть выпуклые глаза — стояла в прихожей со свечой в руке.

— В другой раз открывайте поживее! — сказал дядя вместо приветствия девушке, слегка присевшей в ответ. — Пойдем, Йозеф, — обратился он к К., который медленно протискивался мимо девушки.

— Господин адвокат болен, — сказала девушка, но дядя, не останавливаясь, побежал к следующей двери. К. залюбовался девушкой, когда она повернулась, чтобы запереть входную дверь. У нее было круглое, как у куклы, личико; округлыми были не только бледные щеки и подбородок, круглились даже виски и края лба.

— Йозеф! — крикнул дядя и, обернувшись к девушке, спросил: — Опять с сердцем плохо?

— Как видно, да, — сказала девушка; она уже успела пройти со свечой вперед и открыть дверь комнаты.

В дальнем углу, куда еще не проникал свет от свечки, с подушек поднялась голова с длинной бородкой.

— Лени, кто это пришел? — спросил адвокат. За слепящим светом он не мог рассмотреть гостей.

— Это Альберт, твой старый друг, — сказал дядя.

— Ах, Альберт, — повторил адвокат и опустился на подушки, как будто перед этими гостями не нужно было притворяться.

— Неужели тебе так плохо? — спросил дядя, присаживаясь на край постели. — Мне просто не верится. Наверно, у тебя обычный твой сердечный приступ, он скоро пройдет, как проходил раньше.

— Возможно, — сказал адвокат тихим голосом. — Но так худо мне еще никогда не было. Дышать трудно, совсем не сплю, день ото дня слабею.

— Вот как, — сказал дядя и крепко прижал широкой ладонью свою шляпу к колену. — Неважные новости! А уход за тобой хороший? Здесь так уныло, так темно. Правда, я у тебя давно не бывал, но раньше мне все казалось веселее. Да и эта твоя барышня не очень-то приветлива. А может, она притворяется?

Девушка все еще стояла со свечой у двери; насколько можно было судить по ее мимолетным взглядам, она обращала больше внимания на К., чем на дядю, даже когда тот заговорил о ней. К. облокотился на спинку стула, пододвинув его поближе к девушке.

— Для такого больного человека, как я, важнее всего покой, — сказал адвокат. — Мне тут совсем не уныло. — И, помолчав, добавил: — А Лени хорошо за мной ухаживает. Она молодец.

Но дядю эти слова не убедили, он был явно настроен против сиделки, и хотя он ничего не возразил больному, но сурово следил глазами за девушкой, когда она подошла к кровати, поставила свечу на ночной столик, наклонилась к больному и, поправляя подушки, что-то ему зашептала. Забыв, что надо щадить больного, дядя встал со стула и начал расхаживать за спиной сиделки с таким видом, что К. не удивился бы, если бы он схватил ее за юбку и оттащил от кровати. К. смотрел на все спокойно, болезнь адвоката даже пришлось к стати: иначе он сам никак не мог бы оставаться дядюшкино рвение, с каким тот взялся за его дело, а сейчас дядя отвлекся и особого рвения не проявлял, и это было К. очень на руку.

Но тут дядя, может желая обидеть сиделку, сказал:

— Барышня, попрошу вас оставить нас одних хоть ненадолго, мне нужно обсудить с моим другом кое-какие личные дела.

Сиделка, наклонившись над больным, как раз поправляла простыни у стенки и, обернувшись, словно в противовес дяде, который сначала заикнулся от злости, а потом вдруг выпалил ту фразу, сказала очень спокойно:

— Вы же видите, как болен господин адвокат. Он не может сейчас обсуждать личные дела.

Вероятно, она повторила слова дяди только по инерции, но даже беспристрастный человек мог бы принять это за насмешку, а уж дядя взвился как ужаленный.

— Ах ты проклятая! — пробормотал он голосом, сдавленным от возмущения, так что почти нельзя было разобрать слова.

К. испугался, хотя и ожидал такой вспышки, и бросился к дяде, готовый закрыть ему рот обеими руками. К счастью, больной, приподнявшись на кровати, выглянул из-за спины девушки; дядя сделал мрачное лицо, словно проглотил какую-то гадость, и уже спокойнее сказал:

— Ну, знаете, мы еще не окончательно выжили из ума; если бы то, чего я требую, было невозможно, я бы не требовал. Пожалуйста, уходите!

Сиделка стояла у постели, выпрямившись и повернув голову к дяде, и сама, как показалось К., поглаживала руку адвоката.

— При Лени ты можешь говорить все, — сказал адвокат, и в его голосе явно прозвучала настойчивая просьба.

— Дело не меня касается, — сказал дядя, — тайна не моя. — И он резко отвернулся, словно входящий ни в какие препирательства не желает, однако дает им время на размышление.

— А чья же? — спросил адвокат слабым голосом и опустил на подушки.

— Моего племянника, — сказал дядя. — Я его привел сюда. — И он представил К.: — Это Йозеф К., прокурист.

— А-а! — сказал больной уже гораздо оживленнее и протянул руку К. — Простите, я вас не заметил. — Выйди, Лени, — сказал он сиделке. Та не стала возражать, и адвокат пожал ей руку, словно прощаясь надолго. — Выходи, так, — сказал он дяде, когда тот, успокоенный, подошел поближе. — Значит, ты не навесить больного пришел, а по делу!

Казалось, что до сих пор адвоката угнетала мысль о том, что его пришли навещать как больного, потому что он вдруг совсем ожил, приподнялся и сел, опираясь на локоть, что само по себе было утомительно,

и все время теребил бороду, глубоко запуская в нее пальцы.

— Стоило только этой ведьме уйти, и вид у тебя сразу стал гораздо лучше, — сказал дядя. Тут он остановился и, шепнув: — Пари держу, что она подслушивает! — подскочил к двери. Но за дверью никого не оказалось, и дядя вернулся не то чтобы разубежденный, потому что ее отсутствия показалось ему еще большей низостью, а скорее озлобленный.

— Ты в ней ошибаешься, — сказал адвокат, но защищать сиделку не стал; может быть, он хотел этим показать, что она в защите не нуждается, и уже гораздо более сочувственно продолжал: — Что же касается дела твоего уважаемого племянника, то я почел бы себя счастливым, если бы у меня хватило сил на эту чрезвычайно трудную работу; но я очень боюсь, что сил у меня не хватит, однако попробую сделать все, что смогу; а если не справлюсь, можно будет привлечь еще кого-нибудь. Откровенно говоря, это дело меня слишком сильно заинтересовало, чтобы я решился отказаться от всякого участия в нем. И если сердце у меня не выдержит, то трудно найти более достойную причину его остановки.

К. не понимал, казалось, ни слова из этой речи, он посмотрел на дядю, ища объяснения, но тот со свечой в руке сидел на ночном столике, с которого уже скатился пузырек с лекарством, кивал головой, соглашаясь с каждым словом адвоката, и нет-нет да поглядывал на К., приглашая и его выразить свое согласие. Может быть, дядя уже раньше рассказал адвокату о процессе? Но это было невозможно, весь ход событий говорил против этого.

— Не понимаю... — начал наконец К.

— Нет, это я, по-видимому, вас не понял, — удивленно и растерянно перебил его адвокат. — Может быть, я поторопился? О чем же вы хотели со мной посоветоваться? Я решил, что речь идет о вашем процессе?

— Разумеется! — сказал дядя и обернулся к К. — Чего ты не понимаешь?

— Да откуда же вы знаете обо мне и о моем процессе? — спросил К.

— Ах вот оно что! — с улыбкой сказал адвокат. — На то я и адвокат, я бываю в судейских кругах, там говорят о разных процессах, и невольно запоминаешь самые выдающиеся, особенно если они касаются племянника твоего друга. Ничего удивительного в этом нет.

— Чего тебе надо? — опять спросил дядя у К. — Ты как-то беспокоен.

— Вы бываете в этих судейских кругах? — спросил К.

— Да, — сказал адвокат.

— Ты задаешь ребяческие вопросы, — сказал дядя.

— А с кем же мне еще встречаться, как не с людьми моей профессии? — добавил адвокат. Это звучало так убедительно, что К. ничего не ответил.

— Но ведь вы работаете во Дворце правосудия, а не в тех канцеляриях на чердаке? — хотелось ему спросить, но заставить себя произнести эту фразу он не мог.

— Сами понимаете, — продолжал адвокат таким тоном, словно мимоходом объяснял что-то само собой разумеющееся, — сами понимаете, что из этих знакомств я извлекаю большую пользу для своей клиентуры, и притом во многих отношениях, хотя говорить об этом не очень-то полагается. Конечно, сейчас болезнь несколько мешает мне, но добрые друзья из суда навещают меня и благодаря им я многое узнаю. И узнаю я, пожалуй, больше, чем те, кто целыми днями просиживает в суде. Вот и сейчас, например, у меня дорогой гость. — И он показал на темный угол комнаты.

— Где же он? — спросил К. грубовато, настолько он был удивлен.

Он неуверенно оглянулся; слабый свет свечи далеко не достигал противоположной стены. Но там действительно что-то зашевелилось. Тут дядя поднял свечу, и они увидели небольшой столик и сидящего за ним пожилого господина. Должно быть, он там сидел не дыша и потому так долго оставался незамеченным. Теперь он неторопливо поднялся, явно недовольный тем, что на него обратили внимание. Он зашевелил руками, похожими на короткие крылья, как будто отмахивался от всяких знакомств и приветствий, никак не желая мешать посетителям, и настоятельно просил оставить его в темном углу и забыть о его присутствии. Однако никто не пошел ему в этом навстречу.

— Вы застали нас врасплох, — объяснил адвокат гостям и ободрительно кивнул пожилому господину, приглашая его подойти поближе; тот подошел медленно, неуверенно, озираясь вокруг, но все же с каким-то достоинством. — Господин директор канцелярии... Ах, простите, я вас не представил — это мой друг Альберт К., это его племянник К., прокурист банка, а это господин директор канцелярии... Как я уже говорил, господин директор был настолько любезен, что посетил меня. Только посвященный может понять всю ценность такого визита, только тот, кто знает, как завален работой господин директор. И все-таки он пришел, мы с ним мирно беседовали, насколько позволяла моя немощь. Мы, правда, не запрашивали Лени впускать посетителей, потому что мы никого не ждали, но мы хотели побыть наедине, а тут вдруг ты застучал кулаком в двери, Альберт, и тогда господин директор отодвинулся вместе с креслом и столиком в дальний угол, и вот теперь неожиданно выяснилось, что нам, если, конечно, возникнет такая потребность, по всей вероятности, можно будет обсудить совместно некоторые дела, а для этого надо всем сесть поближе. Господин директор канцелярии! — попросил он, с подобострастной улыбкой наклоняя голову и указывая на широкое кресло у кровати.

— К сожалению, я могу задержаться только на несколько минут, — любезно сказал директор канцелярии, удобно развалившись в кресле и глядя на часы. — Дела меня зовут. Однако я не хочу упустить возможность познакомиться с другом моего друга.

Он слегка поклонился дяде, который, видно, был очень доволен новым знакомством. Но так как подобострастие было не в его характере, он встретил слова директора канцелярии смущенным, но очень громким смехом. Впечатление не из приятных! К. спокойно наблюдал за происходящим, потому что на него никто не обращал внимания: директор канцелярии, очевидно по привычке, раз уж его позвали, овладел разговором, адвокат, явно притворившийся больным, по-видимому из желания отвести новых гостей, теперь внимательно слушал, приставив ладонь к уху, а дядя в качестве светоносца — свечка качалась у него на коленке, и адвокат беспокойно поглядывал в его сторону — уже перестал стесняться и откровенно восхищался не только речью директора канцелярии, но и плавными, волнообразными жестами рук, сопровождавшими его слова. К. стоял, опершись о спинку кровати, и директор, быть может умышленно, ни разу к нему не обратился; как видно, старшие смотрели на него только как на слушателя. Впрочем, и сам К. почти не понимал, о чем идет речь, а думал о сиделке и о том, как невежлив был с ней дядя, или о том, не видел ли он директора канцелярии где-то раньше, может быть, даже на собрании в день первого допроса. Может быть, он и ошибался, но все же директор канцелярии удивительно походил на участников собрания —

тех стариков с жидкими бородами, которые стояли в первых рядах.

Вдруг все встрепенились — из прихожей послышался звон разбитой посуды.

— Посмотрю, что там случилось, — сказал К. и не торопясь пошел к двери, словно хотел дать остальным возможность задержать его.

Но как только он вышел в прихожую и попытался сориентироваться в темноте, на его пальцы, державшие ручку двери, легла маленькая рука, куда меньше, чем его рука, и тихо притворила дверь. Это была сиделка, ждавшая тут же.

— Ничего не случилось, — шепнула она, — я нарочно бросила тарелку об стену, чтобы вызвать вас сюда.

К. растерялся и сказал.

— Я тоже о вас думал.

— Тем лучше, — сказала сиделка. — Пойдем!

Они сделали несколько шагов и очутились перед дверью с матовым стеклом. Сиделка распахнула ее перед К.

— Ну, входите же! — сказала она.

Это явно был рабочий кабинет адвоката. Насколько можно было разглядеть в лунном свете, освещавшем только небольшой квадрат пола у трех окон, вся комната была заставлена тяжелой старомодной мебелью.

— Сюда, — сказала сиделка, указывая на темный ларь с резной деревянной спинкой.

Прежде чем сесть, К. огляделся: комната была высокая, большая; наверно, бедняки из клиентуры адвоката чувствовали себя в ней затерянными. К. представил себе, как они мелкими шажками семенят к огромному письменному столу. Но он тут же позабыл обо всем, кроме сиделки, — та оказалась настолько близко от него, что почти прижимала его к боковой ручке ларя.

— А я думала, что вы сами выйдете, — сказала она, — и мне не придется вас вызывать. Удивительное дело. Сначала вы, только успели войти, уже глаз с меня не сводили, а потом заставляете себя ждать. Зовите меня просто Лени, — торопливо и непосредственно добавила она, словно не желая терять ни минуты на объяснения.

— Охотно, — сказал К. — Но знаете, Лени, все это ничуть не удивительно и вполне объяснимо. Во-первых, мне надо было выслушать болтовню этих стариков, нельзя же было уйти ни с того ни с сего, а во-вторых, я человек несмелый, скорее застенчивый, да и вы с виду вовсе не из тех, кого можно завоевать одним махом.

— Не в том дело, — сказала Лени и, положив руку на спинку ларя, посмотрела на К. — Просто я вам не понравилась, да и сейчас, вероятно, не нравлюсь.

— Нравитесь — не то слово, — сказал К. уклончиво.

— О-о! — с улыбкой сказала Лени.

Этим восклицанием в ответ на слова К. она словно утверждала за собой какое-то превосходство. Поэтому К. промолчал. Привыкнув к темноте, он уже различал некоторые детали обстановки. Особенно бросилась в глаза большая картина, висевшая справа от двери, и он подался вперед, чтобы лучше ее рассмотреть. На картине был изображен человек в судейской мантии, он сидел на высоком, как трон, кресле; там и сям на резьбе выступала позолота. Но самым необычным было то, что поза судьи не выражала ни покоя, ни достоинства, напротив, левой рукой он схватился за подлокотник у самой спинки кресла, а правую вытянул вперед, вцепив-

пальцами в поручень, будто в следующую секунду он с силой, может быть даже с гневом, вскочит с места, чтобы сказать решительные слова, и возможно, и объявить приговор. Обвиняемый, очевидно, стоял внизу на лестнице — на картине были видны только верхние ступени, покрытые желтым ковром.

— Может быть, это и есть мой судья, — сказал К., указывая пальцем на картину.

— Да я его знаю, — сказала Лени, — он сюда часто приходит. Эту картину с него писали в молодости, но он и тогда был ничуть не похож, ведь он совсем крошечного роста. А на картине он велел изобразить себя таким вот высоченным — и все от тщеславия. Впрочем, все они тут такие. И ведь тоже тщеславная и ужасно недовольна, что я вам не нравлюсь.

В ответ на эти слова К. только обнял Лени и притянул к себе, а она молча положила голову ему на плечо. А про картину он спросил:

— А в каком же он чине?

— Он следовательно, — сказала Лени и, взяв К. за руку, обнимавшую ее, стала перебирать его пальцы.

— Всего только следовательно! — разочарованно сказал К. — А высшие чины прячутся. Но ведь он же сидит на троне!

— Это все выдумки, — сказала Лени и прильнула щекой к руке К. — На самом деле он сидит в кухонном кресле, на которое накинута старая попона. Неужели вы постоянно думаете о своем процессе? — медленно добавила она.

— Нет, вовсе нет, — сказал К., — наоборот, я, наверно, слишком мало о нем думаю.

— Ваша ошибка не в том, — сказала Лени. — Я слыхала, что вы чересчур упрямы.

— Кто это вам сказал? — спросил К., он чувствовал, как она прижимается к его груди, видел ее пышные, темные, скрученные тугим узлом волосы.

— Я слишком много выдам, если скажу кто, — сказала Лени. — Пожалуйста, не спрашивайте меня, лучше исправьте свою ошибку, не будьте таким упрямым, все равно сопротивляться этому суду бесполезно, надо признаться во всем. При первой же возможности сознайтесь! Только тогда есть надежда ускользнуть, только тогда. Впрочем, и это невозможно без посторонней помощи, но тут вам беспокоиться нечего, я сама вам помогу.

— Однако вы много знаете об этом суде и обо всех плутнях, которые там нужны, — сказал К., но тут она прижалась к нему так крепко, что пришлось посадить ее к себе на колени.

— Вот и чудесно! — сказала она и, угнездившись поудобнее, одернула рубашку и поправила блузку. Потом обхватила его шею руками, откинувшись назад и долго смотрела на него.

— А если я не сознаюсь, вы мне не можете помочь? — испытующе спросил К.

Однако я вербую себе помощниц, подумал он удивленно: сначала фройляйн Бюрстнер, потом жена служителя суда, а теперь эта маленькая сиделка, — непонятно, почему ее ко мне так тянет? Ишь как расселась у меня на коленях, будто только тут ей и место!

— Нет, — сказала Лени и медленно покачала головой, — тогда я вам помочь не смогу. Но ведь вы и не хотите от меня никакой помощи, она вам не нужна, вы упрямец, вас не переубедишь!.. А у вас есть возлюбленная? — спросила она, помолчав.

— Нет, — сказал К.

— Неправда! — сказала она.

— Впрочем, есть! — сказал К. — Подумайте только, я чуть от нее не отсекся, а сам всегда ношу ее фотографию при себе.

Лени стала его просить, он вынул фотографию Эльзы, и девушка, свернувшись у него на коленях, стала разглядывать карточку. Это была моментальная любительская фотография, где Эльзу сняли во время танца — она любила танцевать в своем ресторанчике. Еще летели складки юбки на повороте, а она уперлась руками в крепкие бока и, откинув голову, со смехом смотрела куда-то в сторону: на фотографии не было видно, кому она так улыбалась.

— Слишком сильно зашнурована, — сказала Лени и показала то место, которое, по ее мнению, было слишком перетянuto. — Мне она не нравится, она груба и неуклюжа. Правда, может быть, с вами она кроткая и нежная; судя по этой карточке, и это возможно. Такие крупные, высокие девушки иногда оказываются очень кроткими и ласковыми. Но может ли она пожертвовать собой ради вас?

— Нет, — сказал К., — она и не кроткая, и не ласковая, и собой ради меня не пожертвует. Правда, до сих пор я от нее ничего такого и не требовал. По совести сказать, я и фотографию эту никогда не рассматривал так внимательно, как вы.

— Выходит, что для вас она совсем ничего не значит, — сказала Лени, — и вовсе она не ваша возлюбленная.

— Но это так, — сказал К., — я от своих слов не отпираюсь.

— Ну, пусть она сейчас ваша возлюбленная, — сказала Лени, — но вы даже скучать по ней не будете, если потеряете ее или возьмете взамен другую.

— Конечно, — улыбнулся К., — и это возможно, но у нее перед вами огромное преимущество: она ничего не знает о моем процессе, а если бы и знала — не думала бы о нем. И она никогда не стала бы уговаривать меня сдаться, пойти на уступки.

— Ну, это еще не преимущество, — сказала Лени, — и если других преимуществ у нее нет, я надежды не теряю. А есть у нее какие-нибудь физические недостатки?

— Физические недостатки? — переспросил К.

— Да, — сказала Лени. — У меня, например, есть небольшой физический недостаток, вот посмотрите.

Она растопырила средний и безымянный пальцы правой руки — кожа между ними заросла почти до верхнего сустава коротеньких пальцев. В полутьме К. не сразу заметил, что она хочет показать, и, взяв его руку, она дала ему ощупать свои пальцы.

— Какая игра природы! — сказал К. и, оглядев всю руку, добавил: — Какая миленькая лапка!

Лени с некоторой гордостью смотрела на К. — он вновь и вновь в удивлении разводил и сводил оба ее пальца, потом бегло поцеловал их и отпустил.

— О-о! — крикнула она. — Вы меня поцеловали!

Приоткрыв рот, она поспешно встала коленками на его колени. К. совсем растерялся, она очутилась так близко, что он почувствовал ее запах, горький и терпкий, как перец. Она прижала к себе его голову, наклонилась над ней и стала целовать и кусать его шею, даже волосы на затылке.

— Вы меня берете взамен той! — воскликнула она между поцелуями. — Вот видите, вы берете меня взамен!

Тут ее колено соскользнуло, и, вскрикнув, она чуть не упала на ковер. К. обхватил ее, пытаясь удержать, но она потянула его за собой.

— Теперь ты мой! — сказала она.

— Вот тебе ключ от дома, приходи, когда захочешь, — были ее последние слова, и поцелуй на лету коснулся его спины, когда он уходил.

Выйдя за ворота дома, он попал под мелкий дождик, хотел шагнуть на мостовую, чтобы увидеть Лени хотя бы в окне, но тут из автомобиля, стоявшего у ворот — К. по рассеянности его не заметил, — выскочил дядя, схватил его за плечи и притиснул к воротам, словно хотел пригвоздить на месте.

— Ах, мальчик, мальчик! — крикнул он. — Что ты натворил! Дело уже было на мази, а теперь ты страшно навредил себе. Забрался куда-то с этой мишенькой грязной тварью — ведь она наверняка любовница адвоката! — приторчал там бог знает сколько времени и даже никакого предложения не придумал, ничего не утаил, так открыто, при всех побежал к ней, да там и остался. А мы сидим все трое — твой дядя, который для тебя же старается, адвокат, которого надо перетянуть на твою сторону, а главное, сам директор канцелярии, большой человек, ведь на этой стадии твое дело целиком в его руках. Хотим обсудить, как тебе помочь, я должен осторожно обработать адвоката, он — директора канцелярии, неужели ты не понимаешь, что у тебя были все основания как-то прийти мне на помощь? А вместо этого ты удираешь! Тут уж ничего нельзя скрыть; хорошо, что они люди вежливые, воспитанные, ни слова не сказали, но в конце концов им тоже стало невмоготу. Говорить они об этом не стали, пришлось сидеть и молчать. Вот мы и сидим и молчим, ждем, когда же ты явишься. Но все напрасно. Наконец директор канцелярии встает — он и так уж просидел много дольше, чем собирался, — прощается со мной и явно жалеет меня, хотя ничем помочь не может, ждет с самой невероятной любезностью еще немого у дверей и только потом уходит. Разумеется, я был счастлив, когда он ушел, мне уже и дышать было нечем. А на большого адвоката все это так подействовало, что он, добрый человек, ни слова сказать не мог, когда я с ним прощался. И, наверно, ты больше всех виноват в том, что он совсем погибает, ты ускоряешь смерть человека, от которого сам зависишь. А меня, своего дядю, ты бросил тут под дождем — пощупай, я весь промок — столько часов ждать и мучиться от беспокойства!

Глава седьмая

АДВОКАТ. ФАБРИКАНТ. ХУДОЖНИК

Как-то в зимнее утро — за окном, в смутном свете, падал снег — К. сидел в своем кабинете, до предела усталый, несмотря на ранний час. Чтобы оградить себя хотя бы от взглядов низших служащих, он велел курьеру никого к нему не впускать, так как он занят серьезной работой. Но вместо того, чтобы приняться за дело, он беспокойно ерзал в кресле, медленно передвигая предметы на столе, а потом помимо воли опустил вытянутую руку на стол, склонил голову и застыл в неподвижности.

Мысль о процессе уже не покидала его. Много раз он обдумывал, не лучше ли было бы составить оправдательную записку и подать ее в суд. В ней он хотел дать краткую автобиографию и сопроводить каждое сколько-нибудь выдающееся событие своей жизни пояснением — на каком основании он поступал именно так, а не иначе, одобряет ли он или осуждает этот поступок со своей теперешней точки зрения и чем он может его объяснить. Преимущества такой оправдательной записки перед обычной защитой, какую сможет вести и без того далеко не безупречный адвокат, были несомненны. К тому же К. и не знал, что предпринимает адвокат: ничего особенного он, во всяком случае, не делал, вот уже больше месяца он не вызывал его к себе, да и все предыдущие их переговоры не создали у К. впечатления, будто этот человек способен чего-то добиться для него. Прежде всего, адвокат почти ни о чем его не расспрашивал. А ведь вопросов должно было возникнуть немало. Главное — поставить вопросы. У К. было такое ощущение, что он и сам мог бы задать множество насущных вопросов. А этот адвокат, вместо того чтобы спрашивать, либо что-нибудь рассказывал сам, либо молча сидел против К., перегнувшись через стол, очевидно по недостатку слуха, тербел бороду, глубоко запуская в нее пальцы, и глядел на ковер — возможно, даже прямо на то место, где в тот раз К. лежал с Лени. Время от времени он читал К. всякие пустячные наставления, словно малолетнему ребенку. За эти бесполезные и к тому же прескучные разговоры К. твердо решил не платить ни гроша при окончательном расчете. А потом адвокат, очевидно считая, что К. уже достаточно смирился, снова начинал его понемножку подбадривать. Судя по его рассказам, он уже выиграл не один такой процесс — многие из них хоть и были не так серьезны по существу, как этот, но на первый взгляд казались куда безнадежнее. Отчеты об этих процессах лежат у него тут, в ящике, — при этом он постукивал по одному из ящиков стола, — но показать эти записи он, к сожалению, не может, так как это служебная тайна. Однако большой опыт, приобретенный им в ходе этих процессов, безусловно, пойдет на пользу К. Разумеется, он уже начал работать, и первое ходатайство уже почти готово. Оно чрезвычайно важно, так как первое впечатление, которое производит защита, влияет на ход всего судопроизводства. К сожалению — и об этом он должен предупредить К., — иногда случается так, что первые жалобы суд вообще не рассматривает. Их просто подшивают к делу и заявляют, что предварительные допросы, а также наблюдение за обвиняемым гораздо важнее. А если проситель настаивает, то ему говорят, что перед окончательным решением суда, когда будут собраны все материалы, включая, разумеется, и все документы, первое ходатайство защиты тоже будет рассмотрено. К сожалению, и это может оказаться не так, потому что первую жалобу обычно куда-то закладывают или даже совсем теряют, а если она и сохраняется, то, по дошедшим до адвоката слухам, ее все равно никто, по-видимому, не читает. Все это достойно сожаления, но отчасти может быть и оправдано. К. должен принять во внимание, что все разбирательство ведется негласно; конечно, если суд найдет нужным, оно ведется гласно, но обычно закон гласности не предписывает. Вследствие этого все судебные документы, особенно обвинительный акт, ни обвиняемому, ни его защитнику недоступны, так что в общем они либо совсем не знают, либо знают очень смутно, насчет чего именно направлять первое ходатайство, поэтому в нем только случайно может содержаться что-нибудь имеющее значение для дела. А по-настоящему точные и доказательные ходатайства можно выработать только

позже, когда по ходу следствия и допросов обвиняемого можно будет яснее увидеть отдельные пункты обвинения и их обоснование или хотя бы построить какие-то догадки. Вести при таких условиях защиту, конечно, весьма невыгодно и затруднительно. Но и это делается намеренно. Дело в том, что суд, собственно говоря, защиту не допускает, а только терпит ее, и даже вопрос о том, возможно ли истолковать соответствующую статью закона в духе такой терпимости, тоже является спорным. Потому-то, строго говоря, нет признанных судом адвокатов, а все выступающие перед этим судом в качестве защитников, в сущности, являются подпольными адвокатами. Разумеется, это очень унижает все сословие, и когда К. в следующий раз попадет в канцелярию суда, он для ознакомления с этой стороной вопроса может осмотреть адвокатскую комнату. Можно предположить, что его в высшей степени напугает общество, которое там собирается. Уже одно то, что им предоставлена тесная, низкая комната, говорит о презрении, какое суд питает к этим людям. Освещается помещение только через небольшой люк, расположенный на такой высоте, что если хочешь выглянуть, то тебе в нос не только сразу ударяет дым, но и прямо в лицо летит сажа из камина, расположенного тут же; нет, надо еще найти кого-нибудь из коллег, кто подставил бы тебе спину. А в полу этой комнаты — и это еще один пример того, в каком виде она содержится, — в полу уже больше года как появилась дыра, не такая большая, чтобы туда мог провалиться человек, но достаточно широкая, чтобы туда попасть всей ногой. Эта адвокатская комната расположена на втором чердаке; значит, если чья-нибудь нога попадает в эту дыру, она свисает вниз и болтается над первым чердаком, над тем самым проходом, где сидят в ожидании клиенты.

Неудивительно, что в адвокатских кругах такое положение вещей считают, мягко говоря, позорным. Жалобы по начальству никаких результатов не дают, однако адвокатам строжайше запрещено делать какой-либо ремонт помещения за свой счет. Впрочем, и это отношение к адвокатам вполне обосновано. Защиту вообще хотят, насколько возможно, устранить, вся ставка делается на самого обвиняемого. Точка зрения, в сущности, не плохая, но было бы чрезвычайно ошибочным делать вывод, что в этом суде адвокаты обвиняемым не нужны. Напротив, ни в каком другом суде нет такой настоятельной необходимости в адвокатах. Дело в том, что все судопроизводство является тайной не только для общественности, но и для самого обвиняемого. Разумеется, только в тех пределах, в каких это возможно, но возможности тут неограниченные. Ведь и обвиняемый не имеет доступа к судебным материалам, а делать выводы об этих материалах на основании допросов весьма затруднительно, особенно для самого обвиняемого, который к тому же растерян и обеспокоен всякими другими отвлекающими его неприятностями. Вот тут-то и вмешивается защита. Вообще-то защитников на допросы не допускают, поэтому им надо сразу после защиты, по возможности прямо у дверей кабинета следователя, выпытать у обвиняемого, о чем его допрашивали, и из этих, чисто уже весьма путаных, показаний отобрать все, что может быть полезно для защиты. Но и это не самое главное, потому что таким путем можно узнать очень мало, хотя и тут, как везде, человек дельный, конечно, узнает больше других. Но самым важным остаются личные связи адвоката, в них-то и кроется основная ценность защиты. Разумеется, К. уже по собственному опыту убедился, что организация судебного аппарата на низших ступенях не вполне совершенна, что там много нерадивых и продажных чиновников, из-за чего в строго замкнутой системе суда появля-

ются бреша. В них-то по большей части и протискиваются всякие адвокаты, тут идет и подслушивание и подкуп, а бывали, по крайней мере в прежние времена, и похищения судебных актов. Не приходится отрицать, что этими способами на время достигались иногда поразительно благоприятные для подсудимого результаты, и мелкие адвокатишки обычно бахвалются этим, привлекая новую клиентуру, но на дальнейший ход процесса все это никак не влияет или даже влияет плохо. По-настоящему ценными являются только честные личные знакомства, главным образом с высшими чиновниками; конечно, речь идет хоть и о высших чиновниках, но низшей категории. Только так и можно повлиять на ход процесса — сначала исподволь, а потом все более и более заметно. Но это доступно лишь немногим адвокатам, и тут К. повезло: выбор он сделал правильный. Пожалуй, только у двух-трех адвокатов есть такие связи, как у него, у доктора Гульда. Таким, как он, разумеется, нет дела до той компании из адвокатской комнаты, никакого отношения к ним он не имеет. Тем тесней его связи с судебскими чиновниками. Ему, доктору Гульду, вовсе и не нужно ходить в суд, околачиваться у дверей следственных органов, ждать случайного появления чиновников и, в зависимости от их настроения, добиваться успеха, почти всегда только кажущегося, а иногда и ничего не добиться. Нет — К. сам это видел, — чиновники, и даже весьма высокого ранга, сами приходят сюда, охотно делятся сведениями либо открыто, либо так, что легко можно догадаться, обсуждают следующие этапы процесса; более того, в отдельных случаях они даже дают себя переубедить и охотно становятся на вашу точку зрения. Правда, именно в этом им особенно доверять не следует — даже если они определенно высказывают благоприятные для защиты намерения, — ибо вполне возможно, что отсюда они отправятся прямо в канцелярию и к следующему же заседанию продиктуют прямо противоположное заключение для обвиняемого, гораздо более суровое, чем то первоначальное заключение, от которого они, по их утверждению, отказались начисто. Против этого, конечно, обороняться трудно, ведь то, что сказано с глазу на глаз, так и остается сказанным с глазу на глаз и открыто обсуждаться не может, даже если бы защита не стремилась сохранить благорасположение данного лица. С другой же стороны, вполне правильно, что эти лица связываются с защитой — разумеется, только с защитой компетентной, и делают они это отнюдь не из одного человеколюбия или дружественных чувств, а отчасти и ради собственной выгоды. Тут-то и ощущается недостаток судебного устройства, которое с самого начала предписывает секретность в делах. Чиновникам не хватает связи с населением; правда, для обычных, средних процессов они хорошо осведомлены, и такие процессы идут гладко сами по себе, словно по рельсам, их надо только изредка подталкивать. А вот в очень простых случаях, а также в случаях очень сложных они совершенно беспомощны: из-за того, что они всегда безоговорочно скованы законами, у них нет понимания человеческих взаимоотношений, а это страшно затрудняет ведение таких дел. Тут-то они и приходят просить совета у адвоката, а за ними идет курьер с теми протоколами, которые обычно хранятся в тайне. Вон у того окна, глядя на улицу с истинной грустью, сидели господа, каких тут меньше всего можно было бы ждать, а в это время адвокат изучал документы у своего стола, чтобы подать им разумный совет. Именно в таких обстоятельствах становилось виднее всего, насколько серьезно эти господа относятся к своей профессии и в какое отчаяние их приводят препятствия, непреодолимые по самой своей при-

роде. Надо им отдать справедливость, положение у них и без того сложное, и службу эту никак нельзя назвать легкой. Ступени и ранги суда бесконечны и неизвестны даже посвященным. А все судопроизводство в общем является тайной и для низших служащих, оттого они почти никогда не могут проследить дальнейший ход тех данных, которые они обрабатывают, оттого и судебное дело предстает перед ними только на их уровне, и они часто сами не знают, откуда оно пришло, и не получают никаких сведений, куда же оно пойдет дальше. Таким образом, знания, которые можно было бы почерпнуть на различных стадиях из этого процесса, а также из окончательного заключения и его обоснования, ускользают от этих чиновников. Они имеют право заниматься только той частью дела, какая выделена для них законом, и обычно знают о дальнейшем ходе вещей, то есть о результатах своей работы, еще меньше, чем защита, которая, как правило, связана с обвиняемым до конца процесса. Значит, и в этом отношении защитник может дать им весьма ценные сведения. И если К. все это учтет, то он вряд ли станет удивляться раздражительности чиновников, которая часто проявляется по отношению к клиентам в чрезвычайно обидной форме — впрочем, каждый это испытывает на себе. Все чиновники раздражены, даже когда кажутся внешне спокойными. И от этого, разумеется, больше всего страдают мелкие адвокаты. Рассказывают, например, следующую историю, удивительно похожую на правду. Один старый чиновник, добрый, смирный человек, целые сутки изучал трудное дело, к тому же чрезвычайно запутанное из-за вмешательства адвокатов, — усерднее таких чинуш никого не найти. Уже к утру, проработав двадцать четыре часа без видимых результатов, он подошел к входной двери, спрыгнул на ней и каждого адвоката, который пытался войти, сбрасывал с лестницы. Адвокаты собрались на лестничной площадке и стали советоваться, что им делать. С одной стороны, они не имеют права требовать, чтобы их впустили, значит, жаловаться на этого чиновника по начальству они не могут, а кроме того, как уже говорилось, они должны остерегаться и не раздражать чиновников зря. С другой же стороны, каждый проведенный вне суда день для них потерян, и проникнуть туда им очень важно. В конце концов они договорились изматать старичка. Стали посылать вверх одного адвоката за другим, те взбегали по лестнице и давали себя сбрасывать оттуда при довольно настойчивом, но, разумеется, пассивном сопротивлении, а внизу их подхватывали коллеги. Так продолжалось почти целый час, и тут старичок, уже сильно уставший от ночной работы, совсем сдал и ушел к себе в канцелярию. Стоявшие внизу сначала не поверили и послали одного из коллег наверх взглянуть, действительно ли за дверью никого нет. И только тогда они все поднялись наверх и, должно быть, не посмели даже возмутиться. Ведь адвокат — а даже самый ничтожный из них хоть отчасти представляет себе все обстоятельства — никогда не пытается ввести в судопроизводство какие бы то ни было изменения или улучшения, в то время как почти каждый обвиняемый, даже какой-нибудь недоумок, при первом же соприкосновении с процессом начинает думать, какие бы предложения внести, чтобы улучшить постановку дела, и часто тратит на это время и силы, которые можно было бы с гораздо большей пользой употребить на что-либо иное. Единственно правильное — это примириться с существующим порядком вещей. И если бы даже человек был в силах исправить какие-то отдельные мелочи, что является нелепым заблуждением, то в лучшем случае он чего-то добился бы для хода будущих процессов, но себе самому он только нанес бы непоправимый вред, привлекая внима-

ние и особую мстительность чиновников. Главное — не привлекать внимания! Держаться спокойно, как бы тебе это ни претило! Попытаться понять, что суд — этот грандиозный организм — всегда находится, так сказать, в неустойчивом равновесии, и, если ты на своем месте самовольно что-то нарушишь, ты можешь у себя же из-под ног выбить почву и свалиться в пропасть, а грандиозный организм сам восстановит это небольшое нарушение за счет чего-то другого — ведь все связано между собой — и останется неизменным, если только не станет, что вполне вероятно, еще замкнутее, еще строже, еще бдительнее и грознее. Лучше предоставить всю работу адвокату и не мешать ему. Конечно, упреки никому на пользу не идут, особенно если нельзя человеку растолковать, за что его упрекают и в чем винят, но все-таки следует сказать, что К. чрезвычайно навредил делу тем, как он вел себя при директоре канцелярии. Видимо, придется вычеркнуть этого влиятельнейшего человека из списка тех, у кого можно было бы чего-то добиться для К. Теперь он нарочно пропускает мимо ушей даже мимолетные упоминания о процессе. В некоторых отношениях эти чиновники — сущие дети. Иногда какие-нибудь пустяки — впрочем, поведение К., к сожалению, нельзя отнести к этой категории — так обижают их, что они перестают разговаривать даже с лучшими своими друзьями, отворачиваются от них при встрече и везде, где только можно, действуют им наперекор. И вдруг, совершенно неожиданно, без всяких оснований, их может рассмешить какая-нибудь глупая шутка, на которую решаешься только оттого, что все кажется безнадежным, и тут снова настает полное примирение. С ними общаться и трудно и легко, никаких правил тут не существует. Иногда просто диву даешься, как это одной человеческой жизни хватает на то, чтобы овладеть всеми теми знаниями, которые дают возможность работать хотя бы с некоторым успехом. Правда, бывают, как, впрочем, и у всех, мрачные дни, когда думаешь, что ни малейших успехов не достиг, и кажется, будто хорошо кончились только те процессы, в которых благополучный исход был предопределен с самого начала, без всякой посторонней помощи, а все остальные проиграны, несмотря на всю беготню, все старания, все кажущиеся мелкие успехи, которые так тебя радовали. Тут, конечно, теряешь всякую уверенность и даже не осмеливаешься возражать, если тебя спросят, правда ли, что некоторые процессы, проходившие, по существу, благополучно, ты сорвал именно своим вмешательством. Единственное, что тебе остается, — это какая-то внутренняя самозащита. Таким припадкам сомнения — разумеется, это только припадки — адвокаты бывают особенно подвержены, когда дело, которое они вели уже давно и вполне удовлетворительно, внезапно вырывают у них из рук. Ничего хуже с адвокатом случиться не может. И отнимает дело, конечно, не сам обвиняемый, этого никогда не бывает: если обвиняемый уже взял определенного адвоката, то он за него держится, несмотря ни на что. Да и как он может справиться сам, если он уже воспользовался чьей-то помощью? Так что этого не бывает, но иногда бывает другое: процесс принимает такой оборот, что адвоката к нему уже не допускают. И само дело, и обвиняемого, и вообще все просто отнимают у адвоката, и тут уж не помогут самые лучшие отношения с чиновниками, потому что те и сами ничего не знают. Просто весь процесс перешел в такую стадию, где никакой помощи уже оказать нельзя, где дело ведется в недоступных судебных органах и обвиняемый становится недоступным для адвоката. И в один прекрасный день, явившись домой, находишь у себя на столе все те ходатайства, которые составлялись с такой тщательностью, с такой

крепкой надеждой на исход дела; оказывается, их отослали тебе обратно, так как на новом этапе процесса их использовать запрещено и они стали бесполезными клочками бумаги. Причем это еще не значит, что процесс проигран, вовсе нет; во всяком случае, никаких оснований для такого предположения нет, просто ты о процессе больше ничего не знаешь и узнать никак не можешь. К счастью, такие случаи — исключение, и даже если процесс самого К. тоже подпадет под такой случай, то пока дело до этого еще не дошло. Сейчас еще представляются самые широкие возможности для работы адвоката, и в том, что он их использует, К. может не сомневаться. Ходатайство, как уже говорилось, еще не подано, да это и не к спеху, гораздо важнее предварительные переговоры с ведущими чиновниками, а они уже велись. Но велись — надо честно сознаться — с переменным успехом. Однако лучше покамест не выдавать подробностей, это может плохо повлиять на К. — пробудить слишком радостные надежды или слишком напугать его; можно сказать только одно: некоторые чиновники высказывались чрезвычайно доброжелательно и выражали полную готовность содействовать, в то время как другие высказывали меньшую доброжелательность, однако в помощи ни в коей мере не отказывали. В общем, результаты, можно сказать, вполне ободряющие, однако делать какие-либо заключения еще нельзя, так как это обычное начало всех предварительных переговоров и только дальнейшее развитие дела покажет, насколько ценны эти предварительные переговоры. Во всяком случае, ничего еще не потеряно, и если бы удалось, несмотря ни на что, вернуть расположение директора канцелярии — а к этому уже приняты разные меры, — то, как говорят хирурги, рану можно считать чистой и надо только спокойно дожидаться дальнейшего.

На такие и подобные разговоры адвокат был неистощим. И это повторялось при каждой встрече. Всегда имелись налицо какие-то успехи, но никогда не сообщалось, в чем они состоят. Работа над первым ходатайством шла непрерывно, но оно все еще не было готово; однако при следующей встрече именно это оказывалось огромным преимуществом; как раз все последние дни были исключительно неблагоприятны для подачи заявлений, хотя предвидеть это заранее никто не мог. И если К., измученный бесконечными словоизвержениями, замечал, даже учитывая все трудности, что дело подвигается очень медленно, то ему возражали, что подвигается оно совсем не так медленно, но, конечно, двинулось бы гораздо дальше, если бы К. обратился к адвокату вовремя. Но, к сожалению, тут он оплошал, и эта оплошность не только сейчас, но и впредь будет порождать затруднения.

Единственное приятное разнообразие в эти посещения вносил приход Лени: она всегда устраивала так, что подавала адвокату чай в присутствии К. Встав за спиной К., она притворялась, что смотрит, как адвокат, с какой-то жадностью, низко пригнувшись к чашке, наливает и пьет чай, и тайком позволяла К. пожимать ей руку. Наступало полное молчание. Адвокат пил чай, К. пожимал руку Лени, а Лени иногда осмеливалась нежно поглаживать К. по голове.

— Ты еще тут? — спрашивал адвокат, допив чай.

— Я хотела убрать посуду, — отвечала Лени с последним рукопожатием, но тут адвокат вытирал губы и с новой силой начинал заговаривать К.

Хотел ли он утешить К. или привести его в отчаяние? К. никак не мог понять, чего тот добивается, хотя отлично понимал, что его защита в не-

надежных руках. Возможно, что адвокат говорил правду, хотя было очевидно, что он хочет выставить себя в самом выгодном свете и, вероятно, никогда не вел такой большой процесс, каким, по его мнению, был процесс К. Но самым подозрительным казалось постоянное подчеркивание личных связей с чиновниками. Использовались ли эти связи исключительно для пользы К.? Адвокат постоянно напирал на то, что речь идет только о низших служащих, то есть о людях зависимых, и что для их продвижения по службе определенные повороты процесса, конечно, могут иметь большое значение. Может быть, они используют адвоката, чтобы добиться именно таких, всегда неблагоприятных для обвиняемого оборотов дела? Может быть, они вели себя так не в каждом процессе, это вряд ли было возможно; наверно, случались и такие процессы, когда они помогали адвокату за его услуги, ведь они сами были заинтересованы в том, чтобы поддерживать в чистоте его репутацию. Но если дело и вправду обстоит так, то каким образом они вмешаются в процесс К., чрезвычайно трудный и, по уверениям адвоката, очень сложный, то есть важный и привлекавший внимание судебных властей с самого начала? Нет, никаких сомнений их дальнейшие намерения не вызывали. Некоторые симптомы были заметны уже в том, что первое ходатайство все еще не подано, хотя процесс тянется уже несколько месяцев, но до сих пор, по словам адвоката, еще находится в низших инстанциях, а это, конечно, очень способствует намерению усыпить внимание обвиняемого, обезоружить его и вдруг обрушить на него приговор или по меньшей мере объявить ему, что следствие окончилось для него неблагоприятно и дело передано в высшие инстанции.

Нет, К. непременно должен был сам вмешаться. Именно в состоянии крайней усталости, как в это зимнее утро, когда помимо воли все мысли были обращены на его дело, он был в этом безоговорочно убежден. Презрение, с каким он раньше относился к процессу, теперь пропало. Будь он один на свете, он еще мог бы пренебречь процессом, хотя тогда — и в этом сомнений не было — процесс вообще не мог бы возникнуть. Но теперь, когда дядя затащил его к адвокату, приходилось считаться с семейными взаимоотношениями; да и его служба отчасти зависела от хода процесса, потому что он сам неосторожно и даже с каким-то необъяснимым удовлетворением упоминал о своем процессе при знакомых, а другие знакомые сами о нем узнавали неизвестно откуда; отношения с фройляйн Бюрстнер тоже колебались в зависимости от процесса — словом, он попал в самую гущу и должен был защищаться. А если он устал — тем хуже для него.

Впрочем, для преувеличенной тревоги никаких оснований пока что не было. Он сумел в сравнительно короткое время подняться в своем банке до высокой должности и, признанный всеми, занимал эту должность до сих пор; значит, теперь ему только надо эти свои таланты, благодаря которым он всего достиг, приложить к ведению процесса, и нет никаких сомнений, что тогда все окончится благополучно. Но прежде всего, если хотеть чего-то добиться, надо с самого начала отмести всякие мысли о возможной вине. Никакой вины нет. И весь этот процесс — просто большое дело, какие он с успехом часто вел для банка, и в этом деле, как правило, таятся всевозможные опасности — их только и надо предотвратить. Во имя этой цели никак нельзя играть с мыслью о какой бы то ни было вине, наоборот, надо все мысли твердо сосредоточить на собственной правоте. А отсюда неизбежно вытекало решение отстранить адвоката от

дела как можно скорее, лучше всего — сегодня же вечером. Правда, по словам того же адвоката, это было бы неслыханным прецедентом, к тому же очень обидным, но К. больше не мог терпеть, чтобы все его усилия разбивались о препятствия, которые, возможно, подстраивал его собственный адвокат. А как только он стяхнет с себя эту зависимость, он сам сразу подаст ходатайство, и, возможно, ему ежедневно придется добиваться, чтобы эту бумагу рассмотрели. Разумеется, для того чтобы добиться этого, К. не станет, подобно другим, просиживать в коридоре, положив шляпу под стул. Он сам, или знакомые женщины, или те, кого он пошлет, будут ежедневно нажимать на чиновников, чтобы заставить их не глазеть сквозь решетки в коридор, а сесть к столу и рассмотреть ходатайство К. Тут нельзя ослаблять натиск, надо все организовать, проверить; пусть суд наконец столкнется с таким обвиняемым, который умеет постоять за свои права.

Но если К. верил, что он сумеет все это провести в жизнь, то составление ходатайства представило для него непреодолимые трудности. Раньше, с неделю назад, он только с чувством некоторой неловкости думал о том, что будет вынужден составлять такую бумагу. Но он даже и не думал, что это может быть так трудно. Он вспомнил, как однажды утром, когда он был завален работой, он вдруг отодвинул все в сторону и взял блокнот, чтобы набросать ходатайство и, может быть, потом отдать этот черновик для исполнения тяжелодуму адвокату, и как именно в эту минуту отворилась дверь директорского кабинета и с громким смехом вошел заместитель директора. Тут К. стало очень неприятно, хотя заместитель директора смеялся вовсе не над его ходатайством, о котором он ничего не знал, а над только что услышанным биржевым анекдотом; для того чтобы этот анекдот стал понятен, надо было сделать рисунок, и заместитель директора, наклонясь над столом К., взял у него из рук карандаш и набросал рисунок на листке блокнота, предназначенном для черновика.

Но сегодня К. забыл о чувстве неловкости — написать ходатайство было необходимо. Если на службе он не сможет выкроить для этого время — что было вполне вероятно, — значит, придется писать дома, по ночам. А если ночей не хватит, придется взять отпуск. Только не останавливаться ни полдороге, это самое бессмысленное не только в делах, но и вообще всегда и везде. Правда, ходатайство потребует долгой, почти бесконечной работы. Даже при самом стойком характере человек мог прийти к мысли, что такую бумагу вообще составить невозможно. И не от лени, не от инерции, которые только и могли помешать адвокату в этой работе, а потому, что, не зная ни самого обвинения, ни всех возможных добавлений к нему, придется описать всю свою жизнь, восстановить в памяти мельчайшие поступки и события и проверить их со всех сторон. И какая же это грустная работа! Может быть, она подходит тем, кто, уйдя на пенсию, заочет чем-то занять мозг, уже впадающий в детство, и как-то скоротать долгие дни. Но теперь, когда человеку необходимо сохранить всю свежесть мысли для работы, когда часы летят с необыкновенной быстротой, потому что его карьера на подъеме и он представляет собой даже в некотором роде угрозу для заместителя директора, теперь, когда ему, человеку молодому, хочется насладиться жизнью в столь короткие вечера и ночи, именно теперь он должен заниматься составлением этого документа! И К. снова мысленно пожалел себя. Почти нечаянно, лишь бы прекратить этот ход мысли, он нажал кнопку звонка, проведенного в приемную. Нажимая кнопку, он взглянул на часы. Уже одиннадцать, значит, два часа драгоценнейшего времени он истратил на раздумье и, конечно, устал еще

больше прежнего. И все-таки время прошло не зря, он принял решение, которое может оказаться полезным.

Кроме почты курьер принес визитные карточки двух господ, давно ожидавших К. Как назло, это были очень важные клиенты банка, которых ни в каком случае нельзя было заставлять ждать. И почему они пришли в такое неподходящее время, и почему — как, наверно, спрашивали себя эти господа за закрытой дверью — столь усердный К. тратил самое горячее служебное время на личные дела? Устав от всего, что было, и с усталостью ожидая того, что будет, К. поднялся навстречу первому клиенту.

Это был маленький разбитной человек, фабрикант, которого К. хорошо знал. Он выразил сожаление, что отрывает К. от важной работы, а К., со своей стороны, выразил сожаление, что заставил его так долго ждать. Но слова сожаления он произнес настолько машинально и таким неестественным тоном, что, если бы фабрикант не был так занят своим делом, он непременно подметил бы это. Вместо того он торопливо вытащил счета и таблицы из всех карманов, разложил их перед К. и стал разяснять отдельные пункты, поправил небольшую ошибку в расчетах, которую поймал даже при таком беглом просмотре, напомнил, что К. заключил с ним такую же сделку год назад, мимоходом заметил, что на этот раз другой банк готов идти на значительные жертвы, лишь бы заключить с ним эту сделку, и наконец умолк, чтобы выслушать мнение К. Действительно, К. вначале с большим вниманием следил за словами фабриканта, мысль о важной сделке захватила и его, но, к сожалению, ненадолго; вскоре он перестал слушать, некоторое время еще кивал головой в ответ на громкие восклицания фабриканта, но потом прекратил и это, ограничиваясь только тем, что смотрел на лысую голову, склоненную над бумагами, и спрашивал себя, когда же фабрикант наконец поймет, что все его разглагольствования бесполезны. И когда фабрикант замолчал, К. сначала всерьез подумал, будто замолчал он для того, чтобы дать ему возможность сознаться, что слушать он не в состоянии. Но по напряженному взгляду фабриканта, готового на любые возражения, К. с сожалением понял, что деловой разговор придется продолжить. Он наклонил голову, словно подчиняясь приказанию, и стал медленно водить карандашом по бумагам, то и дело останавливаясь и всматриваясь в какую-нибудь цифру. Видимо, фабрикант предположил, что К. с чем-то не согласен, а может быть, цифры были не совсем точные, может быть, и не они решали дело, во всяком случае, фабрикант закрыл бумаги рукой и, придвинувшись совсем близко к К., снова начал в общих чертах излагать ему свое дело.

— Трудно все это, — сказал К., наморщив губы, и, так как фабрикант закрыл бумаги — единственное, на чем еще можно было сосредоточиться, — он безвольно откинулся на спинку кресла.

Он только поднял глаза, когда отворилась дверь директорского кабинета и вдали, не очень отчетливо, словно в какой-то дымке, мелькнула фигура заместителя директора. К. не обратил на это особого внимания, но его обрадовала реакция фабриканта — для К. это было очень кстати. Ибо фабрикант тотчас же вскочил с кресла и поспешил навстречу заместителю директора. К. хотел, чтобы он двигался в десять раз скорее, потому что боялся, что заместитель вдруг скроется. Страх оказался напрасным, оба господина встретились, пожали друг другу руки и вместе подошли к столу К. Фабрикант пожаловался, что прокурисст никак не склонен идти ему навстречу в этом деле, и кивнул в сторону К., который под взглядом

заместителя снова низко нагнулся над бумагами. Они оба стояли, прильняв к его столу, и фабрикант начал уговаривать заместителя, стараясь привлечь его на свою сторону. К. почувствовал себя так, будто оба эти человека непомерно разрастаются и уже через его голову решают его судьбу. Медленно и осторожно он завел глаза вверх, чтобы взглянуть, что же там происходит; не глядя, взял одну из бумаг со стола, положил ее на ладонь и, постепенно поднимаясь с кресла, стал протягивать ее обоим собеседникам. Он ни о чем в это время не думал, а действовал так, как, по его представлению, ему придется действовать, когда он наконец подготовит тот важный документ, который его окончательно оправдает. Заместитель директора, с большим вниманием слушавший фабриканта, взглянул на бумагу мимоходом, даже не прочитав, что там было написано, ибо то, что было важно для прокуриста, для него никакого интереса не представляло, однако взял бумагу из рук у К., сказал: "Спасибо, я все уже знаю" — и спокойно положил бумагу на стол. К. с неприязнью покосился на него. Но заместитель даже не заметил его взгляда, а если и заметил, то лишь еще больше развеселился. Он то и дело раздражался громким смехом, даже явно привел фабриканта в смущение остроумным ответом и в заключение пригласил его к себе в кабинет, чтобы окончательно договориться.

— Дело весьма важное, — сказал он фабриканту, — мне это совершенно ясно. А господину прокуристу, — при этом он обращался только к фабриканту, — наверно, будет по душе, если мы его от этого освободим. Наше дело требует спокойного обсуждения. А он как будто сегодня и так перегружен работой, к тому же в приемной вот уже несколько часов его ожидают люди.

У К. еле хватило выдержки отвернуться от заместителя директора и любезно, хотя и напряженно улыбнуться одному только фабриканту. Вольше он не стал вмешиваться и, слегка наклонившись вперед, упершись обеими руками в стол, как приказчик на прилавок, глядел, как оба господина, переговариваясь между собой, взяли бумаги со стола и скрылись в кабинете директора. В дверях фабрикант еще раз обернулся, сказал, что не прощается и не преминет осведомить господина прокуриста о результатах переговоров, а кроме того, собирается сделать ему еще одно небольшое сообщение.

Наконец К. остался один. Он и не подумал впустить следующего клиента и только неясно сознавал, насколько это удачно, что люди там, в приемной, уверены, будто он еще занят с фабрикантом, и поэтому никто, даже курьер, не решается войти к нему. Он подошел к окну, сел на подоконник, держась одной рукой за щеколду, и выглянул на площадь. Снег еще падал, погода никак не прояснялась.

Долго просидел он неподвижно, не понимая, что именно его так беспокоит, и только изредка испуганно оборачивался через плечо к двери и приемную, где ему слышался какой-то шум. Но так как никто не входил, он успокоился, подошел к умывальнику, умылся холодной водой и с освеженной головой вернулся к окошку. Решение взять свою защиту в собственные руки теперь казалось ему гораздо более ответственным, чем он предполагал сначала. Когда он взваливал всю защиту на адвоката, процесс, в сущности, мало его касался, он наблюдал за ним только со стороны, а непосредственно его ничто не затрагивало, он мог при желании поинтересоваться, как идут его дела, но мог и отойти в сторону, когда ему этого хотелось. А сейчас, если он возьмет ведение своего дела на себя, он — хотя бы на данное время — будет совершенно поглощен судебными

делами. Если все пойдет успешно, то впоследствии придет полное и окончательное освобождение, но, чтобы этого достичь, ему придется все время сталкиваться с гораздо большими опасностями, чем до сих пор. И если он еще сомневался в этом, то сегодняшняя встреча с фабрикантом при заместителе директора достаточно убедила его. Как он при них сидел совершенно растерянный лишь оттого, что намеревался с сегодняшнего дня взять свою защиту на себя! Что же будет дальше? Какие дни предстоят ему? Найдет ли он путь, который приведет его к благополучному исходу? Не вызовет ли тщательно продуманное ведение защиты — а иначе все было бы лишено смысла, — не вызовет ли такая защита необходимости отключиться, насколько возможно, от всякой другой работы? Сможет ли он благополучно пройти через это? И как ему провести в жизнь этот план тут, в банке? Ведь время ему нужно не только для составления ходатайства — для этого хватило бы и отпуска, хотя просить об отпуске сейчас было бы большой смелостью, — ему нужно время для целого процесса, а кто знает, как долго он будет тянуться? Вот сколько препятствий вдруг встало на жизненном пути К.!

Неужто в таком состоянии он должен работать для банка? Он взглянул на стол. Неужели сейчас принимать клиентов, вести с ними переговоры? Там его процесс идет полным ходом, там, наверху, на чердаке, судейские чиновники сидят над актами этого процесса, а он должен заниматься делами банка? Не похоже ли это на пытку, не с ведома ли суда в связи с процессом его подвергают этой пытке? А разве в банке при оценке его работы кто-нибудь станет учитывать его особое положение? Никто и никогда. Кое-что о его процессе знали, хотя и было не совсем ясно, кому и сколько об этом известно. Надо надеяться, что слухи еще не дошли до заместителя директора, иначе сразу стало бы видно, как он старается использовать эти сведения против К. вопреки чувству товарищества и простой человечности. А сам директор? Да, конечно, он хорошо относится к К., и если бы он узнал о процессе, то сейчас же сделал бы все от него зависящее, чтобы внести какие-то облегчения для К., но ему это вряд ли удалось бы, потому что теперь, когда К. почти перестал противодействовать влиянию заместителя, это влияние усилилось, причем заместитель для укрепления своей власти использовал болезненное состояние самого директора. На что же К. мог надеяться? Может быть, от этих мыслей сила сопротивления в нем понижалась, но, с другой стороны, нельзя обманывать себя, надо все предвидеть, все, насколько это возможно в данную минуту.

Без всякой причины, просто чтобы не возвращаться к письменному столу, К. отворил окно. Оно открывалось с трудом, пришлось обеими руками нажать на задвижки. Всю комнату и ввысь и вширь заполнил туман, пропитанный дымом, вместе с ним вполз запах гари. Сквозняком внесло несколько снежинок.

— Прескверная осень, — сказал за спиной К. голос фабриканта — тот вышел от заместителя директора и незаметно подошел к окну. К. утвердительно кивнул и с опаской поглядел на портфель фабриканта: наверно, он сейчас вынет оттуда бумаги и начнет рассказывать, как прошли переговоры с заместителем директора. Но фабрикант поймал взгляд К., похлопал по своему портфелю и сказал, не открывая его:

— Вам, наверно, интересно услышать, чего я достиг. У меня, можно сказать, заключение уже в кармане. Превосходный человек ваш заместитель директора, но ему пальца в рот не клади.

Он засмеялся и потряс руку К., явно желая и его рассмешить. Но тому

показалось подозрительным, что фабрикант не хочет показать ему документы, да и ничего смешного в его словах он не нашел.

— Господин прокурис, — сказал вдруг фабрикант, — на вас, наверно, погода плохо действует? Вид у вас такой удрученный.

— Да, — сказал К. и поднес руку к виску, — голова болит, семейные неполадки.

— Верно, верно, — сказал фабрикант, человек он был торопливый и никогда не дослушивал спокойно, что ему говорят, — каждому приходится нести свой крест.

К. невольно подался к двери, как будто хотел выпроводить фабриканта, но тот сказал:

— Господин прокурис, у меня есть для вас еще одно небольшое сообщение. Очень боюсь, что сейчас вам не до того, но за последнее время и уже дважды был у вас и каждый раз об этом забывал. Если еще откладывать, то мое сообщение, наверно, потеряет всякий смысл. А это жаль, может быть, оно все-таки будет иметь для вас какое-то значение. — И прежде чем К. успел ответить, фабрикант подошел к нему вплотную, постучал согнутым пальцем ему в грудь и тихо сказал: — У вас идет процесс, не так ли?

К. отшатнулся и воскликнул:

— Вам это сказал заместитель директора!

— Да нет же, — сказал фабрикант, — откуда заместитель мог узнать об этом?

— А вы? — уже спокойнее спросил К.

— Я кое о чем осведомлен из судебных кругов, — сказал фабрикант. — Вот об этом-то я и хотел с вами поговорить.

— Сколько же людей связано с судебными кругами! — сказал К., опустив голову, и подвел фабриканта к столу.

Они уселись, как сидели раньше, и фабрикант сказал:

— К сожалению, я могу сообщить вам очень немногое. Но в таких делах нельзя пренебрегать даже самой малостью. Кроме того, мной руководит искреннее желание хоть чем-нибудь помочь вам, даже если эта помощь окажется весьма скромной. Ведь до сих пор у нас в делах были самые дружеские отношения, не так ли? Ну вот видите!

К. хотел было извиниться за свое поведение во время сегодняшнего разговора, но фабрикант не терпел, когда его перебивали. Он засунул портфель глубоко под мышку, чтобы показать, как он торопится, и продолжал:

— О вашем процессе я узнал от некоего Титорелли. Он художник, Титорелли — его псевдоним, настоящего его имени я даже не знаю. Уже много лет подряд он изредка заходит ко мне в контору и приносит небольшие картинки, и за них — ведь он почти нищий — я даю ему что-то вроде милостыни. Эти сделки — мы оба к ним привыкли — всегда проходили гладко. Но вот его посещения стали учащаться, я его упрекнул, мы разговорились, я заинтересовался, как это он может жить одними этими картинками, и, к своему удивлению, узнал, что главный источник его дохода — писание портретов. "Работаю на суд", — сказал он. "На какой суд?" — спросил я. И тут он рассказал мне об этом суде. Вероятно, вы лучше всех поймете, как меня удивил его рассказ. С тех пор при каждом посещении я выслушиваю какие-нибудь новости и постепенно составил себе некоторое представление об этом суде. Правда, Титорелли очень болтлив, и часто мне приходится его останавливать, не только по-

тому, что он наверняка привирает, но главным образом из-за того, что мне, человеку деловому, которому и свои заботы покоя не дают, некогда слишком много заниматься чужими делами. Но это я мимоходом. И вот я подумал: а вдруг Титорелли будет вам хоть чем-то полезен, он знаком со многими судьями, и хотя сам он особого влияния не имеет, но все же сможет дать совет, как попасть ко всяким влиятельным лицам. И если даже эти советы сами по себе ничего не значат, то вам, по моему мнению, они могут очень и очень пригодиться. Ведь вы сами почти адвокат. Я всегда говорю: "Прокурорист К. почти что адвокат". Нет, за исход вашего процесса я совершенно не беспокоюсь. И все-таки не зайдете ли вы к Титорелли? По моей рекомендации он сделает для вас все, что в его силах. Право же, я думаю, что вам стоит к нему пойти. Не обязательно сегодня, а как-нибудь при случае. Разумеется — и я должен вам это подчеркнуть, — вы ни в коем случае не обязаны следовать моему совету и идти к Титорелли. Нет, если вы можете обойтись без Титорелли, то лучше оставить его в стороне. Может быть, у вас уже есть свой определенный план и Титорелли только нарушит его? Нет, нет, тогда вам ни в коем случае к нему ходить не надо! Конечно, от такого типа нелегко принимать советы. Впрочем, как хотите. Вот рекомендательное письмо и вот его адрес.

К. взял письмо и сунул его в карман — он был очень разочарован. Даже при самых благоприятных обстоятельствах польза от этого знакомства была неизмеримо меньше вреда, который нанес ему художник, доведя до сведения фабриканта слухи о процессе и распространяя сплетни.

К. с трудом заставил себя пробормотать какую-то благодарность вслед фабриканту, уже выходявшему из комнаты.

— Я зайду к нему, — сказал он, прощаясь с фабрикантом у двери, — или, пожалуй, так как я сейчас очень занят, напишу ему, чтоб он зашел ко мне сюда.

— О, я знал, что вы найдете наилучший выход, — сказал фабрикант. — Правда, я думал, что вам лучше было бы не приглашать в банк людей вроде этого Титорелли и не разговаривать с ним тут о процессе. Да и не очень-то полезно давать письма в руки таким людям. Но, конечно, вы все сами продумали, вам виднее, что можно делать и чего нельзя.

К. наклонил голову и проводил фабриканта через приемную. При всем своем внешнем спокойствии он очень испугался за себя: в сущности, он говорил о письме к Титорелли, только чтобы показать фабриканту, что ценит его рекомендацию и обдумывает, как ему встретиться с Титорелли, но вместе с тем, если бы он счел помощь Титорелли полезной, он и в самом деле не преминул бы ему написать. Но слова фабриканта открыли ему опасность такого шага со всеми его последствиями. Неужели он уже не может надеяться на свой здравый смысл, на свой ум? Если он способен письменно пригласить какую-то сомнительную личность в банк и в двух шагах от заместителя директора, отделенный от него одной только дверью, просить у этого проходимца советов насчет своего процесса, то не значило ли это, что он, по всей вероятности, а может быть, и наверняка, не видит и других опасностей и бросается в них очертя голову? Не всегда же с ним рядом будет человек, который сможет его предупредить. Как раз сейчас, когда ему надо собрать все силы и действовать, на него напали сомнения в собственной бдительности. Неужели ему будет так же трудно заниматься своим процессом, как трудно вести банковские дела? Сейчас он, конечно, сам уже не понимал, как ему могло прийти в голову написать Титорелли и пригласить его в банк.

Он еще в недоумении покачивал головой, когда к нему подошел курьер и обратил его внимание на трех посетителей, сидевших в приемной на скамье. Они уже давно ждали, когда их наконец пригласят в кабинет К. Увидев, что курьер обратился к К., они встали и, пытаясь воспользоваться случаем, наперебой старались заговорить с К. Раз банк обошелся с ними так бесцеремонно, заставив их терять время в приемной, то они тоже никаких церемоний признавать не собирались.

— Господин прокурор, — начал было один.

Но К. уже велел подать свое зимнее пальто и, одеваясь с помощью курьера, обратился ко всем трем:

— Простите, господа, сейчас я, к сожалению, не могу вас принять. Очень прошу меня извинить, но у меня весьма срочное дело и я должен сейчас же уйти. Вы сами видели, как долго меня задерживали. Не будете ли вы так любезны прийти завтра или когда вам будет удобно? А может быть, мы обсудим ваши дела по телефону? Или, быть может, вы сейчас кратко изложите мне, что вам нужно, и я дам вам письменный ответ? Но лучше всего, конечно, если бы вы зашли еще раз.

От этих предложений посетители совершенно онемели и только переглядывались друг с другом: неужели они столько ждали напрасну?

— Значит, договорились? — сказал К. и обернулся к курьеру, который подавал ему шляпу.

Сквозь открытую дверь кабинета видно было, что за окном гуще пошел снег. К. поднял воротник пальто и застегнул его у шеи.

И в эту минуту из соседнего кабинета вышел заместитель директора, с усмешкой увидел, что К. стоит в пальто, договариваясь о чем-то с посетителями, и спросил:

— Разве вы уже уходите, господин прокурор?

— Да, — сказал К. и выпрямился, — мне необходимо уйти по делу.

Но заместитель директора уже обернулся к посетителям.

— А как же эти господа? — спросил он. — Кажется, они уже давно ожидают.

— Мы договорились, — сказал К.

Но тут посетители не выдержали; они окружили К. и заявили, что не стали бы ждать часами, если бы у них не было важных дел, которые надо обсудить немедленно, и притом с глазу на глаз. Заместитель директора послушал их, посмотрел на К. — тот, держа шляпу в руках, чистил на ней какое-то пятнышко — и потом сказал:

— Господа, есть очень простой выход. Если я могу вас удовлетворить, и с удовольствием возьму на себя переговоры вместо господина прокурора. Разумеется, ваши дела надо разрешить немедленно. Мы, такие же деловые люди, как и вы, понимаем, как драгоценно ваше время. Не угодно ли вам пройти сюда? — И он отворил дверь, которая вела в его приемную.

Как этот заместитель директора умел присваивать себе все, от чего К. по необходимости вынужден был отказываться! Но, может быть, К. вообще слишком перегибает палку и это вовсе не обязательно? Пока он будет бегать к какому-то неизвестному художнику с весьма необоснованными и нечего скрывать — ничтожными надеждами, тут, на службе, его престиж потерпит непоправимый урон. Вероятно, было бы лучше всего снять пальто и по крайней мере заполучить для себя хотя бы тех двух клиентов, которые остались ждать в приемной. Возможно, что К. и попытался бы так сделать, если бы не увидел, что к нему в кабинет вошел замести-

тель директора и роется на его книжной полке, словно у себя дома. Когда К. подошел к двери, тот воскликнул:

— А-а, вы еще не ушли? — Он посмотрел на К. — от резких прямых морщин его лицо казалось не старым, а скорее властным — и потом снова стал шарить среди бумаг. — Ищу договор, — сказал он. — Представитель фирмы утверждает, что бумаги у вас. Не поможете ли вы мне найти их?

К. подошел было к нему, но заместитель директора сказал:

— Спасибо, уже нашел, — и, захватив толстую папку с документами, где явно лежал не только один этот договор, он прошел к себе в кабинет.

Теперь мне с ним не под силу бороться, сказал себе К., но пусть только уладятся все мои личные неприятности, и я ему первому отплачу, да еще как! Эта мысль немного успокоила К., он велел курьеру, уже давно открывшему перед ним дверь в коридор, сообщить директору банка, что ушел по делам, и, уже радуясь, что может хоть какое-то время целиком посвятить своему делу, вышел из банка.

Не задерживаясь, он поехал к художнику, который жил на окраине, в конце города, противоположном тому, где находились судебные канцелярии. Эта окраина была еще беднее той: мрачные дома, переулки, где в лужах талого снега медленно кружился всякий мусор. В доме, где жил художник, было открыто только одно крыло широких ворот; в другом крыле внизу был пробит люк, и навстречу К. оттуда хлынула дымящаяся струя какой-то отвратительной желтой жидкости, и несколько крыс метнулось в канаву, спасаясь от нее. Внизу у лестницы, на земле ничком лежал какой-то младенец и плакал, но его почти не было слышно из-за оглушительного шума слесарной мастерской, расположенной с другой стороны подворотни. Двери в мастерскую были открыты, трое подмастерьев стояли вокруг какого-то изделия и били по нему молотками. От широкого листа белой жести, висящего на стене, падал бледный отсвет и, пробиваясь меж двух подмастерьев, освещал лица и фартуки. Но К. только мельком взглянул туда, ему хотелось как можно скорее уйти, переговорить с художником как можно короче и сразу вернуться в банк. И если он хоть чего-нибудь тут добьется, то это хорошо повлияет на его сегодняшнюю работу в банке.

На третьем этаже ему пришлось умерить шаг — он совсем задышался, этажи были непомерно высокие, а художник, видимо, жил в мансарде. К тому же воздух был затхлый, узкая лестница шла круто, без площадок, зажата с двух сторон стенами — в них кое-где, высоко над ступеньками, были пробиты узкие оконца. К. немного приостановился, и тут из соседней квартиры выбежала стайка маленьких девочек и со смехом помчалась вверх по лестнице. К. медленно поднимался за ними, и, когда одна из девочек споткнулась и отстала от других, он нагнал ее и спросил:

— Здесь живет художник Титорелли?

У девочки был небольшой горб, ей можно было дать лет тринадцать; в ответ она толкнула К. локотком в бок и взглянула на него искоса. Несмотря на молодость и физический недостаток, в ней чувствовалась безнадежная испорченность. Даже не улыбнувшись, она вперила в К. настойчивый, острый и вызывающий взгляд.

К. притворился, что не заметил ее уловки, и спросил:

— А ты знаешь художника Титорелли?

Она кивнула и тоже спросила:

— А что вам от него нужно?

К. решил, что не мешает разузнать еще кое-что о Титорелли.

— Хочу, чтобы он написал мой портрет, — сказал он.

— Портрет? — переспросила она и, широко разинув рот, шлепнула К. ладонью, словно он сказал что-то чрезвычайно неожиданное или несообразное, подхватила обеими руками свою и без того короткую юбчонку и всю прыть побежала догонять остальных девочек, чьи крики уже терялись где-то наверху.

За следующим поворотом лестницы К. опять увидел их всех. Горбатенькая, очевидно, уже выдала им намерения К., и они дожидались его. Прижавшись к стенкам по обеим сторонам лестницы, чтобы дать К. свободный проход, они стояли, перебирая пальцами фартучки. В их лицах, и том, как они стояли рядом у стенок, была смесь какого-то ребячества и распутства. Горбатенькая пошла вперед, остальные со смехом сомкнулись за спиной К. Только благодаря ей К. сразу нашел дорогу. Он хотел было идти прямо наверх, но она сказала, что к Титорелли можно попасть только через боковую лестницу. Лестница, ведущая к нему, была еще уже, еще длиннее, шла круто вверх и кончалась у самой двери Титорелли. По сравнению со всей лестницей эта дверь хорошо освещалась небольшим, кося прорезанным в потолке окошечком, она была сколочена из некрашенных досок, и на ней широкими мазками кисти красной краской было выведено имя Титорелли. К. со своей свитой еще только поднялся до середины лестницы, как вдруг наверху, очевидно услышав шум на лестнице, приоткрыли двери, и в щель высунулся мужчина, на котором как будто ничего, кроме ночной рубахи, не было.

— Ох! — воскликнул он, увидев толпу, и сразу исчез. Горбунья от радости захлопала в ладоши, другие девочки стали подталкивать К. сзади, торопя его наверх.

Но не успели они подняться на самый верх, как дверь распахнулась и художник с низким поклоном попросил К. войти. Однако девочек он впустить не захотел и оттеснил их от дверей, сколько они ни просили и сколько ни пытались проникнуть к нему против его воли, не добившись разрешения. Только горбунье удалось проскользнуть у него под рукой, но художник погнался за ней, схватил за юбки, закружил ее вокруг себя и выставил за дверь, к другим девчонкам, которые не посмели переступить порог, даже когда художник отошел от двери. К. никак не мог взять в толк, как отнестись к тому, что происходит; тут как будто царили самые дружеские отношения. Вытянув шейки, девочки весело кричали художнику какие-то шутливые слова, которых К. не понимал, художник смеялся, и горбунья в его руках чуть ли не взлетала в воздух. Потом он закрыл дверь, еще раз поклонился К., пожал ему руку и представился:

— Художник-живописец Титорелли.

К. показал на дверь, за которой перешептывались девчонки, и проговорил:

— Как видно, в этом доме вас очень любят!

— Ах уж эти мне мартышки! — сказал художник, тщетно пытаясь застегнуть ночную рубашку у ворота.

Он стоял босой, теперь кроме рубахи на нем были широкие штаны из желтоватого холста, они держались только на ремне, и длинный конец его свободно болтался.

— Мне от этих мартышек житья нет, — сказал он и, бросив попытку застегнуть рубаху, так как и последняя пуговица отлетела, принес кресло и пригласил К. сесть.

— Как-то я написал портрет одной из них — ее сейчас тут не было, — и с тех пор они меня преследуют. Когда я дома, они заходят только с моего позволения, но, стоит мне уйти, сюда непременно проберется хоть одна. Они подделали ключ к моей двери и передают друг дружке. Вы просто не представляете себе, как они мне надоели. Например, прихожу сюда с дамой, которую я собираюсь рисовать, открываю дверь своим ключом и вижу: за столом сидит горбунья и красит себе губы моей кисточкой, а ее братицы и сестрицы, за которыми ей велели присматривать, бегают по комнате, пачкают во всех углах. Или, например, вчера: вернулся я очень поздно — поэтому вы уж простите меня за костюм и за беспорядок в комнате, — значит, вернулся я домой поздно, хотел лечь в постель, и вдруг кто-то щиплет меня за ногу. Лезу под кровать и вытаскиваю одну из этих негодниц! И почему их так ко мне тянет — понять невозможно. Вы сами видели, что я их не очень-то поощряю. Они мне и работать мешают. Если бы это ателье не досталось мне бесплатно, я бы давно отсюда выехал.

И тут же за дверью нежный голосок боязливо пропищал:

— Титорелли, можно нам войти?

— Нет! — ответил художник.

— Даже мне одной нельзя? — спросил тот же голосок.

— Тоже нельзя! — сказал художник и, подойдя к двери, запер ее на ключ.

К. уже успел оглядеть комнату; никогда в жизни он не подумал бы, что эту жалкую каморку кто-нибудь называет "ателье". Двумя шагами можно было измерить ее и в длину, и в ширину. Всё — полы, стены, потолок — было деревянное, между досками виднелись узкие щели. У дальней стены стояла кровать с грудой разноцветных одеял и подушек. Посреди комнаты на мольберте видна была картина, прикрытая рубахой с болтающимися до полу рукавами. За спиной К. было окошко, в нем сквозь туман виднелась только крыша соседнего дома, засыпанная снегом.

При звуке ключа, повернутого в двери, К. вспомнил, что он, в сущности, намеревался уйти поскорее. Поэтому он вынул из кармана письмо фабриканта, подал его художнику и сказал:

— Я узнал о вас от этого господина, вашего знакомого, и по его совету пришел к вам.

Художник быстро просмотрел письмо и бросил его на кровать. Если б фабрикант не говорил так определенно о Титорелли как о своем приятеле, о бедном человеке, который зависит от его щедрот, то вполне можно было бы сейчас подумать, что Титорелли вовсе и не знаком с фабрикантом или, во всяком случае, совсем его не помнит. А тут художник еще спросил:

— Вы желаете купить картины или хотите заказать свой портрет?

К. с изумлением посмотрел на художника. Что же, собственно говоря, было написано в письме? К. считал, что фабрикант, само собой разумеется, сообщил в своем письме художнику, что К. хочет только одного: навести справки о своем процессе. И зачем он так необдуманно и торопливо бросился сюда! Но теперь надобно было хоть что-нибудь ответить художнику, и, взглянув на мольберт, К. сказал:

— Вы сейчас работаете над картиной?

— Да, — сказал художник и, сняв рубаху, прикрывавшую картину, швырнул ее на кровать, туда же, куда бросил письмо. — Пишу портрет. Неплохая работа, но еще не совсем готова.

Все складывалось как нельзя удачнее для К.: ему просто преподнесли на блюдечке предлог заговорить о суде, потому что портрет перед ним явно изображал судью. Более того, он очень походил на портрет судьи в кабинете адвоката. Правда, тут был изображен совершенно другой судья — чернобородый толстяк с пышной, окладистой бородой, закрывавшей щеки; кроме того, у адвоката висел портрет, написанный маслом, тогда как этот был сделан пастелью в расплывчатых и мягких тонах. Но все остальное было очень похоже: судья и тут словно в угрозе приподымался на своем троне, сжимая боковые ручки.

— Да ведь это судья, — хотел было сказать К., но удержался и, подойдя к картине, стал рассматривать ее во всех подробностях. Ему показалась непонятной длинная фигура, стоявшая за высокой спинкой кресла, похожего на трон, и он спросил художника, что это такое.

— Ее надо еще немного подработать, — объяснил ему художник и, взяв со столика пастельный карандаш, несколькими штрихами подчеркнул контуры фигуры, но для К. она от этого не стала яснее. — Это Правосудие, — объяснил наконец художник.

— Да, теперь узнаю, — сказал К. — Вот повязка на глазах, а вот и чаши весов. Но, по-моему, у нее крылышки на пятках и она как будто бежит?

— Да, — сказал художник, — я ее написал такой по заказу. Собственно говоря, это богиня правосудия и богиня победы в едином лице.

— Не очень-то правильное сочетание, — сказал К. с улыбкой. — Ведь богиня правосудия должна стоять на месте, иначе весы придут в колебание, а тогда справедливый приговор невозможен.

— Ну, тут я подчиняюсь своему заказчику, — сказал художник.

— Да, конечно, — сказал К., не желая обидеть его своим замечанием. — Очевидно, вы нарисовали эту статую так, как ее обычно и изображают — за креслом.

— Нет, — сказал художник, — ни кресла, ни статуи я никогда не видел, все это выдумки, но мне дали точное указание, что я должен написать.

— Как? — переспросил К., нарочно сделав вид, что не понимает художника. — Но ведь в кресле сидит судья?

— Верно, — сказал художник, — но это не верховный судья, а этот никогда и не сидел в таком кресле.

— И однако заставил написать себя в столь торжественной позе! Он тут похож на председателя суда!

— Да, честолюбие у этих господ большое! — сказал художник. — Но у них есть распоряжение свыше, чтобы их изображали именно в такой позе. Каждому точно предписано, в каком виде ему разрешается позировать. К сожалению, по этой картине трудно судить о подробностях одежды и форме кресел, пастель для таких портретов не подходит.

— Да, — сказал К., — странно, что этот портрет писан пастелью.

— Так пожелал судья, — сказал художник. — Портрет предназначен в подарок даме.

При взгляде на портрет художнику, очевидно, пришла охота поработать; засучив рукава рубахи, он взял пастельные карандаши, и К. увидел, как под их мелькающими остриями вокруг головы судьи возник красноватый ореол, расходящийся лучами к краям картины. Постепенно игра теней образовала вокруг головы судьи что-то вроде украшения или даже короны. Но вокруг фигуры Правосудия ореол оставался светлым, чуть оттененным, и в этой игре света фигура выступила еще резче, теперь она уже не напоминала ни богиню правосудия, ни богиню победы; скорее

всего, она походила на богиню охоты. Почти помимо воли К. увлекся работой художника; но наконец он мысленно стал упрекать себя, что задержался так долго, а для своего дела еще ничего не предпринял.

— А как зовут судью? — внезапно спросил он.

— Этого я вам сказать не имею права, — ответил художник. Он низко наклонился над картиной и явно не обращал никакого внимания на гостя, которого встретил так приветливо. К. счел это просто капризом и рассердился, что теряет столько времени.

— А вы, должно быть, доверенное лицо в суде? — спросил он.

И тут художник отложил карандаши, выпрямился и, потирая руки, с улыбкой посмотрел на К.

— Ну, давайте начистоту! — сказал художник. — Вы хотите что-то узнать о суде? Кстати, так и написано в вашем рекомендательном письме, а о моих картинах вы заговорили, чтобы расположить меня к себе. Да я на вас не в обиде. Вы же не могли знать, что меня этим не проведешь. Нет, нет, не надо! — резко сказал он, когда К. хотел что-то возразить. И тут же добавил: — Впрочем, вы совершенно правильно заметили, я действительно доверенное лицо в суде.

Он сделал паузу, словно хотел дать К. время привыкнуть к этому утверждению. За дверью снова слышались голоса девочек. Должно быть, они столпились у замочной скважины, а может быть, подсматривали и в щели между досками. К. не стал особенно оправдываться, ему не хотелось отвлекать художника от рассказа о суде, и вместе с тем он не хотел, чтобы художник слишком преувеличивал свое значение и тем самым старался стать недоступным, поэтому К. спросил:

— А это официально признанная должность?

— Нет, — коротко ответил художник, словно этот вопрос заставил его замолчать. Но для К. его молчание было не с руки, и он сказал:

— Знаете, люди на таких неофициальных должностях часто бывают куда влиятельнее официальных служащих.

— Именно так со мной и обстоит дело, — кивнул головой художник, хмурая лоб. — Вчера я говорил с фабрикантом о вашем процессе, и он меня спросил, не могу ли я вам помочь. Я сказал: "Пусть этот человек зайдет ко мне" — и рад, что вы так быстро явились. Как видно, это дело затронуло вас всерьез, чему я, впрочем, не удивляюсь. Может быть, вы для начала снимете пальто?

Хотя К. собирался уйти как можно скорее, он очень обрадовался предложению художника. Ему становилось все более душно в этой комнате, несколько раз он удивленно косился на явно нетопленную железную печурку в углу — было непонятно, отчего в комнате стояла такая духота. Пока он снимал пальто и расстегивал пиджак, художник извиняющимся тоном сказал:

— Мне тепло необходимо. А тут очень тепло, правда? В этом отношении комната расположена необыкновенно удобно.

К. ничего не сказал; собственно говоря, ему неприятна была не столько жара, сколько затхлый воздух, дышать было трудно, видно, комната давно не проветривалась. Неприятное ощущение еще больше усилилось, когда художник попросил К. сесть на кровать, а сам уселся на единственный стул, перед мольбертом. При этом художник, очевидно, не понял, почему К. сел только на краешек постели, — он стал настойчиво просить гостя сесть поудобнее, а увидев, что К. не решается, встал, подошел и втиснул его поглубже, в самый ворох подушек и одеял. Потом снова уселся

ни свой стул и впервые задал точный деловой вопрос, заставив К. позабыть обо всем вокруг.

— Ведь вы невиновны? — спросил он.

— Да! — сказал К. Он с радостью ответил на этот вопрос, особенно потому, что перед ним было частное лицо и никакой ответственности за свои слова он не нес. Никто еще не спрашивал его так откровенно. Чтобы продлить это радостное ощущение, К. добавил: — Я совершенно невиновен.

— Вот как, — сказал художник и, словно в задумчивости, наклонил голову. Вдруг он поднял голову и сказал: — Но если вы невиновны, то дело обстоит очень просто.

К. сразу помрачнел: выдает себя за доверенное лицо в суде, а рассуждает, как наивный ребенок!

— Моя невинность ничуть не упрощает дела, — сказал К. Он вдруг помимо воли улыбнулся и покачал головой: — Тут масса всяких тонкостей, в которых может запутаться и суд. И все же в конце концов где-то, буквально на пустом месте, судьи находят тягчайшую вину и вытаскивают ее на свет.

— Да, да, конечно, — сказал художник, словно К. без надобности перебивал ход его мыслей. — Но ведь вы-то невиновны?

— Ну конечно, — сказал К.

— Это самое главное, — сказал художник.

Противоречить ему было бесполезно. Одно казалось неясным, не смотря на его решительный тон: говорит ли он это от убежденности или от равнодушия. К. решил тотчас же выяснить это, для чего и сказал:

— Конечно, вы осведомлены о суде куда лучше меня, ведь я знаю о нем только понаслышке, да и то от самых разных людей. Но в одном они все согласны: легкомысленных обвинений не бывает, и если уж судьи выдвинули обвинение, значит, они твердо уверены в вине обвиняемого, и в этом их переубедить очень трудно.

— Трудно? — переспросил художник, воздевая руки кверху. — Да их переубедить просто невозможно! Если бы я всех этих судей написал тут, на холсте, и вы бы стали защищаться перед этими холстами, вы бы достигли больших успехов, чем защищаясь перед настоящим судом.

Он прав! — сказал К. про себя, забыв, что он только хотел выпытать у художника его мнение.

За дверью снова запищала девчонка:

— Титорец, ну когда же он наконец уйдет?

— Молчите! — крикнул художник. — Не понимаете, что ли, у меня с этим господином серьезный разговор!

Но девочка не утихомирилась:

— Ты его хочешь нарисовать? — И так как художник промолчал, она добавила: — Пожалуйста, не рисуй его, он такой некрасивый! — Остальные одобрительно зашумели, выкрикивая какие-то непонятные слова.

Художник подскочил к двери, приоткрыл ее — стали видны умоляющие протянутые руки девочек — и сказал:

— Если вы не замолчите, я вас всех с лестницы спущу! Сядьте на ступеньки и ведите себя смирно.

Видно, они не сразу послушались, и ему пришлось скомандовать:

— Ну, марш на ступеньки! — И только тогда стало тихо.

— Простите, — сказал художник, возвращаясь к К. Но К. даже не повернулся к двери, он полностью предоставил художнику защищать его,

как и когда тот захочет. Он и теперь не пошевелился, когда художник, нагнувшись к нему, прошептал ему на ухо так, чтобы на лестнице не было слышно: — Эти девчонки тоже имеют отношение к суду.

— Как? — спросил К., отшатнувшись и глядя на художника.

Но тот уже сел на свое место и то ли в шутку, то ли серьезно сказал:

— Да ведь все на свете имеет отношение к суду.

— Этого я пока не замечал, — коротко бросил К., но после такой общей фразы его уже больше не тревожили слова художника про девочек. И все же К. поглядывал на дверь, за которой притаились на ступеньках девочки. Одна из них, просунув соломинку в щель между досками, медленно водила ею вниз и вверх.

— Очевидно, вы никакого представления о суде не имеете, — сказал художник; он широко расставил ноги и постукивал по полу пальцами. — Но так как вы невиновны, вам это и не потребуется. Я и один могу вас вызволить.

— Каким же образом? — спросил К. — Только что вы сами сказали, что никакие доказательства на суд совершенно не действуют.

— Не действуют только те доказательства, которые излагаются непосредственно перед самим судом, — сказал художник и поднял указательный палец, словно К. упустил очень тонкий оттенок. — Однако все оборачивается совершенно иначе, когда пробуешь действовать за пределами официального суда, скажем в совещательных комнатах, в коридорах или, к примеру, даже тут, в ателье.

Теперь слова художника показались К. гораздо более убедительными, они в основном вполне совпадали с тем, что К. слышал и от других людей. Более того, в них таилась явная надежда. Если судей так легко было склонить на свою сторону через личные отношения, как утверждал адвокат, то связи художника с тщеславными судьями были особенно важны; во всяком случае, недооценивать эти связи было бы глупо. Тем самым художник тоже включался в компанию помощников, которых К. постепенно собирал вокруг себя. В банке не раз хвалили его организаторские таланты, и сейчас, когда он был всецело предоставлен самому себе, у него была полная возможность использовать этот свой талант как можно шире.

Художник увидел, какое впечатление его слова произвели на К., и сказал с некоторой тревогой:

— А вам не кажется, что я говорю почти как юрист? Видно, на меня влияет непрестанное общение с господами судейскими. Конечно, и это имеет свои выгоды, но как-то пропадает артистический размах мысли.

— А как вы впервые столкнулись с этими судьями? — спросил К. Ему хотелось войти в доверие к художнику, прежде чем прямо воспользоваться его услугами.

— Очень просто, — сказал художник. — Эти связи я унаследовал. Мой отец тоже был судебным художником. А это место передается по наследству. Новых людей на него брать нельзя. Дело в том, что для изображения разных чиновников установлено множество разнообразных, сложных и прежде всего тайных правил, недоступных никому, кроме определенных семейств. Например, вон в том ящике стола лежат записки моего отца, я их никому не показываю. Только тот, кто их знает, способен писать портреты судей. Впрочем, даже если бы я потерял эти записки, у меня в голове останется множество правил, я один их знаю, заучил их наизусть, так что никто не посмеет оспаривать мое место. Ведь каждому

судье хочется, чтобы его писали так, как писали когда-то прежних великих судей, а это умею лишь я один.

— Вам можно только позавидовать, — сказал К., подумав о своем месте в банке. — Значит, ваше положение непоколебимо?

— Вот именно непоколебимо, — сказал художник и гордо развернул плечи. — Потому-то я и могу изредка помочь несчастному, против которого ведется процесс.

— Каким образом? — спросил К., словно не его художник только что назвал "несчастливым".

Но художник, не обращая внимания, продолжал:

— Взять, к примеру, ваш случай: так как вы совершенно невиновны, я предприму следующее.

К. уже раздражало постоянное упоминание о его полной невиновности. Выходило так, будто, напоминая об этом, художник ставит благополучный исход процесса непременным условием своей помощи, которая тем самым превращается в ничто. Но, несмотря на все сомнения, К. сдержался и не стал прерывать художника. Отказываться от его помощи он не желал, это он решил твердо, причем в этой помощи он сомневался меньше, чем в помощи адвоката. К. даже предпочитал помощь художника, и за того что тот предлагал ее более бескорыстно, более искренне.

Художник пододвинул стул поближе к кровати и, понизив голос, продолжал:

— Совсем забыл спросить вас вот о чем: как вы предпочитаете освободиться от суда? Есть три возможности: полное оправдание, оправдание минимое и волокита. Лучше всего, конечно, полное оправдание, но на такое решение я никоим образом повлиять не могу. По-моему, вообще нет такого человека на свете, который мог бы своим влиянием добиться полного оправдания. Тут, вероятно, решает только абсолютная невиновность обвиняемого. Так как вы невиновны, то вы, вполне возможно, могли бы все надежды возложить на свою невиновность. Но тогда вам не нужна ни моя помощь, ни чья-нибудь еще.

Это точная классификация сначала смутила К., но потом он сказал, тоже понизив голос, как и художник:

— Мне кажется, вы сами себе противоречите.

— В чем же? — снисходительно спросил художник и с улыбкой откинулся на спинку стула. От этой улыбки у К. появилось такое ощущение, что сейчас он сам начнет искать противоречия не в словах художника, а во всем судопроизводстве. Однако он не остановился и продолжал:

— Вы только что заметили, что никакие доказательства на суд не действуют, потом вы сказали, что это касается только открытого суда, а теперь вы заявляете, что за невиновного человека вообще перед судом выступать не нужно. Тут уже кроется противоречие. Кроме того, раньше вы говорили, что можно воздействовать лично на судей, а теперь вы отрицаете, что для полного оправдания, как вы это называли, какое-либо личное влияние на судью вообще возможно. Это уже второе противоречие.

— Все эти противоречия очень легко разъяснить, — сказал художник. — Речь идет о двух совершенно разных вещах: о том, что сказано в законе, и о том, что я лично узнал по опыту, и путать это вам не следует. В законе, которого я, правда, не читал, с одной стороны, сказано, что невиновного оправдывают, а с другой стороны, там ничего не сказано про то, что на судей можно влиять. Но я по опыту знаю, что все делается наоборот. Ни об одном полном оправдании я еще не слышал, однако много раз слышал

о влиянии на судей. Возможно, разумеется, что во всех известных мне случаях ни о какой невинности не могло быть и речи. Но разве это правдоподобно? Сколько случаев — и ни одного невинного? Уже ребенком я прислушивался к рассказам отца, когда он дома говорил о процессах, да и судьи, бывавшие у него в ателье, рассказывали о суде; в нашем кругу вообще ни о чем другом не говорят. А как только мне представилась возможность посещать суд, я всегда пользовался ею, слушал бесчисленные процессы на самых важных этапах и следил за ними, поскольку это было возможно; и должен сказать вам прямо — ни одного полного оправдания я ни разу не слышал.

— Значит, ни одного оправдания, — повторил К., словно обращаясь к себе и к своим надеждам. — Но это только подтверждает мнение, которое я составил себе об этом суде. Значит, и с этой стороны суд бесполезен. Один палач вполне мог бы его заменить.

— Нельзя же так обобщать, — недовольным голосом сказал художник. — Ведь я говорил только о своем личном опыте.

— Этого достаточно, — сказал К. — Разве вы слышали, что в прежнее время кого-то оправдывали?

— Говорят, что такие случаи оправдания бывали, — сказал художник. — Но установить это сейчас очень трудно. Ведь окончательные решения суда не публикуются, даже судьям доступ к ним закрыт, поэтому о старых судебных процессах сохранились только легенды. Правда, в большинстве из них говорится о полных оправданиях, в них можно верить, но доказать ничего нельзя. Однако и пренебрегать ими не следует, какая-то крупица истины в них, безусловно, есть, и, потом, они так прекрасны! Я сам написал несколько картин на основании этих легенд.

— Легендами мое мнение не изменишь, — сказал К., — да и перед судом ни на какие легенды, вероятно, сослаться нельзя.

Художник рассмеялся.

— Ну конечно, нельзя, — сказал он.

— Значит, и говорить об этом бесполезно, — сказал К., решив покамест выслушать все соображения художника, хотя они казались ему малоубедительными и противоречили другим сведениям. Да ему было и некогда проверять правдивость всех рассказов художника и тем более возражать ему; будет уже величайшим достижением, если он заставит художника помочь ему хоть в чем-то, пусть и не в самом важном. Поэтому он только сказал: — Давайте оставим разговор о полном оправдании. Вы как будто упомянули еще о двух других возможностях.

— Да, о мнимом оправдании и о волоките. Только о них и может идти речь, — сказал художник. — Но прежде чем об этом говорить, вы, может быть, снимете пиджак? Вам, наверно, жарко?

— Да, — сказал К. До этой минуты он ни о чем другом, кроме объяснений художника, не думал, но при одном упоминании о жаре у него на лбу выступили крупные капли пота. — Жара тут невыносимая.

Художник кивнул, словно сочувствуя неприятным ощущениям К.

— Нельзя ли открыть окно? — спросил К.

— Нельзя, — сказал художник, — стекло вставлено намертво; оно не открывается.

Только тут К. понял, как он все время надеялся, что один из них — художник или он сам — вдруг подойдет к окну и распахнет его настежь. Он был даже готов вдыхать туман всей грудью. У него кружилась голова от ощущения полного отсутствия воздуха. Он шлепнул рукой по перине,

лежавшей рядом, и слабым голосом сказал:

— Но ведь это неудобно и вредно.

— О нет! — сказал художник, словно защищая такое устройство окна. — Благодаря тому, что оно не открывается, это простое стекло лучше держит тепло, чем двойные рамы. А если мне захочется проветрить — правда, это не очень нужно, тут через все щели идет воздух, — то можно открыть дверь или даже обе двери.

Это объяснение немного успокоило К., и он оглянулся, ища вторую дверь.

Заметив это, художник сказал:

— Она за вами, пришлось ее заставить кроватью.

Только тут К. увидел в стене за кроватью маленькую дверцу.

— Да, помещение для ателье маловато, — заметил художник, словно пережывая упрек К. — Пришлось как-то устроиваться. Конечно, кровать стоит очень неудобно, у самой двери. Вот, например, тот судья, которого я сейчас пишу, всегда приходит через эту дверь у кровати, я ему и ключ от нее выдал, чтобы в мое отсутствие он мог подождать меня тут, в ателье. Но обычно он является ранним утром, когда я еще сплю. Ну и, конечно, как бы крепко я ни спал, он меня будит, открывая дверь около самой кровати. У вас пропало бы всякое уважение к судьям, если бы вы слышали, какими ругательствами я его осыпаю, когда он рано утром перелезает через мою кровать. Конечно, я мог бы отнять у него ключ, но тогда будет еще хуже. Тут любую дверь можно сорвать с петель без малейшего усилия.

Пока он это говорил, К. обдумывал, не снять ли ему и вправду пиджак, и в конце концов решил, что, если он этого не сделает, он никак не сможет высидеть тут ни минутой дольше. Поэтому он снял пиджак и положил его к себе на колени, чтобы сразу его надеть, как только кончатся переговоры. Но не успел он снять пиджак, как одна из девочек закричала:

— Он уже пиджак снял!

Слышно было, как они, толкаясь, приникли ко всем щелям, чтобы поглазеть на это зрелище.

— Девочки решили, что я вас сейчас буду писать, — сказал художник, — для того вы и раздеваетесь.

— Вот как, — сказал К. Его это ничуть не забавляло, потому что он чувствовал себя ничуть не лучше, хоть уже и сидел в одной рубашке. Довольно ворчливо он спросил: — Кажется, вы говорили, что есть еще две возможности? — Он опять забыл, как они называются.

— Мнимое оправдание и волокита, — сказал художник. — От вас зависит, что выбрать. И того и другого можно добиться с моей помощью, хотя и не без усилий, разница только в том, что мнимое оправдание требует кратких, но очень напряженных усилий, а волокита — гораздо менее напряженных, зато длительных. Сначала поговорим о мнимом оправдании. Если пожелаете его добиться, я напишу на листе бумаги поручительство в вашей невиновности. Текст такого поручительства передал мне мой отец, и ничего в нем менять не полагается. С этим документом я обойду всех знакомых мне судей. Начну, скажем, с того, что подам бумагу судье, которого я сейчас пишу: сегодня вечером он придет мне позировать. Я положу перед ним документ, объясню, что вы невиновны, и поручусь за вас. И это не какое-нибудь пустяковое, формальное поручительство, нет, это поручительство настоящее, ко всему обязывающее. — Худож-

ник взглянул на К., словно упрекая его за то, что приходится брать на себя такую ответственность.

— Это было бы очень любезно с вашей стороны, — сказал К. — Но, несмотря на то что судья вам поверит, он все же не оправдает меня полностью?

— Да, как я вам уже говорил, — ответил художник. — А кроме того, я вовсе не уверен, что мне поверят все судьи; некоторые, например, потребуют, чтобы я вас привел к ним лично. Что ж, тогда вам придется со мной пойти. Разумеется, в таком случае можно считать, что дело почти наполовину выиграно, тем более что я, конечно, подробнейшим образом проинструктирую вас, как себя вести с данным судьей. Хуже будет с теми судьями, которые — так тоже случается — откажут мне заранее. Тогда придется — но, разумеется, лишь после того, как я испробую всяческие подходы, — от них отказаться, но мы можем пойти на это, потому что каждый судья в отдельности ничего не решает. А когда наконец я соберу под вашим документом достаточное количество подписей от судей, я отнесу его тому судье, который ведет ваш процесс. Возможно, что среди подписей будет и его подпись, тогда события развернутся еще быстрее, чем обычно. По существу, вообще почти никаких препятствий больше не будет, и в такой момент обвиняемый может чувствовать себя вполне уверенно. Удивительно, но факт: в такой момент люди бывают увереннее, чем после оправдательного приговора. Тут уже особенно стараться не приходится. У судьи есть поручительство в вашей невиновности за подписями множества судей, и он может без всяких колебаний оправдать вас, что он, после некоторых формальностей, несомненно, и сделает в виде одолжения и мне, и другим своим знакомым. А вы покинете суд и будете свободны.

— Значит, я буду свободен? — сказал К. с некоторым недоверием.

— Да, — сказал художник, — но, конечно, это только мнимая свобода, точнее говоря, свобода временная. Дело в том, что низшие судьи, к которым и принадлежат мои знакомые, не имеют права окончательно оправдывать человека, это право имеет только верховный суд, ни для вас, ни для меня и вообще ни для кого из нас совершенно недоступный. Как этот суд выглядит — мы не знаем, да, кстати сказать, и не хотим знать. Так что великое право окончательно освободить от обвинения нашим судьям не дано, однако им дано право отвода обвинения. Это значит, что если вас оправдали в этой инстанции, то на данный момент обвинение от вас отвели, но оно все же висит над вами, и, если только придет приказ, оно сразу опять будет пущено в ход. Так как я очень тесно связан с судом, то могу вам сказать, каким образом чисто внешне проявляется разница между истинным оправданием и мнимым. При истинном оправдании вся документация процесса полностью исчезает, она совершенно изымается из дела, уничтожается не только обвинение, но и все протоколы процесса, даже оправдательный приговор, — все уничтожается. Другое дело при мнимом оправдании. Документация сама по себе не изменилась, она лишь обогатилась свидетельством о невиновности, временным оправданием и обоснованием этого оправдательного приговора. Но в общем процесс продолжается, и документы, как этого требует непрерывная канцелярская деятельность, пересылаются в высшие инстанции, потом возвращаются обратно в низшие и ходят туда и обратно, из инстанции в инстанцию, как маятник, то с большим, то с меньшим размахом, то с большими, то с меньшими остановками. Эти пути неисповедимы. Со стороны может показаться, что все давным-давно забыто, обвинительный акт утерян и оправдан

было полным и настоящим. Но ни один посвященный этому не поверит. Ни один документ не может пропасть, суд ничего не забывает. И вот однажды — когда никто этого не ждет — какой-нибудь судья внимательнее, чем обычно, просмотрит все документы, увидит, что по этому делу еще существует обвинение, и даст распоряжение о немедленном аресте. Все это я рассказываю, предполагая, что между мнимым оправданием и новым арестом пройдет довольно много времени; это возможно, и я знаю множество таких случаев, но вполне возможно, что оправданный вернется из суда к себе домой, а там его уже ждет приказ об аресте. Тут уж свободной жизни конец.

— И что же, процесс начинается снова? — спросил К. с недоверием.

— А как же, — сказал художник, — конечно, процесс начинается снова, но и тут имеется возможность, как и раньше, добиться мнимого оправдания. Опять надо собрать все силы и ни в коем случае не сдаваться. — Последние слова художник явно сказал потому, что у него создалось впечатление, будто К. очень удручен этим разговором.

— Но разве во второй раз, — сказал К., словно хотел предвосхитить все разъяснения художника, — разве во второй раз не труднее добиться оправдания, чем в первый?

— В этом отношении, — сказал художник, — ничего определенного сказать нельзя. Вероятно, вам кажется, что второй арест настроит судей против обвиняемого? Но это не так. Ведь судьи уже предвидели этот арест при вынесении мнимого оправдательного приговора. Так что это обстоятельство вряд ли может на них повлиять. Но, конечно, есть бесчисленное количество других причин, которые могут изменить и настроение судей, и юридическую точку зрения на данное дело, поэтому второго оправдания придется добиваться с учетом всех изменений, так что и тут надо приложить не меньше усилий, чем в первый раз.

— Но ведь и это оправдание не окончательное? — спросил К. и с сомнением покачал головой.

— Ну конечно, — сказал художник, — за вторым оправданием следует второй арест, за третьим оправданием — третий арест и так далее. Это включается в самое понятие мнимого оправдания. — К. промолчал. — Видно, мнимое оправдание вам не кажется особо выгодным, — сказал художник. — Может быть, волокита вам больше подойдет? Объяснить вам сущность волокиты?

К. только кивнул головой. Художник развалился на стуле, рубаха распахнулась у него на груди, он сунул руку в прореху и стал медленно поглаживать грудь и бока.

— Волокита, — сказал художник и на минуту уставился перед собой, словно ища наиболее точного определения, — волокита состоит в том, что процесс надолго задерживается в самой начальной его стадии. Чтобы добиться этого, обвиняемый и его помощник — особенно его помощник — должны поддерживать непрерывную личную связь с судом. Повторяю, для этого не нужны такие усилия, как для того, чтобы добиться мнимого оправдания, но зато тут необходима особая сосредоточенность. Нужно ни на минуту не упускать процесс из виду, надо не только регулярно, в определенное время ходить к соответствующему судье, но и навещать его при каждом удобном случае и стараться установить с ним самые добрые отношения. Если же вы лично не знаете судью, надо влиять на него через знакомых судей, но при этом ни в коем случае не оставлять попыток вступить в личные переговоры. Если тут ничего не упустить, то можно с

известной уверенностью сказать, что дальше своей первичной стадии процесс не пойдет. Правда, он не будет прекращен, но обвиняемый так же защищен от приговора, как если бы он был свободным человеком. По сравнению с мнимым оправданием волокита имеет еще то преимущество, что впереди у обвиняемого все более определенно, он не ждет в постоянном страхе ареста и ему не нужно бояться, что именно в тот момент, когда обстоятельства никак этому не благоприятствуют, ему вдруг придется снова пережить все заботы и тревожения, связанные с мнимым оправданием. Правда, и волокита несет обвиняемому некоторые невыгоды, которые нельзя недооценивать. Я не о том говорю, что обвиняемый при этом не свободен, ведь и при мнимом оправдании он тоже не может считать себя свободным в полном смысле этого слова. Тут невыгода другая. Процесс не может стоять на месте без явных или, на худой конец, мнимых причин. Поэтому нужно, чтобы процесс все время в чем-то внешне проявлялся. Значит, время от времени надо давать какие-то распоряжения, обвиняемого надо хоть изредка допрашивать, следствие должно продолжаться и так далее. Ведь процесс все время должен кружиться по тому тесному кругу, которым его искусственно ограничили. Разумеется, это принюсит обвиняемому некоторые неприятности, хотя вы никак не должны их преувеличивать. Все это чисто внешнее; например, допросы совсем коротенькие, а если идти на допрос нет ни времени, ни охоты, можно отпроситься, а с некоторыми судьями можно совместно составить расписание заранее, на много дней вперед, — словом, по существу речь идет только о том, что, будучи обвиняемым, надо время от времени являться к своему судье.

Художник еще договаривал последнюю фразу, а К. уже встал, перекинув пиджак через руку.

— Встает! — закричали за дверью.

— Вы уже хотите уйти? — спросил художник. — По-видимому, вас гонит здешний воздух. Мне это очень неприятно. Нужно было бы еще многое вам сказать. Пришлось изложить только вкратце. Но я надеюсь, что вы меня поняли.

— О да! — сказал К., хотя от напряжения, с которым он заставлял себя все выслушивать, у него болела голова.

Несмотря на это утверждение, художник еще раз сказал, как бы подводя итог, в напутствие и в утешение К.:

— Оба метода схожи в том, что препятствуют вынесению приговора обвиняемому.

— Но они препятствуют и полному освобождению, — тихо сказал К., словно стыдясь того, что он это понял.

— Вы схватили самую суть дела, — быстро сказал художник.

К. взялся было за свое пальто, хотя еще и пиджак надеть не решался. Охотнее всего он схватил бы все в охапку и выбежал на свежий воздух. Даже голоса девчонок не могли заставить его одеться, а они, не разглядев, уже кричали:

— Он одевается!

Художнику, очевидно, хотелось как-то объяснить состояние К., поэтому он сказал:

— Очевидно, вы еще не решили, какое из моих предложений принять. Одобряю. Я бы даже не советовал вам сразу принимать решение. Надо очень тонко разобраться и в преимуществах, и в недостатках. Надо все точно взвесить. Но, разумеется, терять время тоже нельзя.

— Я скоро вернусь, — сказал К. и вдруг решительно натянул пиджак, перекинул пальто через руку и поспешил к двери, за которой уже подняли крик девчонки. К. почудилось, что он видит их сквозь закрытую дверь.

— Вы должны сдержать слово, — сказал художник, не делая попытки его проводить, — не то я сам приду в банк справиться, что с вами.

— Откройте же дверь! — сказал К. и рванул ручку — как видно, девочки и крепко вцепились в нее снаружи.

— Ведь они вас там изведут! — сказал художник. — Лучше воспользуюсь этим выходом, — и он показал на дверцу за кроватью. К. сразу согласился и бросился к кровати.

Но, вместо того чтобы открыть эту дверь, художник полез под кровать и оттуда спросил:

— Погодите минутку, не взглянете ли вы на картину, которую я вам могу бы продать?

К. не хотел быть невежливым: все-таки художник принял в нем участие, обещал и дальше помогать ему, а кроме того, К. по забывчивости еще ничего не говорил о вознаграждении за эту помощь, поэтому он не мог отказать художнику и позволил ему достать картину, хотя сам весь дрожал от нетерпения — до того ему хотелось поскорее уйти из ателье. Художник вытащил из-под кровати грудку холстов без подрамников, настолько запыленных, что, когда художник попытался сдуть пыль с верхнего холста, она долго носилась в воздухе и у К. помутилось в глазах и запершило в горле.

— Степной пейзаж, — сказал художник и протянул К. холст. На нем были изображены два хилых деревца, стоящих поодаль друг от друга в темной траве. В глубине сиял многоцветный закат.

— Хорошо, — сказал К., — я ее покупаю. — К. нечаянно высказался так кратко и поэтому обрадовался, когда художник, ничуть не обидевшись, поднял с пола вторую картину.

— А эта картина — полная противоположность той, — сказал художник.

Может быть, он и хотел написать что-то другое, но ни малейшей разницы между картинами не было заметно: те же деревья, та же трава, в глубине — тот же закат. Но К. это было безразлично.

— Прекрасные пейзажи, — сказал он. — Я покупаю оба и повешу их у себя в кабинете.

— Видно, вам нравится тема, — сказал художник, доставая третий холст. — Как удачно, что у меня есть еще одна подобная картина.

Но и это был не просто похожий, а совершенно тот же самый степной пейзаж. Видно, художник ловко воспользовался случаем, чтобы сбыть свои старые картины.

— Я и эту возьму, — сказал К. — Сколько стоят все три картины?

— Договоримся в другой раз, — сказал художник. — Вы сейчас торгуйтесь, а связь мы с вами будем поддерживать. Знаете, меня очень радует, что вам нравятся эти картины, я вам отдам все холсты, которые лежат под кроватью. Тут одни степные пейзажи, я писал много степных пейзажей. Некоторые люди не понимают таких картин, оттого что они слишком мрачные, зато другие, в том числе и вы, любят именно мрачное.

Но К. вовсе не был расположен разбираться в творческих переживаниях этого нищего художника.

— Упакуйте все картины! — крикнул он, перебивая художника. — Завтра придет мой курьер и заберет их.

— Не надо, — сказал художник. — Надеюсь, мне сейчас же удастся найти вам носильщика, он вас проводит. — И, перегнувшись через постель, отпер наконец дверцу. — Не стесняйтесь, шагайте прямо по кровати, так все сюда входят, — сказал он.

Но К. и без его разрешения не постеснялся, он уже занес ногу на пирину, но, заглянув в открытую дверь, отшатнулся.

— Что это там? — спросил он художника.

— Чего вы удивляетесь? — спросил тот так же удивленно. — Да, это судебные канцелярии. Разве вы не знали, что тут судебные канцелярии? Почему бы им не быть именно здесь? Да и мое ателье, в сущности, тоже относится к судебным канцеляриям, но суд предоставил мне его в личное пользование.

К. не того испугался, что и здесь очутился около канцелярии; его главным образом напугало собственное невежество в судебных делах: ему казалось, что самое основное правило поведения для обвиняемого — быть всегда наготове, ни разу не дать захватить себя врасплох. не смотреть бессознательно направо, если слева от него стоит судья, и вот именно против этого правила он все время грешит. Перед ним тянулся длиннейший коридор, и оттуда шел такой воздух, по сравнению с которым воздух в ателье казался просто освежающим. По обе стороны этого прохода стояли скамьи, совсем как в той канцелярской приемной, куда обращался К. Очевидно, все канцелярии были устроены по одному образцу. В данный момент в этой канцелярии посетителей было немного. Какой-то мужчина развалился на скамье, закрыв голову руками, и, кажется, спал; другой стоял в самом конце полутемного коридора. К. перелез через кровать, художник с картинами вышел за ним следом. Вскоре они встретили служителя суда — теперь К. легко отличал этих служителей по золотой пуговице, которая красовалась на их гражданских пиджаках среди обыкновенных пуговиц, — и художник велел ему проводить К. и отнести картины. К. шел, пошатываясь, крепко прижав носовой платок ко рту. Они уже почти подошли к выходу, как вдруг им навстречу кинулась ватага девчонкок. К. и тут не мог от них избавиться. Должно быть, они увидели, как открылась вторая дверь из ателье, бросились кругом и забежали с этой стороны.

— Дальше я вас провожать не стану! — со смехом заявил художник, окруженный девчонками. — До свиданья! И не раздумывайте слишком долго!

К. даже не обернулся ему вслед. На улице он схватил первый попавшийся экипаж. Ему непременно надо было избавиться от служителя суда, чья золотая пуговица непрестанно мозолила ему глаза, хотя другие люди ее, наверно, не замечали. В порыве услужливости служитель хотел было взобраться на козлы, но К. прогнал его. К. подъехал к банку далеко за полдень. Ему очень хотелось оставить картины в экипаже, но он побоялся, как бы художник потом не поинтересовался, где они. Поэтому он велел отнести их к себе в кабинет и запер на ключ в самом нижнем ящике стола, чтобы они хотя бы в ближайшее время не попались на глаза заместителю директора.

КОММЕРСАНТ БЛОК. ОТКАЗ АДВОКАТУ

Подошел день, когда К. наконец решил отказаться адвокату в представительстве по его делу. Правда, он никак не мог преодолеть сомнения, правильно ли он поступает, но все пересилила мысль, что это необходимо. Решение пойти к адвокату, принятое в тот день, отняло у него много сил, работал он вяло, медленно, ему пришлось долго задержаться на службе, и уже пробило десять, когда он наконец подошел к двери адвоката. Прежде чем позвонить, К. подумал, не лучше ли было бы отказать адвокату по телефону или письмом, потому что личный разговор, наверно, будет очень неприятным. И, однако, К. хотел сделать это лично: на всякий другой отказ адвокат мог не ответить или отделаться пустыми словами, и К. никогда не узнал бы, если только не выпытал бы у Лени, как адвокат принял этот отказ и какие последствия этот отказ будет иметь для самого К., по мнению адвоката, а с его мнением нельзя не считаться. Если же адвокат будет сидеть перед К. и отказ явится для него неожиданностью, то, даже не добившись от него ни слова, можно будет легко угадать все, что интересуется К., по выражению лица и по поведению адвоката. Не исключено даже, что К. при этом убедится, как все-таки хорошо было бы поручить ему защиту, а тогда отказ можно и отменить.

Первые попытки дозвониться у двери адвоката были, как всегда, безрезультатными. Лени могла бы и поторопиться, подумал К. Слава богу, что хоть никто из соседей не вмешивался, как это обычно бывало: то выскакивал мужчина в халате, то еще кто-нибудь, и начиналась перебранка. Нажимая кнопку звонка во второй раз, К. оглянулся на дверь соседей, но на этот раз она тоже не открывалась. Наконец в глазке адвокатской двери показались два глаза, но это не были глаза Лени. Кто-то отпер замок, но придержал дверь изнутри и крикнул в глубь квартиры: "Это он!" — и только тогда дверь отворилась.

К. протиснулся в дверь — он услышал, как за его спиной уже торопливо поворачивали ключ в соседней квартире. И когда его пропустили в прихожую, он буквально ринулся туда, но только успел увидеть, как по коридору пробежала в одной рубашке Лени, услышав предупреждающий возглас того, кто отпер дверь. К. посмотрел ей вслед, потом обернулся к стоящему у порога. Это был маленький, тщедушный человечек с бородкой, державший в руке свечу.

— Вы тут служите? — спросил К.

— Нет, — ответил тот, — я посторонний, я пришел к адвокату по делу, на советом.

— Без пиджака? — спросил К. и движением руки показал на скудный туалет посетителя.

— Ах, простите! — сказал тот и осветил сам себя свечкой, словно впервые заметил, в каком он виде.

— Лени — ваша любовница? — коротко спросил К. Он стоял, слегка расставив ноги и заложив за спину руки, державшие шляпу. Уже то, что на нем было добротное пальто, заставляло его чувствовать свое превосходство над этим заморышем.

— О господи! — сказал тот и в испуге, словно защищаясь, закрыл лицо рукой. — Нет, нет, как вы могли подумать!

— Вы мне внушаете доверие, — с улыбкой бросил К., — но все же... Впрочем, пойдемте! — Он махнул шляпой и пропустил того вперед. — Как ваше имя? — спросил он.

— Блок, коммерсант Блок, — сказал тот, оборачиваясь, чтобы приставиться, но К. не дал ему остановиться.

— Это ваша настоящая фамилия? — спросил он.

— Конечно! — сказал Блок. — Почему вы сомневаетесь?

— Подумал, что у вас могут быть причины скрывать свое имя, — сказал К. Он чувствовал себя необыкновенно свободно — так бывает только на чужбине, когда, разговаривая с простым народом, сам умалчиваешь обо всем, что тебя касается, и равнодушно расспрашиваешь об их делах, причем как будто ставишь их на одну доску с собой, но обрываешь разговор когда заблагорассудится.

У рабочего кабинета К. остановился, открыл дверь и крикнул коммерсанту, послушно идущему впереди:

— Не торопитесь! Посветите-ка сюда!

К. подумал, что, может быть, Лени спряталась в кабинете, он заставил коммерсанта осветить все углы, но в комнате было пусто. Перед портретом судьи К. придержал коммерсанта за подтяжки.

— Вы его знаете? — спросил он и ткнул указательным пальцем вверх.

Коммерсант поднял свечу, поморгал, посмотрел наверх и сказал:

— Это судья.

— Верховный судья? — спросил К. и стал рядом с коммерсантом, чтобы проверить, какое впечатление производит на него портрет.

Коммерсант с благоговением посмотрел наверх.

— Да, это верховный судья, — сказал он.

— Не очень-то вы проникательны, — сказал К. — Из всех ничтожных судейских чиновников он — самый мелкий.

— Теперь вспомнил, — сказал коммерсант и опустил свечу. — Ведь я это уже слышал.

— Ну конечно же! — воскликнул К. — Я совсем забыл, конечно же, вы должны были это слышать.

— Почему же? Почему? — спросил коммерсант, идя к двери, куда его подталкивал К.

Уже в коридоре К. спросил:

— Но вы, наверно, знаете, где прячется Лени?

— Прячется? — переспросил коммерсант. — Да нет же, она, наверно, на кухне, варит суп для адвоката.

— Почему же вы мне сразу не сказали? — спросил К.

— Я хотел вас туда провести, а вы меня отозвали назад, — сказал коммерсант, растерявшись от противоречивых распоряжений.

— Вы, как видно, считаете себя хитрецом! — сказал К. — Ну, ведите же меня туда!

В кухне К. еще ни разу не был, она оказалась неожиданно большой и богато оснащенной. Даже плита была раза в три больше обычной. Остальную обстановку почти нельзя было рассмотреть, потому что на кухне горела только маленькая лампочка, висевшая над входом. У плиты стояла Лени в своем обычном белом фартуке и выпускала яйца в кастрюлю, стоявшую на спиртовке.

— Добрый вечер, Йозеф, — сказала она, взглянув на него исподлобья.

— Добрый вечер, — ответил К. и показал коммерсанту на стоявший поодаль стул; тот повиновался и сел. Тогда К. подошел к Лени вплотную,

наклонился через ее плечо и спросил:

— Кто это такой?

Лени обняла К. одной рукой — другой она мешала суп — и, притянув его к себе, сказала:

— Это несчастный человек, обедневший коммерсант, некто Блок. Ты посмотри на него.

Оба оглянулись. Коммерсант сидел на стуле, как ему велел К., он потушил ненужную свечу и пальцами приминал фитиль, чтобы не задымил.

— Ты была в одной рубашке — сказал К. и, взяв в руки голову Лени, поставил ее отвернуться от Блока. Лени промолчала.

— Он твой любовник? — спросил К. Она хотела помешать в кастрюльке, но К. схватил ее за обе руки и сказал: — Отвечай!

Она сказала:

— Пойдем в кабинет, я тебе все объясню.

— Нет! — сказал К. — Я хочу, чтобы ты мне здесь же все объяснила. — Она повисла у него на шее, пытаясь его поцеловать, но К. отстранился и сказал: — Не хочу, чтобы ты меня сейчас целовала.

— Йозеф! — сказала Лени и посмотрела в глаза К. умоляюще и вместе с тем открыто. — Неужели ты ревнуешь меня к господину Блоку? Руди, — обратилась она к коммерсанту, — помоги же мне, слышишь, в чем меня подозревают? И брось ты эту свечку!

Можно было подумать, что Блок не обращает на них внимания, но оказывается, он все отлично слышал.

— Не понимаю, с чего это вы вздумали ревновать! — сказал он несколько вызывающе.

— Я сам не понимаю! — сказал К. и с улыбкой взглянул на коммерсанта.

Лени громко рассмеялась и, пользуясь тем, что К. отвлекся, повисла у него на руке и зашептала:

— Оставь его, сам видишь, что это за человек. Я его немножко полюбила, потому что он очень важный клиент для адвоката, и только потому. А как ты? Хочешь сейчас же переговорить с адвокатом? Ему сегодня очень плохо, но, если угодно, я о тебе доложу. А на ночь ты останешься у меня, непременно останешься. Ты так давно у нас не был, даже адвокат про тебя спрашивал. Не запускай процесс. Мне тоже надо тебе многое сообщить, я кой о чем разузнала. Но прежде всего сними пальто.

Она помогла ему снять пальто, взяла его шляпу, побежала в прихожую повесить вещи, потом прибежала назад и посмотрела, не готов ли суп.

— Доложить о тебе или сначала накормить его супом? — спросила она у К.

— Доложи сначала обо мне, — сказал К.

Он был раздражен, потому что собирался поговорить с Лени о своих делах, особенно о нерешенном вопросе — отказать адвокату или нет, но присутствие этого коммерсанта отбило у него всякую охоту. Однако дело казалось ему настолько важным, что нельзя было из-за этого заморыша все решительно менять, поэтому он окликнул Лени, выбежавшую было в коридор.

— Все-таки накорми его сначала супом, — сказал он, — пусть подкрепится перед разговором со мной, ему силы понадобятся.

— Значит, вы тоже клиент адвоката? — тихо сказал из угла коммерсанта. Но его слова вызвали общее неудовольствие.

— Какое вам дело? — спросил К., а Лени сказала:

— Ты бы помолчал, — и обратилась к К.: — Значит, сначала я ему дам супу, — и стала наливать суп в тарелку. — Боюсь, как бы он сразу не заснул, после еды он всегда засыпает.

— Ничего, от моих слов с него сон слетит, — сказал К.

Ему все хотелось наметнуть, что он собирается обсудить с адвокатом что-то очень важное, хотелось, чтобы Лени сначала заинтересовалась, о чем пойдет разговор, а уж тогда попросить у нее совета. Но она только в точности выполнила его пожелание. Проходя мимо него с тарелкой, она подчеркнуто ласково взглянула на него и сказала:

— Как только он поест, я сразу доложу о тебе, чтобы ты поскорее вернулся ко мне сюда.

— Ступай, ступай! — сказал К. — Ступай!

— Будь же поласковее! — сказала она и у самой двери, держа тарелку в руках, еще раз повернулась к нему всем телом.

К. посмотрел ей вслед. Теперь он твердо решил отказать адвокату; может быть, даже лучше, что он не успел перед этим поговорить с Лени, у нее никакого кругозора нет; наверно, она стала бы его отговаривать и, возможно, удержала бы на этот раз, и снова он мучился бы от неизвестности и сомнений, и все-таки через некоторое время выполнил бы свое намерение, потому что слишком упорно его вынашивал. А ведь чем раньше он решится, тем меньше вреда будет причинено. Впрочем, этот коммерсант тоже что-нибудь, наверно, может сказать.

К. обернулся, и как только коммерсант это заметил, он тут же хотел вскочить с места, но К. его удержал.

— Сидите, сидите, — сказал он и пододвинул к нему свой стул. — А вы давнишний клиент адвоката? — спросил он его.

— Да, — сказал коммерсант, — очень давнишний.

— Сколько же лет он представляет ваши интересы? — спросил К.

— Не знаю, в каком смысле вы об этом спрашиваете, — сказал коммерсант. — В моих торговых операциях — я торгую зерном — он представляет мои интересы с тех самых пор, как я принял дело, значит, уже лет двадцать, а в моем личном процессе, на который вы, вероятно, намекаете, он тоже представляет мои интересы с самого начала, то есть уже больше пяти лет. Да, гораздо больше пяти лет, — добавил он и вытащил старый бумажник. — Тут у меня все записано; если хотите, я вам назову точные даты. А запомнить наизусть трудно. Пожалуй, мой процесс длится много дольше, он начался вскоре после смерти жены, а тому уже больше пяти с половиной лет.

К. подвинулся к нему поближе.

— Значит, адвокат берется и за обычные гражданские дела? — спросил он. Такая связь суда с правовыми нормами удивительно успокоила К.

— Ну конечно, — сказал коммерсант и шепотом добавил: — Говорят даже, что в гражданских делах он больше смыслит, чем в тех, других.

Но, как видно, Блок тут же раскаялся в своих словах; положив руку на плечо К., он попросил:

— Прошу вас, не выдавайте меня!

К. успокаивающе похлопал его по коленке и сказал:

— Что вы, разве я предатель?

— Он очень мстительный, — сказал коммерсант.

— Ну, такому верному клиенту он никогда ничего не сделает, — сказал К.

— Еще как сделает! — сказал коммерсант. — Когда он рассердится, он никакой разницы не видит, а кроме того, не настолько уж я ему верен.

— То есть как это? — спросил К.

— Не знаю, можно ли вам все доверить, — с сомнением в голосе сказал коммерсант.

— По-моему, можно, — сказал К.

— Ну что же, — сказал коммерсант, — я вам кое-что доверю. Но тогда и вы должны мне открыть какую-нибудь тайну, чтобы мы вместе держались против адвоката.

— Очень уж вы осторожны, — сказал К. — Хорошо, я вам сообщу тайну, которая вас успокоит окончательно. В чем же вы неверны адвокату?

— У меня, — робко начал коммерсант таким тоном, словно сознавался в какой-то низости, — у меня кроме него есть и еще адвокаты.

— Ну, это не такой уж проступок, — немного разочарованно сказал К.

— Здесь это считается проступком, — сказал коммерсант. Он еще никак не мог отдышаться после своего признания, хотя слова К. немного подбодрили его. — Это не разрешается. И уж ни в коем случае не разрешено наряду с постоянным адвокатом приглашать еще подпольных адвокатов. А я именно так и сделал, у меня кроме него еще пять подпольных адвокатов.

— Пять! — крикнул К. Его поразило именно количество. — Целых пять адвокатов кроме этого!

Коммерсант кивнул.

— И еще веду переговоры с шестым.

— Но зачем вам столько адвокатов? — спросил К.

— Мне они все иужны, — сказал коммерсант.

— А вы можете объяснить зачем? — спросил К.

— Охотно, — сказал коммерсант. — Ну, прежде всего я не хочу проиграть свой процесс, это само собой понятно. Поэтому я не должен упускать ничего, что может пойти мне на пользу, и, если даже, в некоторых случаях, надежда получить от них пользу очень невелика, все равно я и такую надежду упускать не должен. Потому-то я и растратил на процесс все, что у меня было. Например, я вынул весь капитал из моего предприятия: раньше контора моей фирмы занимала почти целый этаж, а теперь осталась только каморка во флигеле, где я работаю с одним только рассмьльным. Мои дела приняли такой оборот не только потому, что я истратил все деньги, но я и все силы истратил. Когда хочешь вести процесс, ни на что другое времени не остается.

— Значит, вы сами действуете и в суде? — спросил К. — Об этом я особенно хотел бы узнать подробнее.

— Тут я вам почти ничего сообщить не могу, — сказал коммерсант. — Сначала я было попробовал сам этим заняться, но потом бросил. Слишком утомительно, а результатов почти никаких. Действовать там самому, самому вести переговоры — нет, мне это оказалось совершенно не под силу. Даже просто сидеть и ждать — страшное напряжение. Сами знаете, какой в этих канцеляриях тяжелый воздух.

— Откуда вам известно, что я там был? — спросил К.

— Да я сидел в приемной, когда вы проходили.

— Какое совпадение! — воскликнул К. Его настолько это поразило, что он совсем забыл, каким нелепым ему показался коммерсант сна-

чала. — Значит, вы меня видели! Вы были в приемной, когда я проходил! Да, один раз я там проходил.

— Не такое уж это совпадение, — сказал коммерсант, — я туда хожу почти каждый день.

— Наверно, и мне придется бывать почаще, — сказал К. — Только вряд ли меня примут с таким почетом, как в тот раз. Все передо мной встали — наверно, решили, что я судья.

— Нет, — сказал коммерсант, — мы приветствовали служителя суда. Мы уже знали, что вы обвиняемый. Такие сведения распространяются моментально.

— Значит, вы все знали, — сказал К. — Но тогда вам, может быть, показалось, что я вел себя слишком высокомерно? Был об этом разговор?

— Нет, — сказал коммерсант, — напротив. Впрочем, все это глупости.

— Как это глупости? — переспросил К.

— Ну зачем вы меня спрашиваете? — раздраженно сказал коммерсант. — Людей этих вы, по-видимому, не знаете и можете все неправильно истолковать. Примите только во внимание, что при данных обстоятельствах в разговорах всплывают такие вещи, которых разумом никак не понять. Человек устает, голова забита другими мыслями, вот и начинаются всякие суеверия. Я говорю о других, но и сам я ничуть не лучше. Например, есть такое суеверие, будто по лицу обвиняемого, особенно по рисунку его губ, видно, чем кончится его процесс. И эти люди утверждали, что, судя по вашим губам, вам вскоре вынесут приговор. Повторяю, это смешное суеверие, и по большей части факты говорят против него, но, когда обращаешься среди тех людей, трудно противостоять предрассудкам. И подумайте, до чего сильно это суеверие! Помните, как вы заговорили с одним из них? Он вам даже ответить не мог. Конечно, там все может сбить человека с толку, но его особенно поразили ваши губы. Потом он рассказывал, что по вашим губам он прочел не только ваш, но и свой приговор.

— По моим губам? — спросил К., вынул карманное зеркальце и посмотрелся в него. — Ничего особенного в своих губах я не вижу. А вы?

— И я тоже, — сказал коммерсант, — абсолютно ничего!

— До чего же эти люди суеверны! — воскликнул К.

— А что я вам говорю? — сказал коммерсант.

— Неужели они так часто встречаются и делятся всеми своими мыслями? — спросил К. — А я до сих пор держался совсем особняком.

— Не так уж они часто встречаются, — сказал коммерсант, — да это и невозможно, слишком их много. Да и общих интересов у них мало. Иногда какая-нибудь группа начинает верить, что у них общие интересы, но вскоре оказывается, что это ошибка. В этом суде коллективно ничего не добьешься. Каждый случай изучается отдельно, этот суд работает весьма тщательно. Скопом тут ничего не добиться. Лишь единицы втайне иногда чего-то могут достигнуть; только потом об этом узнают остальные, но, как оно случилось, никому не известно. Словом, ничего общего у этих людей нет. Правда, иногда они встречаются в приемных, но там особенно не поговоришь. А все эти суеверия завелись исстари, и множатся они сами по себе.

— Видел я этих людей в приемной, — сказал К., — и мне их ожидание показалось совсем бесполезным.

— Нет, ожидание не бесполезно, — сказал коммерсант, — бесполезны только попытки самому вмешаться. Я вам уже говорил, что кроме этого

адвоката у меня их еще пять. Кажется — и мне самому вначале так казалось, — что можно было бы всецело передать дело в их руки. Но это было бы совершенно неправильно. Сейчас мне еще труднее передать им все, чем если бы у меня был один адвокат. Вам это, конечно, непонятно?

— Непонятно, — сказал К., и, словно пытаясь успокоить коммерсанта, остановить его слишком быструю речь, он накрыл его руку своей рукой. — Я только хочу вас попросить: говорите немного медленнее, ведь это все для меня страшно важно, а так я не успеваю за вами следить.

— Хорошо, что вы мне напомнили, — сказал коммерсант. — Ведь вы новичок, младенец. Вашему процессу всего-то полгода. Слышал, слышал. Такой молодой процесс! А я уже передумал обо всем тысячи раз, для меня нет на свете ничего понятнее.

— И наверно, вы рады, что ваш процесс уже так далеко зашел? — спросил К. Ему не хотелось прямо задать вопрос, как обстоят дела у коммерсанта. Но и прямого ответа он не получил.

— Да вот уже пять лет, как я тяну свой процесс, — сказал коммерсант и опустил голову. — Это немалое достижение.

И он замолчал. К. прислушался, не идет ли Лени. С одной стороны, ему не хотелось, чтобы она пришла, потому что ему еще надо было о многом расспросить коммерсанта, не хотелось ему, чтобы Лени застала их на дружеским разговором, а с другой стороны, он злился, что, несмотря на его присутствие, Лени так долго торчит у адвоката, куда дольше, чем нужно, чтобы накормить его супом.

— Я хорошо помню то время, — снова заговорил коммерсант, и К. весь обратился в слух, — когда мой процесс был примерно в таком же возрасте, как сейчас ваш. Тогда меня обслуживал только этот адвокат, но я им был не очень доволен.

Вот сейчас я все узнаю, подумал К. и оживленно закивал головой, словно вызывая этим коммерсанта на полную откровенность в самом важном вопросе.

— Мой процесс, — продолжал коммерсант, — не двигался с места. Правда, велось следствие, я бывал на всех допросах, собирал материал, представлял в суд все свои конторские книги, что, как я потом узнал, было совершенно излишне, все время бегал к адвокату, он тоже подавал многочисленные ходатайства...

— Как? Многочисленные ходатайства? — переспросил К.

— Ну конечно, — сказал коммерсант.

— Для меня это чрезвычайно важно, — сказал К., — ведь по моему делу он все еще составляет первое ходатайство. Он ничего не сделал. Теперь я вижу, как безобразно он запустил мои дела.

— То, что бумага еще не готова, может быть, вызвано всякими уважительными причинами, — сказал коммерсант. — Да и, кроме того, впоследствии выяснилось, что для меня все эти ходатайства были совершенно бесполезны. Одно я даже прочел — мне его любезно предоставил один из служащих в суде. Правда, составлено оно было по-ученому, но, в сущности, без всякого смысла. Прежде всего — уйма латыни, в которой я не разбираюсь, потом — целые страницы общих фраз по адресу суда, потом — честные слова об отдельных чиновниках — он их, правда, не называл по имени, но каждый посвященный легко догадывался, о ком шла речь, — затем самовосхваление, причем тут адвокат подлизывался к суду хуже собаки, и, наконец, исследования всяких судебных процессов прошлых лет, якобы схожих с моим делом. Слов нет, эти исследования, насколько я

мог понять, были проведены очень тщательно. Но я ни в коем случае не хочу в чем бы то ни было осуждать адвоката за его работу. К тому же та бумага, которую я прочитал, только одна из многих, во всяком случае — и это я должен оговорить сейчас же, — никакого продвижения в моем процессе я тогда не видел.

— А как вы представляете себе это продвижение? — спросил К.

— Ваш вопрос вполне разумен, — с улыбкой сказал коммерсант. — Эти дела очень редко двигаются с места. Но тогда я этого еще не знал. Ведь я коммерсант — прежде я еще больше занимался коммерцией, чем сейчас, — и мне хотелось видеть ощутимые результаты, дело должно было двигаться к концу или по крайней мере достигнуть какого-то развития. А вместо этого шли бесконечные допросы, почти всегда одного и того же содержания; ответы на них я выучил наизусть, как молитву; но несколько раз в неделю ко мне являлись посыльные из суда — и в контору и домой, всюду, где могли меня застать; конечно, это очень мне мешало (теперь по крайней мере в этом отношении стало лучше, телефонные вызовы мешают гораздо меньше), а то среди моих деловых знакомых и особенно среди моих родственников начали распространяться слухи о моем процессе, так что вреда это мне принесло достаточно, а вместе с тем не было видно ни малейшего признака того, что в ближайшее время будет назначено хотя бы первое слушание дела. Тогда я обратился к адвокату с жалобой. Он дал мне пространное объяснение, однако решительно отказался сделать какие-то шаги в том направлении, как я предполагал: ускорить слушание дела все равно никто не может, а настаивать на этом в заявлении, как того требовал я, было бы просто неслыханно и могло погубить и его и меня. Я и подумал: то, чего не может или не хочет этот адвокат, захочет и сможет другой. И я стал искать других адвокатов. Сразу забегу вперед: никто никогда не требовал назначения дела к слушанию, никто этого не мог добиться, да и вообще с одной оговоркой, о чем я скажу позже, это действительно никак невозможно, значит, в этом отношении адвокат меня не обманул; но в остальном мне не пришлось жалеть, что я обратился к другим адвокатам. Вероятно, вы уже слышали от доктора Гульда о подпольных адвокатах. Должно быть, он говорил о них с большим презрением, да они этого и заслуживают. Однако когда он о них говорит и сравнивает с собой и своими коллегами, то совершает небольшую ошибку, и я вам попутно разъясню, какую именно. Обычно, говоря об адвокатах своего круга, он в отличие от подпольных называет их крупными адвокатами. Это неверно: конечно, каждый может называть себя крупным, если ему заблагорассудится, но в данном случае судебная терминология установлена твердо. Если руководствоваться ею, то кроме подпольных адвокатов существуют еще адвокаты крупные и мелкие. Так вот этот адвокат и его коллеги принадлежат к мелким адвокатам, а крупные адвокаты — о них я только слышал, но никогда их не видел, — те стоят по рангу неизмеримо выше мелких адвокатов, куда выше, чем "мелкие" стоят над презренными подпольными.

— Что же это за крупные адвокаты? — спросил К. — Кто они такие? Как к ним попасть?

— Значит, вы о них еще никогда не слышали, — сказал коммерсант, — а ведь нет ни одного обвиняемого, который, узнав о них, не мечтал бы попасть к ним. Лучше не поддавайтесь этому соблазну. Кто эти крупные адвокаты, я понятия не имею, и попасть к ним, по-видимому, невозможно. Не знаю ни одного случая, когда с уверенностью можно было бы говорить

об их вмешательстве. Кого-то они защищают, но по своему желанию этого нельзя добиться; защищают они только тех, кого им угодно защищать. Должно быть, то дело, за которое они берутся, уже выходит за пределы низших судебных инстанций. Вообще же лучше о них и не думать, потому что иначе все переговоры с другими адвокатами, все их советы и вся их помощь покажутся жалкими, никчемными; я сам это испытал: хочется просто бросить все, лечь дома в постель и ни о чем не слышать. Но, конечно, глупее этого ничего быть не может, да и в постели тебе все равно не будет покоя.

— Значит, вы и прежде о крупных адвокатах не думали? — спросил К.

— Думал, но недолго, — сказал коммерсант и опять усмехнулся. — Совершенно забыть о них невозможно, особенно ночью приходят всякие мысли. Но когда-то мне больше всего хотелось добиться ощутимых результатов, потому я и обратился к подпольным адвокатам.

— Как вы тут хорошо сидите вдвоем! — сказала Лени, она вернулась с тарелкой и остановилась в дверях.

И действительно, они сидели, почти прижавшись друг к другу; при малейшем повороте их головы могли столкнуться, а так как коммерсант при своем малом росте еще весь сгорбился, К. был вынужден наклониться к нему совсем близко, чтобы слышать все как следует.

— погоди минутку! — остановил девушку К., и его рука, все еще лежавшая на руке коммерсанта, нетерпеливо дрогнула.

— Он просил, чтобы я ему рассказал о своем процессе, — обратился коммерсант к Лени.

— Ну рассказывай, рассказывай! — сказала та.

Она говорила с коммерсантом ласково, но очень свысока, и К. это не понравилось; он уже понял, что это был человек вполне достойный; во всяком случае, он много пережил и прекрасно обо всем рассказывал. Очевидно, Лени судила о нем неверно. К. смотрел, как Лени с раздражением отняла у коммерсанта свечу — тот все время крепко держал ее в руке, — обтерла его пальцы своим фартуком и опустила перед ним на колени, чтобы счистить воск, накапавший ему на брюки.

— Вы ведь хотели рассказать мне про подпольных адвокатов! — сказал К. и без всяких оличностей отодвинул руку Лени.

— Ты это что? — сказала Лени и, слегка хлопнув К. по руке, продолжала свою работу.

— Да, да, про подпольных адвокатов, — сказал коммерсант и провел рукой по лбу, как бы обдумывая, что говорить.

Желая ему помочь, К. подсказал:

— Вы хотели добиться немедленных результатов и потому обратились к подпольным адвокатам.

— Совершенно верно, — сказал коммерсант, но ничего не добавил.

Видно, не желает говорить при Лени, подумал К., и, хотя ему очень хотелось все услышать, он поборол нетерпение и больше настаивать не стал.

— Ты доложила обо мне? — спросил он Лени.

Конечно, — ответила та. — Он тебя дожидается. Оставь Блока, с ним ты и потом успеешь поговорить, Блок побудет тут.

К. решил не сразу.

Вы останетесь тут? — спросил коммерсанта.

Ему хотелось, чтобы тот сам подтвердил это, и не нравилось, что Лени говорит о Блоке как об отсутствующем. Да и вообще сегодня К.

испытывал какое-то затаенное раздражение против Лени.

Но ответила опять она:

— Он здесь часто ночует.

— Ночует здесь? — воскликнул К.

А он-то надеялся, что Блок просто дождется, пока он как можно скорее закончит переговоры с адвокатом, а затем они вместе выйдут и основательно, без всяких помех все обсудят.

— Ну да, — сказала Лени. — Не каждого пускают к адвокату в любой час, как тебя, Йозеф. Ты как будто и не удивляешься, что адвокат, несмотря на болезнь, принимает тебя в одиннадцать часов ночи. Все, что ради тебя делают друзья, ты принимаешь как должное. Конечно, твои друзья, во всяком случае я сама, все делают с удовольствием. Никакой благодарности я и не требую! Лишь бы ты меня любил.

Тебя любить? — подумал в первую минуту К., но сразу мелькнула мысль: ну конечно, я ее люблю.

Однако вслух он сказал, обходя эту тему:

— Меня адвокат принимает, потому что я его клиент. А если и тут не обойтись без чужой помощи, значит, на каждом шагу только и придется, что кланяться и благодарить.

— Какой он сегодня нехороший, — сказала Лени коммерсанту.

Вот теперь и про меня говорит, будто меня нет, подумал К. и даже рассердился на коммерсанта, когда тот так же бесцеремонно, как Лени, сказал:

— Адвокат его принимает еще и по другой причине: его процесс много интереснее моего. Кроме того, его процесс только что начался и, значит, не очень запутан, потому адвокат и занимается им так охотно. Потом все изменится.

— Да, да! — со смехом сказала Лени, глядя на коммерсанта. — Ишь разболтался! А ты ему не верь, — это она сказала, уже обращаясь к К. — Он ужасно милый, но и ужасно болтливый. Может быть, адвокат его за это и не выносит. Во всяком случае, принимает он его, только когда ему вздумается. Я и то сколько раз старалась заступиться, и все зря. Представь себе, иногда я докладываю о Блоке, а он его принимает только на третий день. Но если в ту минуту, как его позовут, Блок не явится, значит, все пропало, нужно сызнова о нем докладывать. Поэтому я разрешила Блоку ночевать тут: бывает, что адвокат ночью звонит и требует его к себе. А теперь Блок и ночью наготове. Правда, иногда он узнаёт, что Блок тут, и отменяет свой вызов.

К. вопросительно посмотрел на коммерсанта. Тот кивнул головой и сказал так же откровенно, как говорил до того с К. (видно, он растерялся только от смущения):

— Да, постепенно начинаешь очень зависеть от своего адвоката.

— Он только для виду жалуется, — сказала Лени, — а сам любит тут ночевать, он мне сколько раз говорил. — Она подошла к маленькой двери и открыла ее. — Хочешь взглянуть на его спальню? — спросила она.

К. подошел и заглянул с порога в низкую каморку без окон, целиком занятую узенькой кроватью. Забираться в кровать можно было только через спинку. У изголовья в стене виднелась небольшая ниша, там с педантичной аккуратностью были расставлены свеча, чернильница, ручка с пером и пачка бумаг — очевидно, документы процесса.

— Значит, вы спите в комнате для прислуги? — спросил К., обращаясь к коммерсанту.

— Мне ее уступила Лени, — сказал коммерсант. — Это очень удобно.

К. пристально посмотрел на него. Очевидно, первое впечатление, которое произвел Блок, было правильней: опыт у него был большой, потому что его процесс тянулся давно, но стоил ему этот опыт недешево. И вдруг весь вид этого человека стал для К. невыносим.

— Ну и укладывай его спать! — крикнул он Лени, которая явно его не поняла.

Нет, сейчас он пойдет к адвокату и откажет ему, а этот отказ освободит его не только от самого адвоката, но и от Лени, и от этого коммерсанта.

Но не успел он дойти до двери, как коммерсант негромко окликнул его:

— Господин прокурис! — К. сердито обернулся. — Вы забыли свое обещание, — сказал коммерсант и умоляюще потянулся к К. со своего места. — Вы хотели сообщить мне какой-то секрет.

— Верно! — сказал К., мельком взглянув на Лени, внимательно смотревшую на него. — Так вот, слушайте: теперь это уже почти не секрет. И сейчас иду к адвокату, чтобы ему отказать.

— Он ему отказывает! — крикнул коммерсант, вскочил со стула и залегал по кухне, воздевая руки к небу. — Он отказывает адвокату! — восклицал он снова и снова.

Лени хотела было наброситься на К., но коммерсант перебил ей дорогу, за что она стукнула его кулаком. Не разжимая кулаков, Лени просилась за К., но тот опередил ее и уже вбегал в комнату к адвокату, когда Лени его догнала. Он почти успел захлопнуть двери, но Лени ногой удержала одну створку и схватила его за локоть, пытаясь вытащить обратно. Но он так стиснул ей кисть руки, что она, охнув, выпустила его. Войти в комнату она не посмела, и К. запер дверь изнутри на ключ.

— Я вас очень давно жду, — сказал адвокат с кровати, положив на ночной столик документ, который он читал при свече, и, надев очки, пристально посмотрел на К.

Но, вместо того чтобы извиниться, К. сказал:

А я скоро уйду.

Адвокат оставил без внимания эти слова и, так как К. не извинился, добавил:

В следующий раз я вас так поздно не приму.

Это вполне совпадает с моими намерениями, — сказал К.

Адвокат посмотрел на него вопросительно.

Садитесь, пожалуйста! — сказал он.

— Если вам угодно, — сказал К., пододвинул кресло к ночному столику и сел.

Мне показалось, что вы заперли дверь на ключ, — сказал адвокат.

Да, — сказал К., — из-за Лени. — Он не намеревался никого шадить.

Но адвокат спросил:

Она опять к вам приставала?

Приставала? — переспросил К.

Ну да! — сказал адвокат и рассмеялся. От смеха у него начался приступ кашля, а когда кашель прошел, он опять засмеялся. — Да вы, наконец, уже сами заметили, какая она назойливая, — сказал он и похлопал К. по руке — тот по рассеянности положил руку на ночной столик, но тут же быстро отдернул ее. — Видно, вы не придаете этому значения, — сказал адвокат, когда К. промолчал. — Тем лучше! Иначе мне, наверно,

пришлось бы перед вами извиняться. Это ее причуда, и я давно ей все простил и даже разговаривать об этом не стал бы, если бы вы не заперли дверь. Не мне объяснять вам эту причуду, но сейчас у вас такой растерянный вид, что придется все рассказать. Причуда эта состоит в том, что большинство обвиняемых кажутся Лени красавцами. Она ко всем привязывается, всех их любит, да и ее как будто все любят; а потом, чтобы меня поразвлечь, она иногда мне о них рассказывает — конечно, с моего согласия. Меня это ничуть не удивляет, а вот вы как будто удивлены. Если есть на это глаз, то во многих обвиняемых и в самом деле можно увидеть красоту. Конечно, это удивительное, можно сказать феноменальное явление природы. Разумеется, сам факт обвинения отнюдь не вызывает какие-либо отчетливые, ясно определенные перемены во внешности. Ведь это не то, что при других судебных делах: тут большинство обвиняемых продолжают вести свой обычный образ жизни, и если у них есть хороший адвокат, взявший на себя все заботы, то и процесс их не касается. Тем не менее люди, искушенные в таких делах, могут среди любой толпы узнать каждого обвиняемого в лицо. По каким приметам? — спросите вы. Мой ответ вас, может быть, не удовлетворит. Просто эти обвиняемые — самые красивые. И не вина делает их красивыми — я обязан так считать хотя бы как адвокат, ведь не все же они виноваты — да и не ожидание справедливого наказания придает им красоту, потому что не все они будут наказаны; значит, все кроется в поднятом против них деле, это оно так на них влияет. Разумеется, среди этих красивых людей есть особенно прекрасные. Но красивы они все, даже Блок, этот жалкий червяк.

Когда адвокат договорил, К. уже решил окончательно, он даже вызываясь вскинул голову в ответ на последние слова адвоката, словно подтверждающая самому себе правильность сложившегося у него убеждения, что адвокат всегда — и на этот раз тем более — старается отвлечь его общими разговорами, не имеющими никакого касательства к основному вопросу: проводит ли он какую-либо работу для пользы дела К. Адвокат, очевидно, заметил, что К. на этот раз настроен против него еще больше, чем обычно, и замолчал, выжидая, чтобы К. сам заговорил; но, видя, что К. упорно молчит, спросил его:

— Вы сегодня пришли ко мне с определенной целью?

— Да, — ответил К. и немного затенил рукой свечу, чтобы лучше видеть адвоката. — Я хотел вам сказать, что с сегодняшнего дня я лишаю вас права защищать мои интересы в суде.

— Правильно ли я вас понял? — спросил адвокат и, присев в постели, оперся рукой на подушки.

— Полагаю, что правильно, — сказал К., он сидел прямо и был все время начеку.

— Что ж, можно обсудить и этот план, — сказал адвокат, помолчав.

— Это уже не только план, — сказал К.

— Возможно, — сказал адвокат. — И все же не будем торопиться.

Он сказал "не будем", как будто не собиравшись выпустить К. из рук и был намерен остаться если не его представителем, то по крайней мере советчиком.

— Никто и не торопится, — сказал К., медленно поднялся и встал за спинкой кресла. — Я думал долго, может быть, даже слишком долго. Но решение принято окончательно.

— Тогда позвольте мне сказать несколько слов, — сказал адвокат, сбросил с себя перину и сел на край кровати. Его голые, покрытые седь-

ми волосами ноги дрожали от холода. Он попросил К. подать ему плед с дивана.

К. подал плед и сказал:

— Вы совершенно зря подвергаете себя простуде.

— Нет, не зря, все это очень важно, — сказал адвокат, снова кутаясь в перину и укрывая ноги пледом. — Ваш дядя мне друг, да и вас я за это время полюбил. В этом я вам признаюсь откровенно. Стыдиться тут ничего.

К. было очень неприятно слушать чувствительные излияния старика, потому что они вынуждали его на решительное объяснение, а ему очень хотелось этого избежать, да и, кроме того, как он откровенно признался самому себе, все это сбilo его с толку, хотя ни в какой мере не поколебало его решения.

— Благодарю за дружеские чувства, — сказал он. — Я вполне сознаю, что вы сделали для меня все, что только возможно и что, по-вашему, могло принести пользу. Однако в последнее время я пришел к убеждению, что этого недостаточно. Разумеется, я никогда не решусь навязывать свое мнение человеку, который настолько старше и опытнее меня; если я когда-либо невольно осмеливался на это, прошу меня простить, но дело тут, как вы сами выразились, чрезвычайно важное и, по моему глубокому убеждению, требует гораздо более решительного вмешательства в ход процесса, чем это было до сих пор.

— Я вас понимаю, — сказал адвокат. — Вы очень нетерпеливы.

— Вовсе я не так уж нетерпелив, — сказал К. с некоторым раздражением и сразу же перестал тщательно выбирать слова: — Вероятно, при первом моем посещении, когда я пришел с дядей, вы заметили, что особого интереса к своему процессу я не проявлял, и, когда мне не напоминали о нем, так сказать, насильно, я вообще о нем забывал. Но мой дядя настаивал, чтобы я поручил вам представлять мои интересы, и ему в угоду я это сделал. После этого, естественно, можно было ожидать, что я буду еще меньше тяготиться процессом, ведь для того и передают адвокату защиту своих интересов, чтобы свалить с себя заботы и хотя бы отчасти забыть о процессе. Но все вышло наоборот. Никогда еще я столько не тревожился из-за процесса, как с того момента, когда вы взяли на себя защиту моих интересов. До этого я был один, ничего по своему делу не предпринимал, да и почти что его не чувствовал, а потом у меня появился защитник, все шло к тому, чтобы что-то сдвинуть с места, и в непрерывном, все возрастающем напряжении я ждал, что вы наконец вмешаетесь, но вы ничего не делали. Правда, вы мне сообщили о суде много такого, чего мне, наверно, никто другой рассказать бы не мог. Но теперь, когда процесс форменным образом подкрадывается исподтишка, мне этого недостаточно. — К. оттолкнул кресло и встал, выпрямившись во весь рост, заложив руки в карманы.

— На известной стадии процесса, — сказал адвокат спокойно и негромко, — ничего нового, как показывает практика, не происходит. Сколько клиентов на этой стадии процесса стояли передо мной в той же позе, что и вы, и говорили то же самое!

— Это значит, — сказал К., — что все они, эти люди, были так же правы, как прав я. Ваши возражения меня не убедили.

— Я вам и не собирался возражать, — сказал адвокат, — я только хотел бы добавить, что ожидал от вас более глубоких суждений, тем паче что я дал вам возможность гораздо глубже заглянуть в судопроизводство и

в мои действия, чем обычно дают своим клиентам. А теперь остается только признать, что, несмотря на все, вы не питаете ко мне нужного доверия. И мне это никак не помогает.

Как он унижался перед К., этот адвокат! И никакого профессионального самолюбия. А ведь тут-то оно и должно было бы проявиться в полную силу. Почему он так себя вел? Адвокатская практика у него, по всей видимости, была большая, человек он был богатый, значит, отказ одного клиента и потеря заработка для него никакой роли не играли. Кроме того, как человек слабого здоровья, он должен был бы и сам стараться немного разгрузиться в работе. Но вопреки всему он крепко держался за К. Почему? Из личной приязни к дяде? Или процесс К. действительно казался ему таким необычным, что он надеялся отличиться благодаря ему? Но перед кем? Перед К. или же — не исключена и эта возможность! — перед своими приятелями из суда? По его виду ничего нельзя было определить, как пристально К. его ни разглядывал. Можно было подумать, что он нарочно сделал такое непроницаемое лицо и выжидает, какое впечатление произведут его слова. Но он истолковал молчание К., видимо, в благоприятном для себя смысле и опять заговорил:

— Вы, наверно, заметили, что при весьма обширной канцелярии у меня нет никаких помощников. В прежние времена было иначе. Тогда на меня работали несколько молодых юристов, но теперь я работаю один. Отчасти это связано с изменением моей практики, с тем, что я ограничиваюсь главным образом ведением таких процессов, как ваш, отчасти же с тем, что я глубже проник в суть таких дел. Я понял, что нельзя поручать эту работу другим, если я не хочу грешить перед моими клиентами и перед взятой на себя задачей. Но решение взять всю работу на себя, конечно, имело свои последствия: пришлось отказывать почти всем и браться только за те дела, к которым у меня лежало сердце, впрочем, даже тут, поблизости, существует достаточно прилипал, готовых подбирать любые крохи, какие я им брошу. В довершение ко всему я заболел от переутомления. Но, несмотря на все, я ни разу не пожалел о принятом решении; возможно даже, что я должен был бы отстранить от себя еще больше дел, но то, что я всецело отдался взятым на себя процессам, оказалось необходимым и вполне оправдывалось достигнутыми успехами. В одном документе я как-то прочел прекрасное определение различия между ведением обычных гражданских дел и ведением дел такого рода. Там было сказано: в первом случае адвокат доводит своего клиента до приговора суда на веревочке, во втором же он сразу взваливает клиента себе на плечи и несет, не снимая, до самого приговора и даже после него. Так оно и есть. Впрочем, я был не совсем прав, говоря, что никогда не раскаивался в том, что взвалил на себя такую огромную работу. Если, как это случилось с вами, мою работу отменяют столь безоговорочно, я начинаю раскаиваться.

Однако весь этот разговор скорее раздражал, чем убеждал К. Ему казалось, что уже по одному тону адвоката можно угадать, что ждет его, если он сдастся: опять пойдет обнадёживание, начнутся намеки на успешную работу над ходатайством, на более благоприятное расположение духа судебных чиновников, но и, разумеется, на огромные трудности, препятствующие работе, — словом, все до тошноты знакомые приемы будут использованы, чтобы обмануть К. неопределенными надеждами и измучить неопределенными угрозами.

Надо этому решительно положить конец, подумал он и сказал:

— А что вы предпримете по моему делу, если останетесь моим поверенным?

Адвокат не запротестовал даже при такой обидной для него постановке вопроса и ответил:

— Буду продолжать то, что я уже предпринял для вас.

— Так я и знал, — сказал К. — Не будем же тратить лишних слов.

— Нет, я сделаю еще одну попытку, — сказал адвокат, будто все то, из-за чего волновался К., случилось с ним самим, а не с К. — Я, видите ли, подозреваю, что не только ваша неверная оценка моей правовой помощи, но и все ваше поведение вызвано тем, что с вами, хотя вы и обвиняемый, до сих пор обращались слишком хорошо или, выражаясь точнее, слишком небрежно, с напускной небрежностью. Но и на это есть свои причины; иногда оковы лучше такой свободы. Но я все же хотел бы вам показать, как обращаются с другими обвиняемыми; может быть, для вас это будет полезным уроком. Сейчас я вызову к себе Блока. Откройте дверь и сядьте сюда, к ночному столику!

— С удовольствием! — сказал К. и сделал так, как велел адвокат: поучиться он всегда был готов. Но, чтобы на всякий случай застраховаться, он спросил адвоката: — Но вы приняли к сведению, что я вас освобождаю от обязанности представлять меня?

— Да, — сказал адвокат, — но вы можете сегодня же изменить свое решение.

Он снова лег на подушки, натянул перину до подбородка и, отвернувшись к стене, позвонил.

На звонок сразу вошла Лени, она быстро огляделась, пытаясь понять, что произошло; то, что К. мирно сидит у постели адвоката, ее, очевидно, успокоило. С улыбкой она кивнула К. в ответ на его неподвижный взгляд.

— Приведи Блока, — сказал адвокат.

Но, вместо того чтобы за ним пойти, она просто подошла к двери и крикнула:

— Блок! К адвокату! — И, видя, что адвокат отвернулся к стене и ни на что не обращает внимания, она проскользнула за кресло К.

С этой минуты она не оставляла его в покое: то перегнется к нему через спинку кресла, то обеими руками погладит — правда, очень осторожно и нежно — его волосы или проведет ладонью по щекам. В конце концов К. решил прекратить это и крепко взял ее за руку. Сперва она пыталась отнять руку, но потом смирилась.

Блок явился по первому зову и остановился в дверях, словно раздумывая, войти ему или нет. Он высоко поднял брови и наклонил голову, прислушиваясь, не повторяет ли приказ пройти к адвокату. К. мог бы подбодрить его, подозвать, но он решил окончательно порвать не только с адвокатом, но и вообще со всем, что происходило в этой квартире, и потому держался безучастно. Лени тоже молчала. Заметив, что его по крайней мере никто не гонит, Блок на цыпочках вошел в комнату, судорожно сжав руки за спиной. Для возможного отступления он оставил двери открытыми. На К. он не смотрел, все внимание его было устремлено на высокую перину, под которой даже не видно было адвоката; тот совсем прижался к стене.

Из-под перины слышался голос.

— Блок тут? — спросил он.

От этого вопроса Блок, уже подошедший довольно близко, зашатался так, будто его толкнули в грудь, а потом в спину, скрючился в по-

клоне и проговорил:

— К вашим услугам.

— Чего тебе надо? — спросил адвокат. — Опять пришел некстати.

— Но меня как будто звали? — спросил Блок, не столько у адвоката, сколько у себя самого, и, вытянув руки, словно для защиты, уже приготовился бежать.

— Да, звали, — сказал адвокат. — И все равно ты пришел некстати. — И, помолчав, добавил: — Ты всегда приходишь некстати.

С той минуты, как адвокат заговорил, Блок уже не смотрел на кровать, он уставился куда-то в угол и только вслушивался в голос, как будто боялся, что не перенесет ослепительного вида того, кто с ним разговаривает. Но и слышать адвоката было трудно, потому что он говорил в стенку и притом очень быстро и тихо.

— Вам угодно, чтобы я ушел? — спросил Блок.

— Раз уж ты тут — оставайся! — сказал адвокат.

Можно было подумать, что адвокат не то чтобы исполнил желание Блока, а, наоборот, пригрозил его выпороть, что ли, потому что при этих словах Блок задрожал всем телом.

— Вчера я был у третьего судьи, — сказал адвокат, — у моего друга, и постепенно навел разговор на тебя. Хочешь знать, что он сказал?

— О да, прошу вас! — сказал Блок. Но так как адвокат ответил не сразу, Блок опять повторил свою просьбу и совсем согнулся, будто хотел стать на колени. Но тут К. закричал на него.

— Что ты делаешь? — крикнул он. Лени хотела остановить его, тогда он схватил ее и за другую руку. Отнюдь не в порыве любви, он крепко сжал ее руки, и Лени, вздыхая, попыталась их отнять. А за выходку К. расплатился Блок, потому что адвокат сразу спросил его:

— Кто твой адвокат?

— Вы! — ответил Блок.

— А кроме меня кто еще? — спросил адвокат.

— Кроме вас никого, — ответил Блок.

— Так ты никого и не слушай! — сказал адвокат.

Блок понял его и, сердито взглянув на К., решительно затряс головой. Если бы перевести этот жест на слова, они прозвучали бы грубой бранью. И с таким человеком К. собирался дружески обсуждать свое дело!

— Не буду тебе мешать, — сказал К., откидываясь в кресле. — Ползай на брюхе, становись на колени — словом, делай что хочешь. Я вмешиваться не буду.

Но у Блока, как видно, осталось еще какое-то самолюбие, во всяком случае по отношению к К., потому что он надвинулся на него, размахивая кулаками, и, еле сдерживая голос из страха перед адвокатом, закричал:

— Не смейте так со мной разговаривать! Это недопустимо! За что вы меня обижаете? Да еще при господине адвокате! Тут нас обоих, и меня и вас, терпят только из милости! Вы ничуть не лучше меня, вы такой же обвиняемый, и против вас тоже ведется процесс! А если вы считаете себя важным господином, так я такой же важный, может, еще важнее вас! И потрудитесь со мной так не разговаривать, да, вот именно! Может, вы считаете себя привилегированным оттого, что сидите тут, в кресле, а я должен, как вы изволили выразиться, ползать на брюхе? Так разрешите мне напомнить вам старую судебную поговорку: для обвиняемого движение лучше покоя, потому что если ты находишься в покое, то, может быть,

сим того не зная, уже сидишь на чаше весов вместе со всеми своими греками.

К. ничего не сказал, только тупо уставился на этого обезумевшего человека. Как он изменился в течение одного только часа! Неужели процесс так его издергал, что он потерял способность понимать, кто ему друг и кто враг? Неужели он не видит, что адвокат нарочно унижает его, и на этот раз лишь с одной целью — похвалиться своей властью перед К. и, быть может, этим подчинить и его? Но если Блок не способен это понять или же так боится адвоката, что даже понимание ему не помогает, то как он ухитрится, как осмеливается обманывать адвоката, скрывать, что кроме него он пригласил еще других адвокатов? И как он осмеливается нападать на К., зная, что тот в любую минуту может выдать его тайну?

Но Блок и не на то осмелился; он подошел к постели адвоката и стал жмуриться на К.

— Господин адвокат, — сказал он, — вы слышали, как этот человек со мной разговаривает? Ведь его процесс длится какие-то часы, а он уже хочет поучать меня — меня, чей процесс тянется уже пять лет. Да еще бранится! Ничего не знает, а бранится, а ведь я в меру своих слабых силенок точно выучил, усвоил, чего требуют и приличие, и долг, и судебные традиции.

— Не обращай ни на кого внимания, — сказал адвокат, — делай, как считаешь правильным.

— Непременно, — сказал Блок, словно сам себя подбадривая, и, оглянувшись, встал на колени перед самой кроватью. — Я уже на коленях, мой адвокат! — сказал он. Но адвокат промолчал. Осторожно, одной рукой, Блок погладил перину.

В наступившей тишине Лени вдруг сказала, высвобождая руки из рук К.:

— Пусти. Ты мне делаешь больно. Я хочу к Блоку.

Она отошла и присела на край постели. Блок страшно обрадовался ей и стал немymi жестами и мимикой просить ее заступиться за него перед адвокатом. Очевидно, ему до зарезу нужно было выудить у адвоката какие-то сведения — возможно, лишь для того, чтобы их использовали другие адвокаты. Должно быть, Лени точно знала, какой подход нужен к адвокату, она глазами показала Блоку на его руку и сделала губы трубочкой, словно для поцелуя. Блок тут же чмокнул адвоката в руку и по знаку Лени еще и еще раз приложился к руке. Но адвокат упорно молчал. Лени наклонилась к адвокату, перегибаясь через кровать, так что обрисовалось все ее здоровое, красивое тело, и, низко склонясь к его голове, стала гладить его длинные седые волосы. Тут ему уже нельзя было промолчать.

Не решаюсь ему сообщить, — сказал адвокат и слегка повернул голову — может быть, для того, чтобы лучше почувствовать прикосновение Лени. Блок исподтишка прислушивался, опустив голову, словно преступал какой-то запрет.

— Отчего же ты не решаешься? — спросила Лени.

У К. было такое чувство, словно он слышит заученный диалог, который уже часто повторялся и будет повторяться еще не раз и только для Блока никогда не теряет новизны.

— А как он себя вел сегодня? — спросил адвокат вместо ответа.

Перед тем как высказать свое мнение, Лени посмотрела на Блока и юмедила, глядя, как он умоляюще воздел к ней сложенные руки. На-

конец она строго кивнула, обернулась к адвокату и сказала:

— Он был очень послушен и прилежен.

И это пожилой коммерсант, бородатый человек, умолял девчонку дать о нем хороший отзыв! Может быть, у него и есть какие-то задние мысли, но все равно никакого оправдания в глазах своего ближнего он не заслуживал. Эта оценка даже зрителя унижала. Значит, таков был метод адвоката (и какое счастье, что К. попал в эту атмосферу ненадолго!) — довести клиента до полного забвения всего на свете и заставить его тащиться по ложному пути в надежде дойти до конца процесса. Да разве Блок клиент? Он собака адвоката! Если бы тот велел ему залезть под кровать, как в собачью будку, и лаять оттуда, он подчинился бы с наслаждением. К. слушал внимательно и сосредоточенно, словно ему поручили точно воспринять и запомнить все, что тут говорилось, и доложить об этом в какой-то высшей инстанции.

— Чем же он занимался весь день? — спросил адвокат.

— А я его заперла в комнате для прислуги, чтобы он мне не мешал работать, — сказала Лени. — Он всегда там сидит. Время от времени я заглядывала в оконце, смотрела, что он делает. А он стоит на коленях на кровати, разложил на подоконнике документы, которые ты ему выдал, и все читает, читает. Мне это очень пришлось по душе: ведь окошко выходит во двор, в простенок, оттуда и свету почти нет. А Блок сидит и читает. Сразу видно, какой он покорный.

— Рад слышать, — сказал адвокат. — А он понимает, что читает?

Во время их разговора Блок непрестанно шевелил губами, очевидно заранее составляя ответы, которые надеялся услышать от Лени.

— Ну, на этот вопрос, — сказала Лени, — я, конечно, в точности ответить не могу. Во всяком случае, я видела, что читает он очень старательно. Целый день перечитывает одну и ту же страницу и все водит и водит пальцем по строкам. Заглянешь к нему, а он вздыхает; видно, чтение ему очень трудно дается. Должно быть, документы ты ему дал очень непонятные.

— О да! — сказал адвокат. — Они и вправду нелегкие. Да я и не верю, что он в них разбирается. Я их для того только и дал, чтобы он понял, какую труднейшую борьбу мне приходится вести за его оправдание. А ради кого я веду эту трудную борьбу? Ради... нет, просто смешно сказать — ради Блока! Пусть он научится это ценить. А он занимался без перерыва?

— Да, почти без перерыва, — ответила Лени. — Только раз попросил попить. Я ему подала стакан воды через оконце. А в восемь часов я его выпустила и немножко покормила.

Блок покосился на К., словно ему давали похвальные отзывы и они не могли не произвести впечатления. По-видимому, в нем пробудилась надежда, он двигался свободнее, даже поерзал на коленях по полу.

Тем резче показалась перемена: он буквально окаменел от слов адвоката.

— Ты все его хвалишь, — сказал адвокат, — а мне от этого еще труднее говорить. Дело в том, что судья неблагоприятно отозвался и о самом Блоке, и о его процессе.

— Неблагоприятно? — переспросила Лени. — Как же это возможно?

Блок посмотрел на нее таким напряженным взглядом, словно верил, что она еще и сейчас способна обратить в его пользу слова, давно уже сказанные судьей.

— Да, неблагоприятно, — сказал адвокат. — Его даже передернуло,

когда я заговорил о Блоке. "Не говорите со мной об этом Блоке!" — сказал он. "Но ведь Блок мой клиент", — сказал я. "Вами злоупотребляют", — сказал он. "Но я не считаю это дело безнадежным". — "Да, вами злоупотребляют", — повторил он. "Не думаю, — сказал я. — Блок прилежно занимается процессом и всегда в курсе дела. Он почти что живет у меня, чтобы постоянно быть наготове. Такое старание редко встретишь. Правда, лично он весьма неприятен, привычки у него отвратительные, он нечистоплотен, но к своему процессу относится безупречно". Я нарочно сказал "безупречно" — разумеется, я преувеличивал. На это он мне говорит: "Блок просто хитер. Он накопил большой опыт и умеет затеять волокиту. Но его невежество во много раз превышает его хитрость. Что бы он сказал, если бы узнал, что его процесс еще не начинался, если бы ему сказали, что даже звонок к началу процесса еще не прозвонил?" Спокойно, Блок! — сказал адвокат, когда Блок попытался подняться на дрожащих коленях, очевидно с намерением просить объяснения.

И тут адвокат впервые решил дать объяснение непосредственно самому Блоку. Он посмотрел усталыми глазами не то на Блока, не то мимо него, но Блок под этим взглядом снова медленно опустился на колени.

— Для тебя мнение судьи никакого значения не имеет, — сказал адвокат, — и не пугайся при каждом звуке. Если ты начнешь так себя вести, я тебе вообще ничего передавать не буду. Нельзя слова сказать, чтобы ты не делал такие глаза, будто тебе вынесли смертный приговор! Постыдился бы моего клиента! К тому же ты подрываешь доверие, которое он ко мне питает. Да и что тебе, в сущности, нужно? Ты пока еще жив, пока еще находишься под моим покровительством. Что за бессмысленные страхи! Где-то ты вычитал, что бывают случаи, когда приговор можно вдруг услышать неожиданно, от кого угодно, когда угодно. Конечно, это правда, хотя и с некоторыми оговорками, но правда и то, что мне противен твой страх и в нем я вижу недостаток необходимого доверия. А что я, собственно, сказал такого? Повторил высказывание одного из судей. Но ты же знаешь, что вокруг всякого дела создается столько разных мнений, что невозможно разобраться. Например, этот судья считает началом процесса один момент, а я — совершенно другой. Просто разница во мнениях, ничего более. На определенной стадии процесса, по старинному обычаю, раздается звонок. По мнению этого судьи, процесс начинается именно тогда. Не стану тебе излагать сейчас все, что опровергает эту точку зрения, да ты все равно и не поймешь, скажу только, что возражений много.

Блок смущенно пощипывал меховой коврик у кровати; как видно, его так напугало мнение судьи, что он на время забыл свое унижение перед адвокатом и помнил только о себе, со всех сторон обдумывая слова судьи.

— Блок! — сказала Лени предостерегающе и, взяв его за ворот, подняла вверх. — Не щипли мех, слушай, что тебе говорит адвокат.

Глава девятая

В СОБОРЕ

К. получил задание: надо было показать некоторые памятники искусства приезжему итальянцу, связанному давнишней деловой дружбой с банком, где его чрезвычайно ценили. В другое время К., без сомнения,

счел бы такое задание весьма почетным, но теперь, когда сохранять свой престиж в банке ему стоило огромного напряжения, он согласился с неохотой. Каждый час, проведенный вне стен кабинета, был для него сплошным огорчением, хотя и служебное время он проводил уже далеко не так продуктивно, как раньше. Иногда часы тянулись в какой-то жалкой видимости настоящей работы, но тем сильнее он бывал озабочен, когда приходилось отсутствовать. Тогда ему казалось, что он видит, как заместитель директора, который и без того всегда его выслеживал, заходит к нему в кабинет, садится за его стол, роется в его бумагах, принимает клиентов, с которыми К. уже годами связан и даже дружен, и восстанавливает их против него, да еще, пожалуй, находит у него какие-то ошибки, — а в последнее время К. чувствовал, как ему со всех сторон угрожают эти ошибки и он ничем не может их избежать. И если ему теперь поручали какие-нибудь даже весьма почетные деловые визиты и небольшие поездки — а в последнее время, может быть чисто случайно, такие поручения подворачивались все чаще, — то ему постоянно мерещилось, будто его нарочно хотят удалить на время из кабинета, чтобы проверить его работу, или, во всяком случае, считают, что можно легко обойтись и без него.

От многих поручений можно было отказаться без труда, однако на это он не решался; если его подозрения имели хоть малейшее основание, то, отказываясь, он как бы признавался в своих страхах. Поэтому он с видимым безразличием принимал все такие поручения и однажды даже умолчал про серьезную простуду, когда нужно было отправиться на два дня в очень нелегкую служебную командировку, чтобы, упаси бог, ее не отменили, сославшись на скверную осеннюю погоду и дожди.

И вот, вернувшись из этой поездки с невыносимой головной болью, он узнал, что завтра ему придется сопровождать итальянского гостя. Событие отказаться хотя бы на этот раз было необычайно велик, тем более что придуманное для него поручение не было непосредственно связано с его служебными обязанностями. Безусловно, для дела было весьма важно проявить гостеприимство по отношению к приезжему, но для К. это никакого значения не имело, он отлично знал, что удержаться на службе он может только благодаря своим деловым успехам, а если это не удастся, то все остальное бесполезно, даже если он неожиданно очарует этого итальянца; ему не хотелось ни на день отрываться от рабочей обстановки — слишком велик был страх, что его больше не допустят к работе, и, хотя он отлично сознавал, насколько этот страх преувеличен, душа у него была не на месте. Однако в данном случае было почти невозможно найти благовидный предлог для отказа. К. хоть и не очень хорошо, но вполне достаточно владел итальянским языком, а главное, с юных лет разбирался в вопросах искусства, а в банке этим его познаниям придали слишком большое значение, узнав, что К. некоторое время, правда из чисто деловых соображений, был членом местного общества охраны памятников старины. А так как итальянец слыл любителем искусства, то роль гида, само собой понятно, выпала на долю К.

Утро было дождливое, очень ветреное, когда К., заранее раздражаясь при мысли о предстоящем дне, уже в семь утра явился в банк, чтобы выполнить хотя бы часть работы, пока не помешает приход гостя. Он очень устал, просидев до поздней ночи над итальянской грамматикой, чтобы немного подготовиться; сейчас его тянуло к окну, где он часто проводил больше времени, чем у письменного стола, но он одолел искушение и сел за работу. К сожалению, вскоре вошел курьер и доложил, что господин

директор послал его взглянуть, пришел ли господин К. и если он уже тут, то не будет ли он любезен зайти в приемную — итальянский гость уже прибыл.

— Сейчас иду, — сказал К., сунул в карман маленький словарик, взял под мышку альбом городских достопримечательностей, приготовленный в подарок гостю, и пошел через кабинет заместителя директора в директорскую приемную. Он был счастлив, что так рано явился на службу и сразу оказался в распоряжении директора, чего, вероятно, никто не ожидал. Изумется, кабинет заместителя еще пустовал, словно стояла глубокая ночь; должно быть, директор и за ним посылал курьера, чтобы просить его в приемную, а его на месте не оказалось. Когда К. вошел в приемную, ему навстречу из глубины кресел поднялись два господина. Директор приветливо улыбался, видимо очень обрадованный его приходом, и сразу представил его итальянцу; тот крепко пожал К. руку и с улыбкой сказал что-то про ранних пташек. К. не сразу понял, что хочет сказать гость, да и слово было какое-то незнакомое, и К. только потом угадал его смысл. К. ответил какой-то гладкой фразой, итальянец опять рассмеялся и несколько раз погладил свои пышные, иссиня-черные с проседью усы. Усы были явно надушены, даже хотелось подойти поближе и понюхать. Когда все снова сели и завели короткую вступительную беседу, К. вдруг с испугом заметил, что понимает итальянца только по временам. Когда тот говорил совсем спокойно, К. понимал почти все, но это было редко; но большей части речь гостя лилась сплошным потоком, и он при этом радостно потряхивал головой. А главное, в увлечении он все время переходил на какой-то диалект, в котором К. даже не улавливал итальянских слов. Зато директор не только все понимал, но и отвечал на этом же диалекте — впрочем, К. должен был это предвидеть, потому что итальянец был родом из Южной Италии, а директор прожил там несколько лет. Во всяком случае, К. понял, что у него почти не будет возможности объясниться с итальянцем: по-французски тот говорил так же невнятно, а к тому же усы закрывали ему рот, иначе по движению губ можно было бы легче понять его. К. предвидел много неприятностей и пока что оставил всякие попытки понять итальянца, да в присутствии директора, который понимал его с легкостью, это было бы ненужным напряжением, и К. ограничился тем, что с некоторой досадой наблюдал, как гость непринужденно и вместе с тем легко откинулся в глубоком кресле, как он то и дело одергивает свой коротенький, ловко скроенный пиджачок и вдруг, высоко подняв локти и свободно шевеля кистями рук, пытается изобразить что-то, чего К. никак не мог понять, хотя весь подался вперед, не спуская глаз с рук итальянца. Но в конце концов от этого безучастного, совершенно мишманального созерцания чужой беседы К. почувствовал прежнюю усталость и, к счастью вовремя, с испугом поймал себя на том, что в рассеянности хотел было встать, повернуться и выйти вон. Наконец итальянец взглянул на часы и вскочил с места. Попрощавшись с директором, он так близко подошел к К., что тому пришлось отодвинуться, чтобы встать. Директор, заметив, как растерялся К. от этого итальянского диалекта, вмешался в разговор, да так умно и деликатно, что казалось, будто он только подает незначительные советы, хотя на самом деле он вкратце переводил для К. все то, что говорил неугомонный итальянец, перебивавший его на каждом слове. Таким образом К. узнал, что итальянцу непременно надо сделать какие-то дела и, хотя у него, к сожалению, очень мало времени, он ни в коем случае не намерен в спешке осматривать все достоприме-

чательности и собирается, если только К. даст согласие — а решать должен именно он, — осмотреть только один собор, но зато как можно подробнее. Он будет чрезвычайно счастлив обозреть этот собор в сопровождении столь ученого и столь любезного спутника — так он выразился про К., который изо всех сил старался не слушать итальянца и на лету схватывать объяснения директора, — и он просит К., если только ему это удобно, встретиться в соборе примерно часа через два, то есть около десяти. Сам он надеется к этому времени уже освободиться и прибыть туда. К. ответил как полагалось, итальянец пожал руку директору, потом К., потом снова директору и пошел к двери, уже почти не оборачиваясь к провожавшим его директору и К., но все еще не переставая говорить. К. еще немного пробыл у директора — тот сегодня выглядел очень плохо. Директору казалось, что он в чем-то должен извиниться перед К., и он сказал дружески, стоя с ним рядом, что сначала собирался сам сопровождать итальянца, но потом — причины он объяснять не стал — решил лучше послать К. И пусть К. не смущается, если не сразу будет понимать итальянца, это скоро придет, а если он даже многого не поймет, то это тоже не беда; этому итальянцу вовсе не так важно, поймут его или нет. Да и кроме того, директор не ожидал, что К. так хорошо знает итальянский: без сомнения, со своей задачей он справится отлично.

На этом он отпустил К. Все оставшееся время К. потратил на выписывание из словаря трудных слов, которые могли ему понадобиться при осмотре собора. Работа была на редкость нудная, а тут еще курьеры проносили почту, чиновники заходили за справками и, видя, что К. занят, останавливались в дверях, но не уходили, пока К. не выслушивал их. Заместитель директора тоже не упустил случая помешать К., он нарочно заходил, брал из рук К. словарь и явно без всякой надобности перелистывал его, а когда двери приоткрывались, клиенты, ждавшие в приемной, появлялись из полутьмы и робко кланялись; видно, они хотели обратить на себя внимание и не были уверены, замечают ли их оттуда, в то время как сам К., оказавшийся как бы центром этого водоворота, старался составлять фразы, искал нужные слова в словаре, выписывал их, упражнялся в произношении и, наконец, пытался выучить их наизусть. Но его обычно хорошая память как будто совсем ему изменила, и в нем то и дело вспыхивала такая злоба к итальянцу, из-за которого приходилось столько мучиться, что он совал словарь под бумаги с твердым намерением больше не готовиться; но затем, сообразив, что не может же он молча ходить с итальянцем по собору и обозреть произведения искусства, как немой, он снова, с еще большей злобой, вытаскивал словарь.

В половине десятого, когда он уже собирался уходить, зазвонил телефон: Лени, пожелав ему доброго утра, спросила, как он себя чувствует. К. торопливо поблагодарил и сказал, что сейчас он разговаривать не может, потому что торопится в собор.

— Как в собор? — спросила Лени.

— Так, в собор.

— А зачем тебе в собор? — спросила Лени.

К. попытался вкратце объяснить ей, в чем дело, но не успел он начать, как Лени его перебила.

— Тебя затравили! — сказала она.

К. не выносил неожиданного и непрошеного сочувствия, поэтому он коротко простился с Лени, но, уже кладя трубку, все же сказал не то себе, не то девушке, которая была далеко и уже не могла его слышать:

— Да, меня затравили!

Было уже поздно, могло случиться, что он опоздает. В последнюю минуту, прежде чем сесть в такси, он спохватился, что не успел вручить итальянцу альбом, и захватил его с собой. Он держал альбом на коленях и все время, пока ехали, нетерпеливо барабанил по нему пальцами. Дождь почти перестал, но было сыро, холодно и сумрачно; наверно, в соборе ничего не будет видно, и, уж конечно, от стояния на холодных плитах простуда у К. еще больше обострится.

На соборной площади было пусто. К. вспомнил, как еще в детстве замечал, что в домах, замыкавших эту тесную площадь, шторы почти всегда бываю́т спущены. Правда, в такую погоду это было понятнее, чем обычно. В соборе тоже было совсем пустынно, вряд ли кому-нибудь могло взбрести в голову прийти сюда в такое время. К. обежал оба боковых придела и встретил только какую-то старуху, закутанную в теплый платок; она стояла на коленях перед мадонной, не спуская с нее глаз. Издали он еще увидел служку, но тот, прихрамывая, исчез в стеной дверце. К. пришел точно вовремя: когда он входил, пробило десять, но итальянец еще не явился. К. вернулся к главному входу, нерешительно постоял там и потом, несмотря на дождь, обошел весь собор снаружи — посмотреть, не ждет ли его итальянец у одного из боковых входов. Но там никого не было. Может быть, директор неправильно понял, какое время тот назначил? Да разве можно было понять этого типа? Во всяком случае, К. должен был подождать его хотя бы с полчаса. Так как он очень устал, он вернулся в собор и, увидев на ступеньке какой-то обрывок коврика, пододвинул его носком себе под ноги и, плотнее закутавшись в пальто, поднял воротник и сел на скамью. Чтобы рассеяться, он открыл альбом, полистал его немного, но пришлось и от этого отказаться: стало так темно, что даже в соседнем приделе К. ничего не мог разглядеть.

Вдали, на главном алтаре, большим треугольником горели свечи. К. не мог наверняка сказать, видел ли он их раньше. Может быть, их только что зажгли. Служки ходят, по должности, неслышно, их и не заметишь. Когда К. случайно оглянулся, он увидел, что неподалеку от него, у одной из колонн, горит высокая толстая свеча. И хотя это было очень красиво, но для освещения алтарной живописи, размещенной в темноте боковых приделов, такого света было недостаточно, он только усугублял темноту. Итальянец поступил хотя и невежливо, но благоразумно, не явившись в собор, все равно ничего не было видно, пришлось бы осматривать картины по кусочкам при свете карманного фонарика К. Чтобы испытать, как это будет, К. прошел с одной из боковых капелл, поднялся на ступеньки к невысокой мраморной оградке и, перегнувшись через нее, осветил фонариком картину в алтаре. Лампадка, колеблясь перед картиной, только мешала. Первое, что К. отчасти увидел, отчасти угадал, была огромная фигура рыцаря в доспехах, занимавшая самый край картины. Рыцарь опирался на меч, вонзенный в голую землю, лишь кое-где на ней пробивались редкие травинки. Казалось, что этот рыцарь внимательно за чем-то наблюдает. Странно было, что он застыл на месте без всякого движения. Очевидно, он назначен стоять на страже. К., уже давно не выдавший картин, долго разглядывал рыцаря, непрестанно моргая от напряжения и от невыносимого зеленоватого света фонарика. Когда он осветил фонариком всю остальную картину, он увидел положение во гроб тела Христова, в обычной трактовке; к тому же картина была довольно новая. Он сунул фонарик в карман и сел на прежнее место.

Ждать итальянца уже не стоило, но на улице явно лил сильный дождь, и, так как в соборе, сверх ожидания, было не слишком холодно, К. решил пока что переждать тут. Рядом с ним возвышалась главная кафедра, на круглом навесе полулежали два золотых контурных креста, которые соприкасались верхними концами. С внешней стороны и перила и переход к несущей колонне были покрыты резьбой в виде зеленого плюща, ее поддерживали ангелочки, то смеющиеся, то спокойные. К. подошел к кафедре, обошел ее со всех сторон: каменная резьба была необычайно искусной, казалось, что густые тени пойманы и закреплены и в резьбе, и на фоне.

К. засунул руку в темное углубление и осторожно ощупал камень. Раньше он не знал о существовании такой кафедры. В эту минуту за скамьями соседнего ряда он случайно увидел церковного служку в черном сюртуке с обвисшими складками, с табакеркой в левой руке. Он издал наблюдая за К. Чего ему надо? — подумал К. Разве у меня такой подозрительный вид? А может быть, он ждет чаевых? Но тут служка, видя, что К. его заметил, показал правой рукой с зажатой в пальцах щепоткой табаку куда-то в неопределенном направлении. К. не совсем понял, чего он хочет, подождал минуту, но служка все время куда-то показывал, подкрепляя свой жест энергичными кивками.

— Чего ему надо? — тихо проговорил К., не решаясь громко окликнуть его; но потом вытащил кошелек и, протиснувшись между скамьями, подошел к этому человеку.

Тот сразу отстранил его рукой, пожал плечами и заковылял прочь. Вот так же, торопливо ковыляя и подпрыгивая, К. в детстве пытался изображать скачку на конях. Видно, впал в детство, подумал К., теперь у него только и хватает ума, что служить в церкви. И как он останавливается, когда я останавливаюсь, как подкарауливает, пойду ли я дальше. К. с улыбкой прошел вслед за стариком по всему боковому приделу до главного алтаря. Старик продолжал куда-то указывать пальцем, но К. нарочно не оборачивался; по-видимому, старик только пытался отвлечь его, чтобы он не шел за ним по пятам. Наконец К. отстал от него — не хотелось особенно тревожить старика, да и было бы очень кстати на случай, если придет итальянец, показать ему и эту достопримечательность.

Войдя в главный придел, чтобы найти то место, где он оставил альбом, он вдруг увидел у колонны, недалеко от хоров, над алтарем, маленькую боковую кафедру из бледного голого камня. Кафедра была настолько мала, что издала казалась пустой нишей, куда забыли поставить статую святого. Проповеднику не хватило бы места и на шаг отступить от перил. Кроме того, каменный свод над кафедрой выступал очень далеко, и, хотя на нем не было никакой лепки, он шел настолько полого, что человеку среднего роста никак нельзя было выпрямиться, а пришлось бы стоять, перегнувшись через перила. Казалось, все было задумано нарочно для мучений проповедника, и нельзя было понять, зачем нужна эта кафедра, когда можно располагать главной, большой, столь искусно разукрашенной.

К., наверно, не заметил бы эту маленькую кафедру, если бы в ней не горела лампа, какие обычно зажигают для проповедника перед проповедью. Неужели сейчас кто-то будет читать проповедь? Тут, в пустом соборе? К. поглядел на лесенку, которая вела на кафедру, лепясь к самой колонне; она была настолько узкой, что, казалось, служила не людям, а просто украшению колонны. Но тут К. растерянно улыбнулся, увидев,

что у основания лесенки действительно стоял священник; положив руку на перильца, словно собираясь подняться на кафедру, он смотрел на К. Потом слегка кивнул, и К., осенив себя крестом, поклонился в ответ, хотя ему следовало бы поклониться первому. Священник круто повернулся и короткими быстрыми шагами поднялся на кафедру. Неужели сейчас начнется проповедь? По-видимому, церковный служака все-таки что-то соображал и хотел подтолкнуть К. к проповеднику, что было не лишнее в этой пустующей церкви. Правда, где-то у изображения мадонны стояла старуха, надо бы и ей подойти сюда. А если уж собираются начинать проповедь, почему перед этим не вступает орган? Но орган молчал, слабо полескивая в темноте с высоты своего величия.

К. подумал, не удалится ли ему поскорее. Если не уйти сейчас, то во время проповеди будет поздно, придется остаться, пока она не окончится, а он и так потерял сколько времени вне службы, ждать итальянца он больше не обязан. К. взглянул на часы: уже одиннадцать! Неужели сейчас начнется проповедь? Неужели К. один может заменить всех прихожан? А если бы он был иностранцем, который только хотел осмотреть собор? И сущности, для того он сюда и пришел. Бессмысленно было даже предполагать, что может начаться проповедь — сейчас, в одиннадцать утра, будний день, при ужаасающей погоде. Должно быть, священнослужитель — он, несомненно, был священником, этот молодой человек с гладким смуглым лицом, — подымался на кафедру только затем, чтобы потушить лампу, зажженную по ошибке.

Но все вышло не так. Священник проверил лампу, подвернул фитиль еще немного, потом медленно наклонился к балюстраде и обеими руками обхватил выступающий край. Он простоял так некоторое время, не поворачивая головы и только окидывая взглядом церковь. К. отступил далеко назад и теперь стоял, облокотившись на переднюю скамью. Мельком он увидел, как где-то — он точно не заметил где — старый церковный служака, горбившись, мирно прикорнул, словно выполнив важную задачу. И какая тишина наступила в соборе! Но К. вынужден был ее нарушить, он все же собирался оставаться здесь; если же священник по долгу службы обязан читать проповедь в определенные часы, не считаясь с обстоятельствами, то он прочтет ее и без участия К., тем более что присутствие К. ни в чем успеху этой проповеди, разумеется, способствовать не будет.

И К. медленно двинулся с места, ощупью, на цыпочках прошел вдоль скамьи, выбрался в широкий средний проход и пошел по нему без шума; только каменные плиты звенели даже от легкой поступи, и под выходящими сводами слабо, но мерно и многократно возникало гулкое эхо шагов. К. чувствовал себя каким-то потерянным, двигаясь меж пустых скамей, да еще под взглядом священнослужителя, и ему казалось, что величие собора почти невыносимо вынести обыкновенному человеку. Подойдя к своему прежнему месту, он буквально на ходу схватил оставленный там шльбом. Он уже почти прошел скамьи и выбрался было на свободное пространство между ними и выходом, как вдруг впервые услышал голос священника. Голос был мощный, хорошо поставленный. И как он прогремел под готовыми его принять сводами собора! Но не паству звал священник, призыв прозвучал отчетливо, уйти от него было некуда:

— Йозеф К.!

К. остановился, вперив глаза в землю. Пока еще он был на свободе, он мог идти дальше и выскользнуть через одну из трех темных деревянных дверей — они были совсем близко. Можно сделать вид, что он ничего

не разобрал, а если и разобрал, то не желает обращать внимания. Но стоило ему обернуться, и он попался: значит, он отлично понял, что оклик относится к нему, и сам идет на зов. Если бы священник позвал еще раз, К. непременно ушел бы, но, сколько он ни ждал, все было тихо, и тут он немного повернул голову: ему хотелось взглянуть, что делает священник. А тот, как прежде спокойно, стоял на кафедре, но было видно, что он заметил движение К.

Это было бы просто детской игрой в прятки, если бы К. тут не обернулся окончательно, но он обернулся, и священник тотчас поманил его пальцем к себе. Все пошло в открытую, и К., отчасти из любопытства, отчасти из желания не затягивать дело, быстрыми, размашистыми шагами подбежал к кафедре. У первого ряда скамей он остановился, но священнику это расстояние показалось слишком большим, он протянул руку и резко ткнул указательным пальцем вниз, прямо перед собой, у подножия кафедры. К. подошел так близко, что ему пришлось откинуть голову, чтобы видеть священника.

— Ты Йозеф К.! — сказал священник и как-то неопределенно повел рукой, лежавшей на балюстраде.

— Да, — сказал К. и подумал, как легко и открыто он раньше называл свое имя, а вот с некоторого времени оно стало ему в тягость, теперь его имя уже заранее знали многие люди, с которыми он встречался впервые, а как приятно было раньше: сначала представиться и только после этого завязать знакомство.

— Ты — обвиняемый, — сказал священник совсем тихо.

— Да, — сказал К., — мне об этом дали знать.

— Значит, ты тот, кого я ищу, — сказал священник. — Я капеллан тюрьмы.

— Вот оно что, — сказал К.

— Я велел позвать тебя сюда, — сказал священник, — чтобы поговорить с тобой.

— Я этого не знал, — сказал К., — и пришел я сюда показать собор одному итальянцу.

— Оставь эти посторонние мысли, — сказал священник. — Что у тебя в руках, молитвенник?

— Нет, — сказал К., — это альбом местных достопримечательностей.

— Положи его! — сказал священник, и К. швырнул альбом так резко, что он раскрылся и пролетел по полу с измятыми страницами. — Знаешь ли ты, что с твоим процессом дело обстоит плохо? — спросил священник.

— Да, мне тоже так кажется, — сказал К. — Я прилагал все усилия, но пока что без всякого успеха. Правда, ходатайство еще не готово.

— А как ты себе представляешь конец? — спросил священник.

— Сначала я думал, что все кончится хорошо, — сказал К., — а теперь и сам иногда сомневаюсь. Не знаю, чем это кончится. А ты знаешь?

— Нет, — сказал священник, — но боюсь, что кончится плохо. Считают, что ты виновен. Может быть, твой процесс и не выйдет за пределы низших судебных инстанций. Во всяком случае, покамест считается, что твоя вина доказана.

— Но ведь я невиновен. Это ошибка. И как человек может считаться виновным вообще? А мы тут все люди, что я, что другой.

— Правильно, — сказал священник, — но виновные всегда так говорят.

— А ты тоже предубежден против меня? — спросил К.

— Никакого предубеждения у меня нет, — сказал священник.

— Благодарю тебя за это, — сказал К. — А вот остальные, те, кто участвует в процессе, все предубеждены. Они влияют и на неучаствующих. Мое положение все ухудшается.

— У тебя неверное представление о сущности дела, — сказал священник. — Приговор не выносится сразу, но разбирательство постепенно переходит в приговор.

— Вот оно как, — сказал К. и низко опустил голову.

— Что же ты намерен предпринять дальше по своему делу? — спросил священник.

— Буду и дальше искать помощи, — сказал К. и поднял голову, чтобы посмотреть, как к этому отнесется священник. — Наверно, есть неисчислимые возможности, которыми я еще не воспользовался.

— Ты слишком много ищешь помощи у других, — неодобрительно сказал священник, — особенно у женщин. Неужели ты не замечаешь, что помощь эта не настоящая?

— В некоторых случаях, и даже довольно часто, я мог бы с тобой огласиться, — сказал К., — но далеко не всегда. У женщин огромная власть. Если бы я мог повлиять на некоторых знакомых мне женщин и они, сообщая, поработали бы в мою пользу, я много бы добился. Особенно в этом суде — ведь там сплошь одни юбчоники. Покажи следователю женщину хоть издали, и он готов перескочить через стол и через обвиняемого, лишь бы успеть ее догнать.

Священник низко наклонил голову к балюстраде. Казалось, только сейчас свод кафедры стал давить его. И что за скверная погода на улице! Там уже был не пасмурный день, там наступила глубокая ночь. Витражи огромных окон ни одним проблеском не освещали темную стену. А тут еще служка стал тушить свечи на главном алтаре одну за другой.

— Ты рассердился на меня? — спросил К. священника. — Видно, ты сам не знаешь, какому правосудию служишь.

Ответа не было.

— Конечно, я знаю только то, что меня касается, — продолжал К. И вдруг священник закричал сверху:

— Неужели ты за два шага уже ничего не видишь?

Окрик прозвучал гневно, но это был голос человека, который видит, как другой падает, и нечаянно, против воли, подымает крик, оттого что сам испугался.

Оба надолго замолчали. Конечно, священник не мог различить К. в темноте, сгустившейся внизу, зато К. ясно видел священника при свете маленькой лампы. Но почему же он не спускается вниз? Проповеди он все равно не читает, только сообщил К. сведения, которые, если подумать, могут скорее повредить, чем помочь ему. Правда, К. ничуть не сомневался в добрых намерениях священника. Вполне возможно, что он сойдет вниз и они обо всем договорятся; вполне возможно, что священник даст ему решающий и вполне приемлемый совет, например расскажет ему не о том, как можно повлиять на процесс, а о том, как из него вырваться, как обойти его, как начать жить вне процесса. Должна же существовать и такая возможность — в последнее время К. все чаще и чаще думал о ней. А если священник знает про эту возможность, то, быть может, если его только попросить, он откроет ее, хотя и сам принадлежит к судейскому кругу, — накричал же он на К. вопреки своей кажущейся кротости, когда К. задел правосудие.

— Не сойдешь ли ты вниз? — спросил К. — Проповеди все равно уже

читать не придется. Спустись ко мне.

— Да, теперь, пожалуй, можно и сойти, — сказал священник. Должно быть, он раскаивался, что накричал. Снимая лампу с крюка, он добавил: — Сначала я должен был поговорить с тобой отсюда, на расстоянии. А то на меня очень легко повлиять, и я забываю свои обязанности.

К. ждал его внизу, у лесенки. Священник еще со ступенек, на ходу протянул ему руку.

— Ты можешь уделить мне немного времени? — спросил К.

— Столько, сколько тебе потребуется! — сказал священник и передал К. лампу, чтобы он ее нес. И вблизи в нем сохранилась какая-то торжественность оскани.

— Ты очень добр ко мне, — сказал К., и они вместе стали ходить взад и вперед по темному приделу. — Из всех судейских ты — исключение. Я доверяю тебе больше, чем всем, кого знал до сих пор. С тобой я могу говорить откровенно.

— Не заблуждайся! — сказал священник.

— В чем же это мне не заблуждаться? — спросил К.

— Ты заблуждаешься в оценке суда, — сказал священник. — Вот что сказано об этом заблуждении во Введении к Закону. У врат Закона стоит привратник. И приходит к привратнику поселянин и просит пропустить его к Закону. Но привратник говорит, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал проситель и вновь спрашивает, может ли он войти туда впоследствии? "Возможно, — отвечает привратник, — но сейчас войти нельзя". Однако врата Закона, как всегда, открыты, а привратник стоит в стороне, и проситель, наклонившись, старается заглянуть в недра Закона. Увидев это, привратник смеется и говорит: "Если тебе так не терпится — попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай: могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх". Не ожидал таких препон поселянин, ведь доступ к Закону должен быть открыт для всех в любой час, подумал он; но тут он пристальнее взглянул на привратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую черную монгольскую бороду и решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти. Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне, у входа. И сидит он там день за днем и год за годом. Непрестанно добивается он, чтобы его впустили, и докучает привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда он родом и многое другое, но вопросы задает безучастно, как важный господин, и под конец непрестанно повторяет, что пропустить его он еще не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин, и все, даже самое ценное, он отдает, чтобы подкупить привратника. А тот все принимает, но при этом говорит: "Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил". Идут года, внимание просителя неотступно приковано к привратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи, и ему кажется, что только этот, первый, преграждает ему доступ к Закону. В первые годы он громко клянет эту свою неудачу, а потом приходит старость и он только ворчит про себя. Наконец он впадает в детство, и, оттого что он столько лет изучал привратника и знает каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли все вокруг, или его обманывает зрение. Но теперь, во тьме, он видит, что неугасимый свет струится из врат Закона. И вот жизнь его

подходит к концу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу — этот вопрос он еще ни разу не задавал привратнику. Он подзывает его кивком — окованное тело уже не повинует ему, подняться он не может. И привратнику приходится низко наклониться — теперь по сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста. "Что тебе еще нужно узнать? — спрашивает привратник. — Ненасытный ты человек!" — "Ведь все люди стремятся к Закону, — говорит тот, — как же случилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?" И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услышать ответ: "Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного! Теперь пойду и запру их".

— Значит, привратник обманул этого человека, — торопливо сказал К. Его всерьез захватил этот рассказ.

— Не торопись, — сказал священник, — и не принимай чужих слов на веру. Я рассказал тебе эту притчу так, как она стоит во Введении. Там ничего не говорится про обман.

— Но ведь это же ясно, — сказал К., — и первое твое толкование было совершенно правильно. Привратник только тогда открыл спасительную правду, когда этому человеку уже ничем нельзя было помочь.

— А раньше его не спрашивали, — сказал священник. — И не забывай, что он был только привратником и свой долг выполнял честно.

— Почему ты считаешь, что он выполнял свой долг? — спросил К. — Все он его не выполнял. Может быть, его долг был не пускать туда посторонних, но уж этого человека, для которого вход был предназначен, он обязан был впустить.

— Ты недостаточно уважаешь Свод законов, — сказал священник, — потому и переосмыслил эту притчу. А в ней есть два важных объяснения привратника насчет допуска к Закону: одно в начале, другое в конце. Первое гласит, что в настоящую минуту привратник его допустить не может, а второе — что этот вход предназначен только для него. Если бы между этими двумя объяснениями было какое-то противоречие, ты был прав и привратник действительно обманул бы этого человека. Но тут никакого противоречия нет. Напротив, первое объяснение уже ведет ко второму. Можно даже сказать, что привратник преступает свой долг тем, что подает этому человеку надежду на то, что впоследствии его туда впустят. А в то же время его единственной обязанностью было не впускать этого человека, и многие толкователи Закона всерьез удивляются, что привратник вообще допускает этот намек, так как он, по-видимому, любит точность и строго следует своим обязанностям. Многие годы он не покидал свой пост и только под конец запирает врата; он полон сознания важности своей службы и прямо говорит: "Могущество мое велико"; он уважает вышестоящих и прямо говорит: "Я только самый ничтожный из стражей"; он не болтлив, потому что за все эти годы задает только, как там сказано, "безучастные" вопросы; он неподкупен, потому что, принимая подарки, говорит: "Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил", а там, где речь идет о его долге, ничто не может ни смягчить, ни ожесточить его: там прямо сказано, что этот человек "докучает привратнику своими просьбами", и, наконец, самое описание его внешности говорит о педантичном складе его характера: и острый горбатый нос, и длинная жидкая черная монгольская борода. Разве найдешь более преданного привратника? Но в привратнике проявляются и другие черты, весьма выгодные

для того, кто требует пропуск, и если их понять, то поймешь также, почему он, намекая на какие-то будущие возможности, в какой-то мере превышает свои полномочия. Скрывать не приходится — он несколько скудоумен и в связи с этим слишком высокого мнения о себе. И если даже его слова о своем могуществе и о могуществе других привратников, чей вид ему и самому невыносим, — если, как я уже сказал, эти его слова сами по себе справедливы, то по манере выражаться ясно видно, как его восприятие ограничено и скудоумием, и сомнением. Толкователи говорят об этом так: "Правильное восприятие явления и неправильное толкование того же явления никогда полностью взаимно не исключаются". Однако надо признать, что скудоумие и сомнение, в какой бы малой степени они ни наличествовали, являются недостатками характера привратника, они ослабляют охрану врат. Надо еще добавить, что по природе этот привратник как будто дружелюбный человек, он вовсе не всегда держится как лицо официальное. В первую же минуту он шутки ради приглашает просителя войти, хотя и намерен строго соблюдать запрет, да и потом не прогоняет его, а, как сказано, дает ему скамеечку и разрешает присесть в стороне у входа. И терпение, с которым он столько лет подряд выслушивает просьбы этого человека, и краткие расспросы, и прием подарков, и, наконец, то благородство, с каким он терпит, когда поселянин громко проклинает свою неудачу, зачем именно этого привратника поставили тут, — все это дает повод заключить, что в душе привратника шевелится сострадание. На его месте не всякий поступил бы так. И под конец он склонился к этому человеку по одному его кивку, чтобы выслушать последний вопрос. И только в возгласе: "Ненасытный ты человек!" — прорывается легкое нетерпение; ведь привратник знает, что всему конец. А некоторые идут в толковании этого возгласа даже дальше, они считают, что слова "Ненасытный ты человек!" выражают своего рода дружеское восхищение, не лишенное, конечно, некоторой снисходительности. Во всяком случае, образ привратника встает совсем в другом свете, чем тебе представляется.

— Ты знаком с этой историей и лучше и дольше, чем я, — сказал К. Они помолчали. Потом К. сказал: — Значит, ты считаешь, что этого человека не обманули?

— Не толкуй мои слова превратно, — сказал священник, — я только изложил тебе существующие толкования. Но ты не должен слишком обращать на них внимание. Сам Свод законов неизменен, и все толкования только выражают мнение тех, кого это приводит в отчаяние. Есть даже такое толкование, по которому обманутым является сам привратник.

— Ну, это очень отдаленное толкование, — сказал К. — На чем же оно основано?

— Основано оно, — сказал священник, — на скудоумии привратника. О нем сказано, что он ничего не знает о недрах Закона и ему известна только та тропа перед вратами, по которой он должен ходить взад и вперед. Считается, что его представление о недрах Закона — сущее ребячество, и предполагают, что он сам боится того, чем пугает просителя. Больше того, его страх куда сильнее страха просителя — тот только и жаждет войти в недра Закона, даже услышав о страшных их стражах, а привратник и войти не хочет, по крайней мере об этом ничего не сказано. Правда, другие говорят, что он, видимо, уже побывал там, внутри, потому что принимали же его когда-то на службу в суд, а это могло произойти только в самих недрах. Но на это возражают, что его назначил приврат-

ником чей-то голос оттуда и что туда, в самые недра, он, конечно, не проникал, потому что уже один вид третьего стража внушал ему невыносимый страх. К тому же нигде не сказано, что за все эти годы он сообщил хоть что-нибудь о недрах Закона. Может быть, ему это запрещено, но и о запрещении он ни слова не говорит. Из всего этого можно заключить, что он сам не знает ни того, что творится в недрах Закона, ни того, какой в этом смысл, и все время находится в заблуждении. Но выходит так, что он, по-видимому, заблуждается и насчет этого просителя, ибо привратник, сам того не ведая, подчинен просителю. То, что он обращается с просителем как с подчиненным, ясно видно во многом, и ты, наверно, помнишь, в чем именно. Но то, что в сущности подчиненным является привратник, тоже видно не менее ясно, как говорит другое толкование. Всегда свободный человек выше связанного. А проситель в сущности человек свободный, он может уйти, куда захочет, лишь вход в недра Закона ему воспрещается, причем запрет наложен единственно только этим привратником. И если он садится в сторонке на скамеечку у врат и просиживает там всю жизнь, то делает он это добровольно, и ни о каком принуждении притчи не упоминает. Привратник же связан своей должностью с постом, он не может уйти с поста, но и в недра Закона он, при всем желании, войти не может. Кроме того, хоть он и служит Закону, но служба его ограничена только этим входом, то есть служит он только этому человеку, единственному, для кого предназначен вход. Выходит, что и по этой причине привратник подвластен просителю. Приходится предположить, что много лет — то есть, в сущности, все свои зрелые годы — он служил, так сказать, впустую, потому что в притче сказано, что к нему пришел мужчина, а под этим разумеется зрелый муж, и, значит, привратник был вынужден долго ждать, прежде чем ему будет дано выполнить свой долг, притом ждать именно столько, сколько угодно тому человеку, ибо тот пришел по своей воле, когда захотел. Да и кончается его служба только с окончанием жизни этого человека, значит, до самого конца привратник ему подвластен. И много раз в притче подтверждается, что, по всей видимости, привратнику об этом ничего не известно. Но толкователи не узрели тут ничего удивительного, потому что, согласно этому толкованию, привратник находится в еще более тяжком заблуждении, ибо оно касается его должности. Мы слышим, как в конце притчи он говорит: "Теперь я пойду и запру их", но в начале сказано, что врата в Закон открыты, "как всегда", а если они всегда открыты — именно всегда, независимо от продолжительности жизни того человека, для которого они предназначены, — значит, и привратник закрыть их не может. Тут толкования расходятся: хочет ли привратник, сообщая о том, что он закроет врата, только дать ответ или подчеркнуть свои обязанности, или же он стремится в последнюю минуту помергнуть просителя в горечь и раскаяние. Но многие сходятся на том, что закрыть врата он не сможет. Считается даже, что под конец он и в познании истины стоит ниже того человека, потому что тот видит неугасимый свет, что струится из врат Закона, а привратник, охраняя вход, очевидно, стоит спиной к вратам и ничем не выказывает, что заметил какие-либо изменения.

— Все это отлично обосновано, — сказал К., негромко повторявший про себя отдельные места из разъяснений священника. — Обосновано все хорошо, и я тоже верю, что привратник заблуждается. Однако мое утверждение все же остается в силе, потому что оба толкования частично совпадают. Совершенно неважно, понимает ли привратник все до

конца или введен в заблуждение. Я сказал, что введен в заблуждение проситель. Можно было бы усомниться в этом, если бы привратник все понимал до конца, но если и привратник обманут, то его заблуждения непременно передаются просителю. Тогда, конечно, сам привратник не является обманщиком, но, значит, он столь скудоумен, что его немедленно надо было бы выгнать со службы. Не упускай из виду, что заблуждение привратника самому ему никак не вредит, а просителю наносит непоправимый вред.

— Тут ты столкнешься с совершенно противоположным толкованием, — сказал священник. — Многие, например, считают, что эта притча никому не дает права судить о привратнике. Каким бы он нам ни казался, он слуга Закона, а значит, причастен к Закону, значит, суду человеческого не подлежит. Но тогда нельзя и считать, что привратник подвластен просителю. Быть связанным с Законом хотя бы тем, что стоишь на страже у врат, неизмеримо важнее, чем жить на свете свободным. Тот человек только подходит к Закону, тогда как привратник уже стоит там. Закон определил его на службу, и усомниться в достоинствах привратника — значит усомниться в Законе.

— Нет, с этим мнением я никак не согласен, — сказал К. и покачал головой. — Если так думать, значит, надо принимать за правду все, что говорит привратник. А ты сам только что вполне обоснованно доказал, что это невозможно.

— Нет, — сказал священник, — вовсе не надо все принимать за правду, надо только осознать необходимость всего.

— Печальный вывод! — сказал К. — Ложь возводится в систему.

К. сказал это, как бы подводя итог, но окончательного вывода не сделал. Слишком он устал, чтобы проследить все толкования этой притчи, да и ход мыслей, вызванный ею, был ему непривычен. Эти отвлеченные измышления скорее годилось обсуждать компании судейских чиновников, нежели ему. Простая притча стала расплывчатой, ему хотелось выбросить ее из головы, и священник проявил тут удивительный такт, молча приняв последнее замечание К., хотя оно явно противоречило его собственному мнению.

Молча шли они рядом. К. старался держаться как можно ближе к священнику, не понимая, где он находится. Лампа у него в руках давно погасла. Вдруг прямо против него серебряное изображение какого-то святого блеснуло отсветом серебра и сразу слилось с темнотой. Не желая быть полностью зависимым от священника, К. спросил его:

— Мы, кажется, подходим к главному выходу?

— Нет, — сказал священник, — мы очень далеко от него. А разве ты уже хочешь уйти?

И хотя К. за минуту до того не думал об уходе, он сразу ответил:

— Конечно, мне необходимо уйти. Я служу прокуристом в банке, меня ждут, я пришел сюда, только чтобы показать собор одному деловому знакомому, иностранцу.

— Ну что ж, — сказал священник и подал К. руку, — тогда иди.

— Да мне в темноте одному не выбраться, — сказал К.

— Иди к левой стороне, — сказал священник, — потом, не сворачивая, вдоль этой стены, и ты найдешь выход.

Священник уже отошел на несколько шагов, и тут К. крикнул ему очень громко:

— Подожди, прошу тебя!

— Я жду! — сказал священник.
— Тебе больше ничего от меня не нужно? — спросил К.
— Нет, — сказал священник.
— Но ты был так добр ко мне сначала, — сказал К., — все объяснил мне, а теперь отпускаешь меня, будто тебе до меня дела нет.
— Но ведь тебе нужно уйти? — сказал священник.
— Да, конечно, — сказал К. — Ты должен понять меня.
— Сначала ты должен понять, кто я такой, — сказал священник.
— Ты тюремный капеллан, — сказал К. и снова подошел к священнику; ему вовсе не надо было так срочно возвращаться в банк, как он это представил, он вполне мог еще побыть тут.
— Значит, я тоже служу суду, — сказал священник. — Почему же мне должно быть что-то нужно от тебя? Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь.

Глава десятая

КОНЕЦ

Накануне того дня, когда К. исполнился тридцать один год, — было около девяти вечера, и уличный шум уже стихал, — на квартиру к нему явились два господина в скрутках, бледные, одутловатые, в цилиндрах, словно присосавших к голове. После обычного обмена учтивостями у входной двери — кому войти первому — они еще более учтиво стали пропускать друг друга у двери комнаты К. Хотя его никто не предупредил о визите, он уже сидел у двери на стуле с таким видом, с каким обычно ждут гостей, весь в черном, и медленно натягивал новые черные перчатки, тесно облегавшие пальцы. Он сразу встал и с любопытством поглядел на господ.

— Значит, меня поручили вам? — спросил он.

Оба господина кивнули, и каждый повел рукой с цилиндром в сторону другого. К. признался себе, что ждал не таких посетителей. Он подошел к окну и еще раз посмотрел на темную улицу. На той стороне почти во всех окнах уже было темно, во многих спустили занавеси. В одном из освещенных окон верхнего этажа за решеткой играли маленькие дети, они ткнулись друг к другу ручонками, еще не умея встать на ножки.

Посылают за мной старых отставных актеров, сказал себе К. и оглянулся, чтобы еще раз удостовериться в этом. Дешево же они хотят от меня отделаться. К. вдруг обернулся к ним и спросил:

— В каком театре вы играете?

— В театре? — спросил один господин у другого, словно советуясь с ним, и уголки его губ дрогнули. Другой стал гримасничать, как немой, который пытается перебороть свою немощь.

Видно, они не подготовились к вопросам, сказал К. про себя и пошел со своей шляпой.

Оба господина хотели взять К. под руки уже на лестнице, но он сказал:

— Нет, возьмете на улице, я же не больной.

Но у самых ворот они повисли на нем так, как еще ни разу в жизни никто не висел. Притиснув сзади плечо к его плечу и не сгибая локтей,

каждый обвил рукой руку К. по всей длине и сжал его кисть заученной, привычной, непреодолимой хваткой. К. шел, выпрямившись, между ними, и все трое так слились в одно целое, что, если бы ударить по одному из них, удар пришелся бы по всем трем. Такая слитность присуща, пожалуй, только неодушевленным предметам.

Под каждым фонарем К. пытался разглядеть своих спутников получше, чем можно было в полутьме его комнаты, хотя это было очень трудно при таком тесном соприкосновении. Может быть, они теноры, подумал он, разглядев их двойные подбородки. Ему были противны их лоснящиеся чистотой физиономии. Казалось, что буквально видишь руку, которая прочистила им углы глаз, вытерла верхнюю губу, выскребла складки на подбородке.

Разглядев их, К. остановился, и с ним остановились оба господина; они оказались на краю пустой, безлюдной, засаженной кустарником площади.

— Почему это послали именно вас? — крикнул К. скорее нетерпеливо, чем вопросительно. Те явно не знали, что ответить, и ждали, опустив свободную руку, как ждут санитары, когда больной останавливается передохнуть.

— Дальше я не пойду, — сказал К., нащупывая почву.

На это им отвечать не понадобилось, они просто, не ослабляя хватки, попытались сдвинуть К. с места, но он не поддался. Больше уж мне мои силы не понадобятся, нужно хоть сейчас напрячь их всю, подумал К., и ему вспомнилось, как мухи отдираются от липкой бумаги и при этом отрывают себе ножки. Да, этим господам придется туго.

И тут на маленькой лесенке, которая вела на площадь с улочки, лежавшей внизу, показалась фройляйн Бюрстнер. К. был не совсем уверен, она ли это, хотя сходство было большое. Но для К. не имело никакого значения, была ли то фройляйн Бюрстнер или нет, просто он вдруг осознал всю бессмысленность сопротивления. Ничего героического не будет в том, что он вдруг станет сопротивляться, доставит этим господам лишние хлопоты, попытается в самообороне ощутить напоследок хоть какую-то видимость жизни. Он двинулся с места, и радость, которую он этим доставил обоим господам, отчасти передалась и ему. Они дали ему возможность направлять их шаги, и он направил их в ту же сторону, куда шла перед ним фройляйн Бюрстнер, но не потому, что хотел ее догнать, не потому, что хотел видеть ее подольше, а лишь для того, чтобы не забыть то предзнаменование, которое он в ней увидел. Единственное, что мне остается сейчас сделать, сказал он себе, и равномерный шаг его самого и его спутников как бы подкреплял эту мысль, единственное, что я могу сейчас сделать, — это сохранить до конца ясность ума и суждения. Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, но далеко не всегда с похвальной целью. И это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямым? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, — начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили! Я благодарен, что на этом пути мне в спутники даны эти полунемые, бесчувственные люди и что мне предоставлено самому сказать себе все, что нужно.

Между тем фройляйн Бюрстнер уже свернула на боковую улицу, но К. мог теперь обойтись и без нее и отдался на волю своих провожатых. В полном согласии они перешли втроем мост, освещенный луной; оба гос-

нодрина беспрекословно следовали самому малейшему движению К., и, когда он повернулся к перилам, оба всем телом повернулись за ним. Вода, переливаясь и дрожа в лунном свете, струилась вокруг маленького острова, где, словно теснясь друг к другу, густо росли кусты и деревья. Дорожки, усыпанные гравием, — сейчас их не было видно — вели к удобным скамейкам, где К. летом часто отдыхал, позевывая и потягиваясь всем телом.

— А я вовсе и не хотел тут останавливаться, — сказал К. своим спутникам, пристыженный их беспрекословной готовностью.

К. показалось, что за его спиной один мягко упрекнул другого в недогадливости, и они двинулись дальше.

Улицы пошли в гору, кое-где им навстречу попадались полицейские, стоявшие на посту или расхаживавшие по мостовой; они проходили то в отдалении, то совсем близко. Один из них, с пышными усами, держа руку на эфесе сабли, словно нарочно подошел вплотную к этой несколько подозрительной группе. Оба господина остановились, полицейский открыл было рот, но тут К. рывком потянул их обоих вперед. На ходу К. то и дело осторожно озирался, чтобы увидеть, не пошел ли полицейский за ними; а когда они завернули от него за угол, К. побежал, и его спутникам пришлось, несмотря на одышку, бежать вместе с ним.

Вскоре они оказались за городом, где сразу, почти без перехода, начинались поля. Небольшая каменоломня, заброшенная и пустая, лежала у здания еще совершенно городского вида. Здесь оба господина остановились: то ли они наметили это место заранее, то ли слишком устали, чтобы бежать дальше. Они отпустили К., молча ожидавшего, что же будет, сняли цилиндры и, оглядывая каменоломню, отерли носовыми платками пот со лба. На всем лежало лунное сияние в том естественном спокойствии, какое ни одному другому свету не присуще.

После обмена вежливыми репликами о том, кому выполнять следующую часть задания, — очевидно, обязанности этих господ точно распределены не были, — один из них подошел к К. и снял с него пиджак, жилетку и, наконец, рубаху. К. невольно вздрогнул от озноба, и господин ободряюще похлопал его по спине. Потом он аккуратно сложил вещи, как будто ими придется воспользоваться, — правда, не в ближайшее время. Чтобы К. не стоял неподвижно в ощутимой ночной прохладе, он взял его под руку и стал ходить с ним взад и вперед, пока второй господин искал в каменоломне подходящее место. Найдя его, тот помахал им рукой, и первый господин подвел К. туда. У самого шурфа лежал отколотый камень. Оба господина посадили К. на землю, прислонили к стене и уложили головой на камень. Но, несмотря на все их усилия, несмотря на то, что К. старался как-то им содействовать, его поза оставалась напряженной и неестественной. Поэтому первый господин попросил второго дать ему одному попробовать уложить К. поудобнее, но и это не помогло. В конце концов они оставили К. лежать, как он лег, хотя с первого раза им удалось уложить его лучше, чем теперь. Потом первый господин расстегнул куртку и вынул из ножен, висевших на поясном ремне поверх жилетки, длинный, тонкий, обоюдоострый нож мясника и, подняв его, проверил на свету, хорошо ли он отточен. Снова начался отвратительный обмен учтивостями: первый подал нож второму через голову К., второй вернул его первому тоже через голову К. И внезапно К. понял, что должен был бы схватить нож, который передавали из рук в руки над его головой, и воткнуть его в себя. Но он этого не сделал, только повернул еще не тронутую

шею и посмотрел вокруг. Он не смог выполнить свой долг до конца и снять с властей всю работу, но отвечает за эту последнюю ошибку тот, кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы. Взгляд его упал на верхний этаж дома, примыкавшего к каменоломне. И как вспыхивает свет, так вдруг распахнулось окно там, наверху, и человек, казавшийся издали, в высоте, слабым и тонким, порывисто наклонился далеко вперед и протянул руки еще дальше. Кто это был? Друг? Просто добрый человек? Сочувствовал ли он? Хотел ли он помочь? Был ли он одинок? Или за ним стояли все? Может быть, все хотели помочь? Может быть, забыты еще какие-нибудь аргументы? Несомненно, такие аргументы существовали, и хотя логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может. Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал? К. поднял руки и развел ладони.

Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй воцарил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.

— Как собака, — сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его.

ЗАМОК

ПОМАН



Das Schloß

Roman

1926



Перевод Р. Райт-Ковалевой

© "Иностранная литература", 1988

Прибытие

К. прибыл поздно вечером. Деревня тонула в глубоком снегу. Замковой горы не было видно. Туман и тьма закрывали ее, и огромный Замок не давал о себе знать ни малейшим проблеском света. Долго стоял К. на деревянном мосту, который вел с проезжей дороги в Деревню, и смотрел в кажущуюся пустоту.

Потом он отправился искать ночлег. На постоялом дворе еще не стали, и хотя комнат хозяин не сдавал, он так растерялся и смутился приходом позднего гостя, что разрешил К. взять соломенный тюфяк и лечь в общей комнате. К. охотно согласился. Несколько крестьян еще допили пиво, но К. ни с кем не захотел разговаривать, сам стащил тюфяк с чердака и улегся у печки. Было очень тепло, крестьяне не шумели, и, скинув их еще раз усталым взглядом, К. заснул.

Но вскоре его разбудили. Молодой человек с лицом актера — узкие глаза, густые брови — стоял над ним рядом с хозяином. Крестьяне еще не разошлись, некоторые из них повернули стулья так, чтобы лучше видеть и слышать. Молодой человек очень вежливо попросил прощения за то, что разбудил К., представился — сын кастеляна Замка — и затем сказал: "Эта Деревня принадлежит Замку, и тот, кто здесь живет или ночует, фактически живет и ночует в Замке. А без разрешения графа это никому не дозволяется. У вас такого разрешения нет, по крайней мере вы его не предъявили".

К. привстал, пригладил волосы, взглянул на этих людей снизу вверх и сказал: "В какую это Деревню я попал? Разве здесь есть Замок?"

"Разумеется, — медленно проговорил молодой человек, а некоторые окружающие поглядели на К. и покачали головами. — Здесь находится Замок графа Вествеста"

"Значит, надо получить разрешение на ночевку?" — переспросил К., словно желая убедиться, что ему эти слова не приснились.

"Разрешение надо получить обязательно, — ответил ему молодой человек и с явной насмешкой над К., разведя руками, спросил хозяина и посетителей: — Разве можно без разрешения?"

"Что же, придется мне достать разрешение", — сказал К., зевнув и

откинув одеяло, словно собирался встать.

"У кого же?" — спросил молодой человек.

"У господина графа, — сказал К., — что же еще остается делать?"

"Сейчас, в полночь, брать разрешение у господина графа?" — воскликнул молодой человек, отступая на шаг.

"А разве нельзя? — равнодушно спросил К. — Зачем же тогда вы меня разбудили?"

Но тут молодой человек совсем вышел из себя. "Привыкли бродяжничать? — крикнул он. — Я требую уважения к графским служащим. А разбудил я вас, чтобы вам сообщить, что вы должны немедленно покинуть владения графа".

"Но довольно ломать комедию, — нарочито тихим голосом сказал К., ложась и натягивая на себя одеяло. — Вы слишком много себе позволяете, молодой человек, и завтра мы еще поговорим о вашем поведении. И хозяин, и все эти господа могут все подтвердить, если вообще понадобится подтверждение. А я только могу вам доложить, что я тот землемер, которого граф вызвал к себе. Мои помощники со всеми приборами подъедут завтра. А мне захотелось пройтись по снегу, но, к сожалению, я несколько раз сбивался с дороги и потому попал сюда так поздно. Я знал и сам, без ваших наставлений, что сейчас не время являться в Замок. Оттого я и удовольствовался этим ночлегом, который вы, мягко выражаясь, нарушили так невежливо. На этом мои объяснения кончены. Спокойной ночи, господа!" И К. повернулся к печке. "Землемер?" — услышал он чей-то робкий вопрос за спиной, потом настала тишина. Но молодой человек тут же овладел собой и сказал хозяину голосом достаточно сдержанным, чтобы подчеркнуть уважение к засыпающему К., но все же достаточно громким, чтобы тот услышал: "Я справлюсь по телефону". Значит, на этом постоялом дворе есть даже телефон? Превосходно устроились. Хотя кое-что и удивляло К., он, в общем, принял все как должное. Выяснилось, что телефон висел прямо над его головой, но спросонья он его не заметил. И если молодой человек станет звонить, то, как он ни старайся, сон К. обязательно будет нарушен, разве что К. не позволит ему звонить. Однако К. решил не мешать ему. Но тогда не было смысла притворяться спящим, и К. снова повернулся на спину. Он увидел, что крестьяне робко сбились в кучку и переговариваются; видно, приезд землемера — дело немаловажное. Двери кухни распахнулись, весь дверной проем заняла мощная фигура хозяйки, и хозяин, подойдя к ней на цыпочках, стал что-то объяснять. И тут начался телефонный разговор. Сам кастелян спал, но помощник кастеляна, вернее, один из его помощников, господин Фриц, оказался на месте. Молодой человек, назвавший себя Шварцером, рассказал, что он обнаружил некоего К., человека лет тридцати, весьма плохого одежного, который преспокойно спал на соломенном тюфяке, положив под голову вместо подушки рюкзак, а рядом с собой — суковатую палку. Конечно, это вызвало подозрение, и так как хозяин явно пренебрег своими обязанностями, то он, Шварцер, счел своим долгом вникнуть в его дело как следует, но К. весьма неприязненно отнесся к тому, что его разбудили, допросили и пригрозили выгнать из владений графа, хотя, может быть, рассердился он по праву, так как утверждает, что он землемер, которого вызвал сам граф. Разумеется, необходимо, хотя бы для соблюдения формальностей, проверить это заявление, поэтому Шварцер просит господина Фрица справиться в Центральной канцелярии, действительно ли там ожидают землемера, и немедленно сообщить результат по телефону.

Стало совсем тихо; Фриц наводил справки, а тут ждали ответа. К. лежал неподвижно, он даже не повернулся и, не проявляя никакого интереса, уставился в одну точку. Недоброжелательный и вместе с тем осторожный доклад Шварцера говорил о некоторой дипломатической подготовке, которую в Замке, очевидно, проходят даже самые незначительные люди, вроде Шварцера. Да и работали там, как видно, на совесть, раз Центральная канцелярия была открыта и ночью. И справки выдавали, как видно, сразу: Фриц позвонил тут же. Ответ был, как видно, весьма короткий, и Шварцер злобно бросил трубку. "Как я и говорил! — закричал он. — Никакой он не землемер, просто гнусный враль и бродяга, а может, и похуже".

В первую минуту К. подумал, что все — и крестьяне, и Шварцер, и хозяин с хозяйкой — бросятся на него. Он нырнул под одеяло — хотя бы укрыться от первого наскока. Но тут снова зазвонил телефон, как показалось К., особенно громко. Он осторожно высунул голову. И хотя казалось маловероятным, что звонок касается К., но все остановились, а Шварцер подошел к аппарату. Он выслушал длинное объяснение и тихо проговорил: "Значит, ошибка? Мне очень неприятно. Как, звонил сам начальник Канцелярии? Странно, странно. Что же мне сказать господину землемеру?"

К. насторожился. Значит, Замок утвердил за ним звание землемера. С одной стороны, это было ему невыгодно, так как означало, что в Замке о нем знают все что надо и, учитывая соотношение сил, шутя принимают вызов к борьбе. Но с другой стороны, в этом была и своя выгода: по его мнению, это доказывало, что его недооценивают и, следовательно, он будет пользоваться большей свободой, чем предполагал. А если они считают, что этим своим безусловно высокомерным признанием его звания они могут держать его в постоянном страхе, то тут они ошибаются: ему стало немного жутко, вот и все.

К. отмахнулся от Шварцера, когда тот робко попытался подойти к нему, отказался, несмотря на уговоры, перейти в комнату хозяев, только принял из рук хозяина стакан питья, а от хозяйки — таз для умывания и мыло с полотенцем; ему даже не пришлось просить очистить зал, так как уже теснились у выхода, отворачиваясь от К., чтобы он утром никого не узнал. Лампу погасили, и наконец его оставили в покое. Он уснул глубоким сном и, хотя его раза два будили шмыгавшие мимо крысы, проспал до самого утра.

После завтрака — и еду, и пребывание К. в гостинице должен был, по словам хозяина, оплатить Замок — К. собрался идти в Деревню. Но так как хозяин, с которым он, памятуя его вчерашнее поведение, говорил только по необходимости, все время молча, с умоляющим видом, вертелся около него, К. сжалился над ним и разрешил ему присесть рядом.

"С графом я еще незнаком, — сказал он, — говорят, он за хорошую работу хорошо и платит, верно? Когда уедешь, как я, далеко от семьи, хочется привезти домой побольше"

"Об этом пусть господин не беспокоится, на плохую оплату здесь еще никто не жаловался". "Да я и не робкого десятка, — сказал К., — могу постоять на своем и перед графом, но, конечно, куда лучше поладить миром с этим господином".

Хозяин примостился напротив К. на самом краешке подоконника — усесться поудобнее он не решался — и не сводил с К. больших карих испуганных глаз. И хотя перед этим он сам все время ходил около К., но те-

перь, как видно, ему не терпелось сбежать. Боялся он, что ли, расспросов про графа? Или боялся, что "господин", которого он видел в К., — человек ненадежный? К. решил его отвлечь. Взглянув на часы, он сказал: "Скоро подъедут и мои помощники, сможешь ли ты пристроить их тут?"

"Конечно, сударь, но разве они не будут жить вместе с тобой в Замке?"

Неужели он так легко и охотно отказывается от постояльцев, и от К. в особенности, считая, что тот непременно будет жить в Замке?

"Это не обязательно, — сказал К., — сначала надо узнать, какую мне дадут работу. Если, к примеру, придется работать тут, внизу, то и жить внизу будет удобнее. К тому же я боюсь, что жизнь в Замке окажется не по мне. Хочу всегда чувствовать себя свободно".

"Не знаешь ты Замка", — тихо сказал хозяин.

"Конечно, — сказал К., — заранее судить не стоит. О Замке я покамест знаю только то, что там умеют подобрать для себя хороших землемеров. Но, возможно, там есть и другие преимущества". И К. встал, чтобы освободить от своего присутствия хозяина, беспокойно кусавшего губы. Не так-то легко было завоевать доверие этого человека.

Выходя, К. обратил внимание на темный портрет в темной раме, висевший на стене. Он заметил его и раньше, со своего тюфяка, но издали не разглядел как следует и подумал, что картина была вынута из рамы и осталась только черная доска. Но теперь он увидел, что это был портрет, поясной портрет мужчины лет пятидесяти. Его голова была опущена так низко, что глаз почти не было видно и четко выделялся только высокий выпуклый лоб да крупный крючковатый нос. Широкая борода, прижатая наклоном головы, резко выдавалась вперед. Левая рука была запущена в густые волосы, но поднять голову кверху никак не могла. "Кто такой? — спросил К. — Граф?"

"Нет, — сказал хозяин, — это кастелян".

"Красивый у них в Замке кастелян, сразу видно, — сказал К., — жаль только, что сын у него неудачный". "Нет, — сказал хозяин, притянул к себе К. и зашептал ему в ухо: — Шварцер вчера наговорил лишнего, его отец всего лишь помощник кастеляна, да и то из самых низших". К. показалось, что в эту минуту хозяин стал похож на ребенка. "Каков негодяй!" — засмеялся К., но хозяину было, очевидно, не до смеха. "Его отец тоже человек могущественный!" — сказал он. "Брось! — сказал К. — Ты всех считаешь могущественными. Наверно, и меня тоже?" "Тебя? — сказал тот робко, но решительно. — Нет, тебя я могущественным не считаю". "Однако ты неплохо все подмечаешь, — сказал К. — Откровенно говоря, никакого могущества у меня действительно нет. Должно быть, оттого я не меньше тебя уважаю всякую власть, только я не так откровенен, как ты, и не всегда желаю в этом сознаваться". И К. слегка похлопал хозяина по щеке — хотелось и утешить его, и снискать больше доверия к себе. Тот смущенно улыбнулся. Он и вправду был похож на мальчишку — лицо мягкое, почти безбородое. И как это ему досталась такая толстая, молодая жена — через оконце в стене было видно, как она, широко расставив локти, хозяйничает на кухне. Но К. не хотел сейчас расспрашивать хозяина, боясь прогнать эту улыбку, вызванную с таким трудом. Он только кивком попросил открыть ему двери и вышел в погожее зимнее утро.

Теперь весь Замок ясно вырисовывался в прозрачном воздухе, и от

тонкого снежного покрова, целиком одевавшего его, все формы и линии выступали еще отчетливее. Вообще же там, на горе, снега как будто было меньше, чем тут, в Деревне, где К. пробирался с не меньшим трудом, чем вчера по дороге. Тут снег подступал к самым окнам избышек, на встречу тяжело нависали с низких крыш сугробы, а там, на горе, все вышло свободно и легко — так по крайней мере казалось снизу.

Весь Замок, каким он виделся издалека, вполне соответствовал ожиданиям К. Это была и не старинная рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец, а целый ряд строений, состоящий из нескольких двухэтажных и множества тесно прижавшихся друг к другу низких зданий, и, если бы не знать, что это Замок, можно было бы принять его за городок. К. увидел только одну башню, то ли над жилым помещением, то ли над церковью — разобрать было нельзя. Стан ворон кружились над башней.

К. шел вперед, не сводя глаз с Замка, — ничто другое его не интересовало. Но чем ближе он подходил, тем больше разочаровывал его Замок, уже казавшийся просто жалким городком, чьи домишки отличались от остальных только тем, что были построены из камня, да и то штукатурка на них давно отлепилась, а каменная кладка явно крошилась. Мельком припомнил К. свой родной городок; он был ничуть не хуже этого так называемого Замка. Если бы К. приехал лишь для его осмотра, то жалко было бы проделанного пути, и куда умнее было бы снова навестить далекий родной край, где он так давно не бывал. И К. мысленно сравнил церковную башню родного города с этой башней наверху. Та башня четкая, бестрепетно идущая кверху, с широкой кровлей, крытой красной черепицей, вся каменная — разве можем мы строить иначе? — но устремленная выше, чем приземистые домишки, более праздничная, чем их тусклые будни. А эта башня наверху — единственная, какую он заметил, башня жилого дома, как теперь оказалось, а быть может, и главная башня Замка — представляла собой однообразное круглое строение, кое-где словно из жалости прикрытое плющом, с маленькими окнами, посверкивающими сейчас солнцем — в этом было что-то безумное — и с выступающим карнизом, чьи зубцы, неустойчивые, неровные и ломкие, словно нарисованные пушечной или небрежной детской рукой, врезались в синее небо. Казалось, будто какой-то унылый жилец, которому лучше всего было бы запереться в самом дальнем углу дома, вдруг пробил крышу и высунулся наружу, чтобы показаться всему свету.

К. снова остановился, как будто так, не на ходу, ему было легче судить о том, что он видел. Но ему помешали. За сельской церковью, где он остановился, — в сущности, это была, скорее, часовня с пристройкой вроде амбара, где можно было вместить всех прихожан, — стояла школа. Маленький низкий дом — странное сочетание чего-то наспех сколоченного и вместе с тем древнего — стоял в саду, обнесенном решеткой и утонувшем в снегу. Оттуда как раз выходили дети с учителем. Окружив его тесной толпой и глядя ему в глаза, ребята без умолку болтали наперебой, и К. ничего не понимал в их быстрой речи. Учитель, маленький, узкоплечий человечек, держался очень прямо, но не производил смешного впечатления. Он уже издали заметил К. — впрочем, никого, кроме его учеников и К., вокруг не было. Как приезжий, К. поздоровался первым, к тому же у маленького учителя был весьма внушительный вид. "Добрый день, господин учитель", — сказал К. Словно по команде, дети сразу замолчали, и эта внезапная тишина в ожидании его слов как-то расположила учителя. "Рас-

смаживаете Замок?" — спросил он мягче, чем ожидал К., однако таким тоном, словно он не одобрял поведения К. "Да, — сказал К. — Я приезжий, только со вчерашнего вечера тут". "Вам Замок не нравится?" — быстро спросил учитель. "Как вы сказали? — переспросил К. немного растерянно и повторил вопрос учителя, смячив его: — Нравится ли мне Замок? А почему вы решили, что он мне не понравится?" "Никому из приезжих не нравится", — сказал учитель. И К., чтобы не сказать лишнего, перевел разговор и спросил: "Вы, наверно, знаете графа?" "Нет", — ответил учитель и хотел отойти, но К. не уступал и повторил вопрос: "Как, вы не знаете графа?" "Откуда мне его знать? — тихо сказал учитель и добавил громко по-французски: — Будьте осторожней в присутствии невинных детей". К. решил, что после этих слов ему можно спросить: "Вы разрешите как-нибудь зайти к вам, господин учитель? Я приехал сюда надолго и уже чувствую себя несколько одиноким; с крестьянами у меня мало общего, и с Замком, очевидно, тоже". "Между Замком и крестьянами особой разницы нет", — сказал учитель. "Возможно, — согласился К. — Но в моем положении это ничего не меняет. Можно мне как-нибудь зайти к вам?" "Я живу на Шваненгассе, у мясника", — сказал учитель. И хотя он скорее просто сообщил свой адрес, чем пригласил к себе, но К. все же сказал: "Хорошо, я приду". Учитель кивнул головой и отошел, а дети сразу загалдели. Вскоре они скрылись в круто спускавшемся переулке.

К. не мог сосредоточиться — его расстроил этот разговор. Впервые после приезда он почувствовал настоящую усталость. Дальняя дорога его совсем не утомила, он шел себе и шел, изо дня в день, спокойно, шаг за шагом. А сейчас сказывались последствия сильнейшего переутомления — и очень некстати. Его неудержимо тянуло к новым знакомствам, но каждая новая встреча усугубляла усталость. Нет, будет вполне достаточно, если он в своем теперешнем состоянии заставит себя прогуляться хотя бы до входа в Замок.

Он снова зашагал вперед, но дорога была длинной. Оказалось, что улица — главная улица Деревни — вела не к замковой горе, а только приближалась к ней, но потом, словно нарочно, сворачивала вбок и, не удаляясь от Замка, все же к нему и не приближалась. К. все время ждал, что наконец дорога повернет к Замку, и только из-за этого шел дальше, от усталости он явно боялся сбиться с пути, да к тому же его удивляла величина Деревни: она тянулась без конца — все те же маленькие домишки, заиндевшие окна, и снег, и безлюдье, — тут он внезапно оторвался от цепко державшей его дороги, и его принял узкий переулочек, где снег лежал еще глубже и только с трудом можно было вытаскивать вязнувшие ноги. Пот выступил на лбу у К., и он остановился в изнеможении.

Да, но ведь он был не один, справа и слева стояли крестьянские избы. Он слепил снежок и бросил его в окошко. Тотчас же отворилась дверь — первая открывшаяся дверь за всю дорогу по Деревне, — и старый крестьянин в коричневом кожаном, приветливо и робко склонив голову к плечу, вышел ему навстречу. "Можно мне ненадолго зайти к вам? — сказал К. — Я очень устал". Он не расслышал, что ответил старик, но с благодарностью увидел, что тот подложил доску, чтобы он мог выбраться из глубокого снега, и, шагнув по ней, К. очутился в горнице.

Большая сумрачная комната. Войдя со свету, сразу ничего нельзя было увидеть. К. наткнулся на корыто, женская рука отвела его. В одном

углу громко кричали дети. Из другого валил густой пар, от которого полутьма сгушалась в полную темноту. К. стоял, словно окутанный облаками. "Да он пьян", — сказал кто-то. "Вы кто такой? — властно крикнул чей-то голос и, обращаясь, как видно, к старику, добавил: — Зачем ты его пустил? Всех, что ли, впускать, кто шляется по дороге?" "Я графский землемер", — сказал К., как бы пытаясь оправдаться перед тем, кого он еще не видел. "Ах, это землемер", — сказал женский голос, и сразу наступила полнейшая тишина. "Вы меня знаете?" — спросил К. "Конечно", — коротко бросил тот же голос. Но то, что они знали К., как видно, не шло ему на пользу.

Наконец пар немного рассеялся, и К. стал постепенно присматриваться. Очевидно, у них был банный день. У дверей стирали. Но пар шел из другого угла, где в огромной деревянной лохани — таких К. не видел, она была величиной с двуспальную кровать — в горячей воде мылись двое мужчин. Но еще неожиданнее — хотя трудно было сказать, в чем заключалась эта неожиданность, — оказалось то, что виднелось в правом углу. Из большого окна — единственного в задней стене горницы — со двора падал бледный нежный свет, придавая шелковистый отблеск платью женщины, устало полулежавшей в высоком кресле. К ее груди прильнул младенец. Около нее играли дети, явно крестьянские ребята, но она как будто была не из этой среды. Правда, от болезни и усталости даже крестьянские лица становятся утонченней.

"Садитесь!" — сказал один из мужчин, круглобородый, да еще с наисшими усами — он все время отдувал их с губ, пыхтя и разеваая рот, — нелепым жестом выбросив руку из лохани, он указал К. на сундук, отдав ему все лицо теплой водой. На сундуке в сумрачном раздумье уже сидел старик, впусивший К., и К. обрадовался, что наконец можно сесть. Больше на него никто не обращал внимания. Молодая женщина, стировавшая у корыта, светловолосая, в расцвете молодости, тихо напевала, мужчины крутились и вертелись в лохани; ребята все время лезли к ним, но их отгоняли, свирепо брызгая в них водой, попадавшей и на К.; женщина в кресле замерла, как неживая, и смотрела не на младенца у груди, а куда-то вверх.

Верно, К. долго глядел на эту неподвижную, грустную и прекрасную картину, но потом, должно быть, заснул, потому что, встрепенувшись от громкого окрика, он почувствовал, что лежит головой на плече у старика, сидевшего рядом. Мужчины уже вымылись и стояли одетые около К., а в лохани теперь плескались ребята под присмотром белокурой женщины. Стало ясно, что крикливый бородач не самый главный из двоих. Второй, выше и ростом не выше и с гораздо менее густой бородой, оказался тихим, длительным, широкоплечим человеком со скуластым лицом; он стоял, опустив голову. "Господин землемер, — сказал он, — вам тут оставаться нельзя. Простите за невежливость". "Я и не думал оставаться, — сказал К., — хотел только передохнуть немного. Теперь отдохнул и могу уйти". "Наверно, вас удивляет негостеприимство, — сказал тот, — но гостеприимство у нас не в обычае, нам гостей не надо". Освеженный недолгим сном и снова сосредоточившись, К. обрадовался откровенным словам. Он двигался свободнее, прошелся, опираясь на свою палку, взад и вперед, даже подошел к женщине в кресле, ощущая, что он ростом выше всех остальных.

"Правильно, — сказал К. — Зачем вам гости? Но изредка человек может и понадобиться, например землемер, такой, как я". "Мне это неиз-

вестно, — медленно сказал тот. — Если вас вызвали, значит, вы понадобились; наверно, это исключение, но мы, мы люди маленькие, живем по закону, вам за это на нас обижаться не следует". "Нет, нет, — сказал К. — Я вам только благодарен, и вам лично, и всем присутствующим". И неожиданно для всех К. буквально подпрыгнул на месте, перевернулся и очутился перед женщиной в кресле. Усталые голубые глаза поднялись на него. Прозрачный шелковый платочек до половины прикрывал лоб, младенец спал у нее на груди. "Кто ты?" — спросил К., и с пренебрежением к самому ли К. или к своим словам она бросила: "Я служанка из Замка".

Но не прошло и секунды, как слева и справа К. схватили двое мужчин и молча, словно другого способа объясниться не было, с силой потащили его к дверям. Старик чему-то вдруг обрадовался и захлопал в ладоши. И прачка засмеялась вместе с загалдевшими вдруг ребятами.

К. так и остался стоять на улице, мужчины следили за ним с порога. Снова пошел снег, но как будто стал светлее. "Куда вы пойдете? — нетерпеливо крикнул круглобородый. — Туда — путь к Замку, сюда — в Деревню". Но К. спросил не у него, а у того, второго, который, несмотря на свою замкнутость, казался ему обходительнее: "Кто вы такие? Кого мне благодарить за отдых?" "Я дубильщик Лаземан, — отвистил тот. — А благодарить вам никого не надо". "Прекрасно, — сказал К. — Надеюсь, мы еще встретимся". "Вряд ли", — сказал мужчина. И в эту минуту круглобородый, подняв руку, закричал: "Здорово, Артур, здорово, Иеремия!" К. обернулся: значит, в этой Деревне все же люди выходили на улицу! По дороге от Замка шли два молодых человека среднего роста, оба очень стройные, в облегающих костюмах и даже лицом очень похожие. Цвет лица у них был смуглый, а острые бородки такой черноты, что выделялись даже на смуглых лицах. Несмотря на трудную дорогу, они шли удивительно быстро, выбрасывая в такт стройные ноги. "Вы зачем сюда?" — крикнул бородач. "Дела!" — смеясь, крикнули те. "Где?" "На постоялом дворе!" "И мне туда!" — закричал К. громче всех, ему ужасно захотелось, чтобы эти двое взяли его с собой. И хотя знакомство с ними ничего особенного не сулило, но они наверняка были бы славными, бодрыми спутниками. Они услышали слова К., но только кивнули ему и сразу исчезли вдали.

К. все еще стоял в снегу, у него не было охоты вытаскивать оттуда ногу, чтобы тут же погрузить ее в сугроб; дубильщик с товарищем, довольные тем, что окончательно избавились от К., медленно протискивались в дом сквозь неплотно прикрытую дверь, то и дело оглядываясь на К., и К. наконец остался один в глубоком снегу. "Пожалуй, была бы причина слегка расстроиться, — подумал К., — если бы я сюда попал случайно, а не нарочно".

Вдруг с левой стороны домишка открылось крохотное оконце; оно казалось темно-синим, пока было закрыто, — очевидно, при отблеске снега — и было таким крошечным, что сейчас в нем виднелось не все лицо того, кто выглядывал, а только глаза — стариковские карие глаза. "Вон он стоит", — услышал К. дрожащий женский голос. "Это землемер, — сказал мужской голос. Потом мужчина подошел к окошку и добавил без враждебности, но все же так, словно был озабочен, как бы не нарушился порядок перед его домом: — Кого вы ждете?" "Жду, пока какие-нибудь сани меня не захватят", — сказал К. "Тут сани не проезжают, — сказал мужчина, — тут дорога не проезжая". "Но ведь это дорога в Замок?" "И

все же тут дорога не проезжая", — повторил мужчина с какой-то настойчивостью. Оба замолчали. Но мужчина, очевидно, что-то решал, потому что не захлопывал окна, оттуда шел дымок. "Дорога скверная", — сказал К., поддерживая разговор.

Но тот только сказал: "Да, конечно. — Помолчав, он все же добавил: — Если хотите, я вас довезу на санках". "Пожалуйста, довезите! — обрадовался К. — Сколько вы с меня возьмете?"

"Ничего", — сказал мужчина. К. очень удивился. "Вы ведь землемер, — объяснил мужчина, — вы имеете отношение к Замку. Куда же вы хотите ехать?" "В Замок", — ответил К. "Тогда я не поеду", — сразу сказал мужчина. "Но я же имею отношение к Замку", — сказал К., повторяя слова мужчины. "Возможно", — уклончиво сказал тот. "Тогда отвезите меня на постоялый двор", — сказал К. "Хорошо, — сказал мужчина, — сейчас выведу сани". Видно, тут дело было не в особой любезности, а, скорее, в эгоистичном, тревожном, почти педантическом стремлении поскорее убрать К. с улицы перед домом.

Открылись ворота, и выехали маленькие санки для легких грузов, совершенно плоские, без всякого сиденья, запряженные тощей лошадейкой, за ними шел согнувшийся малорослый хромой человечек с изможденным, красным, слезящимся лицом, которое казалось совсем крошечным в складках толстого шерстяного платка, накрученного на голову. Человечек был явно болен и, очевидно, вышел на улицу только для того, чтобы отвезти К. Так К. ему и сказал, но тот отмахнулся. К. услышал только, что он возница Герстекер и взял эти неудобные санки потому, что они стояли наготове, а выводить другие было бы слишком долго. "Садись", — сказал он, ткнув кнутом в задок саней. "Я сяду с вами рядом", — ответил К. "А я пешком", — сказал Герстекер. "Почему?" — спросил К. "И пешком", — повторил Герстекер, и вдруг его так стал колотить кашель, что пришлось упереться ногами в снег, а руками — в край санок, чтобы не упасть. К., ничего не говоря, сел в санки сзади, кашель постепенно утих, и они тронулись.

Замок наверху, странно потемневший, куда К. сегодня и не надеялся добраться, отдался все больше и больше. И, словно подавая знак и невидимого прощаясь, оттуда прозвучал колокол, радостно и окрыленно, и от этого колокольного звона на миг вздрогнуло сердце, словно в бою — ведь и тоской звенел колокол, — а вдруг исполнится то, к чему так робко оно стремилось. Но большой колокол вскоре умолк, его сменил слабый однотонный колокольчик, то ли оттуда сверху, то ли уже из Деревни. И этот перезвон как-то лучше подходил к медленному скольжению саней и унылому, но безжалостному возникше.

"Слушай! — крикнул вдруг К.; они уже подъезжали к церкви, постоялый двор был недалеко, и К. немного осмелел. — Я все удивляюсь, что ты взял свою ответственность решаешь меня везти, разве тебе это разрешено?" Но Герстекер не обратил никакого внимания и спокойно шагал рядом с лошадейкой. "Эй!" — крикнул К. и, собрав в саних горсть снега, угодил снежком прямо в ухо Герстекеру. Тот остановился и обернулся назад; и когда К. увидел его так близко перед собой — санки проползли только шаг, — увидел эту согнутую, чем-то искаленную фигуру, воспаленное, усталое, худое лицо с какими-то разными щеками — одна плоская, другая запавшая, — полуоткрытый растерянный рот, где торчало всего несколько зубов, он повторил ехидный вопрос уже с состраданием: не достанется ли Герстекеру за то, что он отвез К.? "Чего тебе надо?" —

непонятливо спросил Герстекер и, не ожидая объяснений, крикнул на лошаденку, и они поехали дальше.

Когда они — К. узнал знакомый поворот — уже почти добрались до постоянного двора, там была полнейшая темнота, чему К. очень удивился. Неужели он так долго отсутствовал? Всего час-другой, по его расчетам, да и вышел он с самого утра, и есть ему совсем не хотелось, и еще недавно стоял совсем светлый день, и вдруг такая тьма. "Коротки дни, коротки", — сказал он про себя и, соскользнув с санок, пошел к постоянному двору.

К счастью, на верхней ступеньке крыльца стоял хозяин, светя ему на встречу высоко поднятым фонарем. Мимоходом вспомнив о вознице, К. приостановился, но кашель донесся откуда-то из темноты, — видно, тот уже ушел. Ничего, наверно, скоро они где-нибудь встретятся. Только поднявшись на крыльцо к хозяину, подобострастно поздоровавшемуся с ним, К. увидел по обеим сторонам двери двух человек. Он взял фонарь из рук хозяина и посветил на них: это оказались те двое, которых он уже видел, их еще называли Иеремия и Артур. Они откозыряли ему. К. вспомнил военную службу — самые счастливые годы жизни — и засмеялся.

"Кто вы такие?" — спросил он, оглядывая их обоих. "Ваши помощники", — ответили они. "Да, помощники", — негромко подтвердил хозяин. "Как? — спросил К. — Вы — мои старые помощники? Это вам я велел ехать за мной, это вас я ждал?" "Да", — сказали они. "Это хорошо, — сказал К., помолчав, — хорошо, что вы приехали. Однако, — добавил он, немного помолчав, — вы сильно запоздали, вы очень неаккуратны". "Дорога была дальняя", — сказал один из них. "Дорога дальняя? — повторил К. — Но ведь я вас встретил, когда вы шли из Замка". "Да", — сказали оба, но ничего не объяснили. "А где у вас инструменты?" — спросил К. "У нас их нет", — ответили оба. "Как? Инструменты, которые я вам доверил?" — сказал К. "У нас их нет", — повторили они. "Ну что вы за люди! — сказал К. — Да знаете ли вы толк в землемерных работах?" "Нет", — сказали оба. "Но если вы мои прежние помощники, вы должны все уметь", — сказал К. Они промолчали. "Ну, пойдемте!" — сказал К. и толкнул их в дом.

2

Варнава

Они сели втроем у маленького столика в зале и молча стали пить пиво. К. сидел посредине, оба помощника — справа и слева. В зале, как и вчера вечером, только еще за одним столом сидели крестьяне. "Трудно мне будет с вами, — сказал К., все время сравнивая лица своих помощников, — ну как мне вас отличать? Ведь вы только именами и отличаетесь, а вообще похожи, как... — Он запнулся и нечаянно добавил: — Похожи, как две змеи". Помощники усмехнулись. "Обычно нас легко различают", — как бы оправдываясь, сказал один. "Верю, — сказал К., — сам был тому свидетелем, но у меня-то глаза свои, а мне вас никак не различить. Буду обращаться с вами как с одним человеком и звать обоих буду Артур, одного из вас ведь так и зовут, тебя, что ли?" "Нет, — сказал тот, — меня звать Иеремия". "Не важно, — сказал К., — все равно буду обоих звать Артур. Пошлю куда-нибудь Артура — вы оба и пойдете, поручу Ар-

туру работу — оба за нее возьметесь, конечно, мне очень невыгодно, что я не могу вас использовать на разных работах, но зато удобно: за все, что я вам поручу, будете нести ответственность вместе, нераздельно. Как вы работу поделите — мне безразлично, только никаких отговорок от каждого в отдельности я не приму, вы для меня — один человек". Оба подумали и сказали: "Нам это будет очень неприятно". "Еще бы! — сказал К. — Конечно, вам должно быть неприятно, но так оно и будет". Уже несколько минут К. наблюдал, как вокруг их столика крадучись бродит один из крестьян, и, вдруг решившись, он подошел к одному из помощников и котел что-то шепнуть ему на ухо. "Простите, — сказал К. и, хлопнув рукой по столу, встал, — это мои помощники, у нас сейчас совещание. Никто не имеет права нам мешать!" "Ох, виноват, виноват!" — испуганно проговорил крестьянин и задом попятился к своим товарищам. "Одно вы должны строго соблюдать, — сказал К., снова садясь на место, — ни с кем без моего позволения вы разговаривать не должны. Я здесь чужой, а раз вы — мои старые помощники, то и вы тут чужие. Поэтому мы, трое чужаков, должны держаться вместе. По рукам, что ли?" Оба с готовностью протянули ему руки. "Лапы уберите, — сказал К., — а мой приказ остается в силе. Теперь я пойду сосну, да и вам советую лечь. Сегодня у нас пропал рабочий день, а завтра надо начинать пораньше. Достаньте сани, на них поедem в Замок, и чтобы к шести утра сани стояли перед домом". "Хорошо", — сказал один, но второй вмешался: "Ты говоришь "хорошо", а сам нишешь, что это невозможно". "Тихо! — сказал К. — Вы, кажется, затеяли действовать вразнобой?" Но тут снова заговорил первый: "Он прав, это невозможно, в Замок посторонним без разрешения доступа нет". — "А где брать разрешение?" — "Не знаю, может, у кастеляна". — "Что же, будем звонить по телефону. А ну-ка, вы оба, звоните сейчас же кастеляну". Оба бросились к телефону, вызвали номер — как они суетились, всем видом выражая послушание! — и спросили, можно ли К. с ними вместе завтра утром явиться в Замок. "Нет!" — прозвучало так громко, что донеслось до столика К. Ответ был еще решительнее, там добавили: "Ни завтра, ни в другой день". "Сам поговорю", — сказал К., вставая. И хотя и К., и его помощники до сих пор особого интереса не возбуждали — не считая случившимся с тем крестьянином, — его последние слова вызвали всеобщее внимание. Все встали вместе с К., и, хотя хозяин старался их оттеснить, все столпились вокруг телефона. Большинство высказывало мнение, что К. вообще никакого ответа не получит. К. должен был попросить их замолчать, их мнения он вовсе не спрашивал.

В трубке слышалось гудение — такого К. никогда по телефону не слышал. Казалось, что гул бесчисленных детских голосов — впрочем, это гудение походило не на гул, а, скорее, на пение далеких, очень-очень далеких голосов, — казалось, что это гудение каким-то совершенно непостижимым образом сливалось в единственный высокий и все же мощный голос, он бил в ухо, словно стараясь проникнуть не только в жалкий слух, но и куда-то глубже. К. слушал, не говоря ни слова, упершись левым локтем в подставку от телефона, и слушал, слушал...

Он не знал, как долго это длилось, но тут хозяин, дернув его за куртку, прошептал, что к нему пришел посыльный. "Уйди!" — не сдерживаясь, крикнул К., очевидно прямо в телефонную трубку, потому что ему тут же отпустили. И произошел следующий разговор. "Освальд слушает, кто говорит?" — крикнул строгий, надменный голос. К. послышался какой-то эффект речи, который старались выправить излишней напускной строгостью.

Назвать себя К. не решался, перед телефоном он чувствовал себя беспомощным, на него могли наорать, бросить трубку; К. закрыл себе немало-важный путь. Нерешительность К. раздражала его собеседника. "Кто говорит? — повторил он и добавил: — Я был бы очень обязан, если бы оттуда меньше звонили, только что нас уже вызывали". К. не обратил внимания на эти слова и, внезапно решившись, доложил: "Говорит помощник господина землемера". — "Какой помощник? Какой господин? Какой землемер?" К. вдруг вспомнил вчерашний разговор по телефону. "Спросите Фрица", — отчеканил он. К собственному его удивлению, это помогло. Но еще больше, чем этому, удивился он единству тамошней службы. Ему сразу ответили: "Знаю. Вечно этот землемер. Да, да! А дальше что? Какой еще помощник?" "Йозеф", — сказал ему К. Ему очень мешало перешептывание крестьян за спиной, они, очевидно, были против того, что он неправильно доложил о себе. Но ему некогда было с ними препираться, разговор поглощал все его внимание. "Йозеф? — переспросили оттуда. — Но ведь помощников зовут... — Маленькая пауза, как видно, там справлялись у кого-то об именах. — Артур и Иеремия". "Это новые помощники", — сказал К. "Да нет же, это старые". — "Нет, новые, а вот я старый, я приехал сегодня вслед за господином землемером". "Нет!" — крикнули в трубку. "Так кто же я такой?" — спросил К. все с тем же спокойствием. Наступила небольшая пауза, и тот же человек, с тем же недостатком речи, но совсем другим, глубоким и уважительным голосом проговорил: "Ты старый помощник".

Вслушиваясь в этот голос, К. чуть не пропустил вопрос: "А что тебе нужно?" Охотнее всего он положил бы трубку. От этих переговоров он все равно ничего не ждал. Но тут он был вынужден что-то сказать и торопливо спросил: "А когда моему хозяину можно будет прийти в Замок?" "Никогда!" — прозвучал ответ. "Хорошо", — сказал К. и повесил трубку.

Крестьяне, стоявшие сзади, придвинулись совсем вплотную. Помощники, искоса поглядывая на него, были заняты тем, чтобы не подпускать крестьян слишком близко. Но делалось это явно для виду, да и сами крестьяне, удовлетворенные исходом разговора, медленно отступали. Вдруг в их толпу сзади быстрыми шагами врзался какой-то человек и, поклонившись К., передал ему письмо. Держа письмо в руке, К. оглядел посланца — ему это показалось важнее. Между ним и помощниками было большое сходство, он был так же строен, в таком же облегающем платье, так же быстр и ловок в движениях, как они, и вместе с тем он был совершенно другой. Лучше бы он достался К. в помощники! Чем-то он ему напоминал женщину с грудным младенцем, которую он видел у дубильщика. Одет он был почти что во все белое, и хотя платье было не из шелка — как и все другие, он был в зимнем, — но по мягкости, по праздничности это платье напоминало шелк. Лицо у него было светлое, открытое, глаза сверхъестественно большие. Улыбался он необыкновенно приветливо; он провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть эту улыбку, но ничего не вышло. "Кто ты такой?" — спросил К. "Зовут меня Варнава, — сказал тот. — Я посыльный".

Мужественно и вместе с тем нежно раскрывались и смыкались его губы, складывая слова. "Тебе здесь нравится?" — спросил К. и показал на крестьян, он еще не потерял интереса к ним с их словно нарочно исковерканными физиономиями — казалось, их били по черепу сверху, до уплощения, и черты лица формировались под влиянием боли от этого

битья, — теперь они, приоткрыв отекие губы, то смотрели на него, то не смотрели, иногда их взгляды блуждали по сторонам и останавливались где попало, уставившись на какой-нибудь предмет; и еще К. показал Варнаве на своих помощников — те стояли обнявшись, щекой к щеке, и посмеивались, то ли застенчиво, то ли с издевкой, и К. обвел всех их рукой, словно представляя свою свиту, навязанную ему обстоятельствами, и ожидая — этого доверия и добивался К., — чтобы Варнава раз и навсегда увидел разницу между ними и самим К. Но Варнава с полнейшим простодушием — это сразу было видно — совсем не понял, что хотел сказать К.; он лишь воспринял жест К. как благовоспитанный слуга воспринимает каждое слово хозяина, даже непосредственно его не касающееся, и в ответ только послушно оглядел всех вокруг, помахал рукой знакомым крестьянам, обменялся несколькими словами с помощниками — и все это свободно, непринужденно, не держась ото всех особняком. И К., как бы поставленный на место, но не пристыженный, вспомнил о письме, которое он все еще держал в руках, и распечатал его. В письме стояло: "Многоуважаемый господин! Как вам известно, вы приняты на службу к владельцу Замка. Вашим непосредственным начальником является сельский староста, который сообщит вам все ближайшие подробности о вашей работе и об условиях оплаты, перед ним же вы должны будете отчитываться. Вместе с тем и я постараюсь не терять вас из виду. Податель сего письма, Варнава, будет время от времени справляться о ваших пожеланиях и докладывать об этом мне. Вы встретите с моей стороны постоянную готовность по возможности идти вам навстречу. Я заинтересован, чтобы мои работники были довольны". Дальше шла неразборчивая подпись, но рядом печатными буквами стояло: "Начальник Н-ской канцелярии". "Погоди!" — сказал К. склонившемуся в поклоне Варнаве и кликнул хойина, чтобы ему отвели комнату, — ему хотелось наедине разобраться в письме. При этом он вспомнил, что при всей симпатии, какую он почувствовал к Варнаве, тот был всего лишь посыльным, и велел подать ему пива. К. проследил, как он это примет, но тот взял пиво с явным удовольствием и сразу выпил. К. пошел за хойином. В этом домишке для К. не нашлось ничего, кроме чердачной каморки, да и это вызвало осложнения, потому что пришлось куда-то переселять двух служанок, спавших там до сих пор. Собственно говоря, там больше ничего не сделали, только вывели служанок; комната была не убрана, даже единственная кровать не постлана, на ней лежали лишь пара одеял да попона, оставшиеся с прошлой ночи. На стенах висело несколько религиозных картинок и фотографий солдат. Даже проветривать каморку не стали — видно, понадеялись, что новый постоялец надолго не задержится, и ничего не сделали, чтобы его удержать. Но К. был на все готов, он завернулся в одеяло, сел к столу и при свече стал перечитывать письмо.

Письмо было неодинаковое, в некоторых фразах к нему обращались как к свободному человеку, чью личную волю признают, — это выражалось в обращении и в той фразе, где говорилось о его пожеланиях. Но были такие выражения, в которых к нему скрыто или явно относились как к ничтожному, почти незаметному с высокого поста работнику, буди-и высокому начальству приходилось делать усилие, чтобы "не терять его из виду", а непосредственным его начальником оказался сельский староста, ему надо было даже отчитываться перед ним. И, чего доброго, его единственным сослуживцем станет сельский полицейский! Тут, безусловно, крылись противоречия настолько явные, что их, без сомнения, внесли

в письмо нарочно. К. сразу отбросил безумную по отношению к столь высокой инстанции мысль, что у них были какие-то колебания. Скорее, он видел тут открыто предложенный ему выбор — ему представлялось сделать свои выводы из содержания письма: желает ли он стать работником в Деревне, с постоянно подчеркиваемой, но на самом деле только кажущейся связью с Замком, или же он хочет только внешне считаться работником Деревни, а на самом деле всю свою работу согласовывать с указаниями из Замка, передаваемыми Варнавой. К. не задумывался — выбор был ясен, он бы сразу решился, даже если бы за это время ничего не узнал. Только работая в Деревне, возможно дальше от чиновников Замка, сможет он хоть чего-то добиться в Замке, да и те жители Деревни, которые пока еще так недоверчиво к нему относились, заговорят с ним иначе, когда он станет если не их другом, то хотя бы их односельчанином, и когда он перестанет отличаться от Герстекера или Лаземана — а такая перемена должна наступить как можно скорее, от этого все зависело, — тогда перед ним сразу откроются все пути, которые были для него не только заказаны, но и незримы, если бы он рассчитывал на господ отсюда, сверху, и на их милость. Правда, тут таилась одна опасность, и в письме она была достаточно подчеркнута, даже с некоторым злорадством, словно избежать ее было невозможно. Это — положение рабочего. Служба, начальник, условия заработной платы, отчетность, работник — этими словами так и пестрело письмо, и даже когда речь шла о чем-то более личном, все равно и об этом говорилось с той же точки зрения. Если К. захочет стать рабочим, он может им стать, но уж тогда бесповоротно и всерьез, без всяких других перспектив. К. понимал, что никакой прямой угрозы тут нет, этого он не боялся, но, конечно, его удручала обстановка, привычка к постоянным разочарованиям, тяжелое, хоть и незаметное влияние каждой прожитой так минуты, и с этой опасностью он должен был вступить в борьбу. Письмо не обходило молчанием, что если этой борьбе суждено начаться, то К. уже имел смелость в нее вступить: сказано об этом было с тонкостью, и только человек с беспокойной совестью — именно беспокойной, а не нечистой! — мог это вычитать в трех словах, касавшихся его приема на работу: "как вам известно". К. доложил о себе, и с этого момента, говорилось в письме, он, как ему известно, был принят.

Сняв одну из картинок со стены, К. повесил письмо на гвоздик; в этой каморке ему жить, тут пусть и висит письмо.

Затем он спустился в зал. Варнава сидел с помощниками за столиком. "Ага, вот ты где", — сказал К. без всякого повода — он просто обрадовался, увидев Варнаву. Тот сразу вскочил. И все крестьяне тоже вскочили с мест при входе К. и стеснились вокруг него, видно, у них уже вошло в привычку ходить за ним по пятам. "Чего вам от меня нужно?" — крикнул К. Они не рассердились и медленно вернулись на свои места. Отходя, один из них сказал, как бы в объяснение, мимоходом, с непонятной усмешкой, отразившейся и на других лицах: "Того и гляди, услышишь какую-нибудь новость", — и облизнулся, как будто новость можно было съесть. К. воздержался от дружеского слова, ему нравилось, что он внушал к себе уважение, но стоило ему сесть рядом с Варнавой, как он почувствовал, что кто-то дышит ему в затылок: крестьянин сказал, что пришел взять соль. Но К. так на него топнул, что тот убежал без солонки. Было действительно нетрудно вывести К. из себя, стоило только напустить на него этих крестьян, их упрямое участие казалось еще хуже, чем замкнутость других,

и кроме того, они были достаточно замкнуты: если бы К. сел к их столу, они бы немедленно поднялись и ушли бы. Только присутствие Варнавы мешало ему учинить скандал. Все же он угрожающе повернулся к ним, да и все они повернулись к нему. Но когда он увидел, как они все сидят, каждый на своем месте, не разговаривая друг с другом, без всякого видимого общения, связанные только тем, что все они не спускали с него глаз, ему показалось, что они преследуют его вовсе не из злого умысла; может быть, они и вправду хотели от него чего-то добиться, только сказать не умели, а может быть, все это было простым ребячеством, которое тут как будто всем было свойственно: разве не ребячливо вел себя сам хозяин — держа обеими руками стакан пива, предназначенный одному из посетителей, он устоял на К. и не слышал оклика хозяйки, высунувшейся из кухонного окошечка.

Уже спокойнее обратился К. к Варнаве. Он охотно удалил бы своих помощников, но не мог найти предлог. Впрочем, они молча уткнули глаза в свое пиво. "Насчет письма, — сказал К. — Я его прочел. Ты знаешь содержание?" "Нет", — сказал Варнава, и его взгляд говорил больше, чем его ответ. Может быть, К. ошибочно видел в нем слишком много хорошего, как в крестьянах — плохое, но ему было приятно его присутствие.

"Там и о тебе идет речь — тебе придется время от времени передавать сведения от меня начальству и обратно, потому я и решил, что ты знаешь содержание письма". "Мне только поручили передать письмо, — сказал Варнава, — и дожидаться, пока его прочтут; если тебе понадобится, отнести устный или письменный ответ". "Отлично, — сказал К., — в письменном отнете нужды нет, передай господину начальнику — к стати, как его звать? Подпись я не разобрал". "Кламм", — ответил Варнава. "Так вот, передай господину Кламму мою благодарность за прием, а также за его исключительную любезность. Как человек, еще ничем себя не зарекомендовавший, и особенно это ценю. Я готов безоговорочно подчиниться его указаниям. Никаких особых желаний у меня нет". Варнава выслушал все внимательно и попросил разрешения повторить поручение. К. разрешил, Варнава все повторил слово в слово. Потом он встал и хотел попрощаться.

К. все время всматривался в его лицо, а тут он посмотрел на него еще пристальней. Ростом Варнава был не выше К., и все же казалось, что смотрел он на него сверху, хотя и очень смиренно, — немыслимо было представить себе, чтобы этот человек хотел кого-нибудь унижить. Правда, он был только посыльным, не знал даже содержания письма, порученного ему, но в его взгляде, в улыбке, в походке крылась тоже какая-то весть, хоть он о ней и не подозревал. И К. протянул ему руку, что его явно удивило — он хотел ограничиться простым поклоном.

И как только он вышел — а прежде чем открыть двери, он еще на миг прислонился плечом к косяку и обвел комнату взглядом, ни к кому и отдельности не относившимся, — К. сказал помощникам: "Сейчас принеси из комнаты свои записи, и обсудим план работы". Они хотели было пойти с ним, но К. сказал им: "Останьтесь". А когда они все же собрались идти за ним, он повторил приказ еще строже. В прихожей Варнавы уже не было. А ведь он только что вышел. Но и перед домом — снова пошел снег — К. его не увидел. Он крикнул: "Варнава!" Никакого ответа. Может быть, он еще в доме? Это казалось единственной возможностью. Но все-таки К. изо всех сил окликнул его по имени. Имя громом прокатилось в тишине. И уже издалека послышался слабый отклик — так далеко ушел

Варнава. К. снова позвал его к себе и сам пошел ему навстречу; когда они встретились, постоянный двор уже не был виден.

"Варнава, — сказал К. и не мог сдержать дрожь в голосе. — Я хотел тебе еще кое-что сказать. По-моему, очень неудачно придумано, что моя связь с Замком зависит только от твоих случайных приходов. И если бы я сейчас тебя не догнал — а ты просто летаешь, я думал, что ты еще в доме, — то кто его знает, сколько мне пришлось бы ждать, пока ты снова появишься". "Но ведь ты можешь попросить начальника, чтобы я приходил в определенное время, когда ты назначишь", — сказал Варнава. "И этого недостаточно, — сказал К. — Может быть, мне целый год нечего будет передать, а потом вдруг через четверть часа после твоего ухода возникнет что-нибудь неотложное". "Так что же, — сказал Варнава, — доложить начальнику, чтобы он наладил с тобой другую связь, не через меня?" "Нет-нет, — сказал К., — вовсе нет, это я так, мимоходом, ведь сейчас, к счастью, я тебя догнал". "Не вернуться ли нам на постоянный двор, — сказал Варнава, — чтобы ты мне там дал новое поручение?" И он уже шагнул обратно ко двору. "Не стоит, Варнава, — сказал К., — лучше я провожу тебя немного". "Почему ты не хочешь вернуться туда?" — спросил Варнава. "Мне там народ мешает, — сказал К. — Ты сам видел, какие они назойливые, эти крестьяне". "Можно пройти к тебе в комнату", — сказал Варнава. "Да это каморка для прислуги, — сказал К., — там грязно, душно, для того я и пошел за тобой, чтобы там не сидеть. Только разреши мне, — продолжал К., стараясь побороть смущение, — разреши взять тебя под руку, ты идешь уверенней". И К. взял его под руку. Было совсем темно, его лица К. не видел, вся его фигура неясно вырисовывалась в темноте, но К. постарался ощупью найти его руку.

Варнава не сопротивлялся, и они пошли прочь от постоянного двора. Правда, К. чувствовал, что, несмотря на величайшие усилия, он не мог идти в ногу с Варнавой и задерживал его и что в обычной обстановке это незначительное обстоятельство могло бы все погубить, особенно если бы они попали в те проулки, где днем плутал в снегу К. и откуда теперь Варнаве пришлось бы выносить его на руках. Но К. старался не думать об этом, утешенный, кстати, и тем, что Варнава молчал, а раз они не разговаривали, значит, и для Варнавы оставалась только одна цель — идти вместе вперед.

Так они шли, но куда именно — К. не понимал: он ничего не мог узнать. Он даже не знал, прошли они церковь или нет. Приходилось затрачивать столько усилий на ходьбу, что своими мыслями он уже не владел. Вместо того чтобы сосредоточиться на одном, мысли путались в голове. Непрестанно всплывали родные места, воспоминания переполняли его. И там на главной площади тоже стояла церковь, к ней с одной стороны примыкало кладбище, окруженное высокой оградой. Мало кто из мальчишек побывал на этой ограде, и К. еще не удалось туда забраться. Не любопытство гнало туда ребят — никакой тайны для них на кладбище не было. Не раз они туда заходили сквозь решетчатую дверцу, но им очень хотелось одолеть высокую гладкую ограду. И однажды днем — затихшая пустая площадь была залита солнцем, К. никогда ни раньше, ни позже не видел ее такой — ему неожиданно повезло: в том месте, где он так часто срывался, он с первой попытки залез наверх, держа в зубах флажок. Еще не осыпались камушки из-под ног, а он уже сидел наверху. Он воткнул флажок, ветер натянул материю, он поглядел вниз, и вокруг, и даже через плечо, на ушедшие в землю кресты, и не было на свете никого храбрее, чем он.

Случайно проходивший мимо учитель сердитым взглядом согнал К. с ограды. Соскакивая вниз, К. повредил себе колено, с трудом доковылял до дому, но на ограду он все-таки взобрался. Ощущение этой победы, как ему тогда казалось, будет всю жизнь служить ему поддержкой, и это было не так глупо: даже сейчас, через много лет, в снежную ночь, об руку с Варнавой, пришло оно на память.

Он крепче оперся на Варнаву — тот почти тащил его, оба не прерывали молчания. О пройденном пути К. мог судить только по состоянию дороги: ни в какие переулочки они не сворачивали. Он решил про себя, что любые трудности, даже страх обратного пути, не заставят его остановиться. Пусть его хоть волоком тащат — у него хватит сил выдержать и это. Неужели дороге нет конца? Днем Замок казался ему легко доступной целью, а посыльный, наверно, знает самый короткий путь туда.

Вдруг Варнава остановился. Где они? Разве дальше ходу нет? Может быть, Варнава хочет распрощаться с К.? Нет, это ему не удастся. К. так крепко вцепился в руку Варнавы, что ему самому стало больно. Или, может быть, случилось самое невероятное, и они уже пришли в Замок или стоят у его ворот! Но насколько К. понимал, они совсем не подымались в гору. Или Варнава провел его по другой, пологой дороге? "Где мы?" — спросил К. больше про себя, чем вслух. "Дома", — сказал Варнава так же тихо. "Дома?" — "Смотри не поскользнься, сударь, тут спуск". — "Спуск?" "Тут всего два-три шага", — добавил Варнава и уже стучал в дверь.

Им открыла девушка, и они очутились на пороге большой комнаты, почти в темноте — только над столом, слева в углу, висела крошечная керосиновая лампочка. "Кто это с тобой, Варнава?" — спросила девушка. "Землемер", — ответил тот. "Землемер", — громче повторила девушка, обращаясь к сидевшим за столом. Оттуда поднялись двое стариков — мужчина и женщина — и еще одна девушка. Они поздоровались с К. Варнава представил ему всех — это были его родители и его сестры, Ольга и Амалия. К. едва взглянул в их сторону. С него сняли мокрое пальто и повесили сушить у печки; К. не сопротивлялся.

Значит, они все не к цели пришли, просто Варнава вернулся к себе домой. Но зачем они зашли к нему? К. отвел Варнаву в сторону и спросил: "Зачем ты пришел домой? Или вы живете в пределах Замка?" "В пределах Замка", — повторил Варнава, словно не понимая, что говорит К. "Варнава, — сказал К. — ты же хотел из постоянного двора идти прямо в Замок". "Нет, сударь, — сказал Варнава, — я хотел идти домой, я только утром хожу в Замок, я там никогда не ночую". "Вот оно что, — сказал К., — значит, ты не собирался идти в Замок, ты шел сюда?" Улыбка Варнавы показалась ему бледнее, сам он — незначительней. "Почему же ты меня не предупредил?" "Да ты меня и не спрашивал, — сказал Варнава, — ты только хотел дать мне еще поручение, но не в общей комнате и не в своей каморке, вот я и подумал, что тут, у моих родителей, тебе никто не помешает передать мне все что надо. Сейчас они все выйдут, если ты прикажешь, а если тебе у нас больше нравится, ты и переночевать можешь тут. Разве я что-нибудь сделал не так?" К. ничего ответить не мог. Значит, все это обман, подлый, низкий обман, а К. так ему поддался. Околдовала его узкая, шелковистая куртка Варнавы, а сейчас тот расстегнул пуговицы, и снизу вылезла грубая, грязно-серая, латаная и перелатанная рубаха, обтягивавшая мощную, угловатую, костистую грудь батрака. И вся обстановка не только ничему не противоречила, но еще ухудшала впечат-

ление, и старый подагрик-отец, передвигавшийся скорее ощупью, при помощи рук, медленно шаркая окостеневшими ногами, и мать со сложенными на груди руками, еле-еле семенившая мелкими шажками из-за невероятной своей толщины. Оба они — и отец и мать — сразу, как только К. вошел, двинулись ему навстречу, но все еще никак не могли подойти поближе. Обе сестры — блондинки, похожие друг на друга и на Варнаву, только грубее чертами лица, высокие плотные девки — обступили пришедших, дожидаясь хоть какого-нибудь приветствия от К. Но он ничего не мог выговорить: ему казалось, что тут, в Деревне, каждый человек что-то для него значил, да, наверно, так оно и было, и только эти люди никак его не касались. И если бы он мог самостоятельно найти дорогу на постоянный двор, он тотчас же ушел бы отсюда. Его никак не привлекала возможность пойти в Замок с Варнавой утром. Он хотел бы проникнуть туда вместе с Варнавой незаметно, ночью, да и с тем Варнавой, каким он ему раньше казался, с человеком, который был ему ближе всех, кого он до сих пор здесь встречал, и о котором он, кроме того, думал, будто он, вопреки своей скромной с виду должности, тесно связан с замком. Но с членом подобного семейства, с которым он так неотъемлемо был связан — он уже сидел с ним за столом, — с человеком, которому явно не разрешалось даже ночевать в замке, с ним об руку, среди бела дня явиться в Замок было немыслимо — смешное, безнадежное предприятие.

К. присел на подоконник, решив провести так всю ночь и вообще никаких услуг от этого семейства не принимать. Жители Деревни, которые его прогоняли или испытывали перед ним страх, казались ему гораздо менее опасными: они, в сущности, предоставляли его самому себе и тем помогали внутренне собрать все свои силы, но такие мнимые помощники, которые, вместо того чтобы отвести его в Замок, слегка замаскировавшись, вели к себе домой, такие люди его сбивали с пути, волей или неволей подтачивали его силы. На приглашение сесть к семейному столу К. не обратил внимания и, опустив голову, остался на своем подоконнике.

Тогда Ольга, более мягкая из сестер, даже с некоторой девичьей робостью, встала и, подойдя к К., попросила его к столу. Хлеб и сало уже нарезаны, пиво она сейчас принесет. "Откуда?" — спросил К. "Из трактира", — сказала она. К. обрадовался случаю. Он попросил ее не приносить пива, а просто проводить его до постоянного двора, у него там осталась важная работа. Однако выяснилось, что она собирается идти не так далеко, не на его постоянный двор, а в другую, гораздо более близкую гостиницу "Господский двор". Но К. все же попросил ее проводить его, быть может, подумал он, там найдется место переночевать: какое бы оно ни было, он предпочел бы его самой лучшей кровати в этом доме. Ольга ответила не сразу и оглянулась на стол. Ее брат встал, кивнул с готовностью и сказал: "Что же, если господину так угодно!" Это согласие едва не заставило К. отказаться от своей просьбы: если Варнава соглашается, значит, это бесполезно. Но когда начали обсуждать, впустят ли К. вообще в гостиницу, и все высказали сомнение, К. стал настойчиво просить взять его с собой, даже не стараясь выдумать благовидный предлог для такой просьбы, — пусть это семейство принимает его таким, какой он есть, он почему-то их совсем не стеснялся. Немного сбивала его только Амалия своим серьезным, прямым, неуступчивым, даже чуть туповатым взглядом. Во время недолгой дороги к гостинице — К. вцепился в Ольгу, иначе он не мог, и она его почти тащила, как раньше тянул ее брат, — он узнал, что

на гостиница, в сущности, предназначена только для господ из Замка, когда дела приводят их в Деревню, они там обедают, а иногда и ночуют. Ольга говорила с К. тихо и как бы доверительно, было приятно идти с ней, почти как раньше с ее братом. И хотя К. не хотел поддаваться этому радостному ощущению, но отделаться от него не мог.

3

Фрида

Гостиница была внешне очень похожа на постоялый двор, где остановился К. Видно, в Деревне вообще больших внешних различий ни в чем не делали, но какие-то мелкие различия замечались сразу — крыльцо было с перилами, над дверью висел красивый фонарь. Когда они входили, над ними затрепетал кусок материи — это было знамя с графским гербом. И прихожей они сразу натолкнулись на хозяина, обходившего, как видно, помещения: своими маленькими глазками то ли сонно, то ли пристально он мимоходом оглядел К и сказал: "Господину землемеру разрешается входить только в буфет". "Конечно, — сказала Ольга, тут же вступаясь за К., — он только провожает меня". Но неблагодарный К. отнял руку у Ольги и отвел хозяина в сторону. Ольга терпеливо осталась ждать в углу прихожей. "Я бы хотел здесь переночевать", — сказал К. "К сожалению, это невозможно, — сказал хозяин, — вам, очевидно, ничего не известно. Гостиница предназначена исключительно для господ из Замка". "Может быть, так же предписание, — сказал К. — но пристроить меня на ночь где-нибудь в уголке, наверно, можно". "Я был бы чрезвычайно рад пойти вам навстречу, — сказал хозяин. — Но, не говоря уже о строгости предписания, в котором вы судите как посторонний человек, выполнить вашу просьбу невозможно еще потому, что господа из Замка чрезвычайно щепетильны, и я убежден, что один вид чужого человека, особенно без предупреждения, будет им невыносим. Если я вам позволю тут переночевать, а вас случайно — ведь случай всегда держит сторону господ — увидят тут, то не только я пропал, но и вы сами тоже. Звучит нелепо, но это чистая правда". Этот высокий, застегнутый на все пуговицы человек, который, уперев одну руку в стену, а другую в бок, скрестив ноги и слегка наклонившись к К., разговаривал с ним так доверительно, казалось, не имел никакого отношения к Деревне, хотя его темная одежда походила на праздничное платье крестьянина. "Я вам вполне верю, — сказал К., — да и важность предписания я никак не преуменьшаю, хотя и выразился несколько некорректно. Но я хотел бы обратить ваше внимание только на одно: у меня в Замке значительные связи, и они вскоре станут еще значительнее, а это вас защитит от опасности, которая может возникнуть из-за моей ночевки тут, и мои знакомства вам порукой в том, что я в состоянии полностью оплатить за любую, хотя бы мелкую услугу". "Знаю, — сказал хозяин и повторил еще раз: — Это я знаю". К. уже хотел уточнить свою просьбу, но слова хозяина сбили его, и он только спросил: "А много ли господ из Замка ночует сегодня у вас?" "В этом отношении сегодня удачный день, — сказал хозяин как-то задумчиво, — сегодня остался только один господин". Но К. все еще не решался настаивать, хотя надеялся, что его уже почти приняли, и он только осведомился о фамилии господина из Замка. "Вламм", — сказал хозяин мимоходом и обернулся навстречу своей жене,

которая выпыла, шумя очень поношенным, старомодным платьем, перегруженное множеством рюшей и складок, платье все же выглядело вполне нарядно, оно было городского покроя. Она пришла за хозяином — господином начальником что-то желает ему сказать. Уходя, хозяин обернулся к К., словно решать вопрос о ночевке должен не он, а сам К. Но К. ничего не мог ему сказать, он совершенно растерялся, узнав, что именно его начальник оказался тут. Не отдавая себе отчета, он чувствовал себя гораздо более связанным присутствием Кламма, чем предписаниями Замка. К. вовсе не боялся быть тут пойманным в том смысле, как это понимал хозяин, но для него это было бы неприятной бестактностью, как если бы он из легкомыслия обидел человека, которому он обязан благодарностью; вместе с тем его очень удручало, что в этих его колебаниях уже явно сказывалось столь пугавшее его чувство подчиненности, зависимости от работодателя и что даже тут, где это ощущение было таким отчетливым, он никак не мог его побороть. Он стоял, кусая губы, и ничего не говорил. Прежде чем исчезнуть за дверью, хозяин еще раз обернулся и взглянул на К. Тот посмотрел ему вслед, не двигаясь с места, пока не подошла Ольга и не потянула его за собой. "Что тебе понадобилось от хозяйина?" — спросила Ольга. "Хотел здесь переночевать", — сказал К. "Но ведь ты ночуешь у нас?" — удивилась Ольга. "Да, конечно", — сказал К. и предоставил ей самой разобраться в смысле этих слов.

В буфете — большой, посредине совершенно пустой комнате — у стен около пивных бочек и на них сидели крестьяне, но совершенно другие, чем на постоялом дворе, где остановился К. Они были одеты чище, в серо-желтых, грубой ткани платьях, с широкими куртками и облегающими штанами. Все это были люди небольшого роста, очень похожие с первого взгляда друг на друга, с плоскими, костлявыми, но румяными лицами. Сидели они спокойно, почти не двигаясь, и только неторопливым и равнодушным взглядом следили за вновь пришедшими. И все же оттого, что их было так много, а кругом стояла такая тишина, они как-то действовали на К. Он снова взял Ольгу под руку, как бы объясняя этим свое появление здесь. Из угла поднялся какой-то мужчина, очевидно знакомый Ольги, и хотел к ней подойти, но К., прижав ее руку, повернул ее в другую сторону. Никто, кроме нее, этого не заметил, а она не противилась и только с улыбкой покосилась в сторону.

Пиво разливала молоденькая девушка по имени Фрида. Это была невзрачная маленькая блондинка, с печальными глазами и запавшими щеками, но К. был поражен ее взглядом, полным особого превосходства. Когда ее глаза остановились на К., ему показалось, что она этим взглядом уже разрешила многие вопросы, касающиеся его. И хотя он сам и не подозревал об их существовании, но ее взгляд убеждал его, что они существуют. К. все время смотрел на Фриду издалека, даже когда она заговорила с Ольгой. Дружбы между Ольгой и Фридой явно не было, они только холодно обменялись несколькими словами. К. хотел их подбодрить и потому непринужденно спросил: "А вы знаете господина Кламма?" Ольга вдруг расхохоталась. "Чего ты смеешься?" — раздраженно спросил К. "Вовсе я не смеюсь", — сказала она, продолжая хохотать. "Ольга еще совсем ребенок", — сказал К. и перегнулся через стойку, чтобы еще раз поймать взгляд Фриды. Но она опустила глаза и тихо сказала: "Хотите видеть господина Кламма?" К. спросил, как это сделать. Она показала на дверь тут же, слева от нее. "Тут есть глазок, можете через него посмотреть". "А что скажут эти люди?" — спросил К., но она только презри-

только выдвинула нижнюю губку и необычайно мягкой рукой потянула К. двери. И через маленький глазок, явно сделанный для наблюдения, он увидел почти всю соседнюю комнату.

За письменным столом посреди комнаты в удобном кресле с круглой спинкой сидел, ярко освещенный висящей над головой лампой, господин Кламм. Это был толстый, среднего роста, довольно неуклюжий господин. Лицо у него было без морщин, но щеки под тяжестью лет уже немного обвисли. Черные усы были вытянуты в стрелку. Криво насаженное пенсне поблескивало, закрывая глаза. Если бы Кламм сидел прямо у стола, К. видел бы только его профиль, но, так как Кламм резко повернулся в его сторону, он смотрел прямо ему в лицо. Левым локтем Кламм опирался о стол, правая рука с зажатою в ней сигарой покоилась на колене. На столе толл бокал с пивом, но у стола был высокий бортик, и К. не мог разглядеть, лежали ли там какие-нибудь бумаги, но ему показалось, что там ничего нет. Для пущей уверенности он попросил Фриду заглянуть в глазок и сказать ему, что там лежит. Но она и без того подтвердила ему, что никаких бумаг там нет, она только недавно заходила в эту комнату. К. спросил Фриду, не уйти ли ему, но она сказала, что он может смотреть сколько ему угодно. Теперь К. остался с Фридой наедине. Ольга, как он заметил, пробралась к своему знакомому и теперь сидела на бочке, болтая ногами. Фрида, — шепотом спросил К., — вы очень хорошо знакомы с господином Кламмом?" "О да! — сказала она. — Очень хорошо". Она наклонилась к К. и игриво, как показалось К., поправила свою легкую, открытую кремовую блузку, словно с чужого плеча попавшую на ее жалкое тельце. Потом она сказала: "Вы помните, как рассмеялась Ольга?" "Да, она плохо воспитана", — сказал К. "Ну, — сказала Фрида примирительно, — у нее были основания для смеха. Вы спросили, знаю ли я Кламма, а ведь я... — И она невольно выпрямилась, и снова ее победный взгляд, совершенно не соответствующий их разговору, остановился на К. — Ведь я его любовница". "Любовница Кламма?" — сказал К., и она кивнула. "О, тогда вы для меня... — И К. улыбнулся, чтобы не вносить излишнюю серьезность в их отношения. — Вы для меня важная персона". "И не только для вас", — сказала Фрида любезно, но не отвечая на его улыбку. Однако К. нашел средство против ее высокомерия. "А вы уже были в Замке?" — спросил К. Это не подействовало, потому что она сказала: "Нет, не была, но разве мало того, что я работаю здесь в буфете?" Честолюбие у нее было непростое, и, как ему показалось, она хотела его удовлетворить именно через К. "Верно, — сказал К., — вы тут в буфете, должно быть, работаете хозяйка". "Безусловно, — сказала она, — а ведь сначала я была скотницей на постоялом дворе «У моста»". "С такими нежными ручками?" — сказал К. полувопросительно, сам не зная, хочет ли он ей польстить или на самом деле очарован ею. Руки у нее и вправду были маленькие и нежные, хотя можно было их назвать и слабыми и невыразительными. "Тогда на них никто не обращал внимания, — сказала она, — и даже теперь..." К. вопросительно посмотрел на нее, но она только тряхнула головой и ничего больше не сказала. "Конечно, — сказал К., — у вас есть свои секреты, но не давайте же вы делиться ими с человеком, с которым вы всего полчаса как познакомились, да и у него еще не было случая рассказать вам все о себе". На это замечание, как оказалось, было не совсем удачным: оно словно пробудило Фриду из какого-то оцепенения, выгодного для К. Она тут же вынула из кожаного кармашка, висевшего на поясе, круглую затычку, заткнула глазок и сказала К., явно стараясь не показывать ему перемену

в отношении: "Что касается вас, я все знаю. Вы землемер. — И добавила: А теперь мне надо работать". И пошла на свое место за стойкой, куда уже подходили то один, то другой из посетителей, прося ее наполнить пустую кружку. К. хотел незаметно переговорить с ней еще раз, поэтому он взял со стойки пустую кружку и подошел к ней. "Еще одно слово, фройляйн Фрида, — сказал он. — Ведь это необыкновенное достижение — и какая нужна сила воли, чтобы из простой батрачки стать буфетчицей, — но разве для такого человека, как вы, этим достигнута окончательная цель? Впрочем, я зря спрашиваю. По вашим глазам, фройляйн Фрида, пожалуй, не смеетесь надо мной, видна не только прошлая, но и будущая борьба. Но в мире столько препятствий, и чем выше цель, тем препятствия труднее, и нет ничего зазорного, если вы обеспечите себе помощь человека хоть и незначительного, невлиятельного, но тоже ведущего борьбу. Может быть, мы могли бы с вами поговорить спокойно, наедине, а то смотрите, как все на нас устались". "Не понимаю, что вам от меня нужно, — сказала она, и в ее голосе против воли зазвучала не радость жизненных побед, а горечь бесконечных разочарований. — Уж не хотите ли вы отбить меня у Кламма? О господи!" И она всплеснула руками. "Вы меня разгадали, — сказал К., словно ему наскучило вечное недоверие, — именно таков был мой тайный замысел. Вы должны бросить Кламма и стать моей любовницей. Что ж, теперь я могу уйти. Ольга! — крикнул К. — Идем домой!" Ольга послушно скользнула на пол с бочонка, но ее тут же окружили приятели и не отпускали. Вдруг Фрида сказала тихо, угрожающе посмотрев на К.: "Когда же я могу с вами поговорить?" "А мне можно тут переночевать?" — спросил К. "Да", — сказала Фрида. "Значит, можно остаться?" — "Выйдите с Ольгой, чтобы я могла убрать этих людей. Потом можете вернуться". "Хорошо", — сказал К., в нетерпении поджидая Ольгу. Но крестьяне не выпускали ее, они затеяли пляску, окружив Ольгу кольцом; под выкрики, по очереди высказывая из круга, крепко обнимали ее за талию и несколько раз кружили на месте; хоровод несясь все быстрее, крики, жадные, хриплые, сливались в один. Сначала Ольга со смехом пыталась прорваться сквозь круг, но теперь, с растрепанными волосами, только перелетала из рук в руки. "Вот каких людей ко мне посылают!" — сказала Фрида, сердито покусывая тонкие губы. "А кто они такие?" — спросил К. "Слуги Кламма, — ответила Фрида. — Вечно он приводит их за собой, а я так расстраиваюсь. Сама не знаю, о чем я сейчас с вами говорю, господин землемер, и если что не так — простите меня, и все из-за этих людей. Никого хуже, отвратительнее я не знаю, и такому сброду я вынуждена подавать пиво. Сколько раз я просила Кламма оставлять их дома, уж если мне приходится терпеть слуг всех других господ, то хотя бы он мог бы меня уважать, но никакие просьбы не помогают, за час до его прихода они врываются сюда, как скотина в хлев. Но сейчас я их прогоню на конюшню — там им и место. Если бы вас тут не было, я бы сейчас же распахнула эти двери — пусть Кламм сам их выгоняет". "А разве он ничего не слышит?" — спросил К. "Нет, — сказала Фрида. — Он спит". "Как? — воскликнул К. — Спит? Но когда я заглядывал в комнату, он сидел за столом и вовсе не спал". "А он всегда так сидит, — сказала Фрида. — Когда вы на него смотрели, он уже спал. Разве я иначе позволила бы вам туда заглядывать? Он часто спит в таком положении, вообще эти господа много спят, даже непонятно почему. Впрочем, если бы он столько не спал, как бы он мог вытерпеть этих людишек? Теперь мне самой придется их выгонять". Она взяла кнут из угла и одним прыжком, неуверенно

ным, но высоким — так прыгают барашки, — подскочила к плясавшим. Сначала они решили, что прибавилась еще одна танцовка, и вправду было похоже, будто Фрида сейчас бросит кнут, но она его сразу подняла вверх. "Именем Кламма! — крикнула она. — На конюшню! Все — на конюшню!" Тут они поняли, что с ними не шутят: в непонятном для К. страхе отступили назад, под чьим-то толчком там открылись двери, повеяло ночным воздухом, и все исчезли вместе с Фридой, которая, очевидно, загоняла их через двор на конюшню.

Во внезапно наступившей тишине К. вдруг услышал шаги в прихожей. Ища укрытия, К. метнулся за стойку — единственное место, где можно было спрятаться. Правда, ему не запрещалось находиться в буфете, но так как он тут собирался переночевать, то не стоило попадаться кому-нибудь на глаза. Поэтому, когда дверь действительно открылась, он нырнул под стойку. И хотя там ему тоже грозила некоторая опасность быть замеченным, но все-таки можно было довольно правдоподобно оправдаться тем, что он спрятался от разбушевавшихся крестьян. Вошел хозяин. "Фрида!" — крикнул он и стал ходить взад и вперед по комнате.

К счастью, Фрида скоро вошла, ни словом не упомянув о К., пожаловалась на слуг, а потом прошла за стойку, надеясь там найти К. Он дотронулся до ее ноги и почувствовал себя в безопасности. Так как Фрида ничего о К. не сказала, о нем заговорил хозяин. "А где же землемер?" — спросил он. По всей видимости, он вообще был человек вежливый, с хорошими манерами, благодаря постоянному и сравнительно свободному общению с вышестоящими господами, но с Фридой он говорил особо почтительным тоном, и это бросалось в глаза, потому что он продолжал оставаться работодателем, а она его служанкой, хотя, надо сказать, весьма дерзкой служанкой. "Про землемера я совсем забыла, — сказала Фрида и поставила свою маленькую ножку на грудь К. — Наверно, он давным-давно ушел". "Но я его не видел, — сказал хозяин, — хотя все время стоял в передней". "А здесь его нет", — холодно сказала Фрида. "Может быть, он спрятался, — сказал хозяин. — Судя по его виду, от него можно ждать чего угодно". "Ну, на это у него смелости не хватит", — сказала Фрида и крепче прижала К. ногой. Что-то в ней было веселое, вольное, чего К. раньше и не заметил, и все это вспыхнуло еще неожиданней, когда она внезапно проговорила со смехом: "А вдруг он спрятался тут, внизу?" — Наклонилась к К., чмокнула его мимоходом и, вскочив, сказала с огорчением: — Нет, тут его нету". Но и хозяин удивил К., когда вдруг сказал: "Мне очень неприятно, что я не знаю наверняка, ушел он или нет. И дело тут не только в господине Кламме, дело в предписании. А предписание касается и вас, фройляйн Фрида, так же, как и меня. За буфет отвечаете вы, остальные помещения я обещаю сам. Спокойной ночи! Приятного сна". Не успел он уйти из комнаты, как Фрида уже очутилась под стойкой, рядом с К. "Мой миленький! Сладкий мой!" — зашептала она, но даже не коснулась К.; словно обессилив от любви, она лежала на спине, раскинув руки; видно, в этом состоянии счастливой влюбленности время ей казалось бесконечным, и она скорее зашептала, чем запела какую-то песенку. Вдруг она встрепенулась — К. все еще лежал неподвижно, погруженный в свои мысли, — и стала по-ребячески теревить его: "Иди же, здесь внизу можно задохнуться!" Они обнялись, маленькое тело горело в объятиях у К.; в каком-то тумане, из которого К. все время безуспешно пытался выбраться, они прокатились несколько шагов, глухо ударились о двери

Кламма и затихли в лужах пива и среди мусора на полу. И потекли часы, часы общего дыхания, общего сердцебиения, часы, когда К. непрерывно ощущал, что он заблудился или уже так далеко забрел на чужбину, как до него не забредал ни один человек, — на чужбину, где самый воздух состоял из других частиц, чем дома, где можно было задохнуться от этой отчужденности, но ничего нельзя было сделать с ее бессмысленными соблазнами — только уходить в них все глубже, теряться все больше. И потому, по крайней мере в первую минуту, не угрозой, а, скорее, утешительным проблеском показался ему глубокий, повелительно-равнодушный голос, позвавший Фриду из комнаты Кламма. "Фрида", — сказал К. ей на ухо, словно передавая зов. С механическим, уже как бы врожденным послушанием Фрида хотела вскочить, но тут же опомнилась, сообразив, где она находится, потянулась, тихо засмеялась и сказала: "Да разве я к нему пойду, никогда я к нему больше не пойду!" К. хотел ее отговорить, хотел заставить ее пойти к Кламму, стал даже собирать обрывки ее блузки, но сказать ничего не мог — слишком он был счастлив, держа Фриду в объятиях, слишком счастлив и слишком перепуган, потому что ему казалось: уйти от него Фрида — и уйдет все, что у него есть. И, словно чувствуя поддержку К., Фрида вдруг сжала кулак, постучала в дверь и крикнула: "А я с землемером! А я с землемером!" Кламм, конечно, сразу замолчал. Но К. встал, опустился возле Фриды на колени и оглядел комнату в тусклом предрассветном полумраке. Что случилось? Где его надежды? Чего мог он теперь ждать от Фриды, когда она так его выдала? Вместо того чтобы идти вперед осторожно, как того требовала значительность врага и цели, он целую ночь провалился в пивных лужах — теперь от воня кружилась голова. "Что ты наделала? — сказал он вполголоса. — Теперь мы оба пропали". "Нет, — сказала Фрида, — пропала только я одна, зато я тебя заполучила. Не беспокойся. Ты только посмотри, как эти двое смеются". "Кто?" — спросил К. и обернулся. На стойке сидели оба его помощника, немного сонные, но веселые; так весело бывает людям, честно выполнившим свой долг. "Чего вам тут надо?" — закричал на них К., словно они во всем виноваты. Он оглянулся, ища кнут, который вечером был у Фриды. "Должны же мы были найти тебя, — сказали помощники, — вниз к нам ты не пришел, тогда мы пошли искать тебя у Варнавы и наконец нашли вот тут. Пришлось просидеть здесь целую ночь. Да, служба у нас не из легких". "Вы мне днем нужны, а не ночью, — сказал К. — Убирайтесь!" "А теперь уже день", — сказали они, не двигаясь с места. И действительно, уже наступил день, двери открылись, крестьяне вместе с Ольгой, о которой К. совсем забыл, ввалились в буфет. Ольга была оживлена, как вечером, и, хотя и одежда и волосы у нее были в плачевном состоянии, она уже у дверей стала искать глазами К. "Почему ты со мной не пошел к нам? — спросила она чуть ли не со слезами. — Да еще из-за такой бабенки!" — добавила она и повторила эту фразу несколько раз. Фрида, исчезнувшая на минутку, вошла с небольшим узелком белья. Ольга печально стояла в стороне. "Ну, теперь мы можем идти", — сказала Фрида. Было понятно, что она говорит о постоялом дворе "У моста" и собирается идти именно туда. К. встал рядом с Фридой, за ним — оба помощника. В таком порядке двинулись. Крестьяне с презрением смотрели на Фриду, что было вполне понятно — слишком строго она с ними обходилась до сих пор. Один даже взял палку и сделал вид, что не пропустит ее, если она не перепрыгнет через эту палку, но достаточно было одного ее взгляда, чтобы его отогнать. Выйдя на заснеженную улицу, К. облегченно вздохнул. Та-

как это было счастье — оказаться на свежем воздухе, что даже дорога показалась более сносной; а если бы К. снова очутился тут один, было бы еще лучше. Придя на постоянный двор, он сразу поднялся в свою каморку и лег на кровать, а Фрида постелила себе рядом, на полу. Вслед за ними в комнату проникли и помощники, их прогнали, но они влезли в окошко. К. слишком устал, чтобы еще раз их выгнать. Хозяйка собственной персоной поднялась наверх, чтобы поздороваться с Фридой, та ее называла "мамашей"; начались непонятно-восторженные приветствия с поцелуями и долгими объятиями. Вообще покоя в этой каморке не было, то и дело сюда забегали служанки, громко топая мужскими сапогами, что-то приносили, что-то уносили. А когда им нужно было что-то достать из битком набитой кровати, они бесцеремонно вытаскивали вещи из-под лежавшего там К. С Фридой они поздоровались как со своей. Все же, несмотря на беспокойство, К. пролежал весь день и всю ночь. Фрида ухаживала за ним. Когда он наконец встал на следующее утро, освеженный и отдохнувший, уже пошел четвертый день его пребывания в Деревне.

4

Первый разговор с хозяйкой

Он охотно поговорил бы с Фридой наедине, но помощники, с которыми, кстати, и Фрида то и дело перешучивалась и пересмеивалась, своим назойливым присутствием мешали ему. Спору нет, они были нетребовательными, пристроились в уголочке, на двух старых женских юбках. Как они все время говорили Фриде, для них это дело чести — не мешать господину землемеру и занимать как можно меньше места, поэтому они все время, правда с хихиканьем и сюсюканьем, пробовали пристроиться потеснее, сплетались руками и ногами, скорчившись так, что в сумерках в углу виднелся только один большой клубок. К. сожалению, днем становилось ясно, что они весьма внимательные наблюдатели и все время следят за К., даже когда они, словно в детской игре, приставляли к глазам сложенный кулак в виде подозрительной трубы и выкидывали всякие другие штуки или, мельком поглядывая на К., занимались своими бородами — ими, как видно, очень ими гордились и непрерывно сравнивали, чья длиннее и гуще, призывая Фриду в судьи.

К. поглядывал, лежа на кровати, на возню всех троих с полным равнодушием.

Теперь, когда он почувствовал себя окрепшим и решил встать с постели, все трое наперебой начали за ним ухаживать. Но он еще не настолько окреп, чтобы сопротивляться их услугам. И хотя он понимал, что это ставит его в какую-то зависимость от них и может плохо кончиться, он ничего не мог поделать. Да и не так уж неприятно было пить вкусный кофе, принесенный Фридой, греться у печки, которую истопила Фрида, и посылать полных рвения помощников неуклюже бегать взад и вперед по постылке за водой для умывания, за мылом, гребенкой и зеркалом и даже, кольку К. об этом обмолвился, за рюмочкой рому.

И вот в то время, когда его обслуживали, а он командовал, К. вдруг сказал, больше от хорошего настроения, чем в надежде на успех: "А теперь уходите-ка вы оба, мне пока ничего не нужно, и я хочу поговорить с Фройляйн Фридой наедине". И, увидев по их лицам, что они особенно

сопротивляться не станут, добавил им в утешение: "А потом мы все втроем отправимся к старосте, подождите меня внизу". К его удивлению, они послушались, только, уходя, сказали: "Мы могли бы и здесь подождать", на что К. ответил: "Знаю, но не хочу".

К. не понравилось, но в каком-то смысле и обрадовало то, что Фрида, сразу после ухода помощников севшая к нему на колени, сказала: "Милый, а почему ты так настроен против помощников? У нас не должно быть от них секретов, они люди верные". "Ах, верные! — сказал К. — Да они же все время за мной подглядывают, это бессмысленно и гнушно". "Кажется, я тебя понимаю", — сказала она и крепче обхватила его шею, хотела что-то сказать, но не смогла, и, так как стул стоял у самой кровати, они оба, покачнувшись, перекатились туда. Они лежали вместе, но уже не в той одержимости, что прошлой ночью. Чего-то искала она, и чего-то искал он, бешено, с искаженными лицами, вжимая головы в грудь друг друга, но их объятия, их вскидывающиеся тела не приносили им забвения, еще больше напоминая, что их долг — искать; и как собаки неистово роются в земле, так зарывались они в тела друг друга и беспомощно, разочарованно, чтобы извлечь хоть последний остаток радости, пробегали языками друг другу по лицу. Только усталость заставила их благодарно затихнуть. И тогда снова вошли служанки. "Гляди, как они тут разлеглись!" — сказала одна и прикрыла их из жалости платком.

Когда К. немного погода высвободился из-под платка и оглянулся, его ничуть не удивило, что в своем углу уже сидели его помощники и, указывая пальцами на К., одергивая друг друга, салютовали ему; кроме того, у самой кровати сидела хозяйка и вязала чулок; эта мелкая работа никак не шла к ее необъятной фигуре, почти затемняющей свет в комнате. "Я уже долго жду", — сказала она, подняв широкое, изрезанное многими старческими морщинами, но все же при всей массивности еще свежее и, вероятно, в прошлом красивое лицо. В ее словах звучал упрек, совершенно неуместный по той причине, что К. ее сюда вовсе и не звал. Он ответил на ее слова коротким кивком и поднялся с кровати. Встала и Фрида и, отойдя от К., прислонилась к стулу хозяйки. "А нельзя ли, госпожа хозяйка, — рассеянно сказал К., — отложить наш разговор; подождите, пока я вернусь от старосты. Мне с ним надо обсудить важные дела". "Это дело еще важнее, поверьте мне, господин землемер, — сказала хозяйка, — там дело касается работы, а тут — человека, Фриды, моей милой служаночки". "Ах так, — сказал К. — Ну, тогда конечно. Только не понимаю, отчего бы не предоставить это дело нам с нею". "Оттого, что я ее люблю, забочусь о ней", — сказала хозяйка и притянула к себе голову Фриды: та, стоя, доставала только до плеча сидящей хозяйки. "Раз Фрида так вам доверяет, — сказал К., — то придется и мне. И так как Фрида только сейчас назвала моих помощников верными людьми, значит, мы тут все друзья. Так вот, хозяйка, должен вам сказать, что, по-моему, лучше всего нам с Фридой пожениться, причем как можно скорее. Жаль, очень жаль, что я никак не смогу возместить Фриде то, что она из-за меня потеряла, — и место в гостинице, и покровительство Кламма". Фрида подняла голову, глаза у нее наполнились слезами, от победного выражения не осталось и следа. "Почему я? Почему именно мне это выпало на долю?" "Что?" — в один голос спросили К. и хозяйка. "Растерялась бедная девочка, — сказала хозяйка, — растерялась, столько счастья и столько горя сразу!" И словно в подтверждение ее слов Фрида бросилась на К., осыпая его безумными поцелуями, будто в комнате никого не было, и, прижимаясь к нему, разрыдалась и

упала перед ним на колени. И в то время, как К. обеими руками гладил Фриду по голове, он спросил хозяйку: "Вы, кажется, меня оправдываете?" "Вы честный человек, — сказала хозяйка, тоже со слезами в голосе; вид у нее был расстроенный, и она тяжело дышала, однако нашла в себе силы добавить: — Теперь надо только обдумать, какие гарантии вы должны дать Фриде, ведь, как бы я вас ни уважала, все-таки вы чужой человек, послаться вам не на кого, ваше семейное положение нам неизвестно. Значит, дорогой мой господин землемер, вы должны понять, что гарантии необходимы, ведь вы сами подчеркнули, как много Фрида все же теряет от связи с вами". "Разумеется, гарантии, конечно, — сказал К. — И вероятно, правильное всего будет заверить их у нотариуса, впрочем, в это, быть может, вмешаются и другие учреждения графской службы. Впрочем, мне необходимо до свадьбы закончить еще кое-какие дела. Мне надо переговорить с Кламмом". "Это невозможно! — сказала Фрида, привставая и ропче прижимаясь к К. — Что за странная мысль!"

"Нет, это необходимо, — сказал К., — и если я сам не смогу этого добиться, то тебе придется помочь". "Не могу, К., не могу, — сказала Фрида, — никогда Кламм с тобой разговаривать не станет. И как ты только можешь подумать, что Кламм будет с тобой говорить!" "А с тобой он станет разговаривать?" — спросил К. "Тоже нет, — сказала Фрида, — ни со мной, ни с тобой. Это совершенно невозможно. — Она обернулась к хозяйке, разводя руками: — Подумайте, хозяйка, чего он требует". "Странный вы человек, господин землемер, — сказала хозяйка, и страшно было смотреть, как она вдруг выпрямилась на стуле, расставив ноги, и мощные колени проступили сквозь тонкую юбку. — Вы требуете невозможного". "А почему это невозможно?" — спросил К. "Сейчас я вам все объясню, — сказала хозяйка таким тоном, словно она не последнее одолжение делает человеку, а уже налагает на него первое взыскание. — Сейчас я вам с удовольствием все объясню. Конечно, я не имею отношения к Замку, я только женщина, только хозяйка этого захудалого двора — возможно, что он не из самых захудалых, но недалеко ушел, — так что вы, может статься, моим словам никакого значения не придадите, но я всю жизнь смотрела на оба, со всякими людьми встречалась, всю тяжесть хозяйства вынесла на своих плечах — хоть муж у меня и славный малый, но хозяин он никуда не годный, и ему никак не понять, что такое ответственность. Вот вы, например, только благодаря его ротозейству — я в тот день устала до смерти — сидите у нас в Деревне, тут, на мягкой постели, в тепле и довольстве". "Как это?" — спросил К., очнувшись от некоторой рассеянности и волнуясь скорее от любопытства, чем от раздражения. "Да, только благодаря его ротозейству!" — снова повторила хозяйка, тыча в К. пальцем. Фрида попыталась ее успокоить. "Чего тебе? — сказала хозяйка, повернувшись к ней всем телом. — Господин землемер меня спросил, и я должна ему ответить. Иначе ему не понять то, что нам понятно само собой: господин Кламм никогда не будет с ним разговаривать, да что я говорю "не будет", — он не может с ним разговаривать. Слушайте, господин землемер! Господин Кламм — человек из Замка, и это уже само по себе, независимо от места, какое Кламм занимает, очень высокое звание. А что такое вы, от которого мы так униженно добиваемся согласия на брак? Вы не из Замка, вы не из Деревни. Вы ничто. Но, к несчастью, вы все же что-то, вы чужой, вы всюду лишний, всюду мешаете, из-за вас у всех постоянные неприятности, из-за вас пришлось выселять служанок, нам ваши измерения неизвестны, вы соблазнили нашу дорогую крошку, нашу Фри-

ду, — и теперь ей, к сожалению, придется выйти за вас замуж. Но я вовсе вас не упрекаю. Вы такой, какой вы есть; достаточно я в жизни всего насмотрелась, выдержу и это. А теперь, представьте себе, чего вы, в сущности, требуете. Такой человек, как Кламм, — и вдруг должен с вами разговаривать! Мне и то больно было слышать, что Фрида разрешила вам подсмотреть в глазок, видно, раз она на это пошла, вы ее уже соблазнили. А вы мне скажите, как вы вообще выдержали вид Кламма? Можете не отвечать, знаю — прекрасно выдержали. А это потому, что вы и не можете видеть Кламма как следует, нет, я вовсе не преувеличиваю, я тоже не могу. Хотите, чтобы Кламм с вами разговаривал, — да он даже с местными людьми из Деревни и то не разговаривает, никогда он сам еще не заговаривал ни с одним жителем Деревни. Для Фриды было большой честью — и я буду гордиться за нее до самой смерти, — что он окликал ее по имени и что она когда угодно могла к нему обращаться и даже получила разрешение пользоваться глазком, но разговаривать он с ней никогда не разговаривал. А то, что он иногда звал Фриду, вовсе не имеет того значения, какое люди хотели бы этому придать, просто он окликал ее: "Фрида", а зачем — кто его знает? И то, что Фрида тут же к нему бежала, — это ее дело; а то, что ее к нему допускали без возражений, — это уж добрая воля господина Кламма, никак нельзя утверждать, что он звал ее к себе. Правда, теперь и то, что было, кончено навсегда. Может случиться, что Кламм когда-нибудь и скажет: "Фрида!" Это возможно, но уж пустить ее, девчонку, которая с вами путается, к нему никто не пустит. И только одно, только одно не понять бедной моей голове — как девушка, о которой говорили, что она любовница Кламма — хотя я считаю, что это сильно преувеличено, — как она позволила вам дотронуться до себя?"

"Да, удивительное дело, — сказал К. и посадил Фриду к себе на колени, чему она не сопротивлялась, хотя и опустила голову, — но это, по моему, только доказывает, что все обстоит совсем не так, как вы себе представляете. С одной стороны, вы, конечно, правы, утверждая, будто я перед Кламмом ничто; но если я теперь и требую разговора с Кламмом и даже все ваши объяснения меня не отпугивают, то этим еще не сказано, что я смогу выдержать вид Кламма, когда между нами не будет двери, вполне возможно, что при одном его появлении я выскочу из комнаты. Но такие, хотя и вполне оправданные, опасения еще не основание для отказа от попытки добиться своего. И если мне удастся не оробеть перед ним, тогда вовсе не надо, чтобы он со мной разговаривал, достаточно будет и того, что я увижу, какое впечатление на него производят мои слова, а если никакого или он меня совсем не станет слушать, так я по крайней мере выиграю одно — то, что я без стеснения, свободно высказался перед одним из сильных мира сего. А вы, хозяйка, при вашем большом знании людей, при вашем жизненном опыте, и Фрида, которая еще вчера была любовницей Кламма — я не вижу никаких оснований избегать этого слова, вы обе, несомненно, можете легко найти для меня возможность встретиться с Кламмом, и если никак нельзя иначе, то надо пойти в гостиницу: может быть, он и сейчас еще там".

"Нет, это невозможно, — сказала хозяйка, — вижу, что вам просто соображения не хватает, никак не можете понять. Вы хоть скажите: о чем вы собираетесь говорить с Кламмом?" "О Фриде, конечно", — сказал К.

"О Фриде? — непонимающе повторила хозяйка и обратилась к Фриде: — Ты слышишь, Фрида? Он хочет о тебе говорить с Кламмом? С самим Кламмом?"

"Ах, — сказал К., — вы такая умная, достойная уважения женщина, и вдруг вас пугает всякий пустяк. Ну да, я хочу поговорить с ним о Фриде, и ничего в этом чудовищного нет, наоборот, это само собой разумеется. Искать вы и тут ошибаетесь, думая, что Фрида, с тех пор как я появился, потеряла для Кламмы всякий интерес. Думать так — значит недооценивать его. Я отлично знаю, что с моей стороны большая дерзость — поучать вас, но все же приходится. Из-за меня отношения Кламмы с Фридой никак измениться не могут. Либо между ними вообще никаких близких отношений не было — так, в сущности, считают те, которые отнимают у Фриды право на звание любовницы Кламмы, — тогда и сейчас никаких отношений нет, или же, если такие отношения существовали, то можно ли думать, что из-за меня, из-за такого, как вы правильно выразились, ничтожества в глазах Кламмы, они могли нарушиться? Только с перепугу, в первую минуту в это можно поверить, но стоит только поразмыслить, и все становится на место. Впрочем, дадим и Фриде высказать свое мнение".

Задумчиво глядя вдаль и прижавшись щекой к груди К., Фрида сказала: "Матушка, конечно, во всем права. Клямм обо мне больше и знать не желает. Но вовсе не из-за тебя, миленький мой, — такие вещи на него не действуют. Мне даже кажется, что только благодаря ему мы с тобой нашли друг друга, тогда, под стойкой, и я не проклинаю, а благословляю этот час". "Ну, если так, — медленно проговорил К. (ему сладко было слушать эти слова, и он даже прикрыл глаза, чтобы они проникли в самую душу), — ну, если так, значит, тем меньше у меня оснований бояться разговора с Кляммом".

"Ей-богу, — сказала хозяйка и посмотрела на К. сверху вниз, — иногда вы напоминаете моего мужа — такое же упрямство, такое же ребячество. Вы тут всего несколько суток, а уже хотите все знать лучше нас, местных, лучше меня, старой женщины, лучше Фриды, которая столько видела и слышала там, в гостинице. Не отрицаю, может быть, иногда и можно чего-то добиться, несмотря на все законы, на все старые обычаи; сама я никогда в жизни такого не видела, но говорят, есть примеры, всякое бывает; но уж конечно, добиваться этого надо не так, как вы, не тем, чтобы все время только и твердить: "Нет, нет, нет!" — только и пытаться жить своим умом и никаких добрых советов не слушать. Думаете, я о вас забочусь! Разве мне было до вас дело, когда вы были один? Кстати, лучше бы я тогда вмешалась, может быть, многого можно было бы избежать. Одно только я уже тогда сказала про вас своему мужу: "Держись от него подальше!" Я бы и сама вас избегала, если бы вы не связали судьбу Фриды со своей судьбой. Только ей вы должны быть благодарны — хотите или не хотите — за мою заботу, даже за мое уважение к вам. И вы не имеете права так просто отстранять меня, потому что передо мной, перед единственным человеком, который по-матерински заботится о маленькой Фриде, вы несете самую серьезную ответственность. Возможно, что Фрида права и что все совершилось по воле Кламмы, но о Клямме я сейчас ничего не знаю, никогда мне с ним говорить не придется, это для меня совершенно недоступно. А вы сидите тут, обнимаете мою Фриду, а вас самих — ничем скрывать? — держу тут я. Да, я вас держу, попробовали бы вы, молодой человек, если я вас выставлю из своего дома, найти пристанище где-нибудь в Деревне, хоть в собачьей будке".

"Спасибо, — сказал К. — Вы очень откровенны, и я верю каждому вашему слову. Значит, вот до чего непрочное у меня положение, и, значит,

положение Фриды тоже”.

”Нет! — сердито закричала на него хозяйка. — У Фриды совсем другое положение, ничего общего с вами тут у нее нет. Фрида — член моей семьи, и никто не смеет называть ее положение непрочным”.

”Хорошо, хорошо, — сказал К. — Пусть вы и тут правы, особенно потому, что Фрида по неизвестной мне причине слишком вас боится и вмешиваться не хочет. Давайте поговорим только обо мне. Мое положение чрезвычайно непрочно, этого вы не отрицаете, наоборот, всячески стараетесь доказать. Вы и тут, как и во всем, что вы сказали, по большей части правы, однако с оговорками. Например, я знаю место, где я мог бы отлично переночевать”.

”Где это? Где?” — в один голос закричали Фрида и хозяйка с таким пылом, словно у обеих была одинаковая причина для любопытства.

”У Варнавы!” — сказал К.

”У этих нищих! — крикнула хозяйка. — У этих опозоренных нищих! У Варнавы! Вы слышали? — И она обернулась к углу, но помощники уже вылезли оттуда и, обнявшись, стояли за хозяйкой, и та, словно ища поддержки, схватила одного из них за руку. — Слышали, с кем водится этот господин? С семьей Варнавы! Ну конечно, там ему устроит ночевку, ах, да лучше бы он там ночевал, чем в гостинице! А вы-то где были?”

”Хозяйка, — сказал К., не дав помощникам ответить, — это мои помощники, а вы с ними обращаетесь, будто они вам помощники, а мне сторожа. В остальном я готов самым вежливым образом обсуждать все ваши мнения, но это никак не касается моих помощников, тут все слишком ясно. Поэтому попрошу вас с моими помощниками не разговаривать, а если моей просьбы мало, то я запрещаю моим помощникам отвечать вам”.

”Значит, мне с вами нельзя разговаривать!” — сказала хозяйка, обращаясь к помощникам, и все трое засмеялись: хозяйка — ехидно, но гораздо снисходительней, чем мог ожидать К., а помощники — с обычным своим выражением, которое было и многозначительным, и вместе с тем ничего не значащим и показывало, что они снимают с себя всякую ответственность.

”Только не сердись, — сказала Фрида, — и пойми правильно, почему мы так взволнованы. Если угодно, мы с тобой только благодаря Варнаве и нашли друг друга. Когда я тебя первый раз увидела в буфете — ты вошел под ручку с Ольгой, — то хотя я кое-что о тебе уже знала, но ты мне был совершенно безразличен. Вернее, не только ты мне был совершенно безразличен, почти все, да все на свете мне было безразлично. Правда, я и тогда многим была недовольна, многое вызывало зlobу, но какое же это было недовольство, какая зlobа! Например, меня мог обидеть какой-нибудь посетитель в буфете — они вечно ко мне приставали, ты сам видел этих парней, но приводили и похуже, Кламмовы слуги были не самые плохие, ну и обижал меня кто-нибудь, а мне-то что? Мне казалось, что это случилось сто лет назад, или случилось вовсе не со мной, а кто-то мне об этом рассказывал, или я сама уже все позабыла. Нет, не могу описать, даже не могу сейчас представить себе, как оно было, — настолько все переменилось с тех пор, как Кламм меня бросил”.

Тут Фрида оборвала свой рассказ, печально склонила голову и сложила руки на коленях.

”Вот видите, — сказала хозяйка с таким выражением, будто говорит не от себя, а подает голос вместо Фриды; она пододвинулась поближе и

села вплотную к Фриде. — Вот видите, господин землемер, к чему привели ваши поступки, и пусть ваши помощники — ведь мне не разрешается с ними разговаривать, — пусть и для них это будет наукой! Фрида была счастлива, как никогда в жизни, и вы ее вырвали из этого состояния, но вам это удалось только потому, что Фрида по-детски все преувеличила и пожалела вас — ей было невыносимо видеть, как вы вцепились в руку Ольги и, значит, попали в лапы к семье Варнавы. Вас она спасла, а собой пожертвовала. А теперь, когда так случилось и Фрида отдала все, что у нее было, вы счастье сидеть у вас на коленях, теперь вы вдруг выкладываете как самый ваш главный козырь, что у вас, мол, была возможность переночевать у Варнавы! Видно, хотите показать, что вы от меня не зависите? Конечно, если бы вы и впрямь переночевали у Варнавы, так уж, наверно, перестали бы от меня зависеть — я бы вас вмиг, немедленно выставила из моего дома”.

”Никаких грехов я за семьей Варнавы не знаю, — сказал К. и, осторожно подняв Фриду, которая сидела как неживая, медленно усадил ее на кровать, а сам встал. — Может быть, тут вы и правы, но и я безусловно был прав, когда я просил вас предоставить нам с Фридой самим решать свои дела. Вы тут что-то упоминали о любви и заботе, но я-то их не заметил, больше тут было высказано ненависти, и насмешки, и угроз выставить меня из дому. Если вы задумали отпугнуть Фриду от меня или меня от Фриды, то вы ловко за это взялись, но думаю, что это вам не удастся, и если бы и удалось, то — разрешите и мне на этот раз, хоть и туманно, пригрозить вам — вы в этом горько раскаетесь. Что касается квартиры, которую вы мне предоставили, — ведь речь может идти только об этой отвратительной конуре? — то ничем не доказано, что вы это сделали по собственной воле, должно быть, вам были даны указания от графской канцелярии. Я туда и доложу, что вы мне отказали, а если мне укажут другое жилье, вы, наверно, вздохнете с большим облегчением, но я вздохну еще глубже. А теперь я отправляюсь к сельскому старосте — и по этому делу, и по другим делам; а вы, пожалуйста, хотя бы позаботьтесь о Фриде — смотрите, в какое состояние ее привели ваши, так сказать, материнские речи!”

И он повернулся к помощникам. ”Пошли!” — сказал он, снял письмо Кламмы с гвоздика и двинулся к выходу. Хозяйка смотрела на него молча и только, когда он уже взялся за дверную ручку, сказала: ”Господин землемер, хочу еще дать вам совет на дорогу, потому что, какие речи вы бы ни вели, как бы вы меня, старую женщину, ни обижали, вы все же будущий муж Фриды. Только потому я и говорю вам: вы находитесь в ужасающем неведении насчет наших здешних дел, просто голова кружится, когда вас слушаешь, когда мысленно сравниваешь ваши слова и ваши утверждения с истинным положением вещей. Сразу ваше непонимание не исправишь, а может, и вообще тут ничего не сделаешь, но будет лучше во многих отношениях, если вы хоть немного доверитесь мне и будете знать, что вы ничего не знаете. Тогда вы, к примеру, станете гораздо справедливее ко мне и хоть немного поймете, какой страх мне пришлось пережить — и до сих пор от него не избавлюсь, — когда я узнала, что моя милая крошечка оставила, можно сказать, орла и связалась со слепым кротом, причем ведь на самом деле все обстоит куда хуже, я только стараюсь об этом забыть, не то я не могла бы вымолвить ни слова. Ну вот вы опять сердитесь. Нет, не уходите, выслушайте хоть эту просьбу: куда бы вы ни пришли, помните, что вы тут самый несведущий человек, и будьте осторож-

ны: тут, у нас, где вас защищает от беды присутствие Фриды, можете болтать сколько вашей душе угодно, например, здесь можете изображать перед нами, как вы собираетесь разговаривать с Кламмом, но на самом деле, на самом деле — очень, очень вас прошу — не делайте этого!”

Она встала и, споткнувшись от волнения, подошла к К., схватила его за руку и умоляюще посмотрела на него. “Хозяйка, — сказал К., — не понимаю, почему из-за такого дела вы унижаетесь, просите меня. Если, как вы говорите, мне с Кламмом поговорить невозможно, значит, я этого и не добьюсь, просите меня или не просите. Но если это все же возможно, почему бы и не воспользоваться такой возможностью, тем более что тогда отпадут все ваши основные возражения и всякие ваши страхи будут малообоснованны. Да, конечно, я нахожусь в неведении, это правда, и для меня это очень печально, но есть тут и то преимущество, что человек в своем неведении действует смелее, а потому я охотно останусь при своем неведении и, пока есть силы, готов даже нести все дурные последствия, а их, наверно, не избежать. Но ведь эти последствия в основном коснутся только меня, вот почему мне особенно непонятны все ваши просьбы. О Фриде вы, несомненно, позаботитесь, а если я совсем исчезну из ее жизни, то, с вашей точки зрения, это для нее будет просто счастьем. Чего же вы тогда боитесь? Уж не боитесь ли вы, — К. открыл двери, — а при моей неосведомленности все кажется возможным, — уж не боитесь ли вы за Кламма?” Он торопливо сбежал по лестнице, за ним его помощники; хозяйка молча посмотрела ему вслед.

5

У старосты

К его собственному удивлению, предстоящий разговор со старостой мало беспокоил К. Он это объяснял себе тем, что до сих пор, как показал опыт, деловые отношения с графской администрацией складывались для него совсем просто. Происходило это оттого, что, по-видимому, в отношении него была издана определенная, чрезвычайно для него выгодная инструкция, а с другой стороны, все инстанции были удивительным образом связаны в одно целое, причем это особенно четко ощущалось там, где на первый взгляд такой связи не существовало. Думая об этом, К. был готов считать свое положение вполне удовлетворительным, хотя при таких вспышках благодушия он спешил себе сказать, что в этом-то и таится главная опасность.

Прямой контакт с властями был не так затруднен, потому что эти власти, при всей их превосходной организации, защищали от имени далеких и невидимых господ далекие и невидимые дела, между тем как сам К. боролся за нечто живое — за самого себя, притом, пусть только в первое время боролся по своей воле, сам шел на приступ; и не только он боролся за себя, за него боролись и другие силы — он их не знал, но по мероприятиям властей мог предположить, что они существуют. Однако тем, что власти до сих пор охотно шли ему навстречу — правда, в мелочах, о крупных вещах до сих пор речи не было, — они отнимали у него возможность легких побед, а одновременно и законное удовлетворение этими победами с вытекающей отсюда вполне обоснованной уверенностью, необходимой для дальнейших, уже более серьезных боев. Вместо этого власти

пропускали К. всюду, куда он хотел — правда, только в пределах Деревни, — и этим размагничивали и ослабляли его: уклоняясь от борьбы, они вместо того включали его во внеслужебную, совершенно непонятную, умыльную и чуждую ему жизнь. И если К. не будет все время на чеку, то может случиться, что в один прекрасный день, несмотря на предупредительность местных властей, несмотря на добросовестное выполнение всех своих до смешного легких служебных обязанностей, обманутый той внешней благосклонностью, которую к нему проявляют, К. станет вести себя в остальной своей жизни столь неосторожно, что на чем-нибудь непременно поткнется, и тогда власти, по-прежнему любезно и мягко, как будто не по своей воле, а во имя какого-то незнакомого ему, но всем известного закона, должны будут вмешаться и убрать его с дороги. А в чем, в сущности, состояла его "остальная" жизнь здесь? Нигде еще К. не видел такого переплетения служебной и личной жизни, как тут, — они до того переплетались, что иногда могло показаться, что служба и личная жизнь поменялись местами. Что значила, например, чисто формальная власть, которую проявлял Кламм в отношении служебных дел К., по сравнению с той реальной властью, какой Кламм обладал в спальне К.? Вот и выходило так, что более легкомысленное поведение, большая непринужденность были уместны только при непосредственном соприкосновении с властями, а в остальном нужно было постоянно проявлять крайнюю осторожность, с оглядкой во все стороны, на каждом шагу.

Встреча со старостой вскоре вполне подтвердила, что К. правильно представил себе здешние порядки. Староста, приветливый, гладковыбритый толстяк, болел — у него был тяжелый подагрический припадок — и принял К., лежа в постели. "Так вот, значит, наш господин землемер", — сказал он, попробовал приподняться, чтобы с ним поздороваться, но не мог и снова опустился на подушку, виновато показывая на свои ноги. Тихая женщина, больше похожая на тень в сумеречном освещении от крошечных окон, к тому же затемненных занавесками, принесла для К. стул и поставила его у самой постели. "Садитесь, садитесь, господин землемер, — сказал староста, — и скажите мне, какие у вас будут пожелания?" К. прочел ему письмо Кламма и добавил от себя кое-какие замечания. И снова у него появилось ощущение необыкновенной легкости общения с местной властью. Они буквально брали на себя все трудности, им можно было поручить что угодно, а самому остаться ни к чему не причастным и свободным. Староста как будто почувствовал в нем это настроение и бесшумно завертелся на кровати. Наконец он сказал: "Я, господин землемер, как вы, вероятно, заметили, уже давно обо всем знаю. Виною тому, что я сам ничего еще не сделал, во-первых, моя болезнь, и потом, вы так долго не приходили, что я уже подумал: не отказались ли вы от этого дела? Но теперь, когда вы так любезно сами пришли ко мне, я должен сказать вам всю правду, и довольно неприятную. По вашим словам, вас пригласили как землемера, но, к сожалению, нам землемер не нужен. Для землемера у нас нет никакой, даже самой мелкой работы. Границы наших маленьких хозяйств установлены, все аккуратно размежевано. Из рук в руки и имущество переходит очень редко, а небольшие споры из-за земли мы улаживаем сами. Зачем нам тогда землемер?" В глубине души К., правда того не ведая, уже был готов к такому сообщению. Поэтому он сразу и сказал: "Это для меня полная неожиданность. Значит, все мои расчеты рухнут? Могу лишь надеяться, что тут произошло какое-то недоразумение". "К сожалению, нет, — сказал староста, — все обстоит именно

так, как я сказал". "Но как же можно! — крикнул К. — Неужели я проделал весь этот долгий путь, чтобы меня отправили обратно?" "Это уже другой вопрос, — сказал староста, — не мне его решать. Но объяснить вам, как произошло недоразумение, — это я могу. В таком огромном учреждении, как графская канцелярия, может всегда случиться, что один отдел даст одно распоряжение, другой — другое. Друг о друге они ничего не знают, и хотя контрольная инстанция действует безошибочно, но в силу своей природы она всегда опаздывает, потому и могут возникнуть всякие незначительные недоразумения. Правда, обычно это сущие пустяки, мелочи вроде вашего дела. Я еще никогда не слыхал, чтобы делали ошибки в серьезных вещах, но, конечно, все эти мелочи — тоже штука неприятная. Что же касается вашего случая, то я не стану делать из него служебную тайну — я ведь совсем не чиновник, я крестьянин и крестьянином останусь, и я вам откровенно расскажу, как все вышло. Давным-давно — прошло всего несколько месяцев, как я вступил в должность старосты, — я получил распоряжение, уж не помню из какого отдела, где в самом категорическом тоне — эти господа иначе не умеют — было сказано, что в скором времени будет вызван землемер и что нашей общине поручается подготовить все необходимые для его работы планы и чертежи. Конечно, это распоряжение не могло вас касаться, это было много лет тому назад, да я сам и не вспомнил бы о нем, не будь я болен — а когда лежишь в постели, времени много, тут всякая чепуха в голову лезет... Мишси! — перебивая себя, позвал он жену, которая в непонятной суете шмыгала по комнате. — Посмотри, пожалуйста, в том шкафу, может, найдешь распоряжение. — И, обращаясь к К., он объяснил: — Я тогда только начинал служить и сохранял каждую бумажку". Жена тут же открыла шкаф. К. и староста взглянули туда. В шкафу было полно бумаг. При открывании оттуда вывалились две огромные кипы документов, перевязанных веревкой, как обычно перевязывают пучки хвороста, и женщина испуганно отскочила. "Да они же внизу, посмотри внизу", — распорядился староста с постели. Обхватывая кипы обеими руками, жена стала послушно выбрасывать их из шкафа, чтобы добраться до нужных документов. Уже полкомнаты было завалено бумагами. "Да, — сказал староста, качая головой, — огромная работа проделана, тут только самая малость, главное спрятано у меня в амбаре, впрочем, большая часть бумаг давно затерялась. Разве возможно все сохранить! Но в амбаре всего еще много. Ну как, нашла распоряжение? — спросил он у жены. — Ты поищи папку, на которой слово "землемер" подчеркнуто синим карандашом". "Темно тут, — сказала жена. — Пойду принесу свечку". И, топчя бумаги, она вышла из комнаты. "Жена мне большое подспорье во всей этой канцелярщине, — сказал староста, — работа трудная, а делать ее приходится только походя. Правда, для писания у меня еще есть помощник, наш учитель, но все равно справиться трудно, вон сколько нерешенных дел, я их складываю в тот ящик, — и он показал на второй шкаф, — а уж теперь, когда я болен, нас просто завалило". И он утомленно, хотя и гордо, откинулся на подушки. "Может быть, я могу помочь вашей жене искать?" — спросил К., когда та вернулась со свечой и, встав на колени, начала искать документ. Староста с улыбкой покачал головой: "Я вам уже сказал, что служебных тайн у меня от вас нету, но допустить вас самих рыться в бумагах я все же не могу". В комнате наступила тишина, слышен был только шорох бумаг, староста даже немного задремал. Негромкий стук в дверь заставил К. обернуться. Конечно, это пришли его помощники. Видно, что их уже немного

удалось воспитать, они не ворвались в комнату и только прошептали в приотворенную дверь: "Мы совсем на улице замерзли". "Кто там?" — изрогнул староста. "Да это мои помощники, — сказал К., — не знаю, где бы им подождать меня, на улице слишком холодно, а тут они будут в тягость". "Мне они не помешают, — любезно сказал староста. — Впустите их сюда. Ведь я их знаю. Старые знакомые" "Они мне в тягость", — откровенно сказал К. и, переводя взгляд с помощников на старосту, а потом снова на помощников, увидел, что все трое улыбаются совершенно одинаковой улыбкой. "Ладно, раз вы уже тут, — сказал он, словно решившись, — оставайтесь и помогите-ка супруге старосты отыскать документ, на котором синим карандашом подчеркнуто слово «землемер»". Староста не возражал. Значит, то, что не разрешалось К., разрешалось его помощникам, и они сразу набросились на бумаги, но больше расшвыривали документы, чем искали, и, пока один по буквам разбирал надпись, второй уже выхватывал папку у него из рук. А жена старосты только стояла на коленях перед пустым ящиком, она как будто совсем перестала искать, во всяком случае свеча была от нее очень далеко.

"Да, помощники, — сказал староста, самодовольно улыбаясь, как будто все делается по его распоряжению, только никто об этом даже не подозревает. — Значит, они вам в тягость, но ведь это ваши собственные помощники". "Вовсе нет, — холодно сказал К. — Они тут ко мне приبلудились". "То есть как это "приблудились"? — сказал староста. — Вы хотите сказать, они к вам были прикреплены?" "Ладно, пускай прикреплены, — сказал К., — но только с таким же успехом они могли свалиться с неба, настолько необдуманно их ко мне прикрепили". "Необдуманно у нас ничего не делается", — сказал староста и, позабыв о больной ноге, шел и выпрямился. "Ничего? — сказал К. — А как же мой вызов?" "И ваш вызов был, наверно, обдуман, — сказал староста, — только всякие побочные обстоятельства запутали дело, я вам это докажу с документами в руках". "Да эти документы никогда не найдутся!" — сказал К. "Как не найдутся? — крикнул староста. — Миши, пожалуйста, ищи поскорей! Впрочем, я могу рассказать вам всю историю и без бумаг. На распоряжение, о котором я вам говорил, мы с благодарностью ответили, что никакой землемер нам не нужен. Но этот ответ, как видно, вернулся не в тот же отдел — назовем его отдел А, а по ошибке попал в отдел Б. Отдел А, значит, остался без ответа, да и отдел Б, к сожалению, получил не весь наш ответ целиком: то ли бумаги из пакета остались у нас, то ли потерялись по дороге — но во всяком случае не у них в отделе, за это я ручаюсь, — словом, и в отдел Б попала только обложка. На ней было отмечено, что в прилагаемом документе — к сожалению, там его не было — речь идет о назначении землемера. Тем временем отдел А ждал нашего ответа, и хотя у них была заметка по этому вопросу, но, как это часто случается при самом точном ведении дел — вещь вполне понятная и даже неизбежная, — их референт положился на то, что мы им ответим, и тогда он либо вызовет землемера, либо, если возникнет необходимость, напишет нам снова. Поэтому он пренебрег всеми предварительными записями и позабыл об этом деле. Однако пакет без документов попал в отдел Б к референту, который славился своей добросовестностью, — его зовут Сордини, он итальянец, и даже мне, человеку посвященному, непонятно, почему он, с его способностями, до сих пор занимает такое незначительное место. Но прошло уже несколько месяцев, если не лет, с тех пор как отдел А впервые написал нам, и это понятно: ведь если бумага, как полагается, идет

правильным путем, то она попадает в свой отдел самое позднее через день и в тот же день ей дается ход; но ежели она как-то пойдет не тем путем - а при такой отличной постановке дела, как в нашей организации, нужно чуть ли не нарочно искать не тот путь, — ну тогда, тогда, конечно, все идет очень долго. И когда мы получили запрос от Сордини, мы лишь смутно помнили, в чем дело, работали мы тогда только вдвоем с Мищи, учителя мне еще в помощники не назначали, копии мы хранили исключительно в самых важных случаях, — словом, мы могли дать только очень неопределенный ответ, что о таком предписании мы ничего не знаем и нужды в землемере не испытываем”.

”Однако, — прервал себя староста, словно, увлекшись рассказом, он уже зашел слишком далеко или это вот-вот произойдет, — вам не скучно слушать эту историю?”

”Нет, — сказал К., — мне очень занято”.

Староста сразу возразил: ”Я вам не для занятости рассказываю”.

”Мне только потому занято, — объяснил К., — что я смог заглянуть в эту дурацкую путаницу, от которой, при некоторых условиях, зависит жизнь человека”.

”Никуда вы еще не заглянули, — сказал староста, — и я могу вам рассказать, что было дальше. Конечно, наш ответ не удовлетворил такого человека, как Сордини. Я перед ним преклоняюсь, хотя он меня и замучил. Дело в том, что он никому не доверяет: даже если он, к примеру, тысячу раз мог убедиться, что человек заслуживает полнейшего доверия, он в тысячу первый раз опять отнесется к нему с таким недоверием, будто совсем его не знает, вернее, точно знает, что перед ним прохвост. Я-то считаю это правильным, чиновник так и должен себя вести; к сожалению, я сам, по своему характеру, не могу следовать его примеру. Сами видите, как я вам, чужому человеку, все выкладываю, но иначе не могу. А у Сордини по поводу нашего ответа сразу возникли подозрения. И началась долгая переписка. Сордини запросил, почему это мне вдруг пришло в голову сообщить, что не надо вызывать землемера. Я ему ответил — и тут мне помогла отличная память Мищи, — что первой подняла этот вопрос канцелярия (то, что мы получили тогда запрос из другого отдела, мы, конечно, совсем забыли); тогда Сордини поставил вопрос: почему я только сейчас упомянул о том первом запросе из канцелярии? А я ему: потому что только сейчас о нем вспомнил; Сордини: это чрезвычайно странно; а я: вовсе это не странно в таком затянувшемся деле; Сордини: все же это странно, потому что запрос, о котором я упоминаю, вообще не существует; я: конечно, не существует, потому что документ утерян; Сордини: но должна же существовать какая-то отметка о том, что такой запрос был послан, а ее нигде нет. И тут я опешил, потому что я не осмеливался ни утверждать, ни даже предполагать, что в отделе Сордини произошла ошибка. Может быть, вы, господин землемер, мысленно упрекаете Сордини за то, что он мог бы из внимания к моим утверждениям хотя бы справиться в других отделах об этом запросе. Но как раз это было бы неправильно, и я не хочу, чтобы вы, хотя бы мысленно, очернили имя этого человека. Вся работа главной канцелярии построена так, что возможность ошибок вообще исключена. Этот порядок обеспечивается превосходной организацией службы в целом, и он необходим для наибольшей скорости исполнения. Поэтому Сордини не мог наводить справки в других отделах; впрочем, они не стали бы ему отвечать, потому что там сразу поняли бы, что дело идет о поисках возможной ошибки”.

"Разрешите, господин староста, перебить вас вопросом, — сказал К., — кажется, вы раньше упоминали о каком-то отделе контроля? Хозяйство тут, как видно, такое, что при одной только мысли, что контроль отсутствует, человеку становится жутко"

"Вы очень строги, — сказал староста, — но будь вы в тысячу раз строже, и то вам не сравняться с той строгостью, с какой само управление относится к себе. Только совсем чужой человек может задать такой вопрос. Существует ли отдел контроля? Да, тут повсюду одни отделы контроля. Правда, они не для того предназначены, чтобы обнаруживать ошибки в грубом смысле этого слова, потому что ошибок тут не бывает, а если и бывает, как в вашем случае, то кто может окончательно сказать, что это — ошибка?"

"Ну, это что-то совсем новое!" — воскликнул К.

"А для меня совсем старое! — сказал староста. — Я не меньше, чем вы, убежден, что произошла ошибка, и Сордини из-за этого заболел от отчаяния, и первые контрольные инстанции, которым мы обязаны тем, что они обнаружили источник ошибки, тоже признали, что ошибка есть. Но кто может ручаться, что и вторая контрольная инстанция будет судить так же, а за ней третья и все последующие?"

"Все возможно, — сказал К., — в эти рассуждения мне лучше не вдаваться, да и, кстати, о контрольных отделах я слышу впервые и, конечно, понять их еще не могу. Но, по-моему, тут надо разграничить две стороны дела: с одной стороны, то, что происходит внутри отделов и что они могут официально толковать так или иначе, а с другой стороны, существует живой человек — я, который стоит вне всех этих служб и которому со стороны именно этих служб угрожает решение настолько бессмысленное, что я еще никак не могу всерьез поверить в эту угрозу. С первой стороной вопроса дело, очевидно, и обстоит так, как вы, господин староста, сейчас изложили с поразительным и необычайным знанием дела, но теперь хотелось бы услышать хоть слово о себе"

"И до этого дойду, — сказал староста, — но вам ничего не понять, если я предварительно не объясню еще кое-что. Я слишком преждевременно говорил об отделе контроля. Вернемся к переписке с Сордини. Постепенно, как я вам уже говорил, я стал противиться ему все меньше и меньше. Но когда в руках у Сордини есть хоть малейшее преимущество перед кем-то, он уже победил; тут еще больше повышается его внимание, энергия, присутствие духа, и это зрелище приводит противников в трепет, врагов этих противников — в восторг. И со мной иногда так бывало, потому я имею право говорить об этом. Вообще-то мне еще ни разу не удавалось видеть его в глаза, он сюда спускаться не может — слишком загружен работой; мне рассказывали, что в его кабинете даже стен не видно — везде громоздятся огромные груды папок с делами, и только с теми делами, которые сейчас в работе у Сордини, а так как все время оттуда то вытаскивают папки, то их туда подкладывают, и притом все делается в страшной спешке, эти груды все время обрушиваются, поэтому непрерывный грохот отличает кабинет Сордини от всех других. Да, Сордини работает по-настоящему, он и самым мелким делам уделяет столько же внимания, как и самым крупным"

"Вот вы, господин староста, все время называете мое дело мелким, — сказал К., — а ведь оно занимало время у многих чиновников, и если даже в той груде дел оно и было совсем мелким, так от усердия чиновников впрямую господина Сордини оно уже давно переросло в большое дело. К

сожалению, это так, причем совершенно против моей воли, — честолюбие мое не в том, чтобы ради меня вырастали и рушились огромные груды папок с моим делом, а в том, чтобы мне дали спокойно заниматься своей мелкой землемерной работой за маленьким чертежным столиком”.

— Нет, — сказал староста, — ваше дело не из больших. В этом отношении вам жаловаться нечего, оно одно из самых мельчайших среди других мелких дел. Объем работы вовсе не определяет степень важности дела. У вас нет даже отдаленного представления о нашей администрации, раз вы так думаете. Но если бы суть была и в объеме работы, то ваше дело все равно оказалось бы одним из самых незначительных, обычные дела, то есть те, в которых нет так называемых ошибок, требуют еще более усиленной, но, конечно, и более плодотворной работы. Кроме того, вы ведь еще ничего не знаете о той настоящей работе, которую пришлось из-за вас проделать, об этом я и хочу вам сейчас рассказать. Сначала Сордини меня ни во что не втягивал, но приходили его чиновники, каждый день в гостинице шли допросы самых видных жителей Деревни, велись протоколы. Большинство из жителей стояло за меня, кое-кто упирался; для каждого крестьянина измерение наделов — дело кровное, ему сразу чудятся какие-то тайные сговоры и несправедливости, а тут у них еще нашелся вожак, и у Сордини, по их высказываниям, должно было сложиться впечатление, что если бы я поставил этот вопрос перед представителями общины, то вовсе не все были бы против вызова землемера. Поэтому соображение, что землемер нам не нужен, все время как-то ставилось под вопрос. Особенно тут выделился некий Брунsvик — вы, должно быть, его не знаете, — человек он, может быть, и неплохой, но дурак и фантазер, он зять Лаземана”.

— “Кожевника?” — спросил К. и описал бородача, которого видел у Лаземана.

— Да, это он”, — сказал староста.

— “Я и жену его знаю”, — сказал К., скорее, наугад.

— “Возможно”, — сказал староста и замолчал.

— “Красивая женщина, — сказал К., — правда, бледновата, вид болезненный. Она, вероятно, из Замка!” — полувопросительно добавил он.

Староста взглянул на часы, налил в ложку лекарства и торопливо проглотил.

— “Вы, наверно, в Замке только и знаете что устройство канцелярий?” — резко спросил К.

— Да, — сказал староста с иронической и все же благодушной усмешкой. — Это ведь самое важное. Теперь еще о Брунsvике: если бы мы могли исключить его из нашей общины, почти все наши были бы счастливы, и Лаземан не меньше других. Но в то время Брунsvик пользовался каким-то влиянием, он хотя и не оратор, но зато крикун, а многим и этого достаточно. Вот и вышло так, что я был вынужден поставить вопрос перед советом общины — единственное, чего добился Брунsvик, потому что, как и следовало ожидать, большинство членов совета и слышать не хотели о каком-то землемере. И хотя все это было много лет назад, дело никак не могло прекратиться — отчасти из-за добросовестности Сордини, который самыми тщательными расследованиями старался выяснить, на чем основано мнение не только большинства, но и оппозиции, отчасти же из-за глупости и тщеславия Брунsvика, лично связанного со многими чиновниками, которых он все время беспокоил своими выдумками и фан-

Правда, Сордини не давал Брунsvику обмануть себя, да и как мог Брунsvик обмануть Сордини? Но именно во избежание обмана нужны были новые расследования, и не успевали их закончить, как Брунsvик опять выдумывал что-нибудь новое, он легок на подъем, при его глупости это неудивительно. А теперь я коснусь одной особенности нашего служебного аппарата. Насколько он точен, настолько же и чувствителен. Если какой-нибудь вопрос рассматривается слишком долго, может случиться, что еще до окончательного рассмотрения, вдруг, молниеносно, в какой-то непредвиденной инстанции — ее потом и обнаружить невозможно — будет принято решение, которое хоть и не всегда является правильным, но зато окончательно закрывает дело. Выходит так, будто канцелярский аппарат не может больше выдержать напряжения, когда его из года в год долбят по поводу одного и того же, незначительного по существу дела, и вдруг этот аппарат сам собой, без участия чиновников, это дело закрывает. Разумеется, никакого чуда тут не происходит, просто какой-нибудь чиновник пишет заключение о закрытии дела, а может быть, принимается и неписанное решение, и невозможно установить, во всяком случае тут, у нас, да, пожалуй, и там, в канцелярии, какой именно чиновник принял решение по данному делу и на каком основании. Только отделы контроля много времени спустя устанавливают это, но нам ничего не сообщают, впрочем, теперь это уже вряд ли может кого-нибудь заинтересовать. Притом, как я говорил, все эти окончательные решения всегда превосходны, только одно в них нескладно: обычно узнаешь о них слишком поздно, а тем временем все еще идут горячие споры о давно решенных вещах. Не знаю, было ли принято такое решение по вашему делу, многое говорит за это, многое — против, но если бы это произошло, то вам послали бы приглашение, вы проделали бы весь долгий путь сюда, к нам, прошло бы очень много времени, а между тем Сордини продолжал бы работать до изнеможения, Брунsvик все мутит бы народ и оба мучили бы меня. Я только высказываю предположение, что так могло бы случиться, а наверняка я знаю только одно: между тем один из контрольных отделов обнаружил, что много лет назад из отдела А был послан в общину запрос о вызове землемера и что до сих пор ответа нет. Недавно меня об этом запросили, ну и, конечно, все тут же выяснилось, отдел А удовлетворился моим ответом, что землемер нам не нужен, и Сордини должен был признать, что в данном случае он оказался не на высоте и, правда не по своей вине, проделал столько бесполезной работы, да еще с такой нервозностью. Если бы всех сторон не навалилось бы, как всегда, столько новой работы и если бы ваше дело не было таким мелким, можно даже сказать — мельчайшим из мелких, мы все, наверно, вздохнули бы с облегчением, по-моему даже Сордини. Один Брунsvик ворчал, но это уже было просто смешно. А теперь представьте себе, господин землемер, мое разочарование, когда после благополучного окончания всей этой истории — а с тех пор тоже прошло немало времени — вдруг появляетесь вы, и, по-видимому, видите так, что все дело надо начинать сначала. Но вы, конечно, понимаете, что, поскольку это от меня зависит, я ни в коем случае этого не допущу!"

"Конечно! — сказал К. — Но я еще лучше понимаю, что тут происходит возмутительные безобразия не только по отношению ко мне, но и по отношению к законам. А себя лично я сумею защитить".

"И как же?" — спросил староста.

"Это я выдать не могу", — сказал К.

"Приставать к вам не стану, — сказал староста, — но учтите, что в моем лице вы найдете не буду говорить друга — слишком мы чужие люди, — но, во всяком случае, подмогу в вашем деле. Одного я не допущу — чтобы вас приняли в качестве землемера, в остальном же можете спокойно обращаться ко мне, правда, в пределах моей власти, которая довольно ограничена".

"Вы все время говорите, что меня обязаны принять на должность землемера, но ведь я уже фактически принят. Вот письмо Кламма".

"Письмо Кламма! — сказал староста. — Оно ценно и значительно из-за подписи Кламма — кажется, она подлинная, — но в остальном... Впрочем, тут я не смею высказывать свое личное мнение. Мицци! — крикнул он и добавил: — Да что вы там делаете?"

Мицци и помощники, надолго оставленные без всякого внимания, очевидно, не нашли нужного документа и хотели снова все убрать в шкаф, но уложить беспорядочно наваленную грудку папок им не удавалось. Должно быть, помощники придумали то, что они сейчас пытались сделать. Они положили шкаф на пол, запихали туда все папки, уселись вместе с Мицци на дверцы шкафа и теперь постепенно нажимали на них.

"Значит, не нашли бумагу, — сказал староста, — жаль, конечно, но ведь вы уже все знаете, нам, собственно говоря, никакие бумаги больше не нужны, потом они, конечно, отыщутся, наверно, их взял учитель, у него дома много всяких документов. А сейчас, Мицци, неси сюда свечу и прочти со мной это письмо".

Подошла Мицци — она казалась еще серее и незаметнее, сидя на краях постели и прижимаясь к своему крепкому, жизнеобильному мужу, который крепко обнял ее. Только ее худенькое лицо стало виднее при свете — ясное, строгое, слегка смягченное годами. Заглянув в письмо, она сразу благоговейно сложила руки. "От Кламма!" — сказала она. Они вместе прочли письмо, о чем-то пошептались, а когда помощники закричали "Ура!" — им наконец удалось закрыть шкаф, и Мицци с молчаливой благодарностью посмотрела на них, — староста заговорил:

"Мицци совершенно согласна со мной, и теперь я смело могу вам сказать. Это вообще не служебный документ, а частное письмо. Уже само обращение "Многоуважаемый господин!" говорит за это. Кроме того, там не сказано ни слова о том, что вас приняли в качестве землемера, там речь идет о графской службе вообще; впрочем, и тут ничего определенного не сказано. Только то, что вы приняты "как вам известно", то есть ответственность за подтверждение того, что вы приняты, возлагается на вас. Наконец, в служебном отношении вас направляют только ко мне, к старосте, с указанием, что я являюсь вашим непосредственным начальством и должен сообщить вам все дальнейшее, что, в сущности, сейчас уже мной и сделано. Для того, кто умеет читать официальные документы и вследствие этого еще лучше разбирается в неофициальных письмах, все это ясно как день. То, что вы, человек посторонний, в этом не разобрались, меня не удивляет. В общем и целом, это письмо означает только то, что Кламм намерен лично заняться вами в том случае, если вас примут на графскую службу".

"Вы, господин староста, так хорошо расшифровали это письмо, — сказал К., — что от него ничего не осталось, кроме подписи на пустом листе бумаги. Неужели вы не замечаете, как вы этим унижаете имя Кламма, к которому вы как будто относитесь с уважением?"

"Это недоразумение, — сказал староста. — Я вовсе не умаляю значе-

нии письма и своими объяснениями ничуть его не снижаю, напротив! Частное письмо Кламма, несомненно, имеет гораздо большее значение, чем официальный документ, только значение у него не то, какое вы ему приписываете”.

“Вы знаете Шварцера?” — спросил К.

“Нет, — ответил староста, — может, ты знаешь, Мицци? Тоже нет? Нет, мы его не знаем”.

“Вот это странно, — сказал К., — ведь он сын помощника кастеляна”.

“Милый мой господин землемер, — сказал староста, — ну как я могу знать всех сыновей всех помощников кастеляна?”

“Хорошо, — сказал К., — тогда вам придется поверить мне на слово. Так вот, с этим Шварцером у меня вышел неприятный разговор в самый день моего приезда. Но потом он справился по телефону у помощника кастеляна по имени Фриц и получил подтверждение, что меня пригласили в качестве землемера. Как вы это объясните, господин староста?”

“Очень просто, — сказал староста. — Вам, видно, никогда еще не приходилось вступать в контакт с нашими канцеляриями. Всякий такой контакт бывает только кажущимся. Вам же из-за незнания всех наших дел он представляется чем-то настоящим. Да, еще про телефон: видите, у меня никакого телефона нет, хотя мне-то уж немало приходится иметь дел с канцеляриями. В пивных и всяких таких местах телефоны еще могут пригодиться хотя бы вроде музыкальных ящиков, а больше они ни на что не нужны. А вы когда-нибудь уже отсюда звонили? Да? Ну, тогда вы меня, может быть, поймете. В Замке, как мне рассказывали, телефон как будто работает отлично, там звонят непрерывно, что, конечно, очень ускоряет работу. Эти беспрестанные телефонные переговоры доходят до нас по длинным аппаратам в виде шума и пения, вы, наверно, тоже это слышали. Так вот, единственное, чему можно верить, — это шуму и пению, они настоящие, а все остальное — обман. Никакой постоянной телефонной связи в Замке тут нет, никакой центральной станции, которая переключала бы наши вызовы туда, не существует; если мы отсюда вызываем кого-нибудь из Замка, там звонят все аппараты во всех самых низших отделах, скорее, звонили бы, если бы, как я точно знаю, почти повсюду там звонки не были бы выключены. Правда, иногда какой-нибудь чиновник, переутомленный работой, испытывает потребность немного отвлечься — особенно ночью или поздно вечером — и включает телефон, тогда, конечно, мы оттуда получаем ответ, но, разумеется, только в шутку. И это вполне понятно. Да и у кого хватит смелости звонить среди ночи по какому-то своим личным мелким делишкам туда, где идет такая бешеная работа? Я не понимаю, как даже чужой человек может верить, что если он позвонит Сордини, то ему и в самом деле ответит сам Сордини? Скорее всего, ответит какой-нибудь мелкий регистратор совсем из другого отдела. Напротив, может выпасть и такая редкость, что, вызывая какого-нибудь регистратора, вдруг услышишь ответ самого Сордини. Самое лучшее — сразу бежать прочь от телефона, как только раздастся первое слово”.

“Да, так я на это, конечно, не смотрел, — сказал К., — такие подробности и знать не мог, но и особого доверия к телефонным разговорам у меня тоже не было, я всегда сознавал, что значение имеет только то, о чем вы говорите или чего добьетесь непосредственно в самом Замке”.

“Нет, — сказал староста, уцепившись за слова К., — телефонные разговоры тоже имеют значение, как же иначе? Почему это справка, которую

дает чиновник из Замка, не имеет значения? Я ведь вам уже объяснил в связи с письмом Кламма: все эти высказывания прямого служебного значения не имеют, и, приписывая им такое служебное значение, вы заблуждаетесь; однако их частное, личное значение, в смысле дружеском или враждебном, очень велико, по большей части оно даже куда значительней любых служебных отношений”.

”Прекрасно, — сказал К., — допустим, что все обстоит именно так. Но тогда у меня в Замке уйма добрых друзей: если смотреть в корень, то возникшую много лет назад в одном из отделов идею — почему бы не вызвать сюда землемера? — можно считать дружественным поступком по отношению ко мне, впоследствии все уже пошло одно за другим, пока наконец — правда, не к добру — меня не заманили сюда, а теперь грозятся выкинуть”.

”Некоторая правда в ваших словах, конечно, есть, — сказал староста, — вы правы, что никакие указания, идущие из Замка, нельзя принимать буквально. Но осторожность нужна везде, не только тут, и чем важнее указание, тем осторожнее надо к нему подходить. Но мне непонятны ваши слова, будто вас сюда заманили. Если бы вы внимательнее слушали мои объяснения, вы бы поняли, что вопрос о вашем вызове слишком сложен, чтобы в нем разобраться нам с вами в такой короткой беседе”.

”Значит, остается один вывод, — сказал К., — все очень неясно и неразрешимо, кроме того, что меня выкидывают”.

”Да кто осмелится вас выкинуть, господин землемер? — сказал староста. — Именно неясность всего предыдущего обеспечивает вам самое вежливое обращение; по-видимому, вы слишком обидчивы. Никто вас тут не удерживает, но ведь это еще не значит, что вас выгоняют”.

”Знаете, господин староста, — сказал К., — теперь вам все кажется слишком ясным. А я вам сейчас перечислю, что меня тут удерживает: те жертвы, которые я принес, чтобы уехать из дому, долгий трудный путь, вполне обоснованные надежды, которые я питал в отношении того, как меня тут примут, мое полное безденежье, невозможность снова найти работу у себя дома и, наконец, не меньше, чем все остальное, моя невеста, живущая здесь”.

”Ах, Фрида, — сказал староста без всякого удивления. — Знаю, знаю. Но Фрида пойдет за вами куда угодно. Что же касается всего остального, то тут, несомненно, надо будет кое-что взвесить, я сообщу об этом в Замок. Если придет решение или если придется перед этим еще раз вас выслушать, я за вами пошлю. Вы согласны?”

”Нет, ничуть, — сказал К., — не нужны мне подачки из Замка, я хочу получить все по праву”.

”Мицци, — сказал староста жене, которая все еще сидела, прижавшись к нему, и рассеянно играла с письмом Кламма, из которого она сложила кораблик; К. в перепуге отнял у нее письмо, — Мицци, у меня опять заболела нога, придется сменить компресс”.

К. встал. ”Тогда разрешите откланяться?” — сказал он. ”Конечно! — сказала Мицци, готовя мазь. — Да и сквозняк слишком сильный”. К. обернулся: его помощники с неуместным, как всегда, служебным рвением сразу после слов К. распахнули настежь обе половинки дверей. К. успел только кивнуть старосте — он хотел поскорее избавить больного от врывающегося в комнату холода. И, увлекая за собой помощников, он выбежал из дома, торопливо захлопнув двери.

Второй разговор с хозяйкой

У постоянного двора его ждал хозяин. Он сам не решался заговорить первым, поэтому К. спросил, что ему нужно. "Ты нашел новую квартиру?" — спросил хозяин, уставившись в землю. "Это тебе жена велела узнать?" — сказал К. — Наверно, ты очень от нее зависишь?" "Нет, — сказал хозяин, — спрашиваю я от себя. Но она очень волнуется и расстраивается из-за тебя, не может работать, все лежит в постели, вздыхает и без конца жалуется". "Пойти мне к ней, что ли?" — спросил К. "Очень тебя прошу, — сказал хозяин, — я уже хотел было зайти за тобой к старосте, постоял у него под дверью, послушал, но вы все разговаривали, и я не хотел вам мешать, да и беспокоился за жену, побежал домой, а она меня к себе не пустила, вот и пришлось тебя тут дожидаться". "Тогда пойдем к ней скорее, — сказал К., — я ее быстро успокою". "Хорошо, если бы удалось", — сказал хозяин.

Они прошли через светлую кухню, где три или четыре служанки в отдалении друг от друга, занятые каждой своей работой, буквально оцепенели при виде К. Уже из кухни слышались вздохи хозяйки. Она лежала в тихом закутке без окна, отделенном от кухни тонкой фанерой перегородкой. Там помещались только большая двуспальная кровать и шкаф. Кровать стояла так, что с нее можно было наблюдать за всей кухней и за теми, кто там работал. Зато из кухни почти ничего нельзя было разглядеть в закутке. Там было совсем темно, только белые с красным одеяла чуть выделялись во мраке. Лишь войдя туда и дав глазам немного привыкнуть, можно было разглядеть подробности.

"Наконец-то вы пришли", — слабым голосом сказала хозяйка. Она лежала на спине, вытянувшись, дышать ей, как видно, удавалось с трудом, и она откинула перину. В постели она выглядела гораздо моложе, чем в платье, но ее осунувшееся лицо вызывало жалость, особенно из-за южного чепчика с тонким кружевцем, который она надела, хотя он был ей мал и плохо держался на прическе. "Как же я мог прийти, — сказал К. мягко, — вы ведь не велели меня звать". "Вы не должны были заставлять меня ждать так долго, — сказала хозяйка с упрямством, свойственным всем больным. — Садитесь, — и она указала ему на край постели, — а вы все уходите!" Кроме помощников в закуток проникли и служанки. "Я тоже уйду, Гардена", — сказал хозяин, и К. впервые услышал имя хозяйки. "Ну конечно, — медленно проговорила она и, словно думая о чем-то другом, рассеянно добавила: — Зачем тебе оставаться?" Но когда все вышли на кухню — даже помощники сразу послушались, впрочем, они приставали к одной из служанок, — Гардена все же вовремя сообразила, что из кухни слышно все, о чем говорится за перегородкой — дверей тут не было, — и потому она всем велела выйти из кухни. Что и произошло тотчас же.

"Прошу вас, господин землемер, — сказала Гардена, — там, в шкафу, поблизости висит платок, подайте его мне, пожалуйста, я укроюсь, перину не выношу, под ней дышать тяжело". А когда К. подал ей платок, она сказала: "Взгляните, правда, красивый платок?" Похоже, что это был обыкновенный шерстяной платок, К. только из вежливости потрогал его еще раз, но ничего не сказал. "Да, платок очень красивый", — сказала Гардена, кутаясь в него. Теперь она лежала спокойно, казалось, все боли про-

шли, более того, она даже заметила, что у нее растрепались волосы от лежания, и, сев на минуту в постели, поправила прическу под чепчиком. Волосы у нее были пышные.

К. вышел из терпения: "Вы, хозяйка, велели узнать, нашел ли я себе новую квартиру?" — "Я велела? Нет-нет, это ошибка". — "Но ваш муж только что меня об этом спросил". "Верю, верю, — сказала хозяйка, — у нас вечно стычки. Когда я не хотела вас принять, он вас удерживал, а когда я счастлива, что вы тут живете, он вас гонит. Он всегда так делает. Вечно он выкидывает такие штуки". "Значит, — сказал К., — вы настолько изменили свое мнение обо мне? И всего за час-другой?" "Мнение свое я не изменила, — сказала хозяйка ослабевшим голосом, — дайте мне руку. Так. А теперь обещайте, что будете говорить со мной совершенно откровенно, тогда и я с вами буду откровенна". "Хорошо, — сказал К., — кто же начнет?" "Я!" — сказала хозяйка. Видно было, что она не просто хочет пойти К. навстречу, но что ей не терпится заговорить первой.

Она вынула из-под одеяла фотографию и протянула ее К. "Взгляните на эту карточку", — попросила она. Чтобы лучше видеть, К. шагнул на кухню, но и там было нелегко разглядеть что-нибудь на фотографии — от времени она вышвела, пошла трещинами и пятнами и вся измялась. "Не очень-то она сохранилась", — сказал К. "Да, жаль, — сказала хозяйка, — носишь при себе годами, вот и портится. Но если вы хорошенько взгляните, вы все разберете. А я могу вам помочь: скажите, что вы разглядели, мне так приятно поговорить про эту карточку. Ну, что же увидели?" "Молодого человека", — сказал К. "Правильно, — сказала хозяйка. — А что он делает?" — "По-моему, он лежит на какой-то доске, потягивается и зевает". Хозяйка рассмеялась. "Ничего похожего!" — сказала она. "Но ведь вот она, доска, а вот он лежит", — настаивал на своем К. "А вы посмотрите повнимательней, — с раздражением сказала хозяйка. — Разве он лежит?" "Нет, — согласился К., — он не лежит, а, скорее, парит в воздухе, да, теперь я вижу — это вовсе не доска, скорее какой-то канат, и молодой человек прыгает через него". "Ну вот, — обрадованно сказала хозяйка, — он прыгает, это так тренируются курьеры из канцелярии. Я же знала, что вы все разглядите. А его лицо вам видно?" "Лица почти совсем не видать, — сказал К., — видно только, что он очень напрягается, рот открыл, глаза зажмурил, волосы у него растрепались". "Очень хорошо, — с благодарностью сказала хозяйка, — тому, кто его лично не знал, трудно разглядеть еще что-нибудь. Но мальчик был очень красивый, я видела его только мельком и то не могу забыть". "А кто же он был?" — спросил К. "Это был, — сказала хозяйка, — это был курьер, через которого Кламм в первый раз вызвал меня к себе".

К. не мог как следует слушать — его отвлекало дребезжание стекол. Он сразу понял, откуда идет эта помеха. За кухонным окном, прыгая с ноги на ногу по снегу, вертелись его помощники. Они старались показать, что они счастливы видеть К., и радостно указывали на него друг другу, тыча пальцами в оконное стекло. К. им погрозил пальцем, и они сразу отскочили, стараясь оттолкнуть друг друга от окна, но один вырвался вперед, и оба снова прильнули к стеклу. К. юркнул за перегородку — там помощники не могли его видеть, да и ему не надо было на них смотреть. Но тихое, словно просительное дребезжание оконного стекла еще долго преследовало его и в закутке.

"Опять эти помощники", — сказал он хозяйке, как бы извиняясь, и показал на окно. Но она не обращала на него внимания; отняв фотогра-

фию, она посмотрела на нее, расправила и снова сунула под одеяло. Движения ее стали замедленными, но не от усталости, а, как видно, под тяжестью воспоминаний. Ей хотелось все рассказать К., но она позабыла о нем, перебирая в памяти прошлое. Только через некоторое время она очнулась, провела рукой по глазам и сказала: "И платок у меня от Кламма. И чепчик тоже. Фотография, платок и чепчик — вот три вещи на память о нем. Я не такая молодая, как Фрида, не такая честолюбивая, да и не такая чувствительная — она у нас очень чувствительная; словом, я сумела примириться с жизнью, но должна сознаться: без этих трех вещей и бы тут так долго не выдержала, да что я говорю — я бы и дня тут не выдержала. Может быть, вам эти три подарка покажутся жалкими, но вы только подумайте: у Фриды, которая так долго встречалась с Кламмом, никаких сувениров нет, я ее спрашивала, но она слишком о многом мечтает, да и все недовольна; а вот я — ведь я была у Кламма всего три раза, больше он меня не звал, сама не знаю почему, — я принесла с собой эти вещички на память, наверно, предчувствовала, что мое время уже истекает. Правда, о подарках надо было самой позаботиться — Кламм от себя никогда ничего не даст, но, если увидишь что-нибудь подходящее, можно у него выпросить".

К. чувствовал себя неловко, слушая этот рассказ, хотя все это непосредственно его касалось.

"А когда это было?" — спросил он со вздохом.

"Больше двадцати лет назад, — сказала хозяйка, — куда больше двадцати лет тому назад".

"Значит, вот как долго сохраняют верность Кламму, — сказал К. — Но понимаете ли вы, хозяйка, что от ваших признаний, особенно когда я думаю о будущем своем браке, мне становится очень тяжело и тревожно?"

Хозяйке очень не понравилось, что К. припутал сюда свои дела, и она сердито покосилась на него.

"Не надо сердиться, хозяйка, — сказал К. — Я ведь слова не сказал против Кламма, но силой обстоятельств я все-таки имею к нему какое-то отношение, это-то даже самый ярый поклонник Кламма оспаривать не станет. Так что сами понимаете. Оттого я и начинаю думать о себе, как только упомянут Кламма, тут ничего не поделаешь. Но знаете, хозяйка, — и К. взял ее за руку, хотя она слабо сопротивлялась, — вспомните, как плохо кончился наш последний разговор, давайте хоть на этот раз не сердиться".

"Вы правы, — сказала хозяйка, склонив голову, — но пощадите меня. Ночь я ничуть не чувствительней других людей, напротив, у всех есть много больных мест, а у меня одно-единственное".

"К сожалению, это и мое больное место, — сказал К., — но я постараюсь взять себя в руки, только объясните мне, уважаемая, как я смогу внести в семейной жизни эту потрясающую верность Кламму — если, конечно, предположить, что Фрида в этом похожа на вас?"

"Потрасающая верность? — сердито повторила хозяйка. — Да разве это верность? Я верна своему мужу, при чем тут Кламм? Кламм однажды сделал меня своей любовницей, разве я когда-нибудь могу лишиться этого звания? Вы спрашиваете, как вы перенесете такую верность со стороны Фриды? Ах, господин землемер, ну кто вы такой, чтобы осмелиться это спрашивать?"

"Хозяйка!" — предостерегающе сказал К.

"Знаю, — сдалась хозяйка, — только мой муж таких вопросов не задавал. Мне непонятно, кого можно считать несчастнее — меня тогда или Фриду теперь? Фриду, которая бросила Кламма по своей воле, или меня, которую он больше к себе не звал? Может быть, все-таки Фрида несчастнее, хотя она еще не знает всей глубины своего несчастья. Но тогда это горе занимало все мои мысли, потому что я непрестанно себя спрашивала и, в сущности, до сих пор спрашивать не перестала: почему оно так случилось? Трижды Кламм велел тебя позвать к себе, а в четвертый не позвал! Четвертого раза так никогда больше и не было! А о чем другом я могла думать в то время? О чем еще могла я разговаривать со своим мужем, за которого я вскоре вышла замуж? Днем у нас времени не было, этот постоянный двор достался нам в жалком состоянии, надо было как-то его поднять, — но по ночам? Годами мы разговаривали ночью только о Кламме, о том, почему он переменял свои чувства ко мне. И если мой муж во время этих разговоров засыпал, я его будила, и мы снова продолжали тот же разговор".

"Тогда, — сказал К. — я, с вашего разрешения, задам вам один очень невежливый вопрос".

Хозяйка промолчала.

"Значит, спрашивать нельзя, — сказал К. — Что же, мне и так все понятно".

"Да, конечно, — сказала хозяйка, — вам и так все понятно, это дело особенное. Вы все толкуете неправильно, даже молчание. Иначе вы не можете. Хорошо, я позволю вам задать вопрос".

"Если я все толкую неправильно, — сказал К., — так, может быть, и свой вопрос неправильно толкую, может быть, он вовсе не такой уж невежливый. Я хотел только знать: где вы познакомились со своим мужем и как вам достался этот постоянный двор?"

Хозяйка нахмурила лоб, но ответила вполне равнодушно: "Это очень простая история. Отец мой был кузнец, а Ханс, мой теперешний муж, служил конюхом у одного богатого крестьянина и часто захаживал к моему отцу. Это было после моей последней встречи с Кламмом, я почувствовала себя очень несчастной, хотя оснований для этого не было: все произошло как положено, и то, что меня больше не пускали к Кламму, было решением самого Кламма, значит, и тут было все как положено. Только причины такого решения были неясны, и мне пришлось о них размышлять, но чувствовать себя несчастной я права не имела. И все-таки я была несчастна, не могла работать и целыми днями сидела в нашем палисадничке. Там меня увидел Ханс, иногда он ко мне подсаживался, я ему не жаловалась, но он и так знал, в чем дело, а так как он добрый малый, то он, бывало, и всплакнет вместе со мной. И вот тогдашний хозяин постоянного двора — он потерял жену и решил прикрыть дело, да он уже и сам был стариком — однажды проходил мимо нашего садика и увидел, как мы сидим вдвоем, он остановился и тут же предложил нам свой постоянный двор в аренду, даже денег вперед брать на захотел — сказал, что он нас знает, и цену за аренду назначил совсем маленькую. Быть в тягость своему отцу я не хотела, все на свете мне было безразлично, потому я и стала думать о постоялом дворе, о новой работе, которая хоть немного поможет мне забыть прошлое, потому я и отдала свою руку Хансу. Вот и вся история".

Наступило недолгое молчание, потом К. сказал: "Владелец постоянного двора поступил великодушно, но неосторожно, или у него были особые причины доверять вам обоим?"

"Он хорошо знал Ханса, он ему дядя", — сказала хозяйка.

"Ну, тогда конечно, — сказал К., — наверно, семья Ханса была очень заинтересована в вашем браке?"

"Возможно, — сказала хозяйка, — не знаю, я этим никогда не интересовалась".

"Нет, наверно, так оно и было, — сказал К., — раз семья пошла на такие жертвы и решилась передать вам постоянный двор без всяких гарантий".

"Никакой тут неосторожности с их стороны не было, как выяснилось позже, — сказала хозяйка, — я взялась за работу, ведь я дочь кузнеца, сил у меня много, мне не нужны были ни служанки, ни батраки, я везде сама поспевала — и в столовой, и на кухне, и на конюшне, и во дворе, а готовила я так вкусно, что переманивала посетителей у гостиницы. Вы еще наших столовиков не знаете, а тогда их было куда больше, с тех пор многих недосчитаешься. И в конце концов мы смогли не только вовремя выплатить аренду, но через несколько лет купить все хозяйство, и теперь у нас почти нет долгов. Но случилось и то, что я себя окончательно докормила, сердце у меня сдало, и я стала совсем старухой. Вы, наверно, думаете, что я гораздо старше Ханса, а на самом деле он всего на два-три года моложе меня. И он никогда не постареет при его работе — выкурит трубку, послушает разговоры, потом выбьет трубку, подаст пива, — нет, от такой работы не состаришься".

"Конечно, ваши старания заслуживают всяческой похвалы, — сказал К., — тут и сомнения нет, но ведь вы говорили о временах до вашей свадьбы, и мне немного странно, что семья Ханса так старалась поженить нас, шла на денежные жертвы или по крайней мере брала на себя такой риск, отдавала вам постоянный двор, если у них вся надежда была только на ваше трудолюбие, о котором они вряд ли знали, тогда как нетрудолюбие Ханса им было хорошо известно".

"Ну да, — устало сказала хозяйка, — понимаю, куда вы целите, но вы прымакнулись. Кламм во всех этих делах совершенно ни при чем. Почему же он должен был обо мне заботиться, вернее, как он мог заботиться обо мне? Он же ничего обо мне не знал. Раз он меня больше к себе не вызывал, значит, он обо мне забыл; когда он к себе человека не зовет, он забывает его начисто. При Фриде я не хотела говорить об этом. Но он не просто забывает, тут дело серьезнее. Если человека забудешь, можно с ним опять познакомиться. Но для Кламма это невозможно. Если он тебя не вызвал, значит, он забыл не только прошлое, но забыл тебя и впредь навсегда. При желании я могу встать на вашу точку зрения; может быть, она и правильная там, на чужбине, откуда вы приехали, но здесь такие мысли совершенно неопы. Может быть, вы и до такой бессмыслицы дойдете, что решите, будто Кламм нарочно дал мне моего Ханса в мужья, чтобы мне ничто не мешало прийти к нему, если он когда-нибудь решит меня позвать. Ну, ничего бессмысленней и придумать нельзя. Где тот человек, который мог бы мне помешать броситься к Кламму по первому же его знаку? Чепуха, полнейшая чепуха, тут совсем себя с толку собьешь, если дать волю таким мыслям".

"Нет, — сказал К., — с толку мы не собьемся, и до того, о чем вы говорите, я пока еще не додумался, хотя и был близок к этой мысли. Пока что меня только удивило, что родственники возлагали также большие надежды на ваш брак и что эти надежды на самом деле сбылись — правда, ценой нашего сердца, вашего здоровья. Конечно, мысль о связи всех этих собы-

тий с Кламмом приходила мне в голову, но не совсем или пока еще не совсем в таком грубом виде, как вы изобразили, вероятно, для того, чтобы опять напасть на меня, как видно, это вам доставляет удовольствие. Что ж, пожалуйте! А мысль моя заключалась вот в чем: прежде всего, Кламм явно был причиной вашего брака. Не будь Кламма, вы бы не стали такой несчастной, не сидели бы в палисаднике; не будь Кламма, вас бы там не увидел Ханс, а если бы вы не грустили, робкий Ханс никогда не решился бы заговорить с вами; не будь Кламма, вы бы никогда не плакали вместе с Хансом; не будь Кламма, добрый дядюшка, хозяин двора, никогда не увидел бы вас рядышком; не будь Кламма, у вас не было бы такого безразличия ко всему на свете и вы не вышли бы замуж за Ханса. Вот видите, я бы сказал, что тут Кламм очень при чем. Но это еще не все. Если бы вы не хотели его забыть, вы бы так не изнурили себя работой и не подняли бы хозяйство на такую высоту. Значит, и тут Кламм. И кроме того, Кламм — виновник вашей болезни, потому что еще до вашего замужества сердце у вас пострадало от несчастной любви. Остается только один вопрос: чем этот брак так соблазнил родичей Ханса? Вы сами как-то сказали, что быть хоть когда-нибудь любовницей Кламма — значит навсегда сохранить это высокое звание. Что ж, может быть, это их и соблазнило. Кроме того, по-моему, у них была надежда, что та счастливая звезда, которая привела вас к Кламму — если только она, как вы утверждаете, была и в самом деле счастливой, — эта звезда будет вам всегда сопутствовать и не изменит, как Кламм”.

“И вы все это говорите всерьез?” — спросила хозяйка.

“Конечно, всерьез, — быстро сказал К., — только я считаю, что родственники Ханса были и правы в своих надеждах, и вместе с тем не правы, и мне кажется, что я даже понял ошибку, которую они совершили. Внешне как будто все удалось. Ханс хорошо устроен, у него видная супруга, его уважают, хозяйство свободно от долгов. Но, в сущности, ничего не удалось, и, конечно, он был бы куда счастливее с простой девушкой, которая полюбила бы его первой, настоящей любовью, и если, как вы его упрекаете, он иногда сидит в буфете с потеряннным видом, так это потому, что он и вправду чувствует какую-то потерянность, хотя несчастным он себя, несомненно, не считает — настолько-то я его уже знаю, — но несомненно и то, что такой красивый, неглупый малый был бы счастливее с другой женой; я хочу сказать, он стал бы самостоятельнее, усерднее, мужественнее. Да и вы сами ничуть не счастливее, и, по вашим же словам, без этих трех сувениров вам и жить неохота, да и сердце у вас больное. Что же, значит, родственники надеялись понапрасну? Нет, не думаю. Счастливая звезда стояла над вами, но достать ее они не сумели”.

“А что же мы упустили?” — спросила хозяйка. Она лежала на спине, вытянувшись во весь рост, и смотрела в потолок.

“Не спросили Кламма”, — сказал К.

“Опять мы вернулись к вашему делу”, — сказала хозяйка.

“Или к вашему, — сказал К. — Наши дела тесно соприкасаются”.

“Чего же вам нужно от Кламма?” — спросила хозяйка. Она села на кровати, взбила подушки, чтобы можно было на них опереться, и посмотрела прямо в глаза К. — Я вам откровенно рассказала всю свою историю — в ней для вас немало поучительного. Скажите мне так же откровенно: о чем вы хотите спросить Кламма? Ведь я с большим трудом уговорила Фриду уйти наверх и посидеть в вашей комнате, — я боялась, что при ней вы так откровенно говорить не станете”.

“Мне скрывать нечего, — сказал К. — Но сначала я хочу обратить ваше внимание вот на что. Кламм сразу все забывает — так вы сами сказали. Во-первых, по-моему, это очень неправдоподобно, во-вторых, совершенно недоказуемо, должно быть, это просто легенда, которую сочинили своим женским умом очередные фаворитки Кламмы. Удивляюсь, как вы могли поверить такой плоской выдумке”.

“Нет, это не легенда, — сказала хозяйка, — это доказано на нашем общем опыте”.

“Значит, и опровергнуть это может дальнейший опыт, — сказал К. — И кроме того, между вашей историей и историей Фриды есть еще одна разница. Собственно говоря, тут не то чтобы Кламм Фриду к себе не позвал, наоборот, он ее позвал, а она не пошла. Возможно даже, что он ее ждет до сих пор”.

Хозяйка промолчала и только испытующе оглядела К. с ног до головы. Потом сказала: “Я готова спокойно выслушать все, что вы хотите сказать. Лучше говорите откровенно и не шадите меня. У меня только одна просьба. Не произносите имя Кламма. Называйте его “он” или как-нибудь еще, только не по имени”.

“Охотно, — сказал К. — Мне только трудно объяснить, чего мне от него надо. Прежде всего, я хочу увидеть его вблизи, потом — слышать его голос, а потом узнать, как он относится к нашему браку. А о чем я тогда, быть может, попрошу его, это уж зависит от хода нашего разговора. Тут может возникнуть много всякого, но для меня самым важным будет то, что я встречусь лицом к лицу с ним. Ведь до сих пор я ни с одним настоящим чиновником непосредственно не говорил. Кажется, этого труднее добиться, чем я предполагал. Но теперь я обязан переговорить с ним как с частным лицом, и, по моему мнению, этого добиться гораздо легче. Как с чиновником я могу с ним разговаривать только в его, по всей видимости недоступной, канцелярии, там, в Замке, или, может быть, в гостинице, хотя это уже сомнительно. Но как частное лицо я могу говорить с ним везде: в доме, на улице — словом, там, где удастся его встретить. А то, что одновременно передо мной будет и чиновник, я охотно учту, но главное для меня не в этом”.

“Хорошо, — сказала хозяйка и зарылась лицом в подушки, словно в словах было что-то постыдное. — Если мне удастся через моих знакомых добиться, чтобы Кламму передали вашу просьбу — поговорить с ним, — можете ли вы обещать, что ничего на свой страх и риск предпринимать не будете?”

“Этого я обещать не могу, — сказал К., — хотя я охотно выполнил бы вашу просьбу или прихоть. Да ведь дело не ждет, особенно после неблагоприятного результата моих переговоров со старостой”.

“Это возражение отпадает, — сказала хозяйка. — Староста — человек совершенно незначительный. Неужели вы этого не заметили? Да он и дня не пробыл бы на своем месте, если бы не его жена — она ведет все дела”.

“Мицци? — спросил К. Хозяйка утвердительно кивнула. — Она была при разговоре”, — сказал К.

“А она сказала свое мнение?” — спросила хозяйка.

“Нет, — сказал К. — У меня создалось впечатление, что у нее никакого своего мнения нет”.

“Ну да, — сказала хозяйка, — вы у нас все видите неверно. Во всяком случае, то, что при вас решил староста, никакого значения не имеет, а с его женой я сама при случае поговорю. А если я вам еще пообещаю, что ответ

от Кламма придет не позднее чем через неделю, то никаких оснований идти мне наперекор у вас уже не будет”.

”Все это несущественно, — сказал К. — Я твердо решил и все равно исполню свое решение, и исполнил бы его, даже если бы пришел отказ. А раз я так решил заранее, как же я могу перед этим просить о встрече? То, что без просьбы будет смелым, но никак не злонамеренным поступком, в случае отказа превратится в явное неповиновение. А это, пожалуй, будет похуже”.

”Похуже? — переспросила хозяйка. — Да тут вы все равно проявите неповиновение. А теперь делайте как хотите. Подайте-ка мне юбку”.

Не стесняясь К., она надела юбку и поспешила на кухню. Уже давно из зала слышался шум. В окошечко то и дело стучали. Один раз помощники К. приоткрыли окошко и крикнули, что они голодны. Другие лица тоже заглядывали туда. Издали доносилось тихое, многоголосое пение.

И действительно, из-за разговора К. с хозяйкой обед задержался, он еще не был готов, а посетители уже собрались. Однако никто не отважился нарушить запрет хозяйки и выйти на кухню. Но когда наблюдатели у окна доложили, что хозяйка уже вышла, все служанки сразу прибежали на кухню, и, когда К. вошел в общую комнату, туда, чтобы занять место у столиков, хлынула неожиданно большая толпа посетителей — более двадцати мужчин и женщин, одетых скорее по-провинциальному, чем по-крестьянски. Занят пока был только один угловой столик, там сидела супружеская пара с несколькими детьми. Отец, приветливый голубоглазый человек с растрепанной седой шевелюрой, стоял, наклонясь к детям, и дирижировал ножиком в такт их пению, стараясь немножко его приглушить; быть может, он хотел, чтобы пение заставило их забыть о голоде. Хозяйка равнодушно извинилась перед гостями, хотя никто ее и не упрекал. Она поискала глазами хозяина, но тот, как видно, уже давно сбежал, чтобы выпутаться из затруднительного положения. Потом она неторопливо прошла на кухню. На К., который поспешил к Фриде в свою комнату, она и не взглянула.

7

Учитель

Наверху К. застал учителя. К его радости, комнату почти нельзя было узнать, так постаралась Фрида. Она хорошо ее проветрила, жарко натопила печку, вымыла пол, перестелила постель, исчезли вещи слуганок, весь этот отвратительный хлам, даже их картинки, а стол, который раньше, куда ни повернись, так и пиялился на тебя своей столешницей, заросшей грязью, теперь был покрыт белой вязаной скатеркой. Теперь можно было и гостей принимать, а скудное бельишко К., спозаранку, как видно, перестиранное Фридой и теперь сушившееся на веревке у печки, никому не мешало. Учитель и Фрида сидели за столом и встали, когда К. вошел. Фрида встретила К. поцелуем, учитель слегка поклонился. К., рассеянный и все еще растревоженный разговором с хозяйкой, стал извиняться перед учителем, что до сих пор не зашел к нему. Выходило, будто он считает, что учитель, не дождавшись К., не выдержал и сам пришел к нему. Но учитель со свойственной ему сдержанностью как будто только сейчас

припомнил, что он с К. когда-то договаривался о каком-то посещении. "Ведь вы, господин землемер, — медленно сказал он, — тот незнакомец, с которым я дня два тому назад разговаривал на площади у церкви!" "Да", — коротко бросил К. Теперь у себя в комнате он не желал терпеть то, что тогда приходилось терпеть ему, брошенному всеми. Он повернулся к Фриде и стал советоваться с ней: ему предстоит важная встреча, и он хотел бы одеться для нее как можно лучше. Ни о чем не спрашивая К., Фрида тотчас же окликнула помощников — те занимались рассматриванием новой скатерти, — велела им немедленно вычистить во дворе костюм и башмаки К., и тот сейчас же стал раздеваться. Сама она сняла с веревки рубашу и побежала вниз, на кухню, гладить ее.

Теперь К. остался наедине с учителем, тихо сидевшим у стола, немного пождав, К. снял рубашку и начал мыться в тазу. И только тут, повернувшись к учителю спиной, он спросил, зачем тот пришел к нему. "Я пришел по поручению господина старосты", — сказал учитель. К. ответил, что готов выслушать это поручение. Но так как плеск воды заглушил его слова, учителю пришлось подойти поближе, и он прислонился к стенке около К. К. извинился за то, что умывается при нем и вообще полунулся из-за предполагаемой встречи. Учитель не обратил на это внимания и сказал: "Вы были невежливы со старостой, с таким пожилым, заслуженным, опытным, достойным уважения человеком". "Не помню, чтобы я был невежлив, — сказал К. — Но верно и то, что я думал о более важных вещах и мне было не до светских манер, ведь речь шла о моем существовании, оно под угрозой из-за безобразного ведения дел, впрочем, зачем мне об этом рассказывать вам, вы же сами деятельный член этой канцелярии. А что, разве староста на меня жаловался?" "Кому же он мог жаловаться? — сказал учитель. — И даже если бы было кому, разве он стал бы жаловаться? Я только под его диктовку составил небольшой протокол о ваших переговорах и получил достаточно сведений и о доброте господина старосты, и о характере ваших ответов".

Ища гребешок — Фрида, очевидно, куда-то его засунула, — К. сказал: "Что? Протокол? Да еще составленный без меня человеком, даже не присутствовавшим при разговоре? Неплохо, неплохо! И зачем вообще протокол? Разве то был официальный разговор?" "Нет, разговор был полуофициальный, — сказал учитель, — но и протокол тоже полуофициальный, он составлен только потому, что у нас во всем должен быть строжайший порядок. Во всяком случае, теперь протокол существует и чести нам не делает". К. наконец нашел гребешок, упавший на кровать, и уже покойнее сказал: "Ну и пусть существует, вы затем и пришли, чтобы мне об этом сообщить?" "Нет, — сказал учитель, — но я не автомат, я должен был сказать вам, что я думаю. Поручение же мое, напротив, является доказательством доброты господина старосты. Подчеркиваю, что его доброта непонятна и что только из-за своего служебного положения и глубокого уважения к господину старосте я был вынужден взяться за такое поручение". К., умытый и причесанный, сел к столу, в ожидании рубашки и верхнего платья; ему было ничуть не любопытно узнать, что ему должен передать учитель, да и пренебрежительный отзыв хозяйки о старосте тоже на него повлиял. "Наверно, уже первый час? — спросил он, думая о предстоящем ему пути, но тут же спохватился и спросил: — Вы, кажется, хотели передать мне поручение от старосты?" "Ну да, — сказал учитель, пожимая плечами, словно хотел стряхнуть с себя всякую ответственность. — Господин староста опасается, как бы вы при долгой задержке ответа по

вашему делу необдуманно не предприняли чего-нибудь на свой страх и риск. Со своей стороны я не понимаю, почему он этого боится, я считаю, что лучше всего вам поступать, как вы хотите. Мы вам не ангелы-хранители и не брали на себя обязательств бегать за вами, куда бы вы ни пошли. Впрочем, ладно. Господин староста другого мнения. Конечно, ускорить решение он не в силах — это дело графских канцелярий. Однако в пределах своего влияния он собирается предварительно сделать вам поистине великодушное предложение — от вас зависит принять его или нет. Он предлагает вам пока что занять место школьного сторожа". Сначала К. пропустил мимо ушей, что именно ему предлагали, но самый факт того, что такое предложение было сделано, показался ему не лишенным значения. Все говорило за то, что, по мнению старосты, К. был способен ради своей защиты предпринять кое-что; чтобы оградить от неприятностей общину, староста готов был пойти на некоторые затраты. И как серьезно тут отнеслись к его делу! Наверно, староста форменным образом погнал к нему учителя, и тот терпеливо ждал его, а перед этим писал целый протокол. Увидев, что К. задумался, учитель продолжал: "Я ему высказал свои возражения. Указал на то, что школьный сторож до сих пор нам не был нужен — жена церковного служки изредка убирает школу, а наша учительница, фройляйн Гиза, за этим присматривает. Мне же и так хватает возни с ребятами, и никакой охоты мучиться со школьным сторожем у меня нет. Господин староста возразил, что ведь в школе страшная грязь. Я указал на то, что, по правде говоря, дело обстоит не так уж плохо. И присовокупил: а разве станет лучше, если мы возьмем этого человека в сторожа? Безусловно, нет. Не говоря уж о том, что он в такой работе ничего не смыслит, надо помнить, что в школе всего два больших класса, без всяких подсобных помещений, значит, сторожу с семьей придется жить в одном из классов, спать, а может быть, и готовить там же, и, уж конечно, чище от этого не станет. Но господин староста напомнил, что это место для вас — спасение и поэтому вы изо всех сил будете работать как можно лучше, а кроме того, сказал господин староста, мы вместе с вами заполучим рабочую силу в лице вашей жены и ваших помощников, так что можно будет содержать в образцовом порядке не только школу, но и пришкольный участок. Но я легко опроверг все эти соображения. В конце концов господин староста ничего больше в вашу пользу привести не смог, только рассмеялся и сказал, что, раз вы землемер, значит, сможете аккуратно и красиво разбить клумбы в школьном саду. Ну, на шутки возразить нечего, пришлось идти к вам с этим поручением". "Напрасно беспокоились, господин учитель, — сказал К., — мне и в голову не придет принять это место". "Прекрасно, — сказал учитель, — прекрасно, значит, вы отказываетесь без всяких оговорок". И, взяв шляпу, он поклонился и вышел.

Вскоре пришла Фрида — лицо у нее было расстроенное, рубашу она принесла неглаженую, на вопросы не отвечала; чтобы ее отвлечь, К. рассказал ей об учителе и о предложении старосты; не успел он договорить, как она бросила рубашку на кровать и убежала. Она быстро вернулась, но не одна, а с учителем, который сердито хмурился и молчал. Фрида попросила его запастись терпением — как видно, она по дороге сюда уже несколько раз просила его об этом — и потом потянула К. за собой в боковую дверцу, о которой он и не подозревал, на соседний чердак и там наконец, задыхаясь от волнения, рассказала ему, что произошло. Хозяйка возмущена тем, что она унизилась до откровенничания с К. и, что еще

хуже, уступила ему в том, что касалось переговоров с Кламмом, не добившись при этом ничего, кроме холодного, как она говорит, и притом неискреннего отказа, поэтому она теперь решила, что больше терпеть К. у себя в доме не желает; если у него есть связи в Замке, пусть поскорее использует их, потому что сегодня же, сию минуту он должен покинуть ее дом. И только по прямому приказу и под давлением администрации она это примет опять; однако она надеется, что этого не будет, так как и у нее в Замке есть связи и она сумеет пустить их в ход. И к тому же он и попал к ним на постоянный двор только из-за ротозейства хозяина, а теперь он в этом не нуждается, еще сегодня утром он похвлялся, что ему готов другой ночлег. Конечно, Фрида должна остаться: если Фрида уйдет именно с К., хозяйка будет глубоко несчастна, при одной мысли об этом она разрыдалась там, на кухне, опустившись на пол у плиты, бедная женщина с большим сердцем! Но как она могла поступить иначе, если все это, по крайней мере по ее представлениям, грозит запятнать ее воспоминания о Кламме. Вот в каком состоянии теперь хозяйка. Конечно, Фрида пойдет за ним, к К., куда он захочет, хоть на край света, тут и говорить не о чем, но сейчас они оба в ужасающем положении, поэтому она с большой радостью приняла предложение старосты, и хотя оно для К. не подходит, но ведь место временное — это надо подчеркнуть особо, — тут можно будет выиграть некоторое время и легко найти другие возможности, даже если окончательное решение будет не в пользу К. "А в крайнем случае, — воскликнула Фрида, бросаясь на шею К., — мы уедем, что нас тут держит, в этой Деревне? А пока что, миленький, давай примем это предложение, ладно? Я вернула учителя, ты только скажи ему "согласен", и мы переедем в школу".

"Нехорошо все это, — сказал К. мимоходом; его не очень интересовало, где они будут жить, а сейчас он замерз в одном белье, на чердаке, где не было ни стен, ни окна и дул пронзительный ветер. — Ты так славно убрала комнату, а теперь нам из нее уходить. Нет, неохота, очень неохота мне принимать это место, уж одно унижение перед этим учительишкой чего стоит, а тут он будет моим начальством. Если бы еще побить здесь хоть немного, а вдруг мое положение за сегодняшний день изменится? Хоть бы ты тут задержалась, тогда можно было бы выждать и ответ учителю быть неопределенный. Для себя-то я всегда найду где переночевать, хоть бы у Варна..." Но тут Фрида закрыла ему рот ладонью. "Только не там, — испуганно сказала она, — пожалуйста, не повторяй таких слов. Во всем другом я готова тебя слушаться. Хочешь, я останусь тут одна, как это мне так грустно. Хочешь, откажемся от этого предложения, как это ни ошибочно, по моему мнению. Видишь ли, если ты найдешь другие возможности, то еще сегодня же к вечеру, то тут, само собой понятно, мы сразу откажемся от места при школе и нам никто препятствовать не станет. А что касается унижения перед учителем, так я постараюсь, чтобы ничего такого не вышло, я поговорю с ним сама, а ты только стой рядом и молчи, мы и потом тоже так сделаем; если не захочешь, ты с ним никогда и разговаривать не будешь, на самом деле подчиняться ему буду только я одна, хотя, впрочем, и этого не будет, слишком хорошо я знаю все его слабости. Значит, мы ничего не потеряем, если примем эту должность, зато много потеряем, если откажемся, прежде всего если ты сегодня ничего не добьешься в Замке, то ты действительно нигде, нигде даже для себя одного не найдешь ночлег, я говорю о таком ночлеге, которого бы мне, твоей будущей жене, не пришлось бы стыдиться. А если тебе негде будет ночевать,

как же ты сможешь от меня потребовать, чтобы я спала тут, в теплой комнате, зная, что ты бродишь по улице ночью, на морозе?" К., обхватив себя руками и все время похлопывая себя по спине, чтобы хоть немного согреться, сказал: "Тогда ничего другого не остается, надо принять. Пойдем".

В комнате он сразу подбежал к печке и на учителя даже не взглянул. Тот сидел у стола; вынув часы, он сказал: "Становится поздно". "Зато мы теперь окончательно договорились, господин учитель, — сказала Фрида, — мы принимаем место". "Хорошо, — сказал учитель, — но ведь место предложено господину землемеру. Пусть он сам и выскажется". Фрида пришла на помощь К. "Конечно, — сказала она, — он принимает место, правда, К.?" Таким образом, К. мог ограничиться коротким "да", которое было обращено даже не к учителю, а к Фриде. "В таком случае, — сказал учитель, — мне остается только изложить вам ваши служебные обязанности, чтобы договориться в этом отношении раз и навсегда. Вам, господин землемер, надлежит ежедневно убирать и топить оба класса, самому делать все мелкие починки школьного и гимнастического инвентаря, чистить снег на дорожках, выполнять все поручения, как мои, так и нашей учительницы, а в теплые времена года обрабатывать весь школьный сад. За это вы получаете право жить в одном из классов, по вашему выбору, но, конечно, когда уроки идут не в обоих классах одновременно, и если вы находитесь в том классе, где начинаются занятия, вы должны тотчас же переселяться в другой класс. Готовить еду в школе не разрешается, зато вас и вашу семью будут кормить за счет общины здесь, на постоялом дворе. О том, что вы не должны ронять достоинства школы и особенно не делать детей свидетелями нежелательных сцен вашей семейной жизни, я упоминаю только вскользь, вы, как человек образованный, сами это знаете. В связи с этим должен еще заметить, что мы вынуждены настаивать, чтобы ваши отношения с фройляйн Фридой были как можно скорее узаконены. Эти пункты и еще некоторые мелочи мы запишем в договоре, который вы должны будете подписать при переезде в школьное помещение". Все это показалось К. настолько незначительным, словно он не имел к этому никакого отношения и это его не связывало, но важничанье учителя его раздражало, и он небрежно сказал: "Да, это обычные условия". Чтобы замять его слова, Фрида спросила о жалованье. "Вопрос оплаты будет решен только после месячного испытательного срока", — сказал учитель. "Но ведь для нас это большое затруднение, — сказала Фрида, — значит, нам надо пожить без гроша, заводить хозяйство из ничего. Неужели, господин учитель, нам нельзя обратиться с просьбой в совет общины, чтобы нам сразу назначили хоть небольшое жалованье? Как вы посоветуете?" "Нет, — сказал учитель, по-прежнему обращаясь к К. — Такие просьбы удовлетворяются только по моему ходатайству, а я этого не сделаю. Место вам предоставлено как личное одолжение, а если сознаешь свою ответственность перед общиной, то без конца делать одолжения нельзя". Но тут К., хотя и против воли, решил вмешаться. "Что касается одолжения, господин учитель, — сказал он, — так, по-моему, вы ошибаетесь. Скорее я вам делаю одолжение, чем вы мне!" "Нет, — сказал учитель и улыбнулся: наконец-то он заставил К. заговорить! — Тут у меня есть точные сведения. Школьный сторож нам нужен не больше, чем землемер. Что землемер, что сторож — одна обуза нам на шею. Мне еще придется поломать голову, как оправдать расходы перед общиной. Лучше и естественней всего было бы просто положить заявление на стол, никак его не обосновывая". — "Я и

хотел сказать, что вам приходится принимать меня против воли. Хотя для нас это тяжкая забота, все равно вы должны меня принять. А если кого-то вынуждают принять человека, а этот человек дает себя принять, значит, он и делает одолжение". "Странно, — сказал учитель, — что же может нас оставить принять вас? Только доброе, слишком доброе сердце нашего старосты заставляет нас пойти на это. Да, вижу, что вам, господин землемер, придется расстаться со множеством всяких фантазий, прежде чем стать мало-мальски сносным сторожем. И уж конечно, такие высказывания мало способствуют тому, чтобы вам назначили жалование в скором времени. К сожалению, я замечаю, что ваше поведение доставит мне немало хлопот: вот и сейчас вы со мной беседуете — я смотрю и глазам не верю — в рубаше и кальсонах!" "Да, да! — воскликнул К. со смехом и хлопнул в ладоши. — Ах, эти скверные помощники, куда же они запропастились?" Фрида побежала к дверям; учитель, увидев, что К. с ним больше разговаривать не склонен, спросил Фриду, когда они переберутся в школу. "Сегодня же", — ответила Фрида. "Утром проверю", — сказал учитель, махнул на прощанье рукой и уже хотел выйти в дверь, которую отворила Фрида, но столкнулся со служанками — те уже пришли с вещами, чтобы снова занять свою комнату. Пришлось ему протиснуться между ними — дороги они никому не уступили, — и Фрида тоже проскользнула мимо них. "Однако вы поторопились, — сказал К. служанкам, на этот раз вполне благожелательно. — Мы еще тут, а вы уже явились?" Они ничего не ответили и только растерянно теребили свои узелки, из которых выглядывали все те же грязные лохмотья. "Видно, вы никогда свои вещи не стирали!" — сказал К. без всякой злобы, скорее даже приветливо. Они это заметили, и обе сразу разинули грубые рты и беззвучно засмеялись, показывая красивые, крепкие, звериные зубы. "Ну, заходите, — сказал К., — устранивайтесь, это же ваша комната". И так как они все еще не решались войти — видно, комната им показалась совсем не похожей на прежнюю, — К. взял одну из них за руку, чтобы провести ее вперед. Но он тут же выпустил руку — с таким изумлением обе посмотрели на него и, переглянувшись между собой, уже не спускали с него глаз. "Хватит, чего вы на меня уставились!" — сказал К., преодолевая какое-то неприятное ощущение, и, взяв одежду и башмаки у Фриды, за которой робко вошли и оба помощника, стал одеваться. Он и раньше и теперь не понимал, почему Фрида так терпима к его помощникам. Ведь, вместо того чтобы чистить платье во дворе, они мирно обедали внизу, где их после долгих поисков и нашла Фрида; нечищенные вещи К. лежали у них комком на коленях, и ей пришлось самой все чистить; несмотря на это, она, умевшая так здорово справляться с мужичьем в трактире, даже не бранила помощников, и рассказывала об их вопиющей небрежности как о маленькой шутке, и даже слегка похлопывала одного из них по щеке. К. решил потом сделать ей за это замечание. "Помощники пусть останутся, — сказал К., — и помогут тебе перебраться". Но те, конечно, были против этого: наевшись досыта и повеселев, они с удовольствием размяли бы ноги. Только после слов Фриды: "Нет, оставайтесь тут!" — они подчинились. "А ты идешь, куда я иду?" — спросил К. "Да", — ответила Фрида. "И ты меня больше не удерживаешь?" — спросил К. "Ты встретишь столько препятствий, — сказала Фрида, — разве тут помогут мои слова?" Она поцеловала К. на прощанье и, так как он не обедал, дала ему с собой пакетик с хлебом и колбасой, напомнила, чтобы он возвращался уже не сюда, а прямо в школу, и, положив ему руку на плечо, проводила до дверей.

В ожидании Кламма

Сначала К. был рад, что ушел из душной комнаты, от толкотни и шума, поднятого служанками и помощниками. Немного подморозило, снег затвердел, идти стало легче. Но уже начало темнеть, и он ускорил шаги.

Замок стоял в молчании, как всегда; его контуры уже таяли; еще ни разу К. не видел там ни малейшего признака жизни; может быть, и нельзя было ничего разглядеть из такой дали, и все же он жаждал что-то увидеть, невыносима была эта тишина. Когда К. смотрел на Замок, ему иногда казалось, будто он наблюдает за кем-то, а тот сидит спокойно, глядя перед собой, и не то чтобы он настолько ушел в свои мысли, что отключился от всего, — вернее, он чувствовал себя свободным и безмятежным, словно остался один на свете и никто за ним не наблюдает, и хотя он и замечает, что за ним все-таки наблюдают, но это ни в малейшей степени не нарушает его покоя; и действительно, было ли это причиной или следствием, но взгляд наблюдателя никак не мог задержаться на Замке и соскальзывал вниз. И сегодня, в ранних сумерках, это впечатление усиливалось: чем пристальнее К. всматривался туда, тем меньше видел и тем глубже все тонуло в темноте.

Только К. подошел к еще не освещенной гостинице, как в первом этаже открылось окно, и молодой, толстый, гладко выбритый господин в меховой шубе высунулся из окна. На поклон К. он не ответил даже легким кивком головы. Ни в прихожей, ни в пивном зале К. никого не встретил, запах застоявшегося пива стал еще противнее, чем раньше; конечно, на постоялом дворе "У моста" этого бы не допустили. К. сразу подошел к двери, через которую он в прошлый раз смотрел на Кламма, осторожно нажал на ручку, но дверь была заперта, он попытался на ощупь отыскать глазок, но заслонка, очевидно, была так хорошо пригнана, что на ощупь ее найти было нельзя, поэтому К. чиркнул спичкой. Его испугал вскрик. В углу, между дверью и стойкой, у самой печки, прикорнула молоденькая девушка, которая при вспышке спички сонно уставилась на него, с трудом открывая глаза. Очевидно, это была преемница Фриды. Но она скоро опомнилась, зажгла электричество, лицо у нее все еще было сердитое, однако тут она узнала К. "А, господин землемер! — сказала она с улыбкой, подала ему руку и представилась: — Меня зовут Пеппи". Это была маленькая краснощекая цветущая девица, ее густые, рыжеватобелокурные волосы были заплетены в толстую косу и курчавились на лбу, на ней было какое-то очень неподходящее для нее длинное гладкое платье из серой блестящей материи, внизу оно было по-детски неумело стянуто шелковым шнуром с бантом, стеснявшим ее движения. Она спросила о Фриде, скоро ли та вернется. Вопрос этот звучал довольно ехидно. "Сразу после ухода Фриды, — добавила она, — меня вызвали сюда — нельзя же было звать кого попало! — а я до сих пор служила горничной, и вряд ли я удачно сменяла место. Работа тут вечерняя, даже ночная, это очень утомительно, мне не вынести, не удивляюсь, что Фрида ее бросила". "Фрида была тут очень довольна всем, — сказал К., чтобы наконец Пеппи поняла разницу между собой и Фридой, — она, как видно, об этом не думала". "Вы ей не верьте, — сказала Пеппи. — Фрида умеет держать себя в руках, как никто. Чего она сказать не хочет, того не скажет, и никто не заметит, что

ей есть в чем признаться. Сколько лет мы тут с ней служим вместе, всегда спали в одной постели, но дружить со мной она так и не стала; наверно, сейчас она обо мне и вовсе позабыла. Наверно, ее единственная подруга — старая хозяйка двора "У моста", и это тоже что-то значит". "Фрида — моя невеста", — сказал К., тайком пытаясь нащупать глазок в двери. "Знаю, — сказала Пеппи, — поэтому и рассказываю. Иначе для вас это никакого значения не имело бы". "Понимаю, — сказал К. — Вы полагаете, мне можно гордиться, что завоевал такую скрытную девушку". "Да", — сказала Пеппи и радостно засмеялась, как будто теперь у нее с К. состоялось какое-то тайное соглашение насчет Фриды.

Но, собственно говоря, К. занимали не ее слова, несколько отвлекавшие его от поисков глазка, а ее присутствие, ее появление тут, на том же самом месте. Конечно, она была гораздо моложе Фриды, почти ребенок, и платье у нее было смешное, наверно, она и оделась так потому, что в своем представлении преувеличивала важность обязанностей буфетчицы. И по-своему она была права, потому что это совсем для нее неподходящее место досталось ей случайно и незаслуженно, да и к тому же временно, — ей даже не доверили тот кожаный кошелек, который всегда висел на поясе у Фриды. А ее притворное недовольство своей должностью было явно показным. И все же и у этого несмышленишка, наверно, были какие-то связи с замком; ведь она, если только это не ложь, была раньше горничной; сама не понимая своей выгоды, она теряла тут день за днем, как время; и хотя, обняв это полненькое, чуть сутулое тельце, К. никаких преимуществ не получил бы, но как-то соприкоснулся бы с этим миром, что поддерживало бы его на трудном пути. Тогда, может быть, все будет так, как с Фридой? О нет, тут все было по-другому. Стоило только подумать о взгляде Фриды, чтобы это понять. Никогда К. не дотронулся бы до Пеппи. Но все же ему пришлось на минуту закрыть глаза, с такой жадностью он уставился на нее.

"Свет зажигать нельзя, — сказала Пеппи и повернула выключатель, — зажгла только потому, что вы меня страшно напугали. А что вам тут нужно? Фрида что-нибудь забыла?" "Да, — сказал К. и показал на дверь, — там, в комнате, она забыла скатерку, вязаную, белую". "Ага, свою скатерку, — сказала Пеппи, — помню-помню, красивая работа, я ей помогала вязать, но только вряд ли она может оказаться там, в комнате". "А Фрида сказала, что может. Кто там живет?" — спросил К. "Никто, — ответила Пеппи, — это господская столовая, там господа едят и пьют, вернее, комнату отвели для этого, но почти все господа предпочитают сидеть наверху, в своих номерах". "Если бы я наверно знал, что в той комнате никого нет, я бы туда зашел и сам поискал скатерть, — сказал К. — Но заранее ничего не известно, например, Кламм часто там посиживает". "Там его наверняка нет, — сказала Пеппи, — он же сейчас уезжает, сани уже ждут во дворе".

Тотчас же, ни слова не говоря, К. вышел из буфета, но в коридоре повернул не к выходу, а в обратную сторону и через несколько шагов вышел во двор. Как тут было тихо и красиво! Двор четырехугольный, окруженный с трех сторон домом, с четвертой стороны был отгорожен от улицы высокой белой стеной с большими тяжелыми, распахнутыми настежь воротами. Тут, со стороны двора, дом казался выше, чем с улицы, по крайней мере тут первый этаж был достаточно высок и выглядел внушительнее, потому что по всей его длине шла деревянная галерея, совершенно закрытая со всех сторон, кроме небольшой щелочки на уровне че-

ловческого роста. Наискось от К., почти в середине здания, ближе к углу, где примыкало боковое крыло, находился открытый подъезд без дверей. Перед подъездом стояли крытые сани, запряженные двумя лошадьми. Никого во дворе не было, кроме кучера, которого К. скорее представил себе, чем видел издали в сумерках.

Засунув руки в карманы, осторожно озираясь и держась у стенки, К. обошел две стороны двора, пока не приблизился к саням. Кучер — один из тех крестьян, которых он видел прошлый раз в буфете, — закутанный в тулуп, безучастно следил за приближением К. — так можно было бы смотреть на появление кошки. Даже когда К. уже остановился около него и поздоровался, а лошади, встревоженные неожиданным появлением человека, забеспокоились, кучер не обратил на него никакого внимания. К. это было на руку. Прислонясь к стене, он развернул свой завтрак, с благодарностью подумал о Фриде, которая так о нем позаботилась, и заглянул в низкий, но как будто очень глубокий проход, который шел наперерез, — все было чисто выбелено, четко ограничено прямыми линиями.

Ожидание длилось дольше, чем думал К. Он давно уже справился со своим завтраком, мороз давал себя чувствовать, сумерки сгустились в полную темноту, а Кламм все еще не выходил. "Это еще долго будет", — сказал вдруг хриплый голос так близко от К., что он вздрогнул. Говорил кучер; он потянулся и громко зевнул, словно проснувшись. "Что будет долго?" — спросил К., почти обрадовавшись этому вмешательству — его уже тяготило напряженное молчание. "Пока вы не уйдете", — сказал кучер, но, хотя К. его не понял, он переспрашивать не стал, решив, что так будет легче заставить этого высокомерного малого сказать хоть что-нибудь. Ужасно раздражало, когда в этой темноте тебе не отвечали. И действительно, после недолгого молчания кучер сказал: "Коньяку хотите?" "Да", — сказал К. не задумываясь: слишком заманчиво звучало это предложение, потому что его здорово знобило. "Тогда откройте дверцы саней", — сказал кучер, — там, в боковом кармане, несколько бутылок, возьмите одну, отпейте и передайте мне. Самому мне слезать слишком трудно, тулуп мешает". К. очень рассердилось, что пришлось выполнять такое поручение, но, так как он уже связался с кучером, он все сделал, хотя ему грозило, что Кламм может его застичь у саней. Он открыл широкие дверцы и мог бы сразу вытащить бутылку из внутреннего кармана на дверце, но, раз уж дверцы были открыты, его так потянуло заглянуть в сани, что он не удержался — хоть минутку, да посидеть в них. Он шмыгнул туда. Теплота в санях была поразительная, и холоднее не становилось, хотя дверцы так и остались открытыми настежь — закрыть их К. не решился. Трудно было сказать, на чем сидишь, настолько ты утопал в пледах, мехах и подушках; куда ни повернись, как ни потянись — всюду под тобой было мягко и тепло. Разбросив руки, откинув голову на подушки, лежавшие тут же, К. глядел из саней на темный дом. Почему Кламм так долго не выходит? Оглушенный теплом после долгого стояния в снегу, К. все же хотел, чтобы Кламм наконец вышел. Мысль о том, что лучше бы ему не попадаться Кламму на глаза в таком положении, весьма неясно, как слабая помеха, дошла до его сознания. И этому забвению помогало поведение кучера — ведь тот должен был понять, что К. забрался в сани, но оставил его там, даже не требуя, чтобы он подал коньяк. Это было трогательно с его стороны, и К. захотел ему услужить. Оставаясь все в том же положении, он неуклюже потянулся к карману, но не на открытой дверце,

и на закрытой; оказалось, что никакой разницы не было: в другом кармане тоже лежали бутылки. Он вытащил одну из них, отвинтил пробку, понюхал и невольно расплылся в улыбке: запах был такой сладкий, такой привлекательный, словно кто-то любимый похвалил тебя, приласкал добрым словом, а ты даже и не знаешь, о чем, в сущности, идет речь, да и знать не хочешь и только счастлив от одного сознания, что именно так с тобой говорят. "Неужели это коньяк?" — спросил себя К. в недоумении и из любопытства отпил глоток. Да, как ни странно, это был коньяк, он обжигал и грел. Какое превращение — отопьешь, и то, что казалось только носителем нежнейшего запаха, превращается в грубый кучерской напиток! "Неужели это возможно?" — спросил себя К. и выпил еще.

И вдруг — в тот момент, когда К. сделал большой глоток, — стало светло, вспыхнуло электричество на лестнице, в подъезде, в коридоре, снаружи, над входом. Послышались шаги — кто-то спускался по лестнице; бутылка выскользнула у К. из рук, коньяк пролился на полость. К. выскочил из саней и только успел захлопнуть дверцу со страшным грохотом, как тут же из дому медленно вышел человек. К. подумал: одно утешение, что это не Кламм, впрочем, может быть, именно об этом надо пожалеть? Это был тот мужчина, которого К. уже видел в окне первого этажа. Он был молод, хорош собой, белолицый и краснощекий и к тому же весьма серьезный. И К. посмотрел на него мрачно, но эта мрачность относилась, скорее, к нему самому. Лучше бы послать сюда своих помощников: вести себя так, как он, они тоже успели бы. Человек стоял перед ним, словно даже в его широчайшей груди не хватало дыхания, чтобы выговорить то, что он хотел. "Это возмутительно", — сказал он наконец и сдвинул шляпу со лба. Неужели господин ничего не знал о том, что К. сидел в санях, и ему что-то другое показалось возмутительным? Не то ли, что К. вообще проник во двор? "Как вы сюда попали?" — спросил человек уже тише и вздохнул, словно подчиняясь необходимости. Что за вопросы? Что за ответы? Неужели К. сам должен объяснять этому господину, что приход сюда, с которым он связывал столько надежд, оказался безрезультатным, бесплодным? Но вместо ответа К. повернулся к саням, открыл дверцы и достал свою шапку, которую он там забыл. Ему стало неловко, когда он увидел, как на подножку каплет коньяк.

Потом он снова повернулся к этому человеку: теперь он и не собиравшись скрывать от него, что сидел в санях, впрочем, не это было самым худшим; но если бы его спросили, он не стал бы скрывать, что сам кучер его подговорил, во всяком случае заставил его открыть сани. Гораздо хуже было то, что этот господин застал его врасплох и он не успел спрятаться от него и спокойно подождать Кламма, плохо, что он растерялся и не сообразил, что можно было остаться сидеть в санях, захлопнуть дверцы и там, укрывшись мехами, дожидаться Кламма или хотя бы переждать, пока господин будет находиться поблизости. Правда, кто мог знать: а вдруг сейчас должен явиться Кламм собственной персоной, а в таком случае, конечно, было бы удобнее встретить его около саней. Да, многое надо было бы обмозговать заранее, но теперь делать было нечего, все кончилось.

"Пойдемте со мной", — сказал человек не то чтобы повелительно, приказ был не в словах, а в сопровождавшем их коротком, нарочито равнодушном взмахе руки. "Но я здесь жду кое-кого", — сказал К., уже не

надеясь на успех, но желая настоять на своем. "Пойдемте", — повторил тот совершенно невозмутимо, словно хотел показать, что он и не сомневался, что К. кого-то ждет. "Но я не могу пропустить того, кого жду", — сказал К. и весь передернулся. Несмотря на все случившееся, у него было такое чувство, будто он уже что-то выиграл, добился какой-то удачи, и, хотя ничего осязаемого в этом выигрыше не было, отказываться от него по любому требованию К. не собирался. "Все равно вы его пропустите, увидите вы или останетесь", — сказал господин, и хотя слова его по смыслу были резкими, но в них чувствовалось явное снисхождение к ходу мыслей самого К. "Тогда мне лучше ждать его тут и не дожидаться", — упрямо сказал К. Нет, он не допустил, чтобы этот молодой человек прогнал его откуда пустыми словами. А тот, откинув голову, на миг сосредоточенно прикрыл глаза, словно после тупости К. хотел вернуться к своим разумным мыслям, потом облизнул губы кончиком языка и, обращаясь к кучеру, сказал: "Распрягайте лошадей".

Кучер, повинаясь этому господину, сердито покосился на К., нехотя слез в своем тулупе с козел и, словно ожидая не отмены приказа, но какой-то перемены в поведении самого К., очень нерешительно стал отводить лошадей с саними задним ходом, поближе к боковому крылу дома, где за широкими воротами, очевидно, находился каретный сарай и конюшня. К. увидел, что остался один: в одну сторону уходили сани, в другую — туда, откуда пришел сам К., — уходил молодой человек, все двигался очень медленно, как будто подсказывая К., что в его власти позвать их обратно.

Может быть, он и обладал этой властью, но пользы от нее никакой быть не могло: вернуть на место сани значило бы прогнать самого себя отсюда. И он остался стоять единственным обитателем двора, но эта победа никакой радости ему не сулила. Он переводил взгляд то на молодого господина, то на кучера. Господин уже дошел до дверей, откуда К. впервые вышел во двор, и еще раз оглянулся. К. показалось, что он покачал головой, осуждая его бесконечное упрямство, потом решительным и бесповоротным движением круто отвернулся и исчез в глубине коридора. Кучер оставался на виду гораздо дольше — ему пришлось много возиться с саними, открывать тяжелые ворота, подавать туда сани задним ходом, распрягать лошадей, ставить их в стойло; все это он проделывал серьезно, уйдя в себя, не рассчитывая, как видно, на скорый отъезд; и эта молчаливая возня без единого взгляда в сторону К. была для него гораздо более жестоким упреком, чем поведение молодого человека. Закончив свою работу, кучер медленно, вразвалку пересек двор, запер большие ворота, потом вернулся и так же медленно, глядя на свои следы в снегу, прошел к конюшне и заперся там; и сразу везде потухло электричество — для кого оно сейчас могло светить? — и только наверху, в щелке деревянной галереи, мелькала полоска света, и тут К. показалось, словно с ним порвали всякую связь, и хотя он теперь свободнее, чем прежде, и может тут, в запретном для него месте, ждать сколько ему угодно, да и завоевал он себе эту свободу, как никто не сумел бы завоевать, и теперь его не могли тронуть или прогнать, но в то же время он с такой же силой ощущал, что не могло быть ничего бессмысленнее, ничего отчаяннее, чем эта свобода, это ожидание, эта неуязвимость.

Борьба против допроса

И он сорвался с места и пошел обратно в дом, но уже не прижимаясь к стенке, а прямо посередине двора, по снегу, встретил в коридоре хозяина, который молча поздоровался с ним и показал ему на вход в буфет; К. туда и пошел, потому что промерз и хотел видеть людей, но он был очень разочарован, когда увидел у специально поставленного столика (обычно все довольствовались бочонками) того самого молодого человека, а перед ним — это особенно расстроило К. — стояла хозяйка постоянного двора "У моста". Пеппи, гордо подняв голову, с той же неизменной улыбкой, безоговорочно чувствуя всю важность своего положения и мотая косой при каждом повороте, бегала взад и вперед, принесла сначала пиво, потом чернила и перо; молодой человек, разложив перед собой на столике бумаги, сравнивал какие-то данные, которые он находил то в одной бумаге, то в другой, лежавшей в дальнем углу стола, и собирался что-то записывать. Хозяйка с высоты своего роста, слегка выпятив губы, молча, словно отдыхая, смотрела на господина и его бумаги, как будто она ему уже сообщила все, что надо, и он это благосклонно принял. "Господин землемер, наконец-то", — сказал молодой человек, бегло взглянув на К., и снова углубился в свои бумаги. Хозяйка тоже окинула К. равнодушным, ничуть не удивленным взглядом. А Пеппи как будто и заметила К., только когда он подошел к стойке и заказал рюмку коньяку.

Прислонившись к стойке, К. прикрыл глаза ладонью, не обращая ни на что внимания. Потом попробовал коньяк и отставил рюмку — пить его было невыносимо. "А все господа его пьют", — сказала Пеппи, вылила остатки коньяку, сполоснула рюмку и поставила ее на полку. "У господ есть коньяк и получше", — сказал К. "Возможно, — ответила Пеппи, — а у меня нету". И, отвязавшись таким образом от К., она снова пошла прислуживать молодому господину, хотя тому ничего не требовалось, и все время ходила кругами за его спиной, почтительно пытаясь заглянуть через его плечо в бумаги, но это было лишь пустое любопытство и важничанье, и хозяйка, глядя на это, неодобрительно нахмурила брови.

Вдруг хозяйка встрепенулась и, вся превратившись в слух, уставилась в пустоту. К. обернулся — ничего особенного он не услышал, да и другие как будто ничего не слышали, но хозяйка большими шагами, на цыпочках подбежала к той двери в глубине комнаты, которая вела во двор, заглянула в замочную скважину, обернулась к остальным и, выпучив глаза и губы покраснев, поманила их к себе пальцем, и они по очереди стали смотреть в скважину, хозяйка дольше всех, но и Пеппи не была забыта; равнодушнее всех отнесся к этому молодой человек. Пеппи с ним скоро отошли, и только хозяйка напряженно подглядывала, согнувшись, почти что стоя на коленях, и впечатление было такое, будто она закликает эту замочную скважину впустить ее туда, потому что уже давно ничего не видела. Тут она наконец поднялась, провела руками по лицу, поправила волосы, глубоко вздохнула, как будто ей сначала надо было дать глазам привыкнуть к людям в комнате, а это ей было неприятно, и тогда К. спросил — не для того, чтобы услышать в ответ что-то определенное, а для того, чтобы предупредить возможное нападение, — он стал настолько легко уязвим, что сейчас боялся чуть ли не всего: "Значит, Кламмы уже уехали?" Хозяйка молча прошла мимо него, но молодой человек у столика

сказал: "Да, конечно. Вы перестали его подкарауливать, вот он и смог уехать. Просто диву даешься, до чего он чувствителен. Вы заметили, хозяйка, как он беспокойно озирался?" Но хозяйка как будто ничего не заметила, и молодой человек продолжал: "Но, к счастью, уже ничего не было видно, кучер замел все следы на снегу". "А хозяйка ничего не заметила", — сказал К., не то чтобы преследуя определенную цель, а просто рассердившись на безапелляционный и решительный тон этого утверждения. "Может быть, я в ту минуту не смотрела в замочную скважину", сказала хозяйка; прежде всего она хотела взять под защиту молодого человека, но потом решила вступить и за Кламм и добавила: "Во всяком случае, я не верю в слишком большую чувствительность Кламма. Правда, мы за него боимся и стараемся его оберегать, предполагая, что Кламм чувствителен до невозможности. Это хорошо, и такова, вероятно, его воля. Но наверняка мы ничего не знаем. Конечно, Кламм никогда не будет разговаривать с тем, с кем не желает, сколько бы тот ни старался и как бы он назойливо ни лез, но достаточно того, что Кламм никогда с ним разговаривать не станет и никогда его к себе не допустит, зачем же думать, что он не выдержит вида этого человека? Во всяком случае, доказать это нельзя, потому что этого никогда не будет". Молодой господин оживленно закивал: "Да, разумеется, я и сам в основном придерживаюсь такого мнения; а если я выразился несколько иначе, то лишь для того, чтобы господину землемеру стало понятно. Но верно и то, что Кламм, выйдя из дому, несколько раз огляделся по сторонам". "А может быть, он меня искал?" — сказал К. "Возможно, — сказал молодой человек, — это мне в голову не пришло". Все засмеялись, а Пепи, едва ли понимавшая, что происходит, захохотала громче всех.

"Раз нам тут всем вместе так хорошо и весело, — сказал молодой человек, — я очень попрошу вас, господин землемер, дополнить мои документы кое-какими данными". "Много же у вас тут пишут", — сказал К., издали разглядывая документы. "Да, дурная привычка, — сказал молодой человек и опять засмеялся: — Но может быть, вы и не знаете, кто я такой. Я — Мом, секретарь Кламма по Деревне". После этих слов в комнате наступила благоговейная тишина; хотя и хозяйка и Пепи, наверно, знали этого господина, но их словно поразило, когда он назвал свое имя и должность. И даже самого молодого человека как будто поразила важность его собственных слов, и, словно желая избежать всякой торжественности, которую неминуемо должны были вызвать эти слова, он углубился в свои документы и снова начал писать, так что в комнате был слышен только скрип пера. "А что это такое — «секретарь по Деревне»? — спросил К. после недолгого молчания. Вместо Мома, считавшего, очевидно, ниже своего достоинства давать объяснения после того, как он представился, ответила хозяйка: "Господин Мом — секретарь Кламма, как и другие кламмовские секретари, но место его службы и, если я не ошибаюсь, круг его деятельности... — Тут Мом энергично покачал головой над документами, и хозяйка поправилась: — Да, так, значит, только место его службы, но не круг его деятельности ограничивается Деревней. Господин Мом обеспечивает передачу необходимых для Деревни документов от Кламма и принимает все поступающие из Деревни бумаги для Кламма". И тогда К. посмотрел на нее пустыми глазами — его эти сведения, очевидно, никак не тронули; хозяйка, немного смутившись, добавила: "Так у нас устроено — у всех господ есть свои секретари по Деревне". Мом, слушавший хозяйку куда внимательнее, чем К., добавил, обращаясь

к ней: "Большинство секретарей по Деревне работают только на одного господ, а я работаю на двоих — на Кламма и на Валлабене". "Да, — сказала хозяйка, очевидно припомнив этот факт, — господин Мом работает на двух господ, на Кламма и на Валлабене, значит, он дважды секретарь". "Даже дважды!" — сказал К. и кивнул Мому, который, подавшись вперед, смотрел на него очень внимательно — так одобрительно кивают ребенку, которого похвалили в глаза. И хотя в этом кивке был налет презрения, но его либо не заметили, либо приняли как должное. Именно перед К., который не был удостоен даже мимолетного взгляда Кламма, расхваливали приближенного Кламма с явным намерением вызвать признание и похвалу со стороны К. И все же К. не воспринимал это как следовало бы; он, добивавшийся изо всех сил одного взгляда Кламма, не ценил Мома, которому разрешалось жить при Кламме, он и не думал удивляться и тем более завидовать ему, потому что для него самым желанным была вовсе не близость к Кламму сама по себе, важно было то, что он, К., только он, и никто другой, со своими, а не чьими-то чужими делами мог бы подойти к Кламму, и подойти не с тем, чтобы успокоиться на этом, а чтобы, пройдя через него, попасть дальше, в Замок.

Тут К. посмотрел на часы и сказал: "А теперь мне пора домой". Обстановка тут же изменилась в пользу Мома. "Да, конечно, — сказал тот, — вас зовет долг школьного служителя. Но вам все же придется посвятить мне минутку. Всего два-три коротких вопроса..." "А мне неохота", — сказал К. и хотел пойти к выходу. Но Мом хлопнул папкой по столу и воскликнул: "Именем Кламма я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы!" "Именем Кламма? — повторил К. — Разве мои дела его интересуют?" "Об этом я судить не могу, — сказал Мом, — а вы, наверно, и подавно, так что давайте спокойно предоставим это ему самому. Однако в качестве должностного лица, назначенного Кламмом, я вам предлагаю остаться и ответить на вопросы". "Господин землемер, — вмешалась хозяйка, — я стараюсь давать вам еще какие-либо советы, ведь мои прежние советы, притом самые что ни на есть благожелательные, вы встретили неслыханным отпором, и скрывать нечего, я пришла сюда к господину секретарю только затем, чтобы, как и подобает, сообщить начальству о вашем поведении и ваших намерениях и оградить себя навсегда от вашего вселения в мой дом, вот какие у нас с вами отношения, их уже, как видно, ничем не изменить, и если я теперь высказываю свое мнение, то вовсе не затем, чтобы помочь вам, а для того, чтобы хоть немного облегчить господину секретарю трудную задачу — иметь дело с таким человеком, как вы. Но, несмотря на это, и вы можете, если захотите, извлечь какую-то пользу из моих слов благодаря моей полной откровенности, а иначе чем откровенно с вами разговаривать не могу, и вообще мне противно разговаривать с вами. Так вот прежде всего я должна обратить ваше внимание на то, что единственный путь, который может привести вас к Кламму, идет через протоколы. Не хочу преувеличивать — может быть, и этот путь не приведет вас к Кламму, а может быть, и этот путь оборвется, не дойдя до него, тут уж зависит от благожелательного господина секретаря. Во всяком случае, это единственный путь, который ведет вас хотя бы по направлению к Кламму. И от этого единственного пути вы хотите отказаться без всякой причины, просто из упрямства?" "Эх, хозяйка, — сказал К., — и вовсе это не единственный путь к Кламму, и ничего он не стоит, как и все другие пути. Значит, вы, господин секретарь, решаете, можно ли довести до сведения Кламма то, что я тут скажу, или нет?" "Безусловно, — сказал Мом

и гордо поглядел направо и налево, хотя смотреть было не на что. — За чем же тогда быть секретарем?" "Вот видите, хозяйка, — сказал К., — оказывается, мне надо искать пути вовсе не к Кламму, а сначала к его секретарю". "Я вам и хотела помочь найти этот путь, — сказала хозяйка. — Разве я вам утром не предлагала передать вашу просьбу Кламму? А передать ее можно было бы через господина секретаря. Однако вы отказались, и все же вам другого пути, кроме этого, не останется. Правда, после вашей сегодняшней выходки, после попытки застать Кламма врасплох, надежды на успех почти что не осталось. Но ведь, кроме этой последней, ничтожной, исчезающей, почти не существующей надежды, у вас ничего нет". "Как же так выходит, хозяйка, — сказал К., — сначала вы настойчиво старались меня отговорить от попытки проникнуть к Кламму, а теперь принимаете мою просьбу всерьез и даже считаете, что если мои планы сорвутся, то и пропал. Если вы раньше могли чистосердечно уговаривать меня ни в коем случае не добиваться встречи с Кламмом, как же теперь вы как будто с такой же искренностью просто-таки толкаете меня на путь к Кламму, хотя, может быть, этот путь вовсе к нему и не ведет?" "Разве я вас куда-то толкаю? — спросила хозяйка. — Разве это называется толкать на какой-то путь, если я вам прямо говорю, что все попытки безнадежны! Ну знаете, если у вас хватает нахальства сваливать всю ответственность на меня, то дальше ехать некуда. Может быть, присутствие господина секретаря вас так раззадорило? Нет, господин землемер, никуда я вас не толкаю. В одном только могу признаться — может быть, я вас на первый взгляд немного переоценила. Ваша молниеносная победа над Фридой меня испугала, я не знала, на что вы еще способны, хотела предотвратить еще какую-нибудь беду и решила: чем же еще можно попытаться вас прошибить, как не угрозами и не просьбами. Но теперь я уже научилась относиться ко всему спокойнее. Делайте все, что вам вздумается, может быть, от ваших попыток останутся там, во дворе, на снегу, глубокие следы, но больше ничего не выйдет". "Свои противоречивые слова вы мне совсем не разъяснили, но я хотя бы указал вам на эти противоречия, и то хорошо. А теперь я прошу вас, господин секретарь, скажите мне, правильно ли утверждение хозяйки, что, дав показания, которые вы от меня требуете, я получу разрешение явиться к Кламму. Если так, то я готов ответить на любые вопросы. В этом отношении я вообще на все готов". "Нет, — сказал Мом, — Никакой связи тут нет. Речь идет только о том, чтобы получить точное описание сегодняшнего дня для регистратуры Кламма в Деревне. Описание уже готово, вам остается только для порядка заполнить два-три пробела; никакой другой цели тут нет и быть не может". К. молча посмотрел на хозяйку. "Чего вы на меня смотрите? — сказала она. — Разве я вам говорила что-нибудь другое? И так всегда, господин секретарь, всегда так. Искажает сведения, которые получает, а потом говорит, что ему дают неверные сведения. Я ему твержу с самого начала, и сегодня и всегда буду твердить, что у него нет ни малейшей возможности попасть на прием к Кламму. Значит, раз никакой возможности нет, то и протоколы ему тут не помогут. Что может быть яснее и проще? Дальше я ему говорю: этот протокол — единственная служебная связь с Кламмом, которая ему доступна, и это совершенно ясно и неоспоримо. Но так как он мне не верит и настойчиво — не знаю, зачем и почему, — надеется проникнуть к Кламму, тогда, если следовать ходу его мыслей, ему может помочь единственная настоящая служебная связь, которая у него установится с Кламмом, то есть этот протокол. Вот все, что я сказала, а кто утверждает другое, тот

нарочно искажает мои слова". "Если так, хозяйка, — сказал К., — то прошу прощения: значит, я вас не понял, дело в том, что из ваших прежних слов я сделал ошибочный вывод, как теперь выяснилось, будто для меня все-таки существует какая-то малюсенькая надежда". "Конечно, — сказала хозяйка, — я так и считаю, но вы опять перековеркиваете мои слова, только уже в обратном смысле. Такая надежда для вас, по моему мнению, существует, и основана она, разумеется, только на этом протоколе. Но конечно, дело не сводится к тому, чтобы приставать к господину секретарю". — "А если я отвечу на вопросы, можно мне тогда видеть Кламма?" — "Если так спрашивает ребенок, то над ним только смеются, а если взрослый, то он этим наносит оскорбление администрации, и господин секретарь милостиво смягчил обиду своим тонким ответом. Но надежда, про которую я говорю, именно и состоит в том, что вы через этот протокол как-то связываетесь, вернее, быть может, как-то связываетесь с Кламмом. Разве такой надежды вам мало? А если вас спросить, какие у вас есть заслуги, за которые судьба преподносит вам в подарок эту надежду, то сможете ли вы хоть на что-нибудь указать? Правда, ничего более определенного об этой надежде сказать нельзя, и господин секретарь по своему служебному положению никогда ни малейшим намеком об этом не выскажется. Как он уже говорил, его дело — для порядка описать сегодняшние события, больше он вам ничего не скажет, даже если вы сейчас, после моих слов, его спросите". "Скажите, господин секретарь, — спросил К., — а Кламм будет читать этот мой протокол?" "Нет, — сказал Мом, — зачем? Не может же Кламм читать все протоколы, он их вообще не читает. Не лезьте ко мне с вашими протоколами, говорит он всегда". "Ах, господин землемер, — жалобно сказала хозяйка, — вы меня замучили вашими вопросами. Неужели необходимо или хотя бы желательно, чтобы Кламм читал этот протокол и подробно узнал все ничтожные мелочи вашей жизни, не лучше ли вам смиренно попросить, чтобы протокол скрыли от Кламма, хотя, впрочем, эта просьба была бы так же неразумна, как и ваша другая, — кто же сумеет скрыть что-нибудь от Кламма? Зато в ней хотя бы проявились бы хорошие стороны вашего характера. Но разве это нужно для поддержания того, что вы зовете вашей надеждой? Разве вы сами не сказали, что будете довольны, если вам представится возможность высказаться перед Кламмом, даже если он не будет на вас смотреть и вас слушать? И разве при помощи этого протокола вы не добьетесь хотя бы этого, а может быть, и гораздо большего?" "Гораздо большего? — спросил К. — Каким же образом?" "Хоть бы вы не требовали, как ребенок, чтобы вам все сразу кляли в рот, как лакомство. Ну что может вам ответить на такие вопросы? Протокол попадает в регистратуру Кламма, тут, в Деревне, это вы уже слышали, а больше ничего определенного сказать нельзя. Но понимаете ли вы все значение протоколов господина секретаря и сельской регистратуры? Знаете ли вы, что это значит, когда господин секретарь вас допрашивает? Вероятно, он и сам этого не знает, все может быть. Он спокойно сидит здесь, выполняет свой долг, порядка ради, как он сам сказал. Но вы только учтите, что назначен он Кламмом, работает от имени Кламма; хотя его работа, может быть, никогда до Кламма не дойдет, но она заранее получила одобрение Кламма. А разве что-нибудь может получить одобрение Кламма, если оно не исполнено духа Кламма? Я вовсе не собираюсь грубо лстыть господину секретарю, да он и сам бы возражал против этого, но я говорю не о нем лично, а о том, что он собой представляет, когда действует как сейчас — с

одобрения Кламма: тогда он орудие в руках Кламма, и горе тому, кто ему не подчиняется”.

Угрозы хозяйки не испугали К., но ему наскучили разговоры, которыми она пыталась его подловить. Кламм был далеко. Как-то хозяйка сравнила Кламма с орлом, и К. тогда показалось это смешным, но теперь он ничего смешного в этом уже не видел: он думал о страшной дали, о недоступном жилище, о нерушимом безмолвии, прерываемом, быть может, только криками, каких К. никогда в жизни не слышал, думал о пронзительном взоре, неуловимом и неповторимом, о невидимых кругах, которые он описывал по непонятным законам, мелькая лишь на миг над глубиной внизу, где находился К., — и все это роднило Кламма с орлом. Но конечно, это не имело никакого отношения к протоколу, над которым Мом только что разломал соленую лепешку, закусывая пиво и осыпая все бумаги тмином и крупинками соли.

”Спокойной ночи, — сказал К. — У меня отвращение к любому допросу”. ”Смотрите, он уходит”, — почти испуганно сказал Мом хозяйке. ”Не посмеет он уйти”, — ответила та, но К. больше ничего не слышал, он уже вышел в переднюю. Было холодно, дул резкий ветер. Из двери напротив показался хозяин; как видно, он наблюдал за передней оттуда через глазок. Ему пришлось плотнее запахнуть пиджак, даже тут, в помещении, ветер рвал на нем платье. ”Вы уходите, господин землемер?” — поинтересовался он. ”Вас это удивляет?” — спросил К. ”Да. Разве вас не будут допрашивать?” ”Нет, — сказал К. — Я не дал себя допрашивать”. ”Почему?” — спросил хозяин. ”А почему я должен допустить, чтобы меня допрашивали, зачем мне подчиняться шуткам или прихотям чиновников? Может быть, в другой раз, тоже в шутку или по прихоти, я и подчинюсь, а сегодня мне неохота”. ”Да, конечно, — сказал хозяин, но видно было, что соглашается он из вежливости, а не по убеждению. — А теперь пойду впущу господских слуг в буфет, их время давно пришло, я только не хотел мешать допросу”. ”Вы считаете, что это так важно?” — спросил К. ”О да!” — ответил хозяин. ”Значит, мне не стоило отказываться?” — сказал К. ”Нет, не стоило! — сказал хозяин. И так как К. промолчал, он добавил то ли в утешение К., то ли желая скорее уйти: — Ну ничего, из-за этого кипящая смола с неба не прольется!” ”Верно, — сказал К. — Погода не такая”. Оба засмеялись и разошлись.

10

На дороге

К. вышел на крыльцо под пронзительным ветром и вгляделся в темноту. Злая, злая непогода. И почему-то в связи с этим он снова вспомнил, как хозяйка настойчиво пыталась заставить его подчиниться протоколу и как он устоял. Правда, пыталась она исподтишка и тут же отбавляла его от протокола; в конце концов трудно было разобратся, устоял ли он или же, напротив, поддался ей. Интриганка она по натуре и действует, по-видимому, бессмысленно и слепо, как ветер, по каким-то дальним, чужим указаниям, в которые никак проникнуть нельзя.

Только он прошел несколько шагов по дороге, как вдали замерцали два дрожащих огонька; К. обрадовался этим признакам жизни и заторо-

ишлся к ним, а они тоже плыли ему навстречу. Он сам не понял, почему он так разочаровался, узнав своих помощников. Ведь они шли встречать его, как видно, их послала Фрида, и фонари, высвободившие его из темноты, гудевшей вокруг него, были его собственные, и все же он был разочарован, потому что ждал чужих, а не этих старых знакомцев, ставших для него обузой. Но не одни помощники шли ему навстречу, из темноты появился Варнава. "Варнава! — крикнул К. и протянул ему руку. — Ты ко мне?" Обрадованный встречей, К. совсем позабыл неприятности, которые ему причинил Варнава. "К тебе, — как прежде, с неизменной любезностью сказал Варнава. — С письмом от Кламма". "С письмом от Кламма! — крикнул К., вскинув голову, и торопливо схватил письмо из рук Варнавы. — Посветите!" — бросил он помощникам, и они прижались к нему справа и слева, высоко подняв фонари. К. пришлось сложить письмо в несколько раз — ветер рвал большой лист из рук. Вот что он прочел: "Господину землемеру. Постоялый двор "У моста". Землемерные работы, проведенные вами до настоящего времени, я одобряю полностью. Также и работа ваших помощников заслуживает похвалы. Вы умело приучаете их к работе. Продолжайте трудиться с тем же усердием! Успешно завершите начатое дело. Перебой вызовут мое недовольство. Об остальном не беспокойтесь — вопрос об оплате будет решен в ближайшее время. Вы всегда под моим контролем". К. не отрывал глаз от письма, пока помощники, читавшие гораздо медленнее, трижды негромко не крикнули "ура!", размахивая фонарями в честь радостных известий. "Спокойно! — сказал К. и обратился к Варнаве. — Вышло недоразумение! — сказал он, но Варнава его не понял. — Вышло недоразумение", — повторил он, и снова на него напала прежняя усталость, дорога к школе показалась далекой, за Варнавой вставала вся его семья, а помощники все еще так напирали, что пришлось оттолкнуть их локтями; и как это Фрида могла послать их ему навстречу, когда он велел им остаться у нее. Дорогу домой он и сам нашел бы, даже легче, чем в их обществе. А тут еще у одного из них на шее размотался шарф, и концы развеивались по ветру и уже несколько раз попали К. по лицу, правда, второй помощник тут же отводил их от лица К. своими длинными, острыми, беспрестанно шевелящимися пальцами, но это не помогало. Видно, им обоим даже нравилась эта игра, да и вообще ветер и тревожная ночь привели их в возбуждение. "Прочь! — крикнул К. — Почему же вы не захватили мою палку, раз вы все равно вышли меня встречать? Чем же мне теперь гнать вас домой?" Помощники спрятались за спину Варнавы, но, как видно, не очень испугались, потому что ухитрились опереть свои фонари на правое и левое плечо своего начальника, правда, он сразу их стянул. "Варнава", — сказал К., и у него стало тяжело на душе оттого, что Варнава явно его не понимал и что хотя в спокойные часы его куртка приветливо поблескивала, но, когда дело шло о серьезных вещах, помощи от него не было — только немое сопротивление, то сопротивление, с которым нельзя было бороться, потому что и сам Варнава был беззащитен, и хоть он весь светился улыбкой, помощи от него было не больше, чем от света звезд в вышине против бури тут, на земле. "Взгляни, что мне пишет этот господин, — сказал К. и сунул письмо ему под нос. — Его неправильно информировали. Я никаких землемерных работ не производил, и ты сам видишь, чего стоят мои помощники. Правда, перебои в работе, которая не производится, никак не возможны, значит, мои недовольствия этого господина я вызвать не могу, а уж об одобрении и говорить нечего. Но и успокоиться я тоже никак не могу". "Я все

передам", — сказал Варнава, который все время глядел поверх письма, прочесть его он все равно не мог, так как листок был слишком близко к его лицу. "Эх, — сказал К. — Ты все время мне обещаешь, что все передашь, но разве я могу тебе действительно верить? А мне так нужен надежный посланец, сейчас больше, чем когда-либо". К. в нетерпении закусил губу. "Господин, — сказал Варнава и ласково наклонил голову, так что К. чуть было снова не поддался соблазну верить ему. — Конечно, я все передам, и то, что ты мне поручил в прошлый раз, я тоже обязательно передам". "Как? — воскликнул К. — Ты еще ничего не передал? Разве ты не был в Замке на следующий день?" "Нет, — сказал Варнава, — мой отец стар, ты ведь сам его видел, а работы там как раз было много, пришлось мне помогать ему, но теперь я скоро опять пойду в Замок". "Да что же ты наделал, нелепый ты человек! — крикнул К. и хлопнул себя по лбу. — Не знаешь, что дела Кламма важнее всех других дел? Занимаешь высокую должность посланца и так безобразно выполняешь свои обязанности? Кому есть дело до работы твоего отца? Кламм ждет сведений, а ты, вместо того чтобы лететь со всех ног, предпочитаешь выгребать навоз из хлева". "Нет, мой отец — сапожник, — невозмутимо сказал Варнава, — у него заказ от Брунсвика, а я ведь у отца подмастерьем". "Сапожник, заказ, Брунsvик! — с ненавистью повторил К., словно навеки изничтожая каждое это слово. — Да кому нужны сапоги на ваших пустых дорогах? Все вы тут сапожники, но мне-то какое дело? Я тебе доверил важное поручение не затем, чтобы ты, сидя за починкой сапог, все позабыл и перепутал, а чтобы ты немедленно передал все своему господину". Тут К. немного стих, вспомнив, что Кламм, вероятно, все это время находился не в Замке, а в гостинице, но Варнава, желая доказать, как он хорошо помнит первое поручение К., стал повторять его наизусть, и К. снова рассердился. "Хватит, я ничего знать не желаю", — сказал он. "Не сердись на меня, господин", — сказал Варнава и, словно желая бессознательно наказать К., отвернул от него взгляд и опустил глаза в землю — впрочем, может быть, он просто растерялся от крика. "Я на тебя вовсе не сержусь, — сказал К., уже пеняя на себя за весь этот шум. — Не на тебя я сержусь, но уж очень мне не повезло, что у меня такой посланец для самых важных дел".

"Слушай! — сказал Варнава, и казалось, что, защищая свою честь, он говорит больше, чем следует. — Ведь Кламм не ждет никаких известий и даже сердится, когда я прихожу. "Опять известия!" — сказал он как-то, а по большей части он как увидит издали, что я подхожу, так встает и уходит в соседнюю комнату и меня не принимает. И вообще нигде не сказано, чтобы я сейчас же являлся с каждым новым поручением; если бы было сказано, я бы уж непременно являлся, но об этом ничего не сказано; если бы я даже совсем не явился, мне бы и замечания не сделали. Если и я передаю поручения, то только по своей доброй воле".

"Хорошо", — сказал К., пристально наблюдая за Варнавой и стараясь не обращать внимания на помощников: те по очереди, медленно, словно подымаясь откуда-то снизу, высовывались из-за плеча Варнавы и с коротким свистом, подражая ветру, быстро ныряли за его спину, словно испугавшись К., — так они развлекались все время. "Не знаю, как там получается у Кламма, сомневаюсь, что ты все точно понимаешь, и даже если бы понимал, то мы вряд ли могли бы что-нибудь изменить. Но передать поручение ты можешь, об этом я тебя и прошу. Совсем короткое поручение. Можешь ты его передать завтра, с утра, и сразу, завтра же, принести мне ответ или по крайней мере сообщить, как тебя там приняли? Можешь

ли и хочешь ли ты сделать это? Ты мне окажешь огромную услугу. А может быть, и у меня будет случай отблагодарить тебя как следует, может быть, я и сейчас могу выполнить какое-нибудь твоё желание?" "Конечно, и выполню твоё поручение", — сказал Варнава. "И постарайся выполнить его как можно лучше; передай все самому Кламму, получи ответ от него самого, и все это поскорее, завтра, с самого утра. Скажи, постарайся?"

"Постараюсь, как могу, — сказал Варнава, — но ведь я всегда стараюсь". "Давай не будем сейчас спорить, — сказал К. — Вот мое поручение: землемер К. просит у господина начальника разрешения явиться к нему лично и заранее принимает все условия, связанные с таким разрешением. Он вынужден обратиться с этой просьбой, потому что до сих пор все посредники оказались несостоятельными; в доказательство достаточно признать то, что он до сих пор не выполнил ни малейшей землемерной работы и, судя по заявлению старосты, никогда выполнить ее не сможет, потому что со стыдом и отчаянием прочел последнее письмо господина начальника, и только личное свидание с господином начальником тут поможет. Землемер понимает, насколько велика его просьба, но он приложит все усилия, чтобы как можно меньше обеспокоить господина начальника, и согласен подчиниться любому ограничению во времени, а если сочтут необходимым, то пусть установят то количество слов, которое ему будет разрешено произнести при переговорах, он полагает, что сможет обойтись всего десятком словами. С глубоким почтением и чрезвычайным нетерпением он ожидает ответа. — В забывчивости К. говорил так, будто стоит перед дверью Кламма и обращается к дежурному у дверей. — Вышло куда сильнее, чем я думал, — сказал он, — но ты должен все передать устно, писать письмо я не хочу, оно опять пойдет по бесконечным канцеляриям".

И К. только нацарапал все на листке бумаги, положив его на спину одного из помощников, пока другой светил фонарем, но писал он уже под диктовку Варнавы — тот все запомнил и по-школярски точно все повторил, не обращая внимания на неверные подсказки помощников. "Память у тебя великолепная, — сказал К. и отдал ему листок. — Пожалуйста, прояви себя так же великолепно и во всем остальном. А чего ты желаешь? Неужели у тебя никаких желаний нет? Скажу откровенно: я был бы спокойнее за судьбу своего поручения, если бы ты высказал какое-нибудь пожелание". Сначала Варнава молчал, потом сказал: "Мои сестры тебе кланяются". "Твои сестры? — сказал К. — Ага, помню, такие красивые, высокие девушки". "Обе тебе кланяются, — сказал Варнава, — особенно Амалия, это она мне принесла сегодня письмо для тебя из Школы". Ухватившись за эти слова — остальное ему было не важно, — К. спросил: "А она не могла бы передать мое поручение в Замок? Может быть, вы пойдете вдвоем, попытаете счастья по очереди?" "Амалия не разрешается входить в канцелярию, — сказал Варнава, — а то она с удовольствием бы все сделала".

"Может быть, я завтра к вам зайду, — сказал К. — Только раньше ты приходи с ответом. Буду ждать тебя в школе. Кланяйся и ты от меня своим сестрицам". Казалось, Варнава был просто ошарашен обещанием К., и после прощального рукопожатия он еще мельком погладил К. по плечу. И словно стало все как прежде, когда Варнава во всем блеске появился среди крестьян на постоялом дворе; К., хотя и с улыбкой, принял этот жест как награду. И, смягчившись, он уже на обратном пути не мешал помощникам делать все, что им заблагорассудится.

В школе

Он подошел к дому, промерзнув насквозь; везде было темно, свечи в фонарях догорели, и он ощупью пробрался в школьный класс, следуя за помощниками, которые тут уже хорошо ориентировались. "Теперь вас впервые можно похвалить", — сказал он им, вспомнив о письме Кламма. Из угла раздался сонный голос Фриды: "Дайте К. выпастаться! Не мешайте ему!" Значит, К. был у нее в мыслях все время, хотя ее одолел сон и ждать его она не стала. Зажегся свет; однако лампа горела слабо, керосину в ней было мало. У молодой пары вообще многого не хватало. Правда, печь была вытоплена, но большая комната, служившая также гимнастическим классом — гимнастические снаряды стояли по стенам и спускались с потолка, — поглотила весь запас дров, и хотя все уверяли К., что тут было очень тепло, но сейчас, к сожалению, все уже выстыло. В сарае лежал большой запас дров, но сарай был заперт, а ключ унес учитель, разрешив брать дрова только на топку во время занятий. Все было бы терпимо, будь тут кровати, куда можно было бы забраться. Но ничего тут не было, кроме единственного соломенного тюфяка, правда, очень чистого, накрытого Фридиным шерстяным платком, без пуховой перины, только с двумя грубыми, жесткими одеялами, которые почти не грели. И даже на этот жалкий тюфяк помощники зарились с воодушевлением, хотя, конечно, и не надеялись улечься на него. Фрида смотрела на К. испуганными глазами: она ведь доказала, что может навести уют даже в такой жалкой комнатенке, как там, на постоялом дворе "У моста", но здесь без денег ничего не могла устроить. "Одно у нас украшение в комнате — гимнастические снаряды", — сказала она с вымученной улыбкой. Но Фрида обещала, что завтра же найдет выход и наверняка устранит главные недостатки — плохую постель и нехватку топлива, и потому просит К. потерпеть. Ни одним словом, ни одним намеком или жестом она не показала, что испытывает в душе хоть малейшую горечь против К., несмотря на то что он, по собственному признанию, увел ее сначала из господской гостиной, а теперь и с постоялого двора. Потому К. и старался со всем примириться, кстати, ему это было не так уж трудно; он мысленно шел по следам Варнавы и слово в слово повторял свое поручение, но не так, как он твердил эти слова Варнаве, а так, как, по его мнению, их воспримет Кламм. Но при этом он искренне обрадовался, когда Фрида сварила ему кофе на спиртовке, и, прислонясь к остывающей печке, внимательно следил, как она ловкими, умелыми движениями постлала на учительскую кафедру обязательную белую скатерть, поставила цветастую чашку и рядом с ней — хлеб, сало и даже баночку сардин. Все было готово — оказывается, Фрида сама еще не ела и ждала К. Нашлось два стула, К. с Фридой сели к столу, а помощники — у их ног на подмостках кафедры, но они никак не могли усидеть спокойно и даже мешали есть. Хотя им всего уделили вполне достаточно и они еще не справились со своей порцией, но то и дело привставали и заглядывали на стол — много ли там еще осталось и дадут ли им еще чего-нибудь. К. совершенно их не замечал, и только Фридин смех заставил его обратить на них внимание. Он ласково прикрыл рукой ее руку на столе и тихо спросил, почему она им все спускает и даже к их выходкам относится снисходительно. Так никогда нельзя будет от них избавиться, а вот если бы отнестись к их поведению

по заслугам, то они либо приутихнут, либо — и это еще вероятнее и еще бы лучше — так невзлюбят свою службу, что наконец сбегут. Очевидно, ничего приятного жизнь в школе не обещает, впрочем, долго это не протянется, но все недочеты были бы едва заметны, если бы только убрались помощники и они с Фридой бы остались вдвоем в тихом доме. Неужто она не замечает, что они становятся день ото дня нахальнее, выходит так, будто их подбодряет присутствие Фриды, видно, они надеются, что при ней К. не станет обходиться с ними так круто, как следовало бы. Должно быть, все-таки есть какие-то совсем простые средства, чтобы избавиться от нихсию минуту, при любых обстоятельствах. Может быть, даже Фрида знает, как это осуществить, — ведь ей хорошо знакомы здешние условия. Да и самим помощникам будет лучше, если их прогонят: жизнь тут у них не особенно обеспечена, а лениться, как они привыкли, им во всяком случае тут не придется, надо будет работать, потому что Фриде после всех волнений предыдущих дней нужно себя щадить, а он, К., будет занят поисками выхода из этого скверного положения. И все же, если помощники уйдут, у него на душе станет настолько легче, что он без труда сможет выполнять всю работу по школе наравне с другими делами.

Фрида, выслушав все очень внимательно, тихонько погладила его руку и сказала, что она того же мнения, но что он, по-видимому, принимает выходки помощников слишком всерьез: ребята они молодые, веселые и простоватые, впервые попали на службу к приезжему, вырвавшись из строгой дисциплины Замка, поэтому они и возбуждены и слегка огорошены и в этом состоянии делают много глупостей, и хотя вполне понятно, что они вызывают раздражение, но лучше бы над ними просто посмеяться. Она сама иногда не может удержаться от смеха. Однако она вполне согласна с К., что лучше всего было бы их отправить и остаться вдвоем, наедине. Она придвинулась к К. поближе и спрятала лицо у него на плече. И пробормотала так неразборчиво, что К. пришлось наклониться к ней, что, к сожалению, она никакого средства избавиться от помощников не знает и боится, что все предложения К. будут бесполезны. Насколько ей известно, К. сам попросил их прислать, теперь он их получил и должен держать. Лучше всего принимать их не всерьез, а такими, какие они есть, — легкомысленные ребята.

Но К. был недоволен таким ответом; полушуточно, полусерьезно он сказал, что Фрида, как видно, с ними в сговоре или, во всяком случае, очень к ним благоволит, конечно, они красавчики, но нет таких людей, от которых при желании нелегко избавиться, и он ей это докажет именно на помощниках.

Фрида сказала, что будет ему очень благодарна, если это удастся. Кстати, теперь она больше над ними смеяться не будет и ни одного лишнего слова им не скажет. Да и ничего смешного нет, и действительно, это не пустяк, когда за тобой все время наблюдают двое мужчин; теперь она все поняла и смотрит на них глазами К. И она вправду вздрогнула, когда один из помощников высунулся из-под стола, отчасти — проверить, есть ли в записной книжке, отчасти — чтобы понять, о чем они все время шепчутся.

К. воспользовался этим, чтобы отвлечь Фриду от помощников; он привлек ее к себе, и они окончили ужин, тесно прижавшись друг к другу. Теперь надо было ложиться спать, все очень устали, один из помощников уже заснул над куском, что очень рассмешило второго, он все пытался заставить своих господ полюбоваться на дурацкую физиономию спящего, но ему это не удавалось: К. и Фрида безучастно сидели за

столом. Лечь они не решались — холод в комнате становился все невыносимее; наконец К. заявил, что необходимо протопить, иначе спать невозможно. Он спросил, нет ли топора, помощники знали, где его найти, тут же принесли топор, и все отправились к сараю. В скором времени легкая дверь была взломана, и помощники пришли в такой восторг, будто они никогда в жизни ничего лучшего не видели, и стали таскать дрова в комнату, толкаясь и обгоняя друг друга. Скоро там выросла целая груда, печку затопили, все расположились вокруг нее, помощникам было выдано одеяло, в него можно было завернуться, этого вполне хватало, потому что, по уговору, один из них должен был дежурить, поддерживая огонь, и скоро у печки стало так жарко, что и одеяло не понадобилось, лампы потушили, и, радуясь теплу и тишине, Фрида и К. уснули.

Но когда К. проснулся ночью от какого-то шума и сонным, нерешительным движением потянулся к Фриде, он почувствовал, что вместо Фриды рядом с ним лежит один из его помощников. Вероятно, от волнения, которое возникает, если человека внезапно разбудят, К. испытал такой ужас, какого он не испытывал с самого своего прихода в Деревню. С криком он приподнялся и бессознательно так двинул помощника кулаком, что тот заплакал. Но все быстро разъяснилось. Оказывается, Фриду разбудило ощущение — а может быть, ей показалось, — что какое-то животное, наверно кошка, прыгнуло к ней на грудь. Она встала и со свечой к руке обыскала всю комнату. Этим воспользовался один из помощников, чтобы хоть немножко полежать на удобном тюфяке, в чем он теперь горько раскаивался. Фрида так ничего и не нашла, возможно, ей все померещилось, она вернулась к К. и по дороге, словно забыв вечерний разговор, ласково погладила по голове плачущего помощника, прикурнувшего в углу. К. ничего на это не сказал, он только велел помощникам больше не топить — уже вышли почти все дрова, и в комнате стало слишком жарко.

Утром все они проснулись, только когда прибежали первые школьники и с любопытством обступили их постели. Это было очень неприятно, потому что к утру в комнате стало так жарко, что все разделось до белья, и как раз в ту минуту, когда они стали одеваться, появилась Гиза — учительница, белокурая, высокая и красивая, но немного чопорная девушка. Очевидно, она уже знала о новом школьном слугителе и, должно быть, получила от учителя указания, как себя с ним вести, потому что уже с порога сказала: "Это я не потерплю. Хорошие дела тут творятся. Вам разрешили ночевать в классе, но я-то не обязана вести занятия в вашей спальне. Фу, безобразие — семейство школьного сторожа до полудня валяется в кровати". Конечно, ей можно было возразить, особенно насчет семейства и кроватей, подумал К., и так как от помощников никакого толку не было — те, лежа на полу, с любопытством гладили на учительницу и ребят, К. с Фридой торопливо пододвинули брусья к коню и, завесив их одеялами, отгородили уголок, где, спрятавшись от взглядов школьников, можно было по крайней мере одеться. Но и теперь у них не было ни минуты покоя; сначала учительница бранилась, почему в умывальнике нет свежей воды, — К. только что собирался принести воды для себя и для Фриды, но решил обождать, чтобы не очень раздражать учительницу; однако и это не помогло: вдруг раздался страшный грохот — к несчастью, они забыли убрать с кафедры остатки ужина, учительница размахнулась линейкой, и все полетело на пол; ей и дела не было, что масло из-под сардинной и остатки кофе разлились лужей, а кофейник разбился вдребезги, — на это ведь был сторож, уборка — его дело. Но К. и Фрида, еще полураздетые,

прислонясь к коню, смотрели, как гибнет их имущество; помощники, которые, очевидно, и не думали одеваться, выглядывали из-под одеял, к великому удовольствию ребятишек. Больше всего, конечно, Фрида горевала над кофейником, и только когда К., ей в утешение, уверил ее, что немедленно пойдет к старосте и потребует замены и, конечно, получит ее, она взяла себя в руки и в одной рубашке и нижней юбке выскочила из-за загородки, чтобы хотя бы подобрать одеяло и не дать ему запачкаться. Это ей удалось, хотя учительница, желая ее отпугнуть, непрестанно колола линейкой по кафедре, подымая оглушительный грохот. Фрида и К. оделись и взялись за помощников — те совсем обалдели от шума; пришлось не только угрозами и толчками заставить их одеться, но и самим их одевать. Когда все были готовы, К. распределил обязанности. Первым делом он поручил помощникам принести дров и затопить в соседнем классе, оттуда грозила главная опасность, потому что там, вероятно, уже ждал сам учитель. Фрида должна была вымыть пол, а К. — принести воду и сделать общую уборку. О завтраке пока что и думать было нечего. Чтобы проверить настроение учительницы, К. решил выйти первым, а остальные должны были пойти за ним, когда он их позовет. Поступить так он решил, во-первых, потому, что не хотел ухудшать положение из-за глупости помощников, а во-вторых, он хотел как можно больше щадить Фриду: она была самолюбива, он — ничуть, она обижалась, он — нет, она думала только о тех мелких гадостях, которые сейчас происходили, а он был весь в мыслях о Варнаве и своем будущем. Фрида точно выполнила все его указания, не спуская с него глаз. Но как только он вышел из-за загородки, учительница под смех детей, который уже не прекращался, крикнула: "Что, все наконец выспались?" — и когда К., ничего не ответив — в сущности, к нему прямо и не обращались, — пошел к умывальнику, учительница спросила: "Что вы сделали с моей киской?" Огромная старая жирная кошка лениво растянулась на столе, и учительница осматривала ее слегка ушибленную лапу. Значит, Фрида была права, и хотя кошка на нее не прыгала — куда ей было прыгать! — но, видно, наткнувшись ночью на людей в обычно пустом доме, с перепугу повредила себе лапу. К. попытался спокойно объяснить все это учительнице, но ее интересовал лишь результат, и она сказала: "Ну конечно, вы ее искалечили, вот с чего вы тут начали. Смотрите!" Подозвав К. на кафедру, она показала ему лапу, и не успел он опомниться, как она провела кошачьей лапой по его руке, и хотя когти у кошки были тупые, но учительница, не щадя на этот раз и кошку, надавила так сильно на ее лапу, что у К. выступили кровавые царапины. "А теперь ступайте работать!" — нетерпеливо бросила учительница и снова наклонилась над кошкой. Фрида, выглядывавшая вместе с помощниками из-за загородки, вскрикнула, увидев кровь. К. показал свою руку ребятам. "Смотрите, что со мной сделала злая, хитрая кошка!" — сказал он это, конечно, не для ребят, они и без того кричали и смеялись вовсю и все равно ничего не слушали и ни на какие слова внимания не обращали. Но так как и учительница в ответ на оскорбление только коса взглянула на К. и снова занялась кошкой, очевидно утолив гнев кровавым наказанием, то К. позвал Фриду и помощников, и работа началась.

К. уже вынес ведро с помоями, принес чистой воды и стал подметать пол, но тут встал из-за парты и подошел к нему мальчик лет двенадцати, коснулся его руки и сказал что-то, чего К. из-за страшного шума понять не мог. Вдруг шум прекратился, и К. обернулся. То, чего он все утро боялся,

наконец случилось. В дверях стоял учитель, двумя руками он, этот маленький человечек, держал за шиворот обоих помощников, как видно, он поймал их у дровяного сарая, потому что мощным голосом, отчеканивая каждое слово, прогремел: "Кто посмел взломать сарай? Подайте сюда этого негодяя, я его сотру в порошок!"

Тут Фрида привстала с колен — она старательно мыла пол у ног учительницы, — бросила взгляд на К., словно ища поддержки, и сказала с оттенком прежней уверенности во взгляде и манере держаться: "Это я сделала, господин учитель. У меня другого выхода не было. Раз надо было с утра топить классы, значит, пришлось открыть сарай; брать у вас ночью ключ и беспокоить вас я не осмелилась, мой жених в это время был в гостинице, он мог бы там и остаться переночевать, вот мне и пришлось самой решиться. Если я неправильно поступила, то лишь по неопытности, поэтому простите меня, мой жених меня уже бранил, когда увидел, что я наделала. Он мне запретил заглаживать с утра, он подумал: раз вы заперли сарай, значит, хотели показать, что не надо топить, пока вы сами не явитесь. Стало быть, его вина, что тут не топлено, а в том, что взломали сарай, вина моя".

"Кто взломал дверь?" — спросил учитель у помощников, которые тщетно пытались вырваться у него из рук. "Этот господин", — сказали оба и ткнули пальцем в К., чтобы никаких сомнений не было. Фрида рассмееалась — этот смех говорил больше, чем все ее объяснения, и тут же стала выкручивать половую тряпку над ведром, как будто она уже разрешила все недоразумения и помощники только добавили что-то в шутку. Опустившись снова на колени, чтобы продолжать мытье пола, она сказала: "Наши помощники — просто дети, им бы еще сидеть за партой. Ведь я сама вечером открыла дверь топором, дело это простое, помощники мне не понадобились, они только мешали бы. А потом, ночью, когда вернулся мой жених и вышел посмотреть, что я наделала, и починить дверь, помощники тоже увязались за ним, видно боялись остаться тут одни, и, увидев, как мой жених возится со взломанной дверью, теперь винят его, но ведь они еще дети..." Во время Фридиных объяснений помощники качали головой, и тыкали пальцем в К., и всячески старались мимикой показать Фриде, что она не права, но, так как им это не удавалось, они наконец сдались, приняли слова Фриды как приказ и на все вопросы учителя уже ничего не отвечали. "Ага, — сказал учитель, — значит, вы мне лгали? Или обвиняли сторожа из легкомыслия?" Они промолчали, но по их боязливым взглядам и по тому, как они задрожали, учитель решил, что они и вправду виноваты. "Вот я сейчас вас выпорю!" — сказал он и послал одного из мальчиков в соседнюю комнату за розгой. Но когда учитель поднял розгу, Фрида вдруг крикнула: "Но ведь они говорили правду!" — и в отчаянии швырнула тряпку в ведро, так что полетели брызги; она убежала за брусью и спряталась в угол. "Все они изолгались!" — сказала учительница. Она уже кончила перевязывать лапу кошке и держала ее на коленях, где та еле-еле помещалась.

"Значит, остается господин сторож, — сказал учитель, оттолкнув помощников и обращаясь к К. Тот стоял, опершись на метлу, и молча слушал. — Тот самый сторож, который из трусости спокойно слушает, как за его мерзости несправедливо обвиняют других". "Знаете что, — сказал К., заметив, что благодаря Фридиному вмешательству безудержный гнев учителя немного поостыл, — если бы моих помощников малость выпороти, я бы ничуть не пожалел, их раз десять прощали, когда они по справедливости

восте того не заслуживали, а на этот раз, хоть и не по справедливости, пусть они получат свое. И кроме того, господин учитель, я был бы рад избежать непосредственного столкновения между мной и вами, полагаю, что и вам это будет весьма кстати. А так как сейчас Фрида ради помощников пожертвовала мной, — тут К. сделал паузу, и слышно было, как за одеялами рыдает Фрида, — то, конечно, надо всех вывести на чистую воду". "Неслыханно!" — сказала учительница. "Вполне с вами согласен, фройльин Гиза, — сказал учитель. — Вас, сторож, я, разумеется, немедленно увольняю за возмутительное нарушение служебных обязанностей, наказание для вас еще впереди, а сейчас немедленно убирайтесь отсюда со всем вашим скарбом. Для нас будет большим облегчением избавиться от вас и наконец начать занятия. Убирайтесь, и поскорее!" "А я с места не сдвинусь! — сказал К. — Вы мой начальник, но место это предоставлено не вами, а господином старостой, и увольнение я приму только от него. Но он предоставил мне это место вовсе не для того, чтобы я тут замерзал со всеми моими людьми, а для того, чтобы я в отчаянии не натворил необдуманно бог знает что. И уволить меня так, вдруг, ни с того ни с сего, совершенно не входит в его намерения. И я никому не поверю, пока не услышу от него самого. Впрочем, вероятно, и вам пойдет на пользу, если я не послушаюсь ваших легкомысленных распоряжений". "Значит, не слушаетесь?" — спросил учитель, и К. только покачал головой. "Вы подумайте как следует, — продолжал учитель, — ведь вы не всегда удачно принимаете решения; вспомните хотя бы, как вчера вечером вы отказались от допроса". "А почему вы именно сейчас об этом упоминаете?" — спросил К. "Потому, что мне так угодно! — сказал учитель. — А теперь я в последний раз повторяю: вон отсюда!"

Но так как и эти слова никакого действия не возымели, учитель подошел к кафедре и стал вполголоса советоваться с учительницей, та что-то сказала про полицию, но учитель это отклонил. В конце концов они договорились, и учитель позвал детей из этого класса в свой класс на совместные занятия с его учениками. Ребята обрадовались перемене, со смехом и криком освободили комнату, учитель с учительницей вышли вслед за ними. Учительница несла классный журнал, а на нем во всей своей красе разлеглась совершенно безучастная кошка. Учитель охотно оставил бы кошку тут, но, когда он намекнул на это учительнице, она решительно отказалась, сославшись на жестокость К., и вышло так, что из-за К. учитель еще пришлось терпеть кошку. Очевидно, под влиянием этого учитель на прощанье сказал: "Барышня вынуждена покинуть этот класс вместе с учениками, так как вы беспардонно не подчинились моему приказу об увольнении и так как никто не может требовать, чтобы молодая особа проводила занятия в вашей грязной семейной обстановке. Вы остаетесь в одиночестве и можете тут вести себя как угодно, ни один порядочный человек не будет вам мешать. Но ручаюсь вам, что долго это продолжаться не будет". С этими словами он громко хлопнул дверью.

12

Помощники

Как только все ушли, К. сказал помощникам: "Вон отсюда!" Ошеломленные этим неожиданным приказом, они послушались, но, когда К. запер за ними дверь, они стали рваться назад, взвизгивать и сту-

чать в дверь. "Вы уволены! — крикнул К. — Больше я вас к себе на службу не возьму". Но они никак не унимались и барабанили в двери руками и ногами. "Пусти нас, господин!" — кричали они, как будто К. — обетованный берег, а их захлестывают волны. Но К. был безжалостен, он с нетерпением ждал, пока невыносимый шум заставит учителя вмешаться. Так оно и случилось. "Впустите своих проклятых помощников!" — закричал учитель. "Я их уволил!" — крикнул в ответ К.; ему хотелось, кроме всего прочего, показать учителю, как оно бывает, когда у человека хватает сил не только объявить об увольнении, но и настоять на своем. Учитель попытался добром успокоить помощников — пусть подождут спокойно, в конце концов К. обязан будет впустить их. Потом он ушел. И может быть, все обошлось бы, если бы К. не стал снова кричать им, что он их окончательно уволил и пусть они ни минуты не надеются вернуться к нему на службу. Тут они опять подняли страшный шум. И опять пришел учитель, но теперь он их уговаривать не стал, а просто выгнал из дому, очевидно с помощью своей страшной трости.

Вскоре они появились под окном гимнастического класса, стуча по стеклам и вопя, хотя ни слова нельзя было разобрать. Но и там они пробыли недолго — стоять на месте они от волнения не могли, да и трудно было прыгать в глубоком снегу. Поэтому они побежали к ограде школьного двора, вскочили на каменный фундамент, откуда они могли, пусть издалека, видеть всю комнату. Они забегали вдоль ограды, держась за прутья, и остановились, умоляюще протягивая руки к К. Долго они так стояли, не замечая, что все их старания бесполезны; они словно ослепли и, должно быть, даже не заметили, как К. опустил занавеску, чтобы их не видеть.

В затемненной комнате К. подошел к параллельным брускам и взглянул на Фриду. Увидев его, она встала, поправила прическу, вытерла глаза и молча взялась варить кофе. Хотя она все слыхала, К. счел нужным сообщить ей, что он уволил помощников. Она только кивнула. К. сел за парту и стал следить за ее усталыми движениями. Только свежесть и непринужденность в обращении красили это тщедушное тельце, теперь вся его прелесть исчезла. За несколько дней, прожитых с К., с ней произошла такая перемена. Работа в буфете гостиницы была, конечно, нелегкой, но подходила ей больше. А может быть, разлука с Кламмом была истинной причиной такого спада? Близость к Кламму придавала ей безумное очарование, и К., поддавшись этому соблазну, привлек ее к себе, а теперь она увала у него на руках.

"Фрида!" — позвал К., и она тотчас же оставила кофейную мельницу и села рядом с ним за парту. "Ты на меня сердись?" — спросила она. "Нет, — сказал К. — Наверно, ты иначе не можешь. Ты была довольна жизнью в гостинице. Надо было тебя там и оставить". "Да, — грустно сказала Фрида, — надо было оставить меня там. Я недостойна жить с тобой. Будь ты свободен от меня, ты бы, наверно, мог достигнуть всего, чего ты хочешь. Из-за меня ты подчинился этому тирану — учителю, взял такую жалкую должность и стараешься изо всех сил добиться свидания с Кламмом. Все из-за меня, а чем я тебе за это отплатила?" "Нет, — сказал К. и обнял ее словно в утешение. — Все это мелочи, меня они не задевают, и Кламма я хочу видеть вовсе не из-за тебя. А сколько ты для меня сделала! Пока я тебя не знал, я тут блуждал как в потемках. Никто меня не принимал, а кому я навязывался, тот сразу меня отталкивал. Если же я у кого-то мог найти приют, так то были люди, от которых я сам бежал, вроде се-

мейства Варнавы". "Ты от них бежал? Это правда? Милый ты мой!" — живо перебила его Фрида, но, когда К. нерешительно сказал: "Да", она снова устало поникла. Однако и у К. больше не хватило решимости объяснить, в чем именно связь с Фридой все изменила для него в лучшую сторону. Он медленно высвободил руку и некоторое время просидел молча, и тут Фрида заговорила так, как будто его рука давала ей тепло, без которого ей сейчас было бы невозможно: "Мне такую жизнь и не вынести. Если кочешь со мной остаться, нам надо эмигрировать куда-нибудь, в Южную Францию, в Испанию". "Никуда мне уехать нельзя, — сказал К. — Я привык жить сюда. Здесь я жить и останусь". И наперекор себе, даже не пытаясь объяснить это противоречие, он добавил, словно думая вслух: "Что же еще могло заманить меня в эти унылые места, как не желание остаться тут? — Помолчав, он сказал: — Ведь и ты хочешь остаться тут, это же твоя родина. Только Кламма тебе не хватает, оттого у тебя и мысли такие горькие". "По-твоему, мне Кламма не хватает, — сказала Фрида. — Да здесь от Кламмы не продохнуть, я оттого и хочу отсюда удрать, чтобы от него избавиться. Нет, не Кламм, а ты мне нужен, из-за тебя я и хочу уехать; мне никак тобой не насытиться здесь, где все рвет меня на части. Ах, если бы сбросить с себя красоту, пусть бы лучше мое тело стало непривлекательным, жалким, может быть, тогда я могла бы жить с тобой спокойно". Но К. услышал только одно. "Разве ты до сих пор как-то связана с Кламмом? — спросил он сразу. — Он тебя зовет к себе?" "Ничего я о Кламме не знаю, — сказала Фрида, — сейчас я говорю о других, например о твоих помощниках". "О помощниках? — удивленно спросил К. — Да разве они к тебе приставали?" "А ты ничего не заметил?" — спросила Фрида. "Нет, — сказал К., с трудом припоминая какие-то мелочи. — Правда, мальчики они назойливые, сластолюбивые, но чтобы они осмелились приставать к тебе — нет, этого я не заметил". "Не заметил? — сказала Фрида. — Ты не заметил, как их нельзя было выставить из нашей комнаты на постоялом дворе "У моста", как они ревниво следили за нашими отношениями, как один из них, наконец, улегся на мое место на тюфяке, как они сейчас на тебя наговаривали, чтобы тебя выгнать, погубить и остаться со мной наедине? И ты всего этого не заметил?" К. смотрел на Фриду, не говоря ни слова. Возможно, что все эти обвинения против помощников были справедливыми, но все можно было толковать куда безобиднее, понимая, насколько смешно, ребячливо, легкомысленно и несдержанно вели себя эти двое. И не отпадало ли обвинение, если вспомнить, как они оба все время стремились ходить по пятам за К., а вовсе не оставаться наедине с Фридой? К. что-то упомянул в этом духе, но Фрида сказала: "Все это одно притворство! Неужели ты их не раскусил? Тогда почему ты их прогнал? Разве не из-за этого?" И, подойдя к окну, она немного раздвинула маневеску, выглянула на улицу и подозвала К. Помощники все еще стояли у ограды и то и дело, собравшись с силами, умоляюще протягивали руки к школе. Один из них, чтобы крепче держаться, зацепился курткой за острие ограды.

"Бедняжки, бедняжки!" — сказала Фрида.

"Спрашиваешь, почему я их выгнал? — сказал К. — Конечно, непосредственным поводом была ты сама". "Я?" — спросила Фрида, не сводя глаз с помощников. "Ты была с ними слишком приветлива, — сказал К., — простила все их выходки, смеялась над ними, гладила их по головке, постоянно их жалела, вот и сейчас сказала: "Бедняжки, бедняжки!" — и, наконец, последний случай, когда тебе не жаль было пожертвовать мной,

лишь бы избавить моих помощников от порки". "В этом-то все и дело! — сказала Фрида. — Об этом я и говорю, оттого я и такая несчастная, это-то меня и отрывает от тебя, хотя для меня нет большего счастья, чем быть с тобой всегда, без конца, без края, когда я только о том и мечтаю, что раз тут, на земле, нет спокойного угла для нашей любви, ни в Деревне, ни в другом месте, так лучше нам найти могилу, глубокую и тесную, и мы с тобой обнимем друг друга крепче тисков, я спрячу голову на груди у тебя, а ты у меня, и никто никогда нас больше не увидит. А тут — ты только посмотри на помощников! Не к тебе, а ко мне протягивают руки!" "И не я на них смотрю, — сказал К., — а ты!" "Конечно, я, — сказала Фрида почти сердито, — об этом я и твержу все время. Иначе не все ли равно — пристают они ко мне или нет, даже если подосланы Кламмом". "Подосланы Кламмом", — повторил К., удивившись этим словам, хоть они и показались ему убедительными. "Ну конечно, подосланы Кламмом, — сказала Фрида, — ну и пускай, и все-таки они дурашливые мальчишки, их еще надо учить розгой. И какие они гадкие, черномазые! А как противно смотреть на их дурацкое ребячество, ведь лица у них такие взрослые, можно было бы их даже принять за студентов! Неужели ты думаешь, что я ничего этого не вижу? Да мне за них стыдно! В этом-то все дело, они меня не отталкивают, просто я за них стыжусь. Мне все время хочется на них смотреть. Надо бы на них сердиться, а я смеюсь. Когда их хотят выпороть, я их глажу по головке. А ночью я лежу с тобой рядом и не могу заснуть, все время через тебя смотрю, как один крепко спит, завернувшись в одеяло, а другой стоит на коленях перед печкой и топит, я даже чуть тебя не разбудила, так я перегнулась через тебя. И вообще не кошки испугалась — уж кошек-то я знаю, да и привыкла на ходу дремать в буфете, где мне вечно мешали, не кошка меня испугала, — я сама себя испугалась. Вовсе не надо было никакой кошки — этакой дрянной! — я и так вздрагивала от каждого звука. То я пугаюсь, что ты вдруг проснешься, и тогда всему конец, то я вскакиваю и зажигаю свечку, чтобы ты поскорей проснулся и защитил меня". "Ничего этого я не знал, — сказал К., — только подозревал что-то, потому их и выгнал, а теперь, когда они ушли, может быть, все и уладится". "Да, наконец-то они ушли, — сказала Фрида, но лицо у нее выражало не радость, а страдание, — а мы до сих пор и не знаем, кто они такие. Ведь я только в шутку, только про себя говорю, что они подосланы Кламмом, но, быть может, это и правда. Их глаза, такие глупые, но сверкающие, мне очень напоминают глаза Кламма, из их глаз меня иногда словно пронзает взгляд Кламма. И наверно, неправильно, когда я говорю, что я их стыжусь. Хорошо, если бы так. Правда, я знаю, что в другом месте, у других людей такое поведение мне показалось бы грубым и противным, а вот у них — нет. Я и на их глупости смотрю с уважением и восхищением. Но если они и вправду подосланы Кламмом, кто нас может от них избавить? Да и разумно ли тогда нам от них избавляться? Может, надо позвать их и радоваться, когда они вернутся?" "Ты хочешь, чтобы я их опять пустил сюда?" — спросил К. "Да нет же, — сказала Фрида, — вовсе я этого не хочу. И если бы они снова сюда ворвались, радуясь, что видят меня тут, стали прыгать, как дети, и протягивать ко мне руки, как взрослые мужчины, — нет, я бы этого не вынесла! Но стоит мне только подумать, что ты сам, отталкивая их, лишаешь себя доступа к Кламму, как мне хочется любым способом оградить тебя от таких последствий. И тут мне хочется, чтобы ты их впустил сюда. Ну, К., зови их сюда, и поскорее! А на меня не обращай внимания, что я значу! Буду защищать

си от них, пока могу, а если проиграю — ну что ж, значит, проиграю, но это с сознанием, что все делается ради тебя". "Но ты только укрепляешь мое решение насчет помощников, — сказал К. — Никогда им с моего согласия сюда не войти. А то, что я их смогу прогнать, только доказывает, что при некоторых обстоятельствах с ними вполне можно справиться, и, кроме того, это значит, что их, в сущности, ничто с Кламмом не связывает. Только вчера я получил от Кламма письмо, из которого видно, что Кламм совершенно неправильно осведомлен о помощниках, из чего опять-таки можно заключить, что они ему абсолютно безразличны; если бы не так, то он мог бы получить о них более точные сведения. А то, что ты в них видишь Кламма, тоже ничего не доказывает, к сожалению, ты все еще находишься под влиянием хозяйки, и тебе всюду мерещится Кламм. И ты все еще любовница Кламма, а никак не моя жена. Иногда я от этого впадаю в уныние, мне кажется, что я все потерял, и у меня такое чувство, будто я только сейчас приехал в Деревню, но не с надеждой, как было на самом деле, а с предчувствием, что меня ждут одни разочарования и что я должен испытать эту чашу до самого дна. Правда, так бывает редко, — добавил К. и улыбнулся Фриде, увидев, как она поникла от его слов, — и, в сущности, только доказывает одну хорошую вещь, а именно как много ты для меня значишь. И если ты сейчас предлагаешь мне выбирать между тобой и помощниками, то помощники уже проиграли. И вообще, что за выдумки — выбирать между тобой и ними? Нет, я теперь хочу окончательно от них избавиться, и не думать, и не говорить о них. И кто знает, может быть, мы поддались этой минутной слабости просто потому, что еще не завтракали?" "Возможно", — сказала Фрида с усталой улыбкой и принялась за работу. И К. тоже снова взялся за метлу.

13

Ханс

А через некоторое время в дверь тихо постучали. "Варнава!" — вскрикнул К., бросил метлу и в два прыжка подскочил к двери. Фрида смотрела на него, испугавшись при этом имени, как никогда. У К. так дрожали руки, что он не сразу справился со старой задвижкой. "Сейчас открою", — бормотал он, вместо того чтобы узнать, кто стучит. Оторопев, он увидел, как в широко распахнутую дверь вошел не Варнава, а тот мальчик, который уже прежде пытался заговорить с К. Но К. вовсе не хотел вспоминать об этом. "Что тебе тут нужно? — спросил он. — Занятия идут рядом". "А я оттуда", — сказал мальчик, спокойно глядя на К. большими злыми глазами и стоя смирно, руки по швам. "Что же тебе надо? Говори скорее!" — сказал К., немного наклонясь, потому что мальчик говорил совсем тихо. "Чем я могу тебе помочь?" — спросил мальчик. "Он хочет нам помочь! — сказал К. Фриде и спросил мальчика: — Как же тебя зовут?" "Ханс Брунsvик, — ответил мальчик, — ученик четвертого класса, сын Отто Брунsvика, сапожного мастера с Мадленгассе". "Вот как, значит, ты Брунsvик", — сказал К. уже гораздо приветливее. Выяснилось, что Ханс так расстроился, увидев, как учительница до крови расцарапала руку К., что уже тогда решил за него заступиться. И сейчас, под страхом сурового наказания, он самовольно, как дезертир, прокрался сюда из соседнего класса. Вероятно, главную роль сыграло мальчишеское воображе-

ние. Оттого он и вел себя с такой серьезностью. Сначала он стеснялся, но потом присмотрелся и к Фриде и к К., а когда его напоили вкусным горячим кофе, он оживился, стал доверчивей и начал настойчиво и решительно задавать им вопросы, как будто хотел как можно скорее узнать самое важное, чтобы потом самому принять решение и за К. и за Фриду. В нем было что-то властное, но при этом столько детской наивности, что они подчинились ему наполовину в шутку, наполовину всерьез. Во всяком случае, он поглотил все их внимание, работа совсем остановилась, завтрак затянулся. И хотя мальчик сидел за партой, К. — наверху, на кафедре, а Фрида — рядом, в кресле, но казалось, будто Ханс, как учитель, проверяет и оценивает их ответы, а легкая улыбка его мягкого рта как бы говорила о том, что он понимает, что все это только игра, однако он тем серьезнее вел себя при этом и, может быть, улыбался не игре, — просто детская радость озаряла его лицо. Позже он признавался, что уже видел К., так как тот однажды заходил к Лаземану. К. ужасно обрадовался. "Ты тогда играл у ног той женщины?" — спросил он. "Да, — сказал Ханс, — это моя мама". Тут его стали расспрашивать о его матери, но он рассказывал неохотно и только после настойчивых уговоров, сразу было видно, что он еще совсем мальчишка, хотя иногда, особенно по его вопросам, напряженным, встревоженным, слушателям казалось, что говорит энергичный, умный, прозорливый человек; может быть, они предчувствовали, что таким он станет в будущем, но Ханс тут же без всякого перехода опять превращался в маленького школьника, который многих вопросов вообще не понимал, другие истолковывал неверно и к тому же от детского невнимания к собеседникам говорил слишком тихо, хотя ему несколько раз на это указывали, и тогда он, словно из упрямства, вообще отказывался отвечать на многие настойчивые вопросы, причем умолкал без всякого стеснения, чего никак не сделал бы взрослый человек. Выходило так, будто, по его мнению, задавать вопросы позволено только ему, а вопросы других лишь нарушают какие-то правила и заставляют его терять время. Тогда он надолго умолкал и сидел, выпрямившись, опустив голову и выпятив нижнюю губу. Фриде это очень нравилось, и она часто задавала ему такие вопросы, которые, как она надеялась, заставят его замолчать, иногда ей это и удавалось, что очень сердило К. В общем, они мало что узнали. Мать часто болела, но какой болезнью — осталось неясным, ребенок, сидевший на коленях у фрау Брунsvик, — сестрица Ханса, зовут ее Фрида (Хансу, очевидно, не нравилось, что ее звали так же, как женщину, задававшую ему вопросы), жили они все в Деревне, но не у Лаземана, туда они только пришли в гости, купаться, потому что у Лаземана была большая лохань для купания и малышам, к которым Ханс себя не причислял, доставляло особенное удовольствие там плескаться; о своем отце Ханс говорил с уважением или страхом и только когда его не спрашивали о матери; по сравнению с ней отец, как видно, для него мало значил, но, в общем, на все вопросы о семье, как ни старались К. и Фрида, ответа они не получили. О ремесле отца они узнали, что он самый лучший сапожник на Деревне, равных ему не было, Ханс повторял это, отвечая и на другие вопросы, отец даже давал работу другим сапожникам, например отцу Варнавы, причем в этом случае Брунsvик делал это из особой милости, о чем и Ханс заявил, особенно гордо вскинув голову, за что Фрида, вскочив, расцеловала его. На вопрос, бывал ли он в Замке, он ответил только после многих настояний, причем отрицательно, а на тот же вопрос про свою мать и вовсе не ответил. В конце концов К. устал, и ему эти расспросы показались

беспольными, тут мальчик был прав, да и что-то постыдное было в том, чтобы обиняком выпытывать у невинного ребенка семейные тайны, и вдвойне постыдно так ничего и не узнать. И когда К. наконец спросил мальчика, чем же он им хочет помочь, он не удивился, узнав, что Ханс предлагает помочь им тут, в работе, чтобы учитель с учительницей их больше не ругали. К. объяснил, что такая помощь им не нужна, учитель ругается из-за своего плохого характера, и даже при самой усердной работе от ругани не избавиться, сама по себе работа не трудная, и сегодня только по чистой случайности она не доделана, впрочем, на К. эта ругань не действует, не то что на школьников, он ее не замечает, она ему почти безразлична, а кроме того, он надеется, что скоро и вовсе избавится от учителя. А раз Ханс хочет только помочь им против учителя, то большое ему спасибо, но пусть он лучше спокойно возвращается в класс, надо только надеяться, что его не накажут. И хотя К. вовсе не подчеркивал, а, скорее, бессознательно давал понять, что ему не нужна только такая помощь, Ханс отлично это понял и прямо спросил, не нужна ли К. помощь в чем-нибудь другом. А если сам он ничем помочь не может, то попросит свою мать, тогда все непременно удастся. Когда у отца бываю неприятности, тот всегда просит маму о помощи. А мама уже спрашивала про К., вообще-то она почти не выходит из дому, и то, что она была у Лаземанов, — исключение. Но сам Ханс часто ходит к Лаземанам играть с их детьми, и мать его однажды уже спрашивала, не приходил ли туда снова тот землемер. Но маму нельзя было зря волновать — она такая усталая и слабая, — поэтому он просто сказал, что землемера он не видел, и больше о нем разговоров не было; но когда Ханс увидел его тут, в школе, он решил с ним поговорить, чтобы потом передать матери. Потому что мать больше всего любит, когда ее желания выполняют без ее просьбы. На это К., подумавши, отвечал, что никакой помощи ему не надо, у него есть все, что ему требуется, но со стороны Ханса очень мило, что он хочет ему помочь, и К. благодарит его за добрые намерения; конечно, может случиться, что потом он в чем-то будет нуждаться, тогда он обратится к Хансу, адрес у него есть. А сейчас он, К., сам мог бы чем-нибудь помочь, ему жаль, что мать Ханса болеет, тут, как видно, никто ее болезни не понимает, а в таких запущенных случаях часто самое легкое недомогание может дать серьезные осложнения. Но он, К., немного разбирается в медицине и — что еще ценнее — умеет ухаживать за больными. Бывало, что там, где врачи терпели неудачу, ему удавалось помочь. Дома его за такое целебное воздействие называют "горькое зелье". Во всяком случае, он охотно навесит мятущку Ханса и побеседует с ней. Как знать, быть может, он сумеет дать ей полезный совет, он с удовольствием делает это, хотя бы ради Ханса. Сначала у Ханса от этих слов заблестели глаза, что побудило К. стать настойчивее, но он ничего не добился; Ханс на все вопросы довольно спокойно ответил, что к маме никому чужому ходить нельзя, ее надо очень щадить, и, хотя в тот раз К. с ней почти ни слова не сказал, она несколько дней пролежала в постели, что, правда, с ней случается довольно часто. А отец тогда даже рассердился на К., и уж он-то, конечно, никогда не разрешит, чтобы К. навесил мать, он и тогда хотел отыскать К. и наказать его за его поведение, однако мать его удержала. Но главное — то, что мать сама ни с кем не желает разговаривать, и К. тут вовсе не исключение, а наоборот, ведь она могла бы, упомянув его, выразить желание его видеть, но она ничего не сказала, подтвердив этим свою волю. Ей только хотелось услышать про К., во встречаться с ним она не хотела. Кроме того, ника-

кой болезни у нее, в сущности, нет, она отлично знает причину своего состояния, даже иногда говорит об этом: она просто плохо переносит здешний воздух, а уехать отсюда не хочет из-за мужа и детей; впрочем, ей уже стало гораздо лучше, чем раньше. Вот примерно и все, что узнал К., причем Ханс проявил немалую изобретательность, ограждая мать от К. — от того К., которому он, по его словам, хотел помочь; более того, ради столь доброго намерения — оградить мать от К. — Ханс начал противоречить своим собственным словам — например, тому, что он прежде говорил о ее болезни. Все же К. и теперь видел, что Ханс к нему относится хорошо, но готов забыть об этом ради матери: по сравнению с матерью все оказывались не правы, сейчас это коснулось К., но, наверно, на его месте мог бы оказаться, например, и отец Ханса. К. захотел это проверить и сказал, что, разумеется, отец поступает очень разумно, ограждая мать от всяких помех, и, если бы К. об этом хотя бы догадывался, он ни за что не посмел бы заговорить тогда с матерью и просит Ханса передать семье его извинения. Но вместе с тем он никак не поймет, почему отец, так ясно зная, по словам Ханса, причину болезни, удерживает мать от перемены места и отдыха, вот именно удерживает, ведь она только ради него и ради детей не уезжает, но детей можно взять с собой, ей и не надо уезжать надолго, уже там, на замковой горе, воздух совсем другой. А расходы на такую поездку никак не должны страшить отца, раз он лучший сапожник в Деревне; наверно, у него или у матери есть родные или знакомые в Замке, которые ее охотно приютят. Почему же отец ее не отпускает? Не стоило бы ему так пренебрегать ее здоровьем. К. видел мать только мельком, но именно ее слабость, ее ужасающая бледность заставили его заговорить с ней; он и тогда удивился, как отец мог держать больную женщину в таком скверном воздухе, в общей бане и прачечной и сам все время кричал и разговаривал, ничуть не сдерживаясь. Отец, должно быть, не понимает, в чем тут дело; но если даже в последнее время и наступило какое-то улучшение, то ведь болезнь эта с причудами; в конце концов, если с ней не бороться, она может вспыхнуть с новой силой, и тогда уж ничем не поможешь. Если К. нельзя поговорить с матерью, может быть, ему стоит поговорить с отцом и обратить его внимание на все эти обстоятельства.

Ханс слушал очень внимательно, почти все понял, но в том, чего не понял, почувствовал скрытую опасность. И все же он сказал, что с отцом К. поговорить не сможет, отец его невзлюбил и, наверно, будет с ним обращаться как учитель. Говоря о К., он робко улыбался, но об отце сказал с горечью и грустью. Однако, добавил он, может быть, К. удастся поговорить с матерью, но только без ведома отца. Тут Ханс призадумался, уставившись в одну точку, совсем как женщина, которая собирается нарушить какой-то запрет и ищет возможности безнаказанно совершить такой поступок, и наконец сказал, что, наверно, послезавтра можно будет это устроить, отец уйдет в гостиницу, там у него какая-то встреча, и тогда Ханс вечером зайдет за К. и ответит его к своей матери, конечно, если мать на это согласится, что еще очень сомнительно. Главное, она ничего не делает против воли отца, во всем ему подчиняется, даже в тех случаях, когда и Хансу ясно, насколько это неразумно. Теперь Ханс действительно искал помощи у К. против отца; выходило так, что он себя обманывал, думая, что хочет помочь К., тогда как на самом деле хотел испытать, не может ли этот внезапно появившийся чужак, на которого даже мать обратила внимание, помочь им теперь, когда никто из старых знакомых ничего

сделать не в состоянии. Каким, однако, скрытным и бессознательно лукавым оказался этот мальчик! Ни по его виду, ни по его словам нельзя было этого заметить, и только из последующих нечаянных признаний, выпитанных с намерением или мимоходом, можно было это понять. А теперь в долгом разговоре с К. он обсуждал, какие трудности придется преодолеть. При всех стараниях Ханса они были почти непреодолимы; думая о своем и вместе с тем словно ища помощи, он, беспокойно моргая, смотрел на К. До ухода отца он не смел ничего сказать матери, иначе отец узнает и все провалится, значит, надо будет сказать ей попозже, но и тут, принимая во внимание болезнь матери, придется сообщить ей не сразу, неожиданно, а постепенно, улучив подходящую минуту; только тогда он может испросить у матери согласие, а потом привести к ней К.; но вдруг тогда будет уже поздно, вдруг возникнет угроза возвращения отца? Нет, все это никак невозможно. Но К. стал доказывать, что это вполне возможно. Не надо бояться, что не хватит времени на разговор, — короткой встречи, короткой беседы вполне достаточно, да и вовсе не надо Хансу заходить за К. Тот спрячется где-нибудь около дома и по знаку Ханса сразу придет. Нет, сказал Ханс, нельзя ждать у дома; тут снова сказались бережное отношение Ханса к матери, потому что без разрешения матери К. пойти туда не может, нельзя Хансу вступать с К. в какие-то соглашения, скрыв их от матери: Ханс должен зайти за К. в школу, но не раньше, чем мать обо всем узнает и даст разрешение. Хорошо, сказал К., но выходит, что это действительно опасно, возможно, что отец застанет его в доме, а если даже нет, то мать так будет бояться, что не разрешит К. прийти; значит, тут опять всему виной отец. Но Ханс стал возражать, и так они спорили без конца.

Уже давно К. подозревал Ханса к себе на кафедру, поставил его между колен и время от времени ласково поглаживал его по голове. И хотя Ханс иногда упрямылся, все же эта близость как-то способствовала их взаимопониманию. Наконец они договорились так: Ханс прежде всего скажет матери всю правду, но для того, чтобы ей было легче согласиться на встречу с К., ей скажут, что он поговорит с самим Брунсвиком, правда не о матери, а о своих делах. И это было правильно: во время разговора К. сообщил, что Брунсвик, каким бы злым и опасным человеком он ни был, собственно говоря, не может быть его противником, потому что, судя по словам старосты, именно он был вожаком тех, кто, пусть из политических соображений, требовал приглашения землемера, и прибытие К. в Дерновню было для Брунсвика желанным; правда, тогда не очень понятно, почему он так сердито встретил его в первый день и так плохо, по словам Ханса, к нему относится, но, может быть, Брунсвик был обижен именно тем, что К. в первую очередь не обратился за помощью к нему, и, может быть, тут произошло еще какое-нибудь недоразумение, которое легко исправить двумя-тремя словами. А если так случится, то К., несомненно, найдет в Брунсвике защиту против учителя, а может быть, против самого старосты, и тогда откроются все эти административные жульничества — как же их еще иначе назвать? — при помощи которых и староста и учитель не пускают его к начальству в Замке и заставляют служить в школе; а если заново из-за К. начнется борьба Брунсвика со старостой, то Брунсвик, конечно, перетянет К. на свою сторону. К. станет гостем в доме Брунсвика, и все силы, которыми располагает Брунсвик, назло старосте окажутся в распоряжении К., и как знать, чего он этим сможет добиться, и, уж конечно, он тогда часто будет бывать около той женщины; такие

мечты играли с К., а он играл с мечтами; между тем Ханс, думая только о своей матери, тревожно смотрел на молчащего К. — так смотрят на врача, думающего, какое бы лекарство прописать тяжелобольному. Ханс был согласен, чтобы К. поговорил с Брунsvиком насчет должности землемера, хотя бы потому, что тогда мать будет защищена от нападков отца, да и вообще речь шла о крайней необходимости, которая, надо надеяться, не возникнет. Ханс только спросил, каким образом К. объяснит отцу свой поздний приход, и в конце концов согласился, хотя и несколько насупившись, чтобы К. сказал, что его привели в отчаяние невыносимые условия работы в школе и унижительное обращение учителя и поэтому он забыл всякую осторожность.

Когда наконец все было обдумано и появилась хоть какая-то надежда на удачу, Ханс, освободившись от тяжелых дум, повеселел и стал болтать по-ребячески, сначала с К., потом с Фридой — та все время была занята какими-то своими мыслями и только сейчас включилась в общий разговор. Между прочим она спросила Ханса, кем он хочет быть, и, не долго думая, тот сказал, что хотел бы стать таким человеком, как К. Но когда его начали расспрашивать, он не смог ничего ответить; а на вопрос, неужели он хочет стать сторожем в школе, он решительно сказал "нет". Только после дальнейших расспросов стало ясно, каким окольным путем он пришел к этому желанию. Теперешнее положение К. — жалкое и презренное — было незавидным, это Ханс хорошо понимал, для такого понимания ему вовсе не надо было сравнивать К. с другими людьми, из-за этого он и хотел избавить свою мать от встречи и разговора с К. Однако он пришел к К., сам попросил у него помощи и был счастлив, когда К. согласился; ему казалось, что и другие люди так же отнеслись бы к К. — ведь мать Ханса сама расспрашивала о К. Из этого противоречия у Ханса возникла убежденность, что хотя К. и пал так низко, что всех отпугивает, но в каком-то, правда, очень неясном, далеком будущем он всех превзойдет. Именно это далекое в своей нелепости будущее и гордый путь, ведущий туда, соблазняли Ханса, ради такой награды он готов был принять К. и в его теперешнем положении. Самым детским и вместе с тем преждевременно взрослым в отношениях Ханса и К. было то, что он сейчас смотрел на К. сверху вниз, как на младшего, чье будущее еще отдаленней, чем будущее такого малыша, как он сам. И с какой-то почти грустной серьезностью он говорил об этом, вынужденный отвечать на настойчивые вопросы Фриды. И только К. развеселил его, сказав, что понимает, почему Ханс ему завидует, — он завидует чудесной резной палке, лежавшей на столе, — Ханс все время рассеянно играл с ней. А К. умеет вырезать такие палки, и, если их план удастся, он сделает Хансу палку еще красивее. Ханс до того обрадовался обещанию К., что можно было подумать, уж не из-за палки ли он вернулся, он и попрощался с ним весело, крепко пожав руку со словами: "Значит, до послезавтра!"

14

Упреки Фриды

Едва Ханс успел уйти, как учитель распахнул двери и, увидев К., спокойно сидящего за столом с Фридой, крикнул: "Извините, что помешал! Скажите, однако, когда же вы тут наконец уберете? Мы там си-

дим, как сельди в бочке, занятия страдают, а вы тут прохлаждаетесь в гимнастическом классе, да еще выгнали помощников, чтобы вам было поспокойнее! Ну, а теперь вставайте-ка, пошевеливайтесь! — И, обращаясь к К.: — А ты носи мне завтрак из трактира "У моста!" Правда, кричал он свирепым голосом, но слова были относительно мирные, несмотря на грубое само по себе тыканье. К. уже готов был выполнить приказ и, только чтобы заставить учителя высказаться, спросил: "Да ведь я, кажется, уволен?" "Уволен или не уволен, носи мне завтрак", — сказал учитель. "Уволен или не уволен — вот что я хочу знать", — сказал К. "Что ты тут болтаешь? — сказал учитель. — Ты же не принял увольнения?" "Значит, этого достаточно, чтобы не быть уволенным?" — спросил К. "Для меня — нет, — сказал учитель, — а вот для старосты, по непонятной причине, достаточно. Ну, а теперь беги, иначе и вправду вылетишь". К. был очень доволен: значит, учитель уже поговорил и со старостой, а может быть, и не поговорил, а просто представил себе, какого тот будет мнения, и это мнение оказалось в пользу К. Он уже собрался было идти за завтраком, но, только он вышел в прихожую, учитель кликнул его назад. То ли он хотел испробовать, послушается ли К. его приказа, то ли ему пришла охота еще покомандовать, и он с удовольствием смотрел, как К. торопливо побежал, а потом по его приказу, словно лакей, так же торопливо вернулся назад. Со своей стороны К. понимал, что слишком большая уступчивость превратит его в раба и мальчика для битья, но он решил до известного предела спокойно относиться к придиркам учителя, потому что хотя, как оказалось, учитель и не имел права уволить его, но превратить эту должность в невыносимую пытку он, конечно, мог. Но именно за эту должность К. сейчас держался больше, чем когда-либо. Разговор с Хансом пробудил в нем новые, по всей видимости, совершенно невероятные, безосновательные, но уже неистребимые надежды, они затмили даже надежду на Варнаву. Если он хотел им следовать — а иначе он не мог, — то ему надо было набрать все силы, не заботиться ни о чем другом — ни о еде, ни о жилье, ни о местном начальстве, ни даже о Фриде, хотя основой всего была именно Фрида и его интересовало только то, что имело отношение к ней. Ради нее он должен стараться сохранить эту должность, потому что это устраивало Фриду, а раз так, значит, нечего было жалеть, что приходится терпеть от учителя больше, чем он терпел бы в иных обстоятельствах. И все это было не так уж страшно, все это были будничные и мелкие жизненные неприятности — сушие пустяки по сравнению с тем, к чему стремился К., а приехал он сюда вовсе не для того, чтобы жить в почете и спокойствии.

И потому с той же поспешностью, с какой он побежал было в трактир, он по новому приказу, так же торопливо, готов был взяться за уборку комнаты, чтобы учительница со своим классом могла опять перейти сюда. Но убирать надо было как можно скорее, потом К. должен был все же принести завтрак учителю — тот уже сильно проголодался. К. уверил его, что все будет сделано по его желанию, учитель некоторое время наблюдал, как К. торопливо убрал постель, поставил на место гимнастические снаряды и моментально подмел пол, пока Фрида мыла и терла кафельную плитку. Учителя как будто удовлетворило их рвение, он еще указал К., что за дверями лежат дрова для топки — к сараю он, очевидно, решил его не допускать, — и потом, пригрозив, что скоро вернется и все проверит, ушел к своим ученикам.

Фрида некоторое время работала молча, потом спросила К., почему

он теперь во всем так слушается учителя. Спросила она явно из сочувствия, от хорошего отношения, но К., думая о том, что Фриде, хотя она раньше и обещала, не удалось избавить его от самодурства и команд учителя, ответил ей коротко, что, раз он взялся за эту работу, значит, он и должен делать все как полагается. Снова наступило молчание, но потом К., вспомнив именно после этого короткого разговора, что Фрида давно уже погрузилась в какие-то грустные мысли, особенно во время разговора с Хансом, внеся дрова в комнату, спросил ее прямо, о чем она так задумалась. Медленно подняв на него глаза, она сказала, что ни о чем она определенно не думает, только вспоминает хозяйку и некоторые ее справедливые слова. А когда К. стал настаивать, она сначала отнекивалась и только потом ответила подробно, не бросая при этом работы, правда, не от излишнего усердия, потому что работа ничуть не двигалась вперед, а лишь для того, чтобы не смотреть К. в глаза. И она рассказала К., что сначала слушала его разговор с Хансом спокойно, но некоторые фразы К. заставили ее встрепетнуться, глубоко **вникнуть** в суть его слов и как после этого его слова все время подтверждали те предостережения, которые ей делала хозяйка, хотя она никак не хотела верить в их справедливость. Рассердившись на эти общие фразы и ее плаксивый голос, который больше раздражал, чем трогал его, а больше всего разозлился на то, что хозяйка трактира снова вмешивалась в его жизнь уже через воспоминания Фриды, так как лично ей до сих пор это не удавалось, К. швырнул на пол охапку дров, уселся на нее и уже всерьез потребовал полной ясности. "Очень часто, — начала Фрида, — уже с самого начала, хозяйка пыталась вызвать у меня недоверие к тебе, хотя она вовсе не утверждала, что ты лжешь, наоборот, она говорила, что ты простодушен, как ребенок, но настолько отличаешься от всех нас, что, даже когда ты говоришь откровенно, мы с трудом заставляем себя поверить тебе, но если нас заранее не спасет добрая подруга, то горький опыт в конце концов выработает у нас привычку верить тебе. Она и сама поддавалась этому, хоть и видит людей насквозь. Но, поговорив с тобой в последний раз, тогда, в трактире "У моста", она наконец — тут я только повторяю ее злые слова — раскусила твою хитрость, и теперь тебе уже не удастся ее обмануть, как ты ни старайся скрыть свои намерения. Впрочем, ты ничего не скрываешь, это она твердит все время, а потом она мне еще сказала: ты постарайся при случае как следует вслушаться в то, что он говорит, — не поверхностно, мимоходом, нет, ты прислушайся всерьез, по-настоящему. Она и сама так сделала, и вот что она выведала насчет меня. Ты ко мне подобрался — она употребила именно это подлое слово — только потому, что я случайно попалась тебе на пути, в общем, понравилась тебе, а кроме того, ты считал, что любая буфетчица заранее готова стать жертвой любого гостя, стоит ему только протянуть руку. Кроме того, как узнала моя хозяйка от хозяина гостиницы, ты хотел там переночевать, неизвестно почему, а это можно было сделать только благодаря мне. Одного этого уже было тебе достаточно, чтобы в ту же ночь стать моим любовником, но, чтобы наши отношения принесли для тебя еще больше пользы, нужно было что-то более значительное, и значительным был Кламм. Хозяйка утверждает, что ей неизвестно, чего тебе нужно от Кламма, она только утверждает, что еще до того, как ты со мной познакомился, ты так же настойчиво стремился к Кламму, как и сейчас. Разница была только в том, что раньше у тебя надежды не было, а теперь ты решил, что нашел во мне верное средство попасть к Кламму, причем скоро и даже слишком скоро. И как я перепугалась — правда, только на ми

нутку и без особых оснований, — когда ты сегодня сказал, что, если бы не наша встреча, ты бы совсем тут растерялся. Почти теми же словами об этом говорила и хозяйка, она тоже считает, что только с тех пор, как ты со мной познакомился, у тебя появилась определенная цель. Вышло это потому, что ты решил, будто ты завоевал меня, любовницу Кламма, и тем самым как бы получил драгоценный залог, за который можно взять огромный выкуп. И ты стремился лишь к одному — сторговаться с Кламмом насчет этого выкупа. И так как я сама для тебя — ничто, а этот выкуп — все, ты в отношении меня пойдешь на любые уступки, но в отношении выкупа будешь упрямо торговаться. Поэтому тебе безразлично, потеряю ли я место в гостинице, безразлично, придется ли мне уйти с постоянного двора "У моста", безразлично, что мне надо будет делать всю черную работу при школе. Нет у тебя для меня ни ласки, ни даже свободной минутки, ты меня бросаешь на помощников, ревности ты не знаешь, единственное, что ты во мне ценишь, — это то, что я была любовницей Кламма, поэтому по своему недомыслию ты стараешься, чтобы я не забыла Кламма и не слишком сопротивлялась, когда настанет решающий момент; однако ты и против хозяйки сражаешься, считая, что она одна может отнять меня у тебя, потому ты и раздул вашу ссору до крайности, чтобы нас с тобой попросили покинуть постоянный двор, а то, что я, насколько это зависит от меня, останусь твоей собственностью при любых обстоятельствах, в этом ты ничуть не сомневаешься. Переговоры с Кламмом ты себе представляешь как коммерческую сделку на равных. Ты учитываешь все, лишь бы взять свое; захочет Кламм вернуть меня — ты меня отдашь; захочет, чтобы ты остался со мной, — ты останешься; захочет, чтобы ты меня выгнал, — ты и выгонишь; однако ты готов и ломать комедию; если окажется выгодным — ты притворишься, что любишь меня, постарайся побороть его равнодушие ко мне тем, что станешь себя унижать, чтобы устыдить его: вот какой, мол, человек, занял его место, или тем, что передашь ему мои признания в любви к нему — ведь я тебе и вправду о нем так говорила — и попросишь его взять меня снова к себе, конечно взяв с него сначала выкуп; а если ничего не поможет, ты просто начнешь клянчить от имени супругов К. Если же ты потом увидишь, сказала мне в заключение хозяйка, что ты во всем ошибся — и в своих предположениях, и в своих надеждах, и в том, как ты себе представлял и самого Кламма, и его отношение ко мне, — тогда для меня настанет суший ад, потому что тогда я действительно стану твоей собственностью, с которой тебе не разделаться, и к тому же еще собственностью совершенно обесцененной, и ты со мной начнешь обращаться соответственно, потому что никаких чувств, кроме чувства собственника, ты ко мне не питаешь".

Напряженно, стиснув губы, К. слушал Фриду, вязанка дров под ним рассыпалась, и он почти что очутился на полу, но не обратил на это никакого внимания; только сейчас он встал, сел на подножке кафедры, взял Фридину руку, хотя она и сделала слабую попытку отнять ее, и сказал: "В твоих словах я никогда не мог отличить твое мнение от мнения хозяйки". "Нет, это только мнение хозяйки, — сказала Фрида. — Все, что она говорила, я выслушала, потому что я ее уважаю, но впервые в жизни я с ней никак не согласилась. Все, что она сказала, показалось мне таким жалким, таким далеким от всякого понимания наших с тобой отношений. Больше того, мне кажется, что на самом деле все прямо противоположно тому, что она говорила. Я вспомнила то грустное утро после первой нашей

ночи, когда ты стоял подле меня на коленях с таким видом, словно все потеряно. И так оно потом и случилось: сколько я ни старалась, я тебе не помогала, а только мешала. Из-за меня хозяйка стала твоим врагом, и врагом могучим, чего ты до сих пор недооцениваешь. Из-за меня, твоей постоянной заботы, тебе пришлось бороться за свое место, ты потерпел неудачу у старосты, должен был подчиниться учителю, сносить помощников, и — что хуже всего — из-за меня ты, быть может, нанес обиду Кламму. Ведь то, что ты теперь упорно хочешь попасть к Кламму, — только бессильная попытка как-то его умиротворить. И я себе сказала: наверно, хозяйка, которая, конечно, все это знает лучше меня, просто хотела меня избавить от самых страшных угрызений совести. Намерение, конечно, доброе, но совершенно излишнее. Моя любовь к тебе помогла бы мне все перетерпеть, она бы и тебе в конце концов помогла выбиться если не тут, в Деревне, то где-нибудь в другом месте, свою силу моя любовь уже доказала — она спасла тебя от семейства Варнавы". "Значит, тогда ты так думала наперекор хозяйке, — сказал К., — но что же с тех пор изменилось?" "Не знаю, — сказала Фрида, взглянув на руку К., лежавшую на ее руке, — может быть, ничего и не изменилось: когда ты так близко и спрашиваешь так спокойно, я верю, что ничего не изменилось. Но на самом деле... Тут она отняла руку у К., выпрямилась и заплакала, не закрываясь, открыто подняла она к нему залитое слезами лицо, словно плачет она не о себе и потому скрываться нечего, плачет она из-за предательства К., от того ему и пристало видеть ее горькие слезы. — На самом деле, — продолжала она, — все, все изменилось с той минуты, как я услышала твой разговор с мальчиком. Как невинно начал ты этот разговор, расспрашивал о его домашних, о том о сем, казалось, словно ты снова вошел ко мне в буфет, такой приветливый, искренний, и так же по-детски настойчиво ищешь мой взгляд. Все было как прежде — никакой разницы, — и я только хотела, чтобы хозяйка была тут же и, слушая тебя, все же попыталась бы остаться при своем мнении. Но потом вдруг, сама не знаю, как это случилось, я поняла, зачем ты завел разговор с мальчиком. Ты завоевал его доверие — а это было нелегко — своими сочувственными словами, чтобы потом без помехи идти к своей цели, а мне она становилась все яснее. Твоей целью была та женщина. С виду ты как будто тревожился о ней, но за этими словами скрывалась одна забота — о твоих собственных делах. Ты обманул эту женщину еще до того, как завоевал ее. Не только мое прошлое, но и мое будущее слышалось мне в твоих словах; мне казалось, будто рядом со мной сидит хозяйка и все мне объясняет, и хотя я изво все еще стараюсь ее отстранить, но сама ясно вижу всю безнадежность своих усилий, причем ведь обманывали-то уже не меня — меня теперь и обманывать не стоило! — а ту чужую женщину. А когда я, собравшись с духом, спросила Ханса, кем он хочет быть, и он ответил, что хочет стать таким, как ты, то есть уже совершенно подпал под твою власть, разве тогда уже была какая-нибудь разница между нами — славным мальчуганом, которого обманывали тут, и мной, обманутой тогда, в гостинице?"

"Все твои слова, — начал К., который, слушая привычные попреки, уже успел овладеть собой, — все твои слова в некотором смысле правильны, хотя они и нелогичны, только очень враждебны. Это же мысли хозяйки, моего врага, и это меня утешает, даже если ты думаешь, что они твои собственные. Очень это поучительно, от хозяйки можно многому научиться. Мне в лицо она этого не сказала, хотя в остальном меня не особенно щадила; видно, она поручила это оружие тебе, понадеявшись, что ты его

применишь в особенно тяжелую или особенно решающую для меня минуту. И если я злоупотребляю тобой, то она уж определенно тобой злоупотребляет. А теперь, Фрида, подумай сама: даже если бы было так, как говорит хозяйка, то все было бы очень плохо только в одном случае — если ты меня не любишь. Тогда, только тогда и вправду оказалось бы, что я завоевал тебя хитростью, с расчетом, чтобы потом торговать своей добычей. Может быть, я по заранее задуманному плану нарочно появился перед тобой под руку с Ольгой, чтобы вызвать в тебе жалость, а хозяйка, должно быть, забыла и это поставить мне в счет моих провинностей. Но если такого гнусного поступка не было, если не хитрый хищник тебя тогда рванул к себе, но ты сама пошла ко мне навстречу, как я — к тебе, и мы нашли друг друга в полном забвении, а если так, Фрида, что же тогда? Тогда, значит, я веду не только свое, но и твое дело, тут никакой разницы нет, только враг может нас разделять. Так оно и во всем, и по отношению к Хансу тоже. Но ты сильно преувеличиваешь разговор с Хансом из-за твоей большой обидчивости, ведь даже если наши с ним намерения не вполне совпадают, то все же особого противоречия между ними нет, кроме того, наши разногласия от Ханса не укрылись, и если ты так думаешь, то ты очень недооцениваешь этого осторожного человечка, но, даже если он ничего не понял, никакой беды, надеюсь, от этого не будет”.

”Так трудно во всем разобраться, К., — сказала Фрида, вздыхая, — никакого недоверия к тебе у меня, конечно, не было, а если я чем-то и зарзилась от хозяйки, то с радостью от этого откажусь и на коленях буду просить у тебя прощения — да я все время так и делаю, хоть и говорю иные слова. Правда только в одном: ты многое от меня скрываешь, ты уходишь и приходишь неизвестно откуда и куда. Помнишь, когда Ханс постучал, ты даже воскликнул: ”Варнава!” О, если бы ты хоть раз познал меня с такой же любовью, с какой ты, неизвестно почему, выкрикнул это ненавистное имя! Если ты мне не доверяешь, как же тут не возникнуть подозрениям? Так я могу совсем подпасть под влияние хозяйки, ты словно подтверждаешь все ее слова своим поведением. Не во всем, конечно; я вовсе не хочу доказывать, что ты во всем подтверждаешь ее слова: прогнал же ты ради меня своих помощников. Ах, если бы ты знал, как жадно я ищу хорошее во всем, что ты говоришь и делаешь, как бы ты меня ни огорчал”. ”Прежде всего, Фрида, — сказал К., — я от тебя совершенно ничего не скрываю. Но как меня ненавидит хозяйка, как она старается вырвать тебя у меня, какими подлыми способами она этого добивается и как ты ей поддаешься! Скажи, в чем я скрытничаю? Что я хочу попасть к Кламму, ты знаешь; что ты мне в этом ничем помочь не можешь и что мне придется добиваться этого своими силами, ты тоже знаешь; а что мне до сих пор ничего не удавалось, ты видишь. Неужели мне надо рассказывать все бесполезные попытки, и без того слишком унижительные для меня, и тем самым унижаться вдвойне? Неужто хвастаться, как я мерзну на подножке кламмовских саней, без толку дожидаясь его целый день? Я спешу к тебе, радуясь, что не надо больше думать о таких вещах, а ты снова мне о них напоминаешь. А Варнава? Конечно же, я его иду. Он посыльный Кламма, и не я назначил его на эту должность”. ”Опять Варнава? — крикнула Фрида. — Никогда не поверю, что он хороший посыльный”. ”Может, и твоя правда, — сказал К., — но другого мне не дали, он единственный”. ”Тем хуже, — сказала Фрида, — тем больше ты должен остерегаться его”. ”К сожалению, он до сих пор мне не подавал

повода, — с улыбкой сказал К. — Приходит он редко, все, что он приносит, ничего не значит, ценно только то, что это идет непосредственно от самого Кламма". "Но послушай, — сказала Фрида, — выходит, что даже Кламму уже не цель для тебя, может быть, это и тревожит меня больше всего. Плохо было, когда ты все время стремился к Кламму, минуя меня, но гораздо хуже, если ты сейчас как будто отходишь от Кламма, этого даже хозяйка не могла предвидеть. По словам хозяйки, моему счастью, весьма сомнительному, но все же настоящему, придет конец в тот день, когда ты поймешь, что твоя надежда на Кламма напрасна. А теперь ты даже и этого дня не ждешь, вдруг появляется маленький мальчик, и ты начинаешь бороться с ним за его мать не на жизнь, а на смерть". "Ты правильно восприняла мой разговор с Хансом, — сказал К. — Так оно и было. Неужели ты настолько забыла всю свою прежнюю жизнь (конечно, кроме хозяйки, от этой никуда не денешься), что не помнишь, как приходится бороться за всякое продвижение, особенно когда поднимаешься из самых низов? Как надо использовать все, в чем кроется хоть малейшая надежда? А та женщина — из Замка, она сама так сказала, в первый день, когда я заблудился и попал к Лаземану. Что могло быть проще, чем попросить ее совета или даже помощи; и если хозяйка с такой точностью видит все препятствия, мешающие попасть к Кламму, то эта женщина, наверно, знает туда дорогу, она же сама пришла по ней сюда". "Дорогу к Кламму?" — спросила Фрида. "Конечно, к Кламму, куда же еще? — сказал К. и вскочил с места. — А теперь уже давно пора принести завтрак". Но Фрида с настойчивостью, вовсе не соответствующей такому пустяковому поводу, стала умолять его остаться, как будто только своим присутствием он мог подтвердить все утешительные слова, сказанные ей. Однако К. напомнил ей об учителе, указав на дверь, которая ежеминутно могла с грохотом распахнуться, и обещал вернуться как можно скорей, ей даже затапливать печь не надо, он все сделает сам. В конце концов Фрида молча сдалась. Во дворе, утопая в снегу — дорожку давно надо было расчистить, удивительно, до чего медленно шла работа! — К. увидел, что один из помощников, полумертвый от усталости, все еще стоял, вцепившись в ограду. Только один, а где же второй? Может быть, К. хоть одного из них наконец вывел из терпения? Правда, у этого еще запала было достаточно, это сразу стало ясно, когда он при виде К. пуше прежнего стал размахивать руками и закатывать глаза. "Вот примерная выдержка! — сказал себе К. и тут же добавил: — Но так можно и замерзнуть у забора!" Однако К. не подал виду и погрозил помощнику кулаком, чтобы тот не вздумал подойти, и помощник испуганно отскочил подальше. Но тут Фрида распахнула окно, чтобы проветрить комнату, прежде чем затопить, как она договаривалась с К. Помощник немедленно перенес на нее все внимание и стал подкрадываться к окну, словно его неудержимо тянуло туда. С растерянным лицом, явно терзаясь жалостью к помощнику и с беспомощной мольбой глядя на К., Фрида протянула руку из окна, но трудно было разобрать, звала ли она или отгоняла помощника, так что тот не поддавался искушению и ближе не подошел. Тут Фрида торопливо захлопнула наружную раму, но осталась у окна, держа руку на задвижке с застывшей улыбкой, склонив голову набок и не отводя глаз. Понимала ли она, что скорее привлекает, чем отталкивает этим помощника? Но К. больше не стал оборачиваться, лучше было сделать все как можно скорее и сразу вернуться сюда.

У Амалии

К вечеру, когда уже стемнело, К. наконец расчистил дорожку и крепко утрамбовал снежные навалы по обе ее стороны — на этот день работа была закончена. Он стоял у ворот в одиночестве, вокруг не было видно ни души. Помощника он давно выставил и отогнал подальше; тот скрылся где-то, за садиками и домишками, найти его было невозможно, и с тех пор он не появлялся. Фрида осталась дома, то ли она уже взялась за стирку, то ли все еще мыла кошку Гизы: со стороны Гизы это было проявлением большого доверия — поручить Фриде такую работу, правда весьма неаппетитную и неподходящую; и К., наверно, никогда не позволил бы Фриде взяться за нее, если бы не приходилось после их служебных промашек налаживать добрые отношения с Гизой. Гиза одобрительно следила, как К. принес с чердака детскую ванночку, как согрели воду и, наконец, осторожно посадили кошку в ванну. Затем Гиза оставила кошку на Фриду, потому что пришел Шварцер, тот, с которым К. познакомился в первый вечер, поздоровался с К. отчасти смущенно из-за событий, случившихся в тот вечер, а отчасти — весьма презрительно, как и полагалось здороваться со школьным служителем, после чего удалился с Гизой в соседнюю комнату. Там они до сих пор и сидели. В трактире "У моста" К. слышал, что Шварцер, хоть он и сын кастиеляна, давно поселился в Деревне из-за любви к Гизе; он по протекции добился у общины места помощника учителя, но выполнял он свои обязанности, главным образом присутствуя на всех уроках Гизы, причем либо сидел за партой среди школьников, либо у ног Гизы на кафедре. Он никому не мешал, дети давным-давно к нему привыкли, что было вполне понятно, так как Шварцер детей не любил и не понимал, почти с ними не разговаривал, заменяя Гизу лишь на уроках гимнастики, а в остальном довольствовался тем, что дышал одним воздухом с Гизой, ее близостью, ее теплом. Самым большим наслаждением для него было сидеть рядом с Гизой и править школьные тетрадки. И сегодня они занимались тем же. Шварцер принес большую стопку тетрадей — учитель отдавал им и свои, — и, пока было светло, К. видел, как они работают за столиком у окна, сидя неподвижно, щека к щеке. Теперь виднелось только мерцание двух свечей за стеклом. Серьезная, молчаливая любовь связывала этих двоих; тон задавала Гиза; хотя она сама при всей тяжеловесности своего характера иногда могла сорваться и выйти из границ, от других в другое время она не потерпела бы ничего подобного, и Шварцер, живой и подвижный, должен был подчиняться ей — медленно ходить, медленно говорить, подолгу молчать; но видно было, что за это его сторицей вознаграждает присутствие Гизы, ее спокойная простота. Причем Гиза, может быть, вовсе и не любила его, во всяком случае никакого ответа на этот вопрос нельзя было прочесть в ее круглых серых, в полном смысле слова немигающих глазах, где как будто вращались одни зрачки. Видно было, что она терпит Шварцера без возражений, но чести быть любимой сыном кастиеляна она не признавала и спокойно носила свое пышное, полное тело независимо от того, смотрел на нее Шварцер или нет. Напротив, Шварцер ради нее приносил себя в жертву, живя в Деревне; посланцев своего отца, приходивших за ним, он выставлял с таким возмущением, словно вызванное их приходом беглое напоминание о Замке и о сыновнем долге уже наносило чувствительный и непопра-

вимый урон его счастью. А ведь, в сущности, свободного времени у него было предостаточно, потому что Гиза, в общем, показывалась ему на глаза только во время уроков и проверки тетрадей, причем не из какого-либо расчета, а потому, что она любила свои удобства и предпочитала одиночество, чувствуя себя счастливей всего, когда могла дома в полной свободе растянуться на кушетке рядом с кошкой, которая не мешала, потому что почти не могла двигаться. И Шварцер большую часть дня шатался без дела, но и это было ему по душе, так как всегда была возможность — и он широко ею пользовался — пойти на Лёвенгассе, где жила Гиза, подняться до ее мансарды, постоять у всегда запертой двери, послушать и торопливо удалиться, установив, что в комнате неизменно царит необъяснимая и полная тишина. Все же иногда — но только не при Гизе — последствия этого странного образа жизни сказывались на нем в нелепых вспышках внезапно проснувшегося чиновничьего высокомерия, хотя и весьма неуместно в его теперешнем положении; да и кончалось это обычно не очень хорошо, чему и К. был свидетель.

Удивительно было только то, что многие, во всяком случае на постоялом дворе "У моста", говорили о Шварцере с некоторым уважением, даже когда речь шла скорее о смешных, чем о значительных поступках, причем эта уважительность распространялась и на Гизу. И все же было неправильно со стороны Шварцера думать, что он как помощник учителя стоит много выше, чем К., — такого преимущества у него вовсе не было: для учителей в школе, особенно для учителя вроде Шварцера, школьный сторож — очень важная персона, и нельзя было безнаказанно пренебрегать им, а если уж причиной пренебрежения было что-то служебное положение, то, во всяком случае, надо было дать возможность и другой стороне свободно проявлять свое отношение. При первом удобном случае К. собирался это обдумать, а кроме того, Шварцер еще с первого вечера был перед ним виноват, и вина эта ничуть не уменьшалась оттого, что все события следующих дней, в сущности, подтвердили правоту Шварцера в том, как он принял К. Никак нельзя было забыть, что этот прием, может быть, и задал тон всему последующему. Из-за Шварцера все внимание властей уже с первых минут было обращено на К., когда он, совсем чужой в Деревне, без знакомых, без пристанища, измученный дорогой, беспомощный, лежал там на соломенном тюфяке, беззащитный против нападков любых чиновников. А ведь, пройди та ночь спокойно, все могло бы обойтись почти без огласки; во всяком случае, о К. никто ничего не знал бы, никаких подозрений он не вызывал бы, и каждый, не задумываясь, приютил бы его у себя, как и всякого другого путника; все увидели бы, что он — человек полезный и надежный, об этом заговорили бы в округе, и, наверно, он вскоре устроился бы где-нибудь хотя бы батраком. Разумеется, власти узнали бы об этом. Но тут была бы существенная разница: одно дело, когда переполошили из-за него среди ночи Центральную канцелярию или того, кто оказался там у телефона, потребовали немедленно решения — правда, с притворным подобострастием, но все же достаточно назойливо, да еще через Шварцера, не пользующегося особым благоволением верхов, а другое дело, если вместо всей этой суматохи К. пошел бы на следующий день в приемные часы к старосте, постучал бы, как положено, представился бы в качестве странника, который уже нашел пристанище у одного из местных жителей, и, возможно, завтра с утра отправился бы в путь, если только, что маловероятно, не нашел бы здесь работу — разумеется, всего на несколько дней, дольше он оставаться ни в коем

случае не намерен. Примерно так все обошлось бы, не будь Шварцера. Администрация занялась бы тогда его делом, но спокойно, по-деловому, без того, чтобы заинтересованное лицо проявляло нетерпение, что особенно ей ненавистно. Правда, К. тут ни в чем виноват не был, вся вина лежала на Шварцере, но Шварцер был сыном кастеляна и внешне держался вполне корректно, значит, вина падала на К. А какой смехотворный повод вызвал все это? Быть может, немилостивое настроение Гизы, из-за которого Шварцер без сна шатался в ту ночь и потом выместил свои неприятности на К.? С другой стороны, однако, можно было сказать, что К. очень многим обязан такому поведению Шварцера. Только благодаря этому стало возможным то, чего К. самостоятельно никогда бы не достиг и что со своей стороны вряд ли бы допустило начальство, — а именно то, что К. с самого начала без всяких ухищрений, лицом к лицу, установил прямой контакт с администрацией, насколько это вообще было возможно. Однако выиграл он от этого немного, правда, К. был избавлен от необходимости лгать и действовать исподтишка, но он становился почти беззащитным и, во всяком случае, лишался какого бы то ни было преимущества в борьбе, так что он мог бы окончательно прийти в отчаяние, если бы не сознал себе, что между ним и властями разница в силах настолько чудовищна, что любой ложью и хитростью, на какие он был способен, все равно изменить эту разницу хоть сколько-нибудь существенно в свою пользу он никогда не смог бы. Впрочем, эти мысли служили К. только для самоутешения, Шварцер по-прежнему оставался у него в долгу, и, может быть, повредив ему тогда, он теперь мог бы ему помочь, а такая помощь понадобится К. в любых мелочах, на первых же шагах — вот и сейчас, когда и Варнава, по-видимому, снова от него отступился.

Из-за Фриды К. весь день не решался навести справки у Варнавы в доме; для того чтобы не принимать его в комнате при Фриде, он все время работал в саду, задержавшись там и после работы в ожидании Варнавы, но тот не пришел. Теперь оставалось хоть на минутку зайти к его сестрам, хотя бы спросить с порога и сразу вернуться назад. И, воткнув лопату в снег, он побежал бегом. Задыхаясь, он добежал до дома Варнавы, коротко постучав, рванул дверь и, не замечая, что делается в горнице, спросил: "А Варнава все еще не вернулся?" — и только тогда увидел, что Ольги нет, а старики снова сидят в другом конце у стола в каком-то оцепенении, еще не понимая, что происходит у дверей, они только медленно повернули головы; Амалия, лежавшая у печи под одеялами, при появлении К. испуганно привскочила и, схватившись рукой за лоб, словно старалась прийти в себя. Если бы Ольга была дома, она сразу ответила бы на вопрос и К. смог бы тотчас же уйти, а тут ему пришлось подойти к Амалии, протянуть ей руку, которую она молча пожала, и попросить ее успокоить встревоженных родителей, удержать их на месте, что она и сделала, бросив им несколько слов. К. узнал, что Ольга колет дрова во дворе, Амалия очень устала — она не сказала, по какой причине, — и потому прилегла, а Варнава хотя еще и не пришел, но скоро должен прийти, он никогда не останется ночевать в Замке. К. поблагодарил за сведения, теперь ему можно уйти. Но Амалия спросила, не хочет ли он подождать Ольгу, однако у него, к сожалению, не было времени. Тогда Амалия спросила, говорил ли он уже сегодня с Ольгой; он с удивлением ответил "нет" и спросил, хочет ли Ольга сообщить ему что-нибудь особенное. Амалия с некоторым раздражением поджала губы, молча кивнула К., явно желая с ним попрощаться, и снова улеглась. Лежа, она оглядела его, словно удивляясь, что

он еще тут. Взгляд у нее был холодный, ясный, неподвижный, как всегда; и направлен этот взгляд был не прямо на то, что она рассматривала, но скользил чуть-чуть, почти незаметно, однако достаточно определенно мимо того, на что она смотрела; это очень мешало, и казалось, что причиной тому была не слабость, не застенчивость, не притворство, а постоянная, вытесняющая все другие чувства тяга к одиночеству, которую она не скрывала. К. припомнил, что его как будто взгляд ее удивил и в первый вечер, более того, все нехорошее впечатление, которое на него тогда произвела эта семья, зависело от взгляда Амалии, хотя в самом этом взгляде ничего плохого не было, он только выражал гордость и ясную в своей откровенности отчужденность. "Ты всегда такая грустная, Амалия, — сказал К. — Что тебя мучает? Ты можешь рассказать? Никогда я еще не видел такой деревенской девушки. Только сегодня, только сейчас мне это пришло в голову. Ведь ты родом из Деревни? Ты родилась тут?" Амалия ответила утвердительно, словно К. задал ей только последний вопрос, потом сказала: "Значит, ты все же подождешь Ольгу?" "Не знаю, зачем ты все время спрашиваешь одно и то же, — сказал К. — Остаться я не могу, меня дома ждет невеста".

Амалия приподнялась на локте — о невесте она ничего не слышала. К. назвал имя. Амалия ее не знала. Она спросила, знает ли Ольга про обручение. К. думал, что знает, ведь Ольга видела его с Фридой, и, кроме того, такие вести быстро распространяются по Деревне. Однако Амалия уверила его, что Ольга ничего не знает и что она будет очень несчастна, потому что она, кажется, влюблена в К. Открыто она об этом не говорила, потому что она очень сдержанная, но любовь всегда выдает себя невзначай. К. был уверен, что Амалия ошибается. Амалия улыбнулась, и эта улыбка, хоть и печальная, озарила ее мрачно нахмуренное лицо, превратила молчание в слова, отчужденность — в дружелюбие, словно открыв путь к тайне, открыв какое-то скрытое сокровище, которое хотя и можно снова отнять, но уже не совсем. Амалия сказала, что она не ошибается, больше того, ей хорошо известно, что и К. питает склонность к Ольге и что, приходя сюда под предлогом ожидания каких-то известий от Варнавы, он на самом деле приходит только ради Ольги. Но теперь, когда Амалия все знает, он уже не должен себя ограничивать и может приходить чаще. Только об этом она и хотела ему сказать. К. покачал головой и напомним, что он обручен. Но Амалия вовсе не хотела вникать в историю обручения, тут решающим было непосредственное ее восприятие — ведь К. пришел к ним один; она только спросила, где К. познакомился с той девицей — он же всего несколько дней живет в Деревне. К. рассказал о вечере в гостинице, на что Амалия коротко заметила, что она возражала против того, чтобы Ольга повела его туда. И она призвала в свидетели саму Ольгу — та вошла с вязанкой дров, свежая, раскрасневшаяся от морозного воздуха, такая бодрая и сильная, словно работа возродила ее после обычного тяжелого сидения в комнате. Она бросила дрова, непринужденно поздоровалась с К. и сразу спросила про Фриду. К. обменялся взглядом с Амалией, но та как будто не хотела сознаться, что ошиблась. Слегка задетый таким отношением, К. стал рассказывать о Фриде гораздо подробнее, чем собирался, описал, в каких трудных условиях она старается вести хозяйство в школе, и так забылся, торопясь все рассказать — ведь он хотел поскорее вернуться домой, — что на прощание даже пригласил обеих сестер к себе в гости. Конечно, он тут же с перепугу запнулся, в то время как Амалия, не дав ему вымолвить больше ни слова, заявила, что принимает приглашение; тут к ней невольно присоединилась и Ольга. Но мысль о том, что нужно

уйти как можно скорее, неотступно сверлила К., ему было беспокойно от пристального взгляда Амалии, и потому он решился, не таясь, сознаться, что пригласил он их необдуманно, из личной симпатии, но, к сожалению, должен это отменить, так как между семьей Варнавы и Фридой существует какая-то непонятная, но сильная вражда. "Вовсе это не вражда, — сказала Амалия, встав с постели и отшвырнув одеяло, — и не так уж это серьезно, просто она подлаживается к общему мнению. А теперь уходи, иди к своей невесте, я вижу, как ты торопишься. И не бойся, что мы придем в гости, я с самого начала говорила об этом в шутку, со зла. Но ты можешь ходить к нам чаще, тебе никто не помешает, а предлог у тебя найдется — скажешь, что ждешь вестей через Варнаву. А я тебе еще облегчу задачу, объяснив, что, если Варнава даже и принесет для тебя какие-нибудь известия, все равно он не сможет прийти в школу, чтобы тебе их передать. Не может он столько бегать, бедняга, придется тебе самому прийти сюда и справиться". К. еще ни разу не слышал, чтобы Амалия так много и связно говорила, да и слова ее звучали по-другому, было в них какое-то высокомерие, и это ощутил не только К., но и Ольга, хотя она и привыкла к сестре. Ольга стояла в стороне, по-прежнему неуклюже расставив ноги и слегка сутулясь; она не спускала глаз с Амалии, смотревшей только на К. "Но ты ошибаешься, — сказал К., — ты сильно ошибаешься, считая, что для меня ожидание Варнавы — только предлог. Уладить отношения с властями — самое главное, да, в сущности, и единственное мое желание. И в этом мне должен помочь Варнава, на него я возлагаю почти все надежды. Правда, один раз он уже очень разочаровал меня, но тут я больше виноват, чем он, потому что поначалу я был настолько сбит с толку, что решил, будто все можно уладить просто небольшой прогулкой, а когда выяснилось, как невозможно невозможное, я во всем обвинил его. Это повлияло на меня даже в моем суждении о вашей семье, о вас. Все это прошло, мне кажется, что я и вас теперь лучше понял, и вы... — К. запнулся, ища подходящее слово, но, найдя его не сразу, удовольствовался первым появившимся: — Вы как будто гораздо доброжелательнее, чем другие жители Церевни, насколько мне пришлось с ними сталкиваться. Но ты, Амалия, опять сбиваешь меня с толку, хоть для тебя служба твоего брата что-то и значит, но его значение для меня ты преуменьшаешь. Может быть, ты не посвящена в дела Варнавы, тогда это хорошо, но, может быть, посвящена — а у меня именно такое впечатление, — тогда это плохо, потому что тогда это значит, что твой брат меня обманывает". "Успокойся, — сказала Амалия. — Ни во что я не посвящена, я ни за что не соглашусь, чтобы меня посвящали в эти дела, ни за что не соглашусь, даже ради тебя, хотя я многое для тебя готова сделать, ведь, как ты сам сказал, мы люди доброжелательные. Но дела моего брата только его и касаются, и знаю я о них только то, что случайно, против воли где-нибудь услышу. Зато Ольга может дать тебе полный отчет, он ей все поверяет". Тут Амалия отошла, пошептала с родителями и вышла на кухню; она даже не попрощалась с К., словно знала, что ему придется надолго тут остаться и прощаться с ним не надо.

Слегка растерявшись, К. остался, и Ольга, подсмеиваясь над ним, потянула его к скамье у печки — казалось, что она и вправду рада, что может посидеть с ним вдвоем, но радость эта была тихой и, уж конеч-

но, ничуть не омрачена ревностью. Именно благодаря такому полному отсутствию ревности, а потому и всякого напряжения К. почувствовал удовольствие; приятно было смотреть в эти голубые глаза, не влекущие, не властные, а полные робкого спокойствия, робкой настойчивости. Казалось, что все предостережения Фриды и хозяйки не только не насторожили его, но заставили быть внимательнее ко всему, что сейчас происходило, и разбираться лучше. И он рассмеялся вместе с Ольгой, когда она спросила, почему он именно Амалию назвал доброжелательной, у Амалии много качеств, но уж доброжелательности в ней нет. На это К. возразил, что похвала, конечно, относится к ней, к Ольге, но Амалия такая властная, что не только присваивает себе все хорошее, что говорится в ее присутствии, но и каждый готов ей добровольно отдать пальму первенства. "Это правда, — сказала Ольга уже серьезнее, — тут больше правды, чем ты думаешь. Амалия моложе меня, моложе Варнавы, но в семье все решает она, и в хорошем и в дурном; правда, ей приходится нести и хорошее и дурное больше, чем другим". К. сказал, что это преувеличение, ведь только что Амалия сама сказала, что она, к примеру, совершенно не интересуется делами брата, зато Ольга все о них знает. "Ну как бы тебе объяснить? — сказала Ольга. — Амалия нет дела ни до Варнавы, ни до меня, в сущности, ей нет дела ни до кого, кроме родителей, за ними она ухаживает день и ночь, вот и сейчас она спросила, чего им хочется, и пошла на кухню готовить для них, ради них заставила себя встать, а ведь она с обеда нездорова, все лежала тут на скамье. Но хотя ей до нас и нет никакого дела, мы от нее зависим, как будто она старшая в доме, и, если бы она нам захотела дать совет в наших делах, мы бы непременно послушались ее, но она не вмешивается, мы ей чужие. Вот ты, видно, в людях разбираешься, и пришел ты со стороны, разве ты не заметил, до чего она умная?" "Я заметил, до чего она несчастная, — сказал К., — но как тут согласовать ваше уважение к ней с тем, что Варнава, например, бежит с поручениями, тогда как Амалия этого не одобряет? Более того, презирает". — "Да если бы он знал, что сможет делать что-нибудь еще, он давно бросил бы работу посыльного, она ему совсем не по душе". "Разве он не обучен ремеслу сапожника?" — спросил К. "Конечно, обучен, — сказала Ольга, — попутно он и работает у Брунсвика, и, стоит ему захотеть, у него и работы будет вдоволь, и заработок отличный". "Ну вот, — сказал К., — значит, ему это и заменит службу посыльного". "Заменит службу посыльного? — удивилась Ольга. Да разве он стал посыльным ради заработка?" "Возможно, — сказал К., но ведь ты только что упомянула, что эта служба его не удовлетворяет?" "Да, не удовлетворяет, и по очень многим причинам, — сказала Ольга, — но все же это служба при Замке, во всяком случае так можно предположить". "То есть как это? — сказал К. — Вы даже в этом сомневаетесь?" "Как сказать, — проговорила Ольга, — в сущности, нет. Варнава бывает в канцеляриях, со слугами встречается как равный, видит издали некоторых чиновников, ему поручают сравнительно важные письма, дают всякие устные поручения, все это немало, и мы можем гордиться тем, чего он достиг в такие молодые годы". К. утвердительно кивнул, о возвращении домой он уже не думал. "У него и ливрея особая?" — спросил он. "Ты про куртку? — сказала Ольга. — Нет, куртку ему сшила Амалия, еще до того, как он стал посыльным. Но тут мы затронули болезненное место. Ему уже давно следовало бы получить не ливрею — их в Замке не выдают, однако, во всяком случае, одежду из канцелярии ему давно обещали, но в таких делах Замок всегда тянет, и хуже всего, что не знаешь, почему

они тянут; может быть, это значит, что дело оформляется, а может быть, это значит, что оформление еще и не начиналось, что, скажем, Варнава все еще проходит испытательный срок, а может случиться, что оформление давно закончено, но по каким-то причинам получен отказ и Варнава никогда никакой одежды не получит. А узнать точно ничего нельзя, во всяком случае, узнаешь не сразу, а через много времени. Тут в ходу поговорка, может, ты ее слышал: административные решения робки, как молоденькие девушки". "Это неплохо подмечено, — сказал К., восприняв эти слова с большей серьезностью, чем Ольга. — Неплохо подмечено. У этих решений, наверно, можно найти сходство с девушками и в другом". "Возможно, — сказала Ольга, — правда, я не понимаю, о чем ты говоришь. Может, ты это даже сказал одобрительно. Но Варнава очень беспокоится насчет этой формы, а так как мы с ним все заботы делим, то беспокоюсь и я. Почему же ему не выдают на службе форму? — тщетно спрашиваем мы себя. Но все это далеко не так просто. Например, у чиновников как будто вообще нет никакой служебной формы. Насколько нам известно и судя по рассказам Варнавы, чиновники ходят в обычных, правда очень красивых, костюмах. Впрочем, ты и сам видел Кламма. Конечно, Варнава не чиновник, он даже не чиновник самой низшей категории, да он и не мечтает стать им. Но даже старшие слуги, которых мы, правда, тут, в Деревне, почти не видим, по словам Варнавы, формы не носят. Можно было бы сказать, что это тоже утешение, но ведь и оно обманчиво, разве Варнава из высших слуг? Нет, даже при самом лучшем к нему отношении этого не скажешь, он вовсе не старший слуга; уже одно то, что он возвращается в Деревню и даже живет здесь, доказывает обратное, ведь старшие слуги еще больше держатся особняком, чем чиновники, и, может быть, это правильно, может быть, они даже важнее некоторых чиновников, этому тоже есть подтверждения: работают они меньше, по словам Варнавы, приятно смотреть, когда эти отборные, высокие и сильные мужчины медленно проходят по коридорам. Варнава точно вьется около них. Словом, и речи нет, что Варнава — один из старших слуг. Правда, он мог бы считаться одним из низших слуг, но те носят служебную форму, во всяком случае когда спускаются в Деревню, да и то на них не настоящая ливрея; к тому же в одежде у них много всяких различий, но все же по платью сразу узнаешь, что это — слуга Замка, впрочем, ты их сам видал в гостинице. Самое заметное в их одежде то, что она очень плотно облегает тело, ни крестьянин и ни ремесленник такой одежды носить бы не мог. А вот у Варнавы такой одежды нет, и это не то чтобы стыдно или унижительно, нет, это можно было бы перенести, но нас, особенно в грустные часы — а их у нас Варнавой бывает немало, — нас это заставляет сомневаться во всем. Служит ли он на самом деле в Замке? — спрашиваем мы себя; да, конечно, он бывает в канцеляриях, но являются ли канцелярии частью Замка? И даже если канцелярии принадлежат Замку, то те ли это канцелярии, куда разрешено входить Варнаве? Он бывает в канцеляриях, но они — только часть канцелярий, потом идут барьеры, а за ними другие канцелярии. И не то чтобы ему прямо запрещали идти дальше, но как он может идти дальше, раз он уже нашел своих начальников, и они с ним договорились и отправили его домой. Кроме того, там за тобой постоянно наблюдают, по крайней мере так всем кажется. И даже если бы он прошел дальше, какая от этого польза, если у него там никаких служебных дел нет и он там будет лишним? Но ты не должен представлять себе эти барьеры как определенные границы. Варнава всегда твердит мне об этом. Барьеры есть и

в тех канцеляриях, куда он ходит, но есть барьеры, которые он минует, и вид у них совершенно такой же, как у тех, за которые он еще никогда не попадал, поэтому вовсе не надо заранее предполагать, что канцелярии за теми барьерами существенно отличаются от канцелярий, где уже бывал Варнава. Но в грустные часы именно так и думается. И тогда одолевает сомнение, и никуда от него не денешься. Да, Варнава разговаривает с чиновниками, Варнаве дают поручения. Но какие это чиновники, какие это поручения? Теперь он, по его словам, прикреплен к Кламму и получает поручения от него лично. А ведь это очень много, даже старшие слуги так высоко не поднимаются; может быть, это даже слишком много, вот что пугает. Подумай только — иметь дело непосредственно с самим Кламмом, говорить с ним лично! Ведь это так и есть. Ну да, так оно и есть, но почему тогда Варнава сомневается, что чиновник, которого называют Кламмом, действительно и есть Кламм?" "Слушай, Ольга, — сказал К., — ты, видно, хочешь пошутить, ну разве можно сомневаться, как выглядит Кламм, ведь его внешность всем знакома, я сам его видел". "Нет, конечно, К., — сказала Ольга, — вовсе это не шутки, а серьезная моя тревога. Но рассказываю я тебе об этом вовсе не для того, чтобы облегчить душу и переложить тягость на тебя, а потому, что ты спрашивал о Варнаве и Амалия поручила мне все тебе рассказать, да я и сама считаю, что тебе это будет полезно. И еще я это делаю ради Варнавы, чтобы ты не возлагал на него слишком больших надежд, не то потом ты в нем разочаруешься, а он от этого будет страдать. Он такой чувствительный, обидчивый: например, сегодня он не спал всю ночь оттого, что ты вчера вечером был им недоволен, ты как будто сказал, что для тебя очень плохо иметь только того посыльного, как Варнава. От этих слов он совсем лишился сна. Ты-то сам, наверно, не заметил, как он был взволнован, посыльные из Замка обязаны владеть собой. Но ему нелегко, даже с тобой ему трудно. Ты, конечно, считаешь, что требуешь от него немногого, ты к нам пришел со своими сложившимися понятиями о службе посыльного и по ним ставишь свои требования. Но в Замке совсем другие понятия о службе посыльных, они никак не вяжутся с твоими, даже если бы Варнава целиком жертвовал собой ради службы, а он, к сожалению, иногда готов и на это. Конечно, надо было бы подчиниться, тут и возразить ничего нельзя, если бы мы не сомневались, действительно он служит посыльным или нет. Разумеется, при тебе он никак не смеет высказывать сомнение, для него это значило бы подорвать свое собственное существование, грубо нарушить законы, которым он, по его мнению, еще подчиняется, и даже со мной он не может говорить свободно, я и ласками, и поцелуями выманиваю у него все мысли, да и то он сопротивляется, никак не хочет сознаться, что он и вправду сомневается. В чем-то он кровно похож на Амалию. Никак мне всего не скажет, хоть я одна у него в поверенных. И о Кламме мы иногда говорим, я-то Кламма еще не видела, сам знаешь — Фрида меня недолюбливает и никогда не позволила бы мне на него взглянуть, но, конечно, в Деревне его с виду знают, кое-кто и видел, все о нем слышали, и из этих встреч, из этих слухов, а также из всяких непроверенных косвенных свидетельств создалось представление о Кламме, и в основном, наверно, оно соответствует действительности. Но только в основном. Это представление непрестанно меняется, наверно даже больше, чем меняется сама внешность Кламма. Он выглядит совершенно иначе, когда появляется в Деревне, чем когда оттуда уходит; иначе — до того, как выпьет пива, и совсем иначе потом; когда бодрствует — иначе, чем когда спит; иначе —

беседе, чем в одиночестве, и, что, конечно, вполне понятно, он совсем иначе выглядит там наверху, в Замке. Но даже в Деревне его описывают по-разному: по-разному говорят о его росте, о манере держаться, о густоте его бороды, вот только его платье все, к счастью, описывают одинаково — он всегда носит один и тот же черный длиннополый сюртук. Но в этих разногласиях ничего таинственного, конечно, нет; и понятно, что разное впечатление создается в зависимости от настроения в минуту встречи, от волнения, от бесчисленных степеней надежды или отчаяния, в которых находится тот, кому, правда лишь на минуту, удастся видеть Кламма. Я тебе пересказываю только то, что мне так часто объяснял Варнава, и, в общем, если человек лично и непосредственно не заинтересован, то он на этом может успокоиться. Но мы успокоиться не можем — для нас жизненно важный вопрос: говорил ли Варнава с самим Кламмом или нет". "Для меня тоже не меньше, чем для вас", — сказал К., и они еще ближе пододвинулись друг к другу на скамье.

Хотя невеселый рассказ Ольги и расстроил К., однако ему было на руку, что тут он соприкоснулся с людьми, судьба которых хотя бы внешне очень походила на его судьбу, поэтому он мог примкнуть к ним, мог найти с ними общий язык во многом, а не только в некоторых вещах, как Фридой. И хотя постепенно у него пропадала всякая надежда на успешный исход миссии Варнавы, однако чем хуже приходилось Варнаве там, наверху, тем ближе становился он ему тут, внизу. К. и предполагать не мог, чтобы в самой Деревне у людей могла возникнуть такая тоска и неудовлетворенность, как у Варнавы и его сестры. Правда, все было далеко не так ясно и в конце концов могло оказаться совсем не так, нельзя было сразу поддаваться внешней наивности Ольги или доверять искренности Варнавы. "Варнава хорошо знает все, что говорится о внешности Кламма", — продолжала Ольга, — он собрал для сравнения много, пожалуй даже слишком много, всяких высказываний о внешности Кламма, даже однажды сам видел Кламма в Деревне, через окно кареты, и все же — как ты это объяснишь? — когда он пришел в одну из канцелярий Замка и ему показали среди множества чиновников одного, сказав, что это Кламм, он его не узнал и долго потом не мог привыкнуть, что это и был Кламм. Но если спросить Варнаву, чем тот человек отличается от обычного представления о Кламме, Варнава тебе ничего не сможет ответить, вернее, он ответит, даже опишет того чиновника в Замке, но его описание во всем совпадает с тем, как обычно нам описывают Кламма. "Ну послушай, Варнава, — говорю я ему, — чего же ты сомневаешься, чего ты мучаешься?" И тогда он, в явном смущении, начинает перечислять все особые приметы этого чиновника в Замке, но кажется, будто он их скорее выдумывает, чем описывает, да, кроме того, все это такие мелочи — ну, например, это кажется особой манеры кивать головой или расстегнутых пуговиц на жилете, так что невозможно принимать эти мелочи всерьез. Но по-моему, гораздо важнее, как Кламм общается с Варнавой. Варнава очень часто мне это описывал, обрисовывал. Обычно Варнаву проводят в огромную канцелярию, но это не канцелярия Кламма, вообще это не чья-то личная канцелярия. Это комната, разделенная по длине от стенки к стенке общей конторкой, причем одна часть комнаты так узка, что два человека с трудом могут разминуться, — и там размещаются чиновники, а в другой части, в широкой, находятся просители, зрители, слуги и посыльные. На конторке лежат раскрытые большие книги, за ними стоят чиновники и читают. Причем они читают не одну и ту же книгу, а обмениваются, но не книга-

ми, а местами, и Варнаву больше всего удивляет, как им приходится при таком обмене протискиваться друг мимо друга из-за тесноты помещения. Впереди, вплотную к конторке, приставлены низенькие столики, и за ними сидят писари, которые по желанию чиновников пишут под их диктовку. Варнава всегда удивляется — как это происходит? Никакого точного приказа чиновник не отдает, да и диктует он негромко, даже почти нельзя заметить, что идет диктовка, скорее кажется, что чиновник читает по-прежнему, только при этом что-то нашептывает, а писарь слушает. Часто чиновники диктуют так тихо, что писарь с места никак расслышать не может, и ему приходится все время вскакивать, выслушивать диктовку, быстро садиться и записывать, а потом снова вскакивать, и так без конца. Как это все странно! Даже понять трудно. Правда, у Варнавы времени для наблюдения сколько угодно, он ведь иногда часами, даже целыми днями стоит там, в половине для посетителей, и ждет, пока его заметит Кламм. Но даже когда Кламм его увидит и Варнава вытянется во фронт, это еще ничего не значит, потому что Кламм может снова отвернуться от него к своей книге и забыть о нем. Часто так и бывает. Но что же это — должность посыльного, если она не имеет никакого значения? Меня тоже берет, когда Варнава с утра заявляет, что идет в Замок. И поход этот, вероятно, никому не нужен, и день, вероятно, будет потерян, и все надежды, наверно, напрасны. К чему все это? А тут накапливается сапожная работа, никто ее не делает, а Брунsvик торопит". "Ну хорошо, — сказал К., — пусть Варнаве приходится долго ждать, пока он получит поручение. Это понятно. Там, как видно, излишек служащих, не каждому удастся получить поручения ежедневно, на это вям жаловаться не стоит, с каждым так бывает. Но ведь в конце концов Варнаве дают поручение, мне самому он уже доставил два письма".

"Может быть, мы и не правы, — сказала Ольга, — и зря жалуемся, особенно я, ведь я-то знаю все только понаслышке, и мне, девушке, не понять всего, что понимает Варнава, а он к тому же многое, очень многое скрывает. Но ты послушай, что делается с этими письмами, например, с письмами к тебе. Эти письма Варнава получает не от самого Кламма непосредственно, а от писаря. В любой час, в любой день — потому что это служба, хоть и кажется легкой, на самом деле очень утомительна — писарь вспоминает о нем и подзывает к себе. Кажется, что Кламм тут ни при чем, он спокойно читает себе свою книгу; правда, иногда в ту минуту, как входит Варнава, Кламм протирает пенсне — впрочем, он это делает и так довольно часто — и, может быть, смотрит на Варнаву, если только он вообще что-нибудь видит без пенсне, в чем Варнава очень сомневается; обычно Кламм при этом замуривает глаза, кажется, что он заснул и протирает стеклышки во сне. В это время писарь ищет у себя под столом в грудке перьев и документов письмо, адресованное к тебе, так что письмо вовсе не написано сию минуту, наоборот, судя по состоянию конверта, письмо очень старое и уже давно там завалялось. Но если письмо старое, зачем они заставляли Варнаву ждать так долго? Да и тебя тоже? И письмо ждали долго и, должно быть, уже устарело. А из-за этого про Варнаву идет худая слава, будто он плохой, медлительный посыльный. Писарю, конечно, лояльно, он просто дает Варнаве письмо, говорит: "От Кламма для К." — и отпускает Варнаву. И тогда Варнава мчится домой, задыхаясь, спрятав под рубаху, ближе к телу, долгожданное письмо, и мы с ним садимся вот тут, на эту скамейку, как сейчас, и он мне все рассказывает, и мы обсуждаем каждую подробность, расцениваем, чего же он достиг, и в конце концов

устанавливаем, что достиг он немногого, да и это немногое сомнительно; у него пропадает желание передавать письмо по адресу, но и спать ему некогда, тогда он берется сапожничать и просиживает за верстаком всю ночь. Вот какие дела, К., вот в чем моя тайна, теперь ты уже не станешь удивляться, что Амалия об этом ничего знать не хочет". "А как же с письмом?" — спросил К. "С письмом? — переспросила Ольга. — Ну, через некоторое время, если я буду очень наседавать на Варнаву — а ведь проходили дни, недели, — он наконец возьмет письмо и отправится передавать его по назначению. В таких внешних делах он очень от меня зависит. Ведь мне легче взять себя в руки, после того как забудется первое впечатление от его рассказа; а он не в состоянии это сделать, наверно, оттого, что знает больше меня. А тогда я могу ему сказать: "Что же ты, в сущности, хочешь, Варнава? О какой карьере, о какой цели ты мечтаешь? Неужто ты дойдешь до того, что ты нас — а главное, меня — должен будешь совсем покинуть? Уж не к этому ли ты стремишься? И не зря ли я об этом думаю, или ведь иначе мне никак не понять, почему ты так ужасно недоволен тем, чего ты уже достиг? Оглянись же вокруг, посмотри: разве кто-нибудь из наших соседей поднялся так высоко? Правда, у них положение другое, чем у нас, и нет никаких оснований стремиться выйти за пределы своего хозяйства, но даже без всяких сравнений надо признать, что у тебя все идет отлично. Препятствий, конечно, много, много сомнений, разочарований, но ведь это только и значит — и нам это давно известно, — что тебе ничего не достается даром, что ты должен каждую мелочь брать с бою, и тем больше у тебя оснований гордиться, а не впадать в уныние. А кроме того, ведь ты борешься и за нас! Разве это тебе безразлично? Разве это не придает тебе новых сил? А что я стала счастливой, нет, даже немного несокомерной оттого, что у меня такой брат, разве это не придает тебе уверенности? Честное слово, ты меня разочаровываешь, но не в том, чего ты добился в Замке, а в том, чего я добилась в отношении тебя! Ты имеешь право заходить в Замок, ты постоянный посетитель канцелярий, проводишь целые дни в одном помещении с Кламмом, тебя официально считают посыльным, ты рассчитываешь получить форменное платье, тебе поручают передачу важных документов, — вот кто ты такой, вот что тебе разрешено, а ты приходишь домой, и, вместо того чтобы нам с тобой радоваться, плача от счастья, ты при виде меня как будто совсем падаешь духом, во всем ты сомневаешься, тебя только и тянет к сапожному верстаку, а письмо, этот залог нашего будущего, ты откладываешь в сторону". Все это я ему говорю, и бывает, что после ежедневных уговоров он со вздохом берет письмо и уходит. Но должно быть, мои слова тут ни при чем, просто его снова тянет в Замок, а не выполнив поручения, он туда явиться не смеет". "Но ведь ты во всем права, ты ему все говоришь правильно, — сказал К. — Ты на удивление верно все схватила. Поразительно, до чего ты ясно мыслишь". "Нет, — сказала Ольга, — ты обманываешь, и, может быть, я так же обманываю и его. Чего он, в сущности, достиг? Пусть ему позволено заходить в какую-то канцелярию, но это даже и не канцелярия, скорее, прихожая канцелярии, может быть, даже и не прихожая, а просто комната, где велено задерживать всех, кому нельзя входить в настоящие канцелярии. Да, он говорит с Кламмом, но Кламм ли это? Может быть, это кто-нибудь похожий на Кламма? Может быть, если уж до того дошло, это какой-нибудь секретарь, который немножко похож на Кламма и старается еще больше походить на него, напускает на себя важный вид, подражая сонному, задумчивому виду Кламма. Этим чертам его

характера подражать легче всего, тут его многие копируют; правда, и остальным они благоразумно воздерживаются от подражания. А человек, которого так часто жаждают видеть и который так редко доступен, принимает в воображении людей самые разные облики. Например, у Кламма тут, в Деревне, есть секретарь по имени Мом. Да? Ты его знаешь? И он тоже держится всегда в стороне, но все же я его уже видела не один раз. Молодой, плотный господин, верно? И на Кламма, по всей вероятности, совершенно не похож. И все же тебе могут попасться на Деревне люди, которые станут клясться, что Мом и есть Кламм, и никто другой. Так люди сами создают себе путаницу. А почему в Замке все должно быть по-другому? Кто-то сказал Варнаве, что вон тот чиновник и есть Кламм, и действительно, между ними можно найти какое-то сходство; однако Варнава постоянно сомневается: есть ли это сходство? И все подтверждает его сомнения. Чтобы Кламм толкался тут, в общей комнате, заложив кармашек за ухо, среди всяких чиновников? Ведь это так невероятно! Иногда Варнава — конечно, при хорошем настроении — говорит как-то по-детски, да, этот чиновник очень похож на Кламма, и, если бы он сидел в своем кабинете и на двери стояло его имя, я бы вовсе не сомневался. Конечно, это ребячество, но понять его можно. Разумеется, еще понятнее было бы, если бы Варнава, придя туда, наверх, расспросил бы побольше людей, как все обстоит на самом деле, ведь, по его словам, там, в комнате, людей достаточно. И если даже на их сведения нельзя положиться так, как на слова того, кто без всякой просьбы указал ему на Кламма, то по крайней мере среди множества этих сведений можно было найти какую-то зацепку, как-то сравнить их. Это не я придумала, это придумал сам Варнава, но он не решаетесь выполнить этот план из страха, что он вдруг невольно нарушит какие-то неизвестные ему предписания и потеряет из-за этого место, он не решается ни с кем заговорить, настолько он неуверенно чувствует себя, и вот эта, в сущности, жалкая неуверенность проливает для меня больше света на его служебное положение, чем все его рассказы. Каким угрозам, каким неустойчивым ему все должно так казаться, если он боится открыть рот даже для самого безобидного вопроса. Стоит мне только об этом подумать, и я себя обвиняю в том, что пускаю его одного в эти неземные мне помещения, где происходит такое, от чего он, человек скорее храбрый, чем трусливый, начинает дрожать от страха”.

“Вот тут, как мне кажется, ты коснулась самого главного, — сказала К., — в этом-то и дело. После твоего рассказа я, по-моему, ясно понимаю все. Варнава слишком молод для такой должности. И ничего из его рассказов нельзя принимать всерьез без оговорок. Оттого, что он там, наверху, пропадает от страха, он ничего толком рассмотреть не может, и когда его все-таки заставляют здесь отчитываться, то ничего, кроме путанных выдумок, не слышат. И я ничуть не удивляюсь. Трепет перед администрацией у вас тут врожденный, а всю вашу жизнь вам его внушают всеми способами со всех сторон, и вы этому еще сами способствуете как только можете. Однако по существу я тут не возражаю: если администрация хороша, почему бы и не относиться к ней с трепетом и уважением? Только нельзя такого неученого малого, как Варнава, который никогда не выезжал за пределы своей Деревни, сразу посылать в Замок, а потом требовать от него правдивых сообщений и каждое его слово толковать как откровение, да еще от этого толкования ставить в зависимость и свою судьбу. Ничего ошибочнее быть не может. Правда, и я тоже не хулила тебя впал из-за него в заблуждение и не только стал на него надеяться, и

и терпел от него разочарования, а ведь все было основано лишь на его словах, то есть, в сущности, и вовсе безосновательно". Ольга промолчала. "Мне нелегко, — сказал К., — подрывать твоё доверие к брату, ведь я вижу, как ты его любишь, чего ты от него ждешь. Но приходится так говорить хотя бы ради твоей любви и твоих ожиданий. Ты пойми: ведь тебе все время что-то мешает — хоть я и не знаю что, — именно мешает увидеть как следует если не достижения, каких Варнава добился, то по крайней мере то, что ему подарено судьбой. Ему разрешено бывать в канцеляриях или, если хочешь, в прихожей. Пусть это будет прихожая, но ведь там есть двери, и они ведут дальше, есть загородки, и за них можно пройти, если хватит сноровки. А вот для меня, например, и эта прихожая, по крайней мере пока что, совершенно недоступна. С кем Варнава там разговаривает, я не знаю; может быть, тот писарь и самый ничтожный из служащих, но даже если он и самый ничтожный, он может провести к вышестоящему, а если не может провести, то хотя бы может назвать его имя, а если даже имени назвать не может, то хотя бы укажет на кого-нибудь, кто это имя знает. Мнимый Кламм, вероятно, не имеет ничего общего с настоящим Кламмом, и только ослепленный волнением Варнава находит какое-то сходство. Возможно, что это самый мелкий из чиновников, а скорее, даже и вовсе не чиновник, но ведь какое-то задание у своей конторки он выполняет, что-то из своей большой книги вычитывает, что-то шепчет писарю, что-то думает, когда, пусть изредка, его взгляд останавливается на Варнаве, и даже если все это одна видимость и сам чиновник и его деятельность решительно никакого значения не имеют, то все же кто-то его туда поставил, и с определенной целью. В общем, я хочу сказать: что-то тут есть, что-то Варнаве предоставлено, во всяком случае хоть что-то ему дано, и только сам Варнава виноват, если он из этого не может извлечь ничего, кроме сомнений, страхов и безнадежности. А ведь я тут исхожу из самого неблагоприятного положения, которое даже маловероятно. Есть же у нас на руках письма — правда, я им доверяю мало, но все же больше, чем словам Варнавы. Пусть это будут письма старые, ненужные, никакой цены не имеющие, вынутые наугад из кучи таких же старых писем, именно наугад, так же бессознательно, как канарейки на ярмарке для кого угодно вынимают наугад билетик с "судьбой", но если это даже так, то все же письма имеют какое-то отношение к моей работе, они явно адресованы мне, как подтвердили староста и его жена, письма эти написаны Кламмом собственноручно, хотя, может быть, и не в мою пользу. И пусть эти письма, опять-таки по словам старосты, и частные и малопонятные, но все-таки они имеют серьезное значение". "Это тебе сказал староста?" — спросила Ольга. "Да, он так сказал", — ответил К. "Непременно расскажу Варнаве, — торопливо проговорила Ольга, — его это очень ободрит". "Но ему вовсе не нужно никакого ободрения, — сказал К. — ободрить его — значит сказать ему, что он прав, что пусть он продолжает делать все по-прежнему, но ведь именно так он ничего и не достигнет. Можешь сколько угодно подбадривать человека с завязанными глазами — пусть смотрит сквозь платок, все равно он ничего не увидит, и, только когда снимут платок, он увидит все. Помощь — вот что нужно Варнаве, а вовсе не подбадривания. Ты только подумай: все эти учреждения там, наверху, во всем их недоступном величии, — я-то думал до своего приезда, что хоть приблизительно представляю их себе, какая наивность, — значит, там эти учреждения, и с ними сталкивается Варнава, никто, кроме него, только он один, жалкий в своем одиночестве, и для него еще много чести, если он так и сги-

нет там, проторчав всю жизнь в темном углу канцелярии". "Ты только не думай, К., — сказала Ольга, — что мы недооцениваем всю трудность задачи, которую взял на себя Варнава. Уважения к властям у нас предостаточно, ты сам так говорил". "Да, но это не уважение, — сказал К., — ваше уважение не туда направлено, а относиться так — значит унижать того, кого уважаешь. Какое же это уважение, если Варнава зря тратит дарованное ему право посещения канцелярий и в безделье проводит там целые дни или, спустившись вниз, бесславит и умаляет тех, перед кем он только что дрожал, или если он, то ли от усталости, то ли от разочарования, не относит тотчас же письма и не выполняет без задержки доверенные ему поручения. Нет, тут уж никакого уважения нету. Но мало упрекать его, и и тебя должен упрекнуть, Ольга, этого не избежать. Ты сама, несмотря на весь свой трепет перед администрацией, все же послала в Замок Варнаву — такого молодого, такого слабого и одинокого, во всяком случае, ты его не удержала".

"Твои упреки, — сказала Ольга, — я повторяю себе уже издавна. Конечно, не за то я себя упрекаю, что я послала его туда, не я его послала, он сам туда пошел, но я, вероятно, должна была любыми средствами — силой, хитростью, уговорами — удержать его от этого. Да, я должна была его удержать, однако, если бы сегодня снова настал тот день, тот решающий день, и если бы я чувствовала горе Варнавы, горе нашей семьи, как тогда и как чувствую сейчас, и если бы Варнава, ясно представляя себе всю ответственность и опасность, снова, с ласковой улыбкой, острожно отвел бы мои руки и ушел бы, я бы и сегодня не смогла его удержать, несмотря на все, что случилось с тех пор, да и ты бы на моем месте вел себя так же. Ты не знаешь нашего горя, поэтому ты так несправедлива к нам, и особенно к Варнаве. Тогда мы надеялись больше, чем сейчас, но и тогда очень большой надежды у нас не было, только горе было большое, таким оно и осталось. Разве Фрида ничего тебе о нас не рассказывала?" "Только намеками, — сказал К., — ничего определенного. Но при одном вашем имени она начинала волноваться". — "И хозяйка тебе ничего не рассказывала?" — "Нет, ничего". — "И никто не рассказывал?" — "Никто". "Ну конечно, как же они могли хоть что-нибудь рассказать толком. Каждый про нас что-то знает, то ли правду, насколько она людям доступна, то ли какие-то распространившиеся, а по большей части выдуманные слухи, люди нами занимаются больше, чем надо, но рассказать все прямо никто не расскажет, люди боятся и рот открыть про такое. И тут они правы. Трудно выговорить все это даже перед тобой, К., и ведь может так случиться, что ты, выслушав меня, уйдешь и знать нас больше не захочешь, хотя как будто тебя это и не должно касаться. И тогда мы тебя потеряем, а ведь ты, должна сознаться, теперь значишь для меня чуть ли не больше, чем служба Варнавы в Замке. И все же меня весь вечер мучают сомнения, все же ты должен знать, иначе ты никак не поймешь наше положение и по-прежнему — что мне больше всего — будешь несправедлив к Варнаве, да и у нас с тобой не будет полного понимания, а это необходимо, не то ты ни нам помочь не сможешь, ни нашей очень важной помощи не получишь. Остается один вопрос: хочешь ли ты вообще все знать?" "Почему ты спрашиваешь? — сказал К. — Если это необходимо, то я хочу знать все, но почему ты так спрашиваешь?" "Из суеверия, — сказала Ольга, — ты будешь с головой втянут в наши дела, хоть ты и ни в чем не виноват, как не виноват и Варнава". "Да, рассказывай же скорее! — сказал К. — Ничего я не боюсь. От твоих женских страхов все кажется хуже, чем оно есть"

Тайна Амалии

"Суди сам, — сказала Ольга. — Впрочем, все как будто очень просто, сразу и не понять, как это может иметь такое большое значение. В Замке есть один важный чиновник, его зовут Сортини". "Слышал я о нем, — сказал К. — Он имел отношение к моему вызову". "Не думаю, — сказала Ольга. — Сортини почти никогда официально не выступает. Не перепутал или ты его с Сордини, через "д"?". "Ты права, — сказал К., — то был Сордини". "Да, — сказала Ольга, — Сордини все знают, он один из самых деятельных чиновников, о нем много говорят. Сортини же, напротив, держится особняком, его никто не знает. Года три назад, а то и больше, я видела его в первый и в последний раз. Это было третьего июля, в праздник пожарной команды, и Замок тоже принял участие, оттуда прислали в подарок новый насос. Сортини, как говорят, отчасти занимается пожарными делами (впрочем, может быть, он кого-то замещал, обычно чиновники замещают друг друга, поэтому так трудно определить должность того или другого). Так вот, Сортини принимал участие в передаче насоса, ну, конечно, из Замка пришло много народу — и чиновников и слуг, — и Сортини, как можно было ожидать от человека с его характером, держался совершенно в стороне. Он мал ростом, тщедушен, сосредоточен на себе, но что особенно бросалось в глаза тем, кто его вообще замечал, так это его морщины, их у него было множество, хотя ему, наверное, было не больше сорока, и все они шли веером со лба к носу, я никогда в жизни ничего подобного не видела. Ну вот, значит, наступил этот праздник. Мы с Амалией уже за несколько недель радовались, переделали свои праздничные платья по-новому, особенно красивое платье было у Амалии: белая блузка, спереди вся пышная, кружева на ней в несколько рядов, матушка отдала ей все свои кружева, я ей тогда позавидовала и проплакала полночи. Только тогда хозяйка постоянного двора "У моста" пришла посмотреть на нас..." "Хозяйка "У моста"?". — спросил К. "Да, — сказала Ольга, — она тогда очень дружила с нами, вот она и пришла, признала, что Амалия одета куда лучше меня, и, чтобы меня успокоить, одолжила мне свои бусы из богемских гранатов. А когда мы уже были готовы и Амалия стояла передо мной и все на нее залюбовались и отец сказал: "Наверное, Амалия сегодня найдет жениха!" — я вдруг, сама не знаю почему, сняла с себя бусы, мою гордость, и уже без всякой зависти надела на Амалию. И преклонялась перед ее победой и считала, что все должны перед ней преклоняться; может быть, всех нас поразило, что она выглядит совсем не так, как всегда, ведь, в сущности, красивой ее назвать нельзя, но сумрачный взгляд, сохранившийся у нее с тех пор, витал где-то высоко над нами и невольно заставлял и в самом деле чуть ли не преклоняться перед ней. Это заметили все, даже Лаземан с женой, которые пришли за нами". "Лаземан?" — переспросил К. "Да, Лаземан, — сказала Ольга. — Ведь мы были окружены почетом, и праздник, например, без нас никак не мог бы начаться, потому что отец был третьим инструктором пожарной команды". "Неужели отец тогда был еще настолько бодр?" — спросил К. "Отец? — переспросила Ольга, словно не понимая. — Да ведь три года назад он был сравнительно молодым человеком — например, во время пожара в гостинице он вынес бегом на спине одного чиновника, Галатера, весьма тяжелого человека. Я сама была при этом, правда, настоящего по-

жара не было, только сухие дрова у печки занялись и задымили, но Галатер перепугался, закричал из окна: "Помогите!", приехали пожарные, и отцу пришлось его вынести, хотя огонь уже потушили. Но Галатер — весьма неподвижный мужчина, и в таких случаях ему приходилось соблюдать осторожность. Все это я рассказываю только из-за отца, но с тех пор прошло не больше трех лет, а ты посмотри, каким теперь он стал". Только тут К. увидел, что Амалия уже вернулась в комнату, но она была далеко, около стола родителей, и там кормила мать с ложки — та из-за ревматизма не могла шевелить руками — и при этом уговаривала отца потерпеть едой, сейчас она и к нему подойдет и его тоже накормит. Но отец, не обращая внимания на ее уговоры, с жадностью старался подобраться к супу, и, пересиливая свою слабость, он то пробовал хлебать суп ложкой, то пить его прямо из тарелки и сердито ворчал, когда ему ни то ни другое не удавалось: суп выливался, пока он подносил ложку ко рту, а в суп попадали лишь его свисающие усы и брызги летели во все стороны, только не ему в рот. "И до этого его довели за три года?" — спросил К., все еще испытывая к старикам и ко всему, что было у стола, не жалость, а отвращение. "Да, за три года, — сказала Ольга, — вернее, за те несколько часов, что длился праздник. Праздник шел на лугу, близ Деревни, у ручья; когда мы пришли, была уже страшная давка, собралось много народу из соседних деревень, от шума кружилась голова. Сначала, конечно, отец подвел нас к новому насосу, он засмеялся от радости, когда увидел его, так он был счастлив, что прислали новый насос, он стал его ощупывать и объяснять нам его устройство, сердился, если другие вмешивались и перебивали его, а когда ему хотелось показать нам что-то под насосом, он заставлял нас нагибаться и чуть ли не залезать вниз, он даже отшлепал Варнаву, когда тот не захотел лезть туда. Только Амалия никакого внимания на этот насос не обращала, она стояла в своем красивом платье не двигаясь, и никто не смел сделать ей замечание, иногда я подбегала к ней, брала ее под руку, но она молчала. Я до сих пор никак не могу понять, почему вышло так, что мы долго стояли у насоса, и, только когда отец наконец отошел, мы увидели Сортини, хотя он, очевидно, все это время стоял позади насоса, прислонясь к рукоятке. Правда, вокруг был ужасный шум, и не просто такой, какой всегда бывает на праздниках. Дело в том, что и Замка прислали в подарок пожарникам еще и несколько духовых инструментов, совсем особенных, из таких труб даже ребенок без малейших усилий может извлекать самые дикие звуки, услышишь их — и кажется, что нагрянули турки, и привыкнуть к этой музыке было невыносимо, при каждом звуке так и вздрагиваешь. И оттого, что трубы были новые, каждому хотелось их попопробовать, а раз это был народный праздник, то всем и разрешали в них дуть. Вокруг нас теснилось несколько таких трубачей, может быть, их привлекла Амалия, собраться с мыслями было просто невозможно, а тут еще отец приказывал внимательно осматривать насос, оттого и Сортини, которого мы раньше и не знали, так долго оставался для нас незамеченным. "Вон стоит Сортини", — шепнул наконец отцу Лезман, я стояла рядом. Отец низко поклонился и сделал нам знак — поклониться Сортини. Отец хотя и не знал его раньше, но глубоко уважал как знатока пожарного дела и часто говорил об этом дома, потому для нас было большой неожиданностью и большим событием, что мы вдруг увидели живого Сортини. Но Сортини не обратил на нас внимания — не по личной прихоти, а как все чиновники, он выказывал полное безразличие к людям. Кроме того, он очень устал, и только служебный долг

удерживал его тут, внизу; иным представительство бывает в тягость, но это вовсе не значит, что они — из самых плохих чиновников; другие чиновники и слуги, раз они пришли сюда, смешиваются с толпой, с народом, но Сортини стоял у насоса, и всякого, кто пытался подойти к нему с какой-нибудь просьбой или лестью, он отпугивал своим молчанием. Поэтому он нас заметил еще позже, чем мы его. И только когда мы почтительно поклонились и отец стал извиняться за нас, он посмотрел на нас, взглянул на всех по очереди усталыми глазами; казалось, он вздыхает оттого, что мы подходим друг за другом, пока его взгляд не остановится на Амалии, на которую ему пришлось поднять глаза, потому что она куда выше его. Тут он опешил, перескочил через рукоятку насоса, чтобы подойти поближе к Амалии, и мы, не разобрав, в чем дело, все, во главе с отцом, двинулись было ему навстречу, но он остановил нас, подняв руку, а потом махнул, чтобы мы уходили. Вот и все. Мы стали ужасно дразнить Амалию, что она наконец нашла жениха, и очень веселились весь день, ничего не подозревая. Но Амалия стала молчаливее, чем обычно. "Видно, она по уши влюбилась в Сортини", — сказал Брунsvик; ведь он человек грубый и таких людей, как Амалия, никак не понимает; но на этот раз нам показалось, что он почти прав, вообще мы весь день дурачились, и все, даже Амалия, были словно огушены сладким вином из Замка, когда за полночь вернулись домой". "А Сортини?" — спросил К. "Да, Сортини, — сказала Ольга. — Несколько раз я видела Сортини мимоходом, во время праздника, он сидел на рукоятке насоса, скрестив руки на груди, и не двигался, пока за ним не приехал экипаж из Замка. Даже на маневры пожарных он не пошел, а наш отец, надеясь, что Сортини на него смотрит, призвал всех мужчин своего возраста". "И вы больше о нем ничего не слышали? — спросил К. — Ведь ты, кажется, очень его считаешь?" "Да, почитаю, — сказала Ольга, — а услышали мы о нем скоро. На следующее утро нас, с похмелья, разбудил крик Амалии, все тут же заснувши снова, только я проснулась окончательно и подбежала к Амалии. Она стояла у окна, держа в руках письмо — его подал через окошко какой-то мужчина, он ждал ответа. Амалия уже прочла письмо — оно было короткое — и держала его в опущенной руке; я всегда любила ее, когда видела такой усталой! И встала на колени и прочла письмо. И только я успела его прочесть, как Амалия, взглянув на меня, подняла руку с письмом, но не смогла заставить себя перечитать его и разорвала на клочки, бросила в лицо мужчине, ждавшему за окном, и захлопнула окошко. Это утро оказалось решающим. Я называю его решающим, хотя весь предыдущий день, каждая его минута были не менее решающими". "А что было в письме?" — спросил К. "Да я же еще об этом ничего не сказала, — ответила Ольга, — письмо было от Сортини, адресовано девушке с гранатовыми бусами. Передать содержание я не в силах. Это было требование явиться к нему в гостиницу, причем Амалия должна была идти туда немедленно, так как через полчаса Сортини уезжал. Письмо было написано в самых гнусных выражениях, и таких никогда и не слыхала и поняла их лишь наполовину, по догадке. Кто не знал Амалии, тот, наверно, считал бы обесчещенной девушку, которой смеют так писать, даже если бы до нее никто и не дотрагивался. И письмо было не любовное, без единого ласкового слова, наоборот, Сортини явно злился, что встречая с Амалией так его задела, оторвала от его обязанностей. Мы потом сообразили, что Сортини, вероятно, хотел уже с вечера уехать в Замок и только из-за Амалии остался в Деревне, а утром, рассердившись, что ему и за ночь не удалось забыть Амалию, написал ей

письмо. Такое письмо возмутило бы любую девушку, даже самую хладнокровную, но потом, быть может, другую, не похожую на Амалию, одолел бы страх из-за гневного, угрожающего тона письма, а вот у Амалии оно вызвало только возмущение, страха она не знает — ни за себя, ни за других. И когда я снова забралась в кровать, повторяя про себя отрывок фразы, которой кончалось письмо: "... и чтобы ты немедленно явилась, не то..." — Амалия все стояла у окна и выглядывала во двор, словно ждала других посланцев и готова была со всеми обойтись как с первым". "Так вот они какие, чиновники, — нерешительно сказал К., — значит, есть среди них и такие экземпляры. А что же сделал твой отец? Надеюсь, он пожаловался на Сортини в соответствующие инстанции, если только он не предпочел более короткий и верный путь — прямо пойти в гостиницу. Но самое отвратительное во всей этой истории совсем не обида, которую нанесли Амалии, обиду легко исправить, не понимаю, почему ты именно этому придаешь такое преувеличенное значение; почему это Сортини навек опозорил Амалию своим письмом, а так можно подумать по твоему рассказу, но ведь это совершенно нелепо, и вовсе не трудно было добиться для Амалии полного удовлетворения, и через два-три дня вся история была бы забыта; Сортини вовсе не Амалию опозорил, а себя самого. И меня пугает именно Сортини, пугает самая возможность такого злоупотребления властью. То, что не удалось в этом случае, потому что было сказано слишком ясно и отчетливо и нашло у Амалии решительный отпор, то в тысяче других случаев, при других менее благоприятных обстоятельствах, могло бы вполне удалиться, причем незаметно для всех, даже для пострадавшей".

"Тише, — сказала Ольга, — Амалия сюда смотрит". Амалия уже накормила родителей и теперь стала раздевать мать; она только что развязала ей юбку, закинула руки матери себе на шею, слегка приподняла ее, сняла с нее юбку и осторожно посадила на место. Отец, всегда недовольный тем, что мать обслуживали раньше, чем его, — конечно, потому, что мать была гораздо беспомощнее его, — попытался раздеться сам, очевидно намереваясь попрекнуть дочь за ее воображаемую медлительность, но, хотя он начал с самого легкого и второстепенного, ему никак не удавалось снять громадные ночные туфли, в которых болтались его ступни; хрипя и задыхаясь, он наконец отказался от всяких попыток и снова застыл в своем кресле.

"Самое важное ты не понимаешь, — сказала Ольга, — может быть, в остальном ты прав, но самое важное то, что Амалия не пошла в гостиницу; то, как она обошлась с посыльным, еще сошло бы, это можно было бы замять, но тем, что она не пошла, она навлекла проклятие на нашу семью, а при этом и ее обращение с посланцем сочли непростительным, более того, официально это обвинение и было выдвинуто на первый план". "Как! — крикнул К. и сразу понизил голос, когда Ольга умоляюще подняла руку. — Уж не хочешь ли ты, ее сестра, сказать, что Амалия должна была послушаться Сортини и побежать к нему в гостиницу?" "Нет, сказала Ольга, — упаси меня бог от такого подозрения, как ты мог даже подумать? Я не знаю человека, который во всех своих поступках был бы более прав, чем Амалия. Правда, если бы она пошла в гостиницу, я бы и тут оправдала ее, но то, что она туда не пошла, я считаю ее геройством. Но насчет себя скажу тебе откровенно: если бы я получила такое письмо, и пошла бы туда непременно. Я не вынесла бы страха перед тем, что мне грозило, это могла только Амалия. Однако выходов было много: другие,

например, нарядилась бы, потратила на это какое-то время, потом отправилась бы в гостиницу, а там узнала, что Сортини уже уехал, — ведь могло быть и так, что, отослав письмо, он тут же и уехал, это вполне возможно, у господ настроение переменчивое. Но Амалия поступила иначе, совсем не так, слишком сильно ее обидели, оттого она и ответила без раздумья. Но если бы она для видимости послушалась и перешагнула бы тогда порог гостиницы, то можно было избежать, отвести все обвинения, тут у нас есть умнейшие адвокаты, они умеют любую мелочь употребить на пользу, но ведь в этом случае даже такой благоприятной мелочи не было. Напротив, тут было и неуважение к письму Сортини, и оскорбление посольного". "Но при чем тут какие-то обвинения, при чем тут адвокаты? Неужто из-за преступного поведения Сортини можно было в чем-то обвинить Амалию?" "Конечно, можно, — сказала Ольга. — Разумеется, не по суду, да и наказать ее непосредственно не наказывали, но все же и ее, и всю нашу семью наказали другим способом, а насколько это наказание сурово, ты, наверно, уже стал понимать. Тебе это кажется чудовищным и несправедливым, но так во всей Деревне считаешь только ты единственный, для нас такое мнение очень благоприятно, оно бы нас очень утешало, если бы не покоилось на явных заблуждениях. Это я могу легко доказать тебе, извини, если при этом я заговорю о Фриде, но между Фридой и Кламмом тоже вышла — не считая конечного результата — очень похожая история, совсем как между Амалией и Сортини, однако ты, хотя сначала и перепугался, теперь считаешь, что все правильно. И это не значит, что ты ко всему привык, нельзя так отупеть, чтобы ко всему привыкнуть. Производя оценку, ты просто отказываешься от прежних ошибок". "Нет, Ольга, — сказал К. — Не понимаю, зачем ты втягиваешь Фриду в это дело, там случай совсем другой, перестань путать такие разные вещи и рассказывай дальше". "Прошу тебя, — сказала Ольга, — не обижайся, если я буду настаивать на сравнении, ты все еще заблуждаешься, и по отношению к Фриде тоже, когда думаешь, что надо защищать ее, не позволяя никаких сопоставлений. Да ее и защищать не приходится, ее надо хвалить. И если я сравниваю эти два случая, то вовсе не говорю, что они похожи, они все равно что черное и белое, и белое тут — Фрида. В худшем случае над Фридой можно посмеяться — я сама тогда, в пивном зале, так невоспитанно смеялась и потом об этом жалела, впрочем, тут у нас если кто смеется, значит, злорадствует или завидует, но все же над ней можно посмеяться. Но Амалию — если ты только с ней кровно не связан — можно только презирать. Потому-то оба случая хоть и разные, как ты говоришь, но вместе с тем они и похожи". "Нет, они не похожи, — сказал К., недовольно покачивая головой. — Оставь ты Фриду в покое. Фрида не получала таких милых писулек, как Амалия от Сортини, и Фрида по-настоящему любила Кламма, а кто не верит, пусть спросит у нее самой, она его и сейчас любит". "Да разве это большая разница? — спросила Ольга. — Неужели, по-твоему, Кламм не мог написать Фриде такое же письмо? Когда эти господа отрываются от своих письменных столов, они все становятся такими, им никак не приладиться к жизни, они тогда могут в рассеянности и наругать, правда не все, но многие. Может быть, письмо к Амалии он набрасывал рассеянно, совершенно не размышляя над тем, что выходило на бумаге. Откуда нам знать мысли господ? Разве ты сам не слышал или тебе не рассказывали, каким тоном Кламм разговаривает с Фридой? Всем известно, какой Кламм грубиян, говорят, что он часами молчит и вдруг скажет такую грубость, что оторопь берет. Про Сортини ничего такого не известно,

потому что он сам никому не известен. В сущности, про него только то и знают, что его имя похоже на имя Сордини, и, если бы не это сходство в именах, его вообще никто не знал бы. Да и как специалиста по пожарному делу его, наверно, тоже путают с Сордини, тот и есть настоящий специалист и сам пользуется сходством их имен, чтобы свалить на Сордини представительские обязанности, а самому спокойно работать. А когда у такого неопытного в обыденной жизни человека, как Сортини, вдруг вспыхивает любовь к деревенской девушке, чувство, конечно, принимает иную форму, чем когда влюбляется какой-нибудь столяр-подмастерье. И кроме того, надо помнить, что между чиновником и дочкой сапожника — огромная пропасть и через нее надо как-то перебросить мост, вот Сортини и пытался сделать это по-своему, другой, может быть, поступил бы иначе. Правда, считается, что мы все принадлежим Замку, и никакой пропасти нет, и никаких мостов строить не надо; может быть, в обычных условиях это и так, но, к сожалению, у нас была возможность убедиться, что, когда с этим столкнешься, все обстоит иначе. Во всяком случае, теперь тебе поведение Сортини должно стать понятнее и не казаться таким уж чудовищным, да это и на самом деле так; по сравнению с поведением Кламма все куда понятнее, а заинтересованному лицу перенести его гораздо легче. Если Кламм напишет самое нежное письмо, оно будет неприятней, чем самое грубое письмо Сортини. Пойми меня правильно, ведь я не смею судить о Кламме, я только их сравниваю оттого, что ты противился всякому сравнению. Ведь Кламм — командир над женщинами, он приказывает то одной, то другой явиться к нему, никого долго не терпит, и как приказал явиться, так приказывает и убраться. Ах, да Кламм и труда себе не даст писать письма. И неужто по сравнению с этим тебе еще кажется чудовищным, когда такой живущий в полном уединении человек, как Сортини, чье отношение к женщинам вообще никому не известно, вдруг садится и своим красивым чиновничьим почерком пишет письмо, хотя и отвратительное. А если доказано, что Кламм ничуть не лучше Сортини, а, скорее, наоборот, так неужели любовь Фриды может что-нибудь изменить в пользу Кламма? Поверь, отношение женщин к чиновникам определить очень трудно или, вернее, всегда очень легко. В любви тут недостатка нет. Несчастной любви у чиновников не бывает. Поэтому ничего похвального нет, если про девушку скажут — и я говорю далеко не только о Фриде, — что она отдалась чиновнику только потому, что любила его. Да, она его любила и отдалась ему, так оно и было, но хвалить ее за это нечего. Но Амалия-то не любила Сортини, скажешь ты. Ну да, она его не любила, а может быть, и любила, кто разберет. Даже она сама не разберется. Как она может решить, любила она или нет, когда она сразу его так оттолкнула, как еще ни одного чиновника никогда не отталкивали? Варнава говорит, что ее и сейчас иногда дрожь берет, стоит ей вспомнить, как она тогда, три года назад, захлопнула окошко. И это правда, вот почему ее ни о чем нельзя спрашивать. Она покончила с Сортини и больше ничего не знает, а любит она его или нет — ей неизвестно. Но мы-то все знаем, что женщины не могут не любить чиновников, когда те вдруг обратят на них внимание; более того, они уже любят чиновников заранее, хоть и пытаются отнекиваться, а ведь Сортини не только обратил внимание на Амалию — он даже перепрыгнул через рукоять насоса ногами, онемевшими от сидения за письменным столом, он перепрыгнул через рукоять! Но, как ты сказал, Амалия — исключение. Да, она это подтвердила, когда отказалась пойти к Сортини. Уж это ли не исключение? Но если бы она, кроме того,

и не любила Сортини, то тут исключение стало бы из ряда вон выходящим, это и понять было бы невозможно. Конечно, в тот день на нас нашло какое-то затмение, но и тогда, словно в тумане, мы как будто углядели в Амалии какую-то влюбленность, и это показывает, что мы хоть немного, но соображаем. И если теперь все сопоставить, какая же разница останется между Амалией и Фридой? Только та, что Фрида сделала то, от чего Амалия отказалась". "Возможно, — сказал К., — но для меня главная разница в том, что Фрида — моя невеста, Амалия же в основном интересует меня только потому, что приходится сестрой Варнаве, посыльному из Замка, и судьба ее, быть может, связана со службой Варнавы. Если бы какой-то чиновник нанес ей такую вопиющую обиду, как мне сначала показалось по моему рассказу, меня бы это очень затронуло, но и то больше как общественное явление, чем как личная обида Амалии. Но теперь, по моему же рассказу, картина совершенно изменилась, правда не совсем для меня понятным образом. Тебе как рассказчику я доверяю и потому охотно готов совсем пренебречь этой историей, тем более что я не пожарник и меня Сортини никак не касается. А вот Фрида меня касается, потому мне и странно, что ты, кому я так доверял и всегда готов доверять, все время какими-то косвенными путями, ссылаясь на Амалию, пытаешься нападать на Фриду, вызвать во мне подозрения. Не хочу думать, что ты это делаешь с умыслом, тем более со злым умыслом, иначе мне давно следовало бы уйти. Нет, тут у тебя никакого умысла нет, просто обстоятельства тебя к этому вынуждают: из любви к Амалии ты хочешь возвысить ее, вознести над всеми женщинами, а так как для этого ты в самой Амалии ничего особо похвального найти не можешь, то выручаешь себя тем, что унижаешь других женщин. Поступила Амалия всем на удивление, но чем больше ты об этом поступке рассказываешь, тем труднее решить, иначителен он или ничтожен, умен или глуп, героичен или труслив, потому что Амалия глубоко в душе затаила причину своего поступка, никому у нее ничего не выведать. Фрида же, напротив, ничего удивительного не сделала, она только последовала зову сердца, что ясно всякому, кто подойдет к ее поступку доброжелательно, каждый может это проверить, сплетням тут места нет. Но я-то не желаю ни унижать Амалию, ни защищать Фриду, я только хочу тебе разъяснить, каковы наши с Фридой отношения и почему всякое нападение на Фриду, всякая угроза Фриде угрожает и моему существованию. Я прибыл сюда по доброй воле и по доброй воле тут остался, но все, что произошло за это время, и особенно мои виды на будущее — хотя они и туманны, но имеются, — всему этому я обязан Фриде, чего и оспаривать никак нельзя. Меня, правда, приняли в качестве землемера, но все это одна видимость, со мной ведут игру, меня гонят из всех домов, со мной и сегодня ведут игру, но насколько теперь это делается обстоятельнее, видимо, я для них стал чем-то более значительным, а это уже что-то значит, теперь у меня есть хоть и невзрачный, но все же дом, служба, настоящая работа, есть невеста, она берет на себя часть моих обязанностей, когда я занят другими делами, я на ней собираюсь жениться, стать членом общины, у меня кроме служебных отношений есть и личная, правда до сих пор не использованная связь с Кламмом. Разве этого мало? А когда я прихожу к вам, кого вы приветствуете? Кому рассказываете историю своей семьи? От кого ты ждешь возможности, пусть мизерной, пусть маловероятной, возможности получить какую-нибудь помощь? Уж конечно, не от меня, того самого землемера, которого, например, еще неделю тому назад Лаземан и Брунsvик силой вынудили покинуть их дом,

нет, ты надеешься на помощь человека, который уже в состоянии что-то сделать, а этим я обязан Фриде, Фриде настолько скромной, что попробуй спроси ее, так ли это, и она наверняка скажет, что знать ничего не знает. И все же выходит, что Фрида в своем неведении больше сделала, чем Амалия при всей своей гордости: видишь ли, мне кажется, что помощи ты ищешь для Амалии. И у кого же? Да, в сущности, разве не у той же Фриды?" "Неужто я так нехорошо говорила о Фриде? — сказала Ольга. — Я вовсе этого не хотела, думаю, что и не говорила, хотя все возможно, ведь положение у нас такое, что мы со всем светом в раздоре, а начнешь жаловаться — и тебя заносит бог знает куда. Конечно, ты и в этом прав, теперь между нами и Фридой огромная разница, и ты правильно подчеркнул это еще раз. Три года назад мы были дочками бюргера, а Фрида — сиротой, служанкой в трактире, мы проходили мимо, даже не глядя на нее; конечно, мы вели себя слишком высокомерно, но так нас воспитали. Однако в тот вечер, в гостинице, ты уж мог заметить, какие теперь сложились отношения: Фрида с хлыстом в руках, а я — в толпе слуг. Но дело обстоит еще хуже. Фрида может нас презирать, это соответствует ее положению, это вызвано теперешними обстоятельствами. Но кто нас только не презирает? Те, кто решает презирать нас, сразу попадают в высшее общество. Знаешь ли ты преемницу Фриды? Ее зовут Пепи. Только позавчера вечером я с ней познакомилась, раньше она служила горничной. Так вот, она превзошла Фриду в презрении ко мне. Она увидела в окно, что я иду за пивом, побежала к двери и заперлась на ключ, мне пришлось долго просить ее, обещать ей ленту, которой я завязываю косу, пока она наконец не открыла мне. А когда я ей отдала эту ленту, она швырнула ее в угол. Что ж, пусть презирает меня, все-таки я как-то завишу от ее хорошего отношения и она работает в буфете гостиницы, правда только временно, нет в ней тех качеств, которые нужны для постоянной службы. Достаточно послушать, как хозяин разговаривает с этой Пепи, и сравнить, как он разговаривал с Фридой. Но это вовсе не мешает Пепи презирать Амалию, ту Амалию, от одного взгляда которой эта самая Пепи со всеми своими косичками и бантиками вылетела бы из комнаты во сто раз скорей, чем ее могли бы унести ее толстые ноги. А какую возмутительную болтовню про Амалию мне пришлось снова выслушать от нее вчера вечером, пока посетители не вступились за меня, хоть и вступились они так, как ты тогда вечером видел". "До чего ты напугана, — сказал К. — Ведь я только поставил Фриду на подобающее ей место, но вовсе не собирался вас принижать, как ты себе представляешь. Конечно, и я чувствую в вашей семье что-то необычное, но почему это может стать поводом к презрению — я не понимаю". "Ах, К., — сказала Ольга, — боюсь, что ты еще поймешь почему. Неужели тебе никак не понятно, что поступок Амалии был причиной того, что все стали презирать нас?" "Это было бы слишком странно, — сказал К. — Можно восхищаться Амалией или осуждать ее, но презирать? А если даже по непонятным мне причинам Амалию действительно презирают, то почему же это презрение распространяется на всех вас, на вашу ни в чем не повинную семью? То, что тебя, например, презирает Пепи, — просто безобразия, и, если я когда-нибудь попаду в ту гостиницу, я ее проучу!" "Нелегкая была бы у тебя работа, К., — сказала Ольга, — если бы ты взялся переубеждать всех, кто нас презирает, ведь все исходит из Замка. Мне хорошо помнится утро следующего дня. Брунвик — он тогда был у нас подмастерьем — пришел, как всегда, отец выдал ему работу и отправил его домой, и все сели завтракать, мы с Амалией

тоже, нам было весело, отец, не умолкая, рассказывал о празднике, у него были всякие планы насчет пожарной дружины, ведь в Замке своя пожарная дружина, они прислали на этот праздник и свою команду, с ними вели всякие переговоры, а господа, присутствовавшие там, видели учения нашей команды и очень лестно отозвались о ней, сравнивали с выступлением команды из Замка, и сравнение было в нашу пользу, начался разговор о реорганизации команды из Замка, им понадобились бы инструкторы из Деревни, тут речь пошла о нескольких людях, но отец понадеялся, что выбор падет на него. Об этом он и рассказывал, и по своей добродушной привычке — расслаживаться за столом — он сидел, раскинув руки, обхватив стол за всю ширь, и, когда он подымал глаза к окну и смотрел в небо, лицо у него было такое молодое, такое радостное и полное надежды, каким мне с тех пор уже не суждено было видеть его. И тут Амалия с непривычной для нее сосредоточенностью сказала, что господским речам особенно доверять не стоит, в подобных обстоятельствах господа любят говорить что-нибудь приятное, но все это имеет мало значения или вовсе ничего не значит, они только скажут и тут же забудут навсегда, правда, в следующий раз можно попасться на эту же приманку. Мать запретила ей такие разговоры, отец посмеялся над ее скороспелыми мудрствованиями, но вдруг заппулся, казалось, он что-то ищет, словно вдруг чего-то хватился, но тут же вспомнил: Брунsvик ему рассказывал про какого-то посыльного, про какое-то разорванное письмо, и отец спросил, знаем ли мы об этом, и кого это касается, и что произошло. Мы промолчали. Варнава — он тогда был проказлив, как молодой барашек, — сказал что-то совершенно глупое или дерзкое, мы заговорили о другом, и все позабылось”.

18

Наказание для Амалии

”Но вскоре на нас со всех сторон посыпались вопросы насчет письма, стали приходить друзья и враги, знакомые и чужие, но никто не задерживался, и лучшие друзья больше всех торопились распрощаться. Лаземан, обычно такой медлительный и важный, вошел, как будто хотел проверить, какого размера наша комната, окинул ее взглядом, и все похоже было на страшную детскую игру, когда Лаземан стал уходить, а отец, отмахиваясь от отступивших его людей, поспешил было за ним до порога и потом остановился. Пришел Брунsvик и отказался от работы, сказал совершенно честно, что хочет работать самостоятельно. Умная голова, сумел использовать подходящий момент. Приходили заказчики, выискивали у отца в кладовой свою обувь, которую отдали ему в починку; сначала отец пробовал отговаривать заказчиков — и мы его поддерживали, как могли, — но потом он отступился и молча помогал людям разыскивать обувь, в книге заказов вычеркивалась строчка за строчкой, записывались кожаные, выданные нам, выдавались обратно, долги выплачивались, все шло без малейших пререканий, все были довольны, что удалось так быстро и навсегда порвать отношения с нами, и даже если кто-то терпел убыток, это ни во что не ставилось. И наконец, как можно было предвидеть, появился Зеeman, начальник пожарной дружины, вижу, как сейчас, всю эту сцену: Зеeman, огромный, сильный, но слегка сторбленный, из-за бо-

лезни легких, всегда серьезный — он совсем не умел смеяться, — стоит перед моим отцом, которым он вечно восхищался и даже в дружеской беседе обещал ему должность заместителя начальника пожарной дружины, а теперь пришел объявить, что дружина освобождает его и просит вернуть диплом пожарника. Все, кто был в нашем доме, побросали свои дела и столпились вокруг этих двух мужчин. Зеeman не может выговорить ни слова, только все похлопывает отца по плечу, будто хочет выколотить из него те слова, какие он сам должен сказать, но найти не может. При этом он все время смеется — видно, хочет этим успокоить и себя, и всех других, но, так как он смеяться не умеет и люди никогда не слышали, чтобы он смеялся, никому и в голову не приходит, что это смех. А наш отец за этот день уж так устал, так расстроился, что ничем помочь не может, и кажется, что он до того утомился, что вообще не соображает, что тут происходит. И все мы тоже были расстроены не меньше его, но по молодости мы никак не могли поверить в полный крах, мы все время думали, что среди посетителей наконец найдется человек, который прикажет всем остановиться и повернет все обратно. Нам, по нашему недомыслию, казалось, что Зеeman особенно подходит для такой роли. С напряжением ждали мы, что сквозь этот непрестанный смех наконец прорвется разумное слово. Над чем же и можно было смеяться, как не над глупейшей несправедливостью по отношению к нам. Господин начальник, господин начальник, думали мы, да скажите же вы наконец этим людям все, и мы теснились поближе к нему, но от этого он только нелепо топтался на месте. Наконец он все-таки заговорил, хотя и не для исполнения наших тайных желаний, а повинаясь подбодряющим или недовольным возгласам окружающих. Мы все еще надеялись на него. Он начал с высоких похвал отцу. Он назвал его украшением дружины, недостижимым примером для потомков, незаменимым членом общества, чья отставка пагубно отзовется на дружину. Все было бы прекрасно, если б он на этом закончил! Но он продолжал говорить. Если теперь члены дружины все же решились просить отца, конечно временно, уйти в отставку, то надо понять серьезность причин, заставивших их сделать это. Если бы не блестящие достижения отца на вчерашнем празднике, дело не зашло бы так далеко, но именно эти его блестящие достижения особенно привлекли к нему внимание властей; теперь на дружину направлены все взгляды, и еще больше, чем прежде, она должна охранять свою незапятнанную репутацию. Однако случилось так, что обидели посыльного из Замка, и теперь дружина не нашла другого выхода, а он, Зеeman, взял на себя тяжкую обязанность объявить об этом отцу. И пусть отец не затрудняет ему выполнение этой тяжелой обязанности. И как же Зеeman был рад, что наконец все выложил; в уверенности, что все сделано, он отбросил излишнюю шепетильность и, указывая на диплом, висевший на стене, пальцем поманил его к себе. Отец кивнул и пошел снимать диплом, но руки у него так дрожали, что он не мог снять его с гвоздя, тогда я забралась на стол и помогла ему. С этой минуты все было кончено, отец даже не вынул диплома из рамки, а так целиком и отдал Зееману. Потом сел в угол и больше не шевелился, ни с кем не разговаривал, так что мы сами, как умели, рассчитались со всеми клиентами". "Но в чем же ты тут видишь влияние Замка? — спросил К. Пока что никакого вмешательства отсюда не видно. Пока что по твоему рассказу виден только бессмысленный страх людей, их злорадство по поводу неудач ближнего, ненадежность их дружбы, а это встречается всюду. Твой отец, как мне кажется, проявил некоторую мелочность: что такое, и

сущности, этот диплом? Только подтверждение его способностей, но их-то он не лишился. Если эти способности сделали его незаменимым, тем лучше, и этот начальник попал бы в весьма неловкое положение, если бы твой отец при первых же его словах просто швырнул ему диплом под ноги. Но самым существенным мне кажется то, что ты даже не упомянула об Амалии, а сама Амалия, которая все это наделала, наверно, стояла спокойно в стороне и смотрела на все это опустошение?" "Нет, — сказала Ольга, — упрекать никого нельзя, никто не мог поступить по-другому, тут уже действовало влияние Замка". "Влияние Замка, — повторила Амалия, незаметно вошедшая со двора; родители давно легли спать. — Рассказывает всякие сказки про Замок? Все еще сидите тут вместе? Ведь ты, К., хотел сразу распрощаться с нами, а сейчас уже десятый час. Разве тебя вообще волнуют все эти истории? Тут есть люди, которые такими историями просто питаются, сидят рядком, вот как вы сейчас сидите, и угощают друг дружку рассказами; но ты, по-моему, к таким людям не принадлежишь". "Вот именно, — сказал К., — принадлежу, а люди, которых такие истории не волнуют и которые предоставляют другим волноваться, меня никак не интересуют". "Да, конечно, — сказала Амалия, — но заинтересованность у людей тоже бывает разная, я слыхала об одном молодом человеке, который день и ночь думал только о Замке, все остальное забросил, боялись за его умственные способности, потому что все его мысли были там, наверху, в Замке. Но в конце концов выяснилось, что думал он вовсе не обо всем Замке, а о дочке какой-то уборщицы из канцелярий, наконец он заполучил ее, тогда все стало на место". "Думаю, что этот человек мне бы понравился", — сказал К. "Сомневаюсь, чтоб этот человек тебе понравился, — сказала Амалия. — Вот его жена — возможно! Ну, не стану вам мешать, пойду спать, и огонь придется потушить, из-за родителей: обычно они сразу засыпают очень крепко, но через час настоящему сну уже конец, и тогда им мешает даже самый слабый отсвет. Спокойной ночи!" И действительно, сразу стало темно. Амалия, очевидно, постлала себе где-то на полу, поближе к родительской кровати. "А что это за молодой человек, про которого она говорила?" — спросил К. "Не знаю, — сказала Ольга, — может быть, Брунsvик, хотя ему это не совсем подходит, может быть, и кто-то другой. Ее не так легко понять, потому что часто не знаешь, с насмешкой она говорит или всерьез. Чаще всего она говорит серьезно, а звучит как насмешка". "Оставь этот тон! — сказал К. — И как ты попала в такую зависимость от нее? Неужели так уже было и перед всеми несчастьями? Или стало потом? Разве у тебя никогда не бывает желания стать независимой от нее? И наконец, имеет ли эта зависимость какие-то разумные основания? Она ведь младшая, сама должна слушаться старших. Виновата она или не виновата, но все несчастье на семью навлекла именно она. И вместо того, чтобы изо дня в день просить прощения у каждого из вас, она задирает голову выше всех, ни о чем не беспокоится, разве что из милости о родителях, не желает, как она выражается, чтобы ее посвящали во все эти дела, а когда она наконец устает от вас разговором, так хоть и говорит она серьезно, а ее слова звучат насмешкой. Может быть, она забрала власть своей красотой, о которой ты так часто упоминаешь? А ведь вы, все трое, очень похожи, однако то, чем она от вас обоих отличается, во всяком случае говорит не в ее пользу: уже с первого раза, как только я ее увидел, меня отпугнул ее тупой, неласковый взгляд. А потом, хоть она и младшая, но по ее внешности это никак не заметно, у нее вид безвозрастный, свойственный женщинам, которые хотя почти и

не стареют, но и никогда, в сущности, не выглядят молодыми. Ты видишь ее каждый день, и ты едва ли замечаешь, какое у нее жесткое лицо. Потому, если хорошенько подумать, я никак не могу принять всерьез влюбленность Сортини; может быть, он этим письмом хотел ее только обидеть, а вовсе не позвать к себе?" "Про Сортини я разговаривать не хочу, — сказала Ольга, — от этих господ из Замка всего можно ожидать и самой красивой, и самой безобразной девушке. Но во всем остальном насчет Амалии ты совершенно ошибаешься. Пойми, у меня нет никаких оснований располагать тебя в пользу Амалии, и если я пытаюсь это сделать, то только ради тебя же. Амалия каким-то образом стала причиной всех наших несчастий, это верно, но даже отец, который тяжелее всех пострадал от этого, он, никогда не умевший выбирать слова и сдерживаться, особенно у себя дома, даже он в самые худшие времена никогда ни единым словом не попрекнул Амалию. И не потому, что одобрял ее поведение, — разве он, такой поклонник Сортини, мог это одобрить? — он и отдаленно не мог ее понять: он бы охотно пожертвовал для Сортини и собой, и всем, что у него было, правда, не так, как оно на самом деле случилось, когда Сортини, вероятно, очень разгневался. Говорю "вероятно", потому что мы больше ничего о Сортини не слыхали, и если он до сих пор жил замкнуто, то теперь как будто его и вовсе не стало. Но ты бы посмотрел на Амалию в те времена. Все мы знали, что никакого определенного наказания нам не будет. От нас все просто отшатнулись. И здешние люди, и весь Замок. Но если отчужденность здешних людей для нас, разумеется, была явной, то о Замке мы ничего не знали. Ведь Замок не причинял нам раньше никаких забот, как же мы могли заметить перемену? Но это молчание было хуже всего. Совсем не то, что отчужденность здешних людей, они же отошли от нас не по какому-то убеждению; может быть, ничего серьезного против нас у них и не было, тогда такого презрения, как нынче, никто еще не проявлял, они только из страха и отошли, а потом стали ждать, как все пойдет дальше. И нужды нам пока что бояться было нечего, все должники с нами расплатились, расчеты были в нашу пользу; если нам не хватало продуктов, нам тайком помогали наши родичи, это было нетрудно, только что собрали урожай, правда, у нас своего поля не было, а помогать в работе нас никто не звал, и мы впервые в жизни были вынуждены почти что бездельничать. Так мы и просидели всей семьей, при закрытых окнах и дверях, всю июльскую и августовскую жару. И ничего не случилось. Никаких вызовов, никаких повесток, никаких известий, никаких посещений, — ничего". "Ну, знаешь, — сказал К., — раз ничего не случилось и никакое наказание вам не грозило, чего же тогда вы боялись? Что вы за люди!" "Как бы тебе это объяснить? — сказала Ольга. — Мы ведь боялись не того, что придет, мы уже страдали от того, что было, мы и теперь жили под наказанием. Ведь люди в Деревне только того и ждали, что мы к ним вернемся, что отец снова откроет мастерскую, что Амалия, которая прекрасно шила платья, снова станет брать заказы, разумеется у самых знатных, ведь все люди сожалели о том, что они наделали: когда такое уважаемое семейство вдруг совершенно исключают из жизни в Деревне, каждый от этого что-то теряет, но они считали, что, отрекаясь от нас, они только выполняют свой долг, мы на их месте поступили бы точно так же. Они даже точно не знали, в чем дело, только тот посыльный вернулся в гостиницу, держа в кулаке клочки бумаги. Фрида видела, как он уходил, потом — как он пришел, перекинулся с ним несколькими словами и сразу разболтала всем то, что узнала, но опять

таки вовсе не из враждебных чувств по отношению к нам, а просто из чувства долга, на ее месте каждый считал бы это своим долгом. Но, как я уже говорила, людям больше всего пришлось бы по душе счастливый конец всей истории. Если бы мы вдруг пришли и объявили, что все уже в порядке, что, к примеру, тут произошло недоразумение и оно уже полностью улажено или что хотя тут и был совершен проступок, но он уже исправлен, больше того: людям было бы достаточно услышать, что нам благодаря нашим связям в Замке удалось замять эту историю, — тогда нас наверняка приняли бы с распростертыми объятиями, целовали, обнимали, устраивали бы праздники, так уже не раз на моих глазах случалось с другими. Но даже и такие сообщения были не нужны; если бы мы только сами вышли к людям, решились бы восстановить прежние связи, не говоря ни слова об истории с письмом, этого было бы вполне достаточно, с радостью все отказались бы от всяких обсуждений, ведь тут, кроме страха, всем было ужасно неловко, потому от нас и так отшатнулись, чтобы ничего об этом деле не слышать, ничего не говорить, ничего не думать, чтобы не иметь к нему никакого касательства. Когда Фрида выдала все это дело, то сделала она так не из злорадства, а для того, чтобы и себя, и других оградить от него, обратить внимание всей общины, что тут произошло нечто такое, от чего надо было самым старательным образом держаться подальше. Не мы, как семья, имели тут значение, а наша причастность ко всей этой постыдной истории. И если бы мы снова вышли на свет, оставили прошлое в покое, показали всем нашим видом, что мы замаяли это дело — неважно, каким именно способом, — и убедили бы общественное мнение, что обо всей этой истории, в чем бы она ни заключалась, больше никогда не будет и речи, тогда все могло бы уладиться, люди поспешили бы нам на встречу с прежней готовностью, и даже, если бы та история и не была окончательно забыта, люди поняли бы и это, помогли бы нам ее забыть. А вместо этого мы все сидели дома. Не знаю, чего мы дожидались! Наверно, какого-то решения Амалии; с того утра она захватила главенство в семье и без особых обсуждений, без приказаний, без просьбы, одним молчанием крепко за него держалась. Правда, мы, все остальные, должны были о многом советоваться, мы шептались с утра до вечера, а иногда отец, внезапно испугавшись, подзывал меня к себе, и я полночи сидела на краю его кровати. А иногда мы забивались в угол с Варнавой, который сначала очень мало понимал и в беспрестанном запале требовал объяснений, всегда одних и тех же; видно, он уже знал, что беспечной жизни, ожидавшей его сверстников, ему уже не видать, и мы сидели вдвоем — точно так же, как сейчас с тобой, К., — не замечая, как проходила ночь и наступало утро. Мать была самой слабой из нас, должно быть потому, что она не только делила общее горе, но и страдала за каждого из нас, и мы со страхом видели в ней те изменения, которые, как мы предчувствовали, ждут нашу семью. Любимым ее местом был уголок дивана — теперь этого дивана давно уже у нас нет, он стоит в большой горнице у Брунсвика, — она сидела там, и мы хорошенько не знали, спит она или, судя по движению губ, ведет сама с собой бесконечные разговоры. Было вполне естественно, что мы непрестанно обсуждали историю с письмом, вдоль и поперек, со всеми известными нам подробностями и неизвестными подробностями, и, непрестанно соревнуясь друг с другом, придумывали, каким путем благополучно все разрешить, это было естественно и неизбежно, но и вредно, потому что мы без конца углублялись в то, о чем хотели позабыть. Да и какая польза была от наших, хотя бы и блестящих, пла-

нов? Ни один из них нельзя было выполнить без Амалии, все это была лишь подготовка, бессмысленная уже хотя бы потому, что до Амалии наши соображения никак не доходили, а если бы и дошли, то не встретили бы ничего, кроме молчания. К счастью, я теперь понимаю Амалию лучше, чем тогда. Она терпела больше нас всех. Непонятно, как она все это вытерпела и до сих пор осталась жива. Может быть, мать страдала за всех нас, столько напастей обрушилось на нее, но страдала она недолго; теперь уже никак нельзя сказать, что она страдает, но и тогда у нее уже мысли путались. А Амалия не только несла все горе, но у нее хватало ума все понять, мы видели только последствия, она же видела суть дела, мы надеялись на какие-то мелкие облегчения, ей же оставалось только молчать, лицом к лицу стояла она с правдой и терпела такую жизнь и тогда, и теперь. Несколько легче было нам при всех наших горестях, чем ей. Правда, нам пришлось покинуть наш дом, туда переехал Брунsvик, нам отвели эту хижину, и на ручной тележке мы в несколько приемов перевезли сюда весь наш скарб. Мы с Варнавой тащили тележку, отец с Амалией подталкивали ее сзади; мать мы перевезли прежде всего, и она, сидя на сундуке, встретила нас тихими стенами. Но я помню, как мы, даже во время этих утомительных перевозок — очень униженных, так как нам навстречу часто попадались возы с полей, а их владельцы при виде нас отворачивались и отводили взгляд, — помню, как мы с Варнавой даже во время этих поездок не могли не говорить о наших заботах и планах, иногда останавливаясь посреди дороги, и только окрик отца напоминал нам о наших обязанностях. Но и после переселения никакие разговоры не могли изменить нашу жизнь, и мы только постепенно стали все больше и больше ощущать нищету. Помощь родственников прекратилась, наши средства подходили к концу, и как раз в это время усилилось то презрение к нам, которое ты уже заметил. Все поняли, что у нас нет сил выпутаться из истории с письмом, и за это на нас очень сердились. Они правильно расценивали тяжкую нашу судьбу, хотя точно ничего и не знали; они понимали, что сами вряд ли выдержали бы такое испытание лучше нас, но тем важнее им было отмежеваться от нас окончательно; преодолеть мы все, нас бы, естественно, стали уважать, но, раз нам это не удалось, люди решили, что, до тех пор только намечалось: нас окончательно исключили из всех кругов общества. Теперь о нас уже не говорили как о людях, нашу фамилию никогда больше не называли, и если о нас заговаривали, то упоминали только Варнаву, самого невинного из нас, даже о нашей лачуге пошла дурная слава, и, если ты проверишь себя, ты сознаешься, что и ты, войдя сюда впервые, подумал, что презрение это как-то оправданно; позже, когда к нам иногда стали заходить люди, они морщились от самых незначительных вещей, на пример от того, как наша керосиновая лампочка висит над столом. А ты же ей еще висеть, как не над столом, но им это казалось невыносимым. А если мы перевешивали лампу, их отвращение все равно не проходило. Но, что у нас было и чем мы были сами, вызывало одинаковое презрение."

19

Прощение

"Что же мы делали все это время? Самое худшее, что только можно было делать, то, за что нас справедливее можно было презирать, чем за все другое. Мы предали Амалию, мы нарушили ее молчаливость."

приказ, мы больше не могли так жить, жизнь без всякой надежды стала невозможной, и мы начали каждый по-своему добиваться, чтобы в Замке нас простили, вымаливать прощение. Правда, мы знали, что нам ничего не исправить, знали, что единственная обнадеживающая связь, которая у нас была с Замком, — связь с Сортини, чиновником, благоволившим к отцу, — стала для нас недоступной, но все же мы принялись за дело. Начал отец, начались его бессмысленные походы к старосте, к секретарям, к адвокатам, к писарям; обычно его нигде не принимали, а если удавалось хитростью или случаем пробиться — как мы ликовали при каждом таком известии, как потирали руки, — то его моментально выставляли и больше не принимали никогда. Да им и отвечать отцу было до смешного легко. Замку это всегда легко. Что ему, в сущности, надо? Что с ним случилось? За что он просит прощения? Когда и кто в Замке замахнулся на него хоть пальцем? Да, конечно, он обнищал, потерял клиентуру и так далее, но ведь это — явления повседневной жизни, все дело в состоянии рынка, в спросе на работу, неужели Замок должен во все вникать? Конечно, там вникают во все, но нельзя же грубо вмешиваться в ход жизни с единственной целью — соблюдать интересы одного человека. Что же, прикажете разослать отсюда чиновников, прикажете им бегать за клиентами вашего отца и силой возвращать их к нему? Да нет же, прерывал их тогда отец, дома мы заранее с ним все обсудили и до его походов, и после, обсуждали в уголке, словно прятались от Амалии, а она хоть и все замечала, но не вмешивалась. Да нет же, говорил им отец, он ведь не жалуется, что мы обнищали, все, что он потерял, он легко наверстает, это все несущественно, лишь бы только его простили. Но что же ему прощать? — отвечали ему Никаких доносов на него до сих пор не поступало, во всяком случае, в протоколах ничего такого нет, по крайней мере в тех протоколах, которые открыты для общественности. Значит, насколько можно установить, ни дела против него никто не возбуждал, ни намерений таких пока нет. Может быть, он скажет, были ли приняты против него какие-нибудь официальные меры? Или, быть может, имело место вмешательство официальных органов? Об этом отец ничего не знал. "Ну вот видите, раз вы ничего не знаете и раз ничего не случилось, то чего же вы хотите? Что именно можно было бы вам простить? В крайнем случае только то, что вы при утруждаете власти, но это как раз и непростительно". Однако отец не сдавался, тогда у него было еще много сил, и вынужденное безделье оставило ему много свободного времени. "Я восстанавливаю честь Амалии в самое ближайшее время", — говорил он Варнаве и мне по несколько раз в день потихоньку, потому что Амалия не должна была это слышать, хотя говорилось это лишь для Амалии, потому что на самом деле он ни о каком восстановлении чести и не думал, а думал только о том, чтобы выпросить прощение. Но для этого ему надо было сначала установить свою вину, а в этом власти ему отказывали. И он напал на мысль, доказавшую, как ослабел к тому времени его ум, что от него скрывают его вину, потому что он мало платит, — дело в том, что мы до сих пор платили только причитающиеся с нас налоги, довольно большие, по нашим тогдашним обстоятельствам. Теперь же он решил, что ему надо платить больше, что, конечно, было ошибкой: хотя наши власти — чтобы избежать лишних разговоров, для простоты — и берут кое-какие взятки, но добиться этим ничего нельзя. Но раз отец на это надеялся, мы ему мешать не хотели. Мы продали все, что у нас оставалось — по большей части самое необходимое, — чтобы обеспечить отца средствами для его ходатайств, долгое

время мы испытывали по утрам удовлетворение, когда он, отправляясь спозаранку в путь, мог позвякивать несколькими монетками в кармане. Правда, мы из-за этого целыми днями голодали, а единственное, чего мы действительно добивались благодаря этим деньгам, — это поддерживали у отца какие-то светлые надежды. Однако и это едва ли принесло пользу. Он измучился в своих походах, и то, что из-за отсутствия денег вскоре само собой пришло бы к концу, растянулось на долгое время. За деньги, конечно, никто ничего из ряда вон выходящего все равно сделать не мог, разве что какой-нибудь писарь иногда пытался создать видимость, будто что-то делается, обещал кое-что узнать, намекал, будто нашлись какие-то следы и он по ним начнет распутывать дело уже не по обязанности, а исключительно из любви к нашему отцу, и отец, вместо того чтобы усомниться, верил еще больше. Он возвращался домой, после таких явно бессмысленных обещаний, как будто нес в дом благополучие, и мучительно было видеть, как он, с вымученной улыбкой, широко открыв глаза, кивая на Амалию, хотел дать нам понять, как близко спасение Амалии — что поразило бы ее больше всех! — но сейчас это еще секрет, и мы должны строго соблюдать молчание. Так тянулось бы еще долго, если бы мы в конце концов не лишились всякой возможности доставать для отца деньги. Правда, тем временем, после долгих упраскиваний, Брунsvик взял Варнаву к себе в подмастерья, но только с тем условием, чтобы он приходил за заказами вечером, в темноте, и приносил работу тоже затемно, — надо принять во внимание, что Брунsvик из-за нас подвергал свое дело некоторой опасности, но платил он Варнаве гроши, хотя работал Варнава без укоризненно, и этой платы хватало только на то, чтобы нам не умереть с голоду. Очень бережно, после долгой подготовки мы объявили отцу, что денежная наша поддержка прекращается, но он принял это очень спокойно. Умом он уже был не способен понять бесперспективность всех своих походов, но постоянные разочарования все же его утомили.

Иногда он говорил — но его речам уже не хватало прежней отчетливости, раньше он говорил даже слишком отчетливо, — что ему понадобится бы еще совсем немного денег, завтра или даже сегодня он все узнал бы, а теперь все пошло прахом, все рушилось только из-за денег и так далее, но по тону его разговоров было ясно, что он сам уже ничему не верит. К тому же у него тут же, с ходу, зародились новые планы. Так как ему не удалось установить свою вину и потому он и дальше ничего не достиг бы официальным путем, то теперь он решил обратиться к чиновникам с просьбами лично. Среди них наверняка есть люди с добрым, сострадательным сердцем, и хотя на службе они не имеют права слушаться голоса серица, но если застать их врасплох вне службы, в подходящую минуту, дело обернется по-другому”.

Тут К., который до сих пор слушал, совершенно поглощенный рассказом Ольги, перебил ее вопросом: “И ты считала, что это неправильно?” И хотя он получил бы ответ из дальнейшего рассказа, но это он хотел узнать немедленно.

“Нет, — сказала Ольга, — ни о каком сострадании тут и речи быть не могло. При всей нашей молодости и неопытности мы это знали, да и отец, конечно, знал, только позабыл, как и многое другое. Он составил себе план: встать неподалеку от Замка, у дороги, где проезжают коляски чиновников, и, если удастся, изложить им свою просьбу о прощении. Онкровенно говоря, план был совсем неразумный, даже если бы случилось невозможное и просьба дошла бы до ушей какого-нибудь чиновника

Разве один чиновник может простить? В крайнем случае это дело всего руководства, но даже и оно не может прощать, а может только осуждать. Да и вообще, может ли чиновник, даже если он выйдет из коляски, составить себе полное представление о деле по тем словам, которые пробормочет несчастный, измотанный, постаревший человек, наш отец? Чиновники — народ очень образованный, но односторонний, по своей специальности каждый из одного слова может вывести целый ряд мыслей, но ему можно часами объяснять то, что касается другого отдела, и он будет только вежливо кивать головой, но не поймет ни слова. И это вполне понятно: попробуй только сам разобраться в каких-нибудь служебных мелочах, которые тебя непосредственно касаются в каких-нибудь пустяках, которые любой чиновник может разрешить одним мановением руки, — попробуй только в них разобраться досконально, и уж ты всю жизнь провозишься, а до сути так и не доберешься. Но даже если отец и попадет на какого-нибудь нужного чиновника, все равно тот ничего без предварительной документации сделать не смог бы, а уж на проезжей дороге он никак не сумеет простить отца, разобраться во всем он сможет только на службе, поэтому он снова посоветует идти обычным путем, по инстанциям, но именно на этом пути отца уже постигла неудача. До чего дошел отец, если уж он решил хоть как-то пробиться таким способом! Если бы существовала хоть отдаленная возможность чего-то достичь этим путем, то дорога кишмя кишела бы просителями, но даже школьники младших классов знают, что такие вещи невозможны, и, разумеется, на дороге было совершенно пусто. Впрочем, быть может, в отце это еще больше укрепило надежду, и он всячески поддерживал ее. Ему это было необходимо, но для этого человеку не нужно было даже пускаться в сложные рассуждения — ему и с первого раза становилось ясно, насколько все это безнадежно. Ведь когда чиновники едут в Деревню или возвращаются в Замок, они не на увеселительную прогулку отправляются: и в Деревне и в Замке их ждет работа, оттого и едут они со всей возможной быстротой. Им и в голову не приходит выглядывать из окна коляски и смотреть, нет ли на дороге просителей; в коляске полно бумаг и документов, чиновники их мучают”.

“А я, — сказал К., — заглядывал в сани чиновника и там никаких документов не было”. В рассказе Ольги перед ним открывался такой огромный, почти неправдоподобный мир, что он не мог удержаться, чтобы как-то не попркоснуться с ним, хотя бы вспоминая о своих мелких переживаниях, чтоб убедиться не только в существовании этого мира, но и отчетливее ощутить, что и сам он тоже существует.

“Все может быть, — сказала Ольга, — но это еще хуже: значит, у чиновника дела настолько важные, а документы настолько ценные или объемистые, что брать их с собой нельзя, и тогда чиновники вообще мчатся галопом. Во всяком случае, никто из них не смог бы выкроить время для отца. Более того: к Замку ведет множество дорог. То одна из них в моде, и тогда по ней едет большинство, то другая — и туда устремляются все. По каким правилам происходят эти перемены, установить еще не удалось. Один раз в восемь утра все едут по одной дороге, через десять минут — по другой, потом — по третьей, а быть может, через полчаса снова по первой, и уж тут едут весь день, но в любую минуту возможны изменения. Правда, у Деревни все дороги сходятся, но там коляски летят как бешеные, тогда как у Замка они еще замедляют ход. И если порядок езды по дороге не установлен и разобраться в нем трудно, то это относится и к

числу колясок. Бывают дни, когда ни одной коляски не увидишь, а потом их проезжает великое множество. Теперь представь себе нашего отца в этой неразберихе. В лучшем своем костюме — вскоре у него ничего другого не останется — выходит он каждое утро с нашими благословениями из дому. С собой он берет маленький значок пожарника — в сущности, он уже не имеет права его носить — и прикрепляет его, выйдя из Деревни: в самой Деревне он боится его показывать, хотя значок такой крошечный, что его и за два шага еле видно, но, по мнению отца, именно этот значок может привлечь внимание чиновников. Недалеко от входа в Замок расположено садоводство, оно принадлежит некоему Бертуху, он поставляет овощи в Замок, и там, на небольшом каменном выступе у ограды, отец выбрал себе местечко. Бертух не возражал, потому что раньше они с отцом были приятели, и, кроме того, Бертух был одним из самых постоянных заказчиков отца; у него одна нога немного искалечена, и он считает, что только отец может шить подходящую для него обувь. Вот там отец и сидел изо дня в день, осень была пасмурная, дождливая, но погода была ему безразлична; с утра в один и тот же час он открывал дверь и кивал нам на прощание, вечером возвращался, промокший насквозь, — казалось, он с каждым днем горбился все больше и больше — и забивался в угол. Сначала он нам рассказывал все свои мелкие приключения — то Бертух из жалости, по старой дружбе бросал ему через решетку одеяло, то ему померещилось, что он узнал в проезжающей коляске того или иного чиновника, то вдруг какой-нибудь из кучеров его узнавал и в шутку стегал кнутом. Потом он совсем перестал рассказывать, видно, уже не надеялся чего-нибудь добиться и только считал своим долгом, своей унылой, бесполезной обязанностью отправляться туда и просиживать там целый день. Тогда и начались у него ревматические боли: подходила зима, снег выпал рано, у нас зима наступает очень быстро, а он все сидел там, на мокрых камнях, — то под дождем, то под снегом. По ночам он стонал от боли, утром иногда сомневался, идти ему или нет, но пересиливал себя и все-таки уходил. Мать цеплялась за него, не хотела отпускать, и он, очевидно уже напуганный тем, что ноги его не слушались, позволял ей идти с ним, и тогда у матери тоже начались боли. Мы часто к ним туда ходили, носили еду или просто навещали, уговаривали вернуться домой; как частенько заставляли их, сгорбленных, прижимавшихся друг к другу, на узеньком выступе, закутанных в тонкое одеяльце, которое едва их прикрывало, а вокруг ничего, кроме серого снега и тумана, и нигде ни души, по целым дням ни экипажа, ни пешехода. Какое зрелище, К., какое зрелище! Кончилось тем, что в одно утро отец не смог встать с постели — ноги не держали, он был безутешен, в каком-то полубреду он видел, как именно сейчас коляска останавливается у ограды Бертуха, из нее выходит чиновник, ищет глазами отца у ограды и, с досадой покачивая головой, снова садится в свою коляску. При этом отец так кричал, словно хотел отсюда обратить на себя внимание чиновника там, наверху, и объяснить ему, что он отсутствует не по своей вине. А отсутствовал он долго, больше он уже туда не возвращался, много недель ему пришлось пролежать в постели. Амалия взяла на себя все обслуживание, уход, лечение, в сущности, до сегодняшнего дня с небольшими перерывами ей приходится этим заниматься. Она знает целебные травы, утоляющие боль, ей почти не нужно спать, ничто ее не пугает, ничего она не боится, никогда не теряет терпения, словом, всю работу для родителей делает она. В то время как мы, ничем не умея помочь, только суетились вокруг, она оставалась спокой-

ной и молчаливой. Но когда самое плохое кончилось и отец уже мог осторожно, при поддержке с двух сторон, спускать ноги с кровати, Амалия сразу отступилась и предоставила его нам”.

20

Планы Ольги

”Теперь надо было найти для отца какое-нибудь занятие по силам, что-то такое, что хотя бы поддерживало в нем веру, будто он содействует снятию вины с семьи. Найти что-нибудь в этом роде было нетрудно; в сущности, все могло служить этой цели не хуже, чем сидение у садоводства Бертуха, но я нашла то, что даже мне подавало какую-то надежду. Обычно, если поминались разговоры о нашей вине среди чиновников, среди писарей или еще где, все сводилось лишь к тому, что был обижен посыльный Сортини, и дальше никто не шел. Значит, если все общественное мнение, хотя бы только по видимости, касается лишь обиды, нанесенной посыльному, можно, опять-таки хотя бы только для видимости, все уладить, если помириться с посыльным. Ведь, как нам объясняли, никаких заявлений ниоткуда не поступало, значит, ни одна канцелярия этим не занимается, и потому посыльный волен от себя лично — а больше ни о чем и речи не было — простить обиду. Все это, конечно, не могло иметь решающего значения, все было лишь видимостью и никаких последствий иметь не могло, но отцу это доставило бы радость, а всех посредников, которые так его мучили, можно было бы, к его удовлетворению, загнать в тупик. Разумеется, прежде всего надо будет найти посыльного. Когда я рассказывала о своем плане отцу, он сначала очень рассердился, он стал необычно упрямым; к тому же он был уверен — и во время болезни это очень обострилось, — что мы ему все время мешали успешно завершить дело, сначала тем, что лишили его денежной поддержки, теперь тем, что держали его в постели, кроме того, он вообще потерял способность полностью воспринимать чужие мысли. Не успела я все рассказать ему до конца, как мой план был отвергнут; по его мнению, он должен был и дальше ждать у сада Бертуха, и так как сам он, конечно, будет не в состоянии ежедневно подыматься туда, то мы должны возить его на тачке. Но я не сдавалась, и постепенно он примирился с этой мыслью, мешало ему только то, что тут он всецело зависел от меня, потому что я одна видела в то утро посыльного, отец же его не знал. Правда, один слуга похож на другого, и полной уверенности, что я того посыльного узнаю, у меня не было. Мы стали ходить в гостиницу и искать его среди слуг. Хотя он и был слугой Сортини, а Сортини больше в Деревне не появлялся, но господа часто меняют слуг, и его вполне можно было найти среди челяди других господ, и если не удалось бы найти его самого, то, быть может, удалось бы собрать сведения о нем от других слуг. Для этой цели необходимо было каждый вечер бывать в гостинице, а нас везде принимали неохотно, особенно в таком месте; оплачивать свои посещения мы, конечно, тоже не могли. Однако выяснилось, что мы все-таки можем и там пригодиться; ты знаешь, как Фрида мучилась с этой челядью; по существу, они народ спокойный, избалованный легкой службой, отяжелевший. ”Пусть тебе живется, как слуге” — вот обычная присказка чиновников, и действительно, говорят, что слуги себе обеспечивают хорошую жизнь в Замке, они там

полные хозяева и умеют это ценить, притом в Замке они ведут себя по тамошним правилам, держатся спокойно, с достоинством — мне это много раз подтверждали, — да и тут иногда видишь у слуг остатки таких манер, именно остатки, а в общем, благодаря тому что законы Замка в Деревне уже неприменимы, эти люди словно перерождаются — становятся дикой, беспардонной оравой, для которой уже не существует законов, а только их ненасытные потребности. Нет предела их бесстыдству, счастью для Деревни, что им разрешено покидать гостиницу только с особого разрешения, но уж в гостинице с ними хлопот не оберешься. Фриде это было очень трудно, и она обрадовалась, когда смогла использовать мои услуги, чтобы утихомирить челядь; вот уже больше двух лет, как я, по крайней мере дважды в неделю, провожу ночь со слугами на конюшне. Раньше, когда отец еще мог ходить со мной в гостиницу, он ночевал где-нибудь в буфете и ждал известий, которые я ему приносила утром. Но толку было мало. Того посыльного мы до сих пор не нашли; говорят, что он все еще служил у Сортини и последовал за ним, когда Сортини перешел в более отдаленные канцелярии. Почти никто из слуг не видел его с тех пор, как и мы, и если кому-то и казалось, что он его видел, то, вероятно, он ошибался. И хотя, по существу, мой план не удался, все же это не совсем так: правда, посыльного мы не нашли, а отца совсем доконали эти походы и ночевки в гостинице, а может быть, и жалость ко мне, насколько он на нее был еще способен, и вот уже два года, как он находится в том состоянии, в каком ты его видел, причем ему еще не так плохо, как матери, — тут мы с минуты на минуту ждем конца, и только нечеловеческие старания Амалии оттягивают этот конец. Но все же мне удалось установить в гостинице некоторые связи с Замком; не презирай меня, если я тебе скажу, что ничуть не жалею о том, что я сделала. Вряд ли наладились такие уж значительные связи с Замком, подумаешь ты, наверно, и будешь прав; связи эти совсем незначительны. Правда, я теперь знаю почти всех слуг тех господ, что приезжали в последнее время к нам в Деревню, и если теперь я когда-нибудь попаду в Замок, то не буду там чужой. Конечно, слуг я знаю только из Деревни, в Замке они совсем другие и, должно быть, даже никого не узнают, а уж тех, с кем встречались в Деревне, и подавно, хотя на конюшне они сто раз клялись, что будут счастливы увидеться со мной в Замке. Впрочем, я уже узнала, как дешево стоят их обещания. Но и это не самое главное. Не только через слуг у меня установилась какая-то связь с Замком, но возможно, и надо на это надеяться, что кто-нибудь, наблюдавший за мной и за моим поведением — а управление этой многочисленной челядью — очень важный и значительный отдел служебной работы, может быть, тот, кто за мной наблюдал, составил обо мне более снисходительное суждение, чем другие, может быть, он признает, что я тоже, хотя и самым недостойным образом, борюсь за нашу семью и продолжаю усилия отца. Если так на это посмотрят, то, может быть, мне простят и то, что я беру у слуг деньги и трачу их на нашу семью. И еще я добилась кое-чего, хотя, наверно, ты мне и это поставишь в вину. От слуг я узнала многое о том, как обходными путями, не проходя трудного, длящегося иногда годами официального оформления, попасть в служащие Замка, правда, тут ты еще не официальный служащий, тебя допускают тайком, никаких прав и никаких обязанностей у тебя нет, и хуже всего, что нет обязанностей, зато есть одно: все-таки ты при деле. Можно уловить благоприятный случай и воспользоваться им, и хотя ты не служащий, но случайно может выпасть какая-нибудь работа, а служащих рядом не окажется,

тебя окликнут, ты подбежишь и сразу станешь тем, кем ты за минуту еще не был, — настоящим служащим. Ну, конечно, когда еще выпадет такой случай? Бывает, что сразу не успеешь появиться, не успеешь оглянуться, как случай уже подвернулся, тут не у каждого новичка достанет присутствия духа сразу за этот случай ухватиться, тогда уж приходится ждать годами, дольше, чем при официальном оформлении на работу, но оформиться на работу по всем правилам такому неофициально допущенному человеку совсем невозможно. Значит, тут сомнений возникает немало, но все они отпадают перед тем соображением, что при официальном приеме на работу отбор очень строг, и члена семьи, который себя чем-то запятнал, отвергают заранее. Он может проходить процедуру оформления годами, трястись в ожидании результата, все удивленно спрашивают его, как он посмел предпринять столь безнадежную попытку, а он все надеется, иначе как же ему жить; однако через много лет, быть может уже в старости, он узнает об отказе, узнает, что все потеряно и жизнь его прошла бесцельно. Но, правда, и здесь бывают исключения, потому-то так легко и поддаются соблазну. Бывает, что именно скомпрометированных людей в конце концов принимают, есть чиновники, которых буквально против их воли притягивает запах такой дичи, и во время приемных испытаний они все вынохивают, кривят рот, закатывают глаза, такой человек у них, как видно, вызывает особый аппетит, и им приходится крепко цепляться за своды законов, чтобы сопротивляться желанию принять его на работу. Но иногда это вовсе не помогает человеку в приеме на службу, а только бесконечно затягивает процедуру зачисления — такой процедуре конца нет, и она прекращается только со смертью данного человека. Так что и законный прием на службу, как и незаконный, чреват и явными, и тайными трудностями, и, прежде чем впутаться в такое дело, очень полезно все заранее взвесить. Тут уж мы с Варнавой ничего не упустили. Всякий раз, как я возвращалась из гостиницы, мы садились рядом, я рассказывала все новости, какие я узнала, мы обсуждали их целыми днями, и бывало, что работа у Варнавы не двигалась дольше, чем следовало. И тут, возможно, была моя вина, как ты, наверно, считаешь. Ведь я знала, что рассказы слуг очень и очень недостоверны. Я знала, что они никогда не хотят рассказывать мне про Замок, стараются перевести разговор на другое, каждое слово приходится у них вымаливать, но, надо сказать, уж если они заводились, так болтали ерунду, хвастались, старались перешеголять друг дружку во всяких баснях и выдумках так, что там, в темной конюшне, из всего этого неумолчного крика, когда один перебивал другого, можно было извлечь в лучшем случае два-три жалких намека на правду. Но все, что мне запомнилось, я пересказывала Варнаве, а он, никак не умея отличить правду от вымысла, мечтая о той жизни, недостижимой из-за положения нашей семьи, впивал каждое слово, с жаром требуя продолжения. А мой новый план действительно опирался на Варнаву. У слуг я ничего больше добиться не могла. Посыльный Сортини не отыскался, и найти его было невозможно, очевидно, и Сортини, и его посыльный уходили все дальше в неизвестность, другие часто забывали даже их имена, их внешность, и мне приходилось не раз подробно их описывать, но я ничего не добилась, кроме того, что их с трудом припоминали, но ничего сказать о них не могли. А что касается моей жизни среди слуг, то я, конечно, была не в силах предотвратить сплетни и могла только надеяться, что все будет воспринято так, как оно было на самом деле, и что это снимет хоть часть вины с нашей семьи, однако никаких внешних признаков такого отношения я не заме-

чала. Так я и продолжала жить, не видя для себя никакой другой возможности добиться для нас хоть чего-нибудь в Замке. Такую возможность я видела лишь для Варнавы. Из рассказов челяди я могла, если хотела — а желание у меня было немалое, — сделать вывод, что каждый, кто принят на службу в Замок, может очень много сделать для своей семьи. Однако что же в этих рассказах было достоверного? Казалось, что установить это невозможно, ясно было только, что достоверности в них очень мало. Например, когда какой-то слуга, которого я потом никогда не увижу, и если и увижу, то не узнаю, торжественно заверяет меня, что поможет моему брату устроиться на службу в Замок или же, если Варнава каким-то образом попадает в Замок, он его хотя бы поддержит и подбодрит, потому что, судя по рассказам слуг, бывает, что ищущим работу приходится так долго ждать, что они часто падают в обморок, мысли у них путаются и они могут погибнуть, если друзья о них не позаботятся, — когда слуги мне рассказывали и это, и всякое другое, то, вероятно, все их предостережения были вполне основательными, но их обещания — совершенно пустыми. Однако Варнава относился к ним не так, хотя я его и предупреждала, что нельзя верить этим посулам, но уж одного того, что я ему их пересказывала, было достаточно, чтобы он увлекся моими планами. Все мои соображения на него почти не действовали, действовали только рассказы слуг. Таким образом, я была, в сущности, предоставлена самой себе, с родителями вообще никто, кроме Амалии, разговаривать не умел, а чем больше я пыталась по-своему выполнить прежние планы отца, тем больше отчуждалась от меня Амалия, при тебе или при других она еще со мной разговаривает, а наедине — никогда; для слуг в гостинице я была только игрошкой, которую они яростно пытались сломать, ни одного душевного слова я ни от кого из них за два года не слыхала, они только хитрили, врели или говорили глупости, значит, у меня оставался только Варнава, но Варнава был еще слишком молод. Когда я видела, как блещут его глазами при моих рассказах — они и теперь блещут, — я пугалась и все же не умолкала, слишком многое было поставлено на карту. Правда, больших, хоть и бесплодных планов, как у моего отца, у меня не было, не было во мне и мужской решимости, я только думала, как бы загладить обиду, нанесенную посыльному, и хотела, чтобы это скромное желание мне поставили в заслугу. Но того, что мне самой сделать не удалось, я теперь хотела достигнуть через Варнаву, другим и более верным способом. Мы обидели посыльного, спугнули его из ближних канцелярий; что же могло быть проще, чем предложить в лице Варнавы нового посыльного, поручить Варнаве выполнять работу обиженного, а тем самым дать обиженному возможность спокойно жить в отдалении столько, сколько он захочет, сколько ему понадобится, чтобы забыть обиду. Однако я отлично понимала, что при всей непритязательности этого плана в нем было что-то нескромное, могло создаться впечатление, будто мы хотим диктовать начальству, как ему решать вопросы приема служащих, будто мы сомневаемся, способны ли само начальство найти наилучшее решение, а может быть, оно и нашла его давным-давно, еще до того, как у нас появилась мысль, что можно как-то вмешаться. Но потом я подумала: нет, не может быть, чтобы начальство так неверно истолковало мои намерения или, если так случится, чтобы оно сделало это намеренно, — другими словами, не может быть, чтобы все, что бы я ни делала, заранее безоговорочно получило бы отпор. Поэтому я не сдавалась, а честолюбие Варнавы сделало свое. Во время всей этой подготовки Варнава так заважничал, что даже стал считать работу

сапожника слишком грязной для себя, будущего служащего канцелярии; больше того, он даже осмеливался весьма решительно возражать Амалии, когда она к нему изредка обращалась. Я не хотела мешать его недолговечной радости, потому что в первый же день, когда он отправился в Замок, и радость и высокомерие, как и можно было ожидать, исчезли без следа. И началась та кажущаяся служба, про которую я тебе уже рассказывала. Удивительно было только то, что Варнава без всякого затруднения, сразу попал в Замок, вернее, в ту канцелярию, которая стала его рабочим местом. Такой успех меня чуть с ума не свел, и, когда Варнава шепнул мне об этом на ухо, я бросилась к Амалии, прижала ее в угол и осыпала поцелуями, впиваясь в нее и губами и зубами так, что она расплакалась от испуга и боли. От волнения я не могла выговорить ни слова, дамы с ней уже давно не разговаривали, и я отложила объяснения на утро. Но в ближайшие дни рассказывать уже было не о чем. На том, что было достигнуто, все и остановилось. Два года Варнава вел эту однообразную, гнетущую жизнь. Слуги ничего не сделали, я дала Варнаве записку, в которой поручала его вниманию слуг и напоминала им про их обещания, и Варнава, как только видел кого-нибудь из слуг, вынимал записку и протягивал ему, при этом он иногда попадал на слуг, которые меня не знали, других раздражала его манера — молча протягивать записку, — разговаривать там, наверху, он не смел; но тягостно было то, что ему никто помочь не желал, и для нас было избавлением — правда, мы могли бы давным-давно и сами избавить себя таким способом, — когда один из слуг, которому, быть может, не раз навязывали эту записку, смял ее и бросил в корзину для бумаг. Он, как мне казалось, мог бы при этом и добавить: "Вы же сами так обращаетесь с письмами". Но как бы бесплодно ни проходило это время, Варнаве оно принесло пользу, если можно назвать пользой то, что он преждевременно повзрослел, преждевременно стал мужчиной; да, во многом он стал серьезнее, осмотрительнее, даже не по возрасту. Мне иногда становится очень грустно, когда я гляжу на него и сравниваю с тем мальчиком, каким он был еще два года назад. И при этом ни утешения, ни внимания, которых можно было бы ожидать от взрослого человека, я от него не вижу. Без меня он вряд ли попал бы в Замок, но с тех пор, как он там, он уже от меня не зависит. Я его единственный поверенный, но он наверняка рассказывает мне только малую долю того, что лежит у него на сердце. Он часто говорит о Замке, но из его рассказов, из этих незначительных случаев, о которых он сообщает, невозможно понять, каким образом эта обстановка вызвала в нем такую перемену. Особенно трудно понять, почему он, став взрослым мужчиной, полностью потерял ту смелость, которая в нем, мальчике, приводила нас в отчаяние. Правда, это бесполезное стояние и бесконечное ожидание изо дня в день без всякой надежды на перемену ломают человека, делают его нерешительным, и в конце концов он становится не способным ни на что другое, кроме безнадежного стояния на месте. Но почему ж с самого начала он не сопротивлялся? Ведь он очень скоро понял, насколько я была права и что никакого удовлетворения его честолюбию там не найти, хотя, быть может, ему и удастся принести пользу нашему семейству. Ведь там во всем — кроме причуд всякой челяди — царит большая скромность, там честолюбивый человек ищет удовлетворения только в работе, а так как тогда сама работа становится превыше всего, то всякое честолюбие пропадает — для детских мечтаний там места нет. Но Варнаве, как он мне рассказывал, казалось, что там он ясно увидел, как велика и власть, и мудрость даже

тех, собственно говоря, очень неважных чиновников, в чьих комнатах ему разрешалось бывать. Как они диктовали, быстро, полужакрыв глаза, отрывисто жестикулируя, как одним мановением пальца, без единого слова, рассылали ворчливых слуг, а те в такие минуты, тяжело дыша, все же радостно усмехались, или как один из чиновников, найдя важное место в книгах, хлопал по страницам ладонью, а все остальные сразу, насколько позволяло тесное помещение, сбегались и глазели, вытягивая шеи. И это, и многое другое создавало у Варнавы самое высокое мнение об этих людях, и он себе представил, что если вдруг они его заметят и ему удастся перекинуться с ними несколькими словами — уже не как постороннему, а как их сослуживцу по канцелярии, хоть и в самом низшем чине, — то для нашей семьи удастся достигнуть невиданных благ. Но покамест до этого еще не дошло, а сделать шаг, который приблизил бы его к чиновникам, Варнава не смеет, хотя ему уже совершенно ясно, что, несмотря на свою молодость, он из-за нашего несчастья занял в нашем доме ответственнейшее место отца семейства. А теперь хочу сделать тебе и последнее признание: неделю назад приехал ты. Я слышала, как в гостинице об этом кто-то упомянул, но не обратила внимания: приехал какой-то землемер, а я толком и не знала, что это такое. Но на следующий вечер Варнава пришел домой раньше, чем всегда — обычно я выходила ему навстречу в определенный час, — увидел в горнице Амалию и потому повел меня на улицу, а там вдруг прижался лицом к моему плечу и залился слезами. Он снова стал прежним мальчуганом. С ним случилось нечто такое, к чему он не был готов. Перед ним как будто открылся совсем новый мир, и ему не совладать с радостными заботами, которые несет с собой это открытие. А случилось только то, что ему дали письмо для передачи тебе. Но ведь это было первое письмо и вообще первая работа, которую он получил”.

Ольга замолчала. Было тихо, только слышалось тяжелое, иногда похожее на хрип, дыхание родителей. И К. сказал небрежно, словно подытоживая рассказ Ольги: “Все передо мной притворялись. Варнава принес мне письмо с видом опытного и очень занятого посыльного, а ты с Амалией — на этот раз она была с вами заодно, — вы обе сделали вид, что и обязанности посыльного, и передачу писем — все это он выполняет так, между прочим”. “Ты только не смешивай нас всех, — сказала Ольга. Варнаву эти два письма снова превратили в счастливого ребенка, несмотря на то что он до сих пор сомневается в своей работе. Но эти сомнения он высказывает только мне, перед тобой же он считает для себя делом чести выступать в роли настоящего посыльного, каким тот должен быть, по его представлениям. И хотя теперь у него и возросла надежда получить форму, мне пришлось за два часа так ушить ему брюки, чтобы они хоть немного походили на форменные штаны в обтяжку, в них он хотел показаться перед тобой — в этом отношении тебя нетрудно было обмануть. Это — про Варнаву. А про Амалию скажу, что она действительно презирает службу посыльного, и теперь, когда Варнава достиг какого-то успеха она легко могла бы об этом догадаться и по мне, и по Варнаве, и по нашим переживаниям в уголке, — теперь она презирает Варнаву еще больше прежнего. Значит, она тебе говорит правду, и ты не поддавайся заблуждению, тут сомневаться не надо. А вот если я, К., иногда при тебе пренебрежительно говорила про службу посыльного, так вовсе не для того, чтобы тебя обмануть, а только из страха. Ведь те два письма, что прошли до сих пор через руки Варнавы, и были за три года первым, хоть и очень сомни-

тельным указанием того, что над нашим семейством смилоствовались. Эта перемена — если только это и на самом деле перемена, а не ошибка, потому что ошибки бывают чаще, чем перемены, — связана с твоим появлением здесь, наша судьба попала в некоторую зависимость от тебя, быть может, эти два письма — только начало, и работа Варнавы выйдет далеко за пределы должности посыльного, обслуживающего одного тебя, пока можно будет на это надеяться, но сейчас все сосредоточивается только на тебе. Там, наверху, мы должны удовлетворяться тем, что нам дают, но тут, внизу, мы, может быть, и сами можем что-то сделать, а именно: обеспечить себе твое доброе отношение, или по крайней мере защититься от твоего недоброжелательства, или же, что самое важное, оберегать тебя, насколько хватит наших сил и возможностей, чтобы твоя связь с Замком, которая, быть может, и нас вернет к жизни, не пропала зря. Но как же все это выполнить лучше? Главное, чтобы ты не относился с подозрением, когда мы к тебе подходим, ведь ты тут чужой, а потому, конечно, тебя одолевают подозрения, и вполне оправданные подозрения. Кроме того, нас все презирают, а на тебя влияет мнение других, особенно мнение твоей невесты, — как же нам к тебе приблизиться без того, чтобы, например, не пойти, хоть и непреднамеренно, против твоей невесты и этим тебя не обидеть. А эти письма, которые я прочитывала до того, как ты их получал, — Варнава их не читал, он как посыльный себе этого не мог позволить, — эти письма на первый взгляд казались мне совсем неважными, устаревшими, они, собственно говоря, сами себя опровергали тем, что направляли тебя к старосте. Как же нам надо было держаться с тобой при таких обстоятельствах? Если подчеркивать важность этих писем, мы вызвали бы подозрение — зачем мы преувеличиваем такие пустяки и что, расхваливая тебе письма, мы, их передатчики, преследуем не твои цели, а свои, больше того, мы этим могли обесценить письма в твоих глазах и тем самым разочаровать тебя без всякого намерения. Если же мы не придали бы письмам никакой цены, мы тоже вызвали бы подозрение — зачем же тогда мы хлопочем о передаче этих ненужных посланий, почему наши дела противоречат нашим словам, зачем мы так обманываем не только тебя, адресата писем, но и тех, кто нам дал это поручение, а ведь не для того же они поручили нам передать письма, чтобы мы их при этом обесценили в глазах адресата. А найти середину между этими крайностями, то есть правильно оценить письма, вообще невозможно, они же непрестанно меняют свое значение, они дают повод для бесконечных размышлений, и на чем остановиться — неизвестно, все зависит от случайностей, значит, и мнение о них составляет случайно. А если тут еще станешь бояться за тебя, все запутывается окончательно, только ты не суди меня слишком строго за эти разговоры. Когда, к примеру, как это уже один раз случилось, Варнава приходит и сообщает, что ты недоволен его работой посыльного, а он, с перепугу и, к сожалению, не без оскорбленного самолюбия, предлагает, чтобы его освободили от этой должности, тут я, конечно, способна обманывать, лгать, передергивать — словом, поступать очень скверно, лишь бы помогло. Но тогда я поступаю так не только ради нас, но, по моему убеждению, и ради тебя”.

С улицы постучали. Ольга пошла к двери и отперла ее. Темноту прорезала полоса света от карманного фонаря. Поздний гость что-то спрашивал шепотом, и ему шепотом же отвечали, но он этим не удовлетворился и попытался было проникнуть в комнату. Очевидно, Ольга больше не могла

его удерживать и позвала Амалию, должно быть надеясь, что та, защищая покой родителей, пойдет на все, чтобы удалить посетителя. Да Амалия и сама уже спешила к выходу, отстранила Ольгу, вышла на улицу и захлопнула за собой дверь. Все это длилось один миг, она тотчас же вернулась, настолько быстро ей удалось добиться того, чего никак не могла сделать Ольга.

Тут К. узнал от Ольги, что посетитель приходил к нему, это был один из его помощников, который искал его по поручению Фриды. Ольга хотела скрыть от помощника, что К. у них: если К. захочет потом признаться Фриде, что побывал тут, пусть признается, но не надо, чтобы его тут застал помощник. К. одобрил ее. Но от предложения Ольги остаться у них ночевать и дожидаться Варнаву К. отказался; вообще-то он бы и принял это предложение, уже стояла глубокая ночь, и ему казалось, что теперь он волей-неволей настолько связан с этой семьей, что ночевка тут хоть и тягостна во многих отношениях, но при такой тесной связи была бы в Деревне самой подходящей для него, однако он отказался, его спугнул приход помощника; ему было непонятно, как это Фрида, зная, чего он хочет, и помощники, привыкшие его бояться, теперь снова стакнулись настолько, что Фрида не постеснялась послать за ним одного из помощников, очевидно оставшись с другим. К. спросил Ольгу, нет ли у нее кнута, но кнута у нее не было, зато нашлась хорошая розга, он взял ее, потом спросил, нет ли другого выхода из дома; в доме оказался второй выход с двора, только надо было потом перелезть через забор соседнего сада и через этот сад выйти на улицу. К. так и решил сделать. И пока Ольга провожала его через двор к забору, он торопливо пытался успокоить ее, объяснил, что вовсе на нее не сердится за все мелкие подтасовки и очень хорошо ее понимает, поблагодарил за доверие, проявленное к нему, она это доказала своим рассказом, поручил ей, как только вернется Варнава, будь это хоть поздней ночью, сразу прислать его в школу. И хотя сообщения, переданные Варнавой, далеко не единственная его надежда иначе ему пришлось бы туго, — но он ни в коем случае не хочет от них от казываться, но будет за них держаться и при этом не забудет и Ольгу, потому что важнее всех сообщений для него сама Ольга, ее храбрость и осмыслительность, ее ум, ее жертвенность по отношению к семье. И если бы ему пришлось выбирать между Ольгой и Амалией, он ни на миг не задумался бы. И К. еще раз сердечно пожал ей руку, перед тем как перемахнуть через соседский забор.

Очутившись наконец на улице, он увидел, насколько позволила пасмурная ночь, что неподалеку от дома Варнавы помощник все еще роживал взад и вперед, иногда он останавливался и пытался осветить фонарем комнату сквозь занавешенное окно. К. окликнул его, тот, по-видимому, не испугался, перестал подсматривать и подошел к К. "Ты кто ищешь?" — спросил К. и стегнул розгой по своей ноге, пробуя, хороши ли она гнется. "Тебя", — ответил помощник, подходя ближе. "А ты кто такой?" — вдруг спросил К., ему показалось, что это вовсе не его помощник. Этот человек казался старше, утомленнее, лицо морщинистое, но более полное, да и походка совсем не похожа на быструю, словно назло тризванной походку помощников, у этого походка была медлительная, и он слегка прихрамывал с благородно-расслабленным видом. "Разве ты меня не узнаешь? — сказал этот человек. — Я Иеремия, твой старый помощник". "Вот как? — сказал К. и немного вытянул из-за спины спрятанную было розгу. — Но у тебя совсем другой вид". "Это из-за того, что

я остался один, — сказал Иеремия. — Когда я один, тогда прощай и молодость и радость". "А где же Артур?" — спросил К. "Артур? — повторил Иеремия. — Наш любимчик? А он бросил службу. Ты ведь был довольно груб и жесток с нами. Его нежная душа не вынесла этого. Он вернулся в Замок и подал на тебя жалобу". "А ты?" — спросил К. "Я смог остаться, — сказал Иеремия. — Артур подал жалобу и за меня". "На что же вы жалуетесь?" — спросил К. "На то, — сказал Иеремия, — что ты шуток не понимаешь. А что мы сделали? Немножко шутили, немножко смеялись, немножко дразнили твою невесту. А вообще-то все делалось, как было велено. Когда Галатер послал нас к тебе..." "Галатер?" — переспросил К. "Да, Галатер, — сказал Иеремия. — Тогда он как раз замещал Кламма. Когда он нас к тебе посылал, он — и я это хорошо запомнил, потому что мы именно на это и ссылаемся, — он сказал: «Вы отправитесь туда в качестве помощников землемера». Мы сказали: «Но мы ничего не смыслим в этой работе». Он в ответ: «Это не самое важное, если понадобится, он вас натаскает. А самое важное, чтобы вы его немного развеселили. Как мне доложили, он все принимает слишком близко к сердцу. Он только недавно попал в Деревню и сразу решил, что это большое событие, хотя на самом деле все это ничего не значит. Вот что вы ему и должны внушить"». "Ну и что же? — сказал К. — Прав ли Галатер и выполнили ли вы его поручение?" "Этого я не знаю, — сказал Иеремия. — За такое короткое время это вряд ли было возможно. Знаю только, что ты был очень груб, на что мы и жалуемся. Не понимаю, как ты, тоже человек служащий, и притом даже не служащий Замка, не можешь понять, что такая служба, как наша, — трудная работа и что очень нехорошо с таким своеволием, почти по-мальчишески, затруднять людям работу, как ты ее затруднял нам. Как безжалостно ты заставил нас мерзнуть у ограды, а как ты Артура, человека, у которого от злого слова весь день болит душа, чуть не убил кулаком тогда, на матрасе, или как ты в сумерках гонял меня по снегу назад и вперед, так что я потом целый час не мог отдышаться. Я ведь не так уж молод". "Дорогой Иеремия, — сказал К., — ты во всем прав, только излагать все это надо не мне, а Галатеру. Он вас послал по своей воле, я вас у него не выпрашивал. А раз я вас не требовал, значит, я могу отправить вас обратно и охотнее сделал бы это мирным путем, чем силой, но вы явно на это не шли. Кстати, почему вы с самого начала, когда вы ко мне только что пришли, не поговорили со мной так же откровенно, как сейчас?" "Потому что я был на службе, — сказал Иеремия. — Это же само собой понятно". "А теперь ты больше не на службе?" "Теперь уже нет, — сказал Иеремия. — Артур оформил в Замке наш уход со службы, или по крайней мере там сейчас идет оформление, чтобы нас от этой должности освободили". "Но ты меня разыскиваешь, как будто ты еще у меня служишь?" — сказал К. "Нет, — сказал Иеремия. — Разыскиваю я тебя, только чтобы успокоить Фриду. Ведь, когда ты ее оставил ради сестры Варнавы, она почувствовала себя очень несчастной, не столько из-за потери, сколько из-за своего предательства; правда, она уже давно предвидела, что так случится, и очень из-за этого страдала. А я как раз подошел к окну школы посмотреть, не образумился ли ты наконец. Но тебя там не было, только Фрида сидела на парте и плакала. Тогда я зашел к ней, и мы договорились. Все уже сделано. Я теперь служу коридорным в гостинице, а Фрида опять там, в буфете. Для Фриды так лучше. Ей не было никакого смысла выходить за тебя замуж. Кроме того, ты не сумел оценить жертву, которую она тебе принесла. А теперь это доброе существо все еще иногда сомневается,

справедливо ли мы с тобой поступили, может быть, ты вовсе и не сидел с семейкой Варнавы. И хотя насчет того, где ты, никаких сомнений и быть не могло, я все же отправился сюда, чтобы подтвердить это раз и навсегда; потому что после всех волнений Фрида заслужила право наконец спокойно заснуть, да и я тоже. Вот я и пошел, и не только нашел тебя тут, но и увидел, что эти девчонки идут за тобой, как на поводке. Особенно та, чернявая, вот уж дикая кошка, до чего она за тебя заступалась! Что ж, у каждого свой вкус. Во всяком случае, тебе нечего было лезть в обход, через соседский сад, я тут все дороги хорошо знаю”.

21

Значит, все-таки случилось то, что можно было предвидеть, но нельзя было предотвратить. Фрида его бросила. А вдруг это не окончательно, может быть, дело обстоит не так скверно; Фриду надо было снова завоевать, правда, на нее легко влияли посторонние, особенно эти помощники, считавшие, что у них с Фридой положение одинаковое, и теперь, когда они отказались от службы, они и Фриду подбили уйти, но стоит К. только приблизиться к ней, напомнить ей обо всем, что говорило в его пользу, и она снова с раскаянием вернется к нему, особенно если он сможет оправдать свое пребывание у девушек тем, что они помогли ему достигнуть какого-то успеха. Но несмотря на все эти соображения, касавшиеся Фриды, которыми он пытался себя успокоить, он не успокаивался. Только что он хвалился перед Ольгой отношением Фриды к нему и называл ее своей единственной опорой, — оказывается, опора эта не из самых крепких, не нужно было вмешательства высших сил, чтобы отнять Фриду у К., достаточно было этого довольно неаппетитного помощника, этого куска мяса, который порой казался безжизненным.

Иеремия отошел было от К., но тот позвал его назад. ”Иеремия, сказал он, — я буду с тобой совершенно откровенен, но и ты честно ответь мне на один вопрос. Теперь мы с тобой уже не господин и слуга, и этим доволен не только ты, но и я, значит, у нас нет никаких оснований лгать друг другу. Вот у тебя на глазах я ломаю розгу, предназначенную для тебя, потому что пошел я через сад вовсе не из страха перед тобой, а чтобы застать тебя врасплох и вытянуть хорошенько этой розгой. Но ты на меня не обижайся, теперь этому конец, и если бы власти не навязали мне тебя в слуги, то мы с тобой наверняка поладили бы, хоть меня немножко раздражает твоя внешность. Теперь-то мы с тобой уже можем наверстать все, что упущено”. ”Ты так думаешь? — сказал помощник и с широким зевком прикрыл усталые глаза. — Я бы мог тебе подробнее объяснить, что случилось, но времени у меня нет, надо идти к Фриде, крошка меня ждет. Она еще не приступила к работе, я уговорил хозяина дать ей короткий отдых, она, видно, хотела сразу погрузиться в работу, чтобы тебя забыть, и теперь нам хочется хотя бы немного побыть вместе. Что же касается твоего предложения, то у меня, разумеется, нет ни малейших оснований лгать тебе, но еще меньше оснований тебе доверять. Пока я находился с тобой в служебных отношениях, ты, разумеется, был для меня важной персоной, не из-за твоих достоинств, а по долгу службы, и я охотно сделал бы для тебя все, чего бы ты ни захотел, но теперь ты мне безразличен. И то, что ты сломал розгу, меня тоже не трогает, только напоминает о том, какого грубияна мне дали в господя, но расположить меня к тебе таким

поведение никак не может". "Ты со мной разговариваешь, будто уверен, что тебе уже никогда не придется меня бояться. А ведь, в сущности, это не так. Должно быть, тебя еще не освободили от службы, тут так скоро решения не принимают". "А бывает, что и скорее", — сказал Иеремия. "Бывает, — сказал К. — Но пока нет никаких указаний, что в данном случае так оно и будет, во всяком случае, ни тебе, ни мне документа на руки не выдали. Значит, разбор дела только начался, а я еще не использовал свои связи и не вмешался, но непременно вмешаюсь, непременно. Если все обернется для тебя неудачно, значит, ты не особенно старался расположить хозяина в свою пользу, и, быть может, я вообще зря сломал розгу. Фриду ты, правда, увел, потому-то от важности и распушил перья, но при всем уважении к твоей особе — а я тебя уважаю, хоть ты меня и нет, — достаточно мне сказать два-три слова Фриде, я это отлично знаю, чтобы изничтожить всю ту ложь, которой ты ее опутал". "Эти угрозы меня ничуть не пугают, — сказал Иеремия, — ты же не хочешь, чтобы я был твоим помощником, ты боишься меня как помощника, да и вообще ты помощников боишься, только из страха ты побил доброго Артура" "Возможно, — сказал К. — А разве от этого ему было не так больно? Может статься, что я и свой страх перед тобой смогу выразить таким же образом, и не раз! Если только увижу, что тебе должность помощника не по нутру, так никакой страх не сможет испортить мне удовольствие заставить тебя насильно служить мне. Больше того, я приложу все усилия, чтобы заполучить одного тебя, без Артура, тогда я смогу уделять тебе больше внимания". "Неужели ты думаешь, — сказал Иеремия, — что я тебя хоть немножко боюсь?" "Да, думаю, что боишься, хоть немного, но боишься, а если ты умен, то очень боишься. Иначе почему ты сразу не пошел к Фриде? Скажи, ты ее любишь?" "Люблю? — переспросил Иеремия. — Она добрая, умная девочка, бывшая возлюбленная Кламма, значит, во всяком случае, заслуживает уважения. И если она меня непрестанно умоляет избавить ее от тебя, почему же не оказать ей эту услугу, тем более что и тебе я никакого вреда не приношу, ведь ты уже утешился с этими проклятыми варнавовскими девками". "Теперь мне ясна твоя трусость, — сказал К., — твоя малкая трусость. Вот такой ложью ты пытаешься меня опутать! Фрида просила меня только об одном — избавить ее от взбесившихся помощников, от этих похотливых кобелей, а у меня, к сожалению, времени не было выполнить ее просьбу, и вот что теперь вышло из-за моего упущения!"

"Господин землемер? Господин землемер! — закричал кто-то в переулке. Это был Варнава. Он подбежал задыхаясь, однако не забыл отдать К. поклон. — Мне все удалось!" "Что удалось? — спросил К. — Ты передал мою просьбу Кламму?" "Это-то не вышло, — сказал Варнава. — Я очень старался, но никакой возможности не было, хоть я и пробился вперёд, весь день стоял так близко к столу, что один писарь, которому я загораживал свет, даже оттолкнул меня, потом, хоть это и запрещено, я зашел о себе, и, когда Кламм взглянул, я поднял руку, потом задержался в канцелярии дольше всех, остался там один, со слугами, имел счастье сидеть, как вернулся Кламм, но оказалось, что вернулся он не из-за меня, он только хотел быстро справиться о чем-то в книге и тут же ушел; в конце концов, так как я не трогался с места, один слуга чуть ли не вывел меня из комнаты метлой. Все это я тебе рассказываю, чтобы ты видел, как я стараюсь, и не выражал недовольства". "Да что мне в твоих стараниях, Варнава, — сказал К., — если ты никакого успеха не добился?" "Но

я же добился успеха! — сказал Варнава. — Выхожу я из своей канцелярии — я называю ее своей канцелярией — и вдруг вижу, что из глубины коридора медленно выходит один господин, вокруг никого не было, время было позднее. Я решил подождать его, мне вообще хотелось там остаться, чтобы не сообщать тебе дурные вести. Да и так стоило подождать этого господина, ведь это был Эрлангер. Как, ты его не знаешь? Это один из первых секретарей Кламма. Тщедушный такой, маленький человек, немного хромает. Он меня сразу узнал, он славится своей памятью и знанием людей, ему стоит только наморщить лоб — и он сразу узнает любого, часто даже тех, кого он никогда не видел, только слышал или читал про них, меня, например, он вряд ли видел. Но хотя он и узнает сразу любого человека, он всегда спрашивает, будто не совсем уверен. "Ты, кажется, Варнава?" — сказал он мне. И тут же спросил: — Ты ведь знаешь землемера? — И потом сказал: — Это удачно, сейчас я еду в гостиницу. Пусть землемер зайдет туда ко мне. Я живу в номере пятнадцатом. Но пусть он явится сейчас же. У меня там кое-какие переговоры, а в пять часов утра я уже уеду обратно. Скажи ему, что мне очень нужно поговорить с ним".

Тут Иеремия внезапно пустился бежать. Варнава был настолько взволнован, что не обратил на него никакого внимания, но теперь спросил "Что ему надо?" "Хочет опередить меня у Эрлангера, — сказал К. и побежал за Иеремией, догнал его, схватил под руку и сказал: — Что, соскучился вдруг без Фриды? И я тоже, не меньше тебя, значит, пойдем вместе!"

У темной гостиницы стояла небольшая кучка людей, двое или трое держали фонари, так что можно было различить лица. К. узнал одного знакомого — возчика Герстекера. Герстекер встретил его вопросом "А ты все еще в Деревне?" "Да, — сказал К., — я приехал надолго". "А мы какое дело", — сказал Герстекер и, сильно закашлявшись, повернулся к остальным.

Выяснилось, что все ждут Эрлангера. Эрлангер уже приехал, но, прежде чем начать прием, совещался с Момом. Разговоры вертелись вокруг того, что в доме ждать воспрещалось и приходится стоять тут, в снегу. Правда, было не очень холодно, но все же заставлять людей стоять ночью часами перед домом было безжалостно. Впрочем, Эрлангер был в этом не виноват, он был, скорее, человек предупредительный, ничего не подозревал и наверняка рассердился бы, если бы ему об этом доложили. Вино вата была хозяйка гостиницы: в своем болезненном стремлении соблюсти порядок она не желала, чтобы столько просителей сразу наводнили ее дом. "Уж если непременно надо их принимать, — говаривала она, — так пусть они, бога ради, заходят по очереди". И она добилась того, что просителей, ждавших сначала просто в коридоре, потом на лестнице и, наконец, в буфете, в конце концов выдворили на улицу. Она и этим была недовольна. Ей было невыносимо, что в собственном доме ее непрерывно, как она выражалась, "осаждали". Она не понимала, зачем вообще принимают посетителей. "Чтобы пачкать лестницу", — как-то, очевидно с досады, ответил ей на этот вопрос один из чиновников, но этот ответ показался ей весьма вразумительным, и она охотно его повторяла. Она добивалась, чтобы напротив гостиницы построили здание, где могли бы ждать посетители, что вполне соответствовало и их желаниям. Больше всего она хотела, чтобы и прием и допросы проводились бы вне гостиницы, но на это возражали чиновники, а когда чиновники всерьез возражали, то хозяйке, ра-

меется, ничего добиться не удавалось, хотя в незначительных делах благодаря неустанной и все же по-женски мягкой настойчивости она для всех стала чем-то вроде домашнего тирана. Однако пока что хозяйке приходилось терпеть, чтобы и прием и допросы проходили у нее в гостинице, потому что господа из Замка отказывались покидать гостиницу и ходить в Деревню по служебным делам. Они всегда торопились, в Деревню ездили очень неохотно, и продлевать свое пребывание тут сверх необходимости у них ни малейшего желания не было, поэтому нельзя было с них требовать, чтобы они ради спокойствия в гостинице могли терять столько времени и со всеми своими бумагами переходить через улицу в какой-то другой дом. Охотнее всего чиновники занимались делами либо в буфете, либо у себя в номерах, по возможности за едой, а то и даже в постели, перед сном или проснувшись поутру, когда они от усталости не могли встать и хотели еще понежиться в кровати. Вместе с тем вопрос о постройке помещения для просителей близился к благоприятному разрешению, хотя — и над этим немного посмеивались — для хозяйки это превратилось в сплошное наказание, потому что именно дело о постройке такого помещения вызвало огромный приток посетителей и коридоры в гостинице никогда не пустовали.

Обо всем этом вполголоса беседовали ожидающие. К. обратил внимание на то, что, несмотря на значительное недовольство, никто не возражал против того, что Эрлангер вызвал к себе людей среди ночи. Он спросил почему, и ему объяснили, что, скорее, нужно поблагодарить Эрлангера за это. Исключительно его добрая воля и высокое понимание своего служебного долга подвигли его на приезд в Деревню; ведь он мог бы, если бы захотел — и возможно, что это даже больше соответствовало бы предписаниям, — он мог бы послать кого-нибудь из второстепенных секретарей, чтобы тот составил протоколы. Но Эрлангер по большей части отказывался от этого, он желал сам все слышать и видеть, для чего и жертвовал своим ночным временем, потому что в его служебном расписании время для поездок в Деревню предусмотрено не было. К. возразил, что ведь даже Кламм приезжает в Деревню днем и проводит тут по несколько дней; неужто Эрлангер, будучи только секретарем, более незаменим там, наверху, чем Кламм? Кто-то добродушно засмеялся на это, другие растерянно молчали, таких было большинство, и потому К. едва дождался ответа. Только один нерешительно сказал, что, конечно, Кламм незаменим, как в Замке, так и в Деревне.

Тут отворилась дверь, и между двумя слугами, несущими фонари, появился Мом. "Первыми к господину секретарю Эрлангеру будут пропущены Герстекер и К. Оба здесь?" Оба откликнулись, но перед ними в дом проскользнул Иеремия, бросив на ходу: "Я тут коридорный", на что Мом улыбнулся и хлопнул его по плечу. "Надо будет поостеречься Иеремию", — подумал К., сознавая при этом, что Иеремия, по всей вероятности, куда безвреднее, чем Артур, работающий против него в Замке. Возможно, что было бы даже разумнее терпеть от них мучения как от помощников, чем дать им расхаживать беспрепятственно и плести без помех свои интриги, к чему у них имеется явная склонность.

Когда К. подошел к Мому, тот сделал вид, что только сейчас узнал в нем землемера. "Ага, господин землемер! — сказал он. — Тот, что так не любит допросов, а сам рвется на допрос. Со мной в тот раз дело обстояло бы проще. Ну конечно, трудно выбрать, какой допрос лучше". И когда К. при его словах остановился, Мом сказал: "Идите, идите! Тогда мне ваши

ответы были нужны, а теперь нет". И все же К., взволнованный поведением Мома, сказал: "Вы только о себе и думаете. Только из-за того, что человек занимается какое-то служебное положение, я отвечать не собираюсь и не собираюсь". Мом на это сказал: "А о ком же нам думать, как не о себе? Кто тут еще есть? Ну, идите!" В прихожей их встретил слуга и повел по уже знакомой К. дороге через двор, потом в ворота, а оттуда в низкий, слегка покатый коридор. Очевидно, в верхних этажах жили только высшие чиновники, секретари же помещались в этом коридоре, и Эрлангер тоже, хотя он был одним из главных секретарей. Слуга потушил фонарь — тут было яркое электрическое освещение. Все вокруг было маленькое, но изысканное. Помещение использовали полностью. В коридоре едва можно было встать во весь рост. По бокам — двери, одна почти рядом с другой. Боковые перегородки не доходили до потолка, очевидно из соображений вентиляции, потому что в комнатках, размещенных тут, в подвале, вероятно, не было окон. Главный недостаток этих неполных перегородок был в том, что в коридоре, а вследствие этого и в комнатках, было очень беспокойно. Многие комнаты как будто были заняты, там по большей части еще не спали, слышались голоса, стук молотков, звон стаканов. Но впечатления особой веселости это не производило. Голоса звучали приглушенно, только изредка можно было разобрать слово-другое, да там, как видно, не беседовали, должно быть, кто-то диктовал или читал вслух, и как раз из тех комнат, откуда доносился звон стаканов и тарелок, не слышно было ни слова, а удары молотка напомнили К., что ему кто-то рассказывал, будто некоторые чиновники, чтобы отдохнуть от постоянного умственного напряжения, иногда столярничали, мастерили какие-то механизмы или что-нибудь в этом роде. В коридоре было пусто, лишь у одной из дверей сидел бледный, узкоплечий, высокий человек в шубе, из под которой выглядывало ночное белье; очевидно, ему стало душно в комнате, и он сел снаружи и стал читать газету, но читал невнимательно, позевывал, то и дело опускал газету и, подавшись вперед, смотрел в глубь коридора: может быть, он ждал запоздавшего посетителя, вызванного к нему. Проходя мимо него, слуга сказал Герстекеру про этого господина "Вон Пинцгаузр". Герстекер кивнул. "Давно он не бывал тут, внизу", сказал он. "Да, очень уж давно", — подтвердил слуга.

Наконец они подошли к двери, ничем не отличавшейся от всех остальных, но за которой, однако, как сказал слуга, жил сам Эрлангер. Слуга попросил К. поднять его на плечи и сквозь просвет над перегородкой заглянул в комнату. "Лежит, — сказал слуга, спустившись. — На постели лежит; правда, одетый, но мне кажется, что он дремлет. Тут, в Деревне, от перемены обстановки его иногда одолевает усталость. Придется нам подождать. Когда проснется, он позвонит. Конечно, случается и так, что не в время своего пребывания в Деревне он спит, а проснувшись, должен тотчас же уезжать в Замок. Ведь он сюда приезжает работать по доброй воле" "Лучше бы ему и сейчас проспаться до отъезда, — сказал Герстекер, — а если у него после сна остается мало времени для работы, он бывает очень недоволен, что заспался, и уж тут старается все доделать как можно скорее, так что с ним и поговорить не удастся". "А вы пришли насчет ревозок для стройки?" — спросил слуга. Герстекер кивнул, отвел слугу в сторону и что-то тихо стал ему говорить, но слуга почти не слышал, смотрел поверх Герстекера — он был больше чем на голову выше его и медленно поглаживал себя по волосам.

Бесцельно озираясь вокруг, К. внезапно увидал в конце коридора Фриду; она сделала вид, что не узнает его, и только тупо уставилась ему в лицо: в руках у нее был поднос с пустой посудой. К. сказал слуге, не обращающему на него внимания — чем больше с ним говорили, тем рассеянее он становился, — что сейчас же вернется, и побежал к Фриде. Добежав до нее, он схватил ее за плечи, словно утверждая свою власть над ней, и задал ей какой-то пустячный вопрос, настойчиво заглядывая ей в глаза, словно ища ответа. Но она оставалась все в том же напряженном состоянии, только рассеянно переставила посуду на подносе и сказала: "Чего ты от меня хочешь? Уходи к ним, к тем — ну ты сам знаешь, как их звать. Ты же только что от них, я по тебе вижу". К. сразу перевел разговор, он не хотел так, сразу пускаться в объяснения и начинать с самой неприятной, самой невыгодной для него темы. "А я думал, ты в буфете", — сказал он. Фрида посмотрела на него с удивлением и вдруг мягко провела свободной рукой по его лбу и щеке. Казалось, она забыла, как он выглядит, и снова хотела ощутить его присутствие, да и в ее затуманенном взгляде чувствовалось напряженное старание припомнить его. "Меня снова приняли на работу в буфет, — медленно сказала она, словно то, что она говорила, никакого значения не имело, а за этими словами она вела какой-то другой разговор с К. о самом важном. — Тут работа для меня неподходящая, ее любая может выполнять: если девушка умеет заправлять постели да делать любезное лицо, не чураться приставаний гостей, а, напротив, получать от этого удовольствие — такая всегда может стать горничной. А вот в буфете работать — другое дело. Да меня теперь сразу приняли на работу в буфет, хотя я в тот раз и не совсем достойно ушла оттуда, правда, за меня попросили. Но хозяин обрадовался, что за меня просили, и ему легко было принять меня снова. Вышло даже так, что ему пришлось уговаривать меня вернуться, и, если ты вспомнишь, о чем оно мне напоминает, ты все поймешь. В конце концов я это место приняла. А здесь я пока что только помогаю. Пеппи очень просила не опозорить ее, не заставляя сразу уходить из буфета, и, так как она работала усердно и делала все, на что хватало ее способностей, мы дали ей двадцать четыре часа отсрочки". "Хорошо же вы все устроили, — сказал К. — Сначала ты из-за меня ушла из буфета, а теперь, перед самой нашей свадьбой, ты опять туда возвращаешься". "Свадьбы не будет", — сказала Фрида. "Из-за того, что я тебе изменил? — спросил К., и Фрида кивнула. — Послушай, Фрида, — сказал К., — об этой предполагаемой измене мы уже говорили не раз, и тебе всегда приходилось в конце концов соглашаться, что это несправедливое подозрение. Но ведь до сих пор с моей стороны ничего не изменилось, все осталось таким же безобидным, как и было, и никогда ничего измениться не может. Значит, изменилось что-то с твоей стороны, то ли кто-то тебе наклепал на меня, то ли еще из-за чего-то. Во всяком случае, ты ко мне несправедлива. Сама подумай: как обстоит дело с этими двумя девушками? Та, смуглая, — право, мне стыдно, что приходится их так выгораживать поодиночке, — так вот, эта смуглая мне, наверно, так же неприятна, как и тебе. Я стараюсь держаться с ней поосторожнее, впрочем, она в этом идет мне навстречу, трудно быть скромнее, чем она". "Ну да! — воскликнула Фрида, казалось, что слова вырвались у нее против воли, и К. обрадовался, что она не сдержалась и вела себя не так, как хотела. — Можешь считать ее скромной, самую бесстыжую из всех называть скром-

ной, и ты так и думаешь на самом деле, я знаю, ты не притворяешься. Хозяйка трактира "У моста" так про тебя и сказала: «Терпеть его не могу, но и оставить на произвол судьбы не могу, ведь, когда видишь ребенка, который еще почти ходить не умеет, а сам бросается вперед, нельзя удержаться, непременно вмешаешься!»" "На этот раз послушайся ее, — сказал К., улыбнувшись, — но что касается той девушки — скромная она или бесстыжая, — давай забудем про нее, не будем думать, я ее и знать не хочу". "Но зачем же ты называешь ее скромной? — упрямо спросила Фрида, и К. счел этот интерес благоприятным для себя. — Ты на себе это испробовал или хочешь, чтобы другие опустили до этого?" "Ни то ни другое, — сказал К., — я называю ее так из благодарности, потому что она мне облегчает задачу не замечать ее, и еще оттого, что, если бы она со мной заигрывала, мне трудно было бы заставить себя еще раз пойти к ним, а это было бы для меня большой потерей, потому что бывать там мне необходимо ради нашего с тобой будущего, и ты это сама знаешь. Потому мне приходится разговаривать и с другой сестрой, и хотя я ее очень уважаю за ее усердие, чуткость и бескорыстие, но сказать, что она соблазнительна, никто не скажет". "А вот слуги другого мнения, чем ты", — сказала Фрида. "И в этом, и, наверное, во многом другом, — сказал К. — Так неужели похотливость этих слуг наводит тебя на мысль о моей неверности?" Фрида промолчала и позволила, чтобы К. взял поднос у нее из рук, поставил на пол и, подхватив ее под руку, медленно зашагал с ней взад и вперед по тесному помещению. "Ты не знаешь, что такое верность, — сказала она, слегка отстраняясь от него, — твое отношение к этим девушкам вовсе не самое важное, но то, что ты вообще бываешь в этой семье и возвращаешься оттуда весь пропахший запахом их жилья, — вот что для меня невыносимый позор. И еще ты убежал из школы, не сказав ни слова, и пробыл у них полночи. А когда за тобой приходят, так ты позволяешь этим девицам отрицать, что ты у них, да еще так настойчиво отрицать! Особенно эта твоя несравненная скромница. Крадешься потайным путем из их дома, может быть даже, чтобы спасти их репутацию, репутацию таких девиц! Нет, давай лучше не будем говорить об этом!" "Об этом не будем, — сказал К. — А вот о другом, Фрида, будем. Об этом и говорить-то нечего! Зачем я туда хожу, ты сама знаешь. Мне это нелегко, но я себя пересиливаю. А ты не должна бы затруднять мне это еще больше. Сегодня я думал только на минуту зайти — спросить, не пришел ли наконец Варнава, ведь он давным-давно должен был принести мне важное известие. Он еще не пришел, но, как меня уверили, должен был скоро появиться. Заставляю его идти за мной в школу я не хотел, боялся, что его присутствие тебе помешает. Время шло, а его, к сожалению, все не было. Зато пришел другой, ненавистный мне человек. Позволить ему шпионить за мной у меня никакой охоты не было, потому я и перебрался через соседний сад, но и прятаться от него я не собирался, а пошел по улице ему навстречу не только открыто, но, должен сознаться, и с довольно внушительной розгой в руках. Вот и все, и говорить об этом больше нечего, зато о другом поговорить надо. Как насчет моих помощников, о которых мне упоминать тебе противно, как тебе — о том семействе? Сравни свое отношение к ним с тем, как я веду себя с этой семьей. Я понимаю твоё отвращение к этой семье и могу его разделять. Но я к ним хожу только по делу, мне иногда даже кажется, что я нехорошо поступаю, эксплуатирую их. А ты и эти помощники! Ты и не отрицала, что они к тебе пристают, ты призналась, что тебя к ним тянет. Я на тебя не рассердился, я понял, что тут действуи

такие силы, с которыми тебе не справиться, я радовался, что ты хотя бы сопротивляешься им, помогал тебе защищаться, и вот только из-за того, что я на несколько часов ослабил внимание, доверяя твоей верности и, конечно, надеясь, что дом заперт накрепко, а помощники окончательно выгнаны — боюсь, что я их недооценил! — только из-за того, что я ослабил внимание, а этот Иеремия, оказавшийся при ближайшем рассмотрении не очень крепким и уже немолодым малым, осмелился заглянуть в окно, — теперь только из-за этого я должен потерять тебя, Фрида, и вместо приветствия услышать от тебя: "Свадьбы не будет"! Не я ли должен был бы упрекать тебя, а ведь я тебя не упрекал и не упрекаю!" Тут К. снова показало, что надо отвлечь Фриду, и он попросил ее принести ему поесть, потому что он с обеда ничего не ел. Фрида, явно обрадованная просьбой, кивнула и побежала за чем-то, но не по коридору, где, как показалось К., была кухня, а в сторону, вниз, по двум ступенькам. Вскоре она принесла тарелку с нарезанной колбасой и бутылку вина, это были явно остатки чьего-то ужина: чтобы скрыть это, куски были наспех заново разложены по тарелке, но шкурки от колбасы остались небранными, а бутылка была на три четверти опорожнена. Но К. ничего не сказал и с аппетитом принялся за еду. "Ты ходила на кухню?" — спросил он. "Нет, в мою комнату, — ответила она, — у меня тут, внизу, комната". "Ты бы взяла меня с собой, — сказал К. — Давай я туда спущусь, присяду поесть". "Я тебе принесу стул", — сказала Фрида и пошла было прочь. "Спасибо, — сказал К., удерживая ее, — вниз я не пойду, и стул мне тоже не нужен". Фрида нехотя подчинилась, когда он ее удержал, и, низко склонив голову, кусала губы. "Ну да, он внизу, — сказала она, — а ты чего ждал? Он лежит в моей постели, его на улице прохватило, он простудился, почти ничего не ел. В бушности, ты во всем виноват: если бы ты не прогнал помощников и не побежал к тем людям, мы бы теперь мирно сидели в школе. Неужели ты думаешь, что Иеремия посмел бы увести меня, пока он был у тебя на службе? Значит, ты совершенно не понимаешь здешних порядков. Он тянулся ко мне, он мучился, он меня подстерегал, но ведь это была только игра, так играет голодный пес, но на стол прыгнуть не смеет. И со мной было то же. Меня к нему влекло, он же мой друг детства, мы вместе играли на склоне замковой горы, чудесное было время, ты ведь никогда не спрашивал меня о моем прошлом. Но все это ничего не значило, пока Иеремия был связан службой, а я знала свои обязанности как будущая твоя жена. А потом ты выгнал помощников, да еще гордился этим, словно делал что-то для меня; что ж, в каком-то отношении это верно. С Артуром ты чего-то добился, но только на время, он такой деликатный, нет в нем страсти, не знающей преград, как в Иеремии, к тому же ты чуть не убил его ударом кулака в ту ночь, но удар этот пришелся и по нашему с тобой счастью, почти сокрушил его! Артур убежал в Замок жаловаться, и, хотя он скоро вернется, сейчас его тут нет. Но Иеремия остался. На службе он боится, если хозяин хоть бровью поведет, а вне службы он ничего не боится. Он пришел и увел меня; ты меня бросил, а он, мой старый друг, мной распорядился, и я не могла сопротивляться. Я не отпирала двери школы, а он разбил окно и вытащил меня. Мы убежали сюда, хозяин его уважает, да и гостям ничего лучшего желать не надо, как заполучить такого коридорного, нас с ним и приняли, он не со мной живет, просто у нас комната общая". "И все-таки, — сказал К., — я не жалею, что прогнал помощников. Если ваши взаимоотношения и впрямь были такими, как ты их описываешь, и твоя верность определялась только служебной зависи-

мостью помощников, то слава богу, что все это кончилось. Не очень-то счастливым был бы брак в присутствии двух хищников, которые только под хлыстом и смирялись. Тогда я должен благодарить и ту семью, которая ненароком помогла нас разлучить". Они замолчали и снова зашагали вместе взад и вперед, и трудно было разобраться, кто первым сделал шаг. Фрида шла близко к К. и явно была недовольна, что он не берет ее под руку. "Значит, все как будто в порядке, — продолжал К., — и мы, пожалуй, могли бы распрощаться, ты пошла бы к своему господину Иеремии, он, видно, простыл еще в тот раз, как я его гнал через школьный сад, а теперь ты его и так слишком надолго оставила в одиночестве, а я могу отправить один в школу или, так как мне там без тебя делать нечего, еще куда-нибудь, где меня примут. И если я, несмотря на все, еще колеблюсь, то исключительно оттого, что я, не без оснований, все еще немного сомневаюсь в том, что ты мне тут наговорила. На меня Иеремия произвел совсем другое впечатление. Пока он у меня служил, он от тебя не отставал, и я думаю, чтобы служба могла надолго удержать его от приставаний к тебе. Но теперь, когда он считает службу оконченной, все обернулось по-другому. Прости, если я себе представляю дело так: с тех пор как ты перестала быть невестой его хозяина, ты уже не так соблазнительна для него, как раньше. Возможно, что вы с ним и друзья детства, но для него — хотя я знаю его только по короткому разговору сегодня вечером, — для него все эти нежные чувства мало чего стоят. Не понимаю, почему тебе кажется, что у него страстная натура. Наоборот, мне он показался особенно хладнокровным. Очевидно, он получил от Галатера какое-то, может быть, не особенно лестное для меня, поручение и старается выполнить его усердно и ревностно, это я должен признать, да, тут такое усердие встречается не редко, причем ему, видно, было поручено и разлучить нас с тобой; как видно, он пытался этого добиться разными способами, и один из них соблазнить тебя своими похотливыми ужимками, другой — тут его поддерживала хозяйка трактира — наговаривать тебе про мою измену, и эти попытки удались; может быть, тут помогло и то, что с ним связано какое-то напоминание о Кламме; правда, свою должность он потерял, именно в тот момент, когда она, возможно, уже ему была не нужна, теперь он пожинает плоды своих стараний и вытаскивает тебя из окна школы, но на этом его деятельность и кончается; лишенный служебного звания, он устает, ему бы хотелось быть на месте Артура — ведь тот вообще не жаловаться пошел, а добиваться себе похвал и новых поручений, однако кому-то надо остаться тут и проследить за дальнейшим ходом событий. Его только немного угнетает необходимость заботиться о тебе. Любви к тебе тут и следа нет, в этом он мне откровенно сознался. Как возлюбленная Кламмы ты ему, разумеется, внушаешь почтение, и ему, конечно, очень приятно угнездиться в твоей комнате и хоть ненадолго почувствовать себя таким маленьким Кламмом, но это — все, а ты сама для него уже ничего не значишь, и то, что он тебя тут пристроил, — это лишь дополнение к главному его заданию; а чтобы ты не беспокоилась, он и сам тут остался, но только временно, пока не придут новые указания из Замка". "Как ты клеветашь на него!" — сказала Фрида и стукнула своим маленьким кулачком по кулачку. "Клеветашь? — сказал К. — Нет, я вовсе не хочу клеветать на него. Да, может быть, я к нему несправедлив, это, конечно, возможно. И все, что я о нем сказал, тоже, конечно, не так уж ясно с первого взгляда, и толковать это можно по-всякому. Но клеветать? Клеветать можно было бы только с одной целью — бороться с тобой

любовью к нему. Если бы это было нужно и если бы клевета оказалась подходящим средством, я бы ничуть не поколебался оклеветать его, и никто меня не осудил бы за это, потому что благодаря его хозяевам у него столько преимуществ передо мной, что я, полностью предоставленный самому себе, имел бы право возвести на него какой-нибудь поклеп. Это было бы сравнительно невинным и в конечном итоге бессильным средством защиты. Так что убери свои кулачки!" И К. взял руку Фриды в свою руку. Фрида хотела было отнять ее, но улыбнулась и особых усилий не приложила. "Нет, клеветать мне не придется, — сказал К., — потому что ты его вовсе не любишь, только что-то воображаешь и будешь мне благодарна, если я тебя освобожу от такого заблуждения. Ты пойми: если кому-нибудь надо было разлучить тебя со мной, и не силой, а планомерно и расчетливо, то он непременно должен был сделать это через моих помощников. Они такие с виду добрые, ребячливые, веселые, безответственные, да еще с ними связаны воспоминания детства, все это так мило, особенно когда я — полная им противоположность — вечно бегаю по делам, которые тебе не очень понятны и тебя раздражают, да еще сводят меня с людьми, тебе ненавистными, и при всей моей невинности что-то от этой ненависти переходит и на меня. И в результате получается, что зло и довольно хитро использованы изъяны в наших с тобой отношениях. Все взаимоотношения имеют свои недостатки, а наши в особенности, мы ведь с тобой пришли каждый из своего, совсем непохожего мира, и, с тех пор как познакомились, жизнь каждого из нас пошла совсем другим путем, мы еще чувствуем себя неуверенно, слишком все это ново. Я не о себе говорю — это не важно, в основном с тех пор, как ты остановила на мне свой взгляд, ты все время одаряешь меня, а привыкнуть принимать дары не так уж трудно. Тебя оторвали от Кламма — от всего другого я отвлекаюсь, — мне трудно оценить, что это для тебя значит, но какое-то представление я все же постепенно себе составил. Ты спотыкаешься на каждом шагу, не находишь себе места, и хотя я всегда готов поддержать тебя, но ведь не всегда я оказываюсь под рукой, и, даже когда я тут, тебя держат в плену твои фантазии, а иногда и кто-то живой, например хозяйка трактира; короче говоря, бывали минуты, когда ты смотрела не на меня, а куда-то в сторону, тянулась, бедное дитя, к чему-то неясному, неопределенному, и стоило только в такие минуты поставить подходящих людей там, куда был направлен твой взгляд, и ты им покорялась, поддавалась наваждению, будто эти мимолетные мгновенья, призраки, старые воспоминания — словом, вся безвозвратно ушедшая и все более уходящая вдаль прошлая жизнь еще является твоей настоящей, теперешней жизнью. Нет, Фрида, это ошибка, это последняя и, если судить правильно, ничтожная помеха перед окончательным нашим соединением. Вернись ко мне, возьми себя в руки, если ты даже думала, что помощников послал Кламм — хотя это неправда, их направил Галатер, — и если даже они пытались тебя околдовать таким обманом настолько, что тебе даже и в их грязи, в их гадостях мерещится Кламм, как иногда человеку кажется, что он видит в навозной куче потерянный бриллиант, в то время как он его никогда не мог бы найти, даже если бы камень там был, — но ведь они простые парни, вроде слуг на конюшне, только вот у них здоровья нет, от любого воздуха сразу заболевают, валятся в постель, а уж подходящую постель они себе находят немедленно, — лакейские хитрости!" Фрида положила голову на плечо К., и, обнявшись, они снова молчаливо зашагали взад и вперед. "Вот если бы мы, — сказала Фрида медленно, почти уми-

ротворенно, словно зная, что ей ненадолго уделена эта минута покоя на плече у К., но она хочет насладиться этой минутой сполна, — вот если бы мы с тобой сразу, в ту же ночь, уехали, мы бы могли жить где-нибудь в безопасности и рука твоя была бы всегда тут, взять ее можно было бы всегда. Как мне нужна твоя близость, как с тех пор, что я тебя знаю, мне одиноко без твоей близости; да, твоя близость — единственное, о чем я мечтаю, поверь мне, единственное". Вдруг в боковом коридорчике послышался голос, это был Иеремия, он стоял на нижней ступеньке в одной рубашке, закутавшись в платок Фриды. Растрепанный, с мокрой, будто от дождя, бороденкой, вытаращив с мольбой и упреком глаза, с раскрасневшимися щеками, рыхлыми, как расплывающееся мясо, с голыми ногами, дрожащими так, что тряслась бахрома платка, он был похож на больного, удравшего из госпиталя, и тут уж ни о чем нельзя было думать, только бы поскорее уложить его снова в постель. Фрида так это и восприняла, высвободилась из рук К. и тут же очутилась внизу, около Иеремии. От ее близости, от заботливости, с какой она крепче закутала его в платок, от того, как она торопливо пыталась заставить его вернуться в комнату, у него сразу прибавилось сил; казалось, что он только сейчас узнал К. "Ага, господин землемер! — сказал он и умиротворяюще погладил по щеке Фриду, которая явно не хотела допустить никаких разговоров. — Извините, если помешал. Но я очень нездоров, так что мне простительно. Кажется, у меня жар, меня надо напоить чаем, чтобы я пропотел. Проклятая решетка у школьного сада, никогда ее не забуду, а потом, уже простуженным, я еще ночью набегался. Жертвуешь своим здоровьем, сам не замечая, да еще ради самых нестоящих дел. Но вы, господин землемер, не стесняйтесь меня, пойдете к нам в комнату, посидите около больного и скажите Фриде все, чего еще сказать не успели. Когда двое привыкших друг к другу людей расходятся, им в последние минуты столько надо сказать друг другу, что третий, особенно если он лежит в постели и ждет обещанного чая, даже и понять ничего не может. Заходите, я буду лежать тихо". "Хватит, хватит, — сказала Фрида и потянула его за руку. — Он в жару, сам не понимает, что говорит. Но ты, К., не ходи за нами, очень тебя прошу. Это комната моя и Иеремии, вернее, только моя, и я тебе запрещаю входить туда с нами. Ты меня преследуешь, ах, К., зачем ты меня преследуешь? Никогда, никогда я к тебе не вернусь, я вся дрожу, как только подумаю, что это возможно. Иди к своим девицам, они сидят около тебя в одних рубашках, мне все рассказали, а когда за тобой приходят, они шипят. Видно, ты у них как дома, раз тебя туда так тянет. А я тебя всегда удерживала от них, хоть и безуспешно, но все же удерживала, теперь все кончено, ты свободен. Чуждая жизнь тебя там ждет; может быть, из-за одной из них тебе и придется немного побороться со слугами, но что касается второй, то ни на земле, ни на небе не найдется никого, кто станет ее отбивать. Ваш союз благословлен заранее. Не отрицай ничего, я знаю, ты можешь все опровергнуть, но в конце концов ничего не будет опровергнуто. Ты подумай, Иеремия, он все опровергает!" Они понимающе кивнули и улыбнулись друг другу. "Однако, — продолжала Фрида, — даже если все было бы опровергнуто, чего бы ты этим достиг, мне-то что из этого? Что у них там происходит, это их и его дело, но не мое. Мое дело ухаживать за тобой, пока ты не поправишься; станешь здоровым, таким, каким ты был, пока К. из-за меня не возьмется тебя мучить". "Значит, вы и вправду с нами не пойдете, господин землемер?" — спросил Иеремия, и тут Фрида, уже не оборачиваясь на К., окончательно увела его прочь. Вни-

зу виднелась маленькая дверца, еще более низкая, чем двери в коридоре, — не только Иеремии, но и Фриде пришлось нагнуться при входе, — внутри, как видно, было тепло и светло; слышался шепот, наверно Иеремию ласково уговаривали лечь в постель, потом дверь захлопнулась.

23

Только сейчас К. заметил, как тихо стало в коридоре, и не только в той части, где он был с Фридой, — эта часть, очевидно, относилась к хозяйственным помещениям, — но и в том длинном коридоре, где помещались комнаты, в которых раньше так шумели. Значит, господа наконец-то заснули. И К. тоже очень устал, и возможно, что он от усталости не боролся с Иеремией так, как следовало. Может, было бы умнее взять пример с Иеремии, явно преувеличившего свою простуду — а вид у него был жалкий вовсе не от простуды, он отроду такой, и никакими целебными настойками его не изменишь, — да, надо бы взять пример с Иеремии, выставить напоказ свою действительно ужасающую усталость, улечься тут же в коридоре, что и само по себе было бы приятно, немножко вздремнуть, глядишь, тогда за тобой немножко и поухаживали бы. Только вряд ли у него все это вышло бы так удачно, как у Иеремии, тот, наверно, победил бы в борьбе за сочувствие, да и в любой другой борьбе тоже. К. устал так, что подумал: уж не попробовать ли ему забраться в одну из комнат — наверняка многие из них пустуют — и там выспаться как следует на хорошей постели. Это было бы воздаянием за многое, подумал он. Да и питье на ночь было у него под рукой. На подносе с посудой, который Фрида оставила на полу, стоял небольшой графинчик с ромом. Не опасаясь, что возвращаться отсюда будет трудно, К. выпил графинчик до дна.

Теперь он по крайней мере чувствовал себя в силах предстать перед Эрлангером. Он стал искать дверь в комнату Эрлангера, но так как ни слуг, ни Герстекера нигде не было, а двери походили одна на другую, то найти нужную дверь не удалось. Но ему казалось, что он запомнил, в каком месте коридора была та дверь, и решил открыть одну из комнат, которая, по его мнению, могла оказаться именно той, какую он искал. Ни малейшей опасности в этой попытке не было; если Эрлангер окажется в комнате, то он его примет, а если комната не та, можно будет извиниться и уйти, а если хозяин спит, что было самым вероятным, то он и не заметит прихода К.; хуже всего будет, только если комната окажется пустой, потому что тогда К. едва ли удержится от искушения лечь в постель и спать без просыпу. Он посмотрел направо и налево по коридору, не идет ли кто, у кого можно получить сведения, чтобы зря не рисковать, но в длинном коридоре было пусто и тихо. К. приложил ухо к двери: в комнате никого не было. Он постучал так тихо, что спящего стук не разбудил бы, а когда никакого ответа не последовало, он очень осторожно отворил дверь. И тут его встретил легкий вскрик.

Комната была маленькая, и больше чем половину ее занимала огромная кровать, на ночном столике горела электрическая лампа, рядом лежал дорожный саквояж. В кровати, укрывшись с головой, кто-то беспокойно зашевелился, и из-под одеяла и простыни слышался шепот: "Кто тут?" Теперь К. уже не мог так просто уйти, с недовольством поглядел он

на пышную, но, к сожалению, не пустующую постель, вспомнил вопрос и назвал свое имя. Это подействовало благоприятно, и человек в кровати немножко отодвинул одеяло с лица, готовый в испуге снова спрятаться под одеяло, если окажется что-то не так. Но тут же, не раздумывая, он совсем откинул одеяло и сел. Конечно, это был не Эрлангер. В кровати сидел маленький, благообразный господинчик, лицо которого было как бы противоречивым, потому что щечки у него были по-детски округлые, глаза по-детски веселые, но зато высокий лоб, острый нос, и узкий рот с едва заметными губами, и почти срезанный подбородок выглядели совсем не детскими и говорили о напряженной работе мысли. Очевидно, довольство самим собой и придавало ему налет какой-то ребячливости. "Вы знаете Фридриха? — спросил он, но К. ответил отрицательно. — А вот он вас знает", — сказал господин, усмехнувшись. К. кивнул: людей, которые его знали, было предостаточно, это являлось даже главной помехой на его пути. "Я его секретарь, — сказал господин. — Моя фамилия Бюргель". "Извините, пожалуйста, — сказал К. и взялся за ручку двери, — к сожалению, я спутал вашу дверь с другой. Видите ли, меня вызывал секретарь Эрлангера". "Как жаль, — сказал Бюргель, — не то жаль, что вас вызвали к другому, а жаль, что вы двери перепутали. Дело в том, что мне никак не заснуть, если меня разбудят. Впрочем, пусть это вас не очень огорчает, это мое личное горе. А знаете, почему тут двери не запираются? Тому есть свои причины. Потому что, согласно старой поговорке, двери секретарей всегда должны быть открыты. Но буквально это понимать вовсе не следует, не правда ли?" И Бюргель вопросительно посмотрел на К. и весело улыбаясь: несмотря на жалобы, он, как видно, уже отлично отдохнул; а до такой степени, как сейчас устал К., этот Бюргель, наверно, не оставал никогда. "Куда же вы теперь хотите идти? — спросил Бюргель. — Уже четыре часа. Вам придется будить каждого, к кому вы зайдете, но не каждый, как я, привык к помехам, не каждый так мирно к этому отнесется, секретари — народ нервный. Посидите тут немножко. Часам к пяти все уже начинают вставать, тогда вам будет удобнее пойти к тому, кто вас вызвал. Так что, прошу вас, выпустите наконец дверную ручку и сядьте куда-нибудь, правда, тут тесновато, вам лучше всего сесть на край кровати. Вы удивляетесь, что у меня ни стола, ни стульев нет? Видите ли, передо мной стоял выбор — то ли взять комнату с полной обстановкой, но с узенькой гостиничной кроватью, то ли эту — с большой кроватью и одним только умывальником. Я выбрал большую кровать, ведь в спальне кричать — самое главное! Эх, какая великолепная штука, эта кровать, для человека, который может вытянуться как следует и заснуть, для того, у кого сон крепкий. Но даже мне, хотя я всегда чувствую усталость, а спать не могу, даже мне тут приятно, я почти весь день провожу в кровати, тут и корреспонденцию веду, тут и посетителей слушаю. И это очень удобно. Правда, посетителям сесть некуда, но они на это не обижаются, для них же лучше, если они стоят, а протоколист устроился поудобнее, чем если они удобно рассядутся, а на них будут шипеть. Потом, я еще могу кого-нибудь усадить на край постели, но это место не для служебных дел, тут только ночные переговоры ведутся. Что же вы так притихли, господин землемер?" "Я очень устал", — сказал К., который сразу после приглашения сесть бесцеремонно плюхнулся на кровать и прислонился к спинке. "Понятно, — сказал Бюргель с усмешкой, — тут все устало. Например, взять меня, я и вчера и сегодня провел немалую работу. При этом совершенно исключено, что я сейчас усну. Но если уж случится такая нево-

роятная вещь, то попрошу вас, сидите тихо и не открывайте дверей. Но не бойтесь, я, наверно, не усну, в лучшем случае задремлю на минуту. Хотя я настолько привык к приему посетителей, что легче всего засыпаю, когда тут у меня сидят". "Спите, пожалуйста, господин секретарь! — сказал К., обрадованный этим заявлением. — И если разрешите, я тоже немного вздремну". "Нет-нет, — засмеялся Бюргель, — к сожалению, я не могу уснуть просто по вашему приглашению, только по ходу разговора может вдруг представиться такая возможность, меня легче всего усыпляет разговор. Да, в нашем деле нервы здорово страдают. Я, например, секретарь связи. Вы, наверно, не знаете, что это такое? Так вот, я являюсь самой прочной связью, — тут он невольно потер руки от удовольствия, — между Фридрихом и Деревней, я осуществляю связь между его секретарями в Замке и в Деревне, нахожусь по большей части в Деревне, но не постоянно, каждую минуту я должен быть наготове, чтобы вернуться в Замок. Вот видите, вон мой дорожный саквояж, жизнь у меня беспокойная, не каждому выдержать. С другой стороны, верно и то, что я без этой работы жить бы не смог, всякая другая работа мне показалась бы мелкой. А как с вашими землемерными работами?" "Я ими не занимаюсь, тут меня как землемера не используют", — сказал К., но сейчас его мысли были далеко от дел, он жаждал только одного — чтобы Бюргель заснул, но и этого ему хотелось только из какого-то чувства долга перед самим собой, в душе он сознавал, что момент, когда Бюргель уснет, неизмеримо далеко. "Странно, — сказал Бюргель, живо вскинув голову, и вытащил из-под одеяла записную книжку для каких-то отметок. — Вы землемер, а землемерных работ не производите". К. машинально кивнул: он вытянул вдоль спинки кровати левую руку и оперся на нее головой, он все время искал, как бы сесть поудобнее, и это положение оказалось удобнее всего, и теперь он мог внимательно прислушаться к словам Бюргеля. "Я готов, — продолжал Бюргель, — разобраться в этом деле. У нас, безусловно, не такие порядки, чтобы специалиста не использовать по назначению. Да и для вас это должно быть обидно. Разве вы от этого не страдаете?" "Да, страдаю", — сказал К. медленно, улыбаясь про себя, потому что именно сейчас не страдал ни капельки. Да и предложение Бюргеля никакого впечатления на него не произвело. Все это было сплошное дилетанство. Ничего не зная о тех обстоятельствах, при которых вызвали сюда К., о трудностях, встреченных им в Деревне и в Замке, о запутанности его дел, которая за время пребывания К. уже дала или дает о себе знать, — ничего не ведая обо всем этом, более того, даже не делая вида, что он, как, во всяком случае, полагалось бы секретарю, имеет хотя бы отдаленное представление об этом деле, он предлагает так, походя, при помощи какого-то блокнотика уладить недоумение там, наверху. "Видно, у вас уже было немало разочарований", — сказал Бюргель, доказав этими словами, что он все же разбирался в людях, и вообще К. с той минуты, как вошел в эту комнату, все время старался себя уговорить, что недооценивать Бюргеля не стоит, но он находился в том состоянии, когда трудно правильно судить о чем бы то ни было, кроме собственной усталости. "Нет, — продолжал Бюргель, словно отвечая на какие-то мысли К. и желая предостроительно извинить его от необходимости говорить. — Пусть вас не отпугивают разочарования. Иногда сдается, что тут специально все так устроено, чтобы отпугивать людей, а кто сюда приезжает впервые, тому эти препятствия кажутся совершенно непреодолимыми. Не стану разбираться, как обстоит дело по существу, может быть, так оно и есть, я слишком близко ко всему стою, чтобы со-

ставить определенное мнение, но заметьте, иногда подворачиваются такие обстоятельства, которые никак не связаны с общим положением дел. В этих обстоятельствах одним взглядом, одним словом, одним знаком доверия можно достигнуть гораздо большего, чем многолетними, изводящими человека стараниями. Это, безусловно, так. Правда, в одном эти случайности соответствуют общему положению дел — в том, что ими никогда не пользуются. Но почему же ими не пользуются? — всегда спрашиваю я себя". Этого К. не знал; и хотя он заметил, что слова Бюргеля непосредственно касаются его самого, но у него возникло какое-то отвращение ко всему, что его непосредственно касалось, и он немного повернул голову вбок, как бы пропуская мимо ушей вопросы Бюргеля, чтобы они его не затрагивали. "Постоянно, — продолжал Бюргель и, потянувшись, широко зевнул, что странно противоречило серьезности его слов, — секретари постоянно жалуются, что их заставляют по ночам допрашивать деревенских жителей. Но почему они на это жалуются? Потому ли, что это их очень утомляет? Потому ли, что ночью они предпочитают спать? Нет, на это они никак не жалуются. Конечно, среди секретарей есть и более усердные, и менее усердные, как и везде, но на слишком большую нагрузку никто из них, во всяком случае открыто, не жалуется. Просто это не в наших привычках. В этом отношении мы не делаем разницы между обычным и рабочим временем. Такое различие нам чуждо. Так почему же тогда секретари возражают против ночных допросов? Может быть, из желания щадить посетителей? Нет-нет, посетителей секретари совершенно не щадят, так же как и самих себя, тут они пощады не знают. Но в сущности, эта беспощадность есть не что иное, как железный порядок при исполнении служебных обязанностей, а чего же больше могут для себя желать посетители? В основном, хоть и незаметно для поверхностного наблюдения — это и признают все без исключения, — сами посетители как раз и приветствуют ночные допросы, никаких существенных возражений против ночных допросов не поступает. Но почему же тогда секретари так ими не довольны?" К. и этого не знал, он вообще знал очень мало, он даже не мог разоблачать, всерьез ли Бюргель задает вопросы или только для профформы. "Пустил бы ты меня поспать на твоей кровати, — думал К., — я бы завтра днем или лучше к вечеру ответил тебе на все вопросы". Но Бюргель как будто не обращал на него никакого внимания, уж очень его занимало то, о чем он сам себя спрашивал: "Насколько я понимаю и насколько я сам испытал, секретари в основном возражают против ночных допросов по следующим соображениям: ночь потому менее подходит для приема посетителей, что ночью трудно или даже совсем невозможно полностью сохранить служебный характер процедуры. И зависит это не от внешних формальностей, их можно при желании соблюдать со всей строгостью и ночью так же, как и днем. Так что суть дела не в этом, страдает тут именно служебный подход к делу. Невольно склоняешься судить ночью обо всем с более личной точки зрения, слова посетителя приобретают больше веса, чем положено, к служебным суждениям примешиваются совершенно излишние соображения насчет жизненных обстоятельств людей, их бед и страданий; необходимая граница в отношениях между чиновниками и допрашиваемыми стирается, как бы безупречно она внешне ни соблюдалась, и там, где, как полагается, надо было бы ограничиться, с одной стороны, вопросами, с другой — ответами, иногда, как ни странно, возникает совершенно неуместный обмен ролями. Так по крайней мере утверждают секретари, которые по своей профессии одарены особенно тонким чутьем

на такие вещи. Но даже и они — об этом много говорилось в нашей среде — мало замечают эти незначительные отклонения во время ночных допросов; напротив, они заранее напрягают все силы, чтобы противостоять подобным влияниям, сопротивляться им, и считают, что им в конце концов удастся достигнуть особенно ценных результатов. Однако когда потом читаешь их протоколы, то удивляешься явным промахам, которые видны невооруженным глазом. И это такие ошибки, обычно ничем не оправданные ошибки в пользу допрашиваемых, которые, по крайней мере по нашим предписаниям, уже нельзя сразу исправить обычным путем. Разумеется, когда-нибудь эти ошибки наверняка будут исправлены контрольной службой, но это пойдет только в счет исправления правовых нарушений и человеку уже повредить не сможет. Разве при всех этих обстоятельствах жалобы секретарей не обоснованны?" К. уже давно находился в каком-то полусне, но вопрос его снова разбудил. "К чему все это? К чему все это?" — спросил он себя и посмотрел на Бюргеля из-под полузакрытых век не как на чиновника, обсуждающего с ним сложные вопросы, а только как на что-то мешающее ему спать, что-то такое, в чем он никакого другого смысла увидеть не мог. Но Бюргель, всецело поглощенный своими мыслями, усмехался, как будто ему удалось совсем сбить К. с толку. Однако он был готов снова вывести его на верную дорогу. "Все же, — сказал он, — считать эти жалобы совершенно законными тоже нельзя. Конечно, ночные допросы нигде прямо не предписаны, так что если стараются их избегать, то никаких инструкций не нарушают, но все обстоятельства: перегрузка работой, характер занятий чиновников в Замке, затруднения с выездом, порядок, в соответствии с которым допрос назначается лишь после тщательного расследования, но уж тогда без промедления, — все это, да и многое другое сделали ночные допросы неизбежной необходимостью. Но коль скоро они стали необходимостью, то должен вам сказать: это, хотя и косвенно, означает, что они вытекают из предписаний, и жаловаться на ночные допросы значило бы — тут я несколько преувеличиваю, я и осмеливаюсь это высказать именно как преувеличение, — это значило бы, в сущности, жаловаться на предписания.

Следует, однако, признать, что секретари, действуя в рамках предписаний, стараются оградить себя от ночных допросов и связанных с ними, хотя, возможно, и кажущихся, неудобств. Насколько возможно, они прибегают к этому в широких масштабах. Они берутся только за те дела, которые представляют наименьшую опасность, тщательно проверяют себя перед встречей, и если результат проверки этого требует, то отказывают просителю в приеме, иногда даже в самую последнюю минуту, иногда вызывают просителя раз десять, прежде чем заняться его делом, охотно посылают взамен себя своих коллег, которые совсем не разбираются в данном вопросе и потому могут решить его с необычайной легкостью, или же назначают прием хотя бы на начало ночи или на ее конец, сохраняя для себя середину, — словом, таких мероприятий существует множество, их не так легко поймать, этих секретарей, и насколько они обидчивы, настолько же умеют постоять за себя". К. спал, однако сон был не настоящий, он слышал слова Бюргеля, быть может, даже лучше, чем бодрствуя и мучась. Слова, одно за другим, били ему в уши, но исчезло тягостное ощущение, он чувствовал себя свободным, и не Бюргель держал его, а он сам минутами охотью тянулся к Бюргелю, он еще не потонул в самой глубине сна, но уже погружался в нее. Никому теперь не вырвать его оттуда. И у него

появилось ощущение, будто победа уже одержана, и вот собралась компания отпраздновать ее, и не то он сам, не то кто-то другой поднял бокал шампанского за его победу. И для того, чтобы все знали, о чем идет речь, и борьба и победа повторились вновь, а может быть, и не повторились, а только сейчас происходят, а победу стали праздновать заранее и продолжают праздновать, потому что исход, к счастью, уже предreshен. Одного из секретарей, обнаженного и очень схожего со статуей греческого бога, К. потеснил в борьбе. Это было ужасно смешно, и К. усмехался во сне над тем, как секретарь при выпадах К. терял свою гордую позу и спешил опустить вскинутую вверх руку и сжатый кулак, чтобы прикрыть свою наготу, но все время запаздывал. Борьба продолжалась недолго; шаг за шагом — а шаги были широкие — К. продвигался вперед. Да и была ли тут борьба? Никаких серьезных препятствий преодолевать не приходилось, только изредка взвизгивал секретарь. Да, греческий бог визжал, как девица, которую шекочут. И наконец он исчез. К. остался один в огромной комнате, он храбро оглядывался по сторонам, готовый к бою, ища противника, но никого не было, компания тоже разбежалась, и только бокал от шампанского лежал разбитый на полу. К. растоптал его.

Осколки, однако, кололись, он, вздрогнув, проснулся, его мутило, как младенца, которого внезапно разбудили. Но тут же, при взгляде на обнаженную грудь Бюргеля, к нему из сна выплыла мысль: "Да вот он, твой греческий бог! Вытащи же его из-под перины!" "Бывает, однако... сказал Бюргель, задумчиво подняв взгляд к потолку, словно ища в памяти какие-то примеры и никак не находя их. — Бывает, однако, что, несмотря на все предосторожности, посетители находят возможность выгоды для себя использовать все эти слабости секретарей в ночное время, конечно, если считать, что такие слабости действительно существуют. Правда, подобные возможности представляются чрезвычайно редко, вернее, почти никогда. А состоит такая возможность в том, что посетитель является среди ночи без предупреждения. Может быть, вы удивляетесь, что эта, казалось бы, явная возможность используется редко. Впрочем, ведь вы с нашими обстоятельствами совсем незнакомы. Но и вам должна была броситься в глаза непрерывность нашей служебной процедуры. А из этой непрерывности вытекает то, что каждый, кто имеет какое-то дело или должен быть допрошен по каким-либо причинам сразу, без промедления, часто даже до того, как он сам поймет, в чем состоит это дело, болше того — даже прежде, чем он узнает о наличии дела, уже получает вызов. На первый раз его и не спрашивают, обычно его дело еще недостаточно созрело, но вызов ему уже вручен, значит, прийти без вызова он уже не может, в крайнем случае он может явиться в неуказанное время, что ж, тогда его внимание обратят на дату и час вызова, а когда он придет в назначенное время, его, как правило, отсылают, это не встречает никаких затруднений: вызов на руках у посетителя, и отметка в делах о явке уже служит для секретарей хотя и не всегда полноценным, но все же сильным орудием защиты. Понятно, это касается только секретаря, комитентного в этом деле. Но каждый волен зайти ночью врасплох к любому другому секретарю. Только вряд ли кто-нибудь на это пойдет, смысла нет. Прежде всего, это обозлит компетентного секретаря, правда, мы, секретари, никакой зависти друг к другу в работе не испытываем, ведь каждый несет слишком большую, поистине неограниченную нагрузку, но по отношению к просителям мы не должны терпеть никаких нарушений

компетентности. Многие уже проигрывали дела из-за того, что, не видя для себя возможности попасть к компетентному человеку, пытались проскользнуть к некомпетентному. Но эти попытки непременно проваливаются еще потому, что некомпетентный секретарь, сколько к нему ни врывайся ночью, даже при самом большом желании не может помочь именно оттого, что он к делу отношения не имеет, и вмешаться он может не больше, чем первый встречный адвокат, пожалуй, даже меньше, потому что у него просто не хватает времени, и, даже если бы он мог что-то сделать, зная тайные лазейки правосудия лучше всех господ адвокатов, у него нет времени для тех дел, в которых он некомпетентен, он ни минуты потратить на них не может. Кто же станет зря расходовать свое ночное время, чтобы пробиваться к некомпетентным секретарям? Да и сами посетители полностью заняты, так как кроме своих обычных обязанностей им приходится следовать всем приглашениям и вызовам ответственных инстанций, правда, они "полностью заняты" только как посетители, что, разумеется, никак не соответствует "полной занятости" самих секретарей". К. с улыбкой кивал, ему казалось, что теперь он все понял, не потому, что это касалось его, а из уверенности в том, что в следующую минуту он совсем заснет, на этот раз без снов и без помех: между компетентными секретарями, с одной стороны, и некомпетентными — с другой, и перед толпой полностью занятых просителей он сейчас погрузится в глубокий сон и там избавится от них всех. А к негромкому, самодовольному, тщетно пытающемуся убаюкать самого себя голосу Бюргеля он так привык, что этот голос скорее вгонял его в сон, чем мешал. "Мели, мельница, мели, — думал он, — мне на пользу и мелешь". "Но где же тогда, — сказал Бюргель, барабана двумя пальцами по нижней губе, широко раскрыв глаза и вытянув шею, словно приближаясь после изнурительного пути к прелестному пейзажу, — где же тогда та, вышеупомянутая, редкая, почти никогда не представляющаяся возможность? Вся тайна кроется в предписаниях о компетентности. Ведь дело обстоит вовсе не так, да и не может так обстоять в большой, жизнеспособной организации, что по данному вопросу компетентен только один определенный секретарь. Установлено, что кто-нибудь один осуществляет главную компетентность, а многие другие компетентны в деталях, пусть даже в меньшей степени. Да и кто бы мог один, будь он усерднейшим работником, собрать у себя на письменном столе весь материал, даже по самому малейшему делу? Да и то, что я сказал о главной компетентности, слишком сильно сказано. Разве в самой малой компетентности не таится вся компетентность? Разве тут не становится решающим то рвение, с каким человек берется за дело? И разве это рвение не всегда одинаково, не всегда проявляется в полную силу? Секретари во всем могут отличаться друг от друга, таких отличий множество, но в служебном рвении различия меж ними нет, ни на кого из них удержу не будет, если вдруг ему предложат заняться делом, в котором он хотя бы минимально разбирается. Разумеется, внешне должен существовать определенный порядок ведения дела, и благодаря этому для населения на первый план выступает определенный секретарь, с которым они поддерживают служебные отношения. Но это не обязательно тот секретарь, который лучше других разбирается в деле, тут все решает организация и ее насущные потребности в данную минуту. Вот каково положение вещей. Теперь взвесьте, господин землемер, возможность, когда посетитель благодаря каким-то обстоятельствам, несмотря на уже описанные вам и, в общем, вполне серьезные препятствия, все же застает врасплох среди но-

чи какого-нибудь секретаря, имеющего некоторое отношение к данному делу. О такой возможности вы, должно быть, и не подумали? Охотно вам верю. Да и не стоит о ней думать, поскольку она почти никогда не представляется. И каким крошечным и ловким зернышком должен быть такой проситель, чтобы проскользнуть через такое безукоризненное сито? Думаете, так случиться не может? Вы правы, да, так случиться не может. Но когда-нибудь — кто может заранее поручиться? — когда-нибудь ночью все же это произойдет. Разумеется, среди своих знакомых я не знаю никого, с кем бы нечто подобное приключилось, правда, это еще ничего не доказывает, мои знакомства по сравнению с числом проходящих тут людей ограничены, а кроме того, совершенно нет уверенности, что тот секретарь, с кем произошел такой случай, сознается в этом, ведь все это чрезвычайно личное дело, в какой-то мере серьезно затрагивающее профессиональную этику. И все же я, вероятно, по опыту знаю, что речь идет о чрезвычайно редком случае, известном только понаслышке и ничем не доказанном, так что бояться такого случая — значит сильно преувеличивать. Даже если бы такой случай произошел, можно было бы его, по верьте мне, совершенно обезвредить, доказав — и это очень легко, — что таких случаев на свете не бывает. И вообще это болезненное явление — прятаться от страха перед таким происшествием под одеяло и не смея даже выглянуть. Даже если эта полнейшая невероятность вдруг обрела бы реальность, так неужели тогда все потеряно? Напротив! Потерять все — это еще более невероятно, чем самая большая невероятность. Правда, если проситель уже забрался в комнату, дело скверно. Тут сердце сжимается. Долго ли ты еще сможешь сопротивляться? — спрашиваешь себя. Но сопротивления никакого не выйдет, это ты знаешь точно. Только представьте себе это положение правильно. Тот, кого ты ни разу не видел, но постоянно ждал, ждал с настоящей жадностью, тот, кого ты совершенно разумно считал несуществующим, он, этот проситель, сидит перед тобой. И уже своим немым присутствием он призывает тебя проникнуть в его жалкую жизнь, похозяйничать там, как в своих владениях, и страдать вместе с ним от его тщетных притязаний. И призыв этот в ночной тишине неотразим. Следуешь ему — и, в сущности, тут же перестаешь быть официальным лицом. А при таком положении становится невозможным долго отказывать в любой просьбе. Точно говоря, ты в отчаянии, но еще точнее — ты крайне счастлив. Ты в отчаянии от своей беззащитности — сидишь, ожидаешь просьбы посетителя и знаешь, что, услышав ее, ты будешь вынужден ее исполнить, даже если она, насколько ты сам можешь в ней судить, форменным образом разрушает весь административный порядок, а это самое скверное, что может встретиться человеку на практике. И прежде всего потому — не считая всего остального, — что получаешь переходящее всякие границы превышение власти, которую ты самовольно берешь на себя в такой момент. По нашему положению, мы вообще не уполномочены удовлетворять такого рода просьбы, но от близости этого ночного посетителя как-то растут наши служебные возможности, и тут мы начинаем брать на себя полномочия, которые нам не даны, более того, используем их. Словно разбойник в лесу, этот ночной проситель вымывает у нас жертвы, на которые мы в обычной обстановке были бы не способны; ну ладно, все это так в тот момент, когда проситель еще тут, когда он принуждает, поощряет, подбадривает тебя, все идет своим чередом, почти помимо твоей воли, а вот как оно будет потом, когда проситель, убогатый и успокоенный, оставит тебя и ты окажешься в одино-

честве, беззащитный перед только что совершенным тобой служебным преступлением, — нет, это и представить себе немислимо! И все же ты счастлив. Каким же самоубийственным может быть счастье! Конечно, легко заставить себя скрыть от просителя истинное положение вещей. Сам по себе он ведь почти ничего не замечает. По его мнению, он усталый, разочарованный, и от этой усталости, этого разочарования, невнимательный и безразличный ко всему, случайно проник не в ту комнату, куда хотел, и теперь сидит, ничего не понимая и думая, если он в состоянии думать, о своей ошибке или о том, как он устал. Можно ли бросить его в таком состоянии? Нет, нельзя. Со всей словоохотливостью счастливого человека надо ему все растолковать. Надо, не щадя себя ничуть, подробно объяснить ему все, что произошло и по какой причине это произошло, надо объяснить, какие это были невероятно редкие, какие единственные в своем роде обстоятельства, надо показать, как проситель, с той беспомощностью, какой нет ни у одного живого существа, кроме просителя, попал в эти обстоятельства и как, господин землемер, он теперь может, если захочет, стать хозяином положения, а для этого ему ничего делать не надо, только каким-нибудь образом высказать свою просьбу, исполнение которой уже подготовлено, более того, все уже идет просителю навстречу; ему надо объяснить это, и для чиновника это трудный час. Но когда и это сделано, господин землемер, то сделано самое необходимое, и остается только смириться и ждать”.

Но К. уже спал, отключившись от всего окружающего. Его голова сначала опиралась на левую руку, лежавшую на спинке кровати, потом соколынула вовсе и свесилась вниз, опоры одной руки уже не хватало, но он невольно нашел себе другую опору, опершись правой рукой на одеяло, причем случайно схватился за выступающую из-под одеяла ногу Бюргеля. Бюргель только взглянул, но, несмотря на неудобство, ноги не отнял.

Вдруг в соседнюю стенку громко постучали несколько раз. К. вздрогнул и посмотрел на стену. “Нет ли здесь землемера?” — раздался вопрос. “Да”, — сказал Бюргель, выдернул свою ногу из-под К. и вдруг потянулся, живо и задорно, как маленький мальчик. “Так пусть, наконец, идет сюда!” — крикнули за стеной. На Бюргеля и на то, что К. мог еще быть нужным ему, никакого внимания не обратили. “Это Эрлангер, — сказал Бюргель шепотом; то, что Эрлангер оказался в соседней комнате, его как будто совсем не удивило. — Идите к нему сейчас же, он уже сердится, постарайтесь его уласлить. Сон у него крепкий, но мы все же слишком громко разговаривали: никак не совладаешь с собой, со своим голосом, когда говоришь о некоторых вещах. Ну, идите же, вы как будто никак не можете проснуться. Идите же, чего вам тут еще надо? Нет, не оправдывайтесь тем, что вам хочется спать. К чему это? Сил человеческих хватает до известного предела; кто виноват, что именно этот предел играет решающую роль? Нет, тут никто не виноват. Так жизнь сама себя поправляет по ходу действия, так сохраняется равновесие. И это отличное, просто трудно себе представить, насколько отличное устройство, хотя, с другой стороны, крайне удручающее. Ну, идите же, не понимаю, почему вы так на меня уставились? Если вы будете медлить, Эрлангер на меня напустится, а я бы очень хотел избежать этого. Идите же, кто знает, что вас там ждет, тут все возможно. Правда, бывают возможности, в каком-то отношении слишком широкие, их даже использовать трудно, есть такие дела, которые рушатся сами по себе, а не от чего-то другого. Да, все это весьма удивительно.

Впрочем, я еще надеюсь немного поспать. Правда, уже пять часов, скоро начнется шум. Хоть бы вы ушли поскорее!"

К. был так оглушен внезапным пробуждением из глубокого сна, ему так мучительно хотелось еще поспать и все тело так болело от неудобного положения, что он никак не мог решиться встать и, держась за голову, тупо смотрел на свои колени. Даже то, что Бюргель несколько раз поприщался с ним, не могло его заставить уйти, и только сознание полнейшей бессмысленности пребывания в этой комнате медленно вынудило его встать. Неопишимо жалкой показалась ему эта комната. Стала ли она такой или всегда была, он определить не мог. Тут ему никогда не заснуть как следует. И эта мысль оказалась решающей: улыбнувшись про себя, он поднялся, и, опираясь на все, что попадалось под руку — на кровать, стенку, дверь, — он вышел, даже не кивнув Бюргелю, словно давно уже попрощался с ним.

24

Возможно, что он с таким же равнодушием прошел бы и мимо комнаты Эрлангера, если бы Эрлангер, стоя в открытых дверях, не поманил бы его к себе. Поманил коротко, одним движением указательного пальца. Эрлангер уже совсем собрался уходить, на нем была черная шуба, тесным, наглухо застегнутым воротником. Слуга, держа наготове шапку, как раз подавал ему перчатки. "Вам давно следовало бы явиться", — сказал Эрлангер. К. хотел было извиниться, но Эрлангер, устало прикрыв глаза, показал, что это лишнее. "Дело в следующем, — сказал он. — В буфете еще недавно прислуживала некая Фрида, я знаю ее только по имени, с ней лично незнаком, да она меня и не интересует. Эта самая Фрида иногда подавала пиво Кламму. Теперь там как будто прислуживает другая девушка. Разумеется, эта замена, вероятно, никакого значения ни для кого не имеет, а уж для Кламмы и подавно. Но чем ответственнее работа, а у Кламмы работа, конечно, наиболее ответственная, — тем меньше остается для сопротивления внешним обстоятельствам, вследствие чего самое незначительное нарушение самых незначительных привычек может серьезно помешать делу: малейшая перестановка на письменном столе, устранение какого-нибудь давнишнего пятна, — все это может очень помешать, и тем более новая служанка. Разумеется, все это способно стать помехой для кого-нибудь другого, но только не для Кламмы, об этом и речи быть не может. Однако мы обязаны настолько охранять покой Кламмы, что даже те помехи, которые для него таковыми не являются — да и вообще для него, вероятно, никаких помех не существует, — мы должны устранять, если только нам покажется, что они могли бы помешать. Не ради него, не ради его работы устраняем мы эти помехи; но исключительно ради нас самих, ради очистки нашей совести, ради нашего покоя. А потому эта самая Фрида должна немедленно вернуться в буфет, хотя вполне возможно, что как раз возвращение и создаст помехи, что ж, тогда мы опять отошлем, но пока что она должна вернуться. Вы, как мне сказали, живете с ней, так что немедленно обеспечьте ее возвращение. Само собой разумеется, что из-за ваших личных чувств тут никаких поблажек быть не может, а потому я не стану вдаваться ни в какие дальнейшие рассуждения. Я уж и так сделаю для вас больше, чем надо, если скажу, что при случае для вашей карьеры в дальнейшем будет весьма полезно, если вы оправдан

ете доверие в этом небольшом дельце. Это все, что я имел вам сообщить". Он кивнул на прощание, надел поданную слугой меховую шапку и пошел в сопровождении слуги по коридору быстрым шагом, но слегка прихрамывая.

Иногда распоряжения здешних властей очень легко выполнить, но сейчас эта легкость не радовала К. И не только оттого, что распоряжение, казавшееся Фриды, походило на приказ и вместе с тем звучало издевкой над К., а главным образом оттого, что К. увидел в нем полную бесполезность всех своих стараний. Помимо него делались распоряжения, и благоприятные и неблагоприятные, и даже в самых благоприятных таилась неблагоприятная сердцевина, во всяком случае, все шло мимо него, и сам он находился на слишком низкой ступени, чтобы вмешаться в дело, заставить других замолкнуть, а себя услышать. Что делать, если Эрлангер от тебя отмахивается, а если бы и не отмахнулся — что ты ему скажешь? Правда, К. сознавал, что его усталость повредила ему сегодня больше, чем все неблагоприятные обстоятельства, но тогда почему же он, который так верил, что может положиться на свою физическую силу, а без этой убежденности вообще не пустился бы в путь, — почему же он не мог перенести несколько скверных ночей и одну бессонную, почему он так неодолимо уставал именно здесь, где никто или, вернее, где все непрестанно чувствовали усталость, которая не только не мешала работе, а, наоборот, способствовала ей? Значит, напрашивался вывод, что их усталость была совсем иного рода, чем усталость К. Очевидно, тут усталость приходила после радостной работы, и то, что внешне казалось усталостью, было, в сущности, нерушимым покоем, нерушимым миром. Когда к середине дня немножко устаешь, это неизбежно, естественное следствие утра. "Видно, у здешних господ всегда полдень", — сказал себе К.

И это вполне совпадало с тем, что сейчас, в пять утра, везде, по обе стороны коридора, началось большое оживление. Шумные голоса в комнатах звучали как-то особенно радостно. То они походили на восторженные крики ребят, собирающихся на загородную прогулку, то на пробуждение в птичнике, на радость слияния с наступающим утром. Кто-то из господ даже закукарекал, подражая петуху. И хотя в коридоре еще было пусто, но двери уже ожили: то одна, то другая приоткрывалась и сразу захлопывалась, весь коридор жужжал от этих открываний и захлопываний. К. то и дело видел, как в щелку над недостающей до потолка стенкой высывались по-утреннему растрепанные головы и сразу исчезали. Издалека показывался служитель, он вез маленькую тележку, нагруженную документами. Другой служитель шел рядом со списком в руках и, очевидно, сравнивал номер комнаты с номером в этом списке. У большинства дверей тележка останавливалась, дверь обычно открывалась, и соответствующие документы передавались в комнату — иногда это был только один листочек, и тогда начиналось препирательство между комнатой и коридором: должно быть, упрекали слугу. Если же дверь оставалась закрытой, то документы куратной стопкой складывались на полу. Но К. показалось, что при этом открывание и закрывание других дверей не только не прекращалось, но еще более усиливалось, даже там, куда все документы уже были поданы. Может быть, оттуда с жадностью смотрели на лежащие у дверей и неясно почему еще не взятые документы, не понимая, отчего человек, которому стоит только открыть дверь и взять свои бумаги, этого не делают, возможно даже, что, если документы остаются невзятыми, их потом определяют между другими господами и те, непрестанно выглядывая

из своих дверей, просто хотят убедиться, лежат ли бумаги все еще на полу и есть ли надежда заполучить их для себя. При этом оставленные на полу документы обычно представляли собой особенно толстые связки, и К подумал, что их оставляли у дверей на время из некоторого хвастовства или злорадства, а может быть, и из вполне оправданной, законной гордости, чтобы подзадорить своих коллег. Это его предположение подтвердилось тем, что вдруг именно в ту минуту, когда он отвлекался, какой-нибудь мешок, уже достаточно долго стоявший на виду, вдруг торжественно во втаскивали в комнату и дверь в нее плотно закрывалась, причем и соседние двери как бы успокаивались, словно разочарованные или удрученные тем, что наконец устранен предмет, вызывавший непрерывный интерес, хотя потом двери снова приходили в движение.

К. смотрел на все это не только с любопытством, но и с сочувствием. Ему даже стало как-то уютно среди всей этой суеты, он оглядывался по сторонам и шел — правда, на почтительном расстоянии — за служителями, и, хоть те все чаще оборачивались и, поджав губы, исподлобья строго поглядывали на него, он все же следил за распределением документов. Дело шло чем дальше, тем запутаннее: то списки не совсем совпадали, то служитель не мог сразу разобраться в документах, то господа чиновники возражали по какому-нибудь поводу; во всяком случае, некоторые документы иногда приходилось перераспределять снова, тогда тележка возвращалась обратно и через щелку в двери начинались переговоры о возвращении документов. Эти переговоры сами по себе создавали большие затруднения, но часто бывало и так, что когда речь заходила о возвращении, то именно те двери, которыми перед тем оживленно хлопали, теперь оставались закрытыми намертво, словно там и знать ни о чем не желали. Тут то и начинались самые главные трудности. Тот, кто претендовал на документы, выражал крайнее нетерпение, подымал страшный шум в своей комнате, хлопал в ладоши и топал ногами, выкрикивая через дверную щель в коридор номер требуемого документа. Тележка при этом оставалась без присмотра. Один служитель был занят тем, что успокаивал нетерпеливого чиновника, другой помогался у закрытой двери возвращению документов. Обоим приходилось нелегко. Нетерпеливый становился еще нетерпеливее от успокоительных увещаний, он просто не мог слышать болтовню служителя, ему не нужны были утешения, ему нужны были документы; один из таких господ вылил в дверную щель на служителя целый таз воды, но другому служителю, более высокого ранга, было труднее. Если чиновник вообще снисходил до разговора с ним, то приходил деловой обмен мнениями, при котором служитель ссылался на свой список, а чиновник — на свои заметки, причем те документы, которые подлежали возврату, он пока что держал в руке, так что служитель во вседевающим взглядом едва ли мог разглядеть хотя бы уголочек. Кроме того, служителю приходилось либо бегать за новыми доказательствами к тележке, которая все время откатывалась своим ходом по наклонному полу коридора, либо обращаться к чиновнику, претендовавшему на документы, докладывать ему о возражениях теперешнего их обладателя и выслушивать в ответ его контрвозражения. Такие переговоры тянулись долго, иногда заканчивались соглашением, чиновник отдавал какую-то часть документов или получал в качестве компенсаций другие бумаги, когда оказывалось, что их обменяли случайно; но бывало и так, что кому-нибудь приходилось отказываться от полученных документов вообще, или из-за того, что доводы служителя загоняли человека в тупик, то ли

того, что он уставал от бесконечных препирательств, но и тогда он не просто отдавал служительку документы, а внезапно с силой швырял их в коридор, так что шнурки лопались, листки разлетались и служители с трудом приводили их в порядок. Но эти случаи были сравнительно проще, чем те, когда служитель на свою просьбу отдать документы вообще не получал никакого ответа; тогда он, стоя перед запертой дверью, просил, заклинал, читал вслух свои списки, ссылаясь на предписания, но все напрасну, из комнаты не доносилось ни звука, а войти без спросу служитель, очевидно, не имел права. Но иногда даже такой примерный служитель выходил из себя, он возвращался к своей тележке, садился на папки с документами, вытирал пот со лба и какое-то время ничего не делал, только беспомощно болтал ногами. Тут все вокруг начинали проявлять большой интерес, везде слышалось перешептывание, ни одна дверь не оставалась в покое, а сверху над перегородками то и дело выскакивали странные, обмотанные платками физиономии и беспокойно следили за происходящим. К. обратил внимание, что среди всех этих волнений дверь Бюргеля осталась закрытой и что, хотя служители уже прошли этот конец коридора, Бюргелю никаких документов выдано не было. Может быть, он еще спал при таком шуме, значит, сон у него вполне здоровый, но почему же он не получил никаких документов? Только немногие комнаты, и притом явно необитаемые, были пропущены. В комнате Эрлангера уже находился новый и весьма беспокойный жилец; должно быть, он форменным образом выжил оттуда Эрлангера еще с ночи, и хотя это никак не соответствовало выдержанному и уверенному поведению Эрлангера, но то, что он должен был поджидать К. на пороге комнаты, явно подтверждало такое предположение.

От всех этих сторонних наблюдений К. постепенно возвращался к наблюдению за служителем. К этому служительку никак не относилось то, что К. слышал о служителях вообще, о том, что они бездельники, ведут легкую жизнь, высокомерны; очевидно, бывали среди них исключения, или, что вероятнее, они принадлежали к разным категориям, и, как заметил К., тут было немало разграничений, с которыми ему до сих пор не приходилось сталкиваться. Особенно ему понравилась неуступчивость этого служителя. В борьбе с этими маленькими упрямыми комнатами — а для К. это была борьба именно с комнатами, так как их обитателей он почти не видел, — этот служитель нипочем не сдавался. Правда, он уставал — а кто не устал бы? — но, быстро отдохнув, соскакивал с тележки и снова, выпрямившись, стиснув зубы, наступал на упрямые двери. Случалось, что его наступление отбивали и дважды и трижды, причем весьма простым способом — одним только дьявольским молчанием, — но он и тут не сдавался. И так как он видел, что открытой атакой ему ничего не добиться, он пробовал действовать по-другому: если К. правильно понял, прибегал к хитрости. Для виду он оставлял дверь в покое, давая ей возможность, так сказать, отмолчаться до конца, направлялся к другим дверям, через некоторое время снова возвращался, подчеркнуто громко звал второго служителя и начинал наваливать у порога запертой двери груды документов, словно изменил свое намерение и не намеревается более лишать данного чиновника документов, а, напротив, готов снабдить его новыми. Потом он проходил дальше, не спуская, однако, глаз с той двери, и, когда вскоре чиновник по обыкновению осторожно открывал дверь, чтобы забрать бумаги, служитель двумя прыжками подлетал туда и, сунув ногу в дверную щель, заставлял чиновника вступать с ним в переговоры лицом

к лицу, что обычно вело к более или менее удовлетворительному соглашению. А если этот прием не удавался или казался ему неправильным по отношению к какой-нибудь двери, то он пробовал действовать иначе. Например, он переключал внимание на чиновника, домогавшегося документов. При этом он отодвигал в сторону второго служителя, довольно бесполезного помощника, работавшего чисто автоматически, и сам начинал уговаривать чиновника таинственным шепотом, глубоко просунув голову в его комнату, наверно, он давал ему какие-то обещания и уверил, что при следующем распределении тот, другой чиновник, будет соответственно наказан, во всяком случае он часто показывал на дверь соперника и даже смеялся, насколько позволяла ему усталость. Но бывали раз или два — и такие случаи, когда служитель отказывался от всяких попыток бороться, хотя К. полагал, что это было только притворство, имевшее, по-видимому, свои основания, служитель спокойно проходил дальше, не оборачиваясь, терпеливо сносил шум, поднятый обиженным чиновником, и только его манера время от времени надолго прикрывать глаза показывала, как он страдает от шума. Постепенно обиженный чиновник успокаивался, и как залихватский детский плач постепенно переходит в редкие всхлипывания, так и его выкрики становились реже, но, даже когда наступала тишина, вдруг снова раздавался одинокий вскрик, неожиданно коротко хлопала дверь. Во всяком случае, все показывало, что и тут служитель поступал совершенно правильно. В конце концов остался только один чиновник, который никак не желал успокоиться, он умолкал, но только чтобы перевести дух, а потом снова начинал орать पुшю прежнего. И было не совсем понятно, чего он так кричит и жалуется, может быть вовсе не из-за распределения документов. За это время служители уже окончили свою работу, и на тележке, по недосмотру помощника, остался один-единственный документ, в сущности, просто бумажка, листок из блокнота, и теперь они не знали, кому же его выдать. "Вполне возможно, что это мой документ", — мелькнуло в мыслях у К. Ведь староста Деревни все время говорил, что дело у К. ничтожнейшее. И хотя К. сам понимал всю смехотворность и необоснованность своего предположения, он попытался как бы невзначай подойти к служителю, который задумчиво просматривал бумажку; это было не так-то просто, потому что служитель никак не отвечал взаимностью на приязнь К. и даже в самом разгаре своей трудной работы всегда находил время в сердцах или с нетерпением оборачиваться на К., нервно дергая головой. И только сейчас, после окончания раздачи документов, он как будто немного забыл о К., да и вообще стал как-то равнодушнее, что было понятно при таком сильном утомлении, и с этой бумажкой он тоже долго возиться не стал, может быть, он ее и не прочел, только сделал вид, и хотя тут, в коридоре, он, вероятно, каждому обитателю комнаты доставил бы удовольствие, вручив ему эту бумажку, он решил по-другому: видно, ему надоело раздавать документы, и, приложив палец к губам, он сделал знак своему помощнику — молчи! — и, не успев К. к нему подойти, разорвал бумажку на мелкие клочки и сунул их в карман. Пожалуй, это было первое нарушение, которое К. заметил в служебных делах, хотя, возможно, он и это понял неправильно. Даже если имелось нарушение, оно казалось вполне простым: при порядках, царивших тут, служитель не мог работать безукоризненно, и все накопившееся раздражение, нервная усталость должны были однажды проявиться, и если это выразилось только в уничтожении маленькой бумажки, то было еще вполне невинной выходкой. Ведь и

коридоре все еще раздавался визгливый крик господина, который никак не мог успокоиться, а его коллеги, до сих пор не проявлявшие особой солидарности, теперь единодушно поддерживали эти выкрики; постепенно стало казаться, будто этот господин взял на себя задачу шуметь за всех, а остальные подбодряли его возгласами и кивками, чтобы он не умолкал. Но служитель уже никакого внимания на них не обращал, свою работу он закончил, глазами показал второму служителю, чтобы тот взялся за поручни тележки, и оба ушли, как и пришли, только веселее и быстрее, так что тележка даже подпрыгивала перед ними. Только раз они вздрогнули и оглянулись, когда непрерывно вопящий господин, у дверей которого толкался К. — ему очень хотелось понять, чего тот, в сущности, хочет, — вдруг, не добившись ничего криком, очевидно, нащупал кнопку электрического звонка и в восторге от такой подмоги перестал кричать и начал непрерывно звонить. Тут и в остальных комнатах все загалдели, явно выражая одобрение, очевидно, этот господин сделал что-то такое, что все давно хотели сделать, но воздерживались по неизвестной причине. Быть может, этот господин вызывал прислугу, может быть, даже Фриду? Ну, тут ему придется долго дозваниваться. Сейчас Фрида была занята тем, что делала Иеремины компрессы, а если он выздоровел, то времени у нее все равно не было, потому что она лежала в его объятиях. Но звонок сразу возымел свое действие. Издали по коридору уже бежал сам хозяин гостиницы, как всегда в черном, наглухо застегнутом костюме, но казалось, он забыл все свое достоинство, так быстро он бежал, раскинув руки, словно случилась большая беда и он бежит схватить ее и задушить у себя на груди, и, как только звонок на миг умолкал, хозяин высоко подсакивал и начинал бежать еще быстрее. За ним вдаль появилась и его жена, она тоже бежала, раскинув руки, но небольшими, жеманными шажками, и К. подумал, что она опоздает и хозяин сам успеет сделать все, что надо. Чтобы пропустить хозяина, К. прижался к стене. Но хозяин остановился именно перед ним, будто и прибежал сюда из-за него, тут же подошла и хозяйка, и оба стали осыпать его упреками, причем он от неожиданности и удивления ничего не мог разобрать, тем более что их непрерывно перебивал звонок того господина, а тут еще начали звонить и другие звонки, уже не по необходимости, а просто из баловства, от избытка веселья. И так как для К. было очень важно как следует понять, в чем же его вина, он не стал сопротивляться, когда хозяин взял его под руку и ушел с ним подальше от все возрастающего шума: теперь за ними — К. даже не обернулся — все двери распахнулись настежь, коридор оживился, началось движение, как в бойком, тесном переулочке, все двери впереди явно ждали в нетерпении, пока не пройдет К., чтобы сразу выпустить из комнат их обитателей, а надо всем, как бы празднуя победу, заливались звонки, нажатые изо всех сил. И, только выйдя на тихий заснеженный двор, где ждало несколько саней, К. наконец стал разбираться, в чем дело. Ни хозяин, ни хозяйка не могли понять, как это К. осмелился на такой поступок. "Да что же я такого сделал?" — непрерывно спрашивал К., но никак не мог получить ответа — им обоим его вина казалась настолько очевидной, что они никак не могли поверить в его искренность. И только постепенно К. все понял. Оказывается, он не имел права находиться в коридоре, в лучшем случае, из особой милости, впредь до запрета ему разрешалось быть в буфете. Конечно, если его вызвал кто-то из господ чиновников, он должен был явиться в назначенное место, но при этом постоянно сознавать — неужели ему не хватало здравого смысла? — что он находится там, где ему быть не

положено, куда его в высшей степени неохотно, и то лишь по необходимости, по служебной обязанности, вызвал один из господ чиновников. Поэтому он должен был немедленно явиться, подвергнуться допросу и потом как можно скорее исчезнуть. Да неужели же он там, в коридоре, не чувствовал всей непристойности своего поведения? Но если чувствовал, то как он мог разгуливать там, как скотина на выпасе? Разве он не был вызван для ночного допроса и разве он не знает, зачем учреждены эти ночные вызовы? Цель ночных вызовов — и тут К. услышал новое объяснение их смысла — в том, чтобы как можно быстрее выслушать просителей, чем вид днем господам чиновникам невыносим, выслушать их ночью при искусственном свете, пользуясь возможностью после опроса забыть всю эту гадость. Но К. своим поведением преступил все правила приличия и достоинства. Даже привидения утром исчезают, однако К. остался там, руки в карманах, будто выжидая, что если не исчезнет он, то исчезнет весь коридор, со всеми комнатами и господами. И так бы оно наверняка и случилось — он может в этом не сомневаться, — если бы такая возможность существовала, потому что эти господа обладают беспредельной деликатностью. Никто из них никогда не прогнал бы К., никогда бы не сказал хотя это можно было понять, — чтобы К. наконец ушел. Никто бы так не поступил, хотя присутствие К., наверно, бросало их в дрожь и все утро любимое их время — было для них отравлено. Но вместо того, чтобы действовать против К., они предпочитали страдать, причем тут, разумеется, играла роль и надежда, что К. наконец увидит то, что бьет прямо в глаза, и постепенно, глядя на страдания этих господ, тоже начнет невыносимо страдать оттого, что так ужасающе неуместно, на виду у всех, стоит тут, в коридоре, да еще среди белого дня. Напрасные надежды. Эти господа не знают или не хотят знать по своей любезности и снисходительности, что есть бесчувственные, жестокие, никаким уважением не смягчаемые сердца. Ведь даже ночной мотылек, бедное насекомое, ищет при наступлении дня тихий уголок, расплывается там, больше всего желая исчезнуть и страдая оттого, что это недостижимо. А К., напротив, встал там, у всех на виду, и если бы он мог помешать наступлению дня, он, конечно, так бы и сделал. Но помешать он никак не может, зато замедлить дневную жизнь, затруднить ее он, к сожалению, в силах. Разве он не стал свидетелем раздачки документов? Свидетелем того, что никому, кроме участников, видеть не разрешается. Того, на что никогда не смели смотреть ни хозяин, ни хозяйка в собственном своем доме. Того, о чем они только слышали намеками как, например, сегодня, от слуг. Разве он не заметил, с какими трудностями происходило распределение документов, что само по себе совершенно непонятно, так как каждый из этих господ верно служил делу, никогда не думая о личной выгоде, и потому из всех сил должен содействовать тому, чтобы распределение документов — эта важнейшая, основная работа происходила быстро, легко и безошибочно? И неужели К. даже отдаленно не смог себе представить, что главной причиной всех затруднений было то, что распределение пришлось проводить почти при закрытых дверях, а это лишало господ непосредственного общения, при котором они смогли бы сразу договориться друг с другом, тогда как посредничество служителей затягивало дело на долгие часы, вызывало много жалоб, вконец измучило господ и служителей и, вероятно, еще сильно повредит дальнейшей работе. А почему господа не могли общаться друг с другом? Да неужели К. до сих пор этого не понимает? Ничего похожего — и хозяин подтвердил, что его жена того же мнения, — ничего похожего ни он, ни она до сих пор

не встречали, а ведь им приходилось иметь дело со многими весьма упрямыми людьми. Теперь приходится откровенно говорить К. то, чего они никогда не осмеливались произносить вслух, иначе он не поймет самого существенного. Так вот, раз уж надо ему все высказать: только из-за него, исключительно из-за него, господа не могли выйти из своих комнат, так как они по утрам, сразу после сна, слишком стеснительны, слишком ранимы, чтобы попадаться на глаза посторонним, они чувствуют себя форменным образом, даже в полной одежде, слишком раздетыми, чтобы показываться чужому. Трудно сказать, чего они так стыдятся, может быть, они, эти неутомимые труженики, стыдятся только того, что спали? Но быть может, еще больше, чем самим показываться людям, они стыдятся видеть чужих людей; они не желают, чтобы те просители, чьего невыносимого вида они счастливо избежали путем ночного допроса, вдруг теперь, с самого утра, явились перед ними неожиданно, в непосредственной близости, в натуральную величину. Это им трудно перенести. И каким же должен быть человек, в котором нет к этому уважения? Именно таким человеком, как К. Человеком, который ставит себя выше всего, не только выше закона, но и выше самого обыкновенного человеческого внимания к другим, да еще с таким тупым равнодушием и бесчувственностью; ему безразлично, что из-за него распределение документов почти что срывается и репутация гостиницы страдает, и, чего еще никогда не случалось, он доводит этих господ до такого отчаяния, что они начинают от него обороняться и, переломив себя с немыслимым для обыкновенного человека усилием, хватаются за звонок, призывая на помощь, чтобы изгнать К., не поддающегося никаким увещаниям! Они, господа, и вдруг зовут на помощь! Хозяин и хозяйка вместе со своей прислугой давно прибежали бы сюда, если бы только посмели спозаранку без зова появиться перед господами, хотя бы только для того, чтобы им помочь и тотчас же исчезнуть. Дрожа от негодования из-за К., в отчаянии от своего бессилия, они стояли в конце коридора, и звонок, которого они никак не ожидали, был для них сущим извращением. Ну, теперь самое страшное позади! О, если бы им было разрешено хоть на миг взглянуть, как радостно засуетились эти господа, наконец-то избавившись от К.! Но разумеется, для К. не все еще миновало! Ему, несомненно, придется отвечать за то, что он сотворил.

Между тем они пришли в буфет; было не совсем понятно, почему хозяин, несмотря на весь свой гнев, привел К. сюда; очевидно, он все же сообразил, что при такой усталости К. все равно не может покинуть его дом. Не дожидаясь приглашения сестры, К. буквально свалился на одну из пивных бочек. Тут, в полумраке, ему стало легче. В большом помещении над кранами пивных бочек горела лишь одна слабая электрическая лампочка. И на дворе стояла глубокая тьма, там как будто мела метель; хорошо оказаться тут, в тепле, надо было только постараться, чтобы не выгнали. Хозяин с хозяйкой по-прежнему стояли перед К., словно в нем все еще таилась какая-то опасность и при такой полной его неблагонадежности никак нельзя было исключать, что он может вдруг вскочить и попытаться снова проникнуть в тот коридор. Оба они устали от ночного переполоха и раннего вставания, особенно хозяйка — на ней было шелковистое шуршащее коричневое платье, застегнутое и подпоясанное не совсем аккуратно, — она, словно надломленный стебель, припала головой к плечу мужа и, поднося к глазам тонкий платочек, бросала на К. по-детски сердитые взгляды. Чтобы успокоить супругов, К. проговорил, что все сказанное

ими для него совершенная новость, но что он, несмотря на свое поведение, все же никогда не застрял бы надолго в том коридоре, где ему действительно делать было нечего, и что он, конечно же, никого мучить не хотел, а все произошло только из-за его чрезвычайной усталости. Он поблагодарил их за то, что они положили конец этому неприятному положению, но если его привлекают к ответственности, он будет этому очень рад, потому что только так ему удастся помешать кривотолкам насчет его поведения. Только усталость, только она одна тому виной. А усталость происходит оттого, что он еще не привык к допросам. Ведь он тут совсем недавно. Когда у него накопится некоторый опыт, ничего подобного больше не произойдет. Может быть, он эти допросы принимает слишком всерьез, но ведь это само по себе не изьян. Ему пришлось выдержать два допроса, один за другим: сначала у Бюргеля, потом у Эрлангера, и особенно его мучила первая встреча, вторая, правда, продолжалась недолго, Эрлангер только попросил его об одном одолжении, но все это вместе было больше, чем он мог вынести за один раз, может быть, такая нагрузка для другого человека, скажем для самого хозяина, тоже была бы слишком тяжелой. После второй встречи он, по правде говоря, уже еле держался на ногах. Он был в каком-то тумане, ведь ему впервые пришлось встретиться с этими господами, впервые услышать их, а ведь надо было как-то отнестись к ним. Насколько ему известно, все сошло прекрасно, а потом случилось эта беда, но вряд ли после всего предыдущего ему можно поставить ее в вину. К сожалению, только Эрлангер и Бюргель могли бы понять его состояние, и уж, разумеется, они вступились бы за него, предотвратили бы все, что потом произошло, но Эрлангеру пришлось сразу после их свидания уехать, очевидно, он отправился в Замок, а Бюргель, тоже утомленный разговором — а тогда как же могло хватить сил у К. вынести это? уснул и даже проспал распределение документов. И если бы у К. была такая возможность, он с радостью воспользовался бы ею и охотно пренебрег бы случаем посмотреть на то, что запрещено видеть, тем более что он вообще был не в состоянии хоть что-нибудь разглядеть, а потому самые щепетильные господа могли, не стесняясь, показаться ему на глаза.

Упоминание о двух допросах, особенно о встрече с Эрлангером, и уважение, с которым К. говорил об этих господах, расположили хозяина в его пользу. Он как будто уже склонялся на просьбу К. — положить диск на пивные бочки и разрешить ему поспать тут хоть до рассвета, — но хозяйка была явно против; непрестанно без надобности оправляя платье, только сейчас сообразив, что у нее что-то не в порядке, она вновь и вновь качала головой, и старый спор о чистоте в доме вот-вот готов был разразиться. Для К., при его усталости, разговор супругов имел огромное значение. Быть сейчас выгнанным отсюда казалось ему такой бедой, с которой все пережитое до сих пор не шло и в сравнение. Этого нельзя было допустить, даже если бы и хозяин и хозяйка вдруг заодно пошли против него. Скорчившись на бочке, он выжидающе смотрел на них, как вдруг хозяйка, с той невозможной обидчивостью, которую уже подметил в ней К., отступила в сторону и, хотя она уже говорила с хозяином о чем-то другом, крикнула: "Но как он на меня смотрит! Выгони же его наконец!" Но К., воспользовавшись случаем и уже уверенный, что он тут останется, сказал: "Да я не на тебя смотрю, а на твоё платье".

"Почему на мое платье?" — взволнованно спросила хозяйка. К. только пожал плечами. "Пойдем!" — сказала хозяйка хозяину. — Он же пьян,

этот оболтус! Пусть prospится!" И она тут же приказала Пепи, которая вынырнула на зов из темноты, растрепанная, усталая, волоча за собой метлу, чтобы та бросила К. какую-нибудь подушку.

25

Проснувшись, К. сначала подумал, что он почти и не спал; в комнате было по-прежнему тепло, но пусто, у стен сгустилась темнота, единственная лампочка потухла, и за окном тоже стояла ночь. Он потянулся, подушка упала, а его ложе и бочки затрещали; в зал сразу вошла Пепи, и тут он узнал, что уже вечер и проспал он более двенадцати часов. Несколько раз о нем справлялась хозяйка, да и Герстекер, который утром, во время разговора К. с хозяйкой, сидел тут, в темноте, за пивом и не осмелился помешать К., тоже заходил сюда — посмотреть, что с К., и, наконец, как будто заходила и Фрида, минутку постояла над К., но вряд ли она приходила из-за К., а, скорее, из-за того, что ей надо было тут кое-что подготовить — она же должна была вечером снова заступить на свою прежнюю службу. "Видно, она тебя больше не любит?" — спросила Пепи, подавая ему кофе с печеньем. Но спросила она об этом не зло, как прежде, а, скорее, грустно, словно с тех пор узнала злобность мира, перед которой собственная злоба пасует, становится бессмысленной; как с товарищем по несчастью говорила она с К., и, когда он попробовал кофе и ей показалось, что ему недостаточно сладко, она побежала и принесла полную сахарницу. Правда, грустное настроение не помешало ей приукраситься больше прежнего: бантиков и ленточек, вплетенных в косы, было предостаточно, на лбу и на висках волосы были тщательно завиты, а на шее висела цепочка, спускавшаяся в низкий вырез блузки. Но когда К., довольный, что наконец удалось выспаться и выпить хорошего кофе, тайком потянул за бантик, пробуя его развязать, Пепи устало сказала: "Не надо" — и присела рядом с ним на бочку. И К. даже не пришлось расспрашивать ее, что у нее за беда, она сама стала ему рассказывать, уставившись на кофейник, как будто даже во время рассказа ей надо было отвлечься и она не может, даже говоря о своих бедах, всецело отодать мысли о них, так как на это сил у нее не хватит. Прежде всего К. узнал, что в несчастьях Пепи виноват он, хотя она за это на него не в обиде. И она решительно помотала головой, как бы отводя всякие возражения К. Сначала он увел Фриду из буфета, и Пепи смогла получить повышение. Невозможно было придумать что-нибудь другое, из-за чего Фрида бросила бы свое место, она же сидела в буфете, как паучиха в паутине, во все стороны от нее тянулись нити, про которые только ей и было известно; убрать ее отсюда против воли было бы невозможно, и только любовь к низшему существу, то есть то, что никак не соответствовало ее положению, могла согнать ее с места. А Пепи? Разве она когда-нибудь собиралась заполучить это место для себя? Она была горничной, занимала незначительное место, не сулившее ничего особенного, но, как всякая девушка, мечтала о лучшем будущем, мечтала никому не запретишь, но всерьез она о повышении не думала, она была довольно достигнутым. И вдруг Фрида внезапно исчезла, так внезапно, что у хозяина под рукой не оказалось подходящей замены, он стал искать, и его взгляд остановился на Пепи; правда, она сама в соответствующую минуту постаралась попасться ему на глаза. В то время она любила К., как никогда еще никого не любила; до того она месяцами сидела внизу, в своей

темной каморке, и была готова просидеть там много лет, а в случае невезенья и всю жизнь, никем не замеченная, и вот вдруг появился К., герой, освободитель девушек, и открыл перед ней дорогу наверх. Конечно же, он о ней ничего не знал и сделал это не ради нее, но ее благодарность от этого не уменьшилась, в ночь перед ее повышением — а повышение было еще неопределенным, но уже вполне вероятным — она часами мысленно разговаривала с ним, шепча ему на ухо слова благодарности. В ее глазах поступок К. возвысился еще больше тем, что он взял на себя такой тяжкий груз, то есть Фриду, какая-то непонятная самоотверженность была в том, что он ради возвышения Пеппи взял себе в любовницы Фриду — некрасивую, старообразную, худую девушку с короткими жиденькими волосами, да к тому же двуличную: всегда у нее какие-то секреты; наверно, это зависит от ее наружности; если любому с первого взгляда видно, как она дурна и лицом и фигурой, значит, надо придумать тайну, которую никто проверить не может, — например, что она якобы в связи с Клямом. У Пеппи тогда даже появлялись такие мысли: неужели возможно, что К. и в самом деле любит Фриду, уж не обманывается ли он или, может быть, только обманывает Фриду, и это, возможно, приведет только к возвышению Пеппи, и тогда К. увидит свою ошибку или не захочет дольше ее скрывать и обратит внимание уже не на Фриду, а только на Пеппи, и это вовсе не безумное воображение Пеппи, потому что как девушка с девушкой она вполне может потягаться с Фридой, этого никто отрицать не станет, и ведь, в сущности, К. был ослеплен прежде всего служебным положением Фриды, которому она умела придать блеск. И Пеппи в мечтах уже видела, что, когда она займет место Фриды, К. придет к ней преемником, и тут у нее будет выбор: либо ответить на любовь К. и потерять место, либо оттолкнуть его и подняться еще выше. И она про себя решила отказаться от всех благ и снизойти до К., научить его настоящей любви, какой ему никогда не узнать от Фриды, любви, не зависящей ни от каких почетных должностей на свете. Но потом все вышло по-другому. А кто виноват? Прежде всего, конечно, сам К., ну а потом и Фридино бесстыдство, но главное — сам К. Ну что ему надо, что он за странный человек? К чему он стремится, какие это важные дела его так занимают, что он забывает самое близкое, самое лучшее, самое прекрасное? Вот Пеппи и стала жертвой, и все вышло глупо, и все пропало, и если бы у кого-нибудь хватило смелости подпалить и сжечь всю гостиницу, да так сжечь, чтобы ни следа не осталось, сжечь, как бумажку в печке, вот такого человека Пеппи и называла бы своим избранником. Итак, Пеппи пришла сюда, в буфет, четыре дня тому назад, перед обедом. Работа тут нелегкая, работа, можно сказать, человекоубийственная, но то, чего тут можно добиться, тоже не пустяк. Пеппи и раньше жила не просто от одного дня до другого, и если даже в самых дерзких мечтах она никогда не осмеливалась рассчитывать на это место, то наблюдений у нее было предостаточно, она знала все, что связано с этим местом, без подготовки она за такую работу не взялась бы. Без подготовки сюда не пойдешь, иначе потеряешь службу в первые же часы. А уж особенно если станешь тут вести себя как горничная! Когда работаешь горничной, то начинаешь со временем чувствовать себя совсем заброшенной и забытой, работаешь, как в шахте, по крайней мере в том коридоре, где помещаются секретари; кроме нескольких дневных посетительниц, которые шмыгают мимо и глаза боятся поднять, там за весь день ни души не увидишь, разве что других горничных, а они обозлены не меньше тебя. Утром вообще нельзя и выглянуть из комнаты, секретари не хо-

тят видеть посторонних, еду им носят слуги из кухни, тут горничным делать нечего, во время еды тоже нельзя туда ходить. Только когда господа работают, горничным разрешено убирать, но, конечно, не в жилых комнатах, а в тех, что пока пустуют, и убирать надо тихо, чтобы не помешать работе господ. Но разве уберешь, когда господа занимают комнаты по многу дней, да еще там орудуют слуги, этот грязный сброд, и когда наконец горничной разрешается зайти в помещение, оно оказывается в таком виде, что и всемирный потоп грязь не отмоеет. Конечно, они господа важные, но приходится изо всех сил преодолевать отвращение, чтобы за ними убирать. Работы у горничных не слишком много, но зато работа тяжелая. И никогда доброго слова не услышишь, одни попреки, и самый частый, самый мучительный упрек — будто во время уборки пропали документы. На самом деле ничего не пропадает, каждую бумажку отдаешь хозяину, а уж если документы пропадают, то, конечно, не из-за девушек. А потом приходит комиссия, девушек выставляют из их комнаты, и комиссия перерывает их постели, у девушек ведь никаких своих вещей нет, все их вещички помещаются в ручной корзинке, но комиссия часами все обыскивает. Разумеется, они ничего не находят, да и как туда могут попасть документы? К чему девушкам документы? А кончается тем, что комиссия с досады ругается и угрожает, а хозяин все передает девушкам. И никогда покоя нет, ни днем, ни ночью, до полуночи шум и с раннего утра шум. Если бы только можно было не жить при гостинице, но жить приходится, потому что и в промежутках приходится носить по вызову из кухни всякую всячину, это тоже обязанность горничных, особенно по ночам. Вдруг неожиданно стучат кулаком в комнату горничной, выкрикивают заказ, и бежишь на кухню, трясешь сонного поваренка, выставляешь поднос с заказанным у своих дверей, откуда его забирают слуги, — как все это уныло. Но и это не самое худшее. Самое худшее, если заказов нет, но глубокой ночью, когда всем время спать, да и большинство действительно спит, к комнате горничных кто-то начинает подкрадываться. Тут девушки встают с постели — их кровати расположены друг над другом, ведь места в комнате мало, да, в сущности, это и не комнаты, а большой шкаф с тремя полками, — и девушки прислушиваются у дверей, становятся на колени, в испуге жмутся друг к другу. И все время слышно, как кто-то крадется к дверям. Пусть бы он уже вошел, все обрадовались бы, но никто не входит, ничего не случается. Приходится себя уговаривать, что им не грозит никакая опасность; может, кто-нибудь просто ходит взад и вперед у дверей, обдумывает, не заказать ли ему что-нибудь, а потом не решается. Может быть и так, а может быть и совсем иначе. В сущности, ведь совсем не знаешь этих господ, их почти и не видишь. Во всяком случае, девушки в своей комнате совсем пропадают от страха, а когда снаружи все затихает, они ложатся на пол у стенки, оттого что нет сил снова забраться в постели. И такая жизнь опять ожидает Пепи, сегодня же вечером она должна вернуться на свое место в комнате горничных. А из-за чего? Из-за К. и Фриды. Снова вернуться к той жизни, от которой она едва избавилась, правда, избавилась с помощью К., но все же она и сама приложила огромные усилия. Ведь на той службе девушки совершенно запускают себя, даже самые аккуратные. Да и для кого им там наряжаться? Никто их не видит, в лучшем случае челядь на кухне, а кому это нужно достаточно, те пусть и наряжаются. А то всегда торчишь в своей комнате или в комнатах господ, куда даже просто зайти в чистом платье было бы глупым легкомыслием и расточительностью. И вечно живешь при

искусственном свете, в духоте — топят там беспрерывно — и вечно устает. Единственный свободный вечер в неделю лучше всего провести где-нибудь в кладовке, при кухне, и хорошенько выспаться, без всяких страхов. Зачем же тогда наряжаться? Да тут и одеваешься кое-как. И вдруг Пеппи назначили в буфет, и, если только хочешь тут закрепиться, надо стать совсем другой, тут ты всегда на глазах у балованных и наблюдательных господ, поэтому тебе надо выглядеть как можно привлекательнее и милее. А тут все иначе, и Пеппи может сказать про себя, что она ничего не упустила. Ей было все равно, как сложатся дела дальше; то, что у нее хватит способностей для такого места, она знала, она была в этом уверена, никто у нее этой уверенности не отнимет даже сегодня, в день полного провала. Трудно было в первый же день оказаться на должном уровне, ведь она только бедная горничная, нет у нее ни платьев, ни украшений, а у господ не хватает терпения ждать, пока ты переменишься, они хотят сразу, без всяких подготовок, получить такую буфетчицу, как полагается, иначе они от нее отвернутся. Можно подумать, что у них запросы вовсе уж не такие большие, раз их могла удовлетворить Фрида. Но это неверно. Пеппи часто задумывалась над этим, да и с Фридой часто сталкивалась, даже какое-то время спала с ней рядом. Раскусить Фриду нелегко, и кто не очень внимателен — а какие из этих господ достаточно внимательны? — того она сразу собьет с толку. Никто лучше самой Фриды не знает, до чего у нее жалкий вид, если, например, увидишь впервые, как она распускает волосы, так от жалости только всплеснешь руками, такую девушку, по правде говоря, нельзя допускать даже к должности горничной; да она и сама это чувствует, сколько раз она плакала, прижималась к Пеппи, прикладывая косу Пеппи к своим волосам. Но стоит ей только встать на рабочем месте, и все сомнения как рукой снимает, она чувствует себя самой красивой из всех и притом умеет любого человека в этом убедить. Людей она хорошо понимает, в этом ее главное искусство. И врет она без удержу, сразу обманывает, чтобы люди не успевали ее как следует разглядеть. Конечно, надолго ее не хватает, есть же у людей глаза, и в конце концов они всю правду увидят. Но как только она заметит такую опасность, у нее в ту же минуту наготове новое средство борьбы, в последнее время, например, — ее связь с Кламмом. Связь с Кламмом! Если сомневаешься, можешь сам проверить: пойдешь к Кламму и спроси его. До чего же хитра, до чего же хитра! Но может быть, ты почему-либо не посмеешь с таким вопросом идти к Кламму, может быть, тебя и по гораздо более важным вопросам к нему не пустят, может быть, вообще Кламм для тебя вовсе не доступен — именно для тебя и таких, как ты, потому что Фрида, например, влетает к нему когда хочет, — так вот, даже если это так, все равно можно это дело проверить, надо только выждать! Не станет же Кламм долго терпеть такие ложные слухи, наверно, он из кожи вон лезет, чтобы узнать, что о нем говорят и в буфете и в номерах, для него это чрезвычайно важно, и стоит ему услышать все эти выдумки, как он тут же их опровергнет. Однако он ничего не опровергает, вот и выходит: опровергать нечего, все — истинная правда. Конечно, все видит только, что Фрида носит пиво в комнату Кламма и выходит оттуда с деньгами, а то, чего не видят, рассказывает сама Фрида, и приходится ей верить. Но она ничего никому не рассказывает, не станет же она выбалтывать всякие тайны, нет, эти тайны сами собой выбалтываются вокруг нее, а раз они уже выболтаны, она и не стесняется о них упоминать, правда очень сдержанно, ничего не утверждая, она только ссылается на то, что и без нее всем известно. Но и

ворит она не про все, например насчет того, что с тех пор, как она появилась в буфете, Кламм стал пить меньше пива, чем раньше, она и вовсе не говорит, ведь тому могут быть самые разные причины, просто время подошло такое, что пиво кажется Кламму невкусным или он даже забывает о пиве из-за Фриды. Во всяком случае, как это ни удивительно, Фрида и вправду возлюбленная Кламма. А если она хороша для Кламма, так как же другим ею не любоваться; и не успели все опомниться, как Фрида попала в красавицы, все стали считать ее словно специально созданной для должности буфетчицы; больше того, она стала чересчур хороша, чересчур важна для такого места, как наш буфет, ей теперь этого мало. И действительно людям уже казалось странным, что она все еще сидит тут, в буфете; конечно, быть буфетчицей — дело немалое, при этом знакомство с Кламмом кажется вполне правдоподобным, но уж если буфетчица стала любовницей Кламма, то почему он позволяет ей, да еще так долго, оставаться при буфете? Почему не подымает ее выше? Людям можно сто раз долбить, что тут никаких противоречий нет, что у Кламма есть определенные причины поступать так и что неожиданно, быть может в самом ближайшем будущем, Фрида получит повышение, но ни на кого эти слова впечатления не производят; у людей есть привычные представления, и никакими уловками их не разрушить. Ведь уже никто не сомневался, что Фрида — любовница Кламма, даже тому, кто все понимал, и то сомневаться надоело. Черт с тобой, будь любовницей Кламма, думают люди, но уж раз это так, то пусть мы будем свидетелями твоего повышения. Однако они ничего не увидели, Фрида по-прежнему сидела в буфете и втайне очень радовалась, что все оставалось по-прежнему. Но люди стали терять к ней уважение, и, конечно, она не могла этого не заметить, она же все замечает еще до того, как оно случается. Ведь девушке по-настоящему приветливой не нужно прибегать ни к каким ухищрениям, если только она прижилась в буфете; пока она хорошенькая, она и останется буфетчицей, если только не произойдет какой-нибудь несчастный случай. Но такой девушке, как Фрида, все время приходится беспокоиться за свое место, конечно, она не подает виду, скорее она будет жаловаться и клясть эту должность. Но втайне она все время следит за настроением вокруг. И вот Фрида увидела, как люди стали к ней равнодушнее, уже при ее появлении они и глаз не подымали, даже слуги ею не интересовались, они, понятное дело, больше льнули к Ольге и к девицам вроде нее; даже по поведению хозяина было видно, что Фрида все меньше и меньше становилась необходимой, выдумывать новые истории про Кламма уже было трудно, все имеет свои границы, и тут наша дорогая Фрида решилась на новую выходку. Кто же мог сразу ее раскусить? Пеппи что-то подозревала, но раскусить до конца, к сожалению, не могла. Фрида решила устроить скандал: она, любовница Кламма, бросается в объятия первому встречному, по возможности человеку самому ничтожному. Это произведет на всех большое впечатление, начнутся долгие пересуды, и наконец, наконец-то опять вспомнят, что значит быть любовницей Кламма и что значит презреть эту честь в опьянении новой любовью. Трудно было только найти подходящего человека, с которым можно было бы затеять эту хитрую игру. Он не должен был быть из знакомых Фриды, даже не из слуг, потому что такой человек лишь удивленно посмотрел бы на нее и прошел мимо, а главное, не сумел бы отнестись к ней серьезно, да и при самом большом красноречии ей никого не удалось бы убедить, что он стал домогаться ее, Фриды, и она не смогла ему сопротивляться и в какой-то безумный миг сдалась, — надо было найти

такого человека, чтобы про него можно было бы поверить, будто он, такое ничтожество, при всей своей тупости и неотесанности, все же потянулся не к кому-то, а именно к Фриде и что у него не было желаний сильнее, чем — о господи боже! — жениться на Фриде. Но даже если бы попался самый последний человек, по возможности куда ниже любого хилопа, то он все-таки должен был оказаться таким, чтобы из-за него тебя не засмеяли, таким, чтобы и какая-то другая, понимающая девушка могла бы найти в нем что-то привлекательное. Но где же отыскать такого? Другая девушка, несомненно, искала бы его понапрасну всю жизнь. Но, на счастье Фриды, к ней в буфет попал землемер, и попал, может быть, именно в тот вечер, когда ей впервые пришел на ум этот план. В сущности, чем думал К.? Какие особенные мысли были у него в голове? Чего выдвигавшегося он хотел добиться? Хорошего места, наград? Вот чего он хотел, да? Ну, тогда он с самого начала должен был взяться за дело по-другому. Но ведь он ничто, жалко смотреть на его положение. Да, он землемер, это, может быть, что-нибудь да значит, выходит, что он чему-то учился, но, если эти знания никак применить нельзя, значит, он все же ничто. Однако он ставит требования без всякого стеснения, и хоть ставит он эти требования не прямо, но сразу видно, что у него есть какие-то требования, а это все раздражает. Да знает ли он, что даже горничная унижает себя, если она с ним разговаривает дольше, чем надо? И со всеми своими особыми требованиями он попадает в самую грубую ловушку. Неужели ему не стыдно? Чем это Фрида его подкупила? Теперь он уже может сознаться. Неужели она могла ему понравиться, это тощее, изжелта-бледное существо? Ах, вот оно что, он на нее даже и не взглянул, она только сказала ему, что она возлюбленная Кляммы; его, конечно, это поразило, и тут он окоченительно влип! Ей-то пришлось отсюда убираться, таким в гостинице места нет. Пеппи видела ее в то утро, перед уходом, вся прислуга сбежалась, всем было любопытно взглянуть на нее. И такая у нее была еще власть, что ее жалели; все, даже враги, ее жалели, вот до чего ее расчет оказался правильным, никто понять не мог, зачем она себя губит из-за такого человека, всем казалось, что это удар судьбы; маленькие судомойки, которым каждая буфетчица кажется высшим существом, были просто безутешны. Даже Пеппи была тронута, даже она не могла себя пересилить, хотя ее внимание было направлено на другое. Ей бросилось в глаза, что Фрида совсем не выглядела такой уж грустной. Ведь, в сущности, ее постигло огромное несчастье, впрочем, она и делала вид, будто очень несчастна, но этого мало. Разве такая комедия могла обмануть Пеппи? Так что же ее поддерживало? Неужто счастье новой любви? Нет, это исключало. Но в чем же причина? Что давало ей силу быть по-прежнему сдержанно-любезной, даже с Пеппи, которая уже тогда намечалась ей в заместительницы? Впрочем, Пеппи была некогда в это вникнуть, слишком она была занята подготовкой к новой должности. Уже часа через два-три надо было приступать к работе, а у нее еще не было ни красивой прически, ни нарядного платья, ни тонкого белья, ни приличной обуви. И все это надо было достать за несколько часов, а если за это время не привести себя в порядок, так лучше вообще не показаться от такого места, все равно потеряешь его в первые же полчаса. Однако же ей как-то удалось все выполнить. Причесываться как следует она хорошо умела, однажды даже хозяйка попросила сделать ей прическу, у Пеппи на это рука легкая, правда, и волосы у нее самой самые послушные, можно их уложить как угодно. И с платьем ей помогли. Ее верные подружки постарались. Правда, для них это тоже честь, когда

буфетчицей становится именно девушка из их компании, да к тому же Пепи, войдя в силу, могла бы оказать им значительную помощь. У одной из девушек давно лежал отрез дорогой материи, ее сокровище, часто она давала подругам любоваться им и, наверно, мечтала, какое роскошное платье сошьет себе, но теперь — и это было прекрасным поступком с ее стороны — она пожертвовала отрез для Пепи. Обе девушки с готовностью помогали ей шить и не могли бы шить усерднее, даже если бы шили на самих себя. И работали весело, с удовольствием. Сидя на своих койках, друг над дружкой, они шили и пели, передавая друг другу то вниз, то вверх готовые части и отделку. Стоит Пепи теперь об этом вспомнить, как у нее еще тяжелее становится на душе, оттого что все было напрасно и ей теперь придется с пустыми руками возвращаться к своим подругам. Какое несчастье и какое легкомыслие тому виной, особенно со стороны К.! Как они тогда радовались платью, оно казалось им залогом удачи, а когда под конец находилось еще местечко для какого-нибудь бантика, у них исчезали последние сомнения в успехе. И разве оно не прекрасно, это платье! Правда, сейчас оно уже измято и немножко в пятнах, другого платья у Пепи нет, пришлось носить одно и то же день и ночь, но все еще видно, какое оно красивое, даже проклятая варнавовская девка не сшила бы лучше. И у платья есть еще особое преимущество: его можно затягивать и распускать и снизу и сверху, так что хоть платье одно и то же, но выглядит по-разному, это она сама придумала. Впрочем, на нее и шить легко, но Пепи хвастать не собирается; молодой здоровой девушке все к лицу. Труднее было с бельем и с обувью, тут-то и начались неудачи. Подруги и в этом ей помогли как могли, но могли-то они сделать очень мало. Удалось собрать и перештопать только самое грубое бельишко, и вместо сапожек на каблуках пришлось обойтись домашними туфлями, которые лучше совсем не показывать. Все старались утешить Пепи: ведь Фрида тоже не слишком хорошо одевалась, часто она ходила такой растрепой, что гости предпочитали, чтобы вместо нее им прислуживали парни из погребка. Все это верно, но Фриде многое разрешалось, она уже была на виду, в чести, а если настоящая дама и покажется в грязноватом и неаккуратном виде, это еще соблазнительней, но разве такому новичку, как Пепи, это сойдет? Да кроме того, Фрида и не умела хорошо одеваться, вкуса у нее и в помине нет; если у тебя кожа с желтизной, ее, конечно, не сбросишь, но уж нельзя надевать, как Фрида, кремовую кофточку с огромным вырезом, так что у людей в глазах становится желто. Но пусть бы даже и этого не было, все равно она слишком скупа, чтобы хорошо одеваться, все, что зарабатывала, она копила, никто не знал зачем. На этой работе ей деньги не нужны, она себе все добывала враньем и плутнями, но Пепи и не может, и не хочет брать с нее пример, потому ей и надо было наряжаться, чтобы показать себя в выгодном свете, особенно с самого начала. Если бы только она могла пустить в ход более сильные средства, то, несмотря на все Фридины хитрости, на всю глупость К., она осталась бы победительницей. Да и началось все очень хорошо. Все необходимые навыки, все нужное умение она уже приобрела заранее. За буфетной стойкой она сразу почувствовала себя как дома. Никто и не заметил, что Фрида больше не работает. Только на второй день некоторые посетители стали спрашивать: куда девалась Фрида? Но Пепи ошибок не делала, хозяин был доволен, в первый день он еще беспокоился, все время сидел в буфете, потом уже стал заходить только изредка и наконец — так как касса была в порядке и выручка даже стала в среднем больше, чем при Фриде, — он всецело

предоставил работу Пеппи. А она ввела кое-какие новшества. Фрида, не от усердия, а, скорее, от скупости, от властолюбия, от страха, что кому-то надо уступить какие-то свои права, всегда обслуживала слуг сама, особенно когда никто не видел, но Пеппи, напротив, целиком поручила это дело парням из погребов, они ведь куда пригоднее для такой работы. Таким образом, она оставляла себе больше времени для господских комнат, постояльцы обслуживались быстрее, кроме того, она могла перекинуться с каждым несколькими словами, не то что Фрида — та себя, по-видимому, берегла для одного Кламма и любое слово, любую попытку подойти к ней воспринимала как личное оскорбление Кламму. Впрочем, это было довольно умно, потому что, когда она потом подпускала кого-то к себе поближе, это считалось неслыханной милостью. Но Пеппи ненавидит такие уловки, да ей и не годилось начинать с них. Пеппи со всеми была любезна, и ей отвечали любезностью. Видно, всех радовала перемена, а когда эти господа, натрудившись, наконец улучают минутку, чтобы посидеть за кружкой пива, они форменным образом перерождаются, если только сказать им словечко, улыбнуться, повести плечиком. И все наперебой до того часто ерошили кудри Пеппи, что ей раз десять на дню приходилось подправлять прическу, а не поддаются соблазну этих локончиков и бантиков никто не мог, даже такой рассеянный человек, как сам К. Так проходили дни, в напряжении, в постоянной работе, но и с большим успехом. Если бы они только не так скоро пролетели, если бы их было хоть немного больше! Четыре дня — это очень мало, даже если напрягаешься до изнеможения; может быть, пятый день принес бы больше, но четыре дня слишком мало! Правда, Пеппи и за четыре дня приобрела многих покровителей и друзей, и если бы верить всем взглядам, то, когда она проплывала по залу с пивными кружками, ее просто омывали волны дружелюбия, а один писарь по имени Бартмейер в нее втюрился, подарил ей вот эту цепочку с медальоном, а в медальон вставил свою карточку, хотя это, конечно, дерзость; да мало ли что случилось, но ведь прошло всего четыре дня, за четыре дня Пеппи, постаравшись как следует, могла бы заставить всех познать Фриду, пусть даже не совсем, да ее позабыли бы и раньше, если бы она перед тем не устроила настолько большой скандал, что ее имя не сходило с уст; оттого она опять и стала людям в новинку, они с удовольствием повидали бы ее снова, уже из чистого любопытства; то, что им надоело до отвращения, теперь благодаря появлению в общем ничего не стоящего человека снова манило их, правда, они не отказались бы из-за этого от Пеппи, пока она действовала на них своим присутствием, но по большей части это были люди пожилые, с устоявшимися привычками, проходит не день, не два, пока они привыкнут к новой буфетчице, даже если эта перемена к лучшему, эти господа поневоле привыкают дольше, скажем дней пять, а четырех дней мало, пока что для них Пеппи все еще чья-то заместительница. А потом случилось, пожалуй, самое большое несчастье: за эти четыре дня Кламм ни разу не вышел в буфет, хотя все время находился в Деревне. Если бы он пришел, то это было бы главным и решительным испытанием для Пеппи, которого она, впрочем, не боялась, а, скорее, ему радовалась. Она — хотя о таких вещах лучше вслух не говорить — не стала бы любовницей Кламма и лживо не присвоила бы себе такое высокое звание, но она сумела бы ничуть не хуже Фриды мило подать кружку пива, приветливо поздороваться без Фридиной назойливости и приветливо попрощаться, а если Кламм вообще чего-то ищет во взгляде девушки, то во взгляде Пеппи он досыта нашел бы все, чего хотел. Но почему же он не

пришел? Случайно ли? Тогда Пеппи так и думала. Два дня она ждала его с минуты на минуту, даже ночью ждала. Вот сейчас придет Кламм, непрестанно думала она и бегала взад и вперед, без всякой причины, от одного только беспокойного ожидания, от стремления увидеть его первой, сразу, как только он войдет. Ее изматало постоянное разочарование, может быть, она из-за этого и выполняла свои обязанности хуже, чем могла. А когда выдавалась свободная минутка, она прокрадывалась в верхний коридор, куда прислуге входить строго воспрещалось, и ждала там, забившись в уголочек. Хоть бы сейчас вышел Кламм, а могла бы взять этого господина на руки и снести в буфет из его комнаты. Под таким грузом я бы даже не споткнулась, каким бы тяжелым он ни оказался. Но Кламм не шел. В том коридоре, наверху, до того тихо, что и представить себе нельзя, если там не побывал. Так тихо, что долго вынести невозможно, тишина гонит оттуда прочь. Но все начиналось сначала: десять раз ее гнала тишина, и десять раз Пеппи снова и снова подымалась туда. Это было бессмысленно. Захочет Кламм прийти — он и придет, а не захочет, так Пеппи его и не выманит, хоть бы она задохнулась от сердцбиения в своем уголке. Ждать было бессмысленно, но, если он не придет, тогда почти все станет бессмысленным. Однако он не пришел. И теперь Пеппи знает, почему Кламм не пришел. Фрида была бы в восторге, если бы могла увидеть, как Пеппи стоит наверху в коридоре, прижав обе руки к сердцу. Кламм не сходил вниз, потому что Фрида этого не допускала. И не просьбами она добивалась своего, никакие ее просьбы до Кламма не доходили. Но у нее, у этой паучихи, есть связи, о которых никому не известно. Когда Пеппи что-нибудь говорит гостю, она говорит вслух, открыто, ее и за соседним столом слышно. А Фриде сказать нечего, поставит пиво на стол и отойдет, только ее нижняя шелковая юбка — единственное, на что она тратит деньги, — прощуршит на ходу. Но уж если она что-то скажет, так не вслух, а шепотом, на ухо посетителю, так что за соседним столом все навестрят уши. Вероятно, то, что она говорит, никакого значения не имеет, хоть и не всегда, связей у нее много, а она еще укрепляет их, одну с помощью другой, и если что-то не удастся — кто же станет долго интересоваться Фридой? — то какую-нибудь из этих связей она все же удержит. И эти связи она постаралась сейчас использовать. К. дал ей для этого полную возможность: вместо того чтобы сидеть при ней и стеречь ее, он почти не бывает дома, бродит по Деревне, ведет переговоры, то там то сям, ко всем он внимателен, только не к Фриде, и, чтобы дать ей еще больше воли, он переселится из трактира "У моста" в пустую школу. Хорошее же это начало для медового месяца! Конечно, Пеппи — последний человек, который станет попрекать К. за то, что он не выдержал общества Фриды, никто не мог бы выдержать. Но почему же он тогда не бросил ее окончательно, почему он все время возвращается к ней, почему он своими хлопотами у всех создал впечатление, будто он борется за Фриду? Ведь выглядело так, будто он только после встречи с Фридой понял свое теперешнее ничтожество и хочет стать достойным Фриды, хочет как-то вскарабкаться повыше, а потому пока что не проводит с ней все время, чтобы потом без помехи наверстать упущенное. А пока что Фрида не теряет времени, сидя в школе, куда она, как видно, заманила К., и следит за гостиницей, следит за К. А под рукой у нее отличные посыльные, помощники К., и совершенно непонятно, почему — даже если знаешь К., и то не поймешь, — почему он их всецело представил Фриде? Она посылает их к старым своим знакомым, напоминает себе, жалуется, что такой человек, как К., держит ее взаперти, натравли-

вает людей на Пепи, сообщает о своем скором возвращении, просит о помощи, закликает не выдавать ее Кламму, притворяется, что Кламма надо оберегать и потому ни в коем случае не пускать в буфет. И то, что она перед одними выставляет как желание беречь Кламму, перед хозяином она использует как доказательство своих успехов, обращает внимание на то, что Кламм больше в буфет не ходит. Да и как же ему ходить, если там посетителей обслуживает какая-то Пепи? Правда, хозяин не виноват, все же эта самая Пепи — лучшая замена, какую можно было найти, но и эта замена не годится даже временно. Про всю эту Фридину деятельность К. ничего не знает; когда он не шатается где попало, он лежит у ног Фриды, а она тем временем считает часы, когда наконец удастся вернуться в буфет. Но помощники выполняют не только обязанности посыльных, они служат ей и для того, чтобы вызывать ревность К., подогревать его пыл. С самого детства Фрида знает этих помощников, никаких тайн у них, конечно, друг от друга нет, но назло К. они начинают тянуться друг к другу, и для К. создается опасность, что тут возникнет настоящая любовь. А чтобы избежать на любые нелепости в угоду Фриде, он видит, что помощники заставляют его ревновать, но все же терпит, чтобы они, все трое, были вместе, пока он уходит в свои странствия. Получается так, будто он сам — третий помощник Фриды. И тут Фрида, сделав вывод из всех своих наблюдений, собралась нанести большой удар: она решает вернуться. И сейчас действительно для этого подошло время, диву даешься, как Фрида, эта хитрая Фрида, все учла и использовала; но острая наблюдательность и решительность — неподражаемый талант Фриды, был бы такой талант у Пепи, но сколько иначе сложилась бы ее жизнь! А если бы Фрида еще дня два проработала в школе, тогда уж Пепи не прогнать, она окончательно утвердилась бы на месте буфетчицы, все любили бы ее, уважали, и денег она заработала бы достаточно, чтобы сменить свою скучную одежду на блестящий туалет, еще бы день-другой — и никакими кознями нельзя было бы удержать Кламму от посещения буфета, он пришел бы, выпил, почувствовал себя уютно и был бы вполне доволен заменой, если только он вообще заметил бы отсутствие Фриды, а еще через день-два и Фриду со всеми ее скандалами, ее связями, с этими помощниками и со всем, что ее касается, забыли бы окончательно, и никогда о ней никто не вспомнил бы. Может быть, тогда она крепче ухватилась бы за К. и, если только она на это способна, полюбила бы его по-настоящему? Нет, и этого быть не могло. Ведь достаточно было бы одного дня, никак не больше, чтобы она надоела и К., чтобы он понял, как гнусно она его обманывает во всем — и своей выдуманной красотой, и своей выдуманной верностью, и больше всего выдуманной любовью Кламмы. Одного дня, не больше, было бы достаточно, чтобы выгнать ее из дому со всей этой грязной компанией, с этими помощниками; думается, что даже для К. больше времени не потребовалось бы. Но между этими двумя опасностями, когда перед ней уже форменным образом зияет могила, К. по своей наивности все еще держит для нее открытой узкую тропку, — вдруг она удирает, а уж этого никто не ждал, это противоестественно, и теперь уже она выгоняет К., все еще в нее влюбленного, все еще преследующего ее, и под давлением поддерживающих ее помощников и приятелей предстает перед хозяином как спасительница, ставшая после того скандала еще соблазнительней, чем раньше, она желаннее как для самых низших, так и для самых высших, хотя самими низшему из всех она предалась только на миг, оттолкнув его вскоре, и ей и положено, и став недоступной и для него, и для всех других, как прежде.

только прежде ко всему этому относились с сомнением, а теперь во всем уверились. И вот она возвращается, хозяин, покосившись на Пеппи, начинает сомневаться — принести ли в жертву ее, которая так старалась? — но его легко переубеждают: слишком многое говорит в пользу Фриды, а главное, она вернет Кламму в гостиницу. Вот как обстоят дела на сегодняшний вечер. Но теперь Пеппи не станет дожидаться, пока явится Фрида и устроит себе триумф при передаче должности. Касса уже давно передана хозяйке, теперь можно уходить. Койка внизу, в комнате девушек, уже ожидает. Пеппи придет, подруги в слезах обнимут ее, а она сорвет с себя платье, вырвет ленты из волос и все засунет в угол, хорошенько спрячет, чтобы не напоминало о временах, которые лучше позабыть. А потом она возьмет тяжелое ведро и щетку, стиснет зубы и примется за работу. Но перед этим она все должна рассказать К., чтобы он, ничего не понимавший до сих пор без ее помощи, теперь ясно увидел бы, до чего некрасиво он поступил по отношению к Пеппи и как она из-за него несчастна.

Пеппи умолкла. Вздохнув, она вытерла слезинки с глаз и щек и, качая головой, посмотрела на К., словно хотела сказать, что, в сущности, речь идет вовсе не о ее несчастье, она все выдержит, и никакой помощи, никаких утешений ей ни от кого — и уж меньше всего от К. — не надобно. "До чего же у тебя дикая фантазия, Пеппи, — сказал К. — Неправда, что ты только сейчас разобралась во всех этих делах, это только вымыслы, родившиеся в вашей тесной, темной девичьей каморке, там, внизу, и там они уместны, а здесь, в просторном буфете, кажутся чудачеством. С такими мыслями тебе тут было не удержаться, это само собой понятно. Да и твоё платье, твоя прическа — все, чем ты так хвасталась, — все это рождено в темноте и тесноте вашей комнаты, ваших постелей, там твой наряд, конечно, кажется прекрасным, но тут над ним все смеются, кто исподтишка, а кто открыто. А что ты еще тут говорила? Значит, выходит, что меня обидели, обманули? Нет, милая Пеппи, и меня никто не обижал и не обманывал, как и тебя. Правда, Фрида в данный момент бросила меня, или, как ты выразилась, удрала с одним из помощников, тут ты увидела какой-то проблеск правды, и теперь действительно можно усомниться, что она все же станет моей женой, но то, что она мне надоела и что я ее все равно прогнал бы на следующий день или что она мне изменила, как изменяет жена мужу, вот это уже совершенная неправда. Вы, горничные, привыкли шпионить у замочной скважины, отсюда у вас и склонность из какой-нибудь мелочи, которую вы и вправду увидели, делать грандиозные и совершенно неверные выводы. Потому и выходит, что я, например, в данном случае знаю гораздо меньше, чем ты. Я никак не могу объяснить с такой же уверенностью, как ты, почему Фрида меня бросила. Самое правдоподобное объяснение — и ты тоже коснулась его мимоходом, но не подтвердила — это то, что я оставлял ее без внимания. Да, я был к ней невнимателен, но к этому меня понуждали особые обстоятельства, которые сюда не относятся; вернись она сейчас ко мне, я был бы счастлив, но тут же снова стал бы оставлять ее без внимания. Да, это так. Когда она была со мной, я постоянно уходил в осмеянные тобой странствия, теперь, когда она ушла, мне почти нечем заниматься, я устал, мне все больше хочется бросить эти дела. Можешь ли ты дать мне совет, Пеппи?" "Могу, — сказала Пеппи, вдруг оживившись и схватив К. за плечи. — Мы оба обмануты, давай будем вместе. Пойдем со мной вниз, к девушкам". "Нет, пока ты жалуешься на обман, мы с тобой друг друга не поймем. Ты все время хочешь считать

себя обманутой, потому что это лестно, это трогательно. Но правда в том, что ты для этой должности непригодна. И эта непригодность до того очевидна, что ее заметил даже я, самый, как ты считаешь, неосведомленный из всех. Ты славная девочка, Пеппи, но не так легко тебя понять, я, например, сначала считал тебя злой и высокомерной, но ты вовсе не такая, тебя просто сбил с толку должность буфетчицы, потому что ты для нее не годишься. Я не хочу сказать, что место для тебя слишком высоко, это вовсе не какое-нибудь особенное место, может быть, оно, если присмотреться, несколько почетнее твоей прежней службы, но, в общем, разница невелика, скорее обе должности похожи как две капли воды; впрочем, можно, пожалуй, и предпочесть должность горничной должности буфетчицы, потому что горничная всегда имеет дело только с секретарями, а тут, при буфете, хоть ты и обслуживаешь по господским комнатам начальство, секретарей, но тебе приходится сталкиваться и с самым ничтожным человеком вроде меня, ведь я имею право быть только тут, в буфете, а не в других местах. И разве общение со мной такая уж великая честь? Тебе, конечно, все кажется по-другому, и, быть может, у тебя на это есть какие-то основания. Но именно потому ты на это место и не годишься. Место как место, а для тебя оно царствие небесное, потому ты с таким жаром и берешься за все, наряжаешься, как, по твоему мнению, должны рядиться ангелы — хотя они совсем не такие, — дрожишь от страха потерять службу, вечно воображаешь, что тебя преследуют, всех, кто, по твоему мнению, может тебя поддержать, ты пытаешься завоевать преувеличенной любезностью и только им мешаешь, отталкиваешь их, потому что они в гостинице ищут покоя и вовсе не желают ко всей окружающей их суете добавлять и суету буфетчицы. Может статься, что кто-нибудь из высоких гостей и не заметил перемены после ухода Фриды, но теперь-то они все об этом знают и действительно скучают по Фриде, потому что Фрида, по-видимому, вела себя иначе. Какая бы она ни была в остальном, как бы она ни относилась к своему месту, но на службе она была опытной, сдержанной, владела собой, ты же сама это отмечала, хотя и не сумела извлечь из этого пользы для себя. А ты когда-нибудь следила за ее взглядом? Это же был взгляд не простой буфетчицы, а почти хозяйки. Все она охватывала, и каждого в отдельности тоже, и взгляд, предназначенный каждому в отдельности, был настолько силен, что ему сразу подчинялись. Разве важно, что она, вот можно, была немного худошавая, немного старообразна, что бывают пошлости и гущи, — все это мелочи по сравнению с тем, что в ней было настоящего, и те, кому эти ее недостатки мешали, только доказывали, что им не хватает понимания более важных вещей. Разумеется, Кламма в этом упрекнуть нельзя, и только молодая, неопытная девушка из-за неправильной точки зрения не может верить в любовь Кламмы к Фриде. Кламму тебе кажется — и по справедливости — недостижимым, и потому ты считаешь, что Фрида никак не могла подняться до Кламмы. Ты ошибаешься. Тут я бы поверил и одним Фридиным словам, даже если бы у меня не было неопровержимых доказательств. Каким бы невероятным это тебе ни казалось, как бы ни расходилось с твоим представлением о жизни, о чиноуничестве, о благородстве и о влиянии женской красоты, ты все же не можешь отрицать их отношения, и как мы тут сидим с тобой рядом и я держу твою руку, так наверняка сидели и Кламма с Фридой, как будто эта самая естественная вещь на свете, и Кламма добровольно спускался сюда, в буфет, он даже торопился сойти, и никто его в коридоре не подкармливал, никто из-за него работу не запускать, Кламму должен был сам по-

трудиться и сойти вниз, а изъяны в одежде Фриды, от которых ты пришла бы в ужас, его совсем не трогали. Ты не желаешь ей верить и сама не видишь, как ты этим доказываешь свою неопытность! Даже тот, кто ничего не знал бы об отношениях Фриды с Кламмом, должен был по ее облику догадаться, что этот облик сложился под влиянием кого-то, кто стоит выше тебя, и меня, и всех людей в Деревне, и что их беседы выходят далеко за пределы обычных подшучиваний между посетителями и официантами, составляющих как будто цель твоей жизни. Но я к тебе несправедлив. Ты и сама отлично видишь все преимущества Фриды, ты заметила ее наблюдательность, ее решительность, ее влияние на людей, однако ты толкуешь все неправильно, считая, что она из эгоизма старается все повернуть себе в пользу, или во зло другим, или даже как оружие против тебя. Нет, Пепи, даже если бы у нее были в запасе такие стрелы, она никак не смогла бы выпустить их с такого малого расстояния. Она эгоистка? Нет, скорее можно было бы сказать, что она, пожертвовав тем, что у нее было, и тем, чего она могла ожидать, дала нам с тобой возможность как-то проявить себя на более высоких позициях, но мы оба разочаровали ее и принудили вернуться сюда. Не знаю, так ли это, да и моя собственная вина мне не совсем ясна, и, лишь когда я сравниваю себя с тобой, мне что-то мерещится, словно мы оба слишком настойчиво, слишком шумно, слишком ребячливо и неуклюже старались добиться того, чего, например, при Фридином спокойствии, при ее деловитости можно было бы достичь без труда, а мы и плакали, и царапались, и дергали — так ребенок дергает скатерть и ничего не получает, только сбрасывает роскошное угощение на пол и лишается его навсегда. Не знаю, верно ли я говорю, но, что скорее все именно так, а не так, как ты рассказываешь, это я знаю твердо".

"Ну конечно, — сказала Пепи, — ты влюблен в Фриду, потому что она от тебя сбежала; нетрудно влюбиться в нее, когда она далеко. Но пусть будет по-твоему, пусть ты во всем прав, даже в том, что ты меня осмеиваешь. Но что же ты теперь будешь делать? Фрида тебя бросила, и, хоть объясняй по-твоему, хоть по-моему, надежды на то, что она вернется, у тебя нет, и, даже если бы она вернулась, тебе на время надо где-то устроиться, стоят холода, ни работы, ни пристанища у тебя нет, пойдем к нам, мои подружки тебе понравятся, у нас тебе будет уютно, поможешь нам в работе — она и в самом деле трудна для девушек, а мы, девушки, не будем предоставлены сами себе и по ночам уже страху не натерпимся. Пойдем же к нам! Подружки мои тоже знают Фриду, мы тебе будем рассказывать про нее всякие истории, пока тебе не надоест. Ну идем же! У нас и фотографий Фриды много, мы тебе все покажем. Тогда Фрида была скромнее, чем сейчас, ты ее и не узнаешь, разве что по глазам — они и тогда были хитрые. Ну как, пойдешь?"

"А разве это разрешается? Вчера весь скандал из-за того и разгорелся, что меня поймали в вашем коридоре".

"Вот именно оттого, что тебя поймали, а если будешь у нас, тебя никогда не поймают. Никто о тебе и знать не будет, только мы трое. Ах, как будет весело! Теперь жизнь там уже кажется мне гораздо более сносной, чем раньше. Может быть, я и не так много теряю, оттого что приходится уходить отсюда. Слушай, мы ведь и втроем не скучали, надо же как-то скрашивать горькую жизнь, а нам ее отравили с самой юности, ну а теперь мы трое держимся друг за дружку, стараемся жить красиво, насколько это там возможно, тебе особенно понравится Генриетта, да и Эмилия тоже, я им уже про тебя рассказывала, там все эти истории слушают с доверием, будто вне нашей комнаты ничего случиться не может, там

тепло и тесно, и мы все больше жмемся друг к другу, но, хоть мы и постоянно вместе, друг другу мы не надоели, напротив, когда я подумаю о своих подружках, мне почти что приятно, что я отсюда ухожу. Зачем мне подниматься выше их? Ведь нас так сблизило именно то, что для всех трех будущее было одинаково закрыто, но я все же пробилась, и это нас разлучило. Разумеется, я их не забыла, и первой моей заботой было: не могу ли я что-нибудь для них сделать? Мое собственное положение еще не упрочилось — хоть я и не знала, насколько оно было непрочным, — а я уже поговорила с хозяином насчет Генриетты и Эмили. Насчет Генриетты хозяина еще можно было уговорить, а вот насчет Эмили — она много старше нас, ей примерно столько лет, сколько Фриде, — он мне никакой надежды не подал. Но ты только подумай — они вовсе не хотят отсюда уходить, знают, что жизнь они ведут там жалкую, но они уже с ней смирились, добрые души, и, по-моему, они лили слезы, прощаясь со мной, главным образом из-за того, что мне пришлось уйти из общей комнаты на холл — нам отсюда все, что вне нашей комнаты, кажется холодным — и что мне придется мучиться в больших чужих комнатах, с чужими людьми, лишь бы только заработать на жизнь, а это мне при нашем общем хозяйстве и так до сих пор удавалось. Наверно, они ничуть не удивятся, если я теперь вернусь, и только в угоду мне поплачут немного и пожалеют меня за мои злоключения. Но потом они увидят тебя и сообразят, как все-таки вышло хорошо, что я уходила. Они обрадуются, что теперь мужчина будет нам помощью и защитой, и придут в восторг от того, что все должно остаться тайной и что тайна эта свяжет нас еще крепче, чем до сих пор. Пойдем же, ну, пожалуйста, пойдем к нам! Ты себя ничем не обяжешь и не будешь привязан к нашей комнате навсегда, как мы. Когда настанет весна, и ты найдешь пристанище где-нибудь в другом месте, и тебе у нас не понравится, ты сможешь уйти; конечно, ты и тогда обязан сохранить тайну и не выдавать нас, иначе для нас это будет последний час в гостинице; разумеется, когда ты будешь у нас, ты должен быть очень осторожен, нигде не показываться, если мы сочтем это небезопасным, и вообще ты должен будешь слушаться наших указаний; вот единственное, что тебя свяжет, но ты в этом так же заинтересован, как и мы, а в других отношениях ты совершенно свободен, работу мы тебе дадим не трудную, не бойся. Ну как, пойдем?” “А до весны еще далеко?” — спросил К. “До весны? — повторила Пепи. — Зима у нас длинная, очень длинная и однообразная. Но мы там, внизу, не жалуемся, мы хорошо защищены от холодов. Ну, а потом придет и весна и лето, всему свое время, но, когда вспомнаешь, и весна и лето кажутся такими коротенькими, будто длились два дня, не больше, да и то в эти дни, даже в самую распрекрасную погоду, вдруг начинает падать снег”.

Тут отворилась дверь. Пепи вздрогнула, в мыслях она уже была далеко отсюда, но вошла не Фрида, вошла хозяйка. Она сделала удивленное лицо, застав К. еще здесь. К. извинился, сказав, что ждал хозяйку, и тут же поблагодарил ее за то, что ему разрешили тут переночевать. У него сложилось впечатление, сказал К., будто хозяйка хочет еще раз с ним поговорить, он просит прощения, если вышла ошибка, кроме того, ему сейчас непременно надо уходить, слишком надолго он оставил без присмотра школу, где работает сторожем, но всему виной вчерашний вызов, он еще плохо разбирается в таких делах, больше никогда он не доставит госпоже хозяйке столько неприятностей, как вчера. И он поклонился, собираясь уйти. Хозяйка посмотрела на него странным взглядом, словно во сне.

Этим взглядом она удержала К. на месте дольше, чем он хотел. А тут она еще слабо улыбнулась, и только удивленный вид К. как будто привел ее немного в себя. Казалось, она ждала ответа на свою улыбку и, не получив его, только тут пришла в себя. "Кажется, вчера ты имел дерзость что-то сказать о моем платье?" Нет, К. ничего не помнил. "Как, ты не помнишь? Значит, к дерзости добавляется еще и трусость". К. извинился, сославшись на вчерашнюю усталость, вполне возможно, что он что-то наболтал, во всяком случае он ничего не помнил. Да и что он мог сказать о платье госпожи хозяйки? Только что таких красивых платьев он никогда не видел. По крайней мере он никогда не видел хозяек гостиниц на работе в таком платье. "Замолчи, — быстро сказала хозяйка. — Я не желаю слышать от тебя ни слова про мои платья. Не смей думать о моих платьях. Запрещаю это тебе раз навсегда". К. еще раз поклонился и пошел к дверям. "А что это значит? — крикнула ему хозяйка вслед. — Никогда не видел хозяйек гостиниц за работой в таком платье? Что за бессмысленные слова! Это же полная бессмыслица! Что ты этим хочешь сказать?" К. обернулся и попросил хозяйку не волноваться. Конечно, замечание бессмысленно. Он же ничего в платьях не понимает. Ему в его положении всякое незаплатанное и чистое платье уже кажется дорогим. Он только удивился, когда увидел хозяйку ночью там, в коридоре, среди всех этих полуодетых мужчин в таком красивом вечернем платье, вот и все. "Ага, — сказала хозяйка, — кажется, ты, наконец, вспомнил свое вчерашнее замечание. Да еще дополняешь его новой чепухой. Правильно, что ты в платьях ничего не понимаешь. Но тогда воздержись, пожалуйста, — и я серьезно тебя об этом прошу — судить о том, дорогое ли это платье, неподходящее оно или вечернее, — словом, про все такое... И вообще... — тут она передернулась, словно от озноба, — перестань интересоваться моими платьями, слышишь? — И когда К. хотел молча повернуться к выходу, она спросила: — Да и что ты понимаешь в платьях? — К. пожал плечами: нет, он в них ничего не понимает. — Ах, не понимаешь, — сказала хозяйка, — так не бери на себя смелость судить об этом. Пойдем со мной в контору, я тебе что-то покажу, тогда, надеюсь, ты навсегда прекратишь свои дерзости". Она первой вышла из дверей, и Пепи подскочила к К. под предлогом получить с него деньги, и они торопливо договорились, это было просто: К. уже знал двор, откуда вели ворота в проулок, а подле ворот была маленькая дверь, примерно через час Пепи будет ждать за ней и на трехкратный стук откроет К.

Контора хозяйки находилась напротив буфета, надо было только пересечь прихожую, и хозяйка уже стояла в освещенной конторе и нетерпеливо ждала К. Но тут им помешали. Герстекер ждал в прихожей и хотел поговорить с К. Было не так легко отвязаться от него, но тут помогла хозяйка, запретив Герстекеру приставать к К. "Да куда же ты? Куда?" — кричал Герстекер, когда уже захлопнулись двери, и его голос противно прервался кашлем и охами.

Контора была тесная, жарко натопленная. По узкой стене стояли пюпитр и несгораемый шкаф, по длинным стенам — гардероб и оттоманка. Гардероб занимал больше всего места, он не только заполнял всю стену в длину, но и сужал комнату, выдаваясь в ширину, и, чтобы полностью его открыть, надо было раздвинуть все три створки дверей. Хозяйка указала К. на оттоманку, а сама уселась на вертящийся табурет у конторки. "Ты никогда не учился портняжному делу?" — спросила хозяйка. "Нет, никогда", — ответил К. "А кто же ты, собственно говоря?" — "Земле-

мер". — "А что это значит?" К. стал объяснять, это объяснение вызвало у нее зевоту: "Ты не говоришь мне правды. Почему ты не говоришь правды?" — "Но ведь и ты не говоришь правды". — "Я? Ты опять начинаешь дерзить? А если я и не говорю правды, так мне отвечать перед тобой, что ли? В чем же это я не говорю правды?" — "Ты не простая хозяйка, какой ты стараешься казаться". — "Скажи, пожалуйста! Сколько открытий ты сделал! А кто же я еще? Твоя дерзость и вправду переходит все границы". — "Не знаю, кто ты такая. Я вижу, что ты хозяйка, но к тому же ты носишь платья, которые простой хозяйке не подходят и киких, по моему разумению, никто тут, в Деревне, не носит". — "Ну вот, теперь мы дошли до самой сути. Просто ты не можешь промолчать, вот можно, что ты и не хочешь дерзить, ты просто похож на ребенка, который узнал какую-то чепуху и никак промолчать не может. Ну что особенного ты нашел в моих платьях?" — "Ты рассердишься, если я скажу". — "Не рассержусь, а рассмеюсь, это же детская болтовня. Ну, так какие же у меня платья?" — "Хорошо, раз ты хочешь знать. Да, они из хорошего материала, очень дорогие, но они старомодны, вычурны, слишком затейливы, поношены, и вообще они тебе не по годам, не по фигуре, не по твоим должностям. Это мне бросилось в глаза, как только я тебя увидел в первый раз, с неделю назад, тут, в прихожей". — "Ах, вот оно что! Значит, они старомодны, вычурны и что там еще? А ты откуда все это знаешь?" — "Просто вижу, этому учиться не надо". — "Значит, так сразу и видишь? Никому тебе спрашивать не надо, сам прекрасно понимаешь, чего требует мода. Да ты станешь для меня незаменимым, ведь красивые платья — моя слабость. Смотри, у меня гардероб полон платьев — что ты на это скажешь? Она раздвинула створчатые дверцы, во всю ширину шкафа тесно висели платья одно за другим, по большей части это были темные платья, серые, коричневые, черные, тщательно развешанные и разглаженные. — Вот мои платья, по-твоему, они все старомодны, вычурны. Но тут только те, для которых не нашлось места в моей комнате, наверху, а там у меня еще два полных шкафа, да, два шкафа, каждый почти величиной с этот. Что, удивляешься?"

"Нет, я так примерно и думал, потому и сказал, что ты не только хозяйка, ты нацелилась на что-то другое".

"Я только на то и целью, чтобы красиво одеваться, а ты, как видно, не то дурак, не то ребенок или же очень злой человек, опасный человек. Уходи, уходи же скорее!"

К. вышел в прихожую, и Герстекер уже ухватил его за рукав, когда хозяйка крикнула ему вслед: "А завтра мне принесут новое платье, может быть, я тогда пошлю за тобой!"

Сердито махая рукой, словно пытаюсь заставить замолчать надоевшую хозяйку, ничего объяснять он пока не хотел, Герстекер предложил К. пойти вместе с ним. Сначала он не обратил никакого внимания, когда К. возражил, что ему теперь надо вернуться в школу. И только когда К. настоявшему уперся, Герстекер ему сказал, чтобы он не беспокоился, все, что ему надо, он найдет у Герстека, место школьного сторожа он может бросить, а теперь пора наконец идти, целый день Герстекер его ждет, и его мать даже не знает, куда он делся. Постепенно уступая ему, К. спросил, что он собирается давать ему стол и квартиру. Герстекер мимоходом сказал, что К. ему нужен как помощник на конюшне, у него самого есть другие дела, и пусть К. перестанет упираться и создавать лишние затруднения. Хочет получить плату — ему будут платить. Но тут К. окончательно уперся,

как тот его ни ташил. Да ведь он ничего не понимает в лошадях. Это и не нужно, нетерпеливо сказал Герстекер и с досадой сжал руки, словно упрасывая К. следовать за ним. "Знаю я, зачем ты меня хочешь взять с собой, — сказал К., но Герстекеру дела не было до того, знает К. или нет. — Ты, видно, решил, что я могу чего-то добиться для тебя у Эрлангера". "Конечно", — сказал Герстекер. К. расхохотался, взял Герстекера под руку и дал ему увести себя в темноту.

Горница в комнате Герстекера была смутно освещена одним огарком свечи, и при этом свете кто-то, низко согнувшись под выступающими над углом косыми потолочными балками, читал книгу. Это была мать Герстекера. Она подала К. дрожащую руку и усадила его рядом с собой; говорила она с трудом, и понимать ее было трудно, но то, что она говорила...

(На этом рукопись обрывается.)

НОВЕЛЛЫ И ПРИТЧИ



НОВЫЙ ПЛАН



© Издательство "Прогресс", 1965

Приговор

Было чудесное весеннее воскресное утро. Георг Бендеман, молодой коммерсант, сидел у себя в кабинете на первом этаже невысокого домика на берегу реки, вдоль которой вытянулся целый ряд домиков того же типа, отличающихся один от другого, пожалуй, только окраской и высотой. Он как раз кончил письмо к другу молодости, живущему за границей, потом с нарочитой медлительностью вложил его в конверт и, облокотясь на письменный стол, стал смотреть в окно на реку, мост и начинающие зеленеть холмы на том берегу.

Он думал о том, что этот друг, недовольный тем, как у него шли дела на родине, несколько лет тому назад форменным образом сбежал в Россию. Теперь у него было торговое дело в Петербурге, которое вначале пошло очень хорошо, но за последние годы как будто разладилось, на что в каждый из своих приездов, от раза к разу все более редких, жаловался друг. Так он и трудился на чужбине без большой для себя выгоды; знакомое с детства лицо, нездоровая желтизна которого наводила на мысль о развивающейся болезни, осталось все тем же, несмотря на чужеремную бороду. По его словам, у него не установилось близких отношений с тамошней колонией его земляков, но и в русские семьи он был не очень-то вхож и, таким образом, обрек себя на холостяцкую жизнь.

Что можно написать такому явно зашедшему в тупик человеку? Ему можно посочувствовать, но помочь нельзя. Не посоветовать ли ему вернуться домой, продолжать свое существование здесь, возобновить старые связи — ведь этому никто не мешает, — а в остальном положиться на помощь друзей? Но ведь это же значит сказать ему — и чем мягче это будет сделано, тем болезненнее он это воспримет, — что до сих пор его старания не увенчались успехом, что ему надо отказаться от своей затеи и ехать домой, где на него будут указывать пальцем, как на неудачника, вернувшегося на родину, это значит сказать ему, что его друзья, никуда не уезжавшие и преуспевавшие дома, — люди деловые, а он большой ребенок и ему остается одно: во всем следовать их советам. Да при том еще разве можно быть уверенным, что не зря причинишь ему столько мучений? Возможно, что вообще не удастся убедить его вернуться домой — ведь он сам

говорил, что уже отвык от здешних условий, — и тогда он вопреки здравому смыслу останется на чужбине, уговоры его только озлобят, и он еще дальше отойдет от прежних друзей. Если же он все-таки последует советам, а потом будет чувствовать себя здесь униженным — разумеется, не по вине людей, а по вине обстоятельств, — если он не сойдется с прежними друзьями, а без них не станет на ноги, если он будет стесняться и стыдиться своего положения и почувствует, что теперь у него действительно нет больше родины и друзей, не лучше ли тогда для него остаться на чужой стороне, как бы туго ему там ни жилось? Можно ли в таком случае предполагать, что он здесь поправит свои дела?

По этим соображениям не следует сообщать ему, если вообще приходится с ним переписку, о себе то, что без всяких опасений напишешь просто знакомому. Друг уже больше трех лет не был на родине и давал этому весьма неубедительное объяснение — в России-де очень неопределенное политическое положение, мелкому коммерсанту нельзя отлучаться даже на самый короткий срок. А между тем сотни тысяч русских спокойно разъезжают по всему свету. А ведь именно за эти три года произошли большие перемены в жизни самого Георга. О кончине матери, случившейся около двух лет тому назад, и о том, что с тех пор он, Георг, и его старый отец ведут сообща хозяйство, друг его, правда, еще успел узнать и выразил в письме свое соболезнование, но весьма сухо, причиняя, вероятно, крылась в том, что на чужбине невозможно себе представить всю горечь такой утраты. С тех пор он, Георг, гораздо энергичнее взялся за свое торговое дело, как, впрочем, и за все остальное. Возможно, что при жизни матери отец не давал ему развернуться, так как в делах признавал только собственный авторитет, возможно, что после смерти матери отец хоть и продолжал работать, но стал менее деятелен, возможно — и даже так оно, по всей вероятности, и было, — значительно более важную роль здесь сыграло счастливое стечение обстоятельств, — так или иначе, но за эти два года фирма Бендеман процвела так, как и ожидать нельзя было, пришлось взять вдвое больше служащих, торговый оборот увеличился в пять раз, можно было не сомневаться и в дальнейшем преуспевании.

Но друг ничего не знал о такой перемене. Раньше — последний раз как будто в том письме, в котором он выражал свое соболезнование, — он вкратчески уговаривал Георга перебраться в Россию и пространно писал о перспективах, которые сулит Петербург именно для его, Георга, рода торговли. Цифры, которые называл друг, были совсем незначительны в сравнении с тем размахом, который приобрело торговое дело Георга. Но Георгу не хотелось писать другу о своих успехах в коммерции, а если бы он это сделал теперь, задним числом, это действительно могло бы произвести странное впечатление.

И поэтому Георг обычно ограничивался тем, что сообщал другу о неких пустяках, которые приходят в голову, когда в воскресенье сидишь и не спеша вспоминаешь вперемешку все что угодно. Ему хотелось одного — не нарушить того представления, которое за долгий период отсутствия сложилось у его друга о родном городе и которым тот удовлетворялся. Вот так оно и получилось, что Георг в трех письмах, разделенных довольно большими промежутками, сообщил другу о помолвке достаточно безразличного им обоим человека с не менее безразличной им девушкой, так что в конце концов даже заинтересовал друга этим событием, хотя это совсем не входило в намерения Георга.

Но Георгу было приятнее писать ему о таких делах, чем сообщить, что месяц тому назад он сам обручился с фройляйн Фридой Бранденфельд — девушкой из состоятельной семьи. Он часто говорил с невестой о своем друге и о той особой позиции, которую занял в переписке с ним.

— Значит, он не будет у нас на свадьбе? — спросила она. — Но ведь я могу претендовать на знакомство со всеми твоими друзьями.

— Я не хочу беспокоить его, — ответил Георг. — Постарайся понять меня: он, конечно, приехал бы, по крайней мере я так полагаю, но он стеснялся бы и чувствовал бы себя несчастным, возможно, он позавидовал бы мне и, уж конечно, был бы недоволен — и не мог бы побороть свое недовольство — тем, что возвращается один. Один — ты понимаешь, что это значит?

— Но разве он не может узнать о нашей свадьбе стороной?

— Этому я, конечно, помешать не могу, но при том образе жизни, который он ведет, это маловероятно.

— Если твои друзья таковы, то тебе, Георг, вообще не следовало бы жениться.

— Ну, тут мы с тобой оба виноваты. Но я не жалею.

И она, прерывисто дыша под его поцелуями, сказала:

— А мне все же обидно.

Он подумал, что и вправду не так уж страшно написать другу обо всем. "Я таков, и пусть берет меня таким, как я есть, — решил он. — Не могу же я переделать себя в угоду нашей дружбе".

И в длинном письме, которое он написал этим воскресным утром, он действительно сообщил ему о своей помолвке в следующих словах: "Самую приятную новость я приберег к концу. Я обручился с фройляйн Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи, переехавшей в наш город спустя несколько лет после твоего отъезда, так что ты вряд ли ее знаешь. При случае я напишу тебе подробнее о моей невесте, а сегодня достаточно будет сказать, что я очень счастлив и что наши с тобой отношения изменились только в одном — до сих пор у тебя был просто друг, а теперь у тебя будет очень счастливый друг. Кроме того, в моей невесте, которая скоро сама тебе напишет, а пока просит передать сердечный привет, ты найдешь искреннего друга, что для холостяка не такое уж малое приобретение. Я знаю, обстоятельства таковы, что удерживают тебя от приезда к нам, но разве моя свадьба не достаточное основание, чтобы пренебречь всеми препятствиями? Как бы там ни было, считайся только с собой и действуй по своему усмотрению".

Георг долго сидел за письменным столом, глядя в окно и вертя письмо в руке. На поклон знакомого, который проходил мимо по улице, он ответил рассеянной улыбкой.

Наконец он сунул письмо в карман и прошел по короткому коридору в расположенную напротив спальню отца, куда не показывался уже несколько месяцев. Да в этом и не было нужды, потому что они постоянно встречались у себя в магазине и обедали одновременно в ресторане; вечером, правда, каждый сам заботился о своем ужине, но потом, в тех случаях, когда Георг не проводил время с друзьями или невестой, что теперь случалось довольно часто, они обычно сидели еще с полчаса вместе в общей гостиной, каждый уткнувшись в свою газету. Георг удивился, что у отца в спальне темно даже в такое солнечное утро. Как, значит, затемняет комнату, выходящую в узкий двор, высокая стена напротив. Отец сидел у окна в углу, наполненном всевозможными реликвиями, напоми-

нающими о покойной матери, и читал газету, которую держал перед глазами как-то боком, стараясь приспособиться и помочь своему слабеющему зрению. Со стола не были убраны остатки завтрака, по-видимому почти не тронутого.

— А, это ты, Георг, — сказал отец и сразу поднялся ему навстречу. Его тяжелый халат распахнулся, полы развевались при ходьбе. "Мой отец все еще богатырь", — подумал Георг.

— Здесь же страшно темно, — сказал он.

— Да, это верно, темно, — ответил отец.

— И окно закрыто.

— Мне так больше нравится.

— На дворе теплынь, — заметил Георг, как бы продолжая сказанное раньше, и сел.

Отец взял со стола посуду и поставил ее на ящик.

— Я, собственно, пришел только затем, чтобы сказать тебе, — продолжал Георг, рассеянно следя за движениями отца, — что все же написал сегодня в Петербург о моей помолвке.

Он вытащил будто письмо из кармана, но тотчас же опустил его обратно.

— В Петербург? — спросил отец.

— Моему другу, — пояснил Георг и постарался заглянуть отцу в глаза. "В магазине он совсем другой, — подумал Георг. — Как он здесь расселся в кресле и руки на груди скрестил".

— Да. Твоему другу, — сказал отец с подчеркнутым ударением.

— Ты ведь знаешь, отец, я не хотел писать ему о своей женитьбе, зная только о нем, ни по какой другой причине. Ты сам знаешь, он трудный человек. Я решил, пусть услышит стороной о моей свадьбе — тут уж и ничего сделать не могу, хотя при его замкнутом образе жизни это маловероятно, — но только не от меня.

— А теперь ты передумал? — спросил отец, положил газету на подоконник, а на газету — очки и прикрыл их ладонью.

— Да, теперь я передумал. Если он мой близкий друг, решил я, то должен быть счастливым моим счастьем. И поэтому я уже не колебался и написал ему. Но раньше, чем бросить письмо в ящик, я хотел сказать об этом тебе.

— Георг, — сказал отец и растянул свой беззубый рот, — послушай! Ты пришел ко мне посоветоваться. Это, разумеется, делает тебе честь. Но это ничто, это хуже, чем ничто, если ты не скажешь мне всей правды. И не хочу касаться сейчас того, что сюда не относится. После смерти нашей дорогой мамочки творятся какие-то нехорошие дела. Возможно, и до них дойдет, и, возможно, даже скорее, чем мы думаем. В нашем торговом ведении что-то от меня ускользает; может быть, от меня ничего и не скрывают — я сейчас не хочу думать, что от меня что-то скрывают, — я уже не тот, что прежде, память ослабела, я уже не могу уследить за всем. Во-первых, это естественный ход вещей, а во-вторых, смерть нашей мамочки повлияла на меня куда сильнее, чем на тебя. Но раз уж мы затронули этот вопрос в связи с твоим письмом, то прошу тебя, Георг, не лги мне. Это же мелочь, это выведенного яйца не стоит, так не лги мне. У тебя действительно есть друг в Петербурге?

Георг в смущении встал.

— Оставим в покое моих друзей. Тысяча друзей не заменит мне отца. Знаешь, что я думаю? Ты не бережешь себя. Ведь у возраста свои права

В нашем деле мне без тебя не обойтись, ты это отлично знаешь, но если работа вредит твоему здоровью, я завтра же запру магазин, и это уже навсегда. Так не годится. Тебе надо переменить образ жизни. И при этом решительно. Ты сидишь здесь в темноте, а в гостиной яркое солнце. Ты чуть притронулся к завтраку, вместо того чтобы как следует подкрепиться. Ты сидишь при закрытом окне, а воздух был бы тебе так полезен. Нет, отец! Я позову врача, и мы будем следовать его предписаниям. Мы поменяемся спальнями, ты переедешь в комнату, которая выходит на улицу, а я сюда. Ты не почувствуешь никакой перемены, все твои вещи мы перенесем. Но это еще успеется, а сейчас ложись-ка в постель, тебе необходим покой. Давай я помогу тебе раздеться, вот увидишь — я справлюсь. А может быть, ты уже сейчас хочешь перебраться в ту комнату? Тогда пока что ложись на мою кровать. Пожалуй, так будет даже разумнее.

Георг подошел вплотную к отцу, который поник седой всклокоченной головой.

— Георг, — позвал отец чуть слышно, не подымая головы.

Георг сейчас же опустился перед ним на колени, он увидел усталое отцовское лицо, увидел, что тот скосил на него глаза с необычно расширенными зрачками.

— У тебя нет друга в Петербурге. Ты всегда был шутником, ты не удержался и подшутил и надо мной. Ну откуда быть у тебя другу в Петербурге! Я этому поверить не могу.

— Ты вспомни, отец, — сказал Георг, поднял отца с кресла и, так как тот стоял перед ним такой беспомощный, снял с него халат. — Вот уже скоро три года, как мой друг приезжал к нам в гости. Я помню, что ты его недолюбливал. Во всяком случае, я два раза, никак не меньше, сказал тебе, что его у нас уже нет, а он сидел у меня в комнате. Такая нелюбовь мне вполне понятна, у моего друга есть свои странности. Но бывало и так, что ты охотно с ним беседовал. Я даже был горд, что ты его слушал, расспрашивал, поддакивал ему. Если ты подумаешь, ты обязательно вспомнишь. Он тогда рассказывал невероятные истории про русскую революцию. Так, раз в Киеве, куда он поехал по делам, он видел священника, который во время волнений вышел на балкон, вырезал себе на ладони большой крест и, подняв окровавленную руку, обратился к толпе. Ты же всем кому угодно рассказывал эту историю.

Между тем Георгу удалось снова усадить отца и осторожно снять с него трикотажные кальсоны, которые были надеты поверх полотняных, и носки. При виде белья далеко не первой свежести он упрекнул себя за то, что забросил отца. Следить, как часто отец меняет белье, конечно же, тоже было его обязанностью. Они с невестой еще не говорили определенно о том, как в дальнейшем устроят жизнь отца, ибо с молчаливого согласия предполагали оставить его на старой квартире. Но теперь Георг твердо решил взять его с собой в их будущий дом. Ведь если хорошенько подумать, то заботы, которыми он собирался окружить отца впредь, может статься, уже опоздали.

Георг взял отца на руки и понес в постель. Вдруг он заметил, что тот, прижавшись к его груди, играет с его цепочкой от часов, и ему стало страшно. Он не мог сразу уложить отца в постель, так крепко тот уцепился за эту цепочку.

Но, очутившись в постели, он как будто опять пришел в себя. Сам укрывшись, а потом натянул одеяло до подбородка. И смотрел даже ласково на Георга.

— Ты вспомнил его, ведь правда? — спросил Георг и, желая подбодрить отца, кивнул ему.

— Ты меня хорошо укрыл? — спросил отец, словно ему не было видно, закрыты ли у него ноги.

— Ты доволен, что лег в постель? — сказал Георг и подоткнул одеяло.

— Ты меня хорошо укрыл? — снова спросил отец, придавая, казалось, большое значение ответу.

— Успокойся, я тебя хорошо укрыл.

— Нет! — сразу же крикнул отец. Он отбросил одеяло с такой силой, что оно на мгновение взвилось вверх и развернулось, потом встал во весь рост в кровати. Только одной рукой он чуть придерживался за карниз. Ты хотел меня навсегда укрыть, это я знаю, ну и сынок! Но ты меня еще не укрыл. И если мои силы уже уходят, на тебя-то их хватит, хватит с избытком. Да, я прекрасно знаю твоего друга. Такой сын, как он, был бы мне по сердцу. Потому ты и лгал ему все эти годы. И не почему другому! Ты думаешь, я не плакал о нем? Потому ты и запираешься у себя в конторе — шеф занят, к нему нельзя, — только для того, чтобы без помехи писать свои двуличные письма в Россию. Но, к счастью, отец видит сына насквозь, этому его учить не надо. Теперь ты решил, что подмял отца под себя, да так, что можешь сесть на него верхом, а он и не пикнет, вот тут-то мой любезный сынок и задумал жениться!

Георг в ужасе смотрел на отца. Образ петербургского друга, которого отец вдруг отлично вспомнил, завладел Георгом, как никогда. Он видел его затерянным в далекой России. Он видел его в дверях пустого, разграбленного магазина. Вот он стоит среди поломанных полок, развороченных товаров, сорванной арматуры. И зачем он уехал так далеко!

— Нет, ты посмотри на меня! — крикнул отец, и Георг почти машинально побежал к кровати, но остановился на полпути.

— Она задрала юбку, — пропел отец, — она задрала юбку, мерзкая баба, вот так, — и чтобы наглядно показать как, отец задрал рубашку так высоко, что на бедре открылся рубец от полученной в военные годы раны, — она задрала юбку вот так, и вот так, и вот этак, а ты в нее и втырился, и, чтобы ничто не мешало тебе удовлетворить свою похоть, ты осквернил память матери, предал друга и сунул в постель отца, пусть лежит там и не двигается! Ну как, может он двигаться или нет?

И он стоял, ни за что не держась, и дрыгал ногами. Он сиял от сознания своей пронизательности.

Георг держался в углу, как можно дальше от отца. Он уже раньше решил внимательно следить, боясь, как бы отец не напал на него каким-нибудь обходным путем — может быть, сзади, может быть, сверху. Теперь он снова вспомнил об этом уже забытом им решении и сейчас же опять забыл его, словно проткнул сквозь игольное ушко короткую нитку.

— Но друг не предан! — крикнул отец и в подтверждение своих слов потряс указательным пальцем. — Я был его заступником здесь, в нашем городе.

— Комедиант! — не удержался Георг, но тут же спохватился — к сожалеению, слишком поздно — и прикусил язык, да так сильно, что глаза ему лезли на лоб и он даже присел от боли.

— Да, конечно, я разыгрывал комедию! Комедию! Удачное слово! Чем еще оставалось утешаться бедному овдовевшему отцу? Скажи — и на ту минуту, пока отвечаешь, будь по-прежнему мне любящим сыном, — что еще оставалось мне делать здесь, в темной каморке, мне, дряхлому старику

ку, которого предали вероломные служащие? А мой сын жил припеваючи, заключал сделки, подготовленные мною, от радости на голове ходил и смотрел на отца с недоступным видом, словно и вправду порядочный человек! Ты думаешь, я не хотел бы тебя любить? Ведь я же тебя породил!

"Сейчас он наклонится вперед, — подумал Георг. — Хоть бы он упал и расшибся!" Это слово прошуршало у него в мозгу.

Отец наклонился вперед, но не упал. И так как Георг не подбежал к нему, как можно было бы ожидать, он снова выпрямился.

— Стой там, где стоишь! Ты мне не нужен. Думаешь, у тебя есть еще силы подойти и ты не подходишь потому, что сам не хочешь? Не заблуждайся! Я все еще намного сильнее тебя. Будь я один, мне, может быть, и пришлось бы уступить, но мать отдала мне свои силы, и с твоим другом мы отлично договорились, вся твоя клиентура у меня вот здесь, в кармане!

"Ишь ты, он в нижней рубаше, а у него карманы", — подумал Георг, и ему пришло в голову, что одной этой фразой он может погубить отца в глазах окружающих. Мысль эта только промелькнула у него в голове, так как он сейчас все тут же забывал.

— Возьми под ручку свою невесту и попробуй попасться мне на глаза! Я же так от тебя отошел, что не обрадуешься!

Георг скривил рот, точно не веря отцу. Отец же только кивал головой в тот угол, где стоял Георг, подтверждая этим, что не шутит.

— Очень ты меня позабавил, когда явился сюда и спросил, писать ли другу о твоей свадьбе. Дурак, он все уже знает, все уже знает! Я написал ему, ведь ты же забыл спрятать от меня перо и бумагу. Поэтому он уже несколько лет не приезжает, он все в сто раз лучше тебя знает, твои письма он, не читая, бросает в корзину, а мои читает и перечитывает!

Он так воодушевился, что взмахнул над головой обеими руками.

— Все в тысячу раз лучше тебя знает! — крикнул он.

— В десять тысяч раз! — сказал Георг, желая подразнить отца, но, еще не сорвавшись с губ, слова эти прозвучали чрезвычайно серьезно.

— Я уже не первый год жду, что ты обратишься ко мне с этим вопросом! Ты думаешь, меня что-нибудь еще занимает, ты думаешь, я газеты читаю? На! — И он швырнул в Георга газетой, которая случайно попала в постель. Давнишняя газета с совсем незнакомым Георгу названием. — Как долго ты не решался, пока не созрел окончательно! Мать успела умереть, ей не пришлось порадоваться на сынка, друг твой погибает в своей России, уже три года тому назад он был такой желтый, что хоть на свалку неси, а я... сам видишь, какой я стал. Ты не слепой!

— Значит, ты шпионил за мной! — крикнул Георг.

— Это ты хотел, верно, раньше сказать. Сейчас это уже совсем ни к чему, — с сожалением, как бы про себя заметил отец.

И прибавил громче:

— Итак, теперь ты знаешь — не ты один действовал, до сих пор ты знал только о себе! В сущности, ты был невинным младенцем, но еще вернее то, что ты *суший* дьявол! И потому знай: я приговариваю тебя к казни — казни водой.

Георг почувствовал, словно что-то гонит его вон из комнаты, в ушах у него еще стоял шум, с которым отец грохнулся на постель.

На лестнице, по которой он сбежал, как по покато́й плоскости, перепрыгивая через ступеньки, он налетел на служанку, она подымалась наверх, чтобы убрать квартиру.

— Господи Иисусе! — воскликнула она и закрыла фартуком лицо, но он уже исчез.

Выскочив из калитки, он перебежал через улицу, устремляясь к реке. Вот он уже крепко, словно голодный в пищу, вцепился в перила, перекинул через них ноги, ведь в юношеские годы, к великой гордости родителей, он был хорошим гимнастом. Держась слабеющими руками за перила, он выждал, когда появится автобус, который заглушит звук его падения, прошептал: "Милые мои родители, и все-таки я любил вас" — и отпустил руки.

В это время на мосту было оживленное движение.

Превращение

I

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами.

"Что со мной случилось?" — подумал он. Это не было сном. Его комната, настоящая, разве что слишком маленькая, но обычная комната, мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. Над столом, где были разложены распакованные образцы сукон — Замза был коммивояжером, — висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и боа, она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука.

Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя, — привела его и вовсе в грустное настроение. "Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху", — подумал он, но это было совершенно неосуществимо: он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять этого положения. С какой бы силой ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барахтающихся ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от этих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую дотоле, тупую и слабую боль в боку.

"Ах ты, господи, — подумал он, — какую я выбрал хлопотную профессию! Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть тяготы дороги, думай о расписании поездов, мирись с плохим, нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это!" Он почувствовал сверху живота легкий зуд; медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее было поднять голову; нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками; хотел было

ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, ибо даже простое прикосновение вызвало у него, Грегора, озноб.

Он соскользнул в прежнее свое положение. "От этого раннего вставания, — подумал он, — можно совсем обезуметь. Человек должен высипаться. Другие коммивояжеры живут, как одалиски. Когда я, например, среди дня возвращаюсь в гостиницу, чтобы переписать полученные заказы, эти господа только завтракают. А осмелюсь я вести себя так, мой хозяин выгнал бы меня сразу. Кто знает, впрочем, может быть, это было бы даже очень хорошо для меня. Если бы я не сдерживался ради родителей, я бы давно заявил об уходе, я бы подошел к своему хозяину и выложил ему все, что о нем думаю. Он бы так и свалился с конторки! Странная у него манера — садиться на конторку и с ее высоты разговаривать со служащим, который вдобавок вынужден подойти вплотную к конторке из-за того, что хозяин туг на ухо. Однако надежда еще не совсем потеряна: как только я накоплю денег, чтобы выплатить долг моих родителей — на это уйдет еще лет пять-шесть, — я так и поступлю. Тут-то мы и распрощаемся раз и навсегда. А пока что надо подниматься, мой поезд отходит в пять".

И он взглянул на будильник, который тикал на сундуке. "Боже правый!" — подумал он. Было половина седьмого, и стрелки спокойно двигались дальше, было даже больше половины, без малого уже три четверти. Неужели будильник не звонил? С кровати было видно, что он поставлен правильно, на четыре часа; и он, несомненно, звонил. Но как можно было спокойно спать под этот сотрясающий мебель трезвон? Ну, спал-то он неспокойно, но, видимо, крепко. Однако что делать теперь? Следующий поезд уходит в семь часов; чтобы поспеть на него, он должен отчаянно торопиться, а набор образцов еще не упакован, да и сам он отнюдь не чувствует себя свежим и легким на подъем. И даже поспей он на поезд, хозяйского разноса ему все равно не избежать — ведь рассыльный торгового дома дежурил у пятичасового поезда и давно доложил о его, Грегора, опоздании. Рассыльный, человек бесхарактерный и неумный, был ставленником хозяина. А что, если сказать больным? Это не было бы крайне неприятно и показалось бы подозрительным, ибо за пятилетнюю свою службу Грегор ни разу еще не болел. Хозяин, конечно, привел бы врача больничной кассы и стал попрекать родителей сыном-лентяем, отводя любые возражения ссылкой на этого врача, по мнению которого все люди на свете совершенно здоровы и только не любят работать. И разве в данном случае он был бы так уж не прав? Если не считать солидности, действительно странной после такого долгого сна, Грегор и в самом деле чувствовал себя превосходно и был даже чертовски голоден.

Покуда он все это торопливо обдумывал, никак не решаясь покинуть постель, — будильник как раз пробил без четверти семь — в дверь у его изголовья осторожно постучали.

— Грегор, — услышал он (это была его мать), — уже без четверти семь. Разве ты не собирался уехать?

Этот ласковый голос! Грегор испугался, услышав ответные звуки собственного голоса, к которому, хоть это и был, несомненно, прежний его голос, примешивался какой-то подспудный, но упрямый болезненный писк, отчего слова только в первое мгновение звучали отчетливо, а потом искажались отголоском настолько, что нельзя было с уверенностью сказать, не слышался ли ты. Грегор хотел подробно ответить и все объяснить, но ввиду этих обстоятельств сказал только:

— Да, да, спасибо, мама, я уже встаю.

Снаружи благодаря деревянной двери, по-видимому, не заметили, как изменился его голос, потому что после этих слов мать успокоилась и зашаркала прочь. Но короткий этот разговор обратил внимание остальных членов семьи на то, что Грегор вопреки ожиданию все еще дома, и вот уже в одну из боковых дверей стучал отец — слабо, но кулаком.

— Грегор! Грегор! — кричал он. — В чем дело?

И через несколько мгновений позвал еще раз, понизив голос:

— Грегор! Грегор!

А за другой боковой дверью тихо и жалостно говорила сестра:

— Грегор! Тебе нездоровится? Помочь тебе чем-нибудь?

Отвечая всем вместе: "Я уже готов", Грегор старался тщательным разговором и длинными паузами между словами лишить свой голос какой бы то ни было необычности. Отец и в самом деле вернулся к своему завтраку, но сестра продолжала шептать:

— Грегор, открой, умоляю тебя.

Однако Грегор и не думал открывать, он благословлял приобретенную в поездках привычку и дома предусмотрительно запирает на ночь все двери.

Он хотел сначала спокойно и без помех встать, одеться и прежде всего позавтракать, а потом уж поразмыслить о дальнейшем, ибо — это ему стало ясно — в постели он ни до чего путного не додумался бы. Он вспомнил, что уже не раз, лежа в постели, ощущал какую-то легкую, вызванную, возможно, неудобной позой боль, которая, стоило встать, оказывалась чистой игрой воображения, и ему было любопытно, как рассеется его сегодняшний морок. Что изменение голоса всего-навсего предвестие профессиональной болезни коммивояжеров — жестокой простуды, в этом он несколько не сомневался.

Сбросить одеяло оказалось просто: достаточно было немного надуть живот, и оно упало само. Но дальше дело шло хуже, главным образом потому, что он был так широк. Ему нужны были руки, чтобы подняться; а вместо этого у него было множество ножек, которые не переставали беспорядочно двигаться и с которыми он к тому же никак не мог совладать. Если он хотел какую-либо ножку согнуть, она первым делом вытягивалась; а если ему наконец удавалось выполнить этой ногой то, что он задумал, то другие тем временем, словно вырвавшись на волю, приходили в самое мучительное волнение. "Только не задерживаться понапрасну и постели", — сказал себе Грегор.

Сперва он хотел выбраться из постели нижней частью своего туловища, но эта нижняя часть, которой он, кстати, еще не видел, да и не мог представить себе, оказалась малоподвижной; дело шло медленно; а когда Грегор наконец в бешенстве напропалую рванулся вперед, он, взяв неверное направление, сильно ударился о прутья кровати, и обжигающая боль убедила его, что нижняя часть туловища у него сейчас, вероятно, самая чувствительная.

Поэтому он попытался выбраться сначала верхней частью туловища и стал осторожно поворачивать голову к краю кровати. Это ему легко удалось, и, несмотря на свою ширину и тяжесть, туловище его в конце концов медленно последовало за головой. Но когда голова, перевалившись на конец за край кровати, повисла, ему стало страшно продвигаться и дальше подобным образом. Ведь если бы он в конце концов упал, то разве что чудом не повредил бы себе голову. А терять сознание именно сейчас он ни

в коем случае не должен был; лучше уж было остаться в постели.

Но когда, переведя дух после стольких усилий, он принял прежнее положение, когда он увидел, что его ножки копошатся, пожалуй, еще неистовей, и не сумел внести в этот произвол покой и порядок, он снова сказал себе, что в кровати никак нельзя оставаться и что самое разумное — это рискнуть всем ради малейшей надежды освободить себя от кровати. Одновременно, однако, он не забывал нет-нет да напомнить себе, что от спокойного размышления толку гораздо больше, чем от порывов отчаяния. В такие мгновения он как можно пристальнее глядел в окно, но, к сожалению, в зрелище утреннего тумана, скрывшего даже противоположную сторону узкой улицы, нельзя было почерпнуть бодрости и уверенности. "Уже семь часов, — сказал он себе, когда снова послышался бой будильника, — уже семь часов, а все еще такой туман". И несколько мгновений он лежал спокойно, слабо дыша, как будто ждал от полной тишины возвращения действительных и естественных обстоятельств.

Но потом он сказал себе: "Прежде чем пробьет четверть восьмого, я должен во что бы то ни стало окончательно покинуть кровать. Впрочем, к тому времени из конторы уже придут справиться обо мне, ведь контора открывается раньше семи". И он принялся выталкиваться из кровати, раскачивая туловище по всей его длине равномерно. Если бы он упал так с кровати, то, видимо, не повредил бы голову, резко приподняв ее во время падения. Спина же казалась достаточно твердой; при падении на ковер с ней, наверно, ничего не случилось бы. Больше всего беспокоила его мысль о том, что тело его упадет с грохотом и это вызовет за всеми дверями если не ужас, то уж, во всяком случае, тревогу. И все же на это нужно было решиться.

Когда Грегор уже наполовину повис над краем кровати — новый способ походил скорей на игру, чем на утомительную работу, нужно было только рывками раскачиваться, — он подумал, как было бы все просто, если бы ему помогли. Двух сильных людей — он подумал об отце и о прислуге — было бы совершенно достаточно; им пришлось бы только, засунув руки под выпуклую его спину, снять его с кровати, а затем, нагнувшись со своей ношей, подождать, пока он осторожно перевернется на полу, где его ножки получили бы, надо полагать, какой-то смысл. Но даже если бы двери не были закрыты, неужели он действительно позвал бы кого-нибудь на помощь? Несмотря на свою беду, он не удержался от улыбки при этой мысли.

Он уже с трудом сохранял равновесие при сильных рывках и уже вот-вот должен был окончательно решиться, когда с парадного донесся звонок. "Это кто-то из фирмы", — сказал он себе и почти застыл, но зато его ножки заходили еще стремительней. Несколько мгновений все было тихо. "Они не отворят", — сказал себе Грегор, отдаваясь какой-то безумной надежде. Но потом, конечно, прислуга, как всегда, твердо прошагала к парадному и открыла. Грегору достаточно было услышать только первое приветственное слово гостя, чтобы тотчас узнать, кто он: это был сам управляющий. И почему Грегору суждено было служить в фирме, где малейший промах вызывал сразу самые тяжкие подозрения? Разве ее служащие были все как один прохвосты, разве среди них не было надежного и преданного человека, который, хоть он и не отдал делу нескольких утренних часов, совсем обезумел от угрызений совести и просто не в состоянии покинуть постель? Неужели недостаточно было послать справиться ученика — если такие расспросы вообще нужны, — неужели непременно

должен был прийти сам управляющий и тем самым показать всей ни в чем не повинной семье, что расследование этого подозрительного дела по силам только ему? И больше от волнения, в которое привели его эти мысли, чем по-настоящему решившись, Грегор изо всех сил рванулся с кровати. Удар был громкий, но не то чтобы оглушительный. Падение несколько смягчил ковер, да и спина оказалась эластичнее, чем предполагал Грегор, поэтому звук получился глухой, не такой уж разительный. Вот только голову он держал недостаточно осторожно и ударил ее; он потерял ею ковер, досадуя на боль.

— Там что-то упало, — сказал управляющий в соседней комнате слени.

Грегор попытался представить себе, не может ли и с управляющим произойти нечто подобное тому, что случилось сегодня с ним, Грегором; ведь вообще-то такой возможности нельзя было отрицать. Но, как бы отменяя этот вопрос, управляющий сделал в соседней комнате несколько решительных шагов, сопровождавшихся скрипом его лакированных сапогов. Из комнаты справа, стремясь предупредить Грегора, шептала сестра.

— Грегор, пришел управляющий.

— Я знаю, — сказал Грегор тихо; повысить голос настолько, чтобы услышала сестра, он не отважился.

— Грегор, — заговорил отец в комнате слева, — к нам пришел господин управляющий. Он спрашивает, почему ты не уехал с утренним поездом. Мы не знаем, что ответить ему. Впрочем, он хочет поговорить и с тобой лично. Поэтому, пожалуйста, открой дверь. Он уж великодушно извинит нас за беспорядок в комнате.

— Доброе утро, господин Замза, — приветливо вставил сам управляющий.

— Ему нездоровится, — сказала мать управляющему, покуда отец продолжал говорить у двери. — Поверьте мне, господин управляющий, ему нездоровится. Разве иначе Грегор опоздал бы на поезд! Ведь мальчик только и думает что о фирме. Я даже немного сержусь, что он никуда не ходит по вечерам; он пробыл восемь дней в городе, но все вечера пропал дома. Сидит себе за столом и молча читает газету или изучает расписания поездов. Единственное развлечение, которое он позволяет себе, — это выпиливание. За каких-нибудь два-три вечера он сделал, например, рамочку; такая красивая рамочка, просто загляденье; она висит там в комнате, вы сейчас ее увидите, когда Грегор откроет. Право, я счастлива, что вы пришли, господин управляющий; без вас мы бы не заставили Грегора открыть дверь; он такой упрямый; и наверняка ему нездоровится, хотя он и отрицал это утром.

— Сейчас я выйду, — медленно и размеренно сказал Грегор, но не шевельнулся, чтобы не пропустить ни одного слова из их разговоров.

— Другого объяснения, сударыня, у меня и нет, — сказал управляющий. — Будем надеяться, что болезнь его не опасна. Хотя, с другой стороны, должен заметить, что нам, коммерсантам, — то ли к счастью, то ли к несчастью — приходится часто в интересах дела просто превозмогать всякий недуг.

— Значит, господин управляющий может уже войти к тебе? — спросил нетерпеливый отец и снова постучал в дверь.

— Нет, — сказал Грегор.

В комнате слева наступила мучительная тишина, в комнате справа зарыдала сестра.

Почему сестра не шла к остальным? Вероятно, она только сейчас

встала с постели и еще даже не начала одеваться. А почему она плакала? Потому что он не вставал и не впускал управляющего, потому что он рисковал потерять место и потому что тогда хозяин снова стал бы преследовать родителей старыми требованиями. Но ведь покамест это были напрасные страхи. Грегор был еще здесь и вовсе не собирался покидать свою семью. Сейчас он, правда, лежал на ковре, и, узнав, в каком он находится состоянии, никто не стал бы требовать от него, чтобы он впустил управляющего. Но не выгонят же так уж сразу Грегора из-за этой маленькой невежливости, для которой позднее легко найдется подходящее оправдание! И Грегору казалось, что гораздо разумнее было бы оставить его сейчас в покое, а не докучать ему плачем и уговорами. Но ведь всех угнетала — и это извиняло их поведение — именно неизвестность.

— Господин Замза, — воскликнул управляющий, теперь уж повысив голос, — в чем дело? Вы заперлись в своей комнате, отвечаете только "да" и "нет", доставляете своим родителям тяжелые, ненужные волнения и уклоняетесь — упомяну об этом лишь вскользь — от исполнения своих служебных обязанностей поистине неслыханным образом. Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего хозяина и убедительно прошу вас немедленно объясниться. Я удивлен, я поражен! Я считал вас спокойным, рассудительным человеком, а вы, кажется, вздумали выкидывать странные номера. Хозяин, правда, намекнул мне сегодня утром на возможное объяснение вашего прогула — оно касалось недавно доверенного вам инкассо, — но я, право, готов был дать честное слово, что это объяснение не соответствует действительности. Однако сейчас, при виде вашего непонятного упрямства, у меня пропадает всякая охота в какой бы то ни было мере за вас заступаться. А положение ваше отнюдь не про.но. Сначала я намеревался сказать вам это с глазу на глаз, но, поскольку вы заставляете меня напрасно тратить здесь время, я не вижу причин утаивать это от ваших уважаемых родителей. Ваши успехи в последнее время были, скажу я вам, весьма неудовлетворительны; правда, сейчас не то время года, чтобы заключать большие сделки, это мы признаем; но такого времени года, когда не заключают никаких сделок, вообще не существует, господин Замза, не может существовать.

— Но, господин управляющий, — теряя самообладание, воскликнул Грегор и от волнения забыл обо всем другом, — я же немедленно, сию минуту открою! Легкое недомогание, приступ головокружения не давали мне возможности встать. Я и сейчас еще лежу в кровати. Но я уже совсем пришел в себя. И уже встаю. Минутку терпения! Мне еще не так хорошо, как я думал. Но уже лучше. Подумать только, что за напасть! Еще вчера вечером я чувствовал себя превосходно, мои родители это подтвердят, нет, вернее, уже вчера вечером у меня появилось какое-то предчувствие. (очень возможно, что это было заметно. И почему я не уведомил об этом фирму! Но ведь всегда думаешь, что переможешь болезнь на ногах. Господин управляющий! Пошадите моих родителей! Ведь для упреков, которые вы сейчас мне делаете, нет никаких оснований; мне же и не говорили об этом ни слова. Вы, наверно, не видели последних заказов, которые я прислал. Да я еще и уеду с восьмичасовым поездом, несколько лишних часов сна подкрепили мои силы. Не задерживайтесь, господин управляющий, я сейчас сам приду в фирму, будьте добры, так и скажите и засвидетельствуйте мое почтение хозяину!

И куда Грегор все это поспешно выпаливал, сам не зная, что он говорит, он легко — видимо, наловчившись в кровати — приблизился к

сундуку и попытался, опираясь на него, выпрямиться во весь рост. Он действительно хотел открыть дверь, действительно хотел выйти и поговорить с управляющим; ему очень хотелось узнать, что скажут, увидев его, люди, которые сейчас так его ждут. Если они испугаются, значит, с Грегора уже снята ответственность и он может быть спокоен. Если же они примут все это спокойно, то, значит, и у него нет причин волноваться и, поторопившись, он действительно будет на вокзале в восемь часов. Сначала он несколько раз соскальзывал с полированного сундука, но наконец, сделав последний рывок, выпрямился во весь рост; на боль в нижней части туловища он уже не обращал внимания, хотя она была очень мучительна. Затем, навалившись на спинку стоявшего поблизости стула, он зацепился за ее края ножками. Теперь он обрел власть над своим телом и умолк, чтобы выслушать ответ управляющего.

— Поняли ли вы хоть одно слово? — спросил тот родителей. — Уж не издается ли он над нами?

— Господь с вами, — воскликнула мать, вся в слезах, — может быть, он тяжело болен, а мы его мучим. Грета! Грета! — крикнула она затем.

— Мама? — отозвалась сестра с другой стороны.

— Сейчас же ступай к врачу. Грегор болен. Скорей за врачом. Ты слышала, как говорил Грегор?

— Это был голос животного, — сказал управляющий, сказал поразительно тихо по сравнению с криками матери.

— Анна! Анна! — закричал отец через переднюю в кухню и хлопнул ладони. — Сейчас же приведите слесаря!

И вот уже обе девушки, шурша юбками, пробежали через переднюю — как же это сестра так быстро оделась? — и распахнули входную дверь. Не слышно было, чтобы дверь захлопнулась — наверно, они так и оставили ее открытой, как то бывает в квартирах, где произошло большое несчастие.

А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде, — вероятно, потому, что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь. Уверенность и твердость, с какими отдавались первые распоряжения, поддействовали на него благотворно. Он чувствовал себя вновь приобщенным к людям и ждал от врача и от слесаря, не отделяя, по существу, одного от другого, удивительных свершений. Чтобы перед приближавшимся решающим разговором придать своей речи как можно большую ясность, он немного откашлялся, стараясь, однако, сделать это поглубже, потому что, возможно, и эти звуки больше не походили на человеческий кашель, а судить об этом он уже не решался. В соседней комнате стало между тем совсем тихо. Может быть, родители сидели с управляющим за столом и шушукались, а может быть, все они приникли к двери, прислушиваясь.

Грегор медленно продвинулся со стулом к двери, отпустил его, навалился на дверь, припал к ней стоймя — на подушечках его лапок было какое-то клейкое вещество — и немного передохнул, натрудившись. А затем принялся поворачивать ртом ключ в замке. Увы, у него, кажется, не было настоящих зубов — чем же схватить теперь ключ? — но зато челюсти оказались очень сильными; с их помощью он и в самом деле задвинул ключом, не обращая внимания на то, что, несомненно, причинил себе вред, ибо какая-то буря жидкость выступила у него изо рта, потекла по ключу и закапала на пол.

— Послушайте-ка, — сказал управляющий в соседней комнате, — он поворачивает ключ.

Это очень ободрило Грегора; но лучше бы все они, и отец, и мать, кричали ему, лучше бы они все кричали ему: "Сильней, Грегор! Ну-ка, поднажись, ну-ка, нажми на замок!" И, вообразив, что все напряженно следят за его усилиями, он самозабвенно, изо всех сил вцепился в ключ. По мере того как ключ поворачивался, Грегор переваливался около замка с ножки на ножку; держась теперь стоймя только с помощью рта, он по мере надобности то повисал на ключе, то наваливался на него всей тяжестью своего тела. Звонкий щелчок поддавшегося наконец замка как бы разбудил Грегора. Переведя дух, он сказал себе: "Значит, я все-таки обошелся без слесаря" — и положил голову на дверную ручку, чтобы отворить дверь.

Пожелоду отворил он ее таким способом, его самого еще не было видно, когда дверь уже довольно широко отворилась. Сначала он должен был медленно обойти одну створку, а обойти ее нужно было с большой осторожностью, чтобы не шлепнуться на спину у самого входа в комнату. Он был еще занят этим трудным передвижением и, торопясь, ни на что больше не обращал внимания, как вдруг услышал громкое "О!" управляющего — оно прозвучало, как свист ветра, — и увидел затем его самого: находясь ближе всех к двери, тот прижал ладонь к открытому рту и медленно пятился, словно его гнала какая-то невидимая, неодолимая сила. Мать — несмотря на присутствие управляющего, она стояла здесь с распущенными еще с ночи, взъерошенными волосами — сначала, стиснув руки, взглянула на отца, а потом сделала два шага к Грегору и рухнула, разметав вокруг себя юбки, опустив к груди лицо, так что его совсем не стало видно. Отец угрожающе сжал кулак, словно желая вытолкнуть Грегора в его комнату, потом нерешительно оглядел гостиную, закрыл руками глаза и заплакал, и могучая его грудь сотрясалась.

Грегор вовсе и не вошел в гостиную, а прислонился изнутри к закрепленной створке, отчего видны были только половина его туловища и заглядывавшая в комнату голова, склоненная набок. Тем временем сделалось гораздо светлее; на противоположной стороне улицы четко вырисовывался кусок бесконечного серо-черного здания — это была больница — с равномерно и четко разрезавшими фасад окнами; дождь еще шел, но только большими, в отдельности различимыми и как бы отдельно же падавшими на землю каплями. Посуда для завтрака стояла на столе в огромном количестве, ибо для отца завтрак был важнейшей трапезой дня, гланувшей у него, за чтением газет, часами. Как раз на противоположной стене висела фотография Грегора времен его военной службы; на ней был изображен лейтенант, который, положив руку на эфес шпаги и беззаботно улыбаясь, внушал уважение своей выправкой и своим мундиром. Дверь в переднюю была отворена, и, так как входная дверь тоже была открыта, виднелась лестничная площадка и начало уходившей вниз лестницы.

— Ну вот, — сказал Грегор, отлично сознавая, что спокойствие сохранил он один, — сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду. А вам хочется, вам хочется, чтобы я поехал? Ну вот, господин управляющий, вы видите, я не упрямец, я работаю с удовольствием; разъезды утомительны, но я не мог бы жить без разъездов. Куда же вы, господин управляющий? В конюру? Да? Вы должны обо всем? Иногда человек не в состоянии работать, но тогда как раз самое время вспомнить о прежних своих успехах в

надежде, что тем внимательней и прилежнее будешь работать в дальнейшем, по устранении помехи. Ведь я так обязан хозяину, вы же отлично это знаете. С другой стороны, на мне лежит забота о родителях и о сестре. Я попал в беду, но я выкарабкаюсь. Только не ухудшайте моего и без того трудного положения. Будьте в фирме на моей стороне! Коммивояжеры не любят, я знаю. Думают, они зарабатывают бешеные деньги и при этом живут в свое удовольствие. Никто просто не задумывается над таким предрассудком. Но вы, господин управляющий, вы знаете, как обстоит дело, знаете лучше, чем остальной персонал, и даже, говоря между нами, лучше, чем сам хозяин, который, как предприниматель, легко может ошибиться в своей оценке в невыгодную для того или иного служащего сторону. Вы отлично знаете также, что, находясь почти весь год вне фирмы, коммивояжер легко может стать жертвой сплетни, случайностей и беспочвенных обвинений, защититься от которых он совершенно не в силах, так как по большей части он о них ничего не знает и только потом, когда, измотанный, возвращается из поездки, испытывает их скверные, уже далекие от причин последствия на собственной шкуре. Не уходите, господин управляющий, не дав мне ни одним словом понять, что вы хотя бы отчасти признаете мою правоту!

Но управляющий отвернулся, едва Грегор заговорил, и, надувшись, глядел на него только поверх плеча, которое непрестанно дергалось. И во время речи Грегора он ни секунды не стоял на месте, а удалялся, не спуская с Грегора глаз, к двери, — удалялся, однако, очень медленно, словно какой-то тайный запрет не позволял ему покидать комнату. Он был уже в передней, и, глядя на то, как неожиданно резко он сделал последний шаг из гостиной, можно было подумать, что он только что обжег себе ступню. А в передней он протянул правую руку к лестнице, словно там его ждало прямо-таки неземное блаженство.

Грегор понимал, что он ни в коем случае не должен отпускать управляющего в таком настроении, если не хочет поставить под удар свое положение в фирме. Родители не сознавали всего этого так ясно; с годами они привыкли думать, что в этой фирме Грегор устроился на всю жизнь, и свалившиеся на них сейчас заботы и вовсе лишили их проницательности. Но Грегор этой проницательностью обладал. Управляющего нужно было задержать, успокоить, убедить и в конце концов расположить в свою пользу, ведь от этого зависела будущность Грегора и его семьи! Ах, если бы сестра не ушла! Она умна, она плакала уже тогда, когда Грегор еще спокойно лежал на спине. И, конечно же, управляющий, этот дамский угодник, повиновался бы ей; она закрыла бы входную дверь и своими угрозами рассеяла бы его страхи. Но сестра-то как раз и ушла, Грегор должен был действовать сам. И, не подумав о том, что совсем еще не знает теперешних своих возможностей передвижения, не подумав и о том, что его речь, возможно и даже вероятней всего, снова осталась непонятой, он покинул створку дверей; пробрался через проход; хотел было направиться к управляющему — который, выйдя уже на площадку, смешно схватился обеими руками за перила, — но тут же, ища опоры, со слабым криком упал на все свои лапки. Как только это случилось, телу его впервые в это утро стало удобно; под лапками была твердая почва; они, как он, в радости своей, отметил, отлично его слушались, даже сами стремились перенести его туда, куда он хотел; и он уже решил, что вот-вот все его муки окончательно прекратятся. Но в этот самый миг, когда он покидался от толчка, лежа на полу неподалеку от своей матери, как раз на

против нее, мать, которая, казалось, совсем оцепенела, вскочила вдруг на ноги, широко развела руки, растопырила пальцы, закричала: "Помогите! Помогите ради бога!", склонила голову, как будто хотела получше разглядеть Грегора, однако вместо этого бессмысленно отбежала назад; забыла, что позади нее стоит накрытый стол; достигнув его, она, словно по рассеянности, поспешно на него села и, кажется, совсем не заметила, что рядом с ней из опрокинутого большого кофейника хлещет на ковер кофе.

— Мама, мама, — тихо сказал Грегор и поднял на нее глаза.

На мгновение он совсем забыл об управляющем; однако при виде льющегося кофе он не удержался и несколько раз судорожно глотнул воздух. Увидев это, мать снова вскрикнула, прыгнула со стола и упала на грудь поспешившему ей навстречу отцу. Но у Грегора не было сейчас времени заниматься родителями; управляющий был уже на лестнице; положив подбородок на перила, он бросил последний, прощальный взгляд назад. Грегор пустился было бегом, чтобы вернее его догнать; но управляющий, видимо, догадался о его намерении, ибо, перепрыгнув через несколько ступенек, исчез. Он только воскликнул: "Фу!" — и звук этот разнесся по лестничной клетке. К сожалению, бегство управляющего, видимо, вконец расстроило державшегося до сих пор сравнительно стойко отца, потому что, вместо того чтобы самому побежать за управляющим или хотя бы не мешать Грегору догнать его, он схватил правой рукой трость управляющего, которую тот вместе со шляпой и пальто оставил на стуле, а левой взял со стола большую газету и, топая ногами, размахивая газетой и палкой, стал загонять Грегора в его комнату. Никакие просьбы Грегора не помогли, да и не понимал отец никаких его просьб; как бы смиренно Грегор ни мотал головой, отец только сильнее и сильнее топал ногами. Мать, несмотря на холодную погоду, распахнула окно настежь и, высунувшись в него, спрятала лицо в ладонях. Между окном и лестничной клеткой образовался сильный сквозняк, занавески взлетели, газеты на столе зашуршали, несколько листов попало по полу. Отец неумолимо наступал, издавая, как дикарь, шипящие звуки. А Грегор еще совсем не научился пятиться, он двигался назад действительно очень медленно. Если бы Грегор повернулся, он сразу же оказался бы в своей комнате, но он боялся раздражить отца медлительностью своего поворота, а отцовская палка в любой миг могла нанести ему смертельный удар по спине или по голове. Наконец, однако, ничего другого Грегору все-таки не осталось, ибо он, к ужасу своему, увидел, что, пятясь назад, не способен даже поддерживать определенного направления; и поэтому, не переставая боязливо коситься на отца, он начал — по возможности быстро, на самом же деле очень медленно — поворачиваться. Отец, видно, оценил его добрую волю и не только не мешал ему поворачиваться, но даже издали направлял его движение кончиком своей палки. Если бы только не это несносное шипение отца! Из-за него Грегор совсем терял голову. Он уже заканчивал поворот, когда, прислушиваясь к этому шипению, ошибся и повернул немного назад. Но когда он наконец благополучно направил голову в раскрытую дверь, оказалось, что туловище его слишком широко, чтобы свободно в нее пролезть. Отец в его теперешнем состоянии, конечно, не сообразил, что надо открыть другую створку двери и дать Грегору проход. У него была одна навязчивая мысль — как можно скорее загнать Грегора в его комнату. Никак не потерпел бы он и обстоятельной подготовки, которая требовалась Грегору, чтобы выпрямиться во весь рост и таким образом, может быть, пройти через дверь. Словно не было никакого препят-

ствия, он гнал теперь Грегора вперед с особенным шумом; звуки, раздававшиеся позади Грегора, уже совсем не походили на голос одного только отца; тут было и в самом деле не до шуток, и Грегор — будь что будет — втиснулся в дверь. Одна сторона его туловища поднялась, он наискось лег в проходе, один его бок был совсем изранен, на белой двери остались безобразные пятна; вскоре он застрял и уже не мог самостоятельно двигаться дальше, на одном боку лапки повисли, дрожая, вверх; на другом они были больно прижаты к полу. И тогда отец с силой дал ему сзади по истине спасительного теперь пинка, и Грегор, обливаясь кровью, влетел в свою комнату. Дверь захлопнули палкой, и наступила долгожданная тишина.

II

Лишь в сумерках очнулся Грегор от тяжелого, похожего на обморок сна. Если бы его и не побеспокоили, он все равно проснулся бы ненамного позднее, так как чувствовал себя достаточно отдохнувшим и выспавшимся, но ему показалось, что разбудили его чьи-то легкие шаги и звук осторожно запираемой двери, выходящей в переднюю. На потолке и на верхних частях мебели лежал проникавший с улицы свет электрических фонарей, но внизу, у Грегора, было темно. Медленно, еще неуклюже шаря своими щупальцами, которые он только теперь начинал ценить, Грегор подполз к двери, чтобы посмотреть, что там произошло. Левый его бок казался сплошным длинным, неприятно саднящим рубцом, и он по настоящему хромал на оба ряда своих ног. В ходе утренних приключений одна ножка — чудом только одна — была тяжело ранена и безжизненно волочилась по полу.

Лишь у двери он понял, что, собственно, его туда повлекло: это был запах чего-то съедобного. Там стояла миска со сладким молоком, в котором плавали ломтики белого хлеба. Он едва не засмеялся от радости, ибо есть ему хотелось еще сильнее, чем утром, и чуть ли не с глазами окунул голову в молоко. Но вскоре он разочарованно вытащил ее оттуда; мало того, что из-за раненого левого бока есть ему было трудно — а есть он мог только широко разевая рот и работая всем своим туловищем, — молоко, которое всегда было его любимым напитком и которое сестра, конечно, потому и принесла, показалось ему теперь совсем невкусным; он почти отвращением отвернулся от миски и пополз назад, к середине комнаты.

В гостиной, как увидел Грегор сквозь щель в двери, зажгли свет, но если обычно отец в это время громко читал матери, а иногда и сестре ночную газету, то сейчас не было слышно ни звука. Возможно, впрочем, что это чтение, о котором ему всегда рассказывала и писала сестра, в последнее время вообще вышло из обихода. Но и кругом было очень тихо, хотя в квартире, конечно, были люди. "До чего же, однако, тихую жизнь ведет моя семья", — сказал себе Грегор и, уставившись в темноту, почувствовал великую гордость от сознания, что он сумел добиться для своих родителей и сестры такой жизни в такой прекрасной квартире. А что, если этому покою, благополучию, довольству пришел теперь ужасный конец? Чтобы не предаваться подобным мыслям, Грегор решил размяться и принялся ползать по комнате.

Один раз в течение долгого вечера чуть приоткрылась, но тут захлопнулась одна боковая дверь и еще раз — другая; кому-то, видимо,

хотелось войти, но опасения взяли верх. Грегор остановился непосредственно у двери в гостиную, чтобы каким-нибудь образом залучить нерешительного посетителя или хотя бы узнать, кто это, но дверь больше не отворялась, и ожидание Грегора оказалось напрасным. Утром, когда двери были заперты, все хотели войти к нему, теперь же, когда одну дверь он открыл сам, а остальные были, несомненно, открыты в течение дня, никто не входил, а ключи между тем торчали снаружи.

Лишь поздно ночью погасили в гостиной свет, и тут сразу выяснилось, что родители и сестра до сих пор бодрствовали, потому что сейчас, как это было отчетливо слышно, они все удалились на цыпочках. Теперь, конечно, до утра к Грегору никто не войдет, значит, у него было достаточно времени, чтобы без помех поразмыслить, как ему перестроить свою жизнь. Но высокая пустая комната, в которой он вынужден был плашмя лежать на полу, пугала его, хотя причины своего страха он не понимал, ведь он жил в этой комнате вот уже пять лет, и, повернувшись почти безотчетно, он не без стыда поспешил уползти под диван, где, несмотря на то что спину ему немного прижало, а голову уже нельзя было поднять, он сразу же почувствовал себя очень уютно и пожалел только, что туловище его слишком широко, чтобы поместиться целиком под диваном.

Там пробыл он всю ночь, проведя ее отчасти в дремоте, которую то и дело вспугивал голод, отчасти же в заботах и смутных надеждах, неизменно приводивших его к заключению, что покамест он должен вести себя спокойно и обязан своим терпением и тактом облегчить семье неприятности, которые он причинил ей теперешним своим состоянием.

Уже рано утром — была еще почти ночь — Грегору представился случай испытать твердость только что принятого решения, когда сестра, почти совсем одетая, открыла дверь из передней и настороженно заглянула к нему в комнату. Она не сразу заметила Грегора, но, увидев его под диваном — ведь где-то, о господи, он должен был находиться, не мог же он улететь! — испугалась так, что, не совладав с собой, захлопнула дверь снаружи. Но, словно раскаявшись в своем поведении, она тотчас же открыла дверь снова и на цыпочках, как к тяжелобольному или даже как к постороннему, вошла в комнату. Грегор высунул голову к самому краю дивана и стал следить за сестрой. Заметит ли она, что он оставил молоко, причем вовсе не потому, что не был голоден, и принесет ли какую-нибудь другую еду, которая подойдет ему больше? Если бы она не сделала этого сама, он скорее бы умер с голоду, чем обратил на это ее внимание, хотя его так и подмывало выскочить из-под дивана, броситься с ногам сестры и попросить у нее какой-нибудь хорошей еды. Но, сразу же с удивлением заметив полную еще миску, из которой только чуть-чуть расплескалось молоко, сестра немедленно подняла ее, правда, не просто руками, а при помощи тряпки, и вынесла прочь. Грегору было очень любопытно, что она принесет взамен, и он стал строить всяческие догадки на этот счет. Но он никак не додумался бы до того, что сестра, по своей доброте, действительно сделала. Чтобы узнать его вкус, она принесла ему целый выбор кушаний, разложив всю эту снедь на старой газете. Тут были лежащие, с гнильцой овощи; оставшиеся от ужина кости, покрытые белым застывшим соусом; немного изюму и миндаля; кусок сыру, который Грегор два дня назад объявил несъедобным; ломоть сухого хлеба, ломоть хлеба, намазанный маслом, и ломоть хлеба, намазанный маслом и посыпанный солью. Вдобавок ко всему этому она поставила ему ту же самую, раз и навсегда, вероятно, выделенную для Грегора миску, налив в нее

воды. Затем она из деликатности, зная, что при ней Грегор не станет есть, поспешила удалиться и даже повернула ключ в двери, чтобы показать Грегору, что он может устраиваться, как ему будет удобнее. Лапки Грегора, когда он теперь направился к еде, замелькали одна быстрее другой. Да и раны его, как видно, совсем зажили, он не чувствовал уже никаких помех и, удивившись этому, вспомнил, как месяц с лишним назад он слегка обрезал палец ножом и как не далее чем позавчера эта рана еще причиняла ему довольно сильную боль. "Неужели я стал теперь менее чувствителен?" — подумал он и уже жадно впился в сыр, к которому его сразу потянуло настойчивее, чем к какой-либо другой еде. Со слезящимися от наслаждения глазами он быстро уничтожил подряд сыр, овощи, соус; свежая пища, напротив, ему не нравилась, даже запах ее казался ему несносным, и он оттаскивал в сторону от нее куски, которые хотел съесть. Он давно уже упрямился с едой и лениво лежал на том же месте, где ел, когда сестра в знак того, что ему пора удалиться, медленно повернула ключ. Это его сразу вспугнуло, хотя он уже почти дремал, и он опять поспешил под диван. Но ему стоило больших усилий пробыть под диваном даже то короткое время, покуда сестра находилась в комнате, ибо от обильной еды туловище его несколько округлилось и в тесноте ему было трудно дышать. Превозмогая слабые приступы удушья, он глядел выпученными глазами, как ничего не подозревавшая сестра смела венником в одну кучу не только его объедки, но и снедь, к которой Грегор вообще не притрагивался, словно и это уже не пойдет впрок, как она поспешно выбросила все это в ведро, прикрыла его дощечкой и вынесла. Не успела она отвернуться, как Грегор уже вылез из-под дивана, вытянулся и раздужился.

Таким образом Грегор получал теперь еду ежедневно — один раз утром, когда родители и прислуга еще спали, а второй раз после общего обеда, когда родители опять-таки ложились спать, а прислугу сестра усылала из дому с каким-нибудь поручением. Они тоже, конечно, не хотели, чтобы Грегор умер с голоду, но зная все подробности кормления Грегора им было бы, вероятно, невыносимо тяжело, и, вероятно, сестра старалась избавить их хотя бы от маленьких огорчений, потому что страдали они и в самом деле достаточно.

Под каким предлогом выпроводили из квартиры в то первое утро врача и слесаря, Грегор так и не узнал: поскольку его не понимали, никому, в том числе и сестре, не приходило в голову, что он-то понимает других, и поэтому, когда сестра бывала в его комнате, ему доводилось слышать только вздохи да зывания к святым. Лишь позже, когда она немного привыкла ко всему — о том, чтобы привыкнуть совсем, не могло быть, конечно, и речи, — Грегор порой ловил какое-нибудь явно доброжелательное замечание. "Сегодня угощение пришлось ему по вкусу", — говорила она, если Грегор съедал все дочиста, тогда как в противном случае, что постепенно стало повторяться все чаще и чаще, она говорила почти печально: "Опять все осталось".

Но, не узнавая никаких новостей непосредственно, Грегор подслушивал разговоры в соседних комнатах, и стоило ему откуда-либо услышать голоса, он сразу же спешил к соответствующей двери и прижимался к ней всем телом. Особенно в первое время не было ни одного разговора, который так или иначе, хотя бы и тайно, его не касался. В течение двух дней за каждой трапезой совещались о том, как теперь себя вести; но и между трапезами говорили на ту же тему, и дома теперь всегда бывало не

менее двух членов семьи, потому что никто, видимо, не хотел оставаться дома один, а покидать квартиру всем сразу никак нельзя было. Кстати, прислуга — было не совсем ясно, что именно знала она о случившемся, — в первый же день, упав на колени, попросила мать немедленно отпустить ее, а прощаясь через четверть часа после этого, со слезами благодарила за увольнение как за величайшую милость и дала, хотя этого от нее вовсе не требовали, страшную клятву, что никому ни о чем не станет рассказывать.

Пришлось сестре вместе с матерью заняться стряпней; это не составило, впрочем, особого труда, ведь никто почти ничего не ел. Грегор то и дело слышал, как они тщетно уговаривали друг друга поесть и в ответ раздавалось "Спасибо, я уже сыт" или что-нибудь подобное. Пить, кажется, тоже перестали. Сестра часто спрашивала отца, не хочет ли он пива, и охотно вызывалась сходить за ним, а когда отец молчал, говорила, надеясь этим избавить его от всяких сомнений, что может послать за пивом дворничиху, но тогда отец отвечал решительным "нет", и больше об этом не заговаривали.

Уже в течение первого дня отец разъяснил матери и сестре имущественное положение семьи и виды на будущее. Он часто вставал из-за стола и извлекал из своей маленькой домашней кассы, которая сохранилась от его прогоревшей пять лет назад фирмы, то какую-нибудь квитанцию, то записную книжку. Слышно было, как он отпирал сложный замок и, достав то, что искал, опять поворачивал ключ. Эти объяснения отца были отчасти первой утешительной новостью, услышанной Грегором с начала его заточения. Он считал, что от того предприятия у отца решительно ничего не осталось, во всяком случае, отец не утверждал противного, а Грегор его об этом не спрашивал. Единственной в ту пору заботой Грегора было сделать все, чтобы семья как можно скорей забыла банкротство, приведшее всех в состояние полной безнадежности. Поэтому он начал тогда трудиться с особым пылом и чуть ли не сразу сделался из маленького приказчика вояжером, у которого были, конечно, совсем другие заработки и чьи деловые успехи тотчас же, в виде комиссионных, превращались в наличные деньги, каковые и можно было положить дома на стол перед удивленной и счастливой семьей. То были хорошие времена, и потом они уже никогда, по крайней мере в прежнем великолепии, не повторялись, хотя Грегор и позже зарабатывал столько, что мог содержать и действительно содержал семью. К этому все привыкли — и семья, и сам Грегор; деньги у него с благодарностью принимали, а он охотно их давал, но особой теплоты больше не возникало. Только сестра осталась все-таки близка Грегору; и так как она в отличие от него очень любила музыку и трогательно играла на скрипке, у Грегора была тайная мысль определить ее на будущий год в консерваторию, несмотря на большие расходы, которые это вызовет и которые придется покрыть за счет чего-то другого. Во время коротких задержек Грегора в городе в разговорах с сестрой часто упоминалась консерватория, но упоминалась всегда как прекрасная, несбыточная мечта, и даже эти невинные упоминания вызывали у родителей неудовольствие; однако Грегор думал о консерватории очень определенно и собирался торжественно заявить о своем намерении в канун рождества.

Такие, совсем бесполезные в нынешнем его состоянии, мысли вертелись в голове Грегора, когда он, прислушиваясь, стоя на прилипав к двери. Утомившись, он нет-нет да переставал слушать и, нечаянно скло-

нив голову, ударялся о дверь, но тотчас же опять выпрямлялся, так как малейший учиненный им шум был слышен за дверью и заставлял всех умолкать. "Что он там опять вытворяет?" — говорил после небольшой паузы отец, явно глядя на дверь, и лишь после этого постепенно возобновлялся прерванный разговор.

Так вот, постепенно (ибо отец повторялся в своих объяснениях отчасти потому, что давно уже отошел от этих дел, отчасти же потому, что мать не все понимала с первого раза) Грегор с достаточными подробностями узнал, что, несмотря на все беды, от старых времен сохранилось еще маленькое состояние и что оно, так как процентов не трогали, за эти годы даже немного выросло. Кроме того, оказалось, что деньги, которые ежемесячно приносил домой Грегор — он оставлял себе всего несколько гульденов, — уходили не целиком и образовали небольшой капитал. Стоя за дверью, Грегор усленно кивал головой, обрадованный такой нежностью данной предусмотрительностью и бережливостью. Вообще-то он мог бы этими лишними деньгами погасить часть отцовского долга и приблизить тот день, когда он, Грегор, волен был бы отказаться от своей службы, но теперь оказалось несомненно лучше, что отец распорядился деньгами именно так.

Денег этих, однако, было слишком мало, чтобы семья могла жить на проценты; их хватило бы, может быть, на год жизни, от силы на два, не больше. Они составляли, таким образом, только сумму, которую следовало, собственно, отложить на черный день, а не тратить; а деньги на жизнь надо было зарабатывать. Отец же был хоть и здоровым, но старым человеком, он уже пять лет не работал и не очень-то на себя надеялся; за эти пять лет, оказавшиеся первыми каникулами в его хлопотливой, но не удачливой жизни, он очень обрюзг и стал поэтому довольно тяжел на подъем. Уж не должна ли была зарабатывать деньги старая мать, которая страдала астмой, с трудом передвигалась даже по квартире и через день, задыхаясь, лежала на кушетке возле открытого окна? Или, может быть, их следовало зарабатывать сестре, которая в свои семнадцать лет была еще ребенком и имела полное право жить так же, как до сих пор, — изрядно одеваться, спать допоздна, помогать в хозяйстве, участвовать в каких-нибудь скромных развлечениях и прежде всего играть на скрипке? Когда заходила речь об этой необходимости заработка, Грегор всегда отпускал дверь и бросался на прохладный кожаный диван, стоявший близ двери, потому что ему делалось жарко от стыда и от горя.

Он часто лежал там долгими ночами, не засыпая ни на одно мгновение, и часами терся о кожу дивана или, не жалея трудов, придвигал кресло к окну, вскарабкивался к проему и, упершись в кресло, припадал к подоконнику, что было явно только каким-то воспоминанием о чувстве осияния, охватывавшем его прежде, когда он выглядывал из окна. На самом же деле все сколько-нибудь отдаленные предметы он видел лишь ото дня все хуже и хуже; больницу напротив, которую он прежде проклинал — так она примелькалась ему, Грегор вообще больше не различал, и не зная он доподлинно, что живет на тихой, но вполне городской улице Шарлоттенштрассе, он мог бы подумать, что глядит из своего окна на пустыню, в которую неразличимо слились серая земля и серое небо. Стоял ли внимательной сестре лишь дважды увидеть, что кресло стоит у окна, как она стала каждый раз, прибрав комнату, снова придвигать кресло к окну и даже оставлять отныне открытыми внутренние оконные створки.

Если бы Грегор мог поговорить с сестрой и поблагодарить ее за все

что она для него делала, ему было бы легче принимать ее услуги; а так он страдал из-за этого. Правда, сестра всячески старалась смягчить мучительность создавшегося положения, и чем больше времени проходило, тем это, конечно, лучше у нее получалось, но ведь и Грегору все становилось гораздо яснее со временем. Самый ее приход был для него ужасен. Хотя вообще-то сестра усердно оберегала всех от зрелища комнаты Грегора, сейчас она, войдя, не тратила времени на то, чтобы закрыть за собой дверь, а бежала прямо к окну, поспешно, словно она вот-вот задохнется, распахивала его настежь, а затем, как бы ни было холодно, на минутку задерживалась у окна, глубоко дыша. Этой шумной спешкой она пугала Грегора два раза в день; он все время дрожал под диваном, хотя отлично знал, что она, несомненно, избавила бы его от страхов, если бы только могла находиться в одной комнате с ним при закрытом окне.

Однажды — со дня случившегося с Грегором превращения минуло уже около месяца, и у сестры, следовательно, не было особых причин удивляться его виду — она пришла немного раньше обычного и застала Грегора глядящим в окно, у которого он неподвижно стоял, являя собой довольно страшное зрелище. Если бы она просто не вошла в комнату, для Грегора не было бы в этом ничего неожиданного, так как, находясь у окна, он не позволял ей открыть его, но она не просто не вошла, а отпрянула назад и заперла дверь; постороннему могло бы показаться даже, что Грегор подстерегал ее и хотел укусить. Грегор, конечно, сразу же спрятался под диван, но ее возвращения ему пришлось ждать до полудня, и была в ней какая-то необычная встревоженность. Из этого он понял, что она все еще не выносит и никогда не сможет выносить его облика и что ей стоит больших усилий не убежать прочь при виде даже той небольшой части его тела, которая высовывается из-под дивана. Чтобы избавить сестру и от этого зрелища, он однажды перенес на спине — на эту работу ему потребовалось четыре часа — простыню на диван и положил ее таким образом, чтобы она скрывала его целиком и сестра, даже нагнувшись, не могла увидеть его. Если бы, по ее мнению, в этой простыне не было надобности, сестра могла бы ведь и убрать ее, ведь Грегор укрылся так не для удовольствия, это было достаточно ясно, но сестра оставила простыню на месте, и Грегору показалось даже, что он поймал благодарный взгляд, когда осторожно приподнял головой простыню, чтобы посмотреть, как приняла это нововведение сестра.

Первые две недели родители не могли заставить себя войти к нему, и он часто слышал, как они с похвалой отзывались о теперешней работе сестры, тогда как прежде они то и дело сердились на сестру, потому что она казалась им довольно пустой девицей. Теперь и отец и мать часто стояли в ожидании перед комнатой Грегора, пока сестра там убирала, и, едва только она выходила оттуда, заставляли ее подробно рассказывать, в каком виде была комната, что ел Грегор, как он на этот раз вел себя и заметно ли хоть маленькое улучшение. Впрочем, мать относительно скоро пожелала навестить Грегора, но отец и сестра удерживали ее от этого — сначала разумными доводами, которые Грегор, очень внимательно их выслушивая, целиком одобрял. Позднее удерживать ее приходилось уже силой, и, когда она кричала: "Пустите меня к Грегору, это же мой несчастный сын! Неужели вы не понимаете, что я должна пойти к нему?" — Грегор думал, что, наверно, и в самом деле было бы хорошо, если бы мать приходила к нему, конечно, не каждый день, но, может быть, раз в неделю; ведь она понимала все куда лучше, чем сестра, которая при всем сво-

ем мужестве была только ребенком и в конечном счете, наверно, только по детскому легкомыслию взяла на себя такую обузу.

Желание Грегора увидеть мать вскоре исполнилось. Заботясь о родителях, Грегор в дневное время уже не показывался у окна, ползать же по нескольким квадратным метрам пола долго не удавалось, лежать неподвижно было ему уже и ночами трудно, еда вскоре перестала доставлять ему какое бы то ни было удовольствие, и он приобрел привычку ползать для развлечения по стенам и по потолку. Особенно любил он висеть на потолке; это было совсем не то, что лежать на полу; дышалось свободнее, тело легко покачивалось; в том почти блаженном состоянии и рассеянности, в котором он там наверху пребывал, он подчас, к собственному своему удивлению, срывался и шлепался на пол. Но теперь он, конечно, владел своим телом совсем не так, как прежде, и, с какой бы высотой он ни падал, он не причинял себе при этом никакого вреда. Сестра сразу же метила, что Грегор нашел новое развлечение — ведь, ползая, он повсюду оставлял следы клейкого вещества, — и решила предоставить ему как можно больше места для этого занятия, выставив из комнаты мешавшую ему ползать мебель, то есть прежде всего сундук и письменный стол. Но она была не в состоянии сделать это одна; позвать на помощь отца она не осмеливалась, прислуга же ей, безусловно, не помогла бы, ибо, хотя эта шестнадцатилетняя девушка, нанятая после ухода прежней кухарки, не отказывалась от места, она испросила разрешение держать кухню на запоре и открывать дверь лишь по особому оклику; поэтому сестре ничего не оставалось, как однажды, в отсутствие отца, привести мать. Та направилась к Грегору с возгласами взволнованной радости, но перед дверью его комнаты умолкла. Сестра, конечно, сначала проверила, все ли в порядке в комнате; лишь после этого она впустила мать. Грегор с величайшей поспешностью скомкал и еще дальше потянул простыню; казалось, что простыня брошена на диван и в самом деле случайно. На этот раз Грегор не стал выглядывать из-под простыни; он отказался от возможности увидеть мать уже в этот раз, но был рад, что она наконец пришла.

— Входи, его не видно, — сказала сестра и явно повела мать за руку.

Грегор слышал, как слабые женщины старались сдвинуть с места тяжелый старый сундук и как сестра все время брала на себя большую часть работы, не слушая предостережений матери, которая боялась, что та надорвется. Это длилось очень долго. Когда они провозились уже с четверть часа, мать сказала, что лучше оставить сундук там, где он стоит; во-первых, он слишком тяжел и они не управятся с ним до прихода отца, а стоя посреди комнаты, сундук и вовсе преградит Грегору путь, а во-вторых, еще неизвестно, приятно ли Грегору, что мебель выносят. Ей, сказала она, кажется, что ему это скорей неприятно; ее, например, вид голых стен прямо-таки удручает; почему же не должен он удручать и Грегора, коль скоро тот привык к этой мебели и потому почувствует себя в пустой комнате совсем заброшенным.

— И разве, — заключила мать совсем тихо, хотя она и так говорила почти шепотом, словно не желая, чтобы Грегор, местонахождения которого она не знала, услышал хотя бы звук ее голоса, а в том, что слов он не понимает, она не сомневалась, — разве, убирая мебель, мы не показываем, что перестали надеяться на какое-либо улучшение и безжалостно предоставляем его самому себе? По-моему, лучше всего постараться оставить комнату такой же, какой она была прежде, чтобы Грегор, когда он к нам возвратится, не нашел в ней никаких перемен и поскорее забыл это время

Услышав слова матери, Грегор подумал, что отсутствие непосредственного общения с людьми при однообразной жизни внутри семьи помутило, видимо, за эти два месяца его разум, ибо иначе он никак не мог объяснить себе появившейся у него вдруг потребности оказаться в пустой комнате. Неужели ему и в самом деле хотелось превратить свою теплую, уютно обставленную наследственной мебелью комнату в пещеру, где он, правда, мог бы беспрепятственно ползать во все стороны, но зато быстро и полностью забыл бы свое человеческое прошлое? Ведь он и теперь уже был близок к этому, и только голос матери, которого он давно не слышал, его востормошил. Ничего не следовало удалять; все должно было оставаться на месте; благотворное воздействие мебели на его состояние было необходимо; а если мебель мешала ему бессмысленно ползать, то это шло ему не во вред, а на великую пользу.

Но сестра была, увы, другого мнения; привыкнув — и не без основания — при обсуждении дел Грегора выступать в качестве знатока наперекор родителям, она и сейчас сочла совет матери достаточным поводом, чтобы настаивать на удалении не только сундука, но и вообще всей мебели, кроме дивана, без которого никак нельзя было обойтись. Требование это было вызвано, конечно, не только ребяческим упрямством сестры и ее так неожиданно и так нелегко обретенной в последнее время самоуверенностью; нет, она и в самом деле видела, что Грегору нужно много места для передвижения, а мебелью, судя по всему, он совершенно не пользовался. Может быть, впрочем, тут сказались и свойственная девушкам этого возраста пылкость воображения, которая всегда рада случая дать себе волю и теперь побуждала Грету сделать положение Грегора еще более устрашающим, чтобы оказывать ему еще большие, чем до сих пор, услуги. Ведь в помещение, где были бы только Грегор да голые стены, вряд ли осмелился бы кто-либо, кроме Греты, войти.

Поэтому она не вяла совету матери, которая, испытывая в этой комнате какую-то неуверенность и тревогу, вскоре умолкла и принялась в меру своих сил помогать сестре, выставлявшей сундук за дверь. Без сундука Грегор, на худой конец, мог еще обойтись, но письменный стол должен был остаться. И едва обе женщины, вместе с сундуком, который они, кряхтя, толкали, покинули комнату, Грегор высунул голову из-под дивана, чтобы найти способ осторожно и по возможности деликатно вмешаться. Но, на беду, первой вернулась мать, а Грета, оставшаяся одна в соседней комнате, раскачивала, обхватив обеими руками, сундук, который, конечно, так и не сдвинула с места. Мать же не привыкла к виду Грегора, она могла даже заболеть, увидев его, и поэтому Грегор испуганно попятился к другому краю дивана, отчего висевшая спереди простыня все же зашевелилась. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание матери. Она остановилась, немного постояла и ушла к Грете.

Хотя Грегор все время твердил себе, что ничего особенного не происходит и что в квартире просто переставляют какую-то мебель, непрерывное хождение женщин, их негромкие возгласы, звуки скребущей пол мебели — все это, как он вскоре признался себе, показалось ему огромным, всеохватывающим переполохом; и, втянув голову, прижав ноги к туловищу, а туловищем плотно прильнув к полу, он вынужден был сказать себе, что не выдержит этого долго. Они опустошали его комнату, отнимали у него все, что было ему дорого; сундук, где лежали его лобзик и другие инструменты, они уже вынесли; теперь они двигали успевший уже продавить паркет письменный стол, за которым он готовил уроки,

учась в торговом, в реальном и даже еще в народном училище, — и ему было уже некогда вникать в добрые намерения этих женщин, о существовании которых он, кстати, почти забыл, ибо от усталости они работали уже молча и был слышен только тяжелый топот их ног.

Поэтому он выскочил из-под дивана — женщины были как раз в смежной комнате, они переводили дух, опершись на письменный стол, четырежды поменял направление бега, и впрямь не зная, что ему спасать в первую очередь, увидел особенно заметный на уже пустой стене портрет дамы в мехах, поспешно вскарабкался на него и прижался к стеклу, которое, удерживая его, приятно охлаждало ему живот. По крайней мере этого портрета, целиком закрытого теперь Грегором, у него наверняка не отберет никто. Он повернул голову к двери гостиной, чтобы увидеть женщин, когда они вернутся.

Они отдыхали не очень-то долго и уже возвращались; Грета почти неслась мать, обняв ее одной рукой.

— Что же мы возьмем теперь? — сказала Грета и оглянулась. Тут взгляд ее встретился со взглядом висевшего на стене Грегора. По-видимому благодаря присутствию матери сохранив самообладание, она склонилась к ней, чтобы помешать ей обернуться, и сказала — сказала, впрочем, дрожа и наобум:

— Не возвратиться ли нам на минутку в гостиную?

Намерение Греты было Грегору ясно — она хотела увести мать в безопасное место, а потом согнать его со стены. Ну что ж, пусть попробует! Он сидит на портрете и не отдаст его. Скорей уж он вцепится Грете в лицо.

Но слова Греты как раз и встревожили мать, она отступила в сторону, увидела огромное бурое пятно на цветастых обоях, вскрикнула, прежде чем до ее сознания по-настоящему дошло, что это и есть Грегор, визгливо-пронзительно: "Ах, боже мой, боже мой!" — упала с раскинутыми в изнеможении руками на диван и застыла.

— Эй, Грегор! — крикнула сестра, подняв кулак и сверкая глазами.

Это были первые после случившегося с ним превращения слова, обращенные к нему непосредственно. Она побежала в смежную комнату и какими-нибудь каплями, с помощью которых можно было бы привести в чувство мать; Грегор тоже хотел помочь матери — спасти портрет времени еще было; но Грегор прочно прилип к стеклу и насилу от него оторвался; затем он побежал в соседнюю комнату, словно мог дать сестре какой-то совет, как в прежние времена, но вынужден был праздно стоять позади нее; перебирая разные пузырьки, она обернулась и испугалась; какой-то пузырек упал на пол и разбился; осколок ранил Грегору лицо, а его всего обрызгало каким-то едким лекарством; не задерживаясь более, Грета взяла столько пузырьков, сколько могла захватить, и побежала к матери; дверь она захлопнула ногой. Теперь Грегор оказался отрезан от матери, которая по его вине была, возможно, близка к смерти; он не должен был открывать дверь, если не хотел прогнать сестру, а сестре следовало ходить с матерью; теперь ему ничего не оставалось, кроме как ждать; и, казнясь раскаянием и тревогой, он начал ползать, облазил все: стены, мебель и потолок — и наконец, когда вся комната уже завертелась вокруг него, в отчаянии упал на середину большого стола.

Прошло несколько мгновений. Грегор без сил лежал на столе, кругом было тихо, возможно, это был добрый знак. Вдруг раздался звонок Прислуга, конечно, заперлась у себя в кухне, и открывать пришлось Грете. Это вернулся отец.

— Что случилось? — были его первые слова; должно быть, вид Греты все ему выдал.

Грета отвечала глухим голосом, она, очевидно, прижалась лицом к груди отца:

— Мама упала в обморок, но ей уже лучше. Грегор вырвался.

— Ведь я же этого ждал, — сказал отец, — ведь я же вам всегда об этом твердил, но вы, женщины, никого не слушаете.

Грегору было ясно, что отец, превратно истолковав слишком скупые слова Греты, решил, что Грегор пустил в ход силу. Поэтому теперь Грегор должен был попытаться как-то смягчить отца, ведь объяснить с ним у него не было ни времени, ни возможности. И, подбежав к двери своей комнаты, он прижался к ней, чтобы отец, войдя из передней, сразу увидел, что Грегор исполнен готовности немедленно вернуться к себе и что не нужно, следовательно, гнать его назад, а достаточно просто отворить дверь — и он сразу исчезнет.

Но отец был не в том настроении, чтобы замечать подобные тонкости.

— А! — воскликнул он, как только вошел, таким тоном, словно был одновременно зол и рад. Грегор отвел голову от двери и поднял ее навстречу отцу. Он никак не представлял себе отца таким, каким сейчас увидел его; правда, в последнее время, начав ползать по всей комнате, Грегор уже не следил, как прежде, за происходившим в квартире и теперь, собственно, не должен был удивляться никаким переменам. И все же, и все же — неужели это был отец? Тот самый человек, который прежде устало зарывался в постель, когда Грегор отправлялся в деловые поездки; который в вечера приездов встречал его дома в халате и, не в состоянии встать с кресла, только приподнимал руки в знак радости; а во время редких совместных прогулок в какое-нибудь воскресенье или по большим праздникам в наглухо застегнутом старом пальто, осторожно выставляя вперед костылик, шагал между Грегором и матерью — которые и сами-то двигались медленно — еще чуть-чуть медленней, чем они, и если хотел что-либо сказать, то почти всегда останавливался, чтобы собрать около себя своих провожатых. Сейчас он был довольно-таки осанит; на нем был строгий синий мундир с золотыми пуговицами, какие носят банковские рассыльные; над высоким тугим воротником нависал жирный двойной подбородок; черные глаза глядели из-под кустистых бровей внимательно и живо; обычно растрепанные седые волосы были безукоризненно причесаны на пробор и напомажены. Он бросил на диван, дугой через всю комнату, свою фуражку с золотой монограммой какого-то, вероятно, банка и, спрятав руки в карманы брюк, отчего фалды длинного его мундира отогнулись назад, двинулся на Грегора с искаженным от злости лицом. Он, видимо, и сам не знал, как поступит; но он необычно высоко поднимал ноги, и Грегор поразился огромному размеру его подошв. Однако Грегор не стал мешкать, ведь он же с первого дня новой своей жизни знал, что отец считает единственно правильным относиться к нему с величайшей строгостью. Поэтому он побежал от отца, останавливаясь, как только отец останавливался, и спеша вперед, стоило лишь пошевелиться отцу. Так сделали они несколько кругов по комнате без каких-либо существенных происшествий, и, так как двигались они медленно, все это даже не походило на преследование. Поэтому Грегор пока оставался на полу, боясь к тому же, что если он вскарабкается на стену или на потолок, то это покажется отцу верхом наглости. Однако Грегор чувствовал, что даже и такой беготни он долго не выдержит; ведь если отец

делал один шаг, то ему, Грегору, приходилось проделывать за это же время бесчисленное множество движений. Одышка становилась все ощутимее, а ведь на его легкие нельзя было вполне полагаться и прежде. И вот, когда он, еле волоча ноги и едва открывая глаза, пытался собрать все силы для бегства, не помышляя в отчаянии ни о каком другом способе спасения и уже почти забыв, что может воспользоваться стенами, застенными здесь, правда, затыликой резной мебелью со множеством острых выступов и зубцов, — вдруг совсем рядом с ним упал и покатился впереди него какой-то брошенный сверху предмет. Это было яблоко; вдогонку за первым тотчас же полетело второе; Грегор в ужасе остановился; бежать дальше было бессмысленно, ибо отец решил бомбардировать его яблоками. Он наполнил карманы содержимым стоявшей на буфете вазы для фруктов и теперь, не очень-то тщательно целясь, швырял одно яблоко за другим. Как назлектризованные, эти маленькие красные яблоки катились по полу и сталкивались друг с другом. Одно легко брошенное яблоко задело Грегору спину, но скатилось, не причинив ему вреда. Зато другое, пущенное сразу вслед, накрепко застряло в спине у Грегора. Грегор хотел отползти подальше, как будто перемена места могла унять внезапную невероятную боль, но он почувствовал себя словно бы пригвожденным к полу и растянулся, теряя сознание. Он успел увидеть только, как распахнулась дверь его комнаты и в гостиную, опережая кричащую что-то сестру, влетела мать в нижней рубашке — сестра раздела ее, чтобы облегчить ей дыхание во время обморока, как мать подбежала к отцу и с ней, одна за другой, свалились на пол развязанные юбки и как она, спотыкаясь о юбки, бросилась отцу на грудь и, обнимая его, целиком слившись с ним, — но тут зрение Грегора уже отказало, — охватив ладонями затылок отца, взмолилась, чтобы он сохранил Грегору жизнь.

III

Тяжелое ранение, от которого Грегор страдал более месяца (яблоко никто не отважился удалить, и оно так и осталось в теле наглой ной памяткой), — тяжелое это ранение напомнило, кажется, даже отцу, что, несмотря на свой нынешний плачевный и омерзительный облик, Грегор все-таки член семьи, что с ним нельзя обращаться как с врагом, а нужно во имя семейного долга подавить отвращение и терпеть, только терпеть.

И если из-за своей раны Грегор навсегда, вероятно, утратил прежнюю подвижность и теперь, чтобы пересечь комнату, ему, как старому инвалиду, требовалось несколько долгих-предолгих минут — о том, чтобы ползти вверх, нечего было и думать, — то за это ухудшение своего состояния он был, по его мнению, вполне вознагражден тем, что под вечер иногда отворялась дверь гостиной, дверь, за которой он начинал следить чужа за два до этого, и, лежа в темноте своей комнаты, не видимый из гостиной, он мог видеть сидевших за освещенным столом родных и слушать их речи, так сказать, с общего разрешения, то есть совершенно иначе, чем раньше.

Это были, правда, уже не те оживленные беседы прежних времен, в которых Грегор всегда с тоской вспоминал в каморках гостиной, когда падал, усталый, на влажную постель. Чаше всего бывало очень тихо. Они вскоре после ужина засыпали в своем кресле; мать и сестра старались

хранить тишину; мать, сильно нагнувшись вперед, ближе к свету, шила тонкое белье для магазина готового платья; сестра, поступившая в магазин продавщицей, занималась по вечерам стенографией и французским языком, чтобы, может быть, когда-нибудь позднее добиться лучшего места. Иногда отец просыпался и, словно не заметив, что спал, говорил матери: "Как ты сегодня опять долго шьешь!" — после чего тотчас же засыпал снова, а мать и сестра устало улыбались друг другу.

С каким-то упрямством отец отказывался снимать и дома форму рассыльного; и в то время как его халат без пользы висел на крючке, отец дремал на своем месте совершенно одетый, словно всегда был готов к службе и даже здесь только и ждал голоса своего начальника. Из-за этого его и поначалу-то не новая форма, несмотря на заботы матери и сестры, утратила опрятный вид, и Грегор, бывало, целыми вечерами глядел на эту хоть и сплошь в пятнах, но сверкавшую неизменно начищенными пуговицами одежду, в которой старик весьма неудобно и все же спокойно спал.

Когда часы били десять, мать пыталась тихонько разбудить отца и уговорить его лечь в постель, потому что в кресле ему не удавалось уснуть тем крепким сном, в котором он, начинавший службу в шесть часов, крайне нуждался. Но из упрямства, завладевшего отцом с тех пор, как он стал рассыльным, он всегда оставался за столом, хотя, как правило, засыпал снова, после чего лишь с величайшим трудом удавалось убедить его перейти из кресла в кровать. Сколько ни уговаривали его мать и сестра, он не меньше четверти часа медленно качал головой, не открывая глаз и не поднимаясь. Мать дергала его за рукав, говорила ему на ухо ласковые слова, сестра отрывалась от своих занятий, чтобы помочь матери, но на отца это не действовало. Он только еще глубже опускался в кресло. Лишь когда женщины брали его под мышки, он открывал глаза, глядел попеременно то на мать, то на сестру и говорил: "Вот она, жизнь. Вот мой покой на старости лет". И, опираясь на обеих женщин, медленно, словно не мог справиться с весом собственного тела, поднимался, позволяя им довести себя до двери, а дойдя до нее, кивал им, чтобы они удалились, и следовал уже самостоятельно дальше, однако мать в спехе бросала шитье, а сестра — перо, чтобы побежать за отцом и помочь ему улечься в постель.

У кого в этой переутомленной и надрывавшейся от трудов семье оставалось время печься о Грегоре больше, чем то было безусловно необходимо? Расходы на хозяйство все больше сокращались; прислугу в конце концов рассчитали; для самой тяжелой работы приходила теперь по утрам и по вечерам огромная костистая женщина с седыми развевающимися волосами; все остальное, помимо своей большой швейной работы, делала мать. Приходилось даже продавать семейные драгоценности, которые мать и сестра с великим удовольствием надевали прежде в торжественных случаях, — Грегор узнавал об этом по вечерам, когда все обсуждали вырученную сумму. Больше всего, однако, сетовали всегда на то, что эту слишком большую по теперешним обстоятельствам квартиру нельзя покинуть, потому что неясно, как переселить Грегора. Но Грегор понимал, что переселению мешает не только забота о нем, его-то можно было легко перевести в каком-нибудь ящике с отверстиями для воздуха; удерживали семью от перемены квартиры главным образом полная безнадежность и мысль о том, что с ними стряслось такое несчастье, какого ни с кем из их знакомых и родственников никогда не случилось. Семья выполняла решительно все, чего требует мир от бедных людей: отец носил завтраки

мелким банковским служащим, мать надрывалась за шитьем белья для чужих людей, сестра, повинувшись покупателем, сновала за прилавком, но на большее у них не хватало сил. И рана на спине Грегора каждый раз начинала болеть заново, когда мать и сестра, уложив отца, возвращались в гостиную, но не брались за работу, а садились рядом, щека к щеке; когда мать, указывая на комнату Грегора, говорила теперь: "Закрой ту дверь, Грета" — и Грегор опять оказывался в темноте, а женщины за стеной вдвоем проливали слезы или сидели, уставясь в одну точку, без слез.

Ночи и дни Грегор проводил почти совершенно без сна. Иногда он думал, что вот откроется дверь — и он снова, совсем как прежде, возьмет в свои руки дела семьи; в мыслях его после долгого перерыва вновь появлялись хозяин и управляющий, коммивояжеры и ученики-мальчики, болван дворник, два-три приятеля из других фирм, горничная из одной провинциальной гостиницы — милое мимолетное воспоминание, кассирша из одного шляпного магазина, за которой он всерьез, но слишком долго ухаживал, — все они появлялись попеременно с незнакомыми или уже забытыми людьми, но, вместо того чтобы помочь ему и его семье, оказывались, все как один, неприступны, и он бывал рад, когда они исчезали. А потом он опять терял всякую охоту заботиться о семье, его охватывало возмущение плохим уходом, и, не представляя себе, чего бы ему хотелось съесть, он замыслил забраться в кладовку, чтобы взять все, что ему, хотя бы он и не был голоден, причиталось. Уже не раздумывая, чем бы доставить Грегору особое удовольствие, сестра теперь утром и днем, прежде чем бежать в свой магазин, ногою запикивала в комнату Грегора какую-нибудь еду, чтобы вечером, независимо от того, притронется он к ней или — как бывало чаще всего — оставит ее нетронутой, одним взмахом пеника вымести эту снедь. Уборка комнаты, которой сестра занималась теперь всегда по вечерам, проходила как нельзя более быстро. По стенам тянулись грязные полосы, повсюду лежали кучи пыли и мусора. Первое время при появлении сестры Грегор забивался в особенно запущенные углы, как бы упрекая ее таким выбором места. Но если бы он даже стоял там неделями, сестра все равно не исправилась бы; она же видела грязь ничуть не хуже, чем он, она просто решила оставить ее. При этом она с совершенно не свойственной ей в прежние времена обидчивостью, овладевшей теперь вообще всей семьей, следила за тем, чтобы уборка комнаты Грегора оставалась только ее, сестры, делом. Однажды мать затеяла в комнате Грегора большую уборку, для чего извела несколько ведер воды — таким обилие влаги было, кстати, неприятно Грегору, и, обидевшись, он неподвижно распластался на диване, — но мать была за это наказана. Как только сестра заметила вечером перемену в комнате Грегора, она, до глубины души оскорбившись, вбежала в гостиную и, несмотря на заклинания ламывавшей руки матери, разразилась рыданиями, на которые родители отец, конечно, испуганно вскочил со своего кресла — глядели сначала безпомощно и удивленно; потом засуетились и они: отец, справа, стал упрекать мать за то, что она не предоставила эту уборку сестре; сестра же, слева, наоборот, кричала, что ей никогда больше не дадут убирать комнату Грегора; тем временем мать пыталась утащить в спальню отца, который от волнения совсем потерял власть над собой; сотрясаясь от рыданий, сестра колотила по столу своими маленькими кулачками; а Грегор громко шипел от злости, потому что никому не приходило в голову закрыть дверь и избавить его от этого зрелища и от этого шума.

Но даже когда сестре, измученной службой, надоело заботиться, как

прежде, о Грегоре, матери не пришлось заменять ее, но без присмотра Грегор все-таки не остался. Теперь пришел черед служанки. Старая эта вдова, которая за долгую жизнь вынесла, вероятно, на своих могучих плечах немало горестей, в сущности, не питала к Грегору отвращения. Без всякого любопытства она однажды случайно открыла дверь его комнаты и при виде Грегора, который, хотя его никто не гнал, от неожиданности забегал по полу, удивленно остановилась, сложив на животе руки. С тех пор она неизменно, утром и вечером, мимоходом приоткрывала дверь и заглядывала к Грегору. Сначала она даже подзывала его к себе словами, которые, вероятно, казались ей приветливыми, такими, например, как: "Подди-ка сюда, навозный жучок!" — или: "Где наш жучище?" Грегор не отвечал ей, он не двигался с места, словно дверь вовсе не открывалась. Лучше бы этой служанке приказали ежедневно убирать его комнату, вместо того чтобы позволять ей без толку беспокоить его, когда ей заблагорассудится! Как-то ранним утром — в стекла бил сильный дождь, должно быть, уже признак наступающей весны, — когда служанка начала обычную свою болтовню, Грегор до того разозлился, что, словно бы изловчившись для нападения, медленно, впрочем, и нетвердо повернулся к служанке. Та, однако, вместо того чтобы испугаться, только занесла вверх стоявший у двери стул и широко открыла при этом рот, и было ясно, что она намерена закрыть его не раньше, чем стул в ее руке опустится на спину Грегору.

— Значит, дальше не полезем? — спросила она, когда Грегор от нее отвернулся, и спокойно поставила стул в угол, на прежнее место.

Грегор теперь почти ничего не ел. Только когда он случайно проходил мимо приготовленной ему снеди, он для забавы брал кусок в рот, а потом, продержав его там несколько часов, большей частью выплевывал. Сперва он думал, что аппетит у него отбивает вид его комнаты, но как раз с переменами в своей комнате он очень быстро примирился. Сложилась уже привычка выставлять в эту комнату вещи, для которых не находилось другого места, а таких вещей было теперь много, потому что одну комнату сдали трем жильцам. Эти строгие люди — у всех троих, как углядел через щель Грегор, были окладистые бороды — педантично добились порядка, причем порядка не только в своей комнате, но, коль скоро уж они здесь поселились, во всей квартире, и, значит, особенно в кухне. Хлама, тем более грязного, они терпеть не могли. Кроме того, большую часть мебели они привезли с собой. По этой причине в доме оказалось много лишних вещей, которые нельзя было продать, но и жаль было выбросить. Все они перекочевали в комнату Грегора. Равным образом — ящик для золы и мусорный ящик из кухни. Все хотя бы лишь временно ненужное служанка, которая всегда торопилась, просто швыряла в комнату Грегора; к счастью, Грегор обычно видел только выбрасываемый предмет и державшую его руку. Возможно, служанка и собиралась при случае водворить эти вещи на место или, наоборот, выбросить все разом, но пока они так и оставались лежать там, куда их однажды бросили, если только Грегор, пробираясь сквозь эту рухлядь, не сдвигал ее с места — сначала поневоле, так как ему негде было ползать, а потом со все возрастающим удовольствием, хотя после таких путешествий он часами не мог двигаться от смертельной усталости и тоски.

Так как жильцы порою ужинали дома, в общей гостиной, дверь гостиной в иные вечера оставалась запертой, но Грегор легко мирился с этим, тем более что даже и теми вечерами, когда она бывала отворена, часто не

пользовался, а лежал, чего не замечала семья, в самом темном углу своей комнаты. Но однажды служанка оставила дверь в гостиную приоткрытой; приоткрытой осталась она и вечером, когда вошли жильцы и зажегся свет. Они уселись с того края стола, где раньше ели отец, мать и Грегор, развернули салфетки и взяли в руки ножи и вилки. Тотчас же в дверях появилась мать с блюдом мяса и сразу же за ней сестра — с полным блюдом картошки. От еды обильно шел пар. Жилыцы нагнулись над поставленными перед ними блюдами, словно желая проверить их, прежде чем приступить к еде, и тот, что сидел посредине и пользовался, видимо, особым уважением двух других, и в самом деле разрезал кусок мяса прямо на блюде, явно желая определить, достаточно ли оно мягкое и не следует ли отослать его обратно. Он остался доволен, а мать и сестра, напряженно следившие за ним, с облегчением улыбнулись.

Сами хозяева ели на кухне. Однако, прежде чем отправиться на кухню, отец зашел в гостиную и, сделав общий поклон, с фуражкой в руках обошел стол. Жилыцы дружно поднялись и что-то пробормотали в бороды. Оставшись затем одни, они ели в полном почти молчании. Грегору показалось странным, что из всех разнообразных шумов трапезы то и дело выделялся звук жующих зубов, словно это должно было показать Грегору, что для еды нужны зубы и что самые прекрасные челюсти, если они без зубов, никуда не годятся. "Да ведь и я чего-нибудь съел бы, — озабоченно говорил себе Грегор, — но только не того, что они. Как много эти люди едят, а я погибаю!"

Именно в тот вечер — Грегор не помнил, чтобы за все это время он хоть раз слышал, как играет сестра, — из кухни донеслись звуки скрипки. Жилыцы уже покончили с ужином, средний, достав газету, дал двум другим по листу, и теперь они сидели откинувшись и читали. Когда заиграла скрипка, они прислушались, поднялись и на цыпочках подошли к двери передней, где, сгрудившись, и остановились. По-видимому, их услышали на кухне, и отец крикнул:

— Может быть, музыка господам неприятна? Ее можно прекратитьсию же минуту.

— Напротив, — сказал средний жилец, — не угодно ли барышне пройти к нам и поиграть в этой комнате, где, право же, гораздо приятнее и уютнее?

— О, пожалуйста! — воскликнул отец, словно на скрипке играл он. Жилыцы вернулись в гостиную и стали ждать. Вскоре явились отец и пюпитром, мать с ногами и сестра со скрипкой. Сестра спокойно занялась приготовлениями к игре; родители, никогда прежде не сдававшие комнату и потому обращавшиеся с жильцами преувеличенно вежливо, не осмелились сесть на свои собственные стулья; отец прислонился к двери, загнув правую руку за борт застегнутой ливреи, между двумя пуговицами, мать же, которой один из жильцов предложил стул, оставила его там, куда тот его случайно поставил, а сама сидела в сторонке, в углу.

Сестра начала играть. Отец и мать, каждый со своей стороны, внимательно следили за движениями ее рук. Грегор, привлеченный игрой, отвыкший продвигаться немного дальше обычного, и голова его была уже в гостиной. Он почти не удивлялся тому, что в последнее время стал относиться к другим не очень-то чутко; прежде эта чуткость была его гордостью. А между тем именно теперь у него было больше, чем когда-либо, оснований прятаться, ибо из-за пыли, лежавшей повсюду в его комнате и при малейшем движении поднимавшейся, он и сам тоже был весь покрыт

пылью; на спине и на боках он таскал с собой нитки, волосы, остатки еды; слишком велико было его равнодушие ко всему, чтобы ложиться, как прежде, по нескольку раз в день на спину и чиститься о ковер. Но, несмотря на свой неопрятный вид, он не побоялся продвинуться вперед по сверкающему полу гостиной.

Впрочем, никто не обращал на него внимания. Родные были целиком поглощены игрой на скрипке, а жильцы, которые сначала, засунув руки в карманы брюк, стали у самого пиюпитра сестры, откуда все они заглядывали в ноты, что, несомненно, мешало сестре, отошли вскоре, вполголоса переговариваясь и опустив головы, к окну, куда и бросал теперь озабоченные взгляды отец. Было и впрямь похоже на то, что они обманулись в своей надежде послушать хорошую, интересную игру на скрипке, что все это представление им наскучило и они уже лишь из вежливости поступались своим покоем. Особенно свидетельствовало об их большой нервозности то, как они выпускали вверх из ноздрей и изо рта дым сигар. А сестра играла так хорошо! Ее лицо склонилось набок, внимательно и печально следовал ее взгляд за нотными знаками. Грегор прополз еще немного вперед и прижался головой к полу, чтобы получить возможность встретиться с ней глазами. Был ли он животным, если музыка так волновала его? Ему казалось, что перед ним открывается путь к желанной, неведомой пище. Он был полон решимости пробраться к сестре и, дернув ее за юбку, дать ей понять, чтобы она прошла со своей скрипкой в его комнату, ибо здесь никто не оценит ее игры так, как оценит эту игру он. Он решил не выпускать больше сестру из своей комнаты, по крайней мере до тех пор, куда он жив; пусть ужасная его внешность сослужит ему наконец службу; ему хотелось, появляясь у всех дверей своей комнаты одновременно, шипеньем отпугивать всякого, кто подступится к ним; но сестра должна остаться у него не по принуждению, а добровольно; пусть она сядет рядом с ним на диван и склонит к нему ухо, и тогда он поведает ей, что был твердо намерен определить ее в консерваторию и что об этом, не случись такого несчастья, он еще в прошлое рождество — ведь рождество, наверно, уже прошло? — всем заявил бы, не боясь ничьих и никаких возражений. После этих слов сестра, растрогавшись, заплакала бы, а Грегор поднялся бы к ее плечу и поцеловал бы ее в шею, которую она, как поступила на службу, не закрывала ни воротниками, ни лентами.

— Господин Замза! — крикнул средний жилец отцу и, не тратя больше слов, указал пальцем на медленно продвигавшегося вперед Грегора. Скрипка умолкла, средний жилец сначала улыбнулся, сделав знак головой друзьям, а потом снова взглянул на Грегора. Отец, по-видимому, счел более необходимым, чем прогонять Грегора, успокоить сначала жильцов, хотя те вовсе не волновались и Грегор занимал их, казалось, больше, нежели игра на скрипке. Отец поспешил к ним, стараясь своими широко разведенными руками отсечь жильцов в их комнату и одновременно заслонить от их глаз Грегора своим туловищем. Теперь они и в самом деле начали сердиться — то ли из-за поведения отца, то ли обнаружив, что жили, не подозревая о том, с таким соседом, как Грегор. Они требовали от отца объяснений, поднимали в свою очередь руки, теребили бороды и лишь медленно отступали к своей комнате. Между тем сестра преодолела растерянность, в которую впадал оттого, что так внезапно прервали ее игру; несколько мгновений она держала в бессильно повисших руках смычок и скрипку и, словно продолжая играть, по-прежнему глядела в ноты, а потом вдруг встрепенулась и, положив инструмент на колени

матери — та все еще сидела на своем стуле, пытаясь преодолеть приступ удушья глубокими вздохами, — побежала в смежную комнату, к которой под натиском отца быстро приближались жильцы. Видно было, как под опытными руками сестры взлетают и укладываются одеяла и пуховики на кроватях. Прежде чем жильцы достигли своей комнаты, сестра кончила стелить постели и выскользнула оттуда. Отцом, видимо, снова настолько овладело его упрямство, что он забыл о всякой почтительности, с которой как-никак обязан был относиться к своим жильцам. Он все оттеснял и оттеснял их, покуда уже в дверях комнаты средний жилец не топнул громко ногой и не остановил этим отца.

— Позвольте мне заявить, — сказал он, подняв руку и поискав глазами также мать и сестру, — что ввиду мерзких порядков, царящих в этой квартире и в этой семье, — тут он решительно плюнул на пол, — я наотрез отказываюсь от комнаты. Разумеется, я ни гроша не заплачу и за те дни, что я здесь прожил, напротив, я еще подумаю, не предъявить ли мне вам каких-либо претензий, смею вас заверить, вполне обоснованных.

Он умолк и пристально посмотрел вперед, словно чего-то ждал. И действительно, оба его друга тотчас же подали голос:

— Мы тоже наотрез отказываемся.

После этого он взялся за дверную ручку и с шумом захлопнул дверь.

Отец ошупью проковылял к своему креслу и повалился в него; с первого взгляда можно было подумать, что он расположился, как обычно, вздремнуть, но по тому, как сильно и словно бы неудержимо качалась у него голова, видно было, что он вовсе не спал. Грегор все время неподвижно лежал на том месте, где его застигли жильцы. Разочарованный неудачей своего плана, а может быть, и от слабости после долгого голодания, он совсем утратил способность двигаться. Он не сомневался, что с минуты на минуту на него обрушится всеобщее негодование, и ждал. Его не вспугнула даже скрипка, которая, выскользнув из дрожащих пальцев матери, упала с ее колен и издала гулкий звук.

— Дорогие родители, — сказала сестра, хлопнув, чтобы призвать к вниманию, рукою по столу, — так жить дальше нельзя. Если вы этого, можете быть, не понимаете, то я это понимаю. Я не стану произносить при этом чудовище имя моего брата и скажу только: мы должны попытаться избавиться от него. Мы сделали все, что было в человеческих силах, мы ухаживали за ним и терпели его, нас, по-моему, нельзя ни в чем упрекнуть.

— Она тысячу раз права, — сказал отец тихо.

Мать, которая все еще задыхалась, начала глухо кашлять в кулак с безумным выражением глаз.

Сестра поспешила к матери и придержала ей голову ладонью. Отец, которого слова сестры навели, казалось, на какие-то более определенные мысли, выпрямился в кресле; он играл своей форменной фуражкой, лежавшей на столе среди все еще не убранных после ужина тарелок, и время от времени поглядывал на притихшего Грегора.

— Мы должны попытаться избавиться от него, — сказала сестра, обращаясь только к отцу, ибо мать ничего не слышала за своим кашлем, оно вас обоих погубит, вот увидите. Если так тяжело трудиться, как мы все, немоготу еще и дома сносить эту вечную муку. Я тоже не могу больше.

И она разразилась такими рыданиями, что ее слезы скатились на лицо матери, которое сестра принялась вытирать машинальным движением рук.

— Дитя мое, — сочувственно и с поразительным пониманием сказал

отец, — но что же нам делать?

Сестра только пожала плечами в знак растерянности, которая — в противоположность прежней ее решимости — овладела ею, когда она плакала.

— Если бы он понимал нас... — полувопросительно сказал отец.

Сестра, продолжая плакать, резко махнула рукой в знак того, что об этом нечего и думать.

— Если бы он понимал нас, — повторил отец и закрыл глаза, разделяя убежденность сестры в невозможности этого, — тогда, может быть, с ним и удалось бы о чем-то договориться. А так...

— Пусть убирается отсюда! — воскликнула сестра. — Это единственный выход, отец. Ты должен только избавиться от мысли, что это Грегор. В том-то и состоит наше несчастье, что мы долго верили в это. Но какой же он Грегор? Будь это Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушел бы. Тогда бы у нас не было брата, но зато мы могли бы по-прежнему жить и чтить его память. А так это животное преследует нас, прогоняет жильцов, явно хочет занять всю квартиру и выбросить нас на улицу. Гляди, отец, — закричала она внезапно, — он уже опять принимается за свое!

И в совершенно непонятном Грегору ужасе сестра даже покинула мать, буквально оттолкнувшись от стула, словно предпочитала пожертвовать матерью, но не оставаться рядом с Грегором, и поспешила к отцу, который, встревожившись только из-за ее поведения, тоже встал и протянул навстречу ей руки, как бы желая ее защитить.

Но ведь у Грегора и в мыслях не было пугать кого бы то ни было, а тем более сестру. Он просто начал поворачиваться, чтобы уползти в свою комнату, а это действительно сразу же бросилось в глаза, потому что из-за болезненного своего состояния он должен был при трудных поворотах помогать себе головой, неоднократно поднимая ее и стучаясь ею об пол. Он остановился и оглянулся. Добрые его намерения, казалось, были распознаны, испуг прошел. Теперь все смотрели на него молча и грустно. Мать полулежала на стуле, вытянув ноги, глаза ее были от усталости почти закрыты; отец и сестра сидели рядом, сестра обняла отца за шею.

"Наверно, мне уже можно повернуться", — подумал Грегор и начал свою работу снова. Он не мог не пыхтеть от напряжения и вынужден был то и дело отдыхать. Впрочем, его никто и не торопил, его предоставили самому себе. Закончив поворот, он сразу же пополз прямо. Он удивился большому расстоянию, отделявшему его от комнаты, и не мог понять, как он при своей слабости недавно еще умудрился проделать этот же путь почти незаметно. Заботясь только о том, чтобы поскорей поползти, он не замечал, что никакие слова, никакие возгласы родных ему уже не мешают. Лишь оказавшись в дверях, он повернул голову, не полностью, потому что почувствовал, что шея у него деревенеет, но достаточно, чтобы увидеть, что позади него ничего не изменилось и только сестра встала. Последний его взгляд упал на мать, которая теперь совсем спала.

Как только он оказался в своей комнате, дверь поспешно захлопнули, заперли на задвижку, а потом и на ключ. Внезапного шума, раздавшегося сзади, Грегор испугался так, что у него подкосились лапки. Это сестра так спешила. Она уже стояла наготове, потом легко метнулась вперед — Грегор даже не слышал, как она подошла, — и, крикнув родителям: "Наконец-то!", повернула ключ в замке.

"А теперь что?" — спросил себя Грегор, озираясь в темноте. Вскоре

он обнаружил, что вообще уже не может шевелиться. Он этому не удивился, скорее ему показалось неестественным, что до сих пор он ухитрялся передвигаться на таких тонких ножках. В остальном ему было довольно покойно. Он чувствовал, правда, боль во всем теле, но ему показалось, что она постепенно слабеет и наконец вовсе проходит. Сгнившего яблока в спине и образовавшегося вокруг него воспаления, которое успело покрыться пылью, он уже почти не ощущал. О своей семье он думал с нежностью и любовью. Он тоже считал, что должен исчезнуть, считал, пожалуй, еще решительней, чем сестра. В этом состоянии чистого и мирного раздумья он пребывал до тех пор, пока башенные часы не пробили три часа ночи. Когда за окном все посветлело, он еще жил. Потом голова его помимо его воли совсем опустилась, и он слабо вздохнул в последний раз.

Когда рано утром пришла служанка — торопясь, дюжая эта женщина, сколько ее ни просили не поднимать шума, хлопала дверьми так, что с ее приходом в квартире уже прекращался спокойный сон, — она, заглянув, как всегда, к Грегору, ничего особенного сначала не заметила. Она решила, что это он нарочно лежит так неподвижно, притворяясь обиженным: в смысленности его она не сомневалась. Поскольку в руке у нее случайно был длинный веник, она попыталась пощекотать им Грегора, стоя в дверях. Но так как и это не оказало ожидаемого действия, она, рассердившись, легонько толкнула Грегора и насторожилась только тогда, когда, не встретив никакого сопротивления, сдвинула его с места. Поняв вскоре, что произошло, она сделала большие глаза, присвистнула, но не стала медлить, а рванула дверь спальни и во весь голос крикнула в темноту.

— Поглядите-ка, оно издохло, вот оно лежит совсем-совсемдохлое!

Сидя в супружеской постели, супруги Замза сначала с трудом преодолели испуг, вызванный у них появлением служанки, а потом уже вооприняли смысл ее слов. Восприняв же его, господин и госпожа Замза, каждый со своего края, поспешно встали с постели, господин Замза накинул на плечи одеяло, госпожа Замза поднялась в одной ночной рубашке; так вошли они в комнату Грегора. Тем временем отворилась и дверь гостиной, где ночевала, с тех пор как появились жильцы, Грета; она была совсем одета, как если бы не спала, да и бледность ее лица говорила о том же.

— Умер? — сказала госпожа Замза, вопросительно глядя на служанку, хотя могла сама это проверить и даже без проверки понять.

— О том и твержу, — сказала служанка и в доказательство оттолкнула веником труп Грегора еще дальше в сторону. Госпожа Замза сделала то же движение, словно хотела задержать веник, однако же не задержала его.

— Ну вот, — сказал господин Замза, — теперь мы можем поблагодарить бога.

Он перекрестился, и три женщины последовали его примеру. Грета, которая не спускала глаз с трупa, сказала:

— Поглядите только, как он исхудал. Ведь он так давно ничего не ел! Что ему ни приносили из еды, он ни к чему не притрагивался.

Тело Грегора и в самом деле было совершенно сухим и плоским, оно стало по-настоящему видно только теперь, когда его уже не приподнимали ножки, да и вообще ничего больше не отвлекало взгляда.

— Зайди к нам на минутку, Грета, — сказала госпожа Замза с печальной улыбкой, и Грета, не переставая оглядываться на труп, пошла за рюмками в спальню. Служанка закрыла дверь и распахнула настежь окно.

Несмотря на ранний час, свежий воздух был уже тепловат. Стоял конец марта.

Трое жильцов вышли из своей комнаты и удивились, не увидев завтрака: о них забыли.

— Где завтрак? — угрюмо спросил служанку средний.

Но служанка, приложив палец к губам, стала быстро и молча кивать жильцам, чтобы они вошли в комнату Грегора. Они вошли туда и в уже совсем светлой комнате обступили труп Грегора, спрятав руки в карманах потертых своих пиджачков.

Тут отворилась дверь спальни и появился господин Замза в ливрее и с ним под руку с одной стороны жена, а с другой — дочь. У всех были немного заплаканные глаза; Грета нет-нет да прижималась лицом к плечу отца.

— Сейчас же оставьте мою квартиру! — сказал господин Замза и указал на дверь, не отпуская от себя обеих женщин.

— Что вы имеете в виду? — несколько смущенно сказал средний жилец и лстыиво улыбунулся. Два других, заложив руки за спину, непрерывно их потирали, как бы в радостном ожидании большого спора, сулящего, однако, благоприятный исход.

— Я имею в виду именно то, что сказал, — ответил господин Замза и бок о бок со своими спутницами подошел к жильцу. Тот несколько мгновений постоял молча, глядя в пол, словно у него в голове все перестраивалось.

— Ну что же, тогда мы уйдем, — сказал он затем и поглядел на господина Замзу так, словно, внезапно смирившись, ждал его согласия даже и в этом случае.

Господин Замза только несколько раз коротко кивнул ему, вытирашив глаза. После этого жилец и в самом деле тотчас направился широким шагом в переднюю; оба друга, которые, прислушиваясь, уже перестали потирать руки, пустились за ним прямо-таки вприпрыжку, словно боялись, что господин Замза пройдет в переднюю раньше, чем они, и отрежет их от вожака. В передней все три жильца сняли с вешалки шляпы, вытащили из подставки для тростей трости, молча поклонились и покинули квартиру. С каким-то, как оказалось, совершенно необоснованным недоверием господин Замза вышел с обеими женщинами на лестничную площадку; облокотясь на перила, они глядели, как жильцы медленно, правда, но неуклонно спускались по длинной лестнице, исчезая на каждом этаже на определенном повороте и показываясь через несколько мгновений опять; чем дальше уходили они вниз, тем меньше занимали они семью Замзы, а когда, сначала навстречу им, а потом высоко над ними, стал, щеголяя осанкой, подниматься с корзиной на голове подручный из мясной, господин Замза и женщины покинули площадку и все с каким-то облегчением вернулись в квартиру.

Они решили посвятить сегодняшний день отдыху и прогулке; они не только заслуживали этого перерыва в работе, он был им просто необходим. И поэтому они сели за стол и написали три объяснительных письма: господин Замза — своей дирекции, госпожа Замза — своему работодателю, а Грета — своему шефу. Покуда они писали, вошла служанка сказать, что она уходит, так как утренняя ее работа выполнена. Писавшие сначала только кивнули, не поднимая глаз, но когда служанка, вместо того чтобы удалиться, осталась на месте, на нее недовольно взглянули.

— Ну? — спросил господин Замза.

Служанка, улыбаясь, стояла в дверях с таким видом, как будто у нее была для семьи какая-то счастливая новость, сообщить которую она собиралась только после упорных расспросов. Почти вертикальное страусиное перышко на ее шляпе, всегда раздражавшее господина Замзу, покачивалось во все стороны.

— Так что же вам нужно? — спросила госпожа Замза, к которой служанка относилась все-таки наиболее почтительно.

— Да, — отвечала служанка, давась от добродушного смеха, — насчет того, как убрать это, можете не беспокоиться. Уже все в порядке.

Госпожа Замза и Грета склонились над своими письмами, словно намереваясь писать дальше; господин Замза, который заметил, что служанка собирается рассказать все подробно, решительно отклонил это движением руки. И так как ей не дали говорить, служанка вспомнила, что она очень торопится, крикнула с явной обидой: "Счастливого оставаться!", резко повернулась и покинула квартиру, неистово хлопая дверьми.

— Вечером она будет уволена, — сказал господин Замза, но не получил ответа ни от жены, ни от дочери, ибо служанка нарушила их едва обретенный покой. Они поднялись, подошли к окну и, обнявшись, остановились там. Господин Замза повернулся на стуле в их сторону и несколько мгновений молча глядел на них. Затем он воскликнул:

— Подите же сюда! Забудьте наконец старое. И хоть немного подумайте обо мне.

Женщины тотчас повиновались, поспешили к нему, приласкали его и быстро закончили свои письма.

Затем они покинули квартиру все вместе, чего уже много месяцев не делали, и поехали на трамвае за город. Вагон, в котором они сидели одни, был полон теплого солнца. Удобно откинувшись на своих сиденьях, они обсуждали виды на будущее, каковые при ближайшем рассмотрении оказались совсем не плохими, ибо служба, о которой они друг друга до сих пор, собственно, и не спрашивали, была у всех у них на редкость удобна, а главное — она многое обещала в дальнейшем. Самым существенным образом улучшить их положение легко могла сейчас, конечно, перемещение квартиры; они решили снять меньшую и более дешевую, но зато более уютную и вообще более подходящую квартиру, чем теперешняя, которую выбрал еще Грегор. Когда они так беседовали, господину и госпоже Замза при виде их все более оживлявшейся дочери почти одновременно подумалось, что, несмотря на все горести, покрывшие бледностью ее щеки, она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей. Приумолкнув и почти безотчетно перейдя на язык взглядов, они думали о том, что вот и пришло время подыскать ей хорошего мужа. И как бы в утверждение и новых мечтаний и прекрасных намерений, дочь первая поднялась в конце их поездки и выпрямила свое молодое тело.

В исправительной колонии

— Это особого рода аппарат, — сказал офицер ученому-путешественнику, не без любования оглядывая, конечно же, отлично знакомый ему аппарат. Путешественник, казалось, только из вежливости принял приглашение коменданта присутствовать при исполнении приговора, нанесенного одному солдату за непослушание и оскорбление начальника. И в исправительной колонии предстоявшая экзекуция большого интереса.

по-видимому, не вызывала. Во всяком случае, здесь, в этой небольшой и глубокой песчаной долине, замкнутой со всех сторон голыми косогорами, кроме офицера и путешественника находились только двое: осужденный — туповатый, ширококоротый малый с нечесаной головой и небритым лицом, — и солдат, не выпускавший из рук тяжелой цепи, к которой сходились маленькие цепочки, тянувшиеся от лодыжек и шеи осужденного и скрепленные вдобавок соединительными цепочками. Между тем во всем облике осужденного была такая собачья покорность, что казалось, его можно отпустить прогуляться по косогорам, а стоит только свистнуть перед началом экзекуции, и он явится.

Путешественник не проявлял к аппарату интереса и прохаживался позади осужденного явно безучастно, тогда как офицер, делая последние приготовления, то залезал под аппарат, в котлован, то поднимался по трапу, чтобы осмотреть верхние части машины. Работы эти можно было, собственно, поручить какому-нибудь механику, но офицер выполнял их с великим усердием — то ли он был особым приверженцем этого аппарата, то ли по каким-то другим причинам никому больше нельзя было доверить эту работу.

— Ну, вот и все! — воскликнул он наконец и слез с трапа. Он был чрезвычайно утомлен, дышал, широко открыв рот, а из-под воротника мундира у него торчали два дамских носовых платочка.

— Эти мундиры, пожалуй, слишком тяжелы для тропиков, — сказал путешественник, вместо того чтобы, как ожидал офицер, справиться об аппарате.

— Конечно, — сказал офицер и стал мыть выпачканные смазочным маслом руки в приготовленной бадееке с водой, — но это знак родины, мы не хотим терять родину. Но поглядите на этот аппарат, — прибавил он сразу же и, вытирая руки полотенцем, указал на аппарат. — До сих пор нужно было работать вручную, а сейчас аппарат будет действовать уже совершенно самостоятельно.

Путешественник кивнул и поглядел туда, куда указывал офицер. Тот пожелал застраховать себя от всяких случайностей и сказал:

— Бывают, конечно, неполадки; надеюсь, правда, что сегодня дело обойдется без них, но к ним все-таки надо быть готовым. Ведь аппарат должен работать двенадцать часов без перерыва. Но если и случатся неполадки, то самые незначительные, и они будут немедленно устранены... Не хотите ли присесть? — спросил он наконец и, вытащив из груды плетеных кресел одно, предложил его путешественнику; тот не смог отказаться.

Теперь, сидя у края котлована, он мельком туда заглянул. Котлован был не очень глубок. С одной его стороны лежала насыпью вырытая земля, с другой стороны стоял аппарат.

— Не знаю, — сказал офицер, — объяснил ли вам уже комендант устройство этого аппарата.

Путешественник неопределенно махнул рукой; офицеру больше ничего и не требовалось, ибо теперь он мог сам начать объяснения.

— Этот аппарат, — сказал он и потрогал шатун, на который затем оперся, — изобретение прежнего нашего коменданта. Я помогал ему, начиная с самых первых опытов, и участвовал во всех работах вплоть до их завершения. Но заслуга этого изобретения принадлежит ему одному. Вы слышали о нашем прежнем коменданте? Нет? Ну, так я не преувеличу, если скажу, что структура всей этой исправительной колонии — его дело. Мы,

его друзья, знали уже в час его смерти, что структура этой колонии ни столько целостна, что его преемник, будь у него в голове хоть тысяча новых планов, никак не сможет изменить старый порядок по крайней мере в течение многих лет. И наше предвидение сбылось, новому коменданту пришлось это признать. Жаль, что вы не знали нашего прежнего коменданта!.. Однако, — прервал себя офицер, — я заболтался, а наш аппарат вот он, перед нами. Он состоит, как вы видите, из трех частей. Постепенно каждая из этих частей получила довольно-таки просторечное наименование. Нижнюю часть прозвали лежаком, верхнюю — разметчиком, а вот эту, среднюю, висячую, — бороной.

— Бороной? — спросил путешественник.

Он не очень внимательно слушал, солнце в этой лишенной тени доли не палило слишком жарко, и сосредоточиться было трудно. Тем больше удивлял его офицер, который, хотя на нем был тесный, парадный, отглаженный эполетами и увешанный аксельбантами мундир, так ревностно давал объяснения и, кроме того, продолжая говорить, еще нет-нет да подтягивал ключом гайку то тут, то там. В том же состоянии, что и путешественник, был, кажется, и солдат. Намотав цепь осужденного на запястья обеих рук, он оперся одной из них на винтовку и стоял, свесив голову, с самым безучастным видом. Путешественника это не удивляло, так как офицер говорил по-французски, а французской речи ни солдат, ни осужденный, конечно, не понимали. Но тем поразительней было, что осужденный все-таки старался следить за объяснениями офицера. С каким-то сонным упорством он все время направлял свой взгляд туда, куда в этот миг указывал офицер, а теперь, когда путешественник своим вопросом прервал офицера, осужденный, так же как офицер, поглядел на путешественника.

— Да, бороной, — сказал офицер. — Это название вполне подходит. Зубья расположены, как у бороны, да и вся эта штука работает, как борона, но только на одном месте и гораздо замысловатее. Впрочем, сейчас вы это поймете. Вот сюда, на лежак, кладут осужденного... Я сначала опишу аппарат, а уж потом приступлю к самой процедуре. Так вам будет легче за ней следить. К тому же одна шестерня в разметчике сильно обшлась, она страшно скрежещет, когда вращается, и разговаривать тогда почти невозможно. К сожалению, запасные части очень трудно достать. Итак, это, как я сказал, лежак. Он сплошь покрыт слоем ваты, ее назначение вы скоро узнаете. На эту вату животом вниз кладут осужденного: разумеется, голого, — вот ремни, чтобы его привязать: для рук, для ног и для шеи. Вот здесь, в изголовье лежака, куда, как я сказал, приходится сначала лицо преступника, имеется небольшой войлочный шпенец, который можно легко отрегулировать, так чтобы он попал осужденному прямо в рот. Благодаря этому шпеню осужденный не может ни кричать, ни прикусить себе язык. Преступник волей-неволей берет в рот этот войлок, ведь иначе шейный ремень переломит ему позвонки.

— Это вата? — спросил путешественник и наклонился вперед.

— Да, конечно, — сказал офицер, улыбаясь. — Пощупайте сами. (Он взял руку путешественника и провел ею по лежаку. — Эта вата особым образом препарирована, поэтому ее так трудно узнать; о ее назначении я еще скажу.

Путешественник уже немного заинтересовался аппаратом; защитив глаза от солнца рукою, он смотрел на аппарат снизу вверх. Это было большое сооружение. Лежак и разметчик имели одинаковую площадь и похо-

дили на два темных ящика. Разметчик был укреплен метра на два выше лежака и соединялся с ним по углам четырьмя латунными штангами, которые прямо-таки лучились на солнце. Между ящиками на стальном тросе висела борона.

Прежнего равнодушия путешественника офицер почти не замечал, но зато на интерес, пробудившийся в нем теперь, живо откликнулся, он приостановил даже свои объяснения, чтобы путешественник, не торопясь и без помех, все рассмотрел. Осужденный подражал путешественнику; поскольку прикрыть глаза рукой он не мог, он моргал, глядя вверх незащищенными глазами.

— Итак, приговоренный лежит, — сказал путешественник и, развалившись в кресле, закинул ногу на ногу.

— Да, — сказал офицер и, сдвинув фуражку немного назад, провел ладонью по разгоряченному лицу. — А теперь послушайте! И в лежаке и в разметчике имеется по электрической батарее, в лежаке — для самого лежака, а в разметчике — для бороны. Как только осужденный привязан, приводится в движение лежак. Он слегка и очень быстро вибрирует, одновременно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Вы, конечно, видели подобные аппараты в лечебных заведениях, только у нашего лежака все движения точно рассчитаны: они должны быть строго согласованы с движениями бороны. Ведь на борону-то, собственно, и возложено исполнение приговора.

— А каков приговор? — спросил путешественник.

— Вы и этого не знаете? — удивленно спросил офицер, покусывая губы. — Извините, если мои объяснения сбивчивы, очень прошу простить меня. Прежде объяснения обычно давал комендант, однако новый комендант избавил себя от этой почетной обязанности; но что такого высокого гостя, — путешественник попытался обеими руками отклонить эту почесть, но офицер настоял на своем выражении, — что такого высокого гостя он не знакомит даже с формой нашего приговора, это еще одно нововведение, которое... — На языке у него вертелось проклятье, но он со владел с собой и сказал: — Меня об этом не предупредили, я не виноват. Впрочем, я лучше, чем кто-либо другой, смогу объяснить характер наших приговоров, ведь здесь, — он похлопал себя по нагрудному карману, — я ношу соответствующие чертежи, сделанные рукой прежнего коменданта.

— Рукой самого коменданта? — спросил путешественник. — Он что же, соединял в себе все? Он был и солдат, и судья, и конструктор, и химик, и чертежник?

— Так точно, — кивая головой, сказал офицер.

Он придирчиво поглядел на свои руки; они показались ему недостаточно чистыми, чтобы прикоснуться к чертежам, поэтому он подошел к бадейке и снова тщательно вымыл их.

Затем он извлек кожаный бумажник и сказал:

— Наш приговор не суров. Борона записывает на теле осужденного ту заповедь, которую он нарушил. Например, у этого, — офицер указал на осужденного, — на теле будет написано: "Чти начальника своего!"

Путешественник мельком взглянул на осужденного; когда офицер указал на него, тот опустил голову и, казалось, предельно напряг слух, чтобы хоть что-нибудь понять. Но движения его толстых сомкнутых губ со всей очевидностью показывали, что он ничего не понимал. Путешественник хотел о многом спросить, но при виде осужденного спросил только:

— Знает ли он приговор?
— Нет, — сказал офицер и приготовился продолжать объяснения, но путешественник прервал его:
— Он не знает приговора, который ему же и вынесли?
— Нет, — сказал офицер, потом на мгновение запнулся, словно требуя от путешественника более подробного обоснования его вопроса, и затем сказал: — Было бы бесполезно объявлять ему приговор. Ведь он же узнает его собственным телом.

Путешественник хотел уже умолкнуть, как вдруг почувствовал, что осужденный направил взгляд на него; казалось, он спрашивал, одобряет ли путешественник описанную процедуру. Поэтому путешественник, который уже откинулся было в кресле, опять наклонился и спросил:

— Но что он вообще осужден — это хотя бы он знает?

— Нет, и этого он не знает, — сказал офицер и улыбнулся путешественнику, словно ожидая от него еще каких-нибудь странных открытий.

— Вот как, — сказал путешественник и провел рукой по лбу. — Но в таком случае он и сейчас еще не знает, как отнеслись к его попытке защититься?

— У него не было возможности защищаться, — сказал офицер и поглядел в сторону, как будто говорил сам с собой и не хотел смущать путешественника изложением этих обстоятельств.

— Но ведь, разумеется, у него должна была быть возможность защищаться, — сказал путешественник и поднялся с кресла.

Офицер испугался, что ему придется надолго прервать объяснения, он подошел к путешественнику и взял его под руку; указав другой рукой на осужденного, который теперь, когда на него так явно обратили внимание — да и солдат натянул цепь, — выпрямился, офицер сказал:

— Дело обстоит следующим образом. Я исполняю здесь, в колонии, обязанности судьи. Несмотря на мою молодость. Я и преждем коменданту помогал вершить правосудие и знаю этот аппарат лучше, чем кто бы то ни было. Вынося приговор, я придерживаюсь правила: "Виновность всегда несомненна". Другие суды не могут следовать этому правилу, они коллегиальны и подчинены более высоким судебным инстанциям. У нас все иначе, во всяком случае, при прежнем коменданте было иначе. Новый, правда, пытается вмешиваться в мои дела, но до сих пор мне удавалось отражать эти попытки и, надеюсь, удастся в дальнейшем... Вы хотели, чтобы я объяснил вам данный случай; что ж, он так же прост, как любой другой. Сегодня утром один капитан доложил, что этот человек, приставленный к нему денщиком и обязанный спать под его дверью, проспал субботу. Дело в том, что ему положено вставать через каждый час, с боем часов, и отдавать честь перед дверью капитана. Обязанность, конечно, нетрудная, но необходимая, потому что денщик, который охраняет и обслуживает офицера, должен быть всегда начеку. Вчера ночью капитан пожелал проверить, выполняет ли денщик свою обязанность. Ровно в два часа он отворил дверь и увидел, что тот, съевшись, спит. Капитан взял хлыст и полоснул его по лицу. Вместо того чтобы встать и попросить прощения, денщик схватил своего господина за ноги, стал трясти его и кричать: "Брось хлыст, а то убью!.." Вот вам и суть дела. Час назад капитан пришел ко мне, я записал его показания и сразу же вынес приговор. Затем я велел заковать денщика в цепи. Все это было очень просто. А если бы я сначала вызвал денщика и стал его допрашивать, получилась бы только путаница. Он стал бы лгать, а если бы мне удалось опровергнуть эту ложь, стоило

бы заменять ее новой и так далее. А сейчас он у меня в руках, и я его не выпущу... Ну, теперь все понятно? Время, однако, идет, пора бы уже начать экзекуцию, а я еще не объяснил вам устройство аппарата.

Он заставил путешественника снова сесть в кресло, подошел к аппарату и начал:

— Как видите, борона соответствует форме человеческого тела; вот борона для туловища, а вот бороны для ног. Для головы предназначен только этот небольшой резец. Вам ясно?

Он приветливо склонился перед путешественником, готовый к самым подробным объяснениям.

Путешественник, нахмурившись, глядел на борону. Сведения о здешнем судопроизводстве его не удовлетворили. Все же он твердил себе, что это как-никак исправительная колония, что здесь необходимы особые меры и что приходится строго соблюдать военную дисциплину. Кроме того, он возлагал некоторые надежды на нового коменданта, который, при всей своей медлительности, явно намеревался ввести новое судопроизводство, которого этому узколобому офицеру никак не уразуметь. По ходу своих мыслей путешественник спросил:

— Будет ли комендант присутствовать при экзекуции?

— Это точно не известно, — сказал офицер, задетый этим внезапным вопросом, и приветливость исчезла с его лица. — Именно поэтому мы и должны поспешить. Мне очень жаль, но придется даже сократить объяснения. Однако завтра, когда аппарат очистят (большая загрязняемость — это единственный его недостаток), я мог бы объяснить все остальное. Итак, сейчас я ограничусь самым необходимым... Когда осужденный лежит на лежаке, а лежак приводится в колебательное движение, на тело осужденного опускается борона. Она автоматически настраивается так, что зубья ее едва касаются тела; как только настройка заканчивается, этот трос натягивается и становится нестигаем, как штанга. Тут-то и начинается. Никакого внешнего различия в наших экзекуциях непосвященный не усматривает. Кажется, что борона работает однотипно. Она, вибрируя, колот своими зубьями тело, которое в свою очередь вибрирует благодаря лежаку. Чтобы любой мог проверить исполнение приговора, борону сделали из стекла. Крепление зубьев вызвало некоторые технические трудности, но после многих опытов зубья все же удалось укрепить. Трудов мы не жалели. И теперь каждому видно через стекло, как наносится надпись на тело. Не хотите ли подойти поближе и посмотреть зубья?

Путешественник медленно поднялся, подошел к аппарату и наклонился над бороной.

— Вы видите, — сказал офицер, — два типа разнообразно расположенных зубьев. Возле каждого длинного зубца имеется короткий. Длинный пишет, а короткий выпускает воду, чтобы смыть кровь и сохранить разборчивость надписи. Кровавая вода отводится по желобкам и стекает в главный желоб, а оттуда по сточной трубе в яму.

Офицер пальцем показал путь, каким идет вода. Когда он для большей наглядности подхватил у отвесного стока воображаемую струю обеими пригоршнями, путешественник поднял голову и, шаря рукой у себя за спиной, попятился было к креслу. Тут он, к ужасу своему, увидел, что и осужденный, подобно ему, последовал приглашению офицера осмотреть борону вблизи. Поташив за цепь заспанного солдата, он тоже склонился над стеклом. Видно было, что и он тоже неуверенно искал глазами предмет, который рассматривали сейчас эти господа, и что без объяснений он

не мог этого предмета найти. Он наклонялся и туда и сюда. Снова и снова пробегал он глазами по стеклу. Путешественник хотел отогнать его, ибо то, что он делал, вероятно, каралось. Но, задержав путешественника одной рукой, офицер другой взял с насыпи ком земли и швырнул им в солдата. Солдат, встrepенувшись, поднял глаза, увидел, на что осмелился осужденный, бросил винтовку и, упершись каблуками в землю, так рванул осужденного назад, что тот сразу упал, а потом солдат стал глядеть сверху вниз, как он барахтается, гремя своими цепями.

— Поставь его на ноги! — крикнул офицер, заметив, что осужденный слишком уж отвлекает путешественника.

Наклонившись над борной, путешественник даже не глядел на нее, и только ждал, что произойдет с осужденным.

— Обращайся с ним бережно! — крикнул офицер снова. Обезавашившись, он сам подхватил осужденного под мышки и, хотя у того разрезались ноги, поставил его с помощью солдата прямо.

— Ну, теперь мне уже все известно, — сказал путешественник, когда офицер возвратился к нему.

— Кроме самого главного, — сказал тот и, сжав локоть путешественника, указал вверх: — Там, в разметчике, находится система шестерен, которая определяет движение борной, а устанавливается эта система по чертежу, предусмотренному приговором суда. Я пользуюсь еще чертежами прежнего коменданта. Вот они. — Он вынул из бумажника несколько листов. — К сожалению, я не могу дать вам их в руки, это самая большая моя ценность. Садитесь, я покажу вам их отсюда, и вам будет все хорошо видно.

Он показал первый листок. Путешественник был бы рад сказать что-нибудь в похвалу, но перед ним были только похожие на лабиринт, многократно пересекающиеся линии такой густоты, что на бумаге почти нельзя было различить пробелов.

— Читайте, — сказал офицер.

— Не могу, — сказал путешественник.

— Но ведь написано разборчиво, — сказал офицер.

— Написано очень искусно, — уклончиво сказал путешественник, но я не могу ничего разобрать.

— Да, — сказал офицер и, усмехнувшись, спрятал бумажник, — это не пропись для школьников. Нужно долго вчитываться. В конце концов разобрались бы и вы. Конечно, эти буквы не могут быть простыми; ведь они должны убивать не сразу, а в среднем через двенадцать часов; переломный час по расчету — шестой. Поэтому надпись в собственном смысле слова должна быть украшена множеством узоров; надпись как таковая опоясывает тело лишь узкой полоской; остальное место предназначено для узоров. Теперь вы можете оценить работу борной и всего аппарата? Смотрите же!

Он вскочил на трап, повертел какое-то колесо, крикнул вниз: "Внимание, отойдите в сторону!" — и все пришло в движение. Если бы один из колес не лязгало, это было бы великолепно. Словно бы сконфуженный этим злосчастным колесом, офицер погрозил ему кулаком, затем, как бы извиняясь перед путешественником, развел руками и торопливо спустился, чтобы наблюдать за работой аппарата снизу. Была еще какая-то ненужная ладка, заметная только ему; он снова поднялся, залез обеими руками внутрь разметчика, затем, быстроты ради, не пользуясь трапом, съехал по штанге и во весь голос, чтобы быть услышанным среди этого шума, стал

кричать в ухо путешественнику:

— Вам понятно действие машины? Борона начинает писать; как только она заканчивает первую наколку на спине, слой ваты, вращаясь, медленно перекачивает тело на бок, чтобы дать бороне новую площадь. Тем временем исписанные в кровь места ложатся на вату, которая, будучи особым образом препарирована, тотчас же останавливает кровь и подготавливает тело к новому углублению надписи. Вот эти зубцы у края бороны срыывают при дальнейшем перекачивании тела прилипшую к ранам вату и выбрасывают ее в яму, а потом борона снова вступает в действие. Так все глубже и глубже пишет она в течение двенадцати часов. Первые шесть часов осужденный живет почти так же, как прежде, он только страдает от боли. По истечении двух часов войлок из рта вынимают, ибо у преступника уже нет сил кричать. Вот сюда, в эту миску у изголовья — она согревается электричеством, — накладывают теплой рисовой каши, которую осужденный при желании может слизнуть языком. Никто не пренебрегает этой возможностью. На моей памяти такого случая не было, а опыт у меня большой. Лишь на шестом часу у осужденного пропадает аппетит. Тогда я обычно становлюсь вот здесь на колени и наблюдаю за этим явлением. Он редко проглатывает последний комоч каши — он только немного повертит его во рту и выплюнет в яму. Приходится тогда наклоняться, иначе он угодит мне в лицо. Но как затихает преступник на шестом часу! Просветление мысли наступает и у самых тупых. Это начинается вокруг глаз. И отсюда распространяется. Это зрелище так соблазнительно, что ты готов сам лечь рядом под борону. Вообще-то ничего нового больше не происходит, просто осужденный начинает разбирать надпись, он сосредоточивается, как бы прислушиваясь. Вы видели, разобрать надпись нелегко и глазами; а наш осужденный разбирает ее своими ранами. Конечно, это большая работа, и ему требуется шесть часов для ее завершения. А потом борона целиком протыкает его и выбрасывает в яму, где он плюхается в кровавую воду и вату. На этом суд оканчивается, и мы, я и солдат, зарываем тело.

Склонив ухо к офицеру и засунув руки в карманы пиджака, путешественник следил за работой машины. Осужденный тоже следил за ней, но ничего не понимал. Он стоял, немного нагнувшись, и глядел на колеблющиеся зубья, когда солдат по знаку офицера разрезал ему сзади ножом рубашку и брюки, так что они упали на землю; осужденный хотел схватить падавшую одежду, чтобы прикрыть свою наготу, но солдат приподнял его и стянул с него последние лохмотья. Офицер настроил машину, и в наступившей тишине осужденного положили под борону. Цепи сняли, вместо них закрепили ремни; в первый миг это казалось чуть ли не облегчением для осужденного. Потом борона опустила еще немного, потому что этот человек был очень худ. Когда зубья коснулись осужденного, по коже у него пробежала дрожь; куда солдат был занят правой его рукой, он вытянул левую, не глядя куда; но это было как раз то направление, где стоял путешественник. Офицер все время искоса глядел на путешественника, словно пытаясь определить по лицу иностранца, какое впечатление производит на того экзекуция, с которой он его теперь хоть поверхностно познакомил.

Ремень, предназначенный для запястья, порвался — вероятно, солдат слишком сильно его натянул. Прося офицера помочь, солдат показал ему оторвавшийся кусок ремня. Офицер подошел к солдату и сказал, повернувшись лицом к путешественнику:

— Машина очень сложная, всегда что-нибудь может повраться или сломаться, но это не должно сбивать с толку при общей оценке. Для ремня, кстати сказать, замена найдется сразу — я воспользуюсь цепью; правда, вибрация правой руки будет уже не такой нежной.

И, закрепляя цепь, он добавил:

— Средства на содержание машины отпускаются теперь очень ограниченные. При прежнем коменданте я мог свободно распоряжаться суммой, выделенной специально для этой цели. Здесь был склад, где имелись всевозможные запасные части. Признаться, я их прямо-таки транжирил, конечно, прежде, а вовсе не теперь, как то утверждает новый комендант, который только и ищет повода отменить старые порядки. Теперь деньгами, отпущенными на содержание машины, распоряжается он, и, посылая за новым ремнем, я должен представить в доказательство порванный, причем новый поступит только через десять дней и непременно низкого качества, никуда не годный. А каково мне тем временем без ремня управлять с машиной — это никого не трогает.

Путешественник думал: решительное вмешательство в чужие дела всегда рискованно. Он не был ни жителем этой колонии, ни жителем страны, которой она принадлежала. Вздумай он осудить, а тем более сорвать эту экзекуцию, ему сказали бы: ты иностранец, вот и помалкивай. На это он ничего не смог бы возразить, напротив, он смог бы только прибавить, что удивляется в данном случае себе самому, ведь путешествует он лишь с познавательной целью, а вовсе не для того, чтобы менять судопроизводство в чужих странах. Но очень уж соблазнительна была здешняя обстановка. Несправедливость судопроизводства и бесчеловечность наказания не подлежали сомнению. Никто не мог заподозрить путешественника в своих корыстных: осужденный не был ни его знакомым, ни соотечественником, да и вообще не располагал к сочувствию. У путешественника же имелись рекомендации высоких учреждений, он был принят здесь чрезвычайно учтиво, и то, что его пригласили на эту экзекуцию, казалось, даже означало, что от него ждут отзыва о здешнем правосудии. Это было тем вероятнее, что нынешний комендант, в чем он, путешественник, теперь вполне удостоверился, не был сторонником такого судопроизводства и относился к офицеру почти враждебно.

Тут путешественник услышал крик взбешенного офицера. Тот навалился с трудом впихнул войлочный шпенок в рот осужденного, как вдруг осужденный, не в силах побороть тошноты, закрыл глаза и затрясся в рвоте. Офицер поспешно рванул его со шпеняка вверх, чтобы повернуть голову к яме, но было поздно — нечистоты уже потекли по машине.

— Во всем виноват комендант! — кричал офицер, в неистовстве тряс штанги. — Машину загаживают, как свинарник.

Дрожащими руками он показал путешественнику, что произошло.

— Ведь я же часами втолковывал коменданту, что за день до экзекуции нужно прекращать выдачу пищи. Но сторонники нового, мягкого курса иного мнения. Перед уводом осужденного дамы коменданта пичкают его сладостями. Вся свою жизнь он питался тухлой рыбой, а теперь должен есть сласти. Впрочем, это еще куда ни шло, с этим я примирился, но неужели нельзя приобрести новый войлок, о чем я уже три месяца прошу коменданта! Можно ли без отвращения взять в рот этот войлок, обсосанный и искусанный перед смертью доброй сотней людей?

Осужденный положил голову, и вид у него был самый мирный. Солдат чистил машину рубахой осужденного. Офицер подошел к путеше-

стеннику, который, о чем-то догадываясь, на шаг отступил, но офицер взял его за руку и потянул в сторону.

— Я хочу сказать вам несколько слов по секрету, — сказал он, — вы разрешите?

— Разумеется, — ответил путешественник, слушая его с опущенными глазами.

— Это правосудие и эта экзекуция, присутствовать при которой вам посчастливилось, в настоящее время уже не имеют в нашей колонии открытых приверженцев. Я единственный их защитник и одновременно единственный защитник старого коменданта. О дальнейшей разработке этого судопроизводства я теперь и думать не думаю, все мои силы уходят на сохранение того, что уже есть. При старом коменданте колония была полна его сторонников; сила убеждения, которой обладал старый комендант, отчасти у меня есть, однако его властью я не располагаю ни в какой мере; поэтому его сторонники притаились, их еще много, но все молчат. Если вы сегодня, в день казни, зайдете в кофейню и прислушаетесь к разговорам, вы услышите, наверно, только двусмысленные намеки. Это все сплошь сторонники старого, но при нынешнем коменданте и при нынешних его взглядах от них нет никакого толку. И вот я вас спрашиваю: неужели из-за этого коменданта и его женщин такое вот дело всей жизни, — он указал на машину, — должно погибнуть? Можно ли это допустить? Даже если вы иностранец и приехали на наш остров лишь на несколько дней! А времени терять нельзя, против моей судебной власти что-то предпринимается; в комендатуре ведутся уже совещания, на которые меня не приглашают; даже сегодняшний ваш визит представляется мне показательным для общей обстановки; сами боятся и посылают сначала вас, иностранца... Как, бывало, проходила экзекуция в прежние времена! Уже за день до казни вся долина была запружена людьми; все приходили ради такого зрелища, рано утром появлялся комендант со своими дамами, фанфары будили лагерь, я отдавал рапорт, что все готово, собравшиеся — никто из высших чиновников не имел права отсутствовать — располагались вокруг машины. Эта кучка плетеных кресел — жалкий остаток от той поры. Начищенная машина сверкала, почти для каждой экзекуции я брал новые запасные части. На виду у сотен людей — зрители стояли на цыпочках вон до тех высоток — комендант собственноручно укладывал осужденного под борону. То, что сегодня делает простой солдат, было тогда моей, председателя суда, почетной обязанностью. И вот экзекуция начиналась! Никаких перебоев в работе машины никогда не было. Некоторые и вовсе не глядели на машину, а лежали с закрытыми глазами на песке; все знали: сейчас торжествует справедливость. В тишине слышны были только стоны осужденного, приглушенные войлоком. Нынче машине уже не удастся выдать из осужденного стон такой силы, чтобы его не смог заглушить войлок, а тогда пишущие зубья выпускали едкую жидкость, которую теперь не разрешается применять. Ну а потом наступал шестой час! Невозможно было удовлетворить просьбы всех, кто хотел взглянуть с близкого расстояния. Комендант благоразумно распоряжался пропускать детей в первую очередь; я, по своему положению, конечно, всегда имел доступ к самой машине; я часто сидел вон там на корточках, держа на каждой руке по ребенку. Как ловили мы выражение просветленности на измученном лице, как подставляли мы лица сиянию этой на-монец-то достигнутой и уже исчезающей справедливости! Какие это были времена, дружище!

Офицер явно забыл, кто перед ним стоит; он обнял путешественника и положил голову ему на плечо. Путешественник был в большом замешательстве, он нетерпеливо глядел мимо офицера. Солдат кончил чистить машину и вытряхнул из жестянки в миску еще немного рисовой каши. Как только осужденный, который, казалось, уже вполне оправился, это заметил, он стал тянуться языком к каше. Солдат то и дело его отталкивал, каша предназначалась, видимо, для более позднего времени, но, конечно, нарушением порядка было и то, что солдат запускал в кашу свои грязные руки и ел ее на глазах у голодного осужденного.

Офицер быстро овладел собой.

— Я вовсе не хотел вас растрогать, — сказал он, — я знаю, понять сегодня те времена невозможно. Вообще-то машина работает и говорит сама за себя. Она говорит сама за себя, даже если стоит одна в этой долине. И под конец тело все еще летит в яму по какой-то непостижимо плавной кривой, хотя у ямы в отличие от тех времен не лепятся, как мухи, сотни людей. Тогда нам приходилось ограждать яму крепкими перилами, теперь они давно сорваны.

Путешественник, чтобы спрятать от офицера лицо, бесцельно озирался по сторонам. Офицер решил, что тот смотрит, как пусто в долине; поэтому он схватил его за руки и, вертясь около него, чтобы поймать его взгляд, спросил:

— Вы видите этот позор?

Но путешественник промолчал. Офицер вдруг оставил его в покое; растопырив ноги, упершись руками в бока, он несколько мгновений неподвижно глядел в землю. Затем он ободряюще улыбнулся путешественнику и сказал:

— Вчера, когда комендант вас приглашал, я находился неподалеку от вас. Я слышал это приглашение. Я знаю коменданта. Я сразу понял, зачем он вас приглашает; хотя он достаточно могуществен, чтобы выступить против меня, на это он еще не отваживается, но заручиться вашим отзывом обо мне, отзывом уважаемого иностранца, ему хочется. Его расчет точен: вы находитесь на нашем острове второй день, вы не знали старого коменданта и его образа мыслей, вы скованы европейскими традициями, может быть, вы принципиальный противник смертной казни вообще и такого механизированного исполнения приговора в частности; вы видите, наконец, что казнь совершается без публики, убого, на машине, уже немало изношенной. Разве все это вместе взятое (так думает комендант) не позволяет надеяться, что вы не одобрите моих действий? А если вы не одобрите, то вы (я все еще рассуждаю, как комендант) не станете об этом молчать, ведь вы, конечно, доверяете большому своему опыту. Правда, вы знаете своеобразные нравы разных народов и судите как ученый, поэтому вы, наверно, выскажетесь против подобных действий не так решительно, как, может быть, высказались бы у себя на родине. Но коменданту этого и не нужно. Достаточно одного просто неосторожного, сказанного невзначай слова. Оно вовсе не должно соответствовать вашим убеждениям, если только оно внешне отвечает его желанию. Что он самым хитрым образом начнет вас расспрашивать — в этом я уверен. А его дамы сядут кружком и наострят ушки; вы скажете, например: "У нас судопроизводство другое", или: "У нас обвиняемого сначала допрашивают, а уж потом выносят ему приговор", или: "У нас есть и другие наказания, кроме смертной казни", или: "У нас пытки существовали только в средние века". Все это замечания правильные, и вам они кажутся естествен-

ными — невинные замечания, не затрагивающие моих действий. Но как воспримет их комендант? Я уже вижу, как наш комендант резко отодвинет стул и поспешит на балкон, я уже вижу, как его дамы устремятся за ним, я уже слышу его голос — дамы называют этот голос громовым — и слышу, как он говорит: "Великий ученый Запада, уполномоченный рассмотреть судоустройство во всех странах, только что заявил, что наш старозаветный порядок бесчеловечен. После подобного заключения такого лица я, конечно, не могу мириться с этим порядком. Итак, я приказываю отныне..." И так далее. Вы хотите вмешаться, вы не говорили того, что он вам приписывает, вы не называли моего метода бесчеловечным, напротив, по вашему глубокому убеждению, это самый человеческий и наиболее достойный человека метод, вы восхищены и этой техникой, но уже поздно — вы не можете даже выйти на балкон, где уже полно дам, вы хотите обратить на себя внимание, вы хотите кричать, но дамская ручка закрывает вам рот, а я и дело старого коменданта погибли.

Путешественник подавил улыбку: вот до чего легка была, оказывается, задача, которую он считал такой трудной. Он ответил уклончиво:

— Вы переоцениваете мое влияние; комендант читал мое рекомендательное письмо, ему известно, что я не знаток судоустройства. Если бы я высказал свое мнение, это было бы мнение частного лица, ничуть не более важное, чем мнение любого другого, и, уж во всяком случае, куда менее важное, чем мнение коменданта, обладающего, как мне представляется, очень широкими правами в этой колонии. Если его мнение об этой системе действительно так определено, как вам кажется, тогда, я боюсь, этой системе пришел конец и без моего скромного содействия.

Понял ли это офицер? Нет, он еще не понял. Он помотал головой, быстро оглянулся на осужденного и солдата, которые, вздрогнув, отстранились от риса, подошел к путешественнику вплотную и, глядя ему не в лицо, а куда-то на пиджак, сказал тише, чем раньше:

— Вы не знаете коменданта, вы относитесь к нему и ко всем нам — простите меня — до некоторой степени простодушно; ваше влияние, поверьте мне, трудно переоценить. Да ведь я же был счастлив, когда узнал, что вы будете присутствовать на экзекуции один. По замыслу коменданта, это распоряжение должно было нанести мне удар, а я обращаю его себе на пользу. Во время моих объяснений вас не отвлекали ни лживые нашептывания, ни презрительные взгляды, которых при большом скоплении публики вряд ли удалось бы избежать, вы видели машину и собираетесь посмотреть казнь. Ваше мнение, конечно, уже сложилось; если у вас и есть еще какие-то сомнения, то зрелище казни их устранил. И вот я обращаюсь к вам с просьбой: помогите мне одолеть коменданта!

Путешественник не дал ему продолжать.

— Как я могу! — воскликнул он. — Это же невозможно. Я так же не могу быть вам полезен, как не могу повредить вам.

— Можете, — сказал офицер. Путешественник не без испуга увидел, что офицер сжал кулаки. — Можете, — еще настойчивее повторил офицер. — У меня есть план, который не подведет. Вы думаете, что вашего влияния недостаточно. Я знаю, что его достаточно. Но даже если согласиться, что вы правы, разве не следует для сохранения этого порядка испробовать любые, пусть и недостаточно действенные средства? Выслушайте же мой план... Для его успеха нужно прежде всего, чтобы сегодня вы как можно сдержаннее выражали в колонии свое мнение о нашем судопроизводстве. Если вас прямо не спросят, не высказывайтесь ни в коем

случае; высказаться же вы должны коротко и неопределенно — пусть видят, что вам тяжело говорить об этом, что вы огорчены, что если бы вы стали говорить откровенно, то разразились бы прямо-таки проклятиями. Я не требую, чтобы вы лгали, ни в коем случае, вы должны только коротко отвечать: "Да, я видел исполнение приговора" — или: "Да, я выслушал все объяснения". Только это, ничего больше. Ведь для огорчения, которое должно звучать в ваших словах, у вас достаточно поводов, хотя и иного свойства, чем у коменданта. Он, конечно, поймет это совершенно превратно и истолкует по-своему. На этом и основан мой план. Завтра в комендатуре под председательством коменданта состоится большое совещание всех высших чиновников управления. Комендант, конечно, ухитрится превращать такие совещания в спектакль. Построили даже галерею, которая всегда заполнена зрителями. Я вынужден участвовать в этих совещаниях, хотя меня там просто тошнит. Вас-то, конечно, пригласят на это совещание; а если сегодня вы будете вести себя согласно моему плану, то это приглашение обратится даже в настойчивую просьбу. Но если вас по какой-либо непонятной причине не пригласят, вам придется потребовать приглашения; в том, что тогда вы его получите, можно не сомневаться. И, значит, завтра вы будете сидеть с дамами в комендантской ложе. Комендант будет время от времени поглядывать вверх, чтобы удостовериться в вашем присутствии. После разбора множества несущественных, смешных, рассчитанных только на слушателей вопросов — обычно это строительные работы в порту, снова и снова строительные работы! — зайдет речь и о нашем судостроении. Если комендант сам не начнет этого разговора или начнет его недостаточно скоро, я позабочусь, чтобы он начался. Я встану и сделаю сообщение о сегодняшней казни. Очень коротко, только это сообщение. Такие сообщения там, правда, не принято делить, но я его все-таки сделаю. Комендант поблагодарит меня, как всегда, любезной улыбкой, и тут уж он, конечно, никак не упустит удобного случая. "Только что, — он начнет таким или подобным образом, — мы выслушали сообщение о состоявшейся казни. Я лично хотел бы прибавить что при этой казни как раз присутствовал великий ученый, который, мы все это знаете, оказал огромную честь нашей колонии своим посещением. Сегодняшнее наше заседание также приобретает особую значительность ввиду его присутствия. Так вот, не спросить ли нам этого великого ученого, каково он мнения о казни, совершенной по старому обычаю, и о судебном разбирательстве, ей предшествовавшем?" Все, конечно, одобрительно аплодируют, я — громче всех. Комендант отвечает вам поклон и говорит: "В таком случае я от имени всех присутствующих задаю этот вопрос". И тут вы подойдете к барьеру. Положите руки так, чтобы они были всем видны, иначе дамы их схватят и станут играть вашими пальцами...

И вот наконец ваше слово. Не знаю, как я вынесу напряжение оставшихся до этого мига часов. Не ограничивайте себя в своей речи ничем, говорите правду во весь голос, наклонитесь над барьером и прокричите, да, прокричите свое мнение, свое твердое мнение коменданту в лицо. Не может быть, вы этого не хотите, это не в вашем характере, у вас наедине, может быть, ведут себя при таких обстоятельствах иначе? Это неправильно, этого тоже совершенно достаточно — не вставайте вообще! скажите только несколько слов, произнесите их так, чтобы их слышали разве что сидящие под вами чиновники, этого достаточно; вы вообще не должны говорить об отсутствии зрителей, о лязгающем колесе, о порции

ном ремне и вызывающем рвоту войлоке, о нет, все остальное я беру на себя, и поверьте, если моя речь не выгонит его из зала, она поставит его на колени и заставит признать: старый комендант, я перед тобой преклоняюсь... Вот мой план, хотите ли вы помочь мне осуществить его? Ну конечно, хотите, более того, вы обязаны это сделать!

Офицер взял путешественника за обе руки и, тяжело дыша, заглянул ему в лицо. Последние слова он прокричал так, что даже солдат и осужденный насторожились: хотя они ничего не понимали, они перестали хватать еду и, продолжая жевать, поглядели на путешественника.

Ответ, который он должен был дать, был для путешественника с самого начала совершенно ясен; слишком многое повидал он на своем веку, чтобы заколебаться сейчас, он был по существу человеком честным и не трусил. Все же теперь при виде солдата и осужденного он одно мгновение помедлил. Но в конце концов он сказал то, что должен был сказать:

— Нет.

Офицер заморгал, не переставая, однако, глядеть на него.

— Вам требуется объяснение? — спросил путешественник.

Офицер молча кивнул.

— Я противник этого судебного порядка, — сказал путешественник. — Еще до того, как вы оказали мне доверие — а доверием вашим я, конечно, ни в коем случае не стану злоупотреблять, — я уже думал, вправе ли я выступить против этого порядка и имеет ли мое вмешательство хоть какие-либо виды на успех. К кому я должен был бы обратиться прежде всего, было мне ясно: к коменданту, конечно. Вы сделали это еще более ясным, однако укрепили меня в моем решении вовсе не вы, напротив, честная ваша убежденность очень меня трогает, хоть она и не может сбить меня с толку.

Офицер промолчал, повернулся к машине, потрогал одну из латунных штанг и, откинув голову, поглядел вверх, на разметчик, словно проверяя, все ли в порядке. Солдат и осужденный, казалось, тем временем подружись: осужденный, хотя из-за ремней это удавалось ему с трудом, делал солдату знаки, солдат наклонялся к нему; осужденный что-то шептал солдату, а солдат кивал ему в ответ.

Путешественник подошел к офицеру и сказал:

— Вы еще не знаете, как я собираюсь поступить. Я выскажу коменданту свое мнение о здешнем судопроизводстве, но выскажу его не на совещании, а с глазу на глаз: да я и не намерен оставаться здесь так долго, чтобы участвовать в каких-либо заседаниях; завтра утром я уже уеду или по крайней мере сяду на корабль.

Офицер, казалось, пропустил все это мимо ушей.

— Значит, наше судопроизводство вам не понравилось, — сказал он скорее для себя и усмехнулся, как усмехается старик над блажью ребенка, пряча за усмешкой свои раздумья. — Тогда, стало быть, пора, — сказал он наконец и вдруг взглянул на путешественника светлыми глазами, выражавшими какое-то побуждение, какой-то призыв к участию.

— Что пора? — тревожно спросил путешественник, но не получил ответа.

— Ты свободен, — сказал офицер осужденному на его языке. Тот сперва не поверил. — Ну, свободен же, — сказал офицер.

В первый раз лицо осужденного по-настоящему оживилось. Правда ли это? Не минометный ли это каприз офицера? Или, может быть, чужеземец выхлопотал ему помилование? Что происходит? Все эти вопросы

были, казалось, написаны на его лице. Но недолго. В чем бы тут ни было дело, он хотел, если уж на то пошло, быть и вправду свободным, и он стал дергаться, насколько позволяла борона.

— Ты порвешь ремни! — крикнул офицер. — Лежи смирно! Мы отстегнем их.

И, дав знак солдату, он принялся вместе с ним за работу. Осужденный тихо смеялся, он поворачивал лицо то влево — к офицеру, то вправо — к солдату, но путешественника тоже не забывал.

— Вытащи его! — приказал офицер солдату.

Ввиду близости бороны нужно было соблюдать осторожность. От нетерпения осужденный уже получил несколько небольших рваных ран на спине. Но теперь он перестал занимать офицера. Тот подошел к путешественнику, снова извлек свой кожаный бумажник, порылся в нем и, найдя наконец листок, который искал, показал его путешественнику.

— Читайте, — сказал он.

— Не могу, — сказал путешественник, — я же сказал, что не могу этого прочесть.

— Вглядитесь получше, — сказал офицер и встал рядом с путешественником, чтобы читать вместе с ним.

Когда и это не помогло, он на большой высоте, словно до листка им в коем случае нельзя было дотрагиваться, обрисовал над бумагой буквы мизинцем, чтобы таким способом облегчить путешественнику чтение. Путешественник тоже старался вовсю, чтобы хоть этим доставить удовольствие офицеру, но у него ничего не получалось. Тогда офицер стал разбирать надпись по буквам, а потом прочел ее уже связно.

— "Будь справедлив!" — написано здесь, — сказал он, — ведь теперь-то вы можете это прочесть.

Путешественник склонился над бумагой так низко, что офицер, боясь, что тот дотронется до нее, отстранил от него листок; хотя путешественник ничего больше не сказал, было ясно, что он все еще не может прочесть написанное.

— "Будь справедлив!" — написано здесь, — сказал офицер еще раз.

— Может быть, — сказал путешественник, — верю, что написано именно это.

— Ну ладно, — сказал офицер, по крайней мере отчасти удовлетворенный, и поднялся по трапу с листком в руке; с великой осторожностью уложив листок в разметчик, он стал, казалось, целиком перестраивать тщательную передачу; это была очень трудоемкая работа, среди шестеренок были, наверно, и совсем маленькие, порой голова офицера вовсе скрывалась в разметчике, так внимательно осматривал он систему колес.

Путешественник неотрывно следил снизу за этой работой, у него текла шея и болели от солнца, заливавшего небо, глаза. Солдат и осужденный были заняты только друг другом. Рубаху и штаны осужденного, у него лежавшие в яме, солдат достал оттуда концом штыка. Рубаха была ужасно грязная, и осужденный выстирал ее в бадейке с водой. Когда он наденет штаны и рубаху, оба, и солдат и осужденный, громко рассмеялись, ибо одежда была сзади разрезана вдоль. Считая, возможно, своим долгом позабавить солдата, осужденный принялся кружиться перед ним в разрезанном платье, а тот, присев на землю, со смехом хлопал себя по коленям. Однако ввиду присутствия господ они еще сдерживали и свои чувства и себя.

Управившись наконец со своей работой, офицер еще раз с улыбкой

оглядел каждую мелочь, захлопнул капот открытого дотоле разметчика, спустился, поглядел в яму, а затем на осужденного, удовлетворенно отметил, что тот забрал оттуда свою одежду, затем подошел к бадейке, чтобы помыть руки, с опозданием увидел противную грязь, огорчился, что ему не придется, значит, вымыть руки, погрузил их наконец (эта замена явно не устраивала его, но делать было нечего) в песок, затем встал и начал расстегивать свой мундир. При этом ему прежде всего попались два дамских платочка, которые он раньше засунул за воротник.

— Вот тебе твои платки, — сказал он, бросая их осужденному. А путешественнику, объясняя, сказал: — Подарки дам.

Несмотря на явную торопливость, с которой он снял мундир, а затем донага разделся, он обращался с каждым предметом одежды очень бережно; серебряные аксельбанты на мундире он даже особо разгладил пальцами, а одну из кистей поправил, встряхнув. Никак, правда, не вязалось с этой бережностью то, что, расправив ту или иную часть обмундирования, он сразу же раздраженно швырял ее в яму. Последним оставшимся у него предметом был кортик на портуpee. Он вытащил кортик из ножен, переломил его, затем сложил все вместе — куски кортика, ножны и портупею — и швырнул это с такой силой, что в яме звякнуло.

Теперь он стоял нагишом. Путешественник кусал себе губы и ничего не говорил. Хотя он и знал, что произойдет, он не имел права в чем-либо мешать офицеру. Если судебный порядок, которым дорожил офицер, был действительно так близок к концу — возможно, из-за вмешательства путешественника, считавшего это вмешательство своим долгом, — офицер поступал сейчас совершенно правильно, на его месте путешественник поступил бы точно так же.

Солдат и осужденный ничего не понимали, сперва они даже не глядели на офицера. Осужденный был очень рад, что ему возвратили его платки, но долго радоваться ему не пришлось, ибо солдат выхватил их у него резким, внезапным рывком. Тогда осужденный в свою очередь попытался выхватить платки у солдата из-за пояса, куда тот их заткнул, но солдат был начеку. Так они полушутливо и спорили. Только когда офицер разделся совсем, они насторожились. Казалось, осужденного особенно потрясло предчувствие какого-то великого поворота. То, что произошло с ним, происходило теперь с офицером. Теперь, наверно, дело доведет до конца. Очевидно, так приказал этот чужеземец. Это была, следовательно, месть. Не выстрадав до конца, он будет до конца отомщен. Широкая беззвучная усмешка появилась теперь на его лице и больше уже не сходила с него.

А офицер между тем повернулся к машине. Если и раньше было ясно, что он отлично в ней разбирается, то теперь впору было поражаться, как он управляет машиной и как она его слушается. Стоило ему только поднести руку к бороне, как та несколько раз поднялась и опустилась, пока не приняла того положения, которое требовалось, чтобы он поместился; он только дотронулся до края лежака, и лежак уже начал вибрировать; войлочный шпенек оказался как раз против рта, видно было, что вообще-то офицеру хочется обойтись без него, но после минутного колебания он превозмог себя и взял его в рот. Все было готово, только ремни висели еще по бокам, но в них явно не было нужды — офицера не требовалось привязывать. Однако осужденный заметил висящие ремни и, полагая, что при незакрепленных ремнях экзекуция будет несовершенна, ретиво кивнул солдату, и они побежали к машине привязать офицера. Тот уже вытянул одну ногу, чтобы толкнуть рубильник, включавший разметчик;

увидев подбежавших, офицер перестал вытягивать ногу и дал привязать себя. Однако теперь он уже не мог достать до рубильника; ни солдат, ни осужденный рубильника не нашли бы, а путешественник не собирался и пальцем шевельнуть. Этого и не понадобилось; как только ремни застегнули, машина сразу же заработала: лежак вибрировал, зубцы ходили по коже, борона поднималась и опускалась. Путешественник успел уже наглядеться на это, прежде чем вспомнил, что одна шестерня в разметчике должна лязгать. Но все было тихо, никаких шумов не было слышно.

Благодаря такой тихой работе машина совершенно перестала привлекать к себе внимание. Путешественник перевел взгляд на солдата и на осужденного. Осужденный был более оживлен — все в машине его занимало, он то наклонялся, то становился на цыпочки, все время показывая что-то солдату указательным пальцем. Путешественнику это было неприятно. Он собирался остаться здесь до конца, но глядеть на солдата и осужденного стало невыносимо.

— Ступайте домой, — сказал он им.

Солдат, вероятно, так и поступил бы, но осужденный воспринял этот приказ чуть ли не как наказание. Он сложил руки, умоляя оставить его здесь, а когда путешественник отрицательно покачал головой, даже упал на колени. Путешественник понял, что никакие приказы тут не помогут, и направился было к солдату и осужденному, чтобы просто прогнать их. Тут он услышал наверху, в разметчике, какой-то шум. Он посмотрел вверх. Значит, все-таки одну шестерню заедает? Но это было что-то другое. Капот разметчика медленно поднялся и распахнулся. Показались, поднявшись, зубцы одной шестерни, а вскоре появилась и вся шестерня, как будто какая-то огромная сила сжимала разметчик и этой шестерне не хватало места; шестерня докатилась до края разметчика, упала, покатились стоймя по песку и легла в песок. Но наверху уже поднималась еще одна, и за ней другие — большие, маленькие, едва различимые, и со всеми пропало ходило то же самое, и каждый раз казалось, что теперь-то уж разметчик должен быть пуст, но тут появлялась новая, еще более многочисленная шестерня, поднималась, падала, катилась по песку и ложилась в песок. Из-за этого зрелища осужденный совсем забыл о приказе путешественника, шестерни приводили его в восторг, он хотел схватить каждую и просить солдата помочь ему, но всякий раз испуганно отдергивал руку, потому что вдогонку спешили уже другое колесо, которое его — по крайней мере — когда катилось — пугало.

Путешественник, напротив, очень встревожился; машина явно разваливалась, ровный ее ход был обманчив, у него возникло такое чувство, что теперь он должен помочь офицеру, так как тот не может уже о себе позаботиться. Но, сосредоточив все свое внимание на выпадении шестерен, путешественник упустил из виду остальные части машины; когда же он теперь, после того как из разметчика выпала последняя шестерня, склонился над бороной, его ждал новый, еще более неприятный сюрприз. Борона перестала писать, она только колола, и лежак, вибрируя, не поворачивал тело, а только насаживал его на зубья. Путешественник хотел вмешаться, может быть даже остановить машину, — это уже была не пытка, какой добивался офицер, это было просто убийство. Он протянул руки к машине. Но тут борона с насаженным на него телом подалась в сторону, как это она обычно делала только на двенадцатом часу. Кровь текла ручьями, не смешиваясь с водой, — трубочки для воды тоже на этот раз не сработали. Но вот не сработало и последнее — тело не отделялось от длин-

ных игл, а, истекая кровью, продолжало висеть над ямой. Борона чуть было не вернулась уже в прежнее свое положение, но, словно заметив, что она еще не освободилась от груза, осталась над ямой.

— Помогите же! — крикнул путешественник солдату и осужденному, схватив офицера за ноги. Он хотел с этой стороны налечь на ноги, чтобы те двое с другой стороны налегли на голову, и все вместе медленно сняли офицера с зубцов. Но те двое никак не решались приблизиться; осужденный и вовсе отвернулся; путешественнику пришлось подойти к ним и силой подвести их к изголовью лежака. Тут он почти против своей воли увидел лицо мертвеца. Оно было такое же, как при жизни, на нем не было никаких признаков обещанного избавления, — того, что обретали в этой машине другие, офицер не обрел; губы были плотно сжаты, глаза были открыты и сохраняли живое выражение, взгляд был спокойный и уверенный, в лоб вошло острие большого железного реза.

Когда путешественник — с солдатом и осужденным позади — подошел к первым домам колонии, солдат показал на один из них и сказал:

— Вот кофейня.

В нижнем этаже этого дома было глубокое, низкое, пещероподобное помещение с закоптелыми стенами и потолком. Со стороны улицы оно было широко открыто. Хотя кофейня мало отличалась от остальных домов колонии, которые все, кроме роскошных зданий комендатуры, сильно обветшали, она произвела на путешественника впечатление исторической достопримечательности, и он почувствовал власть прежних времен. Он подошел к этому дому, прошел впереди своих провожатых между незанятыми столиками, стоявшими перед кофейней на улице, подышал захламленным прохладным воздухом, который шел изнутри.

— Старик похоронен здесь, — сказал солдат. — Священник отказал ему в месте на кладбище. Некоторое время вообще не знали, где его хоронить, но в конце концов похоронили здесь. Об этом вам офицер наверняка не рассказывал, ведь этого он, конечно, стыдился больше всего. Он даже несколько раз пытался выкопать старика ночью, но его каждый раз прогоняли.

— Где эта могила? — спросил путешественник, не поверив солдату.

Солдат и осужденный сразу же опередили его и показали вытянутыми руками туда, где, как им было известно, находилась могила. Они провели путешественника к задней стене, где за несколькими столиками сидели посетители. Это были, по всей видимости, портовые рабочие, дюжие люди с короткими блестяще-черными окладистыми бородами. Все были без пиджаков, в драных рубашках; это был бедный, униженный люд. Когда путешественник приблизился, некоторые поднялись, прижались к стене и стали глядеть на него.

— Это иностранец, — слышался шепот вокруг, — он хочет посмотреть могилу.

Они отодвинули один из столиков, под которым действительно находился надгробный камень. Это был простой камень, достаточно низкий, чтобы столик мог его спрятать. На нем очень мелкими буквами была сделана надпись. Путешественнику пришлось стать на колени, чтобы ее прочесть. Надпись гласила: "Здесь покойся старый комендант. Его сторонники, которые сейчас не могут назвать своих имен, выкопали ему эту могилу и поставили этот камень. Существует предсказание, что через определенное число лет комендант воскреснет и поведет своих сторонников

отвоевывать колонию из этого дома. Верьте и ждите!" Когда путешественник прочел это и поднялся, он увидел, что вокруг него стоят люди и усмеваются так, словно они прочли надпись вместе с ним и, найдя ее смешной, призывают его присоединиться к их мнению. Путешественник сделал вид, что не заметил этого, роздал им несколько монет и, подождав, пока могилу прикроют столом, покинул кофейню и направился к порту.

Солдат и осужденный встретили в кофейне знакомых, которые их задержали. Но, видимо, они быстро отделались от них: не успел путешественник дойти до середины длинной лестницы, что вела к лодкам, как они уже бежали за ним вдогонку. Они, вероятно, хотели в последнюю минуту заставить путешественника взять их с собой. Пока путешественник договаривался внизу с лодочником о доставке на судно, эти двое стремглав молча бежали по лестнице, ибо кричать они не осмеливались. Но когда они добежали донизу, путешественник был уже в лодке и лодочник как раз отчалил. Они успели бы еще прыгнуть в лодку, но путешественник поднял с днища тяжелый узловатый канат и, погрозив им, удержал их от этого прыжка.

1914

Стук в ворота

Это случилось в знойный летний день. По дороге к дому мы с сестрой проходили мимо закрытых ворот. Не знаю, из озорства ли или из рассеянности постучала моя сестра в ворота или не стучала вовсе, а только погрозила кулаком. Дорога сворачивала влево, и в ста шагах начиналась деревня. Для нас это была совсем незнакомая деревня, но едва мы поровнялись с первым домом, как из всех дверей высыпали люди и стали кричать нам, не то приветствуя, не то предостерегая нас. Они и сами были испуганы. Они ежились от испуга и показывали пальцами на усадьбу, мимо которой мы прошли, и толковали про стук в ворота. Хозяева усадьбы подадут на вас жалобу, и сейчас же начнется следствие. Я был совершенно спокоен и всячески успокаивал сестру. Скорее всего, она вовсе и не стучала, а если бы и стукнула разок, так никто никоим способом не может это доказать. Я старался убедить в этом окружающих, они меня слушались, но мнение свое держали при себе. А потом заявили, что не только моя сестра, но и меня, как брата, привлекут к ответу. Я только кивал с улыбкой. Все мы смотрели в сторону усадьбы — так, видя вдалеке клубы дыма, ждешь, когда же пробьется пламя. И правда, вскоре в распахнувшихся ворота въехали всадники. Облако пыли застлало все, только поблескивали острия длинных копий. Не успел отряд скрыться во дворе усадьбы, как, очевидно, тут же повернул назад и поскакал по направлению к нам. Я старался удалить сестру, чтобы самому уладить дело. Она противилась, желая оставлять меня одного. Я стал уговаривать ее хотя бы переодеться, чтобы предстать перед важными господами в приличном платье.

Наконец она согласилась и отправилась домой, а до дому еще было далеко. Тут как раз подскакали всадники и, не сходя с седел, принялись угрожать мою сестру. Ее сейчас нет, робко отвечали им, но она придет немедленно, когда погода.

Всадники отнеслись к этому довольно равнодушно — им, очевидно,

важнее всего было застигнуть меня. Главную роль среди них играли двое — судья, напористый молодой господин, и его тихонький помощник, отзывавшийся на фамилию Асман. Мне предложили войти в крестьянскую горницу. Медленно, покачивая головой и теребя помочи, направился я туда под суровыми взглядами прибывших господ.

Я все еще рассчитывал, что меня, горожанина, с первых же слов выделят из этой крестьянской толпы и отпустят даже с почетом. Но судья вскочил в горницу раньше моего, и не успел я переступить порог, как он встретил меня словами: "Вот кого мне жаль". При этом он явно подразумевал не нынешнее мое положение, а то, что меня ожидает. Комната скорее походила на тюремную камеру, чем на крестьянскую горницу. Пол выложен каменными плитами, стены темные и сплошь голые, только кое-где вделаны железные кольца; посередине — нечто среднее между нарами и операционным столом.

Вдохну ли я когда-нибудь иной воздух, кроме тюремного?

Вот основной вопрос, который встает перед мной, вернее, встал бы, если бы у меня была малейшая надежда на освобождение.

Железнодорожные пассажиры

Если поглядеть на нас просто, по-житейски, мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным. А вокруг себя, то ли от смятения чувств, то ли от их обострения, мы видим одних только чудищ да еще, в зависимости от настроения и от раны, захватывающую или утомительную игру, точно в калейдоскопе.

"Что мне делать?" или "Зачем мне это делать?" не спрашивают в этих местах.

Правда о Санчо Пансе

Занимая его в вечерние и ночные часы романами о рыцарях и разбойниках, Санчо Панса, хоть он никогда этим не хвастался, умудрился с годами настолько отвлечь от себя своего беса, которого он позднее назвал Дон Кихотом, что тот стал совершать один за другим безумнейшие поступки, каковые, однако, благодаря отсутствию облюбованного объекта — а им-то как раз и должен был стать Санчо Панса — никому не причинили вреда. Человек свободный, Санчо Панса, по-видимому, из какого-то чувства ответственности хладнокровно сопровождал Дон Кихота в его странствиях, до конца его дней находя в этом увлекательное и полезное занятие.

Прометей

О Прометее существует четыре предания. По первому, он предал богов людям и был за это прикован к скале на Кавказе, а орлы, которых посылали боги, пожирали его печень по мере того, как она росла.

По второму, истерзанный Прометей, спасаясь от орлов, все глубже втискивался в скалу, покуда не слился с ней вовсе.

По третьему, прошли тысячи лет, и об его измене забыли — боги забыли, орлы забыли, забыл он сам.

По четвертому, все устали от такой беспричинности. Боги устали, устали орлы, устало закрылась рана.

Остались необъяснимые скалы... Предание пытается объяснить необъяснимое. Имея своей основой правду, предание поневоле возвращается к необъяснимому.

Посейдон

Посейдон сидел за рабочим столом и подсчитывал. Управление всеми водами стоило бесконечных трудов. Он мог бы иметь сколько угодно вспомогательной рабочей силы, у него и было множество сотрудников, но, полагая, что его место очень ответственное, он сам вторично проверял все расчеты, и тут сотрудники мало чем могли ему помочь. Нельзя сказать, чтобы работа доставляла ему радость, он выполнял ее, по правде говоря, только потому, что она была возложена на него, и, нужно признаться, частенько старался получить, как он выражался, более веселую должность; но всякий раз, когда ему предлагали другую, оказывалось, что именно теперешнее место ему подходит больше всего. Да и очень трудно было подыскать что-нибудь другое, нельзя же прикрепить его к одному определенному морю; помимо того, счетная работа была бы здесь не меньше, а только мизернее, да и к тому же великий Посейдон мог занимать лишь руководящий пост. А если ему предлагали место не в воде, то от одной мысли об этом его начинало тошнить, божественное дыхание становилось неровным, бронзовая грудная клетка порывисто вздымалась. Впрочем, к его недугам относились не очень серьезно; когда вас изводит сильный мира сего, нужно даже в самом безнадежном случае притвориться, будто уступаешь ему; разумеется, о действительном снятии Посейдона с его поста никто и не помышлял, спокойн веков его предназначили быть богом морей, и тут уже ничего не поделаешь.

Больше всего он сердился — и в этом крылась главная причина его недовольства своей должностью, — когда слышал, каким его себе представляют люди: будто он непрерывно разъезжает со своим трезубцем между морскими валами. А на самом деле он сидит здесь, в глубине мирового океана, и занимается расчетами; время от времени он ездит в гости к Юпитеру, и это — единственное развлечение в его однообразной жизни, хотя чаще всего он возвращается из таких поездок взбешенный. Таким образом, он морей почти не видел, разве только во время поспешного восхождения на Олимп, и никогда по-настоящему не разъезжал по ним. Обычно он заявляет, что подождет с этим до конца света; тогда, вероятно, найдется спокойная минутка, и уже перед самым-самым концом, после проверки последнего расчета, можно будет быстренько проехать вокруг света.

Ночью

Погрузиться в ночь, как порою, опустив голову, погружаешься в мысли, — вот так быть всем существом погруженным в ночь. Вокруг

тебя спят люди. Маленькая комедия, невинный самообман, будто они спят в домах, на прочных кроватях, под прочной крышей, вытянувшись или поджав колени на матрацах, под простынями, под одеялами; а на самом деле все они оказались вместе, как были некогда вместе, и потом опять, в пустынной местности, в лагере под открытым небом, неисчислимое множество людей, целая армия, целый народ, — над ними холодное небо, под ними холодная земля, они спят там, где стояли, ничком, положив голову на локоть, спокойно дыша. А ты бодрствуешь, ты один из стражей и, чтобы увидеть другого, размахиваешь горящей головешкой, взятой из кучи хвороста рядом с тобой. Отчего же ты бодрствуешь? Но ведь сказано, что кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен.

К вопросу о законах

Наши законы известны не многим, они — тайна маленькой кучки аристократов, которые над нами властвуют. Мы убеждены, что эти старинные законы в точности соблюдаются, но все же чрезвычайно мучительно, когда тобой управляют по законам, которых ты не знаешь. Я имею при этом в виду не различные истолкования и тот ущерб, который наносится людям, когда в истолковании законов участвует не весь народ, а только единицы. Может быть, этот ущерб и не так уж велик. Ведь законы идут из глубокой древности, над их истолкованием люди трудились века, так что само истолкование теперь обрело силу закона, и хотя возможности свободного истолкования еще существуют, они уже стали весьма ограниченными. Нет никаких оснований предполагать, чтобы аристократия в угоду своим интересам допускала истолкования не в нашу пользу — ведь законы и так были с самого начала установлены в пользу аристократии, они на аристократию не распространяются, потому, видимо, и отданы целиком в ее руки. Конечно, в этом есть известная доля мудрости — кто же сомневается в мудрости древних законов? — но для нас в этом есть и мука, что, вероятно, неизбежно.

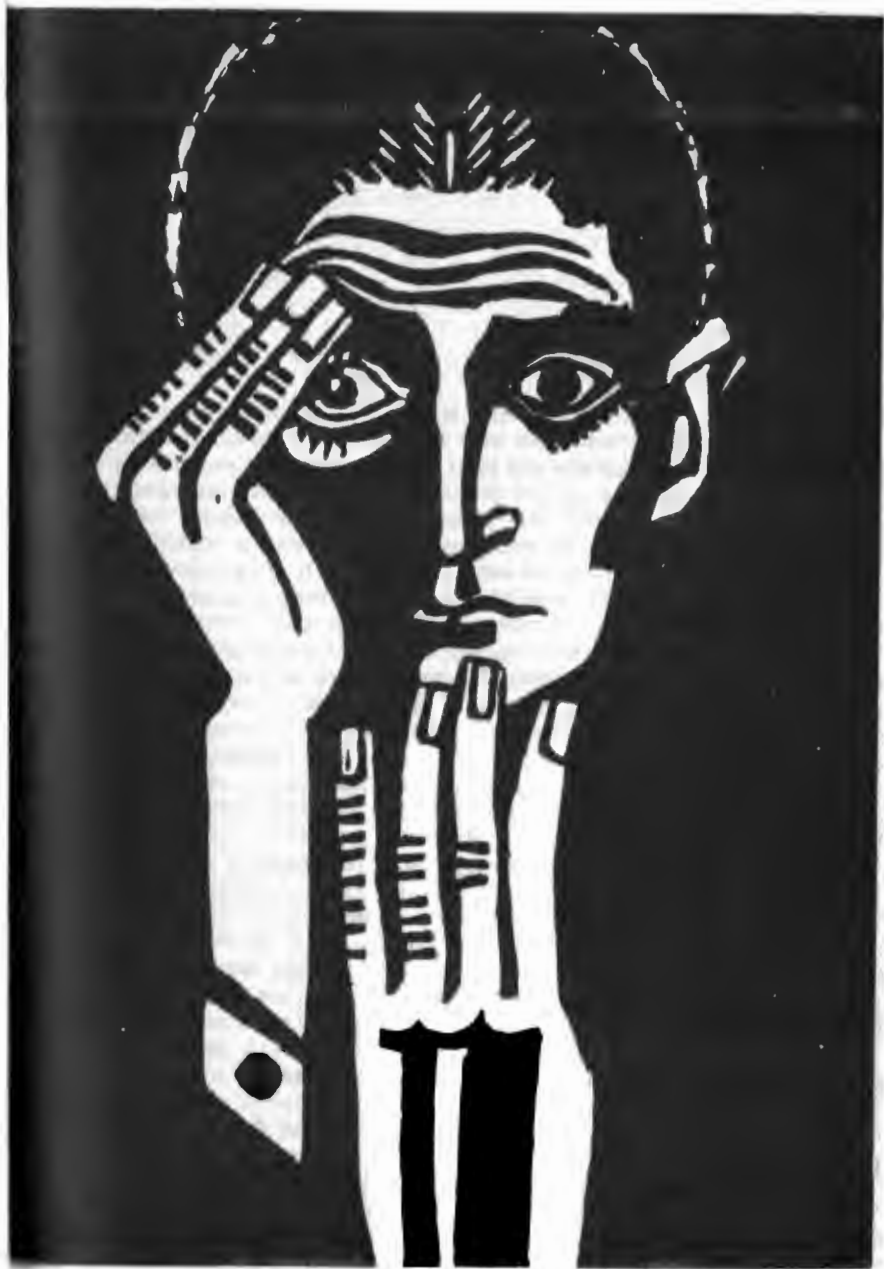
Да и существование этих мнимых законов — только предположение. Лишь по традиции принято считать, что они существуют и доверены аристократии как тайна, но это всего-навсего традиционный взгляд, заслуживающий признания в силу своей древности, и ничего больше, ибо самый характер этих законов требует, чтобы их возникновение сохранялось в тайне.

Но если мы, в народе, внимательно проследим действия аристократии с древнейших времен, если мы, располагая записями наших предков по этому поводу, добросовестно их продолжим и среди бесчисленных фактов найдем как бы основные линии, позволяющие заключить о тех или иных исторических решениях, и если мы на основе этих тщательнейшим образом отобранных и систематизированных выводов попытаемся что-то установить для настоящего и будущего, то все это окажется весьма шатким, скорее, игрою ума, ибо тех законов, которые мы стараемся отгадать, быть может, вовсе и не существует. Есть маленькая партия, которая действительно так думает и пытается доказать, что если закон и существует, то он может гласить лишь одно: все, что делает аристократия, — закон. Эта партия видит только произвольные установления аристократии и отвергает народную традицию, приносящую, по мнению этой партии, лишь ничтожную и случайную пользу, а чаще всего серьезный вред, так как по-

рождает в народе перед лицом грядущих событий ложную, обманчивую и легкомысленную уверенность. Такой вред нельзя отрицать, но подавляющее большинство нашего народа видит его причину в том, что традиция далеко не все охватывает, ее нужно исследовать гораздо глубже и даже содержащийся в ней материал, как бы он ни был огромен, все же охватит; унылость этих перспектив озаряется в настоящем лишь верой в такие времена, когда наконец наступит пауза, завершатся следования традиции, все станет ясно и закон будет принадлежать только народу, а аристократия исчезнет. Это говорится не с ненавистью к аристократии, отнюдь нет, и ни с чьей стороны ее нет. Скорее, ненавидим мы самих себя за то, что нам еще нельзя доверить закон. Поэтому и упомянутая партия, в известном смысле весьма соблазнительная, не верит, по сути дела, ни в какой закон и осталась такой немногочисленной, ибо она в полной мере признает аристократию и ее право на существование.

Это можно выразить с помощью своеобразного парадокса: если бы какая-нибудь партия вместе с верой в закон вышвырнула и аристократию, на ее стороне оказался бы тотчас весь народ; но такая партия не может возникнуть, ибо никто не дерзает вышвырнуть аристократию. На этом лезвии ножа мы и живем. Один писатель некогда сформулировал это следующим образом: единственный зримый, бесспорный закон, подчиняться которому мы обязаны, — это аристократия, и ради этого единственного закона мы должны утратить самих себя?

ИЗ ДНЕВНИКОВ



Тagebücher
1910–1923

ИЗ ДНЕВНИКОВ
1910–1923



Перевод *Е. Кацовой*

© 1948 and 1949 by Schocken Books Inc. New York City, USA

"Из дневников" впервые частично опубликовано в журнале "Вопросы литературы", 1968, № 2.

"Письмо отцу" впервые опубликовано в журнале "Звезда", 1968, № 8.

"Из разговоров Густава Яноуха с Францем Кафкой" – в журнале "Иностранная литература", 1983, № 5.

Наконец-то после пяти месяцев жизни, в течение которых я не смог написать ничего такого, чем был бы доволен, и которые никто и ничто не в силах мне возместить, хотя все обязаны бы это сделать, я надумал снова поговорить с самим собой. На это я еще способен, если действительно задаюсь такой целью, здесь еще можно что-то выбить из той копны соломы, в которую я превратился за эти пять месяцев и судьба которой, кажется, в том, чтобы летом ее подожгли и она сгорела быстрее, чем зритель успеет моргнуть глазом. Пускай бы это случилось со мной! И пусть хоть десять раз случится — я ведь не сожалею о времени, даже злополучном. Мое состояние — не состояние "несчастья", но это и не счастье, не равнодушие, не слабость, не усталость, не интерес к чему-то, — тогда что же оно такое? То обстоятельство, что я не знаю этого, связано, вероятно, с моей неспособностью писать. А ее я, кажется, ощущаю, не зная причины. Все вещи, возникающие у меня в голове, растут не из корней своих, а откуда-то с середины. Попробуй-ка удержать их, попробуй-ка держать траву и самому держаться за нее, если она начинает расти лишь с середины стебля. Пожалуй, кое-кто это умеет, например японские акробаты, взбирающиеся по лестнице, которая стоит не на земле, а на поднятых вверх ступнях полулежащего человека, и не прислонена к стене, а вздымается вверх прямо в воздух. Я этого не умею, не говоря уж о том, что под моей лестницей нет даже тех ступней. Конечно, это еще не все, и такая задача еще не заставит меня заговорить. Но каждый день на меня должна быть направлена по меньшей мере одна строка, как направляют теперь подзорные трубы на кометы. И еще — я должен оказаться перед настоящей фразой, захваченный этой фразой, как то случилось со мною, например, в последнее рождество, когда дело дошло до того, что я едва мог владеть собой, и когда, казалось, я действительно был на последней ступеньке своей лестницы, которая, правда, спокойно стояла на земле у стены. Но что за земля, что за стена! И все же та лестница не упала — так прижимали ее к стене мои ноги, так держали ее мои ноги на земле.

Сегодня, например, я совершил три дерзости — по отношению к кондуктору, по отношению к одному из моих начальников; так, их толь-

ко две, но они мучают меня, словно боль в желудке. Они были бы дерзостью со стороны любого человека, тем более с моей. Итак, я вышел из себя, сражался в воздухе, в тумане, и вот что самое скверное: никто не заметил, что я и по отношению к моим спутникам совершил дерзость, сделал, должен был сделать именно как дерзость настоящую гримасу, за которую необходимо нести ответственность; но самое скверное, что один из моих знакомых воспринял мою дерзость не как черту характера, а как самый характер, обратил мое внимание на эту дерзость и восхитился ею. Почему я вышел из себя? Теперь я, правда, говорю себе: смотри, мир позволяет тебе бить его, кондуктор и начальник остались спокойными, когда ты выходил, начальник даже поклонился. Однако это ничего не значит. Ты не можешь ничего достичь, выходя из себя. Но что еще ты потеряешь, оставаясь в очерченном тобой круге? На это я отвечу следующее: я лучше позволяю избивать себя в этом круге, чем самому избивать кого-то вне его. Но где, черт возьми, этот круг? Некоторое время я видел его на полу словно мелом нарисованным, теперь же он лишь витает вокруг меня, ли и не витает даже.

19 июля¹. Я часто думаю об этом и каждый раз прихожу к выводу, что мое воспитание во многом очень повредило мне. Этот упрек относится ко множеству людей, правда, они стоят здесь рядом и, как на старых групповых портретах, не знают, что им делать: опустить глаза им не приходит в голову, а улыбнуться они от напряженного ожидания не решаются. Здесь мои родители, кое-кто из родственников, из учителей, кухарка, которую я запомнил, некоторые девушки из школы танцев, некоторые посетители нашего дома прежних времен, некоторые писатели, преподаватель плавания, билетер, школьный инспектор, затем люди, которых я лишь однажды встречал на улице, и какие-то еще, которых я сейчас не могу припомнить, и такие, которых никогда больше не вспомню, и, наконец, такие, на уроки которых я, чем-то отвлекшись тогда, вообще не обратил внимания, — короче, их так много, что надо следить, как бы не упоминать дважды одного и того же. И к ним всем я обращаю свой упрек, знакомлю их тем самым друг с другом и никаких возражений не приемлю. Ибо воистину я уже слышал их предостаточно, и, так как большинство этих возражений я не сумел оспорить, мне ничего другого не остается, как включить и их в счет и сказать, что, как и мое воспитание, эти возражения тоже во многом очень повредили мне.

Может быть, подумают, будто я воспитывался где-то в глуши? Нет, я воспитывался в городе, в самом центре города. Не в руинах, к примеру, не в горах и не на берегу озера. Мои родители и их присные до сих пор были хмуры и серы из-за моего упрека, но вот они легко отстранили его и улыбаются, потому что я снял с них мои руки и приложил их ко лбу и думаю: мне бы быть маленьким обитателем руин, вслушивающимся в то мон галок, осененным их тенью, освежающимся под холодной лунной, пусть вначале я и был бы чуть слаб под грузом добрых качеств, которыми должны были бы буйно, как сорная трава, разрастись во мне, обожженном солнцем, сквозь развалины пробивающимся со всех сторон и светящим на мое свитое из плюща ложе.

27 ноября. Бернхард Келлерман читал вслух. "Кое-что неопубликованное из моих сочинений" — так он начал. По-видимому, милый человек, почти седые, торчком стоящие волосы, старательно, чисто выбрит, острый

нос, желваки перекатываются, как волны, на скулах. Писатель он посредственный, хотя есть хорошо написанные куски (какой-то мужчина выходит в коридор, кашляет и оглядывается, нет ли здесь кого-нибудь); честный человек, он хочет прочитать то, что пообещал, но публика не дает, испугавшись первого рассказа о психиатрической лечебнице: из-за скуки, навеваемой манерой чтения, слушатели, несмотря на известную занимательность рассказа, все время поодиночке выходят с такой ретивостью, будто по соседству читают что-то другое. Когда он, прочитав треть рассказа, остановился, чтобы выпить минеральной воды, ушло уже много народа. Он испугался. "Скоро конец", — просто соврал он. Когда он закончил, все встали, раздались аплодисменты, прозвучавшие так, словно все поднялись, а один остался сидеть и аплодировал для собственного удовольствия. Келлерман хотел читать дальше — еще один рассказ или даже несколько. Увидев, что все уходит, он только рот раскрыл. Наконец, по чьему-то совету, он сказал: "Я хотел бы еще прочитать небольшую сказку, это займет всего пятнадцать минут. Сделаем пятиминутный перерыв". Кое-кто остался, и он прочитал сказку, вполне дававшую слушателям право бежать через зал чуть ли не по головам соседей к выходу.

15 декабря. Своим выводам из моего нынешнего, уже почти год длящегося состояния я просто не верю — для этого мое состояние слишком серьезно. Я даже не знаю, могу ли я сказать, что это состояние не новое. Во всяком случае, я думаю: состояние это ново, подобные у меня бывали, но такое — еще никогда. Я словно из камня, я словно надгробный памятник себе, нет даже шелки для сомнения или веры, для любви или отвращения, для отваги или страха перед чем-то определенным или вообще, — живет лишь шаткая надежда, бесплодная, как надписи на надгробиях. Почти ни одно слово, что я пишу, не сочетается с другим, я слышу, как согласные с металлическим лязгом трутся друг о друга, а гласные подпевают им, как негры на подмостках. Сомнения кольцом окружают каждое слово, я вижу их раньше, чем само слово, да что я говорю! — я вообще не вижу слова, я выдумываю его. Но это еще было бы не самым большим несчастьем, если бы я мог выдумывать слова, которые развевали бы трупный запах, чтобы он не ударял сразу в нос мне и читателю.

Когда я сажусь за письменный стол, то чувствую себя не лучше человека, падающего и ломающего себе обе ноги в потоке транспорта на Place de l'Opéra. Все экипажи тихо, несмотря на производимый ими шум, устремляются со всех сторон во все стороны, но порядок, лучший, чем его мог бы навести полицейский, устанавливает боль этого человека, которая закрывает ему глаза и опустошает площадь и улицы, — не поворачивая машин обратно. Полнота жизни причиняет ему боль, ибо он ведь тормозит движение, но и пустота не менее мучительна, ибо она отдает его во власть боли.

16 декабря. "Дорога одиночества" В. Фреда². Как пишутся такие книги? Человек, достигший чего-либо путного в малом, так натужно растягивает свой талант на большой роман, что становится тошно, даже если ты восхищаешься энергией, с какой человек насилует собственный талант.

Зачем это третирование второстепенных персонажей, о которых я читаю в романах, пьесах и т.д. Какое чувство близости я испытываю к

ним! В "Бишофсбергских девах"³ (так это называется?) говорится о двух шведях, готовящих белье для невесты. Какова жизнь этих двух девушек? Где они живут? Что они натворили такого, что их не пускают в пьесу? Им лишь дозволено, буквально утопая в потоках ливня, снаружи прижать в последний раз лицо к окошку каюты Ноева ковчега, для того чтобы зрители в партуре увидели на мгновение нечто смутное.

17 декабря. Если бы французы по характеру своему были немцами, как бы тогда восхищались ими немцы!

То, что я так много забросил и повычеркивал — а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, — тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал, и уже одной массой своей она прямо из-под пера притягивает к себе все, что я пишу.

19 декабря. Начал ходить на службу. После обеда был у Макса⁴. Почитал немного дневники Гёте. Время уже излило покой на эту жизнь, дневники озаряют ее светом. Ясность всех событий делает их таинственными, так же как парковая ограда при созерцании больших лугов успокаивает глаз и вместе с тем вселяет в нас преувеличенное почтение. Только что пришла к нам впервые моя замужняя сестра.

20 декабря. Чем оправдаю я вчерашнее замечание о Гёте (которое почти столь же неверно, как и отмеченное записью чувство, ибо подлинное было развеяно приходом сестры)? Ничем. Чем оправдаю я то, что сегодня еще ничего не написал? Ничем. Тем более что мое состояние не наилучшее. У меня в ушах все время звучит призыв: "Приди ж, незримый суд!"

21 декабря. Достопримечательности из "Подвигов Великого Александра" Михаила Кузмина⁵: "Ребенок, верхняя половина которого была мертвою, нижняя же — со всеми признаками жизни... младенческий труп с шевелящимися красными ножками". "Нечистых царей, Гогу и Матону, питавшихся червяками и мухами, загнал в рассеявшиеся скалы и до окончания мира запечатал Соломоновою печатью". "Каменные потоки, что вместо воды стремят с грохотом камни, песчаные ручьи, три дня текущие к югу, три дня — на север". "Мужеподобные женщины, с выжженными правыми грудями, короткими волосами, в мужской обуви". "Крокодилы, мочою сжигающие дерево".

Был у Баума⁶, слушал прекрасные вещи. Я слаб, как прежде и всегда. Такое ощущение, будто меня связали, и одновременно другое ощущение, будто, если бы развязали меня, было бы еще хуже.

22 декабря. Сегодня я не решаюсь даже делать себе упреки. Прощу их, они в этот пустой день, они имели бы отвратительное эхо.

27 декабря. У меня нет больше сил написать хоть одну фразу. Если бы речь шла о словах, если бы можно было, прибавив одно слово, отвернуться в спокойном сознании, что это слово целиком наполнено тобою.

28 декабря. Когда я несколько часов веду себя по-человечески, как сегодня с Максом и позже у Баума, то перед сном уже исполнен высокомерия.

1911

12 января. Шиллер, нарисованный Шадовом в 1804 г. в Берлине, где его пышно чествовали. Крепче, чем за этот нос, лицо не ухватить. Нос несколько оттянут книзу вследствие привычки во время работы теревить его. Дружелюбный, с немного впалыми щеками человек, бритое лицо делает его похожим на старика.

14 января. Роман "Супруги" Берадта¹. Плохой язык. Все время внешне зачем-то появляется автор, например: все были веселы, но присутствовал один, который не был весел. Или: и вот пришел некий господин Штерн (которого мы уже знаем до мозга его романских костей). Подобное есть и у Гамсуна, но там это столь же естественно, как сучки на дереве, здесь же это капают на действие, как модное лекарство на сахар. Внимание беспричинно приковывается к каким-то странным оборотам. Например: он трудился над ее волосами, трудился и снова трудился. Отдельные лица, хотя и не освещены новым светом, видны хорошо, настолько хорошо, что местами даже недостатки не мешают. Второстепенные персонажи большей частью безнадежны.

19 января. Так как я, кажется, вконец измотан — в последний год я был бодр не больше пяти минут, — мне предстоит каждый день желать исчезнуть с лица земли или, хотя и это не дало бы мне ни малейшей надежды, начать все сначала малым ребенком. Внешне мне будет легче, чем тогда. Ибо в те времена я лишь смутно стремился к изображению, которое было бы каждым словом связано с моей жизнью, которое я мог бы прижать к груди и которое сорвало бы меня с места. С какими муками (правда, ни в какое сравнение не идущими с нынешними) я начинал! Каким холодом целыми днями преследовало меня написанное! Но так велика была опасность и так ничтожны были даваемые ею передышки, что я совсем не чувствовал этого холода, что, конечно, в целом не очень-то уменьшало мое несчастье.

Однажды я задумал роман, в котором два брата враждовали друг с другом; один из них уехал в Америку, между тем как другой остался в тюрьме в Европе. Я только время от времени записывал строчку-другую, потому что сразу же уставал. Вот так однажды в воскресенье, когда мы были в гостях у бабушки с дедушкой и наелись особенно мягкого хлеба с маслом, которым там всегда угощали, я начал писать что-то про ту тюрьму. Вполне возможно, что я занялся этим главным образом из тщеславия и шушанием бумаги по скатерти, постукиванием карандаша, рассеянным рассматриванием круга под лампой хотел возбудить в ком-нибудь желание взять у меня написанное, прочесть его и восхититься мною. В нескольких строчках был описан преимущественно коридор тюрьмы, главным образом тишина и холод; было сказано и сочувственное слово об оставшемся брате, ибо это был хороший брат. Возможно, меня охватило ощущение невыразительности описания, но с того дня я никогда больше не обращал особого внимания на такие ощущения, когда сидел за

круглым столом в знакомой комнате среди родственников, к которым привык (моя робость была столь велика, что среди привычного я уже был наполовину счастлив), ни на минуту не забывая, что я молод и нынешний покой не про меня — мне предначертано великое. Дядя, любивший поиздеваться, наконец взял у меня листок, который я слабо попытался удержать, бросил на него беглый взгляд и вернул обратно, даже не посмеявшись; он сказал остальным, которые следили за ним глазами "Обычная чепуха", мне же не сказал ни слова. Я, правда, остался на месте, по-прежнему склонившись над своим, стало быть, никчемным листком, но из общества я был изгнан одним пинком, дядин приговор отозвался в моей душе уже почти во всем действительном значении, в самом чувстве семьи мне раскрылся весь холод нашего мира, я должен согреть его пи-менем, на поиски которого я еще только собирался отправиться.

19 февраля. Когда я сегодня хотел подняться с постели, я свалился как подкошенный. Причина этого очень проста: я крайне переутомился. Не из-за службы, а из-за другой моей работы. Служба неповинно участвует в этом лишь постольку, поскольку я, не будь надобности ходить туда, мог бы спокойно жить для своей работы и не тратить там ежедневно эти шесть часов, которые особенно мучительны для меня в пятницу и субботу, потому что я полон моими писаниями, — так мучительны, что Вы себе представить не можете. В конечном счете — я знаю — это пустая болтовня, виноват только я, служба предъявляет ко мне лишь самые простые и справедливые требования. Но для меня это страшная двойная жизнь, исход которой, вероятно, один — безумие. Я пишу это при ясном свете утра и наверняка не стал бы писать, не будь это настолько правдой и не будь столь сильна моя сыновья любовь к Вам.

Впрочем, завтра, наверное, уже опять все будет в порядке, и я явлюсь на службу, где первыми услышу слова о том, что Вы хотите избавить от меня Ваш отдел.

19 февраля. Особенность моего вдохновения, охваченный которым я сейчас, в два часа ночи — счастливейший и несчастнейший, — иду спать (может быть, оно, если я только смогу вынести мысль об этом, сохранится, ибо оно сильнее, чем когда-либо прежде), заключается в том, что я умею все, а не только нечто определенное. Когда я, не выбирая, пишу какую-нибудь фразу, например: "Он выглянул в окно", то она уже совершенна.

20 февраля. Молодые, аккуратные, хорошо одетые юноши рядом со мной в галерее напоминают мне юность и потому производят отталкивающее впечатление.

Письмо молодого Клейста, двадцатидвухлетнего. Отказался от военной карьеры. Дома спрашивают: ради какой же доходной профессии? Только о такой и могла быть речь. У тебя есть выбор — юриспруденция или камеральные науки. Но есть ли у тебя связи при дворе? "Вначале я несколько смущенно ответил отрицательно, но потом с тем большей гордостью заявил, что, если бы у меня и были связи, я, по моим нынешним понятиям, стыдился бы рассчитывать на них. Усмехнувшись; я почувствовал, что ответил опрометчиво. Следует остерегаться произносить вслух такие истины".

21 февраля. Я живу здесь так, словно уверен, что буду жить второй раз; ну, например, как после неудачной поездки в Париж я утешал себя тем, что постараюсь вскоре снова побывать там. Передо мной — резко разделенные участки света и тени на тротуаре.

26 марта. Теософские доклады д-ра Рудольфа Штайнера из Берлина. Риторический прием: обстоятельно излагает возражения противников, слушатель поражен, сколь сильны эти противники, слушатель встревожен, он полностью погружается в эти возражения, словно вокруг ничего более не существует, слушатель считает уже, что опровергнуть их вообще невозможно, и он более чем удовлетворен даже самым беглым изложением возможной защиты. Кстати, такой риторический эффект соответствует предписанию погрузить слушателей в благоговейное настроение. Долго рассматривается вытянутая вперед ладонь. Заключительная точка не ставится. Обычно каждая фраза, произносимая оратором, начинается с прописных букв, по мере продолжения она из всех сил наклоняется к слушателю и в конце своем с заключительной точкой возвращается к оратору. Когда же заключительной точки нет, ничем не сдерживаемая фраза дышит слушателю прямо в лицо.

28 марта. Художник П. — Карлин, его жена, два широких больших передних зуба заостряют большое, в общем-то плоское лицо, госпожа надворная советница Б., мать композитора, крепкий костяк которой от старости так выпирает, что она похожа на мужчину, по крайней мере когда сидит.

Отсутствующие ученики требуют столько внимания от д-ра Штайнера. Во время его выступления вокруг него так теснятся покойники. Жажда знаний? Разве их, собственно, это интересует? Видимо, да. Спит два часа. С тех пор как однажды во время его выступления выключили электрический свет, он всегда носит с собой свечу. Он был очень близок к Христу. Он поставил в Мюнхене свою пьесу (ты можешь изучать ее целый год и все равно не поймешь), сам нарисовал костюмы, написал музыку. Он был наставником некоего химика. Симону Лёви, торговцу мылом в Париже, Quai Monseu, он дал превосходные деловые советы. Тот перевел его произведение на французский язык. Поэтому надворная советница занесла в свою записную книжку: "Как достичь познания высших миров?² У С. Лёви в Париже".

В Венской ложе есть теософ, шестидесяти пяти лет, необычайно толстый, прежде забубенный пьяница, который постоянно верит и постоянно впадает в сомнения. Говорят, было очень забавно, когда однажды на конгрессе в Будапеште во время ужина на Блоксберге в лунную ночь неожиданно пришел д-р Штайнер и он со страху спрятался со своей кружкой за пивной бочкой (хотя д-р Штайнер не рассердился бы).

Возможно, он и не самый великий современный исследователь духа, но лишь на нем возлежит долг объединить теософию с наукой. Поэтому он и знает все. Однажды в его родном селе появился ботаник, большой знаток оккультных наук. Он и просветил его. То, что я посетил д-ра Штайнера, дама истолковала мне как проявление памяти предков. Врач этой дамы, когда у нее обнаружили симптомы инфлюэнцы, спросил у д-ра Штайнера о лекарстве, прописал это лекарство даме и сразу же вылечил ее. Одна француженка попрощалась с ним, сказав: "Au revoir". Он потряс

за ее спиной рукой. Через два месяца она умерла. Еще один подобный случай в Мюнхене. Мюнхенский врач лечит красками, которые назначал д-р Штайнер. Он посылал также больных в пинакотеку с предписанием стоять, сосредоточившись, перед определенной картиной, в течение получаса или больше.

Гибель Атлантиды, гибель Лемурии³, и теперь еще — гибель от эгоизма. Мы живем в решающее время. Опыт д-ра Штайнера удачи, если только духи зла не одержат верх. Он питается двумя литрами миндального молока и фруктами, растущими на возвышенностях. Со своими отсутствующими учениками он общается посредством мысленных образов, которые он им направляет. Создав эти образы, он больше не занимается ими, но они быстро стираются, и он должен их снова создавать.

Госпожа Ф.: "У меня плохая память"

Д-р Шт.: "Не ешьте яиц".

Мое посещение д-ра Штайнера.

Одна женщина уже ожидает (на третьем этаже гостиницы "Виктория" на Юнгманштрассе), но настоятельно просит меня пройти раньше ее. Мы ждем. Приходит секретарша и обнадеживает нас. Я вижу его в конце коридора. Нешироко раскинув руки, он приближается к нам. Женщина говорит, что я пришел первым. И вот я иду позади него, он ведет меня в свою комнату. На его черном скюртуке, который во время вечерних выстулений кажется навоощенным (так он блестит своей чистой чернотой), теперь, при дневном свете (сейчас три часа пополудни), видна пыль, особенно на спине и плечах, и даже пятна.

В его комнате я пытаюсь выказать робость, испытывать которую не могу, тем, что нахожу самое неподходящее место для своей шляпы, кладу ее на маленькую деревянную подставку для шнуровки ботинок. Стол по середине, я сижу лицом к окну, он — с левой стороны стола. На столе бумаги с несколькими рисунками, напоминающими рисунки на докладах об оккультной физиологии. Номер "Анналов натурфилософии" лежит поверх небольшой стопки книг, кажется, кругом валяются еще книги. Но осматриваться нельзя, так как он все время старается заворочить посетителя своим взглядом. Когда же он не делает этого, нужно быть начеку, пока взгляд его снова не обратится на вас. Он начинает несколькими непринужденными фразами: "Вы ведь доктор Кафка? Давно ли Вы занимаетесь теософией?"

Но я произношу свою заготовленную речь:

"Я ощущаю, что большая часть моего существа тяготеет к теософии, но вместе с тем я испытываю перед нею сильнейший страх. Я боюсь, что она породит новое смятение, которое было бы для меня очень опасным, ибо мое нынешнее несчастье как раз и происходит из смятения. Смятение это вызвано вот чем: мое счастье, мои способности и всякая возможность приносить какую-то пользу с давних пор связаны с литературой. И когда я переживал состояния (не часто), очень близкие, по моему мнению, к описанным Вами, господином доктор, состоянием ясновидения, я всецело жил при этом всякой фантазией и всякую фантазию воплощал и чувствовал себя не только на предделе своих сил, но и на предделе человеческого сил вообще. Но покоя, который, по-видимому, приносит ясновидение, вдохновение, в этих состояниях почти не было. Я заключаю это по тому, что лучшие из моих работ написаны не в подобных состояниях. Но литературе я не могу отдаться полностью, как это было бы необходимо, —"

могу по разным причинам. Помимо моих семейных обстоятельств я не мог бы существовать литературным трудом уже хотя бы потому, что долго работаю над своими вещами; кроме того, мое здоровье и моя натура не позволяют мне жить, полагаясь на — в лучшем случае — неопределенные заработки. Поэтому я стал чиновником в обществе социального страхования. Но эти две профессии никак не могут ужиться друг с другом и допустить, чтобы я был счастлив сразу с обеими. Малейшее счастье, доставляемое одной из них, оборачивается большим несчастьем в другой. Если я вечером написал что-то хорошее, я на следующий день на службе весь горю и ничего не могу делать. Эти метания из стороны в сторону становятся все более мучительными. На службе я внешне выполняю свои обязанности, но внутренние обязанности я не выполняю, а каждая невыполненная внутренняя обязанность превращается в несчастье, и оно потом уже не покидает меня. И вот к этим двум стремлениям, которых мне никогда не примирить, мне теперь прибавить еще третье — теософию? Не будет ли она мешать двум другим и не будут ли ей самой мешать эти другие? Смогу ли я, человек, столь несчастный уже и сейчас, довести всю троицу до конца? Я пришел, господин доктор, спросить Вас об этом, ибо чувствую, что, если Вы считаете меня способным, я действительно смогу принять все на себя”.

Он слушал в высшей степени внимательно, по-видимому, совершенно не наблюдая за мною, полностью поглощенный моими словами. Время от времени кивал головой, что он, вероятно, считал вспомогательным средством для большей сосредоточенности. Вначале ему мешал небольшой насморк, у него текло из носа, он беспрерывно возился с носовым платком, усиленно работая пальцем в глубине каждой ноздри.

20 августа. Читал о Диккенсе. Это так трудно, да и может ли сторонний человек понять, что какую-нибудь историю переживаешь с самого ее начала, от отдаленнейшего пункта до встречи с наезжающим локомотивом из стали, угля и пара? Но и в этот момент ты не покидаешь ее, а хочешь и находишь время, чтобы она гнала тебя дальше, то есть она гонит тебя, и ты по собственному порыву мчишься впереди нее туда, куда она толкает тебя и куда ты сам влечешь ее.

Я не могу понять и даже не могу поверить в это. Я лишь временами живу в маленьком слове, в его ударении я, например, на мгновение теряю свою ни на что не пригодную голову (“удар” сверху). Первая и последняя буква — начало и конец моего чувства пойманной рыбы.

26 августа. Вероятно, это заключено в природе дружбы и сопровождает ее, как тень: один что-либо приветствует, другой о том же сожалеет, третий просто не замечает...

29 сентября. Дневники Гёте. Человек, не ведущий дневника, неверно воспринимает дневник другого человека. Когда он, например, читает в дневниках Гёте: “11.1.1797. Целый день был занят дома различными распоряжениями”, то ему кажется, что сам он никогда за весь день не делал так мало.

Путевые наблюдения Гёте совсем иные, чем нынешние, потому что они велись из почтовой кареты и развивались проще, местность изменялась медленно, и потому за ней легче было следить человеку, даже не-

знакомому с этой местностью. Это было спокойное, воистину пейзажное мышление. Так как окрестность представлялась пассажиру кареты нетронутой, в ее натуральном виде, и проселочные дороги разделяли ее гораздо естественнее, чем железнодорожные линии, с которыми они соотносятся примерно так же, как реки с каналами, то это не требовало от созерцателя никаких усилий и он мог без особого напряжения систематизировать свои впечатления. Поэтому моментальных наблюдений мало, большей частью в помещениях, где иные люди сразу же полностью распаиваются, например австрийские офицеры в Гейдельберге; а пассаж о мужчинах и Визенгейме, напротив, ближе к описанию местности: "На них были синие сюртуки и белые жилеты, украшенные ткаными цветами" (цитирую по памяти). Много написано о Рейнском водопаде в Шафхаузене, и вдруг посредине большими буквами: "Возникшие идеи".

30 сентября. Тухольский и Сафранский⁴. Берлинское произношение с придыханием, которое требует пауз в голосе, образуемых словечком "вишь". Первый из них — вполне цельный человек, двадцати одного года. От сдержанного и сильного размахивания тростью, заставляющего плечо по-юношески подниматься, до рассудительного довольства и пренебрежения к собственным писательским трудам. Хочет стать адвокатом, видит лишь небольшие препятствия к этому и одновременно — возможности их устранения; звонкий голос, мужское звучание которого после первого получаса говорения переходит как будто в девичье; сомневается, что способен позировать, но надеется, что ему в этом поможет большой жизненный опыт; наконец, боится, что знакомство с миром ввергнет его в мировую скорбь, что он замечал в пожилых берлинцах-евреях близкого ему направления, хотя пока он в себе этого совсем не ощущает. Скоро женится.

1 октября. О Гёте. "Возникшие идеи" — это всего-навсего идеи, которые вызвал Рейнский водопад. Это видно из одного письма к Шиллеру Мимолетное наблюдение — "Кастаньетный ритм детских деревянных башмаков" — произвело такое впечатление, так всеми воспринято, что нельзя себе представить, чтобы кто-нибудь, даже не зная об этом наблюдении, воспринял его как собственную оригинальную идею.

2 октября. Бессонная ночь. Уже третья подряд. Я хорошо засыпаю, но спустя час просыпаюсь, словно сунул голову в несуществующую дыру. Сон полностью отлетает, у меня ощущение, будто я совсем не спал или сон был объят лишь поверхностный слой моего существа, я должен начать работу по засыпанию сначала и чувствую, что сон отвергает мои попытки. И с этого момента всю ночь часов до пяти я как будто и сплю и вместе с тем яркие сны не дают мне заснуть. Я как бы формально сплю "около" себя, в то время как сам я должен биться со снами. Часам к пяти последние остатки сна уничтожены, я только грежу, и это изнуряет меня больше, чем бодрствование. Короче говоря, всю ночь я провожу в том состоянии, в каком здоровый человек пребывает лишь минуту перед тем, как заснуть. Когда я просыпаюсь, меня обступают все сновидения, но я остерегаюсь продумать их. На заре я вздыхаю в подушку, ибо всякая надежда на прошедшую ночь исчезла. Я вспоминаю о тех ночах, в кошмарах которых выбирался из сна столь глубокого, словно был заперт в скорлупе ореха.

Страшным видением сегодня ночью был слепой ребенок, как будто дочь моей ляйтмерикской тети, у которой вообще нет дочерей, а только сыновья, один из них однажды сломал себе ногу. Во сне существуют какие-то связи между этим ребенком и дочерью д-ра М., превращающейся, как я недавно заметил, из красивого ребенка в толстую, чопорно одетую маленькую девочку. Оба глаза слепого или плохо видящего ребенка прикрыты очками, левый глаз под довольно сильно выпуклым стеклом молочно-серого цвета, выпученный, другой глаз сидит глубоко и прикрыт вогнутом стеклом. Для того чтобы стекло сидело оптически правильно, необходимо было вместо обычной заложенной за ухо дужки применить рычажок, головку которого никак нельзя было прикрепить иначе, кроме как к скуле, так что от стекла к скуле спускается проволочка, уходящая в продырявленное мясо и кончающаяся на кости, из которой выступает другая проволочка, заложенная за ухо.

Вероятно, я страдаю бессонницей только потому, что пишу. Ведь как бы мало и плохо я ни писал, эти маленькие потрясения делают меня очень чувствительным, я ощущаю — особенно по вечерам и еще больше по утрам — дыхание, приближение захватывающего состояния, в котором нет предела моим возможностям, и потом не нахожу покоя из-за сплошного гула: он тягостно шумит во мне, но унять его у меня нет времени. В конечном счете этот гул не что иное, как подавленная, сдерживаемая гармония; выпущенная на волю, она бы целиком наполнила меня, расширила и снова наполнила. Теперь же это состояние, порождая лишь слабые надежды, причиняет мне вред, ибо у меня не хватает сил вынести теперешнюю мысль, днем мне помогает видимый мир, ночь же без помех разрезает меня на части. При этом я всегда думаю о Париже, где во времена осады и позже, до Коммуны, население северных и восточных предместий, прежде чужое парижанам, в течение месяцев, как бы толчками, подобно часовой стрелке, буквально с каждым часом все ближе придвигалось перулками к центру Парижа.

Мое утешение — с ним я и отправляюсь спать — в том, что я так долго не писал, что писание еще не могло занять свое место в моей нынешней жизни, и потому оно должно — правда, при наличии определенного мужества — хотя бы некоторое время удаваться.

Я сегодня был настолько слаб, что даже рассказал шефу историю про ребенка. Теперь я вспоминаю, что очки, виденные во сне, принадлежат моей матери, сидящей вечером возле меня и во время игры в карты не очень приветливо поглядывающей на меня сквозь пенсне. Правое стекло ее пенсне — не помню, чтобы я раньше замечал это, — ближе к глазу, чем левое.

3 октября. Диктуя на службе довольно длинное уведомление о несчастных случаях участковым управлениям, я, дойдя до конца, который должен был прозвучать повнушительнее, вдруг запнулся и не мог продолжать, а только уставился на машинистку К., — она же, по своему обыкновению, особенно оживилась, задвигалась в кресле, стала покашливать, рыться на столе и тем самым привлекла внимание всей комнаты к моей беде. Искомый оборот приобрел теперь еще и то значение, что он должен был успокоить ее, и чем необходимей он становился, тем труднее давался. Наконец я нашел слово "заклеймить" и соответствующую ему фразу, но держал все это во рту с чувством отвращения и стыда, словно это был кусок сырого мяса, вырезанного из меня мяса (такого напряжения мне это

стоило). Наконец я выговорил фразу, но осталось ощущение великого ужаса, что все во мне готово к писательской работе и работа такая была бы для меня божественным исходом и истинным воскрешением, а между тем я вынужден ради какого-то жалкого документа здесь, в канцелярии, вырывать у способного на такое счастье организма кусок его мяса.

4 октября. Я неспокоен и язвителен. Вчера перед сном у меня в верхней части головы мерцал прохладный огонек. Над левым глазом уже прочно обосновалась давящая тяжесть. Когда я думаю об этом, мне кажется, что на службе я больше не смог бы выдержать даже в том случае, если бы мне сказали, что через месяц я стану свободен. И тем не менее я, как правило, выполняю на службе свои обязанности, вполне спокоен, если могу быть уверен, что шеф доволен мною, и не считаю свое положение столь ужасным. Впрочем, вчера вечером я намеренно сделался бесчувственным, ходил гулять, читал Диккенса, потом я немного оправился, у меня не было сил предаться грусти, которую я считаю оправданной и тогда, когда она кажется чуть отодвинутой вдаль, что дает мне надежду на лучший сон. Он и был глубже, но недостаточно глубокий, и часто прерывался. Я говорил себе в утешение, что зато снова подавил великое волнение, возникшее во мне, что я не хочу терять власти над собой, как это раньше всегда бывало после таких периодов, что и послеродовые боли этого волнения не заставят меня лишиться четкого сознания, как то всегда бывало прежде. Может быть, я таким образом сумею найти в себе еще какую-то скрытую силу сопротивления.

9 октября. Если я доживу до сорока лет, то, наверное, женюсь на старой деве с выступающими вперед, не прикрытыми верхней губой зубами. Но до сорока я вряд ли доживу, об этом свидетельствует, например, ощущение, будто в левой половине черепа у меня набухает что-то, на ощупь напоминающее внутреннюю проказу, и, когда я отвлекаюсь от неприятностей и хочу только наблюдать это ощущение, оно напоминает поперечный разрез черепа в школьных учебниках или почти не причиняющие боли вскрытие живого тела, где нож, чуть холодея, осторожно, часто останавливаясь, возвращаясь, иной раз застывая на месте, продолжает отделять тончайшие слои ткани совсем близко от функционирующих участков мозга.

17 октября. Как только я вспоминаю анекдот — Наполеон рассказывает за столом в Эрфурте: "Когда я был еще простым лейтенантом в этом полку... (Королевские высочества смущенно взглядывают друг на друга, Наполеон замечает это и поправляет себя.) ...Когда я еще имел честь быть простым лейтенантом..." — у меня вздуваются жилы на шее от вполне понятной мне, помимо воли охватывающей меня самой гордости.

23 октября. Спор между Чиссиком и Лёви⁵. Ч.: Эдельштатт — самый крупный еврейский сочинитель. Он возвышен. Розенфельд, конечно, тоже крупный сочинитель, но не первый. Лёви: Ч. — социалист, и, поскольку Эдельштатт пишет социалистические стихи (он редактор еврейской социалистической газеты в Лондоне), Ч. считает его самым крупным. Но в такой Эдельштатт, его знает его партия, больше же никто, а Розенфельд знает весь мир. Ч.: Дело не в признании. Все, написанное Эдельштаттом,

возвышенно. Л.: Я тоже его хорошо знаю. "Самоубийца", например, очень хорош. Ч.: К чему спорить? Мы все равно не сойдемся. Я буду твердить свое до завтра, да и ты тоже. Л.: Я до послезавтра.

26 октября. Подведя черту, писал в отчаянии, потому что сегодня особенно шумно играют в карты, я должен сидеть за общим столом, О. смеется с полным ртом, она встает, садится, тянется через весь стол, обращается ко мне, и я в довершение несчастья пишу так плохо и думаю о хороших, написанных одним духом парижских воспоминаниях Лёви, светящихся его собственным огнем, в то время как я, во всяком случае сейчас, наверняка главным образом потому, что у меня так мало времени, почти полностью нахожусь под влиянием Макса, и это иной раз чересчур отравляет даже радость от его сочинений.

Перепису автобиографическую заметку Шоу, поскольку она меня утешает, хотя она, собственно говоря, содержит в себе нечто противоположное утешению: подростком он был учеником в конторе одного агента по продаже земельных участков в Дублине. Вскоре покинул это место, уехал в Лондон и стал писателем. За первые девять лет — с 1876 до 1885 года — он заработал всего сто сорок крон. "Но хотя я и был крепким молодым человеком и семья моя жила в трудных условиях, я не бросился в борьбу с жизнью; я бросил в нее мать и жил на ее средства. Я не был поддержкой отцу, напротив, я держался за его штаны". В конце концов это немного утешило меня. Годы, которые он свободным человеком провел в Лондоне, у меня уже позади, возможное счастье все больше становится невозможным, я веду ужасную, какую-то ненастоящую жизнь и достаточно жалок и труслив, чтобы следовать за Шоу хотя бы настолько, чтобы прочитать родителям это место. Как сверкает перед моими глазами эта возможная жизнь — в стальных красках, в стройных стальных прутьях и прозрачной темноте между ними!

27 октября. Какими израненными мне представляются актеры после спектакля, как я боюсь прикоснуться к ним словом. Я предпочел бы после короткого рукопожатия быстро уйти, словно я зол и недоволен, ибо высказать свое истинное впечатление невозможно. Все кажется мне фальшивыми, за исключением Макса, который спокойно говорит что-то бессодержательное. Но фальшив тот, кто спрашивает о какой-то бесстыдной детали, фальшив тот, кто отвечает шуткой на какое-либо замечание актера, фальшив иронизирующий, фальшив тот, кто пускается в рассуждения о своих разнообразных впечатлениях, весь этот сброд, который, будучи поделом засунут в глубину зрительного зала, теперь, поздней ночью, вылезает оттуда и снова проникается сознанием собственной ценности (очень далекой от подлинной).

28 октября. "Аксиома о драме" Макса на страницах "Шаубюне". Носит характер фантастической истины, к которой как раз и подходит выражение "Аксиома". Чем фантастичнее она раздувается, тем сдержаннее надо ее воспринимать. Высказаны следующие принципы:

Сушность драмы заключена в каком-то человеческом недостатке, это тезис.

Драма (на сцене) более исчерпывающа, чем роман, потому что мы видим все, о чем обычно только читаем.

Но так лишь кажется, ведь в романе автор может показать нам только

важное, в драме же, напротив, мы видим все — актера, декорации, — и потому не только важное, следовательно, меньше. Поэтому с точки зрения романа лучшей драмой была бы драма, ни к чему не побуждающая, например философская, которую читали бы вслух актеры в комнате с любой декорацией.

И все же наилучшей является драма, дающая в зависимости от времени и места наибольшие импульсы, освобожденная от всех требований жизни, ограничивающаяся только речами, мыслями в монологах, главными моментами события, во всем остальном управляемая лишь импульсами, поднятая на несомый кем-нибудь из актеров, художников, режиссеров щит, следующая лишь высшему вдохновению.

Ошибки этого умозаключения: оно меняет, не указывая на это, исходную посылку, рассматривает вещи то из писательского кабинета, то из зрительного зала. Допустим, что публика не все видит глазами автора, что постановка ошеломляет его самого, но ведь он носил в себе всю пьесу со всеми деталями, двигался от детали к детали, и только потому, что собрал все детали в речах, он придал им драматическую весомость и силу. Тем самым драма в своем наивысшем развитии оказывается невыносимо очеловеченной, и снизить ее, сделать выносимой — это задача актера, который расслабляет, разжижает предписанную ему роль, доносит ее дыхание. Таким образом, драма парит в воздухе, но не как сорванная бурой крыша, а как целое здание, чей фундамент с силой, еще и сегодня очень близкой безумию, вырван из земли и поднят ввысь.

Иной раз кажется, что пьеса покоится вверху на софитах, актеры отодрали от нее полосы, концы которых они ради игры держат в руках или обернули вокруг тела, и лишь там и сям трудно отторгаемая полоса, из страха публике, уносит актера вверх.

30 октября. Моя старая привычка: чистым впечатлениям, болезненным они или приятны, если только они достигли своей высшей чистоты, не должно благотворно разлиться во мне, а замутнить их новыми, непредвиденными, бледными впечатлениями и отогнать от себя. Тут нет злого намерения ни вредить самому себе, я просто слишком слаб, чтобы вынести чистоту тех впечатлений, но, вместо того чтобы признаться в этой слабости, дать ей обнаружиться — что было бы единственно правильным — и призвать для подкрепления другие силы, я пытаюсь втихомолку помочь себе, вызывая, будто произвольно, новые впечатления.

Так было, например, в субботу вечером, после того как я услышал прочитанную вслух хорошую новеллу фройляйн Т.⁶, принадлежащую больше Максу, во всяком случае принадлежащую ему в большей степени и с большим основанием, чем какая-либо его собственная, после того как прослушал отличный отрывок из "Конкуренции" Баума, где захвативший автора драматическая сила полностью передается и читателю, как это бывает при виде изделия увлеченного мастерового, — после слушания этих двух вещей я был так подавлен и моя душа, довольно пустая в течение многих дней, совершенно неожиданно наполнилась такой тяжелой грустью, что на обратном пути я заявил Максу, что из "Роберта и Самуэля" ничего не получится. Для такого заявления тогда не требовалось ни малейшего мужества — ни по отношению к самому себе, ни по отношению к Максу. Дальнейший разговор немного смутил меня, так как "Роберт и Самуэль" в то время отнюдь не был моей главной заботой, и потому я не

нашел правильных ответов на возражения Макса. Но когда я потом остался один и ничто не отвлекало меня от моей грусти — ни разговор, ни утешение, почти всегда доставляемое мне присутствием Макса, — безнадежность так переполнила меня, что затуманила мой разум (как раз в это время, когда я сделал перерыв для ужина, пришел Лёви и мешал мне и развлекал меня с семи до десяти часов). Но вместо того, чтобы дома выжидать, что случится дальше, я беспорядочно читал два номера "Акцион", немного из "Неудачников"⁸, наконец, свои парижские заметки и лег в кровать чуть более довольный собой, но ожесточенный. Нечто подобное было со мной несколько дней тому назад, когда я вернулся после прогулки, полный стремления подражать Лёви, направив извне силу его воодушевления на мою собственную цель. Тогда я тоже читал, много и сумбурно говорил дома и обессилел.

1 ноября. Сегодня после полудня боль из-за моего одиночества охватила меня так пронзительно и круто, что я отметил: таким путем растрачивается сила, которую я обретаю благодаря писанию и которая предназначалась мною во всяком случае не для этого.

2 ноября. Сегодня утром впервые после долгого перерыва снова радость при представлении о поворачиваемом в моем сердце ноже.

В газетах, в разговорах, в канцелярии часто прельщает яркость языка, затем порожденная нынешней слабостью надежда на внезапное и потому особенно сильное озарение, или одна лишь самоуверенность, или просто халатность, или сильное впечатление, которое во что бы то ни стало хочешь свалить на будущее, или мнение, будто нынешний подъем оправдает любую сумбурность в будущем, или радость от фраз, которые одним-двумя толчками поднимаются посредине и заставляют постепенно раскрыть рот во всю ширь, а затем закрыть даже слишком быстро и судорожно, или намек на возможность решительного, основанного на ясности суждения, или стремление придать уже законченной речи дальнейшее плавное течение, или потребность спешно бросить, если нужно, на произвол судьбы тему, или отчаяние, ищущее исхода для своего тяжелого дыхания, или стремление к свету без тени — все это может заставить прельститься фразами, подобными следующим: "Книга, которую я сейчас закончил, лучшая из всех, что я до сих пор читал", или: "Так хороша, как никакая другая из прочитанных мною".

5 ноября. Я хочу писать, ощущение непрерывного подергивания на лбу. Я сижу в своей комнате — главном штабе квартирного шума. Я слышу, как хлопают все двери, их грохот избавляет меня только от звука шагов пробегающих через них людей, а еще я слышу, как затворяют дверцу кухонной плиты. Отец распахивает настежь двери моей комнаты и проходит через нее в волочащемся за ним халате, в соседней комнате выскребает золу из печи, Валли спрашивает из передней, словно кричит через парижскую улицу, вычищена ли уже отцова шляпа, шиканье, которое должно выразить внимание ко мне, лишь подхлестывает отвечающий голос. Входная дверь открывается вначале с простудным сипом, переходящим в быстро обрываемое женское пение, и закрывается с глухим мужественным стуком, который звучит особенно бесцеремонно. Отец ушел, теперь начинается более деликатный, более рассредоточенный, более безнадеж-

ный шум, предводительствуемый голосами двух канареек. Я уже и раньше подумывал — а теперь канарейки снова навели меня на эту мысль, — не приоткрыть ли чуть-чуть дверь, не проползти ли, подобно змее, в соседнюю комнату, чтобы вот так, распластавшись на полу, умолять моих сестер и их горничную о покое.

Горечь, которую я чувствовал вчера вечером, когда Макс читал у Баума мой небольшой рассказ об автомобиле. Я замкнулся в себе и сидел, не смея поднять голову, прямо-таки вдавлив подбородок в грудь. Беспорядочные фразы с провалами, в которые можно засунуть обе руки; одна фраза звучит высоко, другая низко, как придется; одна фраза трется о другую, как язык о дырявый или вставной зуб; иная же фраза так грубо вламывается, что весь рассказ застывает в досадном недоумении; то и дело, как волна, накатывается вялое подражание Макс (сюжет то приглушен, то выпячен), иной раз все выглядит как неуверенные шаги на уроке танцев в первые пятнадцать минут. Я объясняю это недостатком времени и покоя, который мешает мне полностью выявить возможности моего таланта. Поэтому на свет появляются всегда только начала — они тут же обрываются; оборванное начало, например, и весь рассказ об автомобиле. Если бы я мог когда-нибудь написать крупную вещь, хорошо выстроенную от начала до конца, тогда история эта никогда не могла бы окончательно отделиться от меня и я был бы вправе спокойно и с открытыми глазами, как кровный родственник здорового сочинения, слушать чтение его; теперь же все кусочки рассказа бегут, как бездомные, по свету и гонят меня в противоположную сторону. И хорошо еще, если я нашел верное объяснение.

9 ноября. Шиллер однажды сказал: главное (или что-то в этом роде) — "претворить аффект в характер".

11 ноября. Как только я каким-либо образом осознаю, что оставил в покое зло, устранить которое призван (например, внешне благополучную, с моей же точки зрения безотрадную, жизнь моей замужней сестры), я перестаю на какой-то момент ощущать мускулы рук.

Я попытаюсь постепенно составить список того, что во мне бесспорно, затем — вероятно, потом — возможно и т.д. Бесспорно во мне жажда книг. Нет, не владеть ими или читать их я жажду, а видеть их, убеждаться порой витриной книготорговца, что они существуют. Если где-нибудь лежат несколько экземпляров одной книги, меня радует каждый из них. Жажда эта подобна неверно направленному чувству голода, она словно исходит из желудка. Книги, которыми я сам владею, радуют меня меньше, книги же моих сестер, напротив, меня радуют. Желание владеть ими несравненно слабее, оно почти отсутствует.

14 ноября. Перед сном.

Как плохо быть холостяком⁹, старому человеку напрашиваться, с трудом сохраняя достоинство, в гости, когда хочется провести вечер вместе с людьми, носить для одного себя еду домой, никого с ленивой уверенностью не дожидаться, лишь с усилием или досадой делать кому-нибудь подарки, прощаться у ворот, никогда не подниматься по лестнице со своей женой, болеть, утешаясь лишь видом из своего окна, если, конечно, мы

жешь приподниматься, жить в комнате, двери которой ведут в чужие жизни, ощущать отчужденность родственников, с которыми можно пребывать в дружбе лишь посредством брака — сначала брака своих родителей, затем собственного брака, дивиться на чужих детей и не сметь беспрестанно повторять: у меня их нет, ибо семья из одного человека не растет, испытывать чувство неизменности своего возраста, своим внешним видом и поведением равняться на одного или двух холостяков из воспоминаний своей юности. Все это верно, но при этом легко совершить ошибку: если так широко расстилаешь перед собой будущие страдания, то взгляд невольно отрывается от них и уже больше не возвращается, а ведь сейчас и позднее ты действительно окажешься перед ними, окажешься перед ними реально, весь целиком, с головой, а значит, и лбом, чтобы бить по нему рукой.

Теперь попытаться сделать набросок вступления к "Рихарду и Самуэлю".

15 ноября. Вчера вечером, уже предвкушая сон, откинул одеяло, лег и вдруг снова явственно ощутил все свои способности, словно держал их в руках; они распирали мне грудь, воспаляли голову, какое-то время я повторял себе, чтобы утешиться по поводу того, что не встаю и не сажусь работать: "Это вредно для здоровья, это вредно для здоровья", и хотел чуть ли не силком натянуть сон на голову. Я все время представлял себе фуражку с козырьком, которую я, чтобы защититься, изо всех сил натягиваю на лоб. Как много я вчера потерял, как тяжело стучала кровь в тесненной голове — обладать такими способностями и держаться только силами, которые необходимы просто для существования и попусту растрачиваются.

Бесспорно: все, что я заранее, даже ясно ощущая, придумываю слово за словом или придумываю лишь приблизительно, но в четких словах, за письменным столом, при попытке перенести их на бумагу, становятся сухим, искаженным, застывшим, мешающим всему остальному, робким, а главное — нецельным, хотя ничто из первоначального замысла не забыто. Разумеется, причина этого в значительной степени кроется в том, что вдали от бумаги я хорошо придумываю только в состоянии подъема, которого я больше боюсь, чем жажду, как бы я его ни жаждал, но полнота чувств при этом так велика, что я не могу справиться со всем, черпаю из потока вслепую, случайно, горстями, и все добытое таким способом оказывается при спокойном записывании ничтожным по сравнению с той полнотой, в которой оно жило, неспособным эту полноту выразить и потому дурным и вредным, ибо напрасно привлекло к себе внимание.

16 ноября. Из старой записной книжки: "Вечером, после того как я с шести часов утра делал уроки, я заметил, что моя левая рука уже некоторое время из сострадания поддерживает пальцы правой руки".

19 ноября. Воскресенье. Сон:

В театре. Постановка "Далекой страны" Шницлера в обработке Утица¹⁰. Я сижу совсем близко к сцене, мне кажется, что в первом ряду, пока не оказывается, что во втором. Спинка сиденья повернута к сцене, так что удобно смотреть в зрительный зал, сцену же можно видеть, лишь

повернувшись. Автор где-то поблизости, я не могу скрыть от него своего плохого мнения о пьесе, которую я, видимо, уже знаю, но зато добавляю, что третий акт должен быть остроумным. Этим "должен быть" я хочу сказать, что, если говорить об удачных местах, я пьесы не знаю и полагаюсь на слышанное мнение; это замечание я повторяю дважды не только для себя, но окружающие не обращают на него внимания. Вокруг меня большая толпа, все словно одеты по-зимнему и потому занимают слишком много места. Люди около меня, позади меня, люди, которых я не вижу, заговаривают со мной, указывают мне на вновь приходящих, называют имена, особенно обращают мое внимание на какую-то протискивающуюся через ряды кресел супружескую пару, потому что у женщины темно-желтое, мужское, длинноносое лицо, и, кроме того, насколько можно увидеть в толпе, над которой возвышается ее голова, она одета в мужской костюм; рядом со мной удивительно непринужденно стоит актер Лёни, очень непохожий на реального, и произносит взволнованные речи, в которых повторяется слово "principium", я все жду выражения "tertium comparationis"^{*}, но его нет. В ложе второго яруса, собственно в углу галереи, справа от сцены, которая там примыкает к локам, стоит позади своей сидящей матери какой-то третий сын семьи Киш и говорит что-то, обращаясь к залу; на нем красивый сюртук с развевающимися плечами. Слова Лёни имеют какое-то отношение к этим его словам. Но среди речи Киш показывает на верх занавеса и говорит, что там сидит немецкий Киш¹¹, подразумевая моего школьного товарища, изучавшего германистику.

Когда занавес поднимается, в зале становится темно и Киш так или иначе должен исчезнуть, он вместе с матерью проносится, чтобы привлечь большее внимание, вверх по галерее, широко раскинув руки и ноги, в развевающейся одежде.

Сцена расположена несколько ниже зрительного зала, на нее приходится смотреть вниз, упираясь подбородком в спинки сидений. Декорации сводятся к двум низким толстым колоннам посредине сцены. Изображается пир, в котором участвуют девушки и молодые люди. Мне мало что видно, потому что, хотя с началом представления многие из первого ряда ушли, по-видимому за сцену, оставшиеся девушки двигаются на своих местах и их большие, плоские, большей частью голубые шляпы закрывают мне сцену. Но одного невысокого мальчика лет десяти-пятнадцати я вижу на сцене очень отчетливо. У него сухие, разделенные пробормом, ровно подрезанные волосы. Он не умеет даже правильно расстелить салфетку на колених и вынужден поэтому внимательно смотреть вниз; ему приходится изображать в пьесе прожигателя жизни. Это наблюдение мешает мне испытывать особое доверие к спектаклю. Общество на сцене поджидает новых гостей, спускающихся из первых рядов зрительного зала на сцену. Но пьеса плохо разучена. Вот появляется актриса Хакельберг, другой актер светски-небрежно откинувшись в кресле, называет ее "Хакель", замечает свою ошибку и поправляется. Входит девушка, которую я знаю (мне кажется, ее зовут Франкель), она перелезает как раз на моем месте через ряд; когда она перелезает, видна ее спина, совершенно обнаженная, и кожа не очень чистая, на правом бедре расчесанное до крови место величиной с кнопку дверного звонка. Но, оказавшись на сцене и повернув к залу чи-

^{*}"Третье в сравнении" (лат.), то есть общее как основа для сравнения первого. — Здесь и далее примечания переводчика.

тое лицо, она играет очень хорошо. Теперь должен издали галопом прискакать на коне певец, рояль передает стук копыт, слышится приближающееся бурное пение, наконец я вижу и певца, который, чтобы передать естественное нарастание звука при стремительном приближении, бежит вдоль верхней галереи на сцену. Он еще не достиг сцены, еще и песня не окончена, и все же он выразил всю крайнюю спешку и громкость пения, даже рояль не может уже передать более отчетливо звук цокающих по камням копыт. Поэтому оба затаихают, и певец вступает на сцену, он поет спокойно, только старается так согнуться, чтобы его не было ясно видно, — лишь голова торчит над перилами галереи.

На этом кончается первый акт, но занавес не опускается, в зале по-прежнему темно. На полу сцены сидят два критика и пишут, прислонившись спиной к декорации. Заведующий литературной частью или режиссер с белокурой эспаньолкой впрыгивает на сцену, на лету он повелительно вытягивает одну руку, в другой руке он держит гроздь винограда, прежде лежавшую в вазе с фруктами на пиршественном столе, и ест этот виноград.

Снова повернувшись к зрительному залу, я вижу, что он освещен простыми керосиновыми лампами, которые укреплены, как на уличных фонарях, и теперь, конечно, совсем слабо горят. Вдруг — может быть, из-за плохого керосина или фитиля — из одного фонаря выбивается пламя и сноп искр падает на зрителей, которые неразличимы для глаза и сливаются в черную, как земля, массу. И вот из этой массы поднимается человек, прямо по ней идет к фонарю, вероятно чтобы привести все в порядок, но сначала смотрит вверх, на фонарь, на мгновение останавливается возле него и, так как ничего не происходит, спокойно возвращается на свое место и исчезает. Я путаю себя с ним и погружаю лицо в черноту.

Я и Макс, должно быть, в корне различны. Как ни восхищаюсь я его сочинениями, когда они лежат передо мною как нечто целое, недоступное моему или чьему-либо другому вмешательству, и даже вот сегодня эти небольшие рецензии на книги, — тем не менее каждая фраза, которую он пишет для "Рихарда и Самуэля", заставляет меня идти на уступки, которые я болезненно ощущаю всем своим существом. По крайней мере сегодня.

Сегодня вечером я снова был полон боязливо сдерживаемых способностей.

20 ноября. Бесспорно мое отвращение к антитезам. Хотя они производят впечатление неожиданности, они не ошеломляют, потому что всегда лежат на поверхности; если они и были неосознанными, то лишь малого недоставало для осознания их. Они, правда, создают ощущение основательности, полноты, непрерывности мысли, но это подобно фигуре в вертящемся колесе; мы гоняем по кругу свою незначительную мысль. Они кажутся разными, но лишены нюансов; они набухают, словно от воды, под рукой, первоначально они сулят проникновение в бесконечность, а сводятся к одним и тем же неизменным средним величинам. Они замыкаются на самих себе, их нельзя развить, они указывают отправную точку, но это всего лишь пустоты, стремительный бег на месте, они тянут за собой, как я показал, новые антитезы. Пусть же они и притянут их все к себе, раз и навсегда.

21 ноября. Моя бывшая няня, смугло-желтая лицом, с резко очерченным носом и столь милой мне некогда бородавкой на щеке, сегодня пришла к нам второй раз подряд, чтобы повидать меня. Первый раз меня не было дома, нынче же я хотел, чтобы меня оставили в покое и дали поспать, я просил сказать, что меня нет дома. Почему она так плохо воспринимала меня, я ведь был послушным, она сама сейчас говорит об этом в передней кухарке и горничной, у меня был спокойный и покладистый нрав. Почему она не употребила этого мне на благо и не уготовила мне лучшего будущего? Она замужем или вдова, имеет детей, у нее живой язык, не дающий мне заснуть, она уверена, что я высокий, здоровый господин в прекрасном возрасте — двадцати восьми лет, охотно вспоминаю свою юность и вообще знаю, что с собой делать. А я лежу здесь на диване, одним пинком вышвырнутый из мира, подстерегаю сон, который не хочет прийти, а если придет, то лишь коснется меня, мои суставы болят от усталости, мое худое тело изматывает дрожь волнений, смысл которых оно не смеет ясно осознать, в висках стучит. А тут у моей двери стоят три женщины, одна хвалит меня, каким я был, две — какой я есть. Кухарка говорит, что я сразу — она имеет в виду прямиком, без обходных путей — попаду в рай. Так оно и будет.

22 ноября. Бесспорио, что главным препятствием к успеху является мое физическое состояние. С таким телом ничего не добьешься. Я должен буду свыкнуться с его постоянной несостоятельностью. Последние ночи, полные кошмарных сновидений, но длящегося лишь минуты сна, меня сегодня утром настолько выбили из колеи, что, кроме лба своего, я ничего не ощущал, мое нынешнее состояние настолько далеко от хоть сколько-нибудь выносимого, что из одной лишь готовности к смерти я охотно свернулся бы в клубок с деловыми бумагами в руках на цементном полу коридора. Мое тело слишком длинно и слабо, в нем нет ни капли жира для создания благословенного тепла, для сохранения внутреннего огня, нет жира, которым мог бы иной раз подкрепиться измотанный потребностями дня дух, не причиняя вреда целому. Как может это слабое сердце, так часто болевшее в последнее время, гнать кровь через всю длину этих ног. Только до колен — и то ему хватило бы работы, а в холодные голени кровь толкается уже только со старческой силой. Но вот она уже опять необходима наверху, ее ждешь, в то время как она растрачивается попусту вниз. Из-за длины тела все растянуто. Что уж оно может сделать, это тело, если, будь оно даже и более плотно сбито, в нем слишком мало сил для того, чего я хочу достичь.

23 ноября. 21-го, в день сотовой годовщины смерти Клейста, самая Клейста возложила на его могилу венок с надписью: "Лучшему из нашего рода".

8 декабря. Пятница. Долго не писал, но на этот раз наполовину не удовлетворенности, так как я сам закончил первую главу "Рихарда и Сэмюэля" и считаю особенно удачным начало описания сна в купе. Более того, мне кажется, во мне происходит нечто очень близкое тому шиллеровскому претворению аффекта в характер. Несмотря на все внутреннее сопротивление, я должен это записать.

Максу не понравились последние написанные мною части, во всяком случае потому, что он считает их неподходящими для целого, но возможно

но, что они и сами по себе кажутся ему плохими. Это очень вероятно, ибо он предостерегал меня от таких длинных описаний, говоря, что подобные описания производят впечатление желеобразных.

Даже если не принимать во внимание все другие препоны (физическое состояние, родители, характер), я извлекаю очень хорошее самооправдание тому, что вопреки всему не сосредоточиваюсь на литературе, из следующего двучлена: пока я не создам большую, полностью удовлетворяющую меня вещь, до тех пор я не могу ни на что отважиться. Это неопровержимо.

9 декабря. Штауффер-Берн¹²: "Сладость продукции вводит в заблуждение относительно ее абсолютной ценности".

Если книга писем или воспоминаний, все равно чьих (на сей раз Карла Штауффера-Берна), оставляет тебя спокойным, не захватывает — ведь для этого требуется искусство, и оно уже само осчастлиливает, — а ты только поддаешься (если не оказывать сопротивления, это случается скоро), даешь собравшимся чужим людям увести тебя и породниться с тобой, тогда нет ничего особенного в том, что, закрыв книгу, вернувшись к самому себе, к своей заново осознанной, заново встряхнутой, издали кратко рассмотренной собственной сущности, ты чувствуешь себя после этой вылазки и этого отдыха лучше, с более легкой головой. Лишь потом мы можем удивиться, что чужие жизненные перипетии, несмотря на их живость, описаны в книге застывшими, хотя по собственному опыту мы знаем, что нет на свете ничего более далекого от какого-либо переживания, например грусти, вызванной смертью друга, чем описание этого переживания. Но то, что годится для нас самих, непригодно для других. Если мы, например, не можем своими письмами выразить собственные чувства — разумеется, здесь есть множество расплывающихся оттенков, — если даже в самом лучшем своем состоянии мы все время прибегаем к таким выражениям, как "неопишимо", "невыразимо", или после "так грустно" или "так прекрасно" должна сразу же следовать раздробляющая фраза с "что", то, словно в награду, нам дана способность воспринимать чужие рассказы со спокойным тщанием, чего, во всяком случае в такой мере, нам не хватает при писании собственных писем. Неведение, в каком мы пребываем относительно тех чувств, которые в зависимости от обстоятельств усилили лежащее перед нами письмо или же скомкали его, — именно это неведение превращается в понимание, ибо мы вынуждены держаться этого письма, верить только тому, что там написано, считать, таким образом, что все в нем выражено точно, и в этом точном выражении по праву видеть открытую дорогу в глубины человечнейшего. Так, например, письма Карла Штауффера содержат только рассказ о короткой жизни художника...

(Запись обрывается.)

13 декабря. "Бобровая шуба"¹³. Неровная, без взлетов гаснущая пьеса. Фальшивые сцены с управляющим. Нежная игра актрисы Леман из лессинговского театра. Наклоняясь, она складывает юбку между коленями. Задумчивый взгляд человека из народа; поднимает обе ладони, которые он слева от лица складывает, словно для того, чтобы добровольно

ослабить силу лгущего или клянущегося голоса. Беспомощная, грубая игра остальных. Вольности комика, отступающего от текста (обнажает саблю, путает шляпы). Мое холодное неприятие. Пошел домой, но, еще сидя в театре, с удивлением думал о том, что столько людей в течение целого вечера соглашались пережить столько волнений (на сцене кричат, воруют, обворовываются, докучают, злословят, унижают) и что в этой пьесе, если смотреть ее, зажмурив глаза, слышишь так много неразборчивых человеческих голосов и выкриков. Красивые девушки. Одна из них с гладким лицом, чистой кожей, округлыми щеками, высокой прической, и среди этой гладкости — растерянные, слегка припухлые глаза. Отдельные хорошие места в пьесе, в которой Вольфен одновременно окрывается воровкой и честной подругой умного, прогрессивно и демократически настроенного человека. Какой-нибудь Верхан¹⁴ в качестве зрителя должен, собственно говоря, утвердиться в правильности своих взглядов. Грустный параллелизм четырех актов. В первом акте происходит крик, во втором суд, то же самое в третьем и четвертом актах.

Когда я после некоторого перерыва начинаю писать, я словно вытягиваю каждое слово из пустоты. Заполучу одно слово — только одно оно и есть у меня, и опять все надо начинать сначала.

16 декабря. Воскресенье, двенадцать часов дня. Утро потратил попусту на сон и чтение газет. Страх перед писанием рецензии для пражской "Тагблатт". Этот страх всегда выражается в том, что я при случае, не у письменным столом, придумываю вступительные фразы к тому, что должен написать, и они сразу же оказываются непригодными, сухими, ложатся задолго до конца и своими торчащими изломами предвещают грустный итог.

В переходные периоды — а таким для меня была последняя неделя и нынешний момент тоже — меня часто охватывает грустное, но спокойное удивление собственной бесчувственностью. Я отделен ото всех вещей пустым пространством, через границы которого я даже и не стремлюсь пробиться.

Я убедился, что воскресенье я никогда не могу использовать иначе, чем будний день, так как своим особым распорядком оно опровергает все мои привычки и мне необходимо лишнее время, чтобы кое-как приладиться к этому особому дню.

В тот момент, когда я освобожусь от службы, я немедленно осуществлю свое желание написать автобиографию. Такая решительная перемена должна перед началом работы на время стать целью, чтобы суметь управлять потоком событий. Другой же, более плодотворной перемены, которая сама по себе столь страшно невероятна, я не вижу. Тогда работа над автобиографией была бы большой радостью, потому что она давалась бы так же легко, как записывание снов, но вместе с тем дала бы совсем другой, заметный результат, который всегда влиял бы на меня и был бы доступен разуму и чувству каждого.

18 декабря. Позавчера "Типодамия"¹⁵. Жалкая пьеса. Блуждание по греческой мифологии без всякого смысла и основания. Заметка Кинни

ла на театральной программе, который между строк говорит о том, о чем кричит вся постановка: что хорошая режиссура (которая здесь не что иное, как подражание Рейнгардту) может превратить плохое сочинение в замечательное театральное зрелище. Все это должно показаться грустным хоть что-нибудь подавляющему чеху. Наместник, в перерыве глотающий через открытую дверь своей ложы воздух из прохода. Появление тени мертвой Аксехи, которая быстро исчезает, потому что в этом мире ее, лишь недавно умершую, снова слишком сильно охватывают прежние человеческие страдания.

Я непунктуален, потому что не чувствую боли ожидания. Я ожидаю, как вол. Когда передо мною хотя бы неясно вырисовывается цель моего нынешнего существования, я поддаюсь слабости и становлюсь столь тщеславным, что ради этой цели охотно все переношу. Если бы я был влюблен, что только не было бы мне тогда под силу! Как долго дождался я много лет назад под аркадой на Ринге, пока не проходила мимо М., если даже она шла со своим возлюбленным. Я пропускал условленное время встреч — отчасти по небрежности, отчасти из-за того, что мне неведома боль ожидания, но отчасти и ради того, чтобы усложнить новые неуверенные поиски тех, с кем я условился, то есть чтобы обновить ощущение долгого неуверенного ожидания. Уже из того, что ребенком я испытывал нервный страх перед ожиданием, можно заключить, что я был предназначен для чего-то лучшего и что я вместе с тем предчувствовал свое будущее.

У моих хороших состояний нет времени и прав для естественного развития; у плохих же, напротив, их больше, чем требуется. Сейчас я страдаю от такого состояния с девятого числа, почти десять дней, как можно высчитать по дневнику. Вчера я снова лег в постель с пылающей головой, и хотел уже порадоваться, что плохое время окончилось, и уже начать бояться, что буду плохо спать. Но это прошло, я спал довольно хорошо, а бодрствую плохо.

19 декабря. Вчера "Скрипка Давида" Латайнера¹⁶. Изгнанный брат, искусный скрипач, возвращается, как в мечтах моих первых гимназических лет, разбогатевшим домой, но сначала, в нищенской одежде, с обмотанными тряпьем, как у уборщика снега, ногами, испытывает своих никогда не покидавших родины родственников: честную бедную дочь, богатого брата, который не позволяет своему сыну взять в жены бедную кузину, а сам, несмотря на возраст, хочет жениться на молодой. Лишь потом изгнанник открывает себя, распахнув сюртук, под которым на ленте наискось висят ордена, полученные им в награду от всех государей Европы. Игрой на скрипке и пением он превращает всех родственников и их близких в хороших людей и приводит их отношения в порядок.

Сегодня за завтраком случайно заговорил с матерью о женитьбе и детях, я сказал лишь несколько слов, но при этом впервые отчетливо понял, какое неверное и наивное представление имеет обо мне мать. Она считает меня здоровым молодым человеком, который немножко страдает от того, что вообразил себя больным. Фантазии эти со временем исчезнут сами собой, но самый решительный способ уничтожить их — жениться и

наплодить детей. Тогда и интерес к литературе сократится до той степени, какая, быть может, и подобает образованному человеку. В нормальном, ничем не урезаемом объеме сам собою разовьется и интерес к моей профессии, или к фабрике, или к чему-нибудь еще, что мне подвернется. Поэтому нет никаких оснований для постоянного отчаяния в связи с моим будущим; повод для временного, но тоже неглубокого отчаяния может возникнуть тогда, когда мне покажется, будто я снова испортил себе желудок, или когда я, из-за того что много пишу, не смогу спать. Возможностей избавления существуют тысячи. Самая вероятная из них — я внезапно влюблюсь в девушку и не захочу отступить от нее. Вот тогда и увижу, что мне хотели добра и что мне не будут мешать. Но если я останусь холостяком, как дядя в Мадриде¹⁷, тоже не будет большой беды, потому что при моем уме я уж сумею устроиться.

23 декабря. Суббота. Если, видя мой образ жизни, уводящий в не правильную, чуждую всем родным и знакомым сторону, отец выскажет опасение, что из меня получится второй дядя Рудольф¹⁸, то есть посмешище для новой, подрастающей семьи, посмешище, несколько видоизмененное в соответствии с требованиями времени, — с этого момента я почувствую, как в моей матери, с течением лет все более слабо протестовавшей против такого мнения, собирается и крепнет все, что говорит за меня и против дяди Рудольфа и, подобно клину, вбивается между представлениями о нас двоих.

Позавчера на фабрике. Вечером у Макса, где художник Новак кин раз раскладывал литографированные портреты Макса. Я растерялся перед ними, не мог сказать ни "да", ни "нет". Макс высказал несколько соображений, которые уже возникли у него, моя мысль завертелась во круг них, бесплодно. В конце концов я присмотрелся к отдельным листам, во всяком случае, ошеломленность неопытного зрителя улеглась, и нашел, что на одном листе подбородок круглый, лицо сдавлено, на другой части туловища словно кольчуга, но она, скорее, выглядит так, будто под обычным костюмом — испанская фракшая сорочка. В ответ на это художник привел какие-то возражения, взять в толк которые мне не удалось ни с первой, ни со второй попытки, но он ослабил их уже тем, что высказывал их именно нам, которые говорили чистейшую чепуху, и в то время как он был внутренне прав. Он утверждал, что диктуемая чувством и даже разумом задача художника — включить портретируемого в систему собственного художественного видения.

Чтобы достичь этого, художник сперва сделал эскиз портрета в кривых — он тоже лежал перед нами, и в его темных красках действительно обнаруживалось слишком острое, строгое сходство (эту слишком блинную остроту я могу лишь теперь осознать), — Макс признал его лучшим портретом, так как он был не только похож, но глаза и рот на нем были еще и отмечены благородными штрихами, усиленными в должной мере темными красками. Этого действительно нельзя было отрицать. По этому эскизу художник работал потом дома над своими литографиями; делая литографию за литографией, он стремился все больше и больше отойти от натуры, не только не причиняя вреда при этом своему собственному художественному видению, но штрих за штрихом приближаясь к нему. Так, например, ушная раковина утратила свои естественные изгибы и своеобразие очертания и превратилась в углубленную полуокружность вокруг маленького темного отверстия. Костистый, начинающийся уже...

ушей подбородок Макса потерял свое человеческое очертание, и, каким бы необходимым оно ни казалось, зрителю отход от правды старой дал слишком мало новой правды. Волосы переданы уверенными, ясными штрихами и остались человеческими волосами, хотя художник и отрицал это.

Требую от нас понимания смысла этих превращений, художник затем лишь мимоходом, но с гордостью указал, что на этих листах все имеет значение и что даже случайное благодаря его воздействию на все второстепенное стало необходимым. Так, узкое бледное кофейное пятно около головы стекает вниз почти через весь портрет, оно нанесено намеренно, с расчетом, и убрать его, не нарушив все пропорции, нельзя. На другом листе слева в углу — большое, намеченное разбросанным пунктиром, еле заметное голубое пятно; это пятно нанесено с определенным намерением, ради слабо излучаемого им на все изображение света, в котором художник и продолжал работу. Теперь его ближайшая цель — заняться преобразованием рта, с которым кое-что, но недостаточно, уже проделано, и затем носа; на жалобу Макса, что тем самым литография еще больше отдалится от прекрасного цветного эскиза, он заметил: вовсе не исключено, что она к нему снова приблизится.

Во всяком случае, нельзя не отметить уверенности, с какой художник в любой момент разговора доверялся непредвиденностям своего вдохновения, и одно лишь это доверие с полным правом делало его художественный труд трудом почти научным. Две литографии — "Продавщица яблок" и "Прогулка" — купил.

Одно из преимуществ ведения дневника состоит в том, что с успокоительной ясностью осознаешь перемены, которым ты непрестанно подвержен и в которые ты, в общем и целом, конечно, веришь, догадываешься о них и признаешь их, но всякий раз именно тогда невольно отрицаешь, когда дело доходит до того, чтобы из этого признания почерпнуть надежду или покой. В дневнике находишь доказательства того, что даже в состояниях, которые сегодня кажутся невыносимыми, ты жил, смотрел вокруг и записывал свои наблюдения, что, таким образом, вот эта правая рука двигалась, как сегодня, когда ты благодаря возможности обозреть тогдашнее состояние, правда, поумнел, но с тем большим основанием ты должен признать бесстрашие своего тогдашнего стремления, сохранившегося, несмотря на полное неведение.

24 декабря. Ребенком я испытывал страх, а если не страх, то неприятное чувство, когда отец говорил о последнем дне месяца, об "ultima", а, как дедец, он часто говорил об этом. Так как я не был любопытен — а если бы я и задал однажды вопрос, то вследствие медленной работы мысли не смог бы достаточно быстро понять ответ, и, если иной раз и проявлялось слабое любопытство, оно удовлетворялось уже самим вопросом и ответом, не требуя еще и смысла, — выражение "последний день" осталось для меня мучительной тайной; более внимательно вслушиваясь, я различал слово "ultima", но на меня оно не производило столь сильного впечатления. Плохо было и то, что никогда нельзя было окончательно справиться с этим так долго со страхом ожидаемым "последним днем", ибо, как только он проходил — без особых примет, даже без особого внимания (то, что он всегда приходил примерно после тридцати дней, я заметил лишь много позднее) — и благополучно наступало первое число,

снова начинали говорить о "последнем дне", правда без особого ужаса, что я без размышлений присоединял к остальным непонятностям.

25 декабря. Все, что я узнал от Лёви о современной еврейской литературе в Варшаве, и то, что я знаю о современной чешской литературе (частично на основе собственных наблюдений), позволяет сделать вывод, что многие заслуги литературы — пробуждение умов, сохранение целостности часто бездейственного во внешней жизни и постоянно распадающегося национального сознания, гордость и поддержка, которую черпает нация в литературе для себя и перед лицом враждебного окружения, ведение как бы дневника нации, являющееся совсем не тем же, чем является историография, в результате чего происходит более быстрое и тем не менее всегда всестороннее критически оцениваемое развитие, всепроникающее одухотворение широкой общественной жизни, привлечение недовольных элементов, сразу же оказывающихся полезными там, где ущерб может быть причинен просто халатностью, сосредоточение внимания нации на изучении собственных проблем и восприятие чужого лишь в отраженном виде, порождение уважения к людям, занимающимся литературной деятельностью, временное, но приносящее свои плоды пробуждение высоких стремлений в подрастающем поколении, включение литературных явлений в политическую злобу дня, облагораживание и создание возможности осуждения противоречий между отцами и детьми, исполненный боли, вызывающий к прощению, очищающий показ национальных недостатков, поклонение оживленной и потому осознающей свое значение книжной торговле и жадности к книгам, — все это может достичь даже такая литература, которая вследствие недостатка в выдающихся талантах имеет лишь видимость широко развитой, будучи в действительности развитой не слишком широко. Активность подобной литературы даже большая, нежели литературы, богатой талантами, ибо, поскольку здесь нет писателя, дарование которого заставило бы замолчать по крайней мере большинство скептиков, литературная борьба оказывается действительно в полной мере оправданной. Поэтому в литературе, не проламываемой большим талантом, нет и щелей, в которые могли бы протиснуться равнодушные. Тем настоятельнее такая литература претендует на внимание. Самостоятельность отдельного писателя гарантируется лучше — разумеется, лишь в пределах национальных границ. Отсутствие непрекаемых национальных авторитетов удерживает совершенно неспособных от литературного творчества. Но и слабых способностей недостаточно, чтобы подпасть под влияние господствующих в данный момент писателей, лишенных характерных особенностей, или чтобы освоить результаты чужих литератур, или чтобы подражать освоенной чужой литературе, что можно увидеть по тому, как, например, внутри столь богатой большими талантами литературы, как немецкая, самые плохие писатели существуют благодаря подражанию отечественным образцам. Особенно эффективно проявляется в вышеупомянутом направлении творческая и благотворительная сила литературы, отдельные представители которой не делают ей чести, когда начинают составлять историко-литературный реестр умерших писателей. Их бессильное тогдашнее и нынешнее влияние становится чем-то настолько жалким, что это можно перепутать с их творчеством. Говорят о последнем и подразумевают первое, более того — даже читают последнее, а видят только первое. Но так как то влияние не забывается, а творчество самостоятельного воздействия на воспоминание не оказывает, то нет ни влияния

ния, ни воскрешения. История литературы преподносит неизменный, внушающий доверие блок, которому мода может лишь очень мало повредить.

Память малой нации не меньшая, чем память великой нации, поэтому она лучше усваивает имеющийся материал. Правда, трудится меньшее число историков литературы, но литература — дело не столько истории литературы, сколько дело народа, и потому она сохраняется, хотя и не в своем чистом виде, но надежно. Ибо требования, предъявляемые национальным сознанием малого народа, обязуют каждого всегда быть готовым знать, нести, защищать приходящуюся на него долю литературы, — защищать в любом случае, даже если он ее не знает и не несет.

Старые сочинения получают много толкований, которые обходятся со слабым материалом весьма энергично, правда, энергичность эта не столько сдерживается опасением, как бы слишком легко не проникли до сути, а также благоговением ко всем ним. Все делается честнейшим образом, но только с какой-то робостью, которая никогда не проходит, исключает всякую усталость и движением чьей-то ловкой руки распространяется на много миль вокруг. В конечном же счете робость не только мешает увидеть перспективу, но мешает и проникнуть в глубь вещей, чем перекрываются все эти замечания.

Поскольку нет совместно действующих людей, постольку нет и совместных литературных действий. (Одно какое-нибудь явление задвигается глубоко, чтобы можно было наблюдать его с высоты, или возносится на высоту, чтобы можно было наверху рядом с ним самому утвердиться. Искусственно.) Если же отдельное явление иной раз и осмысливают спокойно, то все равно не достигают его границ, где оно связано с другими однородными явлениями, границы достигают чаще всего в отношении политики, более того, стремятся увидеть эти границы даже раньше, чем они возникают, часто стремятся повсюду находить эти узкие границы. Узость пространства, затем оглядка на простоту и равномерность, наконец, соображение о том, будто вследствие внутренней самостоятельности литературы внешняя ее связь с политикой безопасна, — в результате всего этого литература распространяется в стране благодаря своим крепким связям с политическими лозунгами.

Вообще охотно занимаются литературной разработкой малых тем, которые имеют право быть лишь настолько большими, чтобы суметь вызвать малый восторг, и обладают полемическими перспективами и подпорками. Облеченные в литературную форму ругательства катятся куда-нибудь, а в кругу более сильных темпераментов — летают. То, что в больших литературах происходит внизу и образует подвал здания, — подвал, без которого можно и обойтись, — здесь происходит при полном освещении; то, что там вызывает минутное оживление, здесь влечет за собой никак не меньше, чем решение о жизни и смерти всех.

Трудно перестроиться, после того как всем своим существом ощутил эту полезную, радостную жизнь.

Гёте мощью своих произведений задержал, вероятно, развитие немецкого языка. Если проза за это время иной раз и отдалялась от Гёте, то сейчас она в конце концов снова вернулась к нему с тем большей страстностью, и даже старые обороты, которые, правда, встречаются у Гёте, но с ним не связаны, она теперь усвоила, чтобы насладиться усовершенствованным видом своей безграничной зависимости.

26 декабря. Перечень тех мест в "Поэзии и правде", которые неизменно своим своеобразием производят особенно сильное впечатление живости, даже не очень связанное с собственно изображенным, например представление о мальчике Гёте, любопытном, богато одетом, всеми любимом, оживленно вторгающемся ко всем знакомым, чтобы видеть и слышать все, что только можно видеть и слышать. Перелистывая сейчас книгу, я не могу найти таких мест, все мне кажется четкими и столь живыми, что ничто случайное не может превзойти их. Следует подождать, пока я в благодушном настроении снова возьмусь за книгу и тогда уж буду останавливаться на нужных местах.

27 декабря. Чувство фальши, которое я испытываю, когда пишу, можно выразить следующим сравнением: человек сидит перед двумя слуховыми окошками и ожидает некоего видения, которое может появиться только в правом окошке. Но именно оно и закрыто еле заметным занавесом, а видения одно за другим возникают в левом окошке, они упорно стараются привлечь к себе взгляд, добиваются своего и в конце концов, все увеличиваясь в объеме, полностью заслоняют предназначенное отверстие, несмотря на все противодействие. Теперь, если упомянутый человек не хочет покинуть своего места — а он ни в коем случае не хочет, — он вынужден заниматься этими видениями, которые вследствие своей лгуности — на одно лишь появление они тратят всю свою силу — не могут удовлетворить его, но когда из-за слабости они задерживаются, их можно разогнать во все стороны, чтобы дать возможность появиться другим, ибо надолго задержать взгляд на одном из них невыносимо и к тому же теплится надежда, что после того, как иссякнут все фальшивые видения, наконец покажутся подлинные. Как мало силы в этом образе. Между настоящим чувством и его описанием проложена, как доска, предпосылка, лишенная всяких связей.

29 декабря. Вот те живые места у Гёте. Стр. 265: "Поэтому я увидел своего друга в леса". Гёте, 307: "В эти часы я не слышал никаких других разговоров, кроме как о медицине или естествознании, и моя фантазия перебралась совсем в другую область".

Даже маленькое сочинение трудно закончить не потому, что пишущее чувство для окончания требует огня, которого не может породить действительное содержание, — трудно, скорее, потому, что даже маленькое сочинение требует от автора самоудовлетворенности и погруженности в самого себя, выйти из которой в атмосферу привычного дня без твердой решимости и внешнего побуждения трудно, так что, прежде чем закончить сочинение и тихо отойти от него, автор, гонимый тревогой, срывается с места и потом вынужден извне, руками, которые должны не только работать, но и за что-то держаться, завершить конец.

30 декабря. В моей склонности к подражанию нет ничего актерского, ей недостает прежде всего цельности. Грубое, бросающееся в глаза хитрое во всем его объеме я совсем не могу воспроизвести, подобные попытки мне никогда не удавались, они противны моей натуре. К восприятию же грубых деталей у меня, напротив, есть явная склонность, я охотно воспроизвожу манипуляции определенных людей с тростью, жесты, движение пальцев, и это я могу делать без труда. Но как раз

легкость, эта жажда подражания отдаляет меня от актера, ибо обратная сторона этой легкости в том, что никто не замечает моего подражания. Лишь собственное признание, удовлетворенность или чаще отвращение подтверждают удачу. Но далеко за пределы этого внешнего подражания выходит подражание внутреннее, которое часто бывает так метко и сильно, что я оказываюсь не в состоянии наблюдать и констатировать подражание, — я обнаруживаю его лишь в воспоминаниях. Подражание это столь совершенно и столь полно подменяет меня самого, что на сцене — при условии, если его вообще можно сделать зримым, — оно было бы невыносимо. От зрителя нельзя требовать большего, чем понимания внешней игры. Если актер, которому предписано избить другого, в возбуждении, под чрезмерным наплывом чувств начнет по-настоящему избивать и другой закричит от боли, тогда в зрителе должен запротестовать человек и он должен вмешаться. Но то, что в такой форме случается редко, в менее заметных формах случается бесчисленное количество раз. Сущность плохого актера не в том, что он слабо подражает, а скорее в том, что в результате недостатка образования, опыта и способностей он подражает плохим образцам. Но самая существенная его ошибка в том, что он выходит за границы игры и подражает слишком сильно. Его побуждает к этому весьма туманное представление о требованиях сцены, и даже если зритель думает, что тот или иной актер плох, потому что он топчется на месте, тербит пальцами края кармана, неуместно упирает руки в боки, прислушивается к суфлеру, во что бы то ни стало при любых обстоятельствах сохраняет смертельную серьезность, то и этот, свалившийся, как снег, на сцену актер лишь потому плох, что он слишком сильно подражает, даже если он только воображает, что делает это.

31 декабря. Утром я чувствовал себя таким бодрым, готовым писать, теперь же мне совершенно не дает писать мысль, что после обеда я должен буду читать Максусу. Это также показывает, насколько я неспособен к дружбе, если считать, что дружба в этом смысле вообще возможна. Поскольку во всякую дружбу неизбежно вторгается повседневность, то множество ее проявлений, пусть даже основа ее остается нерушимой, все время заглушается. Правда, нерушимая основа порождает новые проявления дружбы, но, так как всякое такое порождение требует времени и не всякое удается, никогда нельзя, даже если и не обращать внимания на смену личных настроений, начать снова там, где в последний раз что-то порвалось. Поэтому каждая новая встреча близких друзей должна вызывать у них беспокойство, которое не обязательно должно быть так велико, чтобы оно чувствовалось, но которое может настолько мешать разговору и поведению, что начинаешь недоумевать, тем более что причина кажется непонятной или невероятной. Как же я могу при всем этом читать Максусу или писать, думая, что прочту ему написанное.

Кроме того, мне еще мешает, что сегодня утром я листал дневник с мыслью о том, что можно прочесть Максусу. При этом я не обнаружил ни особой ценности записей, ни необходимости тут же выбросить все. Мое мнение лежит между обоими суждениями, ближе к первому, но все же оно не таково, чтобы, исходя из ценности написанного, я, несмотря на свою слабость, должен был считать себя исчерпанным. И все-таки самый вид того, сколько я написал, почти безнадежно отвлек меня на несколько часов от источника моего писания, потому что внимание потерялось в том же потоке, ушло в известной мере вниз по течению.

3 января. Многое прочел в "Нойе рундшау". Начало романа "Голый человек"¹, зыбковатая ясность в целом, детали безошибочны. "Бегство Габриэла Шиллинга" Гауптмана. Образование людей. Поучительно и дурное и хорошим.

Новогодье. Я собирался после обеда почитать Максую кое-что из дневников, заранее радовался, но не сделал этого. Мы были настроены по-разному, я ощущал в нем расчетливую мелочность и торопливость, он был почти не другом мне, но я все-таки настолько владел собой, что видел себя его глазами, видел, как я все время бессмысленно листаю тетради, и это листание, мелькание одних и тех же страниц было отвратительно. При такой обоюдной напряженности работать вместе, конечно, было невозможно, и страница "Рихарда и Самуэля", которую мы при обоюдном сопротивлении написали, является лишь свидетельством Максовой энергии, сама же по себе она плоха. Новогодний вечер у Чада. Не так скверно, потому что Велч², Киш и еще один гость внесли свежую струю, так что и в конце концов, правда лишь в пределах этого общества, снова вернулись к Максую. В толпе на улице я потом, уже не глядя на него, пожал ему руку и, как мне вспоминается, гордо пошел, прижимая к себе свои три тетради, прямо домой.

В автобиографии неизбежно вместо соответствующего правде слову "однажды" пишешь "часто". Ибо всегда понимаешь, что воспоминание черпает из темноты то, что словом "однажды" уничтожается, и, хотя слово "часто" его не полностью сберегает, оно по крайней мере в глазах пишущего сохраняется и уносит его к событиям, которых, возможно, и не было в его жизни, но они для него замена тех, о каких он в своих воспоминаниях и думать забыл.

5 января. Когда кажется, будто твердо решил вечером остаться дома³, надел домашнюю куртку, уселся после ужина за освещенный стол и занялся такой работой или игрой, по окончании которой обычно идут спать, когда на улице такая скверная погода, что лучше всего сидеть дома, когда ты так долго спокойно просидел за столом, что уже нельзя уйти, не вызвав отцовского гнева, всеобщего удивления, когда и на лестнице уже темно и ворота заперты и когда, несмотря на все это, ты во внезапном порыве встаешь, надеваешь вместо куртки пиджак, появляешься сразу же одетым для улицы, говоришь, что должен уйти, и, коротко попрощавшись, действительно уходишь и в зависимости от быстроты, с какой ты хлопываешь входную дверь и тем самым обрываешь всеобщее обсуждение твоего ухода, оставляешь всех в большей или меньшей степени раздосадованными, когда оказываешься уже на улице и тело вознаграждает тебя за неожиданно дарованную ему свободу особой подвижностью, когда чувствуешь, что одним этим решением уйти ты пробудил в себе весь запас решимости, когда яснее, чем обычно, осознаешь, что в тебе больше возможностей, нежели потребности легко вызвать и перенести быстрейшую перемену, что, предоставленный самому себе, ты в полной мере наслаждаешься покоем и разумом, — тогда ты на данный вечер выбыл из сферы семьи с такой абсолютностью, какой ты не мог бы достичь самым длительным путешествием, и пережил такое необычное в Европе чувство одиночества, что его можно назвать только русским. Оно еще больше усилится, если и

этот поздний вечерний час навестить друга, чтобы справиться, как его дела.

7 января. Вчера у Баума. Должен был прийти Штробл, но он был в театре. Баум читал вслух статью "О народной песне", плохо. Затем главу из "Игр судьбы", очень хорошо. Я был безучастен, в плохом настроении, не получил никакого представления о вещи в целом. На обратном пути, в дождь, Макс рассказывал мне о плане "Ирмы Полак". Сознаться в своем состоянии я не мог, так как Макс никогда по-настоящему не считается с ним. Потому я поневоле был неискренним, и это вконец мне все отравило. Я был настолько угнетен, что охотнее обращался к Максу тогда, когда его лицо было в темноте, несмотря на то что при этом мое собственное лицо на свету легче могло выдать меня. Но потом таинственный конец романа захватил меня вопреки всем помехам. На пути домой после прощания я был полон раскаяния по поводу своего лицемерия и боли из-за его неизбежности. Решил завести тетрадь о своем отношении к Макс-у. Что не записано, то мерцает перед глазами, и оптические случайности определяют общее суждение.

Я должен позировать обнаженным художнику Ашеру⁴ для святого Себастьяна.

31 января. Ничего не писал. Велч принес мне книги о Гёте, повергшие меня в рассеянное, бесплодное волнение. План статьи "Ужасная сущность Гёте", страх перед двухчасовой вечерней прогулкой, которую я теперь вменил себе в правило.

4 февраля. Три дня тому назад Ведекинд⁵: "Дух земли". Ведекинд и его жена Тилли тоже играют. Ясный, четкий голос женщины. Узкое, похожее на серп луны лицо. Когда она стоит спокойно, ноги как бы разветвляются в стороны. Пьеса ясна и потом, когда оглядываешься назад, так что можно спокойно и с чувством уверенности в себе идти домой. Остается противоречивое впечатление от чего-то твердо обоснованного и тем не менее по-прежнему чуждого.

Когда я шел в театр, мне было хорошо. Я отвеживал свое нутро, как мед. Пил его глоток за глотком. В театре это ощущение сразу же пропало. Впрочем, это было в прошлый раз — "Орфей в аду" с Палленбергом. Постановка была такой плохой, аплодисменты и хохот в стоячих местах партера такими громкими, что я только и мог спастись, сбежав после второго акта и тем самым заставив все умолкнуть.

Рвение, с каким я читаю о Гёте (беседы с ним, студенческие годы, ча-сы, проведенные с Гёте; пребывание Гёте во Франкфурте), захватывает меня целиком и удерживает от писания.

5 февраля. Понедельник. От усталости не могу читать даже "Поэзию и правду". Я тверд снаружи, холоден внутри...

Прекрасный силуэт Гёте во весь рост. Но при виде этого совершенно-го человеческого тела возникает и чувство отвращения, ибо достичь такой ступени совершенства представляется невозможным, и выглядит эта

ступень лишь сконструированной и случайной. Прямая осанка, опущенные руки, тонкая шея, линия колена.

Нетерпение и грусть, вызванные моей вялостью, находят пищу особенно в том, что у меня перед глазами постоянно маячит будущее, уготованное мне ими. Какие вечера, прогулки, приступы отчаяния, когда я лежу в кровати или на диване (7 февраля), ждут еще меня впереди — страшнее, чем уже пережитые.

Вчера на фабрике. Девушки в невообразимо грязной и кое-как натянутой одежде, с растрепанными, как после сна, волосами, с тупым выражением лица — из-за непрерывного шума трансмиссий и нескольких автоматически, но каждый раз неожиданно останавливающихся станков, — с ними не здороваются, они будто не люди, перед ними не извиняются, если толкнут, когда зовут их для мелкой работы; они ее исполняют и тут же возвращаются к станку, кивком головы им указывают, что им делать; они стоят здесь в нижних юбках, подвластные наиничтожнейшей силе, у них нет даже возможности понять, что это за сила, чтобы взглядом или поклоном выразить свою признательность и снискать ее расположение. Но как только пройдет шесть часов, они криком оповещают об этом друг друга, сдергивают косынки с шеи и головы, счищают с себя пыль щеткой, переходящей из рук в руки и нетерпеливо выхватываемой друг у друга, через головы снимают юбки, смывают, насколько возможно, грязь с рук — в конце концов, они ведь женщины, они умеют, несмотря на бледность и плохие зубы, улыбаться, они распрямляют затекшее тело, их нельзя уже толкать, рассматривать или не замечать, даешь им дорогу, прижимаешь к грязным ящикам, держишь шляпу в руке, когда они говорят "добрый вечер", и не знаешь, как быть, когда одна из них подает тебе пальто.

8 февраля. Гёте: "Мое желание творить было безграничным".

26 февраля. Сегодня напишу Лёви. Письма к нему я буду переносить сюда, потому что надеюсь ими достичь чего-нибудь:
Дорогой друг...

27 февраля. У меня нет времени дважды писать письма.

Вчера вечером в 10 часов, я уныло плелся вниз по Целтнергассе. Не подалеку от шляпного магазина Гесса, шагах в трех от меня, остановился молодой человек, чем вынудил остановиться и меня, снимает шляпу и бросается ко мне. В испуге я отшатываюсь, думаю сначала, что он хочет узнать дорогу к вокзалу, но почему таким образом? Потом, поскольку он доверительно приближается и снизу заглядывает мне в лицо, потому что я выше его ростом, я решаю: может быть, он хочет просить денег или еще чего похуже. Мое смятенное молчание и его смятенная речь сливаются воедино. "Вы юрист, не правда ли? Доктор? Пожалуйста, не могли бы вы дать мне совет? У меня судебное дело, мне нужен адвокат". Из осторожности, общей подозрительности и страха, что я могу осрамиться, я говорю, что не юрист, но готов дать ему совет. В чем состоит его дело? Он начинает рассказывать, я слушаю с интересом; чтобы укрепить его доверие, предлагаю ему продолжить разговор по дороге, он

предлагает проводить меня, нет, лучше я пойду с ним, мне все равно куда идти.

Он хороший чтец-декламатор, раньше был далеко не таким хорошим, как сейчас, но теперь уже может так подражать Кайнцу, что никто их не различит. Могут сказать, что он только подражает, но он добавляет и много своего. Он, правда, маленького роста, но мимика, память, манера держаться — все, все у него есть. На военной службе, в лагере в Миловице, он декламировал, один товарищ пел, они прекрасно развлекались. Это было хорошее время. Охотнее всего он декламирует Демеля⁶, например страстные нескромные стихи о невесте, воображающей брачную ночь; когда он их декламирует, это производит сильное впечатление, особенно на девушек. Оно и понятно. Он очень красиво переплел Демеля, в красную кожу. (Он показывает жестиами, как это выглядило.) Но дело не в переплете. Кроме того, он очень охотно декламирует Ридеамуса⁷. Нет, эти разные вещи совсем не противоречат друг другу, он их связывает, говорит от себя, что приходит на ум, морочит публике голову. Затем в его программе "Прометей". Здесь уж он никого не боится, даже Моисси⁸, Моисси пьет, он — нет. Наконец, он очень охотно читает из Света Мартена, это новый северный писатель. Очень хороший. Пишет эпиграммы, короткие изречения. Особенно великолепны о Наполеоне, но также и все прочие о других великих людях. Нет, декламировать он отсюда еще ничего не может, он еще не выучил их, даже не все прочитал, его тетя ему недавно читала их, вот тогда они ему и понравились.

Он собирался выступать с этой программой и предложил обществу "Фрауэнфортшритт" выступить на вечере. Собственно говоря, он хотел сначала прочитать "Усадебную историю" Сельмы Лагерлёф⁹ и одолжил этот рассказ для ознакомления председательнице "Фрауэнфортшритта" госпоже Дюреж-Воднанской. Она сказала, что рассказ-то сам по себе хорош, но слишком велик, чтобы читать его со сцены. Он согласился, рассказ действительно слишком велик, тем более что на задуманном вечере должен был еще играть его брат-пианист. Его брату двадцать один год, он очень милый молодой человек, настоящий виртуоз, два года (четыре года тому назад) проучился в высшей музыкальной школе в Берлине. Но вернулся совершенно испорченным. Собственно, не испорченным, но хозяйка, у которой он был на пансионе, влюбилась в него. Он потом рассказывал, что так часто уставал, что не мог играть — настолько его заездила эта карга.

Поскольку "Усадебную историю" отклонили, сошлись на другой программе: Демель, Ридеамус, "Прометей" и Свет Мартен. Но для того чтобы заранее показать госпоже Дюреж, что он за человек, он принес ей рукопись своего сочинения "Радость жизни", написанного летом нынешнего года. Он писал его на даче, днем стенографировал, вечером переписывал набело, отшлифовывал, отделявал, но, собственно, труда оно потребовало немного, так как удалось ему сразу. Если я хочу, он мне одолжит его, оно написано, правда, популярно, намеренно популярно, но там есть хорошие мысли, и оно, как говорится, "со вкусом". (Тонко усмехнулся, вздернув подбородок.) Если я хочу, могу его сейчас полистать, под электрическим фонарем. (Это призыв к молодежи не грустить, ибо существует ведь природа, свобода, Гёте, Шиллер, Шекспир, цветы, мотыльки и т.д.) Дюреж сказала, что у нее сейчас нет времени читать, но пусть он оставит ей свое сочинение, она вернет через несколько дней. У него уже возникло подозрение, и он не хотел оставлять, всячески уклонялся, сказал, например: "Видите ли, госпожа Дюреж, зачем оно вам, в нем одни банальности,

это, правда, хорошо написано, но..." Ничто не помогло, пришлось оставить. Это было в пятницу.

28 февраля. В воскресенье утром, когда он умывался, он вдруг вспомнил, что еще не читал "Тагблатт". Он раскрывает его, случайно, как раз на первой странице литературного приложения. Ему бросается в глаза заголовок первой статьи "Ребенок как творец", он читает первые строки и начинает плакать от радости. Это его сочинение, слово в слово его сочинение. Его впервые напечатали! Он бежит к матери и рассказывает ей. Какая радость! Старая женщина, страдающая сахарной болезнью и разведенная с отцом, который, впрочем, не виноват, она так гордится. Один сын — музыкант-виртуоз, другой станет писателем!

После того как первое возбуждение улеглось, он задумался. Как его сочинение попало в газету? Без его согласия? Без указания имени автора? И он не получит гонорара? Это злоупотребление доверием, обман. Эти госпожа Дюреж — суший дьявол. У женщин нет души, как сказал Магомет (несколько раз повторяет). Нетрудно себе представить, каким образом совершился плагиат. Попалось прекрасное сочинение, такое на улице не валяется. И вот госпожа Д. пошла в редакцию "Тагблатт", села рядом с редактором, и оба, не помня себя от счастья, взялись за переделку. Не переделывать было нельзя: во-первых, чтобы с первого взгляда не обнаружился плагиат, и, во-вторых, сочинение в тридцать две страницы слишком велико для газеты.

Я спросил, не покажет ли он мне совпадающие места, они меня особенно интересуют, и я лишь потом смогу дать совет, как ему поступить; он начал читать свое сочинение сначала, потом раскрыл его на другом месте, полистал, ничего не нашел и наконец сказал, что списано все. Напримеч, в газете написано: душа ребенка — это чистый лист бумаги, а "чистый лист бумаги" есть и в его сочинении. Или: слово "поименовать" тоже списано у него, разве иначе найдешь такое слово, как "поименовать". Но отдельные места он сравнивать не может. Хотя и списано все, все замаскировано, подано в другой последовательности, сокращено и разбавлено небольшими дополнениями.

Я читаю вслух несколько бросающихся в глаза мест из газеты. Ист это в его сочинении? Нет. А это? Нет. Это? Нет. Да, но это и есть как раз присочиненные места. Внутри же все, все списано. Боюсь, что доказать это будет трудно. Он докажет, с помощью умелого адвоката, для того ведь и существуют адвокаты. (Он смотрит на это доказательство как на совершенно новую, полностью отделенную от самого дела задачу и горд тем, что считает себя способным выполнить ее.)

То, что это его сочинение, видно, кстати, и из того, что оно опубликовано через два дня. Обычно ведь проходит по крайней мере месяца полтора до публикации принятой вещи. Здесь же им, понятно, пришлось поспешить, чтобы он не вмешался. Потому и хватило двух дней.

Кроме того, сочинение в газете называется "Ребенок как творец". Это явный намек на него и, кроме того, шпилька. Под "ребенком" подразумевается именно он, ведь раньше его считали "ребенком", "глупым" (он действительно был таким, но только во время военной службы, а служил он полтора года), этим заголовком хотят теперь сказать, что он, ребенок, создал нечто хорошее — данное сочинение, но что, хотя он и проявил себя как творец, он все же остался глупым, как ребенок, дав себе так обмануть. Под тем ребенком, о котором идет речь в первом абзаце,

подразумевается кузина из деревни, живущая сейчас у его матери.

Но особенно убедительно плагиат подтверждается одним обстоятельством, до которого он додумался, правда, после длительного размышления: "Ребенок как творец" дан на первой странице литературного приложения, на третьей же странице дан небольшой рассказ некой Фельдштайн. Фамилия эта, очевидно, псевдоним. Незачем читать весь рассказ, достаточно пробежать глазами первые строки, чтобы сразу понять: это бесстыдное подражание Сельме Лагерлёф. Рассказ в целом обнаруживает это с еще большей отчетливостью. Что сие означает? Это означает, что Фельдштайн, или как бы ее там ни звали, является кратурой Дюреж, что та дала ей прочитать "Усадебную историю", которую он принес, воспользовалась этим сочинением для написания своего рассказа, и таким образом, обе бабы использовали его — одна на первой, другая на третьей странице литературного приложения. Разумеется, каждый может и по собственному побуждению прочитать Лагерлёф и начать ей подражать, но здесь именно его влияние уж слишком очевидно. (Он часто ударяет рукой по одной и той же странице.)

В понедельник в обед, сразу после закрытия банка, он, разумеется, пошел к госпоже Дюреж. Она приоткрывает дверь только на узенькую щелочку, она явно испугана: "Но, господин Райхман, почему вы пришли в такое время? Мой муж спит, я не могу сейчас впустить вас". — "Госпожа Дюреж, вы непременно должны меня впустить. Речь идет о важном деле". Она видит — я не шучу, и впускает меня. Мужа, конечно, дома не было. В соседней комнате я вижу на столе мою рукопись и сразу же делаю свои выводы. "Госпожа Дюреж, что вы сделали с моей рукописью? Вы без моего разрешения отдали ее в "Тагблатт". Какой гонорар вы получили?" Она дрожит, твердит, что ничего не знает, не имеет представления, каким образом рукопись могла попасть в газету. "J'accuse⁴, госпожа Дюреж, — говорю я, наполовину шутя, но все же так, что она понимает мое истинное настроение, и это "J'accuse, госпожа Дюреж" я повторяю все время, пока нахожусь там, чтобы она как следует это запомнила, и повторяю еще много раз при прощании у дверей. Я, конечно, хорошо понимаю ее страх. Если я расскажу обо всем и предъявлю иск, это погубит ее репутацию, она должна будет покинуть "Фрауэнфортшритт" и т.д.

Прямо от нее я иду в редакцию "Тагблатт" и прошу вызвать редактора Лёва. Он выходит, понятно, бледный как полотно, едва в силах двигаться. Тем не менее я не хочу сразу начинать о своем деле, хочу сперва испытать его. Я спрашиваю его: "Господин Лёв, вы сионист?" (Я ведь знаю, что он сионист.) "Нет", — говорит он. Мне известно достаточно, значит, он должен передо мной притворяться. Теперь я спрашиваю о статье. Опять уклончивая речь. Он-де ничего не знает, не имеет никакого отношения к литературному приложению, позовет, если я хочу, соответствующего редактора. "Господин Виттман, идите сюда", — зовет он, довольный, что может уйти. Приходит Виттман, тоже очень бледный. Я спрашиваю: "Вы редактор литературного приложения?" Он: "Да". Я говорю лишь: "J'accuse" — и ухожу.

Из банка я сразу же звоню по телефону в "Богемию", говорю, что хочу опубликовать у них эту историю. Но дозвониться не удалось. И знаю, почему? Редакция "Тагблатт" находится вблизи главного почтамта, поэтому те, из "Тагблатт", легко могут по своему усмотрению управлять

*Я обвиняю (франц.).

связью, прерывать или соединять. И я действительно все время слышал и трубке неясный шепот, очевидно, редакторов "Тагблатт". Конечно же, они очень заинтересованы в том, чтобы этот телефонный разговор не состоялся. Тут я услышал (разумеется, очень неясно), как одни уговаривали телефонистку не соединять меня, в то время как другие уже говорили с "Богемией" и отговаривали их заниматься моей историей. "Фройляйн, кричу я в телефон, — если вы немедленно не соедините меня, я пожалуюсь почтовой дирекции". Коллеги в банке обступили меня и смеются, слыша, как энергично я разговариваю с телефонисткой. "Позовите редактора Киша. У меня есть для "Богемии" исключительно важное сообщение. Если там его не опубликуют, я немедленно передам его в другую газету. Время не терпит". Но так как Киша нет на месте, я кладу трубку, ничего не выдавая.

Вечером я иду в "Богемию" и прошу вызвать редактора Киша. Я рассказываю ему свою историю, но он не хочет ее публиковать. «"Богемия", — говорит он, — не может этого сделать, это вызвало бы скандал, и мы не можем себе позволить такое, потому что мы люди зависимые. Поверьте, дело адвокату, это самое лучшее».

Уйдя из "Богемии", я встретил вас и вот прошу совета.

— Я вам советую кончить дело миром.

— Я тоже думал, что так было бы лучше. Она ведь женщина. У женщины нет души, как справедливо сказал Магомет. И простить было бы более человечно, по-гётевски.

— Конечно. И тогда вам не нужно будет отменять выступление с декламацией, от которого в противном случае придется отказаться.

— Что же я должен теперь делать?

— Пойдите туда завтра и скажите, что считаете, что на сей раз они бесознательно поддались влиянию.

— Прекрасно. Я так и сделаю.

— Но от мести вам не следует отказываться. Опубликуйте свое сочинение где-нибудь в другом месте и пошлите его потом госпоже Дюрех с хорошим посвящением.

— Это будет лучшим наказанием. Я опубликую его в "Дойчес абендблатт". Там у меня его возьмут, в этом я не сомневаюсь. Я просто откажусь от гонорара.

Потом мы говорим о его артистическом таланте. Я замечаю, что ему все-таки надо бы поучиться. "Да, вы правы. Но где? Не знаете ли вы, где этому учат?" Я говорю: "Это трудно. Я плохо разбираюсь в этом". Он: "Неважно. Спрошу Киша. Он журналист и имеет большие связи. Уж он то даст мне хороший совет. Я просто позвоню ему, избавлю его и себя от необходимости куда-то идти и все узнаю".

— А с госпожой Дюрех вы поступите так, как я вам советовал?

— Да, только я забыл, что вы мне советовали?

Я повторяю свой совет.

— Хорошо, я так и поступлю.

Он идет в кафе "Корсо", я — домой, обогащенный опытом: как осмелевшае действует разговор с законченным дураком. Я почти не смеялся, и был только очень оживлен.

2 марта. Кто подтвердит мне истинность или правдоподобность того, что лишь из-за моего литературного призвания я ни к чему другому не пытаюсь интереса и потому бессердечен?

3 марта. 28 февраля у Моисси. Противоестественный вид. Он сидит как будто бы спокойно, держит руки, наверное морщинистые, между колен, глаза устремлены в свободно лежащую перед ним книгу, над нами разносится его голос с прерывающимся, словно у бегуна, дыханием.

Хорошая акустика зала. Ни одно слово не теряется, не возвращается, как слабое эхо, — все постепенно увеличивается, словно голос, давно уже занятый где-то в другом месте, непосредственно продолжает здесь звучать, все усиливая первоначальные задатки и захватывая нас.

Здесь начинаешь понимать возможности собственного голоса. Так же как зал работает на голос Моисси, так и его голос работает на нас. Беззастенчивые актерские приемы и эффекты, при которых опускаешь глаза и к которым сам никогда не прибег бы: начало отдельных стихов словно поется, например "Спи, Мириам, дитя мое", вибрирующий голос, быстрое извержение майской песни, кажется, будто кончик языка мелькает между словами; пауза между словами "ноябрьский ветер", для того чтобы толкнуть вниз "ветер" и дать ему со свистом взмыть вверх. Если смотреть на потолок зала, стихи поднимают тебя вверх.

Стихотворения Гёте недостижимы для декламатора, поэтому не стоит упрекать в ошибки, этого исполнения, ибо каждая из них отразилась лишь стремление к цели. Сильным было впечатление, когда он, читая на "бис" "Песнь дождя" Шекспира, стоял прямо, не глядя в текст, млял и комкал в руках платок и сверкал глазами.

Круглые щеки и все-таки угловатое лицо. Мягкие волосы, которые он все время приглаживает мягкими движениями рук. Восторженные рецензии, которые мы читали о нем, влияют на нас лишь до тех пор, пока мы сами не услышим его, но потом они сбивают нас и мешают непосредственному восприятию.

Эта манера декламировать сидя, с книгой перед глазами, немного напоминает чревоуещание. Артист, как будто безучастный, сидит, как и мы, время от времени мы едва видим на его опущенном лице движения губ и стихи будто сами собой произносятся над его головой. Несмотря на то что прозвучало столько мелодий и казалось, будто он управляет голосом, словно легкой лодкой на воде, мелодии стихов, собственного говоря, не было слышно. Иные слова голос как бы растворял, он касался их так нежно, что они куда-то уносились, отрываясь от человеческого голоса, пока вдруг какой-нибудь резкий согласный звук не возвращал слово на землю и голос не умолкал.

8 марта. Вчера доклад Гардена¹⁰ о "Театре". По-видимому, целиком импровизированный; я был в довольно хорошем настроении и потому считал его не столь пустым, как остальные. Хорошее начало: "В этот момент, когда мы здесь собрались для обсуждения "Театра", во всех зрительных залах Европы и всех остальных частей света раздвигается занавес и открывает перед зрителями сцену". Перед ним электрическая лампа, подвижно укрепленная на уровне груди, она освещает пластрон сорочки, как на витрине бельевого магазина; двигая лампу во время доклада, он меняет освещение. Приподнимается на цыпочки и пританцовывает, чтобы казаться выше ростом и усилить впечатление импровизации. Непристойно обтягивающие брюки. Короткий фрак сидит на нем туго, как на кукле. Лицо серьезно, почти напряжено, напоминает то старую даму, то Наполеона. Лоб бледный, как в парике. Вероятно, он затянут в корсет.

10 марта. Воскресенье. Он изнасиловал девушку в небольшом местечке в Изерских горах, где прожил целое лето, чтобы вылечить больные легкие. Не помня себя, как то случается с легочными больными, он после короткой попытки склонить ее уговорами кинул девушку, дочь своей хозяйки, которая охотно согласилась прогуляться с ним вечером после работы, на траву на берегу речки и овладел ею, потерявшему от страха сознание. Потом ему пришлось пригоршнями зачерпывать воду в реке и плескать ей в лицо, чтобы вернуть к жизни. "Юльхен, ну Юльхен", — без конца повторял он, склонившись над нею. Он был готов взять на себя любую ответственность за свой проступок и только изо всех сил старался объяснить самому себе, насколько серьезно его положение. Он пытался постичь, как это могло с ним случиться. Сама по себе девушка, которая лежала перед ним и уже начала ровно дышать, но лишь от страха и смущения не открывала глаз, его не беспокоила; нзском ботинка он, большой, сильный человек, мог бы отбросить ее в сторону. Она была слаба и невзрачна могло ли то, что с ней случилось, завтра иметь хоть какое-нибудь значение? Разве не придет всякий к такому выводу, сравнив их обоих? Река спокойно тянулась между лугами и полями к лежащим в отдалении горам. Солнечный свет падал лишь на склон противоположного берега. С чистого вечернего неба уплывали последние облака.

Ничего не получается, ничего. Таким путем я вызываю перед собой только призраки. Я был захвачен, хоть и слабо, лишь тогда, когда писал: "Потом ему пришлось...", главным образом при слове "иначе". В описании пейзажа мне какое-то мгновение виделось что-то правильное.

11 марта. Декламатор Райхман на следующий день после нашего разговора попал в сумасшедший дом.

16 марта. Суббота. Снова ободрился. Снова я ловлю себя, как мим, который падает и который ловишь во время его падения. Завтра, сегодня начну более крупную работу, которая просто должна быть мне по плечу. Я не отступлюсь от нее, пока хватит сил. Лучше бессонница, чем такое существование.

17 марта. Гёте, утешение в боли. Все дают боги, бесчисленные, своим любимцам, все сполна: все радости, бесчисленные, все боли, бесчисленные, все сполна...

18 марта. Я был мудрым, если угодно, потому что в любое мгновение готов был умереть, но не потому, что выполнил все возложенное на меня, а потому, что ничего из всего этого не сделал и не мог даже и думать когда-нибудь сделать хоть часть.

26 марта. Только не переоценить написанного мною, иначе я не знаю, что мне предстоит написать.

1 апреля. Впервые за неделю почти полная неудача в работе. Почему? На прошлой неделе я тоже прошел через разные состояния и не дал им повлиять на работу; но я боюсь писать об этом.

3 апреля. Вот так и прошел день: до обеда — служба, после обеда — фабрика, теперь вечером — крики в квартире справа и слева, позже — надо привезти сестру с "Гамлета". И ни на одну минуту не находил себе места.

9 мая. Вчера вечером с Пиком¹¹ в кафе. Как я, несмотря на все тревоги, держусь за свой роман¹² — совсем как скульптурная фигура, которая смотрит вдаль, держась на глыбе.

Безотрадный вечер в семье. Зятю нужны деньги для фабрики, отец взволнован из-за сестры, из-за конторы и из-за своего сердца, моя несчастная вторая сестра, из-за всех нас несчастная мать — и я со своим сочинительством.

23 мая. Сегодня вечером от скуки три раза подряд мыл руки в ванной.

6 июня. Читаю в письмах Флобера: "Мой роман — утес, на котором я вишу, и я ничего не знаю о том, что происходит в мире". Похоже на то, что я записал о себе 9 мая.

Невесомый, бескостный, бестелесный, два часа бродил по улицам и обдумывал, что я пережил после обеда, когда писал.

7 июня. Зол. Ничего не писал. Завтра не будет времени.

Понедельник, 6 июля. Немножко начал. Слегка сонный. И одинокий среди этих совершенно чужих людей.

9 июля. Так долго ничего не писал. Завтра начать. Иначе я снова увяну во все расширяющемся неудержимом недовольстве; собственно говоря, оно уже охватило меня. Начались нервозности. Но ежели я что-нибудь умею, то умею без всяких суеверных мер предосторожности.

Черт придуман. Если мы одержимы чертом, то не может существовать один черт, иначе мы, по крайней мере на земле, жили бы спокойно, как с богом, единодушно, без противоречий, без размышлений, зная, что он постоянно следует за нами по пятам. Его облик не пугал бы нас, ибо, принадлежа черту, мы при некоторой чувствительности к его виду были бы достаточно благоразумны и охотно принесли бы в жертву руку, чтобы прикрыть его лицо. Если бы мы находились во власти одного-единственного черта, который спокойно и без помех мог бы узнать все о нашей сущности, мог бы в любую минуту распорядиться нами по своему усмотрению, тогда у него хватило бы сил, чтобы в течение человеческой жизни держать нас так высоко над божьим духом в нас да еще давать возможность взлета, что мы и отблеска его не увидели бы и, таким образом, нас никто и отсюда не тревожил бы. Только множество чертей может составить наше земное несчастье. Почему они не уничтожат друг друга и не оставят только одного или почему они не подчинятся одному великому черту? И то и другое соответствовало бы чертову принципу — по возможности сильнее обмануть нас. Пока нет единства, что пользы от чрезмерной заботливости, которой окружают нас все черти? Совершенно естественно, что чертям

должно быть больше дела до выпадения одного человеческого волоса, чем богу, ибо черт действительно теряет этот волос, бог же — нет. Но пока в нас сидит много чертей, мы все равно не обречем хорошего самочувствия.

7 августа. Долгие муки. Наконец написал Макс, что не могу разделиться с оставшимися кусочками, не хочу насиловать себя и потому книгу не издам¹³.

8 августа. С мимолетным удовлетворением закончил "Мошенника". Из последних сил нормального состояния духа. Двенадцать часов, как смогу я уснуть?

9 августа. С вдохновением читал вслух "Бедного музыканта". В этой новелле проявилось мужество Грильпарцера¹⁴. Он умел на все отважиться и ни на что не отваживался, ибо все в нем было истинным, и если на первый взгляд что-то казалось противоречивым, то в решающий момент оно доказывало свою истинность. Как он спокойно распоряжается сам собой. Медленный шаг, куда не спешащий. И мгновенная готовность, когда требуется, не раньше, ибо он точно все предвидит.

10 августа. Ничего не писал. Был на фабрике и два часа дышал газом в машинном отделении. Энергия мастера и кочегара, потраченная на мотор, который по непостижимой причине не хочет завестись. Жалкая фабрика.

11 августа. Ничего, совсем ничего. Сколько времени отнимает у меня издание маленькой книжки и сколько вредной, смехотворной самоуверенности возникает при чтении старых вещей в расчете на опубликование! Только это и удерживает меня от писания. И все же я в действительности ничего не достиг, расстройство — лучшее доказательство этого. Ни в каком случае, я теперь, после выхода книжки, должен буду еще дальше держаться от журналов и критики, если не хочу удовольствоваться тем, чтобы лишь кончиками пальцев касаться правды. Как тяжел на подъем я стал! Раньше, стоило мне сказать только одно слово, противостоящее и данному в настоящий момент направлению, и я мгновенно сам отлетал в противоположную сторону, теперь же я просто смотрю на себя и остаюсь таким, как есть.

14 августа. Письмо Ровольту¹⁵.

Глубокоуважаемый господин Ровольт!

Посылаю рассказы, которые Вы желали посмотреть; они, пожалуй, составят небольшую книжку. Когда я отбирал их для этой цели, мне много раз приходилось выбирать между присущим мне чувством ответственности и жадной увидеть и мою книжку среди Ваших прекрасных книг. Конечно, не всегда выбор был совершенно безоговорочным. Но теперь разумеется, я был бы счастлив, если бы мои вещи понравились Вам хотя бы настолько, чтобы Вы их опубликовали. В конце концов, недостатки и этих вещей даже опытному и понимающему читателю открываются не с первого взгляда. Ведь индивидуальность писателя в том главным образом и состоит, что свои недостатки каждый прикрывает на свой особый манер.

Преданный Вам

15 августа. Беспольный день. Я сонный, смущенный. Праздник Богородицы на Альтштеттер-Ринг. Человек с голосом как из ямы. Много думал — что за смущение перед написанием имени? — о Ф.Б.¹⁶. Вчера — "Польское хозяйство"¹⁷. Сейчас О. читала наизусть стихи Гёте. Выбирает она с настоящим чувством. "Утешение в слезах", "Лотте", "Вертеру", "К луне".

Снова читал старые дневники, вместо того чтобы держаться подальше от этих вещей. Я живу крайне неразумно. Но во всем виновато издание тридцати одной страницы¹⁸. Конечно, еще более виновата моя слабость, которая позволяет подобным вещам влиять на меня. Вместо того чтобы встряхнуться, я сижу здесь и думаю, как бы пообиднее выразить все это. Но мое страшное спокойствие мешает изобретательности. Мне любопытно, как я выберусь из этого состояния. Подтолкнуть себя я не дам, правильной дороги не знаю, как же это получится? Окончательно ли я застрял, как большая глыба на узкой дороге? Тогда я мог бы по крайней мере поворачивать голову. Это я и делаю.

20 августа. Если бы Ровольт вернул это и я смог бы снова все запечатать и сделать так, будто ничего и не было, чтобы стать лишь столь же несчастным, как прежде.

21 августа. Непрерывно читал Ленца¹⁹ и набирался у него — вот как обстоит со мной дело! — ума.

Картина недовольства, которую являет собой улица: каждый отталкивается от того места, где стоит, — чтобы уйти.

30 августа. Все время ничего не делал. Приезд дяди из Испании. В прошлую субботу Верфель²⁰ декламировал в "Арко" "Песни жизни" и "Жертву". Чудовищно! Но я смотрел ему прямо в глаза и выдерживал его взгляд весь вечер.

Мне трудно встряхнуться, и вместе с тем я беспокоен. Когда я сегодня после обеда лежал в кровати и кто-то быстро повернул ключ в замке, мне показалось, будто все мое тело в замках, как на карнавальном костюме, и с короткими интервалами то тут, то там открывался или запирался какой-нибудь из замков.

Анкета журнала "Miroir" о нынешней любви и об изменениях, произошедших в любви со времен наших дедушек и бабушек. Одна актриса ответила: "Никогда еще так хорошо не любили, как в наши дни".

Этот месяц, который благодаря отсутствию шефа я мог бы так хорошо использовать, я без особых на то оправданий (отправка книги Ровольгу, нарывы, посещение дяди) проспал и попусту растратил. Еще сегодня я три часа провалялся после обеда в постели, находя для этого фантастические оправдания.

15 сентября. Дупло, которое прожигает гениальная книга в нашем окружении, очень удобно для того, чтобы поместить там свою маленькую сучку. Вот почему гениальное воодушевляет, всех воодушевляет, а не только побуждает к подражанию.

18 сентября. Истории, рассказанные вчера Х. в канцелярии. Каменщик, который выпросил у него на шоссе лягушку и, держа ее за линки, в три откуса проглотил сначала головку, затем туловище и наконец лапки. Лучший способ убивать кошек, слишком цепляющихся за жизнь: сдвинуть между закрытыми дверями шею и потянуть за хвост. Его отвращение к насекомым. Во время военной службы однажды ночью у него зачесалось под носом, во сне он ткнул туда рукой и что-то раздавил. Это "что-то" оказалось клопом, и вонь его преследовала несколько дней.

Четверо съели вкусно приготовленное жаркое из кошек, но лишь трое знали, что они ели. После еды эти трое начинают мяукать, но четвертый не хочет верить — только тогда, когда ему показали окровавленную шкурку, он поверил, не смог быстро выбежать, чтобы его вырвало, и две недели тяжело болел.

Тот каменщик ел только хлеб и случайно добытые фрукты или жинность и пил только водку. Спал он в кирпичном сарае кирпичного завода. Однажды Х. в сумерках встретил его в поле. "Остановись, — сказал каменщик, — иначе..." Х. шутки ради остановился. "Дай мне сигарету", — сказал тот. Х. дал. "Дай еще одну!" — "Так, еще одну тебе нужно?" — спросил Х., держа на всякий случай наготове дубинку в левой руке, и так ударил его правой в лицо, что у того выпала сигарета. Трусливый и слабый, как всякий пьяница, каменщик сразу же убежал.

23 сентября. Рассказ "Приговор"²¹ я написал одним духом в ночь с 22 на 23, с десяти часов вечера до шести часов утра. Еле сумел вылезти из-за стола — так онемели от сидения ноги. Страшное напряжение и радость от того, как разворачивался предо мной рассказ, как меня, словно водным потоком, несло вперед. Много раз в эту ночь я нес на спине свою собственную тяжесть. Все можно сказать, для всех, для самых странных фантазий существует великий огонь, в котором они сгорают и воскресают. За окном заголубело. Проехала повозка. Двое мужчин прошли по мосту. В два часа я в последний раз посмотрел на часы. Когда служанка в первый раз прошла через переднюю, я написал последнюю фразу. Погасил лампу. Дневной свет. Слабая боль в сердце. Посреди ночи усталость исчезла. Дрожа, вошел в комнату сестер. Прочитал им вслух. До этого потянулся при служанке, сказал: "Я до сих пор писал". Вид не тронутости постели, словно ее только что внесли сюда. Укрепился в убеждении, что то, как я пишу роман²², находится на постыдно низком уровне сочинительства. Только так можно писать, только в таком состоянии, при такой полнейшей обнаженности тела и души. До обеда в постели. Не сомкнул глаз. Множество испытанных во время писания чувств, например радость по поводу того, что я смогу дать что-то хорошее в "Аркадию"²³ Макса, — разумеется, мысли о Фрейте, об одном месте из "Арнольда Беера"²⁴, о другом из Вассермана²⁵, из "Великанши" Верфеля, разумеется, и о моем "Городском мире".

25 сентября. Насильно заставил себя не писать. Валялся в постели. Кровь прилиwała к голове и без пользы текла дальше. Как это вредно! Вчера у Баума читал вслух... Незадолго до конца моя рука, помимо воли начала жестикулировать перед самым лицом. В глазах у меня стояли слезы. Бесспорность рассказа подтвердилась. Сегодня вечером оторвался от писания. Кинематограф в здании театра. Ложа. Фройляйн О., кото

рую однажды преследовал священник. Она прибежала домой, вся потная от страха. Дантиг. Жизнь Кёрнера. Лошади. Белая лошадь. Запах пороха. Дикая охота Лютцова.

1913

11 февраля. Читая корректуру "Приговора", я выписываю все связи, которые мне стали ясны в этой истории, насколько я их сейчас вижу перед собой. Это необходимо, ведь рассказ появился из меня на свет, как при настоящих родах, покрытый грязью и слизью, и только моя рука может и хочет проникнуть в самую плоть.

Друг — это связь между отцом и сыном, он — их самая большая общность. Сидя в одиночестве у своего окна, Георг сладострастно копается в этом общем, думает, что отец существует в нем самом, и ему кажется, что все, если не считать мимолетной печальной задумчивости, исполнено миролюбия. Дальнейшее же развитие истории показывает, как от общности — от друга — отец отделяется и оказывается противоположностью Георга, подкрепленной другими, менее важными общностями, например любовью, преданностью матери, верностью ее памяти, клиентурой, которую отец все же привлек когда-то к фирме. У Георга нет ничего; его невесту отец легко изгоняет — она ведь существует в рассказе лишь благодаря связи с другом, то есть с общим, и, поскольку свадьба еще не состоялась, она не может войти в круг кровных отношений, охватывающий отца и сына. Общее целиком громоздится вокруг отца, Георг ощущает его лишь как нечто чужое, ставшее самостоятельным, никогда в достаточной мере им не защищенное, во власти русских революций, и только потому, что у него самого больше ничего нет, кроме оглядки на отца, на него так сильно действует приговор, полностью преграждающий ему доступ к отцу.

Имя "Георг" имеет столько же букв, сколько "Франц". В фамилии "Бендеман" окончание "ман" — лишь усиление "Бенде", предпринятое для выявления всех еще скрытых возможностей рассказа. "Бенде" имеет столько же букв, сколько "Кафка", и буква "е" расположена на тех же местах, что и "а" в "Кафка".

"Фрида" имеет столько же букв, что и Ф.¹ И ту же начальную букву. Бранденфельд начинается с той же буквы, что и Б., и "фельд" тоже значимое слово. Может быть, даже мысль о Берлине появилась не без влияния, и воздействовало, может быть, воспоминание о Бранденбургской марке.

12 февраля. При описании друга на чужбине я много думал о Штойере. Когда я однажды, месяца через три после написания рассказа, случайно встретил его, он сообщил мне, что месяца три назад обручился.

Вчера, после того как я у Велча вслух прочитал рассказ, старый Велч вышел из комнаты и, вскоре вернувшись, стал хвалить зримость образов в рассказе. Вытянув руку, он сказал: "Я прямо-таки вижу перед собой этого отца" — и при этом глядел на пустое кресло, в котором сидел во время чтения.

Сестра сказала: "Это ведь наша квартира". Я удивился, что она не поняла место действия, и сказал: "В таком случае отец должен был бы жить в клозете".

2 мая. Снова стало крайне необходимо вести дневник. Моя ненадежная голова, Ф., погибель в канцелярии, физическая невозможность писать и внутренняя потребность в этом.

История дочери садовника, прервавшей мою работу. Я стремлюсь работой излечить свою неврастечку, а должен выслушивать, как брат девушки — его звали Яном, он, собственно, и был садовником и предполагаемым преемником старика Дворского и даже уже хозяином цветника, два месяца тому назад в возрасте двадцати восьми лет впал в меланхолию и отравился. Летом, несмотря на свою склонность к отшельничеству, он чувствовал себя неплохо, так как должен был общаться хотя бы с покупателями, зимой же он полностью замыкался в себе. Его возлюбленная, служащая — *ufednice*, — тоже была меланхолической девушкой. Они часто вместе ходили на кладбище.

3 мая. Страшная ненадежность моего внутреннего бытия.

4 мая. Беспрерывное представление о широком кухонном ноже, быстро и с механической ритмичностью вонзающемся в меня сбоку и срезающем тончайшие поперечные полосы, которые при быстрой работе отскакивают в сторону почти свернутыми в трубку.

24 мая. ...Преисполнен высокомерия, потому что считаю "Кочегари" таким удавшимся. Вечером читал его родителям; когда я читаю что-нибудь крайне неохотно слушающему отцу, нет лучшего критика, чем я. Много мелких мест перед явно недоступными глубинами.

21 июня. Какой чудовишный мир теснится в моей голове! Но как мне освободиться от него и освободить его, не разорвав. И все же лучше тысячу раз разорвать, чем хранить или похоронить его в себе. Для того и я живу на свете, это мне совершенно ясно.

1 июля. Жажда беспредельнейшего одиночества. Быть с глазу на глаз с самим собой. Может быть, я обрету это в Риве².

Фотография празднования трехсотлетия Романовых в Ярославле на Волге. Царь, царевны угрюмо стоят на солнце, лишь одна из них, хрупкая, немолодая, вялая, опирающаяся на зонтик, смотрит прямо перед собой. Наследник престола на руках огромного, с непокрытой головой, кавказца. На другой фотографии давно проехавшие мимо мужчины продолжают отдавать честь.

2 июля. Плакал над отчетом о суде над двадцатитрехлетней Мариной Абрахам, задушившей из-за нужды и голода девятимесячную дочь бирбару мужским галстуком, который она носила вместо подвязки и сшил с ноги. Совершенно банальная история.

3 июля. Высказанная мною вслух мысль сразу же и окончательно теряет значение; записанная, она тоже всегда его теряет, зато иной раз обретает новый смысл.

21 июля. Не отчаиваться, не отчаиваться и по поводу того, что ты не отчаиваешься. Когда кажется, что все уже кончено, откуда-то все же берутся новые силы, и это означает, что ты живешь. Если же они не появляются, тогда действительно все кончено, и притом окончательно.

Не могу спать. Одни сновидения, никакого сна...

На шею набросили петлю, выволокли через окно первого этажа, безжалостно и равнодушно протащили, изувеченного и кровоточащего, сквозь все потолки, мебель, стены и чердаки до самой крыши, и только там появилась пустая петля, потерявшая остатки моего тела, когда им проламывали черепичную кровлю.

Особый метод мышления. Оно пронизано чувствами. Все, даже самое неопределенное, воспринимается как мысль (Достоевский).

Эти блоки внутри. Один крючок сдвинется с места где-то в самых тайниках, в первый момент и не заметишь этого, и вот уже весь аппарат пришел в движение. Подвластный непостижимой силе, как часы кажутся подвластными времени, он то тут, то там щелкает, и все звенья, одно за другим, с грохотом разыгрывают навязанную им пьесу.

Перечень всего того, что говорит "за" и "против" моей женитьбы:

1. Неспособность одному выносить жизнь, не способность жить, совсем напротив, кажется даже невероятным, что я смогу с кем-то вместе жить, но я не способен выносить натиска своей собственной жизни, требований своей собственной личности, атак времени и возраста, неожиданного наплыва страсти к писанию, бессонницы, близости безумия — выносить это все в одиночку я не способен. Вероятно, добавляю я, конечно. Союз с Ф. придаст мне сопротивляемости.

2. Все заставляет меня раздумывать. Шутка в юмористической газете, воспоминание о Флоре или Грильпарцере, вид ночных сорочек на приготовленных для сна постелях родителей, женитьба Макса. Вчера моя сестра сказала: "Все женатые (наши знакомые) счастливы, я не могу этого понять". Это высказывание тоже заставило меня задуматься, я снова ощутил страх.

3. Я много времени должен быть один. Все, что я сделал, только плод одиночества.

4. Я ненавижу все, что не имеет отношения к литературе, мне скучно вести разговоры (даже о литературе), мне скучно ходить в гости, горести и радости моих родственников мне смертельно скучны. Разговоры лишают все мои мысли важности, серьезности, истинности.

5. Страх перед соединением, слиянием. После этого я никогда больше не смогу быть один.

6. Перед моими сестрами я часто был совсем иным человеком, нежели перед другими людьми, особенно раньше бывало так. Бесстрашным, откровенным, сильным, неожиданным, таким одержимым, каким бывал только тогда, когда писал. Если бы я мог благодаря жене быть таким перед всеми! Но не будет ли это за счет писания? Только не это, только не это!

7. Живи я один, я, может быть, когда-нибудь действительно мог бы отказаться от службы. Женатый я никогда не смогу этого сделать.

Жалкий я человек!

Хорошенько хлестать лошадь! Медленно вонзать в нее шпоры, затем одним рывком вырвать их, а потом изо всей силы снова всадить их в мясо.

Что за ужас!

С ума мы сошли, что ли? Мы бегали ночью по парку и раскачивали ветки.

Я вплыл на лодке в маленькую естественную бухту.

В гимназические годы я любил время от времени навещать некоего Йозефа Мака, друга моего покойного отца. Когда я после окончания гимназии...

(Запись обрывается.)

Хуго Зайферт любил в гимназические годы время от времени навещать некоего Йозефа Кимана, старого холостяка, дружившего с покойным отцом Хуго. Визиты внезапно оборвались, когда Хуго неожиданно предложили за границей работу, к которой надо было приступить немедленно, и Хуго на несколько лет покинул родной город. Когда он вернулся, он, правда, собирался навестить старика, но все не представлялось случая, а может быть, такой визит уже и не отвечал бы его изменившимся взглядам, и, хотя он часто проходил по улице, где жил Киман, хотя не раз видел его сидящим у окна и, возможно, даже был замечен им, Хуго так и не навестил его.

Ничего, ничего, ничего. Слабость, самоуничтожение, прорывающиеся из-под земли языки адского пламени.

13 августа. Может быть, теперь все кончено и мое вчерашнее письмо было последним. Это было бы, безусловно, правильно. Какие страдания ни предстоят мне, какие страдания ни предстоят ей, их нельзя сравнить с теми страданиями, которые были уготованы нам вместе. Я постепенно приду в себя, она выйдет замуж — это единственный выход у живых людей. Мы вдвоем не можем прорубить для нас двоих дорогу в скале, достаточно, что мы целый год проплакали и промучились из-за этого. Она должна понять это из моих последних писем. Если же нет, я, конечно, женюсь на ней, ибо я слишком слаб, чтобы противиться ее представлению о нашем совместном счастье, и, если это зависит от меня, не могу не осчастливить чего-нибудь, что она считает возможным.

14 августа. Произошло все наоборот. Получил три письма. Первым последним я не мог устоять. Я люблю ее, насколько способен, но люблю задыхаясь под погребаящими ее страхом и самообвинениями.

Выводы из "Приговора" для меня самого. Косвенно я ей обязан рисунком. Но ведь Георг погиб из-за невесты.

Коитус как кара за счастье быть вместе. Жить по возможности аскетически, аскетичней, чем холостяк, — это единственная возможность для меня переносить брак. Но для нее?

И все же, несмотря ни на что, будь мы, я и Ф., полностью равноправны, имей мы одинаковые перспективы и возможности, я бы не женился. Но тупик, в который я постепенно загнал ее судьбу, вменяет мне это в неизбежную, хотя и вовсе не непереносимую обязанность. Здесь действует какой-то тайный закон человеческих отношений.

15 августа. Мучительное утро в постели. Единственным выходом мне казался прыжок из окна. Мать подошла к кровати и спросила, отправил ли я письмо и было ли написано оно по-старому. Я сказал, что по-старому, только еще более резко. Она сказала, что не понимает меня. Я ответил, что она, конечно, не понимает меня, и не только в этом вопросе. Позже она спросила, напишу ли я дяде Альфреду, он заслужил, чтобы я написал ему. Я спросил, чем он это заслужил. "Он телеграфировал, он писал, он хорошо относится к тебе". "Это все показное, — сказал я, — он мне совершенно чужой, он совершенно не понимает меня, он не знает, чего я хочу и что мне нужно, я не имею к нему никакого отношения". "Стало быть, никто тебя не понимает, — сказала мать, — я тебе, наверное, тоже чужая и отец тоже. Мы все, стало быть, желаем тебе только плохого". — "Конечно, вы все мне чужие, между нами только родство по крови, но оно ни в чем не проявляется. Плохого вы мне, конечно, не желаете".

Эти и некоторые другие самонаблюдения убедили меня в том, что моя растущая решительность и уверенность позволяет, вопреки всему, сохранить себя в браке, более того — брак поможет укрепить мою решительность. Правда, этим убеждением я проникся, находясь уже в известной мере на краю окна.

Я запрусь от всех и до бесчувствия предамся одиночеству. Со всеми рассорюсь, ни с кем не буду разговаривать.

21 августа. Сегодня получил книгу Кьеркегора³ "Книга судьи". Как я и думал, его судьба, несмотря на значительные различия, сходна с моей, во всяком случае, он на той же стороне мира. Он, как друг, помог мне самоутвердиться.

Я набросал следующее письмо к ее отцу⁴, которое завтра отправлю, если буду в силах.

"Вы медлите с ответом на мою просьбу, это вполне понятно, любой отец поступил бы так по отношению к любому жениху, и я пишу совсем не из-за этого, самое большее, на что я надеюсь, — что вы спокойно относитесь к моему письму. Пишу же я из боязни, что Ваши колебания или размышления имеют более общие причины, нежели то единственное место — а только оно и должно было их вызвать — из моего первого письма, которое могло меня выдать. Я имею в виду место, где речь идет о том, что мне невыносима моя служба.

Вы, возможно, не обратите внимания на это слово, но Вам не следует так делать. Скорее, Вам надо очень подробно расспросить меня об этом, и тогда я должен буду четко и коротко ответить следующее: моя служба невыносима для меня, потому что она противоречит моему единственному

призванию и моей единственной профессии — литературе. Я весь — литература, и ничем иным не могу и не хочу быть, моя служба никогда не сможет увлечь меня, но зато она может полностью погубить меня. Я уже недалеко от этого. Меня непрерывно одолевают тягчайшие нервные состояния, и нынешний год сплошных забот и мучений о будущем моем и Вашей дочери полностью доказал мою неспособность к сопротивлению. Вы вправе спросить, почему я не отказываюсь от своей службы и не пытаюсь состояния у меня нет — жить литературным заработком. На это я могу дать лишь жалкий ответ, что у меня нет сил для этого и, насколько я способен судить о своем положении, я погибну из-за службы, причем погибну очень скоро.

А теперь сравните меня с Вашей дочерью, этой здоровой, жизнерадостной, естественной, сильной девушкой. Как бы часто я ни повторял ей в пятистах письмах и как бы часто она ни успокаивала меня своим, правды, не очень убедительно обоснованным "нет", дело обстоит ведь именно так: она, насколько я могу судить, будет со мной несчастна. Не только из-за внешних обстоятельств, а гораздо больше по характеру своему я человек замкнутый, молчаливый, нелюдимый, мрачный, но для себя я не считаю это несчастьем, ибо это лишь отражение моей цели. Из образа жизни, который я веду дома, можно сделать некоторые выводы. Так, я живу в своей семье, среди прекрасных и любящих людей, более чужой, чем чужак. Со своей матерью я за последние годы в среднем не говорю за день и двадцати слов, а к отцу вряд ли когда-нибудь обратился с другими словами, кроме приветствия. Со своими замужними сестрами и с зятьями я вообще не разговариваю, хотя я и не в ссоре с ними. Причина только та, что мне просто совершенно не о чем с ними говорить. Все, что не относится к литературе, наводит на меня скуку и вызывает ненависть, потому что мешает мне или задерживает меня, хотя, возможно, это только кажется. Я лишен всякой склонности к семейной жизни, в лучшем случае могу быть разве что наблюдателем. У меня совсем нет родственных чувств, в визитах мне чудится прямо-таки направленный против меня злой умысел.

Брак не мог бы изменить меня, как не может меня изменить моя служба".

15 октября. Безутешен. Сегодня после обеда в полусне: в конце концов страдание должно разорвать мою голову. И именно в висках. Представив себе эту картину, я увидел огнестрельную рану, края которой острыми выступами загнуты кверху, как в грубо вскрытой жестяной банке.

Не забывать о Кропоткине⁵!

20 октября. Невыносимая грусть с утра. Вечером читал "Дело Якобсона" Якобсона⁶. Эта способность жить, принимать решения, уверенно ставить ногу куда надо. Он сидит в себе, как сидел бы искусный гребец в своей, да и в любой другой, лодке. Я хотел написать ему письмо. Но вместо этого пошел гулять, приглушив все владевшие мной чувства разговором с Хаасом, которого встретил, меня возбудили женщины, теперь я читаю дома "Превращение" и нахожу его плохим. Может быть, я действительно погибаю, утренняя грусть вернется, я не смогу ей долго противиться, она отнимает у меня всякую надежду. У меня нет даже желания вести дневник, возможно потому, что уж слишком многого там нет, но

можно потому, что я все время должен описывать лишь половинчатые и, по-видимому, неизбежно половинчатые действия, возможно потому, что само писание усиливает мою грусть.

Я охотно писал бы сказки (почему я так ненавижу это слово?), которые могли бы понравиться В. и которые она, держа за едой под столом, в перерывах читала бы и, заметив, что санаторный врач уже некоторое время стоит позади нее и наблюдает за ней, страшно покраснела бы. Ее частая, собственно говоря постоянная, взволнованность во время рассказа (как я замечаю, я боюсь прямо-таки физического напряжения, вызываемого старанием что-то вспомнить, боли, под которой медленно раскрывается или сперва слегка прогибается пол бездумного пространства). Все противится тому, чтобы быть записанным. Если б я знал, что так я следую ее повелению — ничего не говорить о ней (я строго, почти без труда исполнил его), — я был бы доволен, но это не что иное, как неспособность. Каково, кстати, мое мнение по поводу того, что сегодня вечером большую часть пути я раздумывал, скольких радостей лишился из-за знакомства с В., радостей с русской девушкой, которая — это отнюдь не исключено, — возможно, впустила бы меня ночью в свою комнату, находящуюся наискосок от моей. Мое вечернее общение с В. сводилось к тому, что я стучал ей условным стуком, окончательного значения которого мы так и не установили, в потолок моей комнаты, находящейся под ее комнатой, выслушивал ее ответ, высовывался из окна, махал ей рукой, однажды она благословила меня, однажды я поймал конец ее ленты, часами сидел на подоконнике и прислушивался к каждому ее шагу наверху, каждый случайный стук по ошибке принимал за условный знак, слушал, как она покашливает, как поет, ложась спать.

21 октября. Потерянный день. Посещение фабрики Рингхоффера, семинара Эренфельса⁷, Велча, ужин, прогулка, теперь 10 часов, я дома. Все время думаю о черном жуке⁸, но писать не буду.

26 октября. "Так кто же я такой?" — набросился я на себя. Я поднялся с дивана, на котором лежал с поднятыми коленями, и сел. Дверь, ведущая прямо с лестничной площадки в мою комнату, отворилась, и вошел молодой человек с опущенной головой и испытующим взглядом. Он обогнул, насколько это было возможно в тесной комнате, диван и остановился в темном углу около окна. Я хотел посмотреть, что это за явление, направился туда и взял его за руку. Это был живой человек. Нескольким ниже меня ростом, он с улыбкой поднял на меня глаза; уже сама беззаботность, с какой он кивнул и сказал: "Вы только испытайте меня", должна была успокоить меня. Тем не менее я схватил его за отвороты пиджака и потряс. Мне бросилась в глаза его красивая массивная золотая цепь от часов, и я рванул ее книзу с такой силой, что порвалась петля, к которой она была прикреплена. Он спокойно перенес это, лишь посмотрел на причиненный ущерб и безуспешно попытался застегнуть жилетную пуговицу порванной петлей. "Что ты сделал?" — сказал он наконец и показал на жилет. "Спокойно!" — с угрозой сказал я.

Я начал метаться по комнате, с шага перешел на рысь, с рыси на галоп и каждый раз, минуя посетителя, показывал ему кулак. Он же воился со своим жилетом, не обращая на меня никакого внимания. Я чувствовал себя очень свободно, мне дышалось необычайно легко, и лишь одежда мешала груди исполински вздыматься...

6 ноября. Откуда эта внезапная уверенность в себе? Если бы она осталась! Если бы я мог, как человек, хоть кое-как держащийся на ногах, входить и выходить через все двери! Не знаю только, хочу ли я этого.

18 ноября. Я снова буду писать, но сколько сомнений породило у меня мое писание. В сущности, я бездарный, невежественный человек, который, не принуждая бы его ходить в школу — не по доброй воле, но и едва ли замечая принуждение, — способен был бы забиться в собачью конуру, вылезая из нее только тогда, когда ему приносят жратву, и забираясь обратно, проглотив ее.

19 ноября. Меня захватывает чтение дневника. Не в том ли причина, что у меня нет сейчас ни малейшей уверенности в настоящем? Все мне кажется сконструированным. Любое замечание, любой случайный взгляд все переворачивает во мне, даже забытое, совершенно незначительное. Я не уверен в себе больше, чем когда бы то ни было, лишь насилие жизни ощущаю я. И я совершенно пуст. Я подобен овце, потерянной ночью в горах, или овце, бегущей вслед за этой овцой. Быть таким потерянным и не иметь даже сил это оплакать.

Я нарочно хожу по улицам, где есть проститутки. Когда я прохожу мимо них, меня возбуждает эта далекая, но тем не менее существующая возможность пойти с одной из них. Это вульгарно? Но я не знаю ничего лучшего, и такой поступок кажется мне, в сущности, невинным и почти не заставляет меня каяться. Только хочу я толстых, пожилых, в поношенных, но благодаря разным накидкам кажущихся пышными платьях. Одна из них, по-видимому, уже знает меня. Я встретил ее сегодня после обеда, она была еще не в профессиональном наряде, непричесанная, без шпильки, в простой рабочей блузе, как кухарка, и несла большой сверток, вероятно, белье к прачке. Ни один человек, кроме меня, не нашел бы в ней ничего соблазнительного. Мы мельком посмотрели друг на друга. Теперь, вечером, когда стало прохладно, я увидел ее на противоположной стороне узкого, ответвляющегося от Целтнергассе переулка*, где она обычно поджидает клиентов; она была в облегающем желтовато-коричневом пальто. Я дважды оглянулся на нее, она ответила на мой взгляд, но я при этом так и сбежал от нее.

21 ноября. Вот печальное наблюдение, в основе которого, несомненно, лежит конструкция, опирающаяся на пустоту: едва взяв с письменного стола чернильницу, чтобы отнести ее в другую комнату, я почувствовал в себе некую твердость, как бывает, например, когда в тумане вдруг на мгновение появляется, чтобы сразу исчезнуть, угол большого здания. И перестал чувствовать себя потерянным, зависимым от людей, даже от Ф. Во мне возникло смутное ожидание. Что, если я убегу от всего этого, как, например, человек вдруг убегает в поле.

*Здесь и далее названия городов, а также улиц, площадей и т.п. в Праге даны немецкие, как они назывались во времена жизни Кафки, когда Чехословакия входила в состав Австро-Венгерской монархии, распавшейся в 1918 году.

Как смешны эти предсказания, это равнение на примеры, этот страх. Все это конструкции, которые даже в воображении, где они только и существуют, едва добравшись до живой поверхности, тут же одним толчком опрокидываются. Где взять волшебную руку, чтобы, попади она в мотор, тысячи ножей не разорвали ее на кусочки и не разбросали во все стороны.

Я охочусь за конструкциями. Я вхожу в комнату и вижу в углу их белесое переплетение.

4 декабря. Со стороны глядя, это ужасно — умереть взрослым, но молодым, еще страшнее покончить с собой. Уйти из жизни в полном смятении, которое имело бы смысл, если бы ему суждено было продлиться, утратив все надежды, кроме одной-единственной, что по великому счету твое появление на свет будет считаться как бы не состоявшимся. В таком положении я мог бы оказаться сейчас. Умереть сейчас значило бы не что иное, как погрузить Ничто в Ничто, но чувства не могли бы с этим примириться, ибо можно ли, даже ощущая себя как Ничто, сознательно погрузить себя в Ничто, причем не просто в пустое Ничто, а в Ничто бурлящее, чье ничтожество состоит лишь в его непостижимости.

Кружок мужчин, господ и слуг. Четкие, сверкающие живыми красками лица. Господин садится, слуга подает ему на подносе кушанья. Между обоими разница не большая, чем, например, разница между человеком, в результате взаимодействия бесчисленных обстоятельств ставшим англичанином и живущим в Лондоне, и другим — лапландцем, одиноко плывущим в своей лодке по морю во время шторма. Конечно, слуга — тоже при определенных обстоятельствах — может стать господином, но этот вопрос, как ни отвечай на него, здесь не играет роли, ибо речь идет о данной оценке данных отношений.

Страх перед глупостью. Глупость видится в каждом чувстве, стремящемся прямо к цели, заставляющем забыть обо всем остальном. Что же тогда не глупость? Не глупость — это стоять, как нищий у порога, в стороне от входа, постепенно опускаться и погибнуть. Но П. и О. все-таки отвратительные глупцы. Необходимы глупости более великие, чем их носители. Но как отвратительны маленькие глупцы, которые тшятся совершить великие глупости. А разве не таким же выглядел Христос в глазах фарисеев?

9 декабря. Ненавижу дотошный самоанализ. Психологические толкования вроде: вчера я был таким-то, и это потому, что... а сегодня я такой-то, и это потому... Все это неправда — не потому и не потому и, следовательно, не таким-то и таким-то. Надо спокойно разбираться в себе, не топиться с выводами, жить так, как подобает, а не гоняться, как собака за собственным хвостом.

10 декабря. Невозможно учесть и оценить все обстоятельства, которые в тот или иной момент влияют на настроение или даже определяют и само настроение, и оценку его, потому неправильно говорить, что вчера я чувствовал себя уверенным, сегодня я в отчаянии. Такого рода распознавания свидетельствуют лишь о том, что человек хочет поддаваться само-

внушениям и вести жизнь, по возможности обособленную от самого себя, спрятавшись за предрассудками и химерами, отчасти искусственную, подобно тому как кто-нибудь в углу трактира, спрятавшись за стаканчиком шнапса, развлекает сам себя совершенно ложными, беспочвенными фантазиями и мечтами.

11 декабря. В Тойнби-халле читал вслух начало "Михазля Кольхааса"⁹ Полнейшая неудача. Плохо выбрал, плохо читал, в конце концов, бессмысленно барахтался в тексте. Образцовые слушатели. В первом ряду маленькие мальчики. Один из них пытался избавиться от скуки, в которой он не виноват, тем, что осторожно сбрасывал шапку на пол и затем так же осторожно поднимал ее — и так без конца. Поскольку он был слишком мал, чтобы проделывать это, сидя на своем месте, он то и дело должен был немного соскальзывать с кресла. Нелепо, и плохо, и непродуманно, и невнятно читал. А ведь после обеда я дрожал от желания читать, с трудом держал рот закрытым.

В самом деле, даже толчка не нужно — достаточно сдержат последние расходуемые на себя силы, и я прихожу в отчаяние, совершенно раздирающее меня. Когда я сегодня представлял себе, что во время чтения непременно буду спокоен, я спрашивал себя, что за спокойствие это будет, на чем оно будет основано, и мог лишь сказать, что это будет спокойствие ради самого спокойствия, непостижимая милость, ничто другое.

12 декабря. Только что внимательно рассматривал себя в зеркале, и лицо мое — правда, при вечернем освещении, и источник света находился позади меня, так что освещен был, собственно говоря, лишь пушок по краям ушей, — даже при внимательном изучении показалось мне лучше, чем оно есть на самом деле. Ясное, четко, почти красиво очерченное лицо. Чернота волос, бровей и глазных впадин проступает, подобно жизни, и в остальной застывшей массе. Взгляд совсем не опустошенный, ничего похожего, но он и не детский, скорее неожиданно энергичный, — но, может быть, он был только наблюдающим, так как я ведь наблюдал себя и хотел внушить себе страх.

Вечером дискуссия в союзе чиновников. Я председательствовал. Забавно, что может стать источником самоуважения. Моя вступительная фраза: "Открывая сегодняшнюю дискуссию, я должен выразить сожаление по поводу того, что она состоится". Меня не известили своевременно, и потому я не подготовился.

14 декабря. Прочитал сейчас у Достоевского место, так напоминающее мою "несчастьность".

15 декабря. Читал "Мы, юноши 1870—1871 годов". С подавляющими перчатками перечитывал вдохновенные сцены о победах. Быть отцом и спокойно разговаривать со своим сыном. Но тогда нельзя иметь в сердце игрушечный молоток.

16 декабря. "Громовой вопль восторга серафимов"¹⁰.

Я сидел у Велча в качалке, мы говорили о беспорядочности нашей жизни, — он — все же с некоторой надеждой ("Надо желать некоторой

ного”), я — без всякой надежды, уставившись на свои пальцы, чувствуя себя представителем собственной внутренней пустоты, которая исключительна и вместе с тем даже и не чрезмерно велика.

17 декабря. Доклад Бергмана “Моисей и современность”¹¹. Незамутненное впечатление. Но мне, во всяком случае, до всего этого нет дела. Между свободой и рабством пересекаются поистине страшные пути, для предстоящего нет проводника, пройденное мгновенно погружается во тьму. Таких путей — бесчисленное множество, а может быть, всего один — узнать это невозможно, обозреть их не дано. Я там. Уйти я не могу. Мне не на что жаловаться. Я не страдаю чрезмерно, ибо страдания мои не взаимосвязаны, они не накапливаются, по крайней мере я пока не чувствую этого — страдания мои значительно меньше тех страданий, которые, возможно, мне суждены.

20 декабря. Воздействие умиротворенного лица, спокойной речи человека, особенно чужого, еще не разгаданного. Словно глас божий из человеческих уст.

1914

5 января. Днем. Отец Гёте умер в слабоумии. Во время его последнего заболевания Гёте работал над “Ифигенией”.

“Доставь эту дрянь домой, она пьяна”, — сказал Гёте какой-то придворный чиновник о Кристиане.

Август, напивавшийся так же, как его мать, и бесстыдно шатавшийся с бабами.

Нелюбимая Оттилия, навязанная отцом ему в жены из светских соображений.

Вольф, дипломат и писатель.

Вальтер, музыкант, не смог сдать экзамены.

Месяцами жил в садовом домике; когда царица захотела его видеть, он заявил: “Скажите царице, что я не дикий зверь”.

“Здоровье у меня скорее свинцовое, чем железное”.

Ничтожная, бесплодная писательская деятельность Вольфа.

Стариковское общество в мансарде. Восьмидесятилетняя Оттилия, пятидесятилетний Вольф и старые знакомые.

Лишь на таких крайностях замечаешь, как каждый человек безвозвратно потерян в самом себе, и только размышление над другими людьми и над господствующими в них и повсюду законами может дать утешение. Как податлив внешне Вольф, как легко его провести, развеселить, ободрить, заставить систематически работать — и как он внутренне скован и неподвижен.

Почему чукчи не покидают свой ужасный край, в любом месте они жили бы лучше по сравнению с их нынешней жизнью и их нынешними желаниями. Но они не могут; все, что возможно, происходит; возможно лишь то, что происходит.

6 января. Дильтей: "Переживание и творчество"¹. Любовь к человеку, высочайшее уважение ко всему им созданному. Спокойное пребывание на наиболее подходящем для наблюдения месте. Юношеские сочинения Лютера, "могучие тени, переступающие из невидимого мира в мир видимый, привлеченные убийством и кровью". — Паскаль.

8 января. Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего, и я должен бы совсем тихо, довольный тем, что могу дышать, забиться в какой-нибудь угол.

12 января. Вчера: любовные связи Оттилии, молодые англичане. Обручение Толстого, ясное впечатление нежного, бурного, сдерживающего себя, полного предчувствий молодого человека. Красиво одет, в темном и темно-синем.

Разумеется, и для меня существуют возможности. Но под каким камнем лежат они?

Бессмысленность молодости. Страх перед молодостью, страх перед бессмысленностью, перед бессмысленным расцветом бесчеловечной жизни.

19 января. На службе страх попеременно с самонадеянностью. Вообще же стал уверенней. Очень недоволен "Превращением". Конеч читать не возможно. Несовершенно все, почти до самого основания. Рассказ поучился бы гораздо лучше, не помешай мне тогда служебная поездка.

24 января. Не в силах написать несколько строк фройляйн Бл., уже на два письма не ответил, сегодня пришло третье. Я ничего не могу воспринять правильно и при этом совершенно тверд, но пуст. На днях, когда я выходил в обычное время из лифта, мне пришло в голову, что моя жизнь с ее однообразными до мельчайших подробностей днями похожа на наказания, при которых ученик в зависимости от своей вины должен десять раз, сто раз или еще больше написать фразу, самым повторением превращенную в бессмыслицу, только у меня речь идет о наказаниях — "столько раз, сколько выдержишь".

26 января. Как я сейчас накричал на мать за то, что она одолжила Элли³ "Злую невинность"⁴, — а ведь только вчера я сам хотел предложить ей книгу. "Оставь мне мои книги! У меня ничего больше нет". И такие речи — с настоящей яростью.

11 февраля. Бегло прочитал "Гёте" Дильтея, огромное впечатление, и полностью захвачен, почему нельзя зажечься и погибнуть в этом огне? Или последовать велению, даже если не слышишь его? Сидеть посреди своей пустой комнаты в кресле, уставившись в пол. Вывать "Вперед!" в торном ущелье и со всех горных тропинок слышать отклики одиноких людей и видеть, как они появляются там.

14 февраля. Если бы я покончил с собой, никто нисколько не был бы виноват, будь даже непосредственной причиной отношение ко мне Ф. И уже однажды в полусне представил себе сцену, которая произошла бы, е-

ли бы я в предвидении конца с прощальным письмом в кармане пришел к ней на квартиру и, получив отказ как жених, положил письмо на стол, подошел к балкону, вырвался от всех, кинувшихся ко мне и пытающихся удержать меня, и, отнимая руки — одну за другой — от балконных перил, перемахнул через них. В письме было бы, однако, написано, что, хотя я и бросился вниз из-за Ф., ничего существенно не изменилось бы для меня, если б мое предложение и приняли. Я обречен, я не вижу другого исхода, Ф. случайно оказалась тем, на чем подтвердилось это предначертание, я не могу жить без нее и должен броситься вниз, но и с нею — и Ф. чувствует это — я не смог бы жить. Так почему не сделать этого нынешней ночью? Я заранее представляю себе болтливых гостей, которые придут сегодня вечером к родителям, они будут разглагольствовать о жизни и о том, какие условия необходимо создать для нее, — но я прикован к общепринятому, живу, целиком увязнув в жизни, я не сделаю этого, я совершенно холоден, мне грустно оттого, что ворот рубашки давит мне шею, я проклят, задышаюсь в тумане.

23 февраля. Еду. Письмо от Музиля⁵. Оно меня радует и печалит, ведь у меня ничего нет.

9 марта. Я здесь не забуду Ф. и потому не женюсь.

Это совершенно определенно?

Да, я могу сказать это, мне уже почти тридцать один год, знаю Ф. около двух лет и потому должен уже здраво отдавать себе во всем отчет. Кроме того, мой здешний образ жизни таков, что мне не забыть Ф., даже если бы она и не имела такого значения для меня. Однообразие, размеренность, удобство и несамостоятельность моего образа жизни цепко держат меня и заставляют оставаться на том месте, где я оказался.

Кроме того, мною владеет более сильная, чем обычно, склонность к удобной и несамостоятельной жизни, все вредное находит подкрепление во мне самом. Наконец, я ведь становлюсь старше, перемены даются все труднее. И во всем этом я вижу большое несчастье для себя, которое обещает быть долгим и безысходным; мне предстоит тащиться сквозь годы, получая свое жалованье и становясь все более грустным и одиноким, пока хватит сил выдержать.

Но ты ведь хотел для себя такой жизни?

Жизнь чиновника была бы для меня подходящей, будь я женат. Она давала бы мне хорошую опору со всех точек зрения — по отношению к обществу, к жене, к литературной работе, не требуя слишком больших жертв и, с другой стороны, не превращая меня в раба удобств и несамостоятельности, ибо как человеку женатому мне нечего было бы опасаться этого. Но холостяком я такой жизнью жить до конца не могу.

Но ты ведь мог бы жениться?

Тогда я не мог жениться, все во мне протестовало против этого, как ни любил я Ф. Удерживала главным образом писательская работа, ибо я думал, что брак повредит ей. Возможно, я был прав; но холостяцкая жизнь при теперешних моих условиях уничтожила ее. Я целый год не писал, я и сейчас не могу писать, у меня в голове одна только мысль, и она пожирает меня. Все это я тогда не мог проверить. Впрочем, при моей несамостоятельности, которую по меньшей мере питает такой образ жизни, я ко всему подхожу нерешительно и ни с чем не справляюсь с ходу. Так было и здесь.

Почему ты отказываешься от надежды все же добиться Ф.?

Я уже шел на всякие унижения. Однажды в Тиргартене я сказал: "Скажи "да", даже если ты считаешь свое чувство ко мне недостаточным для брака, моей любви к тебе хватит, чтобы восполнить недостающее, она достаточно сильна, чтобы принять все на себя". Ф. казалась обеспокоенной особенностями моей натуры, страх перед которыми я вселил в нее во время нашей долгой переписки. "Я достаточно люблю тебя, чтобы избавиться от всего, что могло бы тебя беспокоить. Я стану другим человеком". Теперь, когда все должно было стать ясным, я могу признаться, что даже во время наших самых сердечных отношений у меня возникали подозрения и подтвержденные мелочами опасения, что Ф. меня не очень любит, не со всей силой, с какой она способна любить. Это поняла и Ф., правда, не без моей помощи. Боюсь даже, что после наших двух последних встреч Ф. испытывает ко мне некоторое отвращение, хотя внешне мы очень приветливы друг с другом, говорим друг другу "ты", ходим рука об руку. Последнее воспоминание о ней — неприязненная гримаса, которую она сделала, когда я в прихожей ее дома не удовольствовался поцелуем через перчатку, а расстегнул ее и поцеловал руку. Теперь же, несмотря на обещание аккуратно поддерживать дальнейшую переписку, она не ответила на два моих письма, а только в телеграммах обещала прислать письма, но и это обещание не выполнила, она даже не ответила моей матери. Безнадежность всего этого, пожалуй, несомненна.

Впрочем, никогда нельзя так говорить. С точки зрения Ф., разве твоё прежнее поведение не казалось тоже безнадежным?

Но это было нечто иное. Я всегда, даже при как будто последнем приращении летом, открыто признавался в своей любви к ней; я никогда не молчал с такой жестокостью; для моего поведения были причины, их можно было не признавать, но обсудить их следовало. Единственная же причина Ф. — совершенно недостаточная любовь. Тем не менее верно, что я мог бы ждать. Но ждать с удвоенной безнадежностью я не в силах во-первых, видя, что Ф. все больше удаляется от меня, а во-вторых, становясь все более неспособным как-то спасти себя. Это был бы самый большой риск, на который я мог бы отважиться, несмотря на то — или именно потому — что это больше всего отвечало бы всем самым дурным склонностям во мне. "Никогда нельзя знать, что случится" — не аргумент против невыносимости того или иного нынешнего состояния.

Что же ты хочешь предпринять?

Уехать из Праги. Против человеческих страданий, самых сильных и всех, которые я когда-либо испытывал, пустить в ход самое сильное средство, которым я располагаю.

Оставить службу?

Служба, как сказано выше, частично и порождает невыносимость. Надежность, расчет на всю жизнь, достаточное жалованье, неполное приращение сил — это ведь всё вещи, которые мне, холостяку, ни к чему и которые превращаются в муки.

Что же ты хочешь предпринять?

Я мог бы сразу ответить на все вопросы такого рода, сказав: мне нечем рисковать, каждый день и каждый малейший успех — это подарило мне, все, что я сделаю, будет хорошо. Но я могу и точнее ответить: как инстинктивный юрист, кем я все-таки вовсе не являюсь, я не имею подходящих перспектив; самое лучшее, чего бы я мог достичь для себя в этом направлении, у меня уже есть, и все-таки я не могу этим воспользоваться. Ни то,

сам по себе совершенно невозможный случай, если бы я захотел извлечь какие-нибудь блага из своей юридической подготовки, речь могла бы идти только о двух городах: о Праге, из которой я должен уехать, и Вене, которую я ненавижу и где я непременно был бы несчастен, ибо поехал бы туда уже с глубоким убеждением в неотвратимости несчастья. Стало быть, нужно ехать за пределы Австрии, и, поскольку у меня нет таланта к языкам и я плохо справляюсь как с физической, так и с коммерческой работой, ехать — по крайней мере вначале — придется в Германию, в Берлин, где больше всего возможностей просуществовать.

Там я смогу наилучшим и непосредственным образом применить свои литературные способности также и в журналистике и найти более или менее достаточный для себя заработок. Буду ли я, сверх того, еще способен к творческой работе, об этом я сейчас не могу говорить хотя бы с малейшей уверенностью. Но одно я, кажется, знаю твердо: самостоятельное и свободное положение, которое я обрету в Берлине (будь оно в остальном даже и жалким), даст мне то единственное чувство счастья, на какое я еще способен сейчас.

Но ты избалован.

Нет, мне нужна комната и вегетарианский стол, почти ничего больше.

Не ради Ф. ли ты едешь туда?

Нет, я выбираю Берлин только по вышеуказанным причинам, но, конечно, я люблю его из-за Ф., из-за всего, что ее окружает там, — над этим я не властен. Возможно также, что в Берлине я сойду с Ф. Если же эта совместная жизнь поможет мне изгнать Ф. из своего сердца — тем лучше, тогда в этом еще одно преимущество Берлина.

Ты здоров?

Нет, сердце, сон, пищеварение.

15 марта. За гробом Достоевского студенты хотели нести его кандалы. Он умер в рабочем квартале, на четвертом этаже доходного дома.

Ничего, кроме ожидания, кроме вечной беспомощности.

5 апреля. Если б можно было поселиться в Берлине, стать самостоятельным, изо дня в день жить, пусть голодая, но давая выход всей своей силе, вместо того, чтобы здесь экономить ее или еще лучше — обращаться в ничто! Если бы Ф. захотела мне помочь!

8 апреля. Вчера не мог написать ни слова. Сегодня не лучше. Кто даст мне избавление? И эта стесненность внутри меня, этот мрак, сквозь который ничего не видно. Я подобен живой решетке, решетке, которая еще стоит, но вот-вот упадет...

27 мая. Если я не ошибаюсь⁶, я начинаю обретать ясность. Такое впечатление, словно где-то в лесной просеке происходит духовная битва. Я вторгаюсь в лес, ничего не нахожу и из-за слабости скоро выбираюсь обратно; часто, покидая лес, я слышу — или мне кажется, будто слышу, — бряцание оружия в той битве. Может быть, сквозь лесной мрак меня ищут взоры бойцов, но я так мало знаю о них, и знания эти так обманчивы.

Продолжайте, свиньи, свой танец. Какое мне до этого дело?

Но это истиннее, чем все, что я написал в последний год. Может быть, все дело в том, чтобы набить руку. Когда-нибудь я еще научусь писать.

28 мая. Послезавтра еду в Берлин⁷. Несмотря на бессонницу, головную боль и заботы, я, кажется, в лучшем состоянии, чем когда-либо прежде.

29 мая. Завтра в Берлин. Испытываю я просто лишь нервный подъем или же состояние мое действительно надежное? Что будет? Верно ли, что, если однажды познаешь суть творчества, ничто уже не погибнет, ничто не пропадет, хотя, правда, лишь редко что-либо взмывает ввысь. Не таким ли будет брезжущий брак с Ф.? Странное, хотя по воспоминаниям не совсем неведомое мне состояние.

Я строю планы. Я пристально смотрю перед собой, чтобы не отвести взгляда от воображаемого глазка воображаемого калейдоскопа, в который гляжу. Я перемешиваю добрые и корыстные намерения, на добрых красках тускнеет, зато полностью проявляет себя на корыстных. Я приглашаю небо и землю участвовать в моих планах, но не забываю и маленьких людей, которых надо вытащить из боковых улиц и которые пока что могут быть более полезными для моих планов. Это только начало, все время только начало. Я еще стою здесь со своей бедой, но вот уже сзади подвезжает огромный воз моих планов, маленький помост подкачивается мне под ноги, обнаженные девушки, как на карнавальных повозках в парке красных краях, ведут меня спиной вперед вверх по ступенькам, я парю в воздухе, потому что девушки парят, я поднимаю руку, приказываю молчать. Около меня возникают кусты роз, в кадилликах курится фимиам, опускаются лавровые венки, предо мною и надо мною рассыпают цветы; два трубача, словно высеченные из камня, трубят в фанфары; сбегается толпа простого народа, которую упорядочивают жокари; пустые, сверкающие чистотой, прямоугольные свободные места становятся темными, подвижными, переполненными, я чувствую, что напряжение людей достигло предела, и по собственному побуждению и с внезапно появившейся ловкостью проделываю на своем возвышении трюк, которым я много лет тому назад восхищался у человека-змеи: я медленно выгибаюсь назад — как раз в этот момент небо пытается раскрыться, чтобы показать какое-то явление, которое имеет отношение ко мне, но останавливается, — протаскиваю голову и верхнюю часть туловища между ног и постепенно снова воскресаю распрямившимся человеком. Был ли это наилучший подъем, доступный человеку? По-видимому, так, ибо я уже вижу, как из всех ворот глубоко и широко лежащей подо мною земли вылезают маленькие рогатые черти, они бегают повсюду, под их ногами все по середине ломается, их хвостики все сметаю, вот уже пятьдесят хвостиков скользят по моему лицу, почва становится мягкой, я увязаю сначала одной ногой, затем другой, крики девушек преследуют меня до самой глубины, куда я отвесно погружаюсь через шахту, поперечник которой соответствует моему телу, но тем не менее бесконечно глубокою. Эта бесконечность не вдохновляет на особые деяния, все, что бы я ни делал, было бы мелко, я падаю без чувств, и это лучше всего.

6 июня. Вернулся из Берлина. Был закован в цепи, как преступник. Если бы на меня надели настоящие кандалы, посадили в угол, поставили передо мной жандармов и только в таком виде разрешили смотреть на происходящее, было бы не более ужасно. И вот такой была моя помолвка! Все пытались пробудить меня к жизни, но, поскольку это не удавалось, старались мириться со мной таким, какой я есть. Правда, кроме Ф. — вполне оправданно, ибо она больше всех страдала. Ведь то, что другим казалось просто внешней манерой, для нее таило угрозу.

Чиновник магистрата Брудер⁸ вернулся домой из канцелярии лишь около девяти часов вечера. Было уже совсем темно. Жена поджидала его у подъезда, держа на руках маленькую дочь. "Как дела?" — спросила она. "Очень плохо, — сказал Брудер, — пойдем домой, там я все тебе расскажу". Едва они вошли в дом, Брудер запер входную дверь. "Где служанка?" — спросил он. "В кухне", — сказала жена. "Это хорошо, пошли!" В большой низкой комнате зажгли светильник, все сели, и Брудер сказал: "Дело обстоит так. Наши отступают. Бой под Румдорфом, как я понял из достоверных сведений, поступивших в муниципалитет, закончился нашим поражением. Большая часть войск уже покинула город. Пока еще это скрывают, чтобы не вызвать в городе панику. Я считаю это не совсем разумным, лучше бы открыто сказали правду. Но долг обязывает меня молчать. Конечно, никто не может помешать мне сказать правду тебе. Впрочем, все догадываются о правде, это заметно по всему. Все запирают дома, прячут, что только можно спрятать".

Некоторые чиновники муниципалитета стояли у каменного парапета вдоль окна ратуши и смотрели вниз, на площадь. Последняя часть арьергарда ожидала там приказа к отходу. Это были молодые, рослые краснощекие парни, осаживавшие рвавшихся из тугο натянутых поводьев лошадей. Два офицера гарцевали перед ними. Они явно ожидали вестей. Время от времени они высылали вперед верховых, посланный стремительно исчезал по круто поднимающейся от площади боковой улице. Пока ни один из них еще не вернулся.

К стоявшей у окна группе подошел чиновник Брудер, еще молодой бородатый мужчина. Поскольку он был старшим по чину и благодаря своим способностям пользовался особым уважением, все вежливо поклонились и пропустили его к парапету. "Итак, конец, — сказал он, устремив взгляд на площадь. — Это совершенно ясно".

"Значит, вы думаете, господин советник, — сказал высокомерный молодой человек, не сдвинувшийся с места, когда подошел Брудер, и теперь стоявший так близко к Брудеру, что они не могли даже посмотреть друг другу в лицо, — что битва проиграна?"

"Совершенно верно. В этом не может быть сомнения. Мы должны искупить всевозможные старые грехи. Теперь, правда, не время говорить об этом, теперь каждый должен позаботиться о себе. Мы стоим перед окончательной развязкой. Сегодня вечером гости уже могут быть здесь. Возможно, они не станут дожидаться и вечера, а будут здесь через полчаса".

11 июня. Однажды вечером я пришел из канцелярии домой несколько позже, чем обычно — один знакомый задержал меня внизу у ворот, — и

открыл свою комнату, мыслями весь еще в разговоре, вертевшемся главным образом вокруг сословных вопросов, повесил пальто на крючок и хотел подойти к умывальнику, как вдруг услышал чужое прерывистое дыхание. Я поднял глаза и увидел на вдвинутой глубоко в угол печи, в полутьме что-то живое. Сверкающие желтоватым светом глаза уставились на меня, под незнакомым лицом на карнизе печи по обе стороны лежали две большие круглые женские груди, все существо, казалось, состояло из груд мягкого белого мяса, толстый длинный желтоватый хвост свисал с печи, конец его все время скользил по щелям между кафельными плитками.

Первое, что я сделал, — большими шагами, с низко опущенной головой, повторяя тихо, как молитву: "Наваждение! Наваждение!" — направился к двери, ведущей в квартиру хозяйки. Лишь потом я заметил, что вошел, не постучав...

(Запись обрывается.)

Было около полуночи. Пятеро мужчин остановили меня, шестой из них спин протянул руку, чтобы схватить меня. "Пустите", — закричал я и так закружился волчком, что все отпрянули. Я чувствовал, что вступили в силу некие законы, знал, делая последнее усилие, что они одержат верх, видел, как все мужчины с поднятыми руками отскочили назад, понял, что в следующее мгновение они все вместе ринутся на меня, повернулся к входной двери — я находился вблизи нее, — отпер словно бы с величайшей охотой и с необычайной поспешностью поддавшийся замок и взбежал по темной лестнице наверх.

Наверху, на последнем этаже, в раскрытой двери стояла моя старая мать со свечой в руке.

— Осторожно, осторожно, — крикнул я еще с предпоследнего этажа, — они меня преследуют.

— Кто же? Кто же? — спросила мать. — Кто может тебя преследовать, мой мальчик?

— Шестеро мужчин, — сказал я, запыхавшись.

— Ты их знаешь? — спросила мать.

— Нет, неизвестные мужчины, — сказал я.

— Как они выглядят?

— Я плохо рассмотрел их. У одного черная окладистая борода, у другого большое кольцо на пальце, у третьего красный пояс, у четвертого порваны брюки на коленях, у пятого открыт только один глаз, а последний скалит зубы.

— Не думай больше об этом, — сказала мать, — иди в свою комнату, ложись спать, я постелила.

Мать, эта старая женщина, уже отрешенная от всего живого, с хитрым складкой вокруг бессознательно повторяющего восьмидесятилетние глупости рта.

— Теперь спать? — воскликнул я...

(Запись обрывается.)

12 июня. Письмо Достоевского к одной художнице.

Жизнь общества движется по кругу. Только люди, пораженные одним наковнем недугом, понимают друг друга. Объединенные характером страдания в один круг, они поддерживают друг друга. Они скользят по внутренним краям своего круга, уступают друг другу дорогу или в толпе оста-

рожно подталкивают друг друга. Один утешает другого в надежде на то, что утешение это вызовет обратное действие на него самого, или страстно упивается этим обратным действием. Каждый обладает только опытом, который дает ему его страдание, тем не менее в рассказах товарищей по несчастью этот опыт выглядит неслыханно многообразным. "Так обстоит с тобой дело, — говорит один другому, — и, вместо того чтобы жаловаться, благодари бога, что именно так оно обстоит, ибо, будь оно по-другому, это навлекло бы на тебя такое-то или такое-то несчастье, такой-то или такой-то позор". Откуда это ему известно? Судя по его высказыванию, он ведь принадлежит к тому же кругу, что и его собеседник, у него такая же потребность в утешении. А люди одного круга знают всегда одно и то же. Положение утешающего ни на йоту не лучше положения утешаемого. Поэтому их беседы — лишь соединение самовнушений, обмен пожеланиями. То один глядит в землю, а другой на птицу в небе (в таких различиях протекает их общение). То их объединяет одна надежда, и оба, голова к голове, глядят в бесконечные дали небес. Но понимание своего положения обнаруживается лишь тогда, когда они оба опускают голову и один и тот же молот обрушивается на них.

14 июня. Я иду спокойным шагом, в то время как в голове у меня стучит и неприятнейшее ощущение вызывает слегка ударяющая меня по голове ветвь. Во мне, как и в других людях, есть спокойствие, уверенность, но заложены они как-то навыворот.

1 июля. Слишком устал.

5 июля. Какие страдания я должен переносить и причинять!

29 июля. Йозеф К., сын богатого купца, однажды вечером после крупной ссоры с отцом — отец упрекал его в безалаберной жизни и требовал немедленного ее прекращения — направился без всякой цели, лишь из полнейшей безнадежности и усталости, в купеческий клуб, стоявший на виду недалеко от гавани. Швейцар низко склонился пред ним. Йозеф едва взглянул на него, не поздоровавшись. "Эти молчаливые прислужники делают все, чего от них ожидают, — подумал он. — Раз я думаю, что он незаметно наблюдает за мной, значит, он действительно делает это". И он еще раз, опять без приветствия, оглянулся на швейцара; тот повернулся лицом к улице и смотрел на покрытое облаками небо.

Записи о путешествии сделал в другой тетради. Вещи, над которыми я начал работать, не удались. Я не сдаюсь, несмотря на бессонницу, головную боль, общую слабость. Но мне понадобилось собрать для этого все свои последние силы. Я пришел к выводу, что избегаю людей не затем, чтобы спокойно жить, а чтобы спокойно умереть. Но я буду обороняться. В моем распоряжении месяц без шефа.

30 июля. Я искал совета, я не был упрямым. То было не упрямство, когда с судорожно перекошенным лицом и с пылающими щеками я смеялся про себя над тем, кто, не зная этого, давал мне какой-нибудь совет. Это было напряженное внимание, готовность к восприятию, болезненное отсутствие упрямства.

Директор страхового общества "Прогресс" всегда был крайне недоволен своими служащими. Пожалуй, всякий директор недоволен своими служащими, разница между служащими и директорами слишком велика, чтобы ее могли выравнивать одни лишь приказы директора и одно лишь послушание служащих. Только обоюдная ненависть приводит к выравниванию и придает законченность всему делу.

Бауц, директор страхового общества "Прогресс", с сомнением смотрел на человека, который стоял перед его письменным столом и добивался места служителя. Время от времени он заглядывал в лежавшие перед ним документы претендента.

"Рост-то у вас достаточный, — сказал он, — это видно, а вот чего вы стоите? У нас служители должны уметь что-то большее, чем лизать марки, как раз этого они у нас не обязаны уметь, ибо это у нас делают автоматы. У нас служители наполовину чиновники, они должны делать ответственную работу, чувствуете ли вы себя способным к этому? У вас странная форма головы. Какой покатый лоб. Странно. Где вы служили в последнее время? Что? Целый год не работали? Почему? Из-за воспаления легких? Так? Ну, это не очень выигрышно для вас, не правда ли? Нам, разумеется, нужны только здоровые люди. Прежде чем поступить к нам, вы должны обследоваться у врача. Вы уже выздоровели? Да? Конечно, это возможно. А погромче говорить вы можете? Вы действуете мне на нервы своим шепотом. По документам я вижу: вы женаты, у вас четверо детей. И целый год вы не работали? Ну знаете, милейший! Ваша жена прачка? Так. Ну да. Раз уж вы здесь, обследуйтесь сразу у врача, служитель проводит вас к нему. Но из этого вы не должны заключать, что приняты, даже если свидетельство врача будет благоприятным. Совсем нет. Во всяком случае, вы получите письменное извещение. Чтобы быть откровенным, хочу сказать сразу: вы мне совсем не нравитесь. Нам нужны совсем другие служители. Но на всякий случай обследуйтесь. Ну идите же, идите. Просить бесполезно. Я не вправе заниматься благотворительностью. Вы согласны выполнять любую работу. Конечно. Всякий согласен. Это не заслуга. Это лишь свидетельствует, как невысоко вы себя цените. Ну, говорю в последний раз: идите и не задерживайте меня больше. И истину достаточно".

Бауцу пришлось стукнуть кулаком по столу, прежде чем человек изволил служителю вытащить его из директорского кабинета.

31 июля. У меня нет времени. Всеобщая мобилизация. К. и П. пришли. Теперь я получу в награду одиночество. Впрочем, едва ли это можно назвать наградой, одиночество — это наказание. Как бы то ни было, меня мало задело всеобщее бедствие, я исполнен решимости, как никогда. И послеобеденное время мне нужно будет находиться на фабрике, жить и буду не дома, так как к нам переселяется Э. с двумя детьми. Но писать буду, несмотря ни на что, во что бы то ни стало — это моя борьба за само сохранение.

2 августа. Германия объявила России войну. После обеда школа плавания.

3 августа. Один в квартире моей сестры. Она расположена ниже моих комнаты, да и улица боковая, поэтому хорошо слышна громкая болтовня

ня соседей внизу у дверей. И насвистывание. В остальном же полнейшее одиночество. Желанная жена не открывает двери. Через месяц я должен был бы жениться. Мучительные слова: чего хотел, то и получил. Стоишь, больно прижатый к стене, боязливо опускаешь глаза, чтобы увидеть руку, прижимающую тебя, и с новой болью, заставляющей забыть прежнюю, видишь собственную искривленную руку — она держит тебя с силой, которой никогда не обладала для настоящей работы. Поднимаешь голову, снова ощущаешь первоначальную боль, опять опускаешь глаза, и нет конца этому движению головы вверх-вниз.

4 августа. Снимая квартиру, я, по-видимому, подписал хозяину какую-то бумагу, которая обязывала меня к двух- или даже шестилетней аренде. Теперь он предъявляет требование согласно этому договору. Глупость, или, лучше сказать, полная и абсолютная беспомощность, которую обнаруживает мое поведение. Соскользнуть в поток. Это соскальзывание представляется мне, наверное, потому столь желанным, что напоминает о "подталкивании".

6 августа. Вдоль Грабена тянулась артиллерия. Цветы, крики "Heil" и "Nazdar"*¹. В толпе лицо, судорожно застывшее, изумленное, внимательное, смуглое и черноглазое.

Я разбит, а не окреп. Пустой сосуд, еще целый, но уже погребенный под осколками, или уже осколок, но все еще под гнетом целого. Полон лжи, ненависти и зависти. Полон бездарности, глупости, тупости. Полон лени, слабости и беззащитности. Мне тридцать один год. Я видел двух управляющих именем на фотографии Оттлы². Молодые свежие люди, которые кое-что знают и достаточно сильны, чтобы суметь применить свои знания среди людей, оказывающих по необходимости легкое сопротивление. Один ведет на поводу прекрасных лошадей, другой, с безусловно внушающим доверие и обычно, видимо, неподвижным лицом, лежит на траве и кончиком языка водит по губам.

Я обнаруживаю в себе только мелочность, нерешительность, зависть и ненависть к воюющим, которым я страстно желаю всех бед.

С литературной точки зрения моя судьба очень проста. Желание изобразить мою исполненную фантазий внутреннюю жизнь сделало несущественным все другое, которое потому и хирело и продолжает хиреть самым плачевным образом. Ничто другое никогда не могло меня удовлетворить. Но я не знаю, есть ли у меня еще силы для этого изображения, может быть, они иссякли навсегда, может быть, они все же снова нахлынут на меня, хотя условия моей жизни не благоприятствуют этому. Так меня и бросает из стороны в сторону, я взлетаю непрерывно на вершину горы, но ни на мгновение не могу удержаться там. Других тоже бросает из стороны в сторону, но в долинах, да и сил у них больше; стоит им только начать падать, как их тут же подхватывает родственник, для того и следующий за ними. Меня же бросает из стороны в сторону там, наверху, — к сожалению, это не смерть, но вечная мука умирания.

Патриотическое шествие. Речь бургомистра. Скрывается, появляется снова, заканчивает германской здравицей: "Да здравствует наш любимый

*Heil (нем.), Nazdar (чешск.) — ура.

монарх, ура!" Я стою и смотрю злыми глазами. Эти шествия — одно из самых отвратительных сопутствующих явлений войны. Они организованы еврейскими коммерсантами — то немецкими, то чешскими, — которые признают себе, правда, в этом, но никогда так громко не могли выкрикаться, как теперь. Разумеется, они многих увлекают. Организованы шествия хорошо. Они будут повторяться каждый вечер, а завтра, в воскресенье, — дважды.

7 августа. Каждого толкуешь на свой лад, даже если ты лишен малейших способностей к индивидуализации. "Л. из Бинца" ткнул в мою сторону пистолетом, чтобы привлечь мое внимание, и напугал.

Уверенные шаги в школе плавания.

Вчера и сегодня написал четыре страницы — трудно превзойти их ничтожность.

Титанический Стриндберг. Эта ярость, эти добытые в кулачном бою страницы.

Хоровое пение из трактира напротив. Спать невозможно. Из раскрытых стеклянных дверей доносится песня. Тон задает девичий голос. Поют с невинными любовные песни. Я мечтаю о полицейском. Он как раз появляется. На какое-то время он останавливается около двери и прислушивается. Затем зовет: "Хозяин!" Девичий голос: "Войтишек". Откуда-то выскакивает мужчина в штанах и рубашке. "Закройте дверь! Этот шум мешает". "О, пожалуйста, пожалуйста", — говорит хозяин с вкрадчивыми предупредительными жестами; словно обхаживая даму, он сперва закрывает дверь позади себя, затем открывает ее, чтобы пресквозночь, и опять закрывает. Полицейский (чье поведение, особенно ярость, непонятно, ибо ему-то уж пение никак не мешает, наоборот, оно может только скрасить его скучную службу) уходит, у певцов охота к пению пропадает.

12 августа. Совсем не спал. После обеда три часа без сна в отуплении лежал на диване, ночь прошла так же. Но это не должно мне мешать.

15 августа. Вот уже несколько дней пишу¹⁰ — хорошо, если бы так продолжалось. Хотя я сейчас не столь защищен и не настолько одержим работой, как два года назад¹¹, тем не менее жизнь обрела какой-то смысл, моя размеренная, пустая, бессмысленная холостяцкая жизнь имеет оправдание. Я снова могу вести диалог с самим собой и уже не вперяю взгляд в полнейшую пустоту. Только на этом пути для меня возможно выздоровление.

Воспоминание о дороге на Кальду

Когда-то, много лет тому назад, я служил на узкоколейке в глубине России. Таким покинутым, как там, я никогда не был. По различным причинам, о которых здесь не стоит говорить, я тогда искал такое место; чем больше одиночество окружало меня, тем приятнее мне было, и я теперь не хочу жаловаться на это. Но в первое время мне не доставало занятий. Сперва узкоколейку заложили, видимо, из каких-то хозяйственных соображений, но средств не хватило, строительство застопорилось, и, вместо того чтобы протянуться до Кальды, ближайшего, расположенного

го в пяти днях езды от нас более крупного населенного пункта, дорога остановилась у маленького селения, в самой глуши, откуда до Кальды нужно было ехать целый день. Но даже если бы дорога эта была доведена до самой Кальды, она еще бог весть сколько времени оставалась бы нерентабельной, ибо весь проект был ошибочным: край нуждался в шоссейных, а не в железных дорогах; в том же состоянии, в котором дорога сейчас находилась, она вообще была ни к чему — те два поезда, что ежедневно курсировали, везли грузы, которые можно было бы перевозить на телегах, пассажирами были лишь несколько батраков в летнее время. Но тем не менее полностью законсервировать дорогу не хотели, ибо все еще надеялись, что, если она будет функционировать, удастся раздобыть средства для продолжения строительства. На мой взгляд, надежда эта была не столько надеждой, сколько отчаянием и ленью. Пока подвижной состав и уголь имелись, дорога работала, ее несколькими работниками нерегулярно и не полностью, словно это была милостыня, выдавалось жалованье, вообще же ждали краха всего предприятия.

Итак, я служил на этой дороге и жил в деревянной халупе, сохранившейся еще со времен строительства и служившей одновременно станционным помещением. Она состояла из одной комнаты, где для меня был сколочен топчан и стол для работы. Над топчаном установлен был телефонный аппарат. Когда я весной прибыл туда, один поезд проходил мимо станции очень рано — потом это изменилось, — и иной раз случалось, что какой-нибудь пассажир являлся на станцию, когда я еще спал. Разумеется, он не оставался под открытым небом — до самой середины лета ночи там были холодными, — а стучал в дверь; я отпирал, и, бывало, мы часами болтали. Я лежал на своем топчане, гость устраивался на полу или же готовил по моему указанию чай, который мы затем пили в добром согласии. Все эти деревенские люди очень обходительны. Впрочем, я заметил, что не очень способен выносить полнейшее одиночество, хотя должен сказать, что одиночество, которое я возложил на себя, уже через короткое время начало развеивать мои прежние заботы. Я вообще пришел к выводу, что это хорошее испытание меры несчастья — дать человеку совладать с собой в одиночестве. Одиночество могущественней всего и гонит человека обратно к людям. Естественно, что потом пытаешься найти другие, кажущиеся менее болезненными, но пока еще просто неведомые пути.

Я привязался к тамошним людям гораздо больше, чем думал. Конечно, постоянного общения у нас не было. Каждая из пяти деревень, с которыми я мог бы общаться, находилась от станции и других деревень на расстоянии нескольких часов ходьбы. Слишком далеко уходить от станции я не мог, если не хотел потерять свою должность. А этого я вовсе не хотел, во всяком случае в первое время. Стало быть, в деревни ходить я не мог и потому вынужден был ограничиваться общением с пассажирами и с теми людьми, которые не боялись дальней дороги, чтобы навестить меня. Уже в первый месяц такие люди нашлись, но, сколь ни дружелюбно настроены они были, легко было догадаться, что они приходят для того, чтобы попытаться заключить со мною какую-нибудь сделку, — впрочем, они и не скрывали своих намерений. Они приносили разные товары, и сначала, пока были деньги, я обычно покупал почти все, не глядя, — так рад я был этим людям, особенно некоторым из них. Позже я, правда, сократил эти покупки, сократил еще и потому, что мне показалось, будто они пренебрежительно относятся к моей манере покупать. Кроме того, мне

привозили продукты и поездом — правда, они были скверными и еще более дорогими, чем те, что приносили крестьяне.

Поначалу я собирался развести небольшой огород, купить корову и таким образом стать по возможности от всех независимым. Я привез с собой огородный инвентарь и семена, земли было предостаточно, она лежала вокруг моей хибары, насколько хватал глаз, невоздланной равниной, без единого холмика. Но я был слишком слаб, чтобы покорить эту почву, упрямую почву, до самой весны скованную морозом и не поддававшуюся даже моей новой острой мотыге. Все посеянное в эту землю пропадало. Эта работа вызывала у меня приступы отчаяния. Целыми днями я лежал на топчане и не выходил даже при прибытии поездов. Я только высовывал голову в оконце над топчаном и сообщал, что болен. Тогда железнодорожники — их было трое — заходили ко мне погреться, но тепла они находили мало, ибо я старался не пользоваться старой железной печкой, боясь, что она взорвется. Я охотнее лежал закутанный в старое теплое пальто и укрытый овчинами, которые постепенно скупал у крестьян. "Ты часто болеешь, — говорили они мне. — Хворый человек. Тебе отсюда не выбраться". Они говорили так совсем не для того, чтобы огорчить меня, просто они старались по возможности напрямик говорить правду. И при этом странно тарасились.

Один раз в месяц, но непременно в разное время приезжал инспектор, чтобы проверить книгу записей, забрать у меня выручку и — далеко не всегда — выдать мне жалованье. О его прибытии меня каждый раз уведомляли на день раньше люди, высадившие его на последней станции. Они считали это величайшим благодеянием, которое могут мне оказать, хотя, конечно, у меня всегда во всем был порядок. Да для этого не требовалось ни малейшего труда. Но инспектор всегда вступал на станцию с таким видом, будто уж на этот раз он обязательно раскроет мою неряшливость. Дверь хибары он отворял коленом и пылливо взглядывал на меня. Едва раскрыв книгу, он находил ошибку. Проходило много времени, прежде чем мне удавалось доказать ему, что не я, а он ошибся. Он всегда бывал недоволен моей выручкой, потом он со стуком закрывал книгу и снова испытующе взглядывал на меня. "Мы должны будем закрыть дорогу", — говорил он каждый раз. "Да, этим кончится", отвечал я обычно.

После ревизии отношения наши менялись. У меня всегда была припасена водка и по возможности какое-нибудь лакомство. Мы чокались, и тем он пел довольно сносным голосом, но неизменно только две песни, одна была грустной и начиналась словами: "Куда бредешь, бедняжка, лесом?", другая была веселой и начиналась так: "Веселые дружки, мне с вами по пути!" В зависимости от настроения, в какое мне удавалось его привести, я по частям получал свое жалованье. Но только поначалу и поглядывал на него с определенным намерением, позднее мы достигли полного единодушия, беззащитно ругали администрацию, он шептал мне в ухо, какой карьеры добьется и для меня, и в конце концов мы и обнимку падали на топчан и валялись так иной раз по десять часов. На следующее утро он уезжал опять как мой начальник. Я стоял перед поездом и отдавал честь, он обычно, перед тем как войти в вагон, еще раз поворачивался ко мне и говорил: "Итак, дружище, через месяц мы снова увидимся. Ты знаешь, что поставлено на карту ради тебя". Я еще вижу поперечное с трудом ко мне распухшее лицо, все на этом лице выпирает вперед — щеки, нос, губы.

Это было единственное большое развлечение, которое я себе позволял раз в месяц; если случайно оставалось немного водки, я выпивал ее сразу же после отъезда инспектора, чаще всего я еще слышал сигнал к отправлению поезда, а водка уже булькала у меня в горле. После подобной ночи жажду я испытывал чудовищную; казалось, будто во мне сидит второй человек, который высовывает из моего рта свою голову и шею и требует пить. Инспектор-то был обеспечен, он всегда возил с собой в поезд большие запасы спиртного, в моем же распоряжении было только недопитое.

Зато потом я весь месяц не пил и не курил, я только выполнял свою работу и ничего другого не хотел. Работы, как я уже говорил, было немного, и делал я ее добросовестно. Например, в мои обязанности входило ежедневно чистить и проверять железнодорожный путь — километр направо и километр налево от станции. Но я не придерживался инструкции и часто шел гораздо дальше, так далеко, что едва различал станцию. При ясной погоде она была еще видна на расстоянии пяти километров — местность ведь была совершенно плоской. Когда я отдалялся настолько далеко, что хибара лишь маячила вдали, я порой из-за оптического обмана видел, как множество черных точек движется по направлению к ней. Это были целые толпы, целые отряды. Но иной раз действительно кто-нибудь приходил, и тогда я, размахивая киркой, всю длинную обратную дорогу бежал бегом.

К вечеру я справлялся со своей работой и окончательно забирался в хибару. Обычно в это время никто не приходил, ибо ночью возвращаться в деревню было небезопасно. Вокруг шатались всякие темные личности, то не были местные жители, каждый раз это были разные люди, иногда, правда, кто-нибудь приходил и вторично. Многих я видел, уединенная станция привлекала, да люди эти, собственно, не были опасны, но с ними следовало обходиться строго.

Они были единственными, кто мне мешал в долгие сумерки. Обычно я лежал на топчане, не думал о прошлом, не думал о дороге — следующий поезд проходил между десятью и одиннадцатью часами вечера, — короче говоря, не думал ни о чем. Время от времени я читал старую газету, которую мне бросали из проходящего поезда, в ней описывались скандальные происшествия в Кальде, может, они и заинтересовали бы меня, но по разрозненным номерам я не мог их понять. Кроме того, в каждом номере давалось продолжение романа под названием "Месть командира". Командир этот, всегда носивший на боку кинжал, а в особых случаях бравший его даже в зубы, однажды приснился мне. Впрочем, много читать я не мог, так как быстро темнело, а керосин или сальные свечи были непомерно дороги. От дороги я ежемесячно получал всего пол-литра керосина, чтобы поддерживать вечером в течение получаса сигнальный свет для поезда, — иссякал этот керосин задолго до окончания месяца. Но свет этот и не нужен был, и потом я его больше не зажигал, по крайней мере в лунные ночи. Я предвидел, что, когда кончится лето, керосин мне понадобится. Поэтому в углу хибары я выкопал яму, поставил туда старый просмоленный пивной бочонок и каждый месяц выливал в него сэкономленный керосин. Все было прикрыто соломой, и никто ничего не замечал. Чем больше в хибаре воняло керосином, тем довольнее я был; вонь потому была сильной, что бочонок был из старого потрескавшегося дерева, которое пропиталось керосином. Позднее я из осторожности закопал бочонок позади хибары, потому что однажды инспектор бахвалился пе-

редо мною коробкой восковых спичек и, когда я попросил отдать ее мне, стал зажигать спичку за спичкой и подбрасывать их в воздух одну за другой. Нам обоим, и в особенности керосину, грозила реальная опасность, и спас все тем, что бросился на него и стал трясти, пока спички не выпали у него из рук.

В свободное время я часто думал, как мне обеспечить себя на зиму. Если я уже теперь, в теплое время года, мерз — а в этом году, как говорили, было теплее, чем обычно, — то зимой мне будет совсем плохо. Керосин я запасал из причуды, будь я благоразумнее, мне многим следовало бы запастись для зимы; в том, что общество не особенно побеспокоится обо мне, не было никакого сомнения, но я был легкомысленным, вернее, не легкомысленным, а просто мне было слишком мало дела до самого себя, чтобы очень уж стараться сделать что-либо в этом отношении. Теперь, в теплое время года, мне жилось сносно, и я оставлял все, как есть, ничего не предпринимая.

Одним из соблазнов, приведших меня на эту станцию, были виды на охоту. Мне говорили, что эта местность исключительно богата дичью, и я уже заручился обещанием прислать мне ружье, когда скоплю немного денег. И вот оказалось, что пригодной для охоты дичи нет и в помине, здесь водятся как будто лишь волки и медведи — в первые месяцы я их не видел; кроме того, здесь были какие-то странные большие крысы, их я увидел сразу же, — словно гонимые ветром, они полчищами носились по полям. Но дичи, которой я заранее радовался, не было. Люди рассказывали мне не небылицы, богатая дичью местность существовала, но она находилась в трех днях езды отсюда, — мне не приходило в голову, что в этих краях, на протяжении сотен километров необитаемых, точно указать место было трудно. Во всяком случае, пока что ружье мне не требовалось и я мог использовать деньги для других целей; но для зимы мне, конечно, необходимо было приобрести ружье, и я регулярно откладывал для этого деньги. Для крыс, атакывавших иногда мои продукты, достаточно было длинного ножа.

В первое время, когда еще все вызывало мое любопытство, я однажды наколот такую крысу и повесил ее перед собой на стене на уровне глаз. Маленьких зверей можно хорошо рассмотреть лишь тогда, когда держишь их перед собой на уровне глаз; если наклоняться к ним к земле и рассматривать их в таком положении, получаешь о них неверное, искаженное представление. Самое поразительное в этих крысах — когти, большие, вогнутые и все же на концах заостренные; они очень хорошо приспособлены для рытья. При последней судороге висевшая передо мною на стене крыса, в явном несоответствии со своим характером при жизни, распрямилась, и они стали похожи на ручонку, протянутую кому-то на встречу.

Вообще-то эти звери мало досаждали мне, но ночью они иной раз будили меня, со стуком пробегая по твердой земле мимо хибары. И если и потом, сидя в постели, зажигал восковую свечу, то в какой-нибудь дырке под деревянным косяком мог видеть просунутые снаружи, лихорадочно работающие крысиные когти. Это была совершенно бесполезная работа — для того чтобы вырыть для себя достаточно большую нору, крысе нужно было бы работать целыми днями, а она убегала, едва только день занимался, тем не менее она работала, словно рабочий, имеющий определенную цель. И делала она свою работу хорошо; правда, когда она копала, взлетали лишь маленькие комья земли, но впустую когти никогда

не пускались в ход. Часто я ночью долго наблюдал их работу, пока картина эта своей размеренностью и спокойствием не усыпляла меня. В таких случаях у меня не хватало сил погасить свечку и она еще некоторое время продолжала светить крысе.

Однажды теплой ночью я, услышав стук когтей, осторожно, не зажигая света, вышел наружу, чтобы посмотреть на самого зверька. Он низко опустил голову с острым рыльцем, почти просунул ее между передними лапками, чтобы как можно теснее придвинуться к дереву и поглубже засунуть под него когти. Можно было подумать, будто кто-то в хибаре, крепко держа за когти, хотел туда втянуть всего зверька, так он был напряжен. Все было кончено одним ударом ноги, которым я убил крысу. Я не мог допустить, чтобы на моих глазах, когда не сплю, было совершено нападение на хибару, на мое единственное достояние.

Чтобы защитить хибару от крыс, я заткнул все дыры соломой и паклей и каждое утро обследовал пол. Пол хибары — а это была хорошо утрамбованная земля — я собирался покрыть досками, что тоже принесло бы пользу зимой. Крестьянин из ближайшего села, по имени Екоц, давно обещал мне принести для этой цели хорошие сухие доски, я уже не раз представлял ему угощение за одни только посулы, он и не пропадал надолго, а появлялся каждые две недели, иногда ему приходилось отправлять кое-что поездом, но доски он все не приносил. Он приводил всякие отговорки, чаще всего повторял, что сам он слишком стар, чтобы тащить такую тяжесть, а сын его, который должен принести эти доски, именно сейчас занят в поле. Екоцу, по его словам, — и так оно, наверное, и было — уже далеко за семьдесят, но это был крупный, еще очень сильный человек. Временами его отговорки менялись, в другой раз он говорил, как трудно достать такие длинные доски, какие мне нужны. Я не настаивал, мне не так уж необходимы были доски, Екоц сам первый навел меня на мысль покрыть пол досками, может быть, такой настил вовсе и не нужен, — короче говоря, я спокойно выслушивал вранье старика. Мое постоянное приветствие было: "Доски, Екоц!" Он тут же начинал лопотать извинения, называя меня инспектором, капитаном или лишь телеграфистом, обещал не только принести на днях доски, но с помощью сына и нескольких соседей снести всю хибару и вместо нее построить крепкий дом. Я слушал, пока не уставал, потом выталкивал его за дверь. Но и стоя уже в дверях, он, выпрашивая прощение, поднимал свои якобы слабые руки, которыми на самом деле мог задушить взрослого человека. Я понимал, почему он не приносит доски, он думал, что поближе к зиме они мне станут более необходимы и я лучше заплачу за них, кроме того, пока доски не у меня, он сам представляет для меня большую ценность. Он, конечно, был неглуп и соображал, что я знаю, что у него на уме, но, поскольку я не использовал своего знания, он считал это своим преимуществом и дорожил им.

Однако все приготовления, которые я предпринимал, чтобы защитить хибару от зверей и обеспечить себя на зиму, пришлось прекратить, когда я — первая четверть года моего пребывания здесь близилась к концу — серьезно заболел. До сих пор меня в течение многих лет миновали всякие болезни, даже легкие недомогания, а тут я заболел. Началось с сильного кашля. Примерно в двух часах ходьбы от станции протекал небольшой ручей, из которого я обычно набирал бочку воды и привозил ее на тачке. Иногда я там и купался и в результате схватил кашель. Приступы кашля были такими сильными, что я весь скорчивался, думая, что не выдержу

кашля, если не скорчусь и не соберу таким образом все силы вместе. Мне казалось, железнодорожники придут в ужас от такого кашля, но он был им знаком, они называли его волчьим кашлем. И впрямь я начал различать в своем кашле вой. Я сидел на лавке перед хибарой и воем приветствовал поезд, воем же и провожал его. Ночами я стоял на коленях на топчане, вместо того чтобы лежать, и вдавливал лицо в овчины, чтобы по крайней мере не слышать воя. Я напряженно ждал, пока не лопнет какой-нибудь важный кровеносный сосуд и не наступит конец. Но ничего этого не случилось, а через несколько дней кашель даже прошел. Есть такой чай, которым его лечат, машинист обещал мне привезти этого чая, но сказал, что пить его нужно лишь на восьмой день после начала кашля, иначе он не поможет. На восьмой день он действительно привез его, и я вспоминаю, что, кроме железнодорожников, ко мне в хибару зашли и пассажиры, двое молодых крестьян: услышать первый приступ кашля после выпитого чая считается хорошей приметой. Я выпил, первый глоток выкашлял в лицо присутствующим, а потом действительно сразу же почувствовал облегчение — правда, в последние два дня кашель сам собой стал уже слабее. Но жар не проходил.

Этот жар очень изнурил меня, я совершенно ослабел, случалось, лоб внезапно покрывался потом, я начинал дрожать всем телом и должен был тут же, где бы ни находился, лечь и ждать, пока снова соберусь с силами. Я явственно ощущал, что мне становится не лучше, а хуже и что мне необходимо поехать в Кальду и побыть там несколько дней, пока не поправлюсь.

21 августа. Начал с такими надеждами и всеми тремя рассказами отброшен назад¹², сегодня сильнее всего. Наверное, будет правильно, если над рассказом из русской жизни я буду работать всегда только после "Процесса". С этой нелепой надеждой, опирающейся, очевидно, лишь на привычную фантазию, я снова принимаюсь за "Процесс". Совсем уж бесполезным это не было.

29 августа. Конец одной главы не удался, другую, уже начатую, главу я вряд ли смогу или, вернее, совершенно определенно не смогу так хорошо продолжать, а той ночью мне бы это наверняка удалось. Но и не в праве сам себя покинуть, я совершенно один.

30 августа. Холодно и пусто. Я слишком хорошо ощущаю границы своих способностей, которые, если я не поглощен полностью, безусловно узки. Я даже думаю, что и в состоянии поглощенности я тоже вовлечен в пределы лишь этих узких границ, но тогда я этого не чувствую из-за увлеченности. Тем не менее в этих границах есть место для жизни, и я буду пользоваться им до тех пор, пока самому не станет тошно.

1 сентября. В состоянии полнейшего бессилия еле написал две страницы. Я сегодня отступил далеко назад, хотя и хорошо спал. Но я знаю, что не должен поддаваться, если хочу, преодолев глубочайшие страдания, приносимые мне сочинительством, обрести большую свободу, которую может быть, ждет меня. Былое отупение, как я заметил, еще не совсем прошло, а холод сердца, вероятно, никогда и не пройдет. То обстоятельство, что меня не отпугивает никакое унижение, может так же означать безнадежность, как и вселять надежду.

13 сентября. Снова едва две страницы. Сперва я думал, грусть в связи с поражениями Австрии и страх перед будущим (страх, в основе своей кажущийся мне нелепым и вместе с тем гнусным) вообще помешают мне писать. Этого не произошло, меня лишь то и дело охватывает оцепенение, и его надо постоянно преодолевать. Для грусти у меня достаточно времени и помимо писания. Ход мыслей, связанных с войной, мучителен, они разрывают меня во все стороны и напоминают мои старые тревоги в связи с Ф. Я неспособен переносить тревоги и, вероятно, для того и создан, чтобы погибнуть от тревог. Когда я достаточно ослабею — а этого не придется долго ждать, — наверное, достаточно будет малейшей тревоги, чтобы выбить меня из колеи. Конечно, в предвидении этого я могу найти способ немного отсрочить несчастье. Правда, несмотря на то что я напряг все силы сравнительно мало ослабленного в то время организма, я плохо справился со своими тревогами в связи с Ф., но писание оказывало мне большую помощь лишь вначале, теперь же я не хочу больше лишаться этой помощи.

7 октября. Взял недельный отпуск, чтобы сдвинуть с места роман. До сегодняшнего дня — а сегодня ночь среды, в понедельник мой отпуск кончается — это не удалось. Я писал мало и дурно. Правда, я и на прошлой неделе уже был в состоянии упадка, но я не мог предвидеть, что станет настолько скверно. Дают ли эти три дня основание для вывода, что жить без канцелярии я недостоин?

1 ноября. Вчера после долгого перерыва хорошо продвинулся вперед, сегодня опять почти ничего не получается, две недели после моего отпуска почти полностью потеряны.

Сегодня довольно хорошее воскресенье. В Хотекском сквере читал сочинения Достоевского. Охрана в замке и у штаба корпуса. Фонтан в Тунском дворце. Большое чувство самоудовлетворения в течение всего дня. А теперь полнейшая несостоятельность в работе. Это даже не несостоятельность, я вижу свою задачу и путь к ее разрешению, я только должен пробиться через какие-то совсем слабые препятствия и не могу. Игра с мыслями о Ф.

3 ноября. После обеда письмо к Э., просмотрел рассказ Пика "Слепой гость" и записал поправки к нему, немного читал Стриндберга, потом не спал, в полдевятого был дома, в десять вернулся к себе, от страха перед головной болью, уже начавшейся, и еще потому, что и ночью я очень мало спал, ни над чем не работал, отчасти и потому, что боялся испортить написанный вчера сносный кусок. Начиная с августа это четвертый день, когда я совсем не писал. Виной тому письма, попробую не писать их вообще или же писать только совсем коротко. В каком смятении я сейчас и как бросает меня из стороны в сторону! Вчера вечером был сверхсчастлив после того, как прочитал несколько строк из Жамма¹³, до которого вообще-то мне нет дела, но его французский язык — речь шла о посещении друга-поэта — произвел на меня сильнейшее впечатление.

4 ноября. Вернулся П. Кричит, возбужден, неистовствует. Его рассказ о кроте, который рылся под ним в окопе, — он счел крота божественным знаком, повелевающим ему уйти с этого места. Едва он отошел, пуля попала в солдата, который пополз вслед за ним и находился в этот момент

как раз над кротом. Рассказывает о своем капитане. Видели, как его взяли в плен. Но на следующий день нашли в лесу голым, проткнутым штыками. По-видимому, у него были с собой деньги, его хотели обыскать и ограбить, но он — офицер ведь! — не позволил дотронуться до себя. От ярости и возбуждения П. почти заплакал, когда по пути с вокзала встретил своего шефа (которого он раньше безмерно и до смешного почитал), элегантно одетого, надушенного, с биноклем на шее, идущего в театр. Месяц спустя он сам туда отправился с билетом, подаренным ему шефом. Он пошел на комедию "Неверный Эккегарт". Спал однажды в замке князя Сапеги, однажды, находясь в резерве, спал перед самыми австрийскими батареями, которые вели огонь, однажды — в комнате у крестьян, где в каждой из двух кроватей, стоявших справа и слева у стен, спало по две женщины, за печкой — девушка, а на полу восемь солдат. Наказание для солдат: стоять привязанным к дереву, пока не посинеешь.

12 ноября. Родители, ожидающие от своих детей благодарности (есть даже такие, которые ее требуют), подобны ростовщикам: они охотно рискуют капиталом, лишь бы получить проценты.

25 ноября. Голое отчаяние, невозможно подняться, лишь насладиншись страданием, я могу успокоиться.

30 ноября. Не могу больше писать. Я у последней черты, перед которой мне, наверное, опять придется сидеть годами, чтобы затем, может быть, начать новую вещь, которая опять останется незаконченной. Эта участь преследует меня. Я опять холоден и бестолков, осталась лишь старческая любовь к совершеннейшему покою. И подобно какому-нибудь сорвавшемуся с привязи животному, я уже снова готов подставить шею и хочу попытаться заполучить на это время Ф. Я действительно попытаюсь это сделать, если мне не помешает отвлечение к самому себе.

2 декабря. После обеда у Верфеля с Максом и Пиком. Читал им "Исправительной колонии", не совсем недоволен, за исключением сверхъясных, неискоренимых ошибок. Верфель прочитал стихи и два акта из "Эсфирь, царицы Персии". Акты захватывающи. Но меня легко сбить с толку. Замечания и сравнения, которые сделал Макс, не очень довольный пьесой, мешают мне, и в памяти пьесы осталась далеко не такой цельной, какой воспринималась при слушании. [...]

Вывод из сегодняшнего дня, еще до Верфеля: во что бы то ни стало продолжать работу, грустно, что сегодня это невозможно, я устал и болит голова, она начала болеть еще с утра, в канцелярии. Во что бы то ни стало продолжать работу, несмотря на бессонницу и канцелярию.

5 декабря. Письмо от Э. о положении ее семьи. Мое отношение к семье лишь тогда приобретает для меня настоящий смысл, когда я воспринимаю себя как причину гибели семьи. Это единственное естественное объяснение, начисто отмечающее все то, что вызывает удивление. Это и единственная действительная связь, которая в данный момент существует между мною и семьей, ибо в остальном, что касается чувств, я полностью от нее отделен — впрочем, возможно, не более непреодолимо, чем от всего прочего мира. (Мое существование в этом отношении можно сравнить с бес-

полезной, покрытой снегом и инеем, криво и слабо всаженной в землю жердью, торчащей на глубоко вскопанном поле на краю большой равнины темной зимней ночью.) Только гибель производит впечатление. Я сделал несчастной Ф., ослабил сопротивляемость всех, кто сейчас так нуждается в ней, способствовал смерти ее отца, разделил Ф. и Э. и, наконец, навлек несчастье и на Э., несчастье, которое, по всей вероятности, будет еще возрастать. Я в него впряжен, мне предназначено усугубить его. Последнее письмо к ней, которое я вымучил из себя, она считает спокойным; оно "дышит покоем", как она выражается. При этом не исключено, что она выражается так из деликатности, желая пощадить меня, тревожась обо мне. Я ведь и так уже в целом достаточно наказан, само мое отношение к семье служит достаточным наказанием, и я перенес такие страдания, что никогда не оправлюсь от них (мой сон, моя память, мои мыслительные способности, моя выносливость в отношении малейших забот непоправимо ослаблены, — странным образом это примерно те же следствия, к которым приводит длительное тюремное заключение), но сейчас я мало страдаю из-за моих отношений с семьей, во всяком случае меньше, чем Ф. или Э. Правда, есть нечто мучительное в том, что я теперь должен совершить с Э. рождественское путешествие, в то время как Ф. остается, видимо, в Берлине.

8 декабря. Вчера впервые после долгого перерыва был безусловно способен хорошо работать. И тем не менее написал только первую страницу главы о матери¹⁴, потому что уже две ночи я почти совсем не спал, потому что с самого утра начинались головные боли и потому что я испытываю слишком большой страх перед завтрашним днем. Снова понял, что все написанное в отрывках и не за полночи (а то и за всю ночь) неполноценно и что условиями своей жизни я обречен на эту неполноценность.

13 декабря. Вместо того чтобы работать — я написал только одну страницу (толкование легенды¹⁵), — перечитывал готовые главы и нашел их отчасти удачными. Меня постоянно преследует мысль, что чувство удовлетворения и счастья, которое мне дает, например, легенда, должно быть оплачено, причем — чтобы никогда не знать передышки — оно должно быть оплачено тут же.

На днях был у Феликса. Возвращаясь домой, я сказал Максу, что, если только боли не будут слишком сильными, я на смертном одре буду чувствовать удовлетворение. Я забыл добавить, а потом уже намеренно не сказал, что лучшее из написанного мною исходит из этой готовности умереть удовлетворенным. Во всех сильных и убедительных местах речь всегда идет о том, что кто-то умирает, что ему это очень трудно, что в этом он видит несправедливость по отношению к себе или по меньшей мере жестокость, — читателя, во всяком случае, так мне кажется, это должно тронуть. Для меня же, думающего, что на смертном одре я смогу быть удовлетворенным, такого рода описания втайне являются игрой, я даже радуюсь возможности умереть в умирающем, расчетливо использую сосредоточенное на смерти внимание читателя, у меня гораздо более ясный разум, нежели у него, который, как я полагаю, будет жаловаться на смертном одре, и моя жалоба поэтому наиболее совершенна, она не обрывается внезапно, как настоящая жалоба, а кончается прекрасной и чистой нотой, подобно тому, как я всегда жаловался матери на страдания, которые

были далеко не такими сильными, какими они представляли в жалобе. Правда, перед матерью мне не требовалось столько искренности, сколько перед читателями.

14 декабря. Жалкая попытка ползти вперед — а ведь это, возможно, самое важное место в работе, где так необходима была бы одна хорошая ночь.

Поражения в Сербии, бестолковое командование.

19 декабря. Вчера почти бессознательно писал "Деревенского учителя"¹⁶, но боялся писать позже, чем до без четверти два, боязнь эта обоснованная, я почти не спал, забывался только три раза в недолгих снах и потом в канцелярии пребывал в соответствующем состоянии. Вчера отец упрекал меня в связи с фабрикой: "Ты меня в это втравил". Потом я пошел домой и спокойно писал три часа, в сознании того, что моя вина бесспорна, хотя и не столь велика, как ее изображает отец. Сегодня, в субботу, не вышел к ужину отчасти из страха перед отцом, отчасти ради того, чтобы полностью использовать для работы ночь, но написал только одну и то не очень хорошую страницу.

Начало всякой новеллы сперва кажется нелепым. Кажется невероятным, чтобы этот новый, еще не сложившийся, крайне чувствительный организм мог устоять в сложившейся организации мира, которая, как всякая сложившаяся организация, стремится к замкнутости. При этом забываешь, что новелла, если она имеет право на существование, уже несет в себе свою сложившуюся организацию, пусть еще и не совсем разившуюся; потому отчаяние, охватывающее тебя, когда принимаешься за новеллу, в этом смысле беспочвенно; с таким же основанием должны бы отчаиваться родители при виде грудного ребенка, ибо они ведь хотели про извести на свет не это жалкое и совершенно нелепое существо. Правда, никогда не знаешь, обоснованно или необоснованно отчаяние, которое испытываешь. Но известную поддержку эта мысль может оказать; отсутствие такого опыта уже причинило мне вред.

20 декабря. Замечание Макса о Достоевском, о том, что в его произведениях слишком много душевнобольных. Совершенно неправильно. Это не душевнобольные. Обозначение болезни есть не что иное, как средство характеристики, причем средство очень мягкое и очень действенное. Например, если постоянно и очень настойчиво твердить человеку, что он ограничен и туп, то, если только в нем есть зерно достоевщины, это подстрекнет его проявить все свои возможности. С этой точки зрения характеризующие его слова имеют примерно то же значение, что и бранные слова, которыми обмениваются друзья. Когда они говорят: "Ты дурак", то это не означает, что тот, кому это адресовано, действительно дурак и они унизили себя дружбой с ним; чаще всего — если это не просто шулка, но даже и в таком случае — это заключает в себе бесконечное перенесение разных смыслов. Так, например, отец братьев Карамазовых отнюдь не дурак — он очень умный, почти равный по уму Ивану, но злой человек, и, во всяком случае, он умнее, к примеру, своего не разоблачаемого рискащиком двоюродного брата или племянника, помещика, который считает себя настолько выше его.

23 декабря. Прочитал несколько страниц из "Лондонских туманов"¹⁷ Герцена. Не понимал даже, о чем речь, и тем не менее предо мной полностью возник образ человека — решительного, истязающего самого себя, овладевающего собой и снова падающего духом.

26 декабря. В Куттенберге у Макса и его жены. Как я рассчитывал на эти четыре свободных дня, сколько часов думал, как их правильно употребить, и все же теперь, кажется, просчитался. Сегодня вечером почти не писал и, наверное, уже не в состоянии продолжать "Сельского учителя", над которым работаю целую неделю и которого за три свободные ночи я наверняка закончил бы набело и без явных погрешностей; теперь же, несмотря на то что он едва начат, в нем уже допущено два непоправимых промаха, и вообще он хилый. Отныне — новый распорядок дня! Еще лучше использовать время! Жалуюсь я здесь, чтобы в этом найти спасение? Эта тетрадь не даст мне его, оно придет, когда я буду в постели, оно уложит меня на спину, и я буду лежать красивый, легкий и голубовато-белый, другого спасения не будет.

31 декабря. С августа работал, в общем — немало и неплохо, но и в первом, и во втором отношении не в полную силу своих возможностей, как следовало бы, особенно если учесть, что по всем признакам (бессонница, головная боль, сердечная слабость) возможности мои скоро иссякнут. Работал над незаконченными вещами: "Процесс", "Воспоминания о железной дороге на Кальду", "Сельский учитель", "Младший прокурор" — и над началами более мелких рассказов. Готовы лишь "В исправительной колонии" и глава из романа "Пропавший без вести", оба — за время двухнедельного отпуска. Не знаю, зачем я составляю этот список, — это совсем не в моем характере!

1915

4 января. Большое желание начать новый рассказ, не поддаваться. Все бесполезно. Если я не могу гнать рассказы сквозь ночи, они удирают и пропадают, — это происходит сейчас с "Младшим прокурором". А завтра я иду на фабрику, после того как призвали П., я, наверное, должен буду ходить туда ежедневно во второй половине дня. Это положит конец всему. Мысли о фабрике — это мой бесконечный Судный День.

6 января. "Сельского учителя" и "Младшего прокурора" пока отложил. Но я почти не в силах продолжать и "Процесс". Мысли о девушке из Лемберга¹. Надежда на какое-то счастье, подобная надеждам на вечную жизнь. С известного расстояния они кажутся обоснованными, а приблизиться не решаешься.

17 января. "Черные знамена" Стриндберга. О влиянии издалека: ты, конечно, чувствовал, что другие не одобряли твоего поведения, но они не высказывали вслух своего неодобрения. Тебе доставляло спокойное удовлетворение одиночество, но ты не отдавал себе отчета — почему; кто-то вдалеке хорошо подумал о тебе, хорошо говорил о тебе.

18 января. До половины восьмого с равной бесполезностью работал на фабрике, читал, диктовал, слушал, писал. Равно бессмысленное чувство удовлетворения после этого. Головная боль, плохо спал. Не способен к более или менее продолжительной сосредоточенной работе. К тому же слишком мало был на свежем воздухе. Несмотря на это, начал новый рассказ, старые боюсь испортить. И вот они предо мною, четыре или пять рассказов, встали на дыбы, как лошади перед директором цирка Шуманом в начале представления.

19 января. Пока я вынужден ходить на фабрику, я не смогу ничего написать. Я думаю, неспособность работать, которую я сейчас ощущаю, того же рода, какую я чувствовал во время службы в "Дженерали"². Непосредственная близость жизни, поглощенной добыванием заработка — хотя внутренне я, насколько возможно, безучастен, — застилает мне кругозор, словно я нахожусь в овраге, к тому же с опущенной головой. Например, сегодня в газете опубликовано высказывание компетентных шведских кругов о том, что, несмотря на угрозы Тройственного соглашения, нейтралитет непременно должен быть сохранен. В заключение сказано: "Члены Тройственного соглашения обломают себе в Стокгольме зубы". Сегодня я воспринимаю это почти совсем так, как сказано. Три дня назад я бы всем существом своим чувствовал, что говорит какой-то стокгольмский призрак, что "угрозы Тройственного соглашения", "нейтралитет", "компетентные шведские круги" — все это не что иное, как сработанные по определенной схеме воздушные сооружения, которыми можно любоваться мысленно, но никогда нельзя ощупать руками.

Я договорился с двумя друзьями о загородной прогулке в воскресенье, но совершенно неожиданно проспал время встречи. Мои друзья, знавшие мою всегдашнюю пунктуальность, очень удивились, подошли к дому, где я жил, немного постояли около него, затем поднялись по лестнице и постучали в дверь. Я очень испугался, вскочил с постели и, ни на что не обращая внимания, постарался как можно скорее собраться. Когда я затем, полностью одетый как полагается, вышел из дверей, мои друзья с явным испугом отпрянули от меня. "Что у тебя на затылке?" — воскликнули они. Еще только проснувшись, я почувствовал, что мне что-то мешает отклонять голову назад, и теперь попытался рукой нащупать помеху. В ту минуту, когда я ухватился за рукоятку меча позади моей головы, друзья, уже пришедшие немного в себя, закричали: "Осторожнее, не поранься!" Друзья приблизились ко мне, осмотрели меня, повели в комнату и перед зеркалом шкафа раздели до пояса. В мою спину был воткнут по самую рукоятку большой старый рыцарский меч с крестообразным эфесом, но воткнут так, что клинок прошел невероятно точно между кожей и плотью, ничего не повредив. Не было раны и на шее, на месте удара мечом; друзья уверяли, что оставленная клинком щелка совершенно не кровоточила и была сухой. Да и теперь, когда друзья, побравшись на кресло, медленно, миллиметр за миллиметром, стали вытаскивать меч, кровь не выступила, а дыра на шее закрылась до едва заметной щелки. "Вот тебе твой меч", — со смехом сказали друзья и протянули мне его. Я взвесил его в руках, это было дорогое оружие, оно вполне могло принадлежать крестоносцам. Кто потерпит, чтобы в его снах шатались старые рыцари, безответственно размахивали своими мечами, пытались их в невинных спящих и лишь потому не наносили тяжелых ран, что

их оружие вначале, наверное, соскальзывает с живого тела, и потому, что верные друзья стоят за дверью и стучат, готовые прийти на помощь.

20 января. Конец писанию. Когда я снова примусь за него? В каком плохом состоянии я встречу с Ф.! С отказом от писания сразу же пришла неповоротливость мыслей, неспособность подготовиться к встрече, в то время как на прошлой неделе я с трудом мог отделаться от важных мыслей в связи с ней. Хорошо бы извлечь из этого единственно возможную выгоду — сносный сон.

"Черные знамена". Как плохо я читаю. И как зло и болезненно я наблюдаю за собой. Проникнуть в мир я, видимо, не могу, но могу спокойно лежать, воспринимать, воспринятое растворять в себе и затем спокойно показываться на людях.

24 января. С Ф. в Боденбахе. Мне кажется, невозможно, чтобы мы когда-нибудь соединились, но я не отваживаюсь сказать об этом ни ей, ни — в решающий момент — себе. И я снова обнадежил ее, безрассудно — ведь с каждым днем я старею и косею. Когда я пытаюсь понять, как она страдает, оставаясь в то же время спокойной и веселой, ко мне возвращаются старые головные боли. Мы не должны снова мучить себя длинными письмами, пусть эта встреча останется случайным эпизодом. Или, может быть, я верю, что смогу здесь стать свободным, жить литературным трудом, поехать за границу или еще куда-нибудь и там тайно жить вместе с Ф.? Мы ведь нашли друг друга ни в чем не изменившимися. Каждый молча признался себе, что другой непоколебим и безжалостен. Я не отступаю от своих намерений вести фантастическую, полностью обусловленную моей работой жизнь, она же, глухая ко всем немим просьбам, хочет обыденности, уютной квартиры, интереса к фабрике, обильной еды, сна с одиннадцати часов вечера, натопленной комнаты, она подводит мои часы, вот уже четверть года уходящие вперед на полтора часа, чтобы они показывали время с точностью до одной минуты. И она права, и всегда будет права, она права, делая мне замечание, когда я говорю кельнеру: "Принесите газету, пока она не зачитана до дыр", и я не могу ничего изменить, когда она говорит об "отпечатке своеобразия" (это можно произнести только скрипучим голосом) в будущей обстановке квартиры. Моих двух старших сестер она считает "плоскими", о младшей она не спрашивает, к моей работе почти не проявляет интереса и явно не разбирается в ней. Это — одна сторона.

Я бессилен и опустошен, как всегда, и, собственно говоря, должен бы размышлять только о том, почему у кого-то все же возникает хоть малейшее желание дотронуться до меня мизинцем. Одного за другим, подряд, я обдал холодом трех совсем разных людей...

Ф. сказала: "Как мы благоразумны". Я промолчал, словно не слышал этого восклицания. Два часа мы были одни в комнате. Меня окружали лишь скука и безнадежность. Не было еще ни одной минуты, когда нам было бы хорошо, когда я мог бы свободно дышать. С Ф. я, кроме как в письмах, никогда не ощущал сладости отношений с любимой женщиной, как то было в Цукмантеле и Риве, — только безграничное восхищение, покорность, сострадание, отчаяние и презрение к самому себе. Я пытался читать ей вслух, фразы бестолково топтались на месте, никакого контакта со слушательницей — лежала с закрытыми глазами на диване и мол-

ча слушала. Равнодушная просьба дать рукопись с собой и разрешить переписать ее. Рассказ о привратнике вызвал несколько большее внимание, были высказаны верные наблюдения. Мне лишь при этом чтении раскрылся смысл рассказа, она также верно поняла его, но затем, правда, мы вломились в него с грубыми замечаниями, начало которым положил я.

Причина испытываемых мною при разговоре с людьми трудностей — трудностей, совершенно неведомых другим, — заключается в том, что мое мышление, вернее, содержимое моего сознания очень туманно, сам я, пока дело касается лишь меня, безмятежно и иной раз даже самодовольно успокаиваюсь на этом, но ведь человеческая беседа требует остроты, поддержки и продолжительной связности — то есть того, чего нет во мне. Никто не захочет витать со мною в туманных облаках, а даже если кто-нибудь и захочет, то я не смогу прогнать туман из своей головы — между двумя людьми он растет и превратится в ничто. Ф. сделала большой крюк, чтобы попасть в Боденбах, ей стоило усилий получить паспорт, она должна была после беспокойной ночи терпеть меня, еще и выслушивать чтение вслух, — и все бессмысленно. Воспринимает ли она это с таким же страданием, как я? Наверняка нет, даже если и предположить одинаковую чувствительность: ведь у нее нет чувства вины.

Мое определение было правильным и признано правильным: каждый любит другого таким, каков тот есть. Но с таким, каков тот есть, он не сможет, думает он, жить.

Эта группа: д-р В.³ пытается убедить меня, что Ф. заслуживает ненависти, Ф. пытается убедить меня, что В. заслуживает ненависти. Я верю обоим и люблю обоих или стремлюсь их любить.

29 января. Снова пытался писать, почти безрезультатно. В последние два дня рано ложился спать, в 10 часов, чего уже с давних пор не бывало. Чувство свободы в течение дня, полуудовлетворенность, большая пригодность в конторе, возможность разговаривать с людьми. Теперь — сильные боли в коленных суставах.

7 февраля. Полнейший застой. Бесконечные мучения.

При известной степени самопознания и при других благоприятствующих наблюдению за собой условиях неизбежно будешь время от времени казаться себе отвратительным. Любой критерий хорошего — сколь различны бы ни были мнения на сей счет — будет представляться слишком высоким. Придется признаться себе, что ты являешься не чем иным, как крысиной норой жалких задних мыслей. Даже малейший поступок будет зависать от этих жалких мыслей. Эти задние мысли будут такими грязными, что, анализируя свое поведение, не захочешь даже продумать их, а ограничишься взглядом на расстоянии. Эти задние мысли будут обусловливаться не каким-то, скажем, корыстолюбием, — корыстолюбие по сравнению с ними покажется идеалом добра и красоты. Грязь, которую обнаружишь, будет существовать во имя самой себя, ты познаешь, что явился на этот свет насквозь пропитанный ею, из-за нее же, неузнанный или слишком хорошо распознанный, отойдешь в мир иной. Эта грязь будет самым глубинным слоем, которого только можно достичь, но этот самый глубинный слой будет состоять не из лавы, а из грязи. Она будет началом и концом, и даже сомнения, которые породит самоанализ, очень скоро станут столь же явными и самодовольными, как свинья, валяющаяся в навозной жижи.

9 февраля. Вчера и сегодня немного писал. Рассказ о собаке.

Теперь прочитал начало. Оно безобразно и вызывает головную боль. Несмотря на всю правдивость, оно зло, педантично, механически написано — еле дышащая на отмени рыба. Я слишком преждевременно пишу своего "Буvara и Пекюше"⁴. Если оба элемента — наиболее отчетливо они выражены в "Кочегаре" и "В исправительной колонии" — не сольются, я погиб. Но сможет ли это слияние осуществиться?

Наконец снял комнату. В том же доме на Билекгассе.

10 февраля. Первый вечер. Сосед часами разговаривает с хозяйкой. Оба говорят тихо, хозяйка — почти неслышно, тем ужаснее. Наладившаяся два дня назад работа прервана. Кто знает, на какой срок. Полнейшее отчаяние. Неужели так в каждой квартире? Неужели у каждой хозяйки, в каждом городе меня ожидает такая нелепая и непременно смертельная беда? Две комнаты моего классного наставника в монастыре. Но сразу же отчаиваться бессмысленно, лучше искать выход, как бы ни... нет, это не противоречит моему характеру, во мне еще есть нечто от иудейского упротства, но оно чаще всего дает обратный результат.

14 февраля. Безграничная притягательная сила России. Лучше, чем тройка Гоголя, ее выражает картина великой необозримой реки с желтоватой водой, повсюду стремящей свои волны, волны не очень высокие. Пустынная растрепанная степь вдоль берегов, поникшая трава.

Нет, ничего эта картина не выражает, скорее — все гасит.

Сенсимонизм.

15 февраля. Все застопорилось. Плохое, бестолковое распределение времени. Квартира мне все портит. Сегодня снова прислушивался к уроку французского языка у дочери хозяйки.

16 февраля. Не нахожу себе места. Словно все, чем я владел, покинуло меня, а вернись оно — я едва ли был бы рад.

22 февраля. Неспособность — полная и во всех смыслах.

25 февраля. После непрерывных, длившихся днями напролет головных болей наконец почувствовал себя свободнее и увереннее. Будь я посторонним человеком, наблюдающим за мной и за течением моей жизни, я должен был бы сказать, что все должно окончиться безрезультатно, растратиться в беспрестанных сомнениях, изобретательных лишь в самоистязании. Но, как лицо заинтересованное, я — живу надеждой.

1 марта. После многонедельных приготовлений и страхов с большим трудом отказался от квартиры, отказался без особых оснований — ведь здесь довольно спокойно, — я просто по-настоящему не работал и потому не испытал ни покоя, ни беспокойства. Я хочу терзаться, хочу постоянных перемен, мне кажется, в перемене мое спасение, и еще мне кажется, что такие небольшие перемены, которые другие совершают как бы в полусне, я же — с напряжением всех сил разума, смогу подготовить меня к пе-

ремене большой, в которой я, по-видимому, нуждаюсь. Конечно, я переселяюсь в квартиру, во многих отношениях худшую. И тем не менее сегодня первый день (или второй), когда я, не будь у меня такой сильной головной боли, мог бы вполне хорошо работать. Быстро написал страницу.

11 марта. Как уходит время, опять прошло десять дней, и я ничего не достиг. Я не могу пробыться. Одна страница мне иной раз удается, но я не могу держаться, на следующий день я бессилён.

13 марта. Вечер: в шесть часов лег на диван. Часов до восьми спал. Не было сил встать, ждал, когда пробьют часы, но в дремоте не слышал боя. В девять встал. Домой к ужину уже не пошел, не пошел и к Макс, где сегодня собирались друзья. Причины: отсутствие аппетита, страх перед поздним возвращением, но главным образом — мысль о том, что вчера я ничего не написал, что я все больше отдаляюсь от работы и мне грозит опасность потерять все, чего я с таким трудом добился за последние полгода. Явил доказательства этого, написав жалких полторы страницы нового и уже окончательно заброшенного рассказа, затем в отчаянии, усугубленном безрадостным состоянием желудка, занялся чтением Герцена, чтобы он каким-то образом повел меня за собой. Счастье первого года его женитьбы, ужас, охвативший меня, когда я представил такое счастье для себя, высокая жизнь в его кругу, Белинский, Бакунин, целыми днями лежащий в шубе на кровати.

Порой я ощущаю почти разрывающее душу отчаяние и одновременно уверенность, что оно необходимо, что всякое надвигающееся несчастье помогает выработать цель (сейчас это происходит под влиянием мыслей о Герцене, но бывает и в другое время).

14 марта. Утро: до половины двенадцатого в постели. Медленно образующаяся и невероятно стойко сохраняющаяся путаница в мыслях. После обеда читал (Гоголя, статью о лирике), вечером прогулка, частично во власти упорных, но сомнительных утренних мыслей. Сидел в Хотекском сквере. Самое красивое место в Праге. Пение птиц, замок с галереей, деревья в прошлогодней листве, полумрак. Потом пришла Отта с Д.

23 марта. Неспособен написать ни строчки. Хорошее настроение, которое было у меня в Хотекском сквере и сегодня на Карлсплац, когда я сидел с книгой Стриндберга "На шхерах". Хорошее настроение сегодня в комнате. Пуст, как ракушка на берегу, которую может раздавить нога любого прохожего.

27 апреля. В Надь-Михай со своей сестрой. Неспособен жить с людьми, разговаривать с ними. Полностью погружен в самого себя, в мысли о себе. Апатичен, бездумен, боязлив. Мне нечего рассказывать, никогда, ни кому [...].

3 мая. Полнейшее равнодушие и отупение. Высохший колодец, вода лишь на недостижимой глубине, да и то неизвестно, есть ли она там. Пустота, пустота. Не понимаю жизни в "Разрыве" Стриндберга; то, что он называет прекрасным, вызывает у меня отвращение, имей оно отношение к

мне. Письмо к Ф., фальшивое, отправлять его невозможно. Каким прошлым или каким будущим живу я? Настоящее призрачно, я не сижу за столом, а кружу вокруг него. Пустота, пустота. Тоска, скука, нет, не скука, только пустота, бессмысленность, слабость. Вчера в Добжиховице.

4 мая. Состояние улучшилось, потому что читал Стриндберга ("Разрыв"). Я читаю его не ради того, чтобы читать, а ради того, чтобы полегчать у него на груди. Он держит меня, как ребенка, на левой руке. Я сижу там, как человек на статуе. Десять раз мне грозит опасность соскользнуть, но в одиннадцатый раз я усаживаюсь прочно, обретаю уверенность и мне становится видно далеко вокруг.

Раздумываю над отношением людей ко мне. Как бы мал я ни был, нет никого, кто понимал бы меня полностью. Иметь человека, который понимал бы, жену например, — это значило бы иметь опору во всем, иметь бога. Оттла понимает кое-что, даже многое, Макс, Феликс — кое-что, иные, как Э., понимают лишь частности, но зато уж с отвратительной дотошностью, Ф., возможно, совсем ничего не понимает, правда, при бесспорно существующей между нами внутренней связи это создает особое положение. Порой мне казалось, что она понимает меня, сама о том не ведая, — например, когда она ожидала меня, невыносимо тосковавшего по ней, на станции подземки; стремясь как можно скорее увидеть ее и думая, что она ждет меня наверху, я чуть не пробежал мимо нее, но она молча схватила меня за руку.

5 мая. Пустота, тупая, слабая головная боль. После обеда в Хотекском сквере читал Стриндберга, который питает меня.

14 мая. [...] Сегодня читал старые главы "Кочегара" — написано с силой, ныне мне, по-видимому, недоступной (уже недоступной). Боюсь выйти из строя из-за порока сердца.

27 мая. Очень несчастен в связи с предыдущей записью. Погибаю. Так бессмысленно и бесполезно погибнуть.

13 сентября. Канун дня рождения отца, новый дневник. Он не столь необходим, как прежде, мне не нужно вызывать в себе беспокойство, беспокоен я достаточно, но ради какой цели, когда будет она достигнута, как может сердце, не совсем здоровое сердце выносить столько недовольства и столько непрерывно гложущих его желаний.

Эта рассеянность, эта забывчивость, эта глупость!

16 сентября. Раскрыл Библию. О неправедных суждях. Нашел, таким образом, свое собственное мнение или по крайней мере мнение, которого я до сих пор придерживался. Впрочем, это не имеет значения, в таких вещах я никогда не поддавался заметному внушению, страницы Библии не реяли перед моими глазами.

Кажется, самое подходящее место, для того чтобы вонзить нож, — между шеей и подбородком. Поднимаешь подбородок и вонзаешь нож в напряженные мышцы. Но это только кажется, будто оно самое подходя-

щее. Надеешься увидеть, как великолепно хлынет кровь и порвется сплетение сухожилий и сочленений, как в ножке жареной индейки.

Читал "Лесничий Флек в России". Возвращение Наполеона на Бородинское поле боя. Тамошний монастырь. Его взорвали.

28 сентября. Бессмысленность жалоб. Как ответ на них — колющая боль в голове.

Почему бессмысленны вопросы? Жаловаться — значит задавать вопросы и ждать ответа. Но на вопросы, которые не отвечают сами себе при возникновении, никогда не получить ответа. Между вопрошающим и отвечающим нет расстояний. Никаких расстояний преодолевать не надо. Потому вопросы и ожидание бессмысленны.

29 сентября. Различные туманные решения. Именно такие мне и удаются. Случайно увидел имеющую к этому некоторое отношение картину на Фердинандштрассе. Плохой эскиз фрески. Под ним чешское изречение, смысл примерно такой: "Ослепленный, ты оставляешь кубок ради девушки, но скоро ты, вразумленный, вернешься обратно".

Раньше я думал: ничто не погубит тебя, эту твердую, ясную, отменно пустую голову, никогда не зажмуришь ты невольно или от боли глаза, не наморщишь лоб, не всплеснешь руками, — всегда сможешь лишь описывать это.

Как мог Фортинбрас сказать, что Гамлет держался как истинный король!

30 сентября. Россман и К.5, невинный и виновный, в конечном счете оба равно наказаны смертью, невинный — более легкой рукой, он скорее устранен, нежели убит.

1 октября. Третий том воспоминаний генерала Марселлина де Мирбоб. Полоцк — Березина — Лейпциг — Ватерлоо.

6 октября. Различные формы нервозности. Мне кажется, шум уже не будет мешать мне. Правда, я сейчас не работаю. Правда, чем глубже копнешь себе яму, тем тише становится, чем менее пугливым становишься, тем тише становится.

7 октября. Неразрешимый вопрос, сломлен ли я? Гибну ли я? Все признаки говорят за это (холод, оцепенение, состояние нервов, рассеянность, неспособность к работе, головные боли, бессонница); почти единственный, что говорит против этого, — надежда.

5 ноября. Возбужденное состояние после обеда. Начал с размышлений, покупать ли мне — и если покупать, то на какую сумму, — облигации военного займа. Дважды направлялся в лавку, чтобы сделать нужное распоряжение, и оба раза возвращался, не заходя туда. Лихорадочно высчитывал проценты. Потом попросил мать купить облигаций на тысячу крон, но увеличил сумму до двух тысяч. При этом выяснилось, что и

совсем не знал о принадлежащем мне вкладе размером около трех тысяч крон и что я остался почти совсем равнодушным, узнав про него. Голова моя занята была только сомнениями по поводу военного займа, и они не оставляли меня даже во время получасовой прогулки по оживленным улицам. Я чувствовал себя непосредственным участником войны, взвешивал, конечно в соответствии со своими познаниями, финансовые перспективы в целом, увеличивал и уменьшал проценты, которые когда-нибудь будут в моем распоряжении, и т.д. Но постепенно возбуждение улеглось, мысли обратились к писанию, я почувствовал себя способным к нему, ничто другое, кроме возможности писать, мне уже не нужно было, прикидывал, какие ночи я смогу в ближайшее время посвятить этому, перебежал, чувствуя боль в сердце, через каменный мост, ощутил столь часто испытанную мною беду — пожирающий огонь, которому нельзя дать вспыхнуть, придумал, чтобы выразить и успокоить себя, изречение "Дружок, излейся", стал беспрерывно напевать его на особый мотив, сопровождая пение тем, что сжимал и разжимал, как волынку, носовой платок в кармане.

21 ноября. Совершеннейшая бесполезность. Воскресенье. Ночью полная бессонница. До четверти двенадцатого в постели, при свете солнца. Прогулка. Обед. Читал газету, перелистывал старые каталоги. Прогулка — Гибнергерассе, городской парк, Венцельсплац, Фердинандштрассе, затем к Подолу. С трудом растянул ее на два часа. Время от времени чувствовал сильные, однажды прямо-таки жгучие головные боли. Ужинал. Теперь я дома. Кто может открытыми глазами взирать на это сверху — от начала до конца?

25 декабря. Раскрыл дневник с целью вызвать сон. Но случайно наткнулся на последнюю запись, — я мог бы представить себе тысячу записей подобного содержания за последние три-четыре года. Я бессмысленно истощаю свои силы, был бы счастлив, если бы мог писать, но не пишу. Головные боли уже не отпускают меня. Я в самом деле измотал себя.

Вчера откровенно поговорил с шефом, — решив поговорить, дав обет не отступать, я в прошлую ночь добился двухчасового, правда беспокойного, сна. Предложил своему шефу четыре варианта: 1. Все оставить так, как было в последнюю — ужаснейшую, мучительнейшую — неделю, и кончить нервной горячкой, безумием или еще чем-нибудь подобным; 2. Взять отпуск не хочу — из какого-то чувства долга, да и не помогло бы это; 3. Уволиться не могу сейчас — из-за родителей и фабрики; 4. Остается только военная служба. Ответ: неделя отпуска и курс лечения гематогеном, который шеф хочет пройти вместе со мной. Он сам, по-видимому, очень болен. Если я тоже уйду, отдел осиротеет.

Облегчение оттого, что поговорил откровенно. Впервые словом "увольнение" прямо-таки потряс воздух учреждения.

Тем не менее сегодня почти не спал.

Постоянно эта не дающая мне покоя мысль: если бы я в 1912 году уехал в расцвете сил, с ясной головой, не истощенный стараниями подавить живые силы!

Разговор с Лангером⁷. Книгу Макса он сможет прочитать лишь через двенадцать дней. Он мог бы читать в рождество, потому что по старому

обычая в рождество нельзя читать тору, но на сей раз рождество пало на субботу. Через тринадцать же дней русское рождество, и тогда он сможет читать. По средневековой традиции художественной литературой и светскими науками можно заниматься только после семидесяти лет, согласно более терпимому взгляду — после сорока. Медицина — единственная наука, которой можно было заниматься. В настоящее же время нельзя заниматься и ею, ибо она теперь слишком сильно переплетается с другими науками. В клозете нельзя думать о торе, поэтому там можно читать светские книги. Весьма набожный пражанин, некий К., обладал широкими светскими познаниями — все это он изучил в клозете.

1916

19 апреля. Он хотел открыть дверь, чтобы выйти, но она не поддавалась. Он посмотрел вверх, вниз — помехи не было видно. Однако дверь не была заперта, ключ торчал изнутри, если бы пытались запереть ее снаружи, ключ вытолкнули бы. Да и кому нужно было запирасть? Он толкнул дверь коленом, матовое стекло зазеленело, но дверь не открылась. Смотри-ка.

Он вернулся в комнату, подошел к балкону и посмотрел вниз на улицу. Не успев хоть единой мыслью охватить обычную послеобеденную жизнь внизу, он снова вернулся к двери и попытался открыть ее. Но теперь это была уже не попытка, дверь тут же открылась, не потребовалось и толчка, она прямо-таки распахнулась от дуновения воздуха с балкона; без всякого труда, словно ребенок, кому шутки ради дают дотронуться до ручки, на которую в действительности нажимает взрослый, он смог выйти.

Недавнее сновидение: мы живем на улице Грабен вблизи кафе "Континенталь". Из Герренгассе выступает полк, направляющийся к городскому вокзалу. Мой отец говорит: "На это надо глядеть, покада можешь", и вскакивает (в коричневом домашнем халате Феликса, весь облик — смешение обоих) на окно, распластывается с широко раскинутыми руками на очень широком, с сильным наклоном наружу оконном парпете. Я хватаю его и держу за петли, в которые вдеается шнур халата. Мне назло он еще больше высовывается наружу, я напрягаю все силы, чтобы удержать его. Я думаю о том, как хорошо было бы, если б я мог привязать свои ноги веревками к чему-нибудь устойчивому, чтобы отец не увлек меня за собой. Правда, чтобы сделать это, я должен хоть на минуту отпустить отца, а это невозможно. Сон — тем более мой сон — не выдерживает такого напряжения, и я просыпаюсь.

20 апреля. Сон: две группы мужчин сражаются друг с другом. Группа, к которой принадлежу я, поймала одного из противников, огромного обнаженного мужчину. Пятеро из нас держат его, один — за голову, ш двое — за руки и за ноги. К сожалению, у нас нет ножа, чтобы заколоть его, быстро спрашиваем всех по кругу, нет ли ножа, — ни у кого нет. Но так как почем-то нельзя терять времени, а поблизости стоит печь, мы обычно бьющая чугунная дверца которой раскалилена докрасна, мы толкаем к ней пленника, приближаем вплотную к дверце его ногу, и она не начинает дымиться, затем отводим ее в сторону и даем остыть, что

бы потом снова приблизить к дверце. Так мы все время проделываем это, пока я не просыпаюсь не только в холодном поту, но и с лязгающими от страха зубами.

11 мая. Итак, вручил письмо директору. Позавчера. Прошу, если война окончится осенью, предоставить мне потом длительный отпуск без сохранения жалования или же, если война не окончится, отменить освобождение от воинской повинности. Все это сплошная ложь. Ложью наполовину было бы, если б я просил о немедленном длительном отпуске, а в случае отказа — об увольнении. Правдой было бы, если б я заявил об уходе со службы. Ни на то, ни на другое я не отважился, отсюда — полная ложь.

Сегодня бесполезный разговор. Директор думает, я добиваюсь трехнедельного обычного отпуска, который мне как освобожденному от воинской повинности не положен, и потому сразу же предлагает мне его, говоря, что еще до письма решил это сделать. О военной службе он вообще не говорит, словно в письме об этом нет и речи. Когда я заговариваю о ней, он пропускает это мимо ушей. Длительный отпуск без сохранения жалования он явно считает причудой, осторожно давая понять это. Настаивает, чтобы я немедленно взял трехнедельный отпуск. Делает попутные замечания, как дилетант-невропатолог, каковыми все себя считают. Мне ведь не приходится нести такую ответственность, как ему на его должности, — она, конечно, может довести до болезни. А как много он работал раньше, когда готовился к экзаменам на адвоката и одновременно служил в канцелярии. В течение девяти месяцев работал по одиннадцать часов в день. И затем — главное отличие. Разве мне когда-либо и почему-либо приходилось тревожиться за свою должность? А ему приходилось. У него были в канцелярии враги, готовые сделать все возможное, чтобы обрубить сук, на котором он сидел, выбросить его на свалку.

Как ни странно, о моем сочинительстве он не говорит.

Я слабоволен, хотя понимаю, что речь идет чуть ли не о моей жизни. Но все же твержу, что хочу на военную службу и что трех недель отпуска мне мало. В ответ он откладывает продолжение разговора. Если б он был не так дружелюбен и участлив!

Буду настаивать на следующем: я хочу на военную службу, хочу уступить этому подавляемому в течение двух лет желанию; по различным причинам, касающимся не меня, я бы предпочел, получая я его, длительный отпуск. Но это, видимо, невозможно как по служебным, так и по военным соображениям. Под длительным отпуском я подразумеваю — чиновнику стыдно сказать об этом, больному не стыдно — полгода или даже целый год. Я не хочу жалования, потому что дело идет не о телесном недуге, который можно точно установить.

Все это — продолжение лжи, но, если я буду последователен, это по своему воздействию близко к правде

2 июня. Что за наваждение с девушками — несмотря на головные боли, бессонницу, седину, отчаяние. Я подсчитал: с прошлого лета их было не меньше шести. Я не могу устоять, не могу удержаться, чтобы не восхищаться достойной восхищения, и не любить, пока восхищение не будет исчерпано. Я виноват перед всеми шестью почти только внутренне, но одна из них передавала мне через кого-то упреки.

19 июня. Все забыть. Открыть окна. Вынести все из комнаты. Ветер продует ее. Будешь видеть лишь пустоту, искать по всем углам и не найдешь себя.

4 июля. Какой я? Жалкий я. Две дощечки привинчены к моим вискам.

5 июля. Тяготы совместной жизни. Она держится отчужденностью, страданием, похотью, трусостью, тщеславием, и только на самом дне, может, есть узенький ручеек, который заслуживает названия любви, но который бесполезно искать, — он лишь кратко сверкнул, сверкнул на мгновенье.

6 июля. Прими меня в свои объятия, в них — глубина, прими меня в глубину, не хочешь сейчас — пусть позже.

Возьми меня, возьми меня — сплетение глупости и боли.

20 июля. Сжался надо мной, я грешен до самой глубины своего существа. Но у меня были задатки не совсем ничтожные, небольшие способности, — неразумное существо, я расточил их втуне, и теперь, когда, казалось бы, все могло бы обернуться мне во благо, теперь я близок к гибели. Не толкай меня к потерянному. Я знаю, это говорит смешное себялюбие, смешное и со стороны, и даже вблизи, но раз уж я живу, то я имею право и на себялюбие живого, и, если живое не смешно, тогда не смешны и его обычные проявления. Жалкая диалектика!

Если я обречен, то обречен не только на смерть, но обречен и на сопротивление до самой смерти.

В воскресенье утром, незадолго до моего отъезда, мне показалось, что ты хочешь помочь мне. Я надеялся. Поныне — пустая надежда.

Но на что бы я ни сетовал, в сетованиях моих нет убежденности, и них нет даже истинного страдания, они раскачиваются, как якорь брошенного судна, далеко не достигая той глубины, где можно бы обрести опору.

Дай покой моим ночам — детская жалоба.

22 июля. Станный судебный обычай. Палач закалывает приговоренного в его камере, причем никто не имеет права присутствовать при этом. Приговоренный сидит за столом и заканчивает письмо или последнюю трипезу. Стук в дверь, входит палач. "Ты готов?" — спрашивает он. Вопросы и распоряжения ему строго предписаны, он не имеет права отступать от них. Приговоренный, вначале вскочивший со своего места, снова садится и сидит, уставившись перед собой или уткнувшись лицом в руки. Так как палач не получает ответа, он открывает на нарах свой ящик с инструментами, выбирает кинжалы и пытается еще наточить их. Уже очень темно, он достает небольшой фонарь и зажигает его. Приговоренный незаметно поворачивает голову в сторону палача, но, увидев, чем тот занят, содрогается, отворачивается и не хочет больше ничего видеть. "Я готов", — ворчит палач спустя некоторое время.

"Готов?" — вскрикивает приговоренный, вскакивает и теперь уже открыто смотрит на палача. — Ты не убьешь меня, не положишь на нары и не

заколешь, ты ведь человек, ты можешь казнить на помосте, с помощниками, перед судебными чиновниками, но не здесь, в камере, просто как человек человека". И так как палач, склонившись над ящиком, молчит, приговоренный добавляет спокойнее: "Это невозможно". Но так как и теперь палач продолжает молчать, приговоренный еще говорит: "Именно потому, что это невозможно, ввели этот странный судебный обычай. Форма еще должна быть соблюдена, но смертную казнь уже не нужно приводить в исполнение. Ты доставишь меня в другую тюрьму, там я, наверное, еще долго пробуду, но меня не казнят". Палач достает еще один кинжал, завернутый в вату, и говорит: "Ты, кажется, веришь в сказки, где слуга получает приказ погубить ребенка, но вместо этого отдает его сапожнику в учение. То сказка, а здесь не сказка".

27 августа. Заключительный вывод после двух ужасных дней и ночей: благодари свой чиновничий порок слабости, скупости, нерешительности, расчетливости, предусмотрительности и т.д. за то, что ты не отправил открытку Ф. Возможно, ты не стал бы отречься от написанного, я допускаю, что это возможно. Каков был бы результат? Поступок, подъем? Нет. Этот поступок ты однажды уже совершил, но лучше ничего не стало. Не пытайся объяснить это; конечно, ты сумеешь объяснить все прошлое, ты ведь даже и на будущее не отваживаешься, пока заранее не объяснишь его. А это как раз и невозможно. То, что является чувством ответственности и как такое заслуживает всяческого уважения, в конечном счете чиновничий дух, ребячество, сломленная отцом воля. Возьми лучшее в себе, над ним работай — это в твоей власти. Это означает: не щади себя (вдобавок за счет все-таки любимой тобой Ф.), ведь щадить невозможно, мнимое желание щадить почти сгубило тебя. Ты щадишь себя, не только когда речь идет о Ф., браке, детях, ответственности и т.д., ты щадишь себя и тогда, когда речь идет о службе, на которой ты торчишь, о шлюхой квартире, с которой ты не расстаешься. Все. И хватит об этом. Нельзя себя щадить, нельзя рассчитывать все заранее. Ты ничего не знаешь о себе, чтобы предугадать, что для тебя лучше. Сегодня ночью, например, за счет твоего мозга и сердца в тебе боролись два совершенно равноценных и равносильных довода, каждый из них имеет свои сложности, это означает, что рассчитать все невозможно. Что же делать? Не унижать себя, не превращать себя в поле битвы, где сражаются, не обращая никакого внимания на тебя, и ты не чувствуешь ничего, кроме страшных ударов бойцов. Итак, соберись с силами. Исправляй себя, беги чиновничьего духа, начни же понимать, кто ты есть, вместо того чтобы рассчитывать, кем ты должен стать. Ближайшая задача, безусловно, стать солдатом. Откажись от безумного заблуждения и не сравнивай себя ни с Флобером, ни с Кьеркегором, ни с Грильпарцером. Это совершеннейшее мальчишество. Как звено в цепи расчетов, примеры, конечно, могут пригодиться, или, вернее, они непригодны вместе со всеми расчетами; взятые же по отдельности для сравнения, они уже с самого начала непригодны. Флобер и Кьеркегор очень хорошо знали, как обстоит с ними дело, у них была твердая воля, они не рассчитывали, они действовали. У тебя же бесконечный ряд расчетов, чудовищная смена подъемов и спадов в продолжение четырех лет. Сравнение с Грильпарцером, может быть, и верно, но Грильпарцера ты ведь не считаешь достойным подражания — злосчастный пример, которому потомки должны быть благодарны, ибо он страдал ради них.

8 октября. Воспитание как разговор взрослых. Разными обманами, в которые мы сами, правда в другом смысле, верим, мы увлекаем играющих на свободе детей в наш тесный дом. (Кому не охота быть благородным? Запереть дверь.)

Нелепости в толковании и в одержании победы над Максом и Морицем¹.

Ничем не заменимое значение неистовства пороков состоит в том, что оно обнаруживает всю их величину и силу и делает их наглядными для всех, даже возбужденные соучастники и те их видят, пусть хоть в слабом мерцании. К матросской жизни не приучишь упражнениями в луже, зато чрезмерной тренировкой в луже можно убить способность сделаться матросом.

16 октября. Одно из четырех условий, предложенных гуситами католикам как основа для объединения, заключалось в том, что все смертные грехи, к числу которых относились "обжорство, пьянство, разврат, ложь, клятвопреступление, ростовщичество, присвоение церковных денег", должны караться смертью. Одна партия требовала даже предоставить право любому совершить казнь, если он обнаружит, что кто-либо запятнал себя одним из названных грехов.

Мы вправе собственной рукой поднять на себя кнут.

18 октября. Из одного письма².

Не так просто с легкостью отнестись к тому, что ты говоришь о матери, родителях, цветах, Новом годе и обществе за столом. Ты говоришь, что и для тебя "будет не самым большим удовольствием сидеть у тебя дома за столом вместе со всей твоей семьей". Ты высказываешь, разумеется, только свое мнение, совершенно справедливо не считаясь с тем, обрадует оно меня или нет. Так вот, оно меня не радует. Но, конечно, еще меньше обрадовало бы меня, если бы ты написала противоположное. Пожалуйста, скажи ясно, насколько возможно, чем тебе это будет неприятно и что тому причиной? Мы ведь уже часто говорили на эту тему, во всяком случае в связи со мною, но очень трудно хотя бы отчасти понять, в чем тут дело.

Коротко — а потому и с не совсем соответствующей истине жесткостью — я могу свою позицию изложить примерно так: я, который чаще всего бывал несамостоятелен, бесконечно стремлюсь к самостоятельности, независимости, всесторонней свободе. Лучше надеть шоры и пролежать свой путь до конца, чем дать толпе родных кружить вокруг меня и отвлекать мой взгляд. Поэтому каждое слово, которым мы обмениваемся с родителями, так легко превращается в бревно, брошенное мне под ноги. Любая связь, которую я не сам создал или завоевал, даже если это связь между частями моего "я", никакой цены не имеет, мешает моему движению, я ненавижу ее или близок к тому, чтобы ее возненавидеть. Дорога длинна, силы невелики, оснований для такой ненависти более чем достаточно. Но я происхожу от своих родителей, связан с ними и с сестрами кровно, в повседневной жизни и из-за неизбежной погруженности в свои мысли я не чувствую этого, но на самом деле считаюсь с этим больше, чем сам осознаю. Иной раз моя ненависть направлена и на это, дома один вид супружеской постели, мятых простынь, заботливо приготовленных ночных сорочек вызывает у меня отвращение, доходящее до рвоты, выворачивающее наружу все мое нутро, мне начинает казаться,

будто я еще окончательно не родился, должен снова и снова появляться на свет среди затхлой жизни этой затхлой комнаты, снова и снова подтверждать в ней свое существование, я неразрывно связан с этими отвратительными вещами, если не целиком и полностью, то по крайней мере частично, во всяком случае, это пути на моих ногах, которые хотят убежать, но завязли в первозданном бесформенном месиве. Это — иной раз.

А в другой раз я снова вспоминаю, что они все-таки мои родители, неотъемлемая часть моего собственного существа, постоянные источники моей силы, связанные со мной не только как препятствие, но и как сущность. И тогда я представляю их себе, как представляют себе все самое лучшее; при всей злости, дурных привычках, эгоизме, бессердечии я издавна дрожал за них и, собственно говоря, дрожу до сих пор, ведь это не проходит, и если они — мать, с одной стороны, отец, с другой, — опять-таки в силу необходимости почти сломили мою волю, то я еще и поэтому хочу их почитать. Они меня обманули, но я все же не могу, не впадая в безумие, восстать против закона природы, стало быть, опять ненависть и ничего, кроме ненависти. (Отгла временами кажется мне такой, какой должна быть, по моему смутному представлению, мать, — чистой, искренней, честной, последовательной. Кротость и гордость, впечатлительность и стойкость, самоотверженность и самостоятельность, робость и смелость в равной мере. Я упоминаю Отглу, ибо и в ней ведь моя мать, правда совершенно неузнаваема.) Итак, я хочу поэтому их почитать.

Ты принадлежишь мне, я сделал тебя своей, и ни в одной сказке нет женщины, за которую сражались бы дольше и отчаяннее, чем я сражался за тебя с самим собой, так было с самого начала, так повторялось снова и снова, и так, видно, будет всегда. Значит, ты принадлежишь мне, поэтому мое отношение к твоим родственникам подобно моему отношению к моим родственникам, хотя, разумеется, оно несравненно спокойнее и в добром и в злом. Они означают еще одну связь, которая мешает мне (мешает, даже если бы мне никогда не пришлось сказать им хоть слово), и я не могу их почитать в упомянутом смысле. Я говорю с тобой столь же открыто, как с самим собой, ты не обидишься за это и не увидишь здесь высокомерия, — по крайней мере там, где ты могла бы его увидеть, его нет.

Окажись ты сейчас здесь, за столом моих родителей, тогда все враждебное мне в моих родителях обретет возможность гораздо более широкого воздействия на меня. Им покажется, что моя связь с семьей как с целым очень упрочится (но это не так и не должно быть так), им покажется, что я уже занял свое место в том ряду, одна из важнейших позиций которого — спальня по соседству со столовой (а я не занимал ее), вопреки моему сопротивлению они думают, что получили в тебе поддержку (они не получили ее), все безобразное и отвратительное в них усилится.

Но если это так, почему же я не радуюсь твоему замечанию? Потому что стою в кругу и беспрерывно размахиваю ножами, чтобы все время и ранить, и защищать мою семью, позволь мне в этом полностью заменить тебя, но по отношению к твоей семье не заменяй меня в этом смысле. Не слишком ли велика для тебя, любимая, эта жертва? Она неслыханна, и облегчается она лишь тем, что, если ты не принесешь ее, мой характер заставит меня вырвать ее у тебя. Но если ты ее принесешь, ты много сделаешь для меня. Я умышленно не буду тебе писать один-два дня, чтобы ты могла без помех с моей стороны обдумать это и ответить. Для ответа достаточно — так велико мое доверие к тебе — одного только слова.

29 июля. Придворный шут. Исследование о придворных шутах.

Великие времена придворных шутов, пожалуй, прошли и больше не вернутся. Все куда-то уходит, этого нельзя отрицать. Тем не менее я еще наслаждался придворным шутовством, хоть оно и исчезло сейчас из обихода человечества.

2 августа. Паскаль наводит большой порядок перед появлением бога, но должен существовать более глубокий робкий скепсис, нежели скепсис [*одно слово неразборчиво*] ... человека, который режет себя на части хоть и великолепным ножом, но со спокойствием колбасника. Откуда это спокойствие? Это уверенное владение ножом? Разве бог — театральная колесница триумфатора, которую, даже если не забывать о тяжких и отчаянных усилиях рабочих, вытаскивают на сцену с помощью канатов?

3 августа. Еще раз я во всю силу легких крикнул в мир. Потом мне заткнули рот кляпом, надели кандалы на руки и ноги, завязали платком глаза. Несколько раз меня протаскивали взад-вперед, посадили и снова положили, тоже несколько раз, дергали за ноги так, что я дыбился от боли, дали немножко полежать спокойно, а потом стали глубоко всаживать в меня что-то острое, неожиданно то тут, то там, как подсказывали прихоть.

4 августа. Пользуясь литературой как синонимом упрека, делаю такое сильное языковое сокращение, что это постепенно влечет за собой — возможно, с самого начала так и было задумано — и сокращение мысли, которое искажает истинную перспективу и заставляет самый упрек падать далеко от цели и в стороне от нее.

Громкозвучные трубы Пустоты.

15 сентября. У тебя есть возможность¹ — насколько вообще такая возможность существует — начать сначала. Не упускай ее. Если хочешь взяться всерьез, ты не сможешь избежать того, чтобы грязь исторглась из тебя. Но не валяйся в ней. Если, как ты утверждаешь, рана в легких является лишь символом, символом раны, воспалению которой имя Ф, глубине которой имя Оправдание, если это так, тогда и советы врачи (свет, воздух, солнце, покой) — символ. Ухватись же за этот символ

18 сентября. Все порвать.

19 сентября. Рана так болит не потому, что она глубока и велика, а потому, что она застарелая. Когда старую рану снова и снова вскрывают, снова режут то место, которое уже множество раз оперировали, — вот это ужасно.

Для меня всегда непостижимо, что почти каждый, кто умеет писать, может объективировать в боли боль, что я, к примеру, могу в несчастье, может быть, с еще пылающей от несчастья головой сесте и кому-то письменно сообщить: я несчастен. Более того, я могу даже с различными поверьями, в зависимости от дарования, которому словно дела нет до не

счастья, фантазировать на эту тему просто, или усложненно, или с целым оркестром ассоциаций. И это вовсе не ложь и не успокаивает боли, это просто благодатный избыток сил в момент, когда боль явно истощила до самого дна все силы моей души, которую она терзает. Что же это за избыток?

В мирные дни ты не преуспеваешь, в дни войны ты истекаешь кровью.

21 сентября. Ф. была здесь, она ехала, чтобы повидать меня, тридцать часов, мне следовало бы помешать этому. Насколько я представляю себе, на ее долю выпало, в значительной степени по моей вине, самое большое несчастье. Я сам не могу себя понять, я совершенно бесчувствен, столь же беспомощен, думаю о нарушении некоторых своих удобств и в качестве единственной уступки немножко разыгрываю комедию. В мелочах она не права, не права в защите своих мнимых или даже подлинных прав, в целом же она невинно приговорена к тяжким пыткам; я совершил несправедливость, из-за которой она подвергается пыткам, и я же подаю орудия пыток. Ее отъездом (каре́та с нею и Оттлой объезжает пруд, я напрямик пересекаю дорогу и снова приближаюсь к ней) и головной болью (брённые останки комедианта) кончается день.

25 сентября. По дороге в лес. Ты разрушил все, ничем, собственно говоря, еще не овладев. Как ты собираешься теперь восстановить это? Откуда возьмет силы для этой огромной работы твой мечущийся дух?

"Новое поколение" Таггера² — убого, болтливо, местами живо, умело, хорошо написано, с легким налетом дилетантизма. Какое он имеет право козырять? В основе своей он столь же убог, как я и как все. Не так уж преступно больному чахоткой иметь детей. Отец Флобера был болен туберкулезом. Выбор: или у ребенка в легких заводится флейта (очень красивое выражение для той музыки, ради которой врач прикладывает ухо к груди), или он становится Флобером. Трепет отца, пока это впустую обсуждается.

Временное удовлетворение я еще могу получать от таких работ, как "Сельский врач", при условии, если мне еще удастся что-нибудь подобное (очень маловероятно). Но счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости.

Плети, которыми мы стеем друг друга, за последние пять лет обросли добротными узлами.

28 сентября. Из письма Ф., возможно последнего (1 октября)³.

Когда я проверяю себя своей конечной целью, то оказывается, что я, в сущности, стремлюсь не к тому, чтобы стать хорошим человеком и суметь держать ответ пред каким-нибудь высшим судом, — совсем напротив, я стремлюсь обозреть все сообщество людей и животных, познать его главные пристрастия, желания, нравственные идеалы, свести их к простым нормам жизни и в соответствии с ними самому как можно скорее стать непременно приятным, и притом (вот в чем фокус) настолько приятным, чтобы, не теряя всеобщей любви, я как единственный грешник, которого не поджаривают, мог открыто, на глазах у всех обнажить все присущие

мне пороки. Короче говоря, меня интересует только суд человеческий, притом и его я хочу обмануть, конечно, без обмана.

8 октября. За это время: жалобные письма от Ф., Г.Б. грозится прислать письмо. Безотрадное состояние (courbature*). Кормление коз, изрытое мышами поле, копка картофеля ("Как ветер дует нам в зад"), сбор шиповника, крестьянин Ф. (семь девочек, одна маленькая, с милым взглядом, на плече белый кролик), в комнате висит картина "Император Франц Иосиф в склепе капуцинов", крестьянин К. (могучий, продуманное изложение всемирной истории его хозяйства, но дружелюбен и добр). Общее впечатление от крестьян: благородные люди, нашедшие спасение в сельском хозяйстве, где они так мудро и безропотно организовали свою работу, что она полностью слилась с мирозданием и до блаженной кончины оберегает их от всяких колебаний и морской болезни. Истинные граждане земли.

Парни, которые вечером гоняются за разбегающимся, рассыпанным по широком холмистым полям стадом и при этом все время должны тащить стреноженного, упирающегося молодого быка.

"Копперфилд" Диккенса ("Кочегар" — прямое подражание Диккенсу; в еще большей степени — задуманный роман). История с чемоданом, осчастливливающий и очаровывающий, грязные работы, возлюбленная в поместье, грязные дома и др., но прежде всего манера. Моим намерением было, как я теперь вижу, написать диккенсовский роман, но обогащенный более резкими осветителями, которые я позаимствовал бы у времени, и более слабыми, которые я извлек бы из себя. Диккенсовское богатство и могучий, неудержимый поток повествования, но при этом — места ужасающе вялые, где он утомленно лишь помешивает уже сделанное. Впечатление варварства производит бессмысленное целое, — варварства, которого я, правда, избежал благодаря собственной слабости и наученный своим эпигонством. За манерой, затопляемой чувством, скрыта бессердечность. Эти колоды необработанных характеристик, которые искусственно подгоняются к каждому персонажу и без которых Диккенс был бы не в состоянии хотя бы раз быстро взобраться на свое сооружение. (Общность Вальзера⁴ с ним в расплывчатом применении абстрактных метафор.)

1919

27 июня. Начал новый дневник, собственно говоря, лишь потому, что читал старый. Некоторых причин и намерений теперь, без четверти двенадцать, уже не восстановить.

30 июня. Был в Ригерпарке. Прогуливался с Ю.¹ среди кустов жасмина. Лживость и правдивость, лживость во вздохах, правдивость в скованности, в доверчивости, в чувстве защищенности. Беспокойное сердце.

6 июля. Все те же мысль, желание, страх. И все-таки я спокойнее, чем обычно, словно во мне готовится великая перемена, отдаленную дрожь которой я ощущаю. Слишком много сказано.

*Чрезмерная усталость (франц.).

5 декабря. Снова прорвался сквозь эту страшную длинную узкую щель, которую можно одолеть, собственно, лишь во сне. Навью это по собственному желанию, конечно, никогда не удастся.

8 декабря. Понедельник, праздник в Баумгартене, в ресторане, в галерее. Страдание и радость, вина и невинность как две неразъединимо сплетенные руки, для того чтобы разять, их надо было бы разрезать — мясо, кровь и кости.

9 декабря. Много Элезеуса². Но куда бы я ни повернулся, навстречу мне бьет черная волна.

11 декабря. Четверг. Холод. Молча бродил с Ю. по Ригерпарку. Соблазн на Грабене. Все это слишком тяжело. Я недостаточно подготовлен. В духовном смысле это похоже на то, что двадцать шесть лет тому назад говорил учитель Бек, не замечая, конечно, пророческой шутки: "Пусть он еще посидит в пятом классе, он слишком слаб, такая чрезмерная спешка потом отомстит за себя". Действительно, я рос, как слишком быстро вытянувшиеся и забытые саженцы, с известным артистическим изяществом уклоняясь от сквозняков; если угодно, есть даже что-то трогательное в этих движениях, но не более того. Как у Элезеуса с его весенними деловыми поездками в города. При этом его совсем не надо недооценивать: Элезеус мог бы стать героем книги, наверное, даже стал бы им во времена молодости Гамсуна.

1920

6 января. Все, что он делает, кажется ему необычайно новым. Если бы оно не обладало свежестью жизни, то само по себе — он хорошо это знает — оно неизбежно было бы порождением старого чертова болота. Но свежесть вводит его в заблуждение, заставляет забыть обо всем, или легко примириться, или даже, все понимая, воспринимать безболезненно. Ведь сегодняшний день, несомненно, и есть именно тот день, когда прогресс собирается двинуться дальше.

9 января. Суеверие и принцип и осуществление жизни.

Через рай порока достигаешь ада добродетели. Столь легко? Столь грязно? Столь невыносимо? Суеверие — оно просто.

В его затылке вырезали сегментообразный кусок. Вместе с солнцем туда заглядывает весь мир. Это нервирует его, отвлекает от работы, кроме того, его злит, что именно он должен быть исключен из спектакля.

Если на следующий день после освобождения чувство несвободы еще остается неизменным, а то и усиливается, и даже если настойчиво уверяют, что оно никогда не кончится, — это несколько не опровергает предчувствия окончательного освобождения. Все это, скорее, необходимые предпосылки окончательного освобождения.

15 октября. С неделю назад все дневники дал М.¹. Немного свободнее? Нет. Способен ли я еще вести нечто вроде дневника? Во всяком случае, это будет нечто другое, скорее всего, оно забьется куда-нибудь, вообще ничего не будет, о Хардте, например, который сравнительно сильно занимал меня, я лишь с величайшим трудом мог бы что-нибудь записать. Кажется, будто я все уже давно о нем написал или, что то же самое, будто меня нет больше в живых. О М. я могу, пожалуй, писать, но уже не по свободному решению, да это и было бы слишком сильно направлено против меня, подобные вещи мне уже не нужно, как прежде, подробно объяснять себе, в этом отношении я уже не столь забывчив, как раньше, я стал живой памятью, отсюда и бессонница.

16 октября. Воскресенье. Беда непрерывных начал, никакого заблуждения относительно того, что все — лишь начало, и даже еще не начало, — глупость окружающих, которым это неизвестно и которые, к примеру, играют в футбол в надежде когда-нибудь наконец "преуспеть", собственная глупость, которую погребаешь в себе самом, как в гробу, глупость окружающих, думающих, что перед ними настоящий гроб, то есть гроб, который можно перевезти с места на место, открыть, разломать, поменять на другой.

Среди молодых женщин в парке. Зависти нет. У меня достаточно фантазии, чтобы разделять их счастье, достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что я слишком слаб для такого счастья, достаточно глупости, чтобы верить, будто осознаю свое и их положение. Нет, глупости недостаточно, осталась маленькая щель, ветер дует в нее и мешает полноте резонанса.

Проникнись я желанием стать легкоатлетом, это было бы, вероятно, то же самое, как если бы я пожелал попасть на небо и там имел возможность пребывать в таком же отчаянии, как здесь.

Какой бы жалкой ни была моя первооснова, пусть даже "при равных условиях" (в особенности если учесть слабость воли), даже если она самая жалкая на земле, я все же должен, хотя бы в своем духе, пытаться достичь наилучшего; говорить же: я в силах достичь лишь одного, и потому это одно и есть наилучшее, а оно есть отчаяние, говорить так — значит прибегать к пустой софистике.

17 октября. То, что я не научился ничему полезному, к тому же зачих и физически — а это взаимосвязано, — могло быть преднамеренным. Я хотел, чтобы меня ничто не отвлекало, не отвлекала жизнерадостность полезного и здорового человека. Как будто бы болезнь и отчаяние не отвлекают в такой же степени!

Я мог бы эту мысль вертеть по-разному и довести ее до конца в свою пользу, но я не решаюсь и не верю — по крайней мере ныне и в большинстве других дней — в какую-либо благоприятную для меня развязку.

Я не завидую отдельной супружеской паре, я завидую только всем супружеским парам, а если я и завидую одной супружеской паре, то и, собственно говоря, завидую вообще супружескому счастью во всем его

бесконечном многообразии, счастье одной-единственной супружеской пары даже в самом благоприятном случае, наверное, привело бы меня в отчаяние.

Я не думаю, будто есть люди, чье внутреннее состояние подобно моему, тем не менее я могу представить себе таких людей, но чтобы вокруг их головы все время летал, как вокруг моей, незримый ворон, этого я себе даже и представить не могу.

Поразительно это систематическое саморазрушение в течение многих лет, оно было подобно медленно назревающему прорыву плотины — действие, полное умысла. Дух, который осуществил это, должен теперь праздновать победу; почему он не дает мне участвовать в празднике? Но может быть, он еще не довел до конца свой умысел и потому не может ни о чем другом думать.

18 октября. Вечное детство. Снова зов жизни.

Легко вообразить, что каждого окружает уготованное ему величие жизни во всей его полноте, но оно скрыто завесой, глубоко спрятано, невидимо, недоступно. Однако оно не злое, не враждебное, не глухое. Позови его заветным словом, оклики истинным именем, и оно придет к тебе. Вот тайна волшебства — оно не творит, а взывает.

19 октября. Сущность дороги через пустыню. Человек, сам себе народный предводитель, идет этой дорогой, последними остатками (большого не дано) сознания постигая происходящее. Всю жизнь ему чудится близость Ханаана; мысль о том, что землю эту он увидит лишь перед самой смертью, для него невероятна. Эта последняя надежда может иметь один только смысл: показать, сколь несовершенным мгновением является человеческая жизнь, — несовершенным потому, что, длись она и бесконечно, она все равно всего лишь мгновение. Моисей не дошел до Ханаана не потому, что его жизнь была слишком коротка, а потому, что она человеческая жизнь. Конец Моисеева пятикнижия сходен с заключительной сценой "Education sentimentale"².

Тому, кто при жизни не в силах справиться с жизнью, одна рука нужна, чтобы отбиться от отчаяния, порожденного собственной судьбой, — что удастся ему плохо, — другой же рукой он может записывать то, что видит под руинами, ибо видит он иначе и больше, чем окружающие: он ведь мертвый при жизни и все же живой после катастрофы. Если только для борьбы с отчаянием ему нужны не обе руки и не больше, чем он имеет.

20 октября. После обеда Лангер, потом Макс читали вслух "Франци".

Сновидение, ненадолго во время судорожного, недолгого сна судорожно захватившее меня, наполнив безмерным счастьем. Сновидение широко разветвленное, с тысячью совершенно понятных связей, — осталось лишь слабое воспоминание о чувстве счастья.

Мой брат совершил преступление, мне кажется — убийство, я и другие замешаны в этом преступлении, наказание, развязка, избавление приближаются издалека, приближение мощно и неудержимо нарастает, это видно

по многим признакам, моя сестра, кажется, все время возвещает эти признаки, которые я все время приветствую безумными выкриками, **безумие** возрастает вместе с приближением. Мне казалось, я никогда не смогу забыть своих отдельных выкриков, коротких фраз благодаря их ясности, теперь же ничего не могу точно вспомнить. Это могли быть только выкрики, ибо говорить мне было очень трудно, для того чтобы произнести слово, я должен был надуть щеки и одновременно скривить рот, как при зубной боли. Счастье заключалось в том, что наказание пришло и я свободно, убежденно и радостно приветствовал его, — картина эта умилила богов, и умиление богов тоже тронуло меня почти до слез.

21 октября. Он не мог позволить себе войти в дом, ибо слышал глас, повелевший ему: "Жди, пока я поведу тебя!" И так лежал он во прахе перед домом, хотя давно уже, наверное, не оставалось никакой надежды...

Всё — фантазия: семья, служба, друзья, улица; всё — фантазия, более далекая или более близкая, и жена — фантазия; ближайшая же правда только в том, что ты бьешься головой о стену камеры, в которой нет ни окон, ни дверей.

22 октября. Знаток, специалист, человек, знающий свое дело, — правда, знания эти никому нельзя передать, но, к счастью, они, кажется, никому и не нужны.

23 октября. После обеда. Фильм о Палестине.

25 октября. Вчера Эренштайн³.

Родители играли в карты; я сидел один, совершенно чужой; отец сказал, чтобы я играл с ними или хотя бы смотрел, как играют; я нашел какую-то отговорку. Что означал этот многократно повторявшийся с детства отказ? Приглашения открывали мне доступ в общество, в известной мере к общественной жизни, с занятием, которого от меня как от участника требовали, я справился бы если не хорошо, то сносно, игра, наверное, даже и не слишком наводила бы на меня скуку — и все-таки я отказывался. Если судить по этому, я не прав, жалуясь, что жизненный поток никогда не захватывал меня, никогда я не мог оторваться от Праги, никогда меня не заставляли заниматься спортом или каким-нибудь ремеслом и тому подобное, — я бы, наверное, всегда отклонял предложение, так же как приглашение к игре. Лишь бессмысленное было доступно — изучение права, канцелярия, потом бессмысленные добавления, например работа в саду, столярничанье и тому подобное; эти добавления подобны действиям человека, который выкидывает за дверь несчастного нищего и потом сам с собой играет в благодетеля, передавая милостыню из своей правой руки в свою же левую руку.

Но я всегда от всего отказывался, возможно, из-за общей слабости, в особенности же из-за слабости воли, только понял это я поздно. Раньше я считал этот отказ чаще всего хорошим признаком (обольщенный большими надеждами, которые я возлагал на себя), сегодня же от этой приятной точки зрения почти ничего не осталось.

29 октября. В один из ближайших вечеров я все же участвовал в игре, записывая для матери ее очки. Но сближения не получилось, а если и был

намок на него, то он развеялся под давлением усталости, скуки, грусти по поводу потерянного времени. И так было бы всегда. Пограничную зону между одиночеством и общением я пересекал крайне редко, в ней я обосновался даже более прочно, чем в самом одиночестве. Каким живым, прекрасным местом был по сравнению с этим остров Робинзона.

30 октября. После обеда в театре. Палленберг⁴.

Мои внутренние возможности для (я не хочу сказать — изображения или написания "Скупого", а именно для) самого скупого. Нужно только быстрое решительное движение — и весь оркестр зачарованно уставится туда, где над пультом капельмейстера должна подняться дирижерская палочка.

Чувство полнейшей беспомощности.

Что связывает тебя с этими прочно осевшими, говорливыми, остроглазыми существами теснее, чем с какой-нибудь вещью, скажем с ручкой в твоей руке? Уж не то ли, что ты их породы? Но ты не их породы, потому-то и задался таким вопросом.

Эта четкая отграниченность человеческого тела ужасна.

Странная, непостижимая сила предотвращает гибель, молча направляет. Сам собой напрашивается абсурдный вывод: "Что касается меня, я давно бы погиб". Что касается меня.

1 ноября. "Песнь козла" Верфеля.

Свободно повелевать миром, не повинаясь его законам. Предписывать закон. Счастье быть послушным этому закону.

Однако невозможно предписать миру такой закон, при котором все оставалось бы по-прежнему и лишь новый законодатель был бы свободен. Это был бы не закон, а произвол, смута, самоосуждение.

2 ноября. Шаткая надежда, шаткая вера.

Бесконечное хмурое воскресенье, поедающее целые годы, годам равное послеобеденное время. Попеременно в отчаянии бродил по пустынным улицам и успокоенный лежал на диване. Порой вызывали удивление почти беспрерывно тянувшиеся бесцветные, бессмысленные облака. "Тебя ждет великий понедельник!" Хорошо сказано, но воскресенье никогда не кончится.

3 ноября. Звонок по телефону.

7 ноября. Неизбежная необходимость в самонаблюдении: если за мною кто-то наблюдает, я, естественно, тоже должен наблюдать за собой, если же никто другой не наблюдает за мною, тем внимательнее я должен наблюдать за собой сам.

Можно позавидовать легкости, с какой от меня может избавиться всякий, кто поссорится со мной или кому я стану безразличен или надоем (при условии, что дело не идет о жизни; когда однажды казалось, что у Ф. дело идет о жизни, избавиться от меня было нелегко, — правда, я был молод и силен, и желания мои тоже были сильными).

1 декабря. После четырех посещений М. уедет, завтра уезжает. Четыре спокойных дня посреди дней мучительных. Как долг путь от мысли, что я не грущу по поводу ее отъезда, не грущу по-настоящему, до понимания, что ее отъезд все-таки вызывает во мне бесконечную грусть. Разумеется, грусть не самое страшное.

2 декабря. Писал письма в комнате родителей. Формы гибели невообразимы. Недавно представил себе, что малым ребенком я был побежден отцом и теперь из честолюбия не могу покинуть поле боя — все последующие годы напролет, хотя меня побеждают снова и снова. Все время М., или не М., а принцип, свет во мраке.

6 декабря. Из одного письма: "Оно согревает меня в эту грустную зиму". Метафоры — одно из многого, что приводит меня в отчаяние, когда пишу. Несамостоятельность писания, зависимость от служанки, топящей печь, от кошки, греющейся у печи, даже от бедного греющегося старика. Все это самостоятельные, осуществляющиеся по собственным законам действия, только писание беспомощно, существует не само по себе, оно — забава и отчаяние.

Двое детей, одни в доме, забрались в большой сундук, крышка хлопнулась, они не смогли открыть ее и задохнулись.

20 декабря. Много перестрадал в мыслях.

В испуге вскочил, вырванный из глубокого сна. Посреди комнаты за маленьким столом при свете свечи сидел чужой человек. Он сидел в полумраке, широкий и тяжелый, расстегнутое зимнее пальто делало его еще более широким.

Лучше продумать:

Умиравший Вильгельм Раабе⁵, которому жена гладит лоб, говорит: "Как хорошо".

Дедушка, смеющийся беззубым ртом при виде своего внука.

Разумеется, очень хорошо, если можешь спокойно написать: "Задохнуться — это невообразимо страшно". Ну конечно же, невообразимо, следовательно, опять-таки ничего не написано.

25 декабря. Снова сидел над "Náš Skautík"⁶.

"Иван Ильич"⁷.

1922

16 января. Последняя неделя была как катастрофа, катастрофа полная, подобная лишь той, что произошла однажды ночью два года ни зад, другой такой я больше не переживал. Казалось, всему конец, да и сейчас как будто бы ничего еще не изменилось. Это можно воспринимать двояко, пожалуй, только так и можно это воспринимать.

Во-первых, бессилие, не в силах спать, не в силах бодрствовать, не в силах переносить жизнь, вернее, последовательность жизни. Часы идут вразнобой, внутренние мчатся вперед в дьявольском, или сатанинском,

или, во всяком случае, нечеловеческом темпе, наружные, запинаясь, идут своим обычным ходом. Можно ли ожидать, чтобы эти два различных мира не разъединились, и они действительно разъединяются или по меньшей мере разрывают друг друга самым ужасающим образом. Стремительность хода внутренних часов может иметь различные причины, самая очевидная из них — самоанализ, который не дает отстояться ни одному представлению, гонит каждое из них наверх, чтобы потом уже его самого, как представление, гнал дальше новый самоанализ.

Во-вторых, исходная точка этой гонки — человечество. Одиночество, которое с давних времен частично мне навязали, частично я сам искал — но и искал разве не по принуждению? — это одиночество теперь непреложно и беспредельно. Куда оно ведет? Оно может привести к безумию — и это, кажется, наиболее вероятно, — об этом нельзя больше говорить, погоня проходит через меня и разрывает на части. Но я могу — могу ли? — пусть в самой малой степени и уцелеть, сделать так, чтобы погоня неслала меня. Где я тогда окажусь? "Погоня" — лишь образ, можно также сказать "атака на последнюю земную границу", причем атака снизу, со стороны людей, и, поскольку это тоже лишь образ, можно заменить его образом атаки сверху, на меня.

Вся эта литература — атака на границу, и, не помешай тому сионизм, она легко могла бы превратиться в новое тайное учение, в кабалистику. Предпосылки к этому были. Конечно, здесь требуется что-то вроде непостижимого гения, который заново пустил бы свои корни в древние века или древние века заново сотворил бы, не растратив себя во всем этом, а только сейчас начав тратить себя.

17 января. Все то же.

18 января. Мгновение раздумий. Будь доволен, учись (учись, сорокалетний!) жить мгновением (ведь когда-то ты умел это). Да, мгновением, ужасным мгновением. Оно не ужасно, только страх перед будущим делает его ужасным. И, конечно, взгляд в прошлое. Что сделал ты с дарованным тебе счастьем быть мужчиной? Не получилось, скажут в конце концов, и это все. Но ведь легко могло бы получиться. Конечно, исход решила мелочь, и притом незначительная. Что в этом особенного? Так бывало во время величайших битв мировой истории. Мелочи решали исход мелочей.

М. права: страх — это несчастье, но из этого не следует, что мужество — счастье, счастье — это бесстрашие, а не мужество, которое, возможно, требует большего, нежели силы (в моем классе, пожалуй, было только два еврея, обладавших мужеством, и оба еще в гимназии или вскоре после ее окончания застрелились), итак, не мужество, а бесстрашие, спокойное, с открытым взглядом, способное все вынести. Не принуждай себя ни к чему, но не будь несчастен из-за того, что ты не принуждаешь себя, или из-за того, что тебе приходится принуждать себя, когда нужно это делать. И если ты не принуждаешь себя, не избегай блудливо возможностей принуждения. Разумеется, так ясно это не бывает никогда, или нет — это всегда так ясно, например: мой пол гнетет меня, мучает днем и ночью, я должен преодолевать страх и стыд и даже грусть, чтобы удовлетворять его потребности, с другой же стороны, несомненно, что я без страха и стыда и грусти сразу же воспользуюсь мимолетным и благосклонным случаем; тогда, значит, придется не преодолевать закон, страх и т.д. (но и не играть

мыслями о преодолении), а пользоваться случаем (но не жаловаться, если он не представляется). Конечно, существует нечто среднее между "действием" и "случаем", а именно: привлечение, подманивание "случая", — к этой практике я прибегал, к сожалению, не только в таких делах, но и вообще. Исходя из "закона", против этого вряд ли что-нибудь возразишь, тем не менее "подманивание", в особенности если оно делается негодными средствами, подозрительно смахивает на "игру с мыслью о преодолении", и спокойного, открыто глядящего бесстрашия здесь нет и в помине. Как раз вопреки "буквальному" совпадению с "законом" в этом есть нечто отвратительное, нечто такое, чего непременно следует избегать. Но чтобы избежать этого, требуется усилие, а мне с собой не справиться.

19 января. Что означают вчерашние констатации сегодня? Они означают то же самое, что и вчера, они верны, — вот только кровь сочится между большими камнями закона.

Бесконечное, глубокое, теплое, спасительное счастье — сидеть возле колыбели своего ребенка, напротив матери.

Здесь есть что-то и от чувства: теперь дело не в тебе, а ты только того и хочешь. Другое чувство у бездетного: все время дело в тебе, хочешь ты того или нет, в каждое мгновение, до самого конца, в каждое разрывающее нервы мгновение, все время дело в тебе, и все безрезультатно. Сизиф был холостяком.

Ничего дурного; раз ты переступил порог, все хорошо. Другой мир, и ты не обязан говорить.

Два вопроса¹:

По некоторым мелочам, называть которые мне стыдно, у меня сложилось впечатление, что последние посещения были хотя и, как всегда, милыми и беспечными, все же несколько утомительными, несколько нати-нутыми, как посещения больного. Правильно ли это впечатление?

Может быть, ты нашла в дневниках что-то, что решающим образом говорит против меня?

20 января. Немного спокойнее. Как необходимо это было. Но если стало чуть спокойнее, как уже слишком спокойно. Словно я по-настоящему чувствую самого себя только тогда, когда невыносимо несчастен. Это, пожалуй, верно.

Схватили за воротник, протащили по улицам, бросили в дверь. Схематически это так и есть, в действительности существуют противодействующие силы, лишь на самую малость — малость, достаточную только для поддержания жизни и муки, — менее разнузданные, чем те, каким они противостоят. Я жертва тех и других.

Уж это "слишком спокойно". Словно для меня закрыты — прямо таки физически, физически как следствие многолетних страданий (нижды! надежды!), — возможности спокойной творческой жизни, то есть творческой жизни вообще, ибо состояние страдания для меня не что иное, как полное, закрытое в самом себе, закрытое по отношению ко всему ни свете страдание, и ничто другое.

Торс: если смотреть сбоку, сколько взглядом вверх от края чулка, по колену, ляжке, бедру, — он принадлежит темнокожей женщине.

Тоска по земле? Не уверен. Земля порождает тоску, тоску беспредельную.

М. права в отношении меня: "Все прекрасно, только не для меня, и это справедливо". Справедливо, соглашаюсь я и делаю вид, что верю по крайней мере в это. А может быть, я и в это не верю? Я ведь, собственно говоря, не думаю о "справедливости", у жизни столько бесконечно сильных доводов, что в ней не остается места для справедливости и несправедливости. Как нельзя рассуждать о справедливости и несправедливости в преисполненный отчаяния смертный час, так нельзя рассуждать о них и в преисполненной отчаяния жизни. Достаточно уже и того, что стрелы точно подходят к ранам, нанесенным ими.

Однако у меня и в помине нет желания осудить все поколение в целом.

21 января. Еще не слишком спокойно. В театре, при виде тюрьмы Флорестана, внезапно раскрылась бездна. Всё — певцы, музыка, публика, соседи, — всё более отдаленно, чем бездна.

Насколько мне известно, такой тяжелой задачи не было ни у кого. Мне могут сказать: это вовсе не задача, это даже и не неразрешимая задача, это даже и не сама неразрешимость, это ничто, это даже меньше, чем надежда бесплодной женщины родить ребенка. И все-таки это тот воздух, которым я дышу, покуда мне суждено дышать.

Уснул после полуночи, проснулся в пять. Невероятное достижение, невероятное счастье, к тому же я еще полусонный. Но счастье было моим несчастьем, ибо тут же пришла неотвратимая мысль: такого счастья ты не заслуживаешь, все боги мести обрушились на меня, я увидел их рассвирепевшего Владыку, его пальцы страшно растопырены и грозят мне или с ужасающей силой бьют в кимвалы. Возбуждение этих двух часов, до семи утра, не только уничтожило результаты того, что дал сон, но и весь день заставило меня дрожать и беспокоиться.

Без предков, без супружества, без потомков, с неистовой жадной предков, супружества, потомков. Все протягивают мне руки: предки, супружество, потомки — но слишком далеко от меня.

Для всего существует искусственный, жалкий заменитель: для предков, супружества, потомков. Его создают в судорогах и, если не погибают от этих судорог, гибнут от безотрадности заменителя.

22 января. Решение, принятое ночью.

Заметка относительно "Несчастья холостяка"² была пророческой, правда пророчеством при очень благоприятных предпосылках. Но сходство с дядей Р.³ поразительно еще и сверх того: оба тихие (я — менее), оба зависимы от родителей (я — больше), во вражде с отцом, любимыми матерью (он к тому же обречен на страшную совместную жизнь с отцом; конечно, и отец обречен), оба застенчивы, сверхскромны (он — более), оба считаются благородными, хорошими людьми, что совсем неверно в

отношении меня и, насколько мне известно, мало соответствует истине в отношении его (застенчивость, скромность, робость считаются благородными и хорошими качествами, потому что они слабо противодействуют собственным экспансивным порывам), оба вначале ипохондрики, а потом действительно больные, обоих, хотя они и бездельники, мир неплохо содержит (его, как меньшего бездельника, содержит гораздо хуже, насколько можно пока сравнивать), оба чиновники (он — лучший), у обоих наивнообразнейшая жизнь, оба неразвивающиеся, до конца пребывают молодыми, — точнее слова "молодые" слово "законсервированные", — оба близки к безумию, он, далекий от евреев, с неслыханным мужеством, с неслыханной отчаянностью (по которой можно судить, насколько велика угроза безумия) спасся в церкви, до конца, насколько можно судить, его будет держать на длинной привязи, сам же он, кажется, уже многие годы ни на чем не держится. К его счастью или несчастью, разница в том, что он обладал меньшими, чем я, художественными способностями, следовательно, мог бы в юности выбрать лучшую дорогу, его не так разрывало на части, в том числе и тщеславие. Боролся ли он за женщин (с собою), я не знаю, в одном его рассказе, который я читал, можно найти подтверждение этому, кроме того, когда я был ребенком, о нем рассказывали что-то в этом духе. Я слишком мало знаю о нем, спрашивать же об этом я не решался. Впрочем, до сих пор я легкомысленно писал о нем как о живом. Неправда также, что он не был добрым, я никогда не замечал в нем и следа скупости, зависти, ненависти, жадности; для того же, чтобы самому помогать другим, он был слишком слаб. Он был бесконечно невиннее меня, здесь нельзя и сравнивать. В деталях он был карикатурой на меня, в главном же я карикатура на него.

23 января. Снова нахлынуло беспокойство. Откуда? От привычных мыслей, их быстро забываешь, а беспокойство они оставляют незабываемое. Мне легче вспомнить не мысли, а место, где они возникли, одна из них, например, пришла мне в голову на маленькой, обложенной дерном дорожке, идущей вдоль здания Старо-Новой синагоги. Беспокойство возникает также и в предчувствии хорошего состояния, которое время от времени приближается — робко и на почтительное расстояние. Беспокойство и из-за того, что ночное решение остается лишь решением. Беспокойство от того, что жизнь моя до сих пор была маршем на месте, в лучшем случае развивалась подобно тому, как развивается дырявый, обреченный зуб. С моей стороны не было ни малейшей, хоть как-то оправдавшей себя попытки направить свою жизнь. Как и всякому другому человеку, мне как будто был дан центр окружности, и я, как всякий другой человек, должен был взять направление по центральному радиусу и потом описать прекрасную окружность. Вместо этого я все время брал разбег к радиусу и все время сразу же останавливался. (Примеры: рояль, скрипка, языки, германистика, антисионизм, сионизм, древнееврейский, садоводство, столярничество, литература, попытки жениться, собственная квартира.) Середина воображаемого круга вся покрыта начинающимися радиусами, там нет больше места для новой попытки, "нет места" означает: возраст, слабость нервов; "никакой попытки больше" означает: конец. Если же и когда-нибудь проходил по радиусу немножко дальше, чем обычно, например при изучении права или при помолвках, все оказывалось ровно ни столько хуже, а не лучше, чем обычно.

Рассказал М. о ночи, неудовлетворительно. Симптомы отметить про себя, не жалуйся на симптомы, окунься в страдание.

Беспокойство сердца.

24 января. Счастье молодых и пожилых женатых мужчин — моих коллег по канцелярии. Мне оно недоступно, а будь и доступно, оно было бы невыносимо для меня, и тем не менее это единственное, чем я склонен был бы насытиться.

Медленье перед рождением. Если существует переселение душ, то я еще не на самой нижней ступени. Моя жизнь — это медленье перед рождением.

Стойкость. Я не хочу развиваться определенным образом, я хочу в другое место, в действительности это то самое "стремление к другой звезде", но мне было бы достаточно стоять вплотную около самого себя, мне было бы достаточно, если бы место, на котором я стою, я мог воспринимать как другое место.

Все развивалось просто. Когда я был еще доволен, я хотел быть довольным, и всеми средствами, которые предоставлялись мне временем и традициями, я загонял себя в недовольство, но хотел иметь возможность возврата. Итак, я всегда был недоволен, в том числе и своим довольством. Характерно, что при достаточной последовательности комедию всегда можно претворить в действительность. Мой духовный упадок начался с детской, правда по-детски сознательной, игры. Например, я заставлял лицевые мускулы искусственно подергиваться, шел со скрещенными на затылке руками по Грабену. Детская отвратительная, но успешная игра. (Нечто подобное было и с развитием сочинительства, но развитие это, к сожалению, потом застопорилось.) Раз возможно таким способом насильно навлечь на себя несчастье, значит, все можно насильственно привлечь. Как бы ни казалось, что весь ход моего развития опровергает мое рассуждение, и как бы такая мысль вообще ни противоречила моему существу, я никак не могу признать, что первые начала моего несчастья были внутренне необходимы, а если даже и была в них необходимость, то не внутренняя, они налетали, как мухи, и, как мух, их легко было прогнать.

Окажись я на другом берегу, несчастье было бы столь же большим, а возможно, и большим (вследствие моей слабости), я ведь уже знаю это по опыту, рычаг еще слегка вибрирует с тех пор, как я в последний раз передвинул его. Но зачем же я увеличиваю несчастье, стремясь попасть на другой берег, когда нахожусь на этом берегу?

Грустен по определенной причине. Зависим от нее. Вечно в опасности. Безысходность. Как легко было в первый раз, как трудно на этот раз. Как беспомощно глядит на меня деспот: "Так вот куда ты меня ведешь?" Итак, несмотря на все, покоя нет; после обеда хороню утреннюю надежду. При такой жизни невозможно удовлетвориться любовью, еще не было, наверное, человека, которому удалось бы это. Когда другие люди достигали этого предела — а тот, кто дошел до него, уже достаточно жалок, — они поворачивали обратно, я же не могу этого сделать. Мне даже кажется, будто я и не шел к нему, а уже малым ребенком меня притащили туда

и приковали цепями, лишь сознание несчастья пробуждалось постепенно, само же несчастье уже существовало, нужен был только проницательный, даже не пророческий, взгляд, чтобы увидеть его.

Утром я думал: "Таким образом ты, наверное, сможешь жить, только оберегай теперь эту жизнь от женщин". Оберегай ее от женщин, но в этом "таким образом" они уже заключены.

Сказать, что ты покинула меня, было бы очень несправедливо, но то, что я покинут, порой страшно покинут, — это правда.

Мое "решение" тоже дает право безгранично отчаиваться в связи с моим положением.

27 января. Шпиндлермюле. Надо не зависеть от помноженных на собственную неловкость злоключений вроде парных саней, поломанного чемодана, шаткого стола, скверного освещения, невозможности послеобеденного отдыха в гостинице и тому подобного. Независимости не добьешься, если не обращаться на это внимания, но не обращаться на это внимания нельзя, независимости можно добиться только привлечением новых сил. Правда, здесь случаются неожиданности, с этим должен согласиться самый отчаявшийся человек; бывает, из ничего появляется нечто, из заброшенного свинарника вылезает кучер с лошадьми⁴.

Пока катались на санях, у меня все время убывали силы. Жизнь не сделаешь так, как гимнаст стойку на руках.

Странное, таинственное, может быть, опасное, может быть, спасительное утешение, которое дает сочинительство: оно позволяет вырваться из рядов убийц, постоянно наблюдать за действием. Это наблюдение за действием должно породить наблюдение более высокого свойства, более высокого, но не более острого, и чем выше оно, тем недоступней для "рядов", тем независимей, тем неуклоннее следует оно собственным законам движения и тем неожиданней, радостней и успешней его путь.

Несмотря на то что я четко написал свое имя в гостинице, несмотря на то что и они уже дважды правильно написали его, внизу на доске все-таки написано "Йозеф К.". Просветить мне их или самому у них просветиться?

28 января. Немного оглушен, устал от катания с гор на санках, есть еще на свете приспособления, ими редко пользуются, я с трудом обращаюсь с ними, потому что мне неведома радость, ими доставляемая, в детстве я не учился ей. Я не учился ей не только "по вине отца", но и по тому, что хотел разрушить "покой", нарушить равновесие, и поэтому не зачем позволять кому-то родиться, чтобы затем пытаться его угробить. Правда, к "вине" мне все равно надо обратиться, ибо почему я хотел уйти из мира? Потому что "он" не позволял мне жить в мире, в его мире. Конечно, теперь мне не следует так определенно судить об этом, ибо теперь я уже гражданин другого мира, который так же относится к миру обычному, как пустыня к плодородному краю (вот уже сорок лет, как я покинул Ханаан), я смотрю назад, как иностранец, правда, я и в том, другом,

мире самый маленький и самый робкий — это свойство я принес с собой как отцовское наследство, — я и в нем жизнеспособен только благодаря особому тамошнему порядку, допускающему молниеносные взлеты даже маленьких людей, но, правда, и тысячетлетние штормовые разрушения. Разве я не должен, несмотря ни на что, быть благодарен? Разве я не должен был искать пути сюда? Если бы я был "изгнан" оттуда, а сюда бы меня не пустили, разве не был бы я раздавлен на границе? Разве не властью отца изгнание стало таким неотвратимым, что ничто не могло противостоять ему (не мне)? Правда, это подобно возвращению в пустыню с беспре-
станными приближениями к ней и детскими надеждами (особенно в отношении женщин): "Я все же, может быть, останусь в Ханаане", а тем временем я уже давно в пустыне, и все это лишь видения, порожденные отчаянием, в особенности тогда, когда я и там был самым жалким из всех и Ханаан должен был представляться единственной страной надежд, ибо третьей страны людям не дано.

29 января. Вечером на заснеженной дороге приступы. Все представления смешиваются — примерно так: мое положение в этом мире ужасно, здесь, в Шпиндлермюле, я один, на заброшенной дороге, где в темноте на снегу то и дело поскальзываешься, да и дорога эта бессмысленна, не ведет ни к какой земной цели (к мосту? Почему именно туда? К тому же я и не дошел до него), и в местечке я покинут (рассчитывать на личную человеческую помощь врача не могу, я ничем ее не заслужил, в сущности, у меня только гонорарные отношения с ним), неспособен с кем-нибудь познакомиться, неспособен вынести знакомства, бесконечное удивление вызывает у меня и любое веселое общество (правда, здесь, в гостинице, не много веселого, я не хочу заходить так далеко и утверждать, будто причиной тому являюсь я, скажем как "человек со слишком большой тенью", но тень, которую я отбрасываю в этом мире, действительно слишком велика, и я снова и снова удивляюсь, когда вижу упорство иных людей, желающих тем не менее, "несмотря ни на что", жить даже в этой тени, именно в ней; но здесь добавляется еще кое-что, о чем еще следует поговорить), и даже родители с их детьми, — не только здесь я так покинут, я покинут вообще, и в Праге, на моей "родине", и покинули меня не люди, это было бы еще не самое ужасное, я мог бы, пока жив, бежать вслед за ними, но я сам покинул себя, оборвав связь с людьми, мои силы поддерживать связь с людьми покинули меня, я расположен к любящим, но я не могу любить, я слишком далек от всех, я изгнан, у меня есть — поскольку я человек, а корни требуют питания — также и там "внизу" (или наверху) мои ходатаи, жалкие, бездарные комедианты, которые лишь потому могут удовлетворить меня (конечно, они меня совсем не удовлетворяют, и потому я так покинут), что главное питание мне дают другие корни, другой воздух, эти корни тоже жалкие, но все же более жизнеспособные.

Так смешиваются представления. Будь все именно так, как может показаться на заснеженной дороге, было бы ужасно, тогда я погиб бы — это надо понимать не как надвигающуюся угрозу, а как немедленную казнь. Но я совсем в другом мире, однако притягательная сила мира человеческого столь огромна, что в одно мгновение она может заставить обо всем забыть. Но притягательная сила и моего мира тоже велика, те, кто любит меня, любят меня потому, что я "покинутый", но все же, может быть, и потому, что они чувствуют, что в счастливые времена я в этом своем мире обретаю свободу движения, которой здесь начисто лишен.

Было бы ужасно, если бы, например, сюда неожиданно приехала М. Правда, внешнее мое положение сразу же стало бы относительно блестящим. Меня стали бы почитать как человека среди людей, я услышал бы не одни только официальные слова, я сидел бы (конечно, менее прямо, чем сейчас, поскольку я сижу один, да и сейчас я сижу изнеможенно) за столом среди общества актеров, социально я внешне стал бы почти равен доктору Х., — но я был бы низвержен в мир, в котором не могу жить. Остается лишь разрешить загадку, почему в Мариенбаде я был счастлив четырнадцать дней кряду и почему я, возможно, и здесь был бы с М. счастлив, правда после мучительнейшего прорыва границы. Но это, пожалуй, далось бы еще труднее, чем в Мариенбаде: образ мыслей стал прочнее, опыт — больше. То, что раньше представлялось разделяющей полосой, теперь стало стеной или горой — или, вернее, могилой.

30 января. Жду воспаления легких. Страх не столько перед болезнью, сколько за мать и перед матерью, перед отцом, перед директором и всеми другими. Вот где становится очевидным, что существуют два мира и что перед лицом болезни я так же невежествен, так же беспомощен, так же робок, как перед обер-кельнером. В остальном разделение кажется мне чересчур определенным, в своей определенности опасным, грустным и чрезмерно властным. Разве я живу в другом мире? Как могу я осмелиться сказать это?

Иногда говорят: "На что мне жизнь? Я не хочу умирать только ради семьи", — но ведь семья и есть само воплощение жизни, стало быть, жить хотят все-таки ради жизни. Ну, что касается матери, это, кажется, относится и ко мне, но лишь в последнее время. Но не благодарность ли и растроганность привели меня к этому? Благодарность и растроганность, потому что я вижу, с какой беспредельной для ее возраста силой она старается восстановить мои порванные связи с жизнью. Но благодарность тоже есть жизнь.

31 января. Это означало бы, что я живу ради матери. Но это не может быть верным, ибо, даже если бы я был чем-то бесконечно большим, чем я есть, я был бы все равно лишь посланцем жизни, пусть и ничем иным не связанным с нею, кроме как этим предначертанием.

Одним лишь негативным, каким бы сильным оно ни было, нельзя довольствоваться, как я думаю в свои самые несчастливые времена. Ибо, как только я взбираюсь на самую маленькую ступень, оказываюсь в какой-нибудь, пусть даже самой сомнительной, безопасности, я ложусь и жду, пока негативное не то что взберется за мной, а сорвет меня с этой малой ступени. Это своего рода оборонительный инстинкт, который не терпит во мне ни малейшего чувства длительной успокоенности и, например, разрушает супружеское ложе еще до того, как оно устроено.

1 февраля. Ничего, только усталость. Счастье ломового извозчика, который каждым вечером наслаждается так, как я сегодняшним, или еще больше. Скажем, вечером, лежа на печи. Человек чище, чем утром, время перед тем, как, усталый, засыпаешь, — это время настоящей свободы от призраков, все они изгнаны, лишь с продолжением ночи они возвращаются.

ся, к утру они уже все снова здесь, хотя и незримо, и вот здоровый человек снова принимается за их ежедневное изгнание.

С примитивной точки зрения настоящая, неопровержимая, решительно ничем (мученичеством, самопожертвованием ради другого человека) не искажаемая извне истина — только физическая боль. Странно, что главным богом в самых древних религиях не был бог боли (возможно, он стал им лишь в более поздних). Каждому больному — своего домашнего бога, легочному больному — бога удушья. Как можно вынести его приближение, если не быть с ним связанным еще до страшного соединения?

2 февраля. Борьба утром по дороге в Танненштайн, борьба при наблюдении за состязаниями по прыжкам на лыжах с трамплина. На маленького веселого Б., при всей его безобидности, все же как бы отбрасывают тень мои призраки, по крайней мере так я вижу его, в особенности эту выставленную вперед ногу в сером скатанном чулке, бессмысленно блуждающий взгляд, бессмысленные слова. Мне приходит в голову — но это уже натяжка, — что он хочет вечером проводить меня домой.

”Борьба” при изучении ремесла, наверное, была бы ужасной.

Достигнутый ”борьбой” возможный предел негативного приближает разрешение вопроса: сохранить себя или погибнуть в безумии.

Какое счастье быть вместе с людьми.

3 февраля. Бессонница, почти сплошная; измучен сновидениями, словно их выщарапывают на мне, как на неподдающемся материале.

Слабость, бессилие очевидны, но описать эту смесь робости, сдержанности, болтливости, безразличия трудно, я хочу описать нечто определенное, ряд слабостей, которые в известном смысле представляют собой одну поддающуюся точному определению слабость (она ничего общего не имеет с большими пороками, с такими, как лживость, тщеславие и т.д.). Эта слабость удерживает меня как от безумия, так и от любого взлета. За то, что она удерживает меня от безумия, я лелею ее; из страха перед безумием я жертвую взлетом, и, конечно же, в этой сделке, заключенной в области, никаких сделок не допускающей, я останусь в проигрыше. Если только не вмешается сонливость и своей отнимающей дни и ночи работой не разрушит все препятствия и не расчистит дорогу. Но тогда я опять отдамся во власть безумию, потому что я подавил в себе желание взлета, а взлет возможен только при желании взлететь.

4 февраля. Объят отчаянным холодом, измененное лицо, загадочные люди.

М. сказала, сама не вполне понимая (существует ведь и обоснованное печальное высокомерие) правду этих слов, о счастье, которое доставляет беседа с людьми. Но кого еще может так, как меня, порадовать беседа с людьми! Возвращаюсь к людям, вероятно, слишком поздно и странными обходными путями.

5 февраля. Спаситься от них. Каким-нибудь ловким прыжком. Сидеть дома, в тихой комнате, при свете лампы. Говорить об этом — неосторожно.

но. Это вызовет их из лесов — все равно что зажечь лампу, чтобы помочь напасть на след.

6 февраля. С утешением слушал рассказ о том, как кто-то служил в Париже, Брюсселе, Лондоне, Ливерпуле на бразильском пароходе, дошедшем по Амазонке до границы Перу, во время войны сравнительно легко перенес страшные муки зимней кампании, потому что он с детства привык к лишениям. Утешительна не только демонстрация таких возможностей, но и чувство наслаждения, что при успехах на первом уровне жизни одновременно завоевываешь многое, многое вырываешь из судорожно сжатых кулаков и на втором уровне. Значит, это возможно.

7 февраля. Защищен и истощен усилиями К. и Х.

8 февраля. В высшей степени издерган обоими, но все-таки жить так я действительно не смог бы, и это не жизнь, это подобно перетягиванию каната; другой при этом непрерывно работает и побеждает и все же никогда не перетягивает меня к себе, но все-таки это спокойное отупение, подобно тому, как было с В.

9 февраля. Потерял два дня, но те же два дня использовал для того, чтобы укорениться.

10 февраля. Без сна, лишенный малейшей связи с людьми, кроме той, которую они устанавливают сами и в возможность которой я на миг начинаю верить, как и во все, что они делают.

Новая атака со стороны Г. Совершенно ясно, яснее, чем что бы то ни было, что, когда меня слева и справа атакуют могущественные враги, я не могу уклониться ни вправо, ни влево — только вперед, голодное животное, там дорога к годной для тебя пище, к чистому воздуху, к свободной жизни, пусть даже по ту сторону жизни. Ты ведешь за собой толпы, огромный великий полководец, поведи же отчаявшихся через покрытые снегом, никому другому не видные горные перевалы. Но кто даст тебе силы?

Полководец стоял у окна разрушенной хибары и широко раскрытыми немигающими глазами смотрел на ряды шагавших мимо в снегу и тусклом лунном свете войск. Время от времени ему казалось, что кто-то из солдат выходил из колонны, останавливался у окна, прижимал лицо к стеклу, бросал беглый взгляд на него и шел дальше. Хотя каждый раз это был другой солдат, ему казалось, что это один и тот же, одно и то же скуластое лицо с толстыми щеками, круглыми глазами, обветренной желтоватой кожей и что каждый раз, проходя, он поправлял амуницию, передергивал плечами и перебирал ногами, чтобы снова попасть в такт с шагавшей на заднем плане колонной. Раздраженный этой игрой, полководец подкараулил очередного солдата, распахнул перед ним окно и схватил его за грудь. "А ну-ка, влезай сюда", — велел он ему забраться через окно. В комнате он загнал его в угол, встал перед ним и спросил: "Кто ты такой?" "Я никто", — испуганно ответил солдат. "Так я и думал, — сказал полководец. — Зачем ты заглядывал в окно?" "Хотел посмотреть, здесь ли ты еще".

12 февраля. Меня всегда отталкивала не та женщина, что говорила: "Я не люблю тебя", а та, что говорила: "Ты не можешь меня любить, как бы ты того ни хотел, ты, на свою беду, любишь любовь ко мне, любовь ко мне не любит тебя". Поэтому неправильно говорить, будто я познал слова "я люблю тебя", я познал лишь тишину ожидания, которую должны были нарушить мои слова "я люблю тебя", только это я познал, ничего другого.

Страх при катании на санках с гор, испуг, когда надо было пройти по скользкому снегу, короткий рассказ, прочитанный мною сегодня, снова вызвали мысль — она давно не приходила в голову, но всегда лежала на поверхности, — не является ли безумное своекорыстие, страх за себя, причем страх не за высокое "я", а страх за самое обыденное благополучие, причиной моей гибели — так, словно я сам вызвал из глубины моего существа мстителя (своеобразное: "правая рука не ведает, что творит левая"). В канцелярии все еще надеются, что моя жизнь начнется лишь завтра, между тем я у последней черты.

13 февраля. Возможность служить во всю силу.

14 февраля. Власть удобства надо мной, мое бессилие, когда я лишен его. Я не знаю никого, у кого и то и другое было бы столь сильно развито. Вследствие этого все, что я строю, ненадежно, непрочное, служанка, забывшая принести мне утром теплую воду, опрокидывает весь мой мир. При этом стремление к удобствам преследует меня с давних пор и не только отняло у меня силы переносить что-либо иное, но и силы создавать удобства, они сами создаются вокруг меня, или же я добиваюсь их мольбами, слезами, отказом от более важного.

15 февраля. Немножко пения внизу, немножко хлопанья дверью в коридоре — и все потеряно.

16 февраля. История о трещине в леднике.

18 февраля. Театральный директор, которому приходится создавать все самому, даже актеров. К нему не допускают посетителя — директор занят важными театральными делами. Какими? Меняет пленки будущему артисту.

19 февраля. Надежды?

20 февраля. Незаметная жизнь. Заметная неудача.

25 февраля. Письмо.

26 февраля. Я согласен — с чем согласен? с письмом? — что во мне есть возможности, явные возможности, которых я еще не знаю; но как найти дорогу к ним и, найдя ее, отважиться! То, что возможности существуют, значит очень много, это значит даже, что подлец может стать честным человеком, — счастливым своей честностью человеком.

Фантазии твоего полусна в последнее время.

27 февраля. Плохо спал после обеда, все изменилось, беда снова навалилась на меня.

28 февраля. Вид на башню и синее небо. Умиротворяет.

1 марта. "Ричард III". Обморок.

5 марта. Три дня в постели. Небольшое общество у постели. Поворот. Бегство. Полное поражение. Вечно запертая в комнатах мировая история.

6 марта. Снова серьезен и снова устал.

7 марта. Вчера был ужаснейший вечер, казалось, пришел конец.

9 марта. То была лишь усталость, но сегодня новый приступ, вызвавший испарину на лбу. Что, если сам собой задохнешься? Если из-за постоянного самонаблюдения отверстие, через которое ты впадаешь в мир, станет слишком маленьким или совсем закроется? Временами я совсем недалеко от этого. Текущая вспять река. В основном это происходит уже давно.

Отнять коня у атакующего и самому на нем поскакать. Единственная возможность. Но сколько сил и ловкости это требует! И как уже поздно!

Жизнь кустарника. Завидую счастливой, неистощимой и все же явно по необходимости (совсем как я) работающей, но всегда выполняющей все требования противника природе. И так легко, так музыкально.

Раньше, если у меня что-то болело и боль проходила, я был счастлив, теперь я испытываю лишь облегчение и горькое чувство: "Опять всего лишь здоров, не более того".

Где-то ждет помощь, и погонщики направляют меня туда.

13 марта. Чистое чувство и ясное понимание его источника. Вид детей, особенно одной девочки (прямая походка, короткие черные волосы) и другой (светловолосая, неопределенные черты, неопределенная улыбка), бодрящая музыка, маршевый шаг. Чувство человека в беде, который, когда приходит помощь, радуется не тому, что спасен — он вовсе не спасен, а тому, что пришли новые молодые люди, надежные, готовые вступить в бой, правда не ведающие, что им предстоит, но их неведение вызывает у того, кто смотрит на них, не чувство безнадежности, а восхищение, радость, слезы. Сюда примешивается и ненависть к тем, с кем предстоит бой...

15 марта. Возражения, взятые из книги: популяризация, причем сделанная с увлечением и — волшебством. Как он обходит опасности (Блюер⁵).

Спасти бегством в завоеванную страну и вскоре счесть ее невыносимой, ибо спастись бегством нельзя нигде.

Еще не родиться — и уже быть обреченным ходить по улицам и разговаривать с людьми.

20 марта. Разговор за ужином об убийце и казни. Никакой страх не ведом спокойно дышащей груди. Неведома разница между совершенным и задуманным убийством.

22 марта. После обеда. Сон про опухоль на щеке. Постоянно трепещущая грань между обычной жизнью и кажущимся более реальным ужасом.

24 марта. Как все подстерегает меня! Например, по дороге к врачу, часто именно там.

29 марта. В потоке.

4 апреля. Как длинна дорога от внутренней беды до сцены, подобной той, что разыгралась во дворе, и как короток обратный путь. И поскольку находишься на родине, уже никуда не денешься.

6 апреля. Уже два дня предчувствие, вчера приступ, дальнейшее преследование, великая сила врага. Один из поводов: разговор с матерью, шутки по поводу будущего.

Запланированное письмо к Милене.

Три эринии. Бегство в рощу. Милена.

7 апреля. Две картины и две терракоты на выставке. Сказочная принцесса (Кубин⁶), обнаженная, на диване, смотрит в открытое окно, пейзаж словно входит в комнату в манере пленэра, как на картине Швинда⁷.

Обнаженная девушка (Брудер⁸) немецко-богемского типа, в своей только ей присущей грации покоящаяся в объятиях возлюбленного, — благородно, убедительно, обольстительно.

Пич⁹: крестьянская девушка сидит, свесив ногу, ступня чуть повернута, наслаждается отдыхом; стоящая девушка, ее правая рука покоится на животе, обхватив тело, левая рука подпирает подбородок, плосконосое, простодушно-глубокомысленное, неповторимое лицо.

Письмо от Шторма.

10 апреля. Пять ведущих принципов для ада (в генетической последовательности).

1. "За окном самое страшное". Все остальное — ангелоподобно, с этим прямо или, при несогласии (что случается чаще), молчаливо соглашались.

2. "Ты должен обладать каждой девушкой!" — не по-донжуански, а, по слову черта, согласно "сексуальному этикету".

3. "Этой девушкой ты не смеешь обладать!" — и потому и не можешь. Небесная *fata morgana* в аду.

4. "Все это — лишь естественная потребность"; так как у тебя она есть, будь доволен.

5. "Естественная потребность — это все". Как можешь ты иметь все? Потому у тебя нет даже естественной потребности.

Юношей я был так неискушен и равнодушен в сексуальном плане (и очень долго оставался бы таким, если бы меня насильно не толкнули в область сексуального), как сегодня, скажем, в плане теории относительности. Меня удивляли только мелочи (и то лишь после должного обучения), например, что именно те женщины, которые на улице казались мне самыми красивыми и самыми нарядными, непременно должны быть дурными.

Вечная молодость невозможна; не будь даже другого препятствия, самонаблюдение сделало бы ее невозможной.

13 апреля. Страдание Макса. Утром в его конторе.

Днем перед церковью (пасхальное воскресенье).

Невысокая девушка — восемнадцати лет, нос, форма головы, светло-волосая, мельком видел профиль — выходила из церкви.

16 апреля. Страдание Макса. Прогулка с ним. Во вторник он уезжает.

27 апреля. Вчера девушка из "Маккаби¹⁰" в редакции "Самозащиты" говорит по телефону: "Přišla jsem ti pomoci"* . Чистый, нежный голос и язык.

Вскоре после этого открыл дверь М.

8 мая. Работа с плугом. Он глубоко врезается в землю и тем не менее идет легко. Или он только царапает землю. Или идет вхолостую с поднятым никчемным лемехом, с ним или без него — все равно.

Работа закрывается, как может закрыться нелеченая рана.

Разве это значит вести разговор, если один молчит и, чтобы поддержать видимость разговора, его пытаются заменить, то есть подражают ему, то есть пародируют его, то есть пародируют сами себя.

М. была здесь, больше не придет, вероятно, это умно и правильно, и все же, наверное, есть еще возможность, запертую дверь которой мы оба охраняем, чтобы она не открылась или, вернее, чтобы мы не открыли ее, ибо сама она не откроется.

12 мая. "Проповедник"¹¹. Беспрерывное разнообразие, и вдруг среди него на миг ослабевшее умение создавать вариации — это трогательно.

Из "Паломника Каманиты"¹²: "О дорогой, подобно тому, как человек, которого привезли с завязанными глазами из страны гандхарвов и затем отпустили в пустыню и его заносило на восток, или север, или юг, ибо он был привезен с завязанными глазами и с завязанными глазами был отпущен; но после того, как кто-то снял с его глаз повязку и сказал ему — "вон там живут гандхарвы, туда иди", — он, идя от селения к селению и спрашивая дорогу, наученный и вразумленный, добрался до родных

*"Я пришла тебе помочь" (чешск.).

гандхарвов, — тоже человек, который нашел на земле сей учителя и понял: к этой мирской суете я лишь до тех пор буду причастен, пока не найду спасения, и тогда я вернусь домой”.

Оттуда же: ”Пока он во плоти, его видят люди и боги, но, когда плоть его разрушает смерть, его не видят больше ни люди, ни боги. И даже природа, за всем следящая природа, не видит его больше: ослепил он око природы, бежал от нее, от злой”.

19 мая. Вдвоем он чувствует себя более покинутым, чем один. Если он с кем-нибудь вдвоем, этот второй хватает его и крепко держит его, беспомощного, в своих руках. Если он один, его хватает, правда, все человечество, но бесчисленные вытянутые руки запутываются одна в другой, и никто его не настигает.

20 мая. Масоны на Альтштедтер-ринг. Возможно, что всякая речь и учение истинны.

Маленькая, грязная, босоногая девочка бежит в коротком платьице, с развевающимися волосами.

23 мая. Неправильно, когда говорят о ком-нибудь: ему хорошо, он мало страдал; правильное было бы: он был таким, что с ним ничего не могло случиться; самое правильное: он все перенес, но все в один-единственный момент, — как могло с ним случиться что-нибудь еще, если вариации страдания в действительности или благодаря его могущественному слову полностью были исчерпаны.

5 июня. Похороны Мыслбека¹³.

Талант к ”штопке”.

23 июня. Плана¹⁴.

27 июля. Приступы. Вчера вечером прогулка с собакой. Tvř Sedlec*. Вишневая аллея у опушки леса, своей укромностью подобная комнате. Мужчина и женщина возвращаются с поля. Девушка в дверях конюшни в заброшенном дворе, словно борющаяся со своими большими грудями, невинно-внимательный звериный взгляд. Мужчина в очках везет тяжело нагруженную тележку с кормом, пожилой, немного горбатый, тем не менее держащийся из-за напряжения очень прямо, высокие сапоги, женщина с серпом, рядом с ним и позади него.

26 сентября. Два месяца ничего не записывал. С перерывами хорошее время, которым я обязан Оттле. В последние дни снова крах. В первый его день сделал в лесу своего рода открытие.

14 ноября. Вечером все время 37,6, 37,7. Сажу за письменным столом, ничего не получается, почти не выхожу на улицу. Тем не менее это тартюфство — жаловаться на болезнь.

*Крепость Седлец (чешск.).

18 декабря. Все время в постели. Вчера "Или — или"¹⁵.

1923

12 июня. Ужасы последнего времени, неисчислимые, почти непрерывные. Прогулки, ночи, дни, не способен ни на что, кроме боли.

И все-таки. Никакого "и все-таки", как бы испуганно и напряженно ты ни смотрела на меня, Крижановская, с открытки, стоящей предо мной.

Все более боязлив при писании. Это понятно. Каждое слово, повернутое рукою духов — этот взмах руки является их характерным движением, — становится копьем, обращенным против говорящего. Особенно такого рода замечания. И так до бесконечности. Одно только утешение: это случится, хочешь ты или нет. А если ты и хочешь, это поможет лишь совсем немного. Но вот что больше, чем утешение: у тебя тоже есть оружие.

Письмо отцу

Дорогой отец,

Ты недавно спросил меня, почему я говорю, что боюсь Тебя. Как обычно, я ничего не смог Тебе ответить, отчасти именно из страха перед Тобой, отчасти потому, что для объяснения этого страха требуется слишком много подробностей, которые трудно было бы привести в разговоре. И если я сейчас пытаюсь ответить Тебе письменно, то ответ все равно будет очень неполным, потому что и теперь, когда я пишу, мне мешает страх перед Тобой и его последствия и потому что количество материала намного превосходит возможности моей памяти и моего рассудка.

Тебе дело всегда представлялось очень простым, по крайней мере так Ты говорил об этом мне и — без разбора — многим другим. Тебе все представлялось примерно так: всю свою жизнь Ты тяжело трудился, все жертвовал детям, и прежде всего мне, благодаря чему я "жил припеваючи", располагал полной свободой изучать что хотел, не имел никаких забот о пропитании, а значит, и вообще забот; Ты требовал за это не благодарности — Ты хорошо знаешь цену "благодарности детей", — но по крайней мере хоть знака понимания и сочувствия; вместо этого я с давних пор прятался от Тебя — в свою комнату, в книги, в сумасбродные идеи, у полоумных друзей; я никогда не говорил с Тобой откровенно, в храм к Тебе не ходил, в Франценсбаде никогда Тебя не навещал и вообще никогда не проявлял родственных чувств, не интересовался магазином и остальными Твоими делами, навязал Тебе фабрику и потом покинул Тебя, поддерживал Отглу в ее упрямстве, для друзей я делаю все, а для Тебя я и пальцем не пошевеливаю (даже ни разу не принес Тебе билета в театр). Если Ты подытожишь свои суждения обо мне, то окажется, что Ты упрекаешь меня не в непорядочности или зле (за исключением, может быть, моего последнего плана женитьбы¹), а в холодности, отчужденности, неблагодарности. Причем упрекаешь Ты меня так, словно во всем этом виноват я, словно одним поворотом руля я мог бы все направить по другому пути, в то время как за Тобой нет ни малейшей вины, разве только та, что Ты был слишком добр ко мне.

Это Твое обычное суждение я считаю верным лишь постольку, поскольку тоже думаю, что Ты совершенно неповинен в нашем отчуждении. Но так же совершенно неповинен в нем и я. Сумей я убедить Тебя в этом, тогда возникла бы возможность — нет, не новой жизни, для этого мы оба слишком стары, — а хоть какого-то мира, и даже если Твои беспрестанные упреки не прекратились бы, они стали бы мягче.

Как ни странно, Ты в какой-то мере предчувствуешь, что я хочу тебе сказать. Так, например, Ты недавно сказал мне: "Я всегда любил тебя, хотя внешне не обращался с тобой так, как другие отцы, но это потому, что я не умею притворяться, как другие". Ну, в общем-то, отец, я никогда не сомневался в Твоем добром ко мне отношении, но эти Твои слова я считаю неверными. Ты не умеешь притворяться, это верно, но лишь на этом основании утверждать, что другие отцы притворяются, — значит или проявить не внемлющую никаким доводам нетерпимость, или — что, по моему мнению, соответствует действительности — косвенно признать, что между нами что-то не в порядке и повинен в этом не только я, но и Ты, хотя и невольно. Если Ты действительно так считаешь, тогда мы одинодушны.

Я, разумеется, не говорю, что стал таким, какой я есть, только из-за Твоего воздействия. Это было бы сильным преувеличением (и у меня даже есть склонность к такому преувеличению). Вполне возможно, что, вырасти я совершенно свободным от Твоего влияния, я тем не менее не смог бы стать человеком, который был бы Тебе по нраву. Я, наверное, все равно был бы слабым, робким, нерешительным, беспокойным человеком, не похожим ни на Роберта Кафку, ни на Карла Германна², но все же другим, не таким, какой я есть, и мы могли бы отлично ладить друг с другом. Я был бы счастлив, если бы Ты был моим другом, шефом, дядей, дедушкой, даже (но тут уже я несколько колеблюсь) тестем. Но именно как отец Ты был слишком сильным для меня, в особенности потому, что мои братья умерли маленькими, сестры родились намного позже меня, и потому мне пришлось выдержать первый натиск одному, а для этого я был слишком слаб.

Сравни нас обоих: я, говоря очень кратко, — Лёви³ с определенной кафковской закваской, но движимый не кафковской волей к жизни, к деятельности, к завоеванию, а присущими всем Лёви побуждениями, проявляющимися украдкой, робко, в другом направлении и часто вообще затухающими. Ты же, напротив, истинный Кафка по силе, здоровью, аппетиту, громкоговорению, красноречию, самодовольству, чувству превосходства над всеми, выносливости, присутствию духа, знанию людей, известной широте натуры — разумеется, со всеми свойственными этим достоинствам ошибками и слабостями, к которым Тебя приводит Твой темперамент и иной раз яростная вспыльчивость. Может быть, Ты не совсем Кафка в своем общем миропонимании, насколько я могу сравнить тебя с дядей Филиппом, Людвигом, Генрихом⁴. Это странно, и мне не вполне ясно, в чем тут дело. Ведь все они были более жизнерадостными, бодрыми, непринужденными, беззаботными, менее строгими, чем Ты. (Между прочим, тут я многое унаследовал от Тебя и слишком уж хорошо распорядился этим наследством, тем более что в моем характере не было тех необходимых противовесов, какими обладаешь Ты.) Но, с другой стороны, Ты в этом смысле тоже прошел через разные стадии, был, наверное, жизнерадостнее до того, как Твои дети, в особенности я, разочаровали Тебя и стали тяготить дома (когда приходили чужие, Ты становился дру-

гим), Ты и теперь, наверное, снова стал более жизнерадостным — ведь внуки и зять дали Тебе немного того тепла, которого не смогли дать дети, за исключением, может быть, Валли⁵. Во всяком случае, мы были столь разными и из-за этого различия столь опасными друг для друга, что если бы можно было заранее рассчитать, как я, медленно развивающийся ребенок, и Ты, сложившийся человек, станем относиться друг к другу, то можно предположить, что Ты должен был просто раздавить меня, что от меня ничего бы не осталось. Ну, этого-то не случилось, жизнь нельзя рассчитывать наперед, зато произошло, может быть, худшее. Но я снова и снова прошу Тебя не забывать, что я никогда ни в малейшей степени не считал Тебя в чем-либо виноватым. Ты воздействовал на меня так, как Ты и должен был воздействовать, только перестань видеть какую-то особую мою злонамеренность в том, что я поддался этому воздействию.

Я был робким ребенком, тем не менее я, конечно, был и упрямым, как всякий ребенок; конечно, мать меня баловала, но я не могу поверить, что был особенно неподатливым, не могу поверить, что приветливым словом, ласковым прикосновением, добрым взглядом нельзя было бы добиться от меня всего что угодно. По сути своей Ты добрый и мягкий человек (последующее этому не противоречит, я ведь говорю лишь о форме, в какой Ты воздействовал на ребенка), но не каждый ребенок способен терпеливо и безбоязненно доискиваться скрытой доброты. Ты воспитываешь ребенка только в соответствии со своим собственным характером — силой, криком, вспыльчивостью, а в данном случае все это представлялось Тебе еще и потому как нельзя более подходящим, что Ты стремился воспитать во мне сильного и смелого юношу.

Твои методы воспитания в раннем детстве я сейчас, разумеется, не могу точно описать, но я могу их себе приблизительно представить, судя по дальнейшему и по Твоему обращению с Феликсом⁶. Причем тогда все было значительно острее, Ты был моложе и потому энергичнее, необузданнее, непосредственнее, беспечнее, чем теперь, и, кроме того, целиком занят своим магазином, я мог видеть Тебя едва ли раз в день, и потому впечатление Ты производил на меня тем более сильное, что оно никогда не могло измельчиться до привычного.

Непосредственно мне вспоминается лишь одно происшествие детских лет. Может быть, Ты тоже помнишь его. Как-то ночью я все время скулил, прося пить, наверняка не потому, что хотел пить, а, вероятно, отчасти чтобы позлить вас, а отчасти чтобы развлечься. После того как сильные угрозы не помогли, Ты вынул меня из постели, вынес на балкон и оставил там на некоторое время одного, в рубашке, перед запертой дверью. Я не хочу сказать, что это было неправильно, возможно, другим путем тогда, среди ночи, нельзя было добиться покоя, — я только хочу этим охарактеризовать Твои методы воспитания и их действие на меня. Тогда я, конечно, сразу затих, но мне был причинен глубокий вред. По своему складу я так и не смог установить взаимосвязи между совершенно попятной для меня, пусть и бессмысленной, просьбой дать попить и неопишуемым ужасом, испытанным при выдворении из комнаты. Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, как огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, почти без всякой причины ночью может подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон, — вот, значит, каким ничтожеством я был для него.

Тогда это было только маловажное начало, но часто овладевающее мною сознание собственного ничтожества (сознание, в другом отношении,

благородное и плодотворное) в значительной мере является результатом Твоего влияния. Мне бы немножко ободрения, немножко дружелюбия, немножко возможности идти своим путем, а Ты загородил мне его, разумеется с самыми добрыми намерениями, полагая, что я должен пойти другим путем. Но для этого я не годился. Ты, например, подбадривал меня, когда я хорошо салютовал и маршировал, но я не годился в солдаты; или же Ты подбадривал меня, когда я был в состоянии плотно поесть, а то и пива выпить, или когда подпевал за другими непонятные мне песни, или бессмысленно повторял Твои излюбленные выражения, — но все это не относилось к моему будущему. И характерно, что даже и теперь Ты, в сущности, подбадриваешь меня лишь в том случае, когда дело затрагивает и Тебя, касается Твоего самолюбия, задетого мною (например, моим намерением жениться) или из-за меня (например, когда Пепа⁷ меня ругает). Тогда Ты подбадриваешь меня или напоминаешь о моих достоинствах, указываешь на хорошие партии, на которые я вправе рассчитывать, и безоговорочно осуждаешь Пепу. Не говоря о том, что в мои годы я почти уже глух к подбадриваниям, какой толк от них, если они раздаются, только когда речь идет не обо мне в первую очередь.

А ведь тогда, именно тогда мне во всем необходимо было подбадривание. Меня подавляла сама Твоя телесность. Я вспоминаю, например, как мы иногда раздевались в одной кабине. Я — худой, слабый, узкогрудый, Ты — сильный, большой, широкоплечий. Уже в кабине я казался себе жалким, причем не только в сравнении с Тобой, но в сравнении со всем миром, ибо Ты был для меня мерой всех вещей. Когда же мы выходили из кабины к людям, я, держась за Твою руку, маленький скелет, неуверенный, стоял посреди досок, боясь воды, неспособный перенять Твои приемы плавания, которые Ты с добрым намерением, но в действительности к моему глубокому посрамлению все время показывал мне, — тогда я впадал в полное отчаяние и весь мой горький опыт великолепно подтверждался этими минутами. Более сносно я чувствовал себя, когда Ты иной раз раздевался первым и мне удавалось остаться одному в кабине и до тех пор оттянуть позор публичного появления, пока Ты не возвращался наконец взглянуть, в чем дело, и не выгонял меня из кабины. Я был благодарен Тебе за то, что Ты, казалось, не замечал моих мучений, к тому же я был горд, что у моего отца такое тело. Кстати, различие между нами и сейчас примерно такое же.

Этому соответствовало и Твое духовное превосходство. Ты сам, собственными силами достиг так много, что испытывал безграничное доверие к собственным суждениям. В детстве меня это даже не так поражало, как впоследствии, в юности. Сидя в своем кресле, Ты управлял миром. Твои суждения были верными, суждения всякого другого — безумными, сумасбродными, *teschugge**, ненормальными. При этом Твоя самоуверенность была столь велика, что для Тебя не обязательно было быть последовательным, — Ты все равно не переставал считать себя правым. Случалось, что Ты не имел мнения по какому-нибудь вопросу, но это значило, что все возможные мнения касательно этого вопроса — все без исключения — неверны. Ты мог, например, ругать чехов, немцев, евреев, причем не только за что-то одно, а за все, и в конце концов никого больше не оставалось, кроме Тебя. Ты приобретал в моих глазах ту загадочность, какой обладают все тираны, чье право основано на их лично-

*Сумасшедший (*идиш*).

сти, а не на разуме. По крайней мере мне так казалось.

Однако Ты и в самом деле поразительно часто бывал прав по отношению ко мне, в разговоре это было само собою разумеющимся, ибо разговоров между нами почти не происходило, — но и в действительности. Однако и в этом не было ничего особенно непостижимого: ведь все мои мысли находились под Твоим тяжелым гнетом, в том числе и мысли, не совпадающие с Твоими, и в первую очередь именно они. Над всеми этими мнимо независимыми от Тебя мыслями с самого начала тяготело Твое неодобрение; выдержать его до полного и последовательного осуществления замысла было почти невозможно. Я говорю здесь не о каких-то высоких мыслях, а о любой маленькой детской затее. Стоило только увлечься каким-нибудь делом, загореться им, прийти домой и сказать о нем — и ответом были иронический вздох, покачивание головой, постукивание пальцами по столу: "А получше ты ничего не мог придумать?", "Мне бы твои заботы", "Не до того мне", "Ломаного гроша не стоит", "Тоже мне событие!". Конечно, нельзя было требовать от Тебя восторга по поводу каждой детской выдумки, когда Ты жил в хлопотах и заботах. Но не в том дело. Дело, скорее, в том, что из-за противоположности наших характеров и исходя из своих принципов Ты постоянно должен был доставлять такие разочарования ребенку, и эта противоположность постоянно углублялась, так что в конце концов она по привычке давала себя знать даже тогда, когда наши мнения совпадали; в конечном счете эти разочарования ребенка не оставались обычными разочарованиями, а, поскольку все было связано с Твоей всеопределяющей личностью, они задевали самую основу его души. Я не мог сохранить смелость, решительность, уверенность, радость по тому или иному поводу, если Ты был против или если можно было просто предположить Твое неодобрение; а предположить его можно было по отношению, пожалуй, почти ко всему, что бы я ни делал.

Это касалось как мыслей, так и людей. Достаточно было мне проявить хоть сколько-нибудь интереса к человеку — а из-за моего характера это случалось не очень часто, — как Ты, нисколько не щадя моих чувств и не уважая моих суждений, тотчас вмешивался и начинал поносить, чернить, унижать этого человека. Невинные, по-детски чистые люди, как, например, еврейский актер Лёви, должны были расплачиваться. Не зная его, Ты сравнил его с каким-то отвратительным паразитом, не помню уже с каким; а как часто Ты без всякого стеснения пускал в ход поговорку о собаках и блохах⁸ по адресу дорогих мне людей. Об актере я вспомнил здесь потому, что по поводу Твоих высказываний о нем я тогда записал: "Так говорит отец о моем друге (которого он совсем не знает) только потому, что он мой друг. Это я всегда смогу припомнить ему, когда он будет попрекать меня недостатком сыновней любви и благодарности". Мне всегда была непонятна Твоя полнейшая бесчувственность к тому, какую боль и стыд Ты был способен вызвать у меня своими словами и суждениями, казалось, Ты не имел представления о своей власти надо мной. Конечно, мои слова тоже нередко Тебя оскорбляли, но в таких случаях я всегда сознавал это, страдал, однако не мог совладать с собой, сдержаться и, едва выговорив слово, уже сожалел о сказанном. Ты же беспощадно бил своими словами, Ты никого не жалел ни тогда, ни потом, я был перед Тобой беззащитен.

И таким было все Твое воспитание. Мне кажется, у Тебя есть талант воспитателя; человеку Твоего склада Твое воспитание наверняка пошло

бы на пользу; он понимал бы разумность того, что Ты говорил бы ему, ни о чем больше не беспокоился бы и поступал бы в соответствии с этим. Для меня же в детстве все, что Ты выкрикивал мне, было прямо-таки небесной заповедью, я никогда не забывал этого, это оставалось для меня важнейшим мериллом оценки мира, прежде всего оценки Тебя самого, и вот тут Ты оказывался совершенно несостоятельным. Так как в детстве я встречался с Тобой главным образом во время еды, Твои уроки были большей частью уроками хороших манер за столом. Все, что ставится на стол, должно быть съедено, о качестве еды говорить не полагается, — однако Ты сам часто находил ее несъедобной, называл "жратвой", говорил, что "скотина" (кухарка) испоганила ее. Поскольку аппетит у Тебя был прекрасный и Ты любил все есть быстро, горячим, большими кусками, то и ребенок должен был торопиться, за столом царил угрюмая тишина, прерываемая наставлениями: "Сначала съешь, потом говори", "Быстрой, быстрой, быстрой", "Видишь, я давно уже съел". Кости грызть нельзя, а Тебе — можно. Чавкать нельзя, Тебе — можно. Главное, чтобы хлеб отрезали, а не отламывали; а то, что Ты отрезал его измазанным в соусе ножом, было неважно. Надо следить, чтобы на пол не падали крошки, — под Тобой же их оказывалось больше всего. За столом следует заниматься только едой — Ты же чистил и обрезал ногти, точил карандаши, ковырял зубочисткой в ушах. Отец, пойми меня, пожалуйста, правильно, само по себе все это совершенно незначительные мелочи, угнетающими для меня они стали лишь потому, что Ты, человек для меня необычайно авторитетный, сам не придерживался заповедей, исполнения которых требовал от меня. Тем самым мир делился для меня на три части: один мир, где я, раб, жил, подчиняясь законам, которые придуманы только для меня и которые я, неведомо почему, никогда не сумею полностью соблюсти; в другом мире, бесконечно от меня далеко, жил Ты, повелевая, приказывая, негодую по поводу того, что Твои приказы не выполняются; и, наконец, третий мир, где жили остальные люди, счастливые и свободные от приказов и повиновения. Я все время испытывал стыд: мне было стыдно и тогда, когда я выполнял Твои приказы, ибо они касались только меня; мне было стыдно и тогда, когда я упрямился — ибо как смел я упрямиться по отношению к Тебе! — или был не в состоянии выполнить их, потому что не обладал, например, ни Твоей силой, ни Твоим аппетитом, ни Твоей ловкостью, а Ты требовал всего этого от меня как чего-то само собой разумеющегося. Это, конечно, вызывало у меня наибольший стыд. Так складывались не мысли, но чувства ребенка.

Мое тогдашнее положение станет, может быть, понятнее, если я сравню его с положением Феликса. Ты и к нему относишься так же, более того, Ты даже применяешь к нему особенно ужасное средство воспитания: если во время еды он, по Твоему мнению, делает что-то неопрятно, Ты не довольствуешься тем, что говоришь, как мне: "Ну и свинья же ты", а еще добавляешь: "Сразу видно, что из Германнов". Или: "Точь-в-точь как твой отец". Ну, возможно — более точного слова, чем "возможно", тут не подберешь, — это и в самом деле не причинит Феликсу большого вреда, ибо хоть как дедушка Ты для него и много значишь, однако не всё на свете, как для меня; кроме того, у Феликса спокойный, в известной мере уже мужской характер: громовым голосом его, вероятно, можно смутить, но не подчинить на длительное время; к тому же он бывает с Тобой сравнительно редко, да и находится он под другими влияниями. Ты для него, скорее, соединение неких милых и забавных черт, из которых можно вы-

бирать те, что хочется. Для меня Ты не был забавным, я не мог выбирать из Твоих особенностей, я должен был принимать все.

Притом я не имел возможности высказаться, так как Ты никогда не умеешь спокойно говорить о чем-нибудь, с чем Ты не согласен или что исходит не от Тебя, — Твой властный темперамент не терпит этого. В последние годы Ты объясняешь это неврозом сердца; я не знаю, был ли Ты когда-нибудь иным, невроз сердца у Тебя лишь средство для более полного осуществления своего господства, так как мысль о нем должна подавить у окружающих последние возражения. Это, разумеется, не упрек, а только констатация факта. Возьмем, к примеру, Отглу. "С ней же невозможно разговаривать, она сразу сбивает тебя с толку", — говоришь Ты обычно, но в действительности она вовсе не хочет сбить Тебя с толку; Ты путаешь дело и человека: дело сбивает Тебя с толку, и Ты немедленно решаешь его, не выслушав человека; все, что удается потом сказать, еще больше раздражает, но никогда не переубеждает Тебя. Затем от Тебя можно лишь услышать: "Поступай как знаешь. По мне, ты вольна делать что хочешь. Ты совершеннолетняя. Разве я могу тебе советовать?" И все это с неприятной, хриплой нотой гнева и полнейшего осуждения, от которой я теперь только потому дрожу меньше, чем в детстве, что безграничное чувство детской вины частично заменилось пониманием нашей обоюдной беспомощности.

Невозможность спокойного общения имела еще и другое, в сущности, совершенно естественное последствие: я разучился разговаривать. Я бы, конечно, и без того не стал великим оратором, однако обычным беглым человеческим разговором я все же овладел бы. Но ты очень рано запретил мне слово. Твоя угроза: "Не возражать!" — и поднятая при этом рука сопровождают меня с незапамятных времен. Когда речь идет о Твоих собственных делах, Ты отличный оратор, а меня ты наделил запинаящейся, заикающейся манерой разговаривать, но и это было для Тебя слишком, в конце концов я замолчал, сперва, возможно, из упрямства, а затем потому, что при Тебе я не мог ни думать, ни говорить. И так как Ты был моим главным воспитателем, это сказывалось в дальнейшем во всей моей жизни. Вообще же Ты странным образом заблуждаешься, если думаешь, что я никогда не подчинялся Тебе. "Вечно все контра" — вовсе не было моим жизненным принципом по отношению к Тебе, как Ты думаешь и в чем упрекаешь меня. Напротив, если бы я меньше слушался Тебя, Ты наверняка больше был бы мною доволен. Но все Твои воспитательные меры точно достигли цели, мне ни на миг не удалось уклониться от Твоей хватки. И я — такой, какой я есть (отвлекаясь, конечно, от основ и влияния жизни), — я результат Твоего воспитания и моей покорности. То, что результат этот тем не менее Тебя оскорбляет, что произвольно Ты даже отказываешься признать его результатом Твоего воспитания, объясняется именно тем, что Твоя рука и мои данные так чужды друг другу. Ты говорил: "Не возражать!" — и хотел этим заставить замолчать во мне неприятные Тебе силы сопротивления, но Твое воздействие было для меня слишком сильным, я был слишком послушным, я полностью умолкал, прятался от Тебя и отваживался пошевелиться лишь тогда, когда оказывался так далеко от Тебя, что Твое могущество не могло меня достичь, во всяком случае непосредственно. Но вот Ты снова стоял передо мною, и Тебе все опять казалось "контра", в то время как то было лишь естественным следствием Твоей силы и моей слабости.

Твоими самыми действенными, во всяком случае для меня, неотрази-

мыми ораторскими средствами воспитания были: брань, угрозы, ирония, злой смех и — как ни странно — самооплакивание.

Я не помню, чтобы ты ругал меня прямо и явно ругательными словами. Да в этом не было и надобности, у Тебя было столько других средств, к тому же в разговорах дома и особенно в магазине ругательства в моем присутствии сыпались и на других в таком количестве, что подростком я бывал иногда почти оглушен ими, у меня не было никаких оснований не относить их к себе, так как люди, которых Ты ругал, были, конечно, не хуже меня и Ты, конечно, бывал ими не более недоволен, чем мною. И здесь тоже опять выступала на свет Твоя загадочная невинность и непогрешимость, Ты ругался без всякого стеснения, других же Ты порицал за ругань и запрещал ее.

Ругань Ты подкреплял угрозами, и они относились уже непосредственно ко мне. Мне было страшно, например, когда Ты кричал: "Я разорву тебя на части", хотя я и знал, что ничего ужасного после слов не последует (ребенком я, правда, этого не знал), но моим представлениям о Твоем могуществе почти соответствовала вера в то, что Ты в силах сделать и это. Страшно было и тогда, когда Ты с криком бегал вокруг стола, чтобы схватить кого-нибудь, — было ясно, что Ты не собирался никого хватать, но притворялся, что хочешь, и мать в конце концов для вида спасала кого-нибудь. И ребенку казалось, что благодаря Твоей милости ему сохранена жизнь, и он считал ее незаслуженным подарком от Тебя. Такого же свойства были и предрекания последствий непослушания. Когда я начинал делать что-то, что Тебе не нравилось, и ты грозил мне неудачей, благоговение перед Твоим мнением было столь велико, что неудача, пусть даже впоследствии, была неизбежной. Я терял уверенность в собственных действиях. Мною овладевали колебания, сомнения. Чем старше я становился, тем больше накапливалось материала, который Ты мог предъявить мне как доказательство моей ничтожности; постепенно Ты в известном смысле действительно оказывался правым. Я опять-таки остерегаюсь утверждать, что стал таким только из-за Тебя; Ты лишь усилил то, что было во мне заложено, но усилил в большой степени, потому что власть Твоя надо мною была очень велика и всю свою власть Ты пускал в ход.

Особенно Ты полагался на воспитание иронией, она и соответствовала больше всего Твоему превосходству надо мною. Наставление носило у Тебя обычно такую форму: "Иначе ты, конечно, не можешь это сделать? Тебе это, конечно, не под силу? На это у тебя, конечно, нет времени?" и тому подобное. Причем каждый такой вопрос сопровождался злой усмешкой на злом лице. В известной мере я чувствовал себя наказанным еще до того, как узнавал, что сделал что-то нехорошее. Задевали и выговоры, обращенные ко мне как к третьему лицу, когда я не удостоивался даже злого обращения; например, по виду Ты говорил матери, но по сути — мне, сидящему тут же: "От господина сына этого, конечно, не дождешься", и тому подобное. (Это потом привело к своего рода контригре, заключавшейся в том, что я, например, не осмеливался, а потом уже по привычке и не пытался даже обращаться непосредственно к Тебе с каким-либо вопросом в присутствии матери. Гораздо безопаснее для ребенка было спросить о Тебе сидящую возле Тебя мать; так, оберегая себя от неожиданностей, я спрашивал мать: "Как себя чувствует отец?") Конечно, случилось, что я полностью разделял злейшую иронию, а именно когда она касалась кого-нибудь другого, например Элли, с которой я годами

был в ссоре. Я торжествовал от злобы и злорадства, когда почти каждый раз за столом Ты говорил о ней: "Она обязательно должна сидеть за десять метров от стола, эта толстая девка" — и пытался вслед за этим зло, без малейшего следа дружелюбия или добродушия, а как ожесточенный враг, подчеркнуто передразнить ее, показывая, как отвратительно, на Твой взгляд, она сидит. Как часто Тебе приходилось повторять такие и похожие сцены, и как мало Ты достигал ими. Я думаю, причина в том, что гнев и злость уж очень не соответствовали поводу, их вызвавшему, не верилось, что такой гнев мог быть вызван таким пустяком, как неправильное сидение за столом, казалось, весь этот гнев уже раньше накопился в Тебе и что лишь случайно именно этот повод вызвал вспышку. Поскольку все были уверены, что повод так или иначе найдется, то незачем особенно следить за собой, а постоянные угрозы притупляли восприимчивость; в том, что бить не будут, мы почти уже не сомневались. Вот так я становился угрюмым, невнимательным, непослушным ребенком, все время готовым к бегству, чаще всего внутреннему. Страдал Ты, страдали мы. По-своему Ты был совершенно прав, когда со стиснутыми зубами и прерывистым смехом, впервые вызвавшим у ребенка представление об аде, Ты горько говорил (как недавно в связи с одним письмом из Константинополя): "Хороша компания!"

Когда Ты начинал во всеуслышание жалеть самого себя — что случилось так часто, — это приходило в полное противоречие с Твоим отношением к собственным детям. Признаюсь, что ребенком Твои жалобы оставляли меня совершенно безучастным, и я не понимал (лишь став старше, начал понимать), как можешь Ты вообще рассчитывать на сочувствие. Ты был таким гигантом во всех отношениях; зачем Тебе наше сочувствие, тем более помощь? Ее Ты должен бы, в сущности, презирать, как часто презирал нас. Потому я не верил жалобам и гадал, какое тайное намерение скрывается за ними. Лишь позднее я понял, что Ты действительно очень страдал из-за детей, но в ту пору, когда самооплакивание при других обстоятельствах могло бы еще вызвать детское, открытое, доверчивое чувство, готовность прийти на помощь, оно неизбежно казалось мне лишь новым и откровенным средством воспитания и унижения, — само по себе оно не было очень сильным, но его побочное действие состояло в том, что ребенок привыкал не слишком серьезно относиться как раз к тому, к чему должен был относиться серьезно.

К счастью, случались и исключения, большей частью тогда, когда Ты страдал молча, и любовь и доброта силой своей преодолевали во мне все препятствия и захватывали все существо. Редко это случалось, правда, но зато это было чудесно. В прежнее время, например, когда я заставал Тебя жарким летом после обеда в магазине усталым, вздремнувшим у конторки; или когда Ты во время тяжелой болезни матери, сотрясаясь от рыданий, держался за книжный шкаф; или когда Ты во время моей последней болезни зашел ко мне в комнату Оттлы, остановился на пороге, вытянул шею, чтобы увидеть меня в кровати, и, не желая меня тревожить, только помахал мне рукой. В таких случаях я ложился и плакал от счастья, плачу и теперь, когда пишу об этом.

У Тебя особенно красивая, редкая улыбка — тихая, спокойная, доброжелательная, она может совершенно осчастливить того, к кому она относится. Я не помню, чтобы когда-нибудь в детстве она явственно была обращена ко мне, но, наверное, так бывало, ибо зачем бы Ты тогда стал отказывать мне в ней, я ведь казался Тебе еще невинным и был Твоей ве-

ликой надеждой. Впрочем, такие приятные впечатления с течением времени тоже только усилили мое чувство вины и сделали мир еще более неприятным для меня.

Лучше уж держаться действительного и постоянного. Чтобы хоть сколько-нибудь самоутвердиться по отношению к Тебе, отчасти и из своего рода мести, я скоро начал следить за смешными мелочами в Тебе, собирать, преувеличивать их. Например, как легко Тебя ослеплял блеск имен большей частью лишь мнимо высокопоставленных особ, Ты мог все время рассказывать о них, скажем о каком-то кайзеровском советнике или о ком-то в этом роде (с другой стороны, мне причиняло боль, что Тебе, моему отцу, кажется, будто Тебе нужны подобного рода ничтожные подтверждения Твоей значительности, и Ты хвастаешься ими). Или я замечал Твое пристрастие к непристойностям, которые Ты произносил очень громко и по поводу которых смеялся так, словно сказал что-то удивительно меткое, на самом же деле то была просто плоская, мелкая непристойность (правда, вместе с тем это было опять-таки посрамляющее меня проявление Твоей жизненной силы). Разумеется, различных наблюдений такого рода было множество; я радовался им, они давали мне повод для шушуканья и шуток, иногда Ты замечал это, сердился, считал это злостью, непочтительностью, но, поверь мне, это было для меня не чем иным, как средством самосохранения, впрочем непригодным, то были шутки, какие позволяют себе по отношению к богам и королям, — шутки не только совместимые с глубочайшей почтительностью, но даже составляющие часть ее.

Между прочим, Ты тоже, находясь по отношению ко мне в сходном положении, прибегал к своего рода самообороне. Ты имел обыкновение напоминать, как чрезмерно хорошо мне жилось и как хорошо ко мне, в сущности, относились. Это верно, но я не думаю, что при сложившихся условиях это существенно помогало мне.

Верно, мать была безгранично добра ко мне, но все это для меня находилось в связи с Тобой, следовательно — в недоброй связи. Мать невольно играла роль загонщика на охоте. Если упрямство, неприязнь и даже ненависть, вызванные во мне Твоим воспитанием, каким-то невероятным образом и могли бы помочь мне стать на собственные ноги, то мать сглаживала все добротой, разумными речами (в сумятице детства она представлялась мне воплощением разума), своим заступничеством, и снова я оказывался загнанным в Твой круг, из которого иначе, возможно, и вырвался бы, к Твоей и своей пользе. Бывало, что дело не заканчивалось настоящим примирением, мать просто втайне от Тебя защищала меня, втайне что-то давала, что-то разрешала, — тогда я снова оказывался перед Тобой преступником, сознающим свою вину, обманщиком, который по своему ничтожеству лишь окольными путями может добиться даже того, на что имеет право. Естественно, потом я привык добиваться таким путем уже и того, на что я, даже по собственному мнению, права не имел. А это тоже усиливало чувство вины.

Правда и то, что Ты вряд ли хоть раз по-настоящему побил меня. Но то, как Ты кричал, как наливалось кровью Твое лицо, как торопливо Ты отстегивал подтяжки и вешал их на спинку стула, — все это было для меня даже хуже. Вероятно, такое чувство у приговоренного к повешению. Если его действительно повесят, он умрет, и все кончится. А если ему придется пережить все приготовления к казни и, только когда перед его лицом уже повиснет петля, он узнает, что помилован, он может страдать всю жизнь.

Кроме того, из множества случаев, когда я, по Твоему мнению, явно заслуживал порки, но по Твоей милости был пощажён, снова рождалось чувство большой вины. Со всех сторон я оказывался кругом виноват перед Тобой.

С давних пор Ты упрекал меня (и с глазу на глаз, и при посторонних, — унижительность последнего обстоятельства Ты никогда не принимал во внимание, дела Твоих детей всегда обсуждались при всех), что благодаря Твоему труду я жил, не испытывая никаких лишений, в покое, тепле, изобилии. Я вспоминаю Твои замечания, которые оставили в моем мозгу настоящие борозды: "А я семи лет от роду ходил с тележкой по деревням", "Мы все спали в одной комнате", "Мы были счастливы, когда имели картошку", "Из-за нехватки зимней одежды у меня годами были на ногах открытые раны", "Я был мальчиком, когда меня отдали в Пизек в лавку", "Из дома я ничего не получал, даже во время военной службы, я сам посылал деньги домой", "И все-таки, и все-таки — отец для меня всегда был отцом. Кто теперь так относится к отцам? Что знают дети? Они же ничего не испытали! Разве теперешний ребенок это поймет?". При других условиях такие рассказы могли бы стать отличным средством воспитания, могли бы придать бодрости и сил, чтобы выдержать такие же беды и лишения, какие перенес отец. Но Ты вовсе не хотел этого, благодаря Твоим усилиям положение семьи изменилось, возможности отличиться таким же образом, как Ты, отпали. Такую возможность можно было бы создать лишь насильственно, переворотом, нужно было бы вырваться из дома (при условии, что нашлось бы достаточно решимости и силы для этого и мать со своей стороны не противодействовала бы своими средствами). Но этого Ты вовсе не хотел, Ты называл бы это неблагодарностью, сумасбродством, непослушанием, предательством, сумасшествием. В то время как, с одной стороны, Ты, приводя примеры, рассказывая, стыдя, побуждал к этому, Ты, с другой стороны, строжайше это запрещал. Иначе ведь Тебя должна была бы восхитить затея Оттлы в Цюрау⁹, если отвлечься от сопутствующих обстоятельств. Она стремилась в деревню, из которой Ты родом, она хотела работы и лишений — того же, что перенес Ты, она не хотела пользоваться плодами Твоих трудов, хотела быть, как и Ты, независимой от своего отца. Разве это такие уж страшные намерения? Такие далекие от Твоих примеров и поучений? Пусть намерения Оттлы в конечном счете не увенчались успехом, она пыталась осуществить их, может быть, немножко нелепо, слишком шумно, она не в достаточной мере посчиталась со своими родителями. Но разве в том была только ее вина? Не повинны ли были и обстоятельства, прежде всего то, что Ты был так отчужден от нее? Разве в магазине она была Тебе менее чуждой (как Ты потом сам хотел себя уговорить), чем позднее в Цюрау? И разве не в Твоей власти было (при условии, если б Ты мог побороть себя) подбодрить ее, дать совет, присмотреть за ней, а может, даже просто проявить терпение, чтобы эта затея обернулась благом?

После таких уроков Ты обычно горько шутил, что нам слишком хорошо живется. Но эта шутка в известном смысле не шутка. То, за что Ты должен был бороться, мы получили из Твоих рук, но борьбу за жизнь во внешнем мире, которая Тебе давалась легко и которой, разумеется, не миновали и мы, — эту борьбу мы должны были вести позднее, в зрелом возрасте, но детскими силами. Я не утверждаю, что из-за этого мы оказались в более тяжком, чем Ты, положении — мы были, вероятно, в равном положении (при этом я, конечно, не сравниваю исходные позиции), —

мы в невыгодном положении лишь в том смысле, что не можем хвастаться своими бедами и никого не можем унижить ими, как это делал Ты. Я не отрицаю, что я действительно мог бы по-настоящему воспользоваться плодами Твоих больших и успешных трудов, употребить их во благо и приумножить, к Твоей радости, но этому помешало наше отчуждение. Я мог пользоваться тем, что Ты давал, но лишь испытывая чувство стыда, усталость, слабость, чувство вины. Потому я могу благодарить Тебя за все только как нищий, но не делом.

Другой внешний результат такого воспитания — я стал избегать всего, что хотя бы отдаленно напоминало о Тебе. Прежде всего магазина. Сам по себе, в особенности в детстве, до тех пор пока это был просто магазин в переулке, он должен был бы меня очень радовать: ведь он был таким бойким местом, светился по вечерам огнями, там можно было многое увидеть и услышать, в чем-то помочь, отличиться, но главное — восхищаться Тобою, Твоим великолепным коммерческим талантом, тем, как Ты торговал, обращался с людьми, шутил, был неутомим, тотчас же находил решение в сложных случаях, и так далее; и еще: то, как Ты упаковывал покупки или открывал ящик, было достопримечательным зрелищем и все вместе в целом — совсем неплохой школой для ребенка. Но так как Ты постепенно все больше и больше начинал пугать меня, а магазин и Ты для меня сливались воедино, мне и в магазине становилось не по себе. То, что поначалу казалось мне там нормальным, мучило, смущало меня, в особенности Твое обращение со служащими. Не знаю, может быть, в большинстве мест оно было таким же (в Assicurazioni Generali, например, оно в мое время действительно было схожим, свой уход оттуда я объяснил директору — не совсем согласно с истиной, но и не совсем лживо — тем, что не могу выносить ругань, которая, впрочем, непосредственно ко мне и не относилась; я был в таких делах болезненно чувствительным еще с детства), но другие места в годы детства меня не заботили. В нашем же магазине я слышал и видел, что Ты кричишь, ругаешься и неистовствуешь, как, по тогдашним моим представлениям, никто больше в мире не поступает. И дело не только в ругани, но и в тиранстве. Когда Ты, например, одним движением сбрасывал с прилавка товары, которые не следовало мешать с другими, — только безрассудство Твоего гнева немножко извиняло Тебя, — а приказчик должен был их поднимать. Или Твое постоянное выражение по адресу одного приказчика с больными легкими: "Пусть он сдохнет, этот хворый пес". Ты называл служащих "оплаченными врагами", они и были ими, но еще до того, как они ими стали, Ты уже казался мне их "платящим врагом". Там я получил и великий урок того, что Ты можешь быть неправым; если бы дело касалось одного меня, я бы не так скоро это заметил, ибо во мне слишком сильно было чувство собственной вины, которое оправдывало Тебя; но там, по моему детскому разумению — позднее, правда, несколько, но не слишком сильно подправленному, — были чужие люди, которые ведь работали на нас и за это почему-то должны были жить в постоянном страхе перед Тобой. Конечно, и преувеличивал, ибо был уверен, что Ты внушаешь им такой же ужас, как и мне. Если бы было так, они действительно не могли бы жить, но, поскольку они были взрослыми людьми с превосходными, как правило, нервами, ругань легко от них отскакивала и в конечном счете причиняли гораздо больший вред Тебе, чем им. Для меня же все это делало магазин невыносимым, так как слишком сильно напоминало мое отношение к Тебе: не говоря уж о Твоей предприимчивости и властолюбии, Ты

как коммерсант настолько превосходил всех, кто когда-либо учился у Тебя, что никакие результаты их работы не могли Тебя удовлетворить, примерно так же и я должен был вызывать Твое недовольство. Поэтому я, естественно, принимал сторону твоих служащих, кстати, еще и потому, что по своей робости не понимал, как можно так ругать чужого человека, и по робости же пытался как-то примирить страшно возмущенных, как мне казалось, служащих с Тобой, с нашей семьей, хотя бы ради собственной безопасности. Для этого мне было уже недостаточно вести себя просто вежливо, скромно, — следовало быть смиренным, приветствовать не только первым, но и по возможности не допускать, чтобы приветствовали меня; даже если бы внизу я, лицо незначительное, стал лизать им ноги, это не искупило бы того, что наверху на них набрасывался Ты, хозяин. Отношения, в которые я здесь вступал с окружающими, оказывали свое воздействие за пределами магазина и в будущем (нечто подобное, но не столь опасное и глубокое, как у меня, заключено, например, в пристрастии Оттлы к общению с бедными, в раздражающих Тебя добрых отношениях с прислужгой). В конце концов я начал почти бояться магазина, и, во всяком случае, он давно уже перестал быть моим делом, еще до того, как я поступил в гимназию и тем самым еще больше отдалился от него. К тому же заниматься им представлялось мне совершенно непосильным, раз уж он, как Ты говорил, истощил даже Твои силы. В моем отвращении к магазину, к Твоему детищу — отвращении, причиняющем Тебе такую боль, — Ты все же пытался (теперь это трогает меня и вызывает чувство стыда) найти немножко улады для себя, утверждая, что я лишен коммерческих способностей, что у меня в голове более высокие идеи и тому подобное. Мать, конечно, радовалась этому объяснению, которое Ты против воли выдавливал из себя, и я в своем тщеславии и безысходности тоже поддавался ему. Но если б действительно или преимущественно "высокие идеи" отвлекали меня от магазина (который я теперь, только теперь, и в самом деле честно ненавижу), они должны были бы найти свое выражение в чем-то ином, а не в том, чтобы позволить мне спокойно и смиренно проплыть через гимназию и изучение права и прибиться в конце концов к чиновничьему письменному столу.

Бежать от Тебя — значило бы бежать и от семьи, даже от матери. Правда, у нее всегда можно было найти защиту, но и на защите этой лежал Твой отпечаток. Слишком сильно она любила Тебя, слишком была предана Тебе, чтобы более или менее долго играть самостоятельную роль в борьбе ребенка. Кстати, это детское инстинктивное ощущение оказалось верным, ибо с течением лет мать все теснее сближалась с Тобой; деликатно и мягко, никогда не нанося Тебе серьезной обиды, она в том, что касалось ее самой, тщательно оберегала свою независимость, но вместе с тем с годами она все более полно, скорее чувством, нежели разумом, слепо перенимала Твои суждения касательно детей и их осуждения, в особенности в трудном, правда, случае с Оттлой. Конечно, всегда надо помнить, каким мучительным и крайне изнуряющим было положение матери в семье. Ее изматывали магазин, домашнее хозяйство, все хвори в семье она переносила вдвойне тяжело, но венцом всего были страдания, причиняемые ей тем промежуточным положением, которое она занимала между нами и Тобой. Ты всегда относился к ней любовно и внимательно, но в этом отношении Ты щадил ее столь же мало, как и мы. Беспощадно накидывались мы на нее, Ты — со своей стороны, мы — со своей. Это было как бы отвлечением, никто ни о чем плохом не помышлял, думали только

о борьбе, которую Ты вел с нами, которую мы вели с Тобой, а отыгрывались мы на матери. То, как Ты из-за нас мучил ее — разумеется, неосознанно, — вовсе не было достойным вкладом в воспитание детей. Это даже как бы оправдывало наше к ней отношение, другого оправдания не имевшее. Чего только не приходилось ей терпеть от нас из-за Тебя и от Тебя из-за нас, не говоря уже о тех случаях, когда ты был прав, потому что она баловала нас, хотя даже и это "баловство", быть может, иной раз являлось лишь тихим, неволевым протестом против Твоей системы. Конечно, мать не могла бы вынести всего этого, если бы не черпала силы в любви ко всем нам и в счастье, даруемом этой любовью.

Сестры лишь отчасти стояли на моей стороне. Больше всего посчастливилось в отношениях с Тобой Валли. Она была ближе всех к матери и, подобно ей, приспосабливалась к Тебе без особого труда и урона. И сам Ты тоже, именно памятуя о матери, относился к ней дружелюбнее, хотя кафковской закваски в ней было мало. Но может быть, как раз это и устраивало Тебя; где не было ничего кафковского, там даже Ты не мог этого требовать; у Тебя не было чувства, будто здесь, в отличие от нас, теряется нечто такое, что следует непременно спасти. Впрочем, Ты, кажется, никогда особенно не любил кафковское в женщинах. Отношение Валли к Тебе, возможно, стало бы даже еще более дружелюбным, если бы мы, остальные, не препятствовали немножко этому.

Элли — единственный пример почти удавшейся попытки вырваться из-под Твоего влияния. В детстве я меньше всего мог ожидать этого. Ведь она была таким неуклюжим, вялым, боязливым, угрюмым, пришибленным сознанием своей вины, безропотным, злым, ленивым, охочим до лакомств, жадным ребенком. Я не мог видеть ее, не то что говорить с ней, настолько она напоминала мне меня самого, настолько сильно она находилась под воздействием того же воспитания. Особенно отвратительна для меня была ее жадность, потому что сам я был, кажется, еще более жадным. Жадность — один из вернейших признаков того, что человек глубоко несчастен; я настолько был не уверен во всех окружавших меня предметах, что в действительности владел только тем, что держал в руках или во рту или что собирался отправить туда, и именно это она всего охотнее отбирала у меня, — она, находившаяся в подобном же положении. Но все изменилось, когда она совсем юной — и это главное — покинула дом, вышла замуж, родила детей, — она стала жизнерадостной, беззаботной, смелой, щедрой, бескорыстной, полной надежд. Почти невероятно, как Ты мог совершенно не заметить этого изменения и, во всяком случае, не оценить его по достоинству, — в такой степени Ты был ослеплен злобой, которую издавна питал к Элли и которая, по сути, осталась неизменной, с той лишь разницей, что злоба в значительной мере потеряла актуальность, так как Элли не живет больше у нас, и, кроме того, Твоя любовь к Феликсу и симпатии к Карлу отодвинули эту злобу на задний план. Лишь Герти¹⁰ должна еще иногда расплачиваться за нее.

Об Оттле я едва решаюсь писать; я знаю — этим самым я ставлю на карту все действие письма, на которое надеялся. При обычных обстоятельствах, то есть когда она не находилась, скажем, в беде или опасности, Ты испытывал к ней только ненависть; Ты ведь сам признавался мне, что, по Твоему мнению, она намеренно причиняет Тебе постоянно страдания и неприятности, и, когда Ты из-за нее страдаешь, она довольна и весела. В общем, своего рода дьявол. Какое же чудовищное отчуждение, еще большее, нежели между Тобой и мной, должно было возникнуть между Тобой

и ею, чтобы стало возможным такое чудовищное заблуждение. Она так далека от Тебя, что Ты видишь уже не ее, а призрак, который ставишь на то место, где предполагаешь ее присутствие. Я признаю, что она доставляла Тебе особенно много забот. Я не вполне понимаю, в чем тут дело, — случай трудный, но тут, безусловно, разновидность Лёви, оснащенная лучшим кафковским оружием. Между мной и Тобой не было настоящей борьбы; Ты быстро справился со мной, и мне оставались лишь бегство, горечь, грусть, внутренняя борьба. Вы же оба всегда находились в боевой позиции, всегда свежие, полные сил. Столь же внушительная, сколь и безотрадная картина. Прежде всего вы, конечно, были очень близки друг другу — ведь и сегодня из всех нас четверых Оттла, пожалуй, самое полное воплощение союза между Тобой и матерью и сочетавшихся в нем сил. Я не знаю, что лишило вас счастья единения, какое должно существовать между отцом и ребенком, я могу только думать, что дело развивалось здесь подобно тому, как у меня. С Твоей стороны — деспотия, свойственная Твоей натуре, с ее стороны — присущие Лёви упрямство, впечатлительность, чувство справедливости, возбудимость, и все это опирается на сознание кафковской силы. Возможно, и я оказывал на нее влияние, но вряд ли сознательно, скорее самым фактом своего существования. Впрочем, она последней вошла в круг уже сложившихся взаимоотношений и могла вынести им свой приговор на основании множества уже существовавших данных. Я даже могу себе представить, что по натуре своей она некоторое время колебалась, решая, броситься ли ей в объятия к Тебе или к противникам; очевидно, Ты тогда упустил что-то и оттолкнул ее, но, будь то возможно, вы стали бы великолепной парой единомышленников. Я, правда, лишился бы союзника, но ваше единение щедро вознаградило бы меня, к тому же, найди Ты хоть в одном своем ребенке полное удовлетворение, Ты в беспредельном счастье своем очень изменился бы и мне на пользу. Сегодня все это, конечно, лишь мечта. У Оттлы нет никакой близости с отцом, она, как и я, вынуждена искать свою дорогу в одиночестве, а из-за того избытка надежд, уверенности в своих силах, решительности, здоровья, которым она обладает по сравнению со мной, она кажется Тебе более злой, более способной на предательство. Я это понимаю; с Твоей точки зрения, она и не может быть другой. Да она и сама в состоянии смотреть на себя Твоими глазами, сочувствовать Твоим страданиям и при этом не отчаиваться (отчаяние — мой удел), а очень грустить. Это, казалось бы, не вяжется со всем остальным, но Ты часто видишь нас вместе, мы шепчемся, смеемся, порой Ты слышишь свое имя. У Тебя создается впечатление, будто перед Тобой дерзкие заговорщики. Станные заговорщики! Ты, конечно, с давних пор — главная тема наших разговоров, как и наших размышлений, но встречаемся мы вовсе не для того, чтобы плести заговор против Тебя, а для того, чтобы по-всякому — шутя, всерьез, с любовью, упрямо, гневно, с неприязнью, покорностью, сознанием вины, напрягая все силы ума и сердца, во всех подробностях, со всех сторон, по всякому поводу, с далекого и близкого расстояния — обсуждать ту страшную тяжбу, которая ведется между нами и Тобой, тяжбу, в которой Ты упорно продолжаешь считать себя судьей, тогда как Ты, по крайней мере в большинстве случаев (здесь я оставляю открытым вопрос о всех ошибках, которые я, конечно, могу совершить), столь же слабая и ослепленная сторона, как и мы.

Поучительный пример Твоего воспитательного воздействия — Ирма¹. С одной стороны, она все же чужая, поступила в Твой магазин уже взрос-

лой, имела дело с Тобой главным образом как с хозяином, то есть подверглась Твоему влиянию лишь частично и уже в том возрасте, когда сила сопротивления достаточно велика; с другой стороны, она, все же близкая родственница, почитала в Тебе брата своего отца, и Ты обладал над нею властью большей, нежели власть хозяина. И тем не менее она — при всей своей физической слабости — такая дельная, умная, прилежная, скромная, достойная доверия, бескорыстная, преданная, любящая Тебя как дядю и восхищающаяся Тобой как хозяином, хорошо справлявшаяся и прежде и потом с другой работой — оказалась для Тебя недостаточно хорошей служащей. Она относилась к Тебе — разумеется, не без нашей помощи — примерно так же, как Твои дети, и столь велика была над нею сокрушающая власть Твоей натуры, что в ней начали развиваться (правда, только по отношению к Тебе и, надо надеяться, не причиняя ей глубоких страданий) забывчивость, нерадивость, юмор висельника, может быть, даже некоторое упрямство, насколько она вообще была способна к этому; она была болезненна и, вообще-то, не очень счастлива, а безотрадная домашняя обстановка тяжко угнетала ее. Свое порожденное разными взаимосвязями отношение к ней Ты выразил в одной фразе, ставшей для нас классической, почти богохульной, но очень показательной для того, сколь невинен Ты был в своем отношении к людям: "Хорошенькое свинство оставила мне в наследство наша святоша".

Я мог бы коснуться еще многих сфер Твоего влияния и борьбы против него, но здесь я чувствую себя уже менее уверенным и мне пришлось бы что-то додумывать; кроме того, чем больше Ты отдаляешься от магазина и семьи, тем дружелюбнее, мягче, предупредительней, внимательней, участливей (я имею в виду также и внешне) Ты становишься, так же как, например, самодержец, находящийся за пределами своей страны, не имеет возможности тиранствовать и потому напускает на себя добродушие в обращении даже с самыми ничтожными людьми. На групповых снимках во Франценсбаде Ты, например, и впрямь всегда стоишь среди маленьких угрюмых людей такой большой, приветливый, точно путешествующий король. Конечно, дети тоже могли бы извлечь из этого пользу, если бы только сумели — что было невозможно — еще в детстве понять это и если бы я, к примеру, не вынужден был постоянно жить в теснейшем, жестком, сдавливающем кольце Твоего влияния, что и было в действительности.

Я не только утратил из-за этого чувство семьи, как Ты говоришь, скорее, у меня возникло чувство к семье — правда, главным образом отрицательное, стремление (которое обречено на постоянство) внутренне отделиться от Тебя. Мои отношения с людьми за пределами семейного круга пострадали от Твоего влияния еще сильнее, если это только возможно. Ты совершенно заблуждаешься, считая, что для других людей я из любви и преданности делаю все, а для Тебя и семьи из-за равнодушия и измены не делаю ничего. В десятый раз повторяю: я бы, наверное, все равно стал нелюдимым и робким, но отсюда еще долгий, туманный путь туда, где я оказался в действительности. (До сих пор я в письме намеренно умалчивал сравнительно о немногом, теперь же и далее мне придется умалчивать кое о чем, чего — признаюсь перед Тобой и собой — мне еще слишком тяжело касаться. Я говорю это для того, чтобы Ты, если общая картина местами станет неотчетливой, не подумал, будто виной тому недостаток доказательств, — напротив, у меня есть такие доказательства, которые могли бы сделать картину невыносимо резкой. Очень нелегко держать здесь середины.) Впрочем, достаточно напомнить о прошлом: я потерял

веру в себя, зато приобрел безграничное чувство вины. (Памятка об этой безграничности, я однажды правильно о ком-то написал: "Он боится, что позор переживет его"¹².) Я не мог внезапно меняться, когда встречался с другими людьми, скорее, я испытывал перед ними еще более глубокое чувство вины, ибо я ведь должен был, как уже говорит, исправлять то зло, которое Ты причинял им в своем магазине при моем соучастии. Кроме того, каждого, с кем я общался, Ты открыто или тайно в чем-нибудь упрекал, — также и за то мне нужно было добиваться прощения. Недоверие к большинству людей, которое Ты пытался внушить мне в магазине и дома (назови мне хоть одного человека, имевшего какое-то значение для меня в детстве, кого Ты не уничтожал бы своей критикой) и которое странным образом не особенно тяготило Тебя (у Тебя было достаточно сил, чтобы выносить такое недоверие, кроме того, оно было, возможно, всего лишь символом властителя), — это недоверие, которое в моих детских глазах ни в чем не получало подтверждения, так как вокруг я видел лишь недосыгаемо прекрасных людей, превращалось для меня в недоверие к самому себе и постоянный страх перед всеми остальными. Тут уж я наверняка не мог спастись от Тебя. Твои заблуждения в этом вопросе основаны, возможно, на том, что, в сущности, Ты ведь ничего и не знал о моих связях с людьми и недоверчиво и ревниво (разве я отрицаю, что Ты любил меня?) считал, что я где-то восполняю то, чего лишен дома, ибо невозможно ведь и вне дома жить точно так же. Впрочем, как раз в детстве именно недоверие к собственному мнению давало мне известное утешение. Я говорил себе: "Ты, конечно, преувеличиваешь, раздуваешь мелочи, как всегда бывает в юности, принимая их за великие исключения". Но позже, с расширением кругозора, я почти утратил это утешение.

Не нашел я спасения от Тебя и в иудаизме. Здесь, собственно говоря, спасение было бы возможно, даже более того — в иудаизме мы оба могли бы найти себя или нашли бы в нем друг друга. Но что за иудаизм Ты внедрял в меня! С течением лет у меня трижды менялось к нему отношение.

Ребенком я, в согласии с Тобой, упрекал себя за то, что недостаточно часто ходил в храм, не постился и т.д. Я считал, что тем самым поступаю плохо по отношению не к себе, а к Тебе, и меня охватывало чувство вины, благо оно всегда подстерегало меня.

Позже, молодым человеком, я не понимал, как можешь Ты, отдавая иудаизму такую малость, упрекать меня за то, что я (пусть бы из одного только пиетета, как Ты выражался) не пытаюсь отдавать ему хотя бы такую же малость. Насколько я мог видеть, это действительно была лишь малость, развлечение, да и не развлечение даже. Ты посещал храм четыре раза в году, был там, безусловно, ближе к равнодушным, чем к тем, кто принимал это всерьез, терпеливо разделялся, как с формальностью, с молитвами, приводил меня порой в изумление, показывая в молитвеннике место, которое в тот момент читалось, все остальное время Ты позволял мне, если уж я пришел в храм (это было главное), шататься где угодно. Долгие часы я зевал и дремал там (так скучно мне позже бывало, кажется, только на уроках танцев), силился по возможности развлечься тем небольшим разнообразием, которое там можно было углядеть, к примеру когда открывали Ковчег, что всегда напоминало мне тир, где тоже открывалась дверца шкафчика, когда попадали в яблочко, но только там всегда появлялось что-нибудь интересное, а здесь все время лишь старые куклы без головы¹³. Впрочем, я пережил там и немало страха

не только из-за множества людей, с которыми приходилось соприкасаться — это само собой, — но и потому, что однажды Ты мимоходом упомянул, будто и меня могут вызвать читать Тору. Годами я дрожал от страха при мысли об этом. В остальном же мою скуку почти ничто не нарушало, разве только бармицве*, но молитва требовала лишь нелепого заучивания наизусть, то есть сводилась лишь к нелепому экзамену; и кроме того — это уже связано с Тобой, — маленькие незначительные происшествия, например, когда Тебя вызывали читать Тору и Ты хорошо справлялся с этим исключительно мирским — в моем восприятии — делом, или когда Ты во время поминовения усопших оставался в храме, а меня отсылал оттуда, что на протяжении долгих лет вызывало у меня едва осознанное чувство — вызванное, возможно, отсылкой и недостатком сколь-нибудь глубокого интереса, — будто там происходит что-то непристойное. Так было в храме, дома же все это было, пожалуй, еще более убого и сводилось к первому пасхальному вечеру, который под влиянием подрастающих детей все больше превращался в комедию, сопровождаемую судорожным смехом. (Почему Ты поддавался этому влиянию? Потому что Ты его вызывал.) Вот какая почва должна была питать веру; к этому добавлялась разве что простертая рука, указующая на "сыновей миллионера Фукса", которые в дни больших праздников бывали со своим отцом в храме. Я не знал, что еще можно сделать с этим грузом, кроме как пытаться побыстрее избавиться от него; именно это избавление и казалось мне наиболее благочестивым актом.

Однако спустя еще некоторое время я увидел это снова другими глазами и понял, почему Ты вправде был думать, что я и в этом отношении злонамеренно предал Тебя. От маленькой, подобной гетто, деревенской общины у Тебя действительно остался слабый налет иудаизма, его тонкий слой в городе, а затем на военной службе еще более истончился, но все-таки впечатлений и воспоминаний юности еще кое-как хватало для сохранения некоего подобия еврейской жизни, в особенности если учесть, что Ты не очень-то нуждался в такого рода подспорье, поскольку был очень крепкого корня и религиозные соображения, если они не слишком сталкивались с соображениями общественными, вряд ли могли повлиять на Тебя. Сущность определяющей Твою жизнь веры состояла в том, что Ты верил в безусловную правильность взглядов евреев, принадлежащих к определенному классу общества, и, так как взгляды эти были сродни Тебе, Ты, таким образом, верил, собственно говоря, самому себе. В этом тоже было еще достаточно иудаизма, но для дальнейшей передачи ребенку его было мало, в процессе передачи он по капле вытекал и полностью иссякал, ибо отчасти это были непередаваемые юношеские впечатления, отчасти — Твоя вселяющая страх натура. Да и невозможно было втолковать ребенку, из чистого страха необычайно остро за всем наблюдающему, что те пустяки, которые Ты с соответствующим их пустячностью равнодушным выполняешь во имя иудаизма, могут иметь более высокий смысл. Для Тебя они имели смысл как маленькие напоминания о прежних временах, и Ты хотел передать их мне, но, поскольку и для Тебя они не имели самостоятельного значения, Ты мог делать это лишь угрозами или угрозами; с одной стороны, таким путем нельзя было добиться успеха, с другой — моя кажущаяся черствость вызывала в Тебе ярость, поскольку Ты ведь не считал собственную позицию слабой.

*Бармицве — конфирмация (*искупит*).

Все это в целом отнюдь не единичное явление, примерно так же обстояло дело у большей части того переходного поколения евреев, которое переселилось из относительно еще набожных деревень в города; так получалось само собой, но только нашим отношениям, и без того достаточно острым, это придало еще одну весьма болезненную грань. Конечно, и в этом пункте Ты, как и я, можешь верить в свою невиновность, но объяснить эту невиновность Ты должен сущностью своей природы и условиями времени, а не просто внешними обстоятельством, то есть не говорить, к примеру, что у Тебя было слишком много других дел и забот, чтобы иметь возможность заниматься еще и такими вещами. Так Ты обычно оборачиваешь свою несомненную невиновность в несправедливый упрек другим. Это очень легко опровергнуть вообще, а также и в данном случае. Ведь никто не говорит о каких-то, скажем, уроках, которые Тебе следовало давать своим детям, речь идет о достойной подражания жизни; будь Твой иудаизм, Твоя вера сильнее, Твой пример был бы более обязывающим — само собой разумеется, это опять-таки вовсе не упрек, а только защита от Твоих упреков. Ты недавно читал юношеские воспоминания Франклина¹⁴. Я и в самом деле нарочно дал их Тебе прочесть, но не ради краткого рассуждения о вегетарианстве, как Ты иронически заметил, а ради того, как описаны в книге отношения между автором и его отцом, и ради того, что в этих написанных для сына воспоминаниях невольно проступают и отношения между автором и его сыном. Я не хочу здесь останавливаться на деталях.

То, что моя оценка Твоего иудаизма верна, мне, так сказать задним числом, подтвердило Твое поведение в последние годы, когда Тебе показалось, что я стал больше интересоваться жизнью евреев. Поскольку Ты всегда уже заранее отрицательно настроен против любых моих занятий, и особенно против того, что вызывает у меня интерес, то же самое было и здесь. Хотя можно было бы ожидать, что здесь Ты допустишь маленькое исключение. Ведь речь шла об иудаизме, порожденном Твоим иудаизмом, а значит, возникала возможность установления новых отношений между нами. Я не отрицаю, что, прояви Ты интерес к этим моим занятиям, они именно потому могли бы показаться мне подозрительными. Я не собираюсь утверждать, что в этом отношении я хоть сколько-нибудь лучше Тебя. Но до испытания дело и не дошло. Из-за меня иудаизм стал Тебе отвратителен, еврейские сочинения — нечитабельны, Тебя "тошнило от них". Это могло означать, что Ты настаиваешь на том, что только тот иудаизм, который Ты раскрыл мне в детстве, и есть единственно правильный, иного не бывает. Но вряд ли возможно, чтобы Ты настаивал на этом. В таком случае "тошнота" могла означать лишь (помимо того, что в первую очередь она относилась не к иудаизму, а к моей персоне), что Ты невольно признавал слабость своего иудаизма и моего еврейского воспитания, не хотел никаких напоминаний об этом и отвечал на все напоминания открытой ненавистью. Впрочем, в своем отрицательном отношении Ты очень преувеличивал мое увлечение иудаизмом: во-первых, он ведь носил в себе Твое проклятие, во-вторых, решающим фактором для его развития было отношение к ближним, то есть в моем случае этот фактор был убийственным.

Более прав Ты был в своей антипатии к моему сочинительству и ко всему, что — неведомо Тебе — было связано с ним. Здесь я действительно в чем-то стал самостоятельным и отделился от Тебя, хотя это немного и напоминает червя, который, если наступить ногой на заднюю часть, ото-

рвется и уползет в сторону. Я обрел некоторую безопасность, получил передышку; антипатия, которая, естественно, сразу же возникла у Тебя к моему сочинительству, на сей раз в виде исключения была мне приятна. Правда, мое тщеславие, мое честолюбие страдали от Твоих, ставших для нас знаменитыми слов, которыми Ты приветствовал каждую мою книгу: "Положи ее на ночной столик!" (чаще всего, когда приносили книгу, Ты играл в карты), но в основном мне все-таки было хорошо при этом не только потому, что во мне поднималась протестующая злость, радость по поводу того, что мое восприятие наших отношений получило новое подтверждение, но и совершенно независимо, ибо слова те звучали для меня примерно так: "Теперь ты свободен!" Разумеется, это был самообман, я не был свободен или — в лучшем случае — еще не был свободен. В моих писаниях речь шла о Тебе, я изливал в них свои жалобы, которые не мог излить на Твоей груди. Это было намеренно оттягиваемое прощание с Тобой, которое хотя и было предопределено Тобой, но происходило так, как мне того хотелось. Но как ничтожно все это было! Вообще это заслуживает упоминания лишь потому, что происходило в моей жизни, иначе это попросту осталось бы незамеченным, и еще потому, что оно владело моей жизнью, в детстве — как предчувствие, позже — как надежда, еще позже — зачастую как отчаяние, и оно же — если угодно, опять-таки в Твоем образе — продиктовало мои немногие жалкие решения.

Например, выбор профессии. Конечно, Ты великодушно и в данном случае даже терпеливо предоставил мне здесь полную свободу. Правда, Ты тут следовал общепринятому среди еврейского среднего сословия — авторитетному также и для Тебя — принципу обращения с сыновьями или по крайней мере взглядам этого сословия. В конце концов, здесь сказались также и одно из Твоих заблуждений относительно меня. Отцовская гордость, незнание моей истинной жизни, выводы, основанные на моей болезненности, внушили Тебе издавна, что я отличаюсь особенным пристрастием. Ребенком я, по Твоему мнению, все время учился и позже — все время писал. Это абсолютно неверно. Гораздо меньшим преувеличением было бы сказать, что я мало учился и ничему не научился; не так уж странно, что после многих лет при средней памяти и не наихудших способностях в голове что-то осталось — как бы то ни было, количество знаний и особенно прочность этих знаний весьма ничтожны по сравнению с количеством затраченных денег и времени в условиях внешне беззаботной, спокойной жизни, — особенно по сравнению почти со всеми людьми, которых я знаю. Это прискорбно, но мне понятно. С тех пор как я помню себя, у меня было столько глубочайших забот, чтобы утвердить свое духовное "я", что все остальное было мне безразлично. Гимназисты-евреи у нас вообще со странностями, даже самыми невероятными, но я никогда не встречал такого холодного, едва прикрытого, несокрушимого, по-детски беспомощного, доходящего до нелепости, по-звериному самодовольного безразличия, как у меня — совсем уж странного ребенка, — правда, оно было единственной защитой от разрушающих нервную систему страха и сознания вины. Меня занимали лишь заботы о себе, заботы самого рачительнообразного свойства. Скажем, беспокойство о собственном здоровье; возникало оно легко, то и дело рождались маленькие опасения в связи с пищеварением, выпадением волос, искривлением позвоночника и так далее, они имели бесчисленные градации и в конце концов завершались ни стоящим заболеванием. Но так как я ни в чем не чувствовал уверенности, каждую минуту нуждался в новом подтверждении своего существования,

ничто по-настоящему, бесспорно, не принадлежало мне, одному только мне, чем распоряжаться мог бы только я сам — поистине сын, лишенный наследства, — то, разумеется, я стал неуверен также и в том, что было мне ближе всего, — в собственном теле; я вытягивался в длину, но не знал, что с этим поделать, тяжесть была слишком большой, я стал сутулиться; я едва решался двигаться, тем более заниматься гимнастикой, оставался слабым; всему, чем я еще обладал, я удивлялся как чуду, например хорошему пищеварению; и этого было достаточно, чтобы потерять его, открыв тем самым дорогу всякого рода ипохондрии, пока затем сверхчеловеческое напряжение в связи с намерением жениться (об этом еще будет речь) не привело к легочному кровотечению, в чем, наверное, немалую роль сыграла квартира в Шёнборнском дворце¹⁵, — она мне нужна была только потому, что я думал, будто она нужна для моего писания, стало быть, и это можно включить в счет. Значит, все это следствие не чрезмерной работы, как Ты всегда представляешь себе. Бывали годы, когда я, совершенно здоровый, провалился на диване больше времени, чем Ты за всю жизнь, включая все болезни. Если я с крайне занятым видом убежал от Тебя, то чаще всего для того, чтобы прилечь в своей комнате. Вся производительность моего труда как в канцелярии (где лень, правда, не очень бросается в глаза и, кроме того, она сдерживалась моей боязливостью), так и дома была ничтожной; имей Ты об этом представление, Ты пришел бы в ужас. Вероятно, от природы я вовсе не предрасположен к лени, но мне нечего было делать. Там, где я жил, я был отвергнут, осужден, уничижен, и хотя попытка бежать куда-нибудь мне стоила огромного напряжения, но то была не работа, ибо речь шла о невозможном, недостижимом — за малым исключением — для моих сил.

И вот в таком состоянии я получил свободу выбора профессии. Но был ли я вообще в силах воспользоваться такой свободой? Мог ли я еще ожидать от себя, что овладею настоящей профессией? Моя самооценка больше зависела от Тебя, чем от чего бы то ни было другого, например от внешнего успеха. Последний мог подбодрить меня на миг, не более, Ты же всегда перетягивал чашу весов. Никогда, казалось, мне не закончить первый класс народной школы, однако это удалось, я даже получил награду; но вступительные экзамены в гимназию мне, конечно, не выдержать, однако и это удалось; ну, уж теперь я непременно провалюсь в первом классе гимназии — однако нет, я не провалился, и дальше все удавалось и удавалось. Но это не порождало уверенности, напротив, я всегда был убежден — и недовольное выражение Твоего лица служило мне прямым подтверждением, — что чем больше мне удастся сейчас, тем хуже все кончится. Часто я мысленно видел страшное собрание учителей (гимназия лишь пример, но и все остальное, связанное со мной, было подобно ему), видел, как они собираются — во втором ли классе, если я справлюсь с первым, в третьем ли, если я справлюсь со вторым классом, и т.д., — собираются, чтобы расследовать этот единственный в своем роде, вопиющий к небесам случай, каким образом мне, самому неспособному и, во всяком случае, самому невежественному ученику, удалось пробраться в этот класс, откуда меня теперь, когда ко мне привлечено всеобщее внимание, конечно, сразу же вышвырнут — к общему восторгу праведников, стряхнувших с себя наконец этот кошмар. Ребенку нелегко жить с подобными представлениями. Какое дело мне было при таких обстоятельствах до уроков? Кто смог бы выбить из меня хоть искру заинтересованности? Уроки — и не только уроки, но и все вокруг в этом решающем возрасте —

интересовали меня примерно так же, как еще находящегося на службе и в страхе ожидающего разоблачения растратчика в банке интересуют мелкие текущие банковские дела, которые он еще должен выполнить как служащий. Столь мелким, столь далеким казалось все рядом с главным. Так все и шло до экзаменов на аттестат зрелости, их я действительно выдержал отчасти обманным путем, а потом все кончилось, я был свободен. Если даже раньше, несмотря на гнет гимназии, я был сосредоточен только на себе, то теперь, когда я освободился, я подавно. Итак, настоящей свободы в выборе профессии для меня не существовало, я знал: по сравнению с главным мне все будет столь же безразлично, как все предметы гимназического курса, речь, стало быть, идет о том, чтобы найти такую профессию, которая с наибольшей легкостью позволила бы мне, не слишком ущемляя тщеславие, проявлять подобное же безразличие. Значит, самое подходящее — юриспруденция. Маленькие, противодействующие этому решению порывы тщеславия, бессмысленной надежды, как, например, двухнедельное изучение химии, полугодичное изучение немецкого языка, лишь укрепляли первоначальное убеждение. Итак, я приступил к изучению юриспруденции. Это означало, что в течение нескольких предэкзаменационных месяцев, расходуя изрядное количество нервной энергии, я духовно питался буквально древесной мукой, к тому же переживанной до меня уже тысячами ртов. Но в известном смысле это мне и нравилось, как в известном смысле прежде нравилась гимназия, а потом профессия чиновника, ибо все это полностью соответствовало моему положению. Во всяком случае, я проявил поразительное предвидение, уже малым ребенком я достаточно отчетливо предчувствовал, какими будут потом учеба и профессия. От них я не ждал спасения, в этом смысле я уж давно махнул на все рукой.

Я совсем не предвидел, возможен ли и что будет означать для меня брак; этот самый большой кошмар всей моей жизни обрушился на меня почти совсем неожиданно. Ребенок развивался так медленно, казалось, подобные вещи никак его не касались; порой он ощущал потребность подумать о них, но то, что тут ему предстоит долгое решающее и даже жесточайшее испытание, он не предполагал. На самом же деле попытки жениться превратились в грандиознейшую и самую обнадеживающую попытку спасти, соответственно грандиозными были и неудачи.

Поскольку в этой области мне ничто не удастся, я боюсь, мне не удастся и объяснить Тебе мои попытки жениться. А ведь от этого зависит успех всего письма, ибо, с одной стороны, в этих попытках сосредоточилось все то положительное, чем я располагаю, с другой — здесь с какой-то яростью так же сосредоточилось все то дурное, что я считаю побочным следствием Твоего воспитания, — слабость, отсутствие уверенности в своих силах, чувство вины, — они буквально воздвигли преграду между мною и женитьбой. Мне трудно объяснить это еще и потому, что в течение многих дней и ночей я снова и снова все продумывал и взвешивал, так что теперь и сам сбив с толку. Но Твое полное, как я думаю, непонимание дела облегчит мне объяснение; хотя бы немножко уменьшить это полное непонимание, может быть, не так уж невероятно трудно.

Прежде всего, мои неудачные попытки жениться Ты ставишь в ряд остальных моих неудач; я не стал бы возражать против этого при условии, что Ты принимаешь мое прежнее объяснение неудач. Они действительно стоят в том же ряду, но Ты недооцениваешь их значение, и недооценивши ешь настолько, что, говоря об этом друг с другом, мы, собственно, гово-

рим о совершенно разном. Я осмелюсь утверждать, что во всей Твоей жизни не случилось ничего, что имело бы для Тебя такое же значение, какое имели для меня попытки жениться. Этим я не хочу сказать, будто Ты не пережил ничего значительного, напротив, Твоя жизнь была куда богаче, полнее заботами и трудностями, чем моя, но именно потому с Тобой и не случилось ничего подобного. Представь себе, что кому-то нужно взойти на пять низких ступеней, а другому всего на одну, но эта одна, по крайней мере для него, так же высока, как все те пять ступеней вместе; первый одолеет не только эти пять, но и еще сотни и тысячи других, он проживет большую и очень напряженную жизнь, но ни одна из ступеней, на которые он всходил, не будет иметь для него такого значения, какое для другого — та единственная, первая, высокая, для него неодолимая ступень, на которую ему не взобраться и через которую ему, конечно, и не переступить.

Жениться, создать семью, принять всех рождающихся детей, сохранить их в этом неустойчивом мире и даже повести вперед — это, по моему убеждению, самое большое благо, которое дано человеку. То, что, казалось бы, многим это удается легко, не может служить вознаграждением, ибо, во-первых, на самом деле удается не многим, во-вторых — эти немногие большей частью не "добиваются", а просто это "случается" с ними; правда, оно не то "самое большое" благо, но все же нечто очень важное и очень почетное (в особенности потому, что здесь нельзя полностью отделить "добиваются" от "случается"). И в конце концов речь идет совсем не о "самом большом" благе, а лишь о некотором отдаленном, но достаточно пристойном приближении к нему; ведь не обязательно взлететь на солнце, достаточно вскарабкаться на чистое местечко на земле, куда временами заглядывает солнце и где можно немножко погреться.

Как же я был подготовлен к этому? Хуже некуда. Это ясно уже из предыдущего. Если и существует возможность непосредственно подготовить отдельную личность и непосредственно создать общие предпосылки, то внешне Ты в это не очень много вмешивался. Иначе и быть не могло, здесь все решают общепринятые обычаи сословия, народа, времени. Тем не менее Ты и тут вмешивался, не много, правда, ибо условием такого вмешательства может служить лишь полное взаимное доверие, а оно у нас отсутствовало уже задолго до решающего момента, и вмешивался Ты не очень удачно, ибо наши потребности были совсем разными: то, что волнует меня, Тебя едва трогает, и наоборот; то, что Ты считаешь невинностью, мне может показаться виной, и наоборот; то, что для Тебя не имеет последствий, меня может уложить в гроб.

Я помню, как однажды вечером, гуляя вместе с Тобой и матерью на Йозефплац, поблизости от нынешнего земельного банка, я начал глупо, хвастливо, высокомерно, гордо, хладнокровно (это было неискренно), холодно (это было искренно) и запинаясь, как почти всегда при разговоре с Тобой, говорить об "интересных вещах", упрекая вас в том, что вы меня не просветили, что об этом пришлось позаботиться школьным товарищам, что мне угрожали большие опасности (тут я по своему обыкновению бесстыдно лгал, дабы показаться храбрым, ибо вследствие своей робости не имел ясного представления о "больших опасностях"), но в заключение дал понять, что теперь я, к счастью, все знаю, не нуждаюсь больше в совете и все уже в порядке. Я начал тот разговор главным образом потому, что мне доставляло удовольствие хотя бы поговорить об этом, потом и из любопытства и, в конце концов, еще и для того, чтобы как-то за что-то отомстить вам. Ты в соответствии со своей натурой отнесся к

этому очень просто, сказал лишь, что можешь посоветовать, как, не подвергаясь опасности, заниматься этими делами. Возможно, я хотел вытянуть из Тебя именно такой ответ, именно его и жаждала похоть ребенка, перекормленного мясом и всякими вкусными вещами, физически бездеятельного, вечно занятого самим собой, но моя внешняя стыдливость была настолько задета — или я считал, что она должна быть задета, — что вопреки собственной воле я не мог больше говорить с Тобой об этом и с дерзким высокомерием оборвал разговор.

Твой тогдашний ответ оценить нелегко: с одной стороны, в нем есть что-то убийственно откровенное, в какой-то степени первозданное, с другой же стороны — в том, что касается самой сути урока, — он очень по-современному беззаботен. Не помню, сколько лет мне было тогда, во всяком случае не многим более шестнадцати. Для такого юноши это был очень странный ответ, и дистанция между нами проявилась и в том, что, в сущности, это был первый прямой жизненный урок, полученный мною от Тебя. Однако истинный смысл его, который тогда еще не полностью был для меня понятен и по-настоящему дошел до сознания лишь много позже, заключался в следующем: то, что Ты посоветовал мне, было ведь, по Твоему и тем более по моему тогдашнему мнению, самым грязным, что только могло быть. Твоя забота о том, чтобы я не принес домой физической грязи, была чем-то второстепенным, Ты охранял лишь себя, свой дом. Главное же — Ты сам оставался вне своего совета, супругом, чистым человеком, стоящим выше таких вещей; тогда все это, вероятно, еще больше усилилось для меня тем, что и брак казался мне бесстыдством, и потому я не мог перенести на родителей то, что вообще слышал о браке. Тем самым Ты становился еще чище, еще возвышеннее. Мысль, что до женитьбы Ты мог прислушаться к подобному совету, казалась мне совершенно недопустимой. Таким образом, на Тебе не было почти ни малейшего следа земной грязи. И именно Ты несколькими откровенными словами столкнул меня в грязь, словно таков мой удел. Если бы мир состоял только из Тебя и меня — а такое представление мне было очень близко, — тогда чистота мира закончилась бы на Тебе, а с меня, по Твоему совету, началась бы грязь. Само по себе непонятно, почему Ты обрек меня на такое, лишь давняя вина и глубочайшее презрение с Твоей стороны могли служить объяснением. Тем самым я опять был задет до глубины своего существа, и задет очень жестоко.

Здесь, возможно, отчетливее всего проявилась и наша взаимная невинность. А дает Б откровенный, соответствующий его взглядам, не очень красивый, но в городе теперь вполне принятый, может быть, отвращающий заболевания совет. Совет этот в моральном смысле для Б не очень благотворен, но с течением времени он ведь сумеет избавиться от причиненного вреда, к тому же он не обязан воспользоваться советом, да и в самом совете нет ничего такого, из-за чего все его будущее рухнуло бы. И все-таки нечто подобное происходит, но происходит именно потому, что А — это Ты, а Б — это я.

Эта обоюдная невинность мне особенно ясна еще и потому, что подобное столкновение снова произошло между нами при совершенно других обстоятельствах лет двадцать спустя, — столкновение ужасное, но само по себе более безвредное, ибо что уж мне, тридцатилетнему, могло еще причинить вред. Я имею в виду небольшое объяснение, произошедшее между нами в один из беспокойных дней после заявления о моем последнем намерении жениться. Ты сказал мне примерно так: "Она, наверное,

надела какую-нибудь модную кофточку, как это умеют пражские еврейки, и ты, конечно, сразу же решил на ней жениться. И жениться как можно скорее, через неделю, завтра, сегодня. Я тебя не понимаю, ты же взрослый человек, ты живешь в городе и не знаешь другого выхода, кроме как немедленно жениться на первой встречной. Разве нет других возможностей? Если ты боишься, я сам пойду туда с тобой". Ты говорил обстоятельнее и яснее, но подробностей я не помню, кажется, у меня поплыл туман перед глазами, меня даже больше занимало то, как повела себя мать, которая, хотя и полностью была согласна с Тобой, взяла все же что-то со стола и вышла из комнаты.

Вряд ли Ты когда-нибудь глубже унижал меня словами, и никогда столь отчетливо Ты не показывал мне своего презрения. Когда Ты двадцать лет тому назад говорил со мною подобным образом, в этом можно было, став на Твою точку зрения, усмотреть даже некоторое уважение к рано созревшему городскому юнцу, которого, по Твоему мнению, уже можно без всяких околичностей прямо ввести в жизнь. Сегодня подобное отношение лишь увеличивает презрение, ибо юноша, который тогда брал разбег, на том и застрял, и он кажется Тебе теперь не более обогащенным опытом, а лишь на двадцать лет более жалким. Мое решение, связанное с определенной девушкой, для Тебя ничего не значит. Мою решительность Ты всегда (бессознательно) низко ставил и теперь (бессознательно) считаешь, будто знаешь, чего она стоит. Ты ничего не знал о попытках спастись, которые я предпринимал в других направлениях, поэтому не можешь ничего знать о ходе мыслей, приведшем меня к этой попытке жениться, Тебе приходится разгадывать его, и Ты разгадываешь — соответственно своему общему мнению обо мне — на самый отвратительный, самый грубый, самый нелепый лад. И без малейших колебаний таким же манером высказываешь мне это. Позор, который Ты тем самым навлекаешь на меня, для Тебя ничто в сравнении с позором, который я, по Твоему мнению, навлеку на Твое имя своей женитьбой.

По поводу моих намерений жениться Тебе есть что возразить мне, что Ты и сделал: Ты-де не можешь питать теперь большое уважение к моему решению, поскольку я дважды расторгал помолвку с Ф. и дважды снова заключал ее, понапрасну тасил Тебя и мать в Берлин на помолвку и тому подобное. Все это правда. Но как дошло до этого?

Основной замысел обеих попыток жениться был совершенно правильным: создать домашний очаг, стать самостоятельным. Замысел, симпатичный и Тебе, но в действительности он уподобился детской игре, когда один держит руку другого и даже крепко сжимает ее, а сам кричит: "Уходи, да уходи же, почему не уходишь?" В нашем случае это усложнялось тем, что Ты с давних пор честно говорил свое "уйди же", что с тех же давних пор, сам того не ведая, Ты удерживал, вернее, подавлял меня уже самой своей натурой. Обе девушки были выбраны — правда, случайно — исключительно удачно. Еще одно свидетельство Твоего полного непонимания: как можешь Ты думать, что я — робкий, нерешительный, мнительный — мигом решусь на женитьбу, очарованный, скажем, кофточкой. Каждый из браков был бы, скорее, браком по расчету, если понимать под этим, что все мои мысли днем и ночью — в первый раз несколько лет, во второй несколько месяцев — были заняты этими планами.

Ни одна из девушек не разочаровала меня — разочаровал обеих только я. Сейчас я отношусь к ним так же, как и тогда, когда хотел жениться на них.

И при второй попытке жениться я не пренебрег опытом первой, не был легкомысленным, как может показаться. Оба случая совершенно разные; во втором случае, который вообще сулил гораздо больше, именно прежний опыт мог меня обнадежить. Говорить о подробностях я сейчас не хочу.

Так почему же я все-таки не женился? Конечно, я встретился с некоторыми препятствиями, как и во всем, но ведь жизнь и состоит из преодоления таких препятствий. Однако главное препятствие, к сожалению не зависящее от частного случая, заключается в моей очевидной духовной неспособности к женитьбе. Это выражается в том, что с момента, когда я решаю жениться, я перестаю спать, голова пылает днем и ночью, жизнь становится невыносимой, я мечусь в отчаянии из стороны в сторону. Вызвано это, в сущности, не заботами, хотя мои нерешительность и педантизм соответственно порождают бесчисленные заботы, но не в них главное, они лишь, как черви на трупе, довершают дело, — убивает меня другое. А именно: гнет постоянного страха, слабости, презрения к самому себе.

Хочу попробовать объяснить подробнее: когда я предпринимаю попытку жениться, две противоположности в моем отношении к Тебе проявляются столь сильно, как никогда прежде. Женитьба, несомненно, залог решительного самоосвобождения и независимости. У меня появилась бы семья, то есть, по моему представлению, самое большее, чего только можно достигнуть, значит, и самое большее из того, чего достиг Ты, я стал бы Тебе равен, весь мой прежний и вечно новый позор, вся Твоя тирания просто бы ушли в прошлое. Это было бы сказочно, но потому-то и сомнительно. Слишком уж это много — так много достигнуть нельзя. Вообразим, что человек попал в тюрьму и решил бежать, что само по себе, вероятно, осуществимо, но он намеревается одновременно перестроить тюрьму в увеселительный замок. Однако, сбежав, он не сможет перестраивать, а перестраивая, не сможет бежать. Если при существующих между нами несчастных отношениях я хочу стать самостоятельным, то должен сделать что-то, по возможности не имеющее никакой связи с Тобою; женитьба, хотя и есть самое важное в этом смысле и дает почетнейшую самостоятельность, вместе с тем неразрывно связана с Тобой. Поэтому желание найти здесь выход смахивает на безумие, и всякая попытка почти безумием же и наказывается.

Но отчасти именно этой тесной связью и привлекает меня женитьба. Равенство, которое после того установилось бы между нами и которое пришлось бы Тебе по душе как никакое иное, мне представляется именно потому столь прекрасным, что я смог бы тогда стать свободным, благодарным, избавленным от чувства вины прямодушным сыном, а Ты — ничем не омрачаемым, недеспотичным, полным сочувствия, довольным отцом. Но чтобы достигнуть этой цели, надо сделать все случившееся неслучившимся, то есть вычеркнуть нас обоих.

Но раз мы такие, какие есть, женитьба не для меня как раз потому, что эта область целиком принадлежит Тебе. Иногда я представляю себе разостланную карту мира и Тебя, распростертого поперек нее. И тогда мне кажется, будто для меня речь может идти только о тех областях, которые либо не лежат под Тобой, либо находятся за пределами Твоей досягаемости. А их — в соответствии с моим представлением о Твоем размере — совсем немного, и области эти не очень отрадны, и брак отнюдь не принадлежит к их числу.

Уже само это сравнение показывает, что я вовсе не хочу сказать,

будто Ты своим примером как бы изгнал меня из области брака, словно из магазина. Напротив, несмотря на все отдаленное сходство, ваш брак в моих глазах — брак во многом образцовый, образцовый тем, как вы верны и помогаете друг другу, и тем, сколько у вас детей, и даже тогда, когда дети выросли и все больше нарушали мир в семье, ваш союз по-прежнему нерушим. Именно на этом примере, возможно, и сложилось мое высокое представление о браке; то, что мое стремление к браку ни к чему не привело, объясняется другими причинами. Они заключаются в Твоем отношении к детям, которому посвящено все письмо.

Существует мнение, будто страх перед браком иной раз проистекает от боязни, как бы дети потом не отплатили нам за то, в чем мы сами согрешили перед собственными родителями. Я думаю, в моем случае это не имеет уж очень большого значения, ибо мое чувство вины, собственно говоря, порождено Тобой и к тому же слишком проникнуто сознанием некоей исключительности, более того, это сознание исключительности — неотъемлемая часть его мучительной сущности, повторение немыслимо. И все же я должен сказать, что для меня был бы невыносим такой безмолвный, глухой, черствый, слабосильный сын, я, пожалуй, бежал бы от него, не будь иного выхода, уехал бы, как Ты хотел это сделать лишь в связи с моей женитьбой. И это тоже, возможно, повлияло на мою неспособность создать семью.

Но гораздо важнее при этом страх за себя самого. Это следует понимать так: я уже упоминал, что сочинительство и все с ним связанное — суть мои маленькие попытки стать самостоятельным, попытки бегства; они предпринимались с ничтожнейшим успехом и вряд ли приведут к большому, многое это подтверждает. Тем не менее мой долг или, вернее, весь смысл моей жизни состоит в том, чтобы охранять их, сделать все, что только в моих силах, чтобы предотвратить всякую угрожающую им опасность, даже возможность такой опасности. Брак таит в себе возможность такой опасности, правда, он же может стать и величайшим вдохновителем, но для меня достаточно того, что он таит такую опасность. Что я стану делать, если он действительно окажется опасностью! Как я смогу жить в браке с ощущением этой опасности, ощущением, может быть, и необъяснимым, но тем не менее неопровержимым! Перед такой перспективой я, правда, могу колебаться, но конечный исход predetermined, я должен отказаться. Поговорка о журавле в небе и синице в руках очень мало подходит здесь. В руках у меня пусто, в небе же всё, и тем не менее я должен выбрать эту пустоту — так решают условия борьбы и бремя жизни. Подобным образом я вынужден был выбирать и профессию.

Но самое главное препятствие к женитьбе состоит в неистребимом убеждении, что для сохранения семьи, а тем более для руководства ею необходимо все, чему я научился у Тебя, а именно все вместе, хорошее и плохое, органически соединенное в Тебе, то есть сила и презрение к другим, здоровье и известная неумеренность, дар речи и заторможенность, уверенность в себе и недовольство всеми остальными, чувство превосходства и деспотизм, знание людей и недоверие к большинству из них, затем достоинства без всяких недостатков, как, например, усердие, терпение, присутствие духа, бесстрашие. По сравнению с Тобой я почти лишен всего этого или обладаю им лишь в малой степени. Хотел ли я тем не менее отважиться на брак? Я ведь видел, что даже Тебе в браке приходится вести тяжкую борьбу, а в отношении детей — даже терпеть поражения. Этот вопрос я, разумеется, не задаю себе четко и не отвечаю на него четко, иначе

потянулись бы обычные мысли и напомнили бы мне о других мужчинах, иного, нежели Ты, склада (незачем далеко ходить — укажу на очень отличающегося от Тебя дядю Рихарда) и тем не менее женившихся и, во всяком случае, не погибших, что само по себе уже немало, а для меня было бы совершенно достаточным. Я не ставлю этот вопрос, я живу с ним с самого детства. Я ведь проверял себя не только в отношении брака, но и в отношении любой мелочи; в отношении любой мелочи Ты Твоим примером и Твоей системой воспитания, как я пытался описать, убеждал меня в моей неспособности, и то, что оказывалось правильным и подтверждало Твою правоту в отношении любой мелочи, должно было, разумеется, быть правильным и в отношении самого большого, то есть брака. До того времени, как я предпринял попытку женитьбы, я рос примерно как коммерсант, который живет изо дня в день, правда, с заботами и дурными предчувствиями, но без точного бухгалтерского учета. Иной раз ему удается получить небольшие прибыли, с которыми (поскольку случаи эти редкие) он мысленно все время носит и которые преувеличивает, в остальном же у него ежедневные убытки. Все заносится в книги, однако баланс никогда не подводится. Но вот наступает необходимость подведения итога, то есть попытка женитьбы. При больших суммах, с которыми здесь приходится считаться, получается так, будто и малейшей прибыли никогда не было — всё сплошная огромная задолженность. Попробуй тут женись, не сойдя с ума!

Так заканчивается моя прежняя жизнь с Тобой, и такие перспективы на будущее она несет.

Окинув взглядом обоснования моего страха перед Тобой, Ты можешь ответить: "Ты утверждаешь, что я облегчаю себе жизнь, объясняя свое отношение к тебе просто твоей виной, я же считаю, что ты, несмотря на все свои усилия, не только снимаешь с себя тяжесть, но и хочешь представить все в более выгодном для тебя свете. Сперва ты тоже отрицаешь всякую свою вину и ответственность — в этом смысле наше поведение одинаково. Но если я откровенно приписываю всю вину одному тебе, ты хочешь быть "сверхрассудительным" и "сверхчутким" одновременно и тоже снимаешь с меня всякую вину. Разумеется, последнее удается тебе лишь по видимости (а большего ты и не хочешь), и между строк, несмотря на "красивые слова" о сущности, и характере, и антагонизме, и беспомощности, проступает обвинение, будто нападающей стороной был я, в то время как все, что ты делал, было лишь самозащитой. Так ты самой своей неискренностью мог бы уже достаточно достичь, ибо ты доказал три вещи: во-первых, что ты не виноват, во-вторых, что виноват я, в-третьих, что ты из чистого великодушия не только готов простить меня, но и — а это и больше, и меньше — доказать, даже и сам поверить, будто я, вопреки истине, тоже не виноват. Этого могло бы быть достаточно, но тебе и этого недостаточно. Дело в том, что ты вбил себе в голову желание жить только за мой счет. Я признаю, что мы с тобой воюем, но война бывает двух родов. Бывает война рыцарская, когда силами меряются два равных противника, каждый действует сам по себе, проигрывает за себя, выигрывает для себя. И есть война паразита, который не только жалит, но тут же и высасывает кровь для сохранения собственной жизни. Таков настоящий профессиональный солдат, таков и ты. Ты нежизнеспособен; но чтобы жить удобно, без забот и упреков самому себе, ты доказываешь, что всю твою жизнеспособность отнял у тебя и упрятал в свой карман я. Теперь тебя не касается, что ты нежизнеспособен, — ведь ответственность за это

несу я, а ты спокойно ложишься и предоставляешь мне тащить тебя — физически и духовно — через жизнь. Пример: когда ты недавно захотел жениться, ты в то же время хотел, как признаешься в этом письме, и не жениться, но при этом не хотел сам затрачивать усилия, а хотел, чтобы я помог тебе не жениться, запретив женитьбу из-за "позора", который навлечет на меня этот союз. Но я и не подумал сделать это. Во-первых, я не хотел в этом случае, как и всегда, "быть помехой твоему счастью", во-вторых, я не хочу услышать когда-нибудь подобного рода упрек от своего ребенка. Но разве мне помогло то, что я, преодолев самого себя, предоставил тебе свободу решения относительно брака? Ни в малейшей мере. Ты не отказался бы от женитьбы из-за моего отрицательного отношения к ней, напротив, оно бы лишь подстегнуло тебя жениться на этой девушке, ибо таким путем "попытка бегства", говоря твоими словами, получила бы наиболее полное выражение. А мое разрешение на женитьбу не сняло бы упреков, ведь ты все равно доказываешь, что я в любом случае виноват в том, что ты не женился. Но, в сущности, ты в данном случае, да и во всем остальном доказал мне только то, что все мои упреки были справедливыми и что среди них отсутствовал еще один, особенно справедливый упрек, а именно упрек в неискренности, в угодливости, в паразитизме. Если я не ошибаюсь, ты паразитируешь на мне и самим этим письмом".

На это я отвечаю, что, прежде всего, это возражение, которое отчасти можно повернуть и против Тебя, исходит не от Тебя, а именно от меня. Ведь даже Твое недоверие к другим меньше, чем мое недоверие к самому себе, а его во мне воспитал Ты. Я не отрицаю известной справедливости возражения, которое само по себе вносит нечто новое в характеристику наших взаимоотношений. Разумеется, в действительности все не может так последовательно вытекать одно из другого, как доказательства в моем письме, жизнь сложнее пасьянса; но с теми поправками, которые вытекают из этого возражения — поправками, которые я не могу и не хочу вносить каждую в отдельности, — в этом письме все же, по моему мнению, достигнуто нечто столь близкое к истине, что оно в состоянии немного успокоить нас обоих и облегчить нам жизнь и смерть.

Франц

Ноябрь, 1919

Приложение

ИЗ РАЗГОВОРОВ ГУСТАВА ЯНОУХА С ФРАНЦЕМ КАФКОЙ

— В ваших стихах еще слишком много шума. Это явление, сопутствующее юности, оно свидетельствует об избытке жизненных сил. Сам по себе этот шум прекрасен, хотя с искусством он ничего общего не имеет. Напротив! Шум мешает выразительности. Но я не критик. Я не умею быстро перевоплотиться, затем вернуться к самому себе и точно соразмерить дистанцию. Повторяю, я не критик. Я лишь осужденный и зритель.

— *А кто судья?*

— Я, правда, еще и служитель в суде, но судей я не знаю. Должно быть, я совсем мелкий временный служитель в суде. Во мне нет ничего определенного. Определенно только страдание. Когда вы пишете?

— *Вечером, ночью. Днем — очень редко. Я не могу писать днем.*

— *День — великий волшебник.*

— *Мне мешают свет, фабрика, дома, окна напротив. Но больше всего — свет. Свет отвлекает внимание.*

— Возможно, он отвлекает от мрака внутреннего мира. Хорошо, когда свет берет верх над человеком. Если бы не было этих страшных, бессонных ночей, я бы вообще не писал. А так я все время осознаю свое мрачное одиночное заключение.

* * *

— Вы списываете поэта таким удивительным великаном: ноги его на земле, а голова исчезает в облаках. Конечно, это вполне привычный образ с точки зрения мещанских условностей. Это иллюзия сокровенных желаний, ничего общего не имеющих с действительностью. На самом деле поэт гораздо мельче и слабее среднего человека. Потому он гораздо острее и сильнее других ощущает тяжесть земного бытия. Для него самого его пение — лишь вопль. Творчество для художника — страдание, посредством которого он освобождает себя для нового страдания. Он не исполин, а

только пестрая птица, запертая в клетке собственного существования.

— *И вы тоже?*

— Я совершенно несуразная птица. Я — *Kavka**, галка. У угольщика в Тайнхофе есть такая. Вы видели ее?

— *Да, она скачет около лавки.*

— Этой моей родственнице живется лучше, чем мне. Правда, у нее подрезаны крылья. Со мной этого делать не надобно, ибо мои крылья отмерли. И теперь для меня не существует ни высоты, ни дали. Смятенно я прыгаю среди людей. Они поглядывают на меня с недоверием. Я ведь опасная птица, воровка, галка. Но это лишь видимость. На самом деле у меня нет интереса к блестящим предметам. Поэтому у меня нет даже блестящих черных перьев. Я сер, как пепел. Галка, страстно желающая скрыться среди камней. Но это так, шутка... Чтобы вы не заметили, как худо мне сегодня.

* * *

В связи с получением сигнального экземпляра книжки "В исправительной колонии":

— Выход в свет любой моей мазни всегда наполняет меня тревогой.

— *Почему же вы отдаете это в печать?*

— То-то и оно! Макс Брод, Феликс Велч, все мои друзья попросту отбирают у меня написанное и потом ошарашивают меня готовым издательским договором. Я не хочу причинять им неприятности, и так в конечном счете дело доходит до издания вещей, являющихся, собственно говоря, сугубо личными заметками или забавой. Частные доказательства моей человеческой слабости публикуются и даже продаются, потому что мои друзья, с Максом Бродом во главе, хотят из этого во что бы то ни стало делать литературу, а у меня нет сил уничтожить эти свидетельства одиночества... То, что я сейчас сказал, разумеется, преувеличение и мелкий выпад против моих друзей. На самом же деле я уже настолько испорчен и бесстыж, что сам помогаю им издать эти вещи. Чтобы оправдать собственную слабость, я изображаю окружение более сильным, чем оно есть в действительности. Это, конечно, обман. Я ведь юрист. Потому и не могу убежать от зла.

* * *

В связи с выходом на чешском языке "Кочегара" в переводе Милены Есенской Г. Яноух сказал:

— *В повести так много солнца и хорошего настроения. Здесь так много любви, хотя о ней вообще-то не говорится.*

— Это не в повести, а у объекта повествования, у молодости. Она полна солнца и любви. Молодость счастлива, потому что обладает способностью видеть прекрасное. Когда эта способность утрачивается, начинается безнадёжная старость, увядание, несчастье.

— *Стало быть, старость исключает всякую возможность счастья?*

**Kavka (чешск.)* — галка.

— Нет, счастье исключает старость. Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет.

— *Значит, в "Кочегаре" вы очень молоды и счастливы.*

— Лучше всего говорят о далеких вещах. Их видно лучше. "Кочегар" — воспоминание о некоем сне, о чем-то, чего, вероятно, никогда не было. Карл Россман не еврей. Мы же, евреи, рождаемся уже стариками.

* * *

На вопрос о том, был ли реальный прообраз у шестнадцатилетнего Карла Россмана:

— Прообразов было много и ни одного. Но это все уже в прошлом.

— *Образ молодого Россмана, как и образ кочегара, очень живой.*

— Это лишь побочный продукт. Я не рисую людей. Я рассказываю истории. Это картины, только картины.

— *В таком случае должны быть прообразы. Основа картины — увиденное.*

— Предметы фотографируют, чтобы изгнать их из сознания. Мои истории — своего рода попытка закрыть глаза.

* * *

О "Приговоре":

— *Я хотел бы знать, как вы пришли к этому. Посвящение "Для Ф." — не простая формальность. Вы, конечно же, хотели книгой кому-то что-то сказать.*

— ... "Приговор" — призрак одной ночи.

— *Как так?*

— Это призрак.

— *Но ведь вы написали это.*

— Это лишь свидетельство, предназначенное для защиты от призрака.

* * *

О "Превращении":

— ...Замза не является полностью Кафкой. "Превращение" не признание, хотя оно — в известном смысле — и бестактно... Разве тактично и прилично — говорить о клопах, которые завелись в собственной семье?

— *Разумеется, в приличном обществе это не принято.*

— Видите, насколько я неприличен.

— *Я думаю, определения "прилично" или "неприлично" здесь неверны. "Превращение" — страшный сон, страшное видение.*

— Сон снимает покров с действительности, с которой не может сравниться никакое видение. В этом ужас жизни — и могущество искусства.

* * *

Просмотрев пачку новых книг, которые Г. Яноух собирался читать, Кафка говорит:

— Вы слишком много занимаетесь однодневками. Большинство этих современных книг — лишь мерцающие отражения сегодняшнего дня. Они очень быстро гаснут. Вам следует читать больше старых книг. Классиков. Гёте. Старое обнаруживает свою сокровеннейшую ценность — долговечность. Лишь бы новое — это сама преходящность. Сегодня оно кажется прекрасным, а завтра предстает во всей своей нелепости. Таков путь литературы.

— *А поэзия?*

— Поэзия преобразует жизнь. Иной раз это еще хуже.

* * *

Г. Яноух рассказал Кафке, что его друг, поэт Эрнст Ледерер¹, пишет свои стихи особыми светло-синими чернилами на какой-то необычной бумаге.

— У каждого мага свой церемониал. Гайдн, например, сочинял музыку только в напудренном, как для торжеств, парике. Писание — своего рода заклинание духов.

* * *

После прочтения рукописи сборника рассказов Г. Яноуха:

— Ваши рассказы так трогательно молоды. Они говорят гораздо больше о впечатлениях, которые пробуждают в вас вещи, нежели о самих событиях и предметах. Это лирика. Вы гладите мир, вместо того чтобы хватать его... Это еще не искусство. Это выражение впечатлений и чувств — собственно говоря, робкое ощупывание мира. Глаза еще мечтательно прикрыты. Но со временем это пройдет, а ищущая вслепую рука, возможно, отдернется, словно коснувшись огня. Возможно, вы вскрикнете, начнете бессвязно бормотать или стиснете зубы и широко, очень широко раскроете глаза. Но все это лишь слова. Искусство всегда дело всей личности. Потому оно в основе своей трагично.

* * *

Кафка показал анкету с вопросами о литературе, которую проводил, кажется, Отто Пик для воскресного литературного приложения "Прагер прессе". Ткнув пальцем в вопрос "Что Вы можете сказать о своих будущих литературных планах?", он улыбнулся:

— Это глупо. На это нельзя ответить. Разве можно предсказать, как будет биться сердце в ближайшее время? Перо ведь только сейсмографический грифель сердца. Им можно регистрировать землетрясения, но не предсказывать их.

Г. Яноух рассказал Кафке о постановке двух одноактных пьес — Вальтера Хазенклевера и Артура Шницлера² в Новом немецком театре. "Постановка была неслаженной, — сказал Г. Яноух, — Экспрессионизм одной пьесы врывался в реализм другой, и наоборот. Наверное, мало репетировали".

— Возможно. Положение немецкого театра в Праге очень трудное. В своей совокупности это целый комплекс финансовых и человеческих обязательств, а необходимой публики нет. Это пирамида без фундамента. Актеры подчинены режиссерам, режиссерами управляет дирекция, которая несет ответственность перед комитетом театрального объединения. Это цепь, лишенная заключительного, связующего все воедино звена. Здесь нет настоящих немцев, а потому нет и надежного, постоянного зрителя. Ведь говорящие по-немецки евреи в ложах и партере не немцы, а приезжающие в Прагу немецкие студенты на балконах и галерке — это лишь форпосты рвущейся вперед власти, враги, а не слушатели. При таких условиях нельзя, разумеется, добиться серьезных творческих результатов. Силы растрачиваются на мелочи. Остаются лишь старания, усилия, которые почти никогда не достигают цели — хорошего спектакля. Потому я и не хожу в театр. Это слишком грустно.

В Немецком театре поставили драму Вальтера Хазенклевера "Сын".

— Бунт сына против отца — старейшая тема литературы и еще более древняя проблема мира. Ей посвящены драмы и трагедии, в действительности же это материал для комедий. Это правильно понял ирландец Синг³. В его драме "Герой Запада" сын — молодой болтун, хвастающийся, что прикончил отца. Но потом старик появляется и разоблачает молодого ниспровергателя отцовского авторитета.

— *Я вижу, вы очень скептически относитесь к борьбе молодости против старости.*

— Мой скепсис ведь не меняет того факта, что борьба эта, в сущности, лишь мнимая борьба... Старость — будущее молодости, которого она раньше или позже должна достичь. Зачем же бороться? Чтобы скорее постареть? Чтобы скорее уйти?

Г. Яноух рассказывает, как в детстве он вместе с матерью посетил еврейский квартал в польском городе Пишмысль и как из старых домов и темных лавчонок выбегали люди и, плача и смеясь, целовали руки и края одежды его матери, которая, как он позднее узнал, во время погрома пряталась в своем доме многих евреев.

— А я хотел бы бежать к этим бедным евреям в гетто и молча, совсем молча целовать края их одежды. Я был бы совершенно счастлив, если бы они могли молчаливо сносить мою близость.

— *Вы так одиноки?*

Кафка кивнул.

— Как Каспар Гаузер?⁴

— Гораздо более, чем Каспар Гаузер. Я одинок, как... Франц Кафка.

* * *

В беседе о пьесе Макса Брода "Мошенник" Г. Яноух рассказал, как он представляет себе режиссуру спектакля. Речь зашла о сцене, в которой появление женщины сразу меняет всю ситуацию, по мнению же Г. Яноуха, персонажи на сцене должны медленно отступать перед появляющейся женщиной; Кафка с этим не согласился.

— Все должны отпрянуть, как громом пораженные.

— Это было бы слишком театрально.

— Так и должно быть. Актер должен быть театральным. Его чувства и их выражение должны быть сильнее, чем чувства и их выражение у зрителя, для того чтобы достичь желаемого воздействия на зрителя. Чтобы театр мог воздействовать на жизнь, он должен быть сильнее, интенсивнее повседневной жизни. Таков закон тяготения. При стрельбе нужно целиться выше цели.

* * *

По повсду постановки драмы Эрнста Вайса "Таня"⁵:

— Самое лучшее там — фантастическая сцена с Таниным ребенком. Театр сильнее всего воздействует тогда, когда он делает неральные вещи реальными. Тогда сцена становится перископом души, позволяющим заглянуть в действительность изнутри.

* * *

Г. Яноух спросил, что думает Кафка о содержащемся в книге Казимира Эдшмида "Двуглавая нимфа"⁶ (в главе "Теодор Дойблер и школа абстрактного") высказывании о нем.

— Эдшмид говорит обо мне так, словно я конструктор. На самом же деле я лишь очень посредственный, неумелый копировщик. Эдшмид утверждает, что я втискиваю чудеса в обычные происшествия. Это, разумеется, глубокая ошибка с его стороны. Обычное — уже само по себе чудо! Я только записываю его. Возможно, что я немного подсвечиваю вещи, как осветитель на полузатемненной сцене. Но это неверно! В действительности сцена совсем не затемнена. Она полна дневного света. Потому люди зажимают глаза и видят так мало.

— Между мировосприятием и действительностью часто существует болезненное несоответствие.

— Все есть борьба, битва. Лишь тот достоин жизни и любви, кто каждый день идет за них на бой,⁷ сказал Гёте... Гёте говорит почти обо всем, что касается нас, людей.

— Мой друг Альфред Кемпф сказал мне, что Освальд Шпенглер полностью почерпнул свое учение о гибели западного мира из гётевского "Фауста".

— Вполне возможно. Многие так называемые ученые транспонируют мир поэта в другую, научную сферу и добиваются таким путем славы и веса.

* * *

Кафка заметил в руках у Г. Яноуха "Песни висельника" Кристиана Моргенштерна⁸ и спросил:

— Знаете ли вы его серьезные стихотворения? "Время и вечность"? "Ступени"?

— Нет, я даже не знал, что у него есть серьезные стихи.

— Моргенштерн страшно серьезный поэт. Его стихи так серьезны, что ему приходится спасаться от своей собственной нечеловеческой серьезности в "Песнях висельника".

* * *

О романе Якоба Вассермана "Каспар Гаузер, или Леность сердца":

— Вассермановский Каспар Гаузер давно уже не найденыш. Он теперь узаконен, нашел свое место в мире, зарегистрирован в полиции, является налогоплательщиком. Правда, свое старое имя он сменил. Теперь его зовут Якобом Вассерманом, он немецкий романист и владелец виллы. Втайне он тоже страдает леностью сердца, которая вызывает у него угрызения совести. Но их он перерабатывает в хорошо оплачиваемую прозу, и все, таким образом, в полном порядке.

* * *

Г. Яноух рассказал, что его отец любит стихотворения в прозе Альтенберга⁹ и вырезает из газет его небольшие рассказы.

— Петер Альтенберг действительно поэт. В его маленьких рассказах отражается вся его жизнь. И каждый шаг, каждое движение, которые он делает, подтверждают правдивость его слов. Петер Альтенберг — гений незначительности, редкостный идеалист, который находит красоты мира, как окурки в пепельницах в кафе.

* * *

О романе Густава Мейринка "Голем"¹⁰:

— Удивительно уловлена атмосфера старого пражского еврейского квартала. В нас все еще есть темные углы, таинственные проходы, слепые окна, грязные дворы, шумные и тайные притоны. Мы ходим по широким улицам вновь построенного города. Но наши шаги и взгляды неуверенны. Внутренне мы еще дрожим, как в старых улочках нищеты. Наше сердце еще ничего не знает о проведенной реконструкции. Нездоровый старый еврейский квартал в нас гораздо реальнее, чем гигиенический новый город вокруг нас. Бодрствуя, мы идем сквозь сон — сами лишь призраки ушедших времен.

— Кьеркегор стоит перед проблемой: эстетически наслаждаться бытием или жить по законам нравственности. Но мне кажется, что такая постановка вопроса неправильна. Проблема "или — или" живет лишь в голове Сёрена Кьеркегора. В действительности же эстетически наслаждаться бытием можно, только смиренно живя по законам нравственности. Но это мое мнение лишь в данную минуту, от которого я, может быть, при дальнейшем размышлении откажусь.

* * *

— Вы хотите получить от меня совет. Но я плохой советчик. Для меня дать совет, по сути, всегда значит пре-дать. Совет — трусливое отступление перед будущим, являющимся пробным камнем нашего настоящего. Но проверки боится лишь тот, у кого нечистая совесть. Человек, не выполняющий задачи своего времени. Однако кто совершенно точно знает свою задачу? Никто. Потому у каждого из нас нечистая совесть, от которой хочется убежать — как можно скорее уснув.

* * *

Г. Яноух заметил, что Иоганнес Р. Бехер в одном стихотворении¹¹ назвал сон дружеским визитом смерти.

— Это верно. Возможно, моя бессонница лишь своего рода страх перед визитером, которому я задолжал свою жизнь.

* * *

О книге Альберта Эренштайна¹² "Тубуч" с двенадцатью рисунками Оскара Кокошки:

— Такая маленькая книжка, и так много шума в ней. "Вопль человеческий"... Так, кажется, называется книга стихотворений Альберта Эренштайна.

— *Вы, значит, хорошо знаете его?*

— Хорошо? Живущих никогда не знают. Настоящее — это изменение и превращение. Альберт Эренштайн — одно из явлений настоящего. Он потерянный в пустоте, кричащий ребенок.

— *А что вы скажете о рисунках Кокошки?*

— Я их не понимаю. Рисунок — производное от слов "рисовать", "разрисовать", "обрисовать". Мне они обрисовывают лишь великий внутренний хаос и сумятицу художника.

— *Я видел на выставке экспрессионистов его большую картину, где изображена Прага.*

— Большая... С зелеными куполами церкви св. Николая в середине?.. На картине крыши улетают. Купола как зонтики на ветру. Весь город взлетает и улетает. Но Прага стоит — вопреки всем внутренним раздорам. И это как раз изумительно в ней.

Г. Яноух переложил на музыку два стихотворения Иоганнеса Шляфа¹³ и послал ему экземпляр нот. В ответ он получил длинное письмо Шляфа, которое показал Кафке.

— Шляф так трогателен. Мы с Максом Бродом навестили его, когда были в Веймаре. Он знать ничего не хотел о литературе и искусстве. Весь его интерес был сосредоточен на том, чтобы опровергнуть существующую Солнечную систему.

— *Недавно я видел толстую книгу Шляфа, где он объявляет Землю центром Космоса.*

— Да, это и тогда уже было его идеей, в правильности которой он хотел нас убедить своим собственным объяснением солнечных пятен. Он подвел нас к окну мешанской квартиры и показал Солнце в старый школьный телескоп.

— *Вы смеялись?*

— Что вы! Тот факт, что с помощью этого смешного наследия старины он отваживается выступить против науки и Космоса, был настолько комичен и вместе с тем трогателен, что мы чуть было не поверили ему.

— *Что же помешало вам?*

— Собственно говоря, кофе. Он был скверный. Мы ушли.

Г. Яноух рассказал Кафке слышанную им историю о том, что лейпцигский издатель Курт Вольф в восемь часов утра отклонил перевод Рабиндраната Тагора, а через два часа погнал издательского редактора на почту, чтобы вернуть рукопись, так как узнал из газеты, что Тагору присуждена Нобелевская премия.

— Странно, что он отклонил. Тагор ведь не так далек от Курта Вольфа Индия — Лейпциг, это расстояние только кажущееся. В действительности же Рабиндранат Тагор лишь переодетый немец.

— *Может быть, учитель?*

— Учитель? Нет, не это, но саксонцем он мог бы быть — как Рихард Вагнер.

— *Стало быть, мистик в пресловутом непромокаемом пальто?*

— Нечто в этом роде.

Г. Яноух дал Кафке немецкий перевод индийской книги о религии "Бхагавадгита".

— Документы индийской религии привлекают и в то же время отталкивают меня. В них, как в дурмане, есть что-то притягательное и пугающее. Все эти йоги и маги покорили естественную жизнь не пламенной любовью к свободе, а молчаливой, холодной ненавистью к жизни. Источник индийских религиозных упражнений — глубочайший пессимизм.

В ответ на напоминание Г. Яноуха об интересе Шопенгауэра к индийской философии религии:

— Шопенгауэр — мастер языка. Этим определяется и его мышление. Его непременно нужно читать ради одного только языка.

* * *

Увидев у Г. Яноуха томик стихов Михазля Мареша¹⁴:

— Я знаю его. Он ярый анархист, которого в "Прагер тагблатт" терпят как курьез.

— *Вы не принимаете всерьез чешских анархистов?*

— Это очень трудно. Эти люди, которые называют себя анархистами, так милы и приветливы, что нельзя не верить каждому их слову. Но в то же время — именно из-за этих особенностей — нельзя верить, что они действительно могли бы стать такими разрушителями мира, как они утверждают.

— *Вы, значит, знаете их лично?*

— Немного. Очень милые, веселые люди.

* * *

В связи с выходом нового номера издаваемого Карлом Краусом¹⁵ журнала "Факел":

— Он великолепно разделявает журналистов. Только заядлый браконьер может быть таким строгим лесничим.

* * *

О маленьких, блестяще написанных эссе Альфреда Польгара¹⁶, часто появлявшихся на страницах "Прагер тагблатт":

— Его фразы так гладки и приятны, что чтение Альфреда Польгара воспринимаешь как своего рода непринужденную светскую беседу и совсем не замечаешь, что на тебя, собственно говоря, влияют и воспитывают тебя. Под лайковыми перчатками формы скрывается твердая, бесстрашная сила содержания. Польгар — маленький, но деятельный маккавеец в стране филистеров.

* * *

Возвращая Яноуху книгу стихотворений Франсиса Жамма¹⁷:

— Он так трогательно-прост, так счастлив и силен. Жизнь для него — не эпизод между двумя ночами. Он вообще не знает темноты. Он и весь его мир надежно укрыты во всемогущей длани божьей. Как дитя, он обращается к боженьке на "ты", словно к члену своей семьи. Потому он и не стареет.

* * *

По поводу романа Альфреда Дёблина "Три прыжка Ван-Луна":

— Это большое имя среди новых немецких романистов. Кроме этой

его первой книги, я знаю только несколько небольших рассказов и странный любовный роман "Черный занавес". Мне кажется, Дёблин должен воспринимать зримый мир как нечто абсолютно несовершенное, и творчески дополнить этот мир призвано его слово. Это мое впечатление. Но если вы будете внимательно его читать, вы придете к тому же.

* * *

О книге Альфреда Дёблина "Черный занавес, роман о словах и случайностях":

— Я не понимаю этой книги. Случайностями называют стечение событий, причинность которых неизвестна. Но без причинности нет мира. Поэтому случайности существуют, собственно, не в мире, а лишь здесь. *(Кафка дотрагивается левой рукой до лба.)* Случайности существуют только в нашей голове, в нашем ограниченном восприятии. Они — отражение границ нашего познания. Борьба против случайности — всегда борьба против нас самих, борьба, в которой мы никогда не можем стать победителями. Но об этом в книге ничего нет.

— *Вы, значит, разочаровались в Дёблине?*

— В сущности, я разочаровался только в самом себе. Я ожидал чего-то другого, чем то, что он, вероятно, хотел дать. Но упорство моего ожидания так ослепило меня, что я перепрыгивал через страницы и строчки, а к концу — через всю книгу. Поэтому я ничего не могу сказать о книге. Я очень плохой читатель.

* * *

В трех воскресных номерах "Прагер прессы" публиковалось сочинение Франца Блей¹⁸ "Великий литературный зверинец". Автор описывал различных писателей и поэтов как рыб, птиц, кротов, зайцев и т.д. О Кафке было сказано, кроме всего прочего, что он особая птица, питающаяся горькими корнями. О Франце Блее Кафка заметил:

— Это давнишний приятель Макса Брода. Блей — человек огромного ума и остроумия. Когда мы собираемся вместе, мы очень веселимся. Мировая литература дефилирует перед нами в подштанниках. Франц Блей гораздо умнее и значительнее того, что он пишет. И это совершенно естественно, ибо это только запись разговоров. А путь от головы к перу намного длиннее и труднее, нежели путь от головы к языку. Тут многое теряется. Франц Блей — восточный рассказчик историй и анекдотов, по ошибке попавший в Германию.

* * *

О сборнике стихотворений Иоганнеса Р. Бехера:

— Я не понимаю этих стихов. Здесь такой шум и словесная толчея, что никак не уйдешь от себя самого. Слова превращаются не в мосты, а в высокие непреодолимые стены. Все время натыкаешься на форму, так что к содержанию вообще не пробиться. Слова не сгущаются здесь в язык. Это вопль. И только.

* * *

О двух книгах Г.-К. Честертона — "Ортодоксия" и "Человек, который был Четвергом":

— Это так весело, что можно почти поверить, будто он нашел бога.

— Смех для вас признак религиозности?

— Не всегда. Но в такое безбожное время нужно быть веселым. Это наш долг. Когда "Титаник" шел ко дну, его оркестр продолжал играть. Так отчаяние лишается почвы.

— Но судорожная веселость гораздо грустнее, чем открыто выраженная грусть.

— Верно. Но грусть безысходна. А речь идет о надежде, об исходе, о будущем — только об этом. Опасность длится лишь одно маленькое, ограниченное мгновение. За ним — пропасть. Если преодолеешь ее, все станет иначе. Все дело в мгновении. Оно определяет жизнь.

* * *

О Бодлере:

— Поэзия — болезнь. Сбить температуру еще не значит выздороветь. Напротив! Жар очищает и просветляет.

* * *

Прочитав чешский перевод воспоминаний Максима Горького о Льве Толстом¹⁹, Кафка сказал:

— Поразительно, как Горький рисует характерные черты человека, не давая своей оценки. Я хотел бы прочесть его заметки о Ленине.

— Разве Горький опубликовал воспоминания о Ленине?

— Нет, он этого еще не сделал. Но я думаю, что он когда-нибудь непременно их опубликует. Ленин дружен с Горьким. А Максим Горький видит и все ощущает пером. Это видно по заметкам о Толстом. Перо не инструмент, а орган писателя.

* * *

В связи с процитированной Г. Яноухом фразой из книги Михазля Грузема об авторе "Бесов": "Достоевский — кровавая сказка".

— Некровавых сказок не бывает. Всякая сказка исходит из глубин крови и страха. Это роднит все сказки. Внешняя оболочка различна. В северных сказках не так много пышной фауны фантазии, как в сказках африканских негров, но зерно, глубина тоски одинаковы.

* * *

О Генрихе Гейне:

— Несчастный человек. Немцы обвиняли и обвиняют его в еврействе,

а ведь он немец, и притом маленький немец, находящийся в конфликте с еврейством. И как раз это и есть типично еврейское в нем.

* * *

В беседе о книге "Человек добр" Леонгарда Франка:

— В большинстве своем люди вовсе не злы. Люди поступают плохо и навлекают на себя вину потому, что говорят и действуют, не представляя себе последствий своих слов и поступков. Они лунатики, а не злодеи.

* * *

Кафка рассказал, что Георг Траэль отравился, чтобы уйти от ужасов войны. "Дезертировал в смерть", — заметил Г. Яноух.

— У него было слишком сильное воображение. Потому он и не мог вынести войны, возникшей главным образом из-за неслыханного отсутствия воображения

* * *

После десятидневной болезни Г. Яноух пришел к Кафке в канцелярию и сказал, что чувствует себя гораздо крепче, чем до болезни.

— Оно и понятно. Вы перенесли встречу со смертью. Это укрепляет.

— *Вся жизнь — лишь путь к смерти.*

— Для здорового человека жизнь, собственно говоря, лишь неосознанное бегство, в котором он сам себе не признается, — бегство от мысли, что рано или поздно придется умереть. Болезнь всегда одновременно и напоминание, и проба сил. Потому болезнь, боль, страдание — важнейшие источники религиозности...

* * *

— Что вы читаете?

— *"Ташкент — город хлебный"*²⁰...

— Изумительная книга. Я недавно прочитал ее за один вечер.

— *Мне кажется, книга эта скорее документ, нежели произведение искусства.*

— Всякое подлинное искусство — документ, свидетельство. Народ, у которого такие мальчики, как в этой книге, — такой народ нельзя победить.

— *Но дело, вероятно, не в единицах.*

— Напротив! Вид материи определяется количеством электронов в атоме. Уровень массы зависит от сознания единиц.

* * *

— Между евреями и немцами много общего. Они усердны, дельны, прилежны, и их изрядно ненавидят другие. Евреи и немцы — изгой.

— Возможно, их ненавидят как раз из-за этих качеств?

— О нет! Причина гораздо глубже. В основе своей это религиозная причина. У евреев это ясно. У немцев это не так явственно, потому что их храм еще не разрушен. Но это еще произойдет.

— Как так? Ведь немцы не теократический народ. У них нет национального бога в собственном храме.

— Так принято считать, в действительности же дело обстоит совсем иначе. У немцев есть "бог, который велит ковать железо"²¹. Их храм — прусский генеральный штаб.

* * *

Кафка рассказал, что пражский еврейский писатель Оскар Баум мальчиком ходил в немецкую школу. Обычно после занятий по дороге домой происходили драки между немецкими и чешскими школьниками. Однажды во время подобной потасовки Оскара Баума ударили пеналом по глазам, и у него отслоилась сетчатка, он ослеп.

— Еврей Оскар Баум потерял зрение как немец, каковым он, в сущности, никогда не был и каковым его никогда не считали. Может быть, Оскар — печальный символ так называемых немецких евреев в Праге.

* * *

В разговоре об отношениях между чехами и немцами Г. Яноух сказал, что для лучшего взаимопонимания обеих наций было бы хорошо издать чешскую историю на немецком языке.

— Бесполезно. Кто станет ее читать? Разве что чехи и евреи. Немцы определенно не станут, они ведь не стремятся узнавать, понимать, читать. Они хотят только владеть и править, а понимание — обычно лишь помеха на пути к этому. Угнетать ближнего куда легче, если ничего не знаешь о нем. Совесть тогда не мучает...

Тейлоризм и разделение труда в промышленности.

— Это страшное дело.

— Вы думаете при этом о порабощении человека?

— Речь идет о большем. Результатом такого чудовищного преступления может стать только господство зла. Это естественно. Самая возвышенная и наименее осязаемая часть творения — время — втиснута в сеть нечистых деловых интересов. Тем самым пачкается и унижается все творение, и прежде всего — человек, составная часть его. Такая "затейлоризированная" жизнь — страшное проклятие, которое может породить только голод и нищету вместо желанного богатства и прибыли. Это шаг вперед к...

— Концу мира?

— Если бы хоть это можно было сказать с уверенностью. Но ни в чем нельзя быть уверенным. Потому ничего нельзя сказать. Можно только кричать, заикаться, хрипеть. Конвейер жизни несет человека куда-то — неизвестно куда. Человек превращается в вещь, в предмет, перестает быть живым существом.

*Кафка листает принесенную Г. Яноухом книгу Альфонса Паке "Дух русской революции"*²².

— Спасибо. У меня сейчас нет времени. А жаль. Люди в России пытаются построить совершенно справедливый мир. Это религиозное дело.

— *Но ведь большевизм выступает против религии.*

— Он делает это потому, что он сам — религия. Интервенции, мятежи и блокады — что это такое? Это небольшие прелюдии к великим, лютым религиозным войнам, которые пробушуют над миром.

Встретив большую группу рабочих, направляющихся со знаменами и плакатами на собрание, Кафка заметил:

— Эти люди так уверены в себе, решительны и хорошо настроены. Они овладели улицей и потому думают, что овладели миром. Но они ошибаются. За ними уже стоят секретари, чиновники, профессиональные политики — все эти современные султаны, которым они готовят путь к власти.

— *Вы не верите в силу масс?*

— Я вижу ее, эту бесформенную, казалось бы неукротимую силу масс, которая хочет, чтобы ее укротили и оформили. В конце всякого подлинно революционного процесса появляется какой-нибудь Наполеон Бонапарт.

— *Вы не верите в дальнейшее развертывание русской революции?*

— Чем шире разливается половодье, тем более мелкой и мутной становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии. Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги²³.

Г. Яноух рассказал Кафке о докладе, организованном союзом студентов-марксистов в клубе социал-демократов и посвященном положению в России.

— Я ничего не смыслю в политических делах. Это, разумеется, недостаток, от которого я бы охотно избавился. Но у меня так много недостатков! Самое близкое все больше и больше уходит от меня вдаль. Я восхищаюсь Максом Бродом, который хорошо ориентируется в дебрях политики. Он часто и очень много и долго рассказывает мне о текущих событиях. Я слушаю его, как сейчас слушаю вас, и тем не менее не могу полностью понять их.

— *Я неясно рассказывал?*

— Вы меня не поняли. Вы хорошо рассказывали. Дело во мне. Война, революция в России и беды всего мира представляются мне половодьем зла. Это наводнение. Война открыла шлюзы хаоса. Наружные вспомогательные конструкции человеческого существования рушатся. Исторический процесс держится уже не на личности, а только на массах. Нас толкают, теснят, сметаю. Мы претерпеваем историю.

— *Стало быть, вы считаете, что человек больше не является сотворцом мира?*

— Вы опять не поняли меня. Напротив, человек отказался от участия в созидании мира и ответственности за него.

— *Это не так. Разве вы не видите роста рабочей партии? Активности масс?*

— В том-то и дело. Движение лишает нас возможности созерцания. Наш кругозор сужается. Сами того не замечая, мы теряем голову, не теряя жизни.

— *Вы считаете, что люди становятся безответственными?*

— Мы все живем так, словно мы самодержцы. Из-за этого мы становимся нищими.

— *К чему это приведет?*

— Ответы — лишь желания и обещания. Но они не дают уверенности.

— *Если нет уверенности, чем в таком случае является вся жизнь?*

— Крушением. Возможно, грехопадением.

— *Что есть грех?*

— Что есть грех... Мы знаем слово и деяние, но мы утратили ощущение и познание. Может быть, это уже есть проклятие, покинутость богом, безумие... Не ломайте себе голову над тем, что я вам сказал.

— *Почему? Вы ведь говорили совершенно серьезно.*

— Именно поэтому. Моя серьезность может подействовать на вас, как яд. Вы молоды.

— *Но ведь молодость не недостаток. Она не может помешать мне думать.*

— Я вижу, мы сегодня действительно не понимаем друг друга. Но это даже хорошо. Непонимание защитит вас от моего злого пессимизма, который и есть грех.

* * *

Перелистывая книгу "Освобождение человечества, свободолюбивые идеи в прошлом и настоящем", Кафка долго рассматривал репродукции картин "Война" Арнольда Бёклина и "Апофеоз войны" В.В. Верещагина.

— В сущности, войны еще никогда не изображались правильно. Обычно показывают только отдельные явления или результаты — вот как эта пирамида черепов. Но самое страшное в войне — уничтожение всех существующих гарантий и соглашений. Физическое, животное заглушает и душит все духовное. Это как раковая болезнь. Человек живет уже не годы, месяцы, дни, часы, а только мгновения. И даже в течение мгновения он не живет. Он лишь осознает его. Он просто существует.

— *Это вызывается близостью смерти.*

— Это вызывается знанием и боязнью смерти.

— *Разве это не одно и то же?*

— Нет, это совсем не одно и то же. Тот, кто познал всю полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью лишь результат неосуществившейся жизни. Это выражение измены ей.

* * *

По поводу бесчисленных международных конференций послевоенного времени:

— У этих больших политических собраний уровень обычных встреч в кафе. Люди очень много и очень громко говорят, для того чтобы сказать как можно меньше. Это очень шумное молчание. По-настоящему существенны и интересны при этом лишь закулисные сделки, о которых не упоминают ни единым словом.

— *По вашему мнению, пресса не служит истине.*

— Истина относится к тем немногим действительно великим ценностям жизни, которые нельзя купить. Человек получает их в дар, так же как любовь или красоту. Газета же — товар, которым торгуют.

— *Значит, пресса служит оглуплению человечества.*

— Нет, нет! Всё, в том числе и ложь, служит истине. Тени не гасят солнца.

* * *

В одной газетной статье говорится о плохих перспективах мира в Европе.

— *Но ведь мирный договор окончательный, — заметил Г. Яноух.*

— Нет ничего окончательного. По словам Авраама Линкольна, ничто не урегулировано окончательно, пока не урегулировано справедливо.

— *Когда же это будет?*

— Кто знает? Люди не боги. История создается ошибками и героизмом любого самого незначительного момента. Когда бросают камень в реку, на воде образуются круги. Но большинство людей живет без сознания сверхиндивидуальной ответственности, и в этом, мне кажется, источник всех бед.

— *Что вы скажете по поводу Макса Хёльца²⁴?*

— Разве можно злом достичь добра? В сущности, сила, которая пытается противостоять судьбе, есть слабость. Куда сильнее тот, кто готов все отдать и все принять. Но этого не может понять маркиз де Сад.

— *Маркиз де Сад?*

— Да, маркиз де Сад, историю которого вы дали мне читать, поистине покровитель нашего времени... Он ощущает радость, только заставляя страдать других, подобно тому как роскошь богатых оплачивается нищетой бедных.

Г. Яноух показывает Кафке репродукции картин Винсента Ван Гога.

— Как прекрасен этот сад при кафе на фоне фиолетовой ночи. Другие картины тоже хороши. Но этот сад очаровывает меня. Вы знаете его рисунки?

— *Нет, их я не знаю.*

— Жаль. Они воспроизведены в книге "Письма из сумасшедшего дома". Может быть, вы где-нибудь увидите эту книгу. Я так хотел бы уметь рисовать. Я все время пытаюсь делать это. Но ничего не получается. Только какие-то иероглифы, которые потом и сам не могу расшифровать.

* * *

По поводу антологии поэтов-экспрессионистов²⁵:

— Книга навевает на меня грусть. Поэты протягивают руки навстречу

людям. Но люди видят не дружеские руки, а судорожно сжатые кулаки, нацеленные в глаза и сердце.

* * *

В разговоре о новом издании платоновских законов идеального государства Г. Яноух высказал сомнения, правильно ли поступает Платон, исключая поэтов из своего государства.

— Это вполне понятно. Поэты пытаются заменить людям глаза, чтобы тем самым изменить действительность. Потому они, в сущности, враждебные государству элементы, — они ведь хотят перемен. Государство же и вместе с ним все его преданные слуги хотят незыблемости.

* * *

На выставке французской живописи, где были и картины Пикассо — кубистский натюрморт и розовые женщины с огромными ногами, — Г. Яноух назвал Пикассо "озорным деформатором".

— Я так не думаю. Он просто отмечает уродства, еще не осознанные нашим сознанием. Искусство — зеркало, иной раз оно "уходит вперед", как часы.

* * *

Рассматривая фотографии конструктивистских картин:

— Все это только мечты о чудесной Америке, о волшебной стране неограниченных возможностей. Оно и вполне понятно, ибо Европа все больше и больше становится страной немыслимой ограниченности.

* * *

Просматривая издание политических рисунков Георга Гросса²⁶, Яноух заметил: "Это же ненависть!"

— Разочарованная молодежь. Это ненависть, возникающая из невозможности любить. Сила выразительности порождена определенной слабостью. В этом источник отчаяния и жестокости этих рисунков. Кстати, в одном альманахе я читал какие-то стихи Гросса.

Кафка указал на рисунки:

— Это рисованная литература.

* * *

Перелистывая книгу с рисунками Георга Гросса²⁷:

— Старое представление о капитале — толстяк в цилиндре сидит на деньгах бедняков.

— Но это ведь только аллегория.

— Вы говорите "только"! Аллегория превращается в головах людей

в отражение действительности, что, разумеется, неверно. Но заблуждение уже возникло.

— *Вы считаете, что такое изображение неверно?*

— Я совсем не это хотел сказать. Оно и верно, и неверно. Верно оно только с одной стороны. Неверно оно постольку, поскольку часть выдается за целое. Толстяк в цилиндре сидит у бедняков на шее. Это верно. Но толстяк олицетворяет капитализм, и это уже не совсем верно. Толстяк властвует над бедняком в рамках определенной системы. Но он не есть сама система. Он даже и не властелин ее. Напротив, толстяк тоже носит оковы, которые не показаны. Изображение неполно. Потому оно и не хорошо. Капитализм — система зависимостей, идущих изнутри наружу, снаружи вовнутрь, сверху вниз и снизу вверх. Все зависимо, все скованно. Капитализм — состояние мира и души...

* * *

— Истинная реальность всегда нереалистична. Поглядите на ясность, чистоту и правдивость китайской цветной гравюры на дереве. Уметь бы так говорить!

* * *

— *Форма выражения мне не совсем понятна, — сказал Г. Яноух по поводу гравюр на линолеуме Йозефа Чапека, воспроизведенных в журнале "Червень".*

— Тогда вы не понимаете и содержания. Форма не есть выражение содержания, а лишь приманка, ворота и путь к содержанию. Возымает оно действие — тогда откроется скрытый задний план.

* * *

Один из пражских журналов проводил анкету, первый вопрос которой гласил: "Существует ли молодое искусство?" На замечание Г. Яноуха, что такой вопрос звучит странно, ибо существует только или искусство, или халтура, Кафка сказал:

— В этом вопросе ударение не на существительном "искусство", а на определяющем прилагательном "молодое". Это значит, что те, кто задает его, серьезно сомневаются в существовании художественной молодежи. В наше время действительно трудно представить себе свободную, ничем не отягощенную молодежь. Страшный поток этих лет затопил все. В том числе и детей. Грязь и молодость исключают, конечно, друг друга. Но что ныне случилось с молодостью? Она так близка и дружна с грязью. Людям ведома власть грязи. Власть же молодости они забыли. Потому они сомневаются в самой молодости. А что за искусство без хмеля молодой уверенности?.. Молодость слаба. А давление извне так сильно. Необходимость защищаться и в то же время сдаваться рождает судорогу, искажающую лицо. Язык молодых художников больше скрывает, нежели выявляет.

Г. Яноух говорит, что молодые художники, с которыми он встречался, обычно люди в возрасте около сорока лет.

— Это верно. Многие люди лишь теперь наверстывают свою молодость. Лишь теперь они играют свои детские игры в разбойников, индейцев. Разумеется, они не бегают с луком и стрелами по дорожкам городского парка. Нет! Они сидят в кино и смотрят приключенческие фильмы. Вот и все. Темный зал кинотеатра — волшебный фонарь их упущенной молодости.

* * *

В разговоре о молодых писателях:

— Я завидую молодым.

— Но ведь вы еще не так стары.

— Я стар, как Вечный жид... Вот теперь я напугал вас. Это была только жалкая попытка пошутить. Но молодым я действительно завидую. Чем старше человек становится, тем больше расширяется его кругозор. А жизненные возможности становятся все меньше и меньше. К концу остается один лишь взгляд, один лишь выдох. В этот момент человек, наверное, оглядывает всю свою жизнь. В первый и последний раз.

* * *

Увидев среди книг в портфеле Г. Яноуха детективный роман:

— Вам нечего стыдиться, что вы это читаете. "Преступление и наказание" Достоевского, в сущности, тоже детективный роман. А "Гамлет" Шекспира? Это детективная пьеса. Действие основано на тайне, которая постепенно раскрывается. Но существует ли большая тайна, чем истина? Искусство всегда лишь экспедиция за истиной.

— Но что есть истина?

— Похоже на то, будто вы поймали меня на пустой фразе. На самом же деле это не так. Истина — то, что нужно каждому человеку для жизни и что тем не менее он не может ни у кого получить или приобрести. Каждый человек должен непрерывно рождать ее из самого себя, иначе он погибнет. Жизнь без истины невозможна. Может быть, истина и есть сама жизнь.

* * *

Листая немецкий перевод статей Оскара Уайльда "Замыслы":

— Это сверкает и манит, как может сверкать и манить только отрав.

— Вам не нравится эта книга?

— Я не сказал этого. Напротив, она может слишком легко понравиться. И в этом тоже одна из опасностей. Ибо опасна книга, играющая с истиной. Игра с истиной всегда игра с жизнью.

— Вы считаете, что без истины нет настоящей жизни?

— Часто ложь лишь выражение страха перед тем, что истина может раздавить. Это проекция собственного ничтожества, греха, которого страшатся.

Прощаясь перед отъездом Кафки в санаторий в Татрах, Г. Яноух выразил надежду на его скорое выздоровление, на то, что "будущее все поправит, все изменится". Кафка прижал руку к своей груди.

— Будущее уже здесь, во мне. Изменение — это только обнажение скрытых ран.

— Раз вы не верите в выздоровление, зачем же вы едете в санаторий?

— Каждый подсудимый пытается добиться отсрочки приговора.

Примечания

ИЗ ДНЕВНИКОВ

Кафка начал вести дневник с 1910 года и вел его — иногда с продолжительными перерывами — по 1923 год. Самую большую часть составляют записи 1911 и 1914 годов; 1918 год вообще отсутствует; записей за 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 годы немного, и они приведены нами полностью; из записей остальных годов здесь представлено около половины текста. Выбранные записи, как правило, даются без купюр.

Отдельную часть "Дневников" составляют путевые дневники, которые Кафка вел во время путешествий по Швейцарии, Франции и Германии (1911 и 1912 годы), в наше издание они не включены.

Выборка и перевод сделаны по книгам: Franz Kafka. Tagebücher 1910-1923. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1951; Das Kafka-Buch, Fischer-Bücherei, 1965.

1910

¹Запись от 19 июля приведена в "Дневниках" в трех вариантах (здесь публикуется третий). Из разночтений наиболее существенна имеющаяся только во втором варианте фраза: "Короче говоря, этот упрек всажен, как кинжал, во все общество, и никто — повторяю: к сожалению, никто — не уверен, что острие кинжала не вылезет вдруг спереди, или сзади, или сбоку".

²Фред В. (1879—1922) — художественный критик и эссеист.

³"Бишофсбергские девы" ("Die Jungfern von Bischofsberg") — комедия немецкого драматурга Герхарта Гауптмана (1862—1946).

⁴Брод, Макс (1884—1968) — австрийский писатель и критик; ближайший друг и душеприказчик Кафки, автор книги о его жизни и творчестве: "Franz Kafka. Eine Biographie" (первое издание книги вышло в 1937 году в Праге, третье, дополненное новыми материалами, — в 1954 году во Франкфурте-на-Майне, в издательстве Фишера).

⁵Кузмин, Михаил Алексеевич (1875—1936) — русский писатель; "Подвиги Великого Александра" опубликованы в 1910 году ("Вторая

книга рассказов". М., "Скорпион"). Интересно отметить, что сборник М. Кузмина впервые вышел на немецком языке в 1912 году. Можно было бы предположить, что выписки — в очень точном переводе — из "Подвигов Великого Александра", занесенные в дневник 21 декабря 1910 года, даны Кафкой в собственном переводе, но подтверждений того, что Кафка знал русский язык, не имеется.

⁶*Баум, Оскар* (1883—1940) — австрийский писатель, один из близких друзей Кафки.

1911

¹*Берадт, Мартин* (1881—1949) — один из сотрудников берлинского еженедельника "Aktion" (1911—1914).

²*"Как достичь познания высших миров"* ("Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten") — название книги австрийского теософа Рудольфа Штайнера (1861—1925).

³Существует гипотеза, согласно которой легендарный материк Лемурия, бывший колыбелью человеческой цивилизации, погиб в Индийском океане.

⁴*Тухольский, Курт* (1890—1935) — немецкий писатель-публицист. *Сафранский Курт* — немецкий художник, современник Тухольского и Кафки.

⁵*Чиссик и Лёви* — актеры странствующей еврейской труппы, выступавшей в то время в пражском кафе "Савой". С Исааком Лёви Кафка особенно подружился, его имя часто встречается в "Дневниках".

⁶*Тауссиг, Эльза* — будущая жена Макса Брода.

⁷*"Рихард и Самуэль"* — название (Кафка ошибочно пишет здесь "Роберт и Самуэль") романа, который Кафка и Брод собирались писать вместе. Замысел этот не был осуществлен; фрагменты, написанные Кафкой, Брод опубликовал в первом томе собрания сочинений Кафки ("Erzählungen und kleine Prosa", 1935); один отрывок напечатан при жизни Кафки (в 1912 году) в издававшихся Вилли Хаасом "Herderblätter".

⁸*"Неудачники"* ("Die Mißgeschickten") — роман немецкого писателя Вильгельма Шефера (1868—1952).

⁹Этот отрывок с небольшими сокращениями и изменениями опубликован затем под названием "Несчастье холостяка" ("Das Unglück des Junggesellen") в сборнике "Созерцание" ("Betrachtung", январь, 1913).

¹⁰*Шницлер, Артур* (1862—1931) — австрийский драматург, прозаик и поэт.

Утиц, Эмиль (1883—1956) — гимназический соученик Кафки, впоследствии философ.

¹¹*Киш, Пауль* — соученик Кафки, брат чешско-немецкого писателя-публициста Эгона Эрвина Киша (1885—1948).

¹²*Штауффер-Берн, Карл* (1857—1891) — швейцарский художник, график и скульптор.

¹³*"Бобровая шуба"* (1893) — сатирическая пьеса Герхарта Гауптмана.

¹⁴*Верхан* — один из главных персонажей "Бобровой шубы".

¹⁵*"Гипподамия"* (1890—1891) — пьеса чешского поэта и драматурга Ярослава Врхлицкого (1853—1912).

¹⁶*Латайнер, Йозеф* (1853—1935) — чешско-немецкий драматург,

автор пьес о жизни евреев.

¹⁷ *Леви, Альфред* — старший дядя Кафки со стороны матери, добившийся высокого положения (он стал генеральным директором железных дорог в Испании).

¹⁸ *Лёви, Рудольф* — сводный брат матери Кафки, бухгалтер; он также остался холостяком, жил уединенно, слыл в семье чудачком. В одном из писем Кафка писал о нем, что он все больше превращается в "загадочного, сверхскромного, одинокого и при этом почти болтливого человека".

1912

¹ *"Голый человек"* ("Der nackte Mann", 1912) — роман немецкого писателя Эмиля Штрауса (1866—1960).

² *Велч, Феликс* — писатель и философ, друг Кафки.

³ Этот отрывок под названием "Внезапная прогулка" ("Der plötzliche Spaziergang") опубликован затем в сборнике "Созерцание".

⁴ *Ашер, Эрнст* — немецкий художник.

⁵ *Ведекинд, Франк* (1864—1918) — немецкий писатель, драматург. Пьеса "Дух земли" ("Erdgeist") написана в 1895 году.

⁶ *Демель, Рихард* (1863—1920) — немецкий поэт.

⁷ *Ридеамус* (от латинского ridere — смеяться) — псевдоним немецкого писателя Кица Оливена (1874—1956) — автора комедий, сатирических стихов, эстрадных обозрений.

⁸ *Моисси, Александр* (1880—1935) — австрийский актер.

⁹ *Лагерлёф, Сельма* (1858—1940) — шведская писательница.

¹⁰ *Гарден, Максимилиан* (1861—1927) — немецкий публицист, издатель и критик.

¹¹ *Пик, Отто* (1887—1938) — критик, переводчик на немецкий язык чешских пьес, в том числе Карела и Йозефа Чапеков; один из редакторов газеты "Prager Presse".

¹² Кафка в это время работал над романом, упоминаемым в "Дневниках" под названием "Der Verschollene" ("Пропавший без вести"). Роман остался незавершенным, рукопись названия не имела, и при издании Макс Брод назвал его "Америка", объясняя это тем, что в беседах Кафка говорил, что работает над "американским романом". При жизни Кафки опубликована (в 1913 году) первая глава романа под названием "Кочегар" ("Der Heizer").

¹³ Речь идет о подготовке к изданию сборника новелл "Созерцание", рукопись которого была затем отправлена в середине августа в издательство "Ровольт".

¹⁴ *Грильпарцер, Франц* (1791—1872) — австрийский поэт, прозаик. Новелла "Бедный музыкант" ("Der arme Spielmann") посвящена судьбе бесправного и обездоленного человека, который исполнен нравственного величия и человеческого достоинства.

¹⁵ *Ровольт, Эрнст* (1887—1960) — издатель, выпустивший первую книгу Кафки — сборник "Созерцание".

¹⁶ *Ф.Б. — Фелица Бауэр* (1887—1960), берлинская девушка, с которой Кафка за два дня до этого познакомился. В конце мая 1914 года в Берлине состоялось их официальное обручение, расторгнутое в конце июля того же года. В 1915 году их отношения были возобновлены, в июле 1917 года состоялось вторичное обручение, снова расторгнутое в декабре того

же года. Отношениям с Фелицей Бауэр посвящены многие страницы "Дневников".

¹⁷ *"Польское хозяйство"* — название оперетты Жана Жильбера.

¹⁸ 14 августа Кафка отправил Ровольту рукопись сборника "Созерцание".

¹⁹ *Ленц, Якоб Михаэль Рейнгольд* (1751—1792) — немецкий писатель, один из поэтов и теоретиков "Бури и натиска".

²⁰ *Верфель, Франц* (1890—1945) — австрийский писатель. Кафка был с ним близко знаком.

²¹ Перед этой записью в "Дневниках" приведен полный текст новеллы "Приговор" ("Das Urteil").

²² Имеется в виду работа над "Америкой"; после записи от 25 сентября следует переписанная набело первая глава романа, "Кочегар".

²³ *"Аркадия"* ("Arkadia") — ежегодник, издававшийся Максом Бродом (вышел только один номер в 1913 году); здесь впервые была опубликована новелла Кафки "Приговор" с посвящением Фелице Бауэр.

²⁴ *"Арнольд Беер"* ("Arnold Beer", 1912) — роман Макса Брода.

²⁵ *Вассерман, Якоб* (1873—1934) — немецкий писатель.

1913

¹ Это имя по-немецки пишется Friede и имеет столько же букв, что и Felice.

² Городок в Швейцарии, где Кафка несколько раз проводил отпуск.

³ *Кьеркегор, Сёрен* (1813—1855) — датский писатель, философ, теолог.

⁴ Имеется в виду отец Фелицы Бауэр.

⁵ По свидетельству М. Брода, воспоминания П. Кропоткина, как и Герцена, были в числе любимых книг Кафки, вообще питавшего пристрастие к чтению воспоминаний, дневников, биографических и автобиографических произведений. В "Дневниках" имеются выписки — иной раз по шесть-семь страниц — из книг "Разговоры с Гёте" Эккермана, "Воспоминания генерала Марселлина де Марбо" Пауля Хольцхаузена, "Немцы в России 1812" и др.

⁶ *Якобсон, Зигфрид* (1881—1926) — немецкий публицист, театральный критик.

⁷ *Эренфельс, Кристиан фон* (1859—1939) — австрийский философ, предшественник гештальтпсихологии.

⁸ Речь идет о новелле "Превращение" ("Die Verwandlung").

⁹ *"Михаэль Кольхаас"* (1810) — новелла немецкого писателя Генриха фон Клейста (1777—1811).

¹⁰ Слова Ивана Карамазова из романа "Братья Карамазовы" Ф.М. Достоевского.

¹¹ *Бергман, Хуго* — школьный товарищ Кафки, впоследствии философ.

1914

¹ *Дильтей, Вильгельм* (1833—1911) — немецкий философ, историк культуры. Книга "Переживание и творчество" ("Das Erlebnis und die

Dichtung") написана в 1906 году.

²Фройляйн Бл. — Грета Блох, подруга Фелицы Бауэр.

³Элли (Габриэла) — сестра Кафки.

⁴"Злая невинность" ("Böse Unschuld") — роман Оскара Баума.

⁵Музиль, Роберт (1880—1942) — австрийский писатель.

⁶Перед этой записью приведены наброски к рассказу о белой лошади.

⁷Во время этой поездки состоялось первое обручение Кафки с Фелицей Бауэр.

⁸Этот и следующий отрывки написаны почти за два месяца до начала первой мировой войны и вступления русских войск в Австрию; вслед за этими отрывками идет запись от 11 июня 1914 года — большой отрывок (11 страниц) под названием "Обольщение в деревне" ("Verlockung im Dorf"), являющийся подготовительным наброском к роману "Замок", к работе над которым Кафка вернулся много лет спустя (1921—1922).

⁹Оттла (Оттилия) — младшая, любимая сестра Кафки.

¹⁰Кафка начал работать над романом "Процесс".

¹¹Два года назад, в 1912 году, Кафка работал над новеллами "Приговор", "Превращение", романом "Америка".

¹²Кафка в это время одновременно работал над "Обольщением в деревне", русским рассказом, "Процессом".

¹³Жамм, Франсис (1868—1938) — французский поэт и прозаик.

¹⁴Отрывок под названием "Поездка к матери" ("Fahrt zur Mutter") опубликован в качестве приложения к роману "Процесс".

¹⁵Имеется в виду притча о привратнике у врат Закона, рассказанная К. — герою "Процесса" — священником в соборе.

¹⁶Опубликован впоследствии Бродом под названием "Der Riesenmaulwurf" ("Гигантский крот").

¹⁷Глава первая из шестой части "Былого и дум".

1915

¹Фанни Райз, одна из учениц школы для детей беженцев в Галиции, где Брод преподавал всемирную историю; Кафка познакомился с этой девушкой, навещая Брода. В "Дневниках" она затем упоминается несколько раз. Лемберг — название г. Львова, когда он входил в состав Австро-Венгерской монархии.

²Страховое общество Assicurazioni Generali, где Кафка впервые начал работать (октябрь 1907).

³Вайс, Эрнст (1884—1940) — австрийский писатель, друг Кафки, служивший посредником в его отношениях с Фелицей Бауэр.

⁴Роман Г. Флобера.

⁵Карл Россман — герой романа "Америка"; Йозеф К. — герой романа "Процесс".

⁶Де Марбо, Жан Батист Антуан Марселлин (1782—1854) — автор мемуаров о наполеоновских походах.

⁷Лангер, Георг (1894—1943) — психоаналитик, исследователь хасидизма.

¹Герои одноименной иллюстрированной повести в стихах для детей немецкого поэта и художника Вильгельма Буша (1832–1908).

²Имеется в виду письмо к Фелице Бауэр.

¹За несколько дней до этого врачи впервые установили у Кафки туберкулез; он принял решение расторгнуть вторую помолвку с Фелицей Бауэр, уволиться со службы и переехать в деревню к своей сестре Отте.

²*Tagger, Теодор* (1891–1958) – австрийский писатель, драматург.

³Письмо это оказалось предпоследним, оно приведено полностью во впервые изданном в конце 1967 года Э. Хеллером и Ю. Борном томе писем Кафки к Фелице, содержащем также и другую корреспонденцию, связанную с обеими помолвками Кафки с Фелицей (“*Franz Kafka, Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der Verlobungszeit. S. Fischer Verlag, 1967*”). Перед переписанным в дневник отрывком сказано:

“То, что во мне борются два человека, Ты знаешь. Что лучший из этих двух принадлежит Тебе, в этом я меньше всего сомневаюсь, особенно в последние дни. О ходе борьбы я в течение пяти лет извещал Тебя – большей частью к Твоей муке – словами и молчанием, и тем и другим вместе. Если Ты спросишь меня, всегда ли это было правдиво, я смогу лишь ответить, что ни перед одним человеком я с такой силой не избегал сознательной лжи или – чтобы быть еще более точным – не избегал с большей силой, чем перед Тобой. К маскировке я иной раз прибегал, ко лжи – очень мало, если допустить, что вообще может быть “очень мало” лжи. Я лживый человек, иначе я не могу сохранять равновесие, мой челн очень неустойчив”.

Далее следует приведенный в дневнике отрывок, после которого в письме написано:

“Примени это к нашему случаю, который не является “любим”, скорее это мой одиночный случай. Ты мой суд человеческий. Два человека, что борются во мне или, вернее, из чьей борьбы я весь, вплоть до последней истерзанной частички моего существа, состою, – это добрый и злой; временами они меняют свои маски, и это еще больше запутывает запутанную борьбу; но в конце концов, при всех ударах самого последнего времени я все же мог надеяться, что самое невероятное (самым вероятным была бы вечная борьба), которое всегда ведь представлялось мне в мечтах чем-то лучезарным, все-таки случится и я, с годами ставший жалким, убогим, наконец обрету Тебя.

Вдруг оказалось, что потеря крови была слишком велика. Кровь, которую проливает добрый (теперь мы называем его добрым), чтобы выиграть Тебя, идет на пользу злому. Когда злой – вероятно или возможно – собственными силами не может больше найти ничего существенно нового для своей защиты, тогда это новое представляется ему добрым. Втайне я считаю, что моя болезнь вовсе не туберкулез, а общее мое банкротство. Я думал, что можно будет еще держаться, но держаться больше нельзя. Кровь исходит не из легких, а из раны, нанесенной обычным или решающим ударом одного из борцов.

Этот борец получил теперь поддержку — туберкулез, поддержку столь огромную, какую находит, скажем, ребенок в складках материнской юбки. Чего теперь хочет другой? Разве борьба не достигла блистательного конца? Это туберкулез, и это конец. Что иное остается другому — слабому, усталому и в таком состоянии почти невидимому Тебе, — как не прислониться здесь, в Цюрау, к Твоему плечу и вместе с Тобой, самой невинностью чистого человека, ошеломленно и безнадежно с удивлением воззрится на взрослого мужчину, который, почувствовав себя обладателем любви человечества или предназначенной ему наместницы, пускается на свои отвратительные подлости. Это искажение моих стремлений, которые сами по себе уже суть искажение. Не спрашивай, почему я устанавливаю преграду. Не лишай меня тем самым мужества. Одно только такое слово — и я снова у Твоих ног. Но мне сразу же опять вспоминается действительный или, скорее, мнимый туберкулез, и я должен отказаться от этого. Это оружие, начиная с "физической неспособности", поднимаясь до "работы" и опускаясь до "алчности", предстает во всей своей скудной целесообразности и примитивности.

Впрочем, я открою тебе секрет, в который я и сам сейчас совсем не верю (хотя меня, вероятно, должен был бы убедить мрак, охватывающий меня и разливающийся далеко вокруг при попытках работать и думать), но который тем не менее правда: я уже не выздоровею. Именно потому, что это не туберкулез, который укладывают в шезлонг и выхаживают, а оружие, крайняя необходимость в котором существует до тех пор, пока существую я. Оба же существовать не могут".

⁴*Вальзер, Роберт* (1878—1956) — швейцарский прозаик и поэт.

1919

¹*Юлия Вохрыцек*, вторая невеста Кафки; знакомство, обручение, расторжение помолвки — все это произошло в течение полугода и послужило толчком к написанию "Письма отцу".

²*Элизеус (Елисей)* — герой романа Кнута Гамсуна (1859—1952) "Соки земли" (1917).

1921

¹Речь идет о чешской журналистке Милене Есенской (это первое упоминание ее имени в "Дневниках"). Кафка познакомился с ней в начале 1920 года, после того как в чешском журнале "Ктеп" был опубликован ее перевод "Кочегара". Связь продолжалась в течение двух лет. В 1952 году один из друзей Кафки, немецкий журналист Вилли Хаас, издал письма Кафки к ней ("Franz Kafka, Briefe an Milena"). Как пишет в послесловии к книге В. Хаас, письма были ему подарены Миленой в 1939 году, вскоре после вступления немецких войск в Прагу (в 1939 году Миленка была заключена в концентрационный лагерь, где в 1944 году погибла).

²"Воспитание чувств" (франц.) — роман Г. Флобера.

³*Эренштайн, Альберт* (1886—1950) — немецкий лирик и новеллист.

⁴*Палленберг, Макс* (1877—1934) — австрийский актер.

⁵*Раабе, Вильгельм* (1831—1910) — немецкий писатель.

⁶"*Náš Skautík*" — журнал чешских скаутов.

7 Повесть Л. Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича", которая, по свидетельству М. Брода, наряду с народными рассказами Толстого была в числе любимых произведений Кафки.

1922

¹ Эти вопросы адресованы Милене Есенской.

² См. прим. 9 к 1911 году.

³ *Рихард Лёви*, дядя Кафки со стороны матери, адвокат, у которого Кафка в 1906 году, после окончания юридического факультета Пражского университета, работал ассистентом.

⁴ Слова из новеллы Кафки "Сельский врач" (1919).

⁵ *Блюэр, Ганс* (1888–1955) – немецкий писатель, с книгой которого "Secessio Judaica" ("Отделение евреев") Кафка полемизировал.

⁶ *Кубин, Альфред* (1877–1959) – австрийский художник и писатель.

⁷ *Швинд, Мориц фон* (1804–1871) – немецкий живописец и график.

⁸ *Брудер* – австрийский художник.

⁹ *Пич, Людвиг* – австрийский художник.

¹⁰ Еврейское спортивное общество. "Самозащита" ("Selbstwehr") – пражский еврейский еженедельник.

¹¹ "Великий проповедник" ("Der große Maggid") – книга австрийского писателя, философа Мартина Бубера (1878–1965).

¹² "Паломник Каманита" ("Pilger Kamanita") – роман с буддистской тематикой датского писателя Карла Гьеллерупа (1857–1919).

¹³ *Мыслбек, Йозеф Вацлав* (1848–1922) – чешский скульптор.

¹⁴ *Плана* – местечко в юго-восточной Богемии, где Кафка отдыхал у своей сестры Отты.

¹⁵ "Или – или" – книга С. Кьеркегора.

ПИСЬМО К ОТЦУ

Написано в ноябре 1919 года, когда Кафка жил вместе с Максом Бродом в Железене (Богемия). По свидетельству Брода, Кафка послал это письмо матери с просьбой передать его отцу; но мать не сделала этого, а вернула письмо сыну "с несколькими успокаивающими словами". Письмом это часто упоминается Кафкой в письмах к Милене Есенской. Отрывки из него приводились Бродом в его книге "Франц Кафка. Биография".

Полностью письмо впервые было опубликовано в журнале "Нойе рундшау", 1952, № 2.

¹ Речь идет о помолвке Кафки с Юлией Вохрышек, против которой отец Кафки решительно возражал.

² *Роберт Кафка* – двоюродный брат писателя. *Карл Германн* – муж Эллы, сестры Кафки.

³ *Лёви* – девичья фамилия матери Кафки.

⁴ *Дядя Филипп, Людвиг, Генрих* – братья отца Кафки.

⁵ *Валли (Валерия)* – сестра Кафки.

⁶ *Феликс Германн* – племянник Кафки (сын его сестры Эллы).

⁷ *Пепа* – муж Валли, сестры Кафки.

⁸ Поговорку эту Кафка приводит в "Дневниках": "Ляжешь спать

с собаками, встанешь с блохами”.

⁹Речь идет о селении вблизи небольшого богемского городка Цюрау, где Оттла взяла на себя управление маленьким имением. В 1917-м и 1918 годах Кафка жил там у сестры.

¹⁰*Герти* — племянница Кафки, дочь Элли.

¹¹*Ирма* — двоюродная сестра Кафки.

¹²Несколько перефразированные заключительные слова романа “Процесс”.

¹³Имеются в виду свитки Торы.

¹⁴В домашней библиотеке Кафки был найден чешский перевод автобиографии американского политического деятеля и ученого Бенджамина Франклина (1706—1790).

¹⁵Здесь в 1917 году, готовясь к браку с Фелицей Бауэр, Кафка снял квартиру.

Приложение: Из разговоров Густава Яноуха с Францем Кафкой

Книга чешского музыканта и литератора Густава Яноуха (1903–1968) "Разговоры с Кафкой" носит особый характер.

Г. Яноух познакомился с Кафкой в марте 1920 года, в канцелярии общества социального страхования "Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt", где вместе с Кафкой работал отец Яноуха, однажды показавший своему коллеге стихи сына. После этого они часто встречались и беседовали. По словам Г. Яноуха, он в 1926 году, участвуя в издании на чешском языке рассказов Кафки, получил от издателя Йозефа Флориана предложение подготовить для публикации свои дневниковые заметки о Кафке. Он выписал из своих дневников соответствующие места и в чешском переводе передал их Й. Флориану, однако до издания дело тогда не дошло. После войны Г. Яноух разыскал среди своих бумаг и у друзей чешско-немецкие и немецко-чешские тексты своих записей и, "ограничившись лишь приведением в порядок, отбором и перепиской старых воспоминаний", опубликовал "Разговоры с Кафкой. Записи и воспоминания", ("Gespräche mit Kafka. Aufzeichnungen und Erinnerungen", S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1951).

Разумеется, книга Г. Яноуха требует к себе критического отношения — во-первых, как всякие воспоминания, а не прямые высказывания того, о ком "вспоминают"; во-вторых, следует учесть, что время встреч и бесед 17–18-летнего юноши с Кафкой отделено от времени появления на свет записок об этих встречах двумя с половиной десятилетиями; кроме того, нам трудно установить характер "отбора и переписки". Но, видимо, стоит принять во внимание отношение М. Брода к этой работе. В третьем издании своей книги "Franz Kafka. Eine Biographie", дополненном новой главой и новыми материалами, рассказывая о том, что в 1947 году Г. Яноух прислал ему рукопись своих воспоминаний, М. Брод пишет: "Слова Кафки, которые передает Яноух, производят впечатление подлинности и достоверности, на них лежит несомненный отпечаток разговорного стиля Кафки — стиля, еще более конденсированного, еще более четкого, чем стиль его сочинений (...). Так же и круг тем, обсуждающихся в разговорах с Яноухом, мне знаком по моим бесчисленным беседам с Каф-

кой, и я без труда узнаю в них главную сферу интересов, в которой вращался Кафка”.

Свидетельство это, разумеется, тоже субъективное, и мы не можем на его основании безоговорочно принимать книгу Г. Яноуха как подлинный документ. Тем не менее мы включили ее в сборник (выбрав высказывания, касающиеся главным образом литературы и искусства, а также некоторых общих вопросов мировоззрения), поскольку книга эта прочно вошла в число источников, составляющих ”мировую кафкиану”.

Публикуемые нами высказывания Кафки составляют около половины книги Г. Яноуха. Сопутствующие встречам и беседам обстоятельства, описания обстановки, внешние характеристики, поведение Кафки (”смущенно улыбнулся”, ”печально улыбнулся”, ”задумался”), жестикация и т.д., рассуждения самого Яноуха при этом опущены. Мы лишь указали на то, что послужило поводом для высказывания Кафки, и привели необходимые реплики его собеседника, выделив то и другое курсивом.

¹*Ледерер, Эрнст* (1904—?) — немецкий поэт и художник. Участник гражданской войны в Испании, погиб в немецком концентрационном лагере.

²Речь идет об одноактных пьесах немецкого поэта-драматурга *Вальтера Хазенклевера* (1890—1940) ”Спаситель” (”*Der Retter*”, 1919) и австрийского драматурга *Артура Шницлера* (1862—1931) ”Зеленый попугай” (”*Der grüne Kakadu*”, 1899).

Драма ”Сын” (”*Der Sohn*”, 1914) Вальтера Хазенклевера в начале 20-х годов была модной постановкой немецких экспрессионистов.

³*Синг, Джон Миллингтон* (1871—1909) — ирландский драматург, пьеса ”Герой Запада” (”*Playboy of the Western World*”) была впервые опубликована в 1907 году.

⁴*Каспар Гаузер* — таинственный ”найденный”, объявившийся в 1828 году в Нюрнберге. Его судьбе посвящен упоминаемый на стр. 544 роман ”Каспар Гаузер, или Леньность сердца” (”*Caspar Hauser, oder Trägheit des Herzens*,” 1908) Якоба Вассермана.

⁵Драма *Эрнста Вайса* (см. примеч. на стр. 563) ”Таня” (”*Tanja*”) написана в 1920 году.

⁶”*Двуглавая нимфа*” (”*Die doppelköpfige Nymphe*”) — книга статей о литературе и действительности немецкого писателя, теоретика экспрессионизма *Казимира Эдшмида* (1890—1966).

⁷*Лишь тот достоин жизни и любви...* — Ошибка ли здесь — и чья именно: Кафки или Яноуха — или нарочитое искажение строки из ”Фауста” (”*лишь тот достоин жизни и свободы*” — пер. Б. Пастернака), установить нельзя.

⁸*Моргенштерн, Кристиан* (1871–1914) – немецкий поэт; сборник “Песни висельника” (“Die Galgenlieder”, 1905) состоит из гротескно-фантастических стихов; сб. “*Ступени*. История жизни в афоризмах в дневниковых записях” (“Stufen. Eine Entwicklung in Aphorismen und Tagebuchnotizen”) вышел в 1918 году.

⁹*Альтенберг, Петер* (1859–1919) – австрийский писатель, автор блестящих по форме небольших рассказов, зарисовок, афоризмов.

¹⁰*Мейринк, Густав* (1868–1932) – австрийский писатель; “*Толем*” – еврейская средневековая легенда, легшая в основу одноименного романа Г. Мейринка (“Der Golem”, 1915).

¹¹*Г. Яноух заметил, что Иоганнес Р. Бехер...* – Имеется в виду стихотворение Бехера “An den Schlaf” (1918).

¹²*Эрнштайн, Альберт* (1886–1950) – австрийский лирик и новеллист. Экспрессионистская повесть “*Тубуч*” (“Tubutsch”) с рисунками его друга, художника и драматурга *Оскара Кокошки* (1886–1980) была его дебютом (1911). Сборник антивоенных и антиимпериалистических стихотворений “*Вопль человеческий*” (“Der Menschenschrei”) вышел в 1916 году.

¹³*Шляф, Иоганнес* (1862–1941) – немецкий писатель-натуралист.

¹⁴*Мареш, Михаэль* – чешский поэт, с которым Кафка познакомился в конце 1909 года, после чего они вместе посещали собрания левых анархистов “Klub mladých”, выступавших главным образом против милитаризма и клерикализма, и союза “Vilem Körber”, выступавшего против политического и экономического угнетения рабочих. М. Мареш – автор небольших воспоминаний о Кафке “Wie ich Franz Kafka kennenlernte” (“Как я познакомился с Францем Кафкой”), опубликованных в книге Клауса Вагенбаха “Franz Kafka. Eine Biographie seiner Jugend”. В приводимой записи речь идет о вышедшем в 1920 году сборнике стихотворений “Přicházím z periferie” (“Я прибыл с периферии”).

¹⁵*Краус, Карл* (1874–1936) – австрийский писатель, публицист. В 1899 году основал журнал “Факел” (“Die Fackel”), с 1911 года он являлся его единственным автором (до 1936 года вышло 922 номера журнала).

¹⁶*Польгар, Альфред* (1875–1955) – австрийский писатель, критик.

¹⁷*Жамм, Франсис* (1868–1938) – французский поэт.

¹⁸*Блей, Франц* (1871–1942) – австрийский писатель и критик. Его сатирическая книга “Bestiarium literaricum, das ist: Genaue Beschreibung derer Tiere des literarischen Deutschlands” вышла в 1920 году. Расширенное издание ее вышло в 1924 году под названием “Das große Bestiarium der modernen Literatur”.

¹⁹На чешском языке воспоминания М. Горького о Л. Толстом вышли в Праге в 1920 году.

²⁰ *"Ташкент – город хлебный"* – повесть А. С. Неверова (1886–1923).

²¹ *Бог, который велит ковать железо...* – Строка из песни немецкого поэта Эрнста Морица Арндта (1769–1860), написанной в 1812 году. Песня эта в свое время была одним из гимнов борьбы против Наполеона, а впоследствии стала одной из любимых песен немецких националистов.

²² *Паке, Альфонс* (1881–1944) – немецкий писатель, эссеист. Книга *"Дух русской революции"* (*"Der Geist der russischen Revolution"*) вышла в 1919 году.

²³ *Канцелярская бумага* – установленный предписанием австрийского бюрократического аппарата лист определенного формата, на котором (и только на нем!) полагалось писать *все* деловые документы, прошения, донесения и т.д.

²⁴ *Хёльц, Макс* (1889–1933) – немецкий революционер. В 1920 году во время реакционного капповского путча руководил вооруженным восстанием рабочих отрядов в Средней Германии. После поражения восстания был арестован и приговорен к пожизненному тюремному заключению, в 1928 году амнистирован. С 1929 года жил и работал в Советском Союзе.

²⁵ Имеется в виду антология *"Сумерки человечества, Симфония новейшей поэзии"* (*"Menschheitsdämmerung, Symphonie jüngster Dichtung"*), вышедшая в 1920 году в издательстве *"Револут"*.

²⁶ *Гросс, Георг* (1893–1959) – немецкий художник и карикатурист.

²⁷ *Перелистывая книгу с рисунками Георга Гросса*. – Речь идет о книге Гросса *"Лицо господствующего класса"* (*"Das Gesicht der herrschenden Klasse"*), вышедшей в 1921 году в издательстве *"Малик"*.

Е. Кацева

Содержание

<i>Д. Затонский. Предисловие</i>	5
Процесс. Роман. <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i>	23
Замок. Роман. <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i>	151

Новеллы и притчи

Приговор. <i>Перевод И. Татариновой</i>	333
Превращение. <i>Перевод С. Анта</i>	340
В исправительной колонии. <i>Перевод С. Анта</i>	370
Стук в ворота. <i>Перевод Н. Касаткиной</i>	388
Железнодорожные пассажиры. <i>Перевод С. Анта</i>	389
Правда о Санчо Пансе. <i>Перевод С. Анта</i>	389
Прометей. <i>Перевод С. Анта</i>	389
Посейдон. <i>Перевод В. Станевич</i>	390
Ночью. <i>Перевод В. Станевич</i>	390
К вопросу о законах. <i>Перевод В. Станевич</i>	391
 Из дневников. <i>Перевод Е. Кацевой</i>	 393
Письмо отцу. <i>Перевод Е. Кацевой</i>	509
Приложение: Из разговоров Густава Яноуха с Францем Кафкой. <i>Перевод Е. Кацевой</i>	538
<i>Е. Кацева. Примечания</i>	559

**Франц Кафка
Избранное**

Составитель Евгения Александровна Кацева

ИБ № 5137

**Редакторы Е. ПРИКАЗЧИКОВА, Н. ФЕДОРОВА
Художник Т. ТОЛСТАЯ
Художественный редактор А. КУПЦОВ
Технический редактор М. ЛУБЯНСКАЯ
Корректор Е. РУДНИЦКАЯ**



Сдано в набор 14.12.88. Подписано в печать 27.07.89. Формат 60х90/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсет. Усл. печ. л. 36,0.
Усл. кр.-отт. 72,0. Уч.-изд. л. 47,25. Тираж 100000 экз. Заказ № 1539. Цена 5 р. 20 к.
Изд. № 6074.

Издательство "Радуга" В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР
по печати. 119859, Москва, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет на Можайском
полиграфкомбинате В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР
по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"РАДУГА"
(до 1982 г. — "Прогресс")

Серия "Мастера современной прозы"

Вышли в свет избранные произведения:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| К. Х. Селы (Испания) | М. Лалича (Югославия) |
| М. Варгаса Льосы (Перу) | П. Лагерквиста (Швеция) |
| Ф. Мориака (Франция) | Лао Шэ (Китай) |
| Я. Кавабаты (Япония) | Э. Станева (Болгария) |
| С. Дыгата (Польша) | Х. фон Додерера (Австрия) |
| В. Кёппена (ФРГ) | М. Отеро Сильвы (Венесуэла) |
| В. Элсхота (Бельгия) | Э. Базена (Франция) |
| К. Чандара (Индия) | Л. Немета (Венгрия) |
| С. Вестдейка (Голландия) | Г. Носсака (ФРГ) |
| У. Фолкнера (США) | Т. Парницкого (Польша) |
| Ч. Павезе (Италия) | К. Абэ (Япония) |
| Э. Коша (Югославия) | А. Алвеса Редола (Португалия) |
| В. Хайнесена (Дания) | О. Сигурдссона (Исландия) |
| И. Во (Англия) | Т. Весоса (Норвегия) |
| К. Фузнтеса (Мексика) | Х. К. Онетти (Уругвай) |
| А. Зегерс (ГДР) | Я. Кемаля (Турция) |
| Р. К. Нарайана (Индия) | И. Андрича (Югославия) |
| М. Делибеса (Испания) | Э. Штритматтера (ГДР) |
| О. Кемалы (Турция) | М. Спарк (Англия) |
| М. Фриша (Швейцария) | И. Кальвино (Италия) |
| То Хоая (СРВ) | М. Юрсенар (Франция) |
| Х. Кортасара (Аргентина) | Г. Гессе (ФРГ) |
| Т. Уайлдера (США) | Х. Л. Борхеса (Аргентина) |
| Нгути Ва Тхионго (Кения) | Г. Грасса (ФРГ) |
| П. Уайта (Австралия) | Л. Арагона (Франция) |
| А. Маршалла (Австралия) | Ф. Аялы (Испания) |
| Х. Лакснесса (Исландия) | В. Ферейры (Португалия) |
| М. А. Астуриаса (Гватемала) | М. Бенедетти (Уругвай) |
| Р. Вайяна (Франция) | М. Селимовича (Югославия) |
| А. Моравиа (Италия) | Г. Канта (ГДР) |
| Р. Райта (США) | А. Андерша (ФРГ) |
| К. Оэ (Япония) | В. Шойинки (Нигерия) |
| Л. Ийеша (Венгрия) | Ф. Байкурта (Турция) |
| Й. Радичкова (Болгария) | А. Карпентьера (Куба) |
| Ч. Ачебе (Нигерия) | Н. Хоакина (Филиппины) |
| Ю. Боргена (Норвегия) | Ш. О'Фаолейна (Ирландия) |
| М. Лаури (Канада) | Ц. Космача (Югославия) |
| Г. Гарсиа Маркеса (Колумбия) | Г. Бёлла (ФРГ) |
| Дж. Кэри (Англия) | А. Камю (Франция) |

5р.20к.